This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4341.2

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1828).

Received 16 Oct. 1900.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Д. В. ГРИГОРОВИЧА

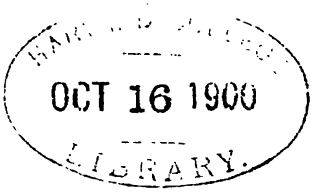
въ 12 томахъ.

3-е, вновь пересмотрѣнное и исправленное авторомъ изданіе.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1896.

Slav 4341.2



Minot fund

Дозволено цензурою СПБ. 24 января 1896 г.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

СОЧИНЕНІЯ

Д. В. Григоровича.

III.

ПРОСЕЛОЧНЫЯ ДОРОГИ.

(РОМАНЪ.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

(1852 г.).

I.

Ханскіе-Пруды.

Въ одно прекрасное майское утро... (Мнѣ, признаться сказать, очень не нравится такое начало; но такъ какъ принято уже нѣкоторымъ образомъ начинать съ этой фразы бо́льшую часть романовъ и повѣстей, я не хотѣлъ отступать отъ общаго правила)... Итакъ, въ одно прекрасное майское утро ѣхалъ тарантасъ, запряженный тремя клячами. Нельзя навѣрное опредѣлить, въ какой полосѣ совершалось это достопримѣчательное событіе; проселокъ терялся съ обоихъ концовъ Богъ-вѣсть куда; легко могло статься, что онъ начинался у Оренбурга и, цѣпляясь, какъ водится, съ другими проселками, пропадалъ у прусской границы. Но не въ этомъ дѣло: дѣло въ томъ, что въ тарантасѣ сидѣли три особы женскаго пола, которыхъ, по тучности тѣла и особенно зрѣлымъ лѣтамъ, можно было принять за трехъ матерей семействъ. Ничего, однакожъ, не могло бы быть опрометчивѣе такого предположенія: всѣ три путешественницы были дѣвицы, дѣвицы Кокуркины, или, вѣрнѣе: *барышни* Кокуркины, потому что такъ преимущественно называли ихъ въ уѣздѣ.

Онѣ сидѣли въ слѣдующемъ порядкѣ: старшая и млад-

шая расположились на днѣ тарантаса; средняя, но тѣмъ не менѣе самая толстая, похожая какъ двѣ капли воды на откормленнаго дрозда, увеличеннаго въ полторы тысячи разъ, занимала цѣликомъ переднюю сидѣйку; упершись спиною въ спину кучера, колѣнями въ колѣни сестеръ, она придерживалась могучими руками то за одинъ край кузова, то за другой, смотря по тому, шла ли дорога гладкая или шероховатая. Такая предосторожность не всегда, впрочемъ, помогала: часто кочка или камешекъ, подвернувшійся подъ колесо, сообщали такое жесткое движеніе передней сидѣйкѣ, что Вѣра Андреевна (такъ звали среднюю Кокуркину) летѣла стремглавъ на дно кузова, причиняя этимъ каждый разъ сильное разстройство чепцу старшей сестры — сморщенной пятидесятилѣтней дѣвы, покрытой почтенною сѣдиною.

Тарантасъ, съ своимъ опущеннымъ кожанымъ верхомъ, походилъ въ эти минуты, какъ нельзя больше, на сморщенную пасть стараго кита, который употреблялъ всевозможныя, но тщетныя усилія, чтобъ проглотить трехъ барышень; огромная мѣдная скобка, сверкавшая въ многочисленныхъ складкахъ порыжѣвшаго и ветхаго кузова, изображала чрезвычайно вѣрно глазъ разсвирѣпѣвшаго чудовища; дряхлый кучеръ, какъ бы испугавшись страшнаго событія, постигшаго барышень, принимался тогда хлестать безъ милосердія клячъ, озирался со страхомъ назадъ и хотѣлъ, казалось, оторваться съ передними колесами отъ тарантаса, чтобъ умчаться за тридевять земель.

Несмотря на частые толчки, несмотря на жаръ, тѣсноту и неудобство помѣщенія, лица трехъ барышень сіяли совершеннѣйшимъ удовольствіемъ. Онѣ ѣхали въ гости, и ѣхали—нужно сказать—на праздникъ, въ одинъ изъ самыхъ веселыхъ домовъ уѣзда. Разговоръ ихъ, оживленный предстоящимъ торжествомъ и удовольствіями, тянулся безъ умолку въ продолженіе всей дороги. Барышни говорили всѣ вмѣстѣ и часто рѣчь ихъ дребезжала такъ звонко, что пристяжныя невольно пріостанавливались и болтали ушами, какъ бы отбиваясь отъ мухъ и оводовъ.

— Что жъ ты, Кузьма? пошелъ, пошелъ!.. восклицали тогда барышни, выглядывая изъ-подъ кузова и нетерпѣливо устремляя глаза на пропадавшую впереди дорогу.— А что? не видать еще рощи?..

— Нѣтъ; за бугромъ будетъ видно, отвѣчалъ обыкновенно кучеръ, мрачный, костлявый драбантъ, заключен-

ный въ сѣромъ армякѣ своемъ, какъ сухая горошина въ сухомъ стручкѣ.

Онъ дергалъ вожжами, лѣниво помахивалъ кнутомъ; кони натягивали веревочныя постромки, и тарантасъ снова катился покрякивая и подпрыгивая по проселку.

Такимъ образомъ взъѣхалъ онъ на бугоръ, съ котораго можно было различить вдалекѣ рощу.

Тутъ барышни приказали Кузьмѣ остановиться и начали поочередно вылѣзать изъ тарантаса. Слѣдовало, какъ водится, осмотрѣть заблаговременно туалетъ и оправиться.

— Постой, Вѣра, я обтяну тебѣ платье, сказала старшая сестра, суетясь вокругъ средней. — Ухъ! сколько пыли... э... э!.. вѣдь я же говорила, надо было закутать платкомъ голову. Повернись ко мнѣ... еще, еще... такъ. Охъ, Боже мой, Боже мой! пелеринка-то какъ измялась! присовокупила она, заботливо качая головой и поправляя исполинскій розовый бантъ на мощной груди Вѣрочки, которая пыхтѣла и отдувалась какъ индѣйскій пѣтухъ.

— Ну, Надежечка, теперь твоя очередь, ангелъ мой! нѣжно воскликнули обѣ сестры, обращаясь къ младшей, которой только что минуло тридцать три года, а именно въ Ѳоминъ понедѣльникъ. Одна начала разглаживать ей тщедушныя бандо рыжеватыхъ волосъ, прилѣпленныя помадою къ вискамъ и искусно скрывавшія мѣста, гдѣ начинали показываться сухія морщинки; другая усердно сдувала ей пыль съ рѣсницъ и шеи, украшенной черной бархатной ленточкой.

— Ну, теперь хорошо! сказали обѣ сестры, отходя немного въ сторону, чтобъ удобнѣе полюбоваться на свою любимицу, которая стояла сжавъ губы и скромно опустивъ глаза,—прекрасно! садись, душечка, ангелъ нашъ; смотри только, не оступись и не зашиби ножку! заключили онѣ, подсаживая Надеженьку, которая, ступивъ на подножку, чуть было не опрокинула тарантаса на сестеръ.

— Настоящая невѣста! замѣтила старшая, нѣжно взглянувъ на Наденьку.

— Невѣста! невѣста! восторженно повторила Вѣра Андреевна.

— Шьто это вы сестлицы... я еще не хоцу замуж... произнесла Наденька, пришепетывая и стыдливо опуская глаза.

— Ну, хорошо, хорошо! возразили сестры, лукаво подмигивая другъ другу.

Онѣ сѣли въ тарантасъ, крикнули: „пошелъ, Кузьма!“ и поѣхали далѣе. Вскорѣ тарантасъ очутился на перекресткѣ. Несмотря на страшную путаницу дорогъ, сбившихся въ этомъ мѣстѣ какъ паутина, тарантасъ смѣло выбрался изъ лабиринта и свернулъ направо. Не мѣшаетъ замѣтить, что тремъ барышнямъ, ихъ кучеру и даже тремъ клячамъ такъ хорошо была извѣстна дорога, что всѣ они достигли бы цѣли своей поѣздки съ завязанными глазами. Благодаря, впрочемъ, тонкой предусмотрительности владѣльца дороги, одинъ безграмотный, да и то развѣ въ томъ случаѣ, если бъ онъ принадлежалъ къ другому уѣзду, могъ сбиться съ пути. На перекресткѣ воздвигался бѣлый столбъ съ прибитою наверху вычурною доскою; изображенная на доскѣ рука выразительно указывала на надпись: „Дорога въ Ханскіе-Пруды“. Немного погодя показался другой столбъ, но уже каменный, съ тою же надписью; вся разница заключалась въ томъ, что надпись казалась вылетавшею изъ клюва фантастической птицы, намалеванной на бѣломъ циферблатѣ.

На этомъ мѣстѣ проселокъ начиналъ опускаться въ широкую, безграничную лощину, устланную лугами и пашнями. Коричневые клинья только что запаханнаго пара, перерѣзанные ярко-зелеными полосами ярового хлѣба, сбѣгали со всѣхъ сторонъ на дорогу. Теплый паръ изъ земли застилалъ легкимъ фіолетовымъ туманомъ глубину лощины и, сглаживая рѣзкости постепенно приближавшихся плановъ, придавалъ какую-то особенную сквозноту и свѣжесть картинѣ. Грохотъ и бряканье тарантаса подымали поминутно цѣлыя тучи весеннихъ птицъ; пѣснь жаворонка, овсянки, пѣночки, трескъ кузнечика и этотъ ничѣмъ не опредѣленный шелестъ, подымающійся въ полѣ около полудня—наполняли воздухъ. Все вокругъ улыбалось и глядѣло какъ-то весело...

Но веселый видъ майскаго утра ровно ничего не значилъ въ сравненіи съ ликовавшими лицами трехъ барышень, ѣхавшихъ въ тарантасѣ. Тутъ нѣтъ, впрочемъ, ничего удивительнаго: вѣдь часто же случается встрѣчать посреди глухой осени свѣтлые и улыбающіеся дни, которые, право, лучше иныхъ весеннихъ.

— Пошелъ же, Кузьма! что жъ ты стоишь? погоняй!.. кричали сестры попеременно, а иногда всѣ вмѣстѣ; при чемъ шеи ихъ вытянулись изъ-подъ кузова, а глаза жадно устремлялись въ глубину живописной лощины.

Минула верста, и новый столбъ, въ видѣ каменнаго обелиска, возвѣстилъ краснорѣчиво, что до Ханскихъ-Прудовъ оставалась всего одна верста.

Дѣйствительно, можно уже было различать садъ, часть деревни, лѣпившейся по косогору, и наконецъ, мало-помалу, между головастыми ветлами, плотно обсаженными вокругъ зеленаго берега, сверкнули самые пруды. Ханскіе-Пруды, по мѣрѣ приближенія къ нимъ, принимали какую-то фантастическую физіономію, вовсе не свойственную обыкновеннымъ помѣстьямъ. Можно было подумать, что подъѣзжаешь къ волшебному зáмку, или, по крайней мѣрѣ, къ губернскому городу. Такъ, напримѣръ, высокій деревянный заборъ, окружавшій садъ, казался издали рядомъ великолѣпныхъ зданій; выбѣленный мѣломъ и исполосованный узорами, заборъ этотъ былъ увѣнчанъ на всемъ своемъ протяженіи остроконечными и круглыми выступами въ видѣ кровель; безчисленное множество оконъ, дверей, воротъ, сводовъ всѣхъ возможныхъ архитектуръ и вкусовъ, которые были намалеваны па заборѣ, довершали обманъ. Но всего болѣе былъ бы озадаченъ путешественникъ, если бъ привелось ему очутиться между двумя пирамидами, которыя украшены были арабесками пестраго, но неопредѣленнаго содержанія, и обозначали въѣздъ въ помѣстье.

Передъ нимъ раскрывалась широкая луговина; слѣва окаймляли ее пруды, перерѣзанные великолѣпною плотиной, обсаженной ветлами; справа тянулся рядъ зданій, которыя какъ бы служили продолженіемъ извѣстному уже забору; зданія эти были облѣплены снаружи пестрыми вывѣсками наподобіе звѣринца. Конюшни украшались лошадьми и козлáми; на фронтонѣ скотнаго двора виднѣлась полосатая корова, которую доила румяная баба; на кровлѣ флигеля, гдѣ помѣщались дворовые, красовался искусно намалеванный кучеръ, въ красной рубашкѣ, съ балалайкой въ рукѣ, и т. д. Дорога къ барскому дому шла черезъ плотину; подлѣ самаго спуска воздвигалась новая пирамида; четкія надписи, смотря по тому, куда смотрѣли онѣ — на востокъ, на югъ, сѣверъ или западъ, возвѣщали, что отъ Ханскихъ-Прудовъ до Кавказа 1,800 верстъ, до Италіи 2,100, до Петербурга 1,200, до Парижа 2,843. Когда барышни въѣхали на плотину, на прудахъ показалось стадо лебедей; но барышни не обнаружили никакого удивленія; какъ частыя гостьи Аристарха

Ѳедоровича Балахнова (такъ звали владѣтеля Ханскихъ-Прудовъ), и притомъ почти домашніе люди, невольно посвященные въ нѣкоторыя тайны, онѣ знали въ совершенствѣ, что стадо лебедей, живописно плавающее въ отдаленіи, состояло изъ деревянныхъ чучелъ, пущенныхъ такъ только, для вящшаго эффекта.

Миновавъ плотину, тарантасъ поднялся въ кручу и покатилъ по деревнѣ. Огромный колодезь, съ зеленою крышкой и какою-то сложною шестернею для подъема воды, возвышался на самомъ видномъ мѣстѣ; красивая баба, выпиленная довольно искусно изъ досокъ, стояла у колодца и, улыбаясь проѣзжимъ, черпала воду. Избушки не отличались, впрочемъ, ничѣмъ особенно замѣчательнымъ, кромѣ, развѣ, того, что крыши выкрашены были красною краской.

Самъ помѣщикъ, Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ, жилъ безвыѣздно въ своемъ помѣстьѣ. И если деревянные заборы, выкрашенные подъ яшму и мраморъ, готическія окна, минареты, дощатыя пирамиды и обелиски отзывались легкимъ обманомъ, такъ, стало-быть, самъ владѣлецъ находилъ удовольствіе обманывать самого себя.

Пора, однакожъ, обратиться къ тарантасу, который въѣзжаетъ, между тѣмъ, въ березовую аллею, ведущую къ барскому дому.

— Тише, Кузьма! держи лошадей! тише! воскликнула старшая барышня, поправляя чепецъ.—Кто это?.. посмотрите, сестрицы... чей это экипажъ ѣдетъ впереди?

— Постойте... кто же это?.. проговорили остальныя сестры, вытягивая шеи и жмуря глаза.

— А! это Кошкины!..

— Что вы, сестрица?.. Ахъ, да, и въ самомъ дѣлѣ...

Тутъ онѣ принялись суетливо обдергивать платья, поправлять косынки и дуть другъ другу на рѣсницы; секунду спустя, барышни сидѣли чинно, не обнаруживая никакой суетливости. Тарантасъ въѣзжалъ уже на широкій дворъ барскаго дома.

Въ наружности дома не было ничего достойнаго особеннаго вниманія; это было обширное деревянное зданіе въ два этажа, съ мезониномъ наверху и двумя крыльцами по концамъ, между которыми изъ-за рѣшетки выглядывало нѣсколько растеній. Стѣны выкрашены были темно-желтою краской, кровля и куполъ мезонина—ярко-зеленой.

Тарантасъ Кокуркиныхъ не могъ тотчасъ же подъѣхать къ дому и долженъ былъ выждать, пока экипажъ, опередившій его, высадитъ своихъ владѣльцевъ.

Прежде всего выпрыгнулъ изъ него маленькій, сухопарый господинъ, въ коричневомъ пальто и золотыхъ очкахъ.

— Домъ Аристархъ Ѳедорычъ? спросилъ онъ, повертываясь къ лакеямъ, стремглавъ вылетѣвшимъ на крыльцо.

— Дома-съ, почтительно отвѣтили лакеи, бросаясь кто въ домъ для доклада, кто къ экипажу.

— Выходи, душенька: дома! сказалъ господинъ въ золотыхъ очкахъ, протягивая руку щегольски одѣтой барынѣ.

Барыня порхнула на подъѣздъ и, сдѣлавъ видъ, какъ будто не замѣчаетъ сидѣвшихъ въ тарантасѣ, поспѣшила въ домъ, сопровождаемая мужемъ и лакеями.

— Видѣли, сестрицы? Даже не повернулась въ нашу сторону, гордянка этакая! Дормидонъ! Авдей! Петръ! крикнули Кокуркины вслѣдъ лакеямъ.

Но такъ какъ никто не откликнулся, то онѣ поневолѣ должны были сами, безъ посторонней помощи, вылѣзть изъ тарантаса.

Вступивъ въ переднюю, барышни столкнулись съ Кошкиными, которые не успѣли еще раздѣться.

— А, барышни! это вы? воскликнулъ господинъ въ очкахъ, обнаруживая на кисловато-желтомъ лицѣ своемъ пріятное удивленіе.

— Мы никакъ не думали, что вы ѣдете за нами, сказала его супруга, привѣтливо улыбаясь.

— А мы такъ давно васъ замѣтили, Анна Васильевна. Здоровы ли вы? Какъ здоровье вашихъ милыхъ дѣтокъ?.. произнесли наперерывъ сестры, обступая даму.

— Благодарю васъ...

— Ну, mesdames, пойдемте, пойдемте слушать новости, перебилъ Кошкинъ, ударяя на послѣднее слово и бросая значительный взглядъ женѣ.

Лакей отворилъ двери прихожей, и вся компанія, свернувъ вправо изъ темнаго коридора, раздѣлявшаго домъ на двѣ половины, вступила въ большую залу, оклеенную обоями и обставленную соломенными стульями. Гости были уже посрединѣ залы, когда навстрѣчу имъ вышелъ самъ хозяинъ.

— Вотъ легки на поминѣ! А мы только-что о васъ

говорили... Madame, j'ai l'honneur... Здравствуй, душа моя, Семенъ Семенычъ! воскликнулъ Аристархъ Өедоровичъ, ускоряя шагъ и раскрывая объятія. — Благодарю, другъ, что не забылъ завтрашняго дня, благодарю! (Тутъ Балахновъ радостно обнялъ и облобызалъ Кошкина). Барышни, привѣтъ мой вамъ и поклонъ! заключилъ онъ, закидывая назадъ голову и посылая рукою привѣтливый знакъ тремъ барышнямъ.

— Аристархъ Өедорычъ, заговорили восторженно двѣ старшія сестры, отвѣчая подобострастнымъ поклономъ, — поздравляемъ васъ съ наступающимъ днемъ вашего рожденія; желаемъ вамъ всего, всего... желаемъ отъ всего сердца счастія и благъ земныхъ... присовокупили онѣ, подталкивая впередъ Надеженьку.

Надеженька робко выступила впередъ, хотѣла что-то пролепетать, но замялась, зардѣлась, опустила глаза и сдѣлала книксенъ.

— Благодарю, благодарю! самодовольно произнесъ Аристархъ Өедоровичъ, посылая имъ вторично привѣтливый знакъ рукою.

— Позволь же и намъ поздравить тебя, любезный другъ, сказалъ Кошкинъ,—къ несчастью, барышни сказали тебѣ все, и намъ ничего не оставили...

Балахновъ взялъ протянутую къ нему руку, пожалъ ее крѣпко-крѣпко, и улыбнулся съ выраженіемъ человѣка глубоко тронутаго.

— А, кстати: сколько минетъ тебѣ лѣтъ завтра? спросилъ Кошкинъ, поправляя очки на своемъ крошечномъ сморщенномъ носикѣ.

— Сорокъ, братецъ, отвѣчалъ развязно Балахновъ, — сорокъ лѣтъ! эпоха возмужалаго возраста, эпоха сѣдыхъ волосъ и горестнаго разочарованія на пути жизни! прибавилъ онъ съ любезностью, нелишенною, однакожъ, нѣкоторой торжественности.

Но Балахновъ ошибался, говоря, что ему было сорокъ лѣтъ. Онъ доживалъ уже сорокъ девятый годъ, если не пятьдесятъ первый. Несмотря на эпоху сѣдыхъ волосъ и горестнаго разочарованія на пути жизни, какъ краснорѣчиво онъ выразился, физіономія его находилась еще въ довольно цвѣтущемъ состояніи. Видно было, однакожъ, что горькіе опыты и происшествія жизни посѣщали когда-то Аристарха Өедоровича; каждое событіе, казалось, нашло особенное удовольствіе положить на лицѣ его память о

себѣ. Разрушенныя мечты и надежды ясно отпечатлѣвались въ его сѣрыхъ, нѣсколько холодныхъ и задумчивыхъ взорахъ; неудачи и внутренняя борьба на выборахъ (въ которыхъ принималъ онъ постоянно самое живое участіе) обозначались выразительною, продольною морщиной на высокомъ лбу, которому позавидовалъ бы любой дипломатъ. Балахновъ былъ высокъ ростомъ, статенъ, не носилъ усовъ и бакенбардъ и чуждался повидимому украшеній, служащихъ только къ обремененію тѣла; онъ былъ безъ галстука, съ длинными откидными воротничками рубашки, à l'enfant, обнажавшими шею, не уступавшую въ бѣлизнѣ и гладкости столь прославленной шеѣ лорда Байрона. Архалукъ изъ термаламы, открытый сверху на бѣлоснѣжной манишкѣ и ловко обхватывавшій талію, легкіе лѣтніе панталоны — составляли его одежду. Рѣдкіе, бѣлокурые волосы Аристарха Ѳедоровича были всегда тщательно завиты; выбритъ онъ былъ отлично. Наружность его вообще отличалась какою-то представительностью, чѣмъ-то такимъ, что невольно возбуждало къ нему уваженіе самыхъ мелкихъ сосѣдей. Мы забыли сказать, что, когда Аристархъ Ѳедоровичъ улыбался, изъ-подъ тоненькихъ губъ его сверкалъ ослѣпительный рядъ бѣлыхъ зубовъ отличной работы. Въ бытность свою въ Москвѣ, онъ заплатилъ за нихъ очень дорого; самъ Вагенгеймъ ручался за ихъ доброкачественность... Можно бы еще представить нѣсколько замѣчаній въ этомъ родѣ, касающихся его личности, но ужъ мы пропустимъ ихъ безъ дальнѣйшаго обзора до другого, болѣе удобнаго случая.

— Mesdames, гостиная раскрываетъ передъ вами свои объятія! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, раскланиваясь любезно дамамъ.

Онъ отступилъ шагъ назадъ, обхватилъ рукою спину Кошкина и послѣдовалъ за дамами, которыя гуськомъ потянулись въ гостиную.

Въ гостиной сидѣли... Но прежде не мѣшаетъ сказать два слова о самой гостиной: большая комната, перегороженная рѣшетчатыми ширмами, обтянутыми позади дерева розовою тафтой; противъ ширмъ два широкія окна, обвитыя плющемъ, и стеклянная дверь на террасу, съ которой, по произволу, можно спуститься въ садъ, или любоваться видомъ дорожекъ и прудомъ съ плавающими на нихъ крашеными лебедями. Мебель, обтянутая шелковой красной матеріей, напоминаетъ гостинодворскаго Гамб-

са въ Москвѣ. Направо отъ ширмъ виситъ въ золотой рамѣ картина, изображающая роскошную нимфу, которая какъ-бы служитъ продолженіемъ извѣстной руки, намалеванной на извѣстномъ столбѣ, украшающемъ извѣстную ужъ дорогу; хозяинъ, а за нимъ, разумѣется, всѣ уѣздные знатоки утверждаютъ, однакожъ, что это Тиціанъ лучшаго времени. Мудренаго ничего нѣтъ, потому что нимфа досталась Аристарху Ѳедоровичу по прямой линіи отъ дѣда и бабки, а дѣдъ и бабка были люди не дюжинные, что и явствуетъ изъ двухъ портретовъ, изображающихъ господина и госпожу съ нѐмного косыми, но улыбающимися физіономіями, которыя украшались напудренными париками.

Но портреты висятъ въ кабинетѣ Аристарха Ѳедоровича, и намъ покуда нѣтъ до нихъ никакого дѣла.

На кушеткѣ, прислоненной къ ширмамъ, „полулежала" хозяйка дома, Лизавета Семеновна... Я никогда не имѣлъ счастія посѣщать аристократическіе *салоны*, и потому смѣло пускаю въ ходъ выраженіе, употребляемое благополучными моими собратами по литературѣ, которые описываютъ большой свѣтъ, и, слѣдовательно, должны знать лучше меня всѣ его свычаи и обычаи—имъ и книги въ руки... Итакъ хозяйка полулежала на кушеткѣ; въ одной рукѣ ея былъ батистовый платокъ, другою обнимала она двухъ дѣтей; былъ еще третій ребенокъ, но онъ сидѣлъ у ногъ Лизаветы Семеновны, обутыхъ въ торжковскія туфли. Въ наружности Лизаветы Семеновны было дѣйствительно что-то привлекательное. Она была худощава, задумчива и блѣдна, какъ восковая фигура. Плавность и медленность движеній, утомленіе въ чертахъ и во взорахъ—словомъ, все подходило, какъ нельзя лучше, подъстать героинямъ, которыхъ такъ любятъ изображать вышеупомянутые мои собраты-писатели.

Она говорила нѣсколько въ носъ и протяжно; обстоятельство это довершило бы окончательно сходство, если бъ все сказанное нами не касалось исключительно одного внѣшняго впечатлѣнія, производимаго наружностью Лизаветы Семеновны. Стоило прожить день въ домѣ Балахнова, чтобъ убѣдиться, что она нимало не обнаруживала въ себѣ аристократическихъ качествъ, какими снабжаютъ обыкновенно героинь извѣстныхъ повѣстей и романовъ; оказывалось на повѣрку, что это была женщина самая простая, скромная, добродушная, отличавшаяся полнѣй-

шимъ отсутствіемъ такъ-называемыхъ свѣтскихъ прелестей и очарованій. Балахнова принадлежала къ числу тѣхъ тихихъ и сердечныхъ женщинъ, для которыхъ вся жизнь, все счастіе—подлѣ родного очага, въ тѣсномъ кругу родныхъ и дѣтей; каждому, мало-мальски наблюдательному человѣку сдѣлалось бы очевиднымъ, что наружные признаки барыни были ей невыносимо тягостны и появлялись, какъ неизбѣжная дань требованіямъ Аристарха Ѳедоровича, полагавшаго, что полулежачее состояніе на кушеткѣ, батистовый платокъ въ правой рукѣ и т. д., составляютъ главную несомнѣнную принадлежность каждой свѣтской дамы. Усилія бѣдной женщины казаться любезною съ многочисленными гостями, наполнявшими безвыѣздно домъ мужа, напряженное вниманіе и участіе, сквозь которыя невольно проглядывала тоска и усталость, показывали, что не было малѣйшаго сродства между нею и обществомъ, которымъ любилъ окружать себя Аристархъ Ѳедоровичъ. Мирная, семейная жизнь была ея назначеніемъ; но что же прикажете дѣлать? Аристархъ Ѳедоровичъ любилъ жить открыто, любилъ принимать гостей и требовалъ, чтобъ жена не только блистала между помѣщицами своего уѣзда, но даже затмевала ихъ своимъ аристократизмомъ. Надо было уступать ему и, какъ говорятъ французы, faire bonne mine à mauvais jeu.

Подлѣ нея, поджавъ ножки, сидѣла компаньонка, тридцатилѣтняя дѣвица Розалія Владиміровна Сараманаева. Все въ ней было какъ-то коротко, кругло и крупно: лицо, носъ, голова, талія, руки и даже глаза—водянистые, но страстно-томные, поминутно закатывавшіеся къ потолку. Гостиная, въ которой тишина прерывалась отдаленнымъ щелканьемъ бильярдныхъ шаровъ, раздававшихся гдѣ-то въ другой комнатѣ, наполнилась восклицаніями, какъ только гости переступили порогъ залы.

— Mesdames, какъ я рада... сказала Лизавета Семеновна, протягивая руки г-жѣ Кошкиной и стараясь придать своему лицу самое веселое выраженіе.—Что это, какъ давно васъ не видать!.. продолжала она, обращаясь привѣтливо къ тремъ Кокуркинымъ, которыя цѣловались съ дѣвицей Сараманаевой.—Здравствуйте, Семенъ Семенычъ, заключила Балахнова, принужденно касаясь губами къ желтой, сухощавой щекѣ Кошкина, который цѣловалъ усердно ей руки.

Встрѣтивъ взглядъ мужа, слѣдившій во все это время

за всѣми ея движеніями, Лизавета Семеновна поспѣшила усадить подлѣ себя жену Кошкина и еще привѣтливѣе улыбнулась тремъ барышнямъ, которыя принялись хоромъ восхищаться дѣтьми, какъ-будто видятъ ихъ въ первый разъ.

— А гдѣ же Володя? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, когда общество успокоилось и усѣлось.

— Онъ, кажется, въ дѣтской, книжку читаетъ, сказала дѣвица Сараманаева, вращая своими глазами—круглыми, какъ глаза совы.

— Удивительный мальчикъ! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, дергая за колокольчикъ,—день-деньской сидитъ за книгами, оторвать трудно! Позвать сюда Владиміра Аристарховича! прибавилъ онъ, обращаясь къ вошедшему лакею.—Да вотъ какъ, я вамъ скажу, продолжалъ Балахновъ:—разъ была у насъ елка, этому три года; дѣтей было множество; предоставлялось каждому выбирать игрушки: кто за барабанъ, кто за лошадей, кто за солдатиковъ; ухватился мой Володя за азбуку съ картинками, не разлучался съ ней весь вечеръ и даже легъ съ нею спать...

— Ахъ, Боже мой, въ такія лѣта!.. что̀ это за прелестный и умный ребенокъ! проговорили въ одинъ голосъ Кокуркины.

— Конечно; но въ его лѣта такая страсть можетъ быть пагубою, замѣтилъ г. Кошкинъ, поправляя локоны черненькаго прилизаннаго парика и обращаясь съ приторною улыбкой къ хозяйкѣ дома, — раннее развитіе истощаетъ силы ребенка; ему надо хорошенько набѣгаться, нарѣзвиться...

— Я самъ того же мнѣнія, братецъ, и не разъ говорилъ женѣ; но что прикажешь дѣлать съ этими дамами! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, перегибая черезъ кушетку женину руку и цѣлуя ее нѣсколько разъ сряду.

— О-охъ, всѣ маменьки таковы! замѣтилъ Семенъ Семеновичъ, посылая нѣжный взглядъ женѣ, которая отвѣтила ему кислою улыбкой.

Вмѣсто возраженія, Лизавета Семеновна отвернулась отъ г. Кошкина и начала разговаривать съ сосѣдкой.

Въ эту минуту въ гостиной появился мальчикъ лѣтъ восьми. Худощавое лицо его, блѣдное и гладкое, какъ слоновая кость, отличалось необыкновенною правильностью и было схоже, какъ двѣ капли воды, съ лицомъ его ма-

тери: та же чистота и нѣжность линій, та же доброта въ очертаніи губъ, и только глаза ребенка, черные и глубоко-заключенные въ своихъ впадинахъ, отражали энергію и смѣлость, какихъ не видно было въ тускломъ и тихомъ взорѣ его матери. Мальчикъ былъ жидокъ и прямъ какъ тростинка; черная суконная курточка и бѣлые, какъ снѣгъ, воротнички рубашки, обозначая еще рѣзче матовую бѣлизну его длинной шеи, придавали всей физіономіи ребенка что-то невыразимо милое и привлекательное.

— А! рекомендую вамъ, mesdames, восьмилѣтняго ученаго и будущаго владѣтеля Ханскихъ-Прудовъ! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, самодовольно указывая на сына.

— А! воскликнулъ Кошкинъ и вслѣдъ за нимъ Кокуркины и госпожа Кошкина.

Услыша такое привѣтствіе, мальчикъ поклонился гостямъ, но не тронулся съ мѣста и обнаружилъ легкое смущеніе.

— Здравствуй, Володя; подойди, душенька, ко мнѣ; развѣ ты не узналъ меня? сказалъ Кошкинъ, улыбаясь.

Мальчикъ не тронулся съ мѣста, взглянулъ на мать, которая кивнула ему головою, и поклонился во второй разъ.

— Нѣтъ, онъ просто не узнаётъ меня. Вотъ какъ скоро забываютъ друзей! произнесъ Кошкинъ съ наивнымъ сожалѣніемъ и шутливо покачалъ при этомъ головою. Володя, безъ дальнихъ объясненій, сдѣлалъ шагъ впередъ, чтобы приблизиться къ матери, но взглядъ отца приковалъ его на мѣстѣ. Лицо ребенка покрылось румянцемъ; онъ робко опустилъ глаза и молча принялся цѣловаться съ гостями. Когда очередь дошла до Кошкина, нуженъ былъ второй взглядъ отца, чтобъ заставить Володю подставить свою щеку къ синеватымъ губамъ Семена Семеныча. Исполнивъ это съ очевиднымъ неудовольствіемъ, мальчикъ тотчасъ же направился къ кушеткѣ, и, обвивъ руки матери, скрылся за ея спиною.

— Ну, что? какъ? откуда? отчего? что новаго?.. послышалось вдругъ батальнымъ огнемъ.

Вопросы эти, приправляемые кой-какими взглядами и улыбками, обращались преимущественно къ Кокуркинымъ.

— Въ село Голодаевку пріѣхалъ наконецъ новый помѣщикъ, начала Варвара Андреевна, старшая Кокуркина, вынимая изъ ридикюля вязанье.

— Ба! когда жъ онъ пріѣхалъ? спросили въ одно время

Кошкинъ и Балахновъ. Взгляды послѣдняго сдѣлались попрежнему чрезвычайно мягки и любезны.

— Во вторникъ, на прошлой недѣлѣ, подхватила Надеженька, подталкиваемая сестрами, которыя, очевидно, употребляли всѣ средства, чтобъ выставлять ее впередъ.

— Утромъ, въ двѣнадцать часовъ, перебила средняя сестра, которая успѣла ужъ усѣсться за особымъ столомъ съ младшими дѣтьми Балахновой и дѣлала имъ пѣтушковъ изъ губернскихъ вѣдомостей.

— Что это вы, сестрица, слова не дадите сказать? что̀ это у васъ за привычка? произнесла старшая, Варвара Андреевна, поворачиваясь къ столу, гдѣ дѣлались пѣтушки.

— Ну-съ, Варвара Андреевна, что-жъ это за человѣкъ? что говорятъ по крайней мѣрѣ? Во-первыхъ, скажите намъ, кто онъ такой? спросилъ Балахновъ, сдерживая улыбку.

— Фамилія его Бобоховъ... у него десять милліоновъ! подхватила средняя сестра.

— Что это вы, въ самомъ дѣлѣ, сестрица? замѣтила опять съ укоромъ Варвара Андреевна.

— Виновата, сестрица, виновата.

— Во-первыхъ, начала Варвара Андреевна, — нужно вамъ сказать, что онъ богачъ страшный, зовутъ его Иванъ Дормидонычъ; служилъ онъ, говорятъ, гдѣ-то въ полку, но служилъ недолго и вышелъ въ отставку...

— Корнетомъ, подхватила Вѣра Андреевна, подымая голову.

Варвара Андреевна строго взглянула на сестру.

— Ба! такъ, стало быть, онъ еще молодой человѣкъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Молодой человѣкъ и, говорятъ, красавецъ.

— И не женатъ?

Дѣвица Сараманаева притаила дыханіе.

— Какой женатъ! ему всего, сказывали мнѣ, двадцать-пять лѣтъ, а ужъ какъ богатъ—восемь милліоновъ!

— Десять, сестрица!

— Нѣтъ, восемь!

— Повѣрьте мнѣ, десять! Мнѣ говорилъ это приказчикъ Фанагоріи Петровны, который очень хорошо знаетъ дѣла Бобохова...

— Ну, это почти все равно, десять ли милліоновъ, восемь ли... состояніе прекраснѣйшее... Кто-жъ былъ его

отецъ? Бобоховъ... Бобоховъ... я что-то не помню этой фамиліи, пробормоталъ Аристархъ Ѳедоровичъ, значительно подымая брови.

— И не припомните, Аристархъ Ѳедоровичъ; отецъ его былъ просто купецъ.

— Совсѣмъ не купецъ, сестрица... Какъ бишь ихъ... ахъ, Боже мой!.. Ну, вотъ, что серебро и золото добываютъ?..

— Сами не знаете, а перебиваете! замѣтила Варвара Андреевна, поворачиваясь спиною къ сестрѣ. — Просто купецъ, купецъ, который торговалъ желѣзною и мѣдною рудою... первый, говорятъ, былъ богачъ во всей Сибири.

— Все это прекрасно, возразилъ недовѣрчиво Кошкинъ.—Но, согласитесь сами—восемь милліоновъ... тутъ нѣтъ ли чего-нибудь такого...

— Помилуйте, Семенъ Семенычъ, продолжала старшая Кокуркина,—могу васъ увѣрить, что это истинная правда; управитель Фанагоріи Петровны знаетъ очень хорошо его семейство; однихъ процентовъ, говорятъ, старуха-мать Бобохова получаетъ изъ Опекунскаго Совѣта триста тысячъ.

— А! такъ вотъ что! Тутъ, стало-быть, и мать есть... Ну, въ такомъ случаѣ восемь милліоновъ принадлежатъ, можетъ-быть, покуда еще ей, а не сыну.

— Точно, Аристархъ Ѳедоровичъ, отецъ все завѣщалъ ей; но изъ всѣхъ дѣтей (у нея было девять человѣкъ) нашъ новый сосѣдъ ея любимецъ; она, говорятъ, ни въ чемъ ему не отказываетъ. Ужъ какъ, говорятъ, живетъ: помните домъ въ Голодаевкѣ—узнать нельзя; мы проѣзжали мимо: вездѣ подмостки, вездѣ стройка. На уборку одного дома пошло, говорятъ, пятьдесятъ тысячъ! Сказывали, театръ построилъ; привезъ съ собою цѣлый оркестръ музыкантовъ...

— Ужъ эти parvenus! сказала Анна Васильевна Кошкина, презрительно отворачивая голову.—Сынъ какого-нибудь купчишки, а тоже хочетъ разыгрывать роль grand seigneur!

Позвольте поставить здѣсь скобки и сдѣлать крошечное отступленіе. Не страннымъ ли противорѣчіямъ подвержена душа человѣческая? Намъ достовѣрно извѣстно, напримѣръ, что, пять лѣтъ тому назадъ, когда Анна Васильевна Кошкина не была еще замужемъ, ей и въ голову не пришло бы обнаруживать столько презрѣнія къ новопріѣзжему „parvenu"! Могу ручаться всѣмъ, чѣмъ вамъ угодно, что

дѣвственное сердце ея забило бы сильнѣйшую тревогу при одной мысли протанцовать французскую кадриль съ Бобоховымъ. Препятствія со стороны отца и матери (я предполагаю препятствія возможными въ томъ случаѣ, разумѣется, если бъ papa и maman „не навѣрно“ извѣстно было о существованіи восьми милліоновъ), препятствія ровно ничего бы не сдѣлали: дочка влюбилась бы по уши въ молодого помѣщика; мгновенная страсть ея подавила бы въ ея сердцѣ всѣ предубѣжденія, и она восторженно протянула бы свои хорошенькія ручки Бобохову. Все это такъ справедливо, что даже теперь, когда нельзя было вернуть прошлаго и предстояло довольствоваться незначительнымъ состояніемъ г. Кошкина, вѣсть о прекрасномъ молодомъ человѣкѣ съ восемью милліонами ущипнула за сердце Анну Васильевну. Да вотъ какъ: будь она дома, господину въ золотыхъ очкахъ не избѣгнуть бы сцены, уснащенной упреками. И въ самомъ дѣлѣ, кто велѣлъ ему свататься пятью годами раньше? Никто не просилъ. Его сто-пятьдесятъ душъ не диковинка какая-нибудь!

— Что съ вами? Не больны ли вы? спросила Анна Васильевна Кошкина, неожиданно наклоняясь къ Лизаветѣ Семеновнѣ, которая прищурила глаза и опустилась на спинку кушетки.

— Нѣтъ, ничего; меня безпокоитъ немножко этотъ бильярдъ...

— Позвольте, я тотчасъ же... кто тамъ играетъ?.. произнесъ Кошкинъ, вставая съ мѣста.

— Не безпокойся, братецъ; я сейчасъ позвоню, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, дергая за шитый гарусный бандо, висѣвшій подлѣ нимфы,—это потѣшаются Дрянковъ и Конковъ. Ты бы давно сказала, душенька; охота церемониться! прибавилъ онъ, нѣжно прикладываясь къ жениной рукѣ.—Эй! скажи тамъ, чтобъ они перестали играть на бильярдѣ! Ну, а что̀, Варвара Андреевна, что̀ говорятъ, каковъ этотъ Бобоховъ, то-есть, собственно какой у него характеръ? Милліоны его, разумѣется, недурны; но вы знаете мое мнѣніе: драгоцѣннѣе человѣкъ безъ богатства, чѣмъ богатство безъ человѣка! заключилъ Балахновъ, торжественно опускаясь въ кресло.

— Покуда ничего еще не знаю; впрочемъ, вы сами его скоро узнаете: онъ, слышала я, хочетъ сдѣлать вамъ первый визитъ.

— Очень радъ, милости просимъ, проговорилъ разсѣянно Аристархъ Ѳедоровичъ,—что̀ скажешь, Захарычъ?!..

Съ такими словами обратился онъ къ вошедшему толстенькому господину на коротенькихъ ножкахъ, съ стерляжьей физіономіей и плоскими, какъ щепки, волосами, круто зачесанными на вискахъ. Цвѣтной галстукъ, такой же жилетъ и поистертый сюртучокъ травяно-зеленаго цвѣта составляли его одежду. Это былъ Прокисай Захарычъ Копковъ, бѣдный однодворецъ, проживавшій изъ милости въ домѣ благотворительнаго Аристарха Ѳедоровича. Балахновъ, Кошкинъ и жена его переглянулись и устремили глаза на младшую Кокуркину, которая скромно опустила глаза и зардѣлась, какъ только показался проживальщикъ. Шаркнувъ правымъ сапогомъ и раскланявшись, какъ подобаетъ всякому учтивому кавалеру, Прокисай Захарычъ сдѣлалъ шагъ впередъ и замялся.

— Что скажешь, милѣйшій? повторилъ Балахновъ.

— А что, просто жить нельзя! воскликнулъ съ комическимъ отчаяніемъ проживальщикъ, обнаруживая на старческомъ лицѣ своемъ крайнее неудовольствіе.

Присутствующіе, кромѣ трехъ барышень, разразились громкимъ смѣхомъ.

— Что-жъ такъ? Вѣрно, опять поссорился съ Дрянковымъ? сказалъ Балахновъ.—Вотъ, Семенъ Семенычъ, не могутъ они, братецъ, жить у меня въ ладу; поселились въ одной комнатѣ, спятъ почти вмѣстѣ, а день-деньской идетъ перепалка; только и дѣлаемъ, я да жена, что миримъ ихъ... Ну, ну, что̀ у васъ тамъ еще?

— Помилуй, Аристархъ Ѳедорычъ, жить нельзя! продолжалъ Копковъ, дѣлая отчаянные жесты.—Этотъ проклятый Дрянковъ проигрываетъ мнѣ двѣ недѣли, проигралъ мнѣ и сегодня, а платить не хочетъ... У него, говоритъ, какая-то шкатулка съ секретомъ; ключъ, говоритъ, потерялъ, а отпереть ее можно только въ Петербургѣ. Сдѣлайте милость... этакъ жить нельзя!..

Раздался новый взрывъ хохота, въ которомъ попрежнему не приняли участія Кокуркины.

— Ну, хорошо, хорошо, я поговорю съ нимъ, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ тономъ человѣка, который очень доволенъ тѣмъ, что ему и гостямъ его доставили случай посмѣяться.—А насчетъ Бобохова, прибавилъ онъ, обращаясь къ Варварѣ Андреевнѣ,—скажите, если приведется

случай, что я всегда радъ принять его; домъ мой, какъ вы знаете, открытъ для каждаго благомыслящаго человѣка.

— А знаешь ли новость? перебилъ Кошкинъ.—Вѣра Андреевна сообщаетъ, будто новый нашъ сосѣдъ, несмотря на свою молодость и богатство, скряга отъявленный!

— Э!..

— Такъ всѣ говорятъ, подтвердила средняя Кокуркина.

— Fi, quelle vilenie! произнесла Кошкина, поворачиваясь къ хозяйкѣ дома.

— Что жъ тутъ такого? Я, признаться, ожидалъ этого, сказалъ Кошкинъ. —О, происхожденіе и первоначальное воспитаніе много значатъ, что̀ тамъ ни говори!

— Къ несчастью, въ нашъ серебролюбивый вѣкъ все уступаетъ мѣсто туго-набитому карману, любезный другъ, возразилъ съ достоинствомъ Аристархъ Ѳедоровичъ.— Нынче, посмотришь, богатый фабрикантъ или мебельщикъ живетъ блистательно! О-о-хо-хо. Да, другъ, кошелекъ замѣнилъ все... присовокупилъ онъ, бросая грустный взглядъ на Тиціанову нимфу, напоминавшую ему достославнаго его дѣда; а дѣдъ Аристарха Ѳедоровича, нужно замѣтить, былъ самъ чѣмъ-то въ родѣ разбогатѣвшаго однодворца. Онъ подавилъ новый вздохъ, обвелъ значительнымъ взглядомъ общество, приподнялся съ своего мѣста, обнялъ Семена Семеновича и потрепалъ его по плечу рукою; затѣмъ онъ подошелъ къ кушеткѣ, нѣжно поцѣловалъ жену въ голову и повлекъ своего друга изъ гостиной.

II.

Аристархъ Ѳедоровичъ выставляется въ настоящемъ свѣтѣ.—Читатель знакомится съ замѣчательными личностями.

Въ темномъ коридорѣ, раздѣлявшемъ домъ на двѣ половины, находилось множество дверей, которыя вели въ разныя комнаты. Въ числѣ этихъ комнатъ первое мѣсто занималъ, по всей справедливости, кабинетъ Балахнова. Аристархъ Ѳедоровичъ хорошо даже дѣлалъ, что гордился этой комнатой, потому что въ ней помѣщались рѣдкости, въ самомъ дѣлѣ достойныя вниманія. Такъ, напримѣръ, на тумбѣ краснаго дерева, выложенной мѣдными полосками, въ видѣ жолобковъ, величественно возносился сапогъ Карла XII. Читателю, вѣрно, не разъ случалось видѣть тотъ же сапогъ въ разныхъ собраніяхъ

рѣдкостей, но Балахновъ имѣлъ основательныя причины питать въ душѣ своей твердую увѣренность, что сапогъ, у него находившійся, былъ подлинникъ: другіе сапоги Карла XII, разсѣянные по собраніямъ рѣдкостей, называлъ Аристархъ Ѳедоровичъ жалкими поддѣлками, возбужденными презрительною и вмѣстѣ съ тѣмъ гнусной спекуляціей. Двѣ этрурскія вазы, вышедшія изъ искусныхъ рукъ братьевъ Корниловыхъ, страусовое яйцо, окруженное чучелами колибри, зубъ мамонта—достославный образчикъ допотопнаго животнаго, найденный случайно крестьяниномъ Иваномъ Костылевымъ, пахавшимъ ниву, прилежащую къ землямъ Ханскихъ-Прудовъ, и множество еще другихъ рѣдкостей, приводившихъ въ справедливое изумленіе сосѣдей и сосѣдокъ, окружали стѣны кабинета. Но человѣкъ, которому хотѣлось бы скорѣе ознакомиться съ самимъ хозяиномъ, долженъ былъ прежде всего обратиться къ письменному столу. Посреди стола возвышался въ бархатной оправѣ портретъ Балахнова, писанный акварелью. Аристархъ Ѳедоровичъ, искусно драпированный въ архалукъ, упирался одною рукою въ кипу книгъ съ надписью на корешкѣ „законы“, другая рука его держала свертокъ пергамента. Откидные воротнички рубашки, обнажавшіе шею, открытая грудь и горделивая, полная достоинства осанка придавали всей фигурѣ что-то такое, что невольно напоминало статуи Лѣтняго сада, изображающія доблестныхъ миѳологическихъ героевъ. Внизу портрета бросалась въ глаза надпись: „стою за правду!!“ Столъ былъ заваленъ грудами бумагъ, прижатыхъ множествомъ прессъ-папье, между которыми особенно бросалась въ глаза бронзовая Ѳемида. Кабинетъ, обставленный пестрою мебелью, отличался просторомъ и выходилъ своими тремя окнами на извѣстный уже дворъ.

— Нѣтъ, любезный другъ, не можетъ быть иначе! воскликнулъ съ горячностью Аристархъ Ѳедоровичъ, продолжая разговоръ, начатый еще въ залѣ.—Стоялъ, стою и, пока душа держится въ тѣлѣ, буду стоять за правду. Чувство гнуснаго, чернаго лицемѣрія и шипящей злобы чуждо меня!... Не думаешь ли ты, что я поступаю такимъ образомъ изъ ненависти къ этому... нѣтъ! Всякому благородному человѣку подобаетъ срывать личину и обнажать истину: такова задача всей моей жизни...

— Что жъ пишетъ тебѣ этотъ старый чудакъ? спросилъ Кошкинъ, обнаруживая страстное участіе.

— Ха, ха, ха!.. разразился Аристархъ Өедоровичъ тѣмъ истерическимъ смѣхомъ, какой зрители Александринскаго театра слышатъ каждый разъ въ третьемъ дѣйствіи „Гамлета“.—Ха, ха, ха! представь: предлагаетъ мнѣ снова примириться съ человѣкомъ... съ человѣкомъ, повторилъ Балахновъ, переводя одышку,—съ человѣкомъ, который на-дняхъ еще оклеветалъ меня наигнуснѣйшимъ образомъ... Кошкинъ закинулъ руки за спину, сжалъ губы и съ озабоченнымъ видомъ принялся расхаживать по кабинету.

— О, люди, люди! страшно мнѣ за нихъ, любезный другъ, Аристархъ Өедоровичъ! произнесъ онъ, наконецъ, останавливаясь неожиданно передъ Балахновымъ, — страшно! И въ самомъ дѣлѣ, какъ подумаешь, что этотъ самый Солонеевъ, что эти самые люди, которые наперерывъ тѣснились въ твоемъ домѣ, ѣли твой хлѣбъ, пили твои прекрасныя вина, спали на твоихъ тюфякахъ— теперь увиваются всячески подлѣ врага твоего, льстятъ ему и поклоняются!... прибавилъ господинъ въ золотыхъ очкахъ, бросаясь отчаянно въ кресла.

Онъ видимо былъ возмущенъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тронутъ чернымъ, неблагодарнымъ поступкомъ общества противъ Аристарха Өедоровича. Кисло-горькое выраженіе появилось на желтомъ, болѣзненномъ лицѣ Кошкина: онъ судорожно поправилъ очки и устремилъ на друга долгій, полный умиленія взглядъ. Горькая улыбка тоже бродила на тонкихъ губахъ Балахнова, но то была улыбка человѣка, глубоко сознающаго свое высокое достоинство, глубоко проникнутаго своимъ превосходствомъ и чувствующаго вмѣстѣ съ тѣмъ, что свѣтъ и люди не оцѣнили его.

— Другъ! воскликнулъ Аристархъ Өедоровичъ, замѣтивъ слезу сквозь очки Кошкина, — другъ, ты мыслишь благородно!...

Онъ простеръ впередъ руки, Кошкинъ рванулся съ креселъ, и оба заключили другъ друга въ объятія.

— Нѣтъ! человѣкъ съ возвышенной душой долженъ считать себя выше оскорбленій слабаго и прощать ихъ! сказалъ мужественно Балахновъ.—А впрочемъ, прибавилъ онъ, судорожно закусывая губы,—дѣло еще не рѣшено. Я не унываю: ты, Окатовъ, наконецъ... этотъ Бобоховъ... можетъ быть, нашего полку еще прибыло, и мы увидимъ!...

Такъ какъ разговоръ начался въ залѣ и притомъ сущность его уже нѣкоторымъ образомъ извѣстна Кошкину, читатель

простить небольшое отступленіе, необходимое, впрочемъ, для дальнѣйшаго хода предлагаемой повѣсти.

Дѣло вотъ въ чемъ: лѣтъ восемь назадъ, когда еще Ханскіе-Пруды именовались „Косыми-Журавлями", Аристархъ Ѳедоровичъ дѣйствительно игралъ нѣкоторую роль между помѣщиками своего уѣзда. Домъ его былъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ сосѣдей и преимущественно тѣхъ, которые были побогаче. Въ числѣ послѣднихъ являлся, по какому-то особенному случаю, чаще другихъ, нѣкто господинъ Солонеевъ, человѣкъ истинно порядочный и достойный. Дружба не была, однакожъ, продолжительна. Пріятели не сошлись въ какомъ-то незначащемъ пунктѣ, повздорили и разстались. Сказывали, впрочемъ, будто Солонеевъ пересталъ ѣздить въ Ханскіе-Пруды единственно потому, что *раскусилъ* наконецъ Аристарха Ѳедоровича; но дѣло вовсе не въ постороннихъ толкахъ и доводахъ. Ссора эта не имѣла бы, по всѣмъ вѣроятіямъ, никакихъ послѣдствій, если бъ она произошла, напримѣръ, хоть въ Петербургѣ: тамъ поссорившихся пріятелей предоставили бы на волю судьбы, и это самое могло бы легко способствовать къ ихъ примиренію; но въ провинціи, благодаря живому и вполнѣ радушному участію, какое обнаруживается къ чужимъ дѣламъ, все пошло иначе. Мало-помалу задушевныя тайны, сообщаемыя когда-то пріятелями другъ другу, переходя изъ устъ въ уста, распространились съ быстротою зажженнаго пороха по всему уѣзду. Загорѣлась война, и война страшная. Отъ личныхъ объясненій, преисполненныхъ желчи, перешли къ письменнымъ объясненіямъ, нелишеннымъ задирающаго краснорѣчія. Но этого только и добивался Балахновъ. Дѣлу стоило принять письменный оборотъ, чтобъ доставить ему полное торжество надъ врагомъ своимъ. Никто не владѣлъ перомъ лучше Аристарха Ѳедоровича, не говорю въ уѣздѣ, но даже въ цѣлой губерніи. Юморъ, тонкіе, двусмысленные намеки, заключающіе въ себѣ часто три и даже четыре смысла разомъ, природный даръ элоквенціи, глубокое изученіе офиціальной формы, какъ скоро касалось дѣловой бумаги— все соединялось въ этомъ необыкновенномъ человѣкѣ. Владѣя такими средствами, Балахновъ могъ, разумѣется, сокрушить самаго лютаго борзописца. Такъ и случилось: Солонеевъ замолкъ. Къ полному торжеству Балахнова присоединилось еще и то, что многіе сосѣди, не любившіе Солонеева за гордость, очутились на сторонѣ перваго.

Около этого времени предстояли выборы. Солонеевъ, нужно замѣтить, былъ единственнымъ гладіаторомъ, который могъ состязаться съ Балахновымъ на аренѣ честолюбія, именуемой выборами. Сокрушивъ соперника, Балахновъ, какъ тонкій дипломатъ, позаботился прежде всего поддержать къ нему непріязненныя чувства остальныхъ сосѣдей и сталъ твердой ногою посреди выгоднаго своего положенія. Въ душѣ его зароились тогда самыя жгучія и честолюбивыя надежды. Имѣя на сторонѣ своей бо́льшую часть сосѣдей, онъ могъ смѣло надѣяться быть выбраннымъ предводителемъ дворянства.

Чтобъ вѣрнѣе достичь своей цѣли, Аристархъ Ѳедоровичъ позаботился измѣнить обыкновенный свой образъ жизни; слѣдовало теперь зажить такъ, чтобъ ослѣпить, закружить, завертѣть и закормить весь уѣздъ. На этомъ основаніи, изъ четырехсотъ душъ онъ поспѣшилъ заложить двѣсти (другія двѣсти принадлежали его женѣ). Мѣсяцъ послѣ того, по Прудамъ (уже переименованнымъ въ Ханскіе) заплавали лебеди; изъ топкихъ болотъ поднялись фантастическія бесѣдки; на проселкахъ возникли пирамиды и обелиски; комнаты оклеились новыми обоями—все преобразовалось; тонкія вина полились рѣкою, и весь уѣздъ, упитанный изысканными яствами, заплясалъ въ большой залѣ подъ звуки нарочно выписаннаго оркестра.

Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшительно торжествовалъ, какъ вдругъ принеслось извѣстіе, что дядя Солонеева вернулся изъ путешествія и поселился въ богатыхъ своихъ помѣстьяхъ подлѣ племянника. Три тысячи душъ и титулъ князя, украшавшій этого дядю, нѣсколько озадачили Балахнова. Мрачное предчувствіе чего-то недобраго стѣснило его душу. Вскорѣ послѣ пріѣзда, князь задалъ балъ, въ которомъ приняли участіе всѣ мало-мальски замѣчательныя личности уѣзда. Глубокое знаніе человѣческаго сердца не обмануло Аристарха Ѳедоровича. За баломъ послѣдовалъ маскарадъ, въ которомъ снова участвовали прежніе его друзья. Блистательный князь объѣхалъ съ визитомъ всѣхъ почти сосѣдей (конечно, кромѣ Балахнова) и этимъ способомъ окончательно высказалъ свое мнѣніе объ Аристархѣ Ѳедоровичѣ.

Прошелъ мѣсяцъ, и домъ Балахнова сдѣлался исключительнымъ пристанищемъ незначащихъ помѣщиковъ и помѣщицъ, не удостоившихся чести быть приглашенными княземъ, или не получившихъ отъ него визита.

Поставленный такимъ образомъ въ враждебное отношеніе съ половиною уѣзда, Аристархъ Ѳедоровичъ не упалъ, однакожъ, духомъ. Обѣды и вечера продолжались попрежнему въ Ханскихъ-Прудахъ. Какъ бы тамъ ни было, но общество незначительныхъ помѣщиковъ все-таки, въ общей сложности, должно было превышать числомъ голосовъ враждебное общество. Съ такими-то надеждами Балахновъ поѣхалъ на выборы. Но кто опишетъ его ужасъ? чье перо возьмется передать ударъ, нанесенный его честолюбію, когда его забаллотировали, и на почетное мѣсто, такъ привѣтливо ему улыбавшееся, избранъ былъ Солонеевъ... Рука Аристарха Ѳедоровича, готовая уже протянуться врагу въ случаѣ удачи, вооружилась перомъ, упитаннымъ ядомъ. Письма Балахнова, наполненныя сарказмами и эпиграммами въ стихахъ и въ прозѣ, заходили въ числѣ многихъ экземпляровъ по уѣзду. Кой-какія лица, и особенно одинъ старенькій помѣщикъ, по имени Фуколъ Ивановичъ, движимые благородными порывами души, покусились помирить враговъ: все было напрасно. Желчь кипѣла ключомъ въ оскорбленномъ сердцѣ Балахнова, и не суждено ей было остывать десятки лѣтъ. Щелчокъ, полученный Аристархомъ Ѳедоровичемъ, казалось, придалъ ему еще болѣе энергіи. Онъ рѣшился прежде всего измѣнить планъ своихъ дѣйствій, и изъ открытой войны повелъ онъ войну тайную, огражденную траншеями и подкопами. Первымъ его дѣломъ было укрѣпить за собою окончательно своихъ приверженцевъ. Достигнуть этого было весьма не трудно: стоило только продолжать давать обѣды, вечера и празднества; слѣдовало, во всякомъ случаѣ, обнаруживать ко всѣмъ, въ равной степени, радушіе и гостепріимство. Завербовавъ въ свой отрядъ все, что не принадлежало обществу Солонеева, Балахновъ направилъ свои мысли на другой пунктъ. Для достиженія тайной цѣли, ему необходимо было придать себѣ болѣе вѣса въ уѣздѣ, собственно какъ владѣльцу. Для этого оказались нужными наличныя деньги; не раздумывая долго, Аристархъ Ѳедоровичъ заложилъ женины двѣсти душъ и принялся покупать прилежащія къ Ханскимъ-Прудамъ земли, лѣса, рощи и даже избенки; расчетъ былъ такого рода: „пускай себѣ все будетъ съ изъянцемъ, плоховато и шатковато, но зато всего будетъ много; мечется въ глаза только то, что видишь, изъянца никто не замѣтитъ!“ Слѣдуя такому хитрому предначертанію, Аристархъ

Ѳедоровичъ увѣренъ былъ, что восторжествуетъ со временемъ надъ враждебными сосѣдями. Онъ былъ твердо убѣжденъ, что, упираясь одной рукою на толпу приверженцевъ, другою на двухъ преданныхъ друзей, онъ легко возвратитъ проигранное сраженіе.

Мы забыли сказать, что въ числѣ помѣщиковъ, не получившихъ княжескаго визита, былъ нѣкто Николай Степановичъ Окатовъ. Окатовъ не жаловалъ князя за то, можетъ быть, что князь обнаруживалъ къ его особѣ такъ же мало уваженія, какъ къ особѣ Аристарха Ѳедоровича. На него-то особенно, какъ на богатаго и сильнаго человѣка, сравнительно съ настоящими друзьями, разсчитывалъ Балахновъ. Что жъ касается до второго друга, я думаю, и говорить нечего: читатель вѣрно догадался. Семенъ Семеновичъ Кошкинъ, кромѣ глубокаго уваженія и даже нѣкотораго благоговѣнія къ личнымъ достоинствамъ Аристарха Ѳедоровича (такъ по крайней мѣрѣ увѣрялъ всегда Кошкинъ), былъ, сверхъ того, сильно одолженъ помѣщикомъ: вскорѣ послѣ несчастной забаллотировки, владѣлецъ Ханскихъ-Прудовъ далъ Кошкину взаймы три тысячи, съ тѣмъ, что Кошкинъ могъ отдать ихъ когда захочетъ. Это обстоятельство естественнымъ образомъ еще сильнѣе скрѣпило узы дружбы между Балахновымъ и Кошкинымъ, къ совершенному отчаянію жены послѣдняго, которой страхъ хотѣлось блеснуть на балахъ князя. Аристархъ Ѳедоровичъ и тутъ не ошибся въ расчетѣ: онъ далеко видѣлъ! Онъ зналъ, что за три тысячи ему нигдѣ не найти лучшаго и болѣе преданнаго друга. Другъ нуженъ былъ ему — это пойметъ каждый. Дѣйствовать за себя въ настоящихъ обстоятельствахъ было бы крайне неловко и близоруко. Не безопаснѣе ли и вѣрнѣе вести атаку, имѣя въ виду брустверъ, за которымъ, въ случаѣ надобности, можно укрыться? Изъ этого слѣдуетъ, что тонкіе расчеты хитросплетеннаго свойства занимаютъ такое же точно мѣсто между проселочными дорогами, какъ и между торцовыми мостовыми и гранитными тротуарами.

Въ такомъ-то положеніи застаемъ мы Аристарха Ѳедоровича въ началѣ повѣсти.

— Что же отвѣчалъ ты Фуколу Иванычу? заботливо спросилъ Кошкинъ.

— Да, и отвѣчалъ, что старанія его напрасны. Вѣдь охота же, право, этимъ людямъ лѣзть въ чужія дѣла! Самъ на ладанъ дышитъ, а туда же! Отвѣчалъ, что не

въ обычаѣ моемъ измѣнять разъ принятому правилу; что дѣтямъ своимъ завѣщаю стоять за правду и не щадить порока. Впрочемъ, копія этого письма у меня... я прочту тебѣ. Въ ожиданіи, не мѣшаетъ тебѣ закурить сигару, добавилъ Балахновъ, подводя друга къ бюро и принимаясь отворять ящики, наполненные табакомъ и сигарами.—Здѣсь, здѣсь, бери отсюда, продолжалъ онъ, указывая на пачку сигаръ съ надписью: „nec plus ultra"—я знаю, ты ихъ любишь, и потому-то ящикъ этотъ всегда полонъ.

Заключивъ это искреннимъ пожатіемъ руки, Аристархъ Ѳедоровичъ подошелъ къ двери, повернулъ два раза ключъ въ замкѣ и сталъ перебирать бумаги, притиснутыя Ѳемидой.

Произведенія Балахнова, отличавшіяся новизною и животрепещущимъ интересомъ, находились всегда подъ бронзовой Ѳемидой, чтобъ, при случаѣ, прямо накладывать на нихъ руку.

Семенъ Семеновичъ успѣлъ, однакожъ, пустить къ потолку нѣсколько пуфовъ благовоннаго дыма nec plus ultra, пока пріятель его не усѣлся окончательно въ кресла съ бумагой.

Аристархъ Ѳедоровичъ кашлянулъ и взглянулъ на Семена Семеновича.

Семенъ Семеновичъ вынулъ изо рта сигару и обнаружилъ всѣ признаки крайняго нетерпѣнія, какъ будто дѣло шло о выслушиваніи духовнаго завѣщанія только что умершей бабушки. Но чтенію не суждено было начаться въ эту минуту. Лишь только Аристархъ Ѳедоровичъ направилъ глаза на бумагу, въ аллеѣ, тянувшейся къ дому, нежданно послышались звуки бубенчиковъ, сопровождаемые яростнымъ топотомъ коней, и во дворъ влетѣла телѣжка, запряженная тройкой. Тощій, бѣлокурый лакей и рыжій ямщикъ сидѣли на козлахъ. Въ телѣжкѣ стоялъ, вытянувшись молодецки во весь ростъ, дюжій, плечистый господинъ; онъ распѣвалъ какую-то удалую пѣсню и размахивалъ въ воздухѣ клѣтчатымъ платкомъ съ прорѣхою по серединѣ.

— Экой сумасшедшій! произнесъ Балахновъ, провожая глазами телѣжку, которая подкатывала къ крыльцу.

— Очень некстати! замѣтилъ Кошкинъ, прищуривая глаза.—Только помѣшаетъ намъ... Ручаюсь, что онъ заѣхалъ по дорогѣ къ какому-нибудь пріятелю и прибылъ къ тебѣ послѣ закуски...

— А жаль, братецъ, очень жаль! возразилъ Балахновъ, — добрый малый, честный малый! не будь у него слабости запускать за галстукъ, изъ него вышелъ бы... Я велю, однакожъ, сказать, что мы ушли въ садъ, и пока онъ будетъ искать, мы успѣемъ прочесть. Я съ нимъ, знаешь, братецъ, безъ церемоній...

Страшный ударъ въ кабинетную дверь прервалъ Аристарха Ѳедоровича.

— Отворяй! крикнулъ хриплый голосъ.

— Кто тамъ? произнесъ въ свою очередь Балахновъ.

— Я!..

— Кто ты?

— Я, Карачаевъ!

— Нельзя, отвѣчалъ Балахновъ полушутливо, полусерьезно.

— Отворяй, говорятъ! повторилъ голосъ, сопровождая слова новымъ ударомъ.

— Нельзя, говорятъ; здѣсь заняты дѣломъ.

— Ну, такъ я выломаю дверь, коротко и рѣшительно сказалъ гость, принимаясь дергать изъ всей мочи за ручку двери.

Не сомнѣваясь нимало, что Карачаевъ исполнитъ угрозу, Аристархъ Ѳедоровичъ отворилъ дверь кабинета.

— Ломаютъ двери въ конюшняхъ, а не у порядочныхъ людей, любезнѣйшій, сказалъ онъ, повертываясь спиною къ вошедшему.

— Че-е-во? произнесъ Карачаевъ, останавливаясь въ дверяхъ и запальчиво повертывая зрачками, тонувшими въ красныхъ, воспаленныхъ бѣлкахъ.

Карачаеву лѣтъ сорокъ. Лицо его правильно и могло бы быть красиво, если бъ не безобразили его красные, налитые кровью бѣлки и багровыя жилки, разсыпанныя какъ червячки по всей кожѣ. Онъ былъ высокъ ростомъ, статенъ, лысъ, но это былъ, однакожъ, не жиръ, а скорѣй опухлость, свойственная людямъ, употребляющимъ давно и крайне неумѣренно сердцекрѣпительные напитки. На немъ былъ сѣрый нанковый сюртукъ, застегнутый подъ ребрами ремнемъ съ металлическими бляхами. Широкіе нанковые шаровары довершали его одежду. Во всей наружности Карачаева, въ его походкѣ, движеніяхъ проглядывала какая-то безалаберная, безпутная удаль, смѣшанная, однакожъ, съ прямотою и добродушіемъ. Карачаевъ былъ дѣйствительно благороднѣйшій и честнѣйшій

малый; дурное воспитаніе и вслѣдъ затѣмъ дурное общество придали ему ту грязную и непривлекательную форму, въ которой представляется онъ теперь читателю. Безцеремонное обращеніе Карачаева съ Балахновымъ объяснялось тѣмъ, что послѣдній, согласно задуманному плану придать Ханскимъ-Прудамъ по возможности величественный видъ, купилъ у Карачаева землю; земля была единственнымъ достояніемъ Карачаева, и Аристархъ Ѳедоровичъ, благодаря, вѣроятно, безцеремонному обращенію, былъ ему о-сю-пору долженъ. Карачаевъ довольствовался пятью стами рублями, выдаваемыми ему въ годъ Балахновымъ. Впрочемъ, и безъ этихъ обстоятельствъ, заставлявшихъ Аристарха Ѳедоровича поневолѣ смотрѣть сквозь пальцы на выходки Карачаева, величавый помѣщикъ не избѣгъ бы фамильярности сосѣда. Карачаеву было совершенно все равно, гдѣ бы онъ ни находился; введите его въ первую гостиную, поставьте лицомъ къ лицу съ кѣмъ угодно, онъ нигдѣ не запнется и останется вѣренъ самому себѣ. Я готовъ биться объ закладъ, что если бъ вы ввели его на сцену передъ тремя тысячами зрителей, онъ не обнаружилъ бы ни малѣйшаго смущенія, приложилъ бы руку къ щекѣ и затянулъ бы первую попавшуюся ему на память пѣсню.

— Ну, какія у тебя тутъ дѣла? воскликнулъ онъ, подступая рѣшительно къ столу.

Внезапно Карачаевъ остановился, всплеснулъ руками и залился тоненькимъ, дребезжащимъ смѣхомъ:

— Кого я вижу! Кошкинъ! Вотъ, братъ, не чаялъ, не гадалъ! Сколько лѣтъ не встрѣчались... Сейчасъ заѣзжалъ къ тебѣ. А что, Анна Васильевна здѣсь?.. Ну, друзья! заключилъ онъ, бросаясь обнимать пріятелей,—поздравьте меня: я нынче именинникъ!

— Это по всему видно, смѣясь сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Че-е-во? произнесъ Карачаевъ, мгновенно измѣняя интонацію.

— Ну, хорошо, хорошо! перебилъ Балахновъ. — Если хочешь оставаться въ этой комнатѣ, садись и слушай.

— Изволь; что̀ дѣло, то дѣло; давно бы такъ! произнесъ съ готовностью Карачаевъ. — Ну, давай, начинай!.. Но прежде, écoute... вели-ка, братъ, дать водки...

— Нѣтъ, водки я тебѣ не дамъ; водку станешь пить передъ обѣдомъ, если хочешь...

— Ну, возразилъ Карачаевъ, махнувъ рукою, — давай хоть трубку или сигару.

— Вотъ это другое дѣло; кури сколько угодно; только пожалуйста, братецъ, сиди смирно! сказалъ хозяинъ, бросая ему сигару, которую тотъ подхватилъ на лету.

— Главное, не перебивай насъ, замѣтилъ Кошкинъ.

— Че-е-во?.. Послушай, Аристархъ Ѳедорычъ, что̀ это за сигара?

— Трабухосъ...

— Гм! не изъ тѣхъ ли, братъ, что продаются въ Петровскомъ паркѣ по пятаку серебромъ?..

— Чудакъ!.. Сто̀итъ давать тебѣ послѣ этого хорошія сигары...

— Нѣтъ; écoute; ужъ какъ ты хочешь, Aristarque, давай другую!..

— Хороша и эта для тебя!

— Ну, такъ къ чорту же васъ съ вашими трабухосами! запальчиво воскликнулъ Карачаевъ, бросая на полъ сигару и кидаясь сломя голову къ двери.—Иванъ! гаркнулъ онъ неистово.—Иванъ, трубку!

Въ кабинетъ явился сухощавый лакей съ вьющимися волосами пепельнаго цвѣта и веселымъ, беззаботнымъ лицомъ, тотъ самый, что̀ пріѣхалъ съ Карачаевымъ.

— Ступай распрячь лошадей! сказалъ Карачаевъ, взявъ изъ рукъ его дорожный чубучокъ,—да вели засыпать овса...

Онъ закурилъ трубку, распустилъ ременный поясъ и бросился на диванъ съ самымъ недовольнымъ видомъ.

— Скажи на милость, братецъ, съ чего ты бѣснуешься? Пошелъ бы, право, лучше въ гостиную, если тебѣ здѣсь не нравится...

— Стыдись, братецъ; тебѣ вѣдь безъ малаго сорокъ лѣтъ! прибавилъ вполголоса Кошкинъ.

— Ну, ну... нельзя ли этакъ, мораль, сильвуплѐ, въ сторону? прохрипѣлъ Карачаевъ, хмурясь и обнаруживая всѣ признаки раздраженнаго состоянія. — Читайте себѣ, читайте, я вамъ не помѣха; мнѣ теперь нѣтъ ни до чего дѣла... я и слушать-то не хочу!..

— Давно бы такъ! сказалъ Балахновъ, усаживаясь противъ Кошкина и расправляя складки письма.

— Стой! крикнулъ сердито Карачаевъ.—Мнѣ кажется, если ты намѣренъ читать, не мѣшало бы знать прежде сущность, то-есть о чемъ именно идетъ рѣчь—вотъ штука-то въ чемъ. Кажется, этого требуетъ даже учтивость...

— Вѣдь ты сказалъ, что не станешь слушать...

— Ну, что, братецъ, подмигивая шепнулъ Кошкинъ,— скажи ему... онъ безъ этого не уймется; ты видишь, въ какомъ онъ положеніи!

Балахновъ, видя невозможность унять Карачаева, объяснилъ ему въ короткихъ словахъ, кому назначается письмо и по какому поводу.

— А! Ну, вотъ это другое дѣло, душа моя! Теперь я могу судить, по крайней мѣрѣ. Читай! заключилъ Карачаевъ, опускаясь на локоть и насупивая брови съ видомъ дѣлового человѣка.

Аристархъ Ѳедоровичъ кашлянулъ и началъ:

„Милостивый государь, Фуколъ Ивановичъ.

„Получилъ я письмо ваше отъ такого-то сего мѣсяца. Но прежде, нежели приступлю къ отвѣту, да позволено будетъ мнѣ...“

— Нѣтъ ужъ, братъ, сдѣлай милость, аттанде-съ! Безъ этихъ финтифлюшекъ, пожалуйста. Что̀ за деликатесъ-жантильйомъ! Развѣ ты просишь милости какой у этого стараго хрыча миротворца? Зачеркни это! крикнулъ Карачаевъ.

— Замолчишь ли ты?.. нетерпѣливо вымолвилъ Балахновъ.

Карачаевъ махнулъ рукой, нахмурилъ брови, и Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ: „Да позволено будетъ мнѣ сдѣлать кой-какія умозаключенія, отнюдь не чуждыя, впрочемъ, настоящаго нашего дѣла. Всякій смертный, согласно дарованнаго ему щедротами природы свойства, живетъ по своему разумѣнію; лучшее (по-моему), что̀ можно сдѣлать въ сей юдоли земной—предоставить каждому жить какъ ему угодно...“

— Прекрасно! Прекрасная мысль! проговорилъ съ нѣжностью Кошкинъ.

— Хорошо; что-жъ дальше? отрывисто сказалъ Карачаевъ, крякнулъ и перевалился на другой бокъ.

„Какъ ему угодно“, продолжалъ съ улыбкой Балахновъ... „Теперь, взываю къ вамъ, м. г. Не понимаю, какія причины вынуждаютъ васъ споспѣшествовать къ примиренію моему съ помѣщикомъ Солонеевымъ, именуемымъ яко бы „врагомъ“ моимъ... Тамъ, гдѣ не было (и не могло быть) взаимныхъ дружескихъ отношеній, не можетъ, слѣдовательно, быть и распри. Такъ, по крайней мѣрѣ, указуетъ здравая логика. Если бъ даже можно предполагать о

существованіи подобныхъ дружескихъ отношеній, если бъ даже и были они въ дѣйствительности, то и тогда чувство долга и благородной справедливости (достоинства, долженствующія украшать каждаго изъ насъ), чувство долга и справедливости — говорю я — заставили бы меня быть безпристрастнымъ и обнаруживать истину. Не считая себя въ числѣ зоиловъ нашего уѣзда, я не могу и не долженъ равнодушно взирать на избраніе г. Солонеева вмѣсто достойнѣйшаго во всѣхъ отношеніяхъ отставного поручика Кошкина, заслужившаго честь и уваженіе, въ домашнемъ быту заслужившаго справедливую признательность за соблюденіе всѣхъ обязанностей свѣтскихъ и общественныхъ, всего благочинія и приличія...“

— Пре-восходно! пре-е-красно! воскликнулъ Карачаевъ, подпрыгивая на диванѣ.

Аристархъ Ѳедоровичъ остановился и взглянулъ на Кошкина.

Кошкинъ сидѣлъ въ какомъ-то раздумьи и былъ, казалось, глубоко тронутъ. Уловивъ взглядъ друга, онъ быстро протянулъ ему руку и прослезился.

— Читай! читай! крикнулъ Карачаевъ.

— Молчи и слушай. — „Тѣмъ болѣе возстаю противъ этого“ (продолжалъ читать торжественно Балахновъ), „что, благодаря Всевышнее Провидѣніе, сохраняющее меня всегда отъ противныхъ совѣсти дѣйствій, не принималъ участія въ избраніи его, Солонеева. Недостойное человѣка чувство лицемѣрія чуждо мнѣ. Шумъ, богатство, блескъ не оглушаютъ меня. Мыслю всегда громко, не щажу порока, защищаю слабыхъ и угнетенныхъ...“

— Прекрасно! пре-вос-ходно! Такъ, такъ, катай ихъ, катай! кричалъ Карачаевъ, восторженно размахивая чубукомъ.

Кошкинъ ограничился новымъ выразительнымъ пожатіемъ руки, и Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ:

„Защищаю... да, слабыхъ и угнетенныхъ, и пишу во всеуслышаніе міра. Нѣтъ, не пустыя людскія отношенія или несогласія вооружили меня противъ г. Солонеева; нѣтъ—чувство справедливости, глубоко оскорбленной избраніемъ его, вмѣсто достойнѣйшаго г. Кошкина. Громко вопіетъ справедливость противъ такого недостойнаго дѣла! Пока вышеупомянутый г. Солонеевъ будетъ служить преградою достойнѣйшимъ лицамъ, напрасны будутъ всѣ старанія утолить мои на него претензіи...“

Стукъ, раздавшійся въ дверяхъ, прервалъ Балахнова.

— Кто тамъ? неистово закричалъ Карачаевъ.

— Кушать пожалуйте...

— Вели немножко подождать, произнесъ Балахновъ.— Ну-съ, и такъ прошу дослушать: „Отъ души желаю, милостивый государь, чтобъ воспоминаніе объ истинѣ освѣтило мысли и чувства нашихъ сосѣдей — чувства, увы! затменныя лицепріятіемъ и земною тщеславною суетой. Есть солнце опыта, озаряющее росу надеждъ, которую я назову мечтою! Но мечта не всегда остается мечтою! Возлагая надежды на будущее, и твердо уповая въ неисповѣдимую волю судебъ, которая рано или поздно раскрываетъ истину, оставляю перо...

„Примите, милостивый государь, и такъ далѣе“.

— Браво! браависсимо! отлично! Пре-е-е-красно! вотъ штука-то въ чемъ! закричалъ Карачаевъ, бросаясь обнимать Балахнова, — поздравляю, братъ. Вотъ это по-нашему—отбрилъ лучше всякой бритвы! Ха-ха-ха! Ей-Богу!

— Позволь и мнѣ сказать, произнесъ въ свою очередь расчувствованный Семенъ Семеновичъ, — это... это, душа моя, безспорно, лучшее твое произведеніе; лучше этого... ты ничего еще не писалъ...

— А посланіе на другой день послѣ избранія Солонеева? возразилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, краснѣя отъ удовольствія.

— Да, согласенъ; но то, братецъ, въ другомъ родѣ...

— Я думаю, впрочемъ, какъ то, такъ и это пришлось имъ не по нутру! замѣтилъ Балахновъ съ великолѣпнымъ восхищеніемъ.

— Нѣтъ, постой, братъ, постой! сказалъ Карачаевъ, удерживая руку Балахнова, готовую спрятать письмо,— еще не все... нѣтъ, ты этимъ отъ меня не отдѣлаешься... Тутъ мнѣ не все нравится, вотъ въ чемъ штука-то. Я, братъ, сужу безпристрастно... Во-первыхъ...

— Во-первыхъ, пойдемъ обѣдать.

— Че-е-во?

— Обѣдать пойдемъ, заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, проталкивая Карачаева въ двери.

Онъ обнялъ Кошкина и вышелъ въ залу съ сіяющимъ лицомъ.

Выраженіе это, слѣдуетъ замѣтить, было нѣкоторымъ образомъ офиціальнымъ на лицѣ Аристарха Ѳедоровича. Какія бы страсти ни волновали его душу, онъ всегда

являлся передъ лицомъ свѣта полный достоинства и спокойствія. Никто не могъ дознаться, что̀ происходило внутри его. Такое рѣдкое умѣнье владѣть собою принадлежитъ, безспорно, людямъ, проникнутымъ насквозь сознаніемъ своего превосходства передъ всѣмъ, что̀ ихъ окружаетъ. И въ самомъ дѣлѣ, достойно ли было обнаруживать возвышенные порывы передъ какими-нибудь Кокуркиными, Карачаевыми и Сараманаевыми? Другое дѣло прочесть имъ письмо или бумагу, направленную съ цѣлью противъ какой-нибудь уѣздной личности: Аристархъ Ѳедоровичъ снисходилъ до этого, имѣя въ виду распространить сочиненіе и придать ему нѣкоторую популярность; Кокуркины и другіе замѣняли въ этомъ случаѣ лучшій, патентованный типографскій станокъ. Кромѣ такихъ случаевъ (довольно, впрочемъ, частыхъ), Аристархъ Ѳедоровичъ замыкался, такъ-сказать, внутрь самого себя и, смѣло можно утверждать, жилъ настоящею жизнью только въ своемъ кабинетѣ; кабинетъ и остальныя комнаты, куда безъ различія пускались всѣ гости, были для него тѣмъ же, что сцена и кулисы для актера. Переступивъ завѣтный порогъ, Балахновъ являлся радушнымъ, привѣтливымъ, веселымъ хозяиномъ; войдя въ кабинетъ, то-есть за кулисы, актеръ бросалъ маску и обращался весь къ благороднымъ помысламъ и честолюбивымъ мечтамъ своимъ.

И часто (Боже, какъ часто!) въ то время, когда десятка полтора помѣщиковъ и помѣщицъ безпечно кружились въ залѣ подъ звуки фортепьяно, Аристархъ Ѳедоровичъ, слѣдя тоскливымъ взоромъ по генеральной картѣ уѣзда, проклиналъ суетность и пустоту жителей этого уѣзда.

„Солонеевъ! Солонеевъ! гдѣ жъ послѣ этого правда и совѣсть?.. Достоинство... гм! гдѣ жъ достоинство...

О, Боже мой, кого себѣ избрали?
Когда подумаю: кого вы предпочли!..“

думалъ помѣщикъ, большой знатокъ и поклонникъ классической нашей литературы, и горькая улыбка судорожно пробѣгала по губамъ его, желчь кипѣла въ груди—и какъ еще кипѣла!..

Но Карачаевъ и слѣдовавшіе за нимъ Кошкинъ и Балахновъ были уже въ гостиной. Карачаевъ, перетянутый своимъ ременнымъ поясомъ, пріосанился, ускореннымъ шагомъ подошелъ къ хозяйкѣ дома и поцѣловалъ ея руку; потомъ пристукнулъ каблукомъ, поцѣловалъ руку Кошкиной и поклонился съ особенною любезностью дѣвицѣ

Сараманаевой, которая отвѣтила ему томнымъ взглядомъ и показала бѣлки свои. Когда Карачаевъ повернулся къ тремъ барышнямъ, Прокисай Захарычъ, стоявшій съ тоскливымъ выраженіемъ лица подлѣ Надеженьки, поспѣшилъ подать ему руку. Три сестрицы окружили Карачаева и засыпали его со всѣхъ сторонъ вопросами.

— Что это васъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ давно не видать, Павелъ Петровичъ?.. Гдѣ вы пропадали? спросила хозяйка дома.

— Я-съ? воскликнулъ Карачаевъ, ловко повертываясь на каблукѣ,—я гостилъ за шестьдесятъ верстъ, у Барабанчикова, метались всю весну съ борзыми...

— Экая удалая головушка! сказалъ, смѣясь, Кошкинъ, потрепавъ его по плечу.

Дамы засмѣялись.

Въ это время принесли закуску.

— Угощайтесь! угощайтесь! проговорилъ шутливо Балахновъ, давая мѣсто лакею и подносу. — Семенъ Семенычъ, совѣтую, братецъ, попробуй этой ветчины... я нарочно выписалъ ее изъ Петербурга; спасибо скажешь!

Гости окружили подносъ.

Карачаевъ выпилъ залпомъ двѣ рюмки „дорожной отрады" — водки, также выписанной, по словамъ Аристарха Ѳедоровича, прямо изъ Петербурга, крякнулъ, раскрылъ глаза такъ, что бѣлки чуть было не выкатились изъ своихъ впадинъ, повернулся молодцомъ къ хозяйкѣ дома и предложилъ ей руку. Но Кошкинъ, искусно нырнувъ между нимъ и кушеткой, предупредилъ Павла Петровича; тогда Карачаевъ бросился къ Кошкиной, но и тутъ перебилъ его Балахновъ. Карачаевъ предложилъ свои услуги дѣвицѣ Сараманаевой, и пары потянулись въ столовую, сопровождаемыя Кокуркиными, которыя принуждены были итти стадомъ, потому что Прокисай Захаровичъ, по робости своей, не смѣлъ предложить Надеженькѣ руку.

— Что̀ это вы сегодня, Розалія Владиміровна, не въ своей тарелкѣ... этакъ, знаете, chagrin votre coeur?.. сказалъ Карачаевъ, наклоняясь съ любезностью къ своей дамѣ.

Пухлое лицо дѣвицы Сараманаевой покрылось красными пятнами; она опустилась всею тяжестью на руку кавалера и, показавъ ему снова бѣлки свои, произнесла трепещущимъ голосомъ:

— Ужасный человѣкъ!.. жестокій человѣкъ!..

— Что вы?.. Я... ей-Богу, ничего... отвѣчалъ Карачаевъ, распяливая глаза.—Mesdames, вотъ вашъ place... à votre place... заключилъ онъ, усаживая подлѣ себя даму.—Аристархъ Ѳедоровичъ... э! нѣтъ, братъ, этого ужъ я не позволю. Ecoutez! не такъ у насъ дѣлается: дама подлѣ кавалера и кавалеръ подлѣ дамы—вотъ въ чемъ штука-то... такъ!.. А, литераторъ! Гдѣ ты былъ до сихъ поръ?..

Неожиданное это восклицаніе вырвалось у Карачаева, когда онъ усѣлся на свое мѣсто и глаза его встрѣтились съ глазами господина, сидѣвшаго vis-à-vis.

Vis-à-vis былъ Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ, второй проживальщикъ Балахнова, тотъ самый, что̀ игралъ на бильярдѣ съ Копковымъ. Ему суждена не послѣдняя роль въ предлагаемой повѣсти, и потому не мѣшаетъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Это былъ приземистый, коренастый мужчина упрямаго вида, съ вывернутыми ноздрями и вздернутымъ короткимъ носомъ. Черный, сухой и щетинистый волосъ покрывалъ угловатую его голову; два пучка щетины торчали на верхней губѣ его; нѣсколько морщинъ, проведенныхъ грубымъ, шероховатымъ рѣзцомъ по срединѣ лба и вдоль висковъ, придавали что-то рѣзкое и непріятное этой физіономіи. Аполлонъ Егоровичъ, по всему замѣтно, судилъ, однакожъ, иначе. Черный шелковый галстукъ, въ складкахъ котораго искусно были запрятаны прорѣхи, украшался воротничками рубашки изъ домотканнаго холста; лѣтній парусинный сюртучокъ, застегнутый на три верхнія пуговицы, позволялъ каждому любоваться пестрымъ жилетомъ съ мѣдными пуговками. Принимая въ соображеніе свои тридцать восемь лѣтъ, Дрянковъ рѣшительно не намѣренъ былъ пренебрегать своею наружностью. Онъ не терялъ надежды плѣнить какую-нибудь богатую вдову-помѣщицу и пристроиться самымъ комфортабельнымъ образомъ. Надо, однакожъ, сознаться, что съ этой стороны самолюбіе Аполлона Егоровича уступало другому роду самолюбія: онъ былъ литераторъ. Дрянковъ воспитывался въ одномъ заведеніи (хотя, признаться, трудно тому повѣрить) вмѣстѣ съ нѣсколькими молодыми людьми, сдѣлавшимися потомъ писателями. Духъ поэзіи, поселявшійся въ то блаженное время почти въ каждомъ смертномъ, не обошелъ Аполлона Егоровича безъ того, чтобы не прикоснуться воздушнымъ крыломъ своимъ къ угловатой головѣ его. Какой плодъ принесло это прикосновеніе и что̀

далѣе было — неизвѣстно; самъ Дрянковъ, когда разспрашивали его о прошломъ, часто путался и сбивался. Впрочемъ, прорванные сапоги Аполлона Егоровича, когда онъ въ первый разъ явился въ домъ Балахнова, ясно свидѣтельствовали, что литературный путь его скорѣе усѣянъ былъ терніемъ, чѣмъ цвѣтами. Явился онъ въ Ханскіе-Пруды слѣдующимъ образомъ: въ одинъ ненастный день подкатила къ подъѣзду телѣжка; изъ нея вылѣзъ ободранный тридцати-шестилѣтній господинъ и отрекомендовался хозяйкѣ, хозяину, которые, по случаю дождя, оставили его ночевать. На другое утро узнали изъ достовѣрныхъ источниковъ, что у пріѣзжаго не было рубашки. Лизавета Семеновна, тронутая такимъ положеніемъ, снабдила его бѣльемъ и уговорила провести еще день въ ея домѣ. Пріѣзжій заночевалъ какъ-то случайно еще одну ночь, потомъ другую, тамъ третью и, наконецъ, незамѣтнымъ образомъ остался въ домѣ. Обутый, согрѣтый, обласканный радушными хозяевами, онъ сдѣлался вскорѣ домашнимъ человѣкомъ наравнѣ съ Прокисаемъ Захаровичемъ, дѣвицею Сараманаевой и другими проживальщиками. Его одѣвали, кормили, поили и хотѣли даже пристроить къ выгодному мѣсту въ какую-то контору, но Дрянковъ отказался напрямикъ, не безъ основанія разсчитывая, что ему и тутъ хорошо. И въ самомъ дѣлѣ, крайне было бы глупо промѣнять сытные обѣды, мягкіе пуховики, сладкій far-niente или *ничего-недѣланье*, какъ говорится по-русски, эту ни съ чѣмъ не сравнимую беззаботность о матеріальныхъ нуждахъ, на безпокойную должность конторщика или управителя. Нѣтъ, лучше ужъ положительное, лучше синица въ рукѣ, чѣмъ журавль въ небѣ. Къ тому же литературный духъ воспріялъ новой силой въ согрѣтой душѣ Аполлона Егоровича. „Непризнанная Индѣйка“, повѣсть въ десяти главахъ, вышедшая изъ-подъ пера его ровно за годъ до начала описываемыхъ нами событій, служила тому яснымъ доказательствомъ. Но, къ несчастью,—кто бы могъ этому повѣрить?— „Непризнанная Индѣйка“ принесла своему родителю больше горя, чѣмъ радостей. Представьте себѣ положеніе *сочинителя*, брошеннаго судьбою въ кругъ людей, совершенно чуждыхъ эстетическаго развитія! Вмѣсто восторженныхъ рукоплесканій, „Непризнанная Индѣйка“ встрѣтила насмѣшки и, что еще хуже, равнодушіе. Аполлонъ Егоровичъ, подобно Аристарху Ѳедоровичу, замкнулся тогда

въ самомъ себѣ и, окруживъ свое сердце толстою оболочкою желчи, изливалъ ее, по надобности, на жалкихъ и ничтожныхъ смертныхъ, его окружавшихъ, начиная съ Прокисая Захаровича и кончая даже самимъ Балахновымъ и его женою. А между тѣмъ, не проходило дня, когда бъ Дрянковъ не лелѣялъ своего первенца, своей „Непризнанной Индѣйки". Вчитываясь постепенно въ свое произведеніе и открывая въ немъ каждый разъ болѣе и болѣе красотъ, Аполлонъ Егоровичъ естественно долженъ былъ возненавидѣть свѣтъ, не умѣвшій оцѣнить его; онъ страдалъ какъ человѣкъ, ибо въ послѣднее время, ко всѣмъ непріятностямъ и нравственнымъ пыткамъ, приходилось нерѣдко выпивать еще чашу горечи, подносимую ему хозяиномъ дома. Балахновъ провѣдалъ, что Аполлонъ Егоровичъ выразился о немъ не совсѣмъ прилично, сказалъ, что слогъ его напоминаетъ Памву-Берынду. Этого было довольно, чтобы жизнь Аполлона Егоровича сдѣлалась не совсѣмъ пріятною въ Ханскихъ-Прудахъ. Преслѣдуемый со всѣхъ сторонъ, окруженный кознями завистниковъ, непризнанный поэтъ проклиналъ день своего рожденія, проклиналъ всѣхъ и все, и даже грековъ, которые изображали музъ граціозными и привлекательными, тогда какъ на дѣлѣ, для него, по крайней мѣрѣ, оказались онѣ настоящими гарпіями.

Услышавъ привѣтствіе Карачаева, Дрянковъ кивнулъ небрежно головою и произнесъ отрывисто:

— Здравствуй, братецъ.

Такая фамильярность нисколько не удивительна со стороны проживальщика: Карачаевъ, какъ сказано выше, не любилъ церемоній и, наконецъ, самъ онъ былъ что-то въ родѣ проживальщика, ибо земля, проданная Балахнову, лишала его пріюта, и жилъ онъ какъ киргизъ, слоняясь изъ конца въ конецъ по губерніи.

— А, кстати, господинъ литераторъ! сказалъ съ язвительною улыбкой Аристархъ Ѳедоровичъ,—ко мнѣ поминутно приходятъ на васъ жалобы.

— Какія же это? спросилъ невозмутимо-спокойно авторъ „Непризнанной Индѣйки".

— Да вотъ, не далѣе часъ тому назадъ, Копковъ увѣрялъ, будто вы отказываетесь платить проигранныя ему деньги... У васъ, говорятъ, завелась тамъ еще какая-то шкатулочка, которую можно только отворить въ Петербургѣ... Ха-ха-ха!..

Аполлонъ Егоровичъ пробормоталъ что-то несвязное, прикусилъ зубами кусочки щетины на верхней губѣ и, принявъ разсѣянный видъ человѣка, который не намѣренъ слушать пустяковъ, погрузился весь въ созерцаніе жилетныхъ пуговицъ.

— Какъ? что это такое?... воскликнулъ Карачаевъ, проглатывая десятую рюмку „дорожной-отрады“ и страшно вращая воспаленными своими бѣлками, — ты денегъ не платишь Копкову! Ахъ ты литераторъ—littérateur!.. прибавилъ онъ, заливаясь тоненькимъ, носовымъ смѣхомъ,— ты думаешь, написалъ какую-нибудь... какъ бишь ее...

— „Непризнанная Индѣйка!“ подсказалъ Балахновъ.

— Да, „Непризнанную Индѣйку“, такъ ужъ ты и литераторъ...

— Странно, что люди, которые не понимаютъ слова „литература“, туда же пускаются разсуждать о литературѣ! проговорилъ Дрянковъ, небрежно поворачиваясь къ старшей Кокуркиной.

— Че-е-во? воскликнулъ Карачаевъ, выпивая, какъ бы въ разсѣянности, еще рюмку „дорожной-отрады“, которую нарочно ставили противъ него, чтобъ онъ только не прикасался къ другимъ, болѣе драгоцѣннымъ напиткамъ.— Я тебѣ дамъ литературу! Ты у меня будешь знать, какъ играть на бильярдѣ и не платить денегъ... вотъ-штука-то въ чемъ! Какая у тебя тамъ еще шкатулка?

— Полно, братецъ; вѣдь это совсѣмъ не остроумно и даже не смѣшно... сказалъ Дрянковъ, стараясь улыбнуться.

— Не остроумно! ха-ха-ха!.. А вотъ мы посмотримъ, что̀ ты заговоришь послѣ обѣда. Ахъ ты!.. mesdames, „pardonnez“ (Карачаевъ привсталъ и раскланялся на всѣ стороны): я погляжу, какъ ты не станешь платить денегъ Копкову!..

— Я держу сторону Копкова! смѣясь крикнулъ Балахновъ.

— Оставь его въ покоѣ, Аристархъ Ѳедорычъ! шепнула Лизавета Семеновна, наклоняясь къ мужу.

— О, ты еще не знаешь, какой неблагодарный этотъ Дрянковъ! отвѣчалъ Аристархъ Ѳедорычъ шопотомъ, но такъ, однакожъ, чтобъ могли слышать сосѣди. — Семенъ Семенычъ, вотъ ужъ это не по-дружески, душа моя, продолжалъ Балахновъ, наливая ему стаканъ вина,—а я еще нарочно велѣлъ раскупорить для тебя эту бутылку: знаешь ли ты, что̀ это за вино... ну, какъ ты думаешь?

Кошкинъ поднялъ съ озабоченнымъ видомъ стаканъ къ губамъ, пощелкалъ языкомъ и сказалъ, что не знаетъ.

— А это, братецъ, произнесъ съ разстановкою Аристархъ Ѳедоровичъ, — это шато-роз-пульякъ! я выписалъ всего полъ-ящика... Впрочемъ, Леве́ пишетъ, что больше не было на биржѣ въ Петербургѣ: восемь рублей бутылка!.. Чувствуешь ли, какая мягкость, какой букетъ... а?..

— Прекрасно, настоящій бархатъ! отвѣчалъ Кошкинъ, щелкая языкомъ.

— Ecoutez, передай-ка, братъ, мнѣ этого пульяку-то! крикнулъ Карачаевъ.

— Нѣтъ, любезный, не про васъ писано! шутливо возразилъ хозяинъ, — вотъ тебѣ фронтиньякъ, пей сколько душенькѣ угодно, передъ тобой цѣлая бутылка. Mesdames, château-rose-pouillac! присовокупилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, нагибаясь къ Кошкиной и посылая улыбку другимъ, менѣе значительнымъ дамамъ.

Мало-по-малу общество оживилось. Голоса трехъ сестрицъ Кокуркиныхъ, дребезжавшіе безъ умолку въ продолженіе всего обѣда, заглушились другими голосами, и все слилось на время въ одно общее бурчанье, прерываемое звяканьемъ посуды и стакановъ. Аристархъ Ѳедоровичъ, нечего сказать, былъ хлѣбосолъ и умѣлъ угощать на славу. Обѣдъ прошелъ какъ нельзя веселѣе, и хотя на этотъ разъ не было въ немъ ничего замѣчательнаго, кромѣ, развѣ, шато-роз-пульяка, однакожъ, гости встали изъ-за стола очень довольные.

Что дѣлается въ деревенскомъ быту тотчасъ же послѣ обѣда? На это отвѣчать трудно. Разное бываетъ: садятся играть въ карты, пьютъ кофе или желтый чай на террасѣ, если есть терраса, ведутъ пріятную и вмѣстѣ съ тѣмъ назидательную бесѣду о современныхъ событіяхъ, совершающихся въ кругу отсутствующихъ сосѣдей, и проч., и проч., и проч. Но смѣло можно утверждать, что легкій, крѣпительный, двухчасовой сонъ предпочитается всѣмъ вышеупомянутымъ эфемернымъ удовольствіямъ. Такова обаятельная сила этого послѣобѣденнаго сна, что въ иныхъ домахъ даже молодыя дамы, несмотря на тонкое превосходство ихъ натуры, порывающейся, какъ извѣстно, болѣе къ идеальнымъ наслажденіямъ, невольно отдаются его вліянію.

Такъ, по крайней мѣрѣ, случилось послѣ вышеописаннаго обѣда. Прошелъ часъ какой-нибудь—и домъ погру-

зился въ мертвое молчаніе, прерывавшееся лишь храпомъ Карачаева, который долго еще не могъ угомониться.

III.

Фіона Ивановна и Прокисай Захаровичъ.

И такъ, все спало сладкимъ сномъ въ домѣ Аристарха Ѳедоровича.

Въ повѣстяхъ и романахъ, когда желаютъ выразить тишину, издавна принято говорить: тишина была такая, что можно было разслышать полетъ мухи; къ этому присовокупляютъ обыкновенно, что тишина прерывалась тѣмъ или другимъ звукомъ. Все это основано, конечно, на тончайшей наблюдательности и оправдывается какъ нельзя болѣе въ настоящемъ случаѣ. Дѣйствительно, посреди *мертваго молчанія*, воцарившагося въ домѣ Балахнова, не только можно было разслышать, но и въ самомъ дѣлѣ слышалось жужжанье мухъ, которыя, благодаря лукулловскимъ обѣдамъ Балахнова, носились несмѣтными роями по столовой. Жужжаніе, изрѣдка прерывавшееся докучливымъ щелканьемъ картъ двухъ лакеевъ, игравшихъ въ дурачки на конникѣ передней, сливалось время отъ времени въ стройную тихую музыку, напоминавшую мелодическіе аккорды эоловой арфы...

Но, увы! какъ ни грустно, я долженъ, однакожъ, распроститься заблаговременно съ поэзіей! Увлеченный музыкальностью собственной фразы, я могъ бы незамѣтно, почти безсознательно пуститься въ описаніе того, какъ легкій вѣтерокъ, врываясь украдкою въ растворенныя окна, игралъ шаловливо съ листками плюща и розана, какъ листья, застигнутые врасплохъ, пролепетали свою тихую жалобу и проч., и проч.; къ несчастью, другія картины, другіе образы выпали мнѣ на долю, и, скрѣпя сердце, обращаюсь я къ событіямъ этого разсказа, столько же правдиваго, сколько и прозаическаго.

Кромѣ двухъ лакеевъ, игравшихъ въ дурачки, находилось еще одно существо, которое не предавалось крѣпительному послѣобѣденному отдыху. Существо это, извѣстное подъ именемъ Фіоны Ивановны, принадлежало, какъ каждый легко догадается, къ прекрасной половинѣ человѣческаго рода. Это была экономка и довѣренная женщина по всѣмъ отраслямъ хозяйства въ домѣ Балахнова. Лишившись матери, а вслѣдъ затѣмъ и отца, слу-

жившаго когда-то уѣзднымъ почтамтскимъ писцомъ, Фіона Ивановна была предоставлена съ юнаго возраста на произволъ судьбы, которая обошлась съ ней, однакожъ, довольно милостиво. Безъ красы и даже безъ гроша денегъ, Фіона Ивановна, согласно настоящему порядку дѣлъ, должна бы промаячить весь свой вѣкъ въ дѣвкахъ и пройти всѣ степени испытаній, выпадающія часто на долю бѣднымъ сиротамъ безъ защиты и крова. Суждено было иначе. Фіона ли Ивановна плѣнила протоколиста изъ земскаго суда, протоколистъ ли плѣнилъ Фіону Ивановну, неизвѣстно, но только они сочетались законнымъ бракомъ, и Фіона Ивановна изъ дѣвицы Захлесткиной сдѣлалась вдругъ госпожею Чивадзи (предки протоколиста были какіе-то греки, торговавшіе въ Одессѣ мыломъ). Десять лѣтъ самой счастливой семейной жизни не принесли, однакожъ, никакого плода; протоколистъ Чивадзи сошелъ въ могилу, оплакивая бездѣтность жены и посылая горькіе укоры судьбѣ, не даровавшей ему потомковъ. Связи Балахнова съ покойнымъ, который переписывалъ его бумаги, составлялъ протоколы, подавалъ, въ случаѣ нужды, разные остерегательные и увѣдомляющіе сигналы, заставили признательнаго помѣщика подать руку помощи вдовѣ. Фіона Ивановна (ей было уже около тридцати-восьми лѣтъ) переѣхала въ Ханскіе-Пруды. Довѣріе, которымъ пользовался когда-то мужъ, перешло мало-по-малу къ его вдовѣ. Сначала она разливала чай и кофе; потомъ перешелъ въ ея завѣдываніе буфетъ; затѣмъ отдали ей на руки бѣлье, и такимъ образомъ вся хозяйственная часть дома поступила подъ ея надзоръ.

Что можетъ быть счастливѣе жизни экономки, разумѣется, такой экономки, которой предоставляется безконтрольное завѣдываніе чаемъ и сахаромъ и колоніальными и неколоніальными припасами, истощаемыми въ изобиліи въ каждомъ барскомъ домѣ? Во многихъ барскихъ домахъ, какъ извѣстно, хозяйка не существуетъ. Утонченное воспитаніе хозяекъ дома, воспрещающее имъ съ юныхъ лѣтъ обращать вниманіе на приходо-расходныя книги, прикасаться къ чему бы то ни было, кромѣ батистоваго платка, клавишъ рояля и руки кавалера во французской кадрили, сильно облегчаетъ и расширяетъ кругъ дѣйствія экономки. Можно смѣло утверждать, что ни одно мѣсто—говоря, конечно, относительно—не даетъ столько выгодъ. Гдѣ найдете вы сочетаніе двухъ драго-

цѣннѣйшихъ качествъ: выгоды и душевнаго спокойствія? Я, по крайней мѣрѣ, не знаю такихъ мѣстъ и смѣло скажу, что однѣ экономки пользуются на землѣ истиннымъ благополучіемъ. Спокойствіе ихъ ничѣмъ не возмущается, и если иной разъ взоръ хозяйки проникнетъ въ тайникъ существованія экономки, или грозная рука низвергаетъ ее съ высоты земного счастія, то все же рука эта не мечъ Дамоклеса, и раны, наносимыя ею, далеко не смертельны. Фіону Ивановну можно было назвать благополучнѣйшею экономкою въ цѣломъ свѣтѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ, поглощенный весь дипломатическими занятіями, не имѣлъ времени заниматься хозяйствомъ; женѣ своей не позволялъ онъ ни въ какомъ случаѣ входить въ домашнія распоряженія, полагая это неприличнымъ. Кромѣ того, дѣйствуя сообразно своимъ правиламъ и убѣжденіямъ, онъ хотѣлъ, чтобъ все зависѣло отъ него одного: пускай все идетъ криво и косо, но зато онъ одинъ отвѣтчикъ и хозяинъ. Все это дѣлало Фіону Ивановну самовластною распорядительницею кладовыхъ и буфета.

Въ такомъ завидномъ положеніи экономка доживала тридцать-восьмую свою весну; но тутъ подвернулось одно обстоятельство, которое сильно потревожило невозмутимо-блаженное существованіе Фіоны Ивановны... Она любила! всякому человѣку даны при рожденіи чувства, и рано или поздно чувства эти должны высказаться. Принимая въ соображеніе настоящую страсть Фіоны Ивановны, должно полагать, что покойный протоколистъ вовсе не пользовался любовью своей супруги, или, по крайней мѣрѣ, пользовался ею очень мало. Мы ничего не знаемъ положительнаго о покойникѣ; но не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что качества его (если таковыя и были) далеко уступали качествамъ Прокисая Захаровича Копкова. Прокисай Захаровичъ былъ тихъ какъ овечка, кротокъ и добродушенъ какъ теленокъ, не только не бралъ въ ротъ ничего горькаго, но даже морщился и щурился, когда Аристархъ Ѳедоровичъ, въ припадкѣ великодушія, заставлялъ его выпивать рюмку шато-роз-пульяка или сантуринскаго. Съ благородствомъ и безукоризненною честностью соединялъ онъ чистоплотность и аккуратность нѣмца. Стерляжье сходство относилось собственно къ лицу Копкова, которое отъ этого нисколько не было хуже любого сорокалѣтняго мужчины; въ остальномъ Копковъ

отличался пріятною, соразмѣрною полнотою и даже изящною округлостью формъ. Такихъ людей не много, и выборъ Фіоны Ивановны не долженъ удивлять ни одного благомыслящаго человѣка. Вдова Чивадзи думала соединить судьбу свою съ судьбою Копкова. Доказано уже положительными фактами, что положеніе нисколько не мѣшаетъ женщинѣ предаваться мечтамъ и убаюкивать свое сердце сладкими грезами. Сердце вдовы наполнялось неизъяснимымъ трепетомъ, когда она переносилась мысленно въ будущее: маленькій капиталъ, въ 2.800 рублей серебромъ, пріобрѣтенный трудомъ и пòтомъ у Балахновыхъ, пойдетъ часть на покупку маленькаго домика въ уѣздномъ городѣ; домикъ полонъ какъ чаша; и тогда, какъ она бѣгаетъ, суетится по хозяйству, Прокисай Захаровичъ въ зеленомъ своемъ сюртучкѣ травяного цвѣта сидитъ у растворенного окна за стаканомъ чая и слегка бренчитъ на гитарѣ...

Мы забыли сказать, что Копковъ надѣленъ былъ многими пріятными талантами, „talents d'agrément, talents de société", а именно: игралъ на гитарѣ, искусно вырѣзывалъ изъ бумаги козловъ и мужиковъ, которыхъ онъ любилъ потомъ наклеивать на окно, дѣлалъ удочки, плелъ изъ бумажныхъ лентъ корзинки и проч., и проч. Такіе таланты покажутся, конечно, ничтожными просвѣщенному и взыскательному читателю, но со всѣмъ тѣмъ они пріобрѣли Прокисаю Захаровичу всеобщую любовь мелкихъ помѣщиковъ и особенно помѣщицъ. Даже въ домѣ Аристарха Ѳедоровича, который терпѣлъ Копкова потому только, что могъ выставлять его, при случаѣ, какъ живой фактъ своихъ щедротъ и благотворительности, таланты проживальщика не прошли безъ оцѣнки. Бумажныя лошадки и корзинки прельстили Володю; тихій нравъ Копкова, его безграничная покорность и повиновеніе всѣмъ возможнымъ капризамъ и прихотямъ мало-по-малу привязали къ нему мальчика: вскорѣ сдѣлались они неразлучны. Это обстоятельство естественнымъ образомъ должно было возбудить къ проживальщику живое участіе со стороны Лизаветы Семеновны. Хотя участіе это ограничивалось ласковымъ обращеніемъ да платочками, которые иной разъ дарила Лизавета Семеновна, украдкою отъ мужа, Копковъ считалъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Съ той минуты, какъ сердце вдовы забилось подъ вліяніемъ юнаго, невѣдомаго чувства, жизнь Прокисая Захаровича пошла иначе. Бѣлье Копкова (если можно

назвать этимъ двѣ рубашки и пару прорванныхъ карпетокъ) поступило въ комнату къ Фіонѣ Ивановнѣ и, недѣлю спустя, вышло оттуда заштопанное и приращенное коекакими вещицами, какъ-то: манишками, платочками и другими. Подобіе блина, на которомъ спалъ проживальщикъ, уступило мѣсто доброй перинѣ. Копковъ, выпивавшій одинъ стаканъ чаю утромъ, выпивалъ теперь два и даже три; лимонъ, сливки съ густыми пѣнками, морсъ, варенье, сухари, булки не обходили его, какъ прежде; иной разъ даже появлялась передъ нимъ, какъ бы невзначай, нарочно испеченная сдобная лепешка съ фестонами и узорами, искусно выведенными по краямъ. Даже конурка, которую раздѣлялъ Прокисай Захаровичъ съ Аполлономъ Егоровичемъ, получила другой видъ. Нерѣдко случалось, что Фіона Ивановна зазоветъ его къ себѣ наверхъ—и ужъ чего только нѣтъ на ея столикѣ: варенье, пряники, жуковскій табакъ, до котораго Копковъ большой охотникъ, и многое множество другихъ сластей. А ласковая рѣчь Фіоны Ивановны, а ея взгляды, проникающіе въ глубину сердца...

Взываю къ вамъ, проживальщики всѣхъ возможныхъ уѣздовъ и вотчинъ! Вы вѣрно не устояли бы передъ этими взглядами. Разсудокъ вашъ, согласно положительнымъ стремленіямъ вашего сердца, мигомъ оцѣнилъ бы всю будущность, какую сулили эти взгляды; окинувъ пытливымъ взоромъ ряды сундучковъ и коробковъ, пестрившихъ комнату вдовы, вы пали бы къ ногамъ ея и тутъ же сознались бы въ давно терзавшей васъ страсти... Но, увы! быстрое соображеніе и находчивость даны не каждому. Копковъ рѣшительно не въ состояніи былъ понимать задушевныхъ цѣлей экономки безъ положительныхъ и прямыхъ съ ея стороны объясненій. Такъ какъ разговора еще не было между ними и все ограничивалось лепешками и сюрпризами, то чувство благодарности, одно это чувство, замѣняло всѣ остальныя въ простой и безхитростной душѣ проживальщика. Но Фіона Ивановна была довольна, она, казалось, нарочно старалась продлить это время, самое обильное внутренними волненіями и полное сладостнаго, томительнаго ожиданія; а между тѣмъ Прокисай Захаровичъ катался какъ сыръ въ маслѣ; въ послѣдніе четыре мѣсяца онъ даже значительно пополнѣлъ, и на лицѣ его заигралъ привлекательный румянецъ.

Иногда Копковъ выпроситъ у Аристарха Ѳедоровича разгонную лошадку, сядетъ въ телѣжку вмѣстѣ съ своей гитарой и отправится куда-нибудь въ гости по сосѣдству. Палашка, босая дѣвчонка, находившаяся на безсмѣнныхъ ординарцахъ у экономки, должна была увѣдомлять ее о пріѣздѣ Прокисая Захаровича. Фіона Ивановна бросалась къ окну, потомъ накидывала на плечи платокъ, стремглавъ спускалась съ лѣстницы и, встрѣтивъ какъ бы невзначай проживальщика, говорила ему дрожащимъ отъ волненія голосомъ: „Здравствуйте, Прокисай Захарычъ; гдѣ это вы пропадали?.. а мы думали, съ вами ужъ и Богъ знаетъ что̀ такое случилось!..“ Каждый день, казалось, сближалъ все болѣе и болѣе Копкова съ его благодѣтельницей, и страстная экономка, видя несомнѣнные признаки любви въ заботливости и уваженіи, которыми окружалъ ее возлюбленный, думала уже приступить къ развязкѣ, какъ вдругъ (это случилось за полтора мѣсяца до настоящей минуты) страшная вѣсть подрѣзала въ основаніи всѣ ея надежды. Копковъ находился въ отлучкѣ и, по случаю разлитія рѣкъ, цѣлыя двѣ недѣли не могъ попасть въ Ханскіе-Пруды. Никто, разумѣется, объ этомъ не заботился, кромѣ Володи да экономки, которая не переставала ломать себѣ голову, придумывая, гдѣ именно могъ бы находиться Прокисай Захаровичъ. Карачаевъ, явившійся неожиданно къ Балахнову, разрѣшилъ, къ несчастью, слишкомъ скоро догадки бѣдной вдовы. Спустя пять минутъ послѣ его пріѣзда, по всему дому распространился слухъ, что Копковъ прожилъ все это время у барышень Кокуркиныхъ и—кто опишетъ ужасъ Фіоны Ивановны!—обнаружилъ даже въ тонкихъ намекахъ готовность предложить руку и сердце младшей изъ нихъ—Надеженькѣ.

Многія дамы увѣряютъ, что легче перенести смерть любимаго человѣка, чѣмъ его измѣну. Это, должно быть, совершенно справедливо и приноситъ величайшую честь ихъ опытности. Точно, въ первомъ случаѣ, остается утѣшеніе, что сердце билось по крайней мѣрѣ для достойнаго человѣка (отсутствующіе, и тѣмъ болѣе покойники, всегда хороши)... Мысль о несомнѣнномъ превосходствѣ любимаго человѣка надъ остальными людьми смягчаетъ ударъ, нанесенный сердцу. „Да, дѣйствительно, онъ не былъ жителемъ здѣшняго міра. Возвышенной душѣ его тягостны были оковы свѣта! Она отлетѣла въ иной, луч-

шій міръ!“ Затѣмъ слѣдуютъ успокоительныя и достовѣрныя догадки о томъ, какъ любимый человѣкъ произносилъ, умирая, имя отсутствующей, какъ клялся онъ, что умираетъ спокойно потому только, что сознаетъ себя любимымъ, какъ остался онъ вѣренъ уважаемому предмету до гробовой доски, и тому подобное. Все это, естественно, должно облегчать страданіе, и часто случается, что сердце, подобно ребенку, которому болѣзнь послужила въ пользу, обрѣтаетъ послѣ кризиса новую силу. Во второмъ случаѣ раны неизлѣчимы. Самыя страшныя муки во сто разъ сноснѣе страданій женщины, покинутой для другой. Тутъ, разумѣется, больно не то, что лишаешься любимаго человѣка, а то, что онъ унизился, предпочтя порядочной женщинѣ какую-то дрянь; больно за себя, за свою недальновидность и ослѣпленіе! Можно ли было довѣряться и разсыпать сокровища своего сердца передъ человѣкомъ недостойнымъ и низкимъ во всѣхъ отношеніяхъ!.. Въ первомъ случаѣ страдаетъ только сердце, во второмъ—изъязвлены въ одно время всѣ чувства; а извѣстно, что легче излѣчить одну большую рану, чѣмъ множество маленькихъ; поди угоняйся за ними!..

Ударъ, нанесенный Фіонѣ Ивановнѣ, произвелъ на нее страшное дѣйствіе. Всѣ чувства экономки, улегшіяся вслѣдствіе невозмутимо покойнаго счастія мягкими пластами вокругъ ея сердца, разомъ поднялись, вспѣнились и зашипѣли, какъ содовые порошки, опущенные въ воду. Достойно замѣчанія, однакожъ, что громы оскорбленной вдовицы упали не на Прокисая Захаровича, а на младшую Кокуркину и сестеръ ея, которыя однѣ были причиною ея бѣдствія. Но когда Копковъ, сопровождаемый Кокуркиными, явился въ домъ Балахнова и Фіона Ивановна увидѣла улыбки, посылаемыя имъ Надеженькѣ—все пошло вверхъ дномъ въ головѣ экономки, и молніеносный взглядъ, брошенный ею сначала на барышень, мигомъ упалъ на бѣднаго проживальщика. Съ того же дня повела она подкопы, и начались гоненія.

Прощайте, вкусныя, сдобныя лепешки съ фестонами! Прощай, жуковскій табакъ, варенья, сплоенныя крахмальныя манишки! Прощай комфортъ! Прощай и ты, пуховая перина, на которой такъ любилъ покоить косточки свои Прокисай Захаровичъ и которую успѣлъ уже замѣнить жесткій войлочный тюфякъ!

Крутой переворотъ судьбы отозвался тѣмъ сильнѣе Коп-

кову, что, въ простотѣ души своей, онъ рѣшительно не подозрѣвалъ причины бѣдствія, такъ неожиданно обрушившагося на его голову. Совѣсть его была чиста, какъ ледъ. О, Боже мой! да знай онъ только сердечную тайну Фіоны Ивановны, онъ, разумѣется, не изъ корыстныхъ видовъ, но попросту, вслѣдствіе врожденной робости, не посмѣлъ бы и думать ни о комъ другомъ, кромѣ экономки. Вотъ каковы иной разъ послѣдствія недоразумѣній! Преданный, съ одной стороны, безнадежной любви (Кокуркины объявили Копкову всю несбыточность брака Надеженьки съ человѣкомъ, не имѣющимъ хлѣбнаго мѣста), преслѣдуемый, съ другой стороны, страшными взглядами и язвительными улыбками Фіоны Ивановны, бѣдный Копковъ потерялъ голову. Онъ истощилъ всю свою мыслительную силу, придумывая причины такого гоненія, и все-таки ничего не могъ придумать. Бѣдный проживальщикъ рѣшился, наконецъ, обратиться къ единственному своему другу, Володѣ, прося его проникнуть, если можно, страшную тайну. Володя побѣжалъ наверхъ, въ комнату экономки. „За что сердишься ты на Копкова?“ спросилъ онъ, ласкаясь къ экономкѣ. — „Вамъ чего здѣсь надо?“ грозно спросила Фіона Ивановна,—„развѣ вамъ позволено ходить сюда? Постойте, вотъ я скажу папенькѣ!“ И, вмѣсто отвѣта, она взяла его за руку и выпроводила на лѣстницу. Подробное донесеніе о такой неудачной депутаціи имѣло послѣдствіемъ то, что Копковъ растерялся въ своихъ соображеніяхъ. Онъ впалъ въ глубокую меланхолію и оживалъ тогда только, когда проходила мимо его Надеженька, или когда слышались шаги Фіоны Ивановны.

Въ послѣднемъ случаѣ онъ быстро вскакивалъ съ мѣста, повертывалъ за уголъ и бѣжалъ безъ оглядки куда глаза глядятъ.

Но пора обратиться къ самому разсказу.

Въ настоящую минуту, то-есть, въ то время, какъ все спало въ домѣ и два лакея играли въ дураки, Фіона Ивановна сидѣла въ своей комнатѣ. Комната эта, расположенная въ углу верхняго этажа, оканчивала собою рядъ покоевъ, пустыхъ и заброшенныхъ, въ которыхъ не жили уже лѣтъ двадцать. Изрѣдка лишь, въ лѣтнее время, Аристархъ Ѳедоровичъ водилъ туда гостей, частью для того, чтобъ похвастать великолѣпнымъ видомъ Ханскихъ-Прудовъ, частью для того, чтобъ показать имъ, какъ

жили его предки. Оборванные обои, позволявшіе различать сквозь плѣсень узоры изъ блестящаго песку, боскетная, расписанная въ видѣ рощи, съ выглядывавшими поверхъ деревьевъ бельведерами, продолговатыя зеркала, обвитыя вычурными деревянными рамами съ позолотою, диванная съ колоннами, подпиравшими деревянный куполъ, расписанный облаками и усѣянный звѣздами, люстры, обвѣшанныя стеклышками—все это показывало, что предки жили дѣйствительно хорошо. Комната Фіоны Ивановны не представляла, однакожъ, и тѣни вышеупомянутаго великолѣпія. Это происходило единственно потому, что предки, любившіе украшать парадные апартаменты и часто тратившіе на это все свое состояніе, немного заботились о такъ-называемыхъ внутреннихъ покояхъ, тоесть о тѣхъ, куда не проникалъ взоръ постороннихъ. Комната Фіоны Ивановны, предназначенная когда-то для дѣтской, была запросто обшита дранью и потомъ оштукатурена такъ только, для виду. Несмотря на то, что въ настоящее время штукатурка успѣла уже обвалиться на половину, экономка умѣла сообщить своему жилищу что-то уютное; и тогда какъ въ парадныхъ апартаментахъ вѣяло повсюду мертвенностью, уголъ экономки носилъ на себѣ всѣ признаки оживленія и дѣятельности. Сахарныя головы, ящики съ чаемъ, пучечки мяты и другихъ цѣлебныхъ травъ, свертки холста, столы съ хрусталемъ и посудой, два старинные брюхастые комода, набитые такъ плотно, что ящики не могли запираться, сундуки и ящики, перины, подушки, груды салфетокъ, ворохи грязнаго бѣлья—все это лѣпилось вдоль стѣнъ, громоздилось другъ на дружку и мѣшалось какъ въ винегретѣ.

Посреди комнаты, на полу, сидѣла босая дѣвочка лѣтъ тринадцати, черноглазая, съ черными какъ смоль волосами, обстриженными въ кружокъ, и черными блестящими глазами на-выкатѣ. Вокругъ нея лежало нѣсколько листовъ синей бумаги съ возвышавшимися на нихъ горками колотаго сахару. Ударяя изъ всей мочи утюжною плиткой въ кухонный ножъ, направленный въ сахарную голову, она поминутно бросала плутовскіе взгляды на экономку и, улучивъ минуту, не пропускала случая запрятать отколотый кусокъ въ ротъ или за пазуху.

Фіона Ивановна стояла у окна противъ комода и выкладывала столовое бѣлье, предназначенное для завтрашняго торжества. Вдова Чивадзи, какъ уже сказано, была

женщина лѣтъ тридцати-восьми. Ситцевое платье кофейнаго цвѣта съ бѣлыми крапинами обхватывало не совсѣмъ щеголевато ея талію, отличавшуюся необыкновенною жесткостью. Платье и черный шерстяной платокъ, покрывавшій плечи экономки, драпировались какъ на вѣшалкѣ. Она была болѣе чѣмъ средняго роста, хотя, по-настоящему, исполинскія ея ступни, заключенныя въ опойковые башмаки, глядѣвшіе изъ-подъ юбки, показывали, что слѣдовало бы ей перерасти бельгійскаго великана. Желтые, какъ шафранъ, волосы, подобранные на затылкѣ тщедушнымъ пучечкомъ, державшимся помощью рогового гребня, лишеннаго двухъ зубцовъ, подходили какъ нельзя лучше подъ тѣнь лица сѣро-лимоннаго цвѣта. Заостренный носъ, крошечные глазки зеленоватаго отлива, сухія морщинки и жиденькія, рыжія брови, согнутыя наподобіе французскаго S, придавали лицу ея что-то пронырливое и не совсѣмъ привлекательное, что, впрочемъ, въ настоящую минуту сглаживалось выраженіемъ душевной тоски и сосредоточенной думы. Смягченію этихъ рѣзкостей не мало способствовала опухлость лѣвой щеки, по случаю флюса — обстоятельство, заставлявшее экономку обтягивать голову бѣлой косынкою и носить постоянно за щекою вареную въ молокѣ фигу. Флюсъ—неизбѣжный почему-то недугъ всѣхъ почти экономокъ, сильно дѣйствовалъ на нервы и безъ того уже раздраженной вдовы. Фига, съ своей стороны, причиняла ей также много горя; разъ даже, а именно когда Фіонія Ивановна получила извѣстіе о продѣлкахъ Прокисая Захаровича, фига чуть было не лишила ее жизни. Вотъ какъ это случилось: фига проскочила въ горло, и бѣдная экономка сдѣлалась бы, безъ сомнѣнія, жертвою страстей своихъ, если бъ не подоспѣлъ домашній фельдшеръ.

Тишина въ комнатѣ экономки прерывалась дребезжащимъ пѣніемъ канарейки, висѣвшей подъ окномъ, и ударами утюжной плитки, которые, повидимому, доставляли величайшее удовольствіе дѣвчонкѣ.

— Тише ты! крикнула въ десятый разъ Фіонія Ивановна кислымъ голосомъ, похожимъ на звукъ разбитаго колокольчика.

— Жесткій такой, Фіон-Иванна! никакъ не отколешь! отвѣчала скороговоркою дѣвчонка, и, бросивъ лукавый взглядъ къ окну, ударила съ такою силой плиткою по ножу, что посуда зазвенѣла на столѣ.

— Тише, говорятъ!.. Погоди; вотъ я тебя постучу... Кто тамъ? прибавила экономка, опуская на окно кипу салфетокъ и поворачивая косое лицо свое къ двери.

— Это я-съ, сказала, входя въ комнату, красивая горничная, отличавшаяся необыкновеннымъ развитіемъ стана.

— Что тебѣ, Глафира? спросила экономка, принимаясь снова за свое дѣло.

— Барышни Кокуркины прислали просить у васъ кокосоваго мыла; свое, говорятъ, забыли захватить.

При имени Кокуркиныхъ всѣ члены Фіоны Ивановны затрепетали, и лицо ея перекрылось красными пятнами.

— Да, какъ же! стану я для всѣхъ бѣгать въ кладовую! произнесла экономка, стараясь скрыть свое волненіе.—Много ихъ тутъ и безъ того понаѣхало! Пускай ищутъ гдѣ хотятъ: нѣтъ у меня мыла никакого, да и все тутъ!.. Сороки, тараторки этакія! Имъ попадись только что въ руки, все къ себѣ домой тащатъ; такъ и глядятъ во всѣ глаза, не попадется ли что̀ подъ-руку...

— Да-съ, подхватила Глафира, — я только дивлюсь, Фіона Ивановна, какъ это барыня наша ничего не видятъ и въ домъ ихъ пускаютъ. Вотъ намедни, какъ онѣ въ послѣдній разъ у насъ были: ужъ на что, кажется, стеариновые огарки, и тѣ понадобились, выпросили у барыни, цѣлый узелъ увезли съ собою... Тоже и насчетъ барынинаго гардеропа: прежде, бывало, ненужное платье— намъ идетъ, а теперь все имъ да имъ; такія-то жадныя, завистливыя, право... А ужъ сплетницы, смутьянки какія— не приведи Богъ! Ѣздятъ къ намъ также бѣдныя: Свищевы, Полушкины... тоже попрошайки, да все же смирныя, никого не трогаютъ по-крайности... а эти ужъ кого только не переберутъ—не только господъ, да и нашего-то брата; до всего имъ дѣло; только, кажется, одного вотъ Прокисая Захаровича и оставляютъ въ покоѣ...

Видно было изъ усердія, съ какимъ Глафира описывала Кокуркиныхъ, что ей не безызвѣстны были враждебныя къ нимъ отношенія экономки.

Ядовитая улыбка промелькнула на тонкихъ губахъ Фіоны Ивановны; она поправила косынку, перевязывавшую больную щеку, передвинула фигу, чтобъ свободнѣе изъясняться, и, окинувъ дѣвушку съ головы до ногъ проницательнымъ взглядомъ, сказала:

— А знаешь ли, Глафира, что̀ онѣ про тебя разсказываютъ?.. Аполлонъ Егорычъ самъ слышалъ...

— Что такое?.. нѣтъ-съ, не знаю... сказала Глафира полусмущеннымъ, полуувѣреннымъ голосомъ.

— Поди-ка, послушай: онѣ говорятъ, будто ты завела шашни съ Иваномъ Карачаевскимъ... Мое дѣло сторона, я въ ваши дѣла не стану мѣшаться, а только смотри...

— Ахъ, онѣ, провалиться бы имъ! воскликнула Глафира, всплеснувъ руками и покраснѣвъ до бѣлковъ.

— То-то ахъ! Смотри, Глафира, дойдетъ до Аристарха Ѳедорыча, не было бы худо... не миновать коровъ пасти...

— Помилуйте, Фіона Ивановна! произнесла Глафира съ видомъ человѣка, который плачетъ не потому, что боится наказанія, но потому только, что уличили его въ преступленіи.—Помилуйте, чѣмъ же я виновата? Иванъ точно со мной разговариваетъ... я знала его еще въ Петербургѣ, когда обучалась въ магазинѣ: онъ жилъ въ томъ же домѣ подмастерьемъ у портного; что жъ, мнѣ бѣгать отъ него?.. Ахъ, онѣ... провалиться бы имъ!.. Ну, не знала я этого, Фіона Ивановна! прибавила Глафира съ какимъ-то особеннымъ одушевленіемъ.—Дамъ же я имъ теперь себя знать, особливо этой толстой, чтобъ ей лопнуть! „Глафирушка, душенька, застегни платье; Глафирушка, сбѣгай, возьми у Лизаветы Семеновны помады!..“ Погоди жъ, надсадишь себѣ горло-то звамши! Сами набѣгаетесь, смутьянки проклятыя! Пойду, скажу имъ, что нѣтъ мыла! торжественно заключила горничная.

— Постой, сказала Фіона Ивановна,—кстати, заодно возьми простыни и подушки... Сколько сегодня будутъ у насъ ночевать?..

— Сейчасъ; разъ... два... пять... Да что считать! вѣрно, къ вечеру еще понаѣдутъ! У насъ, знаете сами, что постоялый дворъ — успѣвай только управляться. Давайте четырнадцать подушекъ да девять простынь...

Экономка поправила косынку и начала рыться въ сундукѣ.

— Фіона Ивановна! сказала Глафира заискивающимъ голосомъ.

— Что̀ тебѣ?

— Гдѣ у васъ, матушка, были подушки, что моль-то съѣла... помните, духъ такой отъ нихъ?..

— Въ кладовой... а что?..

— Дайте-ка мнѣ ихъ, я положу ихъ этимъ вѣдьмамъ...

— Смотри, пожалуются! Не досталось бы тебѣ, Глафира.

— Все возьму на себя, Фіона Ивановна, будьте покойны!

— Гдѣ ты имъ хочешь стлать?

— Хотѣла было въ боковой, гдѣ онѣ всегда спятъ, да нѣтъ, жирно будетъ... Скажу, что полы мыли, улягутся нынче и подлѣ буфетной... Пускай ихъ ночь-то ворочаются съ-боку-на-бокъ; я перины-то всѣ посдергаю... сороки этакія! смутьянки проклятыя!..

— Смотри, не намылили бы тебѣ шеи! проговорила Фіона Ивановна тономъ, какой принимаютъ обыкновенно люди, которые, затѣявъ и пустивъ въ ходъ какое-нибудь ядовитое дѣльце, быстро отходятъ въ сторону, какъ бы ни въ чемъ не бывало, и только потираютъ руки, да исподтишка улыбаются.

Она съ особенною заботливостью взвалила на плечи Глафиры простыни и нѣсколько подушекъ, дала ей, какъ бы невзначай, ключъ отъ кладовой и проводила ее до двери.

— Палашка! сказала она послѣ краткаго молчанія, обращаясь къ дѣвчонкѣ, которая во все это время не переставала колоть сахаръ.—Палашка, прибавила нерѣшительно экономка,—ступай внизъ...

— Слушаю-съ! крикнула дѣвочка, быстро скакнувъ на ноги и безъ оглядки бросаясь къ двери.

— Куда ты, пострѣлъ? ну, куда ты? зашипѣла Фіона Ивановна, придерживая пальцемъ фигу, которая чуть-было не вылетѣла.

— Я думаю, Фіона Ивановна, вамъ что-нибудь понадобилось, возразила дѣвчонка, бойко тряхнувъ волосами.

— Ничего не понадобилось... поди... поди погляди, что̀ дѣлаетъ Прокисай Захарычъ...

Палашка, обрадованная случаю сбѣжать лишній разъ съ лѣстницы, пустилась безъ оглядки, придерживая рукою куски сахару, болтавшіеся у нея за пазухой.

Должно замѣтить, что продѣлки Прокисая Захаровича нимало не уменьшили страсти экономки; казалось, напротивъ, чувство ревности разжигало несчастную эту страсть съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе.

— Ну, что? спросила Фіона Ивановна, когда вернулась Палашка.

— Спятъ-съ въ бильярдной... насилу отогнала-съ...

— Кого отогнала?

— Мухи-съ... такъ и облѣпили ихъ словно сахаръ-съ...

— Молчи, тебя не спрашиваютъ! задумчиво сказала

экономка.—Возьми, собери сахаръ на одну бумагу; или нѣтъ, на́, возьми салфетки и скатерть, присовокупила она, навьючивая плечи и руки дѣвчонки бѣльемъ.

Она высыпала на одинъ листъ сахаръ, подняла его съ полу и, сопровождаемая Палашкой, начала спускаться по темной, узенькой лѣстницѣ.

Очутившись въ коридорѣ, Фіона Ивановна повернула въ бильярдную.

— Чего тебѣ? Ступай въ залу, положи салфетки на стулъ, вымолвила вдова, грозно взглянувъ на дѣвчонку.

Оглянувшись на стороны, Фіона Ивановна устремила пронзительный взглядъ на Копкова, который спалъ, сидя на диванѣ. Скрестивъ руки на крутомъ брюшкѣ и опустивъ коротенькія ножки, далеко не достававшія до полу, онъ испускалъ легкій носовой свистъ, не лишенный, повидимому, гармоніи для несчастной жертвы страстей, стоявшей передъ диваномъ. Улыбка на губахъ Прокисая Захаровича показывала, что сны, носившіеся вокругъ головы его, были самые обворожительные.

Зеленые глазки Фіоны Ивановны расширились и загорѣлись сверхъестественнымъ блескомъ; вострый носъ ея выглянулъ какъ змѣя изъ-за сахарной головы, и дрожавшія уста ея прошептали:

— Негодный!

Прокисай Захаровичъ сдѣлалъ движеніе, какъ-будто хотѣлъ прогнать муху, раскрылъ глаза—и остолбенѣлъ.

Фіона Ивановна повернулась тотчасъ же спиною и, дрожа всѣмъ тѣломъ, вышла въ залу.

Въ эту минуту изъ гостиной послышался колокольчикъ.

— Барыня зоветъ! шепнула Палашка.

Экономка поправила косынку и неровными шагами пошла въ гостиную.

— Чего изволите? спросила она, косясь на террасу, гдѣ дребезжали, какъ трещотки, Кокуркины, успѣвшія уже возстать отъ послѣобѣденнаго сна.

— Пожалуйста, Фіона Ивановна, дайте мнѣ розовой воды, сказала Балахнова.

— Помилуйте, Лизавета Семеновна, вы сами изволили приказать послѣдній разъ, какъ были барышни, отдать имъ послѣднюю бутылку на варенье.

— Я ничего не знаю... я приказала отлить имъ во флаконъ.

— Онѣ сказали, что вы велѣли отдать имъ всю бутылку; я и отдала...

— Хорошо, отвѣчала Лизавета Семеновна.

Фіона Ивановна вернулась въ залу и носъ къ носу встрѣтилась съ Копковымъ, который въ ту-жъ минуту приросъ къ полу.

— Чего вы испугались? спросила экономка, окинувъ его грозно и въ то же время презрительно съ головы до ногъ.

— Я-съ... право, ничего... ей-Богу, пробормоталъ Прокисай Захаровичъ, но тутъ же замялся и, повернувшись спиною, побѣжалъ помощью коротенькихъ ножекъ своихъ въ противоположныя двери.

— Ку-д-а-а-а? закричалъ Карачаевъ, заслоняя неожиданно путь несчастному Копкову и обхватывая его руками.

— Пусти, Павелъ Петровичъ, полно! экой ты какой... Сдѣлай милость...

— Ни-ни... я тебѣ дамъ бѣгать! Шалишь, братъ... Э! э! да ты еще подножки вздумалъ ставить!..

И Карачаевъ, приподнявъ Копкова, понесъ его въ залу.

— Фіона Ивановна, не вашей ли вотчины бѣглецъ? Ха! ха! ха! захрипѣлъ Карачаевъ, поднося ей несчастнаго Копкова, который заболталъ коротенькими ножками въ воздухѣ и сталъ биться, какъ заяцъ, пойманный за заднія лапы.

— Вы бы посовѣстились балясничать-то! произнесла съ негодованіемъ и вся вспыхнувъ экономка,—не нашли лучшаго мѣста.

— Че-е-во? Ха! ха! ха! захрипѣлъ Карачаевъ, разражаясь ревущимъ хохотомъ и стискивая еще крѣпче свою жертву.

— Да то-же...

Володя, появившійся въ эту минуту у дверей залы, кинулся со всѣхъ ногъ, чтобы освободить друга, но, увидя отца, въ ту-жъ минуту оторопѣлъ и скрылся за дверью гостиной.

— Что у васъ тутъ такое? неожиданно вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выходя изъ кабинета съ обычною своею улыбкой.

— Да вотъ, братецъ, Фіона Ивановна ревнуетъ Прокисая даже ко мнѣ... ей-Богу... вотъ она штука-то въ чемъ. Чуть-было глаза не выцарапала...

— Скоморохъ! пробормотала экономка, роясь въ буфетѣ.

— Правда ли это?.. Ха! ха! ха!.. У тебя, братецъ, языкъ безъ костей, ты чего не выдумаешь! сказалъ Балахновъ, лукаво подмигивая Карачаеву на экономку.

— Дѣлать, видно, нечего! стыдились бы! проговорила Фіона Ивановна, уходя изъ залы и сердито хлопнувъ дверью.

IV.

Событія, которыми ознаменовался остатокъ дня.

Когда Балахновъ и Карачаевъ вошли въ гостиную, тамъ сидѣло уже все общество. Двухчасовой отдыхъ подѣйствовалъ на всѣхъ самымъ благопріятнымъ образомъ. Лица трехъ Кокуркиныхъ и лицо дѣвицы Сараманаевой, спрыснутыя водой изъ Ханскихъ-Прудовъ, сіяли необыкновенною свѣжестью; черный парикъ Семена Семеновича лоснился, какъ наилучшій атласъ; Анна Васильевна Кошкина распространила вокругъ себя запахъ наилучшихъ духовъ, какіе можно только было сыскать въ губернскомъ городѣ; даже Лизавета Семеновна казалась болѣе веселою. Бесѣда была самая оживленная. Предметомъ разговора былъ тотъ же новопріѣзжій Бобоховъ.

Недурно, если бъ кому-нибудь изъ записныхъ столичныхъ любезниковъ привелось попасть на время въ уѣздную гостиную. Заранѣе можно поручиться, что въ первый день и даже въ первые два дня онъ произвелъ бы неслыханный эффектъ своими разсказами объ итальянской оперѣ, своими тремя-четырьмя анекдотцами саркастическаго свойства и даже, faute de mieux, тѣми общими мѣстами и фразами, которыя доставили ему названіе: charmant homme и homme aimable въ столичныхъ гостиныхъ. Прекрасно! Теперь, скажите на милость, что̀ сталъ бы онъ дѣлать на третій день? Запасы истощились, а между тѣмъ пополнить ихъ нечѣмъ. Ни оперы, ни новостей, ни пріятелей, которые доставляютъ случай заимствовать разказцы или анекдоты—ничего этого нѣтъ въ провинціи. Остается одно средство: сравнить себя съ фейерверкомъ, который, послѣ блистательнаго сожженія, оставилъ послѣ себя пустыя бумажныя трубки; но этого недостаточно, и притомъ никто охотно не только не рѣшится поднять на себя руку, но даже мысленно потрунить надъ собою. Зовутъ въ гостиную... какъ быть? Вотъ тутъ-то увидѣлъ бы сто-

личный записной любезникъ, какъ ничтожны его средства въ сравненіи съ средствами какого-нибудь уѣзднаго франта въ венгеркѣ. Уѣздному франту скажутъ: говорите намъ о г. Бобоховѣ, котораго вы никогда не видали и о которомъ не имѣете ни малѣйшаго понятія—и уѣздный франтъ станетъ говорить безъ умолку сколько угодно о г. Бобоховѣ. Смиритесь, прекрасные молодые люди, краса и цвѣтъ столичныхъ гостиныхъ! Вы довольствуетесь обыкновенно однимъ легкимъ намекомъ, чтобы создавать знаменательныя исторіи и комментаріи насчетъ ближняго; въ провинціи послѣдній юноша, послѣдняя вдовушка перещеголяютъ васъ, ибо имъ не нужно даже и тѣни намека! Столичныя гостиныя пользуются тѣмъ значительнымъ преимуществомъ передъ уѣздными, что тамъ разговоръ кажется неистощимымъ, потому что въ продолженіе двухъ часовъ смѣнилось двадцать человѣкъ; здѣсь гостиныя наполняются людьми, пріѣхавшими на два, на три дня и даже болѣе. При такихъ условіяхъ, сколько ни говори, все перескажешь, да наконецъ и языкъ устанетъ. Вотъ тутъ-то, въ уѣздныхъ городахъ, наступаютъ тягостныя минуты, въ продолженіе которыхъ хозяева и гости углубляются въ самихъ себя, придумывая, но тщетно, что̀ бы такое сообщить другъ другу. Наступаетъ молчаніе. Напрасно хозяинъ произноситъ: „Господа, mesdames, тихій ангелъ пролетѣлъ между нами!“ приправляя эту фразу извѣстной улыбкой; напрасно треплетъ онъ по плечу того и другого, приговаривая: „Ну, что скажешь, Иванъ Иванычъ, или Вакхъ Сидорычъ? Давно, братъ, мы съ тобой не видались!“ Иванъ Иванычъ или Вакхъ Сидоровичъ рѣшительно не знаютъ, что̀ сказать; ими овладѣлъ тупикъ; они разводятъ только руками да оглядываются съ безпокойствомъ на стороны.

Такой же точно *казусъ* произошелъ въ почтенномъ домѣ Аристарха Ѳедоровича. Когда разобрали по косточкамъ Бобохова и не нашлось уже ничего новаго, наступилъ штиль совершеннѣйшій. Предложили было сдѣлать прогулку, но оказалось, что было всего шесть часовъ и солнце пекло невыносимо. Хозяйка и особенно хозяинъ начинали уже приходить въ смущенье, когда неожиданно въ дверяхъ показался новый гость. Присутствовавшіе мгновенно подняли головы и ожили.

— А, ба! Васильковъ! добро пожаловать! раздалось отовсюду.—Порфирій Павлычъ! Порфирій, ты ли это? Сколько

лѣтъ!.. заключилъ наконецъ Карачаевъ, кидаясь на шею гостю, который застѣнчиво раскланивался дамамъ.

Порфирій Павловичъ принадлежалъ къ числу тѣхъ злополучныхъ людей, которыхъ физическая природа подверглась не совсѣмъ правильному развитію; когда глядишь на него, очевиднымъ дѣлается, что эти тоненькія, какъ жимолость, ножки, эта тщедушная грудь отказываются постоянно отъ питательныхъ и растительныхъ силъ въ пользу головы, которая, поэтому, вчетверо болѣе, чѣмъ бы ей быть слѣдовало. Васильковъ съ дѣтства долженъ былъ весь расти въ эту голову, казавшуюся еще огромнѣе отъ густыхъ, взъерошенныхъ прядей черныхъ смолистыхъ волосъ, которые подымались свирѣпымъ хохломъ на макушкѣ и спускались валютами на виски и щеки, украшенныя такими бакенами, какихъ, вѣрно, не носилъ еще ни одинъ смертный; усы, напоминавшіе въ миніатюрѣ рейнскій водопадъ, и густыя, крутившіяся брови довершали волосяное богатство Порфирія Павловича. Изъ-подъ бровей выглядывали круглые глаза навыкатѣ, похожіе какъ двѣ капли воды на страусовыя яйца, съ намалеваннымъ посереди ихъ чернымъ, какъ смоль, зрачкомъ. Ему было всего тридцать пять лѣтъ, и даже менѣе. Несмотря, однакожъ, на ребарбативность и мужественность такой физіономіи, Порфирій Павловичъ былъ меланхоликомъ, и смѣло можно утверждать, что не найти во всей вселенной человѣка болѣе кроткаго, нѣжнаго и чувствительнаго. Будучи ровно вчетверо богаче трехъ Кокуркиныхъ, онъ не только не гордился своимъ превосходствомъ надъ барышнями, но чувствовалъ къ нимъ любовь и питалъ даже особенное уваженіе. Скромность проглядывала даже въ его одеждѣ: коротенькая, синяя венгерка, съ высокою таліей и іероглифомъ изъ черныхъ шнурковъ на спинѣ, узенькіе сапожки и тоненькій галстукъ съ длинными концами; на тафтяной черной манишкѣ красовался жилетъ канареечнаго цвѣта съ полосками изъ чернаго бархата; этотъ жилетъ Василькова украшался снизу кончиками подтяжекъ, не лишенныхъ, впрочемъ, привлекательности, потому что ихъ вышивали Кокуркины.

— Ну, что, рѣшено? спросилъ Балахновъ, нетерпѣливо наклоняясь къ уху гостя, послѣ обычныхъ привѣтственныхъ фразъ.

— Рѣшено! отвѣчалъ нѣжно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, восторженно Порфирій Павловичъ.

— Ба!?..

— Клянусь! подтвердилъ гость, пожимая руку хозяина.

— Извините, mesdames, мнѣ нужно переговорить два слова съ пріятелемъ. Мы сію минуту вернемся, сказалъ торопливо Аристархъ Ѳедоровичъ.

Онъ нагнулся мимоходомъ къ кушеткѣ, поцѣловалъ жену въ лобъ и, взявъ подъ руку гостя, повлекъ его съ особенною поспѣшностью на террасу.

— Ну, братецъ, позволь тебя поздравить! Отъ души желаю тебѣ счастья. Я, ты знаешь, я не лицемѣръ и говорю всегда отъ чистаго сердца...

— Благодарю васъ... я чувствую это, знаю, Аристархъ Ѳедоровичъ... О, я счастливѣйшій человѣкъ въ цѣломъ мірѣ, въ цѣлой губерніи! воскликнулъ Васильковъ, снова пожимая руку Балахнова и страстно вращая своими бѣлками, въ которыхъ блеснули восторженныя слезы.

— Ну, разсказывай, разсказывай, садись...

— Да что̀ вамъ разсказывать! Черезъ мѣсяцъ свадьба... Надежды мои увѣнчались, можно сказать, блистательнымъ успѣхомъ; чрезъ два дня я ѣду въ губернскій городъ дѣлать свадебныя покупки, подарки невѣстѣ — этому существу, облеченному въ очаровательнѣйшія, можно даже сказать, неземныя формы, которымъ подобныхъ...

— А что, вѣрно, теща снабдила капитальцемъ? прервалъ Балахновъ, шутливо подмигивая жениху.

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, я все дѣлаю на свои... Ищу, поэтому, гдѣ бы занять... И если бъ вы...

— Помилуй, братецъ, что̀ ты дѣлаешь!.. поспѣшно перебилъ Балахновъ, физіономія котораго приняла мгновенно строгій характеръ.—Ну, кто тебѣ дастъ взаймы? Да и къ чему это?.. Теща твоя, сказывали мнѣ, даетъ за дочерью тридцать душъ. Такъ или нѣтъ?..

— Да-съ, Аристархъ Ѳедоровичъ; но она соглашается передать ихъ не иначе, какъ послѣ свадьбы... Это обстоятельство, признаться, нѣсколько сконфузило меня... но что же дѣлать-съ... Я не изъ корысти какой-нибудь, клянусь, не изъ корысти! Я никогда расчетомъ не оскверню блаженства, которое обѣщаетъ мнѣ это милое существо.

— Все это прекрасно, другъ мой, возразилъ Аристархъ Ѳедоровичъ отеческимъ тономъ. — Я самъ, ты знаешь, презираю корысть, самъ чуждъ гнуснаго расчета, какъ и подобаетъ всякому благородному человѣку; но тутъ другое дѣло: у тебя ничего нѣтъ или почти ничего; не

разориться же тебѣ изъ того только, что упрямится старая баба... Хочешь, я все это тебѣ устрою?.. Я всегда радъ служить друзьямъ, всегда готовъ подать руку на защиту праваго дѣла...

— О, вы мой истинный благодѣтель. Повѣрьте, я все это чувствую... не знаю даже, какъ благодарить васъ... Но какъ же вы это сдѣлаете?..

— А вотъ какъ. Ты, конечно, останешься у меня завтра: я праздную свое рожденье; а послѣзавтра посажу тебя въ коляску и поѣдемъ къ будущей твоей тещѣ. Я уговорю ее отдать тебѣ немедленно слѣдуемое за дочерью приданое. Старуха уважаетъ меня... Заранѣе ручаюсь въ успѣхѣ... А то, помилуй, братецъ, что̀ ты затѣялъ? занимать деньги! Тсс... тсс... продолжалъ Балахновъ, качая головой. — Хорошо еще, что сказалъ мнѣ; душевно радъ выпутать тебя изъ бѣды; ты доставляешь мнѣ случай сдѣлать доброе дѣло... Благодарить не за что, любезный! торопливо заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, между тѣмъ, какъ Порфирій Павловичъ свирѣпо пожималъ его руки и крутилъ головой.—Обязанность, назначеніе каждаго человѣка состоитъ въ томъ, любезный, чтобъ не умалять сердца въ лонѣ эгоизма и подавать ближнему руку помощи.

Балахновъ поднялъ глаза къ небу, кашлянулъ и готовился еще продолжать рѣчь, какъ вдругъ Карачаевъ влетѣлъ сломя голову на террасу.

— Что̀ тебѣ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Поди, братецъ, оставь насъ. Видишь, мы говоримъ о дѣлѣ...

— Какія у васъ дѣла, все вздоръ! Я знать не хочу вашихъ дѣлъ! Вотъ она штука-то въ чемъ! возразилъ Карачаевъ, обнаруживая запальчивость и негодованіе во всѣхъ движеніяхъ. — Я пришелъ только сказать, что смерть не люблю людей, которые съ вами и такъ и сякъ, лѣзутъ въ дружбу, а на дѣлѣ выдаютъ васъ... Лицемѣры! двуличневые! заключилъ онъ, наступая рѣшительно на Василькова, который сидѣлъ, выкативъ глаза, съ видомъ совершеннаго недоумѣнія.

— Что̀ съ тобой? Ты, братъ, просто рехнулся! сказалъ Балахновъ.

— Нѣтъ, я не рехнулся... не рехнулся я!.. Помилуй, братецъ, самъ посуди, продолжалъ снисходительнѣе раздраженный Карачаевъ,—вотъ этотъ молодецъ помолвленъ, женихъ, всѣ говорятъ объ этомъ въ гостиной, всѣ, и барышни, и Лизавета Семеновна, всѣ знаютъ, всѣмъ раста-

раторилъ, всѣ говорятъ мнѣ объ этомъ, а я стою какъ чушка да ушами хлопаю... „Вы“, говорятъ, „пріятель его, и не знаете, что онъ женится!“ Каково? Какъ тебѣ это кажется?.. Я никому не позволю ставить себя въ дурацкое положеніе—вотъ она въ чемъ штука-то!.. Я послѣ этого не подамъ ему руки! заключилъ Карачаевъ, грозно моргая своими воспаленными бѣлками.

— Чудакъ! проговорилъ Порфирій Павловичъ, смущаясь окончательно.

— Полно, Карачаевъ! началъ увѣщательнымъ тономъ Аристархъ Ѳедоровичъ. — Вотъ самъ видишь, ты всегда изъ-за пустяковъ вздоръ затѣешь... Ты долженъ понимать, братецъ, какое это деликатное дѣло...

— Деликатное дѣло, такъ молчи, не говори о немъ никому!..

— Да гдѣ-жъ мнѣ было тебя отыскивать? произнесъ Васильковъ.—Вольно же тебѣ слоняться Богъ знаетъ гдѣ...

— Что-жъ, почты нѣтъ у насъ, что ли? Ха-ха-ха! Слава Богу, есть почты! Стоило написать письмо, увѣдомить, какъ слѣдуетъ между порядочными людьми: вотъ, дескать, то и то... Я сейчасъ прискакалъ бы къ тебѣ... Нѣтъ, я не я буду, если подамъ ему послѣ этого руку, и больше ничего!..

— Ну, полно, перестань! Согласись, подумай, куда бы сталъ онъ писать, когда ни я, ни онъ, никто въ уѣздѣ не зналъ, гдѣ носила тебя нелегкая... Ну, подай ему сей же часъ руку!

— Да я не сержусь на него; что мнѣ сердиться! Я говорю только, что глупо; не могъ какъ-нибудь отыскать меня и дать знать!..

— Экой какой, право! перебилъ Васильковъ.—Чудакъ! право, чудакъ!

— Ну, куда ни шло! Говори: когда свадьба? воскликнулъ Карачаевъ, перемѣняя мгновенно интонацію.

— Черезъ мѣсяцъ; дня еще не могу назвать.

— Это все равно. Слушай, Порфирій, если ты возьмешь шаферомъ не меня, а другого кого-нибудь, знать тебя не хочу!

— Помилуй, братецъ, я даже хотѣлъ просить тебя объ этомъ... точно такъ же, какъ хотѣлъ просить Аристарха Ѳедорыча сдѣлать мнѣ честь быть посаженымъ отцомъ... Надѣюсь, Лизавета Семеновна не откажется занять мѣсто посаженой матери невѣсты?..

— Разумѣется, съ удовольствіемъ... сказалъ Балахновъ, изъявляя полную готовность.

Владѣтель Ханскихъ-Прудовъ чрезвычайно любилъ торжественные случаи. Онъ постоянно принималъ живое участіе во всѣхъ дѣлахъ, касавшихся мелкихъ помѣщиковъ уѣзда. Это доставляло ему всякій разъ полную возможность занимать первое мѣсто и расточать, при случаѣ, дары высокаго своего покровительства. Чувство глубокаго уваженія и почитанія, которыми окружали его, льстило не мало его самолюбію. Все это, разумѣется, заставляло его забывать на время раны, наносимыя ему обществомъ истинно-порядочныхъ сосѣдей.

— Ну, и прекрасно! Аристархъ Ѳедорычъ посаженый отецъ, Лизавета Семеновна посаженая мать, а я дружка. Поздравляю тебя, Порфирій! закричалъ Карачаевъ, заключая въ свои объятія Василькова.—Теперь, братъ, вотъ въ чемъ сила, присовокупилъ онъ съ видомъ крайней заботливости, — теперь, то-есть завтра же, послѣ вечера, ѣдемъ, тотчасъ же...

— Куда? спросилъ Балахновъ.

— Куда! вотъ славно! ха! ха! ха!.. Сначала къ невѣстѣ, разумѣется; надо же все это уладить, переговорить... потомъ въ губернскій городъ для закупокъ... Оркестръ, поваръ— все это я беру на себя... Только у меня, братъ, Порфирій, ни гу-гу, ни-ни! всѣмъ буду я одинъ распоряжаться. Слышь? завтра же ѣдемъ!

— Да полно тебѣ, бѣшеная голова ты этакая! полно тебѣ мутить его! У него, я думаю, и безъ того голова идетъ кругомъ, все это сдѣлаютъ и безъ тебя; съ тебя потребуютъ только не залетѣть на время свадьбы въ какую-нибудь трущобу, гдѣ тебя съ собаками не отыщешь...

— Сдѣлай милость, нельзя ли безъ нравоученій?... Я самъ знаю, что̀ дѣлать, вотъ она штука-то въ чемъ!... возразилъ недовольнымъ тономъ Карачаевъ.

— Ну, хорошо, хорошо. Слушай, Порфирій Павлычъ: можно, я думаю, объявить все нашимъ дамамъ? Теперь скрывать ужъ нечего, промолвилъ съ улыбкою Балахновъ.

Порфирій Павловичъ обнаружилъ при этомъ не только согласіе, но даже величайшую радость. Какъ всѣмъ страстно-влюбленнымъ, ему давно прискучили дѣловые толки Аристарха Ѳедоровича, хлопотавшаго о матеріальномъ благосостояніи будущей его жизни; сердце его, переполненное самыми нѣжными чувствованіями, оставалось

глухо къ благоразумнымъ совѣтамъ пріятелей и давно уже порывалось въ гостиную, гдѣ сидѣли дамы: тамъ только можно было найти сочувствіе пылко-влюбленному, тамъ только поймутъ и оцѣнятъ его. Васильковъ угадалъ вѣрно. Какъ только Аристархъ Ѳедоровичъ объявилъ, что Порфирій Павловичъ женится, что свадьба назначена въ началѣ будущаго мѣсяца—всѣ дамы испустили радостный крикъ, какъ-будто слышанное было для нихъ самою свѣжею новостью; потомъ онѣ встали съ своихъ мѣстъ, окружили жениха, засыпали его любезностями, обнаруживая въ каждомъ движеніи трогательную симпатію. Со стороны Кошкина услышалъ онъ также самыя лестныя и радушныя привѣтствія. Въ одномъ только ошибся Порфирій Павловичъ: онъ думалъ обрадовать этимъ извѣстіемъ особенно трехъ барышень, а вышло на повѣрку, что барышни приняли новость холоднѣе Кошкина. Это происходило оттого, что дружеское расположеніе Кокуркиныхъ было слишкомъ искренно; связь Василькова съ семействомъ, которое, по разнымъ отношеніямъ, не благопріятствовало барышнямъ, должна была лишить ихъ навсегда перваго мазуриста, перваго любезника и самаго веселаго и милаго кавалера. Къ этому примѣшивалось также чувство ревности, которое суждено испытывать особамъ прекраснаго пола даже въ дѣлахъ дружбы. Всѣхъ недовольнѣе казалась толстая Вѣра Андреевна; она хотя и объявила съ веселой улыбкой, что съ завтрашняго дня начнетъ готовить бальное платье и новые башмаки, но тотчасъ же сѣла къ окну и погрузилась въ раздумье. Счастье Василькова было, однакожъ, такъ велико, что не могло омрачиться такими замѣчаніями. Онъ принялся описывать физическія и нравственныя красоты своей невѣсты, которую называлъ алмазомъ, перломъ и существомъ небеснымъ, посланнымъ на землю единственно для того только, чтобъ подарить его невообразимымъ блаженствомъ. Увлеченный обворожительною картиною своей будущности, онъ распространился о семейной жизни, давая почувствовать всѣмъ и каждому, что истинное назначеніе человѣка заключается въ томъ, чтобъ быть семьяниномъ, что тутъ только познаетъ онъ себя и выказываетъ, такъ сказать, духовную сторону бытія своего; описалъ въ поразительно-вѣрныхъ краскахъ горькое положеніе холостяка, которому негдѣ согрѣть сердца, некуда приклонить голову; мало-по-малу перешелъ къ будущему своему хо-

зяйству, сказавъ притомъ, что хотя оно и заключается въ бѣдной, скромной хижинѣ на берегу живописной рѣчки, но тѣмъ не менѣе подаритъ его миромъ и покоемъ, столь сладостными послѣ скитальческой и полной треволненій жизни. Растрогавъ до слезъ всѣхъ дамъ поэтическими эпизодами печальной, одиноко-сиротской молодости своей, Порфирій Павловичъ прибавилъ, что утомился ужъ жизнью, гдѣ всюду одна лишь мишура и декораціи, что избралъ покой и, въ подтвержденіе сказаннаго, заключилъ нѣжно-взволнованнымъ голосомъ: да-съ,

Есть тихіе брега покинуть для волненія
И бросить якорь свой у пристани забвенья...

„Боже мой, Боже мой! давно-ли говорилъ онъ, что ничего не можетъ быть лучше холостой жизни, когда никому не отдаешь отчета, а живешь съ тѣми, кто милъ сердцу!“ думала, между тѣмъ, средняя Кокуркина, не сводя тоскливыхъ глазъ съ восторженнаго лица перваго мазуриста. Слово за словомъ, разговоръ сдѣлался общимъ и постепенно перешелъ къ другому предмету; но Васильковъ и тутъ-таки успѣлъ обратить на себя лестное вниманіе дамъ. Онъ говорилъ безъ умолку, вставляя свое слово въ каждый разговоръ, касавшійся до него лично, и даже посторонній. Порфирій Павловичъ считалъ непремѣннымъ долгомъ, какъ только судьба ставила его въ дамское общество, болтать языкомъ безъ умолку. Иной разъ скучненько было, мысль не лѣзла въ голову, но дѣлать было нечего, онъ поставилъ себѣ за правило быть учтивымъ кавалеромъ, занимать дамъ и обнаруживать передъ ними во всѣхъ случаяхъ тончайшую любезность. Для дамы онъ готовъ былъ, какъ герой шиллеровской баллады, броситься изъ-за перчатки въ пасть къ освирѣпѣлымъ львамъ и тиграмъ. И все это дѣлалось такъ, безкорыстно, разумѣется, безъ всякой задней мысли. Услышавъ, что въ другомъ концѣ гостиной шла рѣчь о Бобоховѣ, Порфирій Павловичъ объявилъ тотчасъ же во всеуслышаніе, что знаетъ какъ нельзя лучше этого Бобохова, что они служили вмѣстѣ юнкерами, и что въ то время, какъ полкъ ихъ стоялъ на травяномъ продовольствіи, онъ и Бобоховъ жили въ одной избѣ, спали на одной лавкѣ, ѣли изъ одной чашки. Такъ какъ Василькова считали въ уѣздѣ честнѣйшимъ малымъ, какимъ онъ и былъ въ самомъ дѣлѣ, то дамы, нашпигованныя любопытствомъ касательно

сосѣда-милліонера, закидали вопросами Порфирія Павловича.

Какъ ни былъ любезенъ Васильковъ, однакожъ, онъ вскорѣ почувствовалъ, что не въ силахъ болѣе устоять противъ соблазнителныхъ пуфовъ табачнаго дыма, пускаемыхъ сидѣвшимъ подлѣ него Кошкинымъ. При дамахъ онъ никогда бы не рѣшился курить—это также не было въ его правилахъ—и потому, повернувшись на тонкихъ своихъ ножкахъ, улучилъ минуту и юркнулъ въ залу. Встрѣтивъ Дрянкова, который ходилъ взадъ и впередъ съ заложенными на спину руками, Васильковъ поспѣшилъ къ нему навстрѣчу.

— Я слышалъ, ты, братъ, женишься... весь домъ говоритъ объ этомъ... сказалъ Аполлонъ Егоровичъ, мрачно покручивая пучечки щетинъ, торчавшихъ у него подъ носомъ.

— Да, другъ мой, да! Надоѣло таскаться по свѣту; душа, знаешь, утомилась и проситъ отдохновенія! отвѣчалъ Василковъ, пожимая руку приживальщика и увлекая его въ бильярдную.

— А! вотъ онъ, сизый голубочекъ! Ну, что ты тамъ съ бабьемъ-то засидѣлся?..! А мы такъ съ Ванюшей оканчиваемъ ужъ третью партію, сказалъ Карачаевъ, ударяя кіемъ по бильярду.

— Смерть, братецъ, покурить захотѣлось, произнесъ Васильковъ, ласково кивая карачаевскому партнеру, которымъ былъ никто другой, какъ извѣстный уже сухопарый Иванъ.

— Трубку Порфирью Павлычу, живаа..а! гаркнулъ Карачаевъ, обращаясь къ Ивану и поднявъ въ то же время къ губамъ свою рюмку, стоявшую на сосѣднемъ стулѣ.— Ну, Порфирій, партійку! десять очковъ впередъ даю. Э! была не была! продолжалъ онъ, покуривая изъ дорожнаго чубучка.

— Хорошо; кончи прежде партію, я послѣ; смерть курнуть хочется! отвѣчалъ Васильковъ, принимая трубку изъ рукъ Ивана и садясь на диванъ подлѣ Дрянкова.

— Ну, Аполлонъ Егорычъ, скажи-ка, что̀ ты подѣлываешь. Мы, вѣдь, давно съ тобой не видались...

— Че-е-во? Что онъ подѣлываетъ? Да ты спроси у меня объ этомъ, ха! ха! ха! заголосилъ Карачаевъ, прицѣливаясь кіемъ.—Эхъ-ма! чуть-было не положилъ своего бѣляка въ лузу!

— Да, спроси у Карачаева: онъ тебѣ объяснитъ все, что хочешь; распишетъ, какъ по маслу, значеніе всей литературы, если хочешь, произнесъ съ горькой улыбкой Аполлонъ Егоровичъ.—Мое намѣреніе, прибавилъ онъ, мрачно насупивъ брови,—ѣхать въ Петербургъ; одинъ извѣстный журналъ предлагаетъ мнѣ купить мою повѣсть...

— Не вѣрь! кому нужна его „Непризнанная Индѣйка!" Не вѣрь, Порфирій! крикнулъ Карачаевъ, переваливаясь черезъ бортъ бильярда.

— Намѣреніе мое, продолжалъ Дрянковъ, бросая презрительный взглядъ,—оставить этотъ домъ, гдѣ добра не дождешься.

— Что-о-о? О какомъ домѣ ты осмѣливаешься говорить?... воскликнулъ Карачаевъ, мгновенно измѣняя голосъ и подходя къ дивану.

— Да, я говорю о здѣшнемъ домѣ, возразилъ приживальщикъ, лицо котораго перекрылось зеленоватымъ оттѣнкомъ,—о домѣ, гдѣ всякій... да, всякій даетъ себѣ волю, гдѣ даже самъ хозяинъ не различаетъ людей, гдѣ образованіе...

— Ка-а-къ? И ты смѣешь бранить Лизавету Семеновну? закричалъ Карачаевъ.

— Сдѣлай милость, братецъ, оставь меня въ покоѣ... Лизаветы Семеновны я не трогаю...

— Полно, Павелъ, охота тебѣ... эхъ! пробормоталъ Васильковъ.

— А ты что? Я не съ тобой говорю. Цѣлуйся съ своей невѣстой и больше ничего. Какъ? Лизавета Семеновна, которая одѣла, обула его, Лизавета Семеновна... и ты осмѣлился?...

— Павелъ Петровичъ! Павелъ! полно! Говорятъ тебѣ, онъ не упомянулъ даже о Лизаветѣ Семеновнѣ. Оставь, у каждаго, братъ, есть свои непріятности, ласково произнесъ Васильковъ.

— Все равно! онъ бранитъ домъ, домъ, въ которомъ всѣ мы считаемъ за честь быть приняты. Развѣ мы хуже его?.. Да знаешь ли ты? Скажи еще одно, скажи одно слово—и я...

— Павелъ Петровичъ, послушай... Ты смѣшалъ, братецъ ты мой; онъ совсѣмъ не то хотѣлъ сказать. Перестань, сдѣлай милость... ну, хоть для меня...

— Не то хотѣлъ сказать? возразилъ Карачаевъ, значительно понижая голосъ.—Ну, такъ что жъ послѣ этого

въ его литературѣ, когда онъ говорить не умѣетъ?.. А еще толкуешь, что деньги даютъ тебѣ за сочиненіе! Выучись говорить прежде... Ну, Ваня, сколько очковъ? заключилъ Карачаевъ, неожиданно повертываясь къ бильярду.

— Вотъ ты самъ былъ свидѣтелемъ, сказалъ Дрянковъ, наклоняясь на этотъ разъ къ самому уху собесѣдника,— я даже радъ, признаться, этой сценѣ; самъ суди, каково жить въ такомъ домѣ... Тутъ не только какія-нибудь повѣсти, но даже мысль, простая мысль не придетъ въ голову... Ты счастливъ, братецъ, и, согласно законамъ психологическимъ, тебѣ теперь не могутъ быть понятны страданія человѣка...

— Ты ошибаешься... Хотя, дѣйствительно, счастливѣе меня нѣтъ человѣка въ цѣломъ уѣздѣ, я все-таки понимаю тебя...

— Эхъ, промахнулся! Ишь его, негодяй, широкъ въ плечахъ, въ лузу не лѣзетъ! перебилъ Карачаевъ, стуча кіемъ по желтому. — А все ты, Ваня, экая зюзя! право зюзя! а еще комедіанщикъ! Ну, на какого лѣшаго подставилъ ты маску?..

— Да чего жъ вы-то смотрѣли, Павелъ Петровичъ? А вамъ бы краснымъ подрѣзать! отвѣчалъ Ваня, охорашиваясь.

— Сколько я проигралъ?

— Три нынче, да вечоръ у Барабанчикова восемь, да за вами было прежде семь...

— Эка штука! на квитъ! крикнулъ Карачаевъ, допивая рюмку.

Ваня тряхнулъ волосами. Карачаевъ снова взялся за кій, и началась новая партія.

— Ты понимаешь, говоришь, мое положеніе, продолжалъ между тѣмъ Аполлонъ Егоровичъ,—но поймешь еще лучше, когда я прочту тебѣ свою повѣсть... Я прочту ее тебѣ, если хочешь, сегодня вечеромъ, когда всѣ пойдутъ спать, добавилъ онъ шопотомъ.

Порфирій Павловичъ изъявилъ, какъ изъявлялъ во всѣхъ случаяхъ своей жизни, совершенную готовность исполнить требуемое; онъ сталъ даже просить автора пріѣхать къ нему со временемъ въ домъ, дабы усладить чтеніемъ повѣсти минуты его семейнаго счастія; но Карачаевъ не далъ ему окончить, требуя настоятельно обѣщанную партію.

Партія, однакожъ, не состоялась; потому что Аристархъ

Ѳедоровичъ прислалъ сказать, что на террасѣ всѣхъ ожидаетъ чай.

Чай разливала дѣвица Сараманаева, и это обстоятельство, позволявшее Карачаеву подливать рому сколько душѣ было угодно, развеселило его окончательно. Послѣ чая, Вѣра Андреевна Кокуркина, первая затѣйщица всѣхъ возможныхъ общественныхъ увеселеній, предложила кататься въ лодкѣ. Предложеніе принято было съ восторгомъ.

— Лизочка, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, нѣжно цѣлуя жену, которая вспыхивала каждый разъ при такой нѣжности, хоть и была уже десять лѣтъ замужемъ,—душенька, повторилъ Балахновъ, цѣлуя ее вторично,—тебѣ бы не худо накинуть что-нибудь на плечи: вечеръ сырой; къ тому же роса падаетъ, на водѣ будетъ холодно; да и вамъ, mesdames, совѣтовалъ бы сдѣлать то же самое, присовокупилъ онъ, обращаясь съ любезностью къ Кошкиной и Кокуркинымъ.

Минуту спустя, дамы явились на террасу, закутанныя въ платки и мантильи. Мужчины, въ числѣ которыхъ находились Копковъ и Дрянковъ, вооруженные картузами и трубками, и Карачаевъ съ гитарою Копкова за плечами, стояли на террасѣ, ожидая сойти въ садъ.

По сигналу, данному хозяиномъ дома, Семенъ Семеновичъ поправилъ очки и, выразивъ на желтомъ лицѣ очаровательную улыбку, поспѣшилъ предложить руку хозяйкѣ.

Но потому ли, что Лизавета Семеновна не заблагоразсудила подать руку предупредительному кавалеру, или просто хотѣла идти одна, она сдѣлала видъ, какъ будто не замѣтила его движенія, повернулась къ нему спиной и отошла къ Кокуркинымъ. Взглядъ, брошенный на нее мужемъ, потерялся въ пространствѣ; она стояла къ нему спиною.

— Ну, я пойду съ Володенькой! сказалъ Кошкинъ сахарнымъ голоскомъ, въ которомъ замѣтны были смущеніе и досада,— мы съ нимъ старые друзья; онъ, я увѣренъ, ни на кого меня не промѣняетъ. Володенька, пойдемъ, дружокъ, со мною... прибавилъ онъ, подходя къ мальчику и ласково наклоняясь къ нему.

— Нѣтъ, я не пойду съ вами... произнесъ вполголоса ребенокъ, который не могъ видѣть отца за спиною Кошкина.

— Отчего же, дружокъ?..

— Такъ, не хочу. Я пойду съ Копковымъ.

— Но отчего же не со мной?..

— Оттого, что... оттого... я васъ не люблю! отвѣчалъ Володя, хмуря брови и отворачиваясь въ сторону.

— Ха-ха-ха! вотъ славно! сказалъ Семенъ Семеновичъ, смѣясь усиленнымъ, кисленькимъ смѣхомъ,—ну, какъ хочешь, дружокъ, я тебя нисколько не принуждаю...

— Что такое? въ чемъ его принуждаютъ?.. спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, хмуря брови и подходя къ Кошкину и ребенку.

Лизавета Семеновна, а за ней и остальныя дамы подошли къ Володѣ, который, очутившись передъ отцомъ, побѣлѣлъ, какъ известь.

— Нѣтъ, ничего... Между нами произошла маленькая ссора, проговорилъ Кошкинъ голосомъ невинности. — Володя объявилъ мнѣ, что онъ меня не любитъ и не пойдетъ гулять со мной, промолвилъ онъ съ сожалѣніемъ.

Величественное лицо Аристарха Ѳедоровича вздрогнуло, словно отъ гальваническаго удара; высокій лобъ его мгновенно покрылся красными пятнами.

— Это еще что значитъ?.. вонъ! закричалъ онъ грозно, насупивъ брови и указывая сыну на дверь гостиной.

Ребенокъ, рыдая, покинулъ террасу.

— Аристархъ Ѳедорычъ, полноте! Помилуй, братецъ, вотъ вздоръ какой! Прости его: ребенокъ! заговорили въ одинъ голосъ присутствовавшіе, окруживъ Балахнова.

— Нѣтъ, ужъ извините, mesdames, его надо, наконецъ, хоть разъ проучить хорошенько. Это изъ рукъ вонъ! Я давно замѣчаю за нимъ кой-какія черты вовсе... не знаю только, откуда черты эти прививаются... произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, бросая значительный взглядъ женѣ, которая стояла подлѣ Кошкиной, стараясь подавить слезы.

Маленькая эта катастрофа нимало не повредила прогулкѣ, и общество потянулось гурьбой по садовымъ дорожкамъ, спускавшимся къ прудамъ, которые ярко сіяли посреди зелени, начинавшей уже покрываться тѣнью.

Минуту спустя, большая лодка, украшенная флюгерами и расписанная самымъ затѣйливымъ образомъ, отчалила отъ берега, таща за собою длинную, волнистую струю, въ которой играли и дробились послѣдніе лучи солнца. Вечеръ былъ чудесный; чистое небо, исполосованное только на закатѣ золотыми облаками, отражалось цѣликомъ въ широкомъ прудѣ, гладкомъ какъ зеркало. Тишина возму-

щалась лишь плескомъ веселъ; изрѣдка присоединялся къ этому отдаленный говоръ поселянъ, возвращавшихся съ поля, или дребезжанье телѣжки, скакавшей гдѣ-то въ сторонѣ по пыльной дорогѣ. Воздухъ начиналъ уже проникаться вечернею свѣжестью. По мѣрѣ того, какъ лодка удалялась отъ берега, барскій домъ, съ его мезониномъ, службами и садомъ, сбѣгавшимъ по косогору, окрашенные золотистымъ пурпуромъ заката, выступали рѣзче и рѣзче впередъ и, наконецъ, одинъ за другимъ, начиная съ мезонина, показались въ водѣ.

Васильковъ былъ въ восторгѣ; онъ думалъ о своей невѣстѣ, и воспоминаніе это сообщало въ глазахъ его тройную прелесть природѣ. Впрочемъ, каждый изъ присутствовавшихъ, кромѣ, можетъ-быть, одной Лизаветы Семеновны, казался очень доволенъ прогулкою. Всѣ сидѣли въ сладкомъ раздумьѣ и молча поглядывали другъ на друга.

— Эй, ты, литераторъ, „littérateur“! Ну, что голову-то повѣсилъ? греби дружнѣе! Слушай моей команды: весла на воду! Такъ! Что это, mesdames „écoutez“, кого здѣсь хоронятъ?..

Получивъ въ отвѣтъ нѣсколько жалкихъ улыбокъ, Карачаевъ сбросилъ съ плечъ гитару, взгромоздился на корму, кашлянулъ, перебралъ струны и, взявъ комически величавую позу, запѣлъ тоненькимъ, пронзительнымъ голосомъ, очевидно, рождавшимся въ горлѣ, но выходившимъ, по какому-то странному закону, прямо изъ носа: „T'en souviens-tu disait un kapitan“...

— Нѣтъ, Карачаевъ, полно, братецъ; спой намъ лучше что-нибудь родное, національное, такое, чтобъ захватывало, знаешь, прямо за сердце! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ легкимъ оттѣнкомъ меланхоліи.

— Да, пожалуйста, братецъ, что-нибудь заунывное, произнесъ съ чувствомъ Семенъ Семеновичъ.

— Ахъ, да, русское! пожалуйста, русское! восторженно заговорили дамы, кромѣ Балахновой, которая разсѣянно глядѣла вдаль.

— Что жъ? „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“? спросилъ, пріосанившись, Карачаевъ, слывшій большимъ знатокомъ русскихъ пѣсенъ и первымъ пѣвцомъ въ околоткѣ, — только „écoutez“, пѣсню эту надо пѣть хоромъ. Mesdames, барышни, извольте садиться подлѣ меня... Эй ты, литераторъ, Копковъ, слушать моей команды. Ты, Порфирій, са-

дись подлѣ барынь, ты теноръ, такъ. Эй, ты, „littérateur“, смотрѣть на меня въ оба!

Карачаевъ забренчалъ гитарой, кашлянулъ, закинулъ назадъ лысую, багровую голову—и звонкій, дребезжащій голосъ его, прерываемый громкими взрывами хора, раздался съ перекликами по всей окрестности. За первой пѣснью послѣдовали другія, исполненныя то Карачаевымъ, то Васильковымъ, у котораго былъ слабый, но сладкозвучный горловой теноръ, то всѣмъ обществомъ, не исключая даже Копкова, который прерывался и схватывалъ поспѣшно весла каждый разъ, когда глаза его встрѣчались съ глазами младшей Кокуркиной. Музыка, какъ и слѣдовало ожидать, произвела свое обаятельное дѣйствіе на присутствовавшихъ. Къ концу прогулки присутствовавшіе, со включеніемъ даже хозяйки дома, сдѣлались необыкновенно веселы и сообщительны, и только два человѣка, Аполлонъ Егоровичъ и Аристархъ Ѳедоровичъ, не раздѣляли, казалось, общей радости. Музыка подѣйствовала на нихъ отрицательно: она пробудила въ нихъ грустныя думы. Аристархъ Ѳедоровичъ, облокотившись на бортъ, не отрывалъ глубоко-задумчивыхъ глазъ отъ дальнихъ береговъ. Горькая улыбка человѣка непонятаго, неоцѣненнаго, пробѣгала на тонкихъ губахъ его. Видно было, что его мысли были далеко отъ всего окружающаго. Замѣтивъ эту улыбку и понявъ тайный смыслъ ея, Кошкинъ наклонился къ Василькову, шепнулъ что-то на ухо Кокуркинымъ, подалъ выразительные знаки Дрянкову, Карачаеву и Копкову; присутствовавшіе взглянули на Аристарха Ѳедоровича, потомъ переглянулись между собою, и, секунду спустя, на лодкѣ воцарилось молчаніе...

Внезапно Аристархъ Ѳедоровичъ поднялъ голову; онъ провелъ ладонью по высокому лбу, положилъ одну руку на плечо Кошкина, другую простеръ къ горизонту и произнесъ слегка взволнованнымъ голосомъ:

— Другъ, что̀ прочно на свѣтѣ? Побужденія человѣка суть только плодъ бреннаго, тревожнаго бытія его! Къ чему ведутъ насъ высокія думы, возвышенныя стремленія?.. Къ тому, чтобъ видѣть на каждомъ шагу забвеніе того, что возвышено и достойно!.. Что̀ сдѣлалъ человѣкъ съ самимъ собою? Благородство замѣнилъ онъ коварствомъ, умъ обратилъ во вредъ ближнему! Пламенная страсть переходитъ мгновенно въ ненависть, дружбу замѣняетъ непріязнь лютая! Ничто не прочно... и только вотъ, да,

одна лишь природа, какъ бы въ укоръ человѣку, остается вѣчно неизмѣнною, вѣчно одна и та же; все исчезаетъ передъ могучимъ ея величіемъ...

Когда послѣднія слова Аристарха Ѳедоровича замерли въ отдаленіи, Кошкинъ проворно поправилъ очки, схватилъ руку Балахнова и бросилъ на него одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которые для людей, понимающихъ другъ друга, дороже всякихъ фразъ и возгласовъ. Балахновъ отвѣтилъ ему выразительнымъ пожатіемъ руки и снова устремилъ задушевные взоры на дальній берегъ.

Присутствовавшіе въ молчаніи послѣдовали его примѣру.

Вскорѣ лодка причалила къ берегу, и общество направилось къ дому. Вѣра Андреевна, желая, по своему обыкновенію, развеселить компанію, предложила было сыграть въ фанты, или протанцовать хотя одну французскую кадриль, но всѣ единодушно отказались отъ предложенія, тѣмъ болѣе неумѣстнаго, что въ залѣ давно ужъ ожидалъ ужинъ. Минуту спустя, кавалеры подали руки дамамъ, и длинная вереница потянулась изъ темной гостиной въ столовую.

— Ужасный человѣкъ! жестокій человѣкъ! пролепетала дѣвица Сараманаева, опускаясь снова всею тяжестью на руку Карачаева, который шелъ съ нею въ одной парѣ.

— За что вы на меня нападаете?.. Ecoutez, ей-Богу, не знаю, что̀ я сдѣлалъ... пусть я ослѣпну, если понимаю...

— Коварное существо!.. зачѣмъ разболтали вы все Кокуркинымъ?.. О, я никогда отъ васъ этого не ожидала!..

— Кто, я? Ахъ онѣ... да я сейчасъ же пойду проучу ихъ... что вы!

— Ради Бога, Павелъ Петровичъ... Павелъ... умоляю васъ, хоть для меня, не дѣлайте этого... Я вамъ за это напишу милую записку... пролепетала дѣвица Сараманаева, показывая собесѣднику крупные бѣлки свои.

— Повинуюсь... Ахъ онѣ... я имъ! Повинуюсь, когда вы этого требуете—повинуюсь! шепнулъ Карачаевъ, укрощая мгновенно свою запальчивость.

Во время ужина не произошло ничего особенно замѣчательнаго, кромѣ развѣ того, что Карачаевъ выпилъ залпомъ четыре рюмки сердцекрѣпительной влаги, сказавъ при этомъ, что предпочитаетъ ее во сто кратъ всякимъ шато-ла-роз-пульякамъ и прочимъ заморскимъ выдумкамъ.

Пожелавъ хозяевамъ и другъ другу доброй ночи, гости, провожаемые кто лакеями, а кто горничными, отправились въ назначенные для нихъ покои.

— Ты гдѣ спишь? въ какой комнатѣ? спросилъ Васильковъ, обнимая одной рукою Карачаева, другою приводя въ порядокъ волосяныя свои волюты.

— Вотъ вопросъ! Ха-ха-ха! Ахъ, ты, шутъ гороховый, тетеревъ этакой! Да гдѣ жъ я буду спать, если не съ тобой?.. Я нарочно, братъ, распорядился насчетъ этого. Вотъ, смотри, если вру, прибавилъ онъ, вводя пріятеля въ маленькую комнату съ двумя постелями и кускомъ зеркала, вставленнымъ въ запачканную мухами раму. — Ну, что, Ваня, доволенъ ли ты, что привелъ я тебя сюда? спросилъ Карачаевъ, бросаясь со всѣхъ ногъ на перину и подставляя сапогъ камердинеру.

— Доволенъ, Павелъ Петровичъ, покорно благодарю.

— Вѣдь вотъ, братъ Порфирій, повѣришь ли, для чего я пріѣхалъ сюда — для него одного! У него, знаешь ты, здѣсь зазнобушка... Ну, что, видѣлъ Глафиру? Что она? рада?

— Какъ же не радоваться! старые знакомые! смѣясь отвѣчалъ Иванъ, принимаясь снимать второй сапогъ.

— Вѣдь вотъ, братъ Порфирій, что̀ онъ мнѣ? наемный, а, право, люблю его! Ну ужъ зато скажу, братъ, тебѣ, и онъ не выдастъ; да вотъ какъ: дай ему сто рублей въ мѣсяцъ, не пойдетъ къ тебѣ... Мало того, дай двѣсти, не пойдетъ! Ты знаешь самъ, что онъ могъ бы получать большія деньги: вѣдь онъ комедіантъ и дѣлаетъ преуморительныя, братъ, штуки; ему въ губернскомъ городѣ предлагали мѣсто паяца, четыреста рублей давали на ярмаркѣ, а не пошелъ! Да что толковать! дай ему двѣсти рублей, тысячу дай—не пойдетъ, самъ спроси у него...

— Да что спрашивать! Я и безъ того вѣрю, отвѣчалъ Васильковъ, забиваясь подъ одѣяло.

— Нѣтъ, ты спроси, спроси, доволенъ ли онъ мною? Ваня, скажи ему, доволенъ ли ты мною—да, или нѣтъ? ну!

— Какъ же не быть довольнымъ? Чего жъ еще надо? Слава Богу, еще бы съ вами не хорошо было жить! весело отвѣчалъ Иванъ.

— Ха-ха-ха! Иванъ, поди сюда! торжественно закричалъ Карачаевъ, принимаясь рыться въ архалукѣ.—Ваня, на̀ тебѣ полтинникъ.

— Помилуйте, Павелъ Петровичъ, зачѣмъ мнѣ? вамъ самимъ надо...

— Бери, когда говорятъ!

— Да нѣтъ же, не надо мнѣ. Богъ съ вами; у васъ теперь у самихъ гроша нѣтъ...

— Что-о-о? закричалъ Карачаевъ, вскакивая съ постели. — Вонъ, когда такъ! Не смѣй являться на глаза! Вонъ, грубіянъ!.. Ну, вотъ, братъ, прибавилъ онъ спокойно, когда вышелъ Иванъ,—видишь самъ, не человѣкъ, а золото! Послѣдній, вѣдь, полтинникъ отдалъ ему, а не жаль, право не жаль. Эй, Порфирій! да что ты, спишь, или нѣтъ?

— Нѣтъ...

— Что жъ ты уткнулся какъ байбакъ въ стѣну?

— Я думаю...

— О чемъ? ха-ха-ха!..

— О Боже, Боже! что-то дѣлаетъ теперь моя Антопиночка? произнесъ замирающимъ голосомъ Васильковъ,— что-то она теперь дѣлаетъ?.. Она...

— Фу! пусто васъ побери всѣхъ влюбленныхъ! Ха-ха-ха!.. Кто тамъ? промолвилъ неожиданно Карачаевъ, повертываясь къ двери.

Но, вмѣсто отвѣта, на порогѣ показался Аполлонъ Егоровичъ, съ толстой тетрадью подъ мышкой.

— А! воскликнулъ Карачаевъ. — Ну, послушай, братъ, Аполлонъ Егоровичъ, я забылъ тебѣ сказать: ты, братъ, не сердись на меня; лѣшій же велѣлъ говорить тебѣ въ бильярдной такъ, что тебя не поймешь...

— Хорошо, хорошо, отвѣчалъ приживальщикъ, видимо озадаченный присутствіемъ Карачаева,—только, пожалуйста, не мѣшай намъ; мы займемся на минуту дѣломъ, присовокупилъ онъ, подходя къ Василькову.

— Ладно, читай! сказалъ Карачаевъ, закуривая трубку и подпираясь локтемъ въ подушку.

Дрянковъ снялъ со свѣчки, сѣлъ подлѣ Василькова и раскрылъ тетрадь.

— Повѣсть называется... „Непризнанная Индѣйка“... Но прежде, я думаю, нелишнимъ будетъ разсказать въ короткихъ словахъ сюжетъ ея, то-есть содержаніе... произнесъ Дрянковъ.

— Ну, мимо сюжетъ! Читай только; мы сами поймемъ и безъ твоихъ объясненій... замѣтилъ Карачаевъ, нетерпѣливо пуская клубы дыма.

Дрянковъ мрачно нахмурилъ брови, кашлянулъ нѣсколько разъ сряду и началъ:

„Свѣтило дня медленно склонялось къ горизонту и, какъ бы тоскуя о разлукѣ съ землею, бросало на нее послѣдній, прощальный привѣтъ, когда на порогѣ избушки показался старикъ, убѣленный почтенною сѣдиною. Время и заботы избороздили высокое его чело, но онъ былъ еще бодръ, и члены его, прикрытые шинелью, казались еще довольно крѣпкими. Могучая грудь почтеннаго старца, усѣянная рядомъ незабудокъ...“

— Стой! зачеркни это: не годится! крикнулъ Карачаевъ, обнаруживая живое участіе.—Что это? незабудки? вздоръ! сейчасъ же вонъ ихъ!

— Ну, вотъ, самъ теперь видишь, какой ты! произнесъ Дрянковъ, сжимая кулаки, но обращая умоляющій взглядъ на Карачаева.

— Зачеркни незабудки, и я замолчу; безъ этого не хочу дальше слушать, вотъ въ чемъ она штука-то.

— Полно, Павелъ, оставь насъ, пробормоталъ Васильковъ, у котораго сильно слипались глаза.

— А ну, коли такъ, за порогъ же всю вашу литературу! Ступай, читай кому хочешь свои незабудки. Вонъ! я спать хочу!

И Карачаевъ, безъ дальнихъ объясненій, побѣжалъ къ комоду, затушилъ свѣчу и, выпроводивъ гостя, грохнулся на постель.

На концѣ темнаго коридора, подъ лѣстницей, находилась крошечная каморка, обращенная благотворительнымъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ въ жилье для приживальщиковъ. Туда-то направилъ шаги свои Аполлонъ Егоровичъ, сжимая судорожною рукою тяжеловѣсную рукопись „Непризнанной Индѣйки“. Войдя въ каморку, онъ отыскалъ ощупью спичку и засвѣтилъ огонь. Первый предметъ, попавшійся ему на глаза, былъ Прокисай Захаровичъ, спавшій въ своемъ углу невиннымъ сномъ младенца.

Но Аполлонъ Егоровичъ отвернулся отъ него такъ же ненавистно, какъ отвернулся бы въ эту минуту отъ всего человѣчества. Онъ опустился на тюфякъ, придвинулъ къ постели стулъ, поставилъ на него свѣчку и, раскрывъ передъ собой повѣсть, дико заскрежеталъ зубами. Вслѣдъ за тѣмъ Аполлонъ Егоровичъ уперся локтями въ подушку, положилъ угловатую свою голову между ладонями и принялся читать съ какимъ-то свирѣпо-отчаяннымъ выраженіемъ лица лучшія мѣста изъ своей повѣсти.

V.

Часть быта, которая тщательно скрывается отъ постороннихъ.

Въ то самое время, какъ Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ возсѣдалъ въ каморкѣ, опредѣленной благотворительнымъ Балахновымъ для приживальщиковъ, и, скрежеща зубами, читалъ съ какимъ-то свирѣпо-отчаяннымъ выраженіемъ на лицѣ незабвенныя страницы собственнаго своего произведенія, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, черезъ двѣ стѣны, происходили сцены совершенно другого рода.

Мѣстомъ дѣйствія служила маленькая, но красивая комната, отведенная супругамъ Кошкинымъ.

— Не хочу! не хочу! не хочу! кричала Анна Васильевна, сидѣвшая на постели и одѣтая, по-ночному, въ измятомъ миткалевомъ чепцѣ и такой же точно кофтѣ, которые, скажемъ въ скобкахъ, нисколько не соотвѣтствовали ея шелковому платью и другимъ, болѣе или менѣе дорогимъ, принадлежностямъ туалета, лежавшимъ на стулѣ.—Не хочу! Вотъ славно! Что она за невидаль, что я позволю ей строить разныя гримасы, задирать носъ, да отворачиваться!.. Никогда этого не будетъ, никогда, никогда! слышите ли? прибавила она, бросивъ презрительный взглядъ на мужа, который стоялъ передъ нею въ носкахъ и безъ парика.

— Да ты только выслушай, моя радость... униженно произнесъ супругъ.

— Ничего не хочу слушать! У васъ нѣтъ ни амбиціи, ни самолюбія! Вы скоро, кажется, позволите сѣсть себѣ на голову въ этомъ проклятомъ домѣ! Дѣлайте, что хотите, но чтобъ я, я, я! позволила задирать передъ собою носъ этой долговязой дурѣ, Балахновой... ха-ха-ха!.. нѣтъ, merci beaucoup, этого вы никогда не дождетесь! Завтра же, завтра утромъ, чтобъ были готовы лошади, и я ѣду.

— Что жъ изъ этого выйдетъ? скандалъ, скандалъ на весь уѣздъ, и больше ничего! отвѣчалъ сокрушенный Семенъ Семеновичъ.

— Большая нужда мнѣ въ томъ, что будутъ говорить Кокуркины какія-нибудь! Я увѣрена, что всѣ порядочные люди, которые бѣгаютъ изъ этого дома, какъ отъ чумы, оправдаютъ мой поступокъ! воскликнула Кошкина, энер-

гически махнувъ рукой.—Если я до сихъ поръ пренебрегала порядочнымъ обществомъ и ѣздила сюда, такъ дѣлала это изъ снисхожденія къ вамъ; я имѣла глупость вѣрить всѣмъ вашимъ сказкамъ...

— Да ты выслушай только, Анна Васильевна...

— А, подите! Ваши Балахновы mauvais genre, и больше ничего! перебила жена, нетерпѣливо махнувъ рукой.

— Послушай, дружокъ, я вовсе не защищаю ихъ; я даже совершенно согласенъ во всемъ съ тобой, хотя ты, признаться, слишкомъ ужъ строга. Нельзя же отнять ума у Аристарха Ѳедоровича: уменъ какъ ясный день! скажу болѣе: уменъ, адски уменъ, хитеръ и лукавъ, какъ бѣсъ, вдобавокъ! возразилъ Семенъ Семеновичъ.—Что жъ касается до Лизаветы Семеновны, ты сама знаешь, душа моя, причину ея гнѣва: во время оно я могъ быть ея мужемъ и... и предпочелъ тебя...

— Скажите пожалуйста! Есть ей за что сердиться! велика важность!..

— Вотъ вѣдь ты какая, Анненька! слова не можешь сказать безъ колкости. Но какъ бы тамъ ни было, прошу, умоляю тебя потерпѣть и не дѣлать скандала, продолжалъ Семенъ Семеновичъ, кашлянувъ, чтобъ придать себѣ болѣе бодрости.—Если бъ завтра былъ день обыкновенный, я слова бы не сказалъ, право не сказалъ бы; нашли бы предлогъ—и все кончено, поѣхали бы съ Богомъ; но сама посуди, ты столько умна, что сама можешь понять: сюда съѣдется почти весь уѣздъ; хозяинъ празднуетъ день своего рожденья, и... и... вдругъ... Въ жизни нужно соблюдать нѣкоторую политику... Къ тому же завтра будетъ сюда Окатовъ; онъ почти главный рычагъ въ нашемъ дѣлѣ съ Балахновымъ, и я долженъ его видѣть...

— И вы, въ самомъ дѣлѣ, думаете, что жена Окатова допуститъ своего мужа мѣшаться въ ваши дрязги?.. Я знаю, она терпѣть не можетъ Балахнова и его долговязую; одного ея слова довольно, чтобъ онъ отъ всего отказался. Не всякій такъ охотно, какъ вы, готовъ себя компрометировать... Что вы тогда станете дѣлать съ вашимъ Балахновымъ? Всѣ ваши затѣи и надежды вздоръ и больше ничего...

— Если это случится, мы тогда посмотримъ. Я обѣщаю тебѣ, что тогда ноги нашей не будетъ въ этомъ домѣ; но покуда, послушай, Анна Васильевна, Бога ради, не дѣлай, дружокъ, скандала... Къ тому же, право, моя

радость, будетъ здѣсь завтра очень весело. Ты знаешь самолюбіе Балахнова; онъ не захочетъ уронить себя, особенно въ настоящее время, гдѣ слѣдуетъ ему всѣми силами поддержать кредитъ. Тебя, кажется, не было въ залѣ, когда пріѣхали музыканты, первый оркестръ въ губерніи! Вечеромъ будетъ фейерверкъ, прекрасный фейерверкъ! Обѣдъ будетъ отличный! Я знаю навѣрное, что Балахновъ выписалъ изъ Москвы ананасовъ; если хочешь, я попрошу даже сѣмянъ... Ты порѣзвишься и потанцуешь, продолжалъ вкрадчивымъ голосомъ Семенъ Семеновичъ,—а послѣзавтра, чѣмъ свѣтъ, если хочешь, мы уѣдемъ!..

— Какой вы дурной, какъ я посмотрю! нашли чѣмъ плѣнять: ананасы! не видала я ананасовъ, слава Богу!.. Оркестръ! ха-ха-ха!.. Но, скажите пожалуйста, съ кѣмъ же прикажете танцовать: съ Карачаевымъ, или, что еще лучше, съ этимъ пучеглазымъ Васильковымъ?..

— Отчего же, другъ мой? Не одни они будутъ, будутъ и другіе...

— Но кто же, напримѣръ?

— Гм... гм... но не все ли тебѣ равно? произнесъ, спохватившись, супругъ.—Неужели тебѣ не весело будетъ затмить всѣхъ?.. Во-первыхъ, я увѣренъ, что даже у Лизаветы Семеновны, которую мужъ одѣваетъ, изъ тщеславія, какъ куклу, не будетъ такого платья, прибавилъ онъ, указывая на огромный ящикъ, въ которомъ заключался завтрашній туалетъ жены.

— Скажите, какая честь быть лучше этой мумій, или какихъ-нибудь столѣтнихъ Кокуркиныхъ и Саранаевыхъ!..

— Полно, душа моя! сказалъ супругъ таявшимъ голосомъ,—я знаю, всему этому причиной твоя желчь и слабые нервы. Полно, поступи такъ, какъ дѣлалъ одинъ древній философъ, кажется даже... Нума Помпилій, если не ошибаюсь; онъ всегда говорилъ, что предпочитаетъ быть первымъ въ деревнѣ, чѣмъ вторымъ въ городѣ, прибавилъ Семенъ Семеновичъ, желавшій отъ всей души разсѣять, разсмѣшить и хоть этимъ способомъ склонить на свою сторону капризную супругу.—Итакъ, ты согласна со мною?

Но, вмѣсто отвѣта, Анна Васильевна прищурила свои черные глазки, сдѣлала кислую мину и завернулась въ одѣяло.

— Анюта, Анненька... ты спишь, душа моя? спросилъ послѣ минутнаго молчанія Семенъ Семеновичъ.

— Ахъ, оставьте меня, подите прочь! сказала Кошкина, придвигаясь между тѣмъ къ стѣнкѣ.

Семенъ Семеновичъ взглянулъ на жену, потеръ потихоньку руки и задулъ свѣчу.

Мы перенесемся теперь на противоположный конецъ дома и посмотримъ, что̀ дѣлалось въ спальнѣ самихъ хозяевъ. Но прежде не мѣшаетъ познакомить читателя съ наружностью и расположеніемъ этой спальни.

Я былъ всегда того мнѣнія, что сокровенныя комнаты, каковы, напримѣръ, кабинетъ и спальня, высказываютъ склонности и вообще весь характеръ своихъ владѣльцевъ несравненно краснорѣчивѣе, чѣмъ самая физіономія этихъ владѣльцевъ. Господинъ или дама въ гостиной и тотъ же господинъ или дама въ спальнѣ или кабинетѣ, какъ извѣстно, два существа совершенно разныя. Я даже увѣренъ, что такія превращенія ровно ничего не значатъ въ сравненіи съ самыми неожиданными театральными превращеніями, гдѣ часто изъ цвѣтущей долины вдругъ дѣлается мрачная пещера, и наоборотъ. Въ гостиной или свѣтѣ, что одно и то же, всѣ люди почти одинаковы: всѣ равно милы, привлекательны, любезны, или стараются, по крайней мѣрѣ, быть такими, и только въ завѣтныхъ комнатахъ являются они сами собою, то-есть, такими, какіе они на самомъ дѣлѣ. Мы окружаемъ и обставляемъ себя по возможности всѣмъ, что соотвѣтствуетъ нашему вкусу, и вкусъ этотъ долженъ, слѣдовательно, приблизительно выражать наши склонности; мельчайшія привычки, обычаи—словомъ, все, что составляетъ всего человѣка и что тщательно иной разъ скрывается имъ отъ свѣта, является въ поразительно вѣрныхъ краскахъ на полкахъ, мебели и стѣнахъ его кабинета. Вы убѣждены, напримѣръ, что г. Z., страстный поклонникъ отечественной словесности—прекрасно; вы глазамъ не вѣрите, найдя въ его кабинетѣ однѣ губернскія вѣдомости, прикрытыя стаканомъ квасу на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ объявляется о продажѣ борзыхъ собакъ. Но въ томъ-то и штука, что вы знали поддѣльнаго г. Z., тогда какъ, вотъ вамъ настоящій. Господинъ П. кажется вамъ человѣкомъ характера могучаго и твердаго, силы воли непоколебимой, гордости непреклонной: посмотрите-ка на него, когда онъ остается наединѣ съ женою—совсѣмъ не то! Все зависитъ отъ того, съ какой

точки зрѣнія смотрѣть. Каждый домъ, каждая квартира, какъ бы малы ни были—тотъ же театръ, разгороженный на сцену и кулисы: вся разница въ томъ, что дѣйствующія лица занимаются актерскимъ ремесломъ изъ любви къ искусству, не приписаны ни къ какой труппѣ и не получаютъ жалованья. Повѣрьте, такъ!.. Спальня Лизаветы Семеновны, чтобъ окончить дальнѣйшія объясненія, находилась подлѣ маленькой комнаты, которая оканчивала собою уголъ дома, затерянный въ глухой и запущенной части сада. Обращенная когда-то въ великолѣпный будуаръ, спальня не представляла теперь тѣни прежней роскоши: все было просто и печально, какъ наружность самой хозяйки. Исторія преобразованія будуара въ спальню достойна замѣчанія: она составила эпоху въ жизни Балахновой. Два года послѣ свадьбы и вскорѣ послѣ ссоры Аристарха Ѳедоровича съ Солонеевымъ, Лизавета Семеновна обнаружила замѣтное охлажденіе къ окружавшему ее міру; сплетни, дрязги, послѣдовавшія за ссорой, балы, обѣды, съѣзды, явившіеся какъ противодѣйствіе, и, главное—равнодушіе Аристарха Ѳедоровича, которому, конечно, не до того уже было, чтобъ заниматься дѣтьми и женою—все это заставило Лизавету Семеновну искать жизни въ другой сферѣ. Нечего и говорить, что душа ея проникалась болѣзненной тоскою, когда она мысленно устремляла взоръ въ будущее. Тщеславіе и самолюбіе мужа, доходившія до помѣшательства, должны были подточить въ скоромъ времени состояніе дѣтей: материнское сердце бѣдной женщины обливалось заранѣе кровью и ожесточалось съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе. Видя, что усилія ея, стремившіяся къ тому, чтобъ подавить въ Балахновѣ пошлое, пустое чувство, возвратить его къ обязанностямъ отца и мужа—были напрасны, Лизавета Семеновна почувствовала, что завѣса, опущенная разъ навсегда между его и ея интересами, становилась съ каждымъ часомъ гуще и гуще. Мало-помалу она переселилась въ маленькую комнату верхняго этажа, гдѣ жили ея дѣти и старая няня, носившая ее на рукахъ. Аристарху Ѳедоровичу это очень не понравилось: въ головѣ его носился совсѣмъ другой идеалъ жены и подруги жизни. Оказывалось на повѣрку, что Лизавета Семеновна не только не играла никакой роли, но даже не подавала надежды играть когда-нибудь роль въ уѣздномъ кругу. Слѣдствіемъ этого было то, что Балахнова

сильно упала въ мнѣніи своего величаваго супруга. „Я ошибся“, подумалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, натирая докрасна дипломатическій свой лобъ: „страсти увлекли меня! такая женщина не въ состояніи понять возвышенныя стремленія человѣка, стоящаго выше другихъ! Я горько ошибся! мелкія, жалкія натуры!..“

Имъ чувствъ высокихъ не дано!
Отъ колыбели до могилы имъ пресмыкаться суждено!

заключилъ Балахновъ, подавляя вздохъ. Все это было совершенно справедливо. Но такъ какъ, съ другой стороны, Лизавета Семеновна исполняла безпрекословно всѣ его прихоти, являлась, въ случаѣ надобности, съ веселымъ лицомъ въ гостиную, принимала гостей въ роскошномъ будуарѣ, съ батистовымъ платкомъ въ рукѣ, то онъ и оставлялъ ее въ покоѣ. Онъ не сказалъ даже слова, когда, по прошествіи нѣкотораго времени, жена упросила его перевести дѣтей внизъ, отдать имъ прежнюю спальню свою, а изъ будуара устроить себѣ комнату. Ему было совершенно все равно: главное — былъ бы будуаръ въ домѣ; а такъ какъ прежній далеко не соотвѣтствовалъ его постепенно развившемуся вкусу, то онъ съ радостью перенесъ его въ сосѣднюю комнату. „Оно будетъ повиднѣе!“ Онъ тотчасъ велѣлъ снять всѣ полки, всѣ бездѣлушки, ковры, картинки, бронзу, фарфоръ и украсилъ ими новую комнату; даже цвѣтныя стекла, украшавшія прежнія окна, перешли въ новый будуаръ.

Новый этотъ будуаръ, истинная bête noire Лизаветы Семеновны, доставлялъ долгое время великое наслажденіе Аристарху Ѳедоровичу. На первыхъ порахъ онъ даже никого не хотѣлъ принимать нигдѣ, кромѣ этого мѣста. Когда гости усаживались въ гостиной въ ожиданіи хозяевъ, Балахновъ давалъ маленькое наставленіе Володѣ и поспѣшно посылалъ его къ гостямъ. „Гдѣ мамаша, душенька?“ спрашивали обыкновенно гости. „Въ бодоарѣ“, отвѣчалъ ребенокъ, которому было тогда четыре года. Гости отправлялись въ *бодоаръ*, и встрѣчали всякій разъ самый радушный, привѣтливый и любезный пріемъ со стороны хозяина. Какъ бы тамъ ни было, Лизавета Семеновна была очень довольна такой перемѣной: это давало ей возможность жить вмѣстѣ, почти въ одной комнатѣ съ дѣтьми, и жить какъ можно дальше отъ будуара. И какъ часто бѣдная женщина, сидя у окна своей ма-

ленькой дѣтской, окруженная дѣтьми, отдыхала душою и сердцемъ послѣ великолѣпныхъ баловъ и обѣдовъ Аристарха Ѳедоровича! Какъ часто, обвивъ руками и прижавъ къ груди дѣтей своихъ, забывала она свое горе! Но какъ часто зато тѣ же самыя дѣти заставали свою добрую маму съ заплаканными глазами! Какъ часто тогда соединенное усиліе маленькихъ ручекъ было напрасно, чтобъ оторвать ее отъ окна, уныло глядѣвшаго мутными стеклами на глухую часть сада, опустошенную осеннимъ ливнемъ!.. Но мы удаляемся отъ предмета. Намъ слѣдовало перенестись въ спальню Лизаветы Семеновны и посмотрѣть, что̀ дѣлалось тамъ въ это время, когда гости укладывались по своимъ мѣстамъ, прикутывались въ свои одѣяла и весело разговаривали, вникая, какъ водится, въ характеръ и нравственныя качества хозяина и хозяйки гостепріимнаго дома.

Балахнова сидѣла на чахломъ соломенномъ стулѣ, прислоненномъ къ ея узенькой постели. Вытянувъ ноги, опустивъ худощавыя кисти рукъ на колѣни, склонивъ голову, она напоминала собой одну изъ тѣхъ мраморныхъ фигуръ, которыми украшаютъ гробницы; неподвижность ея положенія довершала сходство. Совсѣмъ другое зрѣлище представлялъ Аристархъ Ѳедоровичъ, расхаживавшій нетерпѣливыми шагами изъ одного угла въ другой, съ закинутыми за спину руками. Тусклый, едва вздрагивавшій свѣтъ нагорѣвшаго сальнаго огарка, воздвигнутаго на комодѣ (Аристархъ Ѳедоровичъ допускалъ стеариновыя свѣчи только въ парадныхъ комнатахъ), не позволялъ, къ несчастью, различать выраженія лица его. Въ спальнѣ было почти темно, и бо̀льшая часть свѣта выходила изъ растворенной двери дѣтской; тамъ, въ углу, передъ образами, теплилась постоянно лампадка, зажигаемая каждый вечеръ заботливою рукою няни. Принимая, однакожъ, въ соображеніе яростные толчки, которые посылалъ Балахновъ носкомъ сапога въ лохмотья зеленаго сукна, украшавшаго полъ бывшаго будуара, должно полагать, что душа его вмѣщала въ себѣ цѣлую бурю; недоставало только грома и молній. Казалось, гроза собиралась покуда еще въ черныхъ тучахъ, облипавшихъ высокое чело Балахнова, и ждала удобнаго случая, чтобъ ударить всею силой и пронестись съ перекатами по огромному дому, погруженному въ мрачное молчаніе. Случай вскорѣ представился: Аристархъ Ѳедоровичъ зацѣпилъ

носкомъ сукно, терпѣніе его лопнуло, и рѣчь посыпалась крупнымъ градомъ:

— Я давно хотѣлъ объясниться съ вами, сударыня! началъ Аристархъ Ѳедоровичъ, внезапно останавливаясь передъ женою, которая не перемѣнила прежняго своего положенія. — Я долго вооружался терпѣніемъ, но всему есть конецъ: терпѣніе мое истощилось! Что̀ означаетъ обращеніе ваше съ людьми, которыхъ я приглашаю въ домъ свой? Я не позволю, я не хочу, чтобъ вы поворачивались спиною и дѣлали ваши плаксивыя, презрительныя мины людямъ, которыхъ я удостоилъ своимъ расположеніемъ и дружбой... Слышите ли, что̀ я говорю, милостивая государыня?.. примолвилъ онъ, величественно выпрямляясь.

Лизавета Семеновна ничего не отвѣчала; она продолжала сидѣть неподвижно, и только грудь ея волновалась сильнѣе прежняго.

— Вы думаете, что ваши обязанности заключаются въ томъ только, чтобъ няньчиться съ дѣтьми съ утра до вечера! продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, принимаясь расхаживать по комнатѣ, но остановился, увидѣвъ, что жена привстала со стула и заперла дверь дѣтской.

— Что это значитъ? спросилъ онъ.—Не хотите ли вы, сударыня, подарить меня новой сценой?.. Объявляю вамъ впередъ, что ваши слезы и жалобы ровно ничего не сдѣлаютъ...

— Нѣтъ, я только заперла дверь, чтобы вы не разбудили дѣтей, тихо отвѣчала жена, опускаясь на прежнее мѣсто.

— Не мѣшало бы вамъ обратить частичку этого нѣжнаго участія и заботливости къ интересамъ вашего мужа! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, съ видомъ человѣка, который считаетъ непремѣнною своею обязанностью сдѣлать строгій выговоръ, но чувствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что лицо, къ которому обращается рѣчь, такъ ничтожно и слабо, что не сто̀итъ обнаруживать передъ нимъ запальчивость.

— Я готова бы всей душой исполнить ваши желанія... если бъ... если бъ видѣла въ томъ, что̀ вы называете „ваши интересы“, какое-нибудь для васъ счастье... сказала она кроткимъ голосомъ.

— О! я вовсе не требую, чтобъ ваше участіе простиралось такъ далеко! Вы не въ состояніи были бы по-

нять моихъ цѣлей. Но, прибавилъ онъ, гордо выпрямляя грудь, — въ васъ нѣтъ для этого достаточной доли того возвышеннаго, благороднаго честолюбія; къ тому же, я самъ очень хорошо знаю, что̀ дѣлаю. Я хотѣлъ только спросить васъ: что̀ сдѣлалъ вамъ Кошкинъ? За что, за какія напасти стараетесь вы обнаруживать къ нему, при всякомъ удобномъ случаѣ, явное презрѣніе? Можетъ-быть, сударыня, вы дѣлаете это потому, что я, я, оказываю ему предпочтеніе передъ другими, что онъ, можетъ-быть, единственный человѣкъ, который чувствуетъ ко мнѣ истинную привязанность?..

— Я не думаю... произнесла Лизавета Семеновна, медленно подымая глаза на мужа.

— Вы не думаете... но когда я говорю, сударыня, стало-быть, я знаю, что̀ говорю!

— Вы можете ошибаться точно такъ же, какъ и всякій другой, сказала она мягкимъ, но убѣдительнымъ тономъ. — Я увѣрена, что этотъ Кошкинъ обманетъ васъ, рано или поздно, точно такъ же, какъ прежніе ваши пріятели, если не хуже...

— Та-та-та, сударыня! все это пустяки, бредни. Вотъ это, признаться, мнѣ очень нравится! Не хотите ли вы меня учить, какъ вести себя, какъ жить съ людьми? Меня! меня!! меня!!!.. воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, возвышая постепенно голосъ.

— Бога ради тише... проговорила она боязливо, оглядываясь на дверь дѣтской.

— Этого только недоставало! продолжалъ Балахновъ, понижая голосъ и принимаясь величественно расхаживать по комнатѣ.—А вотъ, если хотите знать, я вамъ докажу, насколько я дальновиднѣе васъ. Я знаю, за что вы ненавидите Кошкина: вы ненавидите его за то, что я далъ ему взаймы три тысячи, которыя, три тысячи, вамъ хотѣлось употребить на гувернера и нѣмку для дѣтей. О, я давно это понялъ! Но позвольте вамъ замѣтить, что я, во-первыхъ, не намѣренъ отдавать отчетъ въ своихъ поступкахъ, во-вторыхъ, самъ очень хорошо знаю, что̀ нужно моимъ дѣтямъ и что̀ нѣтъ. Вы думаете, что если я не просиживаю съ ними цѣлые дни за азбукой, да не цѣлую ихъ, такъ ужъ я и не отецъ? Разъ навсегда прошу васъ не говорить мнѣ о дѣтяхъ: я самъ понимаю свои обязанности... Въ заключеніе прошу васъ впредь не давать мнѣ повода къ подобнымъ объясненіямъ и обра-

щаться съ людьми, которыхъ я удостоиваю своей дружбой, приличнѣе — словомъ сказать, такъ, какъ подобаетъ благовоспитанной дамѣ, дамѣ хорошаго круга и хозяйкѣ... Надѣюсь, вы можете для меня это сдѣлать? До сихъ поръ вы, кажется, не можете на меня жаловаться: не исполнялъ ли я малѣйшихъ вашихъ желаній и даже прихотей?..

— Я никогда ничего не требовала, сказала она.

Она взглянула на мужа, который стоялъ, принявъ одну изъ самыхъ величественныхъ, самодовольныхъ позъ своихъ: ей стало стыдно за самоё себя; слезы остановились у нея на вспыхнувшихъ щекахъ.

— Я никогда ничего не требовала, проговорила она, наконецъ, подавляя слезы.—Если я просила васъ о чемъ, если я позволяла себѣ вмѣшиваться въ ваши дѣла... я дѣлала это, имѣя въ виду бѣдныхъ дѣтей моихъ. Вы сами очень хорошо понимаете мое безпокойство: мнѣ ничего не надо; но имъ—другое дѣло... Вы знаете, въ какомъ положеніи наше состояніе... Чѣмъ все это кончится? Вы сами себя обманываете!..

— Опасенія ваши ни на чемъ не основаны! перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, принимая надменную и величавую осанку. — Надѣюсь, что дѣти Балахнова найдутъ всегда чѣмъ поддержать достоинство своего имени. Балахновы, сударыня, Балахновы никогда не будутъ безъ куска хлѣба и быть не могутъ!..

Аристархъ Ѳедоровичъ пересталъ ходить и взглянулъ на жену, которая сидѣла закрывъ лицо руками и горько плакала.

Но ничего, разумѣется, не понялъ и не прочелъ Аристархъ Ѳедоровичъ изъ словъ и движеній своей жены. Онъ увидѣлъ только, какъ это большею частью водится въ подобныхъ случаяхъ, пустыя слезы ничтожной и пустенькой женщины, покосился на нее еще разъ и вышелъ вонъ, нетерпѣливо пожавъ плечами.

Какъ только онъ исчезъ, дверь дѣтской тихонько отворилась, и въ комнату вошла крошечная, сморщенная старушка. Она была одѣта какъ простая деревенская баба; темный платокъ плотно окутывалъ ея голову, склоненную нѣсколько на-бокъ; другой платокъ покрывалъ ея плечи и падалъ мелкими складками на руки, желтыя какъ воскъ, изрытыя и изъѣденныя временемъ. Она заботливо покачала головой, подошла къ комоду и принялась шарить

дрожащей рукою, не замѣчая щипцовъ, которые между тѣмъ лежали у нея подъ носомъ. Снявъ съ грѣкомъ пополамъ со свѣчки, старая няня повернулась спиною къ комоду и приложила ладонь къ мутнымъ глазамъ своимъ въ видѣ зонтика. Увидѣвъ Лизавету Семеновну, сидѣвшую на стулѣ, но опустившую голову въ подушки, старушка пошла прямо къ постели.

— Лизавета Семеновна, полно тебѣ убивать себя, не гнѣви Бога... сказала она, бережно прикоснувшись къ плечу Балахновой и наклоняясь къ ея лицу,—полно; слезами ничего не сдѣлаешь. Возьми терпѣніемъ да молитвой... что убивать себя понапрасну!.. Побереги себя, родная; тебѣ есть о комъ подумать, заключила тихимъ голосомъ няня, приподымая голову барыни и приводя въ порядокъ ея волосы.—Полно, ненаглядная, встань; благослови поди дѣтокъ, да помолись Господу: Онъ тебя не оставитъ...

И, взявъ Балахнову подъ руку, она повела ее въ дѣтскую, не переставая щуриться и качать головой.

Комнатка эта не только не походила, но даже не напоминала ни одну изъ многочисленныхъ дѣтскихъ, которыя приводилось мнѣ видѣть. Стѣны, какъ это водилось въ старину, были расписаны деревьями, макушки которыхъ расходились у карниза и пропадали въ голубоватыхъ облакахъ, намалеванныхъ на потолкѣ; краска отъ времени совсѣмъ почернѣла, но все еще можно было различать между стволами березъ пестрыя клумбы цвѣтовъ и растеній, разбросанныхъ неискусною рукою; все въ этой комнатѣ, начиная съ крашенаго пола и кончая самымъ отдаленнымъ угломъ, задернутымъ зеленымъ коленкоромъ, гдѣ находилась постель няни, отличалось чистотой необыкновенной; казалось, трудно было отыскать пылинку; на темномъ фонѣ деревъ выказывались четко и ясно четыре маленькія постели, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, простыньками и одѣялами. Блѣдный свѣтъ лампадки позволялъ различать четыре розовыя личика, отѣненныя прозрачнымъ полусвѣтомъ подушекъ.

Кругомъ въ домѣ, въ саду, въ деревнѣ было такъ тихо, что Лизавета Семеновна и ея няня могли разслышать легкое дыханіе четырехъ дѣтей.

— Не плачь, родная, уйми свое сердце... вотъ твоя утѣха! сказала старушка, подводя Балахнову къ первой постелькѣ.—Полно, благослови ихъ, да помолись Богу...

Лизавета Семеновна отерла платкомъ слезы, склонилась надъ ребенкомъ и осѣнила его крестнымъ знаменіемъ.

— Такъ, ненаглядная ты моя, такъ! Христосъ съ ними! говорила старушка, слѣдя за каждымъ движеніемъ женщины и притрогиваясь поминутно дрожащими пальцами къ мутнымъ глазамъ своимъ. — Вотъ подрастутъ, дастъ Богъ, вспомянутъ твою заботу и тебя не оставятъ... Вишь, они здоровенькія да крѣпенькія какія, словно цвѣтки съ поля. Чего-жъ тебѣ еще? Ты вся въ нихъ живешь... О-о-охъ! Вотъ не привелъ только Господь дожить барынѣ, твоей маменькѣ, царствіе ей небесное! натѣшилась бы она на нихъ, моя матушка, приголубила бы ихъ — все бы и ей, и тебѣ, да и имъ легче стало...

Туманъ, покрывавшій въ эту минуту глаза няни, не далъ ей различить Лизавету Семеновну.

Услыша о матери, доброй и нѣжной матери, вся забота, всѣ помыслы которой обращены были на счастье единственной дочери, сердце бѣдной женщины переполнилось горемъ, рыданіе вырвалось изъ груди ея, и какъ стояла она на колѣняхъ, такъ и склонилась головой на край Володиной постели.

Старушка спохватилась, но было уже поздно: движеніе разбудило мальчика. Онъ открылъ глаза, потянулся, но, увидя мать, тотчасъ же привсталъ, крѣпко обвилъ ея шею руками и сказалъ, стараясь всмотрѣться ей въ лицо:

— Ахъ, это ты, мама? Я, знаешь, я сейчасъ видѣлъ тебя во снѣ, мама... Что ты? что съ тобой? ты плачешь, мама?.. тревожно прибавилъ ребенокъ, бережно приподымая голову матери.

— Полно, дитятко мое, полно! произнесла няня, поспѣшно подходя къ постели. — Усни, лягъ, Христосъ съ тобой! Это такъ, пройдетъ...

— Нѣтъ, я не лягу, я не хочу спать, когда мама плачетъ; я хочу, чтобъ она была веселая... возразилъ ребенокъ, прикладывая съ нѣжностью свои щечки къ мокрымъ щекамъ матери и цѣлуя ее въ глаза и въ волосы.—Я не хочу, чтобъ мама плакала, слышишь, няня? я не хочу этого! повторилъ мальчикъ, подымая черные, блестящіе глаза и пристально устремляя ихъ на старушку.

— Видишь... я не плачу... мнѣ теперь весело... проговорила Лизавета Семеновна, стараясь улыбнуться.

— Ну, видишь, вотъ и прошло! сказала няня, — ну, полно же, лягъ, усни, а то головка будетъ завтра болѣть...

Няня, съ помощью матери, уложила ребенка и прикутала его одѣяломъ.

— А знаешь что, мама? сказалъ Володя, неожиданно поворачиваясь къ матери, — знаешь, о чемъ я думаю? Я, мама, не хочу завтра танцовать русскую...

— Не хорошо, другъ мой; ты знаешь, что папаша этого желаетъ. Завтра день его рожденія... Надо всегда слушать, что приказываютъ родители...

— Да что жъ, мама, когда мнѣ стыдно при гостяхъ? Зачѣмъ папаша заставляетъ меня всегда дѣлать то, чего мнѣ не хочется?.. Если бъ не было только этого Кошкина...

— Не все ли тебѣ равно? возразила мать, — думай только о томъ, что ты исполняешь волю отца.

— Ахъ, мама, мама, если бъ ты только знала, какъ я не люблю этого Кошкина!

— Это очень дурно; не любить никого не надо: Богъ велѣлъ всѣхъ любить... Ну, будь же умный мальчикъ, не думай о томъ, и завтра постарайся, чтобъ папаша былъ тобой доволенъ...

— Хорошо, мама, для тебя, для тебя я все сдѣлаю! съ горячностью сказалъ ребенокъ, обвивая снова шею матери.

Перекрестивъ сына и убѣдившись, что онъ заснулъ, Лизавета Семеновна подошла къ образамъ и горячо начала молиться.

Во все это время, старая няня, свѣсивъ на-бокъ голову и скрестивъ на груди руки, стояла позади ея неподвижно.

VI.

Торжество въ Ханскихъ-Прудахъ.

Наконецъ-то насталъ тотъ вожделѣнный день, въ который Аристарху Ѳедоровичу Балахнову суждено было вступить въ эпоху возмужалаго возраста и горькаго разочарованія на пути жизни, или, говоря языкомъ обыкновенныхъ смертныхъ, должно было исполниться сорокъ лѣтъ для свѣта, и пятьдесятъ одинъ годъ для него собственно. Сама природа, казалось, благопріятствовала такому событію: деревья умылись росою, и яркая зелень молодой листвы, украшенная миріадами алмазовъ, сіяла во всей своей свѣжести; пруды, спокойные и величавые, какъ и всегда, отразили чистое, ясное небо; птицы, какъ бы сговорившись еще наканунѣ, разливали въ воз-

Духѣ звонкія трели. Но когда взошло солнце и украсило пурпуромъ и золотомъ бельведеръ, стѣны дома и флигелей, когда озарило оно слугъ, суетливо бѣгавшихъ взапуски по всѣмъ направленіямъ, когда, поднявшись выше, освѣтило безчисленное множество бабъ, мывшихъ стекла и мебель, ряды мужиковъ, обметавшихъ дворъ и аллею, повара и чумичекъ, тащившихъ теленка и цѣлыя корзины, наполненныя доверху овощами; когда, взобравшись еще выше, ударило оно косыми лучами въ садъ и освѣтило толпу дѣвчонокъ и мальчишекъ, чистившихъ клумбы и дорожки, садовника, обстригавшаго акаціи, стараго маляра, красившаго черною краской носы и лапы искусственныхъ лебедей — все показывало, что въ этотъ день дѣйствительно должно было совершиться что-то необычайное.

Усѣявъ розами порогъ и подножіе дома, Аврора проникла въ открытыя окна и потому самому прикоснулась прежде всего своими розовыми перстами къ носу Вѣры Андреевны Кокуркиной, положенной заботливою Глафирой прямо противъ свѣта; благодаря этой заботливости, всѣ три сестры провели, можно сказать, нестерпимую ночь. Какъ только Вѣра Андреевна возстала отъ сна, первымъ ея движеніемъ было разбудить сестеръ и поставить ихъ на ноги. Мѣшкать было нечего. Какъ самымъ близкимъ и домашнимъ почти лицамъ, имъ слѣдовало явиться прежде всѣхъ въ залу и опередить поздравительною рѣчью остальныхъ гостей; къ тому же, по узаконенному порядку, Аристархъ Ѳедоровичъ и его семейство поѣдутъ въ десять часовъ въ церковь, и имъ никакъ не хотѣлось опоздать. Барышни принялись тотчасъ же выкладывать изъ коробокъ новыя платья — всѣ три хотѣли быть непремѣнно въ бѣломъ, — начали мыться, чесаться, зашпиливаться и шнуроваться. Къ несчастью, благодаря все той же закоснѣлой злобѣ Глафиры, приказанія ихъ исполнялись такъ нехотя, воду приносили такъ медленно, шнурки лопались такъ часто, булавки и шпильки гнулись такъ упорно, что когда барышни явились въ залу — а это произошло не ранѣе девятаго часа — все общество стояло уже на-сторожѣ противъ двери кабинета, и лучшія мѣста были ужъ заняты.

На первомъ мѣстѣ, какъ и слѣдовало ожидать, находился г. Кошкинъ; закинувъ правую ногу назадъ, онъ стоялъ облокотившись на спинку креселъ Лизаветы Се-

меновны, сидѣвшей подлѣ жены его. Впереди ихъ толпились дѣти. Позади Кошкина возвышался на цѣлый аршинъ Карачаевъ, въ черномъ жилетѣ, черныхъ панталонахъ и черномъ узенькомъ фракѣ, съ болтавшимися пуговками, который долженъ былъ лопнуть по всѣмъ швамъ при первомъ движеніи его владѣльца. Но Карачаева считать нечего, потому что онъ поминутно отлучался, чтобъ сдѣлать какое-нибудь распоряженіе, или отдать приказаніе мимо-проходившему лакею. Кокуркины помѣстились подлѣ дѣвицы Сараманаевой, усыпанной розовыми бантами; Дрянковъ и Васильковъ, распространявшій въ воздухѣ сильный запахъ гвоздичной помады (огромные его завитки и волюты поглощали каждый разъ банку), расположились подлѣ; Копковъ, косившійся боязливо на Фіону Ивановну, приготовлявшую въ углу все нужное для чая, прикрывался за лѣвымъ флангомъ; позади господъ, въ почтительномъ отдаленіи, стояли дворовые люди, размѣстившіеся по степенямъ ихъ заслугъ и бо́льшаго или ме́ньшаго почета ихъ должности. Такъ, напримѣръ, старая няня, повязанная новымъ набивнымъ платкомъ, стояла у двери гостиной въ главѣ горничныхъ, прачекъ, стряпухъ и судомоекъ; старый кучеръ, отставленный отъ должности по преклонности лѣтъ, старый маляръ, съ огромной клюквой вмѣсто носа и сѣро-мутными глазами, составляли у двери прихожей авангардъ остальной дворовой челяди, головы которой представляли безконечную перспективу разнокалиберныхъ и разноцвѣтныхъ макушекъ.

Какъ передніе ряды этого общества, такъ и задніе, находившіеся ужъ далеко за дверьми залы, хранили глубокое молчаніе. Изрѣдка лишь легкій „тш! тш!..“ раздавался изъ перваго ряда, имѣя цѣлью прекратить нескромный голосъ Карачаева, мѣшавшій разслышать, что̀ происходило за дверьми кабинета, куда были направлены всѣ взоры.

При малѣйшемъ шорохѣ, раздававшемся за этой дверью, все оживало, и басистый гулъ, подобный тому, какой бываетъ въ сосновомъ лѣсу при вѣтрѣ, проносился изъ одного конца залы въ другой.

Но тревога оказывалась фальшивою, и снова воцарялось молчаніе, позволявшее разслышать нетерпѣливое біеніе сердецъ.

Наконецъ, дверь отворилась, и на порогѣ показался Аристархъ Ѳедоровичъ...

На немъ была голубая, небеснаго цвѣта венгерка, обшитая по всѣмъ швамъ черными шнурками; розовый галстучекъ, небрежно повязанный вокругъ воротничковъ à l'enfant, шелъ какъ нельзя болѣе къ его красивому лицу, только что спрыснутому о-де-колономъ.

Величіе, смѣшанное съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ растроганнаго чувства, обозначалось во всѣхъ чертахъ его.

Прежде всего Балахновъ подошелъ къ женѣ и поцѣловалъ ее нѣсколько разъ сряду, потомъ пожалъ руку Кошкину, поклонился его супругѣ и обратился безъ различія къ остальнымъ гостямъ.

— Аристархъ Ѳедорычъ! заговорили въ одинъ голосъ Кокуркины, очутившіяся какимъ-то образомъ впереди,— Аристархъ Ѳедорычъ, подхватила старшая, подталкивая впередъ Надеженьку, увѣнчанную, какъ Амуръ, цвѣтами, — желаемъ вамъ отъ души, изъ глубины сердца всего... всего...

Но онѣ не договорили и ушли въ туго-накрахмаленныя юбки.

— Аристархъ Ѳедорычъ, заговорилъ Васильковъ, восторженно вращая своими глазами въ родѣ страусовыхъ яицъ, — да позволено будетъ и мнѣ, ничтожному смертному сего міра, пожелать о продленіи дней вашихъ. Молю Всевышнее Провидѣніе о сохраненіи васъ въ добромъ здравіи...

— Э! что тутъ долго разговаривать! воскликнулъ неожиданно Карачаевъ, подходя къ Балахнову и раскрывая объятія, при чемъ послышался маленькій трескъ на локтяхъ и спинѣ его чернаго фрака,—по-моему, просто вотъ, вотъ, вотъ! заключилъ онъ, бросаясь цѣловать Балахнова, который былъ такъ озадаченъ, что не могъ произнести ни слова.

— Поздравляю васъ! сухо сказалъ Дрянковъ, шаркнувъ сапогомъ.

— И я тоже... желалъ бы... началъ Копковъ, но, увидѣвъ Фіону Ивановну и старую няню, подходившихъ къ Аристарху Ѳедоровичу съ огромными кренделями, поспѣшно юркнулъ въ толпу.

Приказавъ поставить крендели на столъ, Аристархъ Ѳедоровичъ величественно повернулся къ двери гостиной и сказалъ: „благодарю!“ потомъ повернулся къ дверямъ залы, привѣтливо улыбнулся и тоже сказалъ: „благодарю“.

Аристархъ Ѳедоровичъ видимо былъ растроганъ; но

когда очередь дошла до дѣтей и ему предстояло высказаться не какъ сосѣду, но какъ отцу, онъ не выдержалъ, и двѣ крупныя слезы повисли на его рѣсницахъ. Во все время, какъ продолжались привѣтствія дѣтей, онъ стоялъ съ платкомъ въ рукѣ и опущенными взорами.

Видно было, что ему хотѣлось обнять ихъ, посадить къ себѣ на колѣни, перецѣловать—и вѣрно послушался бы онъ влеченія своего сердца, если бъ разсудокъ не говорилъ ему, что такіе порывы несовмѣстны съ строгой торжественностью настоящей минуты.

— Послѣ чая, продолжавшагося не очень долго, присутствовавшіе стали готовиться къ отправленію въ церковь. Къ крыльцу подъѣхала коляска Кошкина, сопровождаемая другими, болѣе или менѣе затѣйливыми экипажами, въ числѣ которыхъ отличались особенно длинныя, дощатыя дроги, прозываемыя въ провинціи *разлюли*.

— Ѣдемъ, душенька, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, подавая руку женѣ. — Пора, mesdames, прибавилъ онъ, обращаясь съ любезностью къ остальнымъ дамамъ,— слышите... колоколъ ужъ давно призываетъ насъ подъ сѣнь Божьяго храма... Но вотъ вопросъ: умѣстимся ли мы всѣ въ экипажахъ? Я думаю, надо кому-нибудь остаться... Да вотъ, кстати, Прокисай Захарычъ... протяжно вымолвилъ Балахновъ, входя въ залу и замѣтивъ въ углу приживальщика.—Пожалуйста, милый мой, останься здѣсь; я хотѣлъ попросить тебя приглядѣть за людьми на время моей отлучки... Да вотъ и Фіона Ивановна... Фіона Ивановна, пожалуйста, голубушка, посмотрите съ Копковымъ, чтобъ все было исправно...

— Слушаю-съ, сказала Фіона Ивановна, бросая пронзительный взглядъ на бѣднаго приживальщика.

Прокисай Захаровичъ обомлѣлъ. Къ счастію, на выручку подоспѣлъ Карачаевъ.

— Какъ! что?... ecouté! помилуй, братецъ Аристархъ! ха, ха, ха! вотъ славно! вотъ прекрасно! ecouté! Да ты бы давно сказалъ, душа моя... недоставало только, что ты станешь церемониться... Гдѣ ему, этому?... Я сейчасъ всѣмъ распоряжусь и все это устрою, будь спокоенъ... а ты садись, сейчасъ пошелъ садись... Э-э-э, братъ, со мной коротка расправа!... И Карачаевъ, не докончивъ объясненій, повлекъ приживальщика на крыльцо, съ твердымъ намѣреніемъ усадить его на *разлюли*.

Зная, что возражать Карачаеву, или уговаривать его

было напрасно, Аристархъ Ѳедоровичъ оставилъ на минуту руку жены и поспѣшилъ воспользоваться отсутствіемъ Карачаева, чтобъ запереть на ключъ дверь кабинета. Отдавъ затѣмъ кой-какія приказанія, заключавшіяся въ томъ, чтобъ отнюдь ни подъ какимъ видомъ не смѣть слушаться будущаго распорядителя, онъ снова подалъ руку Лизаветѣ Семеновнѣ и вмѣстѣ съ гостями вышелъ на крыльцо.

— Пошелъ! прохрипѣлъ Карачаевъ, когда все общество усѣлось,—пошелъ! съ Богомъ! прощайте, прощайте! крикнулъ онъ вслѣдъ отъѣзжавшимъ экипажамъ, размахивая своимъ клѣтчатымъ платкомъ и взбираясь на верхнія ступеньки крылечка.

— „Вотъ не было печали!“ говорили люди, глядя изо всѣхъ оконъ на крыльцо, гдѣ продолжалъ неистовствовать Карачаевъ.—„Ну, онъ пойдетъ вертѣть по-своему! у-гу-гу, держись только—бядовый!“

Люди не ошиблись. Вернувшись въ залу, Карачаевъ приказалъ тотчасъ же созвать всю дворню, всѣхъ бабъ, ребятъ и потребовалъ даже старосту. „Жива! жива-а-а-ааа!“ кричалъ онъ, метаясь изъ одного конца дома въ другой. Послѣ этой церемоніи, онъ немного успокоился, потребовалъ трубку, сѣлъ на стулъ посреди залы и началъ отдавать приказанія: кого послалъ наломать липовыхъ вѣтвей, чтобъ украсить ими залу, кого отправилъ привезти съ поля нѣсколько возовъ цвѣтовъ; мальчишекъ, всѣхъ безъ исключенія, разослалъ наверхъ по кровлямъ, по бельведеру и дорогамъ, чтобъ караулить пріѣздъ гостей, или хозяевъ и, въ случаѣ надобности, подать сигналъ. Такъ велика его была дѣятельность, что онъ не преминулъ заглянуть на кухню, въ конюшню, посмотрѣлъ, хорошъ ли овесъ выдаютъ лошадямъ, жирны ли индюки и куры, приготовляемые для стола—во всемъ и всюду поспѣвалъ неутомимый Карачаевъ. Изрѣдка лишь останавливался онъ, заслыша подлѣ себя маленькій трескъ, и боязливо оглядывалъ локти чернаго фрака, но это было дѣломъ секунды, и онъ снова пускался сломя-голову за исполненіемъ какой-нибудь свѣтлой мысли; въ припадкѣ усердія, онъ обѣжалъ даже разъ, самъ не зная зачѣмъ, вокругъ всего сада и прудовъ.

— Ба! воскликнулъ онъ, останавливаясь на террасѣ и шлепнувъ себя по лбу,—гдѣ жъ фейерверкъ? Вѣдь его еще не разставили. Вотъ надѣлали было мы кутерьмы!

Эй, Иванъ! Степанъ! Аглай! Сидоръ.. Сидоръ, а гдѣ фейерверкъ? спросилъ онъ, вбѣгая въ залу и вперивъ красные, безпокойные бѣлки на камердинера.

— Не знаю-съ, отвѣчалъ, смущаясь, Сидоръ.

— Какъ не знаешь?... Ахъ, ты!.. да знаешь ли, какую бѣду было надѣлали? вѣдь мы его забыли, вотъ оно штука-то въ чемъ! Надо его разставить!... Гдѣ онъ? гдѣ фейерверкъ? говори...

— Аристархъ Ѳедорычъ не приказали...

Но Карачаевъ не дослушалъ и бросился въ кабинетъ; люди, движимые любопытствомъ и страхомъ, послѣдовали за нимъ.

— Павелъ Петровичъ, полноте! вѣдь дверь заперта; перестаньте; Аристархъ Ѳедорычъ пріѣдутъ, сами изволятъ распорядиться...

— Долой! гаркнулъ Карачаевъ. Онъ разбѣжался, грохнулся со всѣхъ ногъ на дверь и какъ бомба влетѣлъ въ кабинетъ.

— Бери, нà, тащи, жива-а-а!... крикнулъ онъ, раздавая кому ракету, кому колесо.—Тащи въ садъ, за мной!

И, взваливъ на плечи цѣлый щитъ съ вензелемъ А и Б, переплетеннымъ лавромъ, Карачаевъ побѣжалъ по аллеямъ, сопровождаемый цѣлою ватагой.

Подобно бойцу, возвращавшемуся съ битвы, покрытому пылью и пòтомъ, Карачаевъ направился ужъ къ дому, чтобъ захватить остатокъ фейерверка, какъ вдругъ мальчишки, стоявшіе на вышкѣ бельведера, крикнули въ одинъ голосъ: „ѣдутъ!“ Карачаевъ бросился къ зеркалу, привелъ въ порядокъ жиденькіе мокрые волосы, отеръ потъ, лившій ливнемъ вдоль багроваго лица, обтянулъ рукава и фалды чернаго фрака и побѣжалъ на крыльцо.

— Кто ѣдетъ? крикнулъ онъ, прикладывая ладонь ко лбу.

— Гости! отозвались тоненькимъ голоскомъ малчишки, стоявшіе на бельведерѣ.

Карачаевъ снова обтянулъ фракъ и снова приложилъ ладонь ко лбу.

Немного погодя различилъ онъ два экипажа-монстра, которые дѣлали явныя, но тщетныя усилія, чтобъ перегнать другъ друга; клячи были до того изнурены, что подавали плохую надежду дотащиться до подъѣзда; наконецъ, кое-какъ втащились онѣ на дворъ.

Въ первомъ экипажѣ сидѣлъ непомѣрно-толстый, коре-

настый господинъ, отличавшійся совершеннымъ отсутствіемъ шеи, и съ нимъ четыре дамы, изъ которыхъ одна была старая и три молоденькія.

— Здорово, братъ Кондей! Здравствуйте, Софья Кузьминична! Барышни, честь имѣю кланяться! гаркнулъ безцеремонный Карачаевъ.

— Здорово, молодецъ! прохрипѣлъ съ одышкою толстякъ, стараясь освободить изъ экипажа свои ноги, напоминавшія колонны тосканскаго ордера.

Карачаевъ поспѣшилъ прежде всего высадить пожилую даму—крошечную, заспанную женщину въ тюлевомъ чепцѣ, съ огромнымъ вязанымъ ридикюлемъ; затѣмъ онъ подалъ руку дочкамъ, румянымъ и толстенькимъ, какъ піоны.

— Ну, выходи, сороковая бочка! Вѣдь не на рукахъ же тащить тебя! присовокупилъ Карачаевъ, поворачивался къ толстяку, который пыхтѣлъ, сопѣлъ и отдувался,— выходи; вотъ и Полушкины подъѣхали... надо имъ очистить мѣсто.

Извѣстіе, что подъѣхали Полушкины, придало, казалось, силы толстяку; онъ ступилъ на́-земь и сказалъ, бросивъ торжествующій взглядъ на тащившійся позади экипажъ: „А все, братъ, мы прежде подъѣхали! Молоды, въ Саксоніи, братъ, еще не бывали“.

Природа, столь щедрая во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, заблагоразсудила, однакожъ, снабдить Кондея Ивановича Свищова (такъ звали толстяка) самыми ничтожными дыхательными органами; ему требовалось неимовѣрныхъ усилій, чтобъ перевести одышку; онъ пыхтѣлъ и казался постоянно задыхающимся отъ недостатка свѣжаго воздуха. Совершенно другой образчикъ человѣческой природы представлялъ сосѣдъ его, Проклъ Ивановичъ Полушкинъ (дома ихъ стояли рядомъ, и оба они владѣли одною и тою же землицею). Послѣдній—маленькій, тщедушный, жидкій тѣломъ, не обѣщалъ никакой силы, по крайней мѣрѣ физической; но зато, лицо и глаза его выражали энергію, которая такъ вотъ и порывалась наружу. Семейство его также не подходило ни въ чемъ къ семейству Кондея Ивановича: оно состояло изъ сухопарой жены и двухъ сухопарыхъ дочекъ; общее заключалось въ томъ только, что какъ у Свищовой, такъ и у Полушкиной были ридикюли совершенно одинаковой матеріи, цвѣта, вмѣстимости и устройства. Полушкинъ игралъ неподражаемо на гитарѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ находилъ неизъяснимое

удовольствіе мирить и ссорить Прокла Ивановича съ Кондеемъ Ивановичемъ. Сильная распря между Свищовымъ и Полушкинымъ продолжалась съ давнихъ временъ. Между ними не было, однакожъ, замѣтно назойливой, непреклонной ненависти; они ссорились каждый день и мирились вечеромъ, чтобъ поссориться на другое утро.

— А гдѣ жъ именинникъ... гдѣ же новорожденный? проговорилъ Кондей Ивановичъ, вдвигаясь съ семействомъ своимъ въ залу.

— Въ церковь уѣхалъ со всѣми гостями; сейчасъ будутъ... отвѣчалъ Карачаевъ. — Ну, братъ Кондей, Софья Кузьминична, пожалуйте въ гостиную. Барышни, извините; я здѣсь одинъ за всѣхъ про все... дѣлъ по самое горлышко... Пожалуйте въ гостиную... сейчасъ пріѣдутъ!..

Выпроводивъ такимъ же точно порядкомъ семейство Полушкиныхъ, Карачаевъ побѣжалъ было въ садъ, чтобъ поглядѣть, такъ ли устанавливали щитъ, какъ снова послышалось съ бельведера: „ѣдутъ!“ На этотъ разъ глазамъ Карачаева предстало безконечное облако пыли, посреди котораго скакали экипажи хозяевъ дома.

Онъ бросился съ сіяющимъ лицомъ на крыльцо, остановилъ подъ-узцы лошадей и принялся поочередно высаживать дамъ.

— Что, никого еще нѣтъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, отряхивая пыль на груди и плечахъ своей голубой венгерки.

— Полушкины и Свищовы, отвѣчалъ Карачаевъ, давая знать кучеру, чтобъ онъ отъѣзжалъ.— Ну, братъ, все готово, всѣ твои приказанія...

— Скажи, пожалуйста, помирились ли они, по крайней мѣрѣ?.. перебилъ Балахновъ.

— Помирились!.. вмѣстѣ даже пріѣхали... торопливо отвѣчалъ Карачаевъ.

— Ну, хорошо; пускай ихъ хоть грызутся дома. Я хочу, чтобъ у меня, особенно нынче, все дышало миромъ и веселостью!

Между тѣмъ, какъ дамы отправились въ свои комнаты, чтобъ привести въ порядокъ туалетъ, Аристархъ Ѳедоровичъ заглянулъ въ гостиную, чтобъ кивнуть одобрительно вновь пріѣзжимъ. Выслушавъ девять поздравительныхъ привѣтствій отъ девяти членовъ обоихъ семействъ и сказавъ девять разъ: „благодарю“, Балахновъ, провожаемый усерднымъ Карачаевымъ, пошелъ въ кабинетъ.

— Это что значитъ? спросилъ онъ, останавливаясь съ изумленіемъ передъ дверью.

— Ничего, душа моя, будь спокоенъ, все устроено... и щитъ, и ракеты...

— Да кто жъ тебя просилъ? возразилъ съ сердцемъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—фу, пропасть!

— Помилуй, Aristarque, душа моя...

— Нечего тутъ миловать! произнесъ, весь вспыхнувъ, Балахновъ,—я тебя вовсе не просилъ объ этомъ. Сдѣлай, братъ, милость, оставь меня въ покоѣ, да не забудь, что сегодня много постороннихъ и не напейся, какъ въ прошлый разъ...

— Че-е-во? перебилъ Карачаевъ, мрачно вращая своими воспаленными бѣлками.—А! когда такъ, пропади ты и съ твоимъ праздникомъ! Сейчасъ ѣду. Эй, Иванъ! лошадей!.. гаркнулъ онъ неистово и побѣжалъ въ залу.

— Ну, не сумасшедшій ли ты послѣ этого? Ну, самъ посуди, говорилъ Балахновъ, кидаясь за нимъ и почти силою вовлекая его въ кабинетъ.

— Лошадей! лошадей! Не хочу ни минуты оставаться въ этомъ... домѣ! продолжалъ кричать раздраженный Карачаевъ.

— Полно, перестань; что̀ скажутъ люди? Лизанька, прибавилъ Балахновъ, обращаясь къ женѣ, которая входила въ эту минуту въ кабинетъ,—уговори эту безпутную голову—хочетъ ѣхать!

Увидѣвъ Балахнову, Павелъ Петровичъ захлопалъ глазами, въ которыхъ сверкнула какая-то влага, очень похожая на слезы.

— Куда же вы, Павелъ Петровичъ? Что за странная мысль! Останьтесь съ нами... произнесла Лизавета Семеновна.

— Для васъ готовъ на все... Приказывайте, повелѣвайте!.. воскликнулъ Карачаевъ, бросаясь цѣловать съ неистовствомъ руки хозяйки,—я сейчасъ же велю распрячь лошадей...

— Не безпокойся, братецъ; это и безъ тебя сдѣлаютъ... А вотъ что, кстати, Лизанька, попроси ужъ его, чтобъ онъ былъ повоздержнѣе... Я сталъ ему говорить, а онъ сердится...

— Павелъ Петровичъ знаетъ, я думаю, и безъ насъ, какъ нести себя...

— Вотъ эта рѣчь мнѣ по-сердцу, Лизавета Семеновна.

Для васъ... все... клянусь вамъ, не дотронусь до рюмки!.. заголосилъ Карачаевъ, преклоняя колѣно, при чемъ снова послышался легкій трескъ на спинѣ чернаго фрака, — впрочемъ, и не до того будетъ: столько хлопотъ... Я берусь за всѣмъ присматривать...

— Вотъ что, братъ, сказалъ Балахновъ, когда вышла жена его, — тебѣ не худо бы осмотрѣть фракъ: онъ, кажется, лопнулъ на локтяхъ...

— Ахъ, да! Сейчасъ, душа моя; это ничего; Иванъ сію минуту все поправитъ, отвѣчалъ съ необыкновенной мягкостью Карачаевъ, выбѣгая въ коридоръ.

Оставшись наединѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ принялъ заботливое выраженіе, позвонилъ камердинера, послалъ за поваромъ, за Фіоной Ивановной, и весь углубился въ хлопоты. Изрѣдка прерывали его лакеи, прибѣгавшіе извѣстить, что пріѣхалъ тотъ или другой гость. Достойно замѣчанія, что въ то время, какъ переходилъ онъ изъ кабинета въ залу, въ немъ успѣвали являться два совершенно различные человѣка: такъ, въ кабинетѣ онъ размахивалъ руками, кричалъ, сердился, топалъ ногами и часто ронялъ свое достоинство; но какъ только появлялся въ дверяхъ залы или гостиной, физіономія его, какъ по свистку театральнаго машиниста, являлась полная сіяющей, свѣтлой экспрессіи, уста дарили чарующей улыбкой, глаза глядѣли нѣжно и привѣтливо, грудь выпрямлялась величественно и, казалось, вдыхала съ наслажденіемъ воздухъ. Всего страннѣе, что перемѣна физіономіи не причиняла ни малѣйшаго усилія съ его стороны: все происходило самымъ естественнымъ образомъ; привычка носить попеременно обѣ эти маски сдѣлала то, что онъ ужъ не чувствовалъ на себѣ ихъ тяжести.

Въ одну изъ тѣхъ, довольно частыхъ минутъ, когда Аристархъ Ѳедоровичъ терялъ въ кабинетѣ всю свою сановитость, пришли доложить ему, что къ парадному крыльцу подъѣхала карета, запряженная четвернею вороныхъ коней, принадлежащихъ, повидимому, незнакомому господину.

Балахновъ покосился въ зеркало, передернулъ свою физіономію, такъ что въ одно мгновеніе исчезли всѣ морщины и даже тѣнь какого-нибудь неудовольствія, и поспѣшилъ изъ кабинета.

Въ ту самую минуту, какъ онъ выходилъ въ залу, изъ дверей передней показался господинъ средняго роста, въ

черномъ полуфракѣ, черномъ галстукѣ, синихъ панталонахъ и бѣломъ длинномъ жилетѣ, украшенномъ полновѣсною золотою цѣпочкой. Въ рукахъ новопріѣхавшаго, обтянутыхъ бѣлыми лайковыми перчатками, красовалась щегольская синяя фуражка.

— Съ кѣмъ имѣю честь говорить? произнесъ Балахновъ, раскланиваясь самымъ обворожительнымъ образомъ.

— Бобоховъ... отвѣчалъ владѣтель золотой цѣпочки, кланяясь въ свою очередь.

— Очень радъ-съ познакомиться, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ какою-то особенною радостью, но тѣмъ не менѣе выдержалъ свое достоинство.

Затѣмъ они оба отступили шагъ назадъ, принялись кланяться и шаркать ногами.

Въ то время, какъ они обмѣнивались первыми привѣтственными фразами, Аристархъ Ѳедоровичъ не пропустилъ случая окинуть пытливымъ взоромъ новаго своего знакомца.

А новый знакомецъ былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати восьми или девяти, съ круглымъ, гладкимъ и глянцовитымъ лицомъ; рѣденькіе волосы пепельнаго цвѣта едва-едва прикрывали его темя; сѣрые глазки, сверкавшіе какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, тоненькій носъ и тоненькіе рыжеватые усики придавали этой физіономіи выраженіе приторное, но со всѣмъ тѣмъ не лишенное лукавства. Издали онъ казался недуренъ, такъ себѣ, но вблизи былъ безобразенъ. Стараясь придать лицу нѣчто джентльменское (а это составляло, нужно замѣтить, одну изъ постоянныхъ заботъ его), Бобоховъ отрастилъ себѣ огромные бакены. Но старанія его были напрасны.

Удаленіе Бобохова отъ полка и причина переселенія въ деревню объясняются сами собою. Онъ ни съ кѣмъ не могъ ужиться, даже съ родными жилъ не въ ладу. Развившись наединѣ, самъ собою, и, слѣдовательно, въ весьма дурномъ сообществѣ, Бобоховъ разсудилъ, что, несмотря на богатство, ему оставалось одно средство — разыгрывать роль джентльмена, а именно: уѣхать въ провинцію, купить домъ, деревню и зажить бариномъ. Такъ онъ и сдѣлалъ. И вотъ, устроившись и распорядившись, пріѣхалъ онъ рекомендоваться ближайшему сосѣду. Если пошло на правду, Бобоховъ пріѣхалъ къ Балахнову единственно потому, что слышалъ стороною отзывы о себѣ порядочныхъ людей уѣзда, которые, имѣя о немъ кой-какія свѣдѣнія прежде, объявили наотрѣзъ, что не при-

мутъ его въ свое общество. А между тѣмъ, вѣсть о пріѣхавшемъ милліонерѣ, переходя изъ устъ въ уста, проникла въ гостиную, къ великой радости всѣхъ барышень, молодыхъ и старыхъ, и къ неописанному волненію маменекъ, которыхъ чадолюбивыя сердца забили вдругъ сильнѣйшую тревогу. Когда Аристархъ Ѳедоровичъ и Бобоховъ покинули залу, гдѣ начинали уже накрывать на столъ, и Балахновъ представилъ гостя обществу — лихорадочное состояніе госпожъ Полушкиной и Свищовой приняло такой рѣшительный характеръ, что ридикюли, висѣвшіе у нихъ на рукахъ, запрыгали, какъ будто вмѣстили въ себѣ неожиданно по маленькой живой собачкѣ. Всѣ глаза запрыгали и устремились на вошедшаго, кромѣ глазъ дѣвицы Сараманаевой, вмѣсто которыхъ показались два огромные бѣлка.

— Скажите, пожалуйста, какъ это вы рѣшились промѣнять столицу на нашу провинціальную скуку? сказалъ Балахновъ, усаживая гостя подлѣ Лизаветы Семеновны и бросая безпокойный взглядъ на толпу барышень, которыя такъ неосторожно шептались, что слышалось поминутно: „ахъ, какой душка этотъ Бобоховъ!“

— Здѣсь не найдете вы ни того общества, ни тѣхъ удовольствій... сладостно пролепетала госпожа Кошкина, щуря кокетливо свои черные глазки.

— Какое! Скука, какъ есть, да и все тутъ! сказалъ неожиданно Кондей Ивановичъ Свищовъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ побагровѣлъ до ушей.

— Я, признаться, не люблю общества, отвѣчалъ съ небрежностью Бобоховъ, — даже въ Москвѣ, гдѣ я жилъ безвыѣздно, я посѣщалъ очень мало *салоновъ*. Довольно часто я ѣздилъ къ сестрѣ, Тохтамышевой; но и тамъ, признаться, такая скука... заключилъ онъ, дѣлая особое удареніе на имя сестры, въ надеждѣ озадачить присутствовавшихъ.

Крестовая сестра Бобохова, которую называлъ онъ просто сестрою для краткости, вышла дѣйствительно замужъ, благодаря своему капиталу, за нѣкоего Тохтамышева, славнаго не столько богатствомъ и древностью рода, сколько великолѣпными черными усами и искусствомъ играть въ карты, доведеннымъ, впрочемъ, до непостижимаго совершенства. Бобоховъ считалъ свояка первымъ львомъ и денди своего времени.

— Ахъ, да; я совсѣмъ было забылъ; вѣдь вы, кажется,

сослуживцы? воскликнулъ Балахновъ, взявъ за руку Василькова и подводя его къ новому сосѣду.

Слово „сослуживецъ“ дѣйствовало всегда не совсѣмъ благопріятно на слухъ Бобохова; онъ боязливо поднялъ свои рысьи глазки на Порфирія Павловича и пролепеталъ безсвязно: „Очень радъ встрѣтиться“... забывъ даже, въ замѣшательствѣ, протянуть ему руку.

Такой холодный и вовсе незаслуженный пріемъ (Васильковъ былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ товарищей, которые не давали щелчковъ Бобохову) крайне смутилъ чувствительнаго Порфирія Павловича; онъ покрутилъ головой и тотчасъ же отошелъ въ сторону.

Бобоховъ, между тѣмъ, оправился и продолжалъ распространяться о преимуществахъ *салона* Тохтамышевой передъ остальными свѣтскими салонами Москвы.

Разговоръ сдѣлался общимъ.

Къ сожалѣнію, Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ слѣдить за нитью всѣхъ толковъ, поднявшихся въ гостиной: онъ поминутно долженъ былъ отрываться, чтобы показаться въ одномъ углу, въ другомъ, поговорить съ тѣмъ, другимъ и третьимъ. Много было лицъ такихъ, съ которыми онъ еще не сказалъ ни слова. Такъ подошелъ онъ къ сѣденькому, слезливому старичку, который стоялъ у двери подлѣ сына, парня лѣтъ восемнадцати.

— А, здравствуй, Иванъ Панкратьичъ! Ну, ну, радъ, братецъ, радъ, что не забылъ меня, благодарю! Какъ поживаешь? сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, протягивая ему покровительственно кончикъ мизинца.

— Охъ, плохо, отецъ, плохо! и шатко, и валко, и на сторону. Все вотъ они сокрушаютъ... Поздравь же; ну, что стоишь?.. промолвилъ старичокъ, подталкивая сына.

— Поздравляю... забасилъ малый, шаркнувъ сапогомъ и глядя исподлобья сквозь черныя, длинныя кудри на Балахнова.

— Благодарю, спасибо. Ну, что, Ѳедя, пора на службу... хочешь служить?..

Ѳедя покосился, не поворачивая головы, на отца и улыбнулся.

— Охъ, что и говорить! сказалъ отецъ, махнувъ отчаянно рукой,—пора бы, давно пора! Чаю, отецъ, умретъ онъ у меня безъ чина... Эхъ, кабы милость твоя была, Аристархъ Ѳедоровичъ...

— Хорошо, хорошо; я ужъ обѣщалъ тебѣ и сдѣлаю;

сегодня же пріѣдетъ ко мнѣ Окатовъ и мы все устроимъ... А! ба! да вотъ и онъ! Николай Степанычъ! закричалъ Балахновъ, выходя въ залу навстрѣчу дорогому гостю.

Окатовъ средняго роста, плотный, не столько толстый, сколько Свищовъ, но, повидимому, еще тверже его тѣломъ. По обѣимъ сторонамъ лысой головы его, важно закинутой назадъ, торчитъ по пучку бѣлыхъ, какъ снѣгъ, вьющихся волосъ, которые составляютъ самый рѣзкій контрастъ съ его густыми, черными, какъ смоль, бровями, подверженными безпрестанному движенію; короткій, вздернутый носъ, раздвоенный на кончикѣ, круглый подбородокъ съ ямкой по серединѣ и толстыя губы придаютъ лицу Николая Степановича что-то надменное, гордое, что какъ нельзя болѣе согласуется съ его наружностью, которой старается онъ придать какъ можно больше значенія.

Одежда его, начиная съ безконечно длинныхъ воротничковъ рубашки и кончая сапогами, лоснящимися какъ зеркало, отличается необыкновенною чистотою и аккуратностью.

— Поздравляю! отрывисто сказалъ Николай Степановичъ, пожалъ руку хозяина и пошелъ, безъ дальнихъ объясненій, прямо въ гостиную.

Вступивъ въ гостиную, онъ направился къ хозяйкѣ дома, сказалъ „bonjour, madame“ и поцѣловалъ у ней ручку, потомъ обратился къ остальной компаніи, сказалъ „bonjour“ и усѣлся на диванъ.

На лицѣ его показалась улыбка, когда онъ обратился вторично къ Лизаветѣ Семеновнѣ; но, повидимому, онъ былъ не слишкомъ разговорчивъ по натурѣ и любилъ выражаться лаконически.

— Здоровье ваше? спросилъ онъ.

— Покорно благодарю, хорошо, отвѣчала Лизавета Семеновна.

— А дѣтки?

— И дѣти, слава Богу, здоровы... Я надѣюсь, и ваши точно такъ же?..

— Живутъ! отвѣчалъ Николай Степановичъ.

Затѣмъ онъ положилъ одну ногу на другую и ужъ ничего не сказалъ.

Такъ какъ Окатовъ былъ послѣдній и въ то же время единственный гость, который былъ въ правѣ заставлять себя дожидаться, то Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ по-

давать кушать. Пять минутъ спустя, по знаку, данному хозяиномъ дома, оркестръ грянулъ польскій. Это послужило сигналомъ. Общество приподнялось разомъ съ своихъ мѣстъ. Окатовъ подалъ руку Лизаветѣ Семеновнѣ, Бобоховъ—Кошкиной, Аристархъ Ѳедоровичъ—одной изъ барышень, и пары, плавно выступая подъ тактъ оркестра, потянулись фестонами къ дверямъ залы.

VII.

Лица, явившіяся въ предыдущей главѣ, говорятъ и дѣйствуютъ сообразно съ своими цѣлями, взглядомъ на вещи и убѣжденіями.

Начало торжественнаго обѣда не ознаменовалось ничѣмъ особенно замѣчательнымъ.

Въ продолженіе первыхъ десяти минутъ общество сидѣло спокойно и чинно. Каждый почти занятъ былъ разсматриваніемъ великолѣпной крѣпости изъ сладкаго тѣста съ вензелями А и Б, воздвигнутой по срединѣ стола, между бисквитныхъ и сахарныхъ пирамидъ, утыканныхъ цвѣтами; каждый старался приноровиться, примѣниться къ своему мѣсту, и заводилъ тихую, предупредительную рѣчь съ сосѣдомъ. Вскорѣ, однакожъ, звуки оркестра, игравшаго какую-то симфонію, стали постепенно заглушаться говоромъ, хохотомъ и звяканьемъ стакановъ и тарелокъ. Одинъ только Карачаевъ, можно сказать, хранилъ упорное молчаніе; не отступая ни на волосъ отъ обѣщанія, даннаго Лизаветѣ Семеновнѣ, онъ выдержалъ характеръ и не прикоснулся къ рюмкѣ, несмотря даже на то, что передъ нимъ красовался графинъ „дорожной отрады“ и цѣлая бутылка „фронтиньяку“. Впрочемъ, ему не до того было, какъ самъ онъ выражался. Онъ поминутно вскакивалъ съ своего мѣста, чтобъ отдать то или другое приказаніе, или предупредить неповоротливаго лакея; если случалось, что глаза Карачаева, слѣдившіе съ безпокойствомъ по всѣмъ возможнымъ направленіямъ, замѣчали, что недоставало чего-нибудь на концѣ стола, онъ тотчасъ же бросался къ буфету, вырывалъ изъ рукъ слуги недостающее блюдо или приправу, и, поднося ихъ гостямъ, говорилъ заботливо: „салату-съ!“ или „pardon, mesdames; вамъ, кажется, забыли подать подливки къ телятинѣ“ и т. п.

— Какъ вамъ нравится этотъ лысый, хлопотливый господинъ? Неправда ли, онъ очень милъ?.. иронически говорилъ Бобоховъ, щуря свои рысьи глазки на сосѣдку, Анну Васильевну Кошкину, съ которой не переставалъ шептаться.

— Ахъ, какой вы насмѣшникъ! Съ вами просто опасно быть знакому! отвѣчала Кошкина съ самымъ любезнымъ, кокетливымъ видомъ.

— А эта крѣпость... продолжалъ шептать Бобоховъ,— не правда ли, какъ трогательны, умилительны, можно сказать, эти два сахарные вензеля?..

Но на этотъ разъ Бобоховъ былъ прерванъ слугой мрачнаго вида, который, просунувъ между нимъ и сосѣдкой руку, окутанную салфеткой и вооруженную бутылкой, проворчалъ, наклоняясь: „Висанту-съ!“

— Вотъ вино! шепнулъ Бобоховъ, снова прищуриваясь,— слыхали вы такое названіе? Я первый разъ слышу... Это, кажется, попросту настой изъ рыбы корюшки...

— О, перестаньте!.. Вы будете виною, что я разсмѣюсь на всю залу, возразила Кошкина, прикладывая къ губамъ салфетку.

Не мѣшаетъ замѣтить, что Бобоховъ, подобно многимъ молодымъ людямъ одинаковаго съ нимъ свойства, думалъ выигрывать чрезвычайно много во мнѣніи дамъ, отпуская плоскія шуточки и пошлыя, тупыя остроты на все, что̀ ни попадалось ему на глаза. „Остроуміе такихъ кавалеровъ“—чтобъ не назвать ихъ другимъ именемъ—остается, впрочемъ, не всегда безплоднымъ: иной разъ, правда, оборвутъ и жестоко оборвутъ; но часто оно приноситъ репутацію злого, насмѣшливаго, опаснаго, но очень умнаго человѣка.

Итакъ, общество постепенно оживлялось послѣ каждаго новаго блюда и особенно послѣ каждаго новаго напитка. Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ уже сказано, любилъ угощать на славу и ничего не жалѣлъ въ торжественныхъ случаяхъ. Какихъ ужъ зато и не было винъ на его столѣ! Тутъ были и сен-жюльенъ тре́ калите́, и дримадера, и испанскій мускатъ, и бургонское монтраше́; изъ рейнвейновъ особенно часто появлялись: либфрауенмильхъ, гейзенгеймеръ и лаубенгеймеръ. Все это было выписано, по словамъ Балахнова, прямо изъ Петербурга и даже съ самой биржи; онъ бы и въ самомъ дѣлѣ выписалъ все это изъ вышеупомянутыхъ мѣстъ, если бъ не было такъ

далеко (читатель припомнитъ, что пирамида, воздвигнутая у плотины, возвѣщала довольно ясно, что Ханскіе-Пруды отстоятъ отъ Петербурга ровно на 1,200 верстъ).

— Что тутъ такое? громко спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поворачиваясь къ камердинеру, который поднесъ ему во время десерта коротенькую бутылку, тщательно обернутую салфеткой.

— Птичье молоко-съ... отвѣчалъ едва передвигая губами камердинеръ, получившій еще съ утра наставленіе, какъ говорить и дѣйствовать.

— Что такое?

— Птичье молоко-съ! повторилъ камердинеръ съ бо̀льшею внятностью.

— Какое птичье молоко? продолжалъ разспрашивать Аристархъ Ѳедоровичъ, обнаруживая изумленіе.

— Птичье молоко-съ! произнесъ, наконецъ, совсѣмъ громко камердинеръ.

— Ха-ха-ха! Господа! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, заливаясь добродушнымъ смѣхомъ и окидывая самодовольно общество, — вотъ говорятъ, что здѣсь какое-то птичье молоко!.. Попробуемъ... надо, надо попробовать... Какъ вы думаете?..

— Попробуемъ! попробуемъ! Надо, надо попробовать! отозвалось съ перекликами по залѣ.

Птичье молоко было розлито, и общій одобрительный гулъ, въ честь новаго напитка, пронесся съ одного конца стола на другой.

Но когда подали шампанское, извѣстное подъ именемъ мак-сотенъ (Балахновъ любилъ обзаводиться всѣмъ тѣмъ, что носило громкое, необыкновенное прозвище и бросалось въ глаза), когда мак-сотенъ зашипѣлъ въ бокалахъ, и предложенъ былъ первый тостъ въ честь дорогого хозяина, громкое восклицаніе, сопровождаемое стукомъ ножей, стакановъ и стульевъ, потрясло потолокъ и самые фундаменты дома. Тутъ даже и самъ Карачаевъ, образецъ твердости и терпѣнья, не выдержалъ: онъ вскочилъ съ своего мѣста и, поднявъ на воздухъ пустой бокалъ, прокричалъ „ура“ такимъ неистовымъ голосомъ, что всѣмъ показалось на минуту, будто столъ съ приборомъ и гостями шарахнулся на полъ.

Внезапно звуки оркестра, игравшаго громогласно тушъ, умолкаютъ. Семенъ Семеновичъ Кошкинъ медленно приподнимается съ бокаломъ въ рукѣ. Его желтенькое, при-

глаженное и прилизанное лицо, послѣ изліяній мак-сотена, къ которому прибѣгалъ онъ единственно для того, вѣроятно, чтобъ почерпнуть достаточную дозу бодрости и вдохновенія, покрывается яркими полосами пурпура. Смущеніе проглядываетъ, однакожъ, во всѣхъ чертахъ его; рука съ бокаломъ измѣняетъ ему.

Воцаряется тишина.

Взоры всѣхъ внимательно обращаются на Кошкина, и только Аристархъ Ѳедоровичъ, одинъ онъ, смотритъ задумчиво въ тарелку.

— Милостивый государь, Аристархъ Ѳедоровичъ! начинаетъ Семенъ Семеновичъ пискливымъ голосомъ. — Мы всѣ (тутъ онъ обводитъ глазами присутствующихъ), всѣ мы... мы всѣ собрались сюда, въ это памятное для насъ число прекраснаго мая мѣсяца (Семенъ Семеновичъ трогательно улыбается), чтобъ отпраздновать съ радостнымъ сердцемъ день вашего рожденія... Повѣрьте, милостивый государь, не чувство лицемѣрія, или другія какія ложныя чувства, которыя такъ часто принимаютъ личину искренности, внушило намъ такую похвальную мысль... Всѣ мы... мы всѣ... (Семенъ Семеновичъ снова окидываетъ взглядомъ присутствующихъ) всѣ мы... явились сюда съ открытымъ сердцемъ...

На всѣхъ концахъ стола раздается одобрительный гулъ. Аристархъ Ѳедоровичъ углубляется еще усерднѣе въ разсматриваніе тарелки; Карачаевъ выставляется впередъ, и на лицѣ его выступаютъ постепенно всѣ признаки восторженнаго состоянія.

— Да позволено же будетъ мнѣ, милостивый государь, продолжаетъ Кошкинъ, увлекаясь, очевидно, потокомъ собственнаго краснорѣчія,—да позволено мнѣ будетъ, отъ имени всѣхъ присутствующихъ сосѣдей вашихъ, высказать вамъ при семъ удобномъ и радостномъ для насъ случаѣ всю признательность, всѣ чувства, все уваженіе и глубокое почитаніе... Аристархъ Ѳедорычъ, заслуги ваши неоцѣненны.

Карачаевъ окончательно выставляется впередъ, подмигиваетъ сосѣдямъ и начинаетъ яростно хлопать въ ладоши; примѣру его слѣдуютъ Свищовъ, Полушкинъ и старичокъ съ сыномъ; одинъ Окатовъ остается попрежнему недвижимъ; Аристархъ Ѳедоровичъ все болѣе и болѣе задумывается.

— Заслуги ваши, Аристархъ Ѳедорычъ, говорю я, не-

оцѣненны... Да, Аристархъ Ѳедорычъ, онѣ неоцѣненны!.. продолжаетъ ораторъ, замѣтно воодушевляясь.—Какъ сосѣдъ, вы умѣли привязать къ себѣ сердца всѣхъ близкихъ васъ людей; какъ человѣкъ... Но пусть скажутъ вамъ за меня толпы обласканныхъ, призрѣнныхъ, облагодѣтельствованныхъ вами, бѣдныхъ и неимущихъ!.. Слезы благодарности... да, однѣ эти слезы послужатъ отвѣтомъ... Позвольте же, милостивый государь, пожелать вамъ отъ имени почтенныхъ особъ, здѣсь находящихся, многія и многія лѣта. Молю Всевышнее Провидѣніе о сохраненіи васъ въ добромъ здравіи и о продленіи драгоцѣнныхъ дней вашихъ, дабы мы всѣ, по прошествіи многихъ десятковъ лѣтъ, нашли васъ въ томъ же цвѣтущемъ состояніи души и тѣла... Многихъ изъ насъ, можетъ-быть, уже не будетъ тогда, многіе сойдутъ въ могилу... Но пусть воспоминаніе объ этомъ незабвенномъ числѣ прекраснаго, цвѣтущаго мая (лицо Семена Семеновича приняло самое трогательное выраженіе) сохранится въ памяти нашей... и пусть внушитъ оно намъ навсегда то же уваженіе, какое мы всегда раздѣляли и раздѣлять будемъ. Аристархъ Ѳедорычъ, отъ имени всѣхъ присутствующихъ сосѣдей вашихъ, я пью за ваше здоровье!.. заключилъ Кошкинъ, давъ знакъ музыкантамъ.

Тушъ грянулъ вторично.

Всѣ послѣдовали примѣру Семена Семеновича и огласили залу единодушнымъ „ура!“ Карачаевъ еще неистовѣе захлопалъ въ ладоши и затопалъ ногами. Въ залѣ воцарилось совершенное смѣшеніе языковъ.

— Не правда ли, какъ это трогательно?.. Рѣчь этого господина растрогала меня до слезъ!.. говорилъ иронически Бобоховъ, наклоняясь къ своей сосѣдкѣ.

— Полноте смѣяться...

— Вѣдь это ея мужъ!.. шепнулъ на ухо Бобохову толстый Свищовъ, у котораго давно уже чесался языкъ заговорить съ милліонщикомъ.

— Какъ? поспѣшно заговорилъ Бобоховъ, снова наклонясь къ сосѣдкѣ.—Я вовсе не смѣюсь надъ этимъ господиномъ, клянусь вамъ честью, не смѣюсь... Этотъ господинъ говорилъ прекрасно!..

— Ужъ будто бы?..

— Даю вамъ честное слово!

Во время этого разговора, заглушаемаго всеобщимъ гвалтомъ, Аристархъ Ѳедоровичъ успѣлъ налить новый

бокалъ; онъ приподымается съ мѣста и обращаетъ влажные взоры на гостей своихъ.

— Милостивые государи и милостивыя государыни! проговорилъ онъ, сохраняя, однакожъ, все свое достоинство и косясь на Окатова, который сидѣлъ попрежнему, двигая только бровями. — Гм! гм! Милостивые государи и милостивыя государыни!

— Тише! шт!.. неистово закричалъ Карачаевъ, дѣлая свирѣпые жесты и вдругъ, неожиданно, налилъ себѣ цѣлый стаканъ „дорожной отрады“.

— Позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ въ отвѣтъ на всерадушное привѣтствіе ваше, вымолвилъ Балахновъ, потупляя взоры и кланяясь направо и налѣво.

— Говорите! говорите! восторженно отозвались отовсюду.

— Милостивые государи и милостивыя государыни! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, полный въ эту минуту величаваго спокойствія.—Радушный привѣтъ вашъ, выраженный словами искренняго друга моего, почтеннаго Семена Семеновича Кошкина, сдѣлалъ бы честь не только мнѣ, но и всякому человѣку, превышающему меня несчетно разъ приданными мнѣ... гм! гм! приданными мнѣ вами добродѣтелями и заслугами... Принимаю его съ благодарностью!.. Да, скажу съ тою искренностью, съ тою правдивою прямизною, которымъ поставилъ я за правило всегда слѣдовать — къ чему лукавить? — я почитаю себя счастливымъ, что умѣлъ сохранить драгоцѣнную для меня любовь вашу и снисхожденіе... Повторяю: я счастливъ!.

Рукоплесканія заглушаютъ голосъ растроганнаго Балахнова; въ воздухѣ мелькаетъ нѣсколько платковъ; Карачаевъ свирѣпѣетъ отъ полноты душевнаго восторга и, въ замѣшательствѣ, наливаетъ второй стаканъ „дорожной отрады“; жесты его принимаютъ неслыханные размѣры, глаза хотятъ выскочить изъ своихъ впадинъ; онъ, наконецъ, успокаивается и снова весь обращается во вниманіе.

— Милостивые государи и милостивыя государыни, продолжаетъ, между тѣмъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, возвышая постепенно голосъ,—да, я все дѣлалъ до сихъ поръ, чтобъ только поддержать и заслужить столь лестныя для себя чувствованія... Я шелъ прямой дорогой. Чувство чернаго лицемѣрія и язвительной, шипящей злобы чуждо мнѣ. И если... если... если, говорю я, нашлись изъ среды нашей особы, которыя поставили мнѣ въ укоръ прямизну моихъ поступковъ, виною не столько я, скажу смѣло,

сколько ихъ собственное заблужденіе... Всесокрушающее время, озаряющее истину, надѣюсь, скоро укажетъ имъ прямизну моихъ мыслей и поступковъ... Не огорчаетъ меня черная клевета и людская шипящая злоба: я счастливъ расположеніемъ тѣхъ немногихъ, присутствующихъ здѣсь особъ... Благодарю васъ отъ всего сердца за ваши теплыя желанія и... и... и, милостивыя государыни и милостивые государи, пью ото всей души за ваше общее здравіе.

Не успѣлъ Аристархъ Ѳедоровичъ докончить своей рѣчи, какъ ужъ видѣлъ себя окруженнымъ всѣмъ обществомъ; пожатіе дамскихъ ручекъ, восторженные крики мужчинъ, звукъ оркестра и посреди всего этого неистовыя „ура“ Карачаева, успѣвшаго уже осушить дно графина, отуманили и безъ того уже растроганнаго Балахнова; но это было непродолжительно, и онъ снова овладѣлъ собою...

— Господа! сказалъ онъ, вырываясь изъ объятій Кошкина и мгновенно измѣняя интонацію,—господа! Николай Степанычъ, мсье Бобоховъ, господа! не угодно ли вамъ?.. прибавилъ Балахновъ, приглашая рукою въ кабинетъ.

Онъ взялъ подъ одну руку Окатова, подъ другую Семена Семеновича и, провожаемый остальными мужчинами, направился въ свою комнату.

— Эхъ! сказалъ Свищовъ, подходя къ Бобохову и переводя одышку,—что вы... чуть было не надѣлали... вѣдь это, уфъ! уфъ! ея мужъ былъ...

— Я не зналъ... Ахъ, да, скажите, пожалуйста, кто вотъ этотъ господинъ? шепнулъ Бобоховъ, кивая головой на Карачаева, который запальчиво объяснялся съ музыкантами?

— Это Карачаевъ... здѣшній пріятель, то-есть былъ когда-то... Уфъ! уфъ! о, славный парень!

— Ничего нѣтъ славнаго, промолвилъ Дрянковъ, заигрывая съ милліонщикомъ, — грубое созданье, вотъ и все тутъ!

Всѣ трое вошли въ кабинетъ.

Тамъ стояло уже густое облако табачнаго дыма, посреди котораго возсѣдалъ, въ огромныхъ вольтеровскихъ креслахъ, какъ олимпійскій богъ, Николай Степановичъ Окатовъ.

— Николай Степанычъ, не прикажешь ли зубочистку? сказалъ Балахновъ, вынимая изъ вазочки толстое перо въ

бисерномъ чехлѣ. — Вотъ, братецъ, настоящее орлиное перо. Я привезъ его съ Кавказа... Одинъ грузинскій князь подарилъ мнѣ цѣлаго орла, то-есть, скажу тебѣ: чудовище было, а не птица!

— Велика была? произнесъ съ необыкновенно нѣжнымъ участіемъ стоявшій подлѣ Васильковъ.

— Страшно: три аршина! И представь, братецъ, продолжалъ Балахновъ, снова обращаясь къ Окатову, разсѣянно чистившему десны,—представь, самъ вѣдь видѣлъ, какъ орелъ этотъ виталъ надъ облаками Эльбруса, этого царя Кавказа! При мнѣ его и застрѣлили... Думалъ ли онъ, бѣдняга, что попадетъ когда-нибудь ко мнѣ, въ Ханскіе-Пруды!.. промолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, внезапно растягивая слова и бросая недоброжелательный взглядъ на Карачаева, который входилъ въ кабинетъ, цѣпляясь за косяки и стулья.

Карачаевъ прошелъ невнимательно мимо Окатова, пробрался сквозь толпу курильщиковъ, сѣлъ на диванъ и засвисталъ протяжно какую-то пѣсню.

— Ахъ, да, Николай Степанычъ! я хотѣлъ представить тебѣ Ивана Панкратьича Пшеницына... Помнишь, о которомъ я говорилъ?.. поспѣшилъ замять Балахновъ, отыскивая глазами старичка и его сына.

Онъ подошелъ къ старичку и подвелъ его къ Окатову.

— Вотъ, Николай Степанычъ, рекомендую, сказалъ Балахновъ,—почтенный отецъ семейства... три года хлопочетъ объ опредѣленіи сына... и...

Окатовъ наклонилъ на-бокъ голову.

— Да-съ, три года... началъ старикъ, выставляя впередъ долговязаго Ѳедю,—три года бьюсь, не добьюсь... Семейство большое, состояньишко—взять нечего... ваше превосходительство...

Окатовъ обнаружилъ вниманіе.

— Ну?.. сказалъ онъ.

— Имѣньишко маленькое, ваше превосходительство... продолжалъ ободренный Пшеницынъ, обдергивая рукава на сюртукѣ долговязаго Ѳеди,—охъ, что дѣлать! жили въ деревушкѣ, людей, свѣта не видали; ну, думали, не уйдетъ время, анъ вышло и прозѣвали!.. Охъ, что дѣлать, ваше превосходительство, проспали, прозѣвали!.. Глядь, а ему ужъ восемнадцать лѣтъ минуло... Поѣхалъ я въ губернскій городъ, тамъ есть у меня пріятель, Иванъ Кузьмичъ—можетъ, знать изволите?

— Ну? повторилъ Окатовъ.

— Нѣтъ, срокъ, говоритъ, прошелъ. Я, ваше превосходительство, мётнулся къ другому — также благодѣтель, Севастьянъ Игнатьевичъ, можетъ, знать изволите?

— Ну? сказалъ Окатовъ.

— И онъ тоже... что мнѣ дѣлать! Чаю, умретъ онъ у меня безъ чину, ваше превосходительство... Сдѣлайте такую милость! Другіе ребятишки малъ-мала-меньше, отъ земли не видать! На немъ одномъ вся надежда... Былъ у меня другой сынъ...

— Что жъ? спросилъ Окатовъ.

— О-охъ! уменъ больно былъ, ваше превосходительство: книгу это увидитъ или что такое, сейчасъ и подавай ему; заучился, знаете—у него геній-то и лопнулъ...

— Какъ такъ? спросилъ Окатовъ, чуть-чуть подергивая бровями.

— Да такъ, знаете, лопнулъ, да и только...

— Хорошо; я похлопочу, сказалъ Окатовъ, отворачиваясь въ сторону.

Кошкинъ подсѣлъ къ нему.

— Мосье Бобоховъ, вы, кажется, не курите? проговорилъ между тѣмъ Аристархъ Ѳедоровичъ, подходя къ столу.

— Нѣтъ, курю, но только самыя тонкія сигары...

— Можетъ быть, „nec plus ultra“?

— Нѣтъ-съ, „regalia superfina“... благодарствуйте, я ношу всегда съ собой... Скажите пожалуйста, что это за книга?..

— А! это мой альбомъ! моя записная книжка; прочтите, прочтите... тутъ найдете вы мысли... много такихъ мыслей...

— Покажите...

И Аристархъ Ѳедоровичъ, взявъ самодовольно книгу, прочелъ громкимъ голосомъ, заглушившимъ на минуту всеобщій говоръ: „Взгляни, этотъ чинаръ раскололъ корнемъ гору! а она лелѣяла его, когда онъ еще былъ ничтожнымъ желудемъ!“ На поляхъ, противъ этихъ строкъ, чья-то заботливая рука подписала: „Солонеевъ!..“ Но Балахновъ сдѣлалъ видъ, какъ будто этого не замѣтилъ, возвратилъ книгу и обратился къ другимъ гостямъ.

— Что это за сапогъ? насмѣшливо шепнулъ Бобоховъ на ухо Свищову, который не отступалъ отъ него ни на шагъ.

— А это, уфъ! уфъ! сапогъ Карла Двѣнадцатаго при Полтавѣ; а это вотъ, продолжалъ толстякъ,—это страусовое яйцо; знаешь, есть такая страусъ-птица, а это клыкъ звѣря... жилъ онъ до потопа, сказываютъ...

Увлеченные отчасти любознательностью, отчасти желаніемъ побесѣдовать съ милліонщикомъ, къ нимъ вскорѣ примкнули Конковъ, Дрянковъ, еще кое-кто изъ близъстоявшихъ курильщиковъ и, наконецъ, самъ Карачаевъ.

— Фу, какъ, однакожъ, здѣсь накурили! произнесъ Бобоховъ, отходя немного въ сторону,—нельзя ли выйти отсюда?

— Что жъ! пойдемъ въ садъ; большой садъ!.. Ты... вы еще его не видали; пойдемъ! отвѣчалъ съ особенною заботливостью Кондей Ивановичъ, давъ себѣ, повидимому, слово сдружиться какъ можно скорѣе съ милліонщикомъ.

Мало-по-малу кабинетъ опустѣлъ, остались только Окатовъ, Кошкинъ и самъ хозяинъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ переглянулся съ Семеномъ Семеновичемъ, и оба сѣли, одинъ по правую сторону Николая Степановича, другой по лѣвую.

— Ну, скажи пожалуйста, какъ тебѣ нравится нашъ новый сосѣдъ, Бобоховъ? началъ Балахновъ.

— Пустой человѣкъ! отвѣчалъ Окатовъ, разсѣянно глядя въ окно.

— За что же такая немилость?

— Глупецъ! произнесъ Окатовъ какъ бы нехотя.

— Я совершенно согласенъ съ этимъ мнѣніемъ, замѣтилъ съ любезностью Кошкинъ.

Въ то время, какъ дѣлались въ кабинетѣ такія невыгодныя заключенія о новопріѣзжемъ, въ гостиной были о немъ совершенно другого мнѣнія; похвалы, расточаемыя на его счетъ госпожею Кошкиной, забывшей, казалось, совершенно слово „parvenu“, не сходившее у нея съ языка наканунѣ, придали еще больше блеска молодому сосѣду въ глазахъ всѣхъ почти дамъ. Слѣдствіемъ было то, что въ ту самую минуту, какъ Бобохова величали въ кабинетѣ глупцомъ, въ гостиной провозглашали его единодушно самымъ любезнымъ, свѣтскимъ и умнымъ человѣкомъ, какой когда-либо появлялся на бѣломъ свѣтѣ.

Къ несчастью, въ настоящую минуту Бобоховъ не могъ насладиться плодами всеобщаго восхищенія; когда онъ вошелъ въ гостиную, сопровождаемый вѣрнымъ Свищовымъ, тамъ сидѣли только: хозяйка дома, Кошкина, да еще нѣсколько старушекъ.

— А гдѣ, сударыня, позвольте... уфъ, уфъ... позвольте спросить, остальныя дамы? променадъ?.. спросилъ Свищовъ, принявшій окончательное намѣреніе плѣнить милліонщика своимъ тонкимъ, свѣтскимъ обращеніемъ.

— Всѣ ушли въ садъ... и, кажется, даже намѣреваются кататься въ лодкѣ, отвѣчала Кошкина, закусывая насмѣшливо губы.

— Послушайте, шепнулъ Кондей Ивановичъ, наклоняясь на ухо Бобохову, — мнѣ нужно сказать два слова женѣ... потолкуй пока съ ними... я сейчасъ вернусь, присовокупилъ онъ, подмигивая ему съ видомъ взаимнаго участія.

— Хорошо, отвѣчалъ Бобоховъ, переглядываясь съ Кошкиной по направленію къ Свищову.

Онъ сѣлъ подлѣ Анны Васильевны, заботливо очистившей ему мѣсто, и вступилъ въ разговоръ. Результатомъ любезности Бобохова было то, что передъ Лизаветой Семеновной, Кошкиной и старушками замелькали въ самыхъ яркихъ и вѣрныхъ краскахъ всѣ подробности, имѣвшія прямо отношеніе къ госпожѣ Тохтамышевой. Онѣ узнали, во-первыхъ, что квартира Тохтамышевой находится на Свищовомъ Вражкѣ; во-вторыхъ, что „салонъ“ Тохтамышевой представляетъ образецъ современной роскоши, доведенной до тончайшей изысканности; въ-третьихъ, что Тохтамышева принимаетъ по вторникамъ и пятницамъ и допускаетъ однихъ только литераторовъ, художниковъ, людей первыхъ фамилій—словомъ, окружаетъ себя всѣмъ тѣмъ, что есть лучшаго въ Москвѣ. Онъ началъ уже распространяться о цвѣтѣ, какой предпочитаетъ преимущественно Тохтамышева, и привелъ въ примѣръ цвѣтъ платья Кошкиной, какъ вдругъ слуга пришелъ доложить, что его просятъ въ кабинетъ. Бобоховъ раскланялся съ дамами и вышелъ изъ гостиной; въ залѣ загородилъ ему дорогу Свищовъ.

— Каково я ихъ надулъ, а? прошепталъ онъ, самодовольно пожимая руку молодому богачу. — Вѣдь это я... уфъ, уфъ, я велѣлъ сказать, что тебя... васъ зоветъ Аристархъ Ѳедорычъ. Ну, что тамъ заговорился со старухами-то? пойдемъ въ садъ; я покажу тебѣ молоденькихъ; красотки есть... у-у какія!.. уфъ, уфъ... пойдемъ черезъ заднее крыльцо... я тебя проведу прямо въ садъ. Пойдемъ; спасибо скажешь...

Минуту спустя, оба очутились на открытомъ мѣстѣ сада.

— Куда жъ ты? не туда... уфъ, постой! говорилъ суетливо Кондей Ивановичъ.

— Какъ не туда? Вотъ, вѣдь, дамы: такъ прямо и пройдемъ къ нимъ, сказалъ Бобоховъ, указывая на лужайку за прудами, гдѣ мелькали розовыя, бѣлыя и всякія платья.

— Эхъ, послушайся, не туда. Даромъ что прямая дорога... тамъ, братъ, топкое мѣсто, какъ разъ засядешь... Послушайся меня... Вотъ надо идти по этой аллеѣ; ступай сюда, проговорилъ, едва переводя духъ, Кондей Ивановичъ, увлекая насильно молодого друга въ густую, тѣнистую и, повидимому, совершенно глухую аллею.

Оба пошли рядомъ.

Внезапно Кондей Ивановичъ ударилъ себя по лбу, сказавъ:

— Ахъ я пострѣлъ, женинъ платокъ забылъ! Ступай все прямо, догоню, и быстро исчезъ изъ виду.

Оставшись одинъ, Бобоховъ пошелъ по указанной ему дорогѣ.

Не успѣлъ онъ сдѣлать двадцати шаговъ, какъ вдругъ, за поворотомъ аллеи, мелькнуло передъ нимъ голубое платье; онъ ускорилъ шагъ; вскорѣ различилъ онъ толстенькую, румяную какъ піонъ барышню, сидѣвшую на скамейкѣ въ очаровательно-меланхолической позѣ, съ цвѣткомъ рукѣ. Въ ту минуту, какъ Бобоховъ выравнивался съ нею, послышался шелестъ въ сосѣднемъ кусту и показалась рука съ ридикюлемъ, которая принялась дергать изъ-за скамейки голубое платье. Бобоховъ приподнялъ кокетливо синюю свою фуражку и франтомъ прошелъ мимо, не сказавъ ни слова.

Немного погодя, мелькнуло передъ нимъ другое платье, усѣянное снизу до верху розовыми бантами; платье принадлежало толстой, здоровенной дѣвѣ, которая ловила бабочку и, казалось, вовсе не замѣчала посторонняго лица, посреди невиннаго своего занятія.

Бобоховъ снова приподнялъ синюю фуражку, но было напрасно: дѣва не могла его видѣть; она глядѣла на него вмѣсто глазъ одними бѣлками. Новый поворотъ аллеи, новая скамейка—и на скамейкѣ опять-таки новое платье. На этотъ разъ рысьимъ глазкамъ милліонщика, сверкавшимъ отъ самодовольствія, предстала особа лѣтъ тридцати пяти, съ платкомъ въ рукѣ, увѣнчанная цвѣтами, какъ Амуръ; бѣлое платье ея, украшенное крас-

нымъ кушакомъ, пришло въ неописанное волненіе на груди, какъ только поровнялся молодой человѣкъ; она скромно опустила глаза, сузила свои губки, зардѣлась, и вдругъ, какъ бы опомнившись, приложила платокъ къ глазамъ.

Но Бобоховъ не былъ, видно, чувствительнаго свойства и прошелъ мимо, удостоивъ только приподнять фуражку. Какъ ни понятны были всѣ эти продѣлки господину въ бѣломъ жилетѣ, онъ пришелъ, однакожъ, въ нѣкоторое изумленіе и даже смутился, когда, почти при выходѣ изъ аллеи, встрѣтилъ опять прежнее голубое платье, но только въ другой позѣ. Полное лицо молодой особы, и безъ того ужъ красное, пылало чистѣйшимъ пурпуромъ; члены ея, граціозно расположившіеся на скамейкѣ, показывали страшную усталость. Она должна была сдѣлать добрую версту, чтобъ очутиться на этомъ мѣстѣ.

Бобоховъ проходилъ ужъ мимо, какъ вдругъ голубое платье заговорило:

— Вамъ, кажется, очень скучно...

— Помилуйте, сударыня, совершенно напротивъ! поспѣшилъ сказать молодой человѣкъ, останавливаясь и приподнимая фуражку.

Послѣдовала секунда молчанія, въ продолженіе которой молодой человѣкъ замѣтилъ, что рука съ ридикюлемъ ущипнула голубое платье...

— Здѣсь такъ свѣжо... проговорила молодая особа, видимо нуждавшаяся въ прохладѣ.

— Совершенно справедливо, замѣтилъ съ поспѣшностью Бобоховъ,—и я бы, конечно... но къ несчастью... къ несчастью, меня звали и, навѣрно, дожидаются...

Онъ приподнялъ фуражку и дробнымъ шажкомъ вышелъ изъ аллеи.

Тутъ, на лужайкѣ, подлѣ прудовъ, находилось почти все общество.

— А! Иванъ Дормидонычъ! воскликнулъ Свищовъ, успѣвшій уже освѣдомиться объ имени и отчествѣ молодого своего друга, — а я вотъ только шелъ къ тебѣ навстрѣчу... Ну что, братъ, уфъ, уфъ... какъ дошелъ?.. не заблудился?

— Мудренаго нѣтъ; садъ огромный! замѣтилъ, подходя, авторъ „Непризнанной Индѣйки“.

— Огромный и прекрасный, не правда ли? сказалъ Васильковъ, нѣжно улыбаясь.

— Ну, господа... ха-ха-ха!.. что̀ было со мною! произнесъ Бобоховъ, понижая голосъ, чтобъ не могли разслышать дамы.

— А что? что такое? спросилъ Свищовъ, обнаруживая явное безпокойство, — должно быть, бульдогъ Аристарха Ѳедоровича... уфъ, уфъ... онъ вездѣ шляется...

— Да, бульдогъ, да только въ голубомъ платьѣ... ха-ха-ха! потѣха!..

— Какое... уфъ... какое голубое платье? спросилъ Свищовъ, багровѣя и едва переводя одышку.

— Голубое съ красными бантами, продолжалъ Бобоховъ, не замѣчая, что Васильковъ мигалъ ему изо всей мочи,— да, голубое платье, съ красными бантами и такимъ же краснымъ лицомъ... Не правда ли, какъ это интересно?.. ха-ха-ха!..

— Ничего... охъ, ничего нѣтъ интереснаго, пролепеталъ Кондей Ивановичъ, который пыхтѣлъ и окончательно задыхался.

Онъ повернулся на своихъ тосканскихъ столбахъ и отошелъ въ сторону.

— Что вы надѣлали? шепнулъ Васильковъ, забывая оскорбительное равнодушіе, какое обнаруживалъ къ нему сослуживецъ.

— Что такое?

— Да вѣдь это была его дочь.

— А что такое, мрачно возразилъ Дрянковъ,—подѣломъ имъ... урокъ! не бѣгай за женихами!..

Голоса дамъ, призывавшіе кавалеровъ, заставили Бобохова, Василькова и Дрянкова присоединиться къ обществу, которое усаживалось въ лодку.

Минуту спустя, пруды огласились звонкимъ хохотомъ и говоромъ; одинъ только Свищовъ не произносилъ слова и мрачно поглядывалъ то на воду, то на Бобохова, которому ни разу не пожалъ даже руки во все продолженіе прогулки.

А между тѣмъ въ кабинетѣ, гдѣ попрежнему сидѣли Балахновъ, Окатовъ и Кошкинъ, происходилъ разговоръ самаго серьезнаго содержанія.

— Ну, полно же, Николай Степанычъ; экой ты какой, право! Я знаю, ты вѣдь это такъ только!.. говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, утрачивая окончательно свою сановитость (онъ размахивалъ руками и сильно горячился),— полно, продай мнѣ свое Черноплятово! Оно для тебя ровно

ничего не стóитъ. Самъ посуди: сорокъ десятинъ всего, да вѣдь восемь дворовъ—ну, что они принесутъ? много-много триста рублей въ годъ. Для меня оно совсѣмъ другое дѣло: я, ты знаешь, хлопочу изъ того, чтобъ скупать всѣ земли, прилежащія къ моимъ владѣніямъ. Я, братецъ, люблю просторъ! Твое Чернопятово тѣмъ и дорого для меня, что цѣликомъ врѣзывается въ мои земли. Право, продай. Я тебѣ даю за Чернопятово... три тысячи... Вѣдь это, братецъ, выходитъ почти по сту рублей за десятину, а земля, ты знаешь, какая: суглинокъ, хрящъ... Итакъ, по рукамъ: три тысячи?..

— Деньги прекрасныя! шепнулъ Кошкинъ, потирая руки.

— Идетъ? повторилъ Балахновъ.

— Нельзя, наслѣдственное! сказалъ Окатовъ, оглядываясь на своихъ собесѣдниковъ.

— Вотъ славно! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.— Ну, послушай, если ужъ ты рѣшительно продавать не хочешь—давай мѣняться. Я тебѣ дамъ за Чернопятово свою Подчищаловку; оно же кстати пятнадцать верстъ отсюда; слѣдственно ближе къ тебѣ; а я люблю, чтобъ все было у меня подъ рукою. Въ Подчищаловкѣ тѣ же сорокъ десятинъ и почти то же число дворовъ... Ну, говори, Николай Степанычъ, хочешь Подчищаловку?

— Прекрасное имѣньице... сказалъ Кошкинъ, поправляя очки.

— Ничего нѣтъ хорошаго — заложено! сухо возразилъ Окатовъ.

— Заложено, такъ уже ничего и не стóитъ по-твоему? Помилуй, Николай Степанычъ, да у меня все имѣнье заложено; что жъ такое? Закладывать ничего не значитъ, когда на полученныя деньги прикупаешь землю, лѣсъ, или другое что, какъ, напримѣръ, дѣлаю я.

— По-моему, меньше, да чтобъ было чистое! рѣшился проговорить Окатовъ.

— Послушай, пусть будетъ по-твоему; но вѣдь ты забываешь, что въ Подчищаловкѣ есть роща.

— И прекрасная роща! подтвердилъ Кошкинъ.

— Хорошаго ничего нѣтъ, сказалъ Окатовъ.

— Да ты видѣлъ ли ее въ послѣднее-то время? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Видѣлъ; ничего нѣтъ необыкновеннаго.

— А деревья? триста деревъ!

— Да, толщины средней... произнесъ Окатовъ.

— Нѣтъ, не въ томъ дѣло, Николай Степанычъ! не въ томъ дѣло, какой они толщины. Дѣло, братецъ мой, въ томъ, что каждое дерево пустило уже четыре побѣга, каждый побѣгъ дастъ тебѣ, слѣдовательно, дерево, лѣтъ этакъ... черезъ пятнадцать. У тебя будетъ, слѣдовательно, по прошествіи этого срока не триста деревъ, а цѣлыхъ... цѣлыхъ...

— Тысячу-двѣсти! подсказалъ Кошкинъ, отличавшійся всегда по счетной части.

— Ну, потомъ ты забылъ, что въ Подчищаловкѣ есть еще прудъ...

— Нѣтъ, знаю, сказалъ Окатовъ, косясь на окно.

— Да ты видѣлъ ли въ немъ рыбу?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ вотъ то-то и есть. Слушай: въ 1809 году дѣдъ мой посадилъ туда триста карасей; каждый годъ эти караси мечутъ икру — такъ или нѣтъ? мечутъ они икру, да или нѣтъ? сказывай!

— Ну, мечутъ...

— Ну, самъ сосчитай послѣ этого, сколько же теперь должно быть рыбы въ Подчищаловкѣ...

— Я думаю, руками загребать можно, вымолвилъ съ увѣренностью Кошкинъ.

— Нѣтъ, не надо мнѣ твоей Подчищаловки! сказалъ рѣшительно Николай Степанычъ послѣ молчка.

— Кажется, если я не ошибаюсь, у Николая Степаныча есть еще другой клокъ земли, который находится въ твоихъ владѣніяхъ, любезный Аристархъ Ѳедоровичъ? проговорилъ добренькимъ голосомъ и, повидимому, очень разсѣянно Кошкинъ.

— Да, отвѣчалъ также разсѣянно Балахновъ,—это та долина, что примыкаетъ къ большой дорогѣ. Но что мнѣ въ ней? Негодна она ни въ запашку, ни для выгона...

Говоря это, Аристархъ Ѳедоровичъ не переставалъ коситься на Окатова. Нужно замѣтить, что рѣчь объ этой долинѣ, на которой нельзя было ни пахать, ни сѣять, должна была составлять, между тѣмъ, главный пунктъ настоящаго разговора; все предыдущее служило, нѣкоторымъ образомъ, только предрѣчіемъ. Дѣло вотъ въ чемъ: долина выходила на большую дорогу къ губернскому городу и была самымъ виднымъ мѣстомъ; но главное заключалось въ томъ, что она принадлежала когда-то роду Солонеевыхъ. Пріобрѣсти эти долину въ свою собствен-

ность, и особенно Балахнову, врагу Солонеева, значило нанести послѣднему величайшую досаду. Солонеевъ не разъ говорилъ, что онъ ничего бы не пожалѣлъ, чтобъ возвратить себѣ то мѣсто, гдѣ стоялъ когда-то домъ его предковъ, мѣсто, проданное когда-то Окатову однимъ изъ родственниковъ Солонеева. Этого было уже достаточно, чтобъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ своей стороны готовъ былъ предложить какую угодно сумму, не взирая даже на то, что долина ровно ничего не стоила и имѣла цѣнность для одного Солонеева. Но каково было изумленіе Аристарха Ѳедоровича, когда Окатовъ повернулся къ нему и сказалъ:

— Ну, это другое дѣло!

Нужна была вся твердость характера, все умѣнье владѣть собою, отличавшія Аристарха Ѳедоровича, чтобъ не обнаружить восторга послѣ такого неожиданнаго поворота счастія.

— Ну, Богъ съ тобой! Если ужъ ты не хочешь разстаться съ Чернопятовымъ, давай хоть долину! произнесъ снисходительно Балахновъ.

— Пожалуй! отвѣчалъ Окатовъ.

Тутъ ужъ Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ выдержать: онъ вскочилъ съ своего мѣста, но, къ счастію, скоро оправился и сдѣлалъ видъ, какъ будто давно собирался встать, чтобъ закурить сигару.

— Сколько?.. спросилъ онъ.

— Четыре тысячи.

Сумма была огромная; долина не стоила и десятой доли, но тѣмъ не менѣе Балахновъ едва усидѣлъ на стулѣ отъ радости.

— Гм... гм... четыре тысячи... сказалъ онъ равнодушнымъ голосомъ, въ которомъ проглядывало взволнованное состояніе души его,—гм... четыре тысячи... Въ сущности, что мнѣ въ этой долинѣ?..

— Ну, не надо, вымолвилъ Окатовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, возразилъ съ живостью Аристархъ Ѳедоровичъ. — Зачѣмъ же? я положилъ себѣ за правило прикупать, по возможности, всѣ земли, всѣ угодья, прилежащія къ моимъ владѣніямъ, и... и покупаю долину... Деньги въ сентябрѣ, послѣ перваго обоза...

— Нѣтъ, теперь нужны.

— А, ну, теперь, такъ теперь! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, рѣшившійся лучше продать хлѣбъ на корню,

чѣмъ потерять такой удобный случай,—теперь, такъ теперь; мнѣ все равно. Ты свободенъ послѣзавтра?

— Свободенъ.

— Въ такомъ случаѣ пріѣзжай въ уѣздный городъ... въ Горшковѣ же кстати въ этотъ день ярмарка: мы совершимъ купчую и деньги получишь чрезъ двѣ недѣли. Итакъ по рукамъ?..

Окатовъ подалъ руку Аристарху Ѳедоровичу, и всѣ трое привстали со стульевъ.

— Ну, господа, однакожъ, мы заговорились! Посмотрите, начинаетъ уже смеркаться, сказалъ Балахновъ, потирая руки, — мы совсѣмъ забыли нашихъ милыхъ дамъ. Пойдемте отсюда... душа просится на просторъ! Пора подышать свѣжимъ воздухомъ, промолвилъ онъ, принимая мгновенно величавую осанку свою и приглашая гостей изъ кабинета.

Когда они вошли въ гостиную, тамъ находилось уже все общество, собравшееся къ чаю. Посреди всего этого недоставало одного лишь Карачаева. По справкамъ, наведеннымъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, оказалось, что Карачаевъ грохнулся на постель и заснулъ такимъ богатырскимъ сномъ, что его о сю пору не могли добудиться.

— Ну, оставить его; пускай его хорошенько проспится! сказалъ хозяинъ дома.

Полчаса послѣ этого, когда уже совершенно смерклось и домъ освѣтился несмѣтнымъ множествомъ плошекъ и шкаликовъ, изъ сада послышались неожиданно торжественные звуки оркестра.

— Что это? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, окидывая удивленнымъ взоромъ присутствовавшихъ.

— Не говорите, не говорите ничего! крикнуло нѣсколько тоненькихъ дамскихъ голосковъ.

Дамы окружили Балахнова, кавалеры между тѣмъ вышли на террасу и прокричали „ура! а!.. а!“

— Что это? повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пріятно улыбаясь на всѣ стороны.

— Не говорите, не говорите! отозвались снова тоненькіе голоса,—въ садъ, въ садъ, пойдемте въ садъ!

Балахновъ, увлекаемый почти силою, молча повиновался.

Звуки оркестра становились слышнѣе и слышнѣе. Общество вступило въ густую, тѣнистую алею, перегороженную поперекъ старымъ ковромъ.

Внезапно всѣ остановились, захлопали въ ладоши, ко-

веръ упалъ къ ногамъ Аристарха Өедоровича и взорамъ его предсталъ искусственный боскетъ изъ цвѣтовъ, переплетавшихъ безчисленное множество его собственныхъ вензелей. Посреди боскета, ярко освѣщеннаго съ боковъ, на возвышенія изъ сноповъ, стояла младшая Кокуркина; длинный кисейный балахонъ, приколотый къ ея головѣ, ниспадалъ густыми складками почти до земли; въ одной рукѣ держала она пучокъ колосьевъ, другая рука ея граціозно подавала букетъ цвѣтовъ.

Воздухъ огласился рукоплесканіями. Аристархъ Өедоровичъ поклонился, сказалъ „благодарю!“ подошелъ къ женѣ и нѣжно поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Къ прудамъ! къ прудамъ! раздалось отовсюду.

По выходѣ изъ аллеи, Аристархъ Өедоровичъ былъ встрѣченъ новымъ „ура!“, подхваченнымъ всѣмъ оркестромъ. Неожиданно послышалась русская пѣсня; на прудѣ показалась лодка, изукрашенная шкаликами и наполненная нарядными мужиками и бабами. Лодка повернулась носомъ, и тогда всѣ увидѣли, что на ней, вмѣсто паруса, красовался видъ Ханскихъ-Прудовъ, написанный на коленкорѣ. Общество подходило уже къ самому берегу, какъ вдругъ, на другой сторонѣ прудовъ, прямо противъ того мѣста, гдѣ стояли господа, взвилась ракета. За ракетой взвилась другая ракета, потомъ третья, четвертая и наконецъ лопнулъ буракъ, загорѣлись римскія свѣчи и посреди внезапно вспыхнувшихъ бенгальскихъ огней открылся исполинскій щитъ; литеры А и Б поддерживались на этотъ разъ двумя геніями, попиравшими облака.

Аристархъ Өедоровичъ, растроганный до слезъ, могъ только проговорить „благодарю!“ и бросился обнимать жену. Затѣмъ послѣдовали другіе сюрпризы, но о нихъ не стоитъ упоминать, они состояли почти исключительно изъ тѣхъ же вензелей съ легкими варіантами. Всего замѣчательнѣе было то, что герой этого празднества предвидѣлъ заранѣе и даже зналъ наперечетъ всѣ сюрпризы, исторгавшіе у него въ настоящую минуту благодарственныя слезы. Гости и Лизавета Семеновна ничего даже не подозрѣвали. Аристархъ Өедоровичъ двѣ недѣли назадъ самъ послалъ купить кисею и позументы для балахона, украшавшаго младшую Кокуркину; онъ же придумалъ боскетъ, лодку съ пѣсенниками, фейерверкъ; онъ же далъ рисунокъ знаменитаго щита съ геніями и снабдилъ строгими наставленіями стараго маляра, чтобъ все было хо-

рошо и аккуратно исполнено. Но что прикажете дѣлать? Есть, видно, чувствительныя натуры, которыя не могутъ воздержаться отъ слезливаго умиленія, даже при видѣ собственныхъ своихъ произведеній!.. Когда общество вернулось въ домъ, оркестръ находился уже въ залѣ и игралъ польскій. Николай Степановичъ Окатовъ подалъ руку хозяйкѣ и открылъ балъ.

— Куда же ты, Николай Степанычъ? говорилъ Балахновъ, удерживая почетнаго гостя, который взялся за шляпу, какъ только умолкли рукоплесканія, сопровождавшія русскую пляску, исполненную Володей.

— Нельзя, пора! отвѣчалъ тотъ.

Ни увѣщанія, ни просьбы—ничто не помогло. Все, чего могъ добиться Аристархъ Ѳедоровичъ, заключалось въ томъ, что Окатовъ повторилъ обѣщаніе пріѣхать послѣзавтра въ Горшковъ для совершенія купчей.

„А ну, Богъ же съ тобой, когда такъ!“ подумалъ Балахновъ, видимо оскорбленный равнодушіемъ, какое обнаруживалъ богатый сосѣдъ къ знаменитому числу прекраснаго мая мѣсяца.—„Богъ съ тобой! дѣло слажено; мнѣ больше ничего отъ тебя не нужно! Главное, чтобъ все было по-моему; не такъ ли другъ?“ прибавилъ онъ громко, потрепавъ по плечу бѣжавшаго мимо Кошкина.

— Что такое? спросилъ тотъ, поправляя очки.

— Главное, чтобъ все было по-нашему! повторилъ еще громче Аристархъ Ѳедоровичъ.

Кошкинъ засмѣялся, пожалъ ему выразительно руку, привсталъ на цыпочки и побѣжалъ приглашать Лизавету Семеновну на экоссезъ.

Балъ былъ въ полномъ разгарѣ. Кавалеры и дамы, между которыми особенно отличались Вѣра Андреевна (средняя Кокуркина), успѣвшая уже затанцовать до полусмерти Порфирія Павловича Василькова, поминутно сшибались, расходились, составляли новые танцы, снова сшибались, и снова расходились, окружая графины съ оршадомъ и клюквой и опустошая подносы съ мороженымъ, крымскими яблоками и виноградомъ.

— Какъ вамъ нравится хозяйка дома, мосье Бобоховъ? наивно спросила Кошкина, танцовавшая vis-à-vis съ Лизаветой Семеновной.

— Знаете что? она напоминаетъ мнѣ плакучую березу... Ваша очередь дѣлать шенъ.

Кошкина приложила батистовый платокъ къ губамъ,

но, проходя мимо Лизаветы Семеновны, привѣтливо кивнула головкой.

— Боже мой, что вы надѣлали? Я едва-едва могла удержаться отъ смѣха, продолжала она, щуря глазки.— Скажите, какъ вамъ вообще понравилось это... это общество?

— О, удивительно! возразилъ съ комическою торжественностью Бобоховъ.—Но, знаете, безъ шутокъ, я, признаться, никогда не могъ думать, чтобъ все это было до такой степени пошло... Я хотѣлъ бы только, чтобъ сестра моя, Тохтамышева, или ея мужъ были здѣсь. Посмотрите, напримѣръ, на эту даму въ тюлѣ... Что это такое?..

— Кокуркина, наша сосѣдка. Какъ вы ее видите, это первая танцорка здѣшняго уѣзда...

— Хотите, я приглашу ее на одинъ туръ? такъ для смѣха, разумѣется...

— Пожалуйста; это будетъ очень забавно.

Увидя еще издали подходившаго Бобохова, Вѣра Андреевна, запрыгала на стулѣ, радостно захлопала глазами и принялась нетерпѣливо шаркать по полу ногами.

Бобоховъ и Кокуркина завертѣлись.

— Какъ вамъ нравится... уфъ, уфъ, не правда ли, какъ весело? спрашивала Вѣра Андреевна, подпрыгивая при каждомъ поворотѣ вальса и очаровательно улыбаясь своему кавалеру.

— Чрезвычайно! Мнѣ особенно нравится вотъ эта дама... проговорилъ Бобоховъ, проносясь мимо Надеженьки.

— Мнѣ очень пріятно это слышать... уфъ, уфъ... отвѣчала Вѣра Андреевна, неистово увлекавшая мильонщика.

— Представьте... она хотѣла плѣнить меня въ аллеѣ... хи! хи! хи!.. Позвольте васъ поблагодарить, заключилъ онъ, расшаркиваясь; но Вѣра Андреевна проворно отвернула голову и пролепетала: „болванъ!“

— Ахъ, merci, merci... вы чуть было не уморили меня со смѣху... Но постойте, то ли еще будетъ послѣ ужина! сказала Кошкина.

Къ несчастію, Бобоховъ не дождался ужина: онъ увидѣлъ Карачаева и поспѣшилъ потихоньку исчезнуть, такъ что его никто не замѣтилъ. Онъ всего-на-все успѣлъ только проговорить Кошкиной: „Позвольте мнѣ имѣть честь явиться къ вамъ...“ на что, разумѣется, получилъ тотчасъ же согласіе.

— Гдѣ же Бобоховъ? гдѣ онъ? гдѣ?.. раздалось отовсюду, по прошествіи нѣкотораго времени.

— Гдѣ же онъ въ самомъ дѣлѣ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, останавливаясь посреди залы, куда столпилось все общество, въ ожиданіи новой кадрили.

— Богъ съ нимъ, Аристархъ Ѳедорычъ! сказала Вѣра Андреевна, — пусть его ѣдетъ; онъ осмѣялъ всѣхъ насъ, всѣхъ безъ исключенія.

— Буржуа-жантильйомъ! крикнулъ входившій Карачаевъ, — вѣдь я ужъ вамъ говорилъ, а вы нѣтъ да нѣтъ! просто, буржуа-жантильйомъ, вотъ она штука-то въ чемъ! Еще смѣяться вздумалъ! Ахъ онъ! Да я его!.. Погоди, голубчикъ, я еще тебя проучу!..

Несмотря, однакожъ, на очевидно дурное расположеніе духа Карачаева, несмотря на припадокъ меланхоліи и всѣ признаки глубоко оскорбленнаго человѣка, обнаруженные имъ, когда объявили ему, что фейерверкъ давно ужъ сгорѣлъ и все обошлось какъ нельзя лучше безъ его присутствія, несмотря на неожиданные взрывы негодованія, послѣдовавшіе непосредственно за меланхоліей, Карачаевъ принялъ мало-по-малу участіе въ танцахъ и вскорѣ весь грохотъ бала былъ покрытъ его восторженными кликами.

Балъ продолжался вплоть до самаго утра. Бо̀льшая часть гостей осталась въ домѣ; весьма немногіе разъѣхались, да и то не прежде, какъ увидѣли, что ноги отказывались отъ повиновенія и не могли ужъ двигаться.

На горизонтѣ Ханскихъ-Прудовъ снова показалось солнце.

Снова окрасились золотымъ пурпуромъ бельведеръ, макушки березъ, стѣны дома, флигель и службы. Но когда солнце освѣтило дворъ, уже глухой и пустынный, подъѣзды, со спавшими въ повалку кучерами и лакеями, когда, поднявшись выше, перешагнуло оно черезъ заборъ и озарило опустошенныя клумбы сада, измятыя лужайки, изломанные сучья деревъ и желтыя дорожки, молчаливо спускавшіяся въ густую темно-зеленую листву акацій; когда, восходя постепенно выше и выше, глянуло солнце въ окна и прошло яркими лучами по закоптѣлымъ стѣнамъ, по заспаннымъ, усталымъ физіономіямъ и ворохамъ пыли, сора и конфетнымъ билетикамъ — все показало тогда, что жизнь приняла здѣсь свой обыденный порядокъ, и торжество, столь блистательное наканунѣ, кончилось, оставивъ послѣ себя однѣ лишь развалины.

VIII.

Разъѣздъ.—Утро послѣ бала.—Вечеринка въ людской. — Разсказъ карачаевскаго Ивана.

Нѣтъ сомнѣнія, что предлагаемый романъ станутъ обвинять въ мелочности и однообразіи. Въ самомъ дѣлѣ, хоть бы тѣнь какой-нибудь животрепещущей драматической завязки, хоть бы проблескъ какого-нибудь сильнаго, энергическаго характера!... Заранѣе соглашаюсь со всѣми обвиненіями. Да, въ предлагаемомъ романѣ рѣшительно нѣтъ энергическаго характера, нѣтъ интриги, и—что всего хуже—представьте, о мой почтенный читатель!—интриги не будетъ до самаго конца... Но что-жъ прикажете дѣлать? Автору, повѣрьте, очень прискорбно, что вся драма въ жизни, хоть, напримѣръ, Аристарха Ѳедоровича, заключается въ его безплодной борьбѣ съ сосѣдями, которыхъ считаетъ онъ злѣйшими врагами потому лишь, что сосѣди эти—люди порядочные, видятъ его насквозь, не желаютъ съ нимъ сближаться и не чувствуютъ къ нему особеннаго уваженія. Къ тому же, надо сознаться, люди съ сильными клокочущими страстями какъ-то вывелись въ послѣднее время—должно быть, сгорѣли въ горнилѣ собственныхъ страстей своихъ! Ихъ замѣнили лица тихія, кроткія, также со страстями, но со страстями столь положительными и упорными, что не создашь изъ нихъ никакой животрепещущей интриги, или, наоборотъ, со страстями слишкомъ жидкими, совершенно неспособными для подклейки сильной завязки романа. Со всѣмъ тѣмъ вышеупомянутыя лица живутъ, дѣйствуютъ, и поэтому самому никакъ не должны быть исключены изъ описанія. Я совершенно согласенъ, что повѣсть о какомъ-нибудь событіи, преисполненномъ случайностей, была бы несравненно интереснѣе читаемаго вами нынѣ романа. Всѣ мы любимъ, чтобъ дѣлали намъ сюрпризы, и не только въ день нашего рожденія, но, по возможности, даже во всѣ дни нашего существованія. Это очень пріятно. Я готовъ даже раздѣлить мнѣніе тѣхъ немногихъ читателей, которые приходятъ въ неописанный восторгъ, когда герой повѣсти, въ порывѣ безумной страсти, бросается въ окно и выламываетъ себѣ ноги; я готовъ пролить слезы умиленія, когда, въ слѣдующей затѣмъ главѣ, является тотъ же герой, радикально выздоро-

вѣвшій, совершенно счастливый и—вдругъ, въ концѣ, снова пропадаетъ безъ вѣсти; сердце мое обливается кровью, когда въ третьей главѣ застаю его подъ ножами убійцъ! Въ четвертой главѣ, непризнанныя достоинства героя открываются въ привлекательномъ свѣтѣ; онъ бросается въ объятія милой—и что-жъ? Я самъ готовъ плакать и придти въ восхищеніе... Отдавая себѣ, какъ видите, ясный отчетъ въ своихъ чувствованіяхъ и понимая, слѣдовательно, пружины, употребленныя авторомъ для возбужденія ихъ, я могъ бы написать точно такую же повѣсть; но не сдѣлалъ я этого единственно потому, что побоялся соперничества, ибо такихъ повѣстей пишется чрезвычайно много. Та же самая причина заставила меня отказаться писать повѣсти, въ которыхъ съ начала до конца спрягается на всѣ возможные лады глаголъ: *люблю*. „Вотъ вамъ два прекрасныя юныя существа, говоритъ авторъ, они только-что начали любить другъ друга...“ (Слѣдуетъ затѣмъ постепенное развитіе юной, разгорячающейся страсти). Герой любилъ героиню, героиня любитъ героя, родные того и другого любятъ дѣтей своихъ и сверхъ того любятъ еще другъ друга. (Тутъ является для контраста лицо, которое обыкновенно никого не любитъ). Вы видите потомъ, какъ два прекрасныя, юныя существа, достигнувъ апогея, или, если хотите, послѣдняго градуса страсти, соединяются неразрывными узами или возвращаютъ другъ другу письма и прекращаютъ всѣ сношенія. Тутъ наступаетъ собственно драма. Слѣдуетъ затѣмъ постепенный ходъ охлажденія героя къ героинѣ, героини къ герою, и часто все дѣло приходится начать сначала: герой и героиня снова полюбили другъ друга.

Есть еще повѣсти, въ которыхъ преобладаетъ такъ-называемый анализъ, повѣсти, имѣющія цѣлью знакомить бо̀льшею частью съ блестящимъ кругомъ, которыя можно назвать, для отличія отъ другихъ, повѣстями пусто-прозрачно-психологическаго содержанія. Ихъ писать очень легко, особенно въ послѣднее время: сто̀итъ только взять первую изъ нихъ, перемѣнить заглавіе, имена дѣйствующихъ лицъ, перенести дѣйствіе изъ Морской въ Милліонную или на Англійскую набережную—и дѣлу конецъ. Вотъ вамъ образчикъ. „Дѣйствіе происходитъ въ будуарѣ, или на балконѣ каменно-островской дачи (непремѣнно одно изъ двухъ). Подлѣ открытаго окна сидитъ героиня—графиня или княгиня. (Слѣдуетъ легкое, но, по *возмож-*

ности, болѣе поэтическое описаніе мѣстности и наружности самой героини). Дверь отворяется: является молодой человѣкъ задумчиваго вида. Онъ левъ съ головы до пятокъ (то-есть онъ посѣщаетъ балетъ, итальянскую оперу, носитъ штиблеты и обѣдаетъ у Дюссо). Горькій опытъ паркетной жизни поселилъ въ немъ разочарованіе: онъ холоденъ, спокоенъ; но много еще огня таится подъ его новомоднымъ жилетомъ; много теплаго, нѣжнаго чувства онъ умѣлъ сохранить въ своей собственной особѣ. Итакъ, онъ вошелъ, протянулъ руку графинѣ, графиня подала ему свою маленькую, миніатюрную ручку; долго, долго смотрятъ они другъ на друга, полные какого-то неопредѣленнаго чувства... и вдругъ, нежданно, обоимъ дѣлается грустно, невыразимо-грустно, страшно-грустно... Герой и героиня обмѣниваются новымъ пожатіемъ руки; они поняли другъ друга, говорятъ: „прости!“ расходятся — и повѣсть кончена. Все дѣло, какъ видите, очень просто. Меня остановило только то, что такія повѣсти нравятся однѣмъ провинціальнымъ барышнямъ, а провинціальныя барышни, сколько извѣстно, читаютъ весьма мало.

Теперь слѣдуетъ оправдаться передъ читателемъ, который можетъ принадлежать къ сословію, частью изображенному въ предлагаемомъ романѣ.

Цѣль автора заключалась въ томъ, чтобы провести читателя въ самыя глухія отдаленныя захолустья *проселочныхъ дорогъ*, куда не успѣли еще проникнуть просвѣщеніе и образованіе. Многимъ покажется, вѣроятно, страннымъ и даже невѣроятнымъ, чтобъ изображенныя нами лица могли составлять въ дѣйствительности одно общество. Въ самомъ дѣлѣ, было бы отчего придти въ отчаяніе, если бъ Васильковы, Кокуркины, Бобоховы, Дряпковы и пр., и пр. совокупно населяли одну и ту же мѣстность. *Горшковскій уѣздъ* играетъ здѣсь роль вогнутаго зеркала, къ которому авторъ подводитъ фантастическія лица, заслуживающія насмѣшку. Вотъ на этотъ счетъ наши убѣжденія: человѣкъ бѣдный, не имѣвшій средствъ образовать себя и, слѣдовательно, невиновный въ томъ, что является иной разъ карикатурнымъ посреди своего же общества, возбуждаетъ только глубокое состраданіе; если такой человѣкъ, несмотря на свою грубую оболочку, добръ и честенъ, чувство состраданія замѣняется мгновенно уваженіемъ и сочувствіемъ, и тогда вы ужъ конечно не станете надъ нимъ смѣяться. Совсѣмъ другое, по-нашему,

долженъ возбуждать человѣкъ, добровольно коснѣющій въ невѣжествѣ и упорно удаляющійся отъ прямого, свѣтлаго пути, по которому стремится цѣлое общество. Благодаря просвѣщенію, разливающему благодатные лучи по всему пространству нашего отечества и проникающему даже въ самые отдаленные закоулки *проселочныхъ дорогъ*, такихъ оригиналовъ у насъ очень мало; но все же кой-гдѣ на нихъ наталкиваешься, и цѣль нашего романа состоитъ въ томъ, чтобъ познакомить съ ними читателя. Приглашая его смотрѣть на *Горшковскій уѣздъ*, какъ на панораму, составленную изъ самыхъ исключительныхъ типовъ, надъ которыми, право, подчасъ не грѣшно посмѣяться, и не считая лишнимъ замѣтить, что весь романъ не что иное, какъ собраніе забавныхъ сценъ, авторъ раскланивается на всѣ стороны и продолжаетъ свой разсказъ слѣдующимъ образомъ:

Не знаю, приводилось ли вамъ присутствовать въ домѣ въ ту минуту, когда раздаются крики: „пожаръ!“ Если приводилось, вы не забыли, какая страшная суматоха поднималась вокругъ васъ. Люди, за минуту спокойные, сладко дремавшіе въ углу на диванѣ, или занятые тихой бесѣдой, внезапно повскакивали съ своихъ мѣстъ и забѣгали, какъ угорѣлые, изъ одного угла въ другой; одни стремглавъ летятъ изъ дверей, другіе рвутся въ покои, третьи, потерявъ окончательно управленіе воли, испуганные и ошеломленные страхомъ, мечутся на лѣстницу, тогда какъ четвертые сбѣгаютъ со ступеней съ быстротой молніи; весь домъ наполнился крикомъ, суматохою, суетою... Все это привелъ я для того, чтобъ дать вамъ приблизительное понятіе о томъ, что происходитъ иногда въ большомъ провинціальномъ домѣ на другое утро послѣ того, какъ наканунѣ случилось заночевать великому множеству гостей. Совершенно почти та же картина. Какъ только наступаетъ часъ всеобщаго пробужденія, по всѣмъ коридорамъ и комнатамъ подымается страшная бѣготня и суматоха. Люди заночевавшихъ гостей мечутся къ хозяйскимъ людямъ; хозяйскіе люди мечутся къ управительницамъ и экономкамъ; управительницы и экономки отговариваютъ ихъ какъ умѣютъ, но тѣмъ не менѣе сами начинаютъ метаться. Всюду раздаются отрывочныя восклицанія, всѣ говорятъ, толкаютъ другъ друга, шепчутся, и, повидимому, ни одинъ не понимаетъ другого. „Гдѣ у васъ умывальникъ? Баринъ хочетъ мыться. Давайте ско-

рѣе умывальникъ!"—Да, какъ же! найдешь ты здѣсь умывальникъ! Здѣсь тебѣ и лоханки-то не дадутъ!—„Ахъ, батюшки, да какъ же быть? ахъ!"—Ступай скорѣй въ кухню; я, кажись, его тамъ видѣлъ вечоръ. Ступай, пока другой не взялъ!—„Ну, что ты его морочишь? ступай наверхъ; я его на окнѣ видѣлъ подъ канареечной клѣткой".—Ахъ ты Господи!—„Скорѣе, скорѣе, давайте полотенце; барыня спрашиваетъ полотенце..."—Да, много у насъ полотенцевъ-то; гдѣ я стану его теперь искать?.. зачѣмъ своихъ не берете?..—„Воды, горячей воды; скорѣе: баринъ хочетъ бриться". — Горячъ больно, подождетъ!.. плиту еще не нагрѣвали...—„А какъ же утюгъ-то?.. ахъ! барыня спрашиваетъ воротнички!.. бѣда!"—Иванъ Карпычъ, сдѣлай, братъ, милость, сходи зачерпни водицы.—„И самъ сходишь, колодезь не больно далеко!"—Мнѣ некогда...—„Большая мнѣ нужда!.. небось..."—Ну, вотъ, сдѣлай милость...—„Да вотъ не пойду же, не пойду; воровать больно; проси кого хочешь!"—Гдѣ у васъ экономка-то?—„А что?"—Да барышни просятъ мыла. Сходи позови ее...—„Да, какъ же, пойду... много ихъ тутъ понаѣхало! У меня и безъ того ноги-то какъ мочало! Самъ ступай!" Въ то же время убираются столы и стулья, метутся полы, стирается пыль... Такая же точно суматоха происходила въ домѣ Аристарха Ѳедоровича, когда гости его, зѣвая и потягиваясь въ своихъ постеляхъ, посылали первую привѣтливую улыбку давно уже наступившему утру. Все, однакожъ, постепенно успокоилось и угомонилось. Парадныя комнаты представили вскорѣ свой повседневный видъ, и на всемъ этомъ не было даже замѣтно слѣда какой-нибудь суматохи, когда хозяинъ, сопровождаемый гостями, расположился въ залѣ подлѣ чайнаго стола.

Послѣ чая многіе изъ гостей стали собираться въ дорогу. Кошкинъ обнаружилъ первый такое желаніе и отдалъ приказаніе, чтобъ подавали коляску.

Такое распоряженіе, повидимому, чрезвычайно удивило супругу его, Анну Васильевну. „У этихъ мужей всегда какія-то дѣла!" сказала она голосомъ сожалѣнья и нѣжно пожала руку Лизаветы Семеновны; но когда Семенъ Семеновичъ возразилъ вздыхая: „Что же дѣлать, душенька, надо покоряться обстоятельствамъ; не все же ясные дни: бываютъ и тучки на небѣ!"—Анна Васильевна, какъ кроткая и послушная жена, тотчасъ же покорилась, надѣла

шляпку и направилась къ двери, лукаво кивнувъ Аристарху Ѳедоровичу на ридикюли Свищовой и Полушкиной, набитые такъ туго всякимъ снадобьемъ, что одно моченое яблоко грозило даже вырваться изъ своей засады и укатиться Богъ знаетъ куда.

Ридикюли эти краснорѣчиво возвѣстили Балахнову, что запасливыя владѣлицы ихъ также собрались во-свояси. И въ самомъ дѣлѣ, толстый Свищовъ былъ сильно не въ духѣ. Онъ не переставалъ подмигивать Полушкину, съ которымъ любилъ всегда дѣйствовать какъ одна душа, несмотря на вѣчныя ссоры, и поминутно указывалъ ему на шапку. Кондей Ивановичъ, казалось, никакъ не могъ забыть вчерашняго анекдота: какъ только глаза его встрѣтили голубое платье старшей дочери, онъ началъ кряхтѣть, съ трудомъ переводить одышку, и кончилъ тѣмъ, что распрощался съ хозяевами и уѣхалъ. Примѣру его послѣдовали многіе другіе, въ числѣ которыхъ находился старичокъ Пшеницынъ и Ѳедя.

Къ полудню гостиная опустѣла. Остались одни лишь Кокуркины, Васильковъ и Карачаевъ, то-есть люди почти домашніе. Жизнь въ Ханскихъ-Прудахъ, выскочившая на минуту изъ своихъ рельсовъ съ такимъ громомъ, шумомъ и трескомъ, пошла опять обыкновеннымъ порядкомъ. Лизавета Семеновна, обрадованная тѣмъ, что кончилось торжество и наступила тишина, поспѣшила удалиться въ свою комнату. Она расположилась въ маленькой дѣтской, подлѣ окна, окружила себя дѣтьми и принялась учить ихъ. Кокуркины, вооруженныя съ головы до ногъ спицами, иглами, тамбурными подушечками и всякимъ рукодѣльемъ, усѣлись на террасу и завели нескончаемую бесѣду о минувшемъ празднествѣ; къ нимъ присоединился нѣжный Васильковъ, который, казалось, утратилъ на этотъ разъ всю свою любезность. Узнавъ, что поѣздка къ невѣстѣ отложена не только на завтра, но что завтра придется еще ѣхать въ Горшковъ и пробыть тамъ цѣлый день по дѣламъ Аристарха Ѳедоровича, онъ впалъ въ глубокую меланхолію, не переставалъ вращать своими выпученными глазами по направленію дороги и вздыхалъ такъ сильно, что барышни невольно вздрагивали. Такая сосредоточенная грусть не мѣшала ему, однакожъ, вмѣшиваться въ разговоръ барышень каждый разъ, какъ дѣло касалось его будущаго благополучія; тогда онъ одушевлялся, глаза его страшно разгорались и

устремлялись къ небу; все существо Порфирія Павловича проникалось въ эти минуты какимъ-то восторженнымъ томленіемъ. Копковъ находился въ это время на противоположной сторонѣ сада, по ту сторону прудовъ, прямо противъ террасы; притаившись за кустомъ осоки, онъ занимался дѣланьемъ тростниковой дудочки, обѣщанной имъ наканунѣ Володѣ. Изрѣдка прерывалъ онъ свою работу, высовывалъ лицо изъ-за куста и глядѣлъ умильными глазами на младшую Кокуркину, вышивавшую по тамбуру головную сѣтку. Изъ всѣхъ постороннихъ, оставшихся въ домѣ, одинъ Карачаевъ, можно сказать, не былъ похожъ на самого себя: онъ хранилъ мрачное молчаніе, не хотѣлъ явиться пить чай въ залу вмѣстѣ съ другими и, казалось, избѣгалъ съ ними встрѣчи. Причиной такого страшнаго переворота было происшествіе, случившееся съ нимъ наканунѣ, въ концѣ бала: онъ до того расходился, что даже сама Лизавета Семеновна вынуждена была прочесть ему маленькое наставленіе. Все было нипочемъ Карачаеву; его не могли остановить никакія увѣщанія и убѣжденія; но замѣчанія доброй, снисходительной Лизаветы Семеновны, за которую, какъ самъ онъ говорилъ, позволилъ бы разрѣзать себя на части, этого замѣчанія не вынесъ Карачаевъ. Онъ не переставалъ осыпать себя самыми энергичными эпитетами, не переставалъ посылать себѣ на лобъ и голову удары и, казалось, хотѣлъ убѣжать отъ самого себя. Присутствовавшіе, по одиночкѣ и соединенными силами, старались уговорить и разсѣять Карачаева—все было напрасно: самыя увѣщанія Лизаветы Семеновны, тронутой, наконецъ, неподдѣльнымъ отчаяніемъ Карачаева, ничего не сдѣлали.—„Не подходите ко мнѣ, голубушка, Лизавета Семеновна, говорилъ онъ, багровѣя и уныло вращая глазами,—не подходите ко мнѣ: я недостоинъ вашего участія! вытолкайте меня вонъ, да и все тутъ!“ За обѣдомъ онъ не прикоснулся ни къ одному кушанью, не взглянулъ даже на остатки фрауэнмильха и испанскаго муската. Какъ только встали изъ-за стола, Карачаевъ исчезъ въ свою комнату, забился головою въ подушки и, какъ сказывали потомъ люди, не могли его добудиться никакими силами. Этимъ богатырскимъ сномъ разрѣшались всѣ душевныя потрясенія Карачаева; бывало такъ, что онъ просыпалъ нѣсколько сутокъ сряду.

Что же касается до Аристарха Ѳедоровича, то располо-

женіе его духа было самое пріятное; онъ поминутно выходилъ изъ своего кабинета, заговаривалъ съ гостями, подтрунивалъ надъ Копковымъ, смѣялся съ Кокуркиными и уговаривалъ Василькова потерпѣть до послѣзавтра, замѣчая ему при этомъ, что чѣмъ дольше разлука, тѣмъ пріятнѣе свиданіе. Не разъ заставали его расхаживавшаго съ сіяющимъ лицомъ по залѣ и потирающаго руки. Послѣ обѣда онъ послалъ за старостою, отдалъ приказаніе, чтобъ послать мужиковъ для очистки долины, и это обстоятельство, казалось, окончательно развеселило его. Вечеромъ Аристархъ Ѳедоровичъ составилъ партію, и любезность его не прекращалась цѣлый день.

Между тѣмъ, какъ въ самомъ домѣ наслаждались миромъ и тишиною, обмѣнивались трогательными изліяніями, искренними сердечными чувствованіями, обращавшими гостиную въ благополучную Аркадію. въ людской подымался шумный говоръ и все вокругъ принимало самый оживленный характеръ.

Какъ только наступилъ вечеръ и распространился слухъ, что господа усѣлись за карты, нѣкоторые изъ многочисленной дворни, какъ женскаго, такъ и мужского пола, стали тотчасъ же сходиться въ огромный флигель, гдѣ, между множествомъ разныхъ помѣщеній, находилась квартира балахновскаго камердинера и жены его, бывшихъ виновниками и даже главными затѣйщиками такого неожиданнаго стеченія. Флигель этотъ представлялъ огромное одноэтажное каменное зданіе, выходившее фасомъ на дворъ, задними окнами во фруктовый садъ, и соединялъ въ себѣ, повидимому, всѣ удобства для помѣщенія людей. Такъ оно въ самомъ дѣлѣ и было. Къ несчастью, расположившіеся въ немъ люди задумали распорядиться иначе. Страсть къ особнячкамъ, къ закоулочкамъ, послужила къ совершенному преобразованію пространнаго и свѣтлаго флигеля. Такъ, напримѣръ, большія сѣни, раздѣлявшія его на двѣ равныя части, сдѣлались рѣшительно непроходимы, благодаря каморкамъ, чуланчикамъ, отгородкамъ, клѣтушкамъ, которыми загромоздили ихъ люди; къ этому не мало также способствовалъ непроницаемый мракъ (свѣтъ не проходилъ въ скважины чулановъ, заслонявшихъ окна) и несмѣтное множество кадокъ, *лагунчиковъ*, горшковъ съ золою, корчагъ и корытъ, зѣвавшихъ своими черными ртами во всѣ стороны. Въ тѣхъ же сѣняхъ, чрезвычайно похожихъ на черный улей, наполнен-

ный черными сотами, домохозяйки сосѣднихъ жилищъ, считая, вѣроятно, за лишнее бремя дѣлать каждый разъ десять лишнихъ шаговъ, варили противъ своихъ дверей щелокъ, рубили капусту, затирали квасъ и такъ усердно плескали каждый день воду, что полъ несчастныхъ сѣней, устланный когда-то плитами, повихнулся во всѣ стороны какъ отъ самаго сильнаго землетрясенія: одна плита стояла торчмя, другая совсѣмъ ушла въ грунтъ, третья чуть-чуть глядѣла внаружу. Въ лѣвой половинѣ этихъ сѣней, гдѣ находилась квартира камердинера, все было подведено подъ ту же систему особнячковъ; начиная отъ двери, вплоть до противоположной стѣны тянулась параллельно окнамъ, глядѣвшимъ на дворъ, высокая загородка съ безчисленнымъ множествомъ кривыхъ и косыхъ дверокъ. Окна, обращенныя въ фруктовый садъ, были частію заклеены сахарной или газетной бумагой, частію, и именно на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уцѣлѣли стекла, завалены всякимъ хламомъ. Тутъ же помѣщались: столяръ, съ своимъ станкомъ, досками, пилами и долотами, и вмѣстѣ съ нимъ, на другомъ концѣ, старый маляръ съ клюквой вмѣсто носа.

Маляръ этотъ, котораго, между прочимъ, звали Калиной, жилъ у Аристарха Ѳедоровича въ качествѣ наемнаго и получалъ жалованье. Калина слылъ во всемъ околоткѣ за самаго умнаго человѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самаго горькаго пьяницу, какого только носила мать-сыра-земля на своей поверхности. Онъ былъ вдовъ и никого не имѣлъ на свѣтѣ кромѣ дочки Палашки, черномазой, обстриженной въ кружокъ дѣвчонки, состоявшей, какъ извѣстно, на посылкахъ у Фіоны Ивановны, и которую любилъ Калина со всею страстью нѣжнѣйшаго отцовскаго сердца. Въ этой любви было, однакожъ, что-то особенное, точно такъ же, какъ и во всѣхъ сердечныхъ и душевныхъ побужденіяхъ Калины; онъ не переставалъ ворчать съ утра до вечера: „Вотъ послалъ Господь наказаніе!.. Сущій пострѣлъ дѣвка!.. ну ее!..“ Но совсѣмъ тѣмъ, если бъ съ Палашкой случилось какое-нибудь несчастіе, Калина былъ бы неутѣшенъ. Въ настоящую минуту, то-есть въ то время, какъ собирались гости, Калина былъ сильно не въ духѣ. Причина такого нерасположенія заключалась въ томъ, что, полчаса назадъ, Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ ему изготовить къ послѣзавтрему свой вензель, перепутанный арабесками; вензель долженъ былъ украшать въѣздъ въ новопріобрѣтенную долину со стороны столбовой дороги. Не было, мо-

жетъ быть, въ цѣломъ свѣтѣ художника, который цѣнилъ бы такъ высоко свое искусство и придавалъ бы ему такое значеніе, какъ Калина; онъ ненавидѣлъ на-смерть всякую спѣшную работу: онъ любилъ заниматься искусствомъ con amore, любилъ тщательно вывести каждую полоску, каждый штришокъ; къ тому же потреблялось имъ много времени на обдумываніе произведеній и еще больше на то, чтобъ отходить въ сторону послѣ каждаго новаго удара кисти, прищуривать то тотъ, то другой глазъ и восхищаться этими ударами...

Дурное расположеніе духа Калины подѣйствовало самымъ непріятнымъ образомъ на Сидора Матвѣевича (такъ звали камердинера), который разсчитывалъ на него, какъ на самаго драгоцѣннаго для общества человѣка. Но дѣлать было нечего: Сидоръ Матвѣевичъ зналъ очень хорошо, что стоило только Калинѣ сѣсть за работу и вооружиться кистями, его не оторвешь тогда не только просьбами, но не соблазнишь штофомъ лучшаго травника.

Сидоръ Матвѣевичъ былъ человѣкъ умный, разсудительный, и самъ любилъ окружать себя людьми умными и разсудительными. Въ приглашенномъ имъ обществѣ читатель могъ только встрѣтить цвѣтъ дворни. Тутъ находился Кузьма Севастьяновичъ, кучеръ Кокуркиныхъ, старый, сѣдой драбантъ, съ мрачно-нависшими бровями, премного уважаемый всѣми за преклонность лѣтъ и долгую опытность; виднѣлась потомъ знакомая читателю Глафира, первая камеристка и первая красавица цѣлаго околотка; былъ также Иванъ карачаевскій и много было еще другихъ лицъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ. Кромѣ приглашенныхъ, находились, какъ водится, и зрители. Въ числѣ послѣднихъ, стоявшихъ, большею частью, по угламъ, вертѣлась Палашка, нѣжно-любимое чадо Калины.

Между тѣмъ, какъ Сидоръ Матвѣевичъ и супруга его, жидкая, бойкая, повязанная платкомъ бабенка, отставленная по наговору Фіоны Ивановны отъ всякой должности, ставили самоваръ, мыли чашки, кололи сахаръ и приготовляли угощеніе, приглашенные столпились вокругъ Калины, который сидѣлъ противъ желѣзнаго загрунтованнаго листа и, задумчиво нахмуривъ брови, водилъ по немъ кистью.

— Ахъ, Боже мой! посмотрите-ка, посмотрите, Иванъ Емельянычъ, какое страшилище! говорила Глафира, обращаясь къ карачаевскому Ивану и указывая ему на фан-

тастическаго звѣря, рождавшагося на желѣзномъ листѣ подъ странно-причудливою кистью Калины,—просто страшилище!.. Посмотрите, Иванъ Емельянычъ, зубы-то, зубы-то!.. А вотъ это что у него такое, Калина Васильичъ?. Ахъ ты, Господи!..

— Хвостъ, отвѣчалъ недовольнымъ голосомъ Калина.

— Помилуйте, Глафира Львовна, развѣ вы не видите, что это глазъ? шепнулъ Иванъ Емельяновичъ.

— Ахъ, да, вѣдь, и въ самомъ дѣлѣ!.. Батюшки, ни дать, ни взять, барскій бульдогъ!..

— Экъ хватила! Много ты видала, небось, такихъ собакъ-то! проворчалъ обиженнымъ тономъ Калина, принимаясь закруглять зрачокъ звѣря.

— Это дикобразъ! подсказалъ Иванъ Емельяновичъ.

— Дикобразъ? Что жъ это за звѣрь за такой, Иванъ Емельянычъ? Я ихъ никогда не видала, проговорила Глафира.

— У насъ, въ Россіи, они не водятся, отвѣчалъ Иванъ,— ихъ, изволите видѣть, привозятъ изъ жаркихъ краевъ, гдѣ родятся арапы. Я сколько разъ видалъ этихъ дикобразовъ у насъ въ балаганахъ: страшилище такое... Да вотъ, посмотрите, точно такой видъ имѣетъ, какъ написалъ Калина Васильичъ... И удивляюсь я это, право, какъ онъ только такъ вѣрно потрафилъ! Какъ есть, то-есть, дикобразъ, настоящій дикобразъ!

Калина самодовольно покрутилъ головою, прищурилъ глаза и принялся еще усерднѣе закруглять зрачокъ дикобраза.

— До какой премудрости, какъ подумаешь, доходитъ человѣкъ! произнесъ задумчиво, раскачивая головою, одинъ изъ гостей, слѣдившій съ изумленнымъ видомъ за работою Калины.

— Что говорить! всякое дѣло требуетъ ученья, возразилъ Иванъ,—безъ ученья ничего не сдѣлаешь. Посади-ка поди любого изъ насъ на мѣсто Калины — напутаетъ такого, что и самъ потомъ не разберешь. Всякое дѣло надо произойти, а тѣмъ болѣе ихнее! Тутъ всякая вещь, какая только есть на свѣтѣ, должна быть тебѣ извѣстна. Скажутъ: звѣря ли какого напиши, дерево или траву какую— все умѣй показать и сдѣлать.

Гость продолжалъ задумчиво качать головою.

— Что это вы, Татьяна Васильевна, какой трудъ на себя принимаете? сказалъ Иванъ, расшаркиваясь съ лю-

безностью предъ женою камердинера, которая раздувала самоваръ.

— Помилуйте, что за трудъ! Для дорогихъ гостей ничего не трудно-съ...

— Къ тому жъ поторопиться нужно, перебилъ ее супругъ, подсыпая уголь,—неравно господа потребуютъ.

— Помилуйте, Сидоръ Матвѣевичъ, что вы безпокоитесь! воскликнула Глафира,—мы все это сейчасъ узнаемъ... Эй, Палашка! прибавила она, обращаясь къ дѣвочкѣ,—ступай, посмотри, что̀ дѣлаютъ господа; да не зѣвай и приходи скорѣе сказать... Что жъ ты?

— Глафира Львовна, дайте поглядѣть, что̀ тятенька дѣлаютъ... сказала Палашка, вытягивая шею по направленію кисти ея отца.

— Что-о-о?.. заревѣлъ Калина, поворачиваясь къ дочери и топая свирѣпо ногами.—Ахъ, ты!.. пошла, когда велятъ, пошла! Вотъ я тебя!.. Эко, право!.. прибавилъ онъ.

— Посмотрите-ка, посмотрите, Иванъ Емельянычъ, звѣзды-то, звѣзды... Ахъ, какъ прекрасно! точно на небѣ, заговорила Глафира, — этакъ онъ, пожалуй, и солнце сдѣлаетъ!

— Нѣтъ, гдѣ звѣзды, тамъ ужъ солнцу не слѣдъ, глубокомысленно возразилъ Калина.

— Да неужто ты, въ самомъ дѣлѣ, можешь сдѣлать солнце? спросила Глафира.

— Все могу, отвѣчалъ съ увѣренностью художникъ,—все, все могу, всякій цвѣтъ могу произвести, какой только есть. Давай, что хочешь напишу... и мѣсяцъ, и солнце, и... и... и... все могу!

— А вотъ огонь, Калина Васильичъ, не напишешь, ни за что не напишешь: цвѣтовъ такихъ нѣтъ! замѣтила Глафира.

— А сурикъ на что? а баканъ на что? сурово воскликнулъ Калина, который вообще терпѣть не могъ, чтобъ сомнѣвались въ его искусствѣ.

— Помилуйте, Глафира Львовна, произнесъ Иванъ,—ученому человѣку все возможно. Что такое огонь? ничего! Такіе ли цвѣта, если бъ вы видѣли, подбираютъ въ разныхъ живописныхъ обозрѣніяхъ. Вотъ я видѣлъ картины—повѣрите ли... пожаръ представленъ... люди, такъ, просто, живые люди бѣгаютъ... А, вотъ и Палашка! Ну, что? прибавилъ онъ, обращаясь къ дѣвчонкѣ, которая остановилась въ дверяхъ, едва переводя одышку.

— Что ты тамъ такъ долго дѣлала? спросила Глафира.— Ну, что господа?

— Ухъ, дайте духъ перевести, Глафира Львовна... ухъ! Фіона Ивановна задержала, посылала: ступай, говоритъ, посмотри, что дѣлаетъ Прокисай Захарычъ? я и пошла... сидитъ, говорю, да моргаетъ на младшую Кокуркину...

— Ну, а что дѣлаетъ баринъ?

— Барина нѣтъ съ гостями, ушелъ въ кабинетъ; поглядѣла въ замокъ: то въ книжку поглядитъ, то встанетъ, да по комнатѣ ходить начнетъ.

— Ну, а другіе что? спросили нѣсколько человѣкъ, окружая дѣвочку.

— Другіе, да кто еще тамъ?.. Ахъ, да, Дрянковъ! Сидитъ въ своемъ чуланчикѣ съ Васильковымъ и читаетъ ему книжку. Такой-то чудной, право: онъ читаетъ, тотъ спитъ, да вотъ такъ только головой махаетъ, ха! ха! ха!..

— Ну, чего ты? чего? чего-о-о? закричалъ Калина, поворачиваясь неожиданно къ дочери, — вотъ я тебѣ посмѣюсь... Пошла!

— Смѣшно больно, тятенька-съ...

— Вотъ я тебѣ дамъ смѣшно! пошла! Какъ мазну тебя вохрой, такъ будешь помнить.

— Полно ты на нее злобиться-то, Калина Васильичъ: дѣло молодое! сказалъ камердинеръ. — Милости просимъ, Глафира Львовна, Иванъ Емельянычъ, Кузьма Севастьянычъ, прибавилъ онъ вмѣстѣ съ женою, приглашая гостей въ каморку.

— Сейчасъ, Сидоръ Матвѣевичъ, сію минуту, вымолвилъ Иванъ.—Палаша, а что, голубушка, не видала моего барина?

— Нѣтъ, не видала.

— Ну, должно быть, все еще спитъ. Теперь его не добудишься, произнесъ Иванъ, входя въ каморку и усаживаясь подлѣ Глафиры.

Каморка камердинера свободно вмѣщала въ себѣ трехъ человѣкъ средней полноты; въ ней могло бы помѣститься гораздо болѣе, если бъ не препятствовали тому: огромная кровать съ ситцевыми занавѣсками, два стула, столъ и длинная-длинная клѣтка, наполненная дроздами, снѣгирями, синицами и всякими другими птицами; сверхъ того, тутъ же помѣщались сундучки, висѣли мѣшечки съ разнымъ добромъ, пріобрѣтеннымъ во время служенія Аристарху Ѳедоровичу. Потолокъ и стѣны каморки украша-

лись кусками разноцвѣтныхъ обоевъ, расположенныхъ такъ искусно, что розассы и цвѣты сходились въ одной точкѣ, прямо противъ постели. На столѣ, между *стеариновыми* свѣчами, воздвигнутыми въ разнокалиберные бронзовые подсвѣчники, пыхтѣлъ самоваръ.

— Глафира Львовна, Кузьма Севастьянычъ... что это, какъ вы мало кушаете? Прошу покорно! говорилъ камердинеръ, подливая въ чашки Ивану и другимъ.—Татьяна Савельевна! промолвилъ онъ, подмигивая въ то же время женѣ и указывая ей на гостей.

— Покорно благодарю, Сидоръ Матвѣичъ, очень довольно, сказалъ Иванъ. — А я вотъ все насчетъ своего барина.

— Вчера умаялся. Ужъ какъ только это хватаетъ его, право! Хоть бы минуту постоялъ или посидѣлъ въ покоѣ!

— Нѣтъ, не то, Сидоръ Матвѣичъ, совсѣмъ не то; я ужъ его знаю: должно быть, что-нибудь не по немъ вышло. Помните тотъ разъ, какъ узналъ онъ, что умерла у него сестра, плакалъ, плакалъ... А иногда нападетъ, знаете, на него тоска такая — весь исхудаетъ... ну, просто жалости достойно, самъ на себя не похожъ... Я ужъ такъ и сякъ—ничѣмъ не возьмешь...

— Какого онъ положенья? спросилъ одинъ изъ гостей.

— Да лѣтъ ужъ сорока будетъ... А то-есть доброты какой, такъ, кажется, не найти другого въ цѣломъ свѣтѣ: послѣднюю рубашку готовъ отдать тебѣ, то-есть вотъ какъ; вѣкъ бы не разстался!

— Эхъ! вотъ жизнь, такъ жизнь! Вотъ и слушать, такъ... зависть беретъ... Охъ-охъ-хо, хо! замѣтилъ Кузьма Севастьянычъ, сурово нахмуривъ брови.

— Да, могу сказать, продолжалъ Иванъ,—такого другого человѣка не найдешь... Да что искать! просто, нѣтъ, какъ есть нѣту! А что насчетъ людей — просто сказать: мухи не тронетъ. Добрая душа! Зато вѣдь, Сидоръ Матвѣичъ, Богу и молишь. Никогда бы я съ нимъ, признаться, и не разстался, если бъ не подумывалъ... насчетъ другихъ дѣлъ... то-есть своихъ собственныхъ. Сколько ни живи, а пристроиться надо... заключилъ Иванъ, бросая украдкою взглядъ на Глафиру, которая опустила при этомъ глаза въ чашку и покраснѣла.

— Эхъ-эхъ! вотъ жизнь, такъ жизнь! повторилъ Кузьма Севастьянычъ, — не то, что наша! Живи, живи... а все тебѣ... что?—ничего!..

Кузьма, нужно замѣтить, принадлежалъ къ числу людей, которые весь свой вѣкъ жалуются на судьбу и ничѣмъ не бываютъ довольны. Дайте Кузьмѣ домъ, скажите ему: „На, вотъ тебѣ за твои заслуги!“ Кузьма нахмурится и возразитъ съ самымъ недовольнымъ видомъ: — „А на что мнѣ домъ вашъ? Ни жены, ни дѣтей у меня нѣтъ; что я съ нимъ стану дѣлать? Ничего мнѣ не надо!“ Не давайте ему дома, а дайте все, что нужно: теплую одежду, полную мѣсячину, свѣтлый уголъ, Кузьма будетъ опять недоволенъ: „Вотъ, скажетъ онъ,—служи, служи, а что нажилъ?—ничего! эхъ-эхъ!..“

— Какъ же вы, Иванъ Емельянычъ, осмѣлюсь васъ спросить, попали къ Карачаеву? спросилъ камердинеръ, подливая ему чаю и подмигивая женѣ на остальныхъ гостей.

— А попалъ я къ нему... попалъ такимъ образомъ... знаете... сказалъ Иванъ, посылая взглядъ Глафирѣ и видимо заминаясь,—какъ получилъ уже вольную отъ перваго своего барина.

— Вы чьихъ были? спросилъ камердинеръ.

— Ивана Петровича Долотова. Онъ не здѣшнихъ мѣстъ. Вы его не знаете. Также былъ добрый баринъ, царствіе ему небесное!

— А что, стало быть, померъ?

— Померъ. Кабы не онъ, такъ, кажется, что̀ бы со мной и было теперь: давно бы сгибъ! Куда только меня не носило, по какимъ мытарствамъ не проходилъ... и-и-и! Боже упаси! Былъ и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ: еще мальчикомъ туда послали. Чего-чего только не привелось видѣть! то-есть, просто сказать, такая моя жизнь, что хошь въ любую книжку.

— Разскажите, Иванъ Емельянычъ, оченна бы, признательно было, любопытно, сказали хозяинъ, хозяйка и другіе.

— Долгая исторія-съ! скромно произнесъ Иванъ.

— Ничего, Иванъ Емельянычъ! возразила Глафира,—я не разъ отъ васъ слышала, какъ вы разсказывали, и рада бы еще послушать. Разскажите, примолвила она, нѣжно взглянувъ на своего возлюбленнаго.

— Съ моимъ удовольствіемъ, сказалъ Иванъ.

Хозяинъ и хозяйка налили новыя чашки чаю, присутствовавшіе пододвинулись ближе, Иванъ кашлянулъ и началъ слѣдующій разсказъ, передаваемый нами здѣсь въ сокращенномъ видѣ.

Исторія карачаевскаго Ивана.

„Какъ родили меня отецъ съ матерью, такъ и оставили сиротою (началъ Иванъ). Отецъ померъ до меня мѣсяцевъ за шесть, а матушка, дай ей Господь царствіе небесное! скончалась вскорѣ послѣ родовъ. Оба были дворовые, и меня поэтому зачислили въ деревню. Дворня была у насъ большая: какъ есть люди всѣ чужіе мнѣ, хошь бы одинъ сродственникъ. Не знаю, привелъ ли бы Богъ и на свѣтъ-то поглядѣть, если бъ не одинокая вдова Анна: взяла она меня, обмыла, одѣла, пріютила, словно мать родная, и выкормила. Вотъ, говорятъ, добрыхъ-то людей нѣтъ на свѣтѣ! И то сказать надо, я за нее и теперь молю Бога, помню ея добро: да и какъ не помнить, братцы, когда право слово,—лучше иной матери вырастила! Иной разъ письмецо пошлешь и деньжонокъ приложишь—все пригодится старухѣ на нитки; однимъ плохо: говоритъ, глазами плоха нынче стала. Вотъ, годъ за годомъ, началъ я подрастать; было безъ малаго мнѣ никакъ лѣтъ десятокъ. Около той поры померъ у насъ баринъ; на мѣсто поступилъ молодой, сынъ; служилъ онъ прежде въ Петербургѣ и происходилъ всякими чинами. Чинъ былъ на немъ не малый; человѣкъ былъ умный, разсудительный, кредитный.—„Что это, говоритъ, ребятъ-то сколько у насъ во дворнѣ? что они дѣлаютъ: баклуши, чай, бьютъ? Это, говоритъ, нехорошо. Что, говоритъ, человѣкъ безъ мастерства: куда онъ пригоденъ? Взять человѣкъ десять, говоритъ, да послать-ка ихъ въ Петербургъ, заняться какимъ-нибудь дѣломъ. Сами послѣ спасибо скажутъ. Что мастерство, то хлѣбъ въ рукѣ, одно и то же!“ Такой-то былъ разсудительный! Взяли насъ—и я попалъ съ ними, взяли и повезли всѣхъ въ Питеръ. Кого въ каретники, кого въ сапожники, меня отдали къ нѣмцу-портному. Куда жутко пришлось на первыхъ порахъ! извѣстное дѣло—совсѣмъ ужъ не то положеніе! Сказывали, былъ онъ прежде (хозяинъ мой, Карлъ Карлычъ) человѣкъ смирный и ласковый, пока не разбогатѣлъ; а какъ разбогатѣлъ, такой форсъ на себѣ понесъ, что Боже упаси! Бывало, малость какая, самая-ни-на-есть бездѣлица—за все отвѣтъ предъ нимъ держи. Всѣхъ уважай, мало что его самого—жену, дѣтей; за всѣми ухаживай; такой-то былъ бѣдовый; подумать, такъ страсти! Жилъ я однако у него ладно и безобидно; работа пришлась мнѣ въ руки. Сначала, раз-

умѣется, подкладка шла, стежка, пуговицы, строчку металъ, а тамъ принялся и за жилеты. Жилъ я у него лѣтъ пятокъ безъ малаго, и выучился всякой работѣ; года полтора оставалось всего до подмастерья. Стали отпускать меня по праздникамъ, на Крестовскій ли, въ Екатерингофъ ли, — все это было можно. Въ Петербургѣ есть, знаете, гдѣ погулять, были бы деньги... Ихъ-то у меня и не было. А тутъ, знаете, завелись у меня шашни... На нашемъ же дворѣ, изволите видѣть, держала француженка модный магазинъ; дѣвицъ было много, красавицы были — заглядѣнье... да вотъ, я чай, Глафира Львовна припомнятъ? Тамъ съ ней и привелъ случай познакомиться... Была у нихъ подружка... такая, такая... просто, красотка! Машей звали..."

Тутъ разсказчикъ лукаво подмигнулъ Глафирѣ, какъ будто хотѣлъ сказать: „молчи только; вывернемся!" Глафира видимо успокоилась, и, чтобъ скрыть остатокъ волненія и краски, принялась сильно сморкаться.

„Ужъ такъ-то полюбилась мнѣ эта дѣвушка, Маша, продолжалъ Иванъ бросая новый взглядъ на собесѣдницу,—такъ полюбилась, что ужасти! Ну, пошли это, знаете, тары-бары; деньги еще нужнѣе стали. Извѣстно, люди молодые: на извозчикѣ ли прокатить, леденцовъ ли купить — на все нужны деньги до зарѣзу, а ихъ нѣтъ. Кровь-то, знаете, играетъ: завидно! Столкнулся я около той же поры съ однимъ парнемъ: былъ онъ прежде въ ученьи у нашего же хозяина, да отошелъ и приписался къ комедіантщикамъ — вотъ, знаете, что въ балаганахъ, на масленой, штуки разныя показываютъ. Страсть такая, говорятъ, была у него. Звали его Яшка Гвоздырь—то-есть такое прозвище было, и ужъ, скажу вамъ, такой-то былъ парень этотъ, такой-то бѣдовый, что Боже упаси! Вотъ и говоритъ онъ мнѣ разъ:—„Ваня, говоритъ, скучаешь ты, братъ, деньжонками: хочешь, говоритъ, я достану тебѣ работу къ праздникамъ? Не оберешься, успѣвай только метать; и деньги хорошія; пойдемъ, говоритъ, къ моему хозяину!" Я чуть не кинулся съ радости къ нему на шею.—„Ахъ, такой, сякой, благодѣтель!.." Пришли. Вижу, знаете, квартира хорошая, народу много, и народъ, знаете, такой все чистый, хорошій. Самъ хозяинъ—нѣмецъ, славный такой, ласковый. Звали его Адольфъ Христіановичъ Вейнертъ. Вижу: въ достаткѣ живетъ человѣкъ. Держалъ онъ, изволите видѣть, комедіантщиковъ и самъ былъ ко-

медіантщикъ; балаганъ его, объ масленой или объ Святой, былъ самый первый. Спросилъ это онъ, гдѣ живу, у кого обучаюсь. Ну, и хорошо. Взвалили на меня цѣлую корзину камзоловъ, платья всякаго; все бархатъ да атласъ, вездѣ позументъ и блестки — хорошее такое, знаете, все добротное; костюмы и гардеробъ, нечего сказать, были важные. Кое-что понадобилось перекроить, перешить. Я снялъ мѣрку, пошелъ и сѣлъ за работу. Первое время, знаете, какъ ходилъ къ нимъ, казалось очень чудно. Дѣло, разумѣется, непривычное; смотришь: на рукахъ люди ходятъ, пригибаютъ голову къ пяткамъ, и добро бы еще большіе, а то мальчишка какой-нибудь, отъ земли не видать, коверкается на всякіе манеры, „сальтемортале“ дѣлаетъ, то-есть, изволите видѣть: стоитъ, примѣрно, человѣкъ на ногахъ и вдругъ перекувырнется въ воздухѣ и опять на ноги встанетъ... Все сначала было въ диковинку; но потомъ, знаете, чаще и чаще, присмотрѣлся, приглядѣлся и — ничего, привыкъ. Люди были, говорю вамъ, отличные, добродушные; что сработаешь, принесешь, бывало, и сейчасъ тебѣ деньги. Какъ пошли это у меня деньги — и жизнь совсѣмъ пошла другая: заработаешь цѣлковыхъ два или три, сейчасъ, знаете, перекинешься словцомъ въ магазинъ; смотришь, Маша и идетъ... (Разсказчикъ снова подмигнулъ украдкой Глафирѣ.) Если можно, гулять пойдемъ; нельзя — купишь ей леденцовъ, или другую какую сладость. Дожилъ я этакъ-то до подмастерья, совсѣмъ привыкъ къ комедіантщикамъ, какъ къ роднымъ, работалъ на нихъ безъ устали, и думалъ только: кабы Господь вѣкъ привелъ такъ жить! Судилъ-то я такъ, а вышло другое. Вотъ разъ прихожу домой (воскресенье было подъ вечеръ, какъ теперь помню), захожу подъ ворота, смотрю: стоитъ моя Маша, лицо закрыла руками, а сама, знаете, такъ и плачетъ, такъ и заливается. Что за причина такая, думаю... — „Такъ и такъ, говоритъ (а сама, знаете, слово-то скажетъ, да навзрыдъ), такъ и такъ, ученье мое, говоритъ, кончилось и господа требуютъ въ деревню!“ Меня такъ и обдало всего! Любилъ, любилъ я эту дѣвушку, просто ужасти какъ любилъ. Ну, поплакали, погоревали—что̀ ты станешь дѣлать? обѣщали подавать другъ другу вѣсть, и простились. Уѣхала моя Маша. Сталъ жить я у своего портного, нѣтъ: моченьки не хватаетъ! Такая-то одурь, тоска одолѣла—просто, жизнь прискучила. Какъ взгляну, бывало, насупротивъ, въ окно ма-

газина — просто хошь бы повѣситься! Тутъ случись та бѣда: хозяинъ мой — банкротъ! то-есть разорился. Самъ виноватъ, говорю вамъ: какъ разбогатѣлъ, такой форсъ поднялъ, что просто Боже упаси! Куда мнѣ дѣваться? думаю. Пошелъ къ Адольфу Христьянычу, комедіантщику, такъ и такъ, говорю... „Что жъ, говоритъ, работы у насъ много; оставайся у насъ жить; жалованье такое и такое; въ свободное время будешь подмогать переставлять кулисы, то да се; работа не больно мудреная, привыкнешь!“ Послушался. Прожилъ я съ ними полгода, и полюбились они мнѣ, полюбилась жизнь ихъ еще пуще. Славные были люди!.. Пришла масленая, Святая; поставили балаганы; пришли мы туда, стали играть. Сошелся я скоро съ другими комедіантщиками и зажилъ съ ними какъ свой. Однимъ скучалъ: вижу—люди играютъ, наряжаются, народъ ими потѣшается, музыка играетъ, а я сиди одинъ въ потемкахъ, крои лохмотья, ставь заплаты, да передвигай машины, кулисы всякія, или сиди подъ поломъ. Оно хоть жили мы товарищами, а все, знаете, какъ словно обидно стало: и тотъ же, думаешь, человѣкъ, да не то; вишь, думаешь, комедіантщикъ, паяцъ или ахтеръ какой, всѣ его знаютъ, всѣ видятъ... а ты что?.. портнишка, ламповщикъ! Дѣло, знаете, было въ ту пору помоложе... Эхъ! думаю, Маши моей не стало; одинъ какъ перстъ на свѣтѣ; пропадай моя голова, повихну себѣ шею—туда и дорога! Къ тому же, думаю, вѣдь дѣлаютъ же люди, умудряются, а живутъ, не пропадаютъ. И сталъ я себя пробовать на всѣ манеры: какъ улягутся, бывало, спать, я и давай, и давай—норовилъ всячески подойти подъ ихъ стать. Сначала потѣшались надо мной, а потомъ видятъ: человѣкъ способный, учить стали. Наградилъ меня Господь здоровьемъ и силой, даромъ, что отъ роду не былъ дюжъ и крѣпокъ. Сначала было куда ужъ тяжко и трудно, а потомъ привыкать сталъ помаленьку. Прошелъ годъ, другой—пошелъ дѣлать всѣ штуки не хуже ихняго. И такая, скажу вамъ, страсть припала у меня къ этому дѣлу, что какъ, бывало, заиграетъ музыка, такъ всѣ жилки и задрожатъ!..“

— Какъ, Иванъ Емельянычъ, перебилъ камердинеръ, устремляя на разсказчика удивленные взоры,—такъ, стало быть, вы и въ балаганахъ приставляли?

— А то какъ же, самодовольно отвѣчалъ Иванъ,—затѣмъ и учился.

— Да, вѣдь, помилуйте, подхватилъ камердинеръ,— вѣдь, говорятъ, эти комедіанты кости себѣ выламываютъ? Какъ же это... осмѣлюсь спросить?

— Кто это вамъ сказалъ? возразилъ Иванъ.—Никакихъ костей не выламываютъ; такъ, просто, сноровка, ловкость только одна. Вотъ, изволите видѣть, я вамъ покажу; извольте смотрѣть, прибавилъ Иванъ, взявъ въ одну руку нѣсколько блюдечекъ, пуская ихъ полукругомъ по воздуху и подхватывая ихъ другою рукою.—Вотъ, вотъ! вотъ!.. продолжалъ онъ, между тѣмъ какъ присутствовавшіе и особенно Татьяна Савельевна, боявшаяся за свою посуду, слѣдила съ изумленіемъ и страхомъ за всѣми его движеніями.

— До чего можетъ произойти человѣкъ! проговорилъ, наконецъ, камердинеръ.

Одна Глафира, привыкшая уже къ штукамъ Ивана, казалась не столько удивленною, сколько восхищенною ловкостью своего любезнаго.

Затѣмъ Иванъ повертѣлъ нѣсколько минутъ на пальцѣ подносъ, потомъ почесалъ ногою затылокъ, сдѣлалъ еще нѣсколько штукъ, далъ себя ощупать — обстоятельство, возбудившее особенное усердіе со стороны гостей, — и, убѣдивъ окончательно присутствовавшихъ, что кости у него были цѣлы, продолжалъ разсказъ слѣдующимъ образомъ:

„Ну, знаете, какъ дѣло-то пошло на ладъ, я взялъ и отписалъ Машѣ о новомъ своемъ житьѣ-бытьѣ. Мѣсяца черезъ три получилъ отвѣтъ: здорова, пишетъ, и помнитъ меня попрежнему. Вспомнилъ я и старину, вспомнилъ и ея ласку-привѣтъ. Снова напала тоска на меня, словно такъ ужъ на роду написано было жить намъ вмѣстѣ! Святая въ ту пору только-что минула; Вейнертъ (хозяинъ мой) поѣхалъ въ нѣмецкую свою землю повидаться до зимы съ родными. Я перешелъ покуда въ другую труппу, къ другому хозяину, потому болѣе, что вѣдь такъ и такъ, думалъ, ѣдутъ они по Рассеи на весь годъ, побываютъ въ разныхъ городахъ; случай приведетъ, можетъ статься, повидаться съ Машей... Поѣхали. Гдѣ ужъ только мы не были, какихъ городовъ не видали: были и въ Казани, и въ Нижнемъ, и въ Арзамасѣ, и въ Астрахани, и въ Тамбовѣ—вездѣ были; гдѣ ярмарка, туда и мы; не привелось побывать только въ той сторонѣ, гдѣ жила Маша. Житье,

признаться сказать, было плохое: порядокъ совсѣмъ другой, что у Вейнерта. Хозяинъ человѣкъ бѣдовый, жена—еще хуже, труппа — народъ все безпутный, пьющій, что̀ ни заработаютъ денегъ—въ кабакъ да въ кабакъ... Дѣла пошли плоше да плоше; всѣ пообносились; жалованья не платятъ — сумбуръ, просто, такой, что того и смотри въ острогъ попадешь... бѣда! Вотъ я такъ думать, этакъ думать... Были мы далеко отъ Москвы... Пропадай вы совсѣмъ, думаю, взялъ паспортъ — да въ Москву. Еле-еле дошелъ: ни платья, ни денегъ, хоть бы перекусить было чѣмъ — и того нѣтъ! Жилъ въ Москвѣ управляющій нашего барина; я къ нему.—„Ахъ, ты, говоритъ, такой-сякой, гдѣ пропадалъ? Баринъ велѣлъ отыскивать тебя чрезъ полицію". Я такъ и обомлѣлъ; во всемъ роду нашемъ не бывало такой оказіи. На другое утро прихожу къ барину. А онъ все ужъ провѣдалъ отъ управляющаго, гдѣ я жилъ и чѣмъ, примѣрно, занимался. Веселый такой.—„А! говоритъ, фигляръ ты этакой! а ну-ка, ну-ка, говоритъ, покажи штуки свои". — Я ему и показалъ. Смѣется.—„Ну, говоритъ, этого мнѣ, братецъ ты мой, не надо. Это хлѣбъ и для тебя ненадежный: того и смотри, шею свернешь. Поѣдемъ со мною въ деревню". Тутъ жизнь пошла опять на другомъ положеніи. Баринъ мой былъ такой, что дай Богъ всѣмъ такого. Полюбился я ему болѣе потому, что былъ человѣкъ трезвый и расторопный. Взялъ онъ меня къ себѣ въ камердинеры. Ужъ чего, кажись, лучше такой жизни—а меня все тоска беретъ: такъ вотъ, вѣрите ли, и ноетъ сердце по прежней жизни; какъ заслышу музыку—смерть моя; во снѣ и наяву, только и видишь представленія; такъ бы, кажется, и урвался! Съ нашею жизнью, коли страсть имѣешь, трудно разстаться; точно вино пьяницѣ: такъ вотъ тебя и манитъ, и манитъ—смерть да и только! Пришла зима; поѣхалъ баринъ въ Москву и меня взялъ съ собою. Уложились, сѣли, поѣхали. Вотъ, братцы, привелся тутъ такой случай видѣть, что вспомнишь — поджилки дрожатъ. Отъ Москвы мы были всего верстъ за сто; дѣло было ночью. Ѣхали мы проселкомъ и ѣхали на своихъ; баринъ, кучеръ и я — всего и людей-то было. Съ вечера, какъ выѣхали изъ станціи, поднялась мятель; чѣмъ дальше, пуще да пуще: морозъ, вѣтеръ такой—страхъ Господень! Замело насъ кругомъ, зги не видно: ночь глухая, и видимъ мы, что сбились съ дороги. Мы и такъ, и сякъ, и

крикомъ, и кнутомъ, и посвистомъ—нѣтъ, хуже еще: заѣхали въ такой оврагъ, что, кажись, и лѣтомъ такъ вылѣзть трудно. Видимъ — плохо: пропадать пришлось, лошади дрожатъ, сами еле духъ переводимъ. Бѣда! Твори только молитву, да помирать сбирайся. Вотъ баринъ и говоритъ намъ: — „Ребята, говоритъ, отпрягай лошадей; будете стоять, какъ разъ замерзнете, и лошади замерзнутъ съ вами. Садись и пошелъ отыскивать дорогу или деревушку; я останусь, говоритъ, и буду ждать; мнѣ ничего не сдѣлается въ кибиткѣ подъ шубой!"—Вотъ взяли мы лошадей, поѣхали куда глаза глядятъ и словно какъ будто согрѣлись; а морозъ такой, я вамъ говорю, смерть—такъ и жжетъ! Долго плутали мы и кабы не собачій лай, такъ, вѣрно, и пропали бы. Поѣхали, перекрестились; видимъ стоятъ избы. Мы стучать. Сначала-было то да се, а тамъ и впустили. Пошли, извѣстно, спросы, разспросы: какъ? куда? откуда? Мы и давай разсказывать: такъ и такъ, баринъ ѣдетъ изъ деревни въ Москву... Что ты будешь дѣлать? не хотятъ идти на помощь къ нему да и полно! Мы и то, и другое, и заплатитъ, говоримъ, вамъ—а они все на своемъ: нѣтъ да нѣтъ; а народъ все здоровый, крѣпкій, два мужика, да съ ними работникъ. Что, думаемъ, ничего не сдѣлаешь: дождемся свѣта. Легли. Вотъ, братцы, какъ теперь помню, не спится мнѣ да и только. „Что, думаю, съ нашимъ бариномъ?" Думаю такъ-то, а народъ—мужики-то да работникъ—надѣли, вижу, полушубки и вонъ. Взяло меня сумнѣнье. „Долго ли, думаю, до грѣха?" разбудилъ кучера, одѣлись, сѣли опять на лошадей и поѣхали. Плутали-плутали, искали-искали—ничего; а стало въ ту пору какъ будто маленько свѣтать. Вотъ, братцы, подъѣзжаемъ мы какъ словно къ овражку, глядь—человѣкъ лежитъ, а рядомъ съ нимъ другой; еще проѣхали—третій! Что за диковинка! Мы кричать. Откликнулись и намъ, и голосъ — словно барина. Смотримъ, а онъ и выходитъ изъ овражка. Кибитку замело почти до верху, не видать.—„Вотъ, говоритъ, меня ограбили всего какъ есть и деньги всѣ взяли."—Господи Іисусе! думаемъ: вотъ не было напасти! — „Пришли, говоритъ, три человѣка"... — Батюшка, да не тѣ ли? говоримъ. Пошли. Что жъ бы вы думали, братцы, вѣдь тѣ и были, тѣ самые, у кого мы ночевали; и деньги барскія въ рукахъ у нихъ, и вещи всѣ, все какъ есть сполна; а сами замерзли, разбойники! Вотъ ужъ подлинно Господь не попустилъ!

Чрезъ это почти дѣло я и кучеръ получили вольную. Пріѣхали въ Москву; меня и взяло опять раздумье, то-есть, опять, примѣрно сказать, стало манить меня на прежнюю жизнь. Написалъ я къ Машѣ о новомъ своемъ счастьи и получилъ отвѣтъ: слава Богу здорова и меня помнитъ. Были у меня въ ту пору кое-какія деньжонки; дай, думаю, схожу посмотрю, что дѣлаетъ. И совсѣмъ было собрался, какъ вдругъ въ Москву пріѣзжаетъ Вейнертъ—помните, старый мой хозяинъ. Такъ и сякъ, звать меня—и сманилъ. Театръ былъ построенъ у него огромнѣйшій; вся Москва, бывало, туда сходилась, всѣ господа. Кажется, все лѣто пробылъ я у него; жалованье получалъ хорошее: на мой пай пришлось запрятать рублей четыреста. Онъ подпялъ театръ и поѣхалъ въ Петербургъ, а я побрелъ на покой отыскивать Машу. Ну, и отыскалъ. А тамъ пошелъ отыскивать мѣсто, да вотъ и напалъ случайно на Карачаева. Вотъ такимъ-то порядкомъ и привелось къ вамъ ѣздить, привелось повстрѣчаться опять съ Глафирой Львовной... Охо-хо! прибавилъ Иванъ, посылая многозначительный взглядъ подругѣ своей юности,—наскучило толкаться по свѣту, братцы; хочется пристроиться, зажить домкомъ... Вотъ, думаю, и самъ какъ-нибудь устроюсь; хочу списаться кой съ кѣмъ да завести свой балаганъ въ губернскомъ городѣ... Городъ славный; ярмарка бываетъ большая; губернскіе выборы каждые три года. Много повидалъ всего, вездѣ перебывалъ—надоѣло. Человѣкъ въ моей бродяжнической жизни—что непокрытая вода... Всего перебывало, и худого болѣе, чѣмъ хорошаго!“ весело заключилъ Иванъ.

Едва только онъ успѣлъ кончить свой разсказъ, какъ въ людскую вбѣжалъ лакей и возвѣстилъ, что господа готовятся идти ужинать. Это обстоятельство прекратило тотчасъ же вечеринку. Распростившись съ хозяиномъ и поблагодаривъ за радушный пріемъ, гости вышли изъ каморки. Въ людской все уже было темно и тихо. Свѣтъ луны, проникавшій въ окно, позволялъ, однакожъ, ясно различать Калину, спавшаго подлѣ своей работы, обернутой простынею и прислоненной къ стѣнкѣ. Окинувъ веселымъ взглядомъ стараго маляра, Иванъ и его возлюбленная покинули людскую, и долго еще потомъ можно ихъ было видѣть гулявшихъ, при свѣтѣ мѣсяца, по пустыннымъ и тихимъ аллеямъ барскаго сада.

IX.

Поѣздка въ Горшковъ. — Новыя лица. — Ночное приключеніе съ чувствительнымъ Васильковымъ.

Всевозможные часы, находившіеся во владѣніи Ханскихъ-Прудовъ, начиная съ огромныхъ стѣнныхъ часовъ, висѣвшихъ въ прихожей и заключенныхъ въ исполинскій деревянный футляръ, который скрывалъ механизмъ ихъ и, сверхъ того, два кирпича, игравшіе роль гирь и приводившіе механизмъ въ движеніе, не выключая прадѣдовскихъ солнечныхъ часовъ, воздвигнутыхъ въ концѣ сада на полусгнившемъ дубовомъ цоколѣ, обросшемъ непроходимою травяной чащей, и кончая крошечными карманными часиками Лизаветы Семеновны, съ эмальевою незабудкою на спинкѣ, подаренными ей, девять лѣтъ тому назадъ, когда она была еще невѣстой—всѣ эти часы показывали полдень (и какой полдень! свѣтлый, теплый, майскій полдень!), когда Аристархъ Ѳедоровичъ, распростившись съ домашними и пожавъ руку гостямъ, не забывъ даже туманнаго Карачаева, вышелъ на парадное крыльцо въ сопровожденіи Василькова.

На этотъ разъ на лицѣ Порфирія Павловича не было замѣтно малѣйшаго слѣда меланхоліи: каждая черта прыгала отъ радости, глаза горѣли нетерпѣніемъ и, казалось, хотѣли выскочить изъ своихъ впадинъ, покатиться по дорогѣ и опередить лошадей.

Онъ принужденъ былъ, однакожъ, укротить порывы страстей своихъ и выждать съ подобающимъ смиреніемъ, пока Аристархъ Ѳедоровичъ не подвергнетъ окончательному осмотру экипажъ, лошадей и кучера, давнымъ-давно стоявшихъ у подъѣзда. Предметы наблюдательности Балахнова представляли, въ самомъ дѣлѣ, большой интересъ: коляска была глубокая, выстеганная внутри шелковой красной матеріей и украшенная по бокамъ, на дверцахъ, золотыми вензелями; четверня (отличная четверня караковыхъ) могла возбудить зависть любого коннозаводчика. Но всего замѣчательнѣе, по-моему, былъ кучеръ. Представьте себѣ красавчика, молодчика лѣтъ двадцати-пяти, въ голубомъ армякѣ, съ безчисленнымъ множествомъ складокъ назади, перетянутыхъ золотымъ кушакомъ. На головѣ его съ синеватымъ подбритымъ затылкомъ воздвига-

лась коротенькая, черная шляпа, съ выворотомъ, или заломомъ, какъ говорится, украшенная на боку павлиньимъ перомъ. Онъ сидѣлъ залихватски на лакированныхъ своихъ козлахъ и, вытянувъ въ одну линію вожжи, казалось, ждалъ только приказанія, чтобъ умчать господъ своихъ съ быстротою вихря.

Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ уже извѣстно, любилъ, чтобъ все было у него парадно и пышно; особенно держался онъ этого правила—очевидно, внушеннаго чувствомъ собственнаго достоинства—при выѣздахъ. Въ этихъ случаяхъ измѣнялся даже костюмъ его: небеснаго цвѣта венгерка уступала мѣсто черному сюртуку съ большими плоскими лацканами; подъ воротнички „à l'enfant" подпускался тугой, стоячій, волосяной галстукъ съ пряжкою назади, который естественнымъ образомъ долженъ былъ придавать своему владѣльцу еще болѣе сановитости.

Въ то время, какъ производился осмотръ вышеупомянутыхъ предметовъ, несчастный, волнуемый страстями Васильковъ подошелъ къ собственному своему экипажу, легонькому тарантасу, запряженному тремя клячами, стоявшими теперь позади коляски Балахнова съ опущенными головами и приподнятыми копытами.

Три эти клячи, тарантасъ и кучеръ, со включеніемъ табачнаго кисета, вышитаго Кокуркиными, составляли все имущество Порфирія Павловича.

Отдавъ ласковое приказаніе кучеру, чтобъ онъ ни подъ какимъ видомъ не отставалъ отъ четверки караковыхъ, Порфирій Павловичъ поспѣшилъ къ Балахнову, который подымался въ коляску, поддерживаемый Сидоромъ съ одной стороны и цѣлою толпою слугъ съ другой.

— Пошелъ! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, когда Сидоръ усѣлся на козлахъ подлѣ кучера, а Васильковъ помѣстился внутри кареты.

— Эхъ вы, дружки-голубчики!.. эхъ!.. эхъ!.. крикнулъ молодчикъ-кучеръ, проведя кнутомъ по воздуху и заломивъ въ то же время набекрень свою шляпу.

Коляска полетѣла какъ перо.

— Пѣсню! лаконически вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, величаво развалившись на подушкахъ экипажа. Кучеръ, приготовившійся заранѣе къ такому приказанію, немедленно затянулъ пронзительнымъ дискантомъ:

Не бѣ-ѣ-ѣ-лы-и-та-а! а-а-а!
Ахъ, не бѣлы-ы-и-и-снѣг-и-и!-ни

Выѣзды Аристарха Ѳедоровича сопровождались всегда звуками русской пѣсни—такой ужъ былъ заведенъ порядокъ. Безконечно-вьющаяся и пропадающая дорога, размашистый просторъ полей и пажитей, и посреди всего этого быстро несущаяся четверка караковыхъ — все это, сливаясь вмѣстѣ, наполняло сердце Аристарха Ѳедоровича веселымъ, безмятежнымъ чувствомъ. Онъ былъ необыкновенно въ духѣ и не переставалъ разговаривать съ Васильковымъ. Изрѣдка лишь чело его какъ будто омрачалось, глаза задумчиво устремлялись въ безконечную даль горизонта; но все это происходило не долѣе минуты; онъ опускалъ руку на плечо своего собесѣдника, произносилъ съ легкимъ оттѣнкомъ чувствительности:—„Природа, природа! щедро, безкорыстно разсыпаешь ты дары свои предъ человѣкомъ, и только люди, люди одни омрачаютъ себя своими дѣлами...“ и, успокоенный, вѣроятно, живымъ сочувствіемъ Василькова, который, поднимая восторженно глаза, отвѣчалъ всякій разъ: „Да, ничего не можетъ быть лучше природы!“ Аристархъ Ѳедоровичъ снова принималъ веселый видъ и снова удостоивалъ бесѣдой своего спутника.

Время прошло такимъ образомъ почти незамѣтно.

Мало-по-малу горизонтъ оживился: показалось нѣсколько кузницъ; изъ-за кузницъ выступили дома, сначала маленькіе, потомъ больше и больше; потомъ выставился шестъ съ сушившимися мотками синей пряжи; тамъ лотокъ съ вареными грушами и гречишниками, далѣе подводы съ мукою, мужиками и бабами; а тамъ ужъ коляска Аристарха Ѳедоровича запрыгала по мостовой города.

Городъ Горшковъ славился съ незапамятныхъ временъ горшечнымъ производствомъ, отчего и получилъ свое названіе. Онъ раздѣлялся на двѣ равныя части широкою мощеною улицею, прозывавшеюся Никольской; съ середины Никольской шли вправо и влѣво двѣ другія улицы: одна Дворянская, другая — Московская. На каждой изъ этихъ улицъ находилось, среднимъ числомъ, по три каменныхъ дома, и въ каждомъ домѣ помѣщалось, среднимъ числомъ, по одному семейству, и всѣ эти семейства, отличавшіяся любознательностью и любовью къ литературѣ, согласились выписывать общими силами одинъ экземпляръ одного изъ лучшихъ нашихъ журналовъ ежегодно. Жители этихъ каменныхъ домовъ, соединенные тѣснѣйшими узами дружбы, проводили время, посѣщая другъ друга, катались верхомъ, ѣздили къ сосѣдямъ, зимою спускались на заморо-

женныхъ лодкахъ съ горы на рѣку, при громкихъ единодушныхъ рукоплесканіяхъ народа, и жили, вообще, очень весело.

Когда коляска Аристарха Ѳедоровича въѣхала на площадку, обрамленную сперва шестью лавками гостинаго двора, а слѣва краснымъ, кирпичнымъ зданіемъ, подъ воротами котораго продавалось желѣзо, Васильковъ попросилъ позволенія остановиться.

Онъ объявилъ, что ему необходимо было заглянуть къ аптекарю, къ почтмейстеру и еще къ другимъ лицамъ, съ которыми находился всегда въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ.

— Скажи имъ, пожалуй, что и я сюда пріѣхалъ... что и я здѣсь! проговорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ какъ-то разсѣянно и, повидимому, не отдавая себѣ яснаго отчета въ произнесенныхъ имъ словахъ.

Порфирій Павловичъ, озадаченный выходкою Балахнова, который могъ усомниться на минуту въ его преданности, объявилъ тотчасъ же, что извѣститъ о немъ по всему городу, выпрыгнулъ изъ коляски, сѣлъ въ свой собственный тарантасъ и повернулъ въ Дворянскую улицу.

Аристархъ Ѳедоровичъ поѣхалъ прямо по Никольской.

Вскорѣ, то-есть очень скоро, минутъ этакъ черезъ пять, коляска очутилась на большой площади. Тутъ собственно оканчивался уже городъ; непосредственно послѣ площади начинался крутой берегъ, спускавшійся неправильными уступами къ широкой рѣкѣ, извивавшейся на безпредѣльное пространство между сосновыми лѣсами и песчаными отмелями. Самая площадь, покрытая сочной зеленой травой, перерѣзывалась множествомъ тропинокъ, тоненькихъ, какъ нитки; тутъ можно было встрѣтить по утрамъ толпу мальчишекъ, игравшихъ въ бабки; во всякое время дня встрѣчались тучныя коровы, принадлежавшія обывателямъ города. Площадь граничила безконечнымъ рядомъ сѣрыхъ заборовъ, обросшихъ полынью и крапивой; прямо противъ Никольской подымалось прекрасное новое каменное зданіе, выбѣленное мѣломъ, и свѣтилось на солнцѣ, какъ очарованный замокъ, привлекая невольно взоры.

Туда-то приказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ ѣхать коляскѣ. Глаза его не безъ удовольствія встрѣтили старую карету Окатова, стоявшую въ сторонѣ отъ подъѣзда; удовольствіе смѣнилось радостнымъ чувствомъ, когда на-

встрѣчу ему выбѣжали два гайдука, неразлучные спутники Николая Степановича во время его странствованій.

Николай Степановичъ, нужно замѣтить, ничего такъ не боялся, какъ дорогъ и могущихъ произойти на нихъ во всякую минуту несчастій. Онъ не переставалъ храбриться, не переставалъ задирать голову и ерошить пучки сѣдыхъ завитковъ, торчавшихъ на вискахъ, пока твердо увѣренъ былъ, что не предстояло никакой опасности; но какъ только гремѣлъ громъ, или попадалась на проселкѣ канавка—душа его мгновенно проникалась паническимъ страхомъ. Въ первомъ случаѣ онъ зарывался въ подушки, наваливалъ на себя перины, приказывалъ опустить шторы и лежалъ пластомъ, неподвиженъ; во второмъ случаѣ, выходилъ изъ кареты и, какая бы ни стояла погода, шелъ пѣшкомъ нѣсколько верстъ, тщательно осматривая дорогу. Особенный страхъ наводила на него всегда водяная стихія; каждый разъ, какъ судьба приводила ему переѣзжать на паромѣ, онъ считалъ жизнь свою въ неминуемой опасности.

Выпрыгнувъ изъ коляски, Аристархъ Ѳедоровичъ поднялся по лѣстницѣ, отдалъ пальто и, стряхнувъ съ себя пыль, вступилъ въ большую желтую комнату, въ которой сидѣло за разными столами человѣкъ двадцать.

— Здравствуйте! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, направляясь прямо къ противоположной двери.

— Желаемъ здравствовать! раздалось въ желтой комнатѣ.

Отворивъ дверь, Аристархъ Ѳедоровичъ очутился въ небольшой комнатѣ сѣро-молочнаго цвѣта; тутъ, противъ стола, сидѣли Николай Степановичъ и еще другой весьма толстый господинъ.

Господинъ этотъ былъ такъ толстъ, что сколько бы ни нагибался, никогда не могъ бы увидѣть кончиковъ сапоговъ; безъ посторонней помощи онъ также не въ состояніи былъ бы вынуть платокъ изъ задняго кармана, и поэтому, вѣроятно, держалъ его всегда вмѣстѣ съ табакеркою въ лѣвой рукѣ. Голова его, безъ малѣйшаго признака какой-нибудь растительности на поверхности, лоснилась какъ серебряный чайникъ, а носъ—длинный и отвислый, покрытый свинцовымъ матомъ, привлекательно краснѣлъ, какъ дозрѣвающая слива: по обѣимъ сторонамъ этого аппетитнаго носа красовались два круглые глаза, но изъ нихъ особенно былъ замѣчателенъ только лѣвый, не перестававшій моргать и производить разные кон-

вульсивные прыжки—обстоятельство, заставлявшее этого господина подымать каждый разъ руку и прижимать указательный палецъ къ причудливому оку. Нилъ Степановичъ Лукьяновъ (такъ звали этого толстаго господина) былъ и весельчакъ, и умница, точь-въ-точь какъ покойный Иорикъ, соединявшій въ себѣ, какъ извѣстно, въ совершенствѣ оба эти достоинства. Онъ любилъ до страсти анекдоты, поговорки, прибаутки и смотрѣлъ на жизнь съ философской точки.—„Много ли нужно для счастья человѣка?..“ говорилъ онъ обыкновенно и затѣмъ заливался добродушнымъ, веселымъ смѣхомъ.

— Батюшки-свѣты! Кого я вижу! Аристархъ Ѳедорычъ! Вотъ говорятъ: въ одинъ день по двѣ радости не живетъ! воскликнулъ Нилъ Степановичъ, протягивая обѣ руки вошедшему.

Аристархъ Ѳедоровичъ пожалъ руки, улыбнулся и тотчасъ же обратился къ Окатову:

— Здравствуй! сказалъ Окатовъ.—Напрасно только пріѣхали! промолвилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Какъ такъ? Что̀ такое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обнаруживая крайнее безпокойство.

Онъ положилъ шляпу на столъ и поспѣшно присоединился къ двумъ собесѣдникамъ.

— Да такъ же! ха-ха-ха! отвѣчалъ Нилъ Степановичъ.—Что ты будешь дѣлать! раздумалъ, отложилъ до другого случая.

— Фу, ты пропасть, какъ это непріятно! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, хмуря лобъ и устремляя вопросительный взглядъ на Окатова.

Но Окатовъ сидѣлъ неподвижно и смотрѣлъ на сосѣднее окно.

— Что жъ вы прикажете дѣлать! на грѣхъ мастера нѣтъ, хе-хе-хе! разразился Лукьяновъ.—То ли еще было разъ, я вамъ скажу, съ покойнымъ моимъ шуриномъ, то-есть сыномъ отца моей жены. Разъ пріѣзжаетъ онъ...

Но Лукьяновъ не договорилъ, измѣнился въ лицѣ, зашевелилъ безпокойно бровями и началъ прижимать пальцемъ глазъ.

— На грѣхъ мастера нѣтъ, хе-хе-хе! продолжалъ онъ, снова повеселѣвъ,—не чаешь, гдѣ бѣда, гдѣ напасти!.. А я вотъ что̀ вамъ скажу, почтеннѣйшій и премногоуважаемый Аристархъ Ѳедоровичъ, поживите-ка у насъ, погостите...

— Вотъ славно: ждать! Когда тутъ ждать? Къ тому жъ мнѣ и некогда! возразилъ съ досадою Балахновъ, принимаясь расхаживать по комнатѣ.

— И мнѣ тоже некогда! рѣшительно проговорилъ Окатовъ, продолжая смотрѣть на окно.

— Ну, вотъ, видите ли? подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, останавливаясь и запальчиво указывая на Окатова.

— Постойте же въ такомъ случаѣ, сказалъ примирительнымъ голосомъ Лукьяновъ,—самъ себѣ досадишь, недруга не побѣдишь! Чтобъ вамъ не безпокоиться и не ѣздить попустому, мы разспросимъ обстоятельно, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой, хе-хе-хе... кто бишь это говоритъ?.. Да, разспросимъ того и другого.

— Что тутъ разспрашивать! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, принимаясь снова расхаживать по комнатѣ.— Надо сегодня покончить, вотъ и все тутъ.

— Не сердись, матка, все будетъ гладко! сказалъ Лукьяновъ, и снова лѣвый глазъ его запрыгалъ и затрясся, будто кто-то дергалъ его сзади за ниточку.—Все будетъ гладко, хе-хе-хе! все устроимъ... А покуда, послушайте, господа! воскликнулъ веселый Лукьяновъ, поворачиваясь къ собесѣдникамъ,—право, погостите; вечеркомъ милости просимъ въ мой пріютъ, къ безвласому старцу, „ихъ изсушила грусть и вѣтеръ ихъ разнесъ!“ подхватилъ онъ, гладя себя по головѣ и заливаясь хохотомъ.— Составимъ партійку и не замѣтимъ, какъ пройдетъ золотое время... право-ну!.. Вотъ я скажу, то же самое было разъ съ покойнымъ моимъ шуриномъ, то-есть сыномъ отца моей жены. Разъ...

— Право нельзя, почтеннѣйшій Нилъ Степанычъ; въ другое время душевно бы радъ, но теперь, право, не могу, перебилъ нетерпѣливо разстроеннымъ голосомъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пожимая руку Лукьянова и бросая безпокойный взглядъ на Окатова, который сидѣлъ въ креслахъ, глядѣлъ въ окно и гладилъ раздвоенный свой подбородокъ, что̀ означало всегда дурное расположеніе его духа.

— Э-эхъ, господа! А я только что̀ замышлялъ, ухищрялся, мѣтилъ просить васъ на чашку чая, да на робертикъ... Ну, какъ быть! вольному воля, говорится, хе-хе-хе!

Аристархъ Ѳедоровичъ остановился неожиданно противъ Окатова.

— Итакъ, на чемъ же мы остановились? Что ты рѣ-

шилъ, любезный Николай Степанычъ? сказалъ онъ, усаживаясь противъ него и придавая своему голосу самую мягкую, чарующую интонацію, которая, однакожъ, что-то плохо подѣйствовала на собесѣдника.

— Я ѣду, отвѣчалъ коротко и сухо Николай Степановичъ.

— Но, послушай, душа моя, надо же покончить чѣмъ-нибудь наше дѣло, подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обсахаривая до приторности голосъ.—Ба! да вотъ что мы сдѣлаемъ! (тутъ лицо Балахнова засіяло, какъ бы отражая яркую, блестящую мысль, зародившуюся въ головѣ его). Вотъ что мы сдѣлаемъ, душа моя! Чѣмъ тебѣ ѣздить сюда лишній разъ,—я знаю, ты не любишь нашихъ дорогъ,—пришли сюда, въ субботу, человѣка съ довѣренностью отъ твоего имени на совершеніе купчей, поручи довѣренность... да вотъ хоть Нилу Степанычу; я увѣренъ, онъ не откажется?..

— Помилуйте, радъ всей душой; для милаго дружка и сережка изъ ушка, говорится, хе-хе-хе! Что и толковать объ этомъ! возразилъ Лукьяновъ, протягивая съ готовностью обѣ руки.

— Ну, вотъ видишь ли, душа моя! Это избавитъ тебя отъ лишняго безпокойства... Итакъ, я считаю дѣло наше оконченнымъ... Теперь остается только вотъ завершить, какъ говорится, примолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поспѣшно вынимая бумажникъ.

— Добрый конецъ всему вѣнецъ. Дружба дружбой, а денежка сама по себѣ... хе-хе-хе! проговорилъ Лукьяновъ.

— Да, подхватилъ Балахновъ,—вотъ тебѣ, душа моя, задатокъ, а остальные, какъ сказано, чрезъ двѣ недѣли, заключилъ онъ, протягивая ассигнаціи.

— Не надо, послѣ! произнесъ лаконически Окатовъ.

— Нѣтъ, ужъ сдѣлай милость, душа моя, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, утрачивая окончательно свою сановитость,—прошу тебя... Нилъ Степанычъ прекрасно замѣтилъ: дружба дружбой, а денежки сами по себѣ... Сдѣлай милость; иначе я готовъ сердиться.

Окатовъ взялъ деньги, сердито сунулъ ихъ въ карманъ, приподнялся съ мѣста и сказалъ:

— Пора!

— А ну, пора такъ пора! Какъ знаешь, душа моя. И я поѣду! воскликнулъ Балахновъ, радостно схватываясь за шляпу.—Прощайте, Нилъ Степанычъ.

— Прощайте, многоуважаемый Аристархъ Өедоровичъ. Итакъ, до субботы. Ну, ужъ какъ вы себѣ тамъ хотите, а старый толстякъ, воскликнулъ Лукьяновъ, — затащитъ васъ на робертъ.

— Прощайте, сказалъ отрывисто Окатовъ.

— Прощайте, премногоуважаемый Николай Степанычъ! Не поминайте лихомъ! До радостнаго свиданія! проговорилъ Нилъ Степановичъ, провожая гостей въ желтую комнату.

Спускаясь съ лѣстницы, Аристархъ Өедоровичъ обнаружилъ самую нѣжную заботливость въ отношеніи къ Окатову: онъ пропустилъ его впередъ и настоятельно потребовалъ даже, чтобъ Николай Степановичъ проходилъ первымъ во всѣ двери.

Когда усадили Окатова и коляска его тронулась съ мѣста, Аристархъ Өедоровичъ приказалъ коляскѣ ѣхать впередъ, а самъ пошелъ пѣшкомъ. „Долина моя, моя и моя!“ подумалъ онъ, потирая руки. Теперь только, послѣ волненія, испытаннаго имъ, когда дѣло купчей чуть было не расклеилось, почувствовалъ онъ, какъ дорога была ему эта долина. Отмѣнное расположеніе духа тотчатъ же вернулось къ нему; лицо его, подпертое тугимъ волосянымъ галстукомъ, проявило, однакожъ, всѣ признаки величаваго, горделиваго спокойствія, когда онъ вступилъ въ Никольскую, запруженную подводами, мужиками и мѣщанами, которые, завидя издали приближающагося Балахнова, снимали шапки и кланялись.

Достигнувъ площадки, заключавшейся между гостинымъ дворомъ и желѣзною лавкою, Аристархъ Өедоровичъ столкнулся носъ къ носу съ Васильковымъ, который только что распрощался съ аптекаремъ.

— А! Ну, разсказывай, братецъ, разсказывай: кого видѣлъ, у кого былъ, что подѣлывалъ, добродушно сказалъ Балахновъ, принимаясь трепать Порфирія Павловича по плечу съ видомъ покровительства.

— Только что отъ Карла Готлибыча, нашего аптекаря. Ахъ, Аристархъ Өедорычъ, вы не повѣрите, какъ всѣ обрадовались, когда я объявилъ о своемъ благополучіи, точно родные! отвѣчалъ Васильковъ.

— Что жъ, ты говорилъ имъ о томъ, что я пріѣхалъ?

— Говорилъ, Аристархъ Өедоровичъ.

— Что жъ они?

— Какъ жаль, говорятъ, что Аристархъ Өедорычъ такъ

рѣдко посѣщаетъ Горшковъ! Вы не повѣрите, какіе добрые люди! продолжалъ Васильковъ, между тѣмъ какъ Балахновъ выступалъ величаво впередъ и разсѣянно глядѣлъ въ толпу, наблюдая, однакожъ, очень внимательно, какой эффектъ производитъ его появленіе посреди города.—Вы не повѣрите, какіе добрые, радушные люди!..

Но тутъ Порфирій Павловичъ почувствовалъ, что кто-то потянулъ его сзади за венгерку, и остановился. Обернувшись, онъ увидѣлъ совершенно незнакомаго господина, который стоялъ, приподнявъ фуражку. Лицо незнакомца отличалось необыкновенною бѣлизною, точно такъ же, какъ зубы и шея, повязанная черной косынкой; румянецъ игралъ во всю полную его щеку; правильное, красивое лицо его, украшенное усиками и бѣлокурыми локонами по бокамъ, нисколько не соотвѣтствовало краснымъ рукамъ и особенно одеждѣ: на немъ былъ желтый, нанковый сюртучокъ, очень поношенный, и необъятно широкіе шаровары, такого же цвѣта и матеріи. Въ лѣвой рукѣ держалъ онъ хлыстикъ.

Порфирій Павловичъ приподнялъ шляпу и вопросительно заморгалъ глазами.

— Извините, милостивый государь, непостижимую дерзость мою... заговорилъ отрывисто незнакомецъ, устремляя на Василькова пару бойкихъ, сѣрыхъ глазъ, выражавшихъ самоувѣренность, смѣшанную съ изрядной долей наглости.—Извините... осмѣлюсь спросить... вы служите въ землемѣрахъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчалъ Васильковъ, обращая на него удивленные глаза.

— Извините... осмѣлюсь спросить... съ кѣмъ изволили сейчасъ идти?

— Балахновъ, отвѣчалъ Порфирій Павловичъ.

— Балахновъ... Игнатій Матвѣевичъ?

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ.

— Честь имѣю рекомендоваться, сказалъ незнакомецъ, снова приподымая фуражку,—Попельковскій... Ардаліонъ Александрычъ... обстоятельства... жду наслѣдства... съ кѣмъ имѣю честь говорить?

Васильковъ удовлетворилъ его отвѣтомъ.

— Очень радъ познакомиться, прибавилъ красавецъ, быстро схватывая руку собесѣдника.—Много потерпѣлъ... несчастіе... обстоятельства...

— Что же прикажете? спросилъ съ замѣшательствомъ Порфирій Павловичъ.

Ардаліонъ Александровичъ выпрямился во весь ростъ, выставилъ правую ногу впередъ и завертѣлъ хлыстикомъ.

— Насчетъ денежныхъ обстоятельствъ, проговорилъ онъ, слегка засмѣявшись.—Фортуна... скупая тетка... три милліона наслѣдства... очень буду благодаренъ...

— Я, право, не знаю, застѣнчиво сказалъ Васильковъ,— у меня теперь нѣтъ-съ... Вотъ если вамъ угодно обратиться къ Аристарху Ѳедорычу, прибавилъ онъ, указывая на Балахнова, величаво выступавшаго въ отдаленіи.

— Очень радъ... много обязанъ, бойко отвѣчалъ Попельковскій, направляясь тотчасъ же въ ту сторону.

Ардаліонъ Александровичъ безъ дальнѣйшихъ церемоній взялъ подъ руку Василькова и, размахивая во всѣ стороны хлыстикомъ, подвелъ его къ Балахнову.

— Аристархъ Ѳедорычъ, сказалъ Порфирій Павловичъ,—вотъ господинъ...

— Честь имѣю рекомендоваться, поспѣшно перебилъ новый знакомецъ, приподымая снова фуражку.—Попельковскій, Ардаліонъ Александрычъ... получилъ прекрасное воспитаніе...

— Что же вамъ угодно? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, принимая величественную осанку.

— Наслышанъ вашими благодѣяніями... скупая тетка... жду наслѣдства... много потерпѣлъ неудовольствій...

— Странно!.. проговорилъ, улыбаясь, Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Такъ точно-съ... процессъ... несчастія... все проигралъ!

— Хорошо, пріѣзжайте ко мнѣ, произнесъ покровительственно Аристархъ Ѳедоровичъ,—спросите Ханскіе-Пруды; послѣдній ребенокъ знаетъ... Очень радъ буду помочь вамъ.

— Чувствительно благодаренъ. Вы теперь куда? осмѣлюсь спросить.

— Въ гостиницу...

— Позвольте проводить... я музыкантъ... пріятная бесѣда...

— Извините, теперь некогда... Пріѣзжайте въ Ханскіе-Пруды; очень буду радъ, отвѣчалъ Балахновъ, направляясь съ Васильковымъ къ постоялому двору—длинному деревянному дому на каменномъ фундаментѣ, съ мучнымъ лабазомъ посрединѣ.

— До пріятнаго свиданія! крикнулъ Попельковскій, и вдругъ, какъ бы опомнившись, побѣжалъ за Васильковымъ и снова ухватилъ его за венгерку. — Виноватъ, сказалъ онъ, наклоняясь къ его уху, — нѣтъ ли у васъ сигарки, только фабрики Бѣлобородова? Я другихъ не курю...

— Къ сожалѣнію, нѣтъ-съ, отвѣчалъ Порфирій Павловичъ, пожимая плечами.

— На нѣтъ и суда нѣтъ. Жаль... Прощайте; до свиданія; очень благодаренъ!

Какъ только Васильковъ исчезъ въ воротахъ постоялаго двора, Попельковскій надѣлъ набекрень фуражку, засвисталъ какую-то трель, подперся молодчикомъ, закинулъ правую ногу за лѣвую и принялся рисоваться на улицѣ.

Балахновъ и Васильковъ направились къ постоялому двору. Тамъ встрѣтилъ ихъ хозяинъ—толстый, пожилой мѣщанинъ въ синей чуйкѣ.

— Здравствуй, Ѳедотъ Васильевъ, ласково говорилъ Балахновъ, взбираясь какъ бы нехотя по шаткимъ ступенькамъ.—Ну, что? какъ дѣла? а?

— Живемъ, благодаря Господа, сударь, отвѣчалъ Ѳедотъ, кланяясь.

— Нумера порожніе?

— Три верхніе-съ; нижніе всѣ заняты.

— Ну, вотъ, что не дѣло, то не дѣло, Ѳедотъ Васильевъ, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, останавливаясь въ сѣняхъ и указывая ему на дырявую кровлю.— Э-э! сколько разъ говорилъ я тебѣ: почини... нѣтъ! Пойдетъ дождь, всѣ сѣни вымочитъ, да и постояльцамъ непріятно...

— Никакъ нельзя было, сударь. Я, признательно, и самъ думалъ; всю весну, какъ есть, такіе-то дожди шли, хошь бы денекъ выбрался для работы...

— Ну, теперь, братецъ, стоитъ ясная погода; теперь почини.

— Да что жъ ее теперь-то чинить, сударь? Богъ милостивъ; теперь не мочитъ пока; слава-те, Господи!..

— Эхъ! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, входя въ узенькій коридоръ съ тремя дверьми. — Хорошо; я беру два крайніе нумера. Да смотри, чтобъ былъ отличный овесъ и сѣно... слышишь, Ѳедотъ?

— Помилуйте, сударь, мы дурного не держимъ. Зачѣмъ держать? съ увѣренностью отвѣчалъ Ѳедотъ, низко

поклонился и застучалъ пудовыми сапогами по лѣстницѣ.

Аристархъ Ѳедоровичъ вошелъ въ грязно-розовую комнату о двухъ окнахъ, между которыми красовалось зеленоватое зеркало, показывавшее три лица, вмѣсто одного, и девять глазъ, вмѣсто двухъ. Рамка этого зеркала была обклеена, вѣроятно, въ угоду проѣзжающимъ, всѣмъ, что только попалось хозяину подъ руку: тутъ виднѣлись верхушки съ помадной банки, ярлыкъ съ пузырька, ярлыкъ съ бутылки донского, выпитой, вѣроятно, какимъ-нибудь проѣзжимъ купчикомъ, конфетные билетики и картинки. На одномъ изъ оконъ стояла бутылка съ деревяннымъ масломъ, заткнутая пробкою изъ хлѣбной мякоти. Въ углу цѣплялся кривой шкапъ съ крошечными чашками, украшенными надписями: „въ знакъ любви“ и „въ день ангела“. Кромѣ зеркала, бутылки и шкапа, въ грязно-розовой комнатѣ находились еще: столъ, выкрашенный красною краской, такого же цвѣта постель съ однѣми досками, три стула и диванъ, обтянутый клеенкой. Диванъ этотъ отличался особеннымъ страннымъ свойствомъ: днемъ на немъ еще можно было найти отдыхъ, несмотря на совершенное отсутствіе упругости и удобства, но ночью — словно по колдовству какому — вся поверхность его проявляла жизнь и движеніе. Нечего и говорить, что изъ грязно-розовой комнаты отворялась дверь въ сосѣдній нумеръ и что изъ сосѣдняго нумера такая же точно дверь вела въ слѣдующую затѣмъ комнату; но не лишнимъ будетъ замѣтить, что доски, изъ которыхъ сдѣланы были двери, снабжены были отъ предусмотрительной природы безчисленнымъ множествомъ сучковъ, и что сучки, расположенные посерединѣ этихъ дверей, оказались въ отсутствіи въ самый день открытія гостиницы, послѣ проѣзда перваго же путешественника. Дыры въ дверяхъ, точно такъ же, какъ писаніе на стѣнахъ, доставляли сначала много хлопотъ Ѳедоту Васильеву: онъ затыкалъ отверстія бумажными пробками, стѣны протиралъ до-бѣла ладонью; но убѣдившись, вѣроятно, что труды его пропадали даромъ, махнулъ рукой и обратилъ свою дѣятельность на другіе хозяйственые пункты.

Тѣмъ временемъ, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ занимался сниманіемъ галстука, раскладываніемъ бумажника и часовъ, а Порфирій Павловичъ глазѣлъ по стѣнамъ, любознательно всматриваясь въ стишки и путевыя замѣтки, нацарапанныя ногтемъ или написанныя каранда-

шомъ, Сидоръ Матвѣевичъ, камердинеръ, успѣлъ уже вынуть изъ барскаго сака разныя туалетныя принадлежности, обвернулъ бѣлою простынею диванъ, положилъ въ ногахъ халатъ, въ головахъ пуховую подушку, показывая этимъ, что ему извѣстны были въ совершенствѣ всѣ тонкости камердинерскаго дѣла.

— А-а-аа! заголосилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, зѣвая и выпрямляя спину,— что-то поясница заломила... ухъ! Эй, Порфирій Павловичъ, что́ ты тамъ дѣлаешь?

Васильковъ, только-что прочитавшій какой-то стишокъ, отъ котораго вся кровь бросилась ему въ голову, повернулъ къ Балахнову лицо свое, покрытое краской стыдливости, и пробормоталъ, потупляя глаза, что это ничего, такъ, что тутъ такія вещи, словомъ—сказать нельзя...

Трудно было сыскать человѣка, который былъ бы стыдливѣе Порфирія Павловича. Это происходило, вѣроятно, отъ привычки его находиться постоянно въ кругу прекраснаго пола. Васильковъ любилъ женское общество и тщательно избѣгалъ мужского; послѣднее какъ-то не соотвѣтствовало нѣжнымъ и чувствительнымъ качествамъ души его.

— Ну, вотъ, что ты въ самомъ дѣлѣ за красная дѣва! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, садясь на диванъ и подавая Сидору правый сапогъ.— Ну-ка, ну! Вотъ тамъ, наверху, что-то написано. Прочти, что это такое—читай! прибавилъ онъ, подавая Сидору другой сапогъ.

— Тутъ ничего, Аристархъ Ѳедорычъ, просто написано: „Здѣсь квартировалъ Василій Аматовъ съ шуриномъ и племянникомъ“.

— Очень нужно знать, что онъ квартировалъ здѣсь со своимъ шуриномъ и племянникомъ! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, забывъ, вѣроятно, что самъ не пропускалъ случая извѣщать на станціонныхъ стѣнахъ о своемъ проѣздѣ.— Ну, ступай, Сидоръ. Чтобъ лошади были накормлены. Въ восемь часовъ разбуди; да смотри, самоваръ приготовь! промолвилъ онъ, ложась на диванъ.—И тебѣ, Порфирій Павлычъ, совѣтую порасправить кости. Слѣдующая комната въ твоемъ полномъ распоряженіи.

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, мнѣ надо еще кой-куда зайти... Почтмейстеръ просилъ убѣдительно...

— Ну, какъ знаешь. Завтра въ восемь часовъ ѣдемъ и прямо къ невѣстѣ: я сказалъ, что устрою, уговорю старуху отдать тебѣ если не все приданое, то, по крайней

мѣрѣ, снабдить деньжонками на свадебные расходы; сказалъ—и сдѣлаю.

— Ахъ, Аристархъ Ѳедорычъ, не знаю, какъ благодарить васъ... вы мой благодѣтель! Моя Антониночка поблагодаритъ васъ...

— Не за что, не за что. Радъ всегда протянуть руку помощи, любезный: это обязанность, долгъ каждаго честнаго человѣка...

Аристархъ Ѳедоровичъ повернулся на другой бокъ и закрылъ глаза. Порфирій Павловичъ схватилъ шляпу и вышелъ потихоньку изъ комнаты.

Должно полагать, что почтмейстеръ, его жена, дѣти, родня и вообще все семейство были люди очень радушные, которымъ если случалось залучить къ себѣ гостя, такъ ужъ они держали его до тѣхъ поръ, пока сами видѣли, наконецъ, что гостю мочи не было бороться долѣе со сномъ и зѣвотой. Такое заключеніе явствуетъ изъ того, что Порфирій Павловичъ пришелъ на постоялый дворъ около полуночи.

Секунду спустя, явился Софронъ, батракъ постоялаго двора, съ зажженнымъ огаркомъ и началъ подыматься по лѣстницѣ, преслѣдуемый Васильковымъ.

— Вы, баринъ, потише, сказалъ Софронъ, когда оба они очутились въ коридорѣ, — тутъ подлѣ васъ господа остановились.

— Какіе господа? шопотомъ спросилъ Порфирій Павловичъ.

— Барыни.

— Какія барыни?

— А кто ихъ знаетъ! Двѣ какія-то молодыя...

Порфирій Павловичъ затаилъ дыханіе, сжалъ губы, наклонилъ голову и, поднявшись на цыпочки, сталъ подбираться къ своей двери, останавливаясь и подымая руку каждый разъ, какъ скрипнетъ сапогъ или половая доска. Онъ взялъ свѣчку, отпустилъ Софрона и бережно, чуть-чуть касаясь пола, вошелъ въ свой нумеръ.

Первымъ движеніемъ Порфирія Павловича было поставить свѣчу подлѣ табачнаго кисета, подобраться вдоль стѣнки и приложить глазъ на то мѣсто двери, гдѣ находился когда-то сучокъ. Сердце его забило страшную тревогу, когда онъ увидѣлъ часть освѣщенной стѣны и двѣ женскія тѣни. Слѣдя жаркимъ взоромъ за движеніемъ

двухъ тѣней, онъ ясно заключилъ, что сосѣдки убирали волосы и готовились къ отдыху. Васильковъ, украдкою, подобрался къ столу и задулъ свѣчку. Такая продѣлка не принесла, однакожъ, никакого результата хитрому Порфирію Павловичу, который хотѣлъ этимъ способомъ отстранить всякое подозрѣніе о своемъ присутствіи и наслаждаться посреди темноты наблюденіемъ въ сосѣдній свѣтлый нумеръ: когда онъ подошелъ къ двери, отверстіе, равно какъ и остальныя щели вдоль косяковъ снизу и сверху, оказались завѣшенными какою-то черною, непроницаемою матеріею.

Порфирій Павловичъ былъ влюбленъ безъ ума въ свою невѣсту, но со всѣмъ тѣмъ, если сердце его испытало когда-нибудь досаду, такъ это случилось въ настоящую минуту. „О, мужчины! мужчины!“ воскликнутъ многія чувствительныя особы, „какъ непостоянно ваше сердце! Вѣрить ли послѣ этого вашимъ клятвамъ хранить до гробовой доски неизмѣнное чувство, когда достаточно одного кончика посторонняго, чужого платья, чтобъ смутить васъ и трепетомъ наполнить вашу душу?“ Вы совершенно справедливы, милостивыя государыни. И вотъ вамъ образчикъ, къ несчастію, самый обыкновенный. Порфирій Павловичъ принадлежалъ къ числу тѣхъ робкихъ, но страшно скрытныхъ людей, которыхъ обдаетъ жаромъ и холодомъ въ присутствіи всякой женщины безъ исключенія. Застѣнчивый, любопытный, сентиментальный и приторный до безконечности въ обращеніи съ прекраснымъ поломъ, онъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ, когда удавалось ему прислушиваться втихомолку къ сокровеннымъ дамскимъ разговорамъ, или подглядывать за дамами въ щелочку двери.

Оставшись въ темнотѣ, Порфирій Павловичъ, разсчитывая не безъ основанія на непрочность, съ какою ставятся обыкновенно перегородки постоялыхъ дворовъ, принялся тщательно осматривать углы и стѣны, не теряя еще надежды напасть на слѣдъ какой-нибудь скважинки. Увы, все было напрасно! Тогда онъ приложилъ ухо къ стѣнѣ, чтобъ разслышать, по крайней мѣрѣ, хоть говоръ сосѣдокъ. И это ни къ чему не повело: раздался только шопотъ, изъ котораго невозможно было выпутать ни одного живого слова. Что ты станешь дѣлать! Съ горя Порфирій Павловичъ набилъ трубку, высѣкъ огня и принялся затягиваться напропалую. Если бъ принять трубку

за мѣрило времени и предположить, что каждую четверть часа нужна новая, можно утвердительно сказать, что Васильковъ провелъ добрый часъ въ безполезномъ подслушиваніи подлѣ сосѣдней стѣны.

Онъ набилъ пятую трубку и рѣшился наконецъ успокоиться на диванѣ.

Внезапно у сосѣдокъ послышался шорохъ. Порфирій Павловичъ затаилъ дыханіе.

— Ахъ, Боже мой! произнесъ мелодическій голосъ, отъ котораго задрожали всѣ жилки Василькова,—этотъ господинъ, кажется, заснулъ наконецъ. Что, если онъ оставилъ зажженную трубку: мы всѣ сгоримъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, отвѣчалъ другой не менѣе мелодическій голосъ.—Ахъ, Боже мой! какъ бы это...

Если бъ въ эту минуту грянули изъ десяти пушекъ подъ самымъ ухомъ Порфирія Павловича, онъ не вскочилъ бы съ такой поспѣшностью на полъ. Не взирая на непроницаемый мракъ, онъ принялъ очаровательнѣйшую позу, потупилъ застѣнчиво глаза, поправилъ волосы и сказалъ нѣжно умилительнымъ голосомъ:

— Не безпокойтесь, сударыня, я погасилъ трубку. Вамъ не предстоитъ никакой опасности.

— Очень вамъ благодарны, отвѣчали за стѣною.

— Помилуйте, сударыня, подхватилъ, расшаркиваясь, Васильковъ,—долгъ каждаго... я почелъ обязанностью...

Но языкъ прилипъ у него къ гортани отъ внутренняго волненія, и онъ остановился.

Это обстоятельство окончательно распалило и безъ того уже пылкое воображеніе Порфирія Павловича; онъ ворочался съ боку на бокъ на своемъ диванѣ и не сомкнулъ глазъ во всю ночь.

X.

Читатель знакомится съ будущимъ семействомъ Порфирія Павловича.

На другое утро, какъ только услышалъ Васильковъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ потянулся на своемъ диванѣ и произнесъ нѣсколько словъ, первымъ его дѣломъ было броситься въ его комнату и сообщить ему во всѣхъ подробностяхъ ночное происшествіе.

— Но кто же эти дамы? спросилъ Балахновъ.

— Въ томъ-то и штука, Аристархъ Ѳедорычъ, что ни-

кто не знаетъ, отвѣчалъ Порфирій Павловичъ, вращая удивленными глазами. — Я разспрашивалъ хозяина, хозяйку, батрака Софрона—всѣ говорятъ: первый разъ видимъ. Кучеръ, съ которымъ онѣ пріѣхали, ушелъ съ утра на ярмарку, вернулся пьянъ, и я не добился отъ него никакого толку.

— Странно! вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, приподымаясь на диванѣ. — И ты, Сидоръ, не знаешь? промолвилъ онъ, обращаясь къ камердинеру.

— Никакъ нѣтъ-съ. Не приводилось даже встрѣчать.

— Странно! повторилъ Балахновъ, принимаясь одѣваться.

Обнаруживъ почему-то особенное вниманіе и заботливость къ туалету, Аристархъ Ѳедоровичъ почему-то посмотрѣлся лишній разъ въ зеркало, вошелъ въ нумеръ Василькова и приказалъ Сидору подавать чай. Въ то время, какъ приготовляли все нужное къ чаю, Балахновъ не переставалъ бросать любопытные взгляды на дверь сосѣдняго нумера, гдѣ слышалось шипѣніе самовара и звяканье чашекъ, и вдругъ, совершенно неожиданно, подошелъ къ Порфирію Павловичу, кашлянулъ и началъ разсказывать ему громкимъ, звучнымъ голосомъ какую-то героическую исторію о самомъ себѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ поминутно кашлялъ, возвышалъ голосъ, взглядывалъ на дверь и ввертывалъ черезъ каждыя пять словъ одно французское, не обращая, повидимому, никакого вниманія на то, что Васильковъ не зналъ ни слова по-французски. Балахновъ началъ уже разсказывать изумленному Василькову исторію своего дѣда, какъ вдругъ, въ дверяхъ, ведущихъ изъ номера въ коридоръ, показалась совершенно незнакомая фигура. Фигура принадлежала дворовому человѣку. То былъ старикъ съ всклоченными, сѣдыми волосами, крупнымъ носомъ и сѣрыми глазами, мрачно глядѣвшими исподлобья; одѣтъ онъ былъ въ старый зеленый сюртукъ, ниспадавшій вплоть до сапоговъ.

Затворивъ дверь, старикъ отвѣсилъ короткій поклонъ и произнесъ хриплымъ, басистымъ голосомъ:

— Барыня приказали просить васъ чай кушать.

— Кого? спросили въ одно время Васильковъ и Балахновъ.

— А что вечоръ-то разговаривать изволили, отвѣчалъ старикъ, отвѣшивая новый поклонъ и исчезая за дверью.

— Mais allez donc!.. ces dames vous font l'honneur...

произнесъ звучнымъ, пріятнымъ голосомъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поворачиваясь къ двери и забывая опять-таки, что Васильковъ не зналъ по-французски!

— Что вы изволили сказать? проговорилъ смущенный и оторопѣвшій Порфирій Павловичъ.

— Ступай; ну, чего ты? шепнулъ отрывисто Балахновъ.

Васильковъ поправилъ дрожащею рукою волосяныя свои волюты, выпрямился, застегнулъ венгерку, потомъ разстегнулъ ее, потомъ опять застегнулъ и, стараясь улыбнуться, вышелъ изъ номера.

— А что, милый мой, барыни твои здѣсь?.. гм... гм... спросилъ онъ, указывая старику на дверь сосѣдокъ.

— А гдѣ жъ имъ быть-то? Сами, я чай, знаете... отвѣчалъ старикъ съ самымъ мрачнымъ видомъ.

— Нѣтъ... да я такъ только... гм... гм... проговорилъ Порфирій Павловичъ, расшаркиваясь и входя къ сосѣдкамъ.

За самоваромъ сидѣли двѣ дамы; одной изъ нихъ было лѣтъ тридцать, другой немного менѣе; обѣ были одѣты въ глубокій трауръ; лица ихъ, длинныя, желтыя, соотвѣтствовали какъ нельзя лучше печальной одеждѣ; въ тусклыхъ, бѣловатыхъ и какъ будто стертыхъ глазахъ не было ничего особенно-замѣчательнаго.

— Извините, милостивый государь, заговорила старшая печальнымъ, протяжнымъ голосомъ, — мы рѣшились васъ побезпокоить. Вы были вчера такъ обязательны...

— Помилуйте, сударыня... гм... гм... обязанность каждаго человѣка... я почелъ за священнѣйшій долгъ, отвѣчалъ Порфирій Павловичъ, снова расшаркиваясь и покручивая головою.

— Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить? спросила заунывно младшая.

— Васильковъ, здѣшній помѣщикъ-съ, отвѣчалъ Порфирій Павловичъ, смиренно опуская глаза.

— Очень пріятно познакомиться... сказала старшая, подавляя вздохъ. — Не прикажете ли чашку чаю? Прошу покорно садиться.

— Если позволите... очень будетъ пріятно, пробормоталъ Васильковъ, садясь на кончикъ стула.

— Извините насъ, милостивый государь, начала старшая разстроеннымъ тономъ, — мы рѣшительно никого не имѣемъ знакомаго въ этомъ городѣ.

— Все намъ здѣсь чуждо! перебила младшая, едва сдерживая рыданіе.

— Все намъ здѣсь чуждо! продолжала старшая, подавляя вздохи. — Я и сестра живемъ отсюда верстъ за шестьдесятъ.

— Позвольте спросить, сударыня, съ кѣмъ имѣю счастье бесѣдовать? спросилъ Порфирій Павловичъ, кланяясь.

— Миловзоровы, отвѣчала раздирающимъ голосомъ младшая.—У насъ есть братъ въ Москвѣ; докторъ Миловзоровъ... можетъ-быть вы его знаете?..

— Нѣтъ, сударыня, не имѣю удовольствія, отвѣчалъ Васильковъ, пожимая плечами и обнаруживая искреннее сожалѣніе.

— Мы пріѣхали сюда на ярмарку для разныхъ покупокъ, и, видя вашу обязательность, милостивый государь, рѣшились просить васъ... рѣшились побезпокоить... надѣюсь, вы не откажете просьбѣ двухъ дамъ, для которыхъ все здѣсь чуждо...

— Помилуйте, сударыня, все, что вамъ будетъ угодно... радъ душевно... это моя обязанность...

— Вотъ видите ли, сказала съ сердобольнымъ умиленіемъ старшая, устремляя заплаканные глаза на Василькова, который поспѣшилъ выразить на лицѣ своемъ всѣ признаки живѣйшаго участія,—видите ли, намъ понадобилось купить лошадей; мы рѣшительно, какъ женщины, не знаемъ этого дѣла и желали бы, видя вашу обязательность, чтобъ вы, милостивый государь, помогли намъ сдѣлать эту покупку, если это только васъ не обезпокоитъ...

— Сударыня! воскликнулъ Порфирій Павловичъ, взбивая пряди своихъ волосъ,—если только это, извольте приказывать! Моя обязанность... Притомъ, служивъ въ кавалеріи, я хорошо знаю эту часть; я даже бывалъ ремонтеромъ и въ то время закупалъ для полка лошадей...

— Ахъ, какъ мы рады! какъ намъ пріятно это слышать! сказали меланхолически обѣ дамы.—Итакъ, вы позволите просить васъ пойти съ нами на ярмарку?...

— Съ величайшимъ наслажденіемъ готовъ служить вамъ, сударыни. Извольте одѣваться; сію секунду явлюсь, произнесъ Порфирій Павловичъ, расшаркиваясь и кидаясь со всѣхъ ногъ въ коридоръ.

Онъ вбѣжалъ въ свой нумеръ, отыскалъ шляпу, юркнулъ въ комнату Аристарха Ѳедоровича, шепнулъ ему восторженно на-ухо: „Миловзоровы!“ и, не дожидаясь возраженія, пустился догонять дамъ, которыя спускались уже съ лѣстницы. Заунывныя барыни Миловзоровы и спутникъ

ихъ, любезный, услужливый Васильковъ, пробыли недолго на ярмаркѣ: благодаря заботливости Василькова, вскорѣ найдены были двѣ буланыя кобылицы отличнѣйшей породы — такъ, по крайней мѣрѣ, утверждали единодушно барышники, цыгане и коновалы, налетѣвшіе со всѣхъ сторонъ, какъ саранча, на новыхъ покупателей. Дамы сказали, что буланая масть имъ очень понравилась, и изъявили желаніе, чтобъ Васильковъ сдѣлалъ окончательный приговоръ касательно доброкачественности предлагаемыхъ животныхъ. Васильковъ, какъ каждый себѣ представитъ, не долго заставилъ себя дожидаться; онъ сунулъ шляпу ближайшему цыгану, засучилъ рукава и принялся обходить лошадей, тщательно потрепалъ ихъ по холкѣ, посмотрѣлъ имъ въ зубы, подергалъ за хвостъ, пощупалъ ноги и обнаружилъ притомъ такую опытность и знаніе дѣла, что обѣ дамы не могли надивиться, какъ господинъ, обладающій такими глубокими свѣдѣніями, не навсегда остался ремонтеромъ. Окончивъ осмотръ, Порфирій Павловичъ объявилъ, что лошади добрыя; дамы вынули деньги и спросили хозяина.

— Нѣтъ-съ, сударыня, позвольте, сказалъ Васильковъ съ очаровательной улыбкой, — у насъ, кавалеристовъ и коннозаводчиковъ, на этотъ счетъ свой особый обычай, извольте видѣть... Тутъ Порфирій Павловичъ взялъ деньги и передалъ ихъ изъ полы въ полу бывшему владѣльцу буланыхъ. — Дѣло кончено! лошади ваши! веди ихъ за нами! заключилъ онъ, махнувъ рукою въ толпу.

— Ахъ, какъ мы вамъ благодарны, милостивый государь, печально сказала старшая Миловзорова, — надѣюсь, что мы будемъ имѣть удовольствіе васъ видѣть у себя?.. Мы живемъ верстъ шестьдесятъ всего отсюда, по проселочной дорогѣ... спросите сельцо Склепино, Гробово-тожъ... намъ будетъ очень пріятно...

— Сударыня, я буду совершенно счастливъ... и позвольте ужъ мнѣ въ такомъ случаѣ пріѣхать къ вамъ съ молодою женою.

— Вы женитесь? спросила сквозь слезы младшая.

— Черезъ мѣсяцъ, сударыня, восторженно отвѣчалъ Порфирій Павловичъ.

Разсуждая такимъ образомъ, они очутились вскорѣ подъ воротами постоялаго двора. Увидѣвъ коляску Аристарха Ѳедоровича, совсѣмъ уже готовую къ отъѣзду, Васильковъ

проводилъ барынь до нумера и поспѣшилъ съ ними проститься.

— Пора! Пора! сказалъ Балахновъ, выходя навстрѣчу своему пріятелю, — скоро двѣнадцать часовъ. Eh bien, avez vous rempli les desirs de ces dames? прибавилъ онъ, выравниваясь съ дверью сосѣдокъ.

— Что вы изволили сказать? спросилъ Васильковъ, укладывая кисетъ и трубку въ боковые карманы.

— Нѣтъ, такъ, ничего... отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выходя на лѣстницу.

На крыльцѣ онъ былъ встрѣченъ Ѳедотомъ Васильевымъ, его женою, дѣтьми и даже батракомъ Софрономъ, которые, завидѣвъ еще издали Балахнова, принялись кланяться и возсылать искреннія мольбы о сохраненіи его въ добромъ здравіи.

— Благодарю! произнесъ владѣтель Ханскихъ-Прудовъ, усаживаясь въ голубую коляску.

Минуту спустя, коляска и позади ея тарантасъ Василькова покатили къ шлагбауму.

— Къ Фанагоріи Петровнѣ! крикнулъ Балахновъ.—Ну, кто жъ эти дамы, разсказывай! промолвилъ онъ, обращаясь нетерпѣливо къ своему спутнику.

— Ахъ, премилыя, преочаровательныя и прелюбезныя дамы! воскликнулъ спутникъ, потряхивая головой.

— Миловзоровы... Миловзоровы... Я что-то, однакожъ, не помню... Знаютъ ли онѣ меня, по крайней мѣрѣ?.. Ты имъ говорилъ, съ кѣмъ пріѣхалъ?

— Говорилъ, Аристархъ Ѳедорычъ, краснѣя, пробормоталъ Васильковъ.

— Что жъ онѣ?

— Онѣ говорятъ, что не имѣли счастія слышать... Впрочемъ, прибавилъ онъ, спохватившись, — немудрено, живутъ за шестьдесятъ верстъ... глушь...

— Такъ, мелюзга какая-нибудь, пробормоталъ Аристархъ Ѳедоровичъ, разсѣянно глядя по сторонамъ.

„Для тебя все мелюзга!“ подумалъ Порфирій Павловичъ, „а по-моему, премилыя, преинтересныя, прелюбезныя дамы: чрезвычайно пріятное знакомство; и я съ Антониночкой непремѣнно къ нимъ поѣду“.

Вскорѣ коляска оставила за собой городъ, свернула вправо, оставивъ влѣво дорогу въ Ханскіе-Пруды, и весело покатила по проселку. Порфирій Павловичъ закурилъ съ видимымъ наслажденіемъ трубку и принялся

выгружать изъ сердца свои впечатлѣнія, и тѣ, которыя накопились въ послѣдніе дни, и тѣ, которыя предстояло испытать въ будущемъ. На этотъ разъ, однакожъ, Аристархъ Ѳедоровичъ какъ-то неохотно поддавался бесѣдѣ: онъ не то, что былъ не въ духѣ, но видно было, что мысли его далеко блуждали за предѣлами настоящаго разговора и заняты были совсѣмъ другимъ. Изрѣдка отрывался онъ отъ своего созерцательнаго состоянія, чтобъ крикнуть: „тише, легче, осторожнѣй!“ когда коляска взъѣзжала на мостъ или спускалась съ кручи, и снова уходилъ весь въ необъятную глубину собственной души своей.

А между тѣмъ, проселокъ бѣжалъ впередъ и впередъ, какъ ручей по склону широкой долины; мѣстность измѣнила свой плоскій видъ, начинала волноваться и съ часу на часъ становилась живописнѣе. Тамъ показалась березовая роща; еще минута — и коляска нырнула въ густую тѣнистую листву, цѣпляясь за кусты и длинно раскинувшіяся вѣтви. Быстро мелькали бѣлые стволы деревъ; ярко блеснуло солнце; миновалась опушка, и снова волнистый видъ зеленѣющаго поля съ своимъ пахаремъ на отдаленной нивѣ, снова просторъ, и надъ нимъ серебряная пѣснь жаворонка... Любите ли вы наши проселки, почтеннѣйшій читатель? Что до меня касается, я ихъ очень люблю, люблю несравненно болѣе всѣхъ возможныхъ дорогъ столбовыхъ и даже шоссейныхъ. Правда, нѣтъ на нихъ столбовъ, самоваровъ, ветелокъ и станцій; никто не трудился надъ ними: ихъ протопталъ пѣшеходъ. Но что до этого!.. они проведутъ васъ, если хотите, въ самое сердце русской земли. Тутъ только увидите вы настоящее русское поле съ его необъятнымъ, манящимъ просторомъ, о которомъ, быть-можетъ, вы прежде такъ сладко мечтали; тутъ услышите вы народную рѣчь и русскую пѣсню... и сладко забьется ваше сердце... Да, мнѣ нравится нашъ проселокъ! Посмотрите, какъ весело вьется онъ, то пропадая въ изумрудной чащѣ ярового хлѣба, или забиваясь въ тѣсныхъ рядахъ янтарной ржи, голубыхъ васильковъ и пестрой куколи, то снова появляясь на бугоркѣ съ своими тоненькими полосками зелени...

Любопытно было бы знать, что̀ думалъ обо всемъ этомъ Аристархъ Ѳедоровичъ. Принимая въ соображеніе задумчивую физіономію и упорную несообщительность, онъ даже не глядѣлъ на проселокъ и мысли его находились,

повидимому, далеко отъ всего его окружавшаго; онъ даже вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, когда собесѣдникъ его, Порфирій Павловичъ, не спускавшій съ нѣкоторыхъ поръ глазъ съ горизонта, закричалъ:

— Грачовка! Аристархъ Ѳедорычъ, Грачовка!..

И въ самомъ дѣлѣ, на горизонтѣ показалась деревушка, бывшая цѣлью настоящей поѣздки.

— Что съ тобой, братецъ? ты меня просто испугалъ, успокойся! произнесъ несовсѣмъ ласково Балахновъ.

— Извините, Аристархъ Ѳедоровичъ... Грачовка... ахъ!.. знаете... извините... Антониночка!.. Грачовка!.. Можетъ-быть, она меня ждетъ у околицы....

Аристархъ Ѳедоровичъ усмѣхнулся и отвернулся въ сторону.

Но ужъ съ той минуты Порфирій Павловичъ не переставалъ волноваться, высовываться изъ коляски и осматривать приближавшуюся деревушку. Восторженное состояніе Василькова усиливалось съ каждымъ поворотомъ колеса и, несмотря на то, что у околицы никого не оказалось, движенія его приняли размѣры самой необузданной радости, когда коляска въѣхала на улицу.

— Здравствуйте! здравствуйте! кричалъ онъ поминутно, раскланиваясь мимо проходившимъ мужикамъ, — здравствуй, Ѳедосъ! ну, что, какъ жена, дѣти? здоровы?.. а? Зензивей! здравствуй, Зензивей!.. Вотъ, Аристархъ Ѳедорычъ, рекомендую вамъ, отличнѣйшій плотникъ, что̀ хотите сдѣлаетъ... вотъ, если вамъ понадобится, и, главное, человѣкъ прекрасный, непьющій, продолжалъ онъ, не переставая подталкивать локтемъ своего покровителя, который обнаруживалъ все болѣе и болѣе сановитости, по мѣрѣ приближенія къ дому.

— А что, Сидоръ, что? воротъ еще не видать? нѣтъ? а? Кажется, не видать?.. кричалъ Порфирій Павловичъ, метаясь въ коляскѣ.

Вскорѣ показалась красная кровля съ двумя бѣлыми трубами, и наконецъ выступилъ самый домъ, старенькій, слѣпенькій, обсаженный съ одного бока акаціями и палисадникомъ. Вправо тянулся лугъ, исполосованный поло̀тнами, которыя растягивали бабы для бѣленья; прямо виднѣлся прудъ, перерѣзанный плотиной; далѣе опять луга, а за ними пашни, подымавшіяся неровными уступами къ горизонту. Немного погодя, коляска покатила вдоль полуобвалившагося плетня, изъ-за котораго выгля-

дывали тѣсные ряды развѣсистыхъ яблонь, покрытыхъ бѣлыми, какъ снѣгъ, цвѣтами; тутъ же, подъ тѣнью безконечно высокой черемухи, обсыпанной точно пухомъ, виднѣлся маленькій кіоскъ съ перекосившимися колонками и полинялымъ голубымъ куполомъ. Глаза Порфирія Павловича, приводимые въ движеніе припадками восторженности, готовы были, казалось, выскочить изъ своихъ впадинъ.

На этомъ дворѣ, обнесенномъ съ одной стороны извѣстнымъ уже садомъ, съ другихъ—сараями, конюшнею и амбарами, появилась суета и движеніе, какъ только заслышался шумъ подъѣзжавшаго экипажа.

Прежде всего изъ какой-то клѣтушки высунулась востроносая баба, съ горшкомъ въ обѣихъ рукахъ.

— Анисья! Анисья! Дома барыня? а? Поди сюда! крикнулъ Васильковъ.

Но вмѣсто отвѣта, Анисья поставила горшокъ на-земь, подобрала юбки и пустилась со всѣхъ ногъ на заднее крыльцо.

Путешественники остановились у главнаго крыльца.

Выходя изъ коляски, Аристархъ Ѳедоровичъ наткнулся на мальчишку, который, увидя чужихъ господъ, страшно оторопѣлъ, растопырилъ руки, раскрылъ ротъ и вдругъ огласилъ дворъ неистовымъ крикомъ.

— Мишка, Мишка, это я! поспѣшно заговорилъ Васильковъ, выпрыгивая въ свою очередь изъ коляски.—Ну, о чемъ? Аристархъ Ѳедоровичъ, это сынъ кучера Ермолая и прачки Ѳетиньи. Не правда ли, славный мальчикъ? Сдѣлайте милость, пожалуйте сюда, вотъ въ эту дверь. Ахъ, Боже мой! отчего же никого нѣтъ?.. Хоть бы одинъ человѣкъ! Сюда-съ, Аристархъ Ѳедорычъ, продолжалъ Порфирій Павловичъ, суетливо отворяя двери и вводя гостя въ крошечную лакейскую, увѣшанную охотничьими снарядами.

Тутъ находился еще безконечно длинный дѣтина. Закинувъ обѣ руки за голову и вытянувшись на спинѣ во всю длину конника, онъ спалъ глубочайшимъ сномъ. Заслышавъ шумъ, онъ вскочилъ на ноги, обвелъ глазами вошедшихъ и вдругъ бросился снимать съ нихъ пальто. Почти въ то же время въ лакейской показался управляющій—маленькій, сѣденькій человѣкъ; голова его уходила вмѣстѣ съ подбородкомъ въ набивной миткалевый галстукъ, который, въ свою очередь, уходилъ на половину

въ воротникъ синяго, неизмѣримаго сюртука, подметавшаго полъ; онъ заморгалъ на заспаннаго лакея, подошелъ къ Аристарху Ѳедоровичу, потомъ къ Василькову и принялся обметать пыль съ ихъ платья.

— Посмотрите, Аристархъ Ѳедорычъ, какія ружья, говорилъ между тѣмъ Порфирій Павловичъ,—превосходнѣйшія ружья! Тутъ даже есть мушкетонъ, настоящій персидскій мушкетонъ!.. Все это принадлежало покойному мужу Фанагоріи Петровны...

— Кому же ты это говоришь, любезный? отвѣчалъ Балахновъ. — Я бывалъ въ этомъ домѣ, когда ты не зналъ даже о его существованіи... Вѣдь Никита помнитъ, я думаю...

— Какъ же-съ, помилуйте; часто ѣзжать изволили, отвѣчалъ управитель, заботливо отворяя дверь лакейской.

Войдя въ залу, выбѣленную мѣломъ и обставленную кругомъ старинными почернѣвшими стульями, пріѣзжіе услышали за сосѣднею стѣною русскую пѣсню; нѣсколько тоненькихъ, пискливыхъ голосовъ тянули:

Закатись ты, солнце красное,
Ты взойди, свѣтелъ мѣсяцъ,
Ты свѣти во всю ноченьку,
Ты свѣти во всю темную...

— Что это? спросилъ Балахновъ.

— А это, сударь, изволите видѣть, отвѣчалъ управитель,—наши дѣвки собрались, шьютъ приданое барышни и поютъ свадебныя пѣсни...

Порфирій Павловичъ опустилъ руку въ карманъ жилета, кивнулъ лакею, сунулъ ему въ ладонь цѣлковый и шепнулъ на-ухо: „Отдай дѣвушкамъ и поблагодари ихъ за меня!“

Послѣ этого онъ побѣжалъ вприпрыжку за Балахновымъ, который входилъ въ гостиную.

Гостиная была маленькая и также выбѣлена мѣломъ; прямо, между двумя окнами, глядѣвшими на кіоскъ, находился старомодный, вычурный диванъ; передъ нимъ овальный столъ, а по бокамъ, вмѣсто крыльевъ, стояли два огромныя кресла, выкрашенныя когда-то краской небеснаго цвѣта. Налѣво, подлѣ двери, ведшей въ спальню и запертой въ настоящую минуту, вытягивались старенькіе, покоробившіеся клавикорды; направо вся стѣна была увѣшана картинами; на самомъ видномъ мѣстѣ красовался въ черноватой золотой рамѣ портретъ Фанагоріи Петровны,

когда ей было еще три года: голова ребенка, у котораго ротъ находился посрединѣ лица и имѣлъ видъ сердца, занимала бо́льшую часть холстины; оставалось самое маленькое мѣсто для ножекъ, обутыхъ въ красные башмаки, и для цвѣтка, находящагося въ правой рукѣ ребенка. Подъ этой картиной висѣла другая, но только несравненно меньше; на ней изображенъ былъ кустъ, усѣянный розами; подлѣ куста стоялъ на одной ножкѣ длинный господинъ съ кокомъ въ синемъ фракѣ; въ одной рукѣ держалъ онъ бѣлую шляпу, другая рука его протягивалась къ кусту и ловила двумя пальцами сидѣвшую на цвѣткѣ бабочку. По бокамъ дѣтскаго портрета, рядомъ съ исторіей Павла и Виргиніи, помѣщались еще двѣ картинки, достойныя вниманія; обѣ носили одно и то же названіе и заключали въ себѣ, повидимому, общую связь. На первой была надпись: *Утро послѣ свадьбы.* Другая картина, прозывавшаяся: *Десять лѣтъ послѣ свадьбы*, представляла даму и господина, сидѣвшихъ въ креслахъ противъ группы дѣтей. Внизу было означено: *Другъ мой, какъ мы счастливы! какъ милы наши дѣти!..*

Въ то время, какъ Балахновъ разсматривалъ грачовскую картинную галлерею, а Порфирій Павловичъ суетился передъ зеркаломъ, висѣвшимъ надъ диваномъ, за дверью спальни слышалась возня, посреди которой ясно можно было различить шумъ и шелестъ туго накрахмаленныхъ юбокъ; минуту спустя, все, однакожъ, успокоилось; дверь отворилась, впустила даму и захлопнулась съ тою же поспѣшностью, какъ дверцы на циферблатахъ старинныхъ часовъ, которые вдругъ выпустятъ кукушку и, мигнуть не успѣешь, какъ уже снова захлопнутся. Но на этотъ разъ кукушка не юркнула за циферблатъ! Фанагорія Петровна выступила на середину гостиной и сдѣлала очаровательнѣйшій *реверансъ.*

Фанагоріи Петровнѣ было лѣтъ пятьдесятъ, но, несмотря на то, туалетъ ея отличался немногимъ отъ туалета на портретѣ, когда ей было безъ малаго три года; красный, истертый, бѣловатый бархатный спензеръ обтягивалъ могучія ея рамена; бѣлое кисейное платье раздуто было непомѣрно тугими юбками. Спензеръ, открытый наверху, позволялъ любоваться парой круглыхъ плечъ, щедро усыпанныхъ пудрой; слѣды пудры еще явственнѣе обозначались на шеѣ, украшенной бархатной ленточкой съ бирюзовымъ голубкомъ; круглое лицо ея, съ двумя привле-

кательными *акрош-керами* на вискахъ, сохраняло на щекахъ самый *свѣжій* румянецъ. Прическа ея соотвѣтствовала остальному туалету: голова, сформированная какъ-то угловато и самымъ фантастическимъ образомъ, покрыта была маленькими сѣдоватыми завиточками, державшимися помощью шпилекъ и черныхъ шнурочковъ. Фанагорія Петровна жила вся. нужно замѣтить, воспоминаніями своей юности; а такъ какъ въ юности была она страшною кокеткой и горѣла желаніемъ плѣнять всѣхъ и каждаго, то немудрено, что и теперь пребывала въ томъ же настроеніи.

— Ахъ, Боже мой, Аристархъ Ѳедорычъ! какой сюррпризъ! заговорила Фанагорія Петровна, картавя и любезничая.

— Давно и даже очень давно собирался я къ вамъ, любезная сосѣдка, сказалъ Балахновъ, цѣлуя ея руку, обвѣшанную кольцами и бронзовыми браслетами, и унося послѣ этого поцѣлуя на правой щекѣ своей частичку розъ, усыпавшихъ щеки вдовы.

— Маменька! здравствуйте, маменька!—я уже просилъ позволенія называть васъ этимъ очаровательнымъ для меня именемъ—какъ ваше здоровье? скороговоркою произнесъ Васильковъ, цѣлуя протянутую руку и отпечатывая, въ свою очередь, красные блики на щекахъ своихъ.

— Но скажите, какъ... чему обязана я вашимъ милымъ визитомъ, спросила Фанагорія Петровна, ломаясь и бросая томную улыбку Аристарху Ѳедоровичу.

— А вотъ этотъ молодецъ доставляетъ мнѣ нынче удовольствіе васъ видѣть, отвѣчалъ Балахновъ, указывая на Василькова съ игривою любезностью самаго свѣтскаго свойства.

— О, милый, милый! благодарррю тебя! пролепетала Фанагорія Петровна, вторично протягивая руку Василькову.

— Но, позвольте, maman, я не вижу, гдѣ же...

— Невѣста? перебила будущая тёща.—О-о! прибавила она, лукаво грозя ему пальцемъ и увлекая въ то же время Аристарха Ѳедоровича.

Она усадила его подлѣ себя на диванѣ, поправила голубка и закричала тоненькимъ голоскомъ:

— Тоничка! Антинька! Анція! Женихъ пріѣхалъ. Да кто тамъ? Дѣвушка, дѣвка! скажите Антонинѣ Васильевнѣ, чтобъ вышла. Женихъ пріѣхалъ, женихъ, женихъ!..

Съ послѣдними словами въ гостиной появилась барышня лѣтъ двадцати, зачесанная по-китайски и очень недурная собою: черные, живые глазки ея бѣгали во всѣ стороны и обѣщали все, что угодно, кромѣ, однакожъ, тишины и спокойствія въ семейномъ быту. Антониночка была столько же блѣдна, жидка и тщедушна, сколько матушка ея была сильна, крѣпка и могуча. Она бойко подошла къ дивану, присѣла передъ Балахновымъ, потомъ обернулась къ Василькову и ласково кивнула ему головкой.

— Что жъ вы? Такъ ли встрѣчаются женихъ и невѣста? Ахъ, Боже мой!.. Анція, Порфирій! пролепетала съ укоризною Фанагорія Петровна.

Порфирій Павловичъ оторопѣлъ, вспыхнулъ, сдѣлалъ шагъ впередъ, чтобъ поцѣловать невѣсту, но та отвернула голову, и онъ окончательно растерялся.

— Да поцѣлуйтесь же! Ахъ, Боже мой! теперь это уже можно... Антонія, да что жъ это такое въ самомъ дѣлѣ? Порррфирій Павлычъ!

— На мѣстѣ Порфирія Павловича я не заставилъ бы просить себя, съ любезностью сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Протянувъ жениху блѣдную свою щечку, барышня сѣла на стулъ и принялась разсѣянно смотрѣть въ садъ. Васильковъ поспѣшилъ занять сосѣдній стулъ, взялъ руку невѣсты и, не будучи въ состояніи произнести слово отъ полноты душевнаго восторга, страстно устремилъ на нее глаза свои, полные томительной любви.

— Какъ здорррровье вашей супруги, Аристархъ Ѳедоровичъ? Боже, какъ давно мы съ нею не видались!.. Здорррова?.. говорила между тѣмъ Фанагорія Петровна, прищуривая глаза.

Аристархъ Ѳедоровичъ величаво, но благосклонно поклонился.

— Здорова? Ахъ, какъ я рада! А дѣтки?..

Аристархъ Ѳедоровичъ повторилъ прежнее движеніе.

— Здоровы, милашки этакіе? Ахъ, какъ я счастлива! Одно только мнѣ непріятно, о-о-очень даже непрррiятно: скажите, зачѣмъ вы такъ поздно пріѣхали? Не лучше ли бы пріѣхать утромъ и подарить меня цѣлымъ денькомъ?.. проговорила Фанагорія Петровна, грозя пальцемъ и принимая очаровательную позу.

— Я такъ и думалъ сдѣлать, весело отвѣчалъ Бала-

новъ,—но вотъ, виноватъ вашъ женихъ: мы остановились и ночевали на станціи въ Горшковѣ; онъ познакомился тамъ съ какими-то дамами сосѣдняго нумера, а потомъ отправился съ ними на ярмарку покупать лошадей.

При словѣ *познакомился съ дамами*, Антониночка быстро взглянула на своего жениха, брови ея запрыгали; она вырвала съ сердцемъ свою руку изъ его руки, пересѣла на другой стулъ къ самому окну и нахмурилась.

Порфирій Павловичъ остолбенѣлъ и, какъ пораженный громомъ, остался на своемъ мѣстѣ.

— Какія же это дамы? продолжала разспрашивать Фанагорія Петровна, не замѣтившая маленькой сцены.—Изъ нашихъ сосѣдокъ?.. Ахъ, Боже мой, что я! воскликнула она неожиданно,—вѣдь я забыла спросить васъ! вы, вѣрно, еще не кушали?..

— Нѣтъ-съ, маменька! произнесъ Васильковъ отчаянно-растроганнымъ тономъ.

— Хорррошъ, батюшка! А все ты! Ну, какъ не сказать?.. Да и вы, Аристархъ Ѳедорычъ, какъ не стыдно!.. Эй, люди! дѣвушки! кто тамъ?.. Антонія, что жъ ты, душенька? а еще молодая хозяйка... Ахъ, Боже мой! поди, мой ангелъ, распорядись, вели скорѣе подавать кушать.

Антониночка поспѣшно встала съ своего мѣста и оставила гостиную, не забывъ бросить сокрушительный взглядъ Василькову, который тотчасъ же принялся расхаживать по комнатѣ съ такимъ видомъ, какъ будто ему только что прочли смертный приговоръ.

Въ эти полчаса, какъ накрывали столъ и разогрѣвали кушанье, Фанагорія Петровна, принявшая очевидное намѣреніе плѣнить окончательно Аристарха Ѳедоровича, не переставала занимать его живой бесѣдой, приправляя живую эту бесѣду чарующими взглядами и улыбками. Дѣло въ томъ, что въ эти несчастные полчаса Аристархъ Ѳедоровичъ успѣлъ уже замѣнить въ сердцѣ Фанагоріи Петровны то мѣсто, которое наканунѣ еще занималъ Васильковъ, и увы! увы! успѣлъ даже исторгнуть изъ этого непостояннаго и слабаго сердца всѣ воспоминанія о несчастномъ, который продолжалъ, между тѣмъ, расхаживать по комнатѣ, комкалъ, въ припадкѣ горя, свои волосяныя пряди и страшно таращилъ глаза, дѣлая неимовѣрныя усилія, чтобъ не разразиться воплемъ.

Фанагорія Петровна принадлежала, можно сказать, къ ряду самыхъ эксцентрическихъ, причудливыхъ дамъ,

какихъ когда-либо производила горшковская сторона. Ни лѣта, ни опытность, ни долгая замужняя жизнь не въ силахъ были излѣчить ее отъ склонности къ романтизму и поэтическимъ грёзамъ. Во-первыхъ, у нея было семь пятницъ на недѣлѣ. Иной разъ она вставала утромъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа, какъ птичка, готовая порхать цѣлый день съ цвѣтка на цвѣтокъ, и вдругъ, къ обѣду, впадала въ глубокую, безотрадную меланхолію, надѣвала черный траурный капотъ, говорила о томъ только, что хочетъ идти въ монастырь, цѣлые дни отказывалась отъ пищи, довольствуясь тѣмъ только, что утромъ лизнетъ кусочекъ сахару, да ввечеру лизнетъ тотъ же кусочекъ и запьетъ все это стаканомъ воды. Въ другое время сидитъ она на диванѣ и вдругъ, совершенно неожиданно, приказываетъ запрячь рыдванъ, надѣваетъ красный бархатный спензеръ, повязываетъ бирюзоваго голубка на шею, обсыпаетъ себя пудрой съ головы до ногъ, поддѣлываетъ фальшивую косу и ѣдетъ съ Антониночкой дѣлать визитъ. Находятъ опять такіе дни, когда Фанагорія Петровна безъ памяти влюблена въ Антониночку, повѣряетъ ей свои сердечныя тайны и пребываетъ съ нею вообще на самой короткой, дружеской ногѣ; находятъ опять и такіе дни, въ продолженіе которыхъ обѣ не перестаютъ ссориться—ни дать, ни взять, малолѣтнія пансіонскія подруги. Прошелъ часъ, другой, и Фанагорія Петровна впадаетъ снова въ меланхолію; но на этотъ разъ меланхолія ея приняла уже совсѣмъ другой характеръ; она садится въ огромныя кресла, подпирается тоскливо локтемъ, не сводитъ глазъ съ своего младенческаго портрета и струитъ потоки слезъ; или садится, въ тихомъ раздумьи, подлѣ отвореннаго окна, слушать пѣніе соловья: „Соловушка! соловушка!“ говоритъ она обыкновенно растроганнымъ голосомъ: „соловушка, спой мнѣ свою сладкозвучную пѣсню!“ Если пѣсня оказывается неудовлетворительною, она отправляется вечеромъ въ кіоскъ, возводитъ задумчиво глаза на луну, кладетъ голову на грудь Антониночки, вздыхаетъ, и новые потоки слезъ орошаютъ ея полныя щеки.

Бесѣда Фанагоріи Петровны и Балахнова была разстроена приходомъ стараго управителя, который возвѣстилъ, что кушанье подано.

— Кушать, кушать, господа! Милости прошу, Аристархъ Ѳедоровичъ! Порфирушка, полно тебѣ ходить...

пожалуйте, милый, дорогой гость... я не буду мѣшать вашему аппетиту...

— Отчего же? напротивъ, вы усладите своимъ присутствіемъ нашу, и безъ того, вѣроятно, роскошную трапезу, произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поставившій себѣ за непремѣнный долгъ быть краснорѣчиво-любезнымъ съ прекраснымъ поломъ.

— О, льстецъ!.. Всѣ вы, мужчины, таковы! проговорила вдова, лукаво грозя пальцемъ.—Впрочемъ, мы займемся въ это время съ Антониночкой... Да гдѣ жъ она?.. Анція! Тоничка! Антонія! Мы пойдемъ съ ней на берегъ пруда и нарвемъ вамъ очаровательный букетъ незабудокъ, прибавила она, жеманясь до неимовѣрности.

Аристархъ Ѳедоровичъ снисходительно улыбнулся, выпрямилъ грудь и, дружески трепнувъ по плечу Порфирія Павловича, вышелъ съ нимъ въ залу.

— Что, братецъ, съ тобой? спросилъ онъ, когда они усѣлись за столъ.

— Ахъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, что̀ вы надѣлали!.. произнесъ раздирающимъ голосомъ Васильковъ.

— Что такое?

— Помилуйте, вы сказали при Антониночкѣ, что я познакомился на станціи съ Миловзоровыми...

— Ну, что жъ изъ этого?..

— Ахъ, если бъ вы видѣли, возразилъ Васильковъ, едва удерживаясь отъ слезъ,—она говорить со мной даже не хочетъ!.. Зачѣмъ вы это сдѣлали?.. Боже! того ли ждалъ я, когда мы подъѣзжали къ околицѣ!

— Э-ге-ге, братъ, такъ вотъ оно что! Ну, поздравляю: если съ этихъ поръ она начинаетъ выкидывать такія штуки—нечего сказать, сама она послѣ этого штучка, да и какая еще!..

— Нѣтъ, охъ, нѣтъ, она премилая! Но, знаете, Аристархъ Ѳедорычъ, страхъ раздражительна, какъ всѣ нервныя женщины. Боже мой, Боже мой, что̀ вы надѣлали!

— Охъ, ужъ мнѣ эти раздражительныя! замѣтилъ Балахновъ, переносясь мыслями къ женѣ, которую онъ также считалъ почему-то раздражительною и капризною.—Вотъ ты дай-ка ей волю! продолжалъ онъ, значительно поднимая брови.—Посмотри, что̀ она изъ тебя тогда сдѣлаетъ! Она сердится, дуется, а ты самъ разсердись, отойди прочь, да и не говори съ нею ни слова во весь вечеръ: сама подойдетъ.

— Не могу, клянусь, не могу, Аристархъ Өедорычъ. Такъ сердце вотъ и надрывается!.. Какъ взглянетъ, такъ весь точно ослабну, знаете, и даже ноги дрожать начинаютъ... клянусь! заключилъ Васильковъ, утирая глаза, въ которыхъ блеснули слезы.

Балахновъ принялся увѣщевать своего protégé—ничего не помогало: protégé ничего не ѣлъ, не пилъ и всталъ изъ-за стола окончательно разстроеннымъ.

Когда они вошли въ гостиную, Фанагорія Петровна сидѣла на диванѣ съ свѣжими розами на щекахъ и двумя пучечками незабудокъ за каждымъ ухомъ: она сидѣла, подпершись локтемъ, погруженная въ сладкое раздумье, и, казалось, не замѣчала вошедшихъ; вдругъ она испустила маленькій крикъ, вздрогнула и улыбнулась.

— Ахъ! сказала она, щуря свои глаза,—ахъ, какъ вы меня испугали!.. Ну, что, Арррристархъ Өедорычъ, я думаю, вамъ очень не показался нашъ обѣдъ?.. Извините, чѣмъ богаты, тѣмъ и рады; въ нашей скромной хижинѣ не найдете вы, рррразумѣется, того, что привыкли встрѣчать въ вашихъ палатахъ, продолжала она, бросая чарующій взглядъ на Балахнова, который благодарилъ за радушный пріемъ.—Порфирій, что̀ съ тобой? Посмотрите, Аристархъ Өедорычъ, и это женихъ! подхватила она, указывая на Василькова, сидѣвшаго на стулѣ съ всклоченными волосами и не спускавшаго унылыхъ глазъ съ двери спальни.—Ахъ, Боже мой! Тоничка! Анція! Антонія! помилуй, душа моя, что̀ это значитъ! Посмотри на своего жениха. Отчего ты не займешь его? заключила Фанагорія Петровна, когда дочь показалась въ дверяхъ.

— Мнѣ кажется, если я не ошибаюсь, замѣтилъ съ свѣтскою шутливостью Балахновъ, — мнѣ кажется, между Антониною Васильевной и ея женихомъ пробѣжала маленькая черная кошечка... Впрочемъ, примолвилъ онъ съ улыбкой, — влюбленные всегда ссорятся, чтобъ имѣть потомъ удовольствіе помириться...

Добродушное лицо Порфирія Павловича озарилось надеждой, и подъ страшными усами его показалась улыбка; но все это мгновенно исчезло, когда Антониночка отвернулась къ окну.

Въ то же время управитель ставилъ на овальный столъ огромный подносъ, покрытый блюдечками съ вареньемъ.

— Вотъ клубника, милый сосѣдъ. Мы сами, то-есть я и Антоша, ходили рвать ее на берегъ рррручья. Аристархъ

Ѳедорычъ, пожалуйста... Охъ, Боже мой, и это влюбленные! Аристархъ Ѳедорычъ! продолжала Фанагорія Петровна, подмигивая ему на дочь и жениха, — и это влюбленные... кто бы этому повѣрилъ? О, любовь! любовь! проговорила она, возводя очи къ потолку и вздыхая. — Послушай, Анція, какъ вамъ обоимъ не стыдно? Антонія, ты бы постаралась разсѣять своего жениха — это твое дѣло. Спой намъ что-нибудь, мой ангелъ; ты такъ мило поешь...

— Нѣтъ, маменька, я не стану пѣть.

— Отчего же, мой дружочекъ?

— У меня болитъ горло, сухо отвѣчала барышня.

Порфирій Павловичъ чуть не заплакалъ.

— Вотъ, подхватила Фанагорія Петровна, приподымаясь съ дивана и подходя разсѣянно къ клавикордамъ,—вотъ, Аристархъ Ѳедорычъ, молодежь-то какая нынче!.. горло болитъ! Ахъ, въ ея лѣта у меня никогда не болѣло горло! Въ ея лѣта я пѣла цѣлый день, какъ птичка поднебесная... и прекрасно даже пѣла...

— Вы и теперь, маменька, очень мило поете, сказалъ меланхолически Васильковъ, рѣшившись наконецъ послѣдовать совѣту Аристарха Ѳедоровича и попробовать не обращать вниманія на дурное расположеніе своей невѣсты.

Сказавъ это, онъ подошелъ къ будущей тёщѣ и раскрылъ клавикорды.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, теперь ужъ не то! проговорила будущая тёща, картавя до невозможности и садясь за фортепіано.

Она украдкою взглянула на Балахнова и взяла аккордъ.

Клавикорды издали слабый, едва внятный звукъ, доступный вполнѣ тѣмъ развѣ героямъ русскихъ сказокъ, которые пользовались преимуществомъ подслушивать, какъ трава растетъ; но это нимало не смутило героини этой главы: она взяла новый аккордъ, возвела очи сначала къ небу, потомъ на Аристарха Ѳедоровича и запѣла тоненькимъ, дрожащимъ голосомъ извѣстный старинный романсъ:

Въ хижинѣ унылой
Вижу образъ милой, и проч.

Послѣднія слова, произнесенныя съ необыкновеннымъ чувствомъ, не успѣли еще слиться съ аккордомъ, когда Аристархъ Ѳедоровичъ, стоявшій за стуломъ, а за нимъ Васильковъ, все еще не покидавшій дерзновеннаго плана досадить невѣстѣ, осыпали пѣвицу похвалами. Пѣніе ро-

манса перенесло Фанагорію Петровну къ воспоминаніямъ дѣтства; она пересѣла на диванъ и принялась разсказывать исторію своихъ первыхъ годовъ. Аристархъ Ѳедоровичъ слушалъ и, повидимому, очень внимательно; но когда сосѣдка начала распространяться о супружеской жизни, выставляя въ яркихъ краскахъ положеніе женщины, часто угнетаемой мужемъ-эгоистомъ, Балахновъ потеръ себѣ лобъ и сказалъ, что пріѣхалъ къ ней за дѣломъ.

— Оставьте насъ, дѣти; Богъ съ вами! сказала вдова, перемѣняя позу,—подите, погуляйте въ залѣ, или въ саду... Заранѣе соглашаюсь на всѣ ваши просьбы, милый, любезный сосѣдъ, добавила она, устремляя на Аристарха Ѳедоровича глаза, которые подтверждали, какъ нельзя лучше, ея слова.

Антониночка сдѣлала кислую гримасу и вышла въ залу; Порфирій Павловичъ, начинавшій уже каяться и даже приходить въ отчаяніе, что осмѣлился слѣдовать дерзкимъ совѣтамъ Балахнова, побѣжалъ за нею.

— Что вамъ отъ меня угодно? сказала Антониночка, когда онъ подошелъ къ ней, полный раскаянія и смиренія,—сдѣлайте милость, оставьте меня. У васъ есть „милыя“ дамы, съ которыми вы знакомитесь на станціяхъ: поѣзжайте къ нимъ... я вамъ вовсе не нужна, и между нами все кончено!..

— Боже! я несчастнѣйшій человѣкъ въ цѣломъ свѣтѣ! воскликнулъ Васильковъ, падая на стулъ и закрывая лицо руками.

— Сдѣлайте милость, оставьте всѣ ваши фарсы; я имъ не вѣрю. Вы, можетъ быть, плачете потому, что слишкомъ скоро разстались съ вашими милыми знакомками...

— Выслушайте меня... Я невиненъ, клянусь! простоналъ Васильковъ, простирая отчаянно руки.

— Ну, что вамъ угодно? спросила жестокая Антонія, останавливаясь передъ женихомъ и бросая на него презрительный взглядъ.

Снова лучъ надежды блеснулъ на лицѣ несчастнаго Василькова; онъ подошелъ къ невѣстѣ и умиленно началъ разсказывать ей исторію новаго знакомства. Расхаживая взадъ и впередъ по залѣ, они невольно услышали нѣсколько отрывчатыхъ фразъ, выходившихъ изъ гостиной.

— Да помилуйте, милый сосѣдъ, говорила Фанагорія Петровна,—я назначаю ей кучера Ермолая и прачку Ѳе-

тинью; у нихъ еще и сынъ Михайло... Мишка... и дочка Лукерья...

— Все это прекрасно, любезная сосѣдка; но сами посудите, возражалъ убѣдительно Балахновъ, — вся часть расходовъ, свадебныя издержки на его рукахъ. Онъ человѣкъ кроткій, тратиться не станетъ; все пойдетъ вашей же дочери. Тысячи три устроятъ, какъ нельзя лучше, будущее ихъ хозяйство...

Въ другой разъ, именно, когда женихъ объяснялъ невѣстѣ покупку лошадей и причины, заставившія его снизойти къ просьбѣ Миловзоровыхъ, изъ дверей гостиной ясно послышалось:

— Нѣтъ, милый, любезный сосѣдъ, вамъ, какъ я вижу, ни въ чемъ нельзя отказать...

Результатъ объясненій Василькова имѣлъ, однакожъ, самыя гибельныя послѣдствія: Антониночка пришла въ неописанное негодованіе, когда узнала, что женихъ далъ слово пріѣхать къ Миловзоровымъ и даже обѣщалъ привезти ее къ нимъ.

— Какъ? вскричала она,—и вы осмѣлились, и вы думаете, что я поѣду къ какимъ-нибудь милымъ дамамъ, которыя заводятъ знакомства съ мужчинами? Никогда, никогда этого не будетъ! слышите ли: никогда! закричала она, топнувъ ножкой и уходя въ дверь, гдѣ раздавалась свадебная пѣсня дѣвокъ, шившихъ приданое.

Васильковъ вошелъ въ гостиную какъ приговоренный къ смерти: на немъ лица не было.

— Поздравляю! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Благодари, братецъ, Фанагорію Петровну: она согласилась устроить то, о чемъ я просилъ ее, то-есть выдать тебѣ денегъ на свадебные расходы.

— Охъ, нѣтъ, нѣтъ, мнѣ ничего теперь не надо! проговорилъ Порфирій Павловичъ изнемогающимъ голосомъ.

— Какъ? что? опять поссорились?

— Нѣтъ, это ни на что не похоже! воскликнула Фанагорія Петровна.—Тоничка! Анція! Антонія! Анція! Что это, другъ мой? продолжала она, обращаясь съ плачевнымъ укоромъ къ дочери, которая входила въ гостиную.—Порфишенька, другъ мой, на что это похоже, скажите на милость? Сейчасъ же прошу помириться. Анція! поцѣлуй своего жениха. Порфирій Павлычъ, слышишь?

Антониночка снова подставила свою щеку, и какъ только

женихъ поцѣловалъ ее, отошла къ окну съ самымъ недовольнымъ видомъ.

Порфирій Павловичъ упалъ окончательно духомъ.

Вскорѣ послѣ чая, который не замедлилъ явиться на овальномъ столѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ взялся за шляпу и приказалъ подавать лошадей.

— Боже! какъ скоро день прошелъ! О, повѣрьте, милый, любезный сосѣдъ, этотъ день будетъ однимъ изъ лучшихъ воспоминаній моей жизни! сказала Фанагорія Петровна, украшая новымъ розаномъ правую щеку сосѣда, который, между тѣмъ, разсыпался въ любезностяхъ.

— Прощайте, маменька! воскликнулъ Васильковъ, роняя слезу на руку будущей тёщи.

— Это что такое? Ахъ Боже мой!

— Маменька! Она меня не любитъ! проговорилъ Васильковъ раздирающимъ голосомъ.

Этотъ маленькій случай задержалъ на минуту отъѣздъ. Фанагорія Петровна снова потребовала, чтобъ женихъ и невѣста поцѣловались и помирились разъ навсегда. Взявъ слово отъ милаго сосѣда, что онъ не забудетъ скромной хижинки сельца Грачовки, и приказавъ Порфирію Павловичу явиться чрезъ два дня для составленія списка покупкамъ и для окончательныхъ распоряженій, Фанагорія Петровна, сопровождаемая Антониночкой, вышла на крыльцо провожать дорогихъ гостей.

— Прощайте, милый, любезный, очарррровате-ль-ный сосѣдъ! Прощай, Порфирій! кричала она, размахивая платкомъ вслѣдъ отъѣзжающему экипажу.

И долго еще махала она платкомъ, облокотившись меланхолически на плечо Антониночки, которая смотрѣла, между тѣмъ, на прудъ и заходящее солнце.

Какъ только облако золотистой пыли, поднятой колесами, улеглось на дорогу, Фанагорія Петровна спустилась меланхолически по ступенькамъ крыльца и ушла въ садъ. Долго блуждала она въ поэтическомъ экстазѣ по берегу пруда и, наконецъ, вошла въ кіоскъ. Давно уже сельцо Грачовка окуталось тѣнью; давно наступила свѣтлая лѣтняя ночь со своими звѣздами на синемъ небѣ и тихимъ, теплымъ воздухомъ, распускавшимъ ароматъ цвѣтущихъ черемухъ и яблонь; давно показался полный мѣсяцъ изъ-за головастыхъ ветелъ, глядѣвшихъ черными массами въ серебрившійся прудъ—а Фанагорія Петровна все еще сидѣла въ кіоскѣ, слѣдя съ какою-то особенною тоскою

за падающей звѣздой, или прислушиваясь къ пѣнію соловья, который трещалъ и заливался въ отдаленіи...

XI.

Николай Степановичъ Окатовъ и Софья Алексѣевна Окатова, урожденная княжна Жирофлѐ-Никитская,—въ своемъ домашнемъ быту.

Николай Степановичъ былъ, если хотите, чудакъ, и даже страшный чудакъ, но ужъ, во всякомъ случаѣ, онъ не былъ такимъ мрачнымъ и нахмуреннымъ чудакомъ, какимъ казался на видъ. Онъ дѣлался мрачнымъ только тогда, когда приводилось ему переступать за порогъ домашняго очага и ѣхать въ гости. Выѣзжать въ гости, или принимать къ себѣ гостей онъ терпѣть не могъ и составлялъ въ этомъ случаѣ совершенную противоположность Аристарху Ѳедоровичу, который, напротивъ того, обнаруживалъ мрачныя свойства каждый разъ, когда оставался безъ гостей наединѣ со своимъ семействомъ. Источникъ несообщительности Окатова нимало не проистекалъ изъ его характера или душевныхъ наклонностей; главною виною, мнѣ кажется, была природная водобоязнь и злосчастная экспедиція изъ Петербурга въ Кронштадтъ, окончившаяся, какъ уже извѣстно, страшною качкой. Не будь онъ подверженъ водобоязни, не случись качки — надъ нимъ бы не смѣялись, и онъ не заключился бы съ раннихъ лѣтъ въ селѣ Большія-Соли, доставшемся ему послѣ отца. Николай Степановичъ прожилъ нѣсколько лѣтъ сряду въ глухомъ одиночествѣ, и, полный еще страшнаго эпизода, возбудившаго общій смѣхъ, дѣйствительно долженъ былъ ожесточиться противъ людей настолько же, насколько ненавидѣлъ морскую стихію. На двадцать пятомъ году молодость взяла, однакожъ, свои права надъ мизантропіею: онъ влюбился въ бѣдную дѣвушку, женился и зажилъ семьяниномъ. Семейная жизнь была истиннымъ назначеніемъ Николая Степановича. Дни и мѣсяцы проходили у него въ сладостномъ, безмолвномъ созерцаніи хорошенькой жены, которую съ утра еще усаживалъ онъ на канапе, разодѣтую по-бальному. Онъ выучилъ даже по этому случаю французскую пѣсню:

„Mire dans tes yeux, mes yeux
Charmante brunette...“

и вообще былъ такъ счастливъ своею созерцательною жизнью, что ни къ кому не ѣздилъ, никого не хотѣлъ видѣть и жену никуда не пускалъ и никому не показывалъ.

Должно полагать, однакожъ, что супруга Окатова обладала натурой въ высшей степени слабой или капризной; созерцательная жизнь произвела на нее въ скоромъ времени самое разрушительное дѣйствіе. Она начала сохнуть, вянуть, и на второй же годъ—послѣ того, какъ произвела на свѣтъ дочку—обратилась окончательно въ пепелъ, который разнесся при первомъ дуновеніи весенняго вѣтра.

Николай Степановичъ пришелъ въ неописанное отчаяніе. Онъ рвалъ на себѣ волосы, рыдалъ на весь домъ три мѣсяца сряду и цѣлый годъ не выходилъ изъ своего кабинета. Такая упорная усидчивость вошла незамѣтно въ привычку; въ продолженіе пятнадцати лѣтъ много-много если онъ выѣхалъ пять или шесть разъ къ Солонееву и его дядѣ, съ которыми не былъ еще тогда въ ссорѣ. Вторая и послѣдняя женитьба Николая Степановича заточила его окончательно и почти безвыѣздно въ селѣ Большія-Соли. Женитьба эта произошла слѣдующимъ образомъ: сестра Николая Степановича, проживавшая въ Петербургѣ, изъявила желаніе взять на себя воспитаніе его дочери. Резоны, приводимые ею, были такъ очевидны и вмѣстѣ съ тѣмъ положительно здравы, что Окатовъ поневолѣ заглушилъ въ себѣ ненависть къ приморскому городу, взялъ дочь и поѣхалъ въ Петербургъ. На обратномъ пути, совершенномъ съ необыкновенною поспѣшностью, онъ завернулъ въ Москву, чтобъ ужъ заодно повидаться съ родными, и остановился у богатой, старой тетки. Къ богатой теткѣ ѣздило много знатныхъ дамъ, и въ числѣ этихъ дамъ особенно часто показывалась княгиня Жирофлѐ-Никитская. (Князь Шасьѐ, маркизъ Жирофлѐ, французскій эмигрантъ, женился на дѣвицѣ Никитской единственно для того только, чтобъ доказать, что ему не стоило ровно никакого труда прокутить восемьдесятъ тысячъ дохода женина приданаго—и доказалъ это, нужно замѣтить, блистательнѣйшимъ образомъ. Послѣ своей смерти онъ оставилъ женѣ титулъ княгини, съ присовокупленіемъ имени Жирофлѐ къ прежней ея фамиліи, и нѣсколько прелестнѣйшихъ дочерей). Можете представить, какую страшную тревогу забило чадолюбивое сердце княгини, когда она узнала, что Окатовъ вдовецъ съ изрядным состояніемъ! Она приняла въ немъ тотчасъ же са-

мое живое участіе и изъявила самое искреннее сожалѣніе, что человѣкъ съ его именемъ, состояніемъ и достоинствами пропадаетъ для свѣта, въ которомъ могъ бы служить лучшимъ украшеніемъ, и предпочитаетъ ему одинокую, скучную деревенскую жизнь. Николай Степановичъ не возражалъ; ободренная его молчаніемъ, княгиня Жирофлѐ-Никитская сообщила человѣколюбивыя мысли свои старой пріятельницѣ, теткѣ Окатова, и, дней пять спустя, мысли эти, переходя отъ одной къ другой, воодушевили до такой степени нѣсколькихъ почтенныхъ особъ, что онѣ, не медля ни минуты, принялись рыть траншеи, волчьи ямы, рвы, воздвигать брустверы и повели правильную осаду на владѣтеля села Большія-Соли. Блокада увѣнчалась блистательнымъ успѣхомъ: непріятель ворвался въ самое сердце крѣпости, разгромилъ, перебудоражилъ тамъ все и привелъ въ такую страшную слабость нравственную силу гарнизона, что крѣпости оставалось только сдать ключи и подчиниться во всемъ волѣ побѣдителей. Знамя побѣды (какъ водится въ такихъ случаяхъ) предоставлено было водрузить старшей дочери княгини, тридцатилѣтней дѣвицѣ, необыкновенно величавой и гордой, которая, впрочемъ, и безъ позволенія не уступила бы такого права остальнымъ сестрамъ.

Софья Алексѣевна Жирофлѐ-Никитская (такъ звали княжну) принадлежала къ числу зрѣлыхъ и энергическихъ дѣвушекъ. Сдѣлавшись хозяйкою крѣпости, она предписала ей повидимому самыя выгодныя условія мира, но въ сущности сохранила надъ нею свою власть и такъ хитро повела дѣло, что власть незамѣтнымъ образомъ обратилась въ непреложный законъ. Она сдѣлалась полною распорядительницею всѣхъ частей управленія, не выключая даже финансовой. Николай Степановичъ, какъ новый Марсъ, попавшій въ сѣти Венеры, не воспротивился такому деспотизму: онъ былъ подавленъ величіемъ своей супруги, очарованъ ея прелестями. Несмотря на то, что самъ былъ страшно самолюбивъ, онъ сознавался въ душѣ, что предпочтеніе, оказанное ему передъ другими женихами, приносило все-таки величайшую честь его лицу, и потому, вѣроятно, находилъ превосходнымъ все, что̀ ни предпринимала и ни дѣлала его супруга. Онъ не сказалъ даже слова, когда она объявила, что для поддержанія достоинства ей необходимо будетъ ѣздить каждую зиму въ Москву или Петербургъ.

— Княжна Жирофлѐ-Никитская! восклицалъ онъ обыкновенно, когда оставался наединѣ, — княжна Жирофлѐ-Никитская!.. повторялъ онъ, ударяя себя ладонью въ верхнюю часть груди; потомъ, проводя ладонью по всѣмъ пуговицамъ, бросалъ величественный взглядъ въ зеркало, закидывалъ назадъ голову и начиналъ самодовольно маршировать по комнатѣ.

Пріѣхавъ въ Большія-Соли, Софья Алексѣевна объявила во всеуслышаніе, что терпѣть не можетъ провинціи и никого не удостоитъ своимъ визитомъ. Николай Степановичъ, какъ сказано выше, былъ гордъ и честолюбивъ. Онъ понялъ, что такой особѣ, какъ жена его, не слѣдъ было слоняться съ визитами по уѣзду. Не штука—княжна Жирофлѐ-Никитская!.. Слѣдствіемъ этого было, разумѣется, то, что никто изъ сосѣдей не показалъ въ Большія-Соли кончика своего носа. Все это ничего бы еще не значило: въ провинціи очень невзыскательны къ богатымъ сосѣдямъ, и Софьѣ Алексѣевнѣ стоило только по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ сдѣлать первый визитъ, чтобъ наводнить свой домъ многочисленнымъ обществомъ; но дѣло въ томъ, что, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, Софья Алексѣевна совѣмъ почти перестала жить въ Большихъ-Соляхъ. Сначала, вмѣсто одного выѣзда въ годъ, она начала выѣзжать три раза: вскорѣ послѣ перваго весенняго обоза, немедленно послѣ экстреннаго лѣтняго обоза, и, наконецъ, послѣ перваго осенняго; а тамъ уже потребовалось дышать столичнымъ воздухомъ во всякое время, когда только заблагоразсудится. Предлогомъ для такихъ поѣздокъ служили большею частію домашнія непріятности и сцены, если можно только назвать этимъ именемъ тѣ рѣдкіе случаи, когда Николай Степановичъ изъявлялъ несогласіе въ какомъ-нибудь хозяйственномъ пунктѣ. Стоило ему заупрямиться, сказать „нѣтъ“, — и ужъ все кончено: слѣдовало затѣмъ немедленное приказаніе закладывать дормезъ и приготовлять все нужное для отправленія въ Петербургъ. Несогласія выходили большею частью изъ-за дѣтей и особенно изъ-за старшаго сына, девятилѣтняго мальчика, который былъ любимцемъ отца и матери.

Итакъ, Николай Степановичъ жилъ почти одинъ-одинешенекъ въ своихъ Большихъ-Соляхъ. Дѣти, старая француженка-гувернантка, мадамъ Бускѐ, и мужъ ея, мосье Бускѐ—составляли все его общество. Несмотря на

то, онъ былъ чрезвычайно доволенъ. Взглянувъ на него въ домашнемъ быту, вы не повѣрили бы, что передъ вами находится тотъ самый господинъ, который еще наканунѣ казался такимъ мрачнымъ и молчаливымъ. Онъ не переставалъ разговаривать съ дѣтьми, съ мосье Бускѐ и съ мадамъ Бускѐ, не переставалъ въ то же время расхаживать быстрыми шагами по залу, выпивая на каждомъ поворотѣ стаканъ свѣжей воды со льдомъ и самодовольно закидывая назадъ голову. Изрѣдка лишь останавливался Николай Степановичъ, чтобъ посмотрѣться въ зеркало, ударить себя въ грудь ладонью, потомъ провести ладонью по пуговицамъ и воскликнуть самодовольно: „Ни-ко-лай Сте-па-нычъ Ока-товъ... о! о! оо!!!“ Онъ любилъ также иной разъ прочесть во всеуслышаніе басню Измайлова, или страничку изъ „Энеиды“ Котляревскаго, которую считалъ первымъ сочиненіемъ въ мірѣ, но смѣло можно утверждать, что бесѣду съ мадамъ Бускѐ предпочиталъ онъ всѣмъ остальнымъ удовольствіямъ. Онъ любилъ повѣствовать ей о своихъ мореходныхъ похожденіяхъ по Финскому заливу, изображая яркими красками страшную картину качки, умѣлъ незамѣтнымъ образомъ перейти къ описанію того, какъ женился на первой женѣ, потомъ на второй, и кто такая была его вторая жена; затѣмъ слѣдовали горячіе споры о томъ, что есть въ Россіи и чего нѣтъ на берегахъ Луары; потомъ разговоръ переходилъ къ воспитанію дѣтей. Николай Степановичъ соглашался во всѣхъ пунктахъ съ мадамъ Бускѐ и говорилъ обыкновенно, указывая ей на бѣлые воротнички и щегольскую одежду дѣтей своихъ: „J'aime ça, madame; c'est noble, c'est noble; j'aime ça...“ Николай Степановичъ очень плохо говорилъ по-французски, но, несмотря на то, чрезвычайно любилъ изъясняться на этомъ языкѣ. Присутствуя постоянно въ залѣ при дѣтскихъ урокахъ, онъ самъ сдѣлался въ скоромъ времени ученымъ и очень дѣльно разсуждалъ иной разъ объ отвлеченныхъ предметахъ. Какъ всѣ новички ученаго званія, онъ любилъ похвастать своими свѣдѣніями, пріобрѣтенными наканунѣ. Такъ, напримѣръ, почерпнувъ у мадамъ Бускѐ какую-нибудь премудрость, онъ немедленно отправлялся въ комнату мосье Бускѐ и сообщалъ ему о почерпнутой премудрости, съ увѣренностью человѣка, давно обдумавшаго этотъ предметъ. Мосье Бускѐ кивалъ головою, разсыпался въ комплиментахъ, и Николай Степановичъ возвращался

въ зало, не забывъ напередъ остановиться передъ зеркаломъ, чтобы ударить себя въ грудь и воскликнуть торжественно: „Ни-ко-лай Сте-па-нычъ Ока-товъ! о! о! о!“ Изъ этого ясно, кажется, видно, что Николай Степановичъ, благодаря врожденной любознательности и склонности къ семейной жизни, не могъ скучать въ домашнемъ быту даже и тогда, когда Софья Алексѣевна находилась въ отлучкѣ.

Мы застаемъ Николая Степановича на другой день послѣ пріѣзда его изъ Горшкова. Онъ возвратился домой очень поздно и, къ величайшему своему ужасу, долженъ былъ сдѣлать половину дороги въ ночное время. Но теперь онъ всталъ, умылся, выбрился, одѣлся (Николай Степановичъ одѣвался дома такъ же чисто и тщательно, какъ одѣваются другіе, когда ѣдутъ въ гости). Разспросивъ гайдуковъ своихъ, Прошку и Сѣвку, о томъ, проснулась ли барыня, и получивъ отрицательный отвѣтъ, Николай Степановичъ выпилъ стаканъ воды со льдомъ и вышелъ въ залу.

Бьетъ десять часовъ. Посреди залы стоитъ круглый, складной дубовый столъ, покрытый черной клеенкой; на столѣ разбросаны книги, прописи, тетради. Во главѣ сидитъ мадамъ Бускѐ, крошечная старушка съ необыкновенно добродушнымъ лицомъ, покрытымъ безчисленнымъ множествомъ тоненькихъ морщинокъ и украшеннымъ очками въ черепаховой оправѣ. На ней темный коричневый капотъ и необъятной величины чепецъ съ свѣтло-желтыми лентами. По обѣимъ сторонамъ ея сидятъ дѣвочки, лѣтъ семи и восьми — обѣ одѣтыя чрезвычайно чисто и даже щеголевато; онѣ пригнулись съ высокихъ стульевъ на столъ и прилежно выводятъ тоненькими ручками какія-то каракули, изрѣдка отбивая ладонью длинные каштановые локоны, которые то и дѣло падаютъ имъ на глаза. Немного поодаль сидитъ девятилѣтній мальчикъ въ темно-зеленой курточкѣ и бѣлыхъ, какъ снѣгъ, воротничкахъ. Онъ положилъ одну ногу на стулъ, локтемъ уперся въ книжку и разсѣянно смотритъ въ потолокъ, наблюдая движенія мухъ. „Dites donc le bonjour à papa!“ говоритъ мадамъ Бускѐ, дѣлая книксенъ. Дѣвочки цѣлуютъ руку отцу, садятся на свои высокіе стулья и принимаются усердно выводить каракули. Мальчикъ бросается на шею къ папашѣ, возвращается на свое мѣсто и продолжаетъ слѣдить за мухами. Видно по всему, что онъ баловень.

Бьетъ половина одиннадцатаго. Николай Степановичъ выпиваетъ новый стаканъ воды со льдомъ и начинаетъ ходить по комнатѣ, разглаживая грудь и останавливаясь по временамъ передъ зеркаломъ. Мадамъ Бускѐ вооружается книгой и диктуетъ тихимъ голосомъ эпизодъ изъ греческой исторіи.

Бьетъ одиннадцать часовъ. Николай Степановичъ выпиваетъ еще воды и продолжаетъ расхаживать по залѣ, прислушиваясь любознательно къ тому, что̀ диктуетъ гувернантка. Мало-по-малу, лицо Николая Степановича принимаетъ глубокомысленно задумчивое выраженіе, онъ устремляетъ мысленный взоръ на великихъ людей древней Аттики и мысленно заводитъ съ ними пріятную, поучительную бесѣду. Дѣло дошло до Сократа; Николай Степановичъ хмуритъ брови и принимаетъ гордую осанку, какъ будто встрѣтилъ въ кругу пріятелей совершенно незнакомое лицо. Бьетъ половина двѣнадцатаго, недоумѣніе насчетъ Сократа усиливается; мысленный взоръ Николая Степановича никакъ не можетъ помириться съ этимъ новымъ лицомъ. Наконецъ, любовь къ древнему аттическому міру беретъ верхъ надъ предразсудками. Николай Степановичъ выпиваетъ стаканъ воды со льдомъ, подходитъ къ столу и, устремивъ тревожно безпокойный взоръ на мадамъ Бускѐ, спрашиваетъ густымъ, отрывистымъ басомъ:

— Dites moi, madame, est-ce que Socrate était français?..

Мадамъ Бускѐ подымаетъ голову и отвѣчаетъ учтиво:

— Non, monsieur, était un grec...

Николай Степановичъ очень доволенъ своимъ ученымъ изслѣдованіемъ; мысленный взоръ его видитъ теперь очень ясно; густыя брови его распрямляются; онъ бросаетъ привѣтливую улыбку навстрѣчу мудрецу и выпиваетъ новый стаканъ воды.

Бьетъ двѣнадцать часовъ. Николай Степановичъ самодовольно закидываетъ назадъ голову и направляется уже въ комнату господина Бускѐ, чтобъ сообщить ему плодъ своихъ историческихъ разысканій, какъ вдругъ дверь въ залу отворяется и на порогѣ показывается Софья Алексѣевна.

— Dites donc le bonjour à maman! говоритъ мадамъ Бускѐ, дѣлая книксенъ.

Софья Алексѣевна протягиваетъ руку двумъ дѣвочкамъ,

нѣжно прижимаетъ къ своему материнскому сердцу сына, киваетъ головой гувернанткѣ и протягиваетъ руку Николаю Степановичу.

Софьѣ Алексѣевнѣ сорокъ лѣтъ, но она до сихъ поръ еще прекрасна, несмотря на то, что полнота начинаетъ замѣтнымъ образомъ овладѣвать ея стройною таліей. Она держится необыкновенно величаво, прямо, и потому сохраняетъ свой ростъ, который давно, еще въ Москвѣ, когда она была княжной Жирофлѐ-Никитской, заслужилъ ей названіе Семирамиды. Она причесана en cheveux, безъ чепчика, и бѣлокурые, золотистые, густые ея волосы обрамливаютъ изящными бандо свѣжее лицо, украшенное прелестнымъ ртомъ и зубами бѣлизны ослѣпительной. Шелковый синій капотъ, обшитый такими же шнурками, согласуется какъ нельзя болѣе съ ея полными, бѣлыми руками и шеей, окруженной широкими кружевами, падающими, какъ пѣна, на высокую ея грудь.

Потрепавъ еще разъ своего сына по плечу и взглянувъ въ тетради дочерей, Софья Алексѣевна поплыла величаво, точно фрегатъ на всѣхъ парусахъ, въ боковую гостиную и усѣлась на диванъ.

За ней выступилъ Прошка съ серебрянымъ подносомъ, уставленнымъ фарфоромъ и серебрянымъ чайникомъ, покрытымъ тонкою салфеткой; за Прошкой слѣдовалъ Сѣвка, почтительно держа руками, обтянутыми въ бѣлыя вязаныя перчатки, корзину съ хлѣбомъ и булками.

Николай Степановичъ подошелъ къ зеркалу, пригладилъ на вискахъ пучки сѣдыхъ завитковъ, пришедшихъ въ разстройство въ тяжелое время историческихъ его разысканій, и сѣлъ подлѣ жены.

— Какъ ты себя чувствуешь, другъ мой? спросилъ онъ, облокачиваясь локтемъ на ручку креселъ.

Софья Алексѣевна медленно приподняла рѣсницы, сдѣлала какое-то движеніе губами и сказала разсѣянно:

— Не совсѣмъ хорошо...

Софья Алексѣевна, нужно замѣтить, была не въ духѣ въ это утро: она ждала, нѣсколько дней сряду, писемъ, которыя должны были ускорить ея отъѣздъ въ Петербургъ.

— Гдѣ вы были вчера? спросила она, едва трогая губами и принимаясь перелистывать французскій романъ, лежавшій на столѣ подлѣ чайнаго прибора.

— Я ѣздилъ, другъ мой, въ Горшковъ; просилъ Балахновъ, словоохотливо началъ Николай Степановичъ.

— Опять Балахновъ! и вѣчно, вѣчно одинъ и тотъ же Балахновъ? Что же нужно этому Балахнову?.. возразила супруга, продолжая перелистывать одною рукою романъ, тогда какъ другая рука ея протягивалась къ чашкѣ.

— Знаешь, другъ мой, ту долину, что прежде принадлежала Солонееву... ну, да словомъ, та самая, что выходитъ на большую дорогу?.. Балахновъ просилъ меня продать ее, и мы ѣздили въ Горшковъ, чтобъ совершить купчую.

Брови Софьи Алексѣевны сдѣлали выразительное движеніе; она подняла голову.

— Мнѣ кажется, сказала она ровнымъ, величавымъ голосомъ, — мнѣ кажется, вамъ не мѣшало бы прежде спросить объ этомъ мое мнѣніе; долина эта мнѣ всегда очень нравилась; я даже думала устроить въ ней современемъ небольшой паркъ, куда бы можно было ѣздить верхомъ.

— Помилуй, душенька! сказалъ Окатовъ, разглаживая грудь, — ты никогда почти не живешь здѣсь; притомъ долина отстоитъ отъ насъ за двадцать пять верстъ; она составляетъ совершенный особнякъ и никуда, ни къ чему не годна... Впрочемъ, что̀ говорить объ этомъ! прибавилъ онъ, поправляя галстукъ и потряхивая головой, — дѣло уже сдѣлано, я далъ слово Балахнову.

— А я вамъ говорю коротко и ясно, что не хочу, чтобъ долина была продана, и тѣмъ менѣе продана Балахнову! отвѣчала Софья Алексѣевна, сухо поворачиваясь къ нему спиною.

— Экая досада! Что бы тебѣ, другъ мой, сказать мнѣ прежде о своихъ намѣреніяхъ! Я бы, конечно, и думать не сталъ; все было бы сдѣлано, какъ ты желаешь. Помилуй, можно бы даже устроить тамъ не только паркъ, но разбить цѣлый садъ въ англійскомъ вкусѣ... какъ тебѣ только хочется... Усадить главный видъ тополями, сиренью, выписать изъ Москвы статуй отъ Кампіони, главное мѣсто украсить статуею, знаешь, этого Сократа... знаменитаго грека, заключилъ онъ, дѣлая особенное удареніе на послѣднемъ словѣ.

— Подите, пожалуйста, разсказывать ваши вздоры мадамъ Бускѐ, если хотите! возразила нетерпѣливо супруга,— однимъ словомъ, я вамъ сказала, что не хочу, чтобъ вы продавали эту долину; кажется, ясно? прибавила она, толкнувъ чашку и принимаясь за свой романъ.

— Къ несчастью, другъ мой, этого никакъ нельзя сдѣлать.

— А я вамъ говорю, что можно, должно и будетъ сдѣлано.

Лицо Николая Степановича приняло безпокойное выраженіе, и черныя брови его обнаружили всѣ признаки лихорадочнаго состоянія; впрочемъ, онъ скоро оправился и сказалъ довольно даже рѣшительно:

— Этого нельзя сдѣлать.

Софья Алексѣевна захлопнула книжку и бросила на мужа взглядъ, какой бросаютъ люди съ высоты страсбургской колокольни.

— Нельзя! упрямо повторилъ Окатовъ.

— Что жъ? вы вѣрно хотите, чтобъ я сейчасъ же велѣла приказчику написать Балахнову, чтобъ онъ не смѣлъ думать о долинѣ?.. воскликнула Софья Алексѣевна, покрываясь румянцемъ.

— Нѣтъ, да что жъ это такое? заговорилъ Николай Степановичъ и вдругъ самъ побагровѣлъ и крикнулъ,— я этого не позволю, сударыня!

— Ха! ха! ха! вы не позволите! вы?.. вы?.. вы?.. залилась истерически Софья Алексѣевна, — а вотъ мы посмотримъ! заключила она, быстро приподымаясь съ дивана и дергая за сонетку.

— Я этого не позволю, сударыня! повторилъ съ возрастающимъ жаромъ супругъ, закидывая назадъ голову и принимаясь размахивать руками.

— А когда такъ, сказала Софья Алексѣевна, перемѣняя мгновенно интонацію и направляясь въ залу,—когда такъ, закладывать дормезъ! крикнула она, обращаясь къ Сѣвкѣ, который бѣжалъ на звонъ колокольчика.—Madame Bousquet, allez habiller le petit!

— Madame part?..

— Oui, à l'instant... preparez le petit... Что жъ ты? продолжала Софья Алексѣевна, обращаясь къ оторопѣвшему Сѣвкѣ, — слышишь, чтобъ сейчасъ же закладывали дормезъ: я ѣду въ Москву.

— Я этого не позволю. Не смѣть запрягать дормеза! произнесъ Николай Степановичъ, теряясь окончательно.

Софья Алексѣевна окинула молніеноснымъ взглядомъ залу и вылетѣла въ спальню. Николай Степановичъ замаршировалъ по залѣ, обнаруживая страшное волненіе; мадамъ Бускѐ побѣжала съ дѣтьми, вслѣдъ за матерью;

одинъ Сѣвка, какъ окаменѣлый, стоялъ на порогѣ, выставивъ правую ногу въ залу, а лѣвую въ переднюю.

Внезапно въ сосѣднихъ покояхъ раздался пронзительный крикъ. Крикъ этотъ, казалось, пробуравилъ насквозь Николая Степановича; горячность его мгновенно исчезла; онъ остановился и на широкомъ лицѣ его изобразился испугъ.

— Что такое? произнесъ онъ, обращая тревожные глаза на дверь, ведущую въ женину половину.

— Madame se trouve mal! крикнула госпожа Бускѐ, выбѣгая въ залу и спотыкаясь на каждомъ шагу, какъ будто увлекалъ ее собственный ея чепчикъ.

Если бъ сказали Николаю Степановичу, что Большія-Соли очутились на морскомъ берегу, или громъ упалъ прямехонько противъ его оконъ, или, что оба эти несчастія случились въ одно и то же время, онъ не отпрянулъ бы отъ мадамъ Бускѐ съ такою быстротою, какъ сдѣлалъ это въ настоящую минуту.

Буря, громъ, спазмы, истерики, обмороки, корчи, пожаръ или видъ мертваго тѣла—потрясали съ одинаковою силою энергическую натуру Николая Степановича.

Когда, вслѣдъ за восклицаніемъ мадамъ Бускѐ, раздалась по всему дому суматоха, и во всѣхъ концахъ его забѣгали горничныя съ крикомъ: „барынѣ дурно!“ Николай Степановичъ почувствовалъ такую слабость, что едва устоялъ на ногахъ. Все, что онъ могъ сдѣлать — это закрыть, какъ можно скорѣе, лицо лѣвою рукой.

— Боже мой! проговорилъ онъ, и вдругъ, собравъ остатокъ силъ, бросился со всѣхъ ногъ въ кабинетъ, плотно притворилъ дверь и отскочилъ въ самый задній уголъ. Опорожнивъ безсчетное количество стакановъ съ водою, онъ успокоился настолько, чтобъ позвать людей.

Явились Прошка и Сѣвка.

— Скорѣй, ступайте, бѣгите, велите заложить четверомѣстныя дрожки; я ѣду въ поле... живо!.. заговорилъ Николай Степановичъ, вращая во всѣ стороны испуганными глазами. Безпокойство Николая Степановича усилилось, когда онъ остался наединѣ; онъ принужденъ былъ прибѣгнуть ко второму графину, чтобъ почерпнуть немного бодрости.

— Сѣвка! крикнулъ онъ.

— Чего изволите?

— Что жъ дрожки?

— Сейчасъ заложутъ-съ.

Николай Степановичъ принялся расхаживать по кабинету, прислушиваясь время отъ времени, не услышитъ ли какого-нибудь шума въ жениныхъ покояхъ.

— Сѣвка! закричалъ онъ, выпивая стаканъ воды.

— Чего изволите? отвѣчалъ, вбѣгая, Прошка.

— Что жъ дрожки?

— Сейчасъ заложутъ-съ. Сѣвка побѣжалъ.

Николай Степановичъ выпилъ еще воды и, приложивъ ухо къ замочной скважинѣ, провелъ безмолвно цѣлую минуту, приподымая то одну бровь, то другую.

— Прошка! крикнулъ онъ.

— Чего изволите? отвѣчалъ, вбѣгая, Сѣвка.

— Что жъ дрожки?

— Сейчасъ заложутъ-съ. Прошка побѣжалъ.

Николай Степановичъ надѣлъ бѣлый войлочный картузъ, взялъ платокъ и табакерку, ловко юркнулъ въ залу и побѣжалъ на цыпочкахъ въ переднюю.

— Ну, что барыня? спросилъ онъ у Сѣвки и Прошки, которые спѣшили объявить, что дрожки готовы.

— Сейчасъ прошла горничная, отвѣчали гайдуки,— говоритъ, что барыню не могутъ привести въ себя.

— Боже мой! произнесъ Окатовъ, закрывая лѣвой рукой лицо и потирая правою грудь. — Скорѣй! скорѣй! подхватилъ онъ, выбѣгая на крыльцо и торопливо усаживаясь въ дрожки, — пошелъ въ поле, на Рожевскую Слободку! Ухъ!..

Прошка и Сѣвка, вѣчные неизмѣнные спутники и тѣлохранители Николая Степановича, размѣстились: одинъ сѣлъ на козлы, другой сталъ на запятки, и дрожки, чрезвычайно похожія въ эту минуту на двѣ огромныя башни, соединенныя у основанія плотнымъ, коренастымъ зданіемъ, увѣнчаннымъ круглою головою и сѣдыми завитками на вискахъ, покатили по проселку и вскорѣ оставили за собою село Большія-Соли.

Теперь только понялъ Николай Степановичъ, какъ поступилъ необдуманно, давъ такой сильный розмахъ своей вспыльчивости; горячая голова его, освѣженная тѣнью двухъ башенъ, между которыми она находилась, а также вліяніемъ свѣжаго воздуха, обсудила ясно и здраво критическое положеніе, въ какое ввергнула своего властелина. Устремивъ мысленный взоръ въ спальню жены, Николай Степановичъ невольно содрогнулся, взглянулъ

назадъ и далъ себѣ слово никогда, ни въ какомъ случаѣ не противорѣчить Софьѣ Алексѣевнѣ. „Пускай дѣлаетъ что хочетъ!“ таковъ былъ результатъ его размышленій. Мало-по-малу, онъ углубился въ самого себя и удостовѣрился, не безъ особеннаго удовольствія, что нимало не преувеличивалъ, когда говорилъ господину и госпожѣ Бускѐ, что обладаетъ необыкновенно энергическимъ, вспыльчивымъ характеромъ.

„Да, я горячъ, страшно горячъ!“ думалъ Николай Степановичъ, самодовольно ухмыляясь и покачиваясь въ своихъ дрожкахъ: — „страшно горячъ и, что хуже всего, мстителенъ, ужасно мстителенъ. Не даруй мнѣ Богъ силы воли и твердости духа, не умѣй я владѣть собою— горячность моя и мстительность надѣлали бы давнымъ-давно множество несчастій“. Подвергнувъ такому строгому разбору опасныя свои наклонности и предавъ безпощадному анализу свирѣпыя свои страсти, Николай Степановичъ, подобно всѣмъ людямъ, заглядывающимъ зоркимъ окомъ въ тайникъ собственной души своей, почувствовалъ себя облегченнымъ отъ огромной тяжести. Узнавъ отъ кучера, что они отъѣхали уже съ десятокъ верстъ отъ Большихъ-Солей, Николай Степановичъ велѣлъ ѣхать въ Рожевскую Слободку; встрѣтивъ на дорогѣ стадо шленскихъ овецъ и грозно стоящаго посреди ихъ барана, онъ измѣнилъ, однакожъ, своему намѣренію и, закрывъ лѣвой рукой лицо, приказалъ, какъ можно скорѣе, свернуть съ дороги и ѣхать на ферму. Остановившись за четверть версты отъ фермы, Николай Степановичъ послалъ Сѣвку и Прошку разузнать обстоятельно отъ скотницы и самимъ разсмотрѣть хорошенько, крѣпко ли привязанъ на цѣпи свирѣпый тирольскій быкъ. Получивъ утвердительный отвѣтъ, Николай Степановичъ бережно сошелъ съ дрожекъ и съ подобающею осторожностью, помѣстившись въ сосѣдствѣ тирольскаго быка, принялся завтракать, прислушиваясь къ малѣйшему шуму и шороху.

Онъ, безспорно, провелъ бы пріятнѣйшимъ образомъ эти три-четыре часа прогулки, если-бъ не омрачала ихъ поминутно мысль о томъ, какъ вернется онъ домой и въ какомъ видѣ предстанетъ передъ Софьей Алексѣевной. Онъ проклиналъ тогда поѣздку свою въ Горшковъ, связь съ Балахновымъ, не забывая при этомъ помянуть нелегкими эпитетами несчастную долину, которая между тѣмъ, нимало не подозрѣвая людскихъ гоненій, сіяла подобно

невинной молодой жертвѣ во всей красѣ своей. Высоко подымались стройныя березы, осѣнявшія ея плавные, мягкіе склоны, покрытые сочной травой и пестрыми цвѣтами; ярко блистала густая, молодая листва деревъ, бросая синія, сквозныя тѣни на пыльную окраину большой дороги, охваченную знойнымъ солнцемъ.

По мѣрѣ приближенія къ Большимъ-Солямъ, жажда, а вмѣстѣ съ тѣмъ и волненіе начали снова безпокоить Николая Степановича. Сѣвка и Прошка должны были поминутно снабжать его водою, которая бралась всегда въ дорогу и заключалась въ баклажкѣ, привязанной къ запяткамъ. Мысленный взоръ Николая Степановича не переставалъ устремляться въ боковую гостиную, гдѣ, по всѣмъ соображеніямъ, должна была находиться теперь Софья Алексѣевна. Какъ приступить ему къ мировому объясненію? какъ увѣрить ее?.. И если бъ можно было это сдѣлать безъ предварительныхъ приступовъ и разговоровъ, какъ увѣрить ее, что онъ на все готовъ, заранѣе соглашается на всѣ ея прихоти и требованія, проситъ взять въ соображеніе его вспыльчивость и увѣряетъ ее, что впредь употребитъ всю силу воли, всю твердость духа и энергію для обузданія свирѣпыхъ страстей своихъ?.. Размышляя такимъ образомъ, Николай Степановичъ опять-таки проклинаетъ поѣздку свою въ Горшковъ, связь съ Балахновымъ и долину, которую, какъ нарочно, въ эту самую минуту благословляла цѣлая толпа старыхъ богомолокъ, расположившихся усталыми, дряхлыми членами подъ свѣжею, прохладною тѣнью высокихъ березъ, окаймлявшихъ пыльную дорогу.

— Сѣвка! закричалъ Николай Степановичъ, когда дрожки стали подъѣзжать къ дому.

— Чего изволите, сударь? спросилъ Сѣвка, наклоняясь съ запятокъ и образуя надъ своимъ господиномъ, помощью спины, головы и плечъ, огромную арку.

— Посмотри, да и ты, Прошка, не зѣвай: посмотрите, не видать ли кого въ окнахъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчали въ одно время Сѣвка и Прошка, вытягивая длинныя свои шеи по направленію къ окнамъ.

Они не ошиблись; въ окнахъ не было видно живого лица, и даже самый домъ казался въ эту минуту какимъ-то мертвымъ тѣломъ, лишившимся души. Широкій дворъ не представлялъ признака жизни и обыкновенной, всегдаш-

пей суеты. Даже на крыльцѣ, куда выбѣгали всегда люди въ случаѣ пріѣзда господъ, никого теперь не было. Предчувствіе чего-то недобраго мгновенно закралось въ энергическую душу Николая Степановича.

— Гдѣ жъ люди? спросилъ онъ, входя въ переднюю и наталкиваясь на горничную, бѣжавшую изъ залы.

— Уѣхали съ барыней, отвѣчала, вся вспыхнувъ, субретка.

— Какъ? куда?.. воскликнулъ Николай Степановичъ, роняя картузъ и растопыривая руки.

— Изволили приказывать въ Москву... проговорила дѣвушка, оторопѣвъ окончательно при взглядѣ на лицо господина.

Николай Степановичъ влетѣлъ въ залу и, увидѣвъ мадамъ Бускѐ, сидѣвшую только съ двумя дочерьми, отступилъ на три шага и страшно заморгалъ глазами.

— Madame est partie! сказала госпожа Бускѐ, разводя руками.

— А гдѣ жъ Павлушка? Пашенька гдѣ? où est Paul?.. спросилъ Окатовъ, едва удерживаясь на ногахъ.

— Madame a pris le petit avec! отвѣчала госпожа Бускѐ.

— Какъ, Пашеньку увезла съ собою? Пашу?.. Пашку?.. закричалъ Николай Степановичъ, топая ногами, и вдругъ побагровѣлъ и зашатался, какъ свая, подмытая водою.

— Мнѣ дурно! проговорилъ Николай Степановичъ.— Ударъ! ударъ!.. Прошка! Сѣвка! льду! скорѣй льду...

Люди, сбѣжавшіеся со всѣхъ сторонъ въ залу, подхватили его подъ руки, ввели въ кабинетъ и усадили на диванъ.

— Развязывай галстукъ! скорѣй! ну! ну! повторялъ Окатовъ.—А гдѣ-жъ ледъ? скоро ли?

— Здѣсь, сударь, сказалъ Сѣвка, вбѣгая въ кабинетъ,— тамъ, сударь, какая-то карета, говорятъ, заворачиваетъ въ нашу сторону...

— Отказать, глупцы, отказать! Такъ, три крѣпче... ухъ, слава Богу, легче... Отказать! сказать, что никого нѣтъ дома...

— Барыня изволятъ назадъ ѣхать! провозгласилъ Прошка, входя въ кабинетъ.

Кровь Николая Степановича мгновенно отхлынула отъ головы, и ему тотчасъ же стало лучше. Онъ выслалъ всѣхъ людей, привелъ въ порядокъ свой туалетъ, выпилъ стаканъ воды и, приперевъ дверь кабинета, принялся

расхаживать быстрыми шагами по комнатѣ. Ему стало легче столько же морально, сколько физически; онъ обсудилъ съ необыкновенною быстротою, что, пользуясь выходкой Софьи Алексѣевны, онъ несравненно легче получитъ прощеніе.

Но какъ горько ошибался хитрый и проницательный Николай Степановичъ! Софья Алексѣевна возвращалась домой въ самомъ нервозномъ состояніи и была сильнѣйшимъ образомъ раздражена противъ мужа. И дѣйствительно, было отчего: всякій разъ, какъ ей случалось выкидывать такія штуки, то-есть исчезать въ дормезѣ на нѣсколько часовъ изъ дому, и сколько ни запоминала она такихъ случаевъ въ продолженіе десятилѣтняго супружества, Николай Степановичъ ненарушимо сохранялъ обыкновеніе посылать въ догонку верховыхъ людей, цѣлую ватагу дворовыхъ и самъ летѣлъ на дрожкахъ умолять ее о возвращеніи. И что жъ? теперь ничего! Хоть бы какой-нибудь намекъ на раскаяніе съ его стороны! Софья Алексѣевна была чрезвычайно раздражена.

Войдя въ залу, она бросила на столъ шляпу, шаль и, нѣжно обхвативъ Павлиньку, направилась въ боковую гостиную.

Николай Степановичъ успѣлъ въ это время выпить нѣсколько стакановъ воды и окончательно ободриться. Онъ вошелъ въ залу, пригладилъ передъ зеркаломъ свои сѣдые завитки и, призвавъ на помощь всю твердость могучаго своего духа, вошелъ въ гостиную.

Софья Алексѣевна сидѣла на кушеткѣ, держа на колѣняхъ сына. Сколько ни умѣла она владѣть собою и какъ ни велика была ея энергія, однакожъ, при видѣ недостойнаго отца этого нѣжно-любимаго сына, вся кровь закипѣла въ материнскомъ ея сердцѣ, и потоки горькихъ слезъ заструились по прекраснымъ щекамъ ея.

Николай Степановичъ сдѣлалъ шагъ впередъ, но Софья Алексѣевна остановила его движеніемъ руки и, прижавъ голову сына къ груди своей, сказала нѣжно, разглаживая ему волоса:

— У тебя нѣтъ отца, бѣдный мой Павликъ! ты сирота, круглый сирота; у тебя нѣтъ отца!

— Я отецъ! я! я отецъ! воскликнулъ разстроеннымъ, взбудораженнымъ голосомъ Николай Степановичъ.

Онъ сдѣлалъ снова движеніе впередъ, намѣреваясь обнять всѣхъ вмѣстѣ, и мать и сына, но Софья Алексѣ-

евна снова отстранила его рукой и, положивъ голову свою на голову сына, продолжала:

— Нѣтъ у тебя отца, мой Павликъ, нѣтъ его! А если и есть—ему все-равно, гдѣ бы ты ни былъ. Если бъ судьба закинула тебя на край свѣта, продолжала она, бросивъ мокрый взглядъ на Николая Степановича, который тихо всхлипывалъ,—если бъ тебя занесли на край свѣта, мой Павликъ, и тутъ онъ не позаботился бы о тебѣ... Нѣтъ, пусть уже лучше не будетъ у тебя отца! Нѣтъ его у тебя!

— А какъ же, maman, папаша-то? онъ-то что жъ? весело спросилъ мальчикъ.

— Павликъ! Павликъ! зарыдалъ Николай Степановичъ, бросаясь обнимать сына.—Софья, Соничка! прости меня, другъ мой, забудь старое. Все, что хочешь, приказывай! говорилъ онъ, цѣлуя ея руки и умоляя ее не сердиться,—а долину эту и говорить нечего... Я сейчасъ напишу Балахнову! Слава Богу еще, что купчую-то не совершили. и все можно поправить! заключилъ онъ, обдувая платкомъ раскраснѣвшіеся глаза свои.

На этомъ условіи миръ былъ заключенъ, и вся семья, со включеніемъ мадамъ Бускѐ (мосье Бускѐ рѣдко выходилъ изъ своей комнаты), усѣлась обѣдать.

Бьетъ восемь часовъ. Письмо къ Балахнову запечатано и отданъ приказъ послать завтра съ нарочнымъ въ Ханскіе-Пруды.

Бьетъ девять часовъ. Изъ Горшкова возвращается лакей съ почты и привозитъ письма. Софья Алексѣевна и Николай Степановичъ сидятъ въ гостиной, и каждый читаетъ порознь. Внезапно оба подымаютъ голову и издаютъ радостное восклицаніе. Софья Алексѣевна получила извѣстіе, что петербургская квартира ея отдѣлана, и она можетъ безпрепятственно сѣсть въ дормезъ и отправиться въ сѣверную столицу. Мадамъ Бускѐ вбѣгаетъ съ радостнымъ извѣстіемъ, что жатва на берегахъ Луары такая, какой еще не запомнитъ никто на ея родинѣ, и объявляетъ вдобавокъ, что сестра ея, мадамъ Гавашъ, разрѣшилась благополучно отъ бремени. Но все это еще ничего не значитъ предъ восторгомъ Николая Степановича, когда, дочитавъ письмо до конца, узнаетъ онъ, что дочь его, та самая, что воспитывалась у сестры, выходитъ замужъ, и за кого бы вы думали?.. Нѣтъ, Николай Степановичъ глазамъ своимъ не вѣритъ! Ну, какъ бы вы думали?—выходитъ за богача Мурзи-Менасова!

Николай Степановичъ взъерошиваетъ сѣдые завитки свои, бѣжитъ въ комнату господина Бускѐ, чтобъ сообщить ему радостное извѣстіе, потомъ бѣжитъ по всѣмъ остальнымъ комнатамъ, гдѣ есть люди, зоветъ Сѣвку и Прошку, говоритъ имъ: „кричи ура!“ и снова возвращается въ гостиную, чтобъ пополнить картину семейнаго счастія, или, лучше сказать, *семейную картину*.

Бьетъ десять часовъ. Большія-Соли погружены въ сладкій сонъ, и все вокругъ наслаждается миромъ и тишиною, въ которой недостаетъ, однакожъ, еще двухъ маленькихъ членовъ въ бѣлыхъ платьяхъ, съ шелковистыми каштановыми локонами, заслоняющими поминутно грустные, печальные глазки. Гдѣ жъ эти дѣвочки?

Онѣ вонъ тамъ, въ темномъ, отдаленномъ углу залы, сидятъ подлѣ отвореннаго окна и не подходятъ къ родителямъ. Но отчего же? спроситъ читатель. Отвѣтъ очень простой: онѣ нелюбимицы.

XII.

Возвращеніе въ Ханскіе-Пруды и первыя распоряженія Аристарха Ѳедоровича. — Ардаліонъ Попельковскій озаряется болѣе яркимъ свѣтомъ.

Два вензеля, окруженные фантастическими арабесками и аллегоріями, разбросанными искусною рукою Калины, высятся уже на бѣлыхъ деревянныхъ столбахъ и украшаютъ входъ долины со стороны большой дороги. Такое распоряженіе послѣдовало въ самый день возвращенія Аристарха Ѳедоровича въ домъ своихъ предковъ. То ли еще будетъ! Тысячи великолѣпныхъ плановъ бродятъ въ головѣ Аристарха Ѳедоровича: онъ обнесетъ новопріобрѣтенную долину высокою бѣлою палисадою, прикажетъ Калинѣ расписать готическими окнами и аркадами всѣхъ возможныхъ архитектуръ, срубитъ, по этому случаю, нѣсколько березъ, чтобъ дать мѣсто башнямъ и минаретамъ, которые будутъ торчать на всѣхъ видныхъ пунктахъ. Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшился уже—имѣя въ виду окончательное пораженіе Солонеева, когда тотъ поѣдетъ по большой дорогѣ въ губернскій городъ и взглянетъ на долину—рѣшился уже перенести туда скотный дворъ, поставивъ его на то мѣсто, гдѣ стоялъ нѣкогда домъ врага, и надписать на фронтонѣ: „Службы Ханскихъ-Прудовъ“.

Да, долина украсится, украсится на горе Солонееву и на удивленіе всему остальному крещеному міру! Аристархъ Өедоровичъ, какъ ловкій охотникъ, убиваетъ такимъ образомъ двухъ зайцевъ однимъ залпомъ и, полный счастливой своей мысли, заранѣе потираетъ себѣ руки.

А между тѣмъ, сама долина покрылась тѣнью набѣжавшей тучи. Кудрявыя вѣтви молодыхъ березъ опустились сами собою и не тронутся ни однимъ листикомъ, какъ бы предчувствуя скорую свою гибель; веселые голоса птицъ, испуганныхъ звукомъ топора и говоромъ народа, посланнаго для исполненія великихъ замысловъ, умолкли; изрѣдка слышится тоскливый крикъ иволги, которая боится за гнѣздо свое, наполненное только-что вылупившимися птенцами. Грустно какъ-то! А вотъ и два молодыя дерева повалились, съ плачемъ и воемъ, на опушку; отчаянно простираютъ они свои вѣтви, какъ бы прощаясь съ товарищами дѣтства, жадно цѣпляются за землю, которая взрастила и взлелѣяла ихъ и съ которой разлучаются они невозвратно, на вѣки вѣчные.

Загрустилъ даже прохожій, тащившійся по большой дорогѣ съ берестовою котомкой и лаптишками за спиною. Много прошло ихъ въ это роковое утро мимо долины: каждый, бывало, еще издали бросалъ привѣтливую улыбку навстрѣчу высокимъ верхушкамъ березокъ; каждый спѣшилъ укрыться подъ ихъ гостепріимною сѣнью — а вотъ теперь уже съ сокрушеннымъ сердцемъ подходитъ прохожій. Онъ, однакожъ, остановился, подперся палкою и смотритъ во всѣ глаза на диковинныя произведенія Калины, гордо смотрящія съ высоты бѣлыхъ столбовъ. Къ прохожему присоединился другой и третій; мало-по-малу составилась толпа; всѣ подперлись палками и взоры всѣхъ устремились съ удивленіемъ на одинъ и тотъ же предметъ. Слово за словомъ, поднимаются толки, сужденія; каждый вставляетъ свое слово, каждый возсылаетъ похвалу великому мастеру, и всѣ вмѣстѣ дивятся человѣческой мудрости.

Калина — слава и честь художниковъ Горшковскаго уѣзда, прислушивается между тѣмъ жаднымъ ухомъ ко всѣмъ похваламъ и толкамъ. Вензеля поставлены всего нѣсколько часовъ назадъ, но онъ успѣлъ, однакожъ, вырваться, подъ разными предлогами, три раза изъ людской, и теперь въ третій разъ останавливается передъ произведеніями безсмертнаго своего генія. Любо ему глядѣть на

нихъ! Дикобразы, принятые непросвѣщенною, необразованною Глафирой за барскихъ бульдоговъ, составляютъ тѣмъ не менѣе торжество и вмѣстѣ съ тѣмъ гордость Калины; онъ щуритъ глаза, потираетъ свой клюковный носъ, обходитъ со всѣхъ сторонъ, разглядываетъ со всѣхъ боковъ, потомъ отдаляется на нѣкоторое разстояніе, величаво маршируетъ по большой дорогѣ и, не выпуская ни на секунду изъ вида драгоцѣнныхъ перловъ своей фантазіи, судитъ о ихъ эффектѣ со всѣхъ возможныхъ пунктовъ. Онъ рѣшился уже являться сюда каждое утро, чтобъ освобождать свои творенія отъ пыли и непріятностей, могущихъ произойти по случаю закоснѣлой невѣжественности подорожныхъ птицъ, грачей и галокъ, которыя, безъ зазрѣнія совѣсти, изберутъ, чего добраго, мѣстомъ отдыха верхушки столбовъ — и, полный такой рѣшимости, снова возвращается къ толпѣ зѣвакъ, пожинать заслуженные лавры. Калина заводитъ умную, поучительную рѣчь, треплетъ безъ милосердія свою клюкву, двигаетъ самодовольно бровями, закидываетъ величаво голову, но, увидя между березами подходившаго Аристарха Ѳедоровича, тотчасъ же смиряется, снимаетъ съ достоинствомъ шапку и почтительно даетъ ему дорогу.

Лицо Аристарха Ѳедоровича озаряетъ, подобно солнцу, опушку печальной долины, и такъ ослѣпителенъ блескъ этого лица, что староста, Карпъ Ивановъ, къ которому онъ обращается, не можетъ смотрѣть прямо и невольно потупляетъ глаза.

— Ну что, Карпъ Ивановъ? говоритъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—надо теперь подумать о лѣсѣ. Бревна у насъ есть свои, а что касается до тёса на палисаду, распорядись немедленно и завтра же, чѣмъ свѣтъ, пошли десятка три подводъ въ Невѣровку, къ Солонееву; тамъ, я слышалъ, круглый годъ напиливаютъ тёсъ и продаютъ на барки.

— Осмѣлюсь доложить, если ваша милость...

— Что такое? перебилъ Балахновъ.

— Осмѣлюсь доложить, подхватилъ Карпъ Ивановъ,— тёсъ въ Невѣровкѣ дороже выйдетъ горшковскаго: въ Горшковѣ посходнѣе брали.

— Все вздоръ; вамъ лѣнь ѣхать въ Невѣровку, потому что дальше. Пустяки! не можетъ быть дороже. Завтра же чтобъ посланы были подводы; а если спросятъ, зачѣмъ, дескать, барину нужно столько тёсу, сказать, что купилъ

у Окатова долину, ту самую, что принадлежала прежде господамъ Солонеевымъ. Если случится, что спроситъ объ этомъ самъ Солонеевъ: зачѣмъ баринъ купилъ у Окатова долину, сказать, что хочетъ перенести туда, и уже началъ переносить, скотный дворъ. Слышишь?

Карпъ Ивановъ не возражалъ, и Аристархъ Ѳедоровичъ обратился къ Калинѣ.

— Спасибо, Калина! произнесъ онъ, осматривая вензеля съ самодовольствомъ, которое ни въ чемъ не уступало самодовольствію, написанному въ эту минуту на лицѣ художника.—Спасибо, Калина, спасибо, любезный; славно! Скажи-ка ты мнѣ теперь, продолжалъ онъ, ослѣпляя окончательно великаго мастера, который странно заморгалъ глазами,—скажи-ка, можешь ли ты расписать весь заборъ колоннами? Я хочу — пойми хорошенько — я хочу, чтобъ наверху колоннъ были арки, вездѣ арки, а между арками, надъ каждымъ фальшивымъ окномъ, находилось по такому же точно вензелю... понялъ ты меня?

Такой вопросъ со стороны Аристарха Ѳедоровича, который могъ усомниться въ могуществѣ Калины, и особенно въ эту минуту, естественно долженъ былъ затронуть самолюбіе знаменитаго живописца; онъ, однакожъ, оправился и отвѣчалъ съ увѣренностью человѣка, сознающаго свои силы:

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе, не въ первый разъ, кажется... Извольте только приказать...

— Такъ ты берешься исполнить работу? полно, такъ ли? увѣренъ ли ты въ этомъ? Можешь ли ты, напримѣръ, окончить ее къ назначенному сроку?

— Все могу, ваше высокоблагородіе, все могу! смѣло отвѣчалъ Калина,—все могу! всякій цвѣтъ могу произвести, какой только есть. Что угодно напишу: и колонны, и вензеля, и все, и даже *арабескъ* можно подвести подъ карнизомъ, заключилъ онъ, дѣлая особенное удареніе на слово „арабескъ“, которое было его любимымъ словомъ.

— Ну, хорошо, любезный, хорошо. Завтра же выдадутъ тебѣ все, что нужно.

Аристархъ Ѳедоровичъ, возвратившись домой, велѣлъ тотчасъ же призвать Калину, отдалъ приказаніе, чтобъ поднесли ему рюмку водки, и принялся разспрашивать его о предварительныхъ распоряженіяхъ, нужныхъ для начала работы.

Во все это время Калина ни разу не уронилъ арти-

стическаго своего достоинства; онъ стоялъ, глубокомысленно насупивъ сѣдыя брови, и слушалъ, казалось, очень внимательно; но когда дѣло дошло до отвѣта, изъ устъ его понеслась вдругъ такая страшная околесица, дичь и нескладица, что Аристархъ Ѳедоровичъ невольно отступилъ шагъ назадъ и устремилъ на него изумленный взоръ. Созпавая въ эту минуту, болѣе чѣмъ когда-нибудь, могущество своего генія, Калина нимало не смутился этимъ взглядомъ и продолжалъ распространяться съ возрастающей энергіей.

— Э-э-э, любезный! Да ты, просто, пьянъ, какъ я вижу! сказалъ Балахновъ, убѣждаясь изъ словъ художника, что онъ успѣлъ уже предупредить барское угощенье, желая, вѣроятно, доказать этимъ фактомъ свою готовность къ наиболѣе поспѣшному поощренію собственнаго таланта.

— Ты пьянъ. Сидоръ, онъ пьянъ? повторилъ Балахновъ.

— Нѣтъ, ваше высокоблагородіе, проговорилъ Калина, — никакъ нѣтъ... насчетъ, то-есть... все вижу, все могу... арабескъ могу...

Аристархъ Ѳедоровичъ кивнулъ головой камердинеру, который поспѣшилъ взять Калину подъ-руки.

— Что̀ тебѣ, пустая голова? воскликнулъ художникъ, презрительно отталкивая Сидора,—я говорю съ ихъ высокоблагородствомъ, бариномъ. У насъ идетъ, примѣрно, разсужденіе, насчетъ, примѣрно... все могу, ваше высокоб...ла...гдіе, и арабескъ могу... все могу...

— Вывести его вонъ! пошелъ, проспись прежде.

Сидоръ взялъ Калину подъ руки и, не взирая на то, что онъ настаивалъ непремѣнно, чтобъ объясниться съ бариномъ насчетъ арабеска, вывелъ его изъ кабинета.

Такая сцена, благодаря счастливому расположенію духа Аристарха Ѳедоровича, могла только разсмѣшить его, и онъ весело вышелъ въ залу. Радостное чувство, наполнявшее его душу, просвѣчивало теперь во всѣхъ чертахъ его, и вліяніе этого чувства, подобно благотворнымъ лучамъ весенняго солнца, разлило мгновенно вокругъ себя довольство и радость. Всѣ стали почему-то довольны, и всѣмъ сдѣлалось весело.

Карачаевъ былъ очень доволенъ. Онъ расположился, повидимому, на нѣкоторое время въ домѣ Балахновыхъ; впрочемъ, никто не стѣснялся его присутствіемъ—всѣ были ему очень рады. Когда Карачаевымъ не овладѣвала меланхолія и слѣдовавшая всегда затѣмъ трехсуточная

спячка, или когда случалось ему измѣнять служенію Вакха, онъ дѣлался смирнымъ, веселымъ, забавнымъ собесѣдникомъ, услужливымъ и даже, иной разъ, очень полезнымъ малымъ. Во время отсутствія Аристарха Ѳедоровича съ нимъ случилось необыкновенное происшествіе: у него была старая легавая собака, по имени Медоръ, которую оставилъ онъ у пріятеля своего, Барабанчикова. Проживъ неразлучно десять лѣтъ съ Медоромъ, Павелъ Петровичъ не безъ многихъ усилій оставилъ его на чужихъ рукахъ и не видался съ нимъ нѣсколько сутокъ. Карачаевъ не былъ охотникомъ и любилъ своего Медора безкорыстно, такъ, по привычкѣ и по естественному побужденію сердца. Можете себѣ представить удивленіе и радость Павла Петровича, когда, проснувшись отъ несчастной спячки, напавшей на него послѣ бала, увидѣлъ онъ передъ собой Медора! Медоръ не вынесъ разлуки, перегрызъ веревку, клочокъ которой висѣлъ еще о-сю-пору у него на шеѣ, проскакалъ сорокъ верстъ безъ отдыха и, управляемый чутьемъ, достигъ до Ханскихъ-Прудовъ; онъ отыскалъ Ивана, уцѣпился за полу сюртука и потащилъ его прямо къ барскому дому, страшно махая хвостомъ передъ каждою дверью и устремляя на Ивана съ мольбою подслѣповатые глаза свои. Иванъ хотѣлъ было привести въ порядокъ туалетъ новаго гостя, но Медоръ, сгоравшій отъ нетерпѣнія, не далъ ему исполнить такого намѣренія, рванулся въ двери, обѣжалъ нѣсколько комнатъ и, прошмыгнувъ мимо испуганной Фіоны Ивановны, влетѣлъ, сломя голову, въ комнату своего господина. Обнюхавъ его съ головы до ногъ, Медоръ сѣлъ на заднія лапы противъ постели и забарабанилъ хвостомъ по полу. Припомнивъ, однакожъ, старые уроки, которые гласили, что лучшій способъ не тревожить и не подымать дичь состоялъ въ томъ, чтобъ взять *стойку*, Медоръ тотчасъ же измѣнилъ прежнему своему положенію; онъ всталъ на три ноги и, приподнявъ правую переднюю, вытянувъ шею, принялся караулить своего господина съ тѣмъ же притупленнымъ вниманіемъ, какъ если бъ находилась передъ нимъ жирная, тучная куропатка. Такъ прошло добрые три часа; но когда Павелъ Петровичъ раскрылъ глаза, Медоръ уже не выдержалъ дисциплины и, позабывъ старые уроки, кинулся съ визгомъ къ нему на шею и принялся душить его своими пыльными лапами, нимало не обращая вниманія на то, что конецъ веревки

шмыгалъ во все время исправнѣйшимъ образомъ по носу и щекамъ его господина. Свиданіе было самое трогательное. Но когда Лизавета Семеновна объявила, что всегда любила Медора и, въ подтвержденіе своихъ словъ, погладила его по головѣ, велѣвъ ему дать поужинать, восторженность Карачаева дошла до крайнихъ предѣловъ: онъ не переставалъ повѣствовать всѣмъ и каждому о необыкновенныхъ свойствахъ Медора, и вообще такъ увлеченъ былъ мыслью о его возвращеніи, что первымъ движеніемъ его, когда Балахновъ пріѣхалъ изъ Горшкова, было сообщить ему о радостномъ случаѣ.

— Ну, братъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, écoutez, Медоръ здѣсь! закричалъ Карачаевъ, бросаясь обнимать хозяина.— Здравствуй, душа моя! И какъ, братецъ, странно: лежу въ постели, смотрю—Медоръ! Повѣришь ли, Aristarque, душа моя, веревку отгрызъ, за сорокъ верстъ прискакалъ—вотъ она штука-то въ чемъ! Ну, что еще?.. Да, Лизавета Семеновна, слава Богу, здорова и дѣтки также... Все благополучно въ домѣ... Я за всѣмъ присматривалъ, все, братъ, надежнѣе. Ну, а гдѣ же Порфирій? Куда жъ ты его дѣлъ? заключилъ Карачаевъ, переговоривъ безъ отдыха все предыдущее.

— Я оставилъ его на половинѣ дороги, послѣ того, какъ мы выѣхали отъ Фанагоріи Петровны. Онъ отправился къ Кокуркинымъ заказывать кое-что для приданаго, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выходя изъ коляски.

— Ну, душа моя, écoutez: какъ же дѣла его? Надѣюсь, ты все устроишь?

— Все, все устроено, разсѣянно произнесъ Балахновъ, направляясь въ кабинетъ.

— Устроено! а? Ну, это значитъ: надо навострить лыжи да утекать отсюда. А жаль! Хотѣлось пожить съ вами.

— Это еще что такое?

— А то, душа моя, возразилъ заботливо Карачаевъ,— что... что свадьба будетъ на-дняхъ, и мнѣ, слѣдовательно, надо распорядиться: музыка, вино, то, другое, третье, десятое. Надо съѣздить къ невѣстѣ, потомъ въ губернскій городъ; все это, душа, требуетъ времени... вотъ она въ чемъ штука-то!

— Полно городить вздоръ! Все это устроится отличнѣйшимъ образомъ и безъ тебя. Сиди здѣсь и жди, пока напишутъ, что нуженъ шаферъ.

— Что-жъ? я очень радъ. Помилуй, душа моя! Ты знаешь, я готовъ тебя слушать всегда и во всемъ. Мнѣ, конечно, пріятнѣе съ вами, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Но посуди, братъ, я все насчетъ Медора; чутье-то, а? каково чутье? скажи на милость! Прибѣжалъ за сорокъ верстъ... Привязанность какова!

Аристархъ Ѳедоровичъ началъ одѣваться и приступилъ немедленно къ распоряженіямъ насчетъ долины. Карачаевъ возвратился къ своему Медору, и всѣ могли любоваться, какъ онъ три часа сряду, сидя на послѣдней ступенькѣ террасы, изъяснялся съ собакой, которая сидѣла на дорожкѣ и, вперивъ свои подслѣповатые глаза на хозяина, сильнѣйшимъ образомъ барабанила хвостомъ. О чемъ они толковали—неизвѣстно, но всѣмъ, однакожъ, казалось очевиднымъ, что Павелъ Петровичъ былъ очень доволенъ.

Довольна была также, и даже очень, очень довольна дѣвица Сараманаева. Пухлое лицо ея сохраняло выраженіе невинной, но привлекательной стыдливости, точь-въ-точь какъ въ ту завѣтную и милую для сердца минуту, когда она ловила бабочку въ темной аллеѣ стараго сада; съ той завѣтной и милой для сердца минуты, никто уже не видалъ глазъ Розаліи Владиміровны, но взамѣнъ ихъ каждый могъ вдоволь любоваться ея бѣлками. Она не переставала какъ бы глядѣть внутрь себя, боясь, вѣроятно, разрушить дѣйствительностью окружающей жизни поэтическій міръ своихъ мечтаній. Она всегда любила мечтать, но теперь, послѣ сцены въ саду, мечтанія стали ея потребностью и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сладчайшей отрадой. „О, милый, милый, но жестокій молодой человѣкъ! думала она, выворачивая на изнанку свои глаза, — зачѣмъ ты не подошелъ тогда ко мнѣ? Зачѣмъ не сказалъ привѣтливое слово любви? Скажи слово, одно слово—и я написала бы тебѣ тотчасъ же милую записку! Ужасный человѣкъ! жестокій Бобоховъ!“

Тутъ дѣвица Сараманаева дѣлала обыкновенно движеніе рукою, какъ бы защищаясь отъ безпокойныхъ ласканій нетерпѣливаго любовника, и продолжала, выставляя бѣлки свои: „Что жъ? я не нищая, не проживалка какая-нибудь; я дворянка, и если живу у Балахновыхъ, то это потому только... о милый, милый, но жестокій молодой человѣкъ! потому что отдала имъ, отдала Аристарху Ѳедорычу свой капиталъ на сохраненіе. Конечно, пять ты-

сячъ немного, но все же состояньице независимое, все же доказываетъ оно... Что̀ я говорю, о Боже! Боже! развѣ любящее сердце можетъ объ этомъ думать? Нѣтъ, „ты“ повѣришь мнѣ, милый, но ужасный человѣкъ! Разбей мое слабое сердце и взгляни въ него. О! ты уже разбилъ его, коварный, ужасный молодой человѣкъ!“ Такъ думала и сокрушалась перезрѣлая весталка, но, со всѣмъ тѣмъ, была очень, очень довольна.

Доволенъ также былъ Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ; и могъ ли быть несчастнымъ человѣкомъ онъ, рука котораго начертала безцѣнныя страницы „Непризнанной Индѣйки“? Причина его довольства въ настоящую минуту объясняется сама собою: перечитывая каждый вечеръ и каждое утро (въ эти минуты голова всегда свѣжѣе и разсужденія яснѣе), перечитывая лучшія мѣста изъ своей повѣсти, онъ, разумѣется, убѣждался болѣе и болѣе въ несомнѣнномъ ея достоинствѣ, и сознаніе это, естественнымъ образомъ, должно было услаждать его авторское сердце. Припоминая невѣжественные толки непросвѣщенныхъ, но тѣмъ не менѣе многочисленныхъ слушателей „Непризнанной Индѣйки“, онъ смѣялся надъ ними; особенно забавляли его—да и какъ не забавлять!—сужденія Карачаева. „Павлу Петровичу (говорилъ онъ) не могутъ быть доступны предметы высокаго поэтическаго содержанія, требующіе, какъ вѣдомо, со стороны читателя или слушателя, художественнаго такта и эстетическаго развитія“. Разбирая мысленно и строго всѣхъ своихъ слушателей, Аполлонъ Егоровичъ остановился съ удовольствіемъ на внимательномъ лицѣ Порфирія Павловича, припоминая, какъ страшно вылуплялись глаза Василькова всякій разъ, когда онъ читалъ ему свою повѣсть, и, принимая страшную выпуклость глазъ за выраженіе изумленія и живѣйшаго любопытства со стороны слушателя, Дрянковъ далъ себѣ слово непремѣнно поѣхать къ нему, чтобъ усладить чтеніемъ незабвенныхъ страницъ и безъ того уже сладкій медовый мѣсяцъ молодыхъ супруговъ. Окончательнымъ намѣреніемъ его было отправиться въ концѣ іюля, или въ другое время, смотря по обстоятельствамъ, въ Москву и предать тисненію „Непризнанную Индѣйку“, которая въ настоящую минуту переписывалась набѣло рукою самого автора.

Вдова Чивадзе, или, проще, Фіона Ивановна, была также очень довольна: ревнивое сердце ея почувствовало

облегченіе уже съ той минуты, какъ ненавистныя и вполнѣ презрительныя Кокуркины покинули Ханскіе-Пруды. Съ той минуты робкій лучъ надежды снова проникъ въ ея истерзанную грудь и, проясняясь постепенно, показалъ, что въ этой истерзанной груди много еще таилось огня, готоваго вспыхнуть яркимъ пламенемъ при малѣйшемъ благопріятномъ дуновеніи со стороны недостойнаго и слабодушнаго Копкова.

Въ ожиданіи, несчастная жертва страстей сама разжигала это пламя безпрерывнымъ, невольнымъ лицезрѣніемъ Прокисая Захаровича. Какъ только бѣдный проживальщикъ уходилъ въ садъ съ дѣтьми Лизаветы Семеновны, Фіона Ивановна летѣла стремглавъ наверхъ, въ свою комнату, чтобъ полюбоваться имъ еще разъ. Прокисай Захаровичъ садился у берега пруда и начиналъ играть на маленькой дудочкѣ собственнаго издѣлія: иной разъ Володя запрягалъ его въ камышевую телѣжку, и Прокисай Захаровичъ летѣлъ дробной рысцой по извилистымъ дорожкамъ; въ другой разъ, утомленный дневными трудами, онъ ложился отдыхать подъ тѣнью акацій на садовой скамейкѣ... Такія картины доставляли неизъяснимое утѣшеніе страстной душѣ госпожи Чивадзе. Обворожительныя грезы снова зароились толпами въ головѣ ея; снова, сквозь мракъ, постепенно прояснявшійся, мелькнулъ маленькій домикъ въ уѣздномъ городѣ, пріобрѣтенный на двухтысячный капиталъ, добытый трудомъ и потомъ въ домѣ Балахнова; снова увидѣла она себя бѣгающею и суетящеюся по дѣламъ хозяйства, тогда какъ Прокисай Захаровичъ, въ зеленомъ своемъ сюртукѣ, травяного цвѣта, сидитъ у растворенного окна за стаканомъ чая и слегка бренчитъ на гитарѣ.

Итакъ, Фіона Ивановна была довольна; но кто сказалъ, что она могла быть довольнѣе Калины?.. Никогда, никто не могъ сказать этого. Въ самомъ дѣлѣ, какія академическія залы могли сравниться съ широкимъ просторомъ большой дороги, по которой утромъ и вечеромъ, во всякое время дня, безпрерывно шелъ и ѣхалъ народъ? Завидная выставка для геніальнаго художника! Волны народа стелются одна за другою мимо его произведеній, и далеко всюду разбѣгаются народныя волны, унося на хребтѣ своемъ имя художника... Калина понималъ это какъ нельзя лучше, и потому былъ очень доволенъ.

Принимая въ соображеніе постоянныя прогулки при лун-

номъ свѣтѣ карачаевскаго Ивана и Глафиры Львовны, должно полагать, что имъ было не совсѣмъ скучно. Что же касается до того гостя-лакея, который—помните, все вздыхалъ при разсказѣ Ивана,—онъ просто былъ внѣ себя отъ радости: изумляясь, съ одной стороны, необычайному искусству карачаевскаго Ивана, вертѣвшаго на мизинцѣ тарелки и подносы, восхищаясь, съ другой стороны, геніальностью Калины и поставленный судьбою между двумя подобными людьми, онъ не могъ быть недоволенъ и выражалъ свое довольство, не переставая покачивать головою.

Но вотъ что странно; кто повѣрилъ бы этому? Лизавета Семеновна была также довольна! Радость ея была, однакожъ, совершенно другого рода и не выражалась никакими восторженными выходками.

Она сидѣла попрежнему у окна маленькой дѣтской, попрежнему окруженная дѣтьми, и считала себя совершенно счастливою уже тѣмъ, что третьи сутки пользуется тишиною и не обязана выходить въ будуаръ съ батистовымъ платкомъ въ правой рукѣ. Она любила четырехъ дѣтей своихъ съ одинаковою страстью, и нѣжное, материнское сердце ея было вознаграждено за всѣ горести, когда замѣчала она, что ручки четырехъ дѣтей обхватывали ея шею съ одинаковою силой. Иной разъ, правда, она задумывалась, и это случалось обыкновенно послѣ того, какъ старая няня, уложивъ дѣтей, зажигала лампадку и уходила за свою коленкоровую занавѣску; она задумывалась и, положивъ локти на окно, устремляла глаза на глухую, заброшенную часть сада, освѣщенную блѣднымъ мѣсяцемъ. Одинокая, заброшенная часть сада, заброшенная потому лишь, что природа, устроивъ ее скромною, тихою, лишивъ ее живописнаго, крикливаго эффекта и громко говорящихъ за себя красотъ, не представляла ли бѣдной женщинѣ картины ея собственнаго положенія! Она долго задумывалась, и мысли ея, смѣняясь одна другою, какъ свѣтлыя струи тихо бѣгущаго ручья, часто останавливались на мужѣ. Ей казалось страннымъ, непонятнымъ мелочное, ничтожное, пустое самолюбіе Аристарха Ѳедоровича; она содрогалась, однакожъ, при мысли, что это ничтожное, пустое самолюбіе было единственною причиною охлажденія къ ней ея мужа, было виною разстройства цѣлаго почти состоянія и, что всего хуже, могло современемъ, и даже очень скоро, лишить дѣтей ея послѣд-

няго куска хлѣба. Она принималась приводить на память всѣ средства, какія употребляются другими женщинами, чтобъ овладѣть своими мужьями; ей не хотѣлось властвовать надъ мужемъ; ей вовсе не нужно было безпрекословное повиновеніе ея капризамъ и прихотямъ; ей хотѣлось только владѣть сердцемъ мужа, чтобъ спасти отъ вѣрной гибели его самого и будущность дѣтей своихъ. Длинная нить горькихъ размышленій всякаго рода приводила Лизавету Семеновну къ семейству Окатова: какими тайными путями Софья Алексѣевна прокралась въ сердце своего мужа?.. Нѣтъ, Балахнова никогда не пойдетъ такими путями! Къ тому же, Балахновъ не Окатовъ!.. И быстро отталкиваетъ она семейную картину, съ двумя дѣтьми, грустно сидящими въ темномъ углу залы. И думаетъ она: „почему люди, готовые часто жертвовать жизнью за взглядъ совершенно посторонней, ничтожной женщины, обращаются въ ледъ и дѣлаются страшными эгоистами въ отношеніи къ собственнымъ женамъ, даже тогда, когда жены эти не дали къ тому малѣйшаго повода?“ Она снова задумывается, и мысли ея снова возвращаются къ тому, какъ бы завладѣть сердцемъ Балахнова. Какъ полна была бы тогда ея жизнь! Она уносилась невольно живостью сладкой грёзы, и иной разъ казалось ей, что она въ самомъ дѣлѣ счастлива! Съ какою любовью всматривалась она тогда въ этотъ обманчивый призракъ воображенія, какимъ трепетомъ билось ея сердце! Мало-по-малу, спокойное размышленіе вытѣснило сладкую мечту, и грустная, печальная дѣйствительность снова ложилась холодною плитою на ея сердце.

Но была одна мысль, могучая, твердая, непреклонная мысль, которая поддерживала ее въ трудной борьбѣ съ суровой дѣйствительностью. Пусть будетъ, что будетъ, она не разстанется съ дѣтьми и, какъ ангелъ-хранитель, будетъ напутствовать ихъ всюду. Пока бьется ея сердце, пока крѣпки ея руки, она не перестанетъ трудиться, будетъ добывать хлѣбъ, если нужно... Нѣтъ, дѣти ея не останутся безъ крова и призрѣнія! И она снова задумывалась, и мысли ея, смѣняясь одна другою, какъ свѣтлыя струи тихо бѣгущаго ручья, возвращались къ болѣе отраднымъ картинамъ. Она подходила къ четыремъ постелькамъ, склоняла надъ каждой изъ нихъ блѣдное лицо свое—и, повѣрьте, въ эти минуты уже ничто не омрачало души ея: она была счастлива по-своему!

Итакъ всѣ были довольны въ старомъ домѣ Балахновыхъ, но всѣхъ довольнѣе былъ все-таки самъ Аристархъ Ѳедоровичъ. Онъ не переставалъ величаво расхаживать по всѣмъ комнатамъ, бросая привѣтливыя улыбки и свѣтлые взгляды всѣмъ и каждому, встрѣчнымъ и поперечнымъ. Иной разъ Аристархъ Ѳедоровичъ останавливался па террасѣ, закладывалъ лѣвую руку за фалды голубой венгерки, правую запускалъ въ складки манишки, качался самодовольно съ носка на каблукъ, съ каблука на носокъ, и вдругъ, какъ бы озаренный новою, свѣтлою мыслью, спѣшилъ въ кабинетъ, гдѣ, на столѣ, между бронзовою Ѳемидой и акварельнымъ портретомъ, схожимъ съ древнимъ греческимъ мужемъ, лежалъ листъ бумаги, съ надписью наверху: „распоряженія касательно новопріобрѣтенной долины". Тамъ Балахновъ отмѣчалъ карандашомъ свѣтлую мысль, надписывалъ сбоку: „сообщить Карпу Иванову", и снова, величественный, сіяющій съ головы до ногъ, возвращался съ веселымъ лицомъ въ залу.

Въ одну изъ такихъ прогулокъ, совершавшихся за полчаса до обѣда, Сидоръ пришелъ доложить ему, что къ крыльцу подъѣхалъ какой-то господинъ и спрашиваетъ барина.

— А! это, должно быть, тотъ, что на ярмаркѣ... какъ-бишь его?.. Ну, да все равно, проси въ кабинетъ, произнесъ Балахновъ, медленно отправляясь въ свою комнату.

Черезъ пять минутъ Сидоръ вводилъ Ардаліона Александровича Попельковскаго.

— Извините... „Аристархъ Ѳедорычъ", я, можетъ-быть, васъ безпокою?.. Прекрасный видъ, великолѣпное мѣстоположеніе! говоритъ съ необычайною развязностью Ардаліонъ Александровичъ, раскланиваясь и устремляя голубоватые глаза на Балахнова, который привѣтливо улыбался и кивалъ головою.

— Здравствуйте! очень радъ... виноватъ, я все забываю ваше имя и отчество...

— Попельковскій... Ардаліонъ Александрычъ... явственно, съ выдержкою, отвѣчалъ гость, пристукивая остатками каблука и взбивая волосы.

— Садитесь...

— Помилуйте, чувствительно благодаренъ. Почелъ за обязанность засвидѣтельствовать свое почтеніе... Получивъ воспитаніе... Какой прекрасный домъ! великолѣпный видъ изъ оконъ! заключилъ неожиданно гость, оглядывая углы, стѣны и окна кабинета.

На Ардаліонѣ Александровичѣ былъ тотъ же нанковый желтый сюртучокъ, тѣ же нанковые, неизмѣримые панталоны, падавшіе на сапоги; красныя руки его вертѣли ту же замасленную фуражку и показывали явственно, что онъ долженъ былъ голодать исправнѣйшимъ образомъ послѣдніе трое сутокъ.

— Вы, можетъ быть, думаете насчетъ моего платья, началъ вдругъ Попельковскій, презрительно оглядывая свои сапоги и панталоны, — ограбленъ собственнымъ лакеемъ! Великолѣпнѣйше помѣстье! чудный портретъ! Чей это? вашъ? У меня былъ точно такой же; писалъ въ Москвѣ Галкинъ... Подлѣйшимъ образомъ ограбленъ! Отличное было платье... шилъ Шамбахеръ. Свой домъ на Моросейкѣ... первый портной.

— Конечно, очень непріятно; но, впрочемъ, у насъ найдется, чѣмъ поправить бѣду.

— Чувствительно благодаренъ... Осмѣлюсь спросить: что это у васъ за штука? спросилъ Попельковскій, притрогиваясь къ зубу мамонта.

— А это зубъ допотопнаго чудовища, чрезвычайно любопытная вещь. У меня одного, можно сказать, настоящій образчикъ; остальные всѣ—поддѣлки, возбужденныя гнусной спекуляціей... Но, виноватъ, вы, можетъ-быть, курите; не хотите ли сигарку?

— Чувствительно благодаренъ. Весьма пріятно. Осмѣлюсь спросить: есть у васъ фабрики Бѣлобородова? Я, вѣдь, другихъ не курю.

— Бѣлобородова нѣтъ, а вотъ *nec plus ultra*, если хотите... Что тебѣ? заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ вошедшему Сидору.

— Мужикъ, который ихъ привезъ, отвѣчалъ камердинеръ, указывая многозначительно на гостя,—говоритъ, что хочетъ ѣхать, и проситъ денегъ.

— Ахъ, виноватъ! забылъ! Одолжите два цѣлковыхъ. Мерзавецъ, скверно ѣхалъ. Подлѣйшая лошадь! Много буду благодаренъ... произнесъ Попельковскій, поправляя волосы.

— Вели, братецъ, выдать что нужно и отпустить мужика, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ. — А, Карачаевъ! добро пожаловать! Вотъ, рекомендую тебѣ... Виноватъ, все забываю ваше имя и отчество.

— Попельковскій... Ардаліонъ Александровичъ. Весьма пріятно познакомиться! проговорилъ гость, подавая руку Карачаеву и раскланиваясь.

Наружность новаго знакомца произвела на Павла Петровича съ перваго же раза самое непріятное впечатлѣніе; онъ холодно пожалъ ему руку и тотчасъ же вышелъ изъ кабинета. Останься Карачаевъ еще минуту, онъ не утерпѣлъ бы, чтобъ не прикрикнуть съ обычною своею откровенностью: „мнѣ не нравится эта физіономія!“

— Осмѣлюсь спросить: кто этотъ господинъ, съ которымъ я сейчасъ познакомился? спросилъ Попельковскій, наклонясь къ Аристарху Ѳедоровичу.

— Карачаевъ.

— Пріятное лицо, открытое! Умъ, радушіе, доброта сердца, отвѣчалъ Попельковскій, значительно двигая бровями.

Когда Копковъ и Дрянковъ, предупрежденные людьми, явились въ кабинетъ, чтобъ познакомиться съ пріѣзжимъ, Попельковскій снова нагнулся къ Аристарху Ѳедоровичу и, подмигивая ему на проживальщиковъ, повторилъ: „Пріятныя лица, открытыя! Умъ, радушіе, доброта сердца!“

Затѣмъ онъ испросилъ позволенія закурить трубку и началъ расхаживать по кабинету, прикасаясь ко всякой вещи; онъ возсылалъ похвалы безусловно каждому предмету, не забывая замѣтить при этомъ, что обладалъ когда-то точно такими же сокровищами, и если оставался теперь въ одномъ нанковомъ сюртукѣ,—всему виною негодный лакей. Изъ разговора оказалось, что у Попельковскаго находился когда-то зубъ мамонта, такой же величины и тяжести, словомъ, совершенно схожій во всемъ съ зубомъ допотопнаго чудовища, находившагося у Аристарха Ѳедоровича; если Ардаліонъ Александровичъ не можетъ показать или даже подарить этого зуба Аристарху Ѳедоровичу, виною опять-таки негодный лакей, обокравшій своего господина немилосерднѣйшимъ образомъ.

Бо̀льшая часть этихъ объясненій обращалась къ Дрянкову и Копкову; Аристархъ Ѳедоровичъ занимался въ это время распоряженіемъ, какъ бы приличнѣе снарядить новаго знакомца, и отдавалъ Сидору приказанія перенести въ комнату проживальщиковъ кое-что изъ стараго своего гардероба.

Узнавъ, что Дрянковъ былъ сочинитель, Попельковскій объявилъ, что ему очень пріятно это слышать, потому что онъ самъ былъ когда-то сочинителемъ и даже печаталъ очень много въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ; бросилъ онъ литературу потому только, что никакъ не

могъ ужиться съ критиками и редакторами, съ которыми, по словамъ его, рѣшительно не стоило заводить знакомства.

Къ несчастію, бесѣда была прервана Балахновымъ, который пригласилъ гостя слѣдовать за Сидоромъ и привести въ порядокъ туалетъ.

Разспросивъ предварительно у Сидора кой-какія подробности касательно дома и узнавъ, что жена Балахнова была еще молода, Ардаліонъ Александровичъ закрутилъ усы, провелъ залихватскій проборъ между бѣлокурыми своими завитками и, подмигнувъ въ зеркальце, влетѣлъ молодчикомъ въ залу. Онъ развязно отрекомендовался Лизаветѣ Семеновнѣ и сдѣлалъ ей даже глазки; потомъ совершилъ такой же точно маневръ въ отношеніи къ дѣвицѣ Сараманаевой, которая не замедлила показать ему бѣлки свои; затѣмъ кивнулъ головою Карачаеву, какъ старому знакомцу, и, повернувшись снова къ хозяйкѣ дома, заговорилъ о музыкѣ.

Во время обѣда Попельковскій, не перестававшій дѣлать глазки Лизаветѣ Семеновнѣ и не обращавшій рѣшительно никакого вниманія на то, что она повертывалась къ нему каждый разъ спиною, разсказывалъ необыкновенныя исторіи. Онъ сообщилъ, между прочимъ, какъ, въ бытность свою въ Москвѣ, далъ концертъ на віолончели въ залѣ Благороднаго Собранія. Зала была полнымъ-полнешенька, особенно много виднѣлось дамъ, и всѣ, безъ исключенія, принадлежали къ высшему кругу. Сбору десять тысячъ. Впрочемъ, віолончель заплачена была втрое больше; мастера не помнитъ... Пени... Рени... забылъ! Теперь у него уже не было віолончели: разбилъ вдребезги за одну фальшивую ноту! Съ каждой минутой Попельковскій почерпалъ, неизвѣстно изъ какихъ источниковъ, болѣе и болѣе развязности. Къ концу обѣда, онъ сказалъ Дрянкову „ты“ и началъ подтрунивать надъ Копковымъ, къ величайшему неудовольствію Карачаева, который не переставалъ бросать на гостя суровые взгляды. Аристархъ Ѳедоровичъ смѣялся отъ души. Ободренный этимъ, Ардаліонъ Александровичъ принялся распоряжаться какъ дома.

— Вы, кажется, не пьете? Позвольте вамъ услужить. Весьма пріятно! сказалъ онъ, протягивая бутылку къ Карачаеву.

— Не безпокойтесь; у меня есть свои руки! сухо отвѣчалъ Павелъ Петровичъ, вращая своими воспаленными бѣлками. Онъ хотѣлъ уже крикнуть: „мнѣ не нравится

ваша физіономія", но взглянулъ на Лизавету Семеновну, побагровѣлъ и молча опустилъ голову.

Послѣ обѣда Аристархъ Ѳедоровичъ, сопровождаемый новымъ лицомъ, Дрянковымъ и Копковымъ, отправился, по своему обыкновенію, въ кабинетъ дѣлать кейфъ. Карачаевъ отказался наотрѣзъ отъ такого удовольствія; онъ остался въ залѣ и принялся расхаживать вдоль и поперекъ съ самымъ зловѣщимъ видомъ, не обращая даже большого вниманія на Медора, который не спускалъ глазъ съ своего господина и друга.

А между тѣмъ Попельковскій успѣлъ уже окончательно расходиться; безпечно покуривая трубку, онъ сообщалъ самыя интересныя происшествія; присутствовавшіе узнали вскорѣ, что онъ былъ женатъ. Правдивый разсказъ объ этой женитьбѣ не лишенъ занимательности.

— Былъ у меня пріятель Кондаковъ, Ваня Кондаковъ, славный малый! говорилъ Попельковскій, пуская клубы дыма и пристально всматриваясь въ своихъ слушателей.— Вотъ, разъ, пріѣзжаю я къ нему — а жилъ онъ, нужно вамъ сказать, въ губернскомъ городѣ и нанималъ квартиру въ домѣ одного грека—звали Рокопополо, богачъ, милліонщикъ!—Ну, знаете, пріѣзжаю я къ нему, то-есть къ Кондакову; давно не видались; то да се и пошло... Выставили бутылочку сантуринскаго, другую, третью. А Рокопополо-то, нужно вамъ сказать, былъ въ этотъ день именинникъ и давалъ балъ. Музыка гремитъ. Танцы. Вотъ и говоритъ мнѣ Кондаковъ: „пойдемъ, говоритъ, на балъ къ хозяину". За галстукомъ-то, знаете, было: молодежь! Пріодѣлись, пошли. Приходимъ. Видимъ: народу множество. Дамы хорошенькія, разодѣты — богатство; но, знаете, все видно, что хозяинъ купецъ. Вотъ я подлетѣлъ къ одной; хорошенькая такая, черномазенькая гречаночка. Танцую кадриль. Спрашиваю у Кондакова: кто? Тотъ говоритъ: племянница Рокопополо. Ладно, думаю, не отвертится. Танцую съ ней вторую кадриль; дѣлаю предложеніе... у меня это скоро. Принимаютъ благосклонно. Сначала было и конфузія, то, другое, да у меня не отвертишься! На другое утро отправляюсь прямо къ дядѣ. Объясняюсь. Очень, говорятъ, рады. Узнаю: десять, то-есть серебромъ, тридцать пять тысячъ приданаго. Хожу женихомъ. Моя гречаночка такъ, знаете, и млѣетъ. Вы, говорю я Рокопополо, дядѣ-то, отдайте заблаговременно приданое; меня, говорю я, не надуешь этими супирами

да дезирами. А деньги были, знаете, нужны: наканунѣ проигралъ десять тысячъ Кондакову. Очень, говоритъ, радъ. Ну, я, знаете, обнадеженъ; ѣду въ Москву для закупокъ. Вдругъ, какъ бы вы думали? получаю письмо: отказываютъ по молодости лѣтъ! Э-э! думаю: нѣтъ, братъ, шутишь; меня этимъ не поддѣнешь! Прискакалъ назадъ. Опять къ Кондакову. Давай, говорю, на зло ему, увеземъ племянницу! И въ ту же ночь Рокопополо сталъ безъ племянницы. Обвѣнчался, повезъ ее къ отцу... Очень, говоритъ, радъ...

— Гдѣ жъ она теперь? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, смѣясь безъ церемоніи въ лицо разсказчику.

— Представьте: трехъ мѣсяцевъ не прожила, умерла въ злѣйшей чахоткѣ, продолжалъ Попельковскій, нимало не смущаясь, — я было заказалъ для нея оранжерею: доктора предписали... Тогда у батюшки было тысяча душъ—славное имѣнье!

— Гдѣ же теперь эта тысяча душъ? спросилъ съ усмѣшкою Балахновъ.

— Я вамъ докладывалъ: тётка... процессъ... отвѣчалъ Попельковскій, затягиваясь изъ чубука.

Аристархъ Ѳедоровичъ въ добрыя минуты любилъ посмѣяться. Ему особенно пріятно было, когда обласканные имъ ничтожные люди, не выступая изъ предѣловъ уваженія, платили ему дань, стараясь наперерывъ потѣшить, смѣшить и забавлять его въ то время, когда онъ лежалъ на диванѣ съ сигарою „nec-plus-ultra“ во рту, совершая свой послѣобѣденный кейфъ. Это какъ бы всегда служило ему доказательствомъ, что люди, обласканные имъ, понимаютъ свое мѣсто и рвутся, чтобы доказать ему свою признательность.

Утомившись, однакожъ, неумолкаемою болтовнею новаго забавника, Аристархъ Ѳедоровичъ оставилъ его въ кабинетѣ съ Дрянковымъ и Копковымъ, а самъ вышелъ прогуляться по саду.

Вступивъ въ залу, онъ увидѣлъ Карачаева, который продолжалъ расхаживать, обнаруживая всѣ признаки самаго неблагопріятнаго расположенія духа.

— Ба! Карачаевъ! что̀ ты здѣсь дѣлаешь? весело воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Видишь, хожу! отвѣчалъ тотъ, окидывая зловѣщимъ взоромъ комнату и продолжая расхаживать.

— Жаль, братецъ, что тебя не было въ кабинетѣ, ска-

залъ, смѣясь, Балахновъ,—этотъ... какъ бишь его? я все забываю... ну, да все равно, вралъ такую чушь, что просто уши развѣсишь... Ступай туда, послушай. Онъ, кажется, все еще говоритъ.

— Чтобъ я пошелъ его слушать! закричалъ Карачаевъ, дѣлая самые отчаянные жесты. — За кого ты меня принимаешь?

— За что жъ такая немилость? смѣясь, спросилъ Балахновъ.

— Мнѣ не нравится его физіономія! продолжалъ Карачаевъ,—это... это... это просто какой-то наглецъ! Ужъ довольно того... Да вотъ, чего же лучше? не успѣлъ онъ пріѣхать, какъ уже, не спросясь никого, надѣлъ галстукъ Копкова... Ты этого не замѣтилъ?.. Вотъ посмотри, если онъ не надѣлаетъ тебѣ какихъ-нибудь непріятностей. Я только дивлюсь, братецъ, тебѣ: охота же пускать къ себѣ въ домъ всякаго прощелыгу!

Выслушавъ монологъ раздраженнаго пріятеля, Аристархъ Ѳедоровичъ разразился громкимъ, самодовольнымъ смѣхомъ; мало-по-малу, лицо его приняло степенное, серьезное выраженіе; онъ подошелъ къ Карачаеву, потрепалъ по плечу и сказалъ голосомъ снисходительнымъ, но не лишеннымъ, однакожъ, нѣкоторой торжественности:

— Когда дѣлаютъ добро, любезный другъ, или желаютъ оказать помощь ближнему, не думаютъ о томъ, къ кому это добро обращается. Разсудокъ въ этомъ случаѣ омрачаетъ благодѣяніе... Обязанность каждаго изъ насъ протягивать руку всякому неимущему. Дѣлай добро съ закрытыми глазами...

Проговоривъ это, Аристархъ Ѳедоровичъ возвелъ очи къ потолку и вышелъ на террасу въ самомъ счастливомъ расположеніи духа.

XIII.

Желчь начинаетъ кипѣть въ величавой груди Аристарха Ѳедоровича.

Вдохнувъ въ себя съ наслажденіемъ воздухъ, Аристархъ Ѳедоровичъ закинулъ обѣ руки за спину, медленно спустился съ террасы и ступилъ на первую попавшуюся ему дорожку. Занятый мыслями и соображеніями всякаго рода, онъ незамѣтно очутился въ темной аллеѣ, и, поднявъ какъ-то неожиданно голову, увидѣлъ жену, сидѣвшую на скамейкѣ, съ книгою въ рукахъ.

Балахновъ остановился.

Она сидѣла къ нему въ профилѣ; блѣдное, кроткое лицо ея, обрамленное гладко-зачесанными волосами, склонялось надъ книжкой, которую поддерживала кисть правой руки; лѣвая рука, бѣлая какъ слоновая кость, лежала на скамейкѣ; простое бѣлое платье обтягивало ея стройную талію и падало мелкими, длинными складками на ноги, положенныя одна на другую.

Аристархъ Ѳедоровичъ находился, какъ сказано, въ самомъ веселомъ, пѣвучемъ расположеніи духа; въ эту минуту, ничто, казалось, не въ состояніи было омрачить души его. Онъ улыбнулся, когда увидѣлъ жену, и не переставалъ улыбаться во все время, какъ подходилъ къ ней украдкою, очень довольный тѣмъ, что его не замѣчаютъ.

Поровнявшись съ ней, онъ вдругъ упалъ на скамейку и залился самымъ добродушнымъ смѣхомъ.

Лизавета Семеновна вздрогнула, подняла голову — и щеки ея покрылись румянцемъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ положилъ книжку на скамейку, взялъ руку жены и, уложивъ ея пальцы между своими ладонями, принялся слегка похлопывать.

Румянецъ заигралъ еще сильнѣе на блѣдныхъ щекахъ Лизаветы Семеновны; она пристально смотрѣла на мужа, не понимая, не отдавая себѣ отчета, откуда взялась вдругъ такая нѣжность; она такъ отвыкла отъ ласковаго, нѣжнаго обращенія, что въ первую минуту ей стало даже какъ-то неловко—чувство, весьма понятное всѣмъ заброшеннымъ, забытымъ женщинамъ, когда, совершенно неожиданно, вслѣдствіе каприза, приходится имъ испытывать ласковое обращеніе мужа.

— Я, кажется, душенька, еще не говорилъ тебѣ, что заѣзжалъ къ этой полоумной Фанагоріи Петровнѣ, началъ Балахновъ, продолжая трепать женину руку. — Ну, Лизанька, плачь надъ своимъ благовѣрнымъ супругомъ: сердце его прострѣлено Фанагоріей Петровной! Да! однакожъ, признаться, несмотря на прелести моей красавицы, я бы никогда къ ней не поѣхалъ, если бъ не доброе дѣло... мнѣ хотѣлось устроить судьбу этого бѣднаго Василькова. Все, слава Богу, теперь кончено; старуха даетъ ему денегъ на свадьбу... Одно жаль: невѣста, кажется, у! у! какая штука! Она уже теперь вертитъ женихомъ, какъ тряпкой. Такую сцену ему сдѣлала, что бѣдняга

чуть было не рехнулся; боюсь, чтобъ супружество это не свернуло ему голову. Влюбленъ, влюбленъ, какъ шестнадцатилѣтній мальчикъ! Жаль будетъ: добрый парень!.. Впрочемъ, кто жъ велѣлъ? самъ виноватъ. Ну, потомъ я, кажется, также разсказывалъ тебѣ, заѣзжалъ въ Горшковъ... прибавилъ Балахновъ разсѣянно, съ видомъ величайшей небрежности.

Онъ, какъ уже извѣстно, не много обращалъ вниманія на то, нравилось ли что̀ женѣ или нѣтъ; со всѣмъ тѣмъ, онъ не рѣшался сообщить ей цѣли своей поѣздки и вообще очень неохотно посвящалъ ее въ свои планы и намѣренія. Она стояла всегда передъ нимъ, какъ упрекъ, и олицетворяла въ его глазахъ его собственную совѣсть, которая частенько находилась въ отлучкѣ.

Лизавета Семеновна продолжала смотрѣть на мужа; ей не къ чему было разспрашивать о цѣли поѣздки въ Горшковъ: еще наканунѣ узнала она все отъ болтливаго Карачаева, и извѣстіе это, какъ каждый легко пойметъ, легло новою раною на ея материнское сердце. Пріобрѣтеніе долины поведетъ только къ новымъ издержкамъ. Чтобъ досадить Солонееву, Аристархъ Ѳедоровичъ ничего не пожалѣетъ; онъ пять лѣтъ сряду думалъ объ этой несчастной долинѣ и въ состояніи надѣлать самыхъ пошлыхъ глупостей. Лизавета Семеновна понимала своего мужа какъ нельзя лучше. Всю ночь провела она, обдумывая, какія бы употребить средства, чтобъ отклонить его отъ новой покупки. Обнадеженная веселымъ расположеніемъ его духа, она собрала всю свою силу, все благоразуміе, чтобы приступить къ дѣлу. Она ждала только, изъ чувства деликатности, чтобъ Аристархъ Ѳедоровичъ самъ заговорилъ о предметѣ своей поѣздки.

По какому-то странному, небывалому приливу добродушія, Балахновъ не замедлилъ исполнить ея желаніе.

— Представь, душенька, какъ это непріятно, продолжалъ онъ съ тѣмъ же разсѣяннымъ видомъ,—пріѣзжаю въ Горшковъ съ Окатовымъ, чтобъ совершить купчую... знаешь, на эту долину... такъ, бездѣлица, прихоть, и представь, не нашли кого было нужно: всѣ разъѣхались. Такъ и не могли совершить купчей—должны были отложить до субботы.

— Это опять, вѣрно, будетъ стоить много денегъ, проговорила она, смягчая, по возможности, голосъ.

— Нѣтъ, вздоръ, бездѣлица. Впрочемъ, объ этомъ говорить теперь нечего; дѣло кончено: Окатовъ далъ слово.

— Я сказала, другъ мой, вовсе не съ тѣмъ, чтобъ упрекнуть тебя, произнесла она, робко протягивая руку къ рукѣ мужа,—мнѣ хотѣлось сказать, что въ настоящую минуту намъ очень нужны будутъ деньги.

— Зачѣмъ же? Покуда я не вижу еще никакой крайней нужды. Можетъ-быть, *тебѣ* нужно зачѣмъ-нибудь?..

— Нѣтъ, мнѣ ничего не надо; я говорю не за себя.

— Въ такомъ случаѣ, объяснись хорошенько; я, право, тебя не понимаю! сказалъ Балахновъ, утрачивая мало-помалу свою любезность.

— Я хотѣла сказать тебѣ, что Карачаевъ напомнилъ мнѣ о долгѣ и просилъ, чтобъ я сообщила тебѣ, что ему нужны деньги. Ты долженъ ему, кажется, пятнадцать тысячъ?

— Вотъ это мнѣ очень нравится! воскликнулъ Балахновъ, медленно отнимая свою руку,—ему нужны деньги, а онъ обращается... то-есть безпокоитъ тебя. Ему, кажется, слѣдовало бы говорить объ этомъ со мною!

— Ему совѣстно. Онъ самъ сказалъ мнѣ, что ни за что не рѣшится просить у тебя денегъ, хотя деньги эти принадлежатъ ему; ты знаешь самъ, какъ деликатенъ этотъ человѣкъ, несмотря на грубую свою наружность. Если бъ была должна я, а не ты, онъ, вѣрно, обратился бы тогда къ тебѣ.

— Ну, нечего сказать, матушка, нашла же деликатность, ха-ха! Карачаевъ — вотъ у кого деликатность! Къ тому же у меня нѣтъ теперь денегъ. И что, какая нужда, зачѣмъ нужны деньги этимъ людямъ? Пусть его живетъ у меня—чего ему еще? Кажется, не морятъ его здѣсь голодомъ, проговорилъ Балахновъ, бросая презрительные взгляды на стволы березъ.

— Нѣтъ, ты послѣ этого не знаешь Карачаева... тихо сказала Лизавета Семеновна.

— Это мнѣ нравится!.. Скажи, пожалуйста: вотъ все, въ чемъ состояло твое безпокойство? Больше ничего?

— Нѣтъ, меня просила о томъ же Розалія Владиміровна. Она хочетъ взять назадъ свой капиталъ.

— Какъ! и эта туда же? ха-ха-ха! Ужъ не хочетъ ли эта дурища выйти замужъ? Раненько хватилась, голубушка, нечего сказать!

— Я не спрашивала о ея намѣреніяхъ, сказала Лизавета Семеновна, употребляя всевозможную нѣжность, чтобъ только не раздражить Аристарха Ѳедоровича,— не знаю,

что она хочетъ дѣлать; можетъ-быть, она думаетъ оставить нашъ домъ... Но во всякомъ случаѣ требуетъ назадъ свои деньги.

— Нѣтъ у меня денегъ! коротко и сухо отвѣчалъ Балахновъ.

Послѣдовало молчаніе, въ продолженіе котораго Аристархъ Ѳедоровичъ всталъ со скамейки, закинулъ руки за спину и принялся расхаживать по аллеѣ на протяженіи десяти шаговъ.

— Я, право, не знаю послѣ этого, что скажу имъ обоимъ. Дай мнѣ хоть какой-нибудь совѣтъ. За Карачаева я ручаюсь; но не знаю, какъ приметъ отказъ Розалія Владиміровна: она можетъ разсердиться, оставить нашъ домъ и разболтать Богъ знаетъ что.

— Чортъ съ ней! пусть себѣ разсказываетъ что хочетъ!

— Ты знаешь провинціальное общество лучше меня. Впрочемъ, вездѣ, мнѣ кажется, случилось бы то же самое, вездѣ перетолковали бы по-своему твою неисправность: деньги ея—и она имѣетъ полное право ихъ требовать.

— Нѣтъ, ты скажи мнѣ въ самомъ дѣлѣ, любезный другъ, возразилъ Балахновъ, останавливаясь внезапно противъ жены и устремляя на нее насмѣшливые глаза, — скажи мнѣ, ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что какая-нибудь... смѣшно вымолвить! какая-нибудь Сараманаева можетъ испортить мою репутацію, или повредить мнѣ, мнѣ— Балахнову?

— Не знаю, насколько она можетъ повредить тебѣ, отвѣчала, краснѣя, Лизавета Семеновна,—но во всякомъ случаѣ деньги ея и, какъ я уже сказала, она имѣетъ полное право требовать ихъ назадъ. Я передала тебѣ обо всемъ этомъ, надѣясь... я думала, что такъ какъ ты намѣренъ купить эту долину, то у тебя есть деньги и, слѣдовательно...

— Слѣдовательно, отдать эти деньги, не такъ ли? Послушай: я хочу только просить тебя объ одномъ... Я думалъ было промолчать, да такъ ужъ, къ слову пришлось; скажи мнѣ искреннее, откровенное мнѣніе, какъ ты думаешь о покупкѣ этой долины?

Такой вопросъ поставилъ Лизавету Семеновну въ самое затруднительное положеніе. Высказать ему прямо, безъ обиняковъ, свою мысль — значило дать поводъ къ новой непріятной сценѣ; сказать, что онъ поступаетъ прекра-

но—она ни за что не рѣшится говорить противъ совѣсти и своихъ убѣжденій. Къ тому же, она съ утра еще рѣшилась отклонить мужа, во что бы ни стало, отъ новой глупости. Вооружившись всею бодростью, обратила она на него полные живѣйшаго участія глаза и сказала:

— Я думаю, что долина...

— Ну, извольте, слушаю, что̀ вы скажете? перебилъ Балахновъ, выпрямляясь во весь ростъ, выставляя правую ногу впередъ и складывая на груди руки.

— Я увѣрена, что долина эта совершенно лишняя... и не понимаю...

— Такъ! прекрасно! я этого только и ждалъ! заговорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, багровѣя, какъ жареный ракъ, и принимаясь размахивать руками, — я это зналъ! Зналъ и знаю также, сударыня, что вы, по какому-то непостижимому упрямству, никогда не хотѣли понимать моихъ мыслей! Вы не умѣли даже сдѣлать различіе между мною и тѣми пустыми людьми, которые васъ окружаютъ! продолжалъ онъ, возвышая голосъ,—оставайтесь въ этомъ пріятномъ и лестномъ для васъ заблужденіи... Я, какъ вы могли замѣтить, принялъ уже давно свою долю; дѣлайте, что̀ хотите! Я, со своей стороны, дѣлаю то, что̀ мнѣ нравится, не спрашивая ничьего совѣта... Не знаю только, почему мнѣ пришло въ голову заговорить съ вами о долинѣ; впередъ буду слѣдовать неизмѣнному своему правилу: никогда не вмѣшивать васъ въ свои дѣла...

— Я уже давно привыкла къ этому, хотя и не подавала никакого повода, сказала, съ грустною улыбкой, жена.

— Та-та-та, сударыня, перестаньте, пожалуйста! Не станете ли вы говорить мнѣ теперь о дѣтяхъ? или не захотите ли возобновить ваши намеки объ обязанностяхъ отца?..

— Вы угадали, сказала она съ необыкновенною живостью,—я хотѣла прибавить къ тому, что если вы отстраняете меня отъ обязанностей жены въ отношеніи къ вамъ, то я, съ своей стороны, никогда не забуду обязанностей своихъ къ моимъ дѣтямъ, и потому желаю сохранить права матери въ отношеніи къ этимъ дѣтямъ...

— Ва! да вы, кажется, намекаете на ваши двѣсти душъ? воскликнулъ Балахновъ, забываясь окончательно.

Онъ выпрямился и гордо взглянулъ на жену; но та выдержала смѣло этотъ взглядъ и отвѣчала съ возраставшею энергіей:

— Вы не ошиблись. Вы знаете, я никогда не рѣшилась бы говорить вамъ объ этомъ, Аристархъ Ѳедорычъ. Видитъ Богъ, какъ мнѣ тяжело сдѣлать это даже теперь, когда дѣтямъ моимъ угрожаетъ опасность—лишиться послѣдняго средства къ воспитанію и, можетъ быть, послѣдняго куска хлѣба... Да, скажу вамъ откровенно, я боюсь за ихъ участь! Дѣлайте что̀ хотите, я не буду вамъ прекословить, но прошу васъ, ради дѣтей вашихъ, возвратить имъ ихъ имѣніе: оно должно быть неприкосновенно! Отдайте мнѣ его: я берусь даже заплатить долги, о которыхъ вамъ говорила.

— Нѣтъ, это ужъ слишкомъ, сударыня! Вы забываете свои обязанности въ отношеніи ко мнѣ! ко мнѣ!.. крикнулъ Балахновъ, но въ ту же минуту остановился, увидѣвъ на концѣ аллеи подходившаго къ нимъ камердинера.

— Что тебѣ? зачѣмъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, закусывая тонкія свои губы патентованными издѣліями Вагенгейма.

— Отъ Николая Степаныча Окатова человѣкъ съ письмомъ.

— Гдѣ письмо?

— Приказано отдать, говоритъ, въ собственныя руки.

Аристархъ Ѳедоровичъ бросилъ взглядъ женѣ, которая сидѣла блѣдная, растерянная, въ волненіи, и, закинувъ руки за спину, вышелъ быстрыми шагами изъ аллеи.

Вернувшись въ кабинетъ, онъ приказалъ позвать посланнаго отъ Николая Степановича.

Вошелъ Сѣвка.

— Здравствуй, милый мой, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, ласково обращаясь къ гайдуку, но вмѣстѣ съ тѣмъ устремляя на него пронзительный взглядъ.—Ну что? какъ здоровье Николая Степановича?

— Слава Богу-съ, приказали кланяться и отдать вамъ письмо, отвѣчалъ Сѣвка, почтительно вручая пакетъ.

— Какъ, и письмо ко мнѣ есть? произнесъ Балахновъ, обнаруживая пріятное удивленіе. — Хорошо; ступай, милый мой. Сидоръ! накормить хорошенько гостя; прикажи подать водки, да чтобъ лошадь его не забыли! заключилъ онъ, дѣлая движеніе головою, чтобъ оставили его одного.

Какъ только вышли люди, Балахновъ заперъ на ключъ дверь кабинета, усѣлся въ кресла и поспѣшно распечаталъ пакетъ.

— Но лишь только онъ развернулъ письмо, лицо его, за минуту улыбавшееся, вдругъ изобразило всѣ признаки страшнаго негодованія.

Между страничками письма лежала аккуратно сложенная сторублевая депозитка, которую вручилъ онъ Окатову, какъ задатокъ.

— Нѣтъ, шутишь, любезный! этому не бывать! воскликнулъ Балахновъ, бросая депозитку на столъ.

Затѣмъ, успокоивъ себя энергическимъ жестомъ, онъ опустилъ сверкавшіе глаза свои на записку.

„Любезный Аристархъ Ѳедоровичъ (гласилъ Николай Степановичъ, очевидно, писавшій подъ диктовку Софьи Алексѣевны), непредвидѣнныя обстоятельства заставляютъ меня отказаться отъ предложенія вашего продать вамъ извѣстную долину. Основываясь на вашемъ добромъ расположеніи, я увѣренъ, что вы приняли бы въ уваженіе эти обстоятельства даже въ томъ случаѣ, если бъ купчая была совершена законнымъ образомъ и дѣло было бы кончено. Увѣренный заранѣе въ вашемъ снисхожденіи, прилагаю при семъ задатокъ. Примите, м. г., и т. д.“.

Невозможно описать бѣшенства Аристарха Ѳедоровича. Какъ! отказаться отъ долины въ ту самую минуту, когда весь уѣздъ и даже, можетъ быть, самъ Солонеевъ извѣщены уже о томъ, что она перешла въ руки Балахнова! Отказаться отъ пятилѣтней мечты, взлелѣянной въ глубинѣ сердца, обратить въ прахъ великолѣпные проекты, которые должны были удивлять тысячи людей, отказаться отъ случая нанести, передъ лицомъ цѣлой губерніи, блистательный, торжественный, смертельный ударъ непримиримому врагу — и все это изъ-за какой-нибудь прихоти, или такъ-называемыхъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ Окатова!

— Нѣтъ, этому не бывать! заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, скомкивая письмо и пуская его, неизвѣстно по какимъ причинамъ, въ собственный свой портретъ.

Пройдя нѣсколько разъ вдоль и поперекъ кабинета, Аристархъ Ѳедоровичъ остановился неожиданно передъ столомъ, раскрылъ записную книжку свою и, обмакнувъ перо, написалъ дрожащею рукою: „Слово „честность“ будетъ скоро находиться въ однихъ лишь словаряхъ!“

Исполнивъ это, онъ принялся снова расхаживать по кабинету, стараясь привести въ порядокъ свои мысли и овладѣть собою. Положеніе его было критическое. Требо-

валось съ его стороны употребить всю дипломатическую тонкость и повести дѣло о долинѣ такимъ образомъ, чтобы придать отказу Окатова видъ милой и очаровательной шутки.

Такъ и было сдѣлано. Аристархъ Ѳедоровичъ отдалъ строжайшее приказаніе, чтобы никто не смѣлъ подходить къ дверямъ кабинета, и принялся за работу. Вооружившись перомъ, онъ почувствовалъ тотчасъ же, что къ нему возвратилась вся его бодрость. Онъ ожилъ мгновенно, какъ рыба, вынутая сначала на свѣжій воздухъ и пущенная опять въ воду. Не сомнѣваясь нимало, что всему виною Софья Алексѣевна, Аристархъ Ѳедоровичъ написалъ отвѣтъ, преисполненный любезности; не переставая обращаться къ Окатову, онъ не пропускалъ случая дѣлать косвенные намеки, смыслъ которыхъ заключался въ томъ, что онъ, Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ, очарованъ, обвороженъ женщинами, которыя, играя первую роль въ высшемъ обществѣ и занимая въ немъ блистательнѣйшее и заслуженное мѣсто, не пренебрегаютъ домашними дѣлами, входятъ въ интересы мужа. „Такая женщина“, писалъ онъ, „вѣнецъ и вмѣстѣ съ тѣмъ торжество и гордость нашего общества!“ Затѣмъ, давъ шуточный, веселый оборотъ отказу Окатова, онъ просилъ его сдѣлать ему величайшую честь пріѣхать откушать подъ свѣжею тѣнью березъ въ только что отстроенномъ кіоскѣ, помѣщенномъ въ долинѣ,—постройкѣ, предпринятой въ томъ убѣжденіи, что онъ, Балахновъ, считалъ всегда слово Окатова столько же неизмѣннымъ, сколько твердымъ и непоколебимымъ. Свидѣтельствуя свое нижайшее глубокопочитаніе Николаю Степановичу, Аристархъ Ѳедоровичъ осмѣливался посылать нижайшій поклонъ Софьѣ Алексѣевнѣ и просилъ принять назадъ задатокъ.

Сѣвка, упитанный и пресыщенный заботливымъ Сидоромъ, исполнявшимъ безпрекословно волю своего господина, отправился съ отвѣтомъ далеко за полночь.

Весь слѣдующій день проведенъ былъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ въ безпокойномъ ожиданіи; это не помѣшало ему, однакожъ, съѣздить десятокъ разъ въ долину, чтобъ лично убѣдиться въ поспѣшности производимыхъ работъ. Возвращаясь, онъ обыкновенно спрашивалъ: „Никто не пріѣзжалъ отъ Окатова?“ и, получая каждый разъ отрицательный отвѣтъ, ударялъ каблукомъ въ полъ и покрывался чистѣйшимъ пурпуромъ.

Прошелъ еще день, потомъ другой — отвѣта не было. Пурпуровый цвѣтъ уже не сходилъ съ грозно-величаваго лица Аристарха Ѳедоровича. Раздраженіе его было такъ велико, что разъ, заставъ у дверей кабинета Попельковскаго, онъ повернулъ его за плечи и выпроводилъ изъ коридора исправнѣйшимъ образомъ.

Такое пораженіе нимало не смутило Ардаліона Александровича, но вмѣстѣ съ тѣмъ поставило его въ самое затруднительное положеніе: въ залѣ, въ это самое время, расхаживалъ Карачаевъ... Отретироваться на другой конецъ коридора и войти въ комнатку проживальщиковъ было для него невозможно: третьяго дня, вечеромъ, Ардаліонъ Александровичъ, выслушивая чтеніе „Непризнанной Индѣйки", имѣлъ неосторожность подать мнѣніе, что повѣсть никуда не годится и авторъ лучше сдѣлаетъ, если станетъ писать подъ его диктовку. Дрянковъ, пылая справедливымъ негодованіемъ, поклялся отмстить совѣтчику, если только тотъ попадется ему на глаза. Взглядъ и движеніе, сопровождавшіе угрозу, показывали ясно, что оскорбленный авторъ ни передъ чѣмъ не остановится. Не время было долго раздумывать, и Попельковскій, избравъ изъ двухъ золъ меньшее, вышелъ въ залу. Но каково было удивленіе Ардаліона Александровича, когда Карачаевъ тихо повернулся къ нему спиною и вышелъ въ гостиную. Попельковскій не зналъ, что между Карачаевымъ и Лизаветой Семеновной происходило наканунѣ маленькое совѣщаніе, въ которомъ послѣдняя просила Павла Петровича не дѣлать никакой сцены и не обращать ни малѣйшаго вниманія на сокровище, привезенное Аристархомъ Ѳедоровичемъ изъ Горшкова; не зналъ также Ардаліонъ Александровичъ и того, что одного слова Лизаветы Семеновны достаточно было, чтобъ Карачаевъ даже въ состояніи былъ протянуть ему руку. Приписавъ миролюбивою выходку Карачаева трусости, Попельковскій засвисталъ какую-то трель и направился въ садъ.

Нетерпѣніе Аристарха Ѳедоровича возрастало, между тѣмъ, съ каждымъ часомъ, съ каждой минутой.

Наконецъ, на третій день, явился Прошка съ вожделѣннымъ отвѣтомъ:

Николай Степановичъ, свидѣтельствуя свое почтеніе Аристарху Ѳедоровичу, изъявилъ искреннее сожалѣніе, что не можетъ исполнить просьбы и уступить долину. Онъ обнаруживалъ крайнее удивленіе, что Аристархъ

Ѳедоровичъ, не бывъ еще введенъ во владѣніе вышеупомянутой долиной, приступилъ тѣмъ не менѣе къ рубкѣ лѣса и постройкамъ, и проситъ его всепокорнѣйше остановить таковыя распоряженія. Затѣмъ, свидѣтельствуя свое почтеніе, онъ возвращаетъ ему задатокъ.

Часъ спустя послѣ этого, голодный Прошка скакалъ на голодной лошади въ Большія-Соли, неся за пазухой отвѣтъ Аристарха Ѳедоровича.

Въ отвѣтѣ значилось коротко и ясно, что человѣкъ, давшій разъ слово, не отступаетъ отъ своего обѣщанія. Основываясь на этомъ, Аристархъ Ѳедоровичъ почитаетъ дѣло оконченнымъ и проситъ разъ навсегда Николая Степановича оставить у себя задатокъ, въ ожиданіи скорой выдачи остальныхъ денегъ.

Въ тотъ же вечеръ записная книжка Балахнова украсилась слѣдующею мыслью: „Низкаго человѣка обыкновенныя свойства суть: ласкательство, притворство, лицемѣріе, пронырство...“ Сбоку, на поляхъ, бросалась въ глаза фамилія Окатова, написанная другимъ почеркомъ, но очевидно тою же нетвердою рукою.

На этотъ разъ отвѣтъ не замедлилъ явиться изъ Большихъ-Солей.

Николай Степановичъ ужъ не свидѣтельствовалъ своего почтенія Аристарху Ѳедоровичу, а говорилъ напрямикъ, что желаетъ прекратить съ нимъ сношенія, какъ до долины относящіяся, такъ равно и всякія другія. Задатокъ находился при письмѣ.

Несчастной депозиткѣ пришлось снова пропутешествовать изъ Ханскихъ-Прудовъ въ Большія-Соли, но уже въ сообществѣ ядовитѣйшаго и злѣйшаго письма, какое когда-либо начертано было рукой человѣческой.

Съ этого дня перо Аристарха Ѳедоровича забѣгало неутомимо по бумагѣ.

Прежде всего написано было въ Горшковскій земскій судъ прошеніе, а о чемъ, тому слѣдовали пункты... Пункты заключались въ томъ, что онъ, Аристархъ Ѳедоровъ, сынъ Балахновъ, положившись на крѣпкое слово Николая Степанова, сына Окатова, обѣщавшаго продать ему долину, лежащую тамъ-то и тамъ-то, застроилъ вышеупомянутую долину дорогими постройками, живописью украшенными; а такъ какъ вышереченный Окатовъ отступаетъ нынѣ отъ своего слова и требуетъ возвращенія долины въ свою собственность, то онъ, сынъ Балахновъ, проситъ покор-

нѣйше Горшковскій земскій судъ принять въ соображеніе великолѣпныя украшенныя живописью постройки, возведенныя на земляхъ Окатова, и заставить послѣдняго возвратить ему, Балахнову, протори и убытки, каковымъ виною лживыя обѣщанія вышереченнаго Окатова, а буде Горшковскій земскій судъ найдетъ прошеніе основательнымъ, что не подлежитъ сомнѣнію, дать ему надлежащій ходъ по всѣмъ судебнымъ инстанціямъ.

При семъ Аристархъ Ѳедоровичъ прикладывалъ списокъ построекъ и издержекъ, и, сверхъ того, частное письмо къ Нилу Степановичу Лукьянову, въ которомъ, между напоминаніемъ о томъ, что онъ былъ свидѣтелемъ обѣщанія, даннаго Окатовымъ, и между просьбою поддержать это обѣщаніе, въ случаѣ надобности, Балахновъ приглашалъ Нила Степановича на ботвинью и на бутылочку шато-роз-пульяка.

Курьеръ, посланный изъ Ханскихъ-Прудовъ съ драгоцѣнными бумагами, долженъ былъ завернуть мимоѣздомъ въ деревню Семена Семеновича Кошкина и вручить ему посланіе, въ которомъ Балахновъ, сверхъ извѣстія о поступкѣ Окатова, просилъ своего друга пріѣхать немедленно для совѣщанія.

Рука Аристарха Ѳедоровича не останавливалась уже ни на минуту. Вскорѣ извѣстіе о ссорѣ съ Окатовымъ пронеслось по всему уѣзду съ быстротою зажженной смолы.

Жилъ-былъ въ томъ же уѣздѣ сѣденькій, толстенькій старичокъ, по имени Фуколъ Ивановичъ. Этотъ Фуколъ Ивановичъ жилъ, казалось, для того только, чтобы вмѣшиваться во всѣ ссоры, имѣя въ виду примирять поссорившихся. Вѣрный, какъ всегда, человѣколюбивому своему призванію, онъ осадилъ Аристарха Ѳедоровича письмами (Фуколъ Ивановичъ былъ разбитъ параличомъ и рѣдко трогался съ мѣста), прося его снизойти къ мольбамъ преклоннаго старца, внять звукамъ замогильнаго гласа и протянуть руку пріязни почтенному и премногоуважаемому Окатову. Но замогильный гласъ Фукола Ивановича пронесся въ пустынѣ, и миролюбивое сердце старика переполнилось горечью, когда узналъ онъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ такъ же мало слушаетъ его въ этомъ дѣлѣ, какъ въ дѣлѣ съ прежнимъ врагомъ своимъ, Солонеевымъ.

Балахновъ остался непреклоненъ.

Дѣятельность его возрастала по мѣрѣ усиленія препятствій.

Получивъ въ одинъ и тотъ же день два письма, одно отъ Кошкина, въ которомъ извѣщалось, что Семенъ Семеновичъ не можетъ явиться по причинѣ болѣзни, другое отъ Лукьянова, въ которомъ обозначалось, что Нилъ Степановичъ не можетъ явиться на радушный зовъ по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ,—Балахновъ и тутъ не упалъ духомъ.

Перо его продолжало такъ же усердно ходить по бумагѣ, а самъ онъ продолжалъ слѣдить попрежнему за наиболѣе поспѣшнымъ исполненіемъ работъ, увѣренный, что только окончаніемъ ихъ можно заставить Окатова отказаться отъ долины.

Въ такомъ-то благопріятномъ положеніи находились дѣла, какъ вдругъ, въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, Аристархъ Ѳедоровичъ извѣстился, что Горшковскій земскій судъ призналъ его прошеніе неосновательнымъ и отказалъ ему.

Ударъ пришелся въ самое сердце Аристарха Ѳедоровича, и именно въ ту часть, которая проникалась уже нѣкоторою надеждою. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ и грохнулся въ вольтеровскія кресла вмѣстѣ съ грознымъ приговоромъ земскаго суда.

XIV.

Желчь продолжаетъ кипѣть въ груди Аристарха Ѳедоровича. Порфирій Павловичъ Васильковъ женится.

— Позвать сюда Карпа Иванова, Калину, и... и... и... позвать сюда Карпа Иванова и Калину!

Такими словами разразился Балахновъ, какъ только пришелъ въ себя. Онъ быстро приподнялся съ креселъ, гордо взглянулъ на зубъ мамонта, какъ бы вызывая его на споръ, и принялся расхаживать по кабинету. Минуту спустя, на порогѣ показались староста и Калина.

Аристархъ Ѳедоровичъ принялъ мгновенно одну изъ самыхъ величественныхъ осанокъ.

— Карпъ, сказалъ онъ, стараясь скрыть бурю, грохотавшую въ его груди, — Карпъ, сейчасъ же, сію секунду, нарядить всю барщину и разобрать — слышишь,

разобрать всѣ постройки въ долинѣ... всѣ, до послѣдней щепки!..

Но тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ уже не выдержалъ: девятый валъ взволнованной желчи хлынулъ ему въ самое горло; слова его спутались, смѣшались, и вдругъ, какъ бы прорвавъ невидимую плотину, посыпались подобно яростному потоку... Страшенъ былъ этотъ потокъ, катившій мутныя, пѣнистыя, клубившіяся волны, увлекавшій на пути своемъ все, что ни попадало: камни, корни, клочки земли и цѣлыя сосны съ ихъ пнями и сучьями. Долго грохоталъ потокъ по направленію къ двери, гдѣ стоялъ Карпъ Ивановъ, и вдругъ, неожиданно, измѣнивъ русло, покатилъ въ другую сторону и обдалъ съ головы до ногъ Калину — красу и славу художниковъ Горшковскаго уѣзда.

— Вонъ всѣ вензеля и арабески! послышалось внезапно въ мутныхъ волнахъ потока. — Чтобы духу ихъ тамъ не было! Свалить на чердакъ всю эту пачкотню! Снести въ курятникъ, чтобъ на глаза не попадались!.. Все пьешь! Вонъ пошелъ и сейчасъ же все исполнить, старый пьянчуга! заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, топнувъ каблукомъ.

Калина вышелъ изъ кабинета. Въ ушахъ его звенѣло, какъ словно только и дѣла ему было съ утра, что стрѣлять изъ пушекъ; въ головѣ происходила такая суматоха, какъ будто всѣ украшенія, карнизы, расписанные его рукою, столпились въ одну кучу и разомъ грохнулись ему на голову. Онъ держался, однакожъ, прямо. Направляясь медленнымъ шагомъ въ людскую, онъ рѣшилъ, что ни за что не останется болѣе въ этомъ домѣ.

— Коли пачкотня, пущай будетъ пачкотня; а коли пачкотня, такъ, стало, и не надо.

Таковъ былъ результатъ его размышленій. Когда онъ вступилъ въ людскую, никто не замѣтилъ его прихода. Крошечныя дверцы каморокъ отворялись и запирались дворовыми, которые сновали по всѣмъ направленіямъ, сбирались въ кучки, наполняя людскую шушуканьемъ, посреди котораго раздавалось: баринъ изволятъ гнѣваться! Никто не обращалъ вниманія на Калину. Палашка, которую, пять минутъ назадъ, засталъ онъ подслушивающей у дверей кабинета, убѣжала въ испугѣ наверхъ, въ комнату Фіоны Ивановны. Другіе люди, пользовавшіеся расположеніемъ маляра, занимались собственными своими дѣлами. Одинъ изъ

лакеевъ только что получилъ чрезъ мужика, пріѣхавшаго въ Ханскіе-Пруды, письмо отъ родныхъ, и карачаевскій Иванъ, стоявшій спиною къ Калинѣ, читалъ это письмо во всеуслышаніе:

„Любезному нашему братцу Моисею Егорычу во-первыхъ братъ твой Михайло Егорычъ счелъ за первый долгъ съ супругою Капитолиною Стратоновной свидѣтельствовать всенижайшее почтеніе и поклонъ во-вторыхъ отъ сестрицы твоей Анны Егоровны съ супругомъ Михайломъ Матвѣичемъ желаемъ тебѣ быть здоровому затѣмъ свидѣтельствую свое прелюбезное почтеніе и поклонъ въ-третьихъ кумушка Ѳекла Потаповна нижайшее почтеніе въ-четвертыхъ дѣдушка Аника Ѳедоровичъ свидѣтельствуетъ нижайшій поклонъ съ любовію и желаетъ тебѣ быть здоровому и благополучіе навѣки ненарушимое и отъ всѣхъ знающихъ тебя и извѣстныхъ нижайшій поклонъ и почтеніе отъ любви затѣмъ пожелавъ тебѣ добраго здравія и всякаго благополучія отъ Всевышняго Творца остаюсь братъ единоутробный любящій тебя сердцемъ къ услугамъ навсегда готовый.

Михайло Акишевъ“.

— Извольте получить, сказалъ Иванъ, подавая Моисею Акишеву письмо, на которомъ была такая огромная печать, какъ будто въ письмѣ заключалось несмѣтное сокровище.

— Покорно благодарю за одолженіе, отвѣчалъ Акишевъ, задумчиво складывая братнино посланіе.

— Ахъ, батюшки! да вотъ и Калина Васильичъ! воскликнулъ Иванъ, увидавъ маляра, который сидѣлъ на скамейкѣ, опустивъ голову, съ мрачно нависшими бровями и глядѣлъ въ уголъ. — Ну, что, какъ, зачѣмъ призывалъ баринъ?.. Иванъ остановился и далъ дорогу Глафирѣ, которая вбѣжала въ людскую съ платочкомъ на головѣ, кокетливо подвязаннымъ у подбородка.

— Здравствуйте, Иванъ Емельянычъ, сказала она, посылая улыбку милому своего сердца, — я пришла къ Калинѣ. Ну, что, Калина Васильичъ, что̀ говорилъ баринъ? промолвила она, устремляя нетерпѣливо-любопытные глаза на старика.

— Вотъ сошлись въ одно слово, промолвилъ съ улыбкою Иванъ,—и я объ этомъ же его спрашивалъ.

— Калина Васильичъ, что же ты ничего не говоришь? Экой какой! Я нарочно прибѣжала затѣмъ, произнесла горничная, схвативъ его за рукавъ.

Калина грубо отдернулъ руку и продолжалъ сурово смотрѣть въ уголъ.

— Эхъ, полно, старина! сказалъ Иванъ, трепля по плечу малярнаго мастера,—полно; ну, о чемъ задумался? Что? аль жутко пришлось? Полно...

— А пачкотня, такъ и пачкотня! проговорилъ наконецъ Калина, все еще продолжавшій смотрѣть въ уголъ.— Поминай какъ звали, коли такъ! Завтра же, чѣмъ свѣтъ, ухожу изъ эвдакаго дома — баста! прибавилъ онъ, ударяя ладонью по колѣнямъ и обводя глазами присутствующихъ.

— Можетъ ли быть? и онъ, Калина Васильичъ, вонъ изъ дому! съ изумленіемъ воскликнулъ Акишевъ, питавшій въ душѣ твердую увѣренность, что потеря Калины для Ханскихъ-Прудовъ ничѣмъ не вознаградима.

— Ну, когда такъ, сказалъ Иванъ, усаживаясь на лавочку подлѣ старика и подмигивая въ то же время Глафирѣ,—когда такъ, Калина Васильичъ, слушай же, что̀ я скажу тебѣ: печалиться нечего...

— Кака мнѣ печаль! сурово перебилъ Калина, — что изъ дому-то отхожу? Я вездѣ хлѣба найду, да еще спасибо скажутъ—вотъ что!

— О томъ-то и идетъ рѣчь. Я, признаться, давно хотѣлъ поговорить съ тобою, продолжалъ Иванъ. —Видишь ли какое дѣло, братецъ ты мой: у меня въ разумѣ вертится оставить своего барина. Жаль, признаться, очень жаль, да какъ быть: свои дѣла хочется справить! Вотъ, слушай, братецъ ты мой, какое дѣло: пришло мнѣ на мысль, и давно, признаться, пришло стакнуться, списаться, примѣрно, съ другими, прежними товарищами. Труппу составить не трудно. Меня любили всегда, благодаря Бога, и всѣ ко мнѣ пойдутъ. Въ виду у меня, видишь ли ты, нашъ губернскій городъ. Народу богатаго живетъ много. Тутъ только и быть балагану; дѣло-то мнѣ съ руки. Къ тому же времени, авось Богъ дастъ, и Глафир... ну, да что объ этомъ толковать!.. Хочешь поступить къ намъ въ долю, Калина Васильичъ?..

— А что тамъ стану дѣлать? Нешто я комедіянщикъ какой?

— Какъ что дѣлать? А кто жъ будетъ писать кулисы-то? Объ этомъ я и прошу тебя.

— Что жъ! пожалуй; по мнѣ все равно: декораціи ли какія, другое что—все могу сполнить! отвѣчалъ Калина,

расправляя брови.—Вотъ одно только развѣ, промолвилъ онъ, снова насупиваясь, — куда я дѣну этого пострѣла? Ну, чего стоишь? что глазища-то выпучила? заключилъ онъ сердито, обращаясь къ Палашкѣ, которая съ минуту уже стояла въ людской и прислушивалась къ толкамъ.

— Что жъ, тятенька, и я пойду съ тобой! сказала дѣвчонка, просовывая остриженную голову изъ-подъ руки Моисея Акишева.

— Молчать! сказалъ Калина.

— Полно сердиться, старинушка: вотъ есть изъ чего! А насчетъ ея ты не сумлѣвайся: къ тому времени, можетъ статься, Богъ дастъ Глафир... ну, да что загадывать? Пристроимъ Палашку, найдемъ и ей мѣсто. Скажи ты мнѣ только одно, Калина Васильичъ: можешь ли— да навѣрное говори — можешь ли, примѣрно, написать дубраву?

Калина небрежно взглянулъ на Ивана, повернулся къ нему спиной и, презрительно улыбаясь, сталъ смотрѣть въ уголъ.

— Какъ, Калина-то Васильичъ? Не сумлѣвайтесь, Иванъ Емельянычъ, все можетъ! проговорилъ съ поспѣшною заботливостью Моисей; затѣмъ, онъ понизилъ голосъ, нагнулся къ собесѣднику и, глубокомысленно моргая бѣлыми рѣсницами, прибавилъ, указывая головою на маляра:— умнѣйшій человѣкъ, все можетъ исполнить!

Калина повернулся къ разговаривавшимъ и лицо его не представляло уже ни малѣйшаго слѣда суровости.

— Все могу, все могу! произнесъ онъ, торжественно подымая голову и вмѣстѣ съ нею правую руку, — все могу, какія тебѣ хочешь декораціи могу исполнить: дубраву ли, лѣсъ ли какой, арабескъ ли подвести — все могу...

— Ну, когда такъ, стало и разговаривать нечего! радостно воскликнулъ Иванъ.—По рукамъ, что ли?

— Ладно! отвѣчалъ Калина.

— Вотъ Глафира Львовна и Моисей Егорычъ свидѣтели; давай руку!

— А на закрѣпу-то что жъ? спросилъ Калина, подергивая бровями.

— И закрѣпа будетъ. Я не пью, а ты выпей себѣ на здоровье.

Иванъ далъ деньги; Калина сунулъ ихъ въ руку Па-

лашки. Вскорѣ явилась закрѣпа, а немного погодя, на лицѣ Калины изгладились и послѣдніе слѣды неутѣшнаго горя.

Цѣлый мѣсяцъ Аристархъ Ѳедоровичъ не выходилъ изъ своего кабинета. Окна были тщательно завѣшаны, въ коридорѣ разостланы половики; всѣ ходили на цыпочкахъ; подлѣ дома разставлены были люди, обязанность которыхъ состояла въ томъ, чтобъ не подпускать ни одной телѣги; дворовыя собаки отправлены были въ деревню; даже пѣтухи подверглись изгнанію, къ совершенному неудовольствію куръ, которыя, по свойственной имъ кротости, составляющей, какъ извѣстно, лучшее украшеніе женскаго пола, перессорились въ тотъ же день, поставили вверхъ дномъ всѣ клѣтушки, взбудоражили цѣлые ворохи соломы и объявили напрямикъ, что коли на то пошло, онѣ себя покажутъ и на зло же не станутъ нести яицъ до тѣхъ поръ, пока не исполнятъ ихъ воли и не выпустятъ пѣтуховъ изъ заключенія.

Домъ, погруженный въ мрачное молчаніе, походилъ на заколдованный домъ *спящей красавицы*, гдѣ все, начиная съ кухоннаго огня, кончая прислугою и наконецъ самой царевной, предавалось безпробудному усыпленію. Аристархъ Ѳедоровичъ лежалъ въ постели. Съ нимъ приключилось то же самое, что за восемь лѣтъ тому назадъ, послѣ злополучной исторіи съ Солонеевымъ: всѣ предметы, лица и даже самое небо представлялись ему въ ярко-желтомъ свѣтѣ, какъ будто за день до этого Ханскіе Пруды, со всѣми ихъ угодьями и жителями, подверглись наводненію изъ шафраннаго настоя.

Аристархъ Ѳедоровичъ лежалъ въ постели! Не въ порядкѣ вещей, однакожъ, чтобъ умственная дѣятельность такого человѣка, какимъ былъ Балахновъ, могла сокрушиться отъ подобной бездѣлицы. Тѣло — особая статья: тѣло могло пасть и сокрушиться подъ бременемъ злополучныхъ обстоятельствъ; но душа, умъ—словомъ то, что называемъ мы духомъ и надъ чѣмъ мы властны, казалось, получило еще больше могущества и упругости въ величавой груди Аристарха Ѳедоровича. „Пріятности и огорченія равно содѣйствуютъ къ возбужденію растительной силы, сокрытой въ негодныхъ сѣменахъ“, сказалъ какой-то мудрецъ. Встрѣчаетъ ли подобный человѣкъ всеобщее уваженіе или ненавистное презрѣніе со всѣхъ сторонъ—самолюбіе его разгорается съ одинаковою, если

еще не съ бо̀льшею, силою, особенно при послѣднемъ случаѣ.

Въ продолженіе этого мѣсяца не было такого часа, гдѣ бы записная книжка Аристарха Ѳедоровича не украсилась какимъ-нибудь мудрымъ изреченіемъ, которое показывало въ авторѣ глубокое знаніе человѣческаго сердца, но вмѣстѣ съ тѣмъ и носило на себѣ печать горько-безотраднаго чувства—увы! неразлучнаго съ такимъ познаніемъ. Не проходило дня, чтобъ окрестные сосѣди не получали памфлета, сатиры или аллегоріи на владѣтеля Большихъ-Солей. Какъ, откуда, отъ кого, какимъ способомъ попадались памфлеты, сатиры и аллегоріи въ руки сосѣдей—никто объяснить не могъ. Большею частью ихъ находили на садовыхъ дорожкахъ или приносили дворовые люди, которые находили ихъ ранней утренней порой на крыльцѣ господъ... „Вотъ вздоръ какой! есть изъ чего разлиться желчи и слечь въ постель. Да наконецъ чего-жъ добивался этотъ Аристархъ Ѳедорычъ?“ Если бъ привелось услышать такіе вопросы со стороны читателя, я принужденъ былъ бы, съ своей стороны, сказать ему съ обычною своею откровенностью, что онъ рѣшительно не посвященъ въ тайны человѣческаго сердца. Какъ, чего добивался? Помилуйте! Вспомните только, чего добиваются другіе люди! Я зналъ, напримѣръ, одну даму, и даже очень-неглупую, которая дѣлалась больна всякій разъ, когда одно очень значительное лицо, въ домъ котораго она ѣздила, не удостоивало ее, за неимѣніемъ времени, привѣтливымъ словомъ или взглядомъ. Разверните любое тяжебное дѣло: тамъ найдете вы, какъ очень порядочные, повидимому, люди истратили тьму денегъ и сдѣлались непримиримыми врагами за клочокъ земли, не сто̀ящій двухъ съ полтиною на мѣдные гроши. Прогуляйтесь по Невскому проспекту, по Тверскому бульвару, войдите въ любое публичное мѣсто—вы увидите, что люди, преисполненные страшной гордости, гнутся въ-три-погибели, млѣютъ и замираютъ, чтобъ получить взглядъ, улыбку, пожатіе руки, ласковый поклонъ, а иногда и того менѣе!.. Чего-жъ они добиваются, скажите на милость? Неужели же Аристархъ Ѳедоровичъ, сгоравшій отъ самолюбія, желавшій играть роль между помѣщиками своего уѣзда (желаніе, возбуждаемое еще болѣе ненавистью къ Солонееву, передъ которымъ онъ хотѣлъ восторжествовать), скупавшій по этому случаю сосѣднія земли, задававшій, не взирая на отощавшій кар-

манъ, балы и обѣды, и вдругъ лишившійся случая нанести окончательное пораженіе Солонееву — неужели всѣ эти желанія и стремленія не легче объяснить, чѣмъ то, до чего добиваются вышеприведенныя особы, преисполненныя недосягаемой гордости?... Но это въ скобкахъ.

Въ продолженіе этого несчастнаго мѣсяца никто, или почти никто, не удостоился взглянуть на Балахнова. Онъ самъ, впрочемъ, никого не хотѣлъ видѣть. Во все это время былъ одинъ только Порфирій Павловичъ, пріѣзжавшій звать къ себѣ на свадьбу. Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ впустить его, но принялъ въ постели. Трудно описать отчаяніе сердобольнаго Василькова, когда узналъ онъ, что болѣзнь лишитъ его такого почтеннаго посаженаго отца. У добраго, чувствительнаго Порфирія Павловича была такъ же, какъ и у всѣхъ смертныхъ, своя доза самолюбія: разъѣзжая съ приглашеніями по сосѣдямъ, онъ не могъ утерпѣть, чтобъ не шепнуть на ушко радостное извѣстіе, что Балахновъ будетъ у него посаженымъ отцомъ. Пронзенный теперь насквозь горестнымъ событіемъ, онъ каялся въ своей поспѣшности. Нѣсколько минутъ сидѣлъ онъ противъ постели страдавшаго, въ совершенномъ оцѣпенѣніи чувствъ. Оставалось одно утѣшеніе, что хоть, по крайней мѣрѣ, Лизавета Семеновна Балахнова не откажется отъ роли посаженой матери жениха. Въ этомъ Порфирій Павловичъ не ошибся: Лизавета Семеновна, несмотря на всю свою грусть, дала слово пріѣхать на свадьбу. Обнадеженный и нѣсколько утѣшенный Васильковъ выходилъ уже въ залу, какъ вдругъ наткнулся на Попельковскаго, который, впрочемъ, давно уже поджидалъ его въ дверяхъ. Ардаліонъ Александровичъ поспѣшно увлекъ его на террасу и началъ съ того, что бросился къ нему на шею, обдавъ его потокомъ благодарственныхъ изреченій. Порфирій Павловичъ былъ тронутъ до глубины души чувствами стариннаго своего знакомаго незнакомца. Онъ узналъ, что Попельковскій ни за что въ свѣтѣ не пріѣхалъ бы въ Ханскіе-Пруды, если бъ былъ предувѣдомленъ заранѣе, что Порфирій Павловичъ не составляетъ члена Балахновскаго семейства. Попельковскій сгоралъ однимъ желаніемъ увидѣться съ Васильковымъ, къ которому съ перваго взгляда почувствовалъ неизъяснимое влеченіе. Порфирій Павловичъ узналъ, сверхъ того, что безкорыстная душа Попельковскаго не выносила пышной жизни, таящей въ себѣ зародышъ холоднаго об-

ращенія, что роскошь большого свѣта была тягостна Попельковскому, который предпочиталъ тихую семейную жизнь, скромный домикъ и сладостное созерцаніе двухъ нѣжно-любящихся сердецъ. Быть другомъ, посредникомъ между двумя любящими сердцами,—вотъ что̀ составляло, по словамъ Ардаліона Александровича, истинное наслажденіе въ жизни.

Порфирій Павловичъ былъ такъ довѣрчивъ, что если бъ ему продали въ Тулѣ перочинный ножикъ и увѣрили его, что это настоящій англійскій, онъ и тутъ бы нимало не усомнился. Съ нимъ даже произошелъ, кажется, разъ такой же точно случай. Онъ умилился до невѣроятной степени словами Попельковскаго, словами, которыя выражали его собственныя чувствованія. Онъ утѣшилъ нѣжнаго Ардаліона Александровича, пригласилъ его къ себѣ на свадьбу и поспѣшилъ увѣрить, что и самъ мечталъ всегда о такой жизни и радушно принимаетъ его, какъ друга, въ свое маленькое семейство. Попельковскій хотѣлъ уже сказать: „нельзя ли какъ-нибудь скорѣе исполнить такое намѣреніе?“ но увидѣвъ Карачаева, подходившаго быстрыми шагами, выразительно подмигнулъ глазомъ и скрылся за террасой.

— Порфирій! ха! ха! ха! душа моя! закричалъ Карачаевъ, растопыривая свои руки и радостно обнимая Василькова. — Однакожъ, écoutez, вотъ что, братъ, радость радостью, дѣло дѣломъ: когда свадьба? заключилъ Павелъ Петровичъ, нахмуривая брови и обнаруживая всѣ признаки живѣйшей, глубокой заботливости.

Васильковъ объявилъ восторженно, что свадьба назначена чрезъ десять дней.

— Стой! Ладно! произнесъ Карачаевъ, принимая самый серьезный и дѣловой видъ. Ѣдемъ, Порфирій; мѣшкать нечего. Надо все это устроить, душа моя, такъ, какъ слѣдуетъ. Ѣдемъ!

— Да куда же ѣхать-то? Я ужъ все устроилъ: музыку пригласилъ, купилъ вина, объѣздилъ весь уѣздъ...

— Чего? че-е-во? проворчалъ Карачаевъ, мгновенно разгорячась, — че-е-во? А кто-жъ тебя просилъ объ этомъ? крикнулъ онъ, запальчиво вращая своими воспаленными бѣлками, — просилъ ли я тебя объ этомъ, да или нѣтъ? Ты просилъ меня въ шаферы—я согласился, и потомъ ты поступаешь со мной такъ низко... Смѣяться надъ собой я

никому не позволю, слышишь ли? Я тебя спрашиваю: шаферъ ли я? да или нѣтъ?

Оторопѣвшій Васильковъ поспѣшилъ увѣрить Карачаева, что онъ не только считаетъ его своимъ шаферомъ, но даже искреннимъ, преданнѣйшимъ другомъ, и никогда не думалъ надъ нимъ смѣяться.

— Ну, когда такъ, такъ стало такъ и есть! воскликнулъ Карачаевъ, мгновенно успокоиваясь. — Я, братецъ, хотѣлъ сказать тебѣ, что это не хорошо; такъ не дѣлаютъ между порядочными людьми! Если ты приглашалъ меня въ шаферы, значитъ, долженъ былъ положиться во всемъ на меня: я знаю свои обязанности!.. Ну, да Богъ съ вами! прошлаго не воротишь; времени терять нечего: ѣдемъ, Порфирій!

— Да куда же ѣхать-то? спросилъ Васильковъ, рѣшительно не понимавшій, чего хотѣлъ отъ него пріятель.

— Какъ куда ѣхать? Ты думаешь, пригласилъ музыкантовъ, да купилъ вина, такъ ужъ и Богъ знаетъ какое дѣло сдѣлялъ! крикнулъ Карачаевъ, принимаясь размахивать руками.—Нѣтъ, душа моя, все это надо устроить какъ слѣдуетъ между порядочными людьми. Сдѣлай только милость, душа моя, не мѣшайся во все это, предоставь мнѣ; я все это самъ обдѣлаю, заключилъ онъ, окончательно смягчаясь.

Порфирій Павловичъ хотѣлъ было возражать, но Карачаевъ не далъ ему проговорить слова. Онъ бросился въ переднюю, закричалъ: „Запрягать лошадей! жи-и-ва!“, потомъ кинулся въ людскую, отыскалъ Ивана и, объяснивъ ему, что вотъ такъ и такъ, долженъ ѣхать непремѣнно на свадьбу, поручилъ ему надзирать заботливо за обѣдомъ и ужиномъ Медора. Затѣмъ онъ вернулся въ домъ. Теперь предстояла ему трудная обязанность проститься съ Лизаветой Семеновной, которая почему-то не покидала своей дѣтской въ продолженіе послѣднихъ трехъ недѣль. Карачаеву извѣстна была въ мельчайшихъ подробностяхъ причина грусти Балахновой; одну часть этихъ подробностей объяснилъ онъ себѣ разсудкомъ, другая—самая сокровенная и вмѣстѣ съ тѣмъ сложная — разъяснилась передъ нимъ помощью какого-то особеннаго сердечнаго чутья. Въ другое время онъ ни за что въ свѣтѣ не рѣшился бы оставить Лизавету Семеновну на произволъ судьбы, одну въ большомъ домѣ (Карачаевъ былъ твердо увѣренъ, что въ его присутствіи никто, ни даже самъ Аристархъ Ѳе-

доровичъ не рѣшился бы взглянуть косо на добрую женщину; хотѣлъ бы онъ посмотрѣть, кто осмѣлился бы прикоснуться къ ея волоску или нанести ей огорченіе!), но теперь явилось такое обстоятельство, что, волею-неволею, онъ долженъ былъ отлучиться на время изъ Ханскихъ-Прудовъ. Онъ постучался въ дверь спальни и, получивъ утвердительный отвѣтъ, предсталъ предъ Лизаветой Семеновной съ стѣсненнымъ сердцемъ. Взглянувъ на блѣдное, заплаканное лицо ея, онъ окончательно растерялся и объявилъ напрямикъ, что ни за что не поѣдетъ изъ дому. Получивъ въ отвѣтъ, что этого никакъ не слѣдовало дѣлать, потому что чрезъ то нарушалось деликатное положеніе, въ которое поставленъ онъ Васильковымъ, Карачаевъ успокоился. Онъ перецѣловалъ дѣтей, простился съ Лизаветой Семеновной и вышелъ изъ дѣтской, давъ себѣ слово обдѣлать, какъ можно скорѣе, всѣ дѣла, взгроможденныя на него обязанностью шафера, и вернуться какъ можно поспѣшнѣе въ Ханскіе-Пруды.

Полчаса спустя, Карачаевъ усадилъ Василькова въ свою телѣжонку и, приказавъ тарантасу не отставать ни на шагъ, полетѣлъ вихремъ по направленію къ Грачовкѣ.

Восемь дней, ровно восемь дней, послѣ вышеупомянутыхъ событій, Карачаевъ снова явился въ Ханскіе-Пруды. Заботы отпечатлѣвались рѣзкими чертами на красномъ лицѣ его, сохранявшемъ выраженіе полной готовности, усердія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сознанія въ отношеніи къ почетной роли шафера, возложенной на него добрымъ пріятелемъ. Онъ былъ въ „черномъ своемъ фракѣ", въ рукахъ держалъ „шляпу". Шляпа, взятая на время у Барабанчикова (Карачаевъ сдѣлалъ для этого нарочно сорокъ верстъ крюку), была крошечная и не могла умѣститься на верхушкѣ его лысины; поэтому онъ держалъ ее постоянно во всю дорогу въ лѣвой рукѣ. Войдя съ какимъ-то особеннымъ величавымъ спокойствіемъ въ домъ, онъ направился прямо къ Лизаветѣ Семеновнѣ. Карачаевъ объявилъ, что пріѣхалъ за ней: въ домѣ жениха приготовлена была для нея комната; она переночуетъ сегодняшнюю ночь и завтра утромъ, послѣ благословенія бракосочетающихся, поѣдетъ за ними въ церковь. Проговоривъ это съ особенною торжественностью, онъ пошелъ въ кабинетъ. Но тутъ уже достоинство, которое онъ хотѣлъ сохранить съ такимъ тщаніемъ, разлетѣлось вдребезги. Узнавъ, что Балахновъ отказывается напрямикъ при-

нять участіе въ свадьбѣ, Карачаевъ вышелъ изъ себя. Онъ объявилъ наотрѣзъ, что это ни на что не похоже, что такъ не дѣлаютъ между порядочными людьми, что если ужъ далъ слово, такъ держи это слово... и прочее, въ томъ же родѣ. Выпровоженный довольно неучтиво изъ кабинета, Карачаевъ осмотрѣлъ прежде всего локти фрака, которые не переставали издавать маленькій трескъ во все время объясненія съ Балахновымъ, потомъ перенесъ въ лѣвую руку шляпу и, полный своею ролью, отправился въ комнату проживальщиковъ. Онъ церемонно раскланялся передъ Дрянковымъ, протянулъ ему руку и сказалъ, что женихъ и невѣста поставляютъ себѣ за особую честь видѣть у себя на свадьбѣ Аполлона Егоровича. Съ такими же точно словами обратился онъ къ Прокисаю Захаровичу. Поймавъ, не безъ особенныхъ трудовъ, Попельковскаго, который продолжалъ бѣгать отъ Карачаева всякій разъ, какъ видѣлъ кончикъ его краснаго носа, Павелъ Петровичъ отвѣсилъ ему сухой поклонъ и сказалъ: „И васъ также просятъ на свадьбу!“ Ардаліонъ Александровичъ хотѣлъ было пуститься въ любезности, но Карачаевъ повторилъ поклонъ и сухо произнесъ: „Виноватъ, мнѣ теперь некогда!“ Исполнивъ въ точности возложенныя на него обязанности, Карачаевъ спустился въ садъ, нарвалъ огромнѣйшій букетъ изъ самыхъ яркихъ цвѣтовъ и вернулся къ Лизаветѣ Семеновнѣ объявить, что карета дожидается у подъѣзда. Церемонія заштопыванія фрачныхъ локтей и усаживанія Лизаветы Семеновны заняла не мало времени.

Къ вечеру шаферъ и посаженая мать уѣхали, сопровождаемые телѣжкой Карачаева, въ которой сидѣли Попельковскій, Дрянковъ и Прокисай Захаровичъ.

Оставшись наединѣ въ прадѣдовскомъ домѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ отворить ставни кабинета и увидѣлъ съ особеннымъ удовольствіемъ, что окружающіе его предметы все еще сохраняли такой видъ, какъ будто подверглись наводненію изъ шафраннаго настоя. Мудренаго тутъ, впрочемъ, ничего не было. Причиною были два письма, полученныя наканунѣ. Въ первомъ письмѣ Семенъ Семеновичъ Кошкинъ извѣщалъ вторично, что весьма соболѣзнуетъ его горю, но со всѣмъ тѣмъ не можетъ утѣшить друга, потому что самъ лежитъ въ постели. Аристархъ Ѳедоровичъ, узнавъ отъ посланнаго, что Кошкинъ былъ здоровъ и даже разъѣзжалъ по сосѣдямъ, конечно,

не могъ не возмутиться такою вѣстью, и странно было бы, если бъ послѣ этого родъ человѣческій предсталъ предъ нимъ въ розовомъ свѣтѣ. Онъ ничего, однакожъ, не сказалъ и ограничился тѣмъ только, что подчеркнулъ въ записной книжкѣ слѣдующее изреченіе: „Чѣмъ поверхность рѣки глаже, тѣмъ дно ея глубже; чѣмъ лицо человѣка спокойнѣе, тѣмъ душа его двуличнѣе". Второе письмо раздражило его настолько же, если еще не болѣе. Оно было отъ старичка Пшеницына и напоминало ему ненавистнаго Окатова.

„Милостивый государь мой (писалъ Пшеницынъ), не могу преминуть васъ увѣдомить, что я, по милости Создателя, нахожусь еще въ живыхъ. Посылаю къ вамъ, милостивый государь мой, всепокорнѣйшее о неоставленіи меня прошеніе. Былъ я на-дняхъ съ ходатайствомъ у многоуважаемаго вами Николая Степановича Окатова. Не удостоился я великой чести узрѣть его. Сдѣлайте такую божескую милость, замолвите письмецомъ ему о моемъ Ѳединькѣ. Что̀ ты станешь дѣлать! растетъ не по днямъ, а по часамъ! Охъ, проспали, прозѣвали мы съ матерью его лѣта. Желаніе, единственное желаніе всегда служить вамъ, обнадеживаетъ, что вы не отринете моей просьбы, ибо есмь съ нелицемѣрнымъ почтеніемъ преданный вамъ на вѣки-вѣчные.

Иванъ Панкратьевъ Пшеницынъ".

Прочитавъ это письмо, Аристархъ Ѳедоровичъ почувствовалъ легкое головокруженіе и приказалъ снова запереть ставни. Такъ провелъ онъ нѣсколько дней сряду. Лизавета Семеновна, Карачаевъ и остальные проживальщики, приглашенные на свадьбу, вернулись уже въ Ханскіе-Пруды, а Аристархъ Ѳедоровичъ все еще сидѣлъ или лежалъ въ своемъ кабинетѣ.

Вышелъ онъ въ первый разъ, когда, недѣли двѣ спустя послѣ свадьбы, пришли доложить ему, что пріѣхали молодые.

Аристархъ Ѳедоровичъ явился въ гостиную; разсѣянно раскланялся съ молодою, сказалъ ей два-три комплимента, потомъ два-три слова молодому, и принялся молча расхаживать по залѣ.

Женитьба произвела замѣтную перемѣну въ Васильковѣ. Онъ употребилъ, повидимому, всевозможныя усилія, чтобъ казаться солиднѣе, глубокомысленно моргалъ глазами, говорилъ разумныя, тихія рѣчи, которыя доказывали,

что онъ уже проникся новымъ своимъ положеніемъ и понималъ въ совершенствѣ, что теперь не слѣдъ было вмѣшиваться въ шумныя сборища холостыхъ товарищей. Онъ долженъ былъ вести себя солидно, говорить разумно, взвѣшивать каждое слово, а въ минуты молчанія глубокомысленно закрывать глаза. Но, увы! не всѣ надѣлены завидною долею держать на привязи порывы своего сердца. Какъ ни крѣпился Порфирій Павловичъ, сколько ни насупивалъ бровей, чтобъ сохранить видъ спокойный и солидный, восторгъ, наполнявшій его душу, прорывался насквозь и безпрестанно измѣнялъ ему. Онъ поминутно вскакивалъ съ мѣста, подбѣгалъ къ женѣ, чтобъ поправить какой-нибудь бантикъ, спрашивалъ, не безпокоитъ ли ее сквозной вѣтеръ, или садился подлѣ и не отрывалъ отъ нея глазъ, какъ бы желая предупредить малѣйшее ея желаніе. Антонина Васильевна не обращала большого вниманія на мужа; черные, быстрые глазки ея, обращавшіеся ласково ко всѣмъ, не исключая даже Копкова, отворачивались всякій разъ, когда встрѣчались съ глазами супруга; видно было, что она билась изо всей мочи, чтобъ показать совершенное безпристрастіе, холодность и даже полное равнодушіе къ супругу. Подобно многимъ барышнямъ, воспитаннымъ въ пансіонахъ, она увѣрена была, что въ этомъ-то именно и состоитъ бон-тонъ. Супругъ нимало, однакожъ, не оскорблялся такими выходками: напротивъ, всякій разъ, какъ супруга хмурила брови, онъ утроивалъ, учетверялъ свою нѣжность; не проходило минуты безъ того, чтобъ Порфирій Павловичъ не цѣловалъ жениной руки или кончика ея мизинца. За обѣдомъ Васильковъ, усѣвшійся подлѣ Антониночки, забылъ уже все его окружавшее: онъ не переставалъ ухаживать за нею, наливалъ ей воды, поддерживалъ блюда, поправлялъ шаль и послѣ каждаго кушанья прикладывался къ ея щекѣ или плечу, при чемъ заунывно-страстно вращалъ своими глазами; разъ даже, а именно во время десерта, онъ поцѣловалъ ее нѣсколько разъ сряду въ самыя губки, такъ что Аристархъ Ѳедоровичъ, сидѣвшій насупротивъ, не утерпѣлъ, чтобъ не сказать:

— Ай да молодые супруги! Вотъ любовь! Вотъ поцѣлуй! Вчужѣ позавидуешь!

Легкая тѣнь ироніи, которая проглядывала въ этихъ словахъ, обдала стужей воспаленное сердце Василькова. Взглянувъ на раскраснѣвшееся лицо жены и нимало не

сомнѣваясь, что смущеніе ея происходило отъ замѣчанія Балахнова, Порфирій Павловичъ, все еще вѣрный своей супружеской роли, чрезвычайно обидѣлся. Онъ поднялъ на Аристарха Ѳедоровича глаза свои, потомъ опустилъ ихъ и, покручивая головою, произнесъ не совсѣмъ твердымъ голосомъ:

— Что жъ, Аристархъ Ѳедоровичъ? тутъ нѣтъ ничего особенно такого... Вы... вы, можетъ-быть, цѣлуетесь по утонченности свѣта-съ, а мы, Аристархъ Ѳедоровичъ, мы—какъ любовь позволяетъ-съ.

Такъ какъ послѣ обѣда Антонина Васильевна запретила своему мужу подходить къ себѣ ближе чѣмъ на десять шаговъ, то Васильковъ, окончательно разстроенный и огорченный, отправился въ садъ.

За первымъ же кустомъ онъ встрѣтился съ Попельковскимъ.

— Возмущенъ за васъ... Грубо, неделикатно! сказалъ Ардаліонъ Александровичъ, крѣпко пожимая руку Порфирію Павловичу, который шелъ, опустивъ голову. — Неблагородно! Получивъ воспитаніе, почту долгомъ отвѣтствовать. Скажу искренно: грубые люди! Не будь вы, никогда не остался бы въ этомъ домѣ. Неделикатное обхожденіе... Лесть въ глаза, за глаза другое... Насчетъ васъ то же самое...

— Какъ, не-уже-ли онъ и меня бранитъ? Да за что же? что̀ я ему сдѣлалъ? спросилъ Васильковъ, огорченный до глубины сердца.

— Такъ точно, отвѣчалъ Попельковскій, снова пожимая ему руку.—Вчера еще смѣялся надъ вами и надъ вашей женой... Очаровательна, мила, прекрасна — всѣ скажутъ. Самый двуличневый человѣкъ! Да и всѣ здѣсь таковы. Желалъ бы другой жизни... Обстоятельства... тётка скупая! Не будь это — уѣхалъ бы сію минуту, купилъ бы подлѣ васъ имѣніе, все пополамъ. Питаю къ вамъ сердечную склонность... Позвольте обнять васъ! Терпѣть не могу двуличневыхъ людей. Балахновъ расплатится за то, что смѣется надъ вами...

Нѣжная душа Порфирія Павловича получила страшный ударъ разочарованія. Такъ точно: холодный пріемъ Балахнова, его отказъ принять участіе въ свадьбѣ, подъ предлогомъ болѣзни, сарказмъ во время обѣда — все подтверждало слова Попельковскаго. Васильковъ былъ изъ числа тѣхъ людей, которые вѣкъ свой мечтаютъ о томъ,

какъ бы найти вѣрнаго, неизмѣннаго друга. Васильковъ находилъ такихъ друзей на каждомъ шагу; но такъ какъ ни одинъ другъ не выдерживалъ долѣе сутокъ сердечныхъ изліяній, приторныхъ, сентиментальныхъ фразъ, которыми осаждалъ его Васильковъ, то Порфирій Павловичъ огорчался всякій разъ до глубины сердца и предавался одиночеству. На другой же день одиночество уже тяготило его: онъ садился въ тарантасъ, летѣлъ къ первому ближайшему сосѣду и бросался къ нему въ объятія. Потому ли, что пріемъ сосѣда казался ему холоденъ, но онъ снова падалъ духомъ, и снова мечта объ одиночествѣ западала ему въ голову. Послѣ всего слышаннаго, особенно послѣ участія, обнаруженнаго Попельковскимъ, Порфирій Павловичъ не сомнѣвался, что нашелъ, наконецъ, преданнаго и истиннаго друга. Результатъ этого открытія былъ тотъ, что Васильковъ умолялъ Ардаліона Александровича послѣдовать за нимъ и раздѣлить его уединеніе. Утонченная деликатность, какою снабженъ былъ Попельковскій, заставила его нѣкоторое время колебаться, но наконецъ онъ уступилъ, взявъ въ соображеніе, что отказъ съ его стороны могъ только нанести новое огорченіе чувствительному сердцу Порфирія Павловича.

Удаленіе Ардаліона Александровича изъ дому Балахновыхъ подѣйствовало пріятнымъ образомъ на всѣхъ жителей и особенно на дворовыхъ людей. Что жъ касается до Прокисая Захаровича, Попельковскій не только не возвратилъ ему галстука, но даже воспользовался, самоуправно и безъ отдачи, шелковымъ платочкомъ, который тѣмъ самымъ былъ дорогъ проживальщику, что младшая Кокуркина держала когда-то этотъ платокъ въ рукахъ своихъ. Словомъ, всѣмъ насолилъ Ардаліонъ Александровичъ, и всѣ были рады, что онъ убрался по-добру поздорову.

Сердце Порфирія Павловича не могло долго сохранять злобы: размягченное ласковымъ, задушевнымъ обращеніемъ новаго друга, переполненное благополучіемъ, оно искало только случая излиться въ сердца другихъ людей и раздѣлить съ ними свои чувствованія. Не прошло двухъ недѣль послѣ его отъѣзда изъ Ханскихъ-Прудовъ, какъ уже Аристархъ Ѳедоровичъ получилъ приглашеніе удостоить своимъ посѣщеніемъ тихій домикъ на берегу живописной рѣчки и выпить въ немъ чашку чая: „Порфирій Павловичъ Васильковъ и Антонина Васильевна Василькова про-

сятъ покорнѣйше Аристарха Ѳедоровича и Лизавету Семеновну, съ дѣтками и всѣми гостями, пожаловать къ нимъ завтра на вечеръ откушать ханскаго, бѣлаго, сребровиднаго букетнаго чая съ эѳирными бисквитами, изготовленными золотыми ручками самой хозяйки...“

Жёлчь къ этому времени начинала чуть-чуть утихать въ величавой груди Аристарха Ѳедоровича; онъ чувствовалъ уже скуку сидѣть дома безъ гостей; къ тому же слѣдовало опровергнуть слухи, носившіеся по уѣзду, будто онъ слегъ въ постель отъ огорченія, нанесеннаго исторіею съ Окатовымъ. Всему этому надлежало, разумѣется, придать видъ глупѣйшей лжи, и не было лучшаго средства, какъ показать себя въ это время блестящимъ болѣе чѣмъ когда-нибудь и полнымъ, сверхъ того, величаваго и гордаго спокойствія. Проникнутый такой мыслью, Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшился не только ѣхать къ Василькову, но заглянуть даже къ другимъ сосѣдямъ, а именно къ богачу Бобохову, которому, во-первыхъ, онъ долженъ былъ отдать визитъ, и который, во-вторыхъ, могъ сильно пригодиться при настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ.

XV.

Правдивая исторія одного медоваго мѣсяца.

Порфирій Павловичъ считалъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ цѣлой губерніи. Порфирій Павловичъ былъ влюбленъ въ свою жену задолго еще до брака. Тоскуя посреди глубокаго своего одиночества и возводя постоянно мысли свои (съ шестнадцатилѣтняго возраста) къ тихимъ радостямъ семейной жизни, онъ естественно долженъ былъ считать себя на верху благополучія, достигнувъ разъ задушевной своей цѣли. Нужно было видѣть Василькова въ то время, какъ онъ убиралъ маленькій домикъ на берегу живописной рѣчки, домикъ, долженствующій помѣстить въ себѣ будущую его супругу! Порфирій Павловичъ хотѣлъ, чтобъ свадьба совершилась въ собственномъ его помѣстьѣ, деревушкѣ Сусловкѣ, заключавшей въ себѣ двадцать-двѣ души и примыкавшей къ владѣніямъ Балахнова, и это обстоятельство, заставляя его ѣздить по пяти разъ въ день изъ Сусловки въ Грачевку для совѣщаній съ тёщей и невѣстой, поддерживало въ одинаковой степени восторженное настроеніе души его. Нужно было

видѣть Порфирія Павловича, когда, взгромоздившись на верхнія ступеньки ручной лѣстницы, перевязывалъ онъ голубыми лентами занавѣски брачной постели! Особенно любопытное зрѣлище представлялъ онъ въ губернскомъ городѣ въ то время, какъ дѣлалъ свадебныя закупки. Если бъ сказали Василькову, что три тысячи, данныя ему Фанагоріей Петровной, составляютъ все его имущество (что было бы не лишено справедливости), онъ и тутъ, кажется, истратилъ бы ихъ до послѣдней полушки. Дѣло извѣстное: восторженное настроеніе духа никогда не уживается съ расчетомъ! Имѣя въ виду лишь одно наслажденіе семейной жизни, Порфирій Павловичъ позаботился прежде всего пріобрѣсти фортепіано. Какъ сладко, Боже! какъ сладко потекутъ длинные зимніе вечера! Порфирій Павловичъ положитъ свою голову на плечо Антониночки; Антониночка сконитъ щёчку на лицо мужа и будетъ слегка перебирать клавиши... Сумерки давно уже наступили; въ домѣ темно, хоть глазъ выколи, но они ничего не замѣчаютъ и продолжаютъ сидѣть въ невозмутимо-сладостномъ усыпленіи всѣхъ чувствъ... Рисуя въ воображеніи привлекательную картину того, какъ молодая хозяйка будетъ возсѣдать за самоваромъ, Васильковъ вошелъ въ лавку колоніальныхъ товаровъ и потребовалъ самаго лучшаго душистаго чаю; минуту спустя два фунта бѣлаго, ханскаго, сребровиднаго, букетнаго чая поступили въ число другихъ закупокъ. Затѣмъ благополучнѣйшій изъ всѣхъ жениховъ отправился въ мебельныя лавки: оказалось необходимымъ выбрать лучшій дамскій туалетъ и лучшій рабочій столикъ. Но вотъ вопросъ: чѣмъ наполнить ящикъ туалета и рабочаго столика? При такомъ неожиданномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ многосложномъ вопросѣ, все на минуту смѣшалось въ головѣ Порфирія Павловича, и глаза его выкатились такъ страшно, что купецъ, отпускавшій мебель, отпрянулъ шагъ назадъ, обнаруживая готовность юркнуть за прилавокъ. Наконецъ, счастливая мысль озарила Василькова: чего же лучше? онъ наполнитъ ящики туалета разными дамскими принадлежностями и такъ хитро устроитъ дѣло, что Антониночка ничего не будетъ знать до тѣхъ поръ, пока не полюбопытствуетъ заглянуть въ эти ящики. Полный такою мыслью, онъ пошелъ ускореннымъ шагомъ въ москательные ряды. Разспросивъ обстоятельно о томъ, какіе бываютъ самые лучшіе духи и помада, и получивъ въ отвѣтъ, что лучшія издѣлія

этого рода принадлежатъ безспорно Мусатову, Порфирій Павловичъ накупилъ безчисленное множество флаконовъ изъ синяго стекла, съ криво и косо налѣпленными ярлыками, украшенными золотою надписью: „a Parі“, потомъ пріобрѣлъ такое же количество полновѣсныхъ синихъ банокъ съ надписью: „a eliotrop“, но въ сущности издававшихъ сильный запахъ гвоздики. Когда всѣ мѣста, не исключая даже кармановъ Василькова, были наполнены заграничными издѣліями Мусатова, покупатель вышелъ изъ лавки, объявивъ напередъ купцамъ, что почтетъ за непремѣнную обязанность отрекомендовать ихъ цѣлой губерніи. Надо же было, наконецъ, подумать и о себѣ самомъ. Свадебная пара чернаго платья была заказана „Ивану Остолопову изъ Петербурга“. Иванъ Остолоповъ обязывался, сверхъ того, построить изъ остатковъ сукна щегольскую фуражку, на которой красовался бы непремѣнно широкій красный околышекъ. Порфирій Павловичъ былъ брюнетъ, и красный околышекъ долженъ былъ идти, какъ нельзя лучше, къ его мужественному лицу. Вмѣстѣ съ мыслью о красномъ околышкѣ, въ головѣ Василькова создавалась мысль о томъ, что наружность мужа имѣетъ болѣе или менѣе сильное вліяніе па семейное счастье. Нимало не сомнѣваясь въ искусствѣ столичнаго мастера, Порфирій Павловичъ обратилъ свои мысли къ другому предмету. Разсуждая весьма основательно о томъ, что женатый человѣкъ никакъ не можетъ обойтись безъ шкатулки съ разными секретными ящиками, куда бы, въ случаѣ надобности, въ дорогу, напримѣръ, можно было укладывать деньги, женины письма и бисерные кошельки, вышитые женою, онъ пустился вдогонку за такой вещицей; поиски его увѣнчались вожделѣннымъ успѣхомъ; шкатулка превзошла даже ожиданія: въ ней находилось все нужное для письма; посрединѣ помѣщался вертлявый желобокъ съ палкою сургуча и двумя карандашами; по сторонамъ красовались высеребренныя чашечки для чернилъ и песку; на днѣ, въ секретномъ отдѣленіи, лежала пачка почтовой бумаги, на которой Васильковъ предполагалъ писать записочки добрымъ пріятелямъ о посѣщеніи его въ маленькомъ домикѣ, на берегу живописной рѣчки.

Восторженное состояніе Порфирія Павловича нимало не остыло, когда онъ увидѣлъ, что изъ трехъ тысячъ Фанагоріи Петровны едва ли осталась десятая доля. Непріятное чувство овладѣло имъ тогда только, когда, вер-

нувшись въ Сусловку, онъ увидѣлъ, что, за всѣми этими хлопотами, упустилъ совершенно изъ виду устройство самаго дома: домъ былъ не оштукатуренъ, кой-какія брёвна даже подгнили; въ залѣ и въ передней половыя доски ходили такъ же исправно, какъ клавиши только-что купленнаго фортепіано... Плохо!.. Осматривая остальныя части дома, Порфирій Павловичъ пришелъ къ тому заключенію, что хотя деньги, потраченныя на шкатулку — не брошенныя деньги, но все-таки не мѣшало бы употребить ихъ на покупку кастрюлей, кухонной посуды и на постройку печки, которая, къ великому его ужасу, оказалась въ отлучкѣ. Непріятное чувство овладѣло имъ окончательно, когда туалетъ съ драгоцѣнными издѣліями Мусатова пришлось помѣстить посрединѣ спальни, чтобъ предохранить его сколько-нибудь отъ сырости и дождевыхъ капель, осаждавшихъ безъ милосердія всѣ углы маленькаго домика, на берегу живописной рѣчки.

Какъ бы то ни было, это не помѣшало, однакожъ, великолѣпію свадьбы. Благодаря необыкновенной дѣятельности шафера, хлопотавшаго о томъ, чтобъ все произошло какъ слѣдуетъ между порядочными людьми, все исполнилось согласно желаніямъ жениха и тёщи. Васильковъ заикнулся о каретахъ для почетныхъ гостей — Карачаевъ объѣздилъ духомъ половину уѣзда и привезъ цѣлыхъ пять рыдвановъ. За три дня до свадьбы, Павелъ Петровичъ не сомкнулъ глазъ: потребовавъ, чтобъ сдали ему на руки всѣ распоряженія, онъ распространилъ свою дѣятельность въ мельчайшія частности свадебныхъ приготовленій. Впрочемъ, Василькову не до того было: онъ не переставалъ примѣрять новый фракъ и фуражку съ краснымъ околышкомъ. Фракъ и панталоны сидѣли отлично: Иванъ Остолоповъ, обнадеженный Васильковымъ, который обѣщалъ отрекомендовать его цѣлому уѣзду, употребилъ все свое стараніе. Порфирій Павловичъ былъ чрезвычайно доволенъ. За день до свадьбы онъ не снималъ уже фрака и фуражки и, останавливаясь поминутно передъ Карачаевымъ, спрашивалъ его, постукивая высокими каблуками: „Хорошъ женихъ? а?.. а?..“ Затѣмъ перевертывался спиною, перегибалъ голову черезъ плечо, при чемъ глаза его чуть не выкатывались изъ впадинъ, и дѣлая видъ, какъ будто осматриваетъ фалды новаго фрака, повторялъ, снова постукивая каблукомъ: „каковъ фракъ? а? а?.. хорошъ женихъ?.. а? а?..“ Карачаевъ, покрытый пылью и потомъ,

говорилъ, что у него полонъ ротъ хлопотъ и не время теперь заниматься жениховымъ фракомъ, и Васильковъ, восторженно вращая глазами, отправлялся перевязывать голубые банты брачной постели.

Свадьба совершилась въ томъ же самомъ порядкѣ, въ которомъ совершается бо̀льшая часть свадебъ. Мать невѣсты, склонившись живописно надъ дочерью, уронила на ея вуаль нѣсколько слезъ; почетные гости отправились въ пяти рыдванахъ въ церковь. Затѣмъ данъ былъ свадебный пиръ, въ продолженіе котораго не переставали провозглашать тосты во здравіе и многолѣтіе молодыхъ, при чемъ Карачаевъ усердно махалъ клѣтчатымъ платкомъ, давая знать музыкантамъ, чтобъ они играли тушъ. За обѣдомъ послѣдовалъ балъ, укрѣпившій окончательно за Вѣрой Андреевной Кокуркиной (средней) титулъ первой танцовщицы уѣзда. Во время бала, Васильковъ, задыхавшійся отъ блаженства, не пропустилъ ни одной кадрили и становился всегда въ первую пару съ женою, какъ бы желая показать этимъ, что дорожитъ случаемъ стоять подлѣ нея и пожать ей лишній разъ руку. Онъ, казалось, совсѣмъ одурѣлъ отъ радости, не могъ говорить, а только моргалъ глазами; когда обращались къ нему съ какимъ-нибудь привѣтствіемъ или вопросомъ, онъ потряхивалъ черною, кудрявою головою, болталъ руками и, отыскавъ Карачаева, принимался кричать изо всей мочи: „вина! вина!“ Больше онъ ничего не былъ въ состояніи выговорить. Послѣ бала всѣ пошли ужинать; потомъ Фанагорія Петровна, снова уронивъ нѣсколько слезъ на голову дочери, поднесла Порфирію Павловичу великолѣпный стеганый халатъ изъ тармаламы. Словомъ, все произошло такъ же, какъ происходитъ у другихъ людей, съ тою развѣ ничтожною разницею, что ни одна честолюбивая мысль не помрачила счастія молодого, счастія, выступавшаго изъ каждой черточки его лица и чистосердечно отражавшагося въ глазахъ.

Нѣсколько дней спустя послѣ свадьбы, когда Порфирій Павловичъ и жена его, слѣдуя установленному порядку, поѣхали дѣлать визиты къ сосѣдямъ, никто не замѣтилъ малѣйшей перемѣны въ наружности молодой: лицо Антониночки было такъ же беззаботно и разсѣянно, какъ прежде; черные живые глазки ея обращались такъ же привѣтливо ко всѣмъ безъ исключенія и такъ же нетерпѣливо отворачивались всякій разъ, какъ встрѣчались съ глазами Порфирія Павловича. Словомъ, никакой перемѣны, какъ-

будто она и не думала выходить замужъ, и свадьба, совершившаяся на-дняхъ въ Сусловкѣ, была не что иное, какъ сонъ, пріятный сонъ, пригрезившійся сосѣдкамъ. „Хорошо! (думали сосѣдки) отворачивай глаза отъ мужа. Знаемъ мы, матушка, вашего брата, молодыхъ: только прикидываешься, а сама, чай, влюблена въ него по уши!“ Такъ разсуждали про-себя проницательныя сосѣдки. Порфирію Павловичу, опьянѣвшему отъ счастія, не до того было, чтобъ задавать себѣ такіе головоломные вопросы. Не отрывая глазъ отъ маленькихъ ножекъ жены, или припавъ губами къ ея рукѣ и оставаясь въ этомъ положеніи цѣлые часы, онъ доволенъ былъ уже тѣмъ, что ручка или ножка не отказывались отъ его ласки.

Дни проходили необыкновенно-быстро въ жизни Василькова. Не зная ужъ что̀ бы такое придумать, какую бы новую ласку изобрѣсти для Антониночки, онъ проводилъ время, осаждая ее разными фантастическими именами, почерпнутыми въ самой серединѣ сердца, переполненнаго счастіемъ. Антониночка, переименованная неожиданно въ Лилиньку, называлась десять минутъ спустя Фавинькой; Фавинька уступала въ свою очередь—и все это не болѣе какъ чрезъ десять минутъ—мѣсто Грибинькѣ, Грибинька переходила въ Бирмаминьку; затѣмъ уста Порфирія Павловича сладостно лепетали: Шафранинька, и Шафранинька, утопая въ океанѣ другихъ именъ, не замедляла замѣниться Шишечкой или Кокушкой, смотря по тому, что̀ первое попадало на языкъ чувствительнаго супруга. Давать другъ другу фантастическія и, по возможности, болѣе нѣжныя наименованія—дѣло весьма обыкновенное въ супружеской жизни, особенно въ первое время или въ медовый мѣсяцъ. Это происходитъ, мнѣ кажется, единственно оттого, что люди — и тѣмъ болѣе счастливые — никогда не довольствуются настоящимъ. Я зналъ одного господина, который, въ избыткѣ восторга, называлъ свою жену „милою нелѣпостью“ и, называя ее этимъ именемъ, нисколько не стѣснялся, происходило ли то наединѣ или при постороннихъ.

Васильковъ пребывалъ постоянно у ногъ жены, и каждый часъ, каждую минуту, начиная съ самаго утра и кончая позднимъ вечеромъ, можно было застать его въ умилительномъ положеніи. Нѣжныя имена сыпались въ изобиліи, замѣняя собою всякій разговоръ; изрѣдка лишь влюбленный супругъ рѣшался проворковать какую-нибудь сладкую рѣчь въ слѣдующемъ родѣ:

— Попоцька, ангелоцекъ ты мой, положи свою головеноцку на мое плецо...

— Ахъ, Боже мой, если бъ вы только знали, какъ все это скучно!.. Очень нужно класть голову на ваше плечо... Вы хотите, вѣрно, чтобъ я смяла прическу, отвѣчала Антониночка, нетерпѣливо поворачиваясь къ окну.

— Ну, полноте же, Вавочка; полноте, Фифоцка... Вамъ глюсно. Отцего вамъ глюсно? продолжалъ Порфирій Павловичъ, пришепетывая какъ маленькія дѣти, вѣроятно, для большей нѣжности.—Ну, полноте глюстить; вѣдь ты со мной, со мной, и никто, ангелоцекъ, не разлуцитъ насъ... Полно, посмотли на меня своими глазеноцками...

Но глаза жены обращались совершенно въ другую сторону. Наступало невозмутимое молчаніе, и Васильковъ снова припадалъ на цѣлый часъ къ жениной рукѣ.

Дни Порфирія Павловича потянулись медленнѣе, когда, въ одно прекрасное утро, Антонина Васильевна объявила, что не хочетъ, чтобъ онъ называлъ ее другимъ именемъ, кромѣ ея собственнаго, и, оставивъ кушетку, расположилась у окна, съ твердымъ намѣреніемъ не покидать этого мѣста.

Восторженное состояніе Василькова смѣнилось трогательною меланхоліей. Онъ отыскалъ гдѣ-то крошечный табуретъ, усѣлся на немъ подлѣ ногъ жены, устремилъ на нее томные глаза и старался ее утѣшить:

— Вамъ глюсно, мамочка! О! я это не понимаю! Вамъ, ангелоцекъ, ненавистны свѣтъ и люди. Да! о, да! мы уѣдемъ на Кавказъ. Уѣдемъ, Вавиноцка, Папоцка моя! Удалимся куда-нибудь въ горы и будемъ жить одни, далеко отъ свѣта.

— Съ чего-жъ вы взяли, что я поѣду на Кавказъ? Вы вѣрно хотите, чтобъ меня убили черкесы?

Лицо Порфирія Павловича приняло тоскливо-умилительное выраженіе человѣка, непонятаго въ минуту самаго искренняго изліянія чувствъ. Онъ хотѣлъ взять руку жены, но она предупредила его желаніе и быстро положила руку на перекладину окна.

— Господи, какъ скучно! силъ нѣтъ какъ надоѣлъ! произнесла она съ особеннымъ удареніемъ на послѣднее слово.—Скажите, пожалуйста, когда вы кончите всѣ эти нѣжности? Неужели вы ни на минуту не оставите меня въ покоѣ? Неужели у васъ нѣтъ никакого занятія? Вы бы пошли въ поле или посмотрѣли, что̀ дѣлается въ домѣ

или въ хозяйствѣ. Вѣдь этакъ можно просто такъ надоѣсть, что... что... я ужъ и сама не знаю!

Двѣ крупныя слезы навертывались на глазахъ Порфирія Павловича; онъ отходилъ къ сосѣднему окну, поправлялъ безконечные завитки на головѣ своей, разглаживалъ испанинскіе бакены и задумывался. Мало-по-малу, однакожъ, глаза его, высушенные внутреннимъ огнемъ, устремлялись снова на Антониночку, лицо его переполнялось страстью; онъ выставлялся впередъ и, потряхивая головой, пришепетывая болѣе, чѣмъ когда-нибудь, говорилъ заигрывающимъ голосомъ:

— Мамоцька, я васъ юбью!

Антонина Васильевна продолжала глядѣть въ окно.

— Мамоцька, я васъ не юбью! произносилъ тогда супругъ.

— Очень нужно, отвѣчала жена, дѣлая движеніе, какъ будто отогнала муху.

— Ангелъ! ангелъ! ангелъ!! вскрикивалъ супругъ, восторженно бросаясь къ Антониночкѣ и принимаясь цѣловать ей руки, осаждая ее въ то же время безчисленнымъ множествомъ именъ самаго фантастическаго свойства.

Дни потянулись еще медленнѣе въ жизни чувствительнаго Порфирія Павловича, когда онъ увидѣлъ, что Антониночка не думала услаждать поэтическія минуты сумерекъ игрою на фортепіано. Фортепіано было для нея столько же ненавистно, сколько рабочій столикъ, къ которому она ни разу не прикоснулась. Та же самая исторія случилась съ туалетомъ, воздвигнутымъ заботливою рукою супруга посреди спальни. Васильковъ разсчитывалъ доставить самый пріятный сюрпризъ Антониночкѣ, когда она раскроетъ ящики. Что-жъ вышло? Раскрывъ ящики, Антониночка пришла, къ неописанному огорченію Порфирія Павловича, въ совершенное неудовольствіе, побросала всѣ банки съ надписью à eliotrop, перебудоражила флаконы изъ синяго стекла и объявила напрямикъ, что все это дрянь и ровно никуда не годится, а если и годится куда-нибудь, такъ развѣ на то только, чтобъ душить и помадить горничныхъ.

Дни тянулись еще медленнѣе въ маленькомъ домикѣ на берегу живописной рѣчки, когда пріѣхалъ Попельковскій. Онъ пріѣхалъ, нужно замѣтить, очень кстати, потому что, недѣлю спустя послѣ его переселенія, Антонина Васильевна начала вдругъ, ни съ того, ни съ сего, дѣ-

лать сцены сердобольному своему супругу. Ардаліонъ Александровичъ, какъ истинный другъ Василькова, готовый подѣлиться съ нимъ половиною своего состоянія и даже тысячью душами, оттянутыми процессомъ скупой тётки, получилъ, за такое великодушное самопожертвованіе, право носить его платье и облачаться даже въ черный фракъ, работы Ивана Остолопова изъ Петербурга, всякій разъ, какъ пріѣзжали гости. Увидѣвъ маленькое несогласіе между супругами, Попельковскій вступилъ тотчасъ же въ должность посредника и примирителя двухъ любящихся сердцемъ. Какъ только возникало маленькое неудовольствіе, Ардаліонъ Александровичъ уводилъ Порфирія Павловича съ братскою заботливостью въ глубину сада или въ поле, усаживалъ его на траву и, выслушавъ, въ чемъ состоитъ недоразумѣніе, бѣжалъ съ необыкновенною поспѣшностью въ домъ, сгорая желаніемъ умаслить сердце раздраженной супруги. Но потому ли, что посредникъ плохо исправлялъ свое дѣло, или сердце Антонины Васильевны заключало въ себѣ слишкомъ много раздражительности—супружескія сцены стали повторяться чаще и чаще, такъ что, наконецъ, каждый день прибавлялъ новую рану въ нѣжномъ сердцѣ Порфирія Павловича, уже окончательно предавшагося меланхоліи.

И странное дѣло! Антонина Васильевна, между тѣмъ, веселѣла съ каждымъ часомъ. Это замѣтили даже гости, начинавшіе открывать на лицѣ ея всѣ признаки полнаго довольства и счастія; особенно радовалось такой перемѣнѣ чадолюбивое сердце Фанагоріи Петровны.

— Анція, Тоня, Антонія! подойди ко мнѣ. Порцій, Порфирушка! Дѣтки мои, голубки мои! говорила она, картавя сильнѣйшимъ образомъ, прижимая ихъ къ груди и оставляя каждый разъ на щекахъ голубковъ по красному пятну, чрезвычайно похожему издали на палѣпленный листокъ розана.

Порфирій Павловичъ съ нѣкоторыхъ поръ совершенно разлюбилъ одиночество и очень радовался, когда пріѣзжали къ нему гости и даже теща. Въ то время Антониночка обнаруживала къ нему необыкновенную внимательность, даже нѣжность. Она позволяла ему цѣловать свои ручки, не отворачивала своихъ черненькихъ глазъ, играла на фортепіано, смѣялась и была весела какъ птичка.

— Она любитъ общество. Получивъ воспитаніе... ты понимаешь?—ей необходимо общество, свѣтъ, развлеченіе,

пріятная бесѣда, говорилъ Попельковскій, распоряжавшійся уже какъ дома, и говорилъ это, основываясь на собственныхъ своихъ чувствахъ, ибо, получивъ также воспитаніе, онъ не могъ жить безъ общества и пріятной бесѣды.

Почтовая бумага, лежавшая о-сю-пору неприкосновенною въ секретномъ отдѣленіи шкатулки, увидѣла вдругъ свѣтъ и разлетѣлась, подобно вѣстовымъ голубямъ, по всѣмъ концамъ уѣзда, разнося радушныя приглашенія на чашку ханскаго сребровиднаго чая. Въ маленькомъ домикѣ на берегу живописной рѣчки послышался немолчный говоръ, веселыя восклицанія, хохотъ и даже пѣсни, сопровождаемыя звукомъ фортепіано. Общество Васильковыхъ состояло бо́льшею частью изъ знакомыхъ ужъ намъ людей: Кондей Ивановичъ Свищовъ съ семействомъ, Проклъ Ивановичъ Полушкинъ съ семействомъ, старичокъ Пшеницынъ съ своимъ сыномъ, долговязымъ Ѳедей, три сестры Кокуркины, которыя, увидѣвъ всю безполезность оплакивать потерю перваго мазуриста, согласились какъ можно чаще навѣщать его; затѣмъ слѣдовали Фанагорія Петровна и Попельковскій. Впрочемъ, послѣдніе не въ счетъ: они были свои. Фанагорія Петровна была въ восторгѣ отъ Ардаліона Александровича; она говорила ему въ глаза, что онъ красавецъ, восхищаясь его голосомъ и голубыми глазами съ поволокой, устремлявшимися къ небу, какъ скоро встрѣчались съ особою прекраснаго пола. Впрочемъ, всѣ гости, особенно дамы, раздѣляли мнѣніе Фанагоріи Петровны. Никто не понималъ, какъ могъ Аристархъ Ѳедоровичъ разстаться съ человѣкомъ, одареннымъ такою любезностью и ловкостью. Ардаліонъ Александровичъ пѣлъ романсы, аккомпанируя себѣ на фортепіано или на гитарѣ, забавлялъ, разсказывая разные потѣшные анекдоты, игралъ въ карты, игралъ даже отлично, словомъ—былъ душою общества. Попельковскій, какъ каждый легко себѣ представитъ, недолго томилъ привычныхъ гостей Василькова разгадкою того, почему Балахновъ не объявилъ особенно сожалѣнія къ его отъѣзду, и почему онъ, съ своей стороны, поспѣшилъ оставить Ханскіе Пруды. Безыскусственный разсказъ Ардаліона Александровича, повѣствовавшаго всѣмъ и каждому исторію ссоры Балахнова съ Окатовымъ, объяснялъ какъ нельзя лучше, что человѣку, получившему воспитаніе, подобно Попельковскому, не слѣдъ было выносить колкости, возбуждае-

мыя желчью, яростно кипѣвшею въ груди Аристарха Ѳедоровича; колкости его могли выносить какой-нибудь Копковъ, Дрянковъ, дѣвица Сараманаева, но отнюдь не Попельковскій, тетка котораго могла умереть со-дня-на-день и оставить племяннику тысячу душъ отличнѣйшаго имѣнія.

Оставалось разсказать эту исторію однѣмъ Кокуркинымъ, и вотъ Кокуркины, услышавъ стороною, что Попельковскій поселился у Васильковыхъ, поспѣшили въ Сусловку, чтобъ разузнать отъ очевидца всѣ подробности ссоры Окатова съ Балахновымъ. Въ тотъ же день въ Сусловку явился, словно по чутью какому, и Кондей Ивановичъ съ семействомъ. Общество помѣстилось въ маленькой темной гостиной, гдѣ первыми украшеніями служили рабочій столикъ и горшокъ съ чахлой геранью, воздвигнутый на окнѣ. Оно расположилось въ слѣдующемъ замѣчательномъ порядкѣ:

Попельковскій, раздушенный, распомаженный издѣліями Мусатова, возсѣдалъ посрединѣ гостиной, противъ овальнаго стола, примыкавшаго къ дивану; черный фракъ, работы Ивана Остолопова, сидѣлъ на немъ отлично. Слѣва расположились три Кокуркины, такъ, однакожъ, что младшая, Надеженька, подталкиваемая безпрестанно сестрами, находилась ближе всѣхъ къ будущему наслѣднику скупой тетки. Справа тянулись одинъ за другимъ пять стульевъ; на самомъ дальнемъ сидѣлъ Кондей Ивановичъ, который сопѣлъ, кряхтѣлъ, отдувался; подлѣ него сидѣла младшая дочь, за ней средняя; жена Кондея Ивановича помѣщалась съ своимъ неизмѣннымъ ридикюлемъ на четвертомъ стулѣ; она казалась спящею, но со всѣмъ тѣмъ не переставала дергать старшую дочь, сидѣвшую подлѣ будущаго наслѣдника тысячи душъ. Противъ Попельковскаго, въ лѣвомъ углу дивана, сидѣли Антониночка и Васильковъ; послѣдній нѣжно держалъ обѣ руки жены и восторженно крутилъ своими глазами; въ правомъ углу, ближе къ Кондею Ивановичу, граціозно располагалась Фанагорія Петровна, не спускавшая взоровъ съ лица прекраснаго молодого человѣка, одареннаго очаровательнымъ голосомъ и снабженнаго безподобными голубыми глазами съ поволокой. Все вмѣстѣ составляло трогательную картину тихой домашней жизни и семейнаго очага, достойную кисти великаго художника.

— Позеленѣлъ, совершенно позеленѣлъ! говорилъ По-

пельковскій, дѣлая глазки всѣмъ дамамъ въ одно и то же время.—Когда сказали ему, что долина не продается, повалился на полъ. Мы думали, умретъ. Я бросился развязывать ему галстукъ. Безъ этого — ударъ, непремѣнно ударъ. Не вынесъ. Клянусь вамъ, какъ честный человѣкъ! Гордость... надменность... злоба!..

— Да, гордъ, гордъ; есть тотъ грѣхъ: гордъ! произнесъ Кондей Ивановичъ, съ трудомъ переводя одышку.

— И ты туда же! произнесла Фанагорія Петровна, поворачиваясь къ Свищову.—О, замолчи! замолчи! продолжала она, грозя пальчикомъ Попельковскому, который тотчасъ же завернулъ глаза къ небу,—замолчи! Аристархъ Ѳедорычъ милый человѣкъ, и я никогда не повѣрю, чтобы онъ былъ съ жестокимъ сердцемъ...

— Аристархъ Ѳедорычъ! ха-ха-ха! Клянусь вамъ, какъ честный человѣкъ! возразилъ Попельковскій, качаясь на своемъ стулѣ.—Да вотъ, спросите, чего же лучше, спросите у Порфирія. Десять лѣтъ знакомства — пріѣхалъ... осмѣялъ самымъ колкимъ образомъ. Неделикатность, забвеніе приличій... не получилъ хорошаго воспитанія!

— Да, признаюсь, меланхолически сказалъ Васильковъ,— Аристархъ Ѳедорычъ обошелся со мною не по-дружески. Никакъ не ожидалъ отъ него этого.

— Изволите видѣть! воскликнулъ Ардаліонъ Александровичъ.—Не только его, но всѣхъ осмѣялъ: васъ, васъ, васъ (тутъ онъ попеременно обращался къ каждому лицу), словомъ — всѣхъ, безъ исключенія — грубо, неделикатно! Что̀ вы изволили сказать? заключилъ онъ, поворачиваясь неожиданно къ младшей Кокуркиной.

— Ахъ! произнесла Надеженька, ущипнутая сзади руками старшихъ сестеръ.

— Ахъ! произнесла старшая Свищова, бросая боязливый взглядъ на маменькинъ ридикюль, но тотчасъ же поднимая глаза на разсказчика.

— Клянусь, какъ честный человѣкъ! продолжалъ Попельковскій. — Всѣхъ осмѣялъ. Расплатится! Получу наслѣдство... не увернется изъ рукъ. Почту долгомъ объясниться. Балахновъ ли, другой кто—мнѣ все равно. Какъ только увижусь—объяснюсь.

— Злой человѣкъ! Ты этого не посмѣешь сдѣлать въ моемъ присутствіи, картавя и ломаясь, проговорила Фанагорія Петровна.

— Полно, Ардаліонъ Александрычъ, оставь эту исто-

рію, Бога ради! сказалъ Васильковъ, запуганный мстительностью своего друга. — Не говори ему ни слова, по крайней мѣрѣ, сегодня.

— Какъ сегодня? спросилъ Попельковскій, понижая голосъ.

— Да, онъ долженъ пріѣхать сегодня: обѣщалъ.

Попельковскій оправился и заговорилъ о музыкѣ. Къ сожалѣнію, разговоръ его не былъ продолжителенъ, потому что вскорѣ доложили о пріѣздѣ Аристарха Ѳедоровича.

Вслѣдъ за этимъ докладомъ, сдѣланнымъ подслѣповатымъ малымъ, поступившимъ въ Сусловку изъ Грачовки, на порогѣ гостиной показался самъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Присутствовавшіе переглянулись и испустили радостный крикъ.

Прежде всѣхъ навстрѣчу знаменитому гостю бросился самъ хозяинъ дома, за нимъ пустился вдогонку толстый Кондей Ивановичъ; Попельковскій взбилъ бѣлокурые свои завитки, пріосанился и поспѣшилъ вслѣдъ за ними.

Балахновъ прошелъ, однакожъ, мимо и направился къ дивану. Онъ поцѣловалъ руку Антониночкѣ, потомъ поцѣловалъ руку Фанагоріи Петровнѣ, поклонился Кокуркинымъ, ласково кивнулъ головою Свищовымъ и тогда ужъ обратился къ мужчинамъ, которые наперерывъ протягивали ему руки, изъявляя совершенную радость видѣть его въ добромъ здоровьѣ.

— Весьма счастливъ... Неожиданный сюрпризъ... Большая честь... заговорилъ Попельковскій, и вдругъ остановился и отступилъ нѣсколько шаговъ.

Голосъ Карачаева, отдававшаго приказаніе, чтобъ насыпали лучшаго овса лошадямъ, послышался въ залѣ.

Павелъ Петровичъ влетѣлъ въ гостиную съ трескомъ, шумомъ и хохотомъ. Онъ повернулся на каблукѣ, хлопнулъ въ ладоши и бросился со всѣхъ ногъ цѣловать руку Фанагоріи Петровнѣ.

— Здравствуй, бѣшеный! Ну, хорошо, хорошо, полно, сорви-голова! произнесла Фанагорія Петровна, слегка отклоняя рукою его лысину.

Карачаевъ залился новымъ хохотомъ и бросился къ рукѣ молодой хозяйки. Павелъ Петровичъ находился въ самомъ отличномъ расположеніи духа: лицо его сіяло радостью; черныя брови его, смѣлившіяся вмѣстѣ со всѣми

чертами лица, нахмуривались тогда лишь, когда встрѣчались съ Попельковскимъ, къ которому чувствовалъ онъ непреодолимую антипатію. Онъ не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія и заговорилъ тотчасъ же съ Кокуркиными.

Общество, смѣшавшееся на минуту, окружило Аристарха Ѳедоровича и осадило его со всѣхъ сторонъ любезностями. Балахновъ отвѣчалъ на всѣ вопросы ласково и привѣтливо. Желтизна не совсѣмъ еще покинула правильное лицо его, но она шла къ нему точно такъ же, какъ идетъ дубу, тронутому первымъ осеннимъ морозомъ. Онъ сохранялъ важный видъ, какъ и всегда, но въ наружности его не было замѣтно тѣни гордости или надменности. Мелочные люди судятъ по наружности и никакъ не хотятъ понять, что величавая осанка ровно еще ничего не доказываетъ: она не что иное, какъ привычка, полученная съ дѣтства; выраженіе чувства собственнаго достоинства составляетъ почти такую же принадлежность каждаго значительнаго человѣка, какъ уничиженный видъ составляетъ принадлежность какого-нибудь подьячаго или выскочки. Аристархъ Ѳедоровичъ гордъ — смѣшно сказать! Но передъ кѣмъ же, позвольте спросить? Онъ могъ быть гордымъ и дѣйствительно былъ гордъ съ равными себѣ; но гордиться предъ какими-нибудь Васильковыми, Кокуркиными—фи! да это значило бы унизить свое достоинство! Балахновъ называлъ неумѣстную гордость „побрякушкою глупыхъ людей“ и всегда показывался очень охотно въ кругу бѣдныхъ сосѣдей.

Мало-по-малу разговоръ сдѣлался общимъ и продолжался до тѣхъ поръ, пока не подали чай. Послѣ чая Порфирій Павловичъ, хлопотавшій изо всей мочи, чтобъ занять гостей, предложилъ партію преферанса, благодаря Попельковскому, который настроилъ его на эту счастливую мысль. Но Аристархъ Ѳедоровичъ отказался напрямикъ, сказавъ, что предпочитаетъ бесѣду съ молодою всѣмъ возможнымъ удовольствіямъ.

— О, милый сосѣдъ! вѣчно съ молоденькими. Постойте, вотъ я перескажу это Лизаветѣ Семеновнѣ! сказала Фанагорія Петровна, лукаво грозя ему пальчикомъ. — Ну, если Аристарху Ѳедорычу не угодно, продолжала она, обращаясь къ Карачаеву, — ты, бѣшеный... ахъ, какой сорви-голова! ты не откажешься составить партію со старррушкой? заключила она, кокетливо потряхивая головой.

— Я? извольте, приказывайте, готовъ! воскликнулъ Карачаевъ, снова бросаясь цѣловать руку перезрѣлой вдовицѣ.—Но кто же будетъ еще съ нами? присовокупилъ онъ, повертываясь на каблукѣ.

— Да вотъ: Кондей Иванычъ, Ардаліонъ Алек-сандро-вичъ, протяжно проговорила Фанагорія Петровна, граціозно приподнимаясь съ дивана.

— При имени Попельковскаго, Карачаевъ нахмурилъ брови, но тотчасъ же оправился, топнулъ каблукомъ, подалъ руку тёщѣ Василькова и вышелъ въ залу, сопровождаемый другими игроками. Минуту спустя, въ залѣ послышался шумъ стульевъ и шелестъ бросаемыхъ картъ.

Разговоръ Аристарха Ѳедоровича, сначала нѣсколько натянутый и вычурный, принялъ самый любезный характеръ, когда онъ остался наединѣ съ дамами. Балахновъ чрезвычайно любилъ дамское общество и, при случаѣ, не прочь былъ даже строить куры. Онъ нимало не заботился о томъ, что Кокуркины или другой кто могли передать и—чего добраго—перетолковать его слова Лизаветѣ Семеновнѣ. Итакъ, бесѣда въ гостиной была самая оживленная, благодаря неистощимому запасу остроумія Аристарха Ѳедоровича. Обращаясь постоянно къ молодой хозяйкѣ, Балахновъ не пропускалъ случая сказать вскользь нѣсколько комплементовъ и остальнымъ собесѣдницамъ. Дамы щурили свои глазки, украдкою подмигивая другъ другу, смѣялись и были очень веселы.

По окончаніи преферанса, за которымъ Карачаевъ успѣлъ поссориться съ Попельковскимъ и даже съ Фанагоріей Петровной, гости начали разъѣзжаться. Аристархъ Ѳедоровичъ отправился вмѣстѣ съ Карачаевымъ въ Горшковъ, откуда намѣревался ѣхать къ Бобохову.

XVI.

Образчикъ того, что Карачаевъ называетъ буржуа-жантильомъ!

Балахновъ остался въ Горшковѣ долѣе, чѣмъ хотѣлъ. Многіе обыватели этого города, извѣщенные ужъ о злополучной исторіи его съ Окатовымъ, поспѣшили явиться засвидѣтельствовать свое нижайшее почтеніе Аристарху Ѳедоровичу. Бо̀льшая часть исполнила это не столько по собственному побужденію, сколько вслѣдствіе настоятельнаго требованія женъ, которыя въ Горшковѣ, точно такъ

же, какъ и во всѣхъ уѣздныхъ городахъ, отличаются необыкновенною любознательностью ко всему, что касается чужихъ дѣлъ. Къ числу послѣднихъ можно было причислить веселаго Нила Степановича Лукьянова.

Нилъ Степановичъ находился въ совершенномъ отчаяніи по поводу „недоразумѣнія", происшедшаго между двумя сосѣдями, и искренность его словъ подтверждалась какъ нельзя краснорѣчивѣе лѣвымъ глазомъ, который, дѣйствительно, въ то утро выкидывалъ самыя эксцентрическія штуки. Дѣло въ томъ, что на этотъ разъ, какъ на зло, онъ и жена—что было совершенно одно и то же—находились въ отлучкѣ въ то время, какъ составилось рѣшеніе, подкосившее Балахнова, и въ то же время, какъ на зло, остальные его сотоварищи пребывали въ Горшковѣ. Присутствуй онъ—и дѣло, по всѣмъ вѣроятіямъ, приняло бы другой оборотъ: въ этомъ Нилъ Степановичъ завѣрялъ, чѣмъ угодно, почтеннѣйшаго Аристарха Ѳедоровича, къ которому чувствовалъ всегда высокое уваженіе и даже, если можно такъ выразиться, пристрастіе.

Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ визитовъ, столько же лишнихъ, сколько и неумѣстныхъ, было то, что Балахновъ подъѣзжалъ къ Голодаевкѣ, имѣнію Бобохова, уже въ третьемъ часу пополудни. Голодаевка показывалась великолѣпно. Самой Голодаевки, то-есть деревни, не было видно: показывался одинъ лишь барскій домъ, громадный, каменный, съ зеленою крышкою и бѣлыми стѣнами—домъ, торчавшій, какъ выскочка, посреди темнаго сада и неоглядныхъ плоскихъ полей. Дворъ впереди дома замыкался, со стороны большой дороги, каменною оградой, которая, въ свою очередь, замыкалась справа и слѣва двумя кирпичными флигелями самаго неуклюжаго свойства, построенными, очевидно, новымъ владѣльцемъ. Стараніе придать какъ можно болѣе эффекта своему жилищу и даже ослѣпить великолѣпіемъ его проѣзжающихъ по большой дорогѣ, показывало, что Бобоховымъ управляло то же самое свойство, какое обнаруживалъ Балахновъ, воздвигая дощатый Вавилонъ вокругъ своего сада. Но какая, однакожъ, необъятная, неизмѣримая разница заключалась между намѣреніями двухъ сосѣдей! Балахновъ строилъ кіоски, имѣя въ виду высокую цѣль честолюбія; имъ управляло даже, въ этомъ случаѣ, нѣсколько высреннихъ намѣреній. Бобоховъ, какъ выскочка, или parvenu, преслѣдовалъ одну пошлую, мелочную цѣль ослѣпить проѣзжающихъ

наружнымъ великолѣпіемъ своего дома такъ, чтобъ съ перваго взгляда сказали: тутъ живетъ богачъ! Притомъ и единственная эта цѣль умѣщалась съ трудомъ и какъ-то тупо въ его головѣ, что ясно доказывалось двумя неуклюжими флигелями его собственной архитектуры.

Такія точно мысли занимали Аристарха Ѳедоровича, когда онъ въѣзжалъ на просторный дворъ милліонщика; онъ не могъ даже утерпѣть, чтобъ не кивнуть насмѣшливо на окружавшіе предметы и не сказать Карачаеву съ грустною улыбкой:

— Посмотри, и этотъ туда же, хочетъ барствовать!..

— Помилуй, душа моя, я тебѣ говорилъ: буржуа-жантильомъ! Ну, и конечно, и все тутъ! отвѣчалъ Карачаевъ, съ необыкновенною живостью. — Стой, стой у подъѣзда! Эй, вы, кто тутъ? милліонщики! просить васъ надо, что ли? гаркнулъ онъ, обращаясь съ горячностью къ старику въ синей ливреѣ, обшитой серебряными галунами, который бѣжалъ, сломя голову, къ подъѣхавшей коляскѣ.

Старикъ отворилъ дрожащими руками дверцы коляски, высадилъ подъ руки Балахнова и такимъ же порядкомъ высадилъ Карачаева, который спросилъ его:

— Какъ тебя зовутъ, старина?

— Корней, сударь.

— Ну, братъ, Корней, что, дома вашъ милліонщикъ, что ли?

— Дома-съ, извольте пожаловать, отвѣчалъ Корней, у котораго всѣ складки на лицѣ разгладились отъ такого ласковаго обращенія.

Въ это время Аристархъ Ѳедоровичъ успѣлъ отряхнуть пыль, поправилъ волосяной галстукъ и началъ уже взбираться по широкой деревянной лѣстницѣ, выкрашенной желтою краской. Въ его глазахъ, слегка щурившихся, и вообще во всей его наружности можно было прочесть величавое пренебреженіе ко всему, что его окружало въ настоящую минуту. Это очень понятно: во-первыхъ, кто такой Бобоховъ?.. Притомъ, Бобоховъ еще молодой человѣкъ... Да и во всякомъ случаѣ, Балахновъ дѣлалъ ему величайшую честь своимъ посѣщеніемъ.

Карачаевъ, въ сопровожденіи дряхлаго Корнея, догналъ Аристарха Ѳедоровича, когда тотъ взбирался ужъ на верхнія ступеньки. Тутъ къ лѣстницѣ, немного влѣво, придѣланъ былъ огромный деревянный выступъ, на которомъ красовалась кадка съ чахлымъ померанцевымъ деревомъ.

Домъ Бобохова построенъ былъ лѣтъ пятнадцать назадъ однимъ княземъ. Купивъ домъ, по смерти этого князя, новый владѣлецъ ловилъ пытливымъ окомъ малѣйшіе слѣды, оставленные минувшею вельможественною жизнью: замѣчалъ ли онъ на стѣнѣ бѣловатыя полосы, оставленныя висѣвшею когда-то рамой, онъ заказывалъ точно такой же величины раму и вѣшалъ ее на прежнее мѣсто; диваны, мебель, стулья — размѣстились точь-въ-точь, какъ бывало въ старину; усердіе неаполитанскихъ любителей древности, которые стараются возвратить Помпею въ прежній видъ, далеко уступало усердію Бобохова, бившагося изъ всѣхъ силъ, чтобъ стѣны новопріобрѣтеннаго дома сохранили прежній барственный характеръ. Померанцевое дерево—въ этомъ твердо увѣренъ былъ Бобоховъ—составляло непремѣнную принадлежность лѣстницы каждаго истинно барскаго дома.

Аристархъ Ѳедорычъ и Карачаевъ, который не переставалъ говорить очень громко, желая, вѣроятно, выразить этимъ способомъ совершенное свое пренебреженіе къ богатому выскочкѣ, вступили въ просторную, но пустую переднюю; поправляя передъ зеркаломъ галстукъ, Балахновъ увидѣлъ, однакожъ, въ полураскрытыя двери, направо, нѣсколько синихъ ливрейныхъ рукавовъ, которые натягивались съ необыкновенною поспѣшностью на рукава рубашекъ.

— Какъ прикажете доложить? спросилъ дряхлый Корней, впиваясь подобострастными глазами въ обоихъ гостей.

— Балахновъ... и Карачаевъ! разсѣянно отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Ха-ха-ха! Это что еще?! Помилуй, душа моя, Aristarque. Мы къ тебѣ ѣздимъ безъ доклада... а тутъ....да что тутъ толковать, пойдемъ! закричалъ Карачаевъ.

Онъ взялъ подъ руку Балахнова и, громко постукивая каблуками, вошелъ въ дверь налѣво. То была маленькая комната, перегороженная наискось ширмами изъ краснаго дерева, обтянутыми сзади пурпуровою тафтою. Ширмъ, собственно говоря, тутъ вовсе не нужно было, но Бобоховъ распорядился такимъ образомъ, слѣдуя, вѣроятно, примѣру сестры своей, Тохтамышевой, посвященной, какъ онъ говорилъ, во всѣ тайны аристократическихъ обычаевъ. Слѣдующая дверь этой комнаты, не имѣвшей ровно никакого назначенія, открывала длинную анфиладу простор-

ныхъ комнатъ, оклеенныхъ пестрыми, яркими обоями, обставленныхъ пестрою шелковою, разнокалиберною мебелью, устланныхъ пестрыми ковриками; во всѣхъ углахъ торчали деревянныя, точеныя подставки, державшія въ неуклюжихъ лапахъ маленькія люстры и жирандоли, съ безчисленнымъ множествомъ граненыхъ длинныхъ стеклышекъ; окна и двери завѣшивались кисейными занавѣсками, украшенными сверху красными шелковыми фестонами и ярко блиставшими арабесками изъ выбитой мѣди; по бокамъ дверей и оконъ торчали огромные розасы изъ той же выбитой мѣди.

— Эй! кто тутъ? Куда всѣ запропастились? Эй, народъ! крикнулъ, наконецъ, Карачаевъ, оглядываясь во всѣ стороны обширной, не то залы, не то гостиной.—Эй, Корней, куда жъ ты ушелъ? Помилуй, братецъ, гдѣ жъ твой баринъ? Отыскивать намъ прикажешь, что ли?

— Пожалуйте-съ, они изволятъ дожидаться въ гостиной, отвѣчалъ Корней.

— Вотъ еще новость! у насъ заведено, чтобъ выходили навстрѣчу гостямъ... ишь выдумалъ! Пойдемъ, душа моя, Aristarque. Прямой, братъ, буржуа-жантильомъ, ей-Богу!

— Полно, пожалуйста, сказалъ Балахновъ, разсѣянно оглядывая стѣны,—онъ, чего добраго, тутъ гдѣ-нибудь, и можетъ услышать...

— Че-е-во? Услышать можетъ! Пускай слушаетъ! Буржуа-жантильомъ, да и все тутъ! крикнулъ Карачаевъ, смѣло выступая за Корнеемъ.

Въ дверяхъ гостиной Балахновъ остановилъ, однакожъ, Карачаева и вошелъ прежде. Бобоховъ, предувѣдомленный еще заранѣе людьми, стоялъ уже совсѣмъ готовый къ принятію гостей; на немъ былъ черный полуфрачокъ, синіе панталоны и бѣлый жилетъ. Онъ, нужно замѣтить, не носилъ другихъ жилетовъ; кто-то увѣрилъ его — можетъ-быть, французъ, у котораго закупалъ онъ бѣлье и помаду, а можетъ-быть и самъ Тохтамышевъ—что истинный джентльменъ не долженъ носить другихъ жилетовъ; а такъ какъ пунктъ помѣшательства Бобохова состоялъ именно въ томъ, чтобъ прослыть человѣкомъ порядочнымъ (что не значитъ еще быть порядочнымъ человѣкомъ), то онъ слѣпо повиновался этому правилу.

Что дѣлалъ Бобоховъ въ ту минуту, когда Балахновъ показался на порогѣ гостиной—неизвѣстно, но только онъ бросилъ на диванъ какой-то журналъ и поспѣшилъ къ

нему навстрѣчу, обнаруживая на желто-прозрачномъ лицѣ своемъ выраженіе пріятнаго удивленія.

— Чрезвычайно пріятно... м... м... м... м... заговорилъ онъ, устремляя рысьи свои глазки на Балахнова и горячо пожимая ему руку; но вдругъ пухлыя щеки Бобохова опустились; рысьимъ глазкамъ очевидно стало неловко; онъ, однакожъ, оправился и также горячо пожалъ руку Карачаеву.

— Ну ужъ, батюшка, мы васъ искали-искали, по вашему палаcту... или, какъ бишь это... палатамъ, что ли?.. Вы, чай, не ожидали насъ?.. сказалъ Павелъ Петровичъ, расчесывая рѣденькіе волосы, окаймлявшіе лысину, маленькимъ складнымъ гребешкомъ, который никогда не покидалъ его жилетнаго кармана.

— Признаюсь, не ожидалъ; мнѣ чрезвычайно пріятно... произнесъ Бобоховъ, тщетно припоминая привѣтственныя фразы, употребляемыя въ этихъ случаяхъ знаменитымъ Тохтамышевымъ.

— Я располагалъ пріѣхать къ вамъ раньше, но, къ несчастью, задержали въ Горшковѣ, сказалъ Балахновъ, усаживаясь на диванѣ.—Славный домъ у васъ! прекрасный домъ! прибавилъ онъ, осматривая комнату.

— Вамъ нравится? чрезвычайно пріятно! отвѣчалъ Бобоховъ, обращая съ восхищеньемъ лицо свое на стѣны гостиной, оклеенныя красными обоями съ золотыми оляповатыми разводами. — Эй! крикнулъ онъ, поворачиваясь неожиданно къ двери. Вошелъ Корней.

— Сказать мальчикамъ, чтобъ сдѣлали репетицію! провозгласилъ мильонщикъ, устремляя проницательный взглядъ на камердинера.

— Чему же это репетиція? любезно спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Сегодняшнему спектаклю. У меня каждый вечеръ театръ... это, если вамъ угодно взглянуть... прибавилъ Бобоховъ, подавая съ самодовольствомъ листъ бумаги, на которомъ написана была афиша. Афиша возвѣщала, что, такого-то числа іюля мѣсяца, на театрѣ Ивана Дормидоныча Бобохова, данъ будетъ слѣдующій спектакль. Затѣмъ выставлены были водевили и имена актеровъ, придуманные самимъ хозяиномъ театра.

Дилетантизмъ былъ также одною изъ слабостей выскочки милліонера. Впрочемъ, за нимъ водилось много слабостей. Онъ имѣлъ, напримѣръ, претензію на ученость

и особенно на званіе литератора. Въ бытность свою въ Москвѣ, онъ пригласилъ даже на обѣдъ къ Шевалье нѣсколькихъ литераторовъ, чтобъ прочесть имъ комедію своего изобрѣтенія. Литераторы не дослушали первой сцены, и Бобоховъ, увѣренный, что такое невниманіе произошло единственно отъ послѣдствій роскошнаго обѣда, попробовалъ себя въ новомъ родѣ и сочинилъ повѣсть въ юмористическомъ духѣ: описывалось, какъ мужъ и жена въѣзжали въ Москву, и какъ подрались они посреди улицы... Затѣмъ получили свѣтъ нѣсколько стихотвореній: муза Бобохова избирала обыкновенно своимъ предметомъ бѣдную даму, которая сидѣла у окна и смотрѣла на луну... Читалъ онъ свои произведенія слѣдующимъ образомъ: когда собирались къ нему гости, онъ случайно ронялъ на полъ бумажку, потомъ подымалъ ее, осматривалъ и говорилъ съ видомъ пріятнаго изумленія: „Что это? вотъ славно! кажется, подписано: Бобоховъ“. Гости обнаруживали любопытство, и авторъ приступалъ немедленно къ чтенію. Бобоховъ получалъ бо̀льшую часть нашихъ журналовъ и читалъ все сплошь, сгорая желаніемъ пріобрѣсти какъ можно больше самыхъ разнородныхъ познаній. Казалось бы, очень похвальное стремленіе это проистекало не столько изъ душевныхъ и умственныхъ потребностей, сколько изъ желанія блеснуть, при случаѣ, своимъ знаніемъ и показать, что онъ принадлежитъ къ разряду самыхъ просвѣщенныхъ молодыхъ людей своего времени. Въ основаніи этого стремленія таилась также мысль отдалить отъ себя всякую параллель съ купеческимъ сынкомъ—мысль, убійственная мысль, рѣшительно-отравлявшая существованіе Бобохова. Старанія его не приносили, однакожъ, ожидаемаго результата. Ему не помогали ни взъерошенныя бакенбарды, ни волосы, завитые французскимъ парикмахеромъ, ни даже бѣлые жилеты: онъ все-таки продолжалъ читать сплошь и рядомъ русскіе журналы. Но потому ли, что круглая голова его была слишкомъ крѣпка, или были на то другія причины, только прочитанныя имъ премудрости дѣйствовали на него какъ горохъ на стѣну, или, лучше сказать, самъ онъ, какъ крупная горошина, отскакивалъ отъ всякой истинно-порядочной мысли. Говорилось ли, напримѣръ, о томъ, что вотъ въ такомъ-то случаѣ слѣдуетъ поступать такъ-то и такъ-то для достиженія какой-нибудь добропорядочной цѣли — онъ дочитывалъ книгу и поступалъ совершенно наоборотъ, какъ бы на зло

автору, который осмѣлился давать ему совѣты. Безплодное чтеніе образовало въ головѣ Бобохова совершенную кашу, въ которой каждая крупинка представляла отрывчатую фразу, или даже одно какое-нибудь слово; такихъ словъ набралось у него много, и онъ пересыпалъ ими при случаѣ съ необыкновенной энергіей. Одно изъ страданій мильонщика заключалось также въ томъ, что онъ не зналъ французскаго языка; чтобъ скрыть это, онъ прибѣгалъ къ разнымъ хитростямъ: отыскавъ въ словарѣ какой-нибудь мудреный техническій терминъ и затвердивъ его хорошенько, онъ подходилъ къ пріятелю и спрашивалъ: „Скажите, пожалуйста, что̀ значитъ вотъ это слово?.. я что-то не припомню...“ Пріятель сознавался въ своемъ невѣжествѣ; Бобоховъ щурилъ тогда рысьи свои глазки и произносилъ насмѣшливо: „Ахъ, да! вспомнилъ. Вѣдь это особенный терминъ и означаетъ вотъ то-то“.

Бобоховъ выказывался особенно рѣзко въ обращеніи съ людьми низшаго класса. Онъ обращался съ ними необыкновенно грубо; никогда не удостоивалъ ихъ ласковымъ словомъ или взглядомъ, никогда не называлъ даже по имени, и если требовалось позвать человѣка, кричалъ обыкновенно: „эй!“ Впрочемъ, такая черта составляетъ, можно сказать, неотъемлемое отличіе всѣхъ выскочекъ отъ другихъ людей: истинно-порядочный человѣкъ говоритъ учтиво и ласково со всѣми.

Въ то время, какъ мы передавали достовѣрныя эти свѣдѣнія, Карачаевъ успѣлъ уже потребовать трубку, а Аристархъ Ѳедоровичъ закурилъ сигару, предложенную ему хозяиномъ дома.

Разговоръ между Балахновымъ и Бобоховымъ, прерываемый поминутно неугомоннымъ Карачаевымъ, никакъ не клеился.

— Да вотъ еще что я хотѣлъ спросить у васъ, сказалъ Карачаевъ, закидывая лѣвую руку за спину и останавливаясь передъ креслами Бобохова, — скажите, пожалуйста, ха! ха! ха! отчего этотъ старый шутъ Корней одѣтъ въ такую богатую ливрею?.. Что, это всегда такъ бываетъ у васъ?.. Такой ужъ видно заведенъ порядокъ... aristocrates?

Балахновъ засмѣялся и подмигнулъ Бобохову, какъ будто хотѣлъ сказать: „не взыщите, простите ему“. Бобоховъ оправился и старался улыбнуться.

— Да вотъ еще что, почтеннѣйшій Иванъ Дормидо-

нычъ, заговорилъ опять Карачаевъ, принимаясь расхаживать по гостиной, — пора бы, знаете... этакъ того... у васъ, я чай, есть водка, велите-ка подать...

— Эй! крикнулъ Бобоховъ.

— Кого это вы такъ зовете: эй! эй? У нихъ, чай, имя есть... перебилъ Карачаевъ, мгновенно измѣняя интонацію и показывая мильонщику воспаленные бѣлки.—Послушай, братъ Корней, принеси-ка водочки... Да впрочемъ, постой, что тебѣ безпокоиться, я и самъ пойду! заключилъ онъ, бросая значительный взглядъ Бобохову, который зеленѣлъ и смѣялся въ одно и то же время.

— Вы, вѣрно, удивляетесь этому молодцу? весело спросилъ Балахновъ, оставшись наединѣ съ мильонщикомъ.

— Признаюсь... это даже нѣкоторымъ образомъ...

— Ха-ха-ха! залился Аристархъ Ѳедоровичъ, — да; но что же дѣлать! подхватилъ онъ со вздохомъ.—Я вамъ ужъ, кажется, говорилъ, что мы въ провинціи не властны выбирать общество: надо довольствоваться тѣмъ, что есть... Впрочемъ, изъ всѣхъ остальныхъ, этотъ самый еще добрый и честный малый; ему все можно простить. Къ тому же онъ человѣкъ бѣдный: это всегда возбуждаетъ снисхожденіе.

Дѣйствительно, Карачаевъ былъ очень бѣденъ, потому что теперь менѣе, чѣмъ когда-нибудь, имѣлъ надежду получить долгъ отъ Аристарха Ѳедоровича.

— Écoutez! воскликнулъ Павелъ Петровичъ, показываясь неожиданно въ дверяхъ съ рюмкою въ одной рукѣ, съ трубкою въ другой. — Скажите, пожалуйста, обѣдали вы, да или нѣтъ?.. Мы, можетъ статься, пріѣхали вовсе некстати?..

Бобоховъ хотѣлъ засмѣяться, но взглянулъ на руку Карачаева, державшую чубукъ, и отвѣчалъ снисходительно:

— Нѣтъ, я обѣдаю обыкновенно въ пять часовъ.

— Aristocratie! какъ есть aristocratie!.. Я тебѣ говорилъ, душа моя Aristarque.. Нѣтъ, батюшка, у насъ это иначе... мы привыкли обѣдать въ два, въ три часа, вотъ она штука-то въ чемъ! возразилъ Карачаевъ, заливаясь добродушнымъ смѣхомъ.

— Впрочемъ, если Аристарху Ѳедоровичу угодно, можно сейчасъ велѣть подавать... перебилъ съ поспѣшностью Бобоховъ.

— Да, признаться, я бы не прочь; я самъ обѣдаю очень

поздно; но, знаете, съ дороги, не мѣшало бы отступить отъ принятаго правила... сказалъ Балахновъ, самодовольно пуская клубъ дыму.

— Въ такомъ случаѣ сейчасъ же распоряжусь... Въ ожиданіи не угодно ли взглянуть на карту нынѣшняго обѣда... у меня всегда такъ ужъ заведено... сладко проговорилъ Бобоховъ, вручая листъ съ начертанными именами соусовъ, лежавшій на столикѣ вмѣстѣ съ афишей.

Бобоховъ на этотъ разъ не крикнулъ: „эй!" а самъ отправился съ приказаніемъ.

— Ну, не говорилъ ли я тебѣ, душа моя? Выскочка, какъ есть, просто: буржуа-жантильомъ. Ну что это, напримѣръ, такое? Вѣдь все это называется пустить пыль въ глаза! сказалъ Карачаевъ, щелкнувъ пальцемъ по обѣденной картѣ.—Да погоди, братъ, я его вышколю, будетъ онъ у меня кричать „эй!" Я дурь-то изъ него выбью, по струнке ходить станетъ; увидимъ!

Бобоховъ вернулся, сѣлъ возлѣ Балахнова и молча устремилъ рысьи глазки на дверь гостиной, какъ бы выжидая чего-то.

Минуту спустя, показался Корней, отвѣсилъ низкій поклонъ и возвѣстилъ, что кушанье готово.

— Неугодно ли вамъ пожаловать, господа? сказалъ съ церемонною привѣтливостью Бобоховъ, приглашая гостей въ столовую—огромную бѣлую комнату, въ которой столъ, накрытый на три персоны, и даже самый оркестръ, стоявшій вдоль задней стѣны, казались затерянными посреди пустыни.

Войдя въ залу, Бобоховъ махнулъ рукой, и оркестръ грянулъ какую-то увертюру.

— Превосходно! прекрасно! Вотъ что дѣло, то дѣло! Важно!.. Разодолжилъ, Иванъ Дормидонычъ! Позволь обнять тебя за это, душа моя! воскликнулъ Карачаевъ, протягивая хозяину руки и восторженно потряхивая головой и выбивая въ то же время тактъ ногою.

— Прекрасный оркестръ! о-о-чень хорошъ! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—скажите, свой, или наемный?..

— Свой-съ, самъ училъ... вамъ нравится? чрезвычайно пріятно! отвѣчалъ Бобоховъ, у котораго щеки и глазки запрыгали отъ восхищенія.—Они играютъ у меня всякій день за обѣдомъ и вечеромъ... практика. Эй! сыграть восьмой нумеръ изъ „Лучіи"!.. заключилъ дилетантъ, поворачиваясь къ музыкантамъ. — Ну, господа, прошу са-

диться. Карачаевъ, полно вамъ, прибавилъ онъ, насмѣшливо подмигивая Балахнову и увлекая Павла Петровича, который стоялъ передъ контрбасомъ, топалъ ногами и поминутно стучалъ чубукомъ въ пюльпитръ первой скрипки, давая этимъ знать, что услышалъ фальшивую ноту. Музыка приводила всегда Карачаева въ восторженное состояніе: стоило раздаться какимъ-нибудь звукамъ, и уже Карачаевъ забывалъ всѣ свои горести; въ эти минуты онъ забывалъ даже совѣты доброй Лизаветы Семеновны и прибѣгалъ безъ пощады къ сердце-утѣшительной влагѣ. Такъ случилось и теперь. Въ былыя времена, когда сердце-крѣпительная влага не была еще потребностью Павла Петровича, онъ пѣвалъ самоучкою, но очень хорошо пѣвалъ русскія пѣсни и слылъ даже пріятнѣйшимъ бардомъ во всей губерніи; не подозрѣвая никакой перемѣны въ своемъ голосѣ (у каждаго человѣка есть свои слабости), Карачаевъ продолжалъ также усердно подвизаться на пѣвческомъ поприщѣ; онъ любилъ до страсти управлять хоромъ или оркестромъ, то-есть постукивать чубукомъ въ пюльпитръ, бить тактъ носкомъ, хмурить глубокомысленно брови, и обнаруживалъ вообще въ этихъ случаяхъ большую критическую строгость. „Что мнѣ Рубини, Пини, Рини какіе-то... Горло дерутъ и больше ничего! Я ихъ слышалъ въ Москвѣ. Нѣтъ, пусть-ка вотъ споютъ русскую пѣсню—вотъ тутъ-то мы посмотримъ.“

Услышавъ звуки „Лучіи“, Карачаевъ разразился энергическими эпитетами противъ итальянцевъ, велѣлъ замолчать и играть что-нибудь русское.

— Стой! кричалъ онъ поминутно, смѣняя одну пѣсню другою, вскакивая съ мѣста и подбѣгая къ оркестру,— стой!.. шт!.. валторна высоко взяла!.. не то: та-та-та-тра— вотъ! Вишь, повадились играть итальянскія аріи! Первая скрипка начинай!.. валторна, ну, всѣ разомъ... такъ!! заключилъ онъ торжественно, вращая своими воспаленными бѣлками, размахивая салфеткой и возвращаясь каждый разъ къ столу съ меньшею и меньшею увѣренностью въ ногахъ.

Благодаря выходкахъ Карачаева, обѣдъ обошелся не безъ смѣха. Въ самомъ обѣдѣ, точно такъ же, какъ и во всѣхъ домашнихъ распоряженіяхъ Бобохова, ничего не было особенно замѣчательнаго или роскошнаго. Во всемъ проглядывала явная внутренняя борьба мелочной скупости съ желаніемъ блеснуть великолѣпіемъ. Такъ, на-

примѣръ, когда Бобоховъ оставался дома одинъ, онъ пилъ одно пиво домашняго издѣлія и проявлялъ вообще страшную скаредность; природа его высказывалась тогда во всей наготѣ своей. Но какъ только появлялся хоть одинъ гость, кто бы то ни былъ—на столѣ появлялось шампанское, да еще не бѣлое, а розовое, и подавалось не въ обыкновенныхъ бокалахъ, но въ какихъ-то краеугольныхъ кубкахъ изъ цвѣтного стекла.

Бобоховъ, очень довольный похвалами, расточаемыми Балахновымъ безусловно всему, что попадалось ему на глаза, приказалъ музыкантамъ немедленно отправляться внизъ.

— Это что значитъ? Стой! не смѣть уходить! закричалъ Карачаевъ, яростно размахивая руками.

— Полно, Карачаевъ. Ну, что ты дурачишься? замѣтилъ Балахновъ.

— Че-е-во? запальчиво перебилъ Карачаевъ.

— Я хотѣлъ велѣть имъ приготовляться къ спектаклю. Пора; скоро половина седьмого... сказалъ Бобоховъ.

— А, ну, это другое дѣло, душа моя! Ты бы мнѣ такъ и сказалъ, Иванъ Дормидонычъ. Ступай и приготовляйся къ спектаклю! гаркнулъ Карачаевъ, поворачиваясь къ музыкантамъ, — да велѣть мнѣ подать трубку! жива-а-а! заключилъ онъ, направляясь нетвердыми стопами въ гостиную.

Послѣ кофе, хозяинъ дома пригласилъ гостей итти въ театръ.

— Ну, ужъ удружилъ, душа моя! право, удружилъ... спасибо. Хоть ты, душа моя, и буржуа-жантильомъ, настоящій буржуа-жан-ан... все-таки позволь обнять тебя! говорилъ Карачаевъ, выступая зигзагами по комнатамъ.

— Не сердитесь на него. Видите, онъ въ восторженномъ состояніи, шепнулъ Балахновъ.

— Помилуйте, я вижу! отвѣчалъ, зеленѣя, Бобоховъ.— Замѣтили ли вы это померанцевое дерево? продолжалъ онъ, останавливаясь на лѣстницѣ, — прекрасно... Жаль только, не цвѣтетъ въ настоящую минуту... такой пріятный запахъ... напоминаетъ Палермо... Сицилію... Неаполь... Naples...

— Да, весьма долженъ быть пріятный ароматъ, отвѣчалъ Балахновъ, скрывая улыбку.

Когда гости и амфитріонъ очутились на дворѣ, ихъ окружила цѣлая стая разношерстныхъ собакъ...

— А! вотъ пёсъ, такъ пёсъ! крикнулъ Карачаевъ, растопыривая руки передъ датской собакой. — Трезоръ... Касторъ... поди сюда...

— Славная собака! сказалъ въ свою очередь Балахновъ.

— Вамъ нравится? Чрезвычайно пріятно! заговорилъ амфитріонъ сладкимъ голосомъ.—Минотавръ... ici... Зовутъ ее Minotaur... знаете... греческое божество... Minotaur! продолжалъ онъ самодовольно. — У этой собаки задняя часть схожа съ лошадиной и глаза умные, какъ у человѣка. Я потому и назвалъ ее Минотавромъ... Minotaur... У грековъ было въ миѳологіи божество... корпусъ человѣка, а задъ лошадиный...

— Ну, братъ, заврался! заврался, дружище! перебилъ Карачаевъ, — какое греческое тамъ еще божество... А вотъ у меня пёсъ, скажу тебѣ, душа моя, такъ пёсъ; зовутъ Медоръ, за сорокъ верстъ... да, прискакалъ за сорокъ верстъ и веревку перегрызъ... Ну, однако, полно турусы-то разводить; пора дѣломъ заняться... Ну, веди, что ли, въ театръ, веди: ты долженъ предупреждать гостей. Ступай впередъ; вотъ она штука-то въ чемъ...

Бобоховъ переглянулся съ Балахновымъ, и минуту спустя, всѣ трое входили въ одинъ изъ флигелей, замыкавшихъ каменную ограду двора.

— Сюда пожалуйте, господа, сюда; здѣсь буфетъ, а тутъ входъ за кулисы, и фойе—foyer актеровъ, говорилъ Бобоховъ, проходя съ гостями по маленькимъ закоулкамъ, гдѣ едва могли помѣститься три человѣка.—Все это еще не устроено, не успѣлъ: тутъ вездѣ будетъ шелкъ и позолота. А вотъ, вотъ спектакльная зала...

Спектакльная зала могла вмѣстить съ большимъ удобствомъ четыре лошадиныя стойла; но Бобоховъ, творецъ ея, видѣлъ въ ней совершенное подобіе залы Большого московскаго театра. Боковыя стѣны, сѣро-молочнаго цвѣта, расписаны были колоннами; въ интервалахъ висѣло по одной лампѣ, задняя стѣна украшалась громадными намалеванными часами, которые показывали семь; къ ней примыкало подобіе баннаго полка́, выкрашенное желтою краской и имѣвшее назначеніе райка; подъ полкомъ тянулись два ряда стульевъ: это былъ партеръ; колѣни зрителей упирались въ дощатую перегородку, за которой помѣщался оркестръ, надъ головами музыкантовъ возносилась суфлерская будка, составлявшая ровно пятую часть всей залы; голубая занавѣсь, съ изображеніемъ

нимфы, у которой ноги начинались непосредственно послѣ груди, усѣяна была золотыми звѣздами; нимфа играла на лирѣ такой же величины, какъ контрбасъ.

— Какъ вамъ нравится? сладенькимъ голосомъ спросилъ Бобоховъ, и въ то же время боязливо покосился на Карачаева, который, перевалившись черезъ перегородку, распоряжался уже въ оркестрѣ.

— Очень мило. Мнѣ кажется только немного тѣсно... отвѣчалъ Балахновъ.

— Помилуйте... отчего же?.. совсѣмъ напротивъ! возразилъ амфитріонъ, повидимому очень недовольный тѣмъ, что гость обнаруживалъ мало удивленія.

— Эй! Иванъ Дормидонычъ, постой! Куда ты? крикнулъ Карачаевъ, протискиваясь между пюльпитрами и музыкантами.

— За кулисы...

— И я съ тобой; погоди, гдѣ жъ тебѣ одному управиться?.. Постой, я все сейчасъ устрою...

— Нельзя, отвѣчалъ Бобоховъ, нетерпѣливо хлопнувъ дверью.

Карачаевъ отпрянулъ шагъ назадъ, опрокинулъ пюльпитръ, побагровѣлъ и страшно заморгалъ воспаленными бѣлками.

Музыканты ухватились за свои инструменты и припали на скамейкахъ.

— Полно, братецъ, оставь его; сиди смирно и смотри, что̀ дальше будетъ. Это поистинѣ любопытно, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, насмѣшливо улыбаясь.

— Нѣтъ, душа моя, его надо проучить хорошенько! захрипѣлъ Карачаевъ, — я его выучу, какъ захлопывать подъ носъ двери. Я тебѣ говорилъ... Ахъ, онъ! Прочь!.. заключилъ онъ, расталкивая музыкантовъ.

И, не слушая возраженій Балахнова, Карачаевъ взгромоздился на скамейку, приподнялъ занавѣсъ и, просунувъ на сцену багровое лицо свое, прокричалъ во все горло:

— Буржуа-жантильомъ!

— Полно, Карачаевъ, садись, говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—охота тебѣ! Садись, и давай ждать конца — натѣшимся!

— Да это, братецъ, ни на что не похоже! Эй, Корней, сюда! прибавилъ онъ, поворачиваясь неожиданно къ старику, который стоялъ въ сторонѣ съ подносомъ, уставленнымъ стаканами и бутылками шампанскаго. —Я его выучу,

какъ жить съ порядочными людьми! Будетъ онъ у меня захлопывать двери!.. бормоталъ онъ, выпивая два стакана.—Эй! что жъ вы? начинай! Ну, „Не бѣлы-то снѣги!“ заключилъ онъ, обращаясь къ оркестру.

— Баринъ приказывали играть изъ „Лучіи“... робко отвѣчалъ капельмейстеръ.

— Че-е-во?.. Я приказываю играть: „Не бѣлы-то снѣги“—вотъ она штука-то въ чемъ! Ну!

Увидя входившаго Бобохова, Карачаевъ замолкъ, повернулся къ нему спиной, перешагнулъ черезъ ряды креселъ и, затягиваясь изъ чубука, развалился на полкѣ съ видомъ глубочайшаго презрѣнія.

Лицо Бобохова было совершенно зелено, и прозрачныя щеки его слегка дрожали; онъ старался, однакожъ, не замѣтить Карачаева и сѣлъ подлѣ Балахнова, обративъ къ нему сладенькую улыбочку.

Оркестръ заигралъ, нимфа улетѣла въ потолокъ, и глазамъ Аристарха Ѳедоровича предстало совершеннѣйшее подобіе клѣтки, въ которой, вмѣсто птицъ, находились два разрумяненные мальчика, одѣтые въ старое барское пальто и бѣлые жилеты. Мальчики стояли по обѣимъ сторонамъ суфлерской ложи—иначе, впрочемъ, ихъ не было бы видно, не двигали ни однимъ членомъ и говорили такъ тихо, что самые музыканты ничего не могли разслышать; и только каждый разъ, какъ должна была произноситься самая эффектная фраза, на которой вращалась вся пьеса (афиша возвѣщала, что шелъ водевиль подъ названіемъ: „Маленькія непріятности въ жизни“), главное дѣйствующее лицо дѣлало шагъ впередъ и, выразительно тыкая пальцемъ въ оркестръ, принималось кричать во все горло: „Да, вотъ онѣ, маленькія-то непріятности въ жизни!“

— Всего три мѣсяца, какъ я ихъ учу. Были просто деревенскіе мальчишки!.. Удивительная способность... понятливость... Скажите, пожалуйста, какъ вамъ нравится? говорилъ Бобоховъ, впиваясь рысьими глазами въ именитаго гостя.

— Очень мило, о-о-чень мило! отвѣчалъ снисходительный Балахновъ.

— Мило... да? неправда ли, очень мило? произнесъ иронически Бобоховъ, обиженный равнодушіемъ гостя. — Вотъ куплетъ, послушайте... Ну, какъ вамъ нравится музыка?..

— Очень мило...

— Это мое сочиненіе... написано вчера утромъ...

— Да это, кажется, если я не ошибаюсь, „Пчелка златая“, замѣтилъ Балахновъ.

— Да, если хотите... то-есть напоминаетъ, можетъ-быть... я кое-что, однакожъ, прибавилъ... Очень жаль, что вамъ не нравится... сказалъ Бобоховъ, трепля себя за бакены, чтобъ скрыть неудовольствіе.

Бобоховъ поминутно исчезалъ за кулисы, чтобъ дѣлать замѣчанія актерамъ. Карачаевъ продолжалъ молчать на своемъ полкѣ, и только слышно было, какъ свисталъ и шипѣлъ его чубукъ, изъ котораго валили клубы табачнаго дыма. Во второй пьесѣ, изъ нравовъ французскихъ маркизовъ, временъ Людовика XIV, Карачаевъ, однакожъ, не выдержалъ: улучивъ минуту, когда слуга на сценѣ, одѣтый въ лохмотье барскаго пальто, возвѣстилъ: „Карета графа готова и ждетъ его у рѣшетки парка“, онъ разразился неистовымъ хохотомъ. Къ концу спектакля онъ угомонился, чубукъ выпалъ изъ рукъ его, и легкій храпъ возвѣстилъ, что Павелъ Петровичъ отдался Морфею. Аристархъ Ѳедоровичъ начиналъ также зѣвать и потягивался очень неохотно на стулѣ. Замѣтивъ это, Бобоховъ приказалъ прекратить зрѣлище, молча указалъ Корнею на спавшаго Карачаева и пригласилъ Балахнова идти въ домъ, обнаруживая всѣ признаки раздраженнаго, недовольнаго состоянія.

Во время чая, Аристархъ Ѳедоровичъ старался разсѣять своего амфитріона, у него были на то свои причины: онъ, можно сказать, именно за этими-то причинами и поѣхалъ къ выскочкѣ. Онъ принялся хвалить устройство дома, сказалъ, что недостаетъ только молодой хозяйки, которая придала бы своимъ присутствіемъ еще болѣе жизни роскошнымъ палатамъ, и началъ ужъ достигать своей цѣли, какъ вдругъ появленіе Карачаева все испортило.

Первымъ вопросомъ Павла Петровича, когда разбудилъ его Корней, было:

— А что? вволю ли насыпали овса лошадямъ?

Получивъ утвердительный отвѣтъ и убѣдившись лично въ степени справедливости такого отвѣта, онъ сказалъ, чтобъ его провели въ комнату, назначенную гостямъ для ночлега; осмотрѣвъ комнату и оставшись, повидимому, доволенъ ея расположеніемъ, онъ снялъ съ себя верхнее платье, напялилъ старый халатъ, надѣлъ истасканныя

туфли, потребовалъ хересу и, удовлетворивъ жажду, поспѣшилъ явиться въ гостиную, не забывъ напередъ приказать принести трубку.

— Ну, вотъ и я. Что жъ вы безъ меня ушли? Эхъ вы, aristocratie! Послушай, Иванъ Дормидонычъ, а что, вели-ка, братъ, играть оркестру! сказалъ онъ, разваливаясь на диванѣ и запахивая бережно халатъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ засмѣялся и подмигнулъ Бобохову, который поспѣшилъ исполнить желаніе гостя.

Заслышавъ звуки оркестра, Карачаевъ встрепенулся, закричалъ „спасибо!", подлилъ въ свой чай рому и, вооружившись стаканомъ, поспѣшно вошелъ въ залу.

— Я вамъ говорилъ, что это лучшее средство избавиться отъ него, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ самымъ любезнымъ тономъ.—Вы, кажется, любите книги столько же, сколько и музыку? продолжалъ онъ, окидывая величавымъ взглядомъ столы, заваленные журналами,— когда я пріѣхалъ, вы даже читали что-то?..

— Да, я сличалъ два ouvrages объ ученомъ археологическомъ изслѣдованіи, то-есть болѣе въ нумизматическомъ отношеніи, всего того, что... то-есть сличалъ изслѣдованія о развалинахъ Колизея...

Аристархъ Ѳедоровичъ и самъ уже не радъ былъ, что коснулся такого предмета. Сколько потомъ ни старался онъ повернуть разговоръ, все было напрасно: Бобоховъ не далъ ему выговорить слова и принялъ, казалось, явное намѣреніе—выгрузить передъ нимъ весь запасъ тѣхъ свѣдѣній, которыми онъ старался обогащать свою круглую голову. Оркестръ, отпущенный Карачаевымъ, давно уже замолкъ, самъ Карачаевъ давно уже лежалъ въ постели— а рѣчь Бобохова не умолкала ни на минуту. Балахновъ начиналъ уже приходить въ отчаяніе, какъ вдругъ Бобоховъ замолкъ и, весь запыхавшись, сѣлъ на диванъ. Ученый запасъ его истощился; Аристархъ Ѳедоровичъ перевелъ духъ и приступилъ немедленно къ своему предмету.

— Скажите, пожалуйста, любезнѣйшій Иванъ Дормидонычъ, произнесъ онъ, какъ бы въ разсѣянности, — вы, конечно, поѣдете нынѣшнюю осень на выборы?..

— Помилуйте, какъ же мнѣ не ѣхать! непремѣнно поѣду...

— Разумѣется, продолжалъ съ достоинствомъ Балахновъ,—вы еще не были на выборахъ, и вамъ, какъ новому человѣку, слѣдуетъ даже побывать, представиться, познакомиться съ другими помѣщиками...

— Я все это очень хорошо знаю, сказалъ выскочка, расплываясь отъ удовольствія, — непремѣнно буду на выборахъ; но прежде еще поѣду въ Москву... У меня, нужно вамъ сказать, три музыканта въ оркестрѣ, вы ихъ не замѣтили? Удивительные таланты! Я хочу образовать изъ нихъ виртуозовъ—virtuoz virtuozo primo... и современемъ, даже очень скоро, они будутъ играть въ концертахъ...

Аристархъ Ѳедоровичъ, испугавшись, что собесѣдникъ начнетъ теперь, чего добраго, выгружать передъ нимъ свои музыкальныя познанія, поспѣшилъ перебить его.

— Скажите, пожалуйста, произнесъ онъ съ очаровательною любезностью,—кого думаете вы... то-есть за кого хотите вы вотировать, то-есть я говорю насчетъ шара вашего, кого хотите вы предпочесть изъ среды нашей вашимъ бѣлымъ?..

Голосъ Аристарха Ѳедоровича захлебнулся въ потокѣ и онъ остановилъ съ увѣренностью свои глаза на лицѣ милліонщика.

— Я ужъ на этотъ счетъ имѣю свои виды, отвѣчалъ тотъ, значительно раздувая прозрачныя щеки.

— Какъ? имѣете виды? Какіе же? спросилъ изумленный Балахновъ,—вы новое лицо у насъ и, кажется, такъ мало еще знаете здѣшнихъ помѣщиковъ...

— Да; но я уже обѣщалъ свой голосъ, отвѣчалъ Бобоховъ, самодовольно разглаживая бакены.

— Кому же это, если можно спросить? ласково вымолвилъ владѣлецъ Ханскихъ-Прудовъ, измѣняясь въ лицѣ и закусывая нижнюю губу.

— А это секретъ, mistère... меня просили не сказывать... Виноватъ, тайна, далъ слово... mistèrrr...

— Человѣкъ, давшій слово, долженъ держать его; дѣлайте, какъ знаете — въ этомъ каждому предоставлена воля, сухо произнесъ Балахновъ, поспѣшно приподнимаясь съ мѣста.—У-у, какъ, однакожъ, поздно!.. Что это? Кажется, скоро часъ... Эй, любезный, вели поскорѣй закладывать коляску! заключилъ онъ, обращаясь къ Корнею, показавшемуся въ дверяхъ.

Бобоховъ началъ упрашивать его остаться ночевать и провести весь слѣдующій день, но величавый гость отказался напрямикъ, сказавъ, что одно очень серьезное дѣло заставляетъ его быть завтра утромъ дома. Бобоховъ, щепетильный, обидчивый и самолюбивый, какъ всѣ выскочки, видя въ отказѣ Балахнова пренебреженіе къ его особѣ,

не настаивалъ и ограничился только тѣмъ, что отдалъ приказаніе разбудить Карачаева.

— Нѣтъ, ужъ вы лучше оставьте его: пусть выспится. Къ тому же теперь его не добудишься, сказалъ съ убійственною небрежностью Балахновъ, едва-едва поворачиваясь къ хозяину дома.

Послали, однакожъ, будить Павла Петровича. Десять минутъ спустя, вернулся Корней и объявилъ, что хотя и добудились гостя, но онъ прогналъ ихъ всѣхъ и сказалъ, что уничтожитъ всякаго, кто осмѣлится подойти къ его постели на пять шаговъ.

Извѣстіе это подѣйствовало на Бобохова самымъ непріятнымъ образомъ: лицо его покрылось зеленью и пухлыя, прозрачныя щеки пришли въ конвульсивное движеніе.

— Что это значитъ?.. какъ же... это?.. это... это... чрезвычайно непріятно... пробормоталъ онъ, стискивая свои зубы.

— А значитъ то, смѣясь возразилъ Балахновъ, — что слѣдуетъ оставить его въ покоѣ. Завтра проснется и уѣдетъ... Дайте ему только лошадей, у васъ же ихъ такъ много... Прощайте! заключилъ онъ, величаво протягивая два пальца.

Милліонщикъ разстался очень холодно съ Балахновымъ, но проводилъ его, однакожъ, до порога гостиной; дальше этого порога онъ никогда не провожалъ гостей, и слѣдовалъ въ этомъ случаѣ правилу своякa своего Тохтамышева, который говорилъ обыкновенно, что истинные джентльмены не должны провожать гостей своихъ дальше гостиной. Вернувшись въ залу, Бобоховъ закричалъ: „эй!“ и отдалъ строжайшее приказаніе, чтобъ завтра утромъ дали лошадей оставшемуся гостю и сказали ему, что хозяинъ дома уѣхалъ съ утра на охоту.

Аристархъ Ѳедоровичъ летѣлъ между тѣмъ въ Ханскіе-Пруды, тщетно ломая себѣ голову надъ тѣмъ, кому бы именно могъ обѣщать Бобоховъ свой шаръ. Вопросъ такъ живо касался честолюбивыхъ интересовъ Балахнова и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ занималъ его, что онъ не сомкнулъ глазъ во всю дорогу, несмотря на упругость подушекъ и мягкое колебанье голубой коляски, украшенной золотыми вензелями.

XVII,
преисполненная событіями разнаго рода.

— Я тебѣ говорилъ, душа моя, Aristarque, я тебѣ говорилъ!.. Объ этомъ говорила тебѣ даже Лизавета Семеновна! Ты не хотѣлъ вѣрить... сердился... вотъ вышло же наружу, вотъ тебѣ и другъ. Ай да Семенъ Семенычъ! Вотъ тебѣ и Кошкинъ!

Такими словами разразился Карачаевъ немедленно послѣ возвращенія своего отъ Бобохова, у котораго пробылъ, сверхъ всякаго ожиданія, лишнія сутки. Войдя въ домъ Ханскихъ-Прудовъ, онъ тотчасъ же вызвалъ въ кабинетъ Аристарха Ѳедоровича, усадилъ его въ кресла, заперъ на ключъ двери, тщательно осмотрѣлъ, крѣпокъ ли замокъ, и тотчасъ же, безъ дальнихъ приготовленій, приступилъ къ вышеупомянутой рѣчи. Жесты Карачаева, нахмуренныя брови, воспаленные бѣлки, вращавшіеся съ безпокойствомъ, и вообще вся наружность его показывали, что онъ былъ возмущенъ до глубины души.

Аристархъ Ѳедоровичъ слушалъ Карачаева съ величавымъ, презрительнымъ пренебреженіемъ; тѣмъ не менѣе, однакожъ, послѣднія слова Карачаева произвели на него сильное и совсѣмъ неожиданное дѣйствіе; онъ измѣнился въ лицѣ, быстро приподнялся со своего мѣста и началъ ходить по кабинету, закинувъ лѣвую руку назадъ, тогда какъ правая рука его свирѣпо почесывала дипломатическій лобъ, мгновенно покрывшійся тучами.

Наконецъ, онъ остановился передъ Карачаевымъ, топнулъ ногой и произнесъ нетерпѣливо:

— Вздоръ! быть не можетъ!.. Ты, братецъ, вѣчно все перепутаешь, переврешь... Слышалъ звонъ, да не знаешь, гдѣ онъ... Этого быть не можетъ, говорю я! Ты, вѣрно, не переставалъ пить, и это Бобоховъ натолковалъ тебѣ... Вздоръ! быть не можетъ! присовокупилъ, разгорячась, Балахновъ.

Тутъ Карачаевъ бросилъ на полъ чубукъ и кинулся къ двери, закричавъ хриплымъ, задыхающимся отъ бѣшенства голосомъ:

— Иванъ! Эй, лошадей!.. Ѣду... сейчасъ же ѣду; вонъ отсюда!..

— Ну, не сумасшедшій ли ты?.. Посуди, можно ли послѣ этого въ чемъ-нибудь на тебя положиться? говорилъ Балахновъ, удерживая его за руку.

— Лошадей! лошадей! продолжалъ кричать Карачаевъ,—не останусь же я здѣсь послѣ этого! Пропадай ты совсѣмъ со своими пріятелями! Пусть каждая шельма, Бобоховъ какой-нибудь, тебя надуваетъ! Знать не хочу! ноги моей не будетъ больше въ этомъ домѣ! Тебя не жаль... жаль только разстаться съ Лизаветой Семеновной...

— Жены тутъ поминать не для чего: жена въ этомъ дѣлѣ должна быть постороннею.

— Че-е-во? Мнѣ не жалѣть Лизаветы Семеновны! которая, можетъ-быть... ну, да что тутъ толковать! Прощай, братъ, будь счастливъ! Зла тебѣ никогда не желалъ, да и добра также не желаю послѣ всего этого. Дѣлай, какъ знаешь! заключилъ Павелъ Петровичъ не совсѣмъ увѣреннымъ голосомъ.

— Полно, Карачаевъ; все это пустяки! Ну, перестань бѣситься; довольно; садись! говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, усаживая раздраженнаго друга, который, впрочемъ, довольно охотно поддавался. —Согласись самъ, братецъ, продолжалъ онъ, усаживая его, — согласись, дѣло слишкомъ серьезное и притомъ слишкомъ близко до меня касается, чтобъ я могъ сразу, такъ, съ бухта-барахты, дать вѣру словамъ твоимъ, хотя слова эти могли бъ даже быть не лишены справедливости...

— Помилуй, душа моя, да изъ чего же я говорю, если не изъ того, что дѣло касается именно тебя? воскликнулъ Карачаевъ, мгновенно смягчаясь, — къ тому же: écoutez, неужели я сталъ бы чернить человѣка просто — здорово живешь? Если я говорю, такъ, стало, навѣрное: твой Кошкинъ плутъ, вотъ въ чемъ штука-то!

— Изъ чего же ты это заключаешь? произнесъ Балахновъ, снова омрачаясь и снова начиная ходить по кабинету,—ну, говори, разсказывай, разсказывай обстоятельно, какъ все было; только, пожалуйста, не путай...

— Изволь, душа моя! возразилъ съ полной готовностью Карачаевъ,—только, пожалуйста, братъ, не волнуйся, садись и слушай.

— Ну! произнесъ Балахновъ, нетерпѣливо бросаясь въ кресло и стараясь скрыть свое волненіе.

— Вотъ, братецъ ты мой: просыпаюсь я на другое утро у этого буржуа-жантильома Бобохова; говорятъ, ты уѣхалъ; фу, ты пропасть! думаю... признаться, побранилъ тебя на порядкахъ... хочу идти наверхъ — хозяинъ, говорятъ, уѣхалъ! на охоту уѣхалъ!.. Ахъ, онъ, выскочка! говорю:

быть не можетъ! Иду наверхъ, смотрю: ходитъ себѣ взадъ и впередъ по своему проклятому паласту, или, какъ бишь это, палатамъ, что ли... Ну ужъ, братъ, écoutez, задалъ же я ему баню! Буржуа-жантильомъ этакой! Проучилъ же я его... Мнѣ плевать, зеленѣй онъ сколько угодно! Со мной, ты знаешь, коротка расправа... Потомъ, братецъ, слово за словомъ, разговорились; что жъ, душа моя? узнаю, что онъ поминутно ѣздитъ къ Кошкинымъ и Кошкинъ къ нему... Что за дьяволъ! думаю; Кошкинъ Балахнову объ этомъ ничего не говорилъ — вотъ она въ чемъ штука-то! Тутъ что-то неладно, думаю, завелись шашни...

— Нѣтъ, воля твоя, тутъ что-то не такъ... Бобоховъ, вѣрно, навралъ тебѣ... перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ недовѣрчиво, однакожъ, нетерпѣливо тряхнувъ головой.

— Какъ не такъ! Нѣтъ, такъ, если я говорю! возразилъ съ живостью Карачаевъ.— Бобоховъ ѣздитъ безпрестанно къ Кошкинымъ и даже, если хочешь знать, въ перепискѣ съ ними, и особенно съ этой чернявой Анной Васильевой... У меня есть доказательства... да!

— Какія? какія же доказательства? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, стараясь показать равнодушіе.

— Какія? а вотъ какія доказательства, вымолвилъ Карачаевъ, торопливо разстегивая крючки своего нанковаго сюртука и вынимая клочокъ тщательно свернутой бумажки,—нà, читай, прибавилъ онъ торжественно.

Балахновъ поспѣшно развернулъ письмо и прочелъ слѣдующее:

„Madame!

„Envain vous me remémorez je n'oublie vos désirs et vous remercie pour votre amabilité. J'ai l'honneur d'être votre dévoué J. Bobokoff“.

Письмо, написанное, очевидно, по лексикону, украшалось съ боку литерою Б. и носило на оберткѣ слѣдующій адресъ: „Аннѣ Васильевнѣ Кошкиной, въ сельцо Журавлево“.

— Ну, что жъ изъ этого? сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, бросая съ сердцемъ посланіе на столъ.

— Фу ты пропасть! Да чего жъ тебѣ еще? Какъ что изъ этого? крикнулъ Карачаевъ, мгновенно разгорячаясь,—тебѣ этого мало! Да вотъ погоди, братъ, это еще не все; знаешь ты Газенпота, горшковскаго доктора, Карла Готлибовича?

— Ну, знаю...

— А когда такъ, такъ слушай же, écoutez: Газенпотъ пріѣхалъ вчера обѣдать къ Бобохову и говоритъ, между прочимъ, что былъ на-дняхъ у Окатова и засталъ тамъ Кошкина... Ага! что, братецъ? Что? небось повѣрилъ теперь? подхватилъ Карачаевъ, видя, что Аристархъ Ѳедоровичъ вскочилъ съ пѣной у рта и свирѣпо ударилъ кулакомъ по столу.—Что? повѣрилъ теперь? А то: нѣтъ, быть не можетъ... Да погоди, дружище, это еще не все...

— Что жъ еще? крикнулъ Балахновъ, стискивая вагенгеймовскіе зубы и покрываясь желтизною.

— А то, душа моя, Aristarque, что твой Кошкинъ былъ на-дняхъ не только у Окатова, но даже у Солонеева: Карлъ Готлибовичъ Газенпотъ самъ его видѣлъ...

Но Аристархъ Ѳедоровичъ уже не слушалъ Карачаева: онъ маршировалъ по кабинету, опрокидывая на пути своемъ стулья, задѣвая за всѣ углы и разражаясь яростными эпитетами противъ человѣческой природы вообще и природы Семена Семеновича Кошкина въ особенности. Взрывъ не былъ, однакожъ, продолжителенъ: минуты двѣ спустя, Аристархъ Ѳедоровичъ уже владѣлъ собою; пожелтѣвшее лицо его приподнялось кверху, грудь выпрямилась, наружность приняла вдругъ величавую, горделивую, полную достоинства осанку. Онъ подошелъ къ столу, взялъ записную книжку, обмакнулъ перо и начерталъ дрожащею рукою: „Черная рука лжебрата подобна рву Даніилову: въ ней гнусныя страсти, яко лютѣйшіе львы, готовы растерзать и поглотить ближняго!..“

Потомъ, какъ бы воодушевившись, онъ подписалъ сбоку „Кошкинъ“; затѣмъ, помакнувъ перо, начерталъ еще слѣдующее: „За что люди вооружаются и возстаютъ противъ тебя? За, то, что ты добродѣтеленъ и стоишь превыше ихъ! О, добродѣтель! да не удалится отъ тебя жизнь моя, хотя бы суждено мнѣ было потерпѣть самыя лютыя скорби!“

Глубокія мысли, вызванныя неожиданнымъ моральнымъ потрясеніемъ, осадили вереницею голову великаго человѣка, но со всѣмъ тѣмъ не произвели на его душу успокоительнаго дѣйствія. Образы Окатова и Солонеева, смѣшанные съ образомъ лжебрата, носились передъ нимъ въ зловѣщемъ туманѣ и поражали его сердце тройнымъ кинжаломъ.

Что жъ касается Карачаева, онъ чувствовалъ невозмутимо сладостное спокойствіе человѣка, исполнившаго свои

обязанности; онъ поднялъ чубукъ, брошенный на полъ, затянулъ ремень вокругъ толстой, неуклюжей своей таліи и сталъ противъ Балахнова, обнаруживая готовность начать увѣщательную, успокоительно-благоразумную рѣчь.

Онъ захлопалъ уже бѣлками, взялъ его за руку и кашлянулъ, но въ эту самую минуту Сидоръ постучался въ дверь и объяснилъ, что ѣдетъ Семенъ Семеновичъ Кошкинъ.

Невозможно описать эффекта, произведеннаго этимъ извѣстіемъ на двухъ собесѣдниковъ. Оба они остановились какъ вкопанные и взглянули съ недоумѣніемъ другъ на друга. Карачаевъ—должно отдать ему справедливость—первый пришелъ въ себя; онъ кинулся къ двери, повернулъ ключъ, просунулъ къ Сидору лицо свое, побагровѣвшее, какъ клюква, и произнесъ:

— Не принимать! сказать: дома нѣтъ!!! жива-а-а!!!

— Перестань, братецъ! чего ты бѣснуешься? крикнулъ съ сердцемъ Аристархъ Ѳедоровичъ, удерживая своего друга за руку и бросая на него грозный взглядъ съ высоты своего величія. — Сидоръ! сказать, что я въ кабинетѣ, заключилъ онъ, стараясь накинуть на себя какъ можно больше достоинства.

— Какъ?!.. воскликнулъ Карачаевъ, выказывая мгновенно всѣ признаки раздраженнаго состоянія, — какъ, послѣ всего того, что я говорилъ?.. Тьфу! Пропадай же послѣ этого совсѣмъ съ своимъ Кошкинымъ! тьфу! довершилъ онъ, хлопнувъ дверью такъ, что она снова отворилась сама собою.

Встрѣтивъ въ коридорѣ Кошкина, Карачаевъ страшно нахмурилъ брови, отступилъ шагъ назадъ, церемонно раскланялся, не сказавъ слова, и вышелъ въ залу, размахивая руками.

Семенъ Семеновичъ, принявъ въ соображеніе суетливыя лица лакеевъ, встрѣтившихъ его въ передней, и вмѣстѣ съ тѣмъ странную выходку Карачаева, смекнулъ сейчасъ же, что тутъ было что-то неладно. Онъ былъ увѣренъ, однакожъ, что визиты его къ врагамъ Балахнова оставались для владѣтеля Ханскихъ-Прудовъ совершенною тайной. „Такъ, развѣ бабья сплетня какая-нибудь, а можетъ, и того нѣтъ; просто, можетъ-статься, домашняя ссора или непріятность“, подумалъ онъ, отыскивая пытливымъ взглядомъ какой-нибудь наружный признакъ, который подтвердилъ бы его предположеніе.

Сдѣлавъ еще нѣсколько шаговъ по коридору, Кошкинъ остановился, поправилъ черный, лоснящійся парикъ съ буклями на вискахъ, отворотилъ манжеты рубашки на обшлага сюртука и, выразивъ на лицѣ своемъ сладенькую улыбку, простирая руки впередъ, пошелъ навстрѣчу Аристарху Ѳедоровичу, который показался въ дверяхъ кабинета.

— Здравствуй, Семенъ Семенычъ' сказалъ Балахновъ, отвѣчая на дружескія изліянія Кошкина холоднымъ, почти принужденнымъ пожатіемъ руки.

Желтенькое лицо Семена Семеновича искривилось, какъ будто за щекой его внезапно очутился кусокъ ревеню: экспрессія растроганно-огорченнаго человѣка промелькнула въ сухихъ чертахъ его; онъ поправилъ золотыя очки, медленно подошелъ къ своему другу, медленно взялъ его за обѣ руки, медленно поднялъ на него смѣтливые глаза и сказалъ съ особенною, трогательною выразительностью:

— Здрав-ствуй, Арис-тархъ Ѳе-до-рычъ!..

Послѣдовала непродолжительная пауза.

— Здравствуй, Семенъ Семенычъ! спокойно отвѣчалъ Балахновъ.

Сказавъ это, онъ отступилъ шагъ назадъ, скрестилъ на груди руки и выпрямился во весь ростъ.

Цѣлую минуту оба молчали и стояли другъ противъ друга. Кошкину видимо сдѣлалось неловко; онъ опустилъ глаза, прищурился, потомъ робко взглянулъ на Аристарха Ѳедоровича, какъ бы покушаясь спросить: „Кто ты, грозное привидѣніе?..“ Если бъ такой вопросъ вырвался изъ устъ Семена Семеновича, Аристархъ Ѳедоровичъ—въ томъ тѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія—отвѣчалъ бы слѣдующее: „Твой судія—твоя совѣсть, и... и... воплощенная невинность и добродѣтель! Взгляни на меня, лжебратъ, и если сердце твое не разорвется на части, оно никогда не знало добродѣтели!“ Но Балахновъ ограничился тѣмъ только, что подумалъ это, потому что Семенъ Семеновичъ разразился слѣдующими словами:

— Аристархъ Ѳедоровичъ! я не могу понять, что̀ все это значитъ?.. Тщетно придумываю я всѣ случаи, которые могли бы навлечь на меня твою холодность. Какъ и всегда, пришелъ я къ тебѣ съ распростертыми объятіями... Я теряюсь въ скорбныхъ для меня догадкахъ... Встревоженные люди и даже этотъ Карачаевъ... не по-

стигаю! Можетъ быть, причиною тому домашнія обстоятельства, неудовольствія, можетъ статься, какое-нибудь неожиданное горе...

— Ты не ошибаешься, возразилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, полный въ эту минуту спокойнаго, величаваго, благороднаго достоинства,—да, дѣйствительно, какъ ты говоришь, меня постигла большая непріятность... Неисповѣдимая воля судебъ наслала новое испытаніе... Не думай, однакожъ, чтобъ это было одно изъ тѣхъ неудовольствій, о которыхъ ты уже слышалъ,—поспѣшилъ прибавить Аристархъ Ѳедоровичъ, испугавшись, чтобъ Кошкинъ не приписалъ его разстройство ссорѣ съ Окатовымъ и неудачной исторіи съ долиной,—отнюдь нѣтъ, любезный Семенъ Семенычъ; я давно привыкъ къ людскимъ неправдамъ; чувство гнуснаго лицемѣрія и ядовитой, шипящей злобы чуждо мнѣ; охотно прощаю врагамъ моимъ, Семенъ Семенычъ; пускай распускаютъ они зловѣщую клевету; я этимъ не огорчаюсь, Семенъ Семенычъ; всесокрушающее время, озаряющее истину, покажетъ имъ, что я всегда стоялъ за правду и помышленіемъ даже не отступилъ отъ этого правила, Семенъ Семенычъ...

Кошкину сдѣлалось совсѣмъ неловко; онъ щурился, ежился, поправлялъ золотыя очки. Странно! до сихъ поръ не было такого домашняго горя, которое не сообщалось бы Кошкину. Кромѣ того, что̀ значатъ этотъ величавый, горделивый видъ, эти часто повторяемыя слова: лицемѣріе, людская неправда и проч.? Аристархъ Ѳедоровичъ не приглашалъ даже его садиться и, что всего страннѣе, не предлагалъ ему сигару nec-plus-ultra.

Желтенькое, недоумѣвающее лицо Кошкина, сохранявшее во все это время такое выраженіе, какъ будто онъ нюхалъ предметъ, издававшій крѣпко-непріятный запахъ, переполнилось вдругъ патокою, и — словно, вмѣсто непріятнаго предмета, носъ его наткнулся на розанъ—онъ подошелъ къ Балахнову, взялъ его за обѣ руки и сказалъ голосомъ сердечнаго участія:

— Въ такомъ случаѣ, другъ мой, я, можетъ-быть, пріѣхалъ некстати?..

— Помилуй, напротивъ того, я очень радъ. Пріѣзжай ты вчера или третьяго дня, не засталъ бы дома: я ѣздилъ къ Бобохову... проговорилъ Балахновъ, взглянувъ выразительно на друга.

Кусокъ ревеню какъ будто снова попалъ за щеку Се-

мена Семеновича; онъ прищурился, поправилъ очки, кашлянулъ и произнесъ разсѣянно:

— Бобоховъ... дрянь, братецъ! совершенная дрянь! пустой мальчишка, parvenu! Я, право, не знаю, что̀ въ немъ находитъ жена... увѣряетъ, что онъ очень остеръ и любезенъ... Ахъ, да, кстати; она велѣла тебѣ кланяться и Лизаветѣ Семеновнѣ...

Аристархъ Ѳедоровичъ поклонился, не спуская пытливаго ока съ очковъ своего друга.

Внезапно лицо Кошкина оживилось; мысль о томъ, что Бобоховъ, или гости, случившіеся у него при Балахновѣ, могли проболтаться, раскрыла передъ нимъ всю истину; онъ поспѣшилъ, однакожъ, привести свою физіономію въ прежнее умилительное положеніе и сказалъ послѣ минутнаго молчанія:

— Очень жаль, другъ мой, что застаю тебя разстроеннымъ; я было нарочно пріѣхалъ къ тебѣ сегодня, чтобъ поговорить объ очень важномъ дѣлѣ...

— Что жъ такое, братецъ? живо перебилъ его Балахновъ,—говори, я готовъ слушать; къ тому же я вовсе не разстроенъ; душа и голова — двѣ вещи совершенно розныя... Не прикажешь ли nec-plus-ultra?

— Пожалуй; но все-таки, признаться, я хотѣлъ бы лучше отложить дѣло до другого, болѣе удобнаго, случая... Принимая въ уваженіе твое душевное разстройство...

— Полно, Семенъ Семенычъ! Говорю тебѣ: я спокоенъ... Говори, пожалуйста, говори...

Семенъ Семеновичъ закурилъ сигару, кашлянулъ, поправилъ очки и проговорилъ таинственно:

— А я, братецъ, ѣздилъ къ Окатову...

Аристархъ Ѳедоровичъ выпустилъ сигару изо рта и весь обратился во вниманіе. Балахновъ узналъ, что цѣль поѣздки Кошкина къ Окатову заключалась въ томъ, чтобъ примирить его съ Николаемъ Степановичемъ, уговорить Николая Степановича, раскрыть ему глаза и заставить его возвратить долину въ руки Аристарха Ѳедоровича. Поѣздка не увѣнчалась, однакожъ, успѣхомъ. Кошкинъ сознался чистосердечно, что самъ былъ отчасти этому виною, ибо не расчелъ, что неумѣренное участіе его въ дѣлѣ Балахнова могло только раздражить упрямаго и крайне мстительнаго Николая Степановича.

— Не всѣ обладаютъ твоимъ умомъ и, сказать ли (не прими это за лесть, Аристархъ Ѳедоровичъ), твоимъ умомъ

и благородствомъ! заключилъ окончательно растроганный Семенъ Семеновичъ.

Призма, сквозь которую смотрѣлъ до сихъ поръ Аристархъ Ѳедоровичъ на прежняго своего друга, начала мало-по-малу проясняться; онъ ждалъ только, что Кошкинъ объяснитъ ему свое намѣреніе, сопровождавшее поѣздку его къ Солонееву; одно слово—и Аристархъ Ѳедоровичъ раскрылъ бы ему свои объятія, сказалъ бы ему: „Другъ, ты мыслишь благородно! Прости меня: я повѣрилъ лживымъ толкамъ людей и оклеветалъ тебя въ душѣ своей!..“ Но этого слова не произнесъ Семенъ Семеновичъ, и сердце Балахнова наполнилось вдругъ мрачною недовѣрчивостью. Все подтверждало его подозрѣнія: Карлу Готлибовичу Газенпоту не изъ чего было выдумывать! Коли сказалъ, что видѣлъ Кошкина у Солонеева, такъ, стало, это дѣйствительно такъ и было. Молчаніе Кошкина, смѣшанное съ замѣтнымъ смущеніемъ въ то время, какъ Балахновъ разспрашивалъ о томъ, кому Бобоховъ обѣщалъ на выборахъ свой голосъ; мнимая болѣзнь Кошкина въ минуту страшной катастрофы съ Окатовымъ, наконецъ, самопроизвольный визитъ къ Окатову — визитъ, оставшійся безъ всякихъ послѣдствій... Сомнѣніе укрѣпилось въ душѣ Балахнова; желчь закипѣла ключомъ въ величавой груди его.

Да, онъ не ошибался, когда говорилъ, что вступалъ въ эпоху горестнаго разочарованія на пути жизни!

Великая душа Аристарха Ѳедоровича не сокрушалась, однакожъ, подъ бременемъ тяготившей ее грусти; натура его, подобно фениксу, возрождалась всегда изъ собственнаго своего пепла и проявляла энергію по мѣрѣ усиленія преградъ и препятствій.

— Одного я только не постигаю, одно темно и непонятно, говорилъ самъ себѣ Аристархъ Ѳедоровичъ, расхаживая по кабинету, послѣ отъѣзда Кошкина, — одно странно: къ чему же этотъ негодяй, таившій въ душѣ своей, такой же черной, какъ его парикъ, злобу и ненависть, говорилъ въ день моего рожденія такія сладкія, лживыя рѣчи?..

Къ вечеру записная книжка украсилась слѣдующимъ изреченіемъ: „Дѣйствія низкихъ людей возвышаютъ тѣхъ, на кого обращаются!“

Аристархъ Ѳедоровичъ укрѣпился духомъ и рѣшился принять какъ можно скорѣе мѣры для отстраненія коз-

ней новаго врага. Мѣры должны были быть самыя дѣйствительныя, потому что до выборовъ оставалось всего-навсе какіе-нибудь три мѣсяца. Балахновъ нѣсколько дней не выходилъ изъ своего кабинета, погруженный весь въ хитро сплетенныя соображенія самаго тонкаго дипломатическаго свойства.

Въ одинъ изъ этихъ дней, вечеромъ, когда всѣ жители древняго дома разбрелись, послѣ ужина, по своимъ спальнямъ, Карачаевъ натянулъ на плеча старый свой халатъ, спросилъ трубку и принялся расхаживать взадъ и впередъ. Онъ, казалось, былъ чѣмъ-то сильно озабоченъ; не было, однакожъ, никакой возможности опредѣлить съ точностью выраженіе на его лицѣ; брови его то нахмуривались сильнѣйшимъ образомъ и лысина, прикрытая полдюжиною мягкихъ, какъ шелкъ, волосъ, зачесанныхъ справа налѣво, покрывалась колеромъ, не уступавшимъ въ яркости цвѣту раздавленной свеклы; то вдругъ брови выпрямлялись, какъ бы разглженныя счастливою мыслью, выступавшею на самомъ переносьѣ; то снова останавливался онъ въ тягостномъ, безпокойномъ раздумьи передъ нагорѣвшей свѣчкой, поставленной на столъ заботливой рукой Ивана. Павелъ Петровичъ выпускалъ изо рта трубку, моргалъ нетерпѣливо воспаленными своими бѣлками, свирѣпо почесывалъ голый, мясистый затылокъ, и вдругъ снова, какъ бы перескочивъ черезъ сто тревожныхъ мыслей на одну счастливую, принимался расхаживать по залѣ, затягиваясь изъ трубки съ такою свирѣпостью, что можно было принять издали шипѣніе трубки за храпъ пятерыхъ дюжихъ лакеевъ!

Какъ бы тамъ ни было, все это, вмѣстѣ взятое, показывало, однакожъ, очень ясно, что Карачаевъ былъ озабоченъ, и даже сильно озабоченъ. Положеніе, въ которое ставили его обстоятельства, стоило дѣйствительно того, чтобъ призадуматься... Карачаевъ, нужно замѣтить, былъ въ ссорѣ съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, по поводу исторіи съ Кошкинымъ (онъ не зналъ еще результата свиданія между Балахновымъ и Семеномъ Семеновичемъ), и хотя въ сердцѣ его не оставалось злобы на маковую росинку, но онъ все-таки не хотѣлъ говорить съ нимъ и далъ себѣ слово прекратить разъ навсегда всякія сношенія съ владѣтелемъ Ханскихъ-Прудовъ.

— Пусть его надуваютъ. Я хотѣлъ по дружбѣ раскрыть ему глаза... Этотъ Кошкинъ—плутъ, и больше ничего! Г-

ворю, доказываю—нѣтъ, не вѣритъ мнѣ. Пускай же оберутъ его какъ липку, да впутаютъ еще въ какое-нибудь дѣло. Не вѣришь Карачаеву — спохватишься, да поздно будетъ. Карачаевъ плакать не станетъ, небось! Карачаеву жаль только одну Лизавету Семеновну да ребятишекъ... Вотъ съ ними, съ голубчиками, что-то станется!

Карачаевъ считалъ себя въ высшей степени оскорбленнымъ; Аристархъ Ѳедоровичъ—въ томъ Карачавъ теперь ясно убѣдился—не ставилъ въ мѣдный грошъ его дружбы, потѣшался только надъ нимъ, а между тѣмъ обстоятельства были такого рода, что Павлу Петровичу необходимо нужно было объясниться съ Балахновымъ, и объясниться насчетъ самаго щекотливаго, непріятнаго дѣла: требовалось попросить хоть сколько-нибудь деньжонокъ. Онъ, разумѣется, станетъ просить не чужія деньги, свои собственныя, но тѣмъ не менѣе просьбы эти, весьма рѣдкія, составляли для Карачаева нравственную пытку. Ссора его съ Балахновымъ придавала дѣлу самый неловкій оборотъ. Балахновъ подумаетъ, чего добраго, что онъ проситъ денегъ именно потому только, что поссорился съ нимъ! Объ этомъ-то и сокрушался Карачаевъ, расхаживая въ халатѣ и туфляхъ по залѣ. Не просить денегъ — невозможно: Иванъ ужъ не разъ докладывалъ, что изъ носовыхъ платковъ остался одинъ лишь бумажный, клѣтчатый, да и тотъ начиналъ обсѣкаться по угламъ отъ частаго употребленія; изъ другого бѣлья оставалась самая бездѣлица, годная лишь на корпію или на заплаты. Осматривая въ послѣдній разъ черный фракъ, Карачаевъ самъ убѣдился, что локти и швы вообще показывали всѣ признаки окончательнаго разрушенія; сѣрый нанковый сюртучокъ, равно какъ широкія шальвары, и даже сапоги, требовали немедленнаго подкрѣпленія; кромѣ этого, Ивану не было заплачено жалованья ровно за полгода, и тѣмъ скорѣе слѣдовало выдать деньги, что Иванъ не упоминалъ даже о нихъ.

Стѣнные часы пробили уже два, когда Карачаевъ рѣшился покинуть залу. Онъ взялъ свѣчку и, шагая черезъ людей, спавшихъ вполовину на полу передней, направился въ свою комнату, ту самую, гдѣ нѣкогда вмѣстѣ съ Васильковымъ слушалъ чтеніе „Непризнанной Индѣйки“.

Войдя въ комнату, Карачаевъ немного удивился, когда увидѣлъ, что Иванъ, котораго отпустилъ онъ спать три часа тому назадъ, стоялъ у двери и дожидался.

Веселая, беззаботная физіономія бывшаго гаера выражала на этотъ разъ такое же точно неловкое, смущенное состояніе духа, какое обозначалось на лицѣ самого барина. Карачаевъ тотчасъ же замѣтилъ это. Привыкнувъ судить обо всемъ, основываясь на своихъ собственныхъ чувствахъ, онъ тотчасъ же подумалъ, что Иванъ заминается, не зная, какъ приступить къ разговору о выдачѣ жалованья. Мысль эта окончательно сконфузила Павла Петровича; онъ побагровѣлъ до рѣсницъ и пробормоталъ несвязно:

— Что ты, Ваня?.. я самъ раздѣнусь... пошелъ бы спать... Я вѣдь сказалъ тебѣ...

— Ничего, Павелъ Петровичъ; я, признаться, не то, чтобы... то-есть хотѣлось, сударь, потревожить васъ насчетъ одного, то-есть собственнаго своего дѣльца, проговорилъ онъ, тряхнувъ бѣлокурыми волосами.

Карачаевъ повернулся къ постели и принялся поспѣшно перебирать ногами.

— Знаю, братецъ, проговорилъ онъ, моргая глазами,— знаю я, душа моя; самъ только что объ этомъ думалъ...

— Вы, то-есть, въ разсужденіи думаете, Павелъ Петровичъ, я насчетъ, то-есть, денегъ...

— Ну, да, душа моя, знаю, знаю, за шесть мѣсяцевъ... Я завтра попрошу у Аристарха Ѳедоровича...

— Помилуйте, сударь! На этотъ счетъ не извольте сумнѣваться; я совсѣмъ не объ томъ... Я хотѣлъ попросить васъ насчетъ, то-есть, совсѣмъ другого дѣла, произнесъ Иванъ, хмуря лобъ и значительно пожимая губами.

У Карачаева отлегло отъ сердца. Онъ проворно обернулся къ Ивану и, устремивъ на него удивленные зрачки, сказалъ развязно:

— Помилуй, душа моя, очень радъ, говори... ты знаешь, я все готовъ для тебя сдѣлать. Ну, что такое?

— Покорнѣйше благодарю, Павелъ Петровичъ. Вѣкъ, сударь, буду помнить вашу добродѣтель. Не оставьте меня теперь... Я хотѣлъ, Павелъ Петровичъ, примолвилъ Иванъ, дѣлая шагъ впередъ и опуская голову,—хотѣлъ просить васъ отпустить меня... Я, признаться, никогда бы не разстался съ вами, да дѣла свои заставляютъ...

Карачаевъ, пораженный неожиданнымъ извѣстіемъ, не могъ проговорить слова въ продолженіе нѣсколькихъ секундъ и только багровѣлъ.

— Какъ? вскричалъ онъ, наконецъ, страшно захлопавъ глазами,—какъ? Ты хочешь оставить меня?.. Что жъ, но-

доволенъ ты мной, что ли? Чего жъ тебѣ еще?.. Что жалованье-то не платилъ исправно, такъ ты этимъ обижаешься? Говори, продажная душа, говори, говори, чѣмъ ты мной недоволенъ?..

И, не дожидаясь отвѣта, Карачаевъ заходилъ по комнатѣ, размахивая руками и повторяя, какъ бы обращался къ цѣлой аудиторіи:

— Вотъ, обходился съ нимъ какъ нельзя лучше; въ дорогѣ ли, въ людяхъ ли, первое слово, чтобъ его поили и кормили, чтобъ ему то и то было... А онъ!.. Чего жъ тебѣ еще, продажная душа? заключилъ Карачаевъ, запальчиво останавливаясь передъ Иваномъ, который стоялъ съ понурою головою.

— Помилуйте, Павелъ Петровичъ! Я все это чувствую, сударь, и никогда бы не разстался съ вами; не сойти мнѣ съ этого мѣста, если говорю неправду. Я, кажется, всегда служилъ вамъ, какъ слѣдуетъ. Ужъ чего, сударь, всякую малость берегъ, какъ свое добро, сами изволите знать. Дѣла, сударь, свои дѣла, Павелъ Петровичъ, заставляютъ... Иначе бы, повѣрьте, во-вѣки вѣковъ никогда съ вами не разстался...

— Толкуй эту белиберду не мнѣ, а другому кому, если хочешь; вотъ она штука-то въ чемъ! вскричалъ запальчиво Карачаевъ, — дѣла, гм! Какія дѣла, хотѣлъ бы я знать? Какія дѣла? Ну, говори, говори—какія дѣла? повторилъ онъ, озадаченный тономъ увѣренности, съ какимъ говорилъ Иванъ.

Иванъ сообщилъ ему свои намѣренія составить труппу, вернуться къ прежнему ремеслу, которое, говорилъ онъ, зазывало его, не давая ему покоя ни днемъ, ни ночью; затѣмъ онъ передалъ Карачаеву дальнѣйшіе планы свои, заключавшіеся въ томъ, чтобъ уѣхать въ губернскій городъ, построить балаганъ на скопленныя у прежняго барина деньги и давать представленія во время выборовъ.

Объясненія Ивана отличались такою ясностью, показывали столько обдуманности, и вмѣстѣ съ тѣмъ предпринятое имъ дѣло заключало въ себѣ столько выгодъ въ сравненіи съ настоящимъ его положеніемъ, что Карачаевъ ничего не отвѣчалъ и стоялъ, моргая глазами, опущенными къ полу.

Онъ вскорѣ, однакожъ, оправился, поспѣшно подбѣжалъ къ постели, еще поспѣшнѣе сбросилъ халатъ, скинулъ

сапоги и, не сказавъ ни слова, повернулся спиною къ Ивану и закутался въ одѣяло.

— Павелъ Петровичъ!.. началъ Иванъ умоляющимъ голосомъ.

— Чего тебѣ? нетерпѣливо возразилъ Карачаевъ,— сказано, что нельзя — стало, такъ и будетъ. Все вздоръ! шею тебѣ сломать хочется, что ли? Вздоръ, пустяки, не пущу—вотъ и все тутъ! Дѣлай какъ хочешь! Вздоръ! не дамъ паспорта; живи у меня... Да и нельзя отпустить, никакъ нельзя... заключилъ онъ снова, поворачиваясь спиною.

— Да помилуйте, за что же такъ, Павелъ Петровичъ?.. Кажется...

— А то, что я тебѣ долженъ!.. Ну, сказано—стало, и разговаривать нечего... отваливай!..

— Полноте, сударь, вамъ объ этомъ не для чего сомнѣваться... за вами не пропадетъ. Слава Богу, я васъ знаю! подхватилъ Иванъ съ живостью. — Только ужъ сдѣлайте Божескую милость...

И Иванъ, желая, вѣрно, убѣдить окончательно своего барина, принялся разсказывать свои отношенія къ Глафирѣ, прося его въ то же время упросить Аристарха Ѳедоровича отдать ее за него замужъ. Карачаевъ продолжалъ отнѣкиваться, потомъ сталъ убѣждать Ивана оставить всѣ эти затѣи и, наконецъ, сраженный доводами Ивана, замолкъ и прикинулся спящимъ, чтобъ только прекратить тягостное совѣщаніе...

На другое утро и въ продолженіе всего дня Карачаевъ старался не видѣть Ивана. „Перемелется — все мука будетъ. Вѣдь заберетъ же человѣкъ такой вздоръ въ голову! Не пущу, да и все тутъ! А, впрочемъ, пройдетъ день-другой, и самъ одумается, самъ скажетъ, что вздоръ затѣялъ!“ разсуждалъ Карачаевъ, ободряя себя такими мыслями. Вечеромъ, когда наступило время спать, Павелъ Петровичъ ушелъ прежде другихъ, рѣшившись раздѣться какъ можно скорѣе, затушить свѣчку и предупредить Ивана; но Иванъ стоялъ уже въ комнатѣ. Карачаевъ хлопнулъ дверью и увидѣлъ Глафиру, стоявшую съ заплаканными глазами; не успѣлъ онъ отступить шагъ назадъ, какъ уже Глафира и Иванъ лежали у ногъ его, прося быть отцомъ роднымъ.

— Что съ вами? встаньте! Я этого не люблю! говорилъ Карачаевъ, суетливо подымая обоихъ. — О чемъ плакать? Ну, Господь съ вами! Э! все сдѣлаю... перестаньте!..

Онъ сѣлъ на кровать, провелъ ладонью по лбу, прищурился и, наконецъ, устремивъ глаза на камердинера, сказалъ, качая во всѣ стороны своею головой:

— Эхъ, Ваня, Ваня, Ваня!

Иванъ и владычица его сердца, обнадеженные словами Карачаева, покинули комнату съ легкимъ сердцемъ.

Что жъ касается до Павла Петровича, онъ долго не могъ сомкнуть глазъ; никогда еще, во всю жизнь, не привелось ему испытывать такихъ сильныхъ моральныхъ потрясеній...

На другой же день, утромъ, онъ стоялъ у кабинета Аристарха Ѳедоровича съ твердымъ намѣреніемъ выпросить, во что бы то ни стало, вольную Глафирѣ. Заслышавъ голоса за дверью, Карачаевъ несказанно обрадовался, принимая въ соображеніе несовсѣмъ пріязненныя отношенія, существовавшія между имъ и Балахновымъ; онъ разсудилъ, что легче будетъ заговорить въ первый разъ съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ при постороннихъ, чѣмъ съ глазу на глазъ. Онъ кашлянулъ, пріосанился и вошелъ въ кабинетъ, силясь придать какъ можно больше развязности въ своихъ пріемахъ, но обнаруживая, тѣмъ не менѣе, крайнюю неловкость.

— А! это ты? здравствуй, братецъ, гдѣ ты пропадалъ? разсѣянно сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, не подозрѣвавшій даже того, разумѣется, чтобъ Карачаевъ могъ питать къ нему когда-либо какія-нибудь непріятныя чувства.— Вотъ, братецъ, взгляни, полюбуйся, примолвилъ онъ, указывая ему рукою на Калину, который стоялъ подлѣ двери съ мрачно-нависнувшими бровями,—хочетъ оставить меня, проситъ паспортъ... а? какъ тебѣ это нравится?..

Карачаевъ ничего не отвѣчалъ, занятый весь своимъ дѣломъ и предстоящею разлукою съ Иваномъ; онъ провелъ ладонью по лысинѣ и отошелъ въ сторону.

— Нѣтъ ужъ, ваше высокородіе, какъ вамъ будетъ угодно, а только, ваше благородіе, извольте отпустить меня, говорилъ Калина, разводя руками.

— Да куда тебя тащитъ нелегкая? зачѣмъ? Жизнь, что ли, не нравится тебѣ въ Ханскихъ-Прудахъ, а? произнесъ шутливо Балахновъ.

— Нѣтъ, ваше высокоблагородіе, не то... Что̀ мнѣ!.. а ужъ только извольте отпустить меня... какъ будетъ угодно! заключилъ старикъ, тряхнувъ головой.

— Вѣдь пропадешь, смѣясь сказалъ Аристархъ Ѳедо-

ровичъ,—пропадешь, пропадешь вмѣстѣ съ дочерью, пропьешь и себя, и ее, съ кругу сопьешься!..

Калина поднялъ на него свои отекшіе глаза, бросилъ взглядъ нѣмого, который силится выразить глубочайшее равнодушіе.

— И притомъ, продолжалъ Балахновъ, объясняя этотъ взглядъ въ свою пользу,—куда пойдешь ты искать работу, тогда какъ ея и здѣсь много?.. лучшаго мѣста тебѣ не найти...

— Много мѣстовъ, ваше благородіе; меня вездѣ возьмутъ, потому что, ваше высокоблагородство, все могу исполнить, все могу! сказалъ мастеръ, покручивая головой.—Какъ вамъ угодно будетъ, а ужъ только извольте ослободить меня...

— Дѣлай, какъ знаешь; держать тебя я не могу противъ воли. Ступай, завтра получишь паспортъ!

Калина—слава и честь маляровъ Горшковскаго уѣзда—поклонился и вышелъ изъ кабинета.

Аристархъ Ѳедоровичъ повернулъ тогда глаза къ Карачаеву. Какъ ни мало расположенъ былъ къ веселью величавый владѣтель Ханскихъ-Прудовъ, онъ не могъ, однакожъ, удержаться отъ смѣха, увидѣвъ нахмуренную физіономію Павла Петровича.

— Что̀ съ тобой, братецъ? Что затуманился? Ужъ не приключилось ли чего-нибудь съ Медоромъ? спросилъ Балахновъ, продолжая смотрѣть въ лицо своему другу и смѣяться.

— А хоть бы и приключилось—что-жъ тутъ смѣшного?.. смѣшного ничего нѣтъ... проговорилъ Карачаевъ, краснѣя, но стараясь подавить досаду, возбужденную, во-первыхъ, неумѣстнымъ смѣхомъ, во-вторыхъ, свободнымъ обращеніемъ Балахнова, не подозрѣвавшаго, повидимому, вины своей передъ Карачаевымъ.

„Ему какъ бы нипочемъ; онъ точно правъ передо мною; какъ словно ничего между нами не было въ эти дни!“ подумалъ Павелъ Петровичъ, и наконецъ прибавилъ вслухъ:

— Ну, да что объ этомъ толковать! Я, братецъ, пришелъ къ тебѣ, признаться, за дѣломъ...

— Ба! судя по твоему лицу, должно полагать, братецъ, что дѣло очень серьезное! сказалъ Балахновъ, шутливо нахмуривъ брови.—Садись, разсказывай, повѣствуй. Ну... примолвилъ онъ съ такою натянутою веселостью, какую принимаютъ люди, имѣющіе привычку отшучиваться отъ просьбъ докучливыхъ кредиторовъ.

— Серьезное ли это дѣло или нѣтъ, все зависитъ отъ того, какъ станешь смотрѣть на него, отвѣчалъ отрывисто Карачаевъ,—я, по крайней мѣрѣ, почитаю его очень серьезнымъ. Вотъ въ чемъ оно состоитъ: Иванъ мой хочетъ жениться на Глафирѣ; онъ человѣкъ вольный, она крѣпостная—отпусти ее на волю... А если не хочешь для меня этого сдѣлать, если гораздъ ты только говорить: „доброе дѣло, доброе дѣло!“ прибавилъ онъ сурово,—такъ я внесу, пожалуй, все, что̀ потребуешь...

— Только-то? воскликнулъ Балахновъ, думавшій прежде, что Карачаевъ приходилъ просить денегъ.—Ну, признаюсь, есть изъ чего хмурить брови! А чтобъ доказать тебѣ, что я не на словахъ дѣлаю добрыя дѣла, пускай твой Иванъ беретъ Глафиру; завтра же дана ей будетъ отпускная на всѣ четыре стороны...

— Спасибо, душа моя! Я никогда не сомнѣвался въ твоемъ благородствѣ! съ жаромъ сказалъ Карачаевъ, пожимая протянутую руку.

И онъ, безъ сомнѣнія, бросился бы въ объятія Балахнова, если бъ его не останавливала другая мысль, обдавшая лихорадочнымъ холодомъ всю его внутренность.

— У меня, братецъ, есть къ тебѣ еще другая просьба... проговорилъ онъ, поглаживая лысину.

— Что такое? Очень радъ, говори! произнесъ Балахновъ, косясь въ окно.

— Вотъ видишь ли, душа моя, я не то, чтобъ... ты знаешь, Aristarque, душа моя, отвѣчалъ Карачаевъ, щурясь и переминаясь съ самымъ неловкимъ видомъ,—я, ты знаешь, смерть этого не люблю, Аристархъ Ѳедорычъ; тебѣ, можетъ, говорила Лизавета Семеновна, а если и не говорила, такъ я, душа моя... одна необходимость, душа моя, Aristarque... Фу, чортъ побери, смерть не люблю говорить объ этомъ! заключилъ онъ, яростно плюнувъ въ уголъ.

— Если тебѣ нужны деньги...

— Ну, да, душа моя! Да чортъ съ ними! пропадай онѣ совсѣмъ!.. А, право, нельзя никакъ, хоть сколько-нибудь... Есть, братъ, одно дѣло...

— Если тебѣ нужны деньги, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, принимаясь чистить вагенгеймовскіе свои зубы зубочисткою изъ орлинаго крыла,—очень сожалѣю, что не сказалъ этого прежде... Теперь, къ несчастью, никакъ не могу исполнить твоей просьбы.

Карачаевъ, закинувъ толстыя руки за спину, ходилъ въ волненіи по кабинету.

— Впрочемъ, если хочешь, я частью могу удовлетворить тебя, подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, озаренный внезапно счастливою мыслью,—у меня есть вексель, гм! гм! вексель этого Кошкина въ три тысячи. Возьми его, пожалуй, подай ко взысканію—и ручаюсь, что получишь, конечно не всѣ, но третью долю—навѣрное. Тысяча рублей порядочная сумма для тебя, разумѣется... Хочешь, бери; вотъ онъ.

Карачаевъ ходилъ нѣсколько секундъ въ раздумьи, потомъ вдругъ шлепнулъ себя по лбу, подбѣжалъ къ Балахнову и закричалъ:

— Давай! беру!

Вооружившись векселемъ и вмѣстѣ съ нимъ довѣренностью дѣйствовать по немъ самопроизвольно, Карачаевъ побѣжалъ тотчасъ же къ Лизаветѣ Семеновнѣ, соблюдая, однакожъ, при этомъ такую осторожность, что никто его не замѣтилъ.

— Наша взяла, голубушка моя, Лизавета Семеновна, наша взяла! закричалъ Карачаевъ, показываясь въ дверяхъ дѣтской и ударяя кулакомъ по векселю, — наша взяла! А я-то думалъ, что они опять въ дружбѣ! Поссорились, на-смерть поссорились; вотъ вамъ доказательство, вотъ оно! Теперь Кошкинъ въ нашихъ рукахъ, и мы его, то-есть, скрутимъ...

Балахнова долго не могла понять, въ чемъ дѣло; наконецъ, кой-какъ объяснилось, что Карачаевъ владѣлъ неоспоримымъ доказательствомъ самыхъ непріязненныхъ отношеній между ея мужемъ и Кошкинымъ, и хотѣлъ завтра же отправиться въ городъ, чтобъ подать вексель ко взысканію и отомстить Кошкину за всѣ огорченія, нанесенныя ей и ея мужу.

— Нѣтъ, добрый мой Павелъ Петровичъ, вы не должны этого дѣлать, сказала она, пожимая ему руку,—это дастъ только поводъ къ новымъ исторіямъ; ихъ, къ несчастію, и безъ того слишкомъ много. Прошу васъ, оставьте Кошкина въ покоѣ; онъ, вѣрно, перестанетъ къ намъ ѣздить— я этого только и хотѣла. Бросьте этотъ вексель, или лучше отдайте мнѣ его...

— Помилуйте, все, что̀ вамъ угодно, я на все готовъ. Вотъ онъ, возьмите его...

— Скажите, однакожъ, Павелъ Петровичъ, какимъ

образомъ онъ попалъ къ вамъ? развѣ вы просили денегъ у мужа?

— Да, признаться, Лизавета Семеновна, очень понадобились. Вы знаете, я безъ этого никогда бы...

— Знаю, знаю, говорила, улыбаясь, Балахнова, — и что-жъ? вотъ все, что далъ онъ вамъ? прибавила она, краснѣя.

— Да-съ; но я вовсе не хотѣлъ подать ко взысканію, потому собственно, что „мнѣ" нужны деньги... Мнѣ, признаться, не то, чтобы очень... я хотѣлъ, извольте видѣть... Иванъ отходитъ отъ меня; шесть лѣтъ жилъ... вы понимаете?..

— Не совсѣмъ...

— То-есть, какъ бы вамъ сказать?.. Хотѣлось бы сдѣлать ему подарочекъ на память, такъ бездѣлицу... Къ тому же онъ женится. Аристархъ Ѳедоровичъ далъ вольную Глафирѣ...

— Ахъ, какъ я рада! Ну, слава Богу! говорила Балахнова, тогда какъ Карачаевъ, въ припадкѣ душевнаго восторга, осыпалъ поцѣлуями ея руки.—Но, послушайте, добрый мой Павелъ Петровичъ, надо, однакожъ, подумать о томъ, какъ бы помочь горю и привести въ исполненіе благородное ваше намѣреніе... Вы знаете, у меня нѣтъ денегъ, я бы душою рада... Какъ быть! надо, однакожъ, достать...

— Что вы, что вы, голубушка моя! И вы, вы станете для меня безпокоиться! Да что я, развѣ безчувственный какой, что допущу васъ просить у Аристарха Ѳедорыча! Я вѣдь все знаю, все, голубушка Лизавета Семеновна... Нѣтъ, вамъ нечего безпокоиться на этотъ счетъ. Вотъ развѣ что-нибудь изъ платья на приданое—это другое дѣло... А что касается до денегъ, я самъ постараюсь достать гдѣ-нибудь!

Разсуждать о томъ, что слѣдуетъ занять тамъ-то и тамъ-то денегъ, обнадеживать себя тѣмъ, что тамъ-то и тамъ-то непремѣнно дадутъ денегъ, гораздо легче, чѣмъ привести такое намѣреніе къ вожделѣнному успѣху. Такъ точно случилось съ добрымъ Карачаевымъ. Цѣлый день бродилъ онъ по дому, придумывая, къ кому бы обратиться. По всему видно было, что мыслительная машина его работала всѣми своими жерновами и шестернями; онъ переходилъ изъ одной комнаты въ другую, останавливался передъ каждымъ окномъ, почесывалъ свою лысину

или садился передъ Медоромъ и пристально смотрѣлъ на него, какъ бы желая прочесть въ подслѣповатыхъ глазахъ собаки разрѣшеніе трудной загадки. Но ни Медоръ, ни окна, ни стѣны древняго дома, ни даже почесыванье затылка—ничто не вразумило Павла Петровича. Къ вечеру, наконецъ, пришла ему счастливая мысль—обратиться къ прежнему пріятелю Барабанчикову, и утромъ, на другой же день, летѣлъ онъ стремглавъ, подскакивая въ своей телѣжкѣ.

XVIII,

въ которой находится подробное донесеніе о томъ, что услышалъ Карачаевъ по возвращеніи своемъ въ Ханскіе-Пруды, какъ принялъ онъ это извѣстіе, и какое затѣмъ послѣдовало съ его стороны распоряженіе.

Во время отсутствія Карачаева, продолжавшагося, по обыкновенію, нѣсколько дней, въ Ханскихъ-Прудахъ произошло слѣдующее достопримѣчательное событіе: общество, состоявшее изъ Аристарха Ѳедоровича и его жены, Копкова, Дрянкова и трехъ Кокуркиныхъ, пріѣхавшихъ наканунѣ, сидѣло подъ вечеръ на террасѣ; дѣвица Сараманаева разливала чай и показывала бѣлки свои всякій разъ, когда пухлое лицо ея обращалось къ кому-нибудь изъ мужчинъ. Бесѣда не отличалась особеннымъ одушевленіемъ. Балахновъ разсѣянно смотрѣлъ въ даль, по ту сторону прудовъ, гдѣ показывались верхушки кіосковъ и пирамидъ; Дрянковъ, занятый почти безнадежною, но тѣмъ не менѣе назойливою, непреклонною мыслью о томъ, какъ бы осуществить поѣздку въ Москву и предать тисненію „Непризнанную Индѣйку“, хранилъ мрачное молчаніе, насупивалъ свое лицо, или нетерпѣливо потиралъ носъ; Прокисай Захаровичъ также не говорилъ ни слова: языкъ его прилипалъ къ гортани и не могъ двигаться съ мѣста, по причинѣ страшныхъ сильныхъ ощущеній и чувствованій, осаждавшихъ въ одно время его душу; онъ глядѣлъ на младшую Кокуркину, сидѣвшую спиною къ окну террасы, и взглядъ его, сначала тоскливо-страстный, начиналъ уже суживаться и тонуть въ патокѣ, какъ вдругъ въ окнѣ, надъ самой головой Надеженьки, показывалась грозная, мстительная фигура Фіоны Ивановны...

Въ одно мгновеніе члены Прокисая Захаровича, размягчавшіеся и таявшіе отъ сладостнаго созерцанія, переполнялись смертельнымъ холодомъ до самаго мозга, глаза выражали испугъ, а лицо принимало экспрессію, какъ у человѣка, отягченнаго продолжительнымъ, страшнымъ кошмаромъ. Лизавета Семеновна, слегка наклонивъ голову, слушала съ замѣтнымъ принужденіемъ двухъ старшихъ Кокуркиныхъ, которыя говорили за всѣхъ, поминутно перебивая другъ дружку, и тараторили безъ умолку, наполняя террасу дребезжаньемъ, чрезвычайно похожимъ на то, когда въ раскаленную печь бросятъ добрую пригоршню кедровыхъ орѣховъ.

Внезапно за садомъ послышался колокольчикъ...

— А! вотъ и Карачаевъ! воскликнули всѣ въ одинъ голосъ, но съ разными, однакожъ, интонаціями: кто радостно, кто съ насмѣшкой, а кто и съ явнымъ пренебреженіемъ.

Тѣмъ не менѣе лица всѣхъ обратились нетерпѣливо къ двери гостиной. Общество не мало было удивлено, когда, вмѣсто разбитного, веселаго, краснаго лица Карачаева, показалось лицо—и, Боже мой, какое лицо!—Порфирія Павловича Василькова. Представьте себѣ картину мѣстности, покрытой нѣкогда цвѣтущей, великолѣпною растительностью, и вдругъ опустошенной, изрытой, поставленной верхъ дномъ дѣйствіемъ какого-нибудь страшнаго антильскаго урагана: не могу пріискать лучшаго сравненія, чтобъ опредѣлить съ наибольшею точностью то, что̀ выражало въ настоящую минуту лицо сердобольнаго, чувствительнаго Василькова. Черныя волосяныя волюты его свѣшивались на лобъ, стояли торчмя на затылкѣ, ерошились въ безпорядкѣ на макушкѣ и, вмѣстѣ съ гигантскими встрепанными бакенами, представляли совершеннѣйшій образчикъ хаоса. Глаза... о глазахъ его и говорить нечего: они готовились, казалось, лопнуть отъ черезчуръ сильнаго напряженія, горя и отчаянія, разлитаго на блѣдныхъ, впалыхъ щекахъ.

Онъ остановился, какъ привидѣніе, въ дверяхъ, и такимъ унылымъ взглядомъ окинулъ присутствовавшихъ, что общество цѣлую минуту не могло проговорить слова.

Наконецъ, всѣ, не исключая даже суроваго, эгоистическаго Дрянкова, который, впрочемъ, какъ уже извѣстно, отличалъ всегда Василькова—единственнаго покорнаго и

снисходительнаго слушателя „Непризнанной Индѣйки“, окружили растерзаннаго, убитаго горемъ гостя.

— Что такое? что съ вами? что случилось? Боже мой? ужъ не несчастіе ли какое-нибудь? А супруга? Гдѣ Антонина Васильевна?.. говорите, что приключилось? посыпалось со всѣхъ сторонъ, сопровождаемое пожатіемъ многихъ рукъ и взглядами, преисполненными живѣйшаго любопытства.

Порфирій Павловичъ раскрылъ ротъ, хотѣлъ что-то сказать, вѣроятно, поблагодарить за участіе, но, вмѣсто отвѣта, изъ устъ его вырвалось раздирающее рыданіе. Онъ закрылъ лицо руками, опустился на сосѣдній стулъ и тоскливо замоталъ огромною головою.

— Боже мой, ему дурно! воды, скорѣй воды! закричали въ одинъ голосъ три Кокуркины, суетясь какъ угорѣлыя.

— Полноте, барышни, какое дурно! Видите, онъ, просто, встревоженъ, или разстроенъ чѣмъ-нибудь, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, ободряя страждущаго дружескими ударами по плечу.

Порфирій Павловичъ дѣйствительно ободрился; онъ отнялъ руки отъ лица, орошеннаго слезами, возвелъ, съ глубокимъ вздохомъ, къ потолку свои огромные глаза и проговорилъ, отчаянно мотая головою: „Нѣтъ, я не жилецъ на здѣшнемъ свѣтѣ!“

Вопросы: „что̀ случилось? что̀ такое? что̀ съ вами?“ посыпались уже теперь съ учетверенной силой на голову Порфирія Павловича, и всеобщее любопытство дошло до крайнихъ предѣловъ.

— Позвольте, mesdames, тутъ, можетъ быть, такое дѣло, которое прямо касается какихъ-нибудь семейныхъ, домашнихъ обстоятельствъ; они неприкосновенны! сказалъ торжественно Аристархъ Ѳедоровичъ.—Встань, Порфирій Павлычъ, ободрись. Пойдемъ со мной въ кабинетъ. Мы посмотримъ, что̀ можно сдѣлать и чѣмъ помочь твоему горю. Рука дружбы облегчаетъ страданія изъязвленнаго, переполненнаго скорбью сердца, и блаженъ тотъ, къ кому готова протянуться такая рука. Пойдемъ! примолвилъ Балахновъ, сгоравшій отъ нетерпѣнія и страстно любившій, какъ уже сказано, играть роль повѣреннаго, посредника, отца-покровителя мелкихъ сосѣдей своего уѣзда.

Онъ взялъ Василькова подъ руку и повелъ его въ кабинетъ.

— Ну, что случилось? разсказывай. Будь увѣренъ, братецъ,—ты меня знаешь,—если это тайна, она останется сокровенною тайной! говорилъ Балахновъ, заботливо усаживая Василькова на мягкое кресло и протягивая ему обѣ руки свои.

Разнѣженный Порфирій Павловичъ завертѣлъ зрачками, припалъ къ щекѣ Аристарха Ѳедоровича, который тотчасъ же приставилъ правое ухо, и, заливаясь обильнымъ потокомъ слезъ, принялся передавать ему шопотомъ свою тайну.

Во время этого шопота, прерываемаго поминутно всхлипываніями, лицо Аристарха Ѳедоровича перемѣнило нѣсколько выраженій, которыя можно было, однакожъ, привести подъ общій итогъ: живого, постепенно удовлетворяемаго любопытства.

— Такъ, любезный мой, такъ; этого слѣдовало ожидать! сказалъ онъ, отнимая свое ухо, вымоченное слезами Василькова, окончившаго свое трудное повѣствованіе,—этого непремѣнно слѣдовало ожидать. Я это предвидѣлъ. И вѣдь охота же была тебѣ связываться съ этой чахоткой!.. Я тебѣ тогда еще—помнишь, за обѣдомъ, когда ты былъ женихомъ—говорилъ, что это сущій пострѣлъ. Мать старая кокетка: какое могла она дать ей воспитаніе? ровно никакого! Взлелѣянная, вскормленная, можно сказать, дурнымъ примѣромъ, она... ты понимаешь?.. И притомъ, охота же тебѣ была пускать къ себѣ въ домъ... Я самъ выгналъ этого прощелыгу, а ты принимаешь. Видна птица по полету. Негодяй, отъявленный негодяй!..

— Помилуйте, Аристархъ Ѳедорычъ, охъ! это просто меломанъ какой-то! съ отчаяньемъ возразилъ Порфирій Павлычъ.

— Гм... такъ, ну, хорошо! Теперь скажи мнѣ, какія твои намѣренія? Ты говоришь, что она хочетъ жить съ тобою въ раздѣлѣ, она въ своемъ имѣніи, ты въ своемъ, не такъ ли?

— О-охъ, Антониночка, что̀ ты со мной сдѣлала!.. Куда приклоню я свою голову?.. говорилъ бѣдный Васильковъ, отчаянно мотая головою и закрывая лицо руками.

— Полно, братецъ, перестань; мужчинѣ непристойно падать духомъ! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, разсѣянно протягивая руку, пристально всматриваясь въ уголъ и какъ бы желая удержать новую мысль, промелькнувшую

въ дипломатической головѣ его.—Да, отчаиваться не слѣдуетъ; полно, говори толкомъ... Итакъ, прибавилъ онъ, овладѣвъ повидимому уже окончательно своею мыслью,— ты говоришь, что она хочетъ жить съ тобою въ раздѣлѣ имѣнья, то-есть ты въ своемъ, она въ своемъ? Я считаю такую претензію съ ея стороны неосновательною! Какъ мужъ, ты имѣешь право на извѣстную часть ея имѣнія...

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, ничего мнѣ не надо; безъ нея я ничего не хочу; я даже видѣть теперь не могу своей собственной Сусловки, гдѣ родился... Тоничка, Антониночка! что̀ ты со мной сдѣлала!..

— Ну, это вздоръ, братецъ! Свое добро упускать не зачѣмъ. Не вездѣ найдешь ты въ жизни людей, готовыхъ принять тебя какъ родного, не вездѣ встрѣтишь распростертыя объятія друзей. Я вотъ что хотѣлъ предложить тебѣ, примолвилъ съ особенною поспѣшностью Аристархъ Ѳедоровичъ. — Понимая и вполнѣ душевно соболѣзнуя о томъ, что тебѣ опротивѣло имѣньице, въ которомъ родился, предлагаю тебѣ продать его мнѣ. Я хотѣлъ давно еще предложить тебѣ это, но не предлагалъ потому именно, что тебѣ нужно же было имѣть что-нибудь для женитьбы; ты знаешь, я скупаю всѣ имѣнья, прилежащія къ моимъ владѣніямъ, и, конечно—я въ этомъ увѣренъ, да и ты, я думаю, также—мы сойдемся въ условіяхъ. Объ этомъ и говорить даже нечего, я полагаю. Ты знаешь мое расположеніе къ тебѣ: кому же вѣрнѣе передать свое имѣніе, какъ не человѣку, который оказывалъ всегда дружбу и искреннее участіе?.. договорилъ Балахновъ, выпрямляя грудь и вторично протягивая руки несчастному другу.

— Я все это чувствую, охъ, чувствую! возразилъ Порфирій Павловичъ, прикладывая ладонь къ груди и возводя исполинскіе глаза свои на стѣны кабинета, какъ бы призывая ихъ въ свидѣтели, могущіе подтвердить искренность его словъ,—вы мой благодѣтель, всегда были имъ... Но какъ, куда приклоню я свою голову, если продамъ Сусловку? гдѣ найду тогда уголъ и пристанище?..

— Вотъ вздоръ какой! Живи пока у меня, живи, сколько хочешь; мой домъ открытъ для друзей; а тамъ, если вздумается, помощью капитала всюду найдешь себѣ мѣсто и пристанище, какъ ты говоришь... Но теперь, прежде всего, не должно тебѣ упустить слѣдующей тебѣ части изъ женина имѣнія; приложивъ эту часть къ Сусловкѣ и продавъ мнѣ то и другое, ты составишь себѣ порядочный ка-

питалъ, а такъ-какъ въ подобныхъ дѣлахъ время терять нечего, то ты долженъ немедленно приступить къ огражденію своихъ правъ и, если можно, уговориться съ женою полюбовно; если-жъ нѣтъ, дѣйствовать черезъ посредство суда...

— Какъ, Аристархъ Ѳедорычъ, мнѣ, мнѣ поднять руку на Антониночку! воскликнулъ испуганный Васильковъ.

— Все это вздоръ, братецъ! спокойно возразилъ Балахновъ. — Руки подымать тутъ не зачѣмъ; какъ я тебѣ сказалъ: прежде слѣдуетъ попробовать обдѣлать дѣло полюбовно; завтра же, или, зачѣмъ откладывать, сегодня же напиши ей письмо, въ которомъ изложи свои требованія. Если удастся — хорошо, нѣтъ — я скажу тебѣ, какъ дѣйствовать, и самъ даже помогу... Итакъ, полно отчаиваться, живи у меня; постараемся разсѣять грусть-тоску нашего друга. Э, братецъ! не ты первый, не ты послѣдній! весело заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, похлопывая ладонью по плечу Порфирія Павловича, который плакалъ и улыбался въ одно и то же время.

Страждущее сердце чрезвычайно схоже съ кораблемъ, набитымъ тяжелымъ грузомъ и несомымъ страшною бурей; средство къ спасенію одно — какъ можно скорѣе выгрузить лишнюю тяжесть: облегченный корабль всплываетъ тогда на поверхность разъяреннаго моря, какъ пустая яичная скорлупа, и скачетъ по пѣнистымъ хребтамъ валовъ, нимало не опасаясь лютыхъ взрывовъ вѣтра и натиска сѣдыхъ буруновъ. Такъ же точно случилось и съ сердцемъ Порфирія Павловича: выгрузивъ часть своего горя въ ухо Аристарха Ѳедоровича, онъ самъ подивился необыкновенной легкости, съ какой пошелъ лавировать изъ кабинета въ гостиную. Воспоминаніе объ Антониночкѣ, занимавшее въ сердцѣ его такое же точно мѣсто, какъ киль въ кораблѣ, то-есть главное, основное мѣсто, отъ котораго ни подъ какимъ видомъ нельзя было освободиться, не переставало, однакожъ, давить его. Порфирій Павловичъ, несмотря на свое сильное расположеніе къ меланхоліи, былъ человѣкъ чисто общественный; очутившись между дамами и чувствуя, что этотъ несчастный киль мѣшаетъ ему проявлять обычную легкость и развязность, Васильковъ принялся теребить его во всѣ стороны, стараясь вырвать его хоть на время, пока пребывалъ въ гостиной. Видя свое безсиліе, но вѣрный все-таки своей цѣли, онъ началъ дѣятельно осматривать всѣ за-

коулки своего сердца, и каждый разъ, какъ находилъ какую-нибудь лишнюю тяжесть, спѣшилъ выгрузить ее въ первое встрѣчавшееся ему ухо; ушей встрѣтилось чрезвычайно много и, слѣдствіемъ старательной своей выгрузки, Васильковъ достигъ наконецъ цѣли и окончательно облегчился. Черезъ полчаса обывателямъ Ханскихъ-Прудовъ извѣстна была въ малѣйшихъ подробностяхъ исторія, происшедшая въ Сусловкѣ. Пора, впрочемъ, было: всеобщее любопытство, особливо трехъ Кокуркиныхъ, доходило уже до несноснаго состоянія зубной боли. Тронутый участіемъ дамъ и ощущая на себѣ благотворное дѣйствіе этого участія, Порфирій Павловичъ принялся выгребать изъ своего корабля даже соръ и малѣйшія песчинки. Какъ уже сказано, женское сочувствіе было для него всего дороже.

Сусловское событіе произвело на каждаго, какъ и слѣдовало ожидать, совершенно различное дѣйствіе. Старшая Кокуркина и Розалія Владиміровна Сараманаева прослезились; Надеженька опустила глаза, зардѣлась и тридцатилѣтняя грудь ея заволновалась, какъ бы подавляя слѣдующія слова, готовыя извергнуться изъ глубины ея дѣвственнаго сердца: „О! если бъ тогда ты предпочелъ меня ей, мой добрый Порфирій, ты вкусилъ бы блаженство вмѣсто страданій!“ Вѣра Андреевна (та самая, что похожа на откормленнаго дрозда, увеличеннаго въ полторы тысячи разъ) издавала скорбныя восклицанія, но вмѣстѣ съ тѣмъ таила въ душѣ радостное чувство и возсылала жаркую благодарность судьбѣ, возвратившей въ общество перваго любезника и мазуриста. Безстрашный Дрянковъ, обнаруживавшій всегда при дамахъ необыкновенное мужество, приходилъ въ ярость. Два только человѣка холодно, повидимому, приняли сусловское событіе; то были: Лизавета Семеновна, сказавшая по этому случаю нѣсколько общихъ фразъ, и Прокисай Захаровичъ, передъ которымъ, вмѣстѣ съ разоблаченной тайной Василькова, предстала сокрушительная мысль такого рода: Порфирій Павловичъ, разставшись съ женою, конечно, снова возобновитъ свои посѣщенія къ барышнямъ, и тогда... тогда, увы! прощайся бѣдный проживальщикъ съ послѣдними надеждами. Гдѣ ему тянуть въ уровень съ любезностью перваго, можно сказать, мазуриста въ цѣломъ уѣздѣ! Мысль эта, какъ молотъ, поразила голову Прокисая Захаровича: онъ стоялъ, какъ ошеломленный, и не произносилъ ни слова. Но Порфирій Павловичъ мало об-

ращалъ на него вниманія; растроганный слезами Кокуркиныхъ и не зная, въ избыткѣ благодарности, чѣмъ бы ужъ воздать имъ за ихъ сочувствіе, онъ не переставалъ шептать имъ что-то на ухо. Каждый разъ, какъ замѣчалъ Порфирій Павловичъ, что слезы начинали высыхать на глазахъ барышень и рѣчь ихъ сворачивала на посторонній предметъ, онъ испускалъ протяжный вздохъ, тоскливо моталъ головой и, нѣжно вперивъ исполинскіе зрачки свои на которую-нибудь изъ сестеръ, говорилъ заунывно: „Когда я умру, кто придетъ на мою могилу?“ Такое обращеніе къ барышнямъ производило всякій разъ свой эффектъ, и потокъ самыхъ искреннихъ, сердечныхъ изліяній былъ ему отвѣтомъ.

Вечеромъ, когда всѣ ушли спать, Порфирій Павловичъ направился робкими стопами въ комнату проживальщиковъ. Комнатка, расположенная подъ лѣстницею, освѣщалась сальнымъ огаркомъ, который краснорѣчиво подтверждалъ щедрость Аристарха Ѳедоровича, отдавшаго разъ навсегда приказаніе, чтобъ выдавали на половину проживальщиковъ по сальной свѣчкѣ въ недѣлю.

Прокисай Захаровичъ лежалъ навзничь; но, по движеніямъ его членовъ, можно было заключить, что сонъ его не покоенъ. Аполлонъ Егоровичъ, взгромоздившись на высокій стулъ, сидѣлъ наклонившись къ комоду и перелистывалъ съ восхищеніемъ лучшія страницы своей повѣсти. Порфирій Павловичъ, какъ слѣдуетъ, извинился; но Аполлонъ Егоровичъ сказалъ, что очень радъ, и поспѣшилъ усадить гостя на постель. Тронутый такою внимательностью, Васильковъ сообщилъ, между прочимъ, что вотъ, такъ и такъ, Аристархъ Ѳедоровичъ настоятельно проситъ его написать къ женѣ миролюбивое письмо, долженствующее заключить въ себѣ такіе-то и такіе-то пункты; это дѣло необыкновенно казусное, требующее чрезвычайной деликатности слога, такъ, чтобъ слышенъ былъ укоръ, горькій укоръ, а между тѣмъ, чтобъ сердце читательницы, умиленное на первой же страницѣ, разжалобилось и потонуло въ слезахъ раскаянія на послѣдней. Онъ приступилъ уже къ дѣлу, но оказался совершенно неспособнымъ, и вотъ потому-то рѣшился побезпокоить Аполлона Егоровича, надѣясь, что онъ не откажетъ протянуть руку помощи, и увѣренный, что для человѣка, начертавшаго страницы „Непризнанной Индѣйки“, ровно ничего не будетъ стоить написать такое письмо.

Аполлонъ Егоровичъ изъявилъ совершеннѣйшую готовность, и оба, закуривъ трубки, принялись за работу.

На другой день, утромъ, Порфирій Павловичъ, у котораго голова не представляла уже картины хаоса, а, напротивъ, была тщательно расчесана, вошелъ въ кабинетъ Аристарха Ѳедоровича, держа въ рукахъ почтовый листъ бумаги, исписанный кругомъ мельчайшимъ почеркомъ.

— А! ну, покажи, братецъ, покажи! сказалъ Балахновъ, сидѣвшій у окна передъ стаканомъ чая,—я, признаться, не думалъ, чтобъ ты такъ скоро... Садись, ближе сюда, подлѣ моего портрета.

Затѣмъ онъ развернулъ письмо. Васильковъ сѣлъ подлѣ портрета и завертѣлъ самодовольно зрачками.

Аристархъ Ѳедоровичъ кашлянулъ и началъ читать: „Мы любили, мы мечтали, мы блаженствовали!.. О, Антонія! неужели забыли вы то радостное свѣтило, которое лучами своими живило нѣкогда міръ піитическій и волшебный?..“

— Помилуй, братецъ, ну что же это такое?.. Совсѣмъ не то! сказалъ Балахновъ, опуская руку съ письмомъ. — Тутъ, братъ, не піитическій міръ нуженъ: нужно, братъ, дѣло...

— Я боюсь, Аристархъ Ѳедорычъ, чтобъ она какъ-нибудь не огорчилась... сказалъ Васильковъ, съ жалостливымъ выраженіемъ.—Она, знаете, такая слабенькая, нѣженькая... сами знаете. Охъ, тяжело! ужъ какъ только тяжело, Аристархъ Ѳедорычъ! Вѣдь жена не то, совсѣмъ не то-съ; жена—горячая родня, Аристархъ Ѳедорычъ! присовокупилъ онъ со вздохомъ.

— Ну, вотъ ты мнѣ станешь еще разсказывать, будто я не знаю! Положись во всемъ на меня: я обдѣлаю это дѣло самъ; жена твоя не будетъ огорчена нисколько, а между тѣмъ, ручаюсь, все придетъ къ желанному результату.

Рука Аристарха Ѳедоровича давно уже зудѣла отъ недостатка работы; страшная умственная дѣятельность, возбужденная въ немъ исторіею съ Кошкинымъ (Балахновъ не переставалъ обдумывать разные планы, какъ бы вѣрнѣе уничтожить враговъ своихъ), нуждалась въ какой-нибудь пищѣ. Исходомъ этой могучей дѣятельности послужило сословское событіе. Не откладывая дѣло въ долгій ящикъ, Балахновъ заключился въ своемъ кабинетѣ и принялся сочинять письмо къ Антонинѣ Васильевнѣ.

Въ то время, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ работалъ въ кабинетѣ, и весь домъ, слѣдуя обычному порядку въ такихъ случаяхъ, ходилъ на цыпочкахъ и таинственно перешептывался, подмигивая на завѣтную дверь, въ передней послышался внезапно громкій шумъ, сопровождаемый голосомъ Карачаева, который говорилъ: „Какъ? Что такое? Быть не можетъ; но гдѣ жъ Порфирій?.. Гдѣ онъ?.. я хочу его видѣть!"

Васильковъ, сидѣвшій вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ въ залѣ за утреннимъ чаемъ, обвелъ глазами присутствовавшихъ, какъ бы умоляя ихъ о защитѣ. Но было уже поздно: Карачаевъ влетѣлъ въ залу, преслѣдуемый Дрянковымъ, тщетно старавшимся удержать его за фалды нанковаго сюртучка. Павелъ Петровичъ, нужно замѣтить, былъ въ сильно раздраженномъ состояніи духа: поѣздка его не увѣнчалась ровно никакимъ успѣхомъ, хоть бы и не ѣздить—Барабанчиковъ отказалъ, и больше ничего; да и вообще какъ-то не ладно чувствовалъ себя Павелъ Петровичъ. Несвязныя полуслова, полурѣчи Аполлона Егоровича, спѣшившаго передать прежде другихъ сусловское событіе, вскипятили окончательно и безъ того уже разгоряченную кровь Карачаева.

Онъ рванулъ фалды сюртучка, пригладилъ волосы и полетѣлъ на всѣхъ парусахъ къ Лизаветѣ Семеновнѣ; поцѣловавъ у ней ручку, онъ поспѣшно раскланялся съ остальными лицами и тотчасъ же обратился къ Василькову, который стоялъ ни живъ, ни мертвъ подлѣ своего стула.

— Что я слышалъ! Правда ли это? а? Говори, правда ли это—да или нѣтъ? произнесъ Карачаевъ, закидывая обѣ руки за спину и устремляя грозный взоръ на несчастнаго супруга.

Порфирій Павловичъ обнаружилъ желаніе броситься къ нему на шею и пошептать ему на ухо, но Карачаевъ остановилъ его.

— Разсказывать, братъ, нечего, я все уже знаю! продолжалъ онъ, нахмуривая брови. — Обниманья пойдутъ своей чередой! Это, братъ, финтиклюшки, плезиръ, монъшеръ, и больше ничего. Я хочу знать прежде, что̀ ты сдѣлалъ, потому что не даю руки людямъ... понимаешь?.. Говори, что̀ ты сдѣлалъ? Живъ онъ—да или нѣтъ?

Васильковъ трясся всѣмъ тѣломъ, и дамы, за исключеніемъ Балахновой, слѣдовали его примѣру.

Дрянковъ расправилъ вихры на головѣ своей и выступилъ впередъ.

— Да, братецъ, Карачаевъ, и я говорилъ: на месть вызывающее дѣло! И я то же говорилъ: слѣдовало вызвать его на дуэль!.. заключилъ онъ просто, размахивая руками передъ Кокуркиными.

Карачаевъ подошелъ къ Василькову, пригнулъ воспаленные бѣлки свои къ его глазамъ и сказалъ протяжно:

— Колпакъ, и больше ничего!..

— Да, ему непремѣнно слѣдуетъ вызвать на дуэль! Мести просящее дѣло! повторилъ Аполлонъ Егоровичъ, рисуясь передъ дѣвицей Сараманаевой.

— Ты говоришь это? Хорошо, ладно; когда такъ, ты со мной поѣдешь! сказалъ Карачаевъ, неожиданно схватывая за руку автора „Непризнанной Индѣйки".

— Куда? спросилъ тотъ, почувствовавъ вдругъ ни съ того, ни съ сего страшную слабость въ ногахъ.

— Куда? Куда вы хотите ѣхать? завопили Кокуркины, заслоняя полуживого Василькова.

— Въ Сусловку, сударыни, въ Сусловку! отвѣчалъ съ горячностью Карачаевъ.—Да, сударыни, я поѣду съ Дрянковымъ въ Сусловку! Не будетъ сказано, что Карачаевъ оставилъ это дѣло безъ вниманія и не наказалъ Попли... Пропи... фу, забылъ! Да, сударыни, дѣло, такое дѣло, какъ говоритъ вотъэ тотъ littérateur, требуетъ заступничества... Эй ты, книжникъ! бери фуражку, ѣдемъ, сей же часъ ѣдемъ! А ты, колпакъ, съ тобою и говорить не хочу...

Заключивъ монологъ, Карачаевъ попросилъ у Фіоны Ивановны стаканъ чаю съ ромомъ и, закинувъ руки за спину, принялся расхаживать по залѣ.

Аполлонъ Егоровичъ находился въ жесточайшемъ, безвыходномъ, можно сказать, положеніи: съ одной стороны, дуэль со всѣми ея послѣдствіями, съ другой—преслѣдованіе Карачаева, въ случаѣ, если онъ отступится отъ обнаруженнаго имъ самимъ желанія — бѣда да и только! Какъ всѣ люди, накинувшіе на себя петлю на шею, онъ проклиналъ свою горячность и въ то же время обращалъ болѣе чѣмъ когда-нибудь жаркія мечты къ вѣчно-цвѣтущему мирному Парнасу. Но дѣлать было нечего — надо на что-нибудь рѣшиться. Обсудивъ хорошенько это дѣло, Дрянковъ рѣшился слѣдовать за Карачаевымъ. „Главное то, что свидѣтели всего этого были дамы—вотъ что глав-

ное. Нѣтъ, ужъ такъ и быть, будь что будетъ, поѣду въ Сусловку!" подумалъ Аполлонъ Егоровичъ, снимая съ гвоздика фуражку и бросая прощальный взоръ „Непризнанной Индѣйкѣ". Увидѣвъ Дрянкова, вооруженнаго въ дорогу, Карачаевъ одобрительно кивнулъ головой, хлебнулъ чаю и сталъ прощаться съ дамами. Порфирій Павловичъ бросился было умолять его о пощадѣ, призывая небо въ свидѣтели, что Антониночка была самая добрая женщина во всей губерніи, но Карачаевъ презрительно оттолкнулъ его. Напрасно также дамы принялись увѣщевать его: ничто не помогло. Карачаевъ не послушался на этотъ разъ даже совѣтовъ Лизаветы Семеновны и, взявъ шапку, увлекъ на крыльцо позеленѣвшаго Дрянкова.

Порфирій Павловичъ упалъ на стулъ и очнулся тогда лишь, когда колокольчикъ удалявшейся телѣжки чуть-чуть слышался за прудами. Дрянковъ и Карачаевъ ѣхали молча. Наконецъ, Карачаевъ, сидѣвшій во все время спиною къ своему спутнику, повернулъ къ нему лицо свое и сказалъ, что хочетъ узнать во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ васильковскую исторію. Аполлонъ Егоровичъ не заставилъ себя дожидаться. Карачаевъ слушалъ очень внимательно, грозно насупивъ брови, и говорилъ поминутно, съ видомъ глубокомыслія: „Такъ, ладно; ну, что жъ онъ? А она что? Такъ; что жъ далѣе?" Изрѣдка отрывался онъ отъ разсказа, чтобъ крикнуть кучеру: „пошелъ, жи-и-ва-а-а!!" На что кучеръ, сидѣвшій не совсѣмъ твердо на облучкѣ, отвѣчалъ каждый разъ: „Что жъ, я пущу пожалуй... по мнѣ что!.. Да это не ёзда, а бёда".

На пятой верстѣ (всего было десять отъ Ханскихъ-Прудовъ до Сусловки), Карачаевъ сталъ замѣчать, что кучеръ сильно клонится спиною и головою внутрь телѣжки. Отличительная и самая рѣзкая черта Карачаева состояла въ томъ, что онъ обнаруживалъ, во всѣхъ случаяхъ своей жизни, необыкновенное снисхожденіе къ проступкамъ подвластныхъ ему людей. Вѣрный всегда самому себѣ, онъ ограничился тѣмъ лишь, что приперъ рукою спину кучера и произнесъ, заглядывая ему въ лицо: „Ты пьянъ, какъ я вижу!" Кучеръ сознавался въ своей винѣ и объявилъ, что Иванъ Емельянычъ, то-есть карачаевскій Иванъ, потому что такъ преимущественно величали камердинера, угощая на прощаньи балахновскую дворню, и ему, Матвѣю, старому товарищу, поднесъ четверку добраго, забористаго—ухъ какого забористаго травничку!

— Не въ томъ дѣло; скажи только: довезешь ли ты? произнесъ Карачаевъ, мгновенно затуманиваясь при мысли о предстоящей разлукѣ съ любимымъ камердинеромъ.

— Помилте... Павлъ Петррр... отчего не довезти!.. Много вами доволенъ; вотъ те пра... во... отчего жъ?.. довезу, коли лошади довезутъ... Эй, вы, голубчики... ну... котенокъ, эй, эй!.. примолвилъ Матвѣй, пуская во весь духъ тройку.

— Карачаевъ... что... это?.. вели остановить!.. Онъ намъ шею сломитъ... кричалъ Дрянковъ, ухватившись за перекладину телѣжки.

— Пошелъ, Матвѣй! крикнулъ Карачаевъ вмѣсто отвѣта.

— Что это? сумасшествіе?.. Стой, вели остановиться! Или я... я вылѣзу!

— А, ты вылѣзешь?.. Пошелъ, Матвѣй! поддай пару!.. жива-а-а!.. подхватилъ Карачаевъ.

— Ломай себѣ голову сколько хочешь, кричалъ Аполлонъ Егоровичъ, отчаянно выбрасывая одну ногу изъ телѣги.—Ахъ!.. на кочку наѣдешь, смотри!.. заключилъ вдругъ поэтъ, подталкивая несовсѣмъ учтиво Матвѣя.

— Че-е-во? заголосилъ Павелъ Петровичъ, посылая неожиданный толчокъ въ руку, начертавшую „Непризнанную Индѣйку".—Стой, Матвѣй! примолвилъ онъ, ухвативъ вожжи и осаживая тройку,—стой!.. Че-е-во? продолжалъ онъ, устремляя глаза на испуганнаго спутника,—ты здѣсь распоряжаться вздумалъ?.. а?

— Да что-жъ это такое?.. Я не позволю... ты забываешься... проговорилъ Дрянковъ, выбрасывая поспѣшно другую ногу за перекладину телѣжки.

— Ты не позволишь? ха-ха-ха! Вонъ, когда такъ! прибавилъ Карачаевъ, указывая непреклоннымъ жестомъ на дорогу.

— Я и самъ, братъ, пойду, нечего указывать, сказалъ Дрянковъ, обрадованный до нельзя случаю освободиться отъ предстоящей дуэли.

Павелъ Петровичъ, безъ дальнихъ околичностей, высадилъ своего спутника на дорогу.

— Пошелъ, Матвѣй! крикнулъ онъ тогда, усаживаясь на скамейку,—ну, жи-и-ва-а-а!

И, минуту спустя, Карачаевъ исчезъ въ облакѣ пыли, оставивъ посреди проселка Аполлона Егоровича, который принялся тотчасъ же сочинять, что̀ бы такое привести дамамъ въ оправданіе неожиданнаго своего возвращенія.

Въ скоромъ времени передъ Карачаевымъ предстала Сусловка и, пять минутъ спустя, телѣжка его въѣзжала во дворъ маленькаго домика на берегу живописной рѣчки.

— Эй! кто тутъ! эй, люди! эй! что-жъ никого нѣтъ? заголосилъ Карачаевъ, вылѣзая изъ телѣжки и оглядывая пустынный дворъ.—О! о! постойте, дружки! я вамъ всѣмъ сдѣлаю переборку; дайте только расправиться съ этимъ Пли... Плу... Плупельковскимъ... какъ бишь его? Да! Эй, кто тамъ?

Никто не откликался; изъ-за угла сарая показался лишь Мишка, сынъ кучера Ермолая и прачки Ѳетиньи, поступившій изъ Грачовки въ число сусловскихъ, но въ ту-жъ минуту скрылся опять за плетнемъ. Карачаевъ приказалъ Матвѣю поставить лошадей подъ навѣсъ и, подтянувъ ремень на нанковомъ сюртукѣ, смѣло вошелъ на крыльцо, приготовляясь учинить тотчасъ же распорядокъ.

Какъ ни возмущенъ былъ Павелъ Петровичъ поступкомъ Васильковой, сколько ни пылалъ желаніемъ не давать ей никакой пощады, онъ крайне смутился, однакожъ, увидѣвъ Антонину Васильевну, вбѣжавшую въ переднюю съ платкомъ въ рукѣ и страшно распухшими, заплаканными глазами.

Карачаевъ поспѣшилъ оправиться; все говорило ему, что, какъ ни былъ слабъ и трусоватъ Васильковъ, слѣдовало, во всякомъ случаѣ, защитить его; и кому-жъ принять на себя такую обязанность, какъ не ему, человѣку, знавшему Порфирія Павловича съ малолѣтства и бывшему притомъ шаферомъ на его свадьбѣ? Рѣшившись быть непреклоннымъ, строгимъ судьею, Карачаевъ началъ съ того, что скрестилъ руки на груди, потомъ отступилъ два шага и, бросивъ грозный взглядъ на стоявшую передъ нимъ заплаканную женщину, произнесъ съ необычайною строгостью:

— Сударыня!..

— Павелъ Петровичъ... О, Бога ради... вы, хоть вы не вѣрьте всѣмъ этимъ сплетнямъ и клеветамъ... Ахъ, я самая несчастная женщина! заговорила, всхлипывая, Василькова.

— Сударыня! повторилъ Карачаевъ, отступая еще шагъ назадъ и стукаясь затылкомъ въ косякъ двери.

Но, увидѣвъ, что Антонина Васильевна опустилась, рыдая, на скамейку, поспѣшилъ приподнять ее, бережно

взялъ ее подъ-руку и, проводивъ до гостиной, усадилъ на диванъ.

Закрывъ лицо платкомъ, Антонина Васильевна продолжала рыдать.

— Сударыня... извините, не могу больше называть васъ другимъ именемъ... сударыня, я хочу знать, гдѣ этотъ негодяй? Извольте сказать мнѣ, гдѣ онъ скрывается... Я затѣмъ и пріѣхалъ сюда, сказалъ Павелъ Петровичъ, страшно хмуря брови, направленныя къ сосѣднимъ дверямъ.

— О, не говорите мнѣ про него! простонала Антониночка,—я самая несчастная женщина! О, да, я очень несчастлива!.. Павелъ Петровичъ, не покидайте хоть вы меня... будьте моимъ защитникомъ! примолвила она, схватывая его руку.

— Если вы точно не виноваты, сударыня, вы должны мнѣ доказать это... да, и доказать тѣмъ, что тотчасъ же откроете, гдѣ скрывается этотъ негодяй. Я пріѣхалъ затѣмъ, чтобъ наказать его, вотъ она штука-то въ чемъ! отвѣчалъ Карачаевъ, страшно моргая глазами, но, со всѣмъ тѣмъ, смягчая постепенно свой голосъ.

— Вы пріѣхали, къ несчастію, слишкомъ поздно! возразила Антониночка, обливаясь слезами.

— Какъ? что вы говорите?

— Да, онъ уѣхалъ... и... и... кто бы повѣрилъ этому?.. увезъ съ собою разныя вещи... въ числѣ ихъ браслетъ... и маменькинъ бирюзовый голубокъ.... О, это ужасно! ужасно! ужасно! рыдая, говорила Антониночка.

— Плутъ! плутъ! сказалъ Павелъ Петровичъ, метаясь, какъ угорѣлый, по маленькой гостиной.—Нѣтъ, ты не уйдешь отъ меня, любезный! не уйдешь; я тебя поймаю!.. Антонина Васильевна, разскажите мнѣ въ подробностяхъ, какъ это случилось. Ecoutez, мнѣ нужно все знать!.. Успокойтесь, не отчаивайтесь... полноте плакать: слезы не помогутъ! заключилъ Карачаевъ, неожиданно садясь подлѣ Васильковой и обнаруживая въ каждомъ движеніи живѣйшее участіе къ ея горю.

Разсказавъ во всѣхъ подробностяхъ исторію побѣга Попельковскаго, Антонина Васильевна прибавила, орошая обильнымъ потокомъ слезъ руки Карачаева, который терялся, не зналъ, что́ ему дѣлать, и готовъ уже былъ рѣшиться на всевозможныя снисхожденія, лишь бы только успокоить несчастную женщину:

— Все, о чемъ я васъ прошу, мой добрый Павелъ Петровичъ, не вѣрьте низкимъ сплетнямъ и клеветамъ, говорила она,—я ни въ чемъ не виновата и не понимаю причины внезапной ревности Порфирія Павловича. Во всемъ виноватъ онъ самъ: онъ подружился съ Попельковскимъ, пригласилъ его къ себѣ, далъ ему волю распоряжаться въ домѣ, самъ ни во что не входилъ... Вы сами, впрочемъ, хорошо знаете слабость характера Порфирія Павлыча.

— Помилуйте, кому вы это говорите? Слишкомъ хорошо знаю! воскликнулъ Карачаевъ, обращая мгновенно весь свой гнѣвъ на слабодушнаго Василькова, который, нѣтъ сомнѣнія, всему былъ виною.

— Да, повѣрьте, о, повѣрьте, я очень несчастлива! продолжала Антониночка, обливаясь новыми слезами,—всей этой исторіи придали ложный, злобный и совсѣмъ неправдоподобный оборотъ.

— Скажите, однакожъ, пожалуйста, Антонина Васильевна, что вы станете дѣлать теперь? спросилъ онъ, усаживаясь подлѣ нея и обнаруживая самое нѣжное, заботливое участіе.

Антонина Васильевна возвела заплаканные, черные глазки свои на Карачаева и грустно покачала головой.

— Я рѣшилась немедленно оставить имѣнье моего мужа, пускай возьметъ онъ свою часть—я буду очень рада, лишь бы только жить одной: я хочу поселиться въ Грачовкахъ и завтра же уѣду туда... Маменьки теперь нѣтъ, она въ Москвѣ, но это все равно: я увѣрена, она меня не отвергнетъ...

— И прекрасно сдѣлаете! Поѣзжайте съ Богомъ, живите счастливо. Что-жъ до меня касается, я поѣду сейчасъ же въ погоню за этимъ негодяемъ Плиполько-кекскомъ; авось не увернется! Будьте спокойны: все это не падетъ на васъ; онъ поплатится за все достойнымъ образомъ! А потомъ, потомъ... ну, ужъ извините, Антонина Васильевна, примусь потомъ за вашего мужа...

Антонина Васильевна долго уговаривала Карачаева, упрашивая его бросить это дѣло и особенно не говорить ничего ея мужу, но Карачаевъ остался непреклоненъ, раскланялся и, усадивъ ее на диванъ, побѣжалъ въ переднюю, прося быть спокойной и не тревожиться.

Павелъ Петровичъ вышелъ во дворъ, отдалъ строжайшій приказъ, чтобы приготовляли все для завтрашняго

отъѣзда Антонины Васильевны, вошелъ въ сарай, осмотрѣлъ колеса васильковскаго тарантаса, велѣлъ ихъ подмазать и, сдѣлавъ еще кой-какія дѣльныя распоряженія, сѣлъ въ свою телѣжку и приказалъ ѣхать по направленію къ губернскому городу...

XIX.

Въ дипломатической головѣ Аристарха Ѳедоровича созрѣлъ, между тѣмъ, новый планъ и частью даже осуществился.

Должно-быть такъ ужъ на роду было написано Карачаеву, чтобъ претерпѣть въ этомъ мѣсяцѣ самыя страшныя неудачи. Какъ новый Пинетти, онъ скакалъ, казалось, разомъ въ одно и то же время по всѣмъ возможнымъ проселкамъ, преслѣдуя своего врага — и все-таки ни малѣйшаго успѣха: Припи...по...Попель...ковскій... или какъ бишь его?.. нигдѣ не отыскивался, сгинулъ, пропалъ, словно провалился сквозь землю!.. Усталый, избитый, измученный своимъ напраснымъ странствованіемъ, продолжавшимся безъ малаго цѣлую недѣлю, Карачаевъ возвращался въ Ханскіе-Пруды.

Онъ въѣзжалъ ужъ во дворъ, какъ вдругъ глаза его, устремлявшіеся во всѣ углы, въ надеждѣ отыскать какъ можно скорѣе Василькова, причинившаго столько несчастій, встрѣтили коляску Аристарха Ѳедоровича, оснащенную, повидимому, въ дальнюю дорогу.

Молодой кучеръ, услаждавшій душу Балахнова своими пѣснями, ухаживалъ подлѣ четверки добрыхъ коней, подтягивалъ подпруги, приравнивалъ вожжи, осматривалъ и даже щупалъ шины и втулки колесъ; изъ открытыхъ дверецъ экипажа выглядывали узелки, сапоги и ящики; на запяткахъ красовался огромный чемоданъ съ буквами А и Б. Сидоръ, одѣтый несовсѣмъ изящно, но съ большимъ комфортомъ, стоялъ подлѣ съ шкатулкою въ рукахъ, и на широкомъ лицѣ его бродила глубокомысленная дума о томъ, какимъ бы образомъ уложить драгоцѣнную вещь такъ, чтобъ она не мѣшала барину и вмѣстѣ съ тѣмъ находилась постоянно у него на глазахъ.

Увидя все это, Карачаевъ проворно соскочилъ съ телѣжки и спросилъ у камердинера:

— Что тутъ еще такое затѣяли? Что это значитъ?

— Баринъ изволятъ ѣхать въ Москву. Сейчасъ по-

ѣдутъ. Ужъ одѣваются, отвѣчалъ Сидоръ, ныряя со шкатулкой въ дверцы коляски.

Такой отвѣтъ столько же удивилъ, сколько раздражилъ Павла Петровича.

Въ самомъ дѣлѣ, что же это такое? Ѣдетъ въ Москву; стало быть, имѣлъ давно это намѣреніе; отчего же, спрашивается, таилъ онъ это намѣреніе отъ Карачаева? а? А если бъ, положимъ, мысль ѣхать въ Москву пришла Балахнову на-дняхъ—развѣ не могъ онъ, не долженъ былъ оповѣстить объ этомъ Карачаева? Просто, съ его стороны, ни на что не похоже!

Такъ разсуждалъ Павелъ Петровичъ, взбираясь на крыльцо.

Дѣло вотъ въ чемъ.

Мысль ѣхать въ Москву, дѣйствительно, блеснула только на-дняхъ въ дипломатической головѣ Аристарха Ѳедоровича. Обдумывая планы, какъ бы вѣрнѣе, успѣшнѣе восторжествовать надъ врагами своими, онъ пришелъ къ слѣдующему блистательному заключенію: до выборовъ, то-есть главной цѣли—цѣли, которая должна была разрѣшить: пасть или восторжествовать Аристарху Ѳедоровичу—оставалось весьма немного; каждая минута была, слѣдовательно, драгоцѣнна. На этомъ основаніи, Балахновъ, горѣвшій единственнымъ желаніемъ восторжествовать, рѣшился распространить кругъ своей дѣятельности уже далеко за предѣлы земель, принадлежащихъ его близкимъ сосѣдямъ. Пускай хоть всѣ ближайшіе сосѣди возстанутъ противъ него—ему это ни почемъ! Онъ заключитъ теперь связи съ дальними помѣщиками—и тогда посмотримъ, чья возьметъ! Аристархъ Ѳедоровичъ разсчитывалъ теперь сблизиться съ болѣе значительными владѣльцами Горшковскаго уѣзда, которые, нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, будутъ очень рады знакомству съ такимъ великимъ мужемъ. Для приведенія въ исполненіе такихъ великихъ замысловъ, слѣдовало ѣхать немедленно въ Москву по двумъ весьма важнымъ причинамъ: во-первыхъ, бо̀льшая часть тѣхъ помѣщиковъ, на которыхъ мѣтилъ Балахновъ, жили въ этомъ городѣ; посѣщая клубы и собранія, Балахновъ легко сведетъ съ ними знакомство и, слѣдовательно, расположитъ ихъ въ свою пользу; во-вторыхъ, Аристарху Ѳедоровичу нужны были деньги для того, чтобъ, вернувшись потомъ въ Ханскіе-Пруды, задавать балы и празднества остальнымъ помѣщикамъ, также отдаленнымъ отъ сосѣдства, но

жившимъ постоянно въ провинціи. Для выполненія послѣдняго, онъ рѣшился снова *перезаложить* свои собственныя двѣсти душъ (двѣсти душъ его жены были заложены). Кромѣ этого, деньги нужны были еще для пріобрѣтенія Сусловки и другой части имѣнія Василькова, выдѣленной изъ приданаго Антонины Васильевны. Въ послѣднихъ пунктахъ Балахновъ остался вѣренъ прежнимъ своимъ расчетамъ: „Пусть каждый клочокъ земли будетъ у него заложенъ и перезаложенъ; пускай, кромѣ пирамидъ, вензелей и обелисковъ, не будетъ у него никакого состоянія, но зато всѣ эти перезаложенные клочки земли будутъ его. Со временемъ принуждены же будутъ поневолѣ отдать преимущество самому многоземельному, многовотчинному помѣщику своего уѣзда!“

Когда Карачаевъ вошелъ въ кабинетъ, Аристархъ Ѳедоровичъ стоялъ уже одѣтый по-дорожному.

— А, ба! Карачаевъ! Откуда? гдѣ пропадалъ? воскликнулъ Балахновъ, обнаруживая въ голосѣ и каждомъ движеніи восторженное состояніе духа, пробужденное новыми планами и надеждами.

Карачаевъ отступилъ шагъ назадъ, скрестилъ на груди руки и, вперивъ на величаваго пріятеля воспламененные бѣлки, сказалъ сурово:

— Не въ томъ дѣло. Дѣло въ томъ, что̀ все это значитъ?

Тутъ Карачаевъ указалъ на окно, изъ котораго видна была дорожная коляска.

— А это значитъ, братецъ, что я ѣду въ Москву, возразилъ, смѣясь, Балахновъ.—Непредвидѣнное, очень важное обстоятельство... Ну, а ты, что̀ намѣренъ дѣлать? Да полно, братецъ, хмуриться-то; подумаешь, Медоръ у тебя околѣлъ. Ты куда?

— Че-е-во? произнесъ Карачаевъ, сурово косясь на собесѣдника. — Странный вопросъ! прибавилъ онъ послѣ молчка.

— Что жъ тутъ страннаго? ха-ха-ха! Ничего нѣтъ страннаго. Весьма естественно: мнѣ хочется знать, что̀ ты намѣренъ дѣлать въ это время, какъ я буду въ отсутствіи? А такъ какъ это продлится, вѣроятно, довольно долго...

— Понимаю, любезнѣйшій, понимаю! перебилъ Карачаевъ съ раздражительной ироніей.—Это значитъ, ты хочешь сказать мнѣ деликатнымъ образомъ: „алонъ марше“,

то-есть по-нашему: убирайся, братъ, отселева! а? Такъ или нѣтъ? а?..

Аристархъ Ѳедоровичъ залился звонкимъ, дребезжащимъ хохотомъ.

— Ну, не сумасшедшій ли ты, скажи пожалуйста? Ну, не бѣшеный ли? Да кто жъ тебѣ это сказалъ? Я душевно радъ, если ты останешься въ Ханскихъ-Прудахъ. Живи, пожалуй, сколько тебѣ угодно...

— Да я думаю, что такъ! возразилъ Карачаевъ, сурово нахмуривая брови. — По душѣ ли ты это говоришь или нѣтъ—это мнѣ все равно! Хоть ты тутъ умирай со смѣху, а я все-таки здѣсь останусь. Не будетъ сказано, что Карачаевъ оставилъ Лизавету Семеновну одну въ то время, можетъ быть, какъ... Ну, да погоди, братъ, я еще скажу тебѣ на этотъ счетъ два-три слова, дай раздѣлаться съ этимъ Васильковымъ! заключилъ онъ, съ рѣшимостью направлясь къ двери.

— Ха-ха-ха! погоди, защитникъ угнетенныхъ! Ха-ха-ха! постой! За что же, позволь спросить, хочешь ты съ нимъ раздѣлаться? воскликнулъ Балахновъ, удерживая своего друга за обѣ руки.

Карачаевъ неохотно, отрывисто, въ нѣсколькихъ словахъ, разсказалъ ему, въ чемъ дѣло.

— Ну, братъ, поздно взялся! сказалъ Аристархъ Ѳедовичъ.—Вѣдь онъ ѣдетъ сейчасъ со мной въ Москву.

— Какъ? Нѣтъ, этого не будетъ! Я этого не допущу. Вотъ штука-то въ чемъ!

— За что же такія напасти? смѣясь спросилъ Балахновъ.

— Не допущу, да и только! Онъ долженъ сію же минуту ѣхать со мною въ Грачовку и примириться съ женою! закричалъ Павелъ Петровичъ, направляясь къ двери.

— Чудакъ! чудакъ! произнесъ Балахновъ, снова удерживая его и тотчасъ же перемѣняя шутливую интонацію на серьезную. — Для чего жъ я и беру его въ Москву, если не для той же цѣли? Если бъ ты, вмѣсто того, чтобъ горячиться, обсуживалъ основательно каждую вещь, ты увидѣлъ бы, что свести ихъ теперь — значило бы, можетъ быть, разлучить навѣки. Дай пройти мѣсяцу — все перемѣнится: соскучатся оба—тогда-то мы ихъ и примиримъ.

Карачаевъ слушалъ сначала нехотя, потомъ внимательнѣе, потомъ, должно полагать, согласился во всемъ съ

Балахновымъ, потому что, не сказавъ ни слова, отошелъ къ окну съ такимъ выраженіемъ, которое ясно говорило: „Дѣлайте, что хотите; я больше ни во что не вмѣшиваюсь!“ Онъ не понималъ, да и гдѣ жъ было понять ему глубокія соображенія Аристарха Ѳедоровича, который имѣлъ свои причины отдалять, по возможности, примиреніе двухъ супруговъ и даже устроить такъ, чтобъ они никогда не встрѣчались? (Если бъ Васильковъ примирился съ Антониночкой, Балахновъ лишился бы случая купить Сусловку, да еще часть изъ женина приданаго Василькова). Онъ везъ Порфирія Павловича въ Москву, увѣренный, что этимъ способомъ вѣрнѣе достигнетъ своей цѣли. Читатель увидитъ современемъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ никогда не ошибался въ своихъ соображеніяхъ и расчетахъ.

Когда Карачаевъ подошелъ къ окну, глаза его упали прямо на Аполлона Егоровича Дрянкова, который хлопотливо шелъ отъ коляски къ крыльцу, держа огромнѣйшій свертокъ бумагъ подъ мышкой.

— А что, братецъ, и этотъ ѣдетъ, кажется, также съ тобою? спросилъ Карачаевъ.

— Скажи на милость, что̀ съ тобой сегодня? Ты, братъ, совсѣмъ озлобился противъ свѣта: мизантропъ, да и полно! отвѣчалъ, смѣясь, Балахновъ.—Да, и этотъ ѣдетъ со мною. А что? тебѣ развѣ досадно? а? ха-ха-ха!..

Карачаевъ не отвѣчалъ ничего, а только презрительно пожалъ плечами.

Въ эту самую минуту въ дверяхъ кабинета показались Васильковъ и Дрянковъ. Увидя Карачаева, оба они отскочили поспѣшно въ уголъ, но Карачаевъ повернулся къ нимъ спиною и вышелъ въ залу, гдѣ остальные члены дома, начиная съ самой хозяйки и дѣтей ея и кончая Фіоной Ивановной и Прокисаемъ Захаровичемъ, стояли въ ожиданіи проводовъ.

Пять минутъ спустя, Аристархъ Ѳедоровичъ, вооруженный дорожной фуражкой, появился въ залѣ въ сопровожденіи своей свиты.

Онъ былъ необыкновенно веселъ.

— Лизанька, сказалъ онъ, подойдя къ женѣ и цѣлуя ее нѣсколько разъ сряду въ лобъ,—поручаю тебя, другъ мой, вотъ этому господину, промолвилъ онъ, подмигивая ей шутливо на Карачаева.—Онъ самъ, впрочемъ, вызвался быть твоимъ рыцаремъ, защитникомъ и покровителемъ.

Карачаевъ заморгалъ глазами, хотѣлъ что-то сказать, но, взглянувъ на Лизавету Семеновну, отвернулся и отошелъ въ самый дальній уголъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ разразился новымъ хохотомъ и началъ цѣловать дѣтей, давая имъ въ то же время поучительныя наставленія, въ родѣ слѣдующихъ: „смотрите же, не плакать безъ меня, не капризничать, учиться хорошо, очень хорошо учиться!“ — слова, очевидно, вылетавшія изъ устъ его для того только, чтобъ сказать что-нибудь въ такомъ торжественномъ случаѣ.

Дѣти, особенно Володя, обнаружили какую-то воздержность чувствъ при прощаніи съ отцомъ, и Аристархъ Ѳедоровичъ — приписывая эту воздержность усилію съ ихъ стороны, клонившемуся къ тому, чтобъ не огорчить чувствительнаго сердца отца, что легко могло бы случиться, если бъ вздумалось имъ плакать и вѣшаться къ нему на шею—громко изъявилъ свое одобреніе и принялся снова цѣловать ихъ.

На лицѣ Лизаветы Семеновны было во все это время какое-то принужденное спокойствіе, сквозь которое пробивалась, однакожъ, сильная душевная тревога, очевидно возбуждаемая разлукою съ мужемъ.

Перецѣловавъ дѣтей, Аристархъ Ѳедоровичъ снова подошелъ къ женѣ и, вѣроятно, принявъ грустно-спокойный видъ ея за маску, скрывавшую раздирающіе вопли и рыданія, поспѣшилъ успокоить ее, сказавъ, что скоро вернется и что, не явись непредвидимаго важнаго обстоятельства (онъ не сообщилъ, однакожъ, въ чемъ состоитъ это важное обстоятельство, но она сама догадывалась), онъ никогда не подумалъ бы разстаться съ нею.

— Ну, теперь сядемте, сядемте: всѣ садитесь! весело сказалъ Балахновъ.—Такъ дѣлывали наши предки. Обычай, освященный вѣковою, почтенною старостью! примолвилъ онъ самодовольно, оглядывая залу и выпрямляя грудь.

Всѣ сѣли.

Мертвое молчаніе воцарилось въ комнатѣ; ни вздоха, ни тоскливо-безпокойнаго взора, устремленнаго на отъѣзжающихъ, ни слезинки!

— Пора! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, — велите подавать коляску; прощайте!

Мертвое молчаніе сопровождало эти слова, исторгающія такъ часто глубокій вздохъ изъ самаго зачерствѣлаго

сердца. Приписавъ опять-таки все это выраженію глухой, затаенной скорби, Аристархъ Ѳедоровичъ снова успокоилъ жену скорымъ своимъ возвращеніемъ и, простившись съ нею вторично, направился величаво къ крыльцу, въ сопровожденіи всѣхъ домашнихъ.

Взгромоздившись на козлы, Дрянковъ сидѣлъ уже подлѣ кучера съ своимъ огромнымъ сверткомъ подъ мышкой, бережливо закутаннымъ въ клѣтчатый платокъ.

То была драгоцѣнная рукопись „Непризнанной Индѣйки“, которая летѣла въ бѣлокаменную, съ тѣмъ, чтобъ возложить лавровый вѣнокъ на приплюснутое чело и вихры безсмертнаго проживальщика.

Аристархъ Ѳедоровичъ усѣлся въ коляску; за нимъ, подпрыгивая и прискакивая, послѣдовалъ Васильковъ, который во все время разставанья страшно выпучилъ глаза и не переставалъ посылать стоявшимъ на крыльцѣ трогательные знаки соболѣзнованія. Сидоръ, утирая обшлагомъ рукава слѣды слезъ, оставленныхъ на широкомъ лицѣ его глазами дражайшей половины, усѣлся на запятки. Балахновъ махнулъ рукой; молодой кучеръ затянулъ: „Не бѣлы-то снѣги“, и коляска, подхваченная доброю четвернею, исчезла скоро изъ виду...

И опустѣли Ханскіе-Пруды! опустѣлъ прадѣдовскій домъ Аристарха Ѳедоровича!

Дни потянулись за днями, не принося ровно никакой перемѣны въ однообразной жизни немногихъ обывателей древняго дома.

Солнце попрежнему восходитъ каждое утро на плоскомъ горизонтѣ Ханскихъ-Прудовъ, попрежнему окрашиваетъ золотымъ пурпуромъ бельведеръ, макушки березъ, обелиски и стѣны флигелей; попрежнему, подымаясь выше и выше, шагаетъ оно каждый день черезъ заборъ, озаряетъ клумбы сада, лужайки, сучья деревъ и желтыя дорожки, молчаливо спускающіяся въ густую темнозеленую листву акацій... Золотые лучи скользятъ каждое утро по бѣлымъ стѣнамъ древняго дома, врываются въ окно и каждое утро, куда бы ни устремлялись они, вездѣ и всюду встрѣчаютъ хлопотливое, заботливое лицо Карачаева, который неусыпно блюдетъ за порядкомъ и благосостояніемъ прадѣдовскаго дома и его обывателей, ввѣренныхъ, какъ уже извѣстно, его попеченію. Солнце достигаетъ наконецъ до комнаты вдовы Чивадзи и освѣщаетъ желтое лицо, на которомъ съ каждою зарею появляется какой-нибудь но-

вый, опустошительный слѣдъ глубоко-затаенной страсти; послѣ того золотые лучи начинаютъ обыкновенно опускаться книзу, меркнутъ на бельведерѣ и, пугливо скользнувъ по бѣлкамъ дѣвицы Сараманаевой, обращеннымъ на проходящаго Прокисая Захаровича, пропадаютъ за горизонтомъ, съ тѣмъ, чтобъ на другой день снова освѣтить тѣ же картины и лица.

Но рѣдко, весьма рѣдко, проникаетъ солнце въ глухую, заброшенную часть сада, куда обращено окно маленькой дѣтской; рѣдко играютъ золотые лучи на темныхъ стѣнахъ, расписанныхъ деревьями и обставленныхъ вокругъ бѣлыми, какъ снѣгъ, маленькими постелями; одинъ тусклый, чуть вздрагивающій свѣтъ лампадки передъ иконой освѣщаетъ маленькія постельки и склоненное надъ ними лицо молодой женщины, погруженной въ безотрадное, грустное раздумье...

XX

трактуетъ въ особенности о томъ, какъ Бобоховъ поѣхалъ въ Москву, что онъ тамъ дѣлалъ, кого встрѣчалъ, и знакомитъ читателя съ великолѣпнымъ Аркадіемъ Тохтамышевымъ.

Была глухая, бурная, ненастная ночь. Крупный дождикъ, лившій еще съ утра, дѣлалъ проселки Горшковскаго уѣзда окончательно непроходимыми и обращалъ глинистую почву большой столбовой дороги въ страшную топь. Непроницаемый мракъ и отчаянная глушь царствовали повсюду; рѣдкія, тщедушныя ветелки, уцѣлѣвшія кой-гдѣ на окраинѣ большой дороги, колеблемыя вѣтромъ, издавали пронзительные звуки, которые, подобно дискантамъ огромнаго хора, подхватывали и вторили басистому реву бури, гулявшей на просторѣ по чернымъ, какъ уголь, полямъ...

Но горшковская большая дорога тщетно призывала ненастье и бурю, въ надеждѣ отдохнуть хотя на минуту отъ докучливыхъ проѣзжающихъ: она никогда не знала покоя. И въ ту ночь, равно какъ во всѣ предшествовавшія и предыдущія ночи, равно какъ во всѣ дни, часы и минуты ея существованія, она не могла освободиться отъ проѣзжающихъ, которые съ крикомъ врѣзывали свои колёса по самую ступицу въ ея рыхлую, старческую грудь.

И добро бы бороздили ее тонкія колёса тарантасовъ— куда бы еще ни шло, все, словно, легче; но лѣзли туда же и неуклюжія, тяжеловѣсныя колёса обозниковъ и всякой сволочи; вотъ что казалось нестерпимымъ и, по всей справедливости, обиднымъ горшковской большой дорогѣ. Несмотря, однакожъ, на эти подраздѣленія, доказывавшія, что горшковская большая дорога преисполнена сознаніемъ собственнаго своего достоинства, всѣмъ проѣзжающимъ, сидѣли ли они подъ рогожей, на облучкѣ телѣжонки, покоились ли на днѣ тарантаса, подъ перинами и пуховиками—одинаково непріятно было тащиться въ бурную, дождливую ночь; взоры всѣхъ безъ исключенія, кромѣ тѣхъ, разумѣется, которые уткнуты были въ перины, устремлялись съ одинаковой степенью зависти на рядъ ярко-освѣщенныхъ оконъ, блиставшихъ въ отдаленіи, влѣво отъ дороги.

Тѣ изъ путниковъ, которые подскакивали на облучкахъ и которымъ извѣстно было, что освѣщенныя окна принадлежали голодаевскому барину, Бобохову, ничего не говорили и думали развѣ о томъ только, что въ этомъ домѣ, каковъ бы онъ ни былъ, все же теплѣе въ настоящую минуту, чѣмъ на большой дорогѣ; но зато путешественники, сидѣвшіе въ тарантасахъ, не отрывали заспанныхъ очей отъ ярко-освѣщенныхъ оконъ, блиставшихъ посреди черной ночи, какъ глаза цѣлой стаи волковъ. Сладостно утопая въ пуховикахъ, они переносились мысленно въ роскошныя палаты, наполненныя гостями; имъ чудились уже, сквозь шумъ дождя и грохотъ бури, веселые звуки оркестра; переносясь постепенно отъ толпы слугъ, разносившихъ безчисленное множество подносовъ съ безчисленнымъ множествомъ мороженаго, къ дамскимъ плечамъ и прическамъ, они рисовали самыя обворожительныя и привлекательныя картины; многіе изъ этихъ путешественниковъ и путешественницъ заносились часто такъ высоко по поводу освѣщенныхъ оконъ, что начинали вдругъ обдергивать платье, приглаживать волосы и съ испугомъ ощупывали прорѣхи дорожной одежды, какъ бы готовясь черезъ минуту вступить въ чертогъ и принять участіе въ роскошномъ праздникѣ, созданномъ пылкой ихъ фантазіей.

Но тарантасы проѣзжали, однакожъ, мимо, и ни одинъ изъ нихъ не завертывалъ за каменную ограду бобоховскаго дома. Тѣмъ лучше! Пускай мечтательные путеше-

ственники остаются въ пріятномъ заблужденіи, и пусть картина блистательнаго дома, промелькнувшая въ ихъ воображеніи, напутствуетъ ихъ всюду, во все продолженіе скучной, печальной дороги.

Въ голодаевскомъ домѣ нѣтъ ни одного гостя; всѣхъ ихъ замѣняетъ самъ Бобоховъ, который расхаживаетъ быстрыми шагами по ярко-освѣщеннымъ комнатамъ: „Истинный джентльменъ, находится ли онъ посреди многочисленнаго общества, сидитъ ли одинъ у себя дома, не долженъ измѣнять на волосъ образа жизни". Правило это, внушенное великолѣпнымъ Аркадіемъ Тохтамышевымъ, своякомъ Бобохова, строго соблюдалось симъ послѣднимъ; въ одномъ лишь замѣтно было маленькое отступленіе отъ джентльменскихъ правилъ: въ гостиной, на кругломъ столикѣ, стоялъ стаканъ съ домашнимъ пивомъ, изъ котораго поминутно прихлебывалъ Иванъ Дормидонычъ. Благодаря освѣщенію, бросавшему желтые потоки свѣта на лицо Бобохова, можно было утвердительно сказать, что лицо это вздувалось и пыжилось отъ удовольствія; причины, пробуждавшія такое чувство, должны были быть очень сильны, потому что Бобоховъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на шумъ дождя, барабанившаго по стекламъ, не обращалъ вниманія на яростное шипѣніе воды, низвергавшейся съ кровель цѣлыми ручьями, которые, измѣняя по волѣ вѣтра дугообразное направленіе, обдавали очень часто сверху до низу огромныя окна; ему нипочемъ была буря; радость, наполнявшая его душу, не оставляла тамъ малѣйшаго закоулка для другого чувства; радость звенѣла даже въ ушахъ его, и по этому самому уши Бобохова оставались глухи къ суровому голосу вѣтра, который люто завывалъ вокругъ дома выскочки, какъ бы намѣреваясь содрать съ древнихъ стѣнъ неумѣстное великолѣпіе.

Дѣло вотъ въ чемъ. Иванъ Дормидонычъ, нѣсколько часовъ тому назадъ, продалъ горшковскому купцу весь свой хлѣбъ, находившійся еще въ полѣ, то-есть „на корню", какъ говорится, и продалъ за чистыя деньги; чтобъ объяснить такое распоряженіе, слѣдуетъ сказать, во-первыхъ, что Ивану Дормидонычу хотѣлось ѣхать въ Москву; во-вторыхъ, что Иванъ Дормидонычъ вовсе не былъ такъ богатъ, какъ прокричали въ уѣздѣ. Все богатство находилось еще покуда въ рукахъ его матери, умной старой купчихи, которая хотя и не училась ариѳметикѣ, но тѣмъ

не менѣе отлично соблюдала счетную часть и ничего почти не давала сыну, зная, вѣрно по опыту, что отцовское наслѣдіе не пойдетъ впрокъ круглой, пустой башкѣ.

Бобохову необходимо, между тѣмъ, ѣхать въ Москву. И у него точно такъ же была своя задушевная мысль. Онъ горѣлъ желаніемъ приняться, какъ можно скорѣе, за усовершенствованіе трехъ музыкантовъ изъ крѣпостного оркестра, обнаруживавшихъ, по его мнѣнію, необыкновенное дарованіе. Убѣжденный заранѣе, что талантъ трехъ доморощенныхъ виртуозовъ, развиваемый, съ одной стороны, его совѣтами, съ другой — совѣтами и уроками первыхъ московскихъ артистовъ, достигнетъ въ скоромъ времени высшей степени своего могущества, Бобоховъ потиралъ руки, воображая съ восторгомъ, что, черезъ какіе-нибудь три мѣсяца, дастъ концертъ, въ которомъ, разумѣется, будетъ играть значительную роль какъ дилетантъ, знатокъ музыки и меценатъ, создавшій трехъ первоклассныхъ виртуозовъ.

Вмѣстѣ съ такою мыслью, пухлыя щеки покровителя искусствъ раздувались такъ сильно, что рысьи глазки его, маленькій носъ и рыжіе усики уходили куда-то внутрь и казались совершенно пропадавшими между двумя лоснящимися, глянцовитыми щеками.

Было уже далеко за полночь, и въ стаканѣ, стоявшемъ на маленькомъ столикѣ, не было уже капельки пива, когда Бобоховъ остановился наконецъ у двери гостиной и крикнулъ „эй!“

Воззваніе это, произносимое всякій разъ едва внятнымъ голосомъ, заключало, должно-быть, въ себѣ какую-нибудь магнетическую силу, потому что въ состояніи было пробудить Корнея даже въ томъ случаѣ, если бъ онъ находился въ летаргическомъ снѣ.

Секунду спустя, явился Корней.

— Распорядиться, чтобъ завтра утромъ готова была карета! сказалъ Бобоховъ, дѣлая явныя усилія побѣдить въ себѣ чувство, воспрещавшее ему входить въ какія бы то ни было объясненія съ людьми,—да сказать, что Гаврила Дементьевъ, Фролъ Климовъ и Севастьянъ Зюзинъ-Овсянниковъ, изъ музыкантовъ, ѣдутъ со мной! заключилъ Бобоховъ и, какъ бы испугавшись, что видъ Корнея можетъ дать поводъ къ новымъ объясненіямъ, поспѣшно отвернулся и ушелъ въ спальню, гдѣ давно уже ждалъ его другой камердинеръ.

На другой день дождь шелъ ливнемъ, и буря ревѣла попрежнему; но это не могло остановить Бобохова: онъ сѣлъ въ карету и, сопровождаемый тремя будущими концертистами, выѣхалъ вскорѣ на большую дорогу.

Въ дорогѣ не случилось ничего особенно замѣчательнаго, если не принимать въ расчетъ маленькаго событія, постигшаго Бобохова въ самомъ Горшковѣ. Въ Горшковѣ, какъ уже извѣстно, протекала подъ самою горою широкая рѣка; горшковское купечество, воодушевляемое своими торговыми расчетами, находило нелишнимъ строить ежегодно на этой рѣчкѣ плотовый мостъ; мостъ этотъ, приподнятый двухсуточнымъ ливнемъ, сорвался съ каната и помчался, какъ на зло, въ ту самую минуту, когда Бобоховъ подъѣзжалъ къ берегу, сгорая желаніемъ перебраться какъ можно скорѣе на противоположную сторону. Иванъ Дормидонычъ, подобно новому Ксерксу, разразился энергическими эпитетами противъ капризной стихіи, но, вѣроятно, видя безполезность такой мѣры, обратился тотчасъ же къ слабымъ смертнымъ, глазѣвшимъ съ нѣмымъ удивленіемъ на отплывающіе остатки моста. Извѣстіе, что какой-то важный господинъ — куда какой важный! и руками машетъ, и кричитъ на весь берегъ, и грозитъ донести о горшковскихъ безпорядкахъ, мигомъ распространилось по городу и не замедлило достигнуть ушей купеческаго головы; купеческій голова — сѣдой, смышленый старикъ, запугался не на шутку и поспѣшилъ явиться съ повинной, обдумавъ напередъ оправданіе: „это, вѣдь, такъ и такъ, никто-де не виноватъ въ такомъ казусномъ и вовсе неожиданномъ дѣлѣ“. Голодаевскій баринъ, свирѣпѣвшій отъ негодованія, напустился тотчасъ же на голову, но увидѣлъ, къ величайшему своему изумленію, что голова не проявилъ ни малѣйшаго испуга, какъ только встрѣтился съ нимъ лицомъ къ лицу.

— А, это ты, мой батюшка! сказалъ голова.—Ну, было зачѣмъ бѣжать, а я думалъ и взаправду не вѣсть какой заслуженный человѣкъ... Нашего поля ягодка, отецъ родной, нашего поля ягодка! заключилъ старикъ, спокойно выходя на дорогу и принимаясь такъ же спокойно подыматься обратно въ гору.

Что̀ далѣе было съ Бобоховымъ, неизвѣстно; извѣстно только то, что онъ выместилъ свое негодованіе на тридцати рыбакахъ, перетаскивавшихъ на паромѣ его карету, и выместилъ тѣмъ, что далъ имъ за труды одинъ цѣлковый.

Бобоховъ много читалъ о Москвѣ: прочитанные имъ отрывки зароились хлопьями въ его головѣ, когда древняя наша столица предстала неожиданно изъ-за холма съ своими бѣлыми стѣнами, пестрыми церквами, золотыми куполами и зелеными садами, охваченными раннимъ утреннимъ солнцемъ. Чудный видъ! Онъ пробудилъ даже въ Бобоховѣ какое-то особенное чувство, которое мигомъ разогнало злобу, кипѣвшую въ его сердцѣ по поводу исторіи съ горшковскимъ купеческимъ головою.

Не скоро, однакожъ, показалась застава: Москва видна издали! Пославъ Корнея объявить караульному офицеру, что проѣзжаетъ такой-то и такой-то изъ собственнаго имѣнія Голодаевки, Бобоховъ свершилъ въѣздъ въ столицу. Съ этой минуты рысьи глазки, маленькій носъ и усики Ивана Дормидоныча окончательно уже исчезли для свѣта; изъ зеркальныхъ оконъ кареты виднѣлась лишь пара лоснящихся, глянцоватыхъ щекъ. Проколесивъ добрымъ порядкомъ по разнымъ закоулкамъ, миновавъ два моста, перебравшись потомъ нѣсколько разъ черезъ холмы, откуда открывались чудныя панорамы, карета очутилась, наконецъ, на главныхъ улицахъ города и вскорѣ загремѣла подъ воротами одной изъ первыхъ гостиницъ.

Гостиница эта пользовалась вполнѣ заслуженною извѣстностью; не помню, какъ она прозывалась — кажется, Hôtel de Princes, или что-то въ этомъ родѣ, помню только, что названіе было чрезвычайно аристократическое. Она занимала огромный домъ и номера располагались въ бельэтажѣ; главный входъ, со стороны площади, украшался швейцаромъ съ булавою, который, въ свободное время отъ занятій, заключавшихся въ томъ, чтобъ откармливать снѣгирей въ конуркѣ, смежной съ прихожей, не переставалъ играть въ шашки и отрывался лишь въ крайнихъ случаяхъ, а именно, когда слѣдовало вмѣстѣ съ приказчикомъ отправиться въ номеръ и получить заслуженную „на водку“ у отъѣзжающаго гостя. Такой ужъ заведенъ былъ порядокъ, охотно, впрочемъ, поощряемый гостями, которые находили весьма законнымъ платить за удовольствіе, доставляемое имъ швейцарской булавой, сіявшей во всякое время дня въ углу, подлѣ лѣстницы, ведшей въ ихъ комнаты. Лѣстница была великолѣпна и соотвѣтствовала какъ нельзя лучше великолѣпію нумеровъ. Бобоховъ нигдѣ не останавливался, какъ въ этой гостиницѣ. Отдавъ строжайшее приказаніе своимъ людямъ, чтобъ они не об-

наруживали мѣщанской суеты при переноскѣ вещей, онъ показалъ самодовольныя свои щеки швейцару и поднялся на лѣстницу; на порогѣ конторы, примыкавшей къ самой лѣстницѣ, его встрѣтилъ хозяинъ — откормленный, румяный господинъ съ изящными завитками на головѣ, въ черномъ фракѣ и бѣломъ жилетѣ отличнаго покроя.

— Mssieur j'ai bien l'honneur... et la santé, mssieur, comment va t'elle?.. bien, enchanté, mssieur... сказалъ съ развязностью хозяинъ, природный москвичъ, сынъ наполеоновскаго солдата, который не могъ слѣдовать въ двѣнадцатомъ году за арміей, по причинѣ отмороженныхъ ногъ.

— Хорошо... oui... отвѣчалъ Бобоховъ, — мнѣ numero премьé.

— Первый нумеръ занятъ, сказалъ лакей въ синемъ фракѣ съ свѣтлыми пуговицами, стоявшій позади хозяина.

Извѣстіе это поразило самымъ непріятнымъ образомъ Ивана Дормидоныча. Такая досада! Онъ въ Голодаевкѣ еще разсчитывалъ занять непремѣнно этотъ нумеръ. Но дѣлать было нечего: во всей гостиницѣ оставался свободнымъ одинъ только пятый нумеръ, и Бобоховъ поспѣшилъ помѣститься въ немъ, опасаясь, чтобъ не пришлось—чего добраго!—ѣхать въ другую гостиницу безъ швейцара и аристократическаго прозвища. Первымъ дѣломъ Бобохова было истребовать списокъ съ именами гостей, и неудовольствіе его возросло до неимовѣрной степени, когда онъ прочелъ противъ перваго нумера: Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ. Неудовольствіе Бобохова объяснялось разными причинами, во главѣ которыхъ стояли не совсѣмъ пріязненныя отношенія, существовавшія между нимъ и владѣтелемъ Ханскихъ-Прудовъ. Но, какъ я уже сказалъ, дѣлать было нечего, и Иванъ Дормидонычъ примирился на томъ, что постарается какъ можно рѣже встрѣчаться съ сосѣдомъ. Принявъ такое намѣреніе, онъ позвонилъ Корнея и отдалъ ему приказаніе (такимъ голосомъ, конечно, чтобъ слышно было въ сосѣднихъ нумерахъ) отправиться немедленно къ сестрѣ, госпожѣ Тохтамышевой, и возвѣстить о его пріѣздѣ.

Полчаса спустя, вернулся Корней и объявилъ (также во всеуслышаніе), что Наталья Кирилловна изволитъ радоваться и проситъ братца пожаловать къ себѣ. Бобоховъ послалъ Корнея къ госпожѣ Тохтамышевой болѣе для того, разумѣется, чтобъ жители сосѣднихъ нумеровъ знали, съ кѣмъ имѣютъ дѣло; самъ онъ не думалъ посѣтить ее

и располагалъ провести весь этотъ день въ отдохновеніи послѣ трудной дороги; онъ начиналъ уже приводить въ исполненіе такое намѣреніе, а именно, закуривъ сигару, возлегъ на бархатную кушетку, какъ вдругъ вбѣжалъ Корней и доложилъ, что Аркадій Алексѣевичъ Тохтамышевъ изволитъ подыматься по лѣстницѣ. Носъ, усы и глазки Бобохова мгновенно исчезли за щеками, на которыхъ обозначились теперь слѣды восторженности, смѣшанной съ пріятнымъ смущеніемъ.

Онъ быстро вскочилъ съ кушетки, оправился передъ зеркаломъ и еще быстрѣе повернулся къ двери, за которой слышался ужъ голосъ Тохтамышева.

Со стороны Бобохова потребовались невѣроятныя усилія, чтобъ не броситься, сломя голову, навстрѣчу великолѣпному родственнику; проникнувшись мгновенно свѣтскимъ правиломъ какого бы то ни было чувства, Бобоховъ овладѣлъ, однакожъ, собою и остановился на порогѣ комнаты, игравшей въ нумерѣ роль гостиной. Онъ выдержалъ характеръ даже тогда, когда увидѣлъ гостя въ какихъ-нибудь пяти шагахъ отъ себя.

Гость выступалъ между тѣмъ ровнымъ, медленнымъ шагомъ и направлялся прямо къ зеркалу, висѣвшему въ сосѣдней комнатѣ; поровнявшись съ зеркаломъ, онъ снялъ шляпу, остановился, прищурилъ глаза, поправилъ волосы, покрутилъ усы и, наконецъ, рѣшился уже повернуться къ Бобохову, который продолжалъ, между тѣмъ, стоять на порогѣ гостиной, пыжась изо всей мочи, чтобъ выдержать до конца свѣтское правило, воспрещавшее обнаруживаніе чувствъ.

Аркадію Алексѣевичу Тохтамышеву лѣтъ тридцать пять; онъ высокъ ростомъ, сложенъ отлично и вообще представляетъ изъ себя совершеннѣйшій типъ тѣхъ красавцевъ, которые сводятъ съ ума, на гуляньи, въ Сокольникахъ, всѣхъ молодыхъ купчихъ, такъ-называемыхъ „легкихъ барынь“, да еще кой-какихъ пожилыхъ дамъ, не пропускающихъ публичныхъ гуляній и наводящихъ лорнетъ на всѣхъ красавцевъ безъ исключенія; правильное лицо его отличается тою очаровательною, интересною блѣдностью, какая пріобрѣтается съ успѣхомъ просиживаніемъ нѣсколькихъ ночей сряду за карточнымъ столомъ и неумѣренными ужинами, которые сопровождаются самыми неумѣренными возліяніями Вакху. Сопливая блѣдность лица выкупается, впрочемъ, у Тохтамышева необычайною

бойкостью сѣрыхъ глазъ, оттѣненныхъ длинными рѣсницами, черными закрученными усами, черной эспаньолкой и черными кудрявыми волосами, съ синими глянцовитыми оттѣнками; одѣтъ онъ превосходно: темная коротенькая жакетка, панталоны—de fantasie, какъ говорятъ портные, клѣтчатый кашемировый жилетъ, на которомъ болтается тяжеловѣсная цѣпочка... пестро, но со вкусомъ; на груди его сіяетъ ослѣпительной бѣлизны батистовая рубашка съ откидными полукруглыми воротниками, перехваченными бантомъ шелковаго галстука, повязаннаго съ изящною небрежностью въ одинъ оборотъ; руки его, съ длинными ногтями, унизаны безчисленнымъ множествомъ дорогихъ перстней, изъ которыхъ одинъ, особенно блестящій, помѣщается всегда на ногтѣ большого пальца правой руки; кожа на оконечностяхъ этихъ рукъ такъ тонка, что Тохтамышеву, кажется, ровно ничего не значило, да и въ самомъ дѣлѣ ничего не значило, узнать ощупью, пожалуй, хоть въ потемкахъ, масть какой угодно карты; для этого ему стоило только провести руками по фигурѣ карты, ощупать толщину краски, и карта сама собою сказывалась—искусство, приводившее не разъ въ справедливое смущеніе товарищей, просиживавшихъ съ нимъ ночи за зеленымъ столомъ.

Повернувшись къ Бобохову, Аркадій Тохтамышевъ протянулъ ему кончики своихъ драгоцѣнныхъ пальцевъ и, сказавъ: „А! здравствуйте, Иванъ Дормидонычъ!“ вошелъ въ гостиную, переваливаясь съ ноги на ногу, какъ будто въ карманахъ его была огромная тяжесть.

— Ахъ, какъ мнѣ пріятно... чрезвычайно пріятно... мм... мм... м... очень радъ, заговорилъ Бобоховъ, стараясь обуздать восторгъ, который, не находя, вѣроятно, другого исхода, страшнѣйшимъ образомъ раздувалъ его щеки.

— Какими судьбами въ Москвѣ? спросилъ Тохтамышевъ, глядя въ окно и, очевидно, думая о другомъ.

— Скучно въ деревнѣ... и притомъ хотѣлось поговорить съ здѣшними артистами насчетъ моихъ музыкантовъ... двадцать одинъ человѣкъ въ оркестрѣ... Надѣюсь, вы дадите мнѣ добрый совѣтъ, къ кому именно обратиться, повѣствовалъ Бобоховъ, протискиваясь также къ окну и стараясь попасть въ лучъ зрѣнія свояка.—У меня, вотъ видите ли, три музыканта, удивительнѣйшіе таланты! Я хочу образовать изъ нихъ, то-есть сдѣлать primo... Ахъ виноватъ, какъ здоровье Натальи Кирилловны?

— Ничего; что ей дѣлается... Впрочемъ не знаю, сказалъ Тохтамышевъ, оттопыривая верхнюю губу и наводя глаза на собственные усы свои.

— Чрезвычайно пріятно... не прикажете ли сигару?.. Эй, человѣкъ, свѣчу!

Тохтамышевъ взялъ сигару, развалился въ кресло и первый разъ обратилъ вниманіе на собесѣдника.

— Да, такъ вы здѣсь насчетъ музыкантовъ. Что жъ, хорошо, доброе дѣло, вымолвилъ онъ, протягивая ноги, закидывая назадъ завитую, напомаженную свою голову и небрежно закуривая сигару, — о-о-очень хорошо; стало-быть... (тутъ Аркадій Алексѣевичъ окончательно уже навелъ свои сѣрые глаза на Бобохова и прибавилъ, снисходительно улыбнувшись):—Стало-быть, любезный нашъ Иванъ Дормидонычъ привезъ съ собой много денегъ? а?..

— Да, отвѣчалъ тотъ,—а впрочемъ, вы знаете, у меня всегда есть деньги... я положилъ двѣ тысячи...

— Только-то? перебилъ съ живостью Тохтамышевъ,— ну, милѣйшій мой, съ этимъ вы въ Москвѣ не далеко уѣдете...

— Какъ, и вы думаете, ха-ха-ха! вы думаете всего-на-все двѣ тысячи? Какъ это можно, помилуйте! Это, разумѣется, для образованія трехъ музыкантовъ, о которыхъ я вамъ говорилъ. У меня съ собою покуда десять тысячъ серебромъ, безпечно отвѣчалъ выскочка, увеличивая ровно вдвое привезенную имъ сумму, для того, вѣроятно, чтобъ выиграть какъ можно больше въ мнѣніи свояка, которое было для него всего дороже.

— Ну, то-то, то-то! спокойно возразилъ Тохтамышевъ, между тѣмъ какъ глаза его запрыгали по всей комнатѣ, такъ что онъ съ трудомъ могъ удерживать ихъ, наконецъ, на собесѣдникѣ.—То-то! Ну, Иванъ Дормидонычъ, разсказывайте, разсказывайте, какія ваши намѣренія, что думаете дѣлать въ Москвѣ, продолжалъ онъ развязно.— Музыка сама по себѣ; не ей же, я полагаю, посвятите вы исключительно свое время! Москва, какъ нарочно, необыкновенно весела нынѣшнее лѣто; скажите-ка, напримѣръ, что̀ намѣрены вы дѣлать сегодня; неужто отдыхать?..

— Помилуйте, какъ это можно! ха-ха-ха! что вы! я и не думалъ отдыхать; какой отдыхъ, ха-ха-ха!.. смѣшно даже, ей-Богу! поспѣшно отвѣчалъ Бобоховъ.

— То-то, перебилъ Тохтамышевъ, — предоставьте это

какому-нибудь столѣтнему помѣщику, который тащится въ Москву сто лѣтъ на своихъ... кто нынче отдыхаетъ? никто! Порядочный человѣкъ сдѣлаетъ пять тысячъ верстъ, пріѣхалъ, напримѣръ, въ три часа, въ пять—на обѣдѣ, въ семь—въ театрѣ, въ двѣнадцать—въ клубѣ или маскарадѣ... Итакъ, что жъ вы думаете сегодня, любезнѣйшій Иванъ Дормидонычъ?

— Я только что хотѣлъ одѣваться и ѣхать повидаться съ Натальей Кирилловной...

— Ну, вотъ еще! очень нужно! что за нетерпѣнье. Какъ будто между вами такая ужъ въ самомъ дѣлѣ родственная любовь, что дня не можете провести въ разлукѣ; успѣете еще двадцать разъ повидаться съ нею.

— О, я совсѣмъ не то, чтобъ... но такъ, просто, хотѣлось... знаете...

— Ну, да что объ этомъ толковать! По-моему, вотъ что: одѣваться-таки извольте себѣ, но вмѣсто того, чтобъ ѣхать къ сестрицѣ, поѣдемте-ка лучше обѣдать къ Шевальѐ. Который часъ?.. Скоро четверть пятаго; пока одѣнетесь, будетъ самое время, сказалъ Тохтамышевъ, приподнимаясь съ мѣста.

— Ахъ, чрезвычайно пріятно! Я и самъ думалъ... Эй! одѣваться! Извините, я васъ на минуту оставлю, торопливо заговорилъ Бобоховъ, который, при мысли ѣхать вмѣстѣ съ Тохтамышевымъ и явиться съ нимъ рука-объ-руку въ первомъ московскомъ кафе-ресторанѣ, никакъ не могъ сохранить должнаго равнодушія.

— Можете, впрочемъ, не торопиться, успѣете еще, возразилъ Тохтамышевъ, вооружаясь шляпой.

— Какъ, развѣ мы не вмѣстѣ?..

— Нѣтъ; мнѣ надо еще кой-куда заѣхать; въ пять часовъ я буду у Шевальѐ; до свиданія! заключилъ своякъ, надѣвая шляпу въ дверяхъ гостиной и ровнымъ, мѣрнымъ шагомъ выходя въ смежную комнату.

Оставшись наединѣ, Тохтамышевъ проявилъ, однакожъ, необыкновенную живость, смѣшанную съ пожирающимъ нетерпѣніемъ, которое заискрилось въ сѣрыхъ глазахъ его. Усаживаясь въ наемную карету, онъ не переставалъ потирать руки, при чемъ драгоцѣнныя оконечности его пальцевъ пришли въ такое движеніе, какъ будто разыгрывали на фортепіано самую трудную сонату.

Бобоховъ между тѣмъ послалъ нанять лучшую извозчичью карету и, юркнувъ за портьеру, началъ одѣваться.

Въ сердцѣ его ни малѣйшей досады къ великолѣпному родственнику; непреклонная мечта сойтись и сдружиться съ своякомъ и показываться съ нимъ всюду рука-объ-руку, не дававшая покоя Бобохову съ той самой минуты, какъ двоюродная сестра его вышла за Тохтамышева, могла еще осуществиться. Времени оставалось много впереди, отчаиваться было нечего. Не удалось сегодня, удастся въ другой разъ, такъ разсуждалъ Иванъ Дормидоновичъ, и чувство маленькаго неудовольствія, возникшее въ душѣ его по поводу настоящей неудачи, снова замѣнилось величайшимъ уваженіемъ къ дендизму Аркадія Алексѣевича.

Слѣдя внимательно за стрѣлкою часовъ, чтобъ не запоздать минутой и, со всѣмъ тѣмъ, не пріѣхать раньше назначеннаго срока, Бобоховъ вышелъ, наконецъ, въ гостиную.

— Шляпу! крикнулъ онъ, самодовольно вертясь передъ зеркаломъ, отражавшимъ длинный бѣлый жилетъ.

Надѣвъ шляпу, онъ снова принялся охорашиваться передъ зеркаломъ, но взглянулъ на часы и вдругъ бросился сломя голову вонъ изъ нумера. Минуту спустя, великолѣпная карета проглотила выскочку, и рысьи глазки его, вмѣстѣ съ носомъ и усиками, снова исчезли для свѣта. У Шевальѐ было довольно много посѣтителей. Бобоховъ обратился къ лакею и спросилъ во всеуслышаніе, не пріѣхалъ ли господинъ Тохтамышевъ.

— Пріѣхали-съ; они изволятъ быть въ красной комнатѣ...

— Одинъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, съ ними господинъ Чиндаласовъ и Петръ Степанычъ Краповъ.

Бобоховъ, наслышанный еще въ провинціи о необычайномъ изяществѣ и свѣтскомъ значеніи Чиндаласова (Чиндаласовъ былъ изъ той же губерніи, какъ и Бобоховъ), почувствовалъ нѣкоторую робость и щеки его мгновенно покрылись краской; но это продолжалось секунду; онъ кашлянулъ и вошелъ въ красную комнату.

— Господа, рекомендую вамъ добраго моего пріятеля, Ивана Дормидоныча Бобохова, сказалъ Тохтамышевъ, подводя родственника къ Чиндаласову, господину съ круглымъ, цвѣтущимъ, смѣющимся лицомъ, черными остриженными бакенбардами и необыкновенно выпуклою грудью, украшенною плюшевымъ жилетомъ ярко изумруднаго цвѣта.—Петръ Степанычъ Краповъ! Иванъ Дормидонычъ Бо-

боховъ, продолжалъ Тохтамышевъ, сводя родственника со вторымъ господиномъ.

Второй господинъ, человѣкъ лѣтъ сорока, совершенно лысый, толстый, приземистый, съ живыми буро-зеленоватыми глазками; черный длинный сюртукъ, стариковскаго покроя, придавалъ ему самый почтенный видъ. Два господина протянули руки Бобохову, который сказалъ каждому изъ нихъ, что ему чрезвычайно пріятно.

Обѣдъ начался. Съ начала до конца обѣда Бобоховъ млѣлъ и замиралъ отъ восхищенья; робость тотчасъ же уступила мѣсто тому легкому, свободному чувству, какое ощущаешь въ обществѣ истинно-порядочныхъ людей. Благодаря этой свободѣ, ему легко было вслушиваться въ каждое слово трехъ собесѣдниковъ, слѣдить за каждымъ ихъ движеніемъ, и если такой трудъ казался иной разъ крайне затруднительнымъ, потому что часто три собесѣдника говорили вмѣстѣ, Бобоховъ не падалъ, однакожъ, духомъ и продолжалъ ревностно наблюдать, въ надеждѣ уловить хотя самую малость, которая современемъ могла бы послужить ему съ пользою, когда онъ снова вернется въ кругъ уѣздныхъ помѣщиковъ и помѣщицъ. Дѣлая свои наблюденія, Бобоховъ не пропускалъ случая блеснуть ученостью; но потому ли, что три собесѣдника находили ученую бесѣду несовмѣстимою съ роскошнымъ обѣдомъ, или просто не было въ нихъ большого сочувствія къ наукамъ—попытки Ивана Дормидоновича оказались совершенно безуспѣшными. Онъ не былъ, впрочемъ, въ претензіи: Бобоховъ охотно промѣнялъ бы свою ученость на частичку той свѣтскости, какою отличались три собесѣдника; его особенно приводила въ восхищеніе любезность Чиндаласова, который, къ концу обѣда, усѣлся подлѣ него и засыпалъ его вопросами о томъ, каковы урожаи, что говорятъ о предстоящемъ покосѣ и есть ли вообще надежда свести, нынѣшній годъ, концы съ концами.

— Потому что, прибавилъ Чиндаласовъ,—съ тѣхъ поръ, какъ я былъ въ деревнѣ, то-есть мѣсяцъ тому назадъ, многое могло измѣниться...

— Какъ, мѣсяцъ тому назадъ вы были въ нашихъ краяхъ? Чрезвычайно сожалѣю, что не зналъ этого!..

— Да, мѣсяцъ тому назадъ... и, повѣрите ли, господа? очень пріятно провелъ время! Тамъ встрѣтилъ я, между прочимъ, одну черненькую съ усиками... какъ бишь ее?.. да, Кошкина...

— Знаю, знаю; помилуйте! какъ не знать! о-о-очень даже хорошо знаю!.. произнесъ Бобоховъ, готовый въ эту минуту разоблачить сокровеннѣйшія тайны своего сердца.

— Да полно тебѣ, Чиндаласовъ; ну, что ты его угощаешь провинціей! Я думаю, она и безъ того ему надоѣла. Онъ пріѣхалъ въ Москву совсѣмъ не затѣмъ, чтобъ слушать новости своего уѣзда... сказалъ Тохтамышевъ.

— Господа! неожиданно забасилъ Крановъ,—замѣтили ли вы, что другъ нашъ, Тохтамышевъ, склоненъ нынче къ нравоученіямъ, да и вообще онъ какъ-то не въ своей тарелкѣ... а! а! подхватилъ Крановъ, пуская густую восклицательную ноту изъ своего жирнаго горла,—у меня совсѣмъ изъ головы вышло: вѣдь сегодня балетъ, и онъ состоитъ на дежурствѣ!.. Вотъ вамъ и разгадка...

— Какъ, развѣ Лизавета танцуетъ сегодня? спросилъ Чиндаласовъ.

— Танцуетъ и, хочешь знать, участвуетъ даже въ pas de quatre, отвѣчалъ Тохтамышевъ.

Чиндаласовъ предложилъ сначала тостъ въ честь хорошенькихъ женщинъ, потомъ въ честь Ивана Дормидоныча; тостъ принятъ былъ съ большимъ воодушевленіемъ. Хотя обращеніе съ Бобоховымъ, отъ начала до конца обѣда, проникнуто было легкой ироніей и удовольствіе написано было на всѣхъ лицахъ, ни одно изъ нихъ не обнаружило малѣйшаго слѣда буйнаго веселья, свойственнаго однимъ лишь невоспитаннымъ людямъ.

Замирая и млѣя отъ восхищенія, Бобоховъ изъявилъ трогательную благодарность за сдѣланную ему честь и началъ упрашивать присутствовавшихъ пріѣхать къ нему въ гостиницу.

— Итакъ, дѣло рѣшеное, сказалъ Тохтамышевъ, бросая знаменательный взглядъ на двухъ пріятелей,—мы празднуемъ сегодня возвращеніе моего родственника; послѣ театра—всѣ къ нему!

Такое предложеніе скрѣплено было новымъ искреннимъ пожатіемъ рукъ, и общество поѣхало въ театръ.

Первое дѣйствіе балета было уже на половинѣ, когда Тохтамышевъ, Чиндаласовъ, Крановъ и Бобоховъ показались въ залѣ. Шумное появленіе четырехъ джентльменовъ обратило на нихъ общее вниманіе, и даже многія почтенныя особы прекраснаго пола, движимыя, должно быть, чувствомъ изящнаго, повернулись тотчасъ же спиною къ сценѣ, чтобъ навести свои бинокли на усы Тохтамышева.

Но Тохтамышевъ привыкъ уже получать дань очаровательныхъ улыбокъ и взглядовъ, возбуждаемыхъ его наружностью, и потому, нимало не измѣняясь въ лицѣ, не оттопыривая даже груди, продолжалъ идти тѣмъ же ровнымъ, мѣрнымъ шагомъ по первому ряду, гдѣ было у него абонированное кресло. Бобоховъ и Чиндаласовъ послѣдовали за нимъ; одинъ Крановъ остался позади и усѣлся съ философскимъ спокойствіемъ на первомъ порожнемъ мѣстѣ. Какъ человѣку солидному, положительному, давно отказавшемуся отъ всѣхъ возможныхъ претензій и чуждому притомъ мелочного самолюбія, свойственнаго однимъ молодымъ людямъ, Петру Степановичу Крапову было все равно, гдѣ бы ни сидѣть, лишь бы спокойнѣе дождаться окончанія спектакля и вознаградить себя потомъ легонькой карточной игрою—занятіе мирное, тихое, соотвѣтствовавшее, какъ нельзя болѣе, солиднымъ наклонностямъ Петра Степановича.

Въ первыя минуты своего пребыванія въ первомъ ряду, Бобоховъ ничего не видитъ ни впереди себя, ни подлѣ; рысьи глазки его, совершенно заслоненные щеками, не успѣвшими еще опуститься со времени торжественнаго шествія его по партеру съ Тохтамышевымъ, начинаютъ, однакожъ, мало-по-малу, выглядывать изъ-за своей засады, устремляются на сцену, обводятъ бель-этажъ, повертываются на стороны и вдругъ, подобно тому, какъ прячется голова черепахи при видѣ непріятеля, снова исчезаютъ за щеками. Причина такого неожиданнаго маневра та, что рысьи глазки наткнулись прямо на Аристарха Ѳедоровича Балахнова, величественно сидѣвшаго на сосѣднемъ креслѣ. Между двумя сосѣдями замѣтно сначала нѣкоторое колебаніе, но оно продолжается секунду; Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ человѣкъ съ возвышенными понятіями, даетъ почувствовать выскочкѣ, что учтивость есть первый долгъ каждаго образованнаго гражданина. Онъ слегка наклоняетъ голову и, получивъ въ отвѣтъ такое же точно привѣтствіе, опускается на локоть и шепчетъ въ ухо сосѣду: „Давно въ Москвѣ?“—„Полтора часа тому назадъ!“ отвѣчаетъ Бобоховъ, желая озадачить сосѣда своею неутомимостью, признакомъ, какъ говоритъ Тохтамышевъ, отличающимъ джентльмена отъ всякаго другого смертнаго. „Вы, кажется, если не ошибаюсь, вошли сюда съ Чиндаласовымъ? продолжалъ разспрашивать Балахновъ,—вы съ нимъ знакомы?“—„Да, это мой добрый

пріятель, небрежно отвѣчалъ Бобоховъ,—а, впрочемъ, я пріѣхалъ въ театръ съ братомъ Тохтамышевымъ... Вы знакомы съ Чиндаласовымъ?"—„Нѣтъ; но я часто встрѣчался съ нимъ у насъ, на губернскихъ выборахъ..." Громкій взрывъ аплодисментовъ, раздавшійся въ противоположномъ концѣ перваго ряда и подхваченный съ другихъ сторонъ, прерываетъ бесѣду. Бобоховъ поспѣшно поворачивается къ сценѣ и начинаетъ хлопать, желая, вѣроятно, убѣдить величаваго своего сосѣда, что принимаетъ живѣйшее участіе въ закулисныхъ интересахъ Тохтамышева и Чиндаласова. Аристарху Ѳедоровичу нѣтъ, повидимому, никакого дѣла до того, что происходитъ на сценѣ; онъ пріѣхалъ въ театръ вовсе не съ тѣмъ, чтобъ посмотрѣть новый балетъ; другія мысли управляли Балахновымъ, когда онъ собирался въ театръ; другія мысли занимаютъ дипломатическую его голову съ той минуты, какъ онъ вступилъ въ залу спектакля. Онъ бросаетъ насмѣшливую улыбку выскочкѣ, величественно выпрямляется на стулѣ и наводитъ уголъ глаза на крайнюю ложу бель-этажа, въ которой помѣщается роскошная Софья Алексѣевна Окатова. Окатова наводитъ бинокль на первый рядъ; грудь Аристарха Ѳедоровича, прикрытая чернымъ бархатнымъ жилетомъ, принимаетъ неожиданно гигантскіе размѣры, и лицо его выражаетъ столько благородства, что, взглянувъ на него, Окатова поневолѣ должна будетъ почувствовать угрызеніе совѣсти за исторію, происшедшую между ея мужемъ и Балахновымъ.

Дѣло кончено; долина пропала; вражда между „Ханскими-Прудами" и „Большими-Солями" не можетъ быть исправлена никакими человѣческими силами — все это такъ; но пускай же гордая эта женщина унесетъ съ собою, по крайней мѣрѣ, вѣчное раскаяніе въ томъ, что прежде не сумѣла оцѣнить достойнаго и благороднаго Балахнова.

А между тѣмъ наступилъ антрактъ, шумъ подымается страшный; Чиндаласовъ, Тохтамышевъ, еще нѣсколько театраловъ и за ними Бобоховъ потрясаютъ залу громкими рукоплесканіями. Но Аристархъ Ѳедоровичъ, отданный весь своей мысли, ничего не замѣчаетъ: онъ продолжаетъ наводить уголъ глаза на крайнюю ложу бель-этажа. Замѣтивъ, что предметъ его наблюденій покидаетъ ложу и намѣренъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, прогуляться по фойе, Балахновъ приподымается съ своего мѣста и пред-

принимаетъ такое же точно намѣреніе. Очутившись противъ восьмого ряда, онъ останавливается и подзываетъ къ себѣ Аполлона Егоровича Дрянкова.

— Гдѣ жъ Васильковъ? спрашиваетъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Убѣжалъ изъ театра, безпечно отвѣчалъ авторъ „Непризнанной Индѣйки".

— Какъ? отчего?

— Въ театрѣ Фанагорія Петровна...

Балахновъ обводитъ глазами ложи и вскорѣ отыскиваетъ въ четвертомъ ярусѣ красное лицо, выглядывающее изъ-подъ красной шали и увѣнчанное красной наколкой; онъ поспѣшно опускаетъ глаза, принимаетъ разсѣянный видъ и покидаетъ кресла. Войдя въ коридоръ, Аристархъ Ѳедоровичъ осматривается на всѣ стороны, обдумывая, какъ бы удобнѣе пройти въ фойе, но вдругъ изъ-за угла выскакиваетъ Порфирій Павловичъ и схватываетъ его за руку.

— Вы мой благодѣтель... я васъ нарочно ждалъ... что̀ мнѣ дѣлать?.. поставленъ въ самое непріятное положеніе... ахъ, какой анекдотъ! говоритъ Васильковъ, устремляя тоскливо-безпокойный взоръ на собесѣдника.—Здѣсь Фанагорія Петровна! продолжаетъ онъ, понижая голосъ.— Надо смотрѣть съ точки... вы понимаете, Аристархъ Ѳедоровичъ, наши несчастныя отношенія! Я не могу оставаться въ театрѣ...

— Вотъ вздоръ какой! Сиди себѣ и дѣлай видъ, какъ будто не замѣчаешь ея...

— Невозможно, Аристархъ Ѳедорычъ, невозможно! восклицаетъ Васильковъ, приподымая брови.—Все равно, она меня увидитъ, тогда... тогда такая, знаете, можетъ выйти исторія, просто публичная исторія; нѣтъ, ужъ лучше я посижу въ буфетѣ и къ концу спектакля буду ждать васъ здѣсь, на этомъ мѣстѣ.

— Какъ хочешь, разсѣянно отвѣчаетъ Балахновъ, направляясь въ фойе.

Въ это время шумъ въ креслахъ умолкаетъ къ неописанному удовольствію Фанагоріи Петровны, которая можетъ, наконецъ, наслаждаться въ волю мелодическими звуками оркестра. Услаждая свой слухъ музыкою, напоминающею ей сладкозвучныя трели соловушки, она не спускаетъ въ то же время томныхъ глазъ съ усовъ великолѣпнаго Тохтамышева, изящнаго Чиндаласова и дру-

гихъ театраловъ, которые сгруппировались подлѣ оркестра. Къ нимъ, то съ одной стороны, то съ другой, жмется Бобоховъ; его, однакожъ, не замѣчаютъ, и выскочка, желая, вѣроятно, показать, что такое невниманіе относится вовсе не къ нему, добровольно удаляется отъ кружка театраловъ и, страшно раздувъ щеки, начинаетъ расхаживать по срединѣ залы.

— Здравствуйте, monsieur Бобоховъ, произноситъ за нимъ грубоватый, порывчатый голосъ.

Онъ оборачивается назадъ; видъ, хотя гордой, но далеко не джентльменской наружности Дрянкова смущаетъ его; онъ останавливается.

— Я не зналъ, что вы въ Бѣлокаменной; давно пріѣхали? продолжалъ Аполлонъ Егоровичъ.

— Часа полтора назадъ... а вы зачѣмъ сюда пріѣхали?..

— Я печатаю здѣсь послѣдній свой романъ, отвѣчалъ Дрянковъ, возвышая голосъ и косясь самодовольно на сосѣднія кресла. — Въ Москвѣ печатанье какъ-то дешевле; я знаю это по опыту; для меня этотъ пунктъ очень важенъ въ настоящемъ случаѣ, потому что печатаю, во-первыхъ, на свой счетъ и притомъ отдѣльнымъ изданіемъ. Въ журналы, какъ здѣшніе, такъ и петербургскіе, положилъ зарокъ ничего не давать; не раздѣляю ихъ взгляда; къ тому же, дашь въ одинъ журналъ, другой будетъ въ претензіи, и т. д. Непріятно!

— Очень радъ буду прочесть ваше произведеніе; я постоянно слѣжу за отечественной литературой и самъ писалъ довольно много... подъ псевдонимомъ, pseudonime. Читали вы свой романъ какому-нибудь знатоку?..

— То-есть, такъ, изъ любопытства, для того болѣе, чтобъ собрать общее мнѣніе... я читалъ его на здѣшнихъ литературныхъ вечерахъ...

— Очень бы хотѣлось послушать ваше произведеніе; я много читалъ... чтеніе образуетъ вкусъ; притомъ я люблю читать произведенія знакомыхъ мнѣ людей, произнесъ Бобоховъ смягченно-покровительственнымъ тономъ, которымъ не оскорбился, однакожъ, Дрянковъ, потому что радостно принялъ предложеніе и обѣщалъ даже явиться въ слѣдующее утро.

— Съ кѣмъ это вы тамъ разговаривали? спросилъ изящный Чиндаласовъ, когда Бобоховъ вернулся въ первый рядъ.

— А! это одинъ бѣдный человѣкъ, человѣкъ, впро-

чемъ, съ огромнымъ талантомъ. Онъ просилъ меня прослушать, передъ печатаніемъ, его новый романъ, отвѣчалъ Иванъ Дормидонычъ, обнаруживая снисходительное участіе.

Чиндаласовъ переглянулся съ Тохтамышевымъ, и оба поспѣшили отвернуться къ оркестру.

Въ остальное время спектакля не случилось ничего особенно замѣчательнаго съ нашими героями.

Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ выпрямлять грудь и олицетворять высшее благородство, наводя въ то же время уголъ глаза на крайнюю ложу; Фанагорія Петровна слушала въ антрактахъ музыку, бросая томные взгляды съ высоты четвертаго яруса на усы Тохтамышева: солидный Петръ Степановичъ Крановъ сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ, скучалъ страшно и думалъ о томъ только, какъ вознаградить себя легонькою карточною игрою; Порфирій Павловичъ продолжалъ сидѣть въ пустомъ буфетѣ, курилъ трубку за трубкой и, выжидая, съ замираніемъ сердца, окончанія спектакля, заводилъ, для развлеченія, очень пріятное знакомство съ прислужниками. Наконецъ, часъ освобожденія пробилъ. Стукъ каретъ возвѣстилъ окончаніе спектакля; принявъ всевозможныя предосторожности, чтобъ не встрѣтиться какъ-нибудь съ страшной тещей, Васильковъ, закутанный съ головы до ногъ плащомъ, отыскалъ вскорѣ Аристарха Ѳедоровича и успокоился тогда только, когда очутился вмѣстѣ съ этимъ великимъ мужемъ на лѣстницѣ одного клуба.

Бобоховъ летѣлъ, между тѣмъ, домой во всю прыть быстроногихъ коней. Тохтамышевъ, отправляясь на актерскій подъѣздъ, гдѣ были у него свои дѣла, сказалъ, что Чиндаласовъ, Крановъ и еще кое-кто изъ пріятелей поѣхали прямо въ гостиницу и, вѣроятно, ждутъ теперь самого хозяина. Тохтамышевъ угадалъ вѣрно: Бобоховъ нашелъ въ своемъ нумерѣ многочисленное общество, въ которомъ знакомыя ему лица были только Крановъ и Чиндаласовъ. Но это ничего. „Пріятели моихъ пріятелей, по всей справедливости, должны быть и моими пріятелями“. Бобохову чрезвычайно пріятно; на щекахъ его замѣтно даже явное усиліе подавить въ себѣ яростные порывы восторга. Содержатель гостиницы получаетъ тайный приказъ распорядиться немедленно насчетъ блистательнаго ужина, а между тѣмъ три музыканта изъ Голодаевки, въ сопровожденіи Корнея, снабженные прилич-

ными наствленіями и одѣтые въ красные жилеты и синіе фраки, обшитые галунами, разносятъ на серебряныхъ подносахъ чай и самыя тонкія печенья, какія только можно отыскать въ древней столицѣ. Гости необыкновенно веселы... Чрезвычайно пріятно! Между ними особенно отличается одинъ почтенный сѣденькій старичокъ, котораго зовутъ не иначе, какъ Коленъ, Colin; но это ничего; есть еще и другой старичокъ, съ широкимъ рябымъ лицомъ, привинченнымъ непосредственно къ сгорбленнымъ плечамъ; но это также ничего: Бобохову чрезвычайно пріятно; оба они необыкновенно любезны и очевидно принадлежатъ къ обществу Чиндаласова. Пріѣзжаетъ Тохтамышевъ, и Ивану Дормидоновичу дѣлается еще пріятнѣе. Веселый смѣхъ и говоръ разносится далеко и, вѣроятно, проникаетъ въ ближайшіе нумера аристократической гостиницы.

— Господа! произноситъ густымъ басомъ Петръ Степановичъ Крапов, и вслѣдъ за тѣмъ выставляетъ впередъ свое открытое, добродушное лицо, — господа, пріятная бесѣда, конечно, дороже всего; она, нѣтъ сомнѣнія, услаждаетъ сердце и просвѣщаетъ разумъ, я готовъ слушать васъ до завтрашняго утра, если бъ не безпокойная натура моя: натура моя, долженъ я вамъ сказать, никакъ не можетъ обойтись безъ дѣятельности; я разумѣю матеріальную и притомъ стариковскую дѣятельность.

Шутливая выходка Крапова возбуждаетъ веселый хохотъ.

— Иванъ Дормидонычъ, продолжаетъ добродушный Петръ Степановичъ, — прикажите поставить ломберный столикъ...

— Ахъ, чрезвычайно пріятно! Эй, ломберные столы! восклицаетъ Бобоховъ.

Столы принесены.

— А вы, Иванъ Дормидонычъ, не играете?

— Какъ же, играю... очень даже люблю-съ...

— Да; но только я долженъ объявить тебѣ, Петръ Степанычъ, перебилъ Тохтамышевъ, покручивая усы, — что любезнѣйшій мой родственникъ играетъ не иначе, какъ по сту рублей фишку...

— Что жъ! меньше... меньше не стòитъ, разсѣянно сказалъ Бобоховъ.

— О!

— О!

— О! повторилъ, въ свою очередь, изящный Чиндаласовъ, ходившій во все это время по комнатѣ.

— Я долженъ вамъ объявить, однакожъ, любезный Иванъ Дормидонычъ, что такъ можно играть только въ азартныя карты, гдѣ большею частью игрокъ воленъ отстать отъ игры, когда хочетъ, и снова пристать къ игрѣ, когда ему заблагоразсудится, произнесъ добродушный Крановъ.

— Я иначе не играю, какъ въ азартныя игры; коммерческія какъ-то скучны.

— Я совершенно согласенъ съ Иваномъ Дормидонычемъ, проговорилъ Чиндаласовъ, значительно выпучивая грудь и проводя рукою по изумрудному жилету, — отказываясь постоянно въ клубѣ отъ коммерческихъ игръ, я всегда очень охотно сажусь играть въ палки: игра все-таки болѣе или менѣе возбудительная.

— Что жъ? хочешь играть? спросилъ его Тохтамышевъ.

— Пожалуй; но съ кѣмъ же? Развѣ ты сядешь? Къ тому же, изъ насъ, кажется, никто не играетъ по сту рублей на фишку... Попробовать развѣ для шутки, такъ на одну карту съ Иваномъ Дормидонычемъ?..

— Ахъ, чрезвычайно пріятно!.. Эй, карты! закричалъ Бобоховъ, самодовольно раздувая щеки.

— Ну, господа, какъ ни хочется мнѣ сѣсть въ преферансъ съ „Колѐнемъ", я, однакожъ, подсяду къ вамъ на минутку: любопытно посмотрѣть, что̀ изъ этого выйдетъ... Если хотите даже, Иванъ Дормидонычъ, я буду держать за васъ...

— Ахъ, чрезвычайно пріятно!..

— А я за Чиндаласова, сказалъ Тохтамышевъ.

„Колѐнъ", рябой господинъ и за ними остальная компанія расположились вокругъ играющихъ.

Ничего не можетъ быть увлекательнѣе игры! Это доказываетъ самымъ положительнымъ образомъ Петръ Степановичъ Крановъ, который, несмотря на свою солидность, никакъ не можетъ оторваться отъ играющихъ, забылъ, повидимому, свой преферансъ, а къ концу самъ принимаетъ дѣятельное участіе въ игрѣ и—кто бы этому повѣрилъ?—ставитъ даже сто рублей на карту. Но вотъ что дурно: Чиндаласовъ проигралъ, и проигралъ порядочно. Бобохову чрезвычайно пріятно, но, со всѣмъ тѣмъ, онъ старается показать, что смущенъ такимъ обстоятельствомъ. Чиндаласовъ говоритъ, что не хочетъ больше играть,

уступаетъ свое мѣсто Тохтамышеву, а самъ изъявляетъ желаніе держать сторону Бобохова. На этомъ основаніи онъ садится подлѣ выскочки и строго наблюдаетъ за его игрою; вниманіе изящнаго Чиндаласова равно также обращается и на драгоцѣнные пальцы Тохтамышева, которые, вооружившись разъ картами, начинаютъ снова разыгрывать трудную и чрезвычайно сложную и замысловатую сонату; вслушиваясь, должно быть, умственнымъ слухомъ въ эту сонату и обвороженный ея тайнымъ, глубокимъ смысломъ, изящный Чиндаласовъ продолжаетъ снабжать Бобохова полезными совѣтами, и Бобоховъ проигрываетъ огромный кушъ. Лицо Ивана Дормидоныча принимаетъ такое выраженіе, какъ будто онъ проглотилъ рыбью кость и хочетъ скрыть это несчастіе отъ присутствующихъ. Наружность Тохтамышева сохраняетъ невозмутимое спокойствіе, какъ будто и не онъ выигралъ, а если и выигралъ, такъ ему совершенно все равно. Digne et calme— вотъ девизъ Тохтамышева, девизъ каждаго, впрочемъ, джентльмена. Бобоховъ дѣлаетъ неимовѣрныя усилія, чтобъ послѣдовать примѣру своего родственника: принимаетъ по возможности спокойный видъ и хочетъ оставить игру. Но добродушный Петръ Степановичъ, проникнутый истиннымъ участіемъ къ проигравшему, никакъ этого не допускаетъ; онъ говоритъ, что такъ нельзя, что любезнѣйшій Иванъ Дормидонычъ долженъ непремѣнно отыграться, что самъ готовъ за него играть, а если нѣтъ, то ужъ, во всякомъ случаѣ, станетъ держать его сторону.

Игра продолжается...

Шесть часовъ утра. Въ пятомъ нумерѣ аристократической гостиницы не раздается веселаго говора. Тамъ уже никого нѣтъ. Я, разумѣется, не считаю престарѣлаго Корнея, который стоитъ посреди гостиной, опустивъ руки, и осматриваетъ стѣны, окна, столы и полъ, покрытый пылью, устланный картами, раздавленными кусочками мѣла, объѣдками блистательнаго ужина и тѣми фестонами, которые отпечатываются на паркетѣ франтовскими узенькими каблуками...

Корней отворяетъ окно, потому что въ гостиной такая духота, что ему даже стало какъ-то тяжело. „Вотъ тебѣ и городъ-столица! Нечего сказать, приличная губернія... да, ужъ нечего сказать, и эти-то господа того... обчистили, ободрали, какъ липку!“ думаетъ Корней. Затѣмъ онъ припоминаетъ подробности минувшаго вечера, припоминаетъ

лицо Ивана Дормидоновича послѣ того, какъ гости уѣхали— лицо съ обвислыми щеками, и, бросивъ новый взглядъ на полъ, покрутивъ старческой головой, принимается приводить въ порядокъ растрепанный видъ гостиной.

XXI.

Аристархъ Ѳедоровичъ, вѣрный своей цѣли, увеселяетъ Порфирія Павловича и вмѣстѣ съ тѣмъ не забываетъ собственныхъ дѣлъ своихъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ уже извѣстно, украшалъ своимъ присутствіемъ первый нумеръ той же аристократической гостиницы и, смѣло можно сказать, проводилъ время какъ нельзя пріятнѣе. Онъ перезаложилъ уже свои двѣсти душъ. Это было, впрочемъ, первымъ его дѣломъ по пріѣздѣ въ Москву—первымъ, да, но далеко не главнымъ: главныя дѣла еще впереди!

Что такое деньги для Аристарха Ѳедоровича, величайшаго человѣка изъ всѣхъ великихъ мужей горшковской почвы? — ровно ничего и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень много. Ничего, потому что великіе люди вообще, и Аристархъ Ѳедоровичъ въ особенности, чужды мелкихъ чувствъ и расчетовъ; очень много, потому что всѣ великіе люди смотрятъ на золотого тельца, какъ на средство, необходимое для осуществленія великихъ плановъ и замысловъ. Потому-то, вѣроятно (такъ, по крайней мѣрѣ, замѣчено было), всѣ великіе люди, глядя съ этой точки зрѣнія на золотого тельца, стараются всегда выбирать его какъ можно крупнѣе и надежнѣе. По той же причинѣ, вѣроятно, и Аристархъ Ѳедоровичъ заботился всегда такъ усердно о томъ, чтобъ въ карманахъ его находилось, по возможности, болѣе презрѣннаго металла. Мало того: принимая, должно-быть, въ соображеніе страшную потерю, которую понесетъ человѣчество, въ случаѣ, если идеи его не примутъ надлежащаго хода, онъ не только надсажалъ золотого тельца, назначеннаго для осуществленія этихъ идей, но даже окончательно морилъ его посильною работой.

Я сказалъ уже, что Балахновъ пріятно проводилъ время; онъ, однакожъ, не искалъ развлеченій; удовольствія, встрѣчавшіяся на пути его, были, большею частью, случайныя и вовсе не зависѣли отъ него; онъ посѣщалъ всѣ клубы, не пропускалъ ни одного собранія, бывалъ каждый почти

вечеръ въ театрѣ, ѣздилъ на всевозможныя публичныя гулянья, но дѣлалъ это единственно потому, что ему нѣкоторымъ образомъ необходимо было показываться въ обществѣ. Не отступая ни на шагъ отъ глубокомысленнаго плана, задуманнаго въ Ханскихъ-Прудахъ, онъ ищетъ вездѣ и всюду—въ театрахъ и собраніяхъ, въ клубахъ и на гуляньяхъ — значительныхъ лицъ своей губерніи, которыя, въ случаѣ надобности, могли бы представить надежный оплотъ противъ козней Окатова, Солонеева, Кошкина и другихъ враговъ его. До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, планъ не могъ осуществиться, но, благодаря золотому тельцу, позволявшему покуда упорно преслѣдовать мысль, Аристархъ Ѳедоровичъ не теряетъ надежды и продолжаетъ всюду показываться.

А между тѣмъ, толпа и легкомысленный свѣтъ, встрѣчая Балахнова вездѣ и всюду, судятъ о немъ по-своему. Всѣ находятъ его любезнымъ, радушнымъ, величавымъ, расточительнымъ и даже очень обыкновеннымъ смертнымъ. Такъ судитъ легкомысленный свѣтъ! И не прозрѣваетъ близорукое умственное око свѣта въ душевный тайникъ этого обыкновеннаго смертнаго; не читаетъ оно глубокосокровенной думы, ясно, между тѣмъ, отпечатанной на высокомъ, дипломатическомъ лбу; не видитъ ничего въ этихъ чертахъ, преисполненныхъ высокаго благородства, и—сказать ли?—великій горшковскій человѣкъ проходитъ незамѣтнымъ... да, почти незамѣтнымъ! Но любопытно было бы знать, что̀ говоритъ легкомысленный свѣтъ о Порфиріи Павловичѣ Васильковѣ, который точно такъ же показывается вездѣ и всюду вмѣстѣ съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ? Свѣтъ единогласно утверждаетъ, будто Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ „веселитъ“ Порфирія Павловича Василькова, и на этотъ разъ не ошибается: именно Балахновъ веселитъ и даже сильно веселитъ сердобольнаго своего сосѣда. Но за что онъ веселитъ его — этого опять-таки никто не знаетъ. Находятся, однакожъ, люди, которые хотятъ, во что бы то ни стало, изслѣдовать такую причину; нѣкоторые изъ нихъ, переходя постепенно отъ одной догадки къ другой, положительно заключаютъ, что Балахновымъ управляетъ въ этомъ случаѣ какая-нибудь эгоистическая цѣль; другіе, болѣе тонкіе наблюдатели, говорятъ, что эгоистической цѣли здѣсь нѣтъ никакой, но что, во всякомъ случаѣ, въ заботливости, съ какою Аристархъ Ѳедоровичъ увеселяетъ Василькова, кроется

что-то особенное, и что все это дѣлается, вѣрно, не спроста; третьи, наконецъ, обиженные даромъ проницательности, но со всѣмъ тѣмъ желающіе показать, что ничто не ускользаетъ отъ ихъ вниманія, не пропускаютъ случая значительно подмигнуть лѣвымъ глазомъ каждый разъ, какъ встрѣчаютъ величаваго господина вмѣстѣ съ незначительнымъ его спутникомъ.

Что же касается до Василькова, онъ всегда былъ далекъ отъ того, чтобъ дѣлать комментаріи насчетъ ближняго, и тѣмъ менѣе насчетъ своего благодѣтеля, Аристарха Ѳедоровича. Горькій опытъ доказалъ Порфирію Павловичу, что не слѣдуетъ довѣрять женскому сердцу, по крайней мѣрѣ, сердцу Антонины Васильевны—этого ангела, который, по словамъ Василькова, посланъ былъ на землю единственно для того, чтобъ подарить его блаженствомъ, но который не исполнилъ своего назначенія. Порфирій Павловичъ такъ разсудителенъ, что, основываясь на одномъ фактѣ, не перестанетъ вѣрить въ искренность другихъ сердецъ, не сдѣлается мизантропомъ или, напримѣръ, не скажетъ себѣ, что не существуетъ на свѣтѣ безкорыстной дружбы. Онъ весьма далекъ отъ этого; онъ доказываетъ это на каждомъ шагу, и доказываетъ самымъ положительнымъ образомъ—обращеніемъ съ Балахновымъ, которому платитъ за его пріязнь и душевное расположеніе чувствомъ безпредѣльной преданности. Въ настоящую минуту, Порфирій Павловичъ считаетъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ не только своего уѣзда, но даже всей вселенной.

Въ самомъ дѣлѣ, чего жъ еще недостаетъ для полнаго его благополучія? Съ одной стороны—другъ, такой другъ, который одинъ вмѣщаетъ въ себѣ запаса на сто друзей; съ другой, благодаря тому же другу,—передъ Порфиріемъ Павловичемъ раскрывалась новая жизнь, жизнь, полная наслажденій, радостей и увеселеній всякаго рода. Невозможно передать словами трогательнаго, заботливаго участія, какое обнаруживаетъ, съ нѣкоторыхъ поръ, Аристархъ Ѳедоровичъ къ судьбѣ Василькова: онъ предупреждаетъ малѣйшія его желанія...

— Ты куда, Васильковъ?

— Хотѣлось, Аристархъ Ѳедоровичъ, прокатиться по Петровскому парку. Очаровательный вечеръ!..

— Нѣтъ, любезный, брось это: сегодня праздникъ и какъ разъ наткнешься на свою взбалмошную тещу: пой-

дутъ разговоры, сманитъ тебя въ Сусловку, и тогда... Будь у тебя твердый, непреклонный характеръ, какъ у меня, напримѣръ, я бы ничего не сказалъ; но для слабодушнаго и нѣжнаго человѣка, каковъ ты, такія встрѣчи опасны. Пойдемъ-ка лучше со мною въ клубъ.

Васильковъ, тронутый до слезъ тонкою предусмотрительностью друга, изъявлялъ тотчасъ же согласіе и готовъ былъ слѣдовать за Балахновымъ не только въ клубъ, но хоть и на край свѣта. Въ клубѣ опять новые знаки участія.

— Не стѣсняйся, любезный, говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—тебѣ, можетъ-быть, хочется испробовать счастія за зеленымъ сукномъ, или сыграть партію на китайскомъ бильярдѣ—на, бери денегъ, сколько хочешь.

Если Васильковъ проигрывалъ — а это приключалось почти каждый разъ, какъ онъ садился попытать счастье— Аристархъ Ѳедоровичъ не только не изъявлялъ сожалѣнія, но старался, напротивъ, ободрять своего друга. Великолѣпіе, съ какимъ Балахновъ раскрывалъ свой бумажникъ передъ Васильковымъ, конечно, не могло ускользнуть отъ вниманія привычныхъ посѣтителей клубовъ; оно тѣмъ болѣе бросалось въ глаза, что Аристархъ Ѳедоровичъ былъ такъ гордъ, что не скрывалъ своихъ дѣйствій отъ кого бы то ни было; онъ, какъ уже извѣстно, разъ сказалъ, что говоритъ и дѣйствуетъ во всеуслышаніе міра! Нѣкоторые изъ этихъ привычныхъ посѣтителей клуба обнаружили явное желаніе познакомиться съ господиномъ Балахновымъ. Господинъ Балахновъ охотно протягивалъ руку, внимательно всматривался въ лицо новаго знакомаго, какъ бы стараясь припомнить, не видалъ ли уже его на выборахъ, и, убѣдившись, что новый знакомый принадлежалъ другой губерніи, отказывался напрямикъ на его предложеніе сыграть въ палки, говоря, что никогда не играетъ въ карты. Изъ клуба онъ возилъ обыкновенно Василькова къ цыганамъ, или въ маскарадъ, или въ другое какое-нибудь увеселительное мѣсто.

Опьянѣлый отъ удовольствій, Порфирій Павловичъ начиналъ мало-по-малу забывать несчастное сусловское происшествіе; онъ какъ будто забывалъ даже свою Антониночку, и если иной разъ переносился мысленно въ маленькій домикъ на берегу живописной рѣчки, и если, вслѣдъ за тѣмъ, изъ груди его невольно вырывался тяжелый вздохъ, Аристархъ Ѳедоровичъ спѣшилъ разсѣять

неутѣшную меланхолію и обнаруживалъ при этомъ такую заботливость, какъ будто издавна принялъ намѣреніе исторгнуть изъ памяти своего друга даже самое воспоминаніе о Сусловкѣ. Достигнуть этого было весьма не трудно: Васильковъ не замедлилъ одурѣть отъ веселья, точно такъ же, какъ въ свое время одурѣлъ отъ горя. Въ припадкѣ восторженности, онъ не переставалъ увѣрять, что, въ отношеніи удовольствій, Москва—просто какая-то волшебная Голландія. Затѣмъ онъ распространялся обыкновенно о томъ, какъ полкъ его стоялъ въ двухъ верстахъ отъ польскаго города, на травяномъ продовольствіи. „Ужъ на что, знаете, весело въ этой Польшѣ“, говорилъ онъ, вращая своими раковыми глазами, „тамъ, знаете, эти шляхтяночки, ангелочки-кокеточки, такія милыя, черноглазенькія полечки, а все, знаете, въ Москвѣ веселѣе — какъ честный человѣкъ, веселѣе!“

— Аристархъ Ѳедоровичъ, я, право, не знаю, какъ благодарить васъ... Повѣрьте, я все это чувствую!.. Родной отецъ, отецъ родной не сдѣлалъ бы для сына того, что̀ вы для меня дѣлаете! восклицалъ поминутно сердобольный Порфирій Павловичъ, устремляя на благодѣтеля глаза свои, увлаженные слезою благодарности.

— Полно, братецъ; благодарить тутъ не за что. Очень радъ, что могу доставить тебѣ удовольствіе и этимъ способомъ заставить тебя забыть минувшее горе. Обязанность, назначеніе каждаго изъ насъ состоитъ, любезный, въ томъ, чтобъ не умалять сердца въ покоѣ эгоизма и быть всегда готовымъ протягивать руку ближнему... отвѣчалъ съ достоинствомъ Балахновъ.

Исполненный справедливаго почтенія къ своему другу и благодѣтелю, Порфирій Павловичъ расточалъ ему похвалы чуть не на всѣхъ площадяхъ и перекресткахъ древней столицы; онъ не пропускалъ, разумѣется, случая скрѣплять слова свои безчисленнымъ множествомъ поразительныхъ фактовъ, изъ которыхъ каждый могъ уже служить дипломомъ для любого смертнаго. Краснорѣчіе Василькова доходило часто до такой неумѣренной яркости, что самъ Аристархъ Ѳедоровичъ принужденъ былъ останавливать его; нерѣдко даже случалось Балахнову журить своего друга, замѣчая ему при томъ, что обязанность человѣка заключается не въ томъ, чтобъ выставлять напоказъ свои добродѣтели, но состоитъ, напротивъ, въ томъ, чтобъ скрывать эти добродѣтели подъ непрони-

цаемымъ плащомъ скромности и смиренія. Укоры Аристарха Ѳедоровича дышали такою мягкостью, открывали въ немъ каждый разъ столько новыхъ возвышенныхъ чувствъ, что Васильковъ почерпалъ каждый разъ новые факты для восхваленія своего величаваго друга.

Дни проходили за днями. Аристархъ Ѳедоровичъ ѣздилъ повсюду съ Васильковымъ, стараясь изгладить изъ его памяти всякое воспоминаніе о Сусловкѣ и въ то же время внимательно всматриваясь въ каждое лицо, какъ бы желая припомнить, не встрѣчалъ ли онъ ужъ это лицо на губернскихъ выборахъ и не принадлежало ли оно какому-нибудь значительному человѣку его губерніи. Васильковъ веселился до упаду и съ каждымъ днемъ забывалъ болѣе и болѣе маленькій домикъ на берегу живописной рѣчки. Появленіе Бобохова въ той же аристократической гостиницѣ не произвело на двухъ друзей ни малѣйшаго впечатлѣнія. Аристархъ Ѳедоровичъ сказалъ, что этотъ Бобоховъ — выскочка, не стоящій ровно никакого вниманія, и что, конечно, онъ не сдѣлаетъ шагу для поддержанія съ нимъ знакомства. Порфирій Павловичъ, со своей стороны, подтвердилъ такое намѣреніе, прибавивъ, что хотя онъ и служилъ въ одномъ полку съ Бобоховымъ и даже ѣлъ съ нимъ изъ одной чашки въ то время, какъ полкъ стоялъ на травяномъ продовольствіи, но что онъ, во всякомъ случаѣ, не станетъ вѣшаться ему на шею, ибо, во-первыхъ, не любитъ гордецовъ, во-вторыхъ, Аристархъ Ѳедоровичъ замѣнилъ для него всѣхъ людей, и ему ничего и никого не надо. Совсѣмъ другое говорилъ по этому случаю Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ, который, благодаря неисчерпаемому источнику благотворительности Аристарха Ѳедоровича, помѣщался въ темномъ углу перваго номера той же аристократической гостиницы. Дрянковъ провозгласилъ, что не нашелъ ничего особенно-гордаго въ обращеніи Бобохова, что считаетъ его, напротивъ, человѣкомъ весьма учтивымъ, человѣкомъ, который могъ даже нѣкоторымъ образомъ представлять образчикъ образованнаго, вполнѣ просвѣщеннаго сосѣда. Дрянкову не возражали, зная его склонность къ противорѣчіямъ и желчное расположеніе. Не стоило, впрочемъ, заводить толки о какомъ-нибудь Бобоховѣ съ какимъ-нибудь Дрянковымъ, да и времени для этого не было. Балахновъ и Васильковъ разъѣзжали весь день по своимъ надобностямъ. Аполлонъ Егоровичъ исчезалъ съ

ранняго утра вмѣстѣ со своею „Непризнанной Индѣйкой“, пропадалъ круглый день и являлся въ гостиницу поздним вечеромъ.

На третій или, кажется, на четвертый день послѣ встрѣчи съ Бобоховымъ въ театрѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ почувствовалъ себя въ самомъ отличномъ, веселомъ расположеніи духа. При взглядѣ на него, можно было подумать, что онъ встрѣтилъ наканунѣ цѣлую дюжину значительныхъ личностей своей губерніи, которыя, при первомъ намекѣ о козняхъ Солонеева и Комп., протянули Балахнову руки и прокричали восторженно: „всѣ за тебя!“ Но въ томъ-то и штука, что ничего этого не было. Причина такого счастливаго расположенія духа заключалась въ сновидѣніи, которое низошло въ эту ночь на голову великаго горшковскаго мужа. Аристархъ Ѳедоровичъ не помнилъ хорошенько, въ чемъ именно состоялъ сонъ — путаница была страшная; но со всѣмъ тѣмъ ему памятенъ былъ одинъ эпизодъ, свѣтлый и ясный, который невольно переносилъ его къ любимымъ задушевнымъ мечтамъ. Балахновъ не вѣрилъ въ сны; но сновидѣнія, какъ извѣстно, то же, что отдаленная надежда: и не вѣришь, а все-таки настроиваешься подъ ладъ того, что они обѣщаютъ.

Утро промелькнуло для Аристарха Ѳедоровича незамѣтнымъ образомъ. Отдавшись любимымъ мечтамъ своимъ, которыя въ настоящую минуту представлялись ему въ розовомъ, лучезарномъ свѣтѣ, онъ, естественно, не могъ слѣдить за временемъ. Порфирій Павловичъ, догадавшійся, помощью инстинкта, о великомъ процессѣ мышленія, совершавшемся въ головѣ знаменитаго друга, не рѣшался тревожить его и хранилъ глубокое молчаніе; если улыбка озаряла лицо Аристарха Ѳедоровича, такая же точно улыбка появлялась, словно въ зеркалѣ, и на губахъ Порфирія Павловича. Аристархъ Ѳедоровичъ принимался ходить по комнатѣ, потирая переносицу — Порфирій Павловичъ также ходилъ, потирая переносицу; Аристархъ Ѳедоровичъ садился, и Порфирій Павловичъ садился. Мягкосердый Васильковъ рѣшилъ съ нѣкоторыхъ поръ, что узы, связывающія его съ Балахновымъ, сдѣлаютъ изъ нихъ обоихъ одно нераздѣльное существо, подобное сіамскимъ близнецамъ, и, основываясь на этомъ, судилъ не иначе о чувствованіяхъ своего друга, какъ по біенію своего собственнаго сердца; онъ полагалъ даже,

что душевныя и физическія движенія одного должны были непремѣнно дѣйствовать на другого. Несмотря, однакожъ, на такое счастливое сочетаніе, случилось то, когда одна часть цѣлаго, то-есть Аристархъ Ѳедоровичъ, подошелъ къ Василькову, трепнулъ его по плечу и воскликнулъ въ порывѣ радости: „Крѣпись! мужайся! авось наша возьметъ!“ другая часть цѣлаго, то-есть Порфирій Павловичъ, сталъ въ совершенный тупикъ, потому что настоящія его чувствованія не имѣли ровно ничего общаго со словами друга. Онъ поспѣшилъ, однакожъ, утвердительно кивнуть огромною своею головою. Такія продѣлки повторялись неоднократно въ это достопамятное утро, пока, наконецъ, Балахновъ не перешелъ изъ міра фантазіи въ міръ дѣйствительности. Переходъ этотъ совершился весьма неожиданно. Аристархъ Ѳедоровичъ, лежавшій въ сладкомъ самозабвеніи на диванѣ, быстро приподнялся со своего мѣста и, принявъ видъ человѣка, который говоритъ самому себѣ: „Ну, душа моя, ты нынче много работалъ, надо дать отдохнуть головѣ и сердцу!“ обратился къ Василькову:

— А что, любезнѣйшій, сказалъ онъ,—скоро, однакожъ, четыре часа; не пора ли обѣдать, какъ ты думаешь?..

Мысль Аристарха Ѳедоровича имѣла на этотъ разъ прямое и самое близкое отношеніе къ настоящимъ чувствованіямъ Порфирія Павловича, и онъ несказанно этому обрадовался.

— Я хочу, братецъ, показать тебѣ сегодня чудо изъ чудесъ, продолжалъ Балахновъ, — ты, конечно, слышалъ уже о Троицкомъ трактирѣ, но слышать и видѣть — двѣ вещи совершенно разныя! Я намѣренъ повезти тебя въ это истинно колоссальное заведеніе, гдѣ все, начиная съ роскошныхъ яствъ и кончая прислугой, ярославскими молодцами, выражаетъ грандіозный характеръ. Ну, братецъ, доволенъ ли ты?..

Доволенъ ли онъ? вотъ вопросъ! Порфирій Павловичъ былъ въ восторгѣ! Онъ окончательно убѣдился, что задушевныя мысли его были не что иное, какъ прямой отголосокъ мыслей Аристарха Ѳедоровича. Пользуясь благопріятнымъ случаемъ, Васильковъ принялся тотчасъ же выгружать къ ногамъ друга сокровища своего сердца; но другъ, со свойственною ему скромностью, поспѣшилъ дать другое направленіе благодарственному потоку, сказавъ, что пора обѣдать и время идти одѣваться.

Туалетная статья всегда обращала на себя вниманіе Порфирія Павловича—человѣка, какъ вѣдомо, общественнаго въ высшей степени и притомъ пребывающаго постоянно почти въ дамскомъ кругу; но теперь, благодаря вліянію столицы и средствамъ, которыми снабжалъ его Балахновъ, такая заботливость сдѣлалась еще замѣтнѣе. Черныя безконечныя пряди волосъ, вмѣсто того, чтобъ закручиваться волютами на вискахъ Порфирія Павловича, какъ это водилось прежде, разсыпались изящными завитками по всей головѣ; исполинскіе бакены и усы, имѣвшіе сходство съ рейнскимъ водопадомъ, подстригались каждую недѣлю; тщательно налакированныя фиксатуаромъ и спрыснутыя о-де-колономъ, они пріятно закруглялись на впалыхъ щекахъ Порфирія Павловича, также спрыснутыхъ о-де-колономъ; о синей венгеркѣ съ іероглифомъ на спинѣ, равно какъ о жилетѣ съ черными и желтыми полосками, давно и помину не было: они перешли въ потомственное владѣніе къ Сидору и замѣнились франтовскими издѣліями настоящаго французскаго мастера, который, во время сниманія мѣрки, истощилъ весь запасъ остроумія, подтрунивая надъ Иваномъ Остолоповымъ, прежнимъ портнымъ Василькова. Словомъ, Порфирій Павловичъ преобразовался; и если бъ не глаза, которые одни воспротивились столичному вліянію, упорно сохраняя свою прежнюю выпуклость, можно было бы ручаться чѣмъ угодно, что Вѣра Андреевна Кокуркина не узнала бы въ этомъ новомъ видѣ милаго любезника и перваго мазуриста. Отъ гостиницы до Ильинки было не близко, и прошло довольно много времени, прежде чѣмъ наши пріятели достигли цѣли своей поѣздки. Аристархъ Ѳедоровичъ предпринялъ такое путешествіе единственно потому, что имѣлъ въ виду безчисленный рядъ дешевыхъ удовольствій, которыя ожидаютъ Порфирія Павловича въ Троицкомъ трактирѣ. На этомъ основаніи, прежде чѣмъ посадилъ его за обѣдъ, онъ принялъ намѣреніе показать ему въ деталяхъ огромное заведеніе и началъ съ того, что подвелъ Василькова къ буфету и попросилъ конторщика показать ему фокусъ. Фокусъ заключался въ томъ, что конторщикъ снималъ съ полки два подноса и въ одно мгновеніе ока укладывалъ на нихъ въ симметрическомъ порядкѣ чашки, чайники, кусочки сахару и извѣстную порцію чая; по данному сигналу, чашки укладывались одна въ другую, сахаръ съ чаемъ исчезалъ, и подносы

возвращались на прежнее мѣсто. Посмѣявшись вдоволь надъ изумленіемъ Василькова, который во время фокуса такъ страшно выкатилъ глаза, что можно было принять ихъ за пару опрокинутыхъ чашекъ, Аристархъ Ѳедоровичъ показалъ ему безконечную анфиладу комнатъ съ бѣгающею взадъ и впередъ прислугой и, сравнивъ все это мимоходомъ съ гигантскимъ муравейникомъ, приказалъ подавать на столъ въ той самой комнатѣ, гдѣ заключены были курскіе соловьи.

— Ну, что, братецъ, какъ тебѣ все это нравится? доволенъ ли ты? говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, стараясь обратить вниманіе своего друга на каждый предметъ.

— Аристархъ Ѳедорычъ, я просто теряюсь... непостижимо!.. просто легенда какая-то!.. Какъ мнѣ благодарить васъ?..

— Опять! перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, грозя ему снисходительно пальцемъ, — я сказалъ тебѣ, любезный, что почитаю себя счастливымъ уже тѣмъ, что все это доставляетъ тебѣ удовольствіе. Однакожъ, пора подумать о существенномъ, то-есть объ обѣдѣ. Мнѣ хочется угостить тебя на славу и угостить именно русскими блюдами. Малый! промолвилъ онъ, подзывая прислужника, который, накрывъ на столъ, остановился въ почтительномъ разстояніи у двери и, перебирая салфеткой, впивался глазами въ посѣтителей.—Малый, по-о-о-дай намъ ботвинью, смотри только, настоящую, русскую ботвинью; затѣмъ поросенка подъ хрѣномъ, калачей, да еще кіевскаго варенья!

Проговоривъ все это самодовольно-торжественнымъ тономъ, Балахновъ радушно усадилъ своего друга подлѣ себя и принялся дорисовывать передъ нимъ остальныя детали Троицкаго трактира — детали, скрытыя для поверхностнаго наблюдателя или рѣдкаго, непривычнаго посѣтителя этого заведенія. Аристархъ Ѳедоровичъ любилъ озадачивать своего ближняго и въ этомъ случаѣ, можно смѣло сказать, не дѣйствовалъ по внушенію какой-нибудь честолюбивой мысли, потому что такъ же охотно готовъ былъ пробуждать удивленіе въ ближнемъ къ личнымъ своимъ достоинствамъ, какъ и къ предметамъ совершенно постороннимъ. Страсть озадачивать ближняго ярко-выпуклыми разсказами (свойственная, впрочемъ, многимъ, весьма даже почтеннымъ, особамъ) проистекаетъ, мнѣ кажется, изъ самаго благороднаго источника; она показываетъ стремленіе человѣка излить свои чувства и впе-

чатлѣнія въ душу другого человѣка. Я зналъ, напримѣръ, одного господина, который никакъ не могъ утерпѣть, чтобъ не озадачивать каждое утро своего лакея разсказами объ изверженіи Везувія, о слоновой охотѣ, крокодилахъ, кораблекрушеніяхъ и проч. Самъ разсказчикъ, правда, ничего этого не видалъ, ибо со дня своего рожденія по сіе еще время не выѣзжалъ изъ своего уѣзда, но что до этого! главное дѣло въ томъ, что видна сообщительность, и безразсудно поступить тотъ безжалостный эгоистъ, который позволитъ себѣ посмѣяться надъ моимъ знакомымъ.

Подкладывая Василькову тертаго хрѣну со сметаной и снабжая его достаточнымъ количествомъ сливочнаго поросенка, Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ озадачивать своего друга. Онъ сообщилъ ему, между прочимъ, что соловьи, висѣвшіе надъ ихъ головами, стоили каждый пятьсотъ рублей, а тотъ, что вотъ виситъ посрединѣ потолка, заплаченъ даже цѣлую тысячу. Затѣмъ онъ распространился насчетъ органа, помѣщеннаго въ другомъ отдѣленіи заведенія, и сказавъ, что машина эта, заплаченная въ свое время до пятидесяти тысячъ рублей, играла до пятидесяти увертюръ, перешелъ постепенно къ хозяйственной и экономической части трактира. Тутъ Порфирій Павловичъ, и безъ того уже озадаченный свыше всѣхъ ожиданій, узналъ, что прислуги, одной прислуги находилось въ этихъ стѣнахъ болѣе сотни, что тутъ ежедневно поглощался цыбикъ чаю посѣтителями, которыхъ, нѣтъ сомнѣнія, слѣдовало считать не сотнями, а тысячами, и проч., и проч. Въ заключеніе словоохотливый Аристархъ Ѳедоровичъ обратился неожиданно къ слугѣ, стоявшему во все время у двери и вертѣвшему салфеткой, и сказалъ ему, бросая знаменательные взгляды на Василькова:

— А принеси-ка ты теперь, братецъ, намъ „лампопò“! вотъ что!..

Глаза Порфирія Павловича, слѣдившіе съ изумленіемъ за эволюціями тысячерублеваго соловья, мигомъ устремились сначала на слугу, потомъ на Аристарха Ѳедоровича, и при послѣднемъ этомъ маневрѣ выкатились такъ страшно, что, казалось, всѣ нервы, державшіе бѣлокъ, порвались и разлетѣлись вдребезги. Аристархъ Ѳедоровичъ разразился веселымъ хохотомъ.

— А! ты еще не знакомъ съ лампопò, этимъ нектаромъ нашей доброй старушки-Москвы! сказалъ онъ, самодовольно

подымая брови,—ну, вотъ увидишь! Я сказалъ тебѣ, братецъ, что хочу угостить тебя національнымъ образомъ, и угощу. Обѣдать въ Троицкомъ трактирѣ и не отвѣдать лампопо̀—то же, что быть въ Москвѣ и не видѣть царь-пушки и знаменитаго колокола... а! вотъ и нектаръ нашъ: пиво, ржаная поджареная корка, лимонъ для аромата, ледъ для прохлады—ну, какъ! доволенъ ли ты?

Порфирій Павловичъ возвелъ глаза свои къ потолку, какъ бы въ подтвержденіе, что сроду не только не пивалъ такого напитка, но даже не подозрѣвалъ ничего подобнаго.

— А какова, братецъ, сервировка? Посмотри-ка: вѣдь это настоящій древній кубокъ! продолжалъ Балахновъ, повертывая въ рукахъ серебряный сосудъ, въ которомъ подаютъ обыкновенно лампопо̀,—древній кубокъ, да! подхватилъ онъ, величественно выпрямляя грудь и не обращая уже теперь вниманія на Василькова, который, между тѣмъ, жадно впивался въ него глазами,—древній кубокъ, въ то же время единственный памятникъ баснословной роскоши тѣхъ великолѣпныхъ богачей, которые тратили на одинъ обѣдъ сотни червонцевъ! И вотъ, торжественно заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, потрясая кубкомъ,—вотъ свидѣтель, товарищъ, соучастникъ тѣхъ прадѣдовскихъ пирушекъ, къ которымъ приглашались сотни людей!..

Нѣтъ сомнѣнія, что Аристархъ Ѳедоровичъ, попавъ разъ въ эту колею, перешелъ бы постепенно къ любимой своей темѣ и сообщилъ бы весьма много любопытнаго насчетъ того, какъ живали его собственные предки, если бъ не остановило его одно совершенно неожиданное обстоятельство.

Въ ту самую минуту, когда онъ подносилъ древній кубокъ къ губамъ своимъ, въ сосѣдней комнатѣ раздался страшный взрывъ хохота, сопровождаемый восклицаніями, посреди которыхъ явственно послышались слова: „Бобоховъ!“

Бросивъ испытующій взглядъ на слугу, Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ ему освѣдомиться, кто таковы его сосѣди, и, получивъ въ отвѣтъ, что это были какіе-то вовсе незнакомые господа, поспѣшилъ тѣмъ не менѣе, однакожъ, выслать слугу. Оставшись наединѣ съ Васильковымъ, онъ невольно принужденъ былъ выслушивать каждое слово, произносимое за дверью.

Но ничего новаго не услышалъ Балахновъ. Говорилось

о сосѣдѣ его, Бобоховѣ, и приводились тѣ именно черты изъ частной жизни и характера выскочки, которыя извѣстны были въ совершенствѣ самому Аристарху Ѳедоровичу. Не зналъ онъ только тогда, что Иванъ Дормидоновичъ любилъ играть въ карты и обнаруживалъ при этомъ такую горячность, что ловкому игроку, владѣющему достаточнымъ запасомъ хладнокровія, ровно ничего не стоило ободрать его, какъ липочку; этого не зналъ даже самъ Порфирій Павловичъ, служившій съ выскочкой въ одномъ полку, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, если Васильковъ и Балахновъ удвоили свое вниманіе.

— Когда-жъ все это происходило? спросилъ одинъ голосъ.

— Третьяго дня, тотчасъ же послѣ театра, отвѣчали другіе голоса.

— И много проигралъ, то-есть я хотѣлъ сказать, сколько выигралъ Тохтамышевъ?

— Четыре съ половиною тысячи серебромъ — все, что было. Ха, ха, ха! умора! А впрочемъ, на долю Тохтамышева пришлось только двѣ тысячи цѣлковыхъ, потому что онъ былъ, какъ обыкновенно, въ долѣ съ Чиндаласовымъ... Умора, я тебѣ говорю! Надо было видѣть глупую рожу этого выскочки, когда убили послѣднюю его карту...

— Я думаю, братецъ, всѣ рожи, какія только существуютъ въ свѣтѣ, принимаютъ въ этомъ случаѣ не совсѣмъ умное выраженіе...

— Да; но ты не знаешь, что, проигрывая пять тысячъ, этотъ несчастный Бобоховъ терялъ лучшую, задушевную мечту свою.

— Что-жъ такое?

— Онъ, нужно сказать тебѣ, привезъ сюда какихъ-то музыкантовъ, съ тѣмъ, чтобъ въ три мѣсяца сдѣлать изъ нихъ концертистовъ. Ха, ха, ха!.. Проигранныя имъ деньги были назначены, если не ошибаюсь, именно для этой цѣли... такъ, по крайней мѣрѣ, разсказывалъ Тохтамышевъ... Да вотъ, чего же лучше, онъ разскажетъ тебѣ, пожалуй, всѣ подробности...

При этомъ послышались легкіе дружескіе удары по жирному плечу.

— Да, дѣйствительно такъ! возразилъ густымъ басомъ какой-то господинъ, не подававшій до сихъ поръ голоса.

— Ха-ха-ха!.. Ну, что же намѣренъ онъ теперь дѣлать?.. ѣхать въ деревню?.. послышалось среди хохота.

— Ничуть не бывало! снова заговорилъ басъ, напоминавшій голосъ добродушнаго Петра Степановича Крапова. (Я не думаю, однакожъ, чтобъ это былъ Петръ Степановичъ! Мало ли встрѣчаешь не только сходныхъ голосовъ, но даже физіономій!)—Ничуть не бывало! Этотъ Бобоховъ остается въ Москвѣ для того, вѣроятно, чтобъ показать, что проигрышъ въ пять тысячъ ровно для него ничего не значитъ, а можетъ быть—кто его знаетъ—для того, чтобъ привести въ исполненіе задушевную мысль свою: образовать виртуозовъ, какъ самъ онъ выражается. Поэтому онъ вездѣ ищетъ денегъ; денегъ, разумѣется, никто не даетъ. На этомъ основаніи онъ рѣшился продать какую-то землю, которая составляетъ особнякъ и прилегаетъ къ чьимъ-то сосѣднимъ владѣніямъ; продастъ, конечно, за безцѣнокъ; кажется, даже за двѣнадцать или десять тысячъ... такъ, по крайней мѣрѣ, разсказывалъ мнѣ сволкъ этого болвана, Тохтамышевъ, который взялся даже, если не ошибаюсь, найти ему покупщика...

Если бъ Троицкій трактиръ сдвинулся съ своего мѣста и очутился на Тверскомъ бульварѣ, или если бъ пятисотрублевые соловьи, висѣвшіе надъ головой Аристарха Ѳедоровича, запѣли вдругъ пѣтухами—удивленіе его было бы ничтожно въ сравненіи съ тѣми чувствами, которыя теперь волновали его величавую грудь. Бобоховская земля, о которой шла рѣчь, какъ разъ примыкала къ Сусловкѣ (Балахновъ изучилъ топографію своего уѣзда въ совершенствѣ). О Сусловкѣ и говорить нечего: Сусловка уже его—на обратномъ пути изъ Москвы онъ заѣдетъ въ Горшковъ и совершитъ купчую съ Порфиріемъ Павловичемъ. Что-жъ касается до денегъ, Порфирій Павловичъ подождетъ: во-первыхъ, Василькову не нужны деньги, это ясно, какъ день; а во-вторыхъ, въ случаѣ надобности, Балахновъ предложитъ ему уголъ въ своемъ домѣ, столъ, одежду и всѣ возможныя сельскія удовольствія въ придачу. Деньги, полученныя съ перезаложеннаго имѣнья, пойдутъ теперь, слѣдственно, на покупку бобоховской земли; это рѣшено. Останутся даже (если заплатить Бобохову двѣнадцать тысячъ), останутся двѣ тысячи въ карманѣ—и этого будетъ очень достаточно на заключеніе кой-какихъ знакомствъ съ значительными лицами губерніи, проживающими въ Москвѣ; а если мало, можно будетъ тотчасъ же заложить новопріобрѣтенную землю Бобохова. которая не заложена.

Всѣ эти соображенія промелькнули съ быстротою молніи въ дипломатической головѣ Аристарха Ѳедоровича. Въ первую минуту въ глазахъ его зарябило, какъ словно изъ сосѣдней комнаты, вмѣсто словъ, проникли лучи сверхъестественнаго блеска. Онъ провелъ рукою по лбу, мгновенно покрывшемуся яркимъ пурпуромъ, вскочилъ съ своего мѣста и произнесъ задыхающимся отъ восторга голосомъ: „Сонъ въ руку!..“

Порфирій Павловичъ, конечно, не былъ посвященъ въ тайны Аристарха Ѳедоровича и ничего не понималъ; но, отуманенный лампопо̀ и ощущая въ груди своей живые, ясные отголоски того, что совершалось въ душѣ друга, онъ не преминулъ обнаружить сильнѣйшій восторгъ, вскочилъ съ мѣста, и даже, самъ не зная, какъ это случилось, повторилъ: „Сонъ, сонъ въ руку!“

А между тѣмъ Аристархъ Ѳедоровичъ успѣлъ уже овладѣть собою.

— Ну, милый мой, какъ тебѣ все это нравится, то-есть я разумѣю не Бобохова—мальчишка!—а это истинно колоссальное заведеніе?.. проговорилъ онъ, весело трепля по плечу своего собесѣдника.—Не правда ли, превосходно? Мнѣ давно хотѣлось угостить тебя по-русски: доволенъ ли ты? а? Эй, человѣкъ, дай намъ шампанскаго! заключилъ онъ, неожиданно усаживаясь на прежнее мѣсто и стараясь сохранить то величавое спокойствіе, которое составляетъ обыкновенно неотъемлемую принадлежность всѣхъ великихъ душъ.

Шампанское было принесено. Балахновъ едва прикоснулся къ бокалу, но, взамѣнъ, налилъ два стакана Порфирію Павловичу, попросилъ опорожнить ихъ за его здоровье и за успѣхъ его предпріятій, что, разумѣется, и исполнено было съ невыразимою готовностью. Когда глаза Василькова, потерявъ окончательную точку опоры, заходили во всѣ стороны, убѣждая тѣмъ самымъ Аристарха Ѳедоровича, что владѣтель ихъ—лицо совершенно постороннее, онъ поспѣшилъ отвезти его въ гостиницу и тотчасъ же освѣдомился о томъ, былъ ли дома Бобоховъ.

Бобоховъ не пріѣзжалъ съ самаго утра, и Балахновъ вынужденъ былъ отложить дѣло до слѣдующаго дня.

Во все продолженіе вечера Аристархъ Ѳедоровичъ не отлучился ни разу изъ гостиницы; онъ приказалъ раскрыть настежь всѣ двери и не переставалъ расхаживать, съ закинутыми за спину руками, по всѣмъ комнатамъ

перваго нумера. Его походка и озабоченный видъ обличали человѣка, погруженнаго умомъ и сердцемъ въ глубочайшія соображенія дипломатическаго свойства.

Изрѣдка лишь обращался онъ къ предметамъ, его окружавшимъ, и это случалось каждый разъ, когда взоры его встрѣчали Василькова, погруженнаго въ благодатный сонъ, явившійся вскорѣ послѣ пышнаго троицкаго обѣда, приправленнаго неумѣренными возліяніями лампопо.

„Жалкія, ничтожныя натуры!“ думалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, щуря свои глаза и выпрямляя грудь:

„Вамъ чувствъ высокихъ не дано!
Отъ колыбели до могилы лишь пресмыкаться суждено!“

прибавилъ онъ, задыхаясь отъ скопленія въ его собственной душѣ возвышенныхъ чувствъ, принимавшихъ, съ приближеніемъ завтрашняго утра, самый восторженный характеръ, и... и заключивъ все это презрительнымъ движеніемъ руки, великій человѣкъ снова начиналъ маршировать по комнатамъ потирая попеременно лобъ и переносицу.

XXII,

въ которой доказывается самымъ положительнымъ образомъ, что сновидѣніі ровно ничего не значатъ и врутъ большею частью страшную чепуху.

Московская мостовая гудѣла подъ тысячами колесъ и былъ уже поздній часъ утра, когда Аристархъ Ѳедоровичъ пробудился отъ сна. Лихорадочно-нетерпѣливое состояніе, не покидавшее его въ продолженіе безсонной ночи, исчезло вмѣстѣ съ мрачными тѣнями, покрывшими стѣны перваго нумера, и мысли его были такъ же свѣтлы, игривы и веселы, какъ золотые лучи солнца, скользившіе теперь на стѣнахъ его комнаты. Первымъ дѣломъ его, послѣ легкаго завтрака, было послать къ Ивану Дормидоновичу и узнать, принимаетъ ли онъ; получивъ утвердительный отвѣтъ, Аристархъ Ѳедоровичъ одѣлся на скорую руку и направился въ пятый нумеръ.

Лицо горшковскаго мужа выражало необычайное благородство, смѣшанное съ тѣмъ простодушіемъ и привѣтливостью, которыя составляютъ отличное свойство людей, сознающихъ свое превосходство надъ остальными смертными; сверхъ того, Балахновъ былъ веселъ, развязенъ, и

ничто во всей его наружности не обличало тревожно-нетерпѣливаго состоянія... Страшное, непостижимое умѣнье владѣть собою!

— Дома ли нашъ добрый сосѣдъ, Иванъ Дормидоновичъ?.. сказалъ онъ звучнымъ, привлекательнымъ, заигрывающимъ голосомъ, останавливаясь въ комнатѣ, предшествовавшей гостиной.

Престарѣлый Корней объявилъ, что баринъ изволитъ дожидаться въ гостиной.

Взоры Аристарха Ѳедоровича обратились мгновенно въ ту сторону и встрѣтились съ самодовольнымъ лицомъ Бобохова, который раскланивался въ дверяхъ.

— Привѣтъ мой и поклонъ любезному сосѣду! произнесъ Балахновъ, протягивая радушно свою правую руку.

— Чрезвычайно пріятно... мм... мм... заговорилъ Бобоховъ, приглашая гостя въ салонъ—такъ, по крайней мѣрѣ, онъ самъ выразился.

— Не хорошо, о-о-очень даже не хорошо, Иванъ Дормидоновичъ: развѣ позволено такъ забывать своихъ добрыхъ сосѣдей? началъ Аристархъ Ѳедоровичъ шутливо-любезнымъ тономъ.—Видите, какъ только выбралась свободная минуточка, я пришелъ навѣстить васъ; а вы?..

— Чрезвычайно пріятно... и завтра же я буду имѣть честь отдать вамъ визитъ...

— Когда вамъ угодно! я всегда радъ видѣть васъ у себя, возразилъ Балахновъ, садясь на диванъ и вторично протягивая руку сосѣду,—только прошу васъ напередъ дать знать, потому что легко можетъ случиться, что меня не будетъ дома... и въ такомъ случаѣ мнѣ будетъ непріятно... Дома бываю я рѣдко... дѣла!..

— Да, знаю; мнѣ говорилъ о томъ, что вы очень заняты, этотъ... какъ бишь его?.. да, Дрянковъ... Не прикажете ли сигару?

— Merci! А развѣ вы знакомы съ нашимъ знаменитымъ уѣзднымъ поэтомъ? сказалъ, смѣясь, Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Да, то-есть онъ хотѣлъ непремѣнно познакомиться со мною, чтобъ прочесть мнѣ, передъ напечатаніемъ, свою повѣсть... и...

— И... договаривайте: страшно надоѣлъ, не такъ ли? Ха-ха-ха! Скучать—общая доля всѣхъ тѣхъ, кого удостоиваетъ онъ чтеніемъ своего велерѣчиваго произведенія. Что до меня касается, я терплю его, разумѣется,

потому лишь, что человѣкъ бѣдный: ни кола, ни двора, какъ говорится.

— Та же причина, филантропія, philantrope, заставляетъ и меня обнаруживать къ нему участіе, сказалъ Бобоховъ снисходительно-покровительственнымъ тономъ, при чемъ рысьи глазки его скрылись за обычной своей оградой,— я, однакожъ, напрямикъ объявилъ ему, что отказываюсь издавать его повѣсть... Я прочелъ ее — все это, знаете, такъ вяло, безцвѣтно, ужаснѣйшія длинноты; художественности никакой; требованія беллетристики... да, совсѣмъ не то; слабо, ужасно слабо! Я хотѣлъ ему поправить кое-что; я самъ писалъ и знаю требованія отъ беллетристическаго произведенія—онъ и слышать не хочетъ: самолюбивъ: смѣшно! Со вчерашняго дня глазъ не кажетъ, а то являлся аккуратно каждое утро! заключилъ меценатъ, самодовольно закидывая шарообразную свою голову.

— Ха-ха-ха!.. Представьте, а вѣдь мнѣ говорилъ онъ, что каждое утро проводитъ съ здѣшними журналистами и литераторами! Вечера, говоритъ, заняты сплошь и рядомъ чтеніемъ его повѣсти на литературныхъ собраніяхъ, ха-ха-ха!..

— Какія литературныя собранія! Помилуйте, я посѣщаю постоянно всѣ литературные салоны и никогда его не встрѣчалъ... Притомъ, говорю вамъ, повѣсть его—совершенная гиль... ха-ха-ха! а впрочемъ, знаете, жаль его, прибавилъ Бобоховъ, придавая своему голосу жалостную, медовую интонацію,—надо помочь ему; я рѣшился, знаете ли, подарить ему свое пальто...

— Нѣтъ; къ чему жъ? это будетъ лишнее, возразилъ Балахновъ, величаво выпрямляя грудь,—въ моемъ домѣ онъ снабженъ всѣмъ необходимымъ и ни въ чемъ не терпитъ особенной нужды...

— Да, но, знаете, не мѣшаетъ поощрить человѣка... меня это не разоритъ, а ему между тѣмъ доставитъ удовольствіе... я—philantrope!..

Аристархъ Ѳедоровичъ прищурилъ глаза, пустилъ нѣсколько пуфовъ, принялъ на двѣ секунды разсѣянный видъ и вдругъ, какъ бы попавъ случайно на мысль очень близкую къ собесѣднику, снова обратилъ на него спокойное лицо свое.

— Скажите, пожалуйста, любезнѣйшій Иванъ Дормидонычъ, проговорилъ онъ протяжно,—правда ли, я слы-

шалъ, будто вы имѣете намѣреніе продать ту землю, которая составляетъ особнякъ отъ Голодаевки?..

При этомъ глаза его устремились разсѣянно на собесѣдника и на лицѣ проступила безпечная улыбка. Небывалое умѣнье владѣть собою! Леонидъ при Ѳермопилахъ, выспрашивая плѣннаго солдата о силѣ Ксерксова войска, не обнаружилъ большаго хладнокровія.

— Да, я ее продаю, небрежно отвѣчалъ Бобоховъ,— страхъ надоѣла, и чѣмъ скорѣе сбуду съ рукъ, тѣмъ лучше! Я ищу даже покупщика на Голодаевку. Мѣсто не живописно; мнѣ хочется купить тысячи двѣ душъ гдѣнибудь въ южныхъ губерніяхъ, этакъ, въ Крыму, напримѣръ, или по близости. Земля, о которой вы говорите, у меня какъ бѣльмо на глазу; дрянь имѣнье—не стоитъ того, чтобъ имъ заниматься...

— Конечно, оно не представляетъ большихъ выгодъ для владѣтеля, но при случаѣ, если, напримѣръ, приходится пополнять свои владѣнія и владѣнія эти находятся подлѣ, отчего же? эта земля можетъ послужить съ пользою... А сколько вы за нее хотите?..

— Двѣнадцать тысячъ, съ тѣмъ уговоромъ, однакожъ, чтобъ не тянуть дѣла и деньги сегодня или завтра.

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ почувствовалъ, что сердце его забило сильную тревогу подъ бархатнымъ чернымъ жилетомъ, и поспѣшилъ затянуться сигарнымъ дымомъ.

— Хотите, я вамъ найду покупщика? сказалъ онъ, добродушно улыбаясь.

— Ахъ, чрезвычайно пріятно! Кто жъ это?

— Вашъ покорнѣйшій слуга, возразилъ Балахновъ, слегка наклоняясь, для того, вѣроятно, чтобъ скрыть краску, выступившую на дипломатическомъ лбу, — я, нужно вамъ сказать, купилъ на-дняхъ еще сосѣднюю землю, Сусловку, и ваша землица пришла очень кстати...

— Чрезвычайно пріятно! произнесъ Бобоховъ, обрадованный счастливому случаю получить двѣнадцать тысячъ, которыя были ему крайне необходимы. — Но позвольте васъ попросить подождать секунду: братъ мой, Arcadie, Arcade Тохтамышевъ, умолялъ меня не давать никому слова до двухъ часовъ; онъ не замедлитъ явиться...

Едва произнесъ Бобоховъ эти слова, какъ въ дверяхъ показался Корней и объявилъ, что господинъ Тохтамышевъ и еще какой-то господинъ изволили пріѣхать.

— Проси! сказалъ безпечно Бобоховъ, щеки котораго

чуть не лопались, между тѣмъ, отъ восторженнаго напряженія.

Появленіе Тохтамышева было въ высшей степени непріятно Аристарху Ѳедоровичу, считавшему дѣло съ Бобоховымъ почти конченнымъ. „Скверно! А впрочемъ, что бы ни было, буду отстаивать до послѣдной возможности; дамъ тринадцать, всѣ четырнадцать тысячъ, наконецъ! Во-первыхъ, имѣніе стоитъ вѣрныхъ двадцать; во-вторыхъ, не слѣдуетъ, да просто невозможно, пропустить такой счастливый случай!“ думалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, показывая въ то же время входившему джентльмену лицо свое, преисполненное въ эту минуту высшаго благородства.

Тохтамышевъ былъ не одинъ.

Позади его выступалъ коротенькій, пузатый господинъ, обтиравшій клѣтчатымъ платкомъ жирный лобъ и обвислыя щеки, покрытыя потомъ; господину этому было лѣтъ пятьдесятъ слишкомъ; волосы его, бѣлые какъ снѣгъ и обстриженные подъ гребенку, принимали издали видъ бѣлой ермолки; въ лѣвомъ ухѣ у него сверкала сережка; на груди, непосредственно соединенной съ животомъ, рисовалась бисерная голубая цѣпочка, которая пропадала въ жилетномъ карманѣ, оттопыренномъ старинною серебряною луковицей; синій замасленный сюртукъ плотно обтягивалъ сутуловатую его спину и свободно болтался на толстыхъ икрахъ, обтянутыхъ черными панталонами, далеко не покрывавшими пятокъ толстыхъ сапоговъ. Самъ по себѣ, господинъ этотъ не представлялъ ничего особенно рѣзкаго: много попадается такихъ физіономій; но рядомъ съ великолѣпнымъ, блистательнымъ и вѣчноюнымъ Тохтамышевымъ, онъ производилъ странный эффектъ.

— Ахъ, чрезвычайно пріятно! заговорилъ Бобоховъ, стараясь проявить какъ можно больше хладнокровія.

— Здравствуйте, перебилъ Тохтамышевъ, протягивая свояку кончики драгоцѣнныхъ своихъ пальцевъ,—я пріѣхалъ насчетъ вашего дѣла; вотъ рекомендую: Аѳанасій Никитичъ Степанчиковъ. Я уже говорилъ ему насчетъ вашего дѣла—онъ согласенъ; можете, если хотите, сейчасъ же ѣхать и совершить купчую; онъ разсмотрѣлъ бумаги ваши, касающіяся продаваемаго имѣнія, и нашелъ ихъ въ отличной исправности...

— Такъ точно, Аркадій Алексѣевичъ изволили пере-

дать мнѣ ревизскую сказку; за вами все дѣло, сказалъ Степанчиковъ, устремляя глаза сначала на Бобохова, потомъ на Аристарха Ѳедоровича, начинавшаго уже чувствовать лихорадочные симптомы.

— Чрезвычайно пріятно, садитесь, пожалуйста. Ахъ, Аркадій Алексѣевичъ! позвольте познакомить васъ: сосѣдъ мой, Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ... Аркадій Алексѣевичъ Тохтамышевъ! произнесъ суетливо Бобоховъ...

Балахновъ привсталъ и поклонился; Тохтамышевъ протянулъ ему свою безцѣнную правую руку. Аѳанасій Никитичъ Степанчиковъ сѣлъ, между тѣмъ, на кончикъ кресла.

— Я, право, не знаю... мнѣ чрезвычайно совѣстно... сказалъ выскочка, заходя то съ одной стороны свояка, то съ другой, — вѣдь, Аристархъ Ѳедоровичъ тоже изъявляетъ желаніе купить эту землю...

— Да; она какъ разъ примкнула къ маленькому имѣнію, которое я купилъ на-дняхъ, и, пріобрѣтая одно, я кстати готовъ пріобрѣсти и другое, вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ безпечно-веселой улыбкой.

— Monsieur Балахновъ, я этихъ дѣлъ не знаю; покупать имѣнья, продавать ихъ—все это для меня, постояннаго городского жителя, тараборская грамота! сказалъ съ любезностью Тохтамышевъ. — Бобоховъ просилъ меня найти покупщика, и я исполнилъ это; остается вамъ поладить съ этими господами, заключилъ онъ, поворачиваясь къ свѣчкѣ, чтобъ закурить сигару, и бросая въ тоже время многозначительные взгляды Степанчикову.

Степанчиковъ не тронулся съ мѣста и только приподнялъ свои заплывшіе глаза на Балахнова.

— Сколько же изволите вы полагать, то-есть, во сколько оцѣняете ихъ имѣніе? спросилъ онъ безъ дальнихъ обиняковъ.

— Что же это такое, господа? Это похоже на аукціонъ, и я... я, право, не знаю... пролепеталъ Бобоховъ, вопросительно взглядывая на свояка.

— А что жъ такое! воскликнулъ своякъ.—Предоставьте все это monsieur Балахнову и Аѳанасію Никитичу: оба они, вѣрно, лучше насъ съ вами знаютъ дѣло, заключилъ онъ, бросая новый взглядъ на Степанчикова, который на этотъ разъ привсталъ съ мѣста и приблизился къ Аристарху Ѳедоровичу.

Тохтамышевъ отвелъ въ сторону Бобохова и шепнулъ

ему мимоходомъ: „Вамъ какое дѣло? было бы продано имѣнье. Скажите, что кто больше дастъ, за тѣмъ и останется“.

— Я даю двѣнадцать тысячъ, говорилъ между тѣмъ Аристархъ Ѳедоровичъ, покуривая сигару.

— Ничего не изволите прибавить?

— Нѣтъ, такъ, бездѣлицу развѣ; я покупаю эту землю изъ прихоти лишь: владѣнія мои подлѣ и я хотѣлъ только воспользоваться сосѣднею землею... произнесъ Балахновъ, думая запутать противника силою своихъ средствъ.

Степанчиковъ подумалъ, помялся и промолвилъ:

— Пятьсотъ рублей можно надбавить-съ...

— Отчего же? очень можно, съ живостью перебилъ Балахновъ,—и я, съ своей стороны, не прочь сдѣлать тоже самое... идетъ. Слѣдовательно, теперь въ тринадцати тысячахъ... примолвилъ онъ, смѣло встрѣчая взглядъ Степанчикова.

— Извольте-съ, держу! возразилъ съ убійственною флегмою Аѳанасій Никитичъ, почесывая ухо жирнымъ пальцемъ, краснымъ какъ морковь.

Ни одинъ изъ тѣхъ сосѣдей, которыхъ любилъ озадачить Аристархъ Ѳедоровичъ, конечно, никогда не былъ такъ озадаченъ, какъ теперь самъ Балахновъ. Онъ вовсе не ожидалъ такой настойчивости со стороны своего антагониста. Раздумывать долго нельзя было, и Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшился надбавить еще пятьсотъ рублей, желая показать, что для него подобная сумма—шутка, и больше ничего; но со всѣмъ тѣмъ, понимая въ совершенствѣ, что если отдастъ тринадцать съ половиною тысячъ Бобохову, у него самого останется очень, очень немного.

— Извольте, держу! сказалъ послѣ молчка Степанчиковъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ величественно выпрямилъ грудь, медленно приподнялся съ своего мѣста и обратился къ Бобохову:

— Иванъ Дормидонычъ, сказалъ онъ, употребляя неимовѣрныя усилія, чтобъ скрыть свое волненіе:—посмотри-ка, каково идутъ здѣсь ваши дѣла: имѣнье, ха-ха-ха! идетъ уже въ тринадцати съ половиною тысячахъ... ха-ха-ха!..

— Чрезвычайно пріятно... дѣлайте, какъ хотите, господа, я совершенно раздѣляю мнѣніе Аркадія Алексѣевича: кто дастъ больше, за тѣмъ имѣнье и останется, развязно сказалъ Бобоховъ.

— Конечно, конечно, ха, ха, ха!.. проговорилъ Балах-

новъ, проникаясь, неизвѣстно почему, глубочайшимъ презрѣніемъ и ненавистью къ выскочкѣ.—Ну-съ; и такъ, на чемъ же мы остановимся? заключилъ онъ, обращаясь неожиданно къ антагонисту.

— Пятьсотъ рубликовъ, повторилъ Степанчиковъ.

Могло статься, и весьма даже легко могло статься, что въ эту минуту узкія губы Аристарха Ѳедоровича нѣсколько вздрогнули и щеки его поблѣднѣли, но все-таки, въ общихъ чертахъ, физіономія дипломата сохранила свое величавое, спокойное достоинство. Четырнадцать тысячъ — вотъ все, что было у него въ карманѣ! хоть бы грошъ лишній! Конечно, принимая въ соображеніе важность пріобрѣтенія, можно было перезаложить заложенныя двѣсти душъ Лизаветы Семеновны, но бумаги, необходимыя для этого, находятся въ Ханскихъ-Прудахъ, въ кабинетномъ столѣ, и въ то время, какъ Сидоръ полетитъ за ними, этотъ мальчишка, выскочка, которому деньги нужны сію минуту, успѣетъ двадцать разъ продать имѣнье. Призвавъ на помощь всю силу могущественной воли своей, Аристархъ Ѳедоровичъ прервалъ молчаніе слѣдующими словами:

— Извольте, пожалуй, давайте играть вперегонку, если только вамъ это нравится; я не прочь. Вы предлагаете четырнадцать тысячъ, держу и я ту же сумму...

Степанчиковъ взглянулъ на Тохтамышева, Тохтамышевъ на Балахнова, Бобоховъ на Тохтамышева.

Послѣдовала пауза.

Съ этой минуты сердце Аристарха Ѳедоровича не переставало биться, и въ груди его закипѣла самая непримиримая ненависть къ выскочкѣ.

— Четырнадцать тысячъ послѣднее ваше слово? Сотенку надбавлю; ничего не изволите прибавить съ своей стороны? прохрипѣлъ наконецъ неумолимый Степанчиковъ.

Боже, мой, двѣсти рублей! Всего какихъ-нибудь двѣсти рублей! Дайте взаймы! Берите какіе угодно проценты! Неужели допустите вы какого-нибудь Степанчикова восторжествовать надъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ?

Никто не подаетъ голоса; молчаніе... И великій горшковскій мужъ, скрѣпивъ переполненное желчью сердце, принужденъ сдѣлать позорное отступленіе.

— Н-н-нѣтъ, ни гроша больше не дамъ... говоритъ онъ, стискивая узенькія губы блистательными вагенгеймовскими зубами и отворачиваясь къ окну.

Бобоховская земля такимъ образомъ перешла во вла-

дѣніе Степанчикова, и условлено было завтра же утромъ совершить купчую. Во время этихъ убійственныхъ переговоровъ, Тохтамышевъ бесѣдовалъ съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, и, должно отдать справедливость послѣднему, онъ велъ себя достойнѣйшимъ образомъ—не обнаружилъ ни разу непристойной раздражительности или неумѣстной вспыльчивости.

Изъ этого не слѣдуетъ, однакожъ, чтобъ Аристархъ Ѳедоровичъ долженъ былъ точно такъ же подавлять настоящія свои чувства и маскироваться передъ Дрянковымъ и Васильковымъ—отнюдь не слѣдуетъ! Что такое Дрянковъ и что такое Васильковъ?.. такъ себѣ... Однакожъ, надлежало показать тѣмъ, которые видѣли, два часа тому назадъ, съ какимъ веселымъ расположеніемъ духа отправлялся Аристархъ Ѳедоровичъ къ Бобохову, надлежало показать, что причина настоящаго дурного расположенія не имѣетъ ровно ничего общаго съ визитомъ къ выскочкѣ. Сила воли снова призвана была на помощь, и Аристархъ Ѳедоровичъ—готовый въ эту минуту (если бъ только находился онъ на какомъ-нибудь необитаемомъ островѣ) предать опустошенію цѣлую страну, вырвать съ корнемъ деревья, источить свои патентованные зубы на камняхъ и стеклахъ — ограничился нѣсколькими ядовитыми сарказмами, обращенными на автора „Непризнанной Индѣйки“, и вотъ именно по какому случаю: вернувшись въ свой нумеръ, Аристархъ Ѳедоровичъ услышалъ еще за двѣ комнаты громкую декламацію Аполлона Егоровича; онъ нахмурилъ брови и подошелъ къ двери. Дрянковъ, съ огромнымъ своимъ сверткомъ подъ-мышкой и фуражкой въ лѣвой рукѣ, неистово размахивалъ руками передъ Порфиріемъ Павловичемъ, который сидѣлъ у окна и слѣдилъ съ невыразимымъ участіемъ за каждымъ движеніемъ своего второго друга.

— „Грубое, закоснѣлое невѣжество окружаетъ тебя! Да, холодомъ, отовсюду вѣетъ страшнымъ холодомъ!“ говорилъ Дрянковъ, мрачно расправляя вихры на угловатой головѣ своей и взглядывая на Василькова, который невольно вздрогнулъ при видѣ выраженія, какое приняло въ эту минуту лицо друга.—„Гдѣ найдешь ты человѣка, готоваго протянуть руку генію или таланту, осужденному погибнуть за недостаткомъ ничтожныхъ средствъ?“ продолжалъ между тѣмъ Дрянковъ съ возраставшей энергіей.— „Гдѣ тѣ меценаты, тѣ поощрители изящныхъ искусствъ,

которые открывали свои кошельки и летѣли навстрѣчу къ художнику съ распростертыми объятіями? Нѣтъ ихъ! ихъ нѣтъ! Поглощенные вѣками...“ На этомъ мѣстѣ Дрянковъ былъ прерванъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, который, войдя въ комнату, объявилъ ему наотрѣзъ, что меценаты, во всякомъ случаѣ, не осуществятся въ Бобоховѣ, что человѣкъ, обласканный въ Ханскихъ-Прудахъ, не долженъ смѣть канючить и просить милостыни у другихъ прочихъ, десятыхъ, что въ Ханскихъ-Прудахъ, сколько извѣстно, снабжаютъ всѣхъ призрѣнныхъ бѣдняковъ всѣмъ необходимымъ, и что если третьи-десятые бѣдняки не въ состояніи чувствовать благодѣяній, разсыпаемыхъ на нихъ щедрою рукою въ Ханскихъ-Прудахъ, такъ никто не воспретитъ имъ убираться по-добру по-здорову, и проч., и проч.

Аполлонъ Егоровичъ былъ столько же желченъ и раздражителенъ, сколько и Аристархъ Ѳедоровичъ, но должно же, наконецъ, и ему отдать справедливость: онъ обладалъ вмѣстѣ съ тѣмъ благоразуміемъ и умѣньемъ владѣть собою въ той же степени, можетъ статься, какъ и самъ владѣтель Ханскихъ-Прудовъ. Все это очевидно доказывалось тѣмъ, что онъ не возразилъ ни слова на обидныя замѣчанія Балахнова. Другой, на его мѣстѣ, далъ бы тотчасъ же волю своему языку; но раздражительный Аполлонъ Егоровичъ поступилъ иначе: онъ мигомъ сообразилъ, что одного слова съ его стороны уже достаточно, чтобъ онъ и вмѣстѣ съ нимъ „Непризнанная Индѣйка“ лишились единственнаго крова и пристанища, и, скрѣпивъ сердце, ограничился тѣмъ только, что мрачно насупилъ брови и, судорожно сжавъ драгоцѣнный свертокъ, отошелъ въ сторону.

— Что жъ ты, братецъ, остановился? сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поворачиваясь къ нему неожиданно,— вѣдь тебя ждетъ, кажется, Бобоховъ... Ты выпросилъ у него пальто и онъ говорилъ мнѣ, что готовъ имъ пожертвовать великодушно въ твою пользу...

— Я никакого пальто не выпрашивалъ у Бобохова, отвѣчалъ съ чувствомъ достоинства Аполлонъ Егорычъ.

На этотъ разъ ему не зачѣмъ уже было призывать на помощь благоразуміе: со вчерашняго же утра, послѣ того, какъ выскочка объявилъ ему о негодности „Непризнанной Индѣйки“ и отказался напрямикъ быть его издателемъ, Дрянковъ рѣшился прекратить съ нимъ всякія сно-

шенія. На этомъ основаніи, онъ разразился самыми энергическими эпитетами противъ Бобохова и, сказавъ, что такая неслыханная, вопіющая дерзость требуетъ немедленнаго наказанія, быстро вышелъ изъ комнаты. Очутившись въ коридорѣ, онъ столкнулся лицомъ къ лицу съ Бобоховымъ. Какъ знать, неожиданность встрѣчи, быть-можетъ, спасла выскочку отъ вѣрной гибели. Озадаченный Дрянковъ уронилъ драгоцѣнный свертокъ на полъ, и въ то время, какъ нагибался, чтобъ поднять его, Бобоховъ, предчувствуя, вѣроятно, въ чемъ дѣло, стоялъ уже на третьей ступени парадной лѣстницы.

— Милостивый государь, вы хвастунъ! произнесъ несовсѣмъ твердымъ голосомъ Дрянковъ, пускаясь вдогонку за выскочкой и останавливаясь на верхней ступени.

— Вы жалкій человѣкъ! отозвался Бобоховъ, стремглавъ летѣвшій внизъ.

— Что я не жалокъ, объ этомъ узнаютъ, можетъ-быть, всѣ черезъ двѣ недѣли; вотъ, что вы хвастунъ... воскликнулъ Аполлонъ Егоровичъ, но тутъ же остановился, увидѣвъ въ отдаленіи хозяина гостиницы.

Затѣмъ онъ принялся спускаться съ лѣстницы, между тѣмъ какъ Бобоховъ летѣлъ уже на улицу, благословляя судьбу, что всей этой сценѣ не былъ по крайней мѣрѣ свидѣтелемъ швейцаръ, занимавшійся, должно-быть, въ это время откармливаніемъ своихъ дроздовъ.

XXIII.

Лучъ надежды озаряетъ впервые „Непризнанную Индѣйку“.

Уличный воздухъ освѣжилъ разгоряченный мозгъ творца безсмертныхъ страницъ „Непризнанной Индѣйки“. Обсудивъ хорошенько критическое свое положеніе, гдѣ, съ одной стороны, угрожалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, съ другой, лопнули послѣднія надежды, а съ остальныхъ двухъ, все озарилось какимъ-то зловѣщимъ свѣтомъ, онъ рѣшился обратиться еще разъ къ книгопродавцамъ-издателямъ. На этомъ основаніи, Аполлонъ Егоровичъ направилъ стопы свои на Ильинку, въ одну книжную лавку, хозяинъ которой посвященъ былъ въ сокровеннѣйшія тайны литературной дѣятельности и, сверхъ того, не только выслушивалъ охотно болтовню посѣтителей, но самъ, каза-

лось, еще охотнѣе заводилъ рѣчь со встрѣчнымъ и поперечнымъ.

Лавка его была не изъ послѣднихъ въ Ильинкѣ и считалась даже чуть ли не первою тѣми почетными особами, которыя готовы утверждать до послѣдняго издыханія, что старый заржавленный ковшикъ имѣетъ всегда неисчислимыя преимущества предъ новомодной посудой. Древность лавки, дѣйствительно, не подлежала сомнѣнію: полки, туго набитыя съ потолка до полу лохмотьями книгъ, обернутыхъ корешками, безъ малѣйшаго слѣда позолоты; прилавки и конторка, истертые снаружи посѣтителями, снутри хозяевами, завалены были искомканными сѣрыми брошюрками; перекосившійся сучковатый полъ, отягченный грудами фоліантовъ съ красными обрѣзами, съ кожаными исковерканными переплетами — все это ясно свидѣтельствовало, что основаніе лавки относилось къ отдаленнѣйшимъ эпохамъ книгопечатанія; густой слой пыли, покрывавшій, безъ различія, брошюры и фоліанты, полъ и прилавки, паутина, украшавшая потолокъ, косяки и карнизы — подтверждали какъ нельзя краснорѣчивѣе такое мнѣніе, и, конечно, ни одинъ антикварій не могъ пройти по Ильинкѣ безъ того, чтобъ не кивнуть одобрительно книжной лавкѣ и потянуть въ себя съ видимымъ наслажденіемъ затхлый запахъ, издаваемый заключавшимися въ ней сокровищами. Но чаще всего запахъ этотъ приводилось вдыхать школьникамъ и ученикамъ всякаго рода, которые запасались здѣсь латинскими грамматиками, прописями, словарями, и утвердительно можно сказать, что чувства, ощущаемыя ими при входѣ въ лавку, далеко не показывали любви къ классической старинѣ. Особенно рѣзко проглядывало такое непохвальное равнодушіе на лицахъ всѣхъ дѣтей безъ исключенія, которыхъ заботливые родители приводили въ эту лавку, имѣя въ виду снабдить чадъ своихъ всѣмъ нужнымъ для первоначальнаго обученія: многія изъ нихъ проникались невольнымъ ужасомъ и трепетомъ, и долго послѣ того, какъ латинскія грамматики, купленныя папеньками и маменьками, выучены были до половины, имъ все еще мерещилась книжная лавка; толстые неуклюжіе фоліанты преслѣдовали ихъ даже въ постели, налегали всею своею тяжестью, какъ кошмаръ, на грудь и голову, или страшно разверзали свои зазубренные листы, какъ бы изловчаясь поглотить свою жертву — и посреди всего этого рѣзко звучалъ

голосъ хозяина лавки, который высчитывалъ папенькѣ и маменькѣ нескончаемый каталогъ самыхъ замысловатыхъ книгъ...

Впрочемъ, голосъ этого хозяина, да и вообще вся его фигура оставались въ памяти каждаго, кто только заглядывалъ въ его магазинъ. Представьте себѣ человѣка, засушеннаго такъ, что остались кожа да кости; придайте членамъ этой муміи судорожное, суетливое и ничѣмъ не прерываемое движеніе; придайте ей голосъ, дребезжащій, какъ трещотка, и дребезжащій безъ умолку—и вы получите вѣрнѣйшій портретъ одного изъ самыхъ эксцентричныхъ книгопродавцевъ, какіе когда-либо существовали на бѣломъ свѣтѣ. Но доказано уже неоспоримыми фактами, что наружность бываетъ часто обманчива. Наружность не мѣшала Ивану Петровичу быть ученѣе многихъ очень ученыхъ особъ, посѣщавшихъ его лавку; голова его, покрытая рѣдкими, курчавыми, взъерошенными волосами, свободно вмѣщала въ себѣ все то, что заключалось на полкахъ его магазина; какъ библіофилъ, онъ, безспорно, могъ заткнуть за поясъ любого господина, проглотившаго сотни тысячъ каталоговъ. Дайте заглавіе какой угодно книги — Иванъ Петровичъ безъ запинки назоветъ вамъ годъ ея изданія, типографію, число томовъ, число страницъ, качество бумаги, исчислитъ опечатки, вкратцѣ изложитъ ея содержаніе и выскажетъ даже въ концѣ свое личное мнѣніе, столько же многословное, правда, сколько у критиковъ, писавшихъ объ этой книгѣ, но уже, во всякомъ случаѣ, болѣе добросовѣстное. Псевдонимъ для него не существуетъ: онъ рѣшительно смѣется надъ псевдонимомъ, ибо читаетъ, сквозь какіе угодно іероглифы, настоящее имя автора и, въ случаѣ надобности, можетъ даже снабдить васъ самыми любопытными біографическими свѣдѣніями о какомъ бы то ни было писателѣ. Двадцать тысячъ томовъ, помѣщающихся на полкахъ его магазина, такъ же хорошо знакомы ему, какъ клавиши рояля, пожалуй, хоть самому Листу; костлявые пальцы его бѣгаютъ по полкамъ съ быстротою непостижимою и даже безъ содѣйствія глазъ попадаютъ прямо на тотъ корешокъ, который требуется. „Странствованіе юнаго Анахарсиса по Греціи...“; но едва покупатель успѣлъ произнести эти слова Иванъ Петровичъ стоитъ уже на верхней ступени ручной лѣстницы, приставленной однимъ движеніемъ его руки на то самое мѣсто, гдѣ сквозь пыль мелькаютъ восемь

заплѣсневѣлыхъ корешковъ; секунду спустя, онъ стоитъ снова передъ покупателемъ и похлопываетъ своими восемью томиками — ни дать, ни взять, какъ башмаками, продаваемыми въ Гостиномъ дворѣ, распространяясь съ большимъ успѣхомъ о достоинствахъ, какія заключаютъ въ себѣ странствованія юнаго грека. Иванъ Петровичъ толкуетъ въ то же время съ другимъ покупателемъ объ „Уединенномъ Садовникѣ", изданномъ въ 1749 году; ведетъ поучительную бесѣду съ третьимъ, и все это нисколько не мѣшаетъ ему продолжать горячій споръ съ четвертымъ и доказывать ему неоспоримыми фактами, что такая-то латинская грамматика превосходитъ всѣ.

Безпрерывная суетливость, толки, посѣтители, требованія, справки, раздирающія Ивана Петровича на части съ ранняго утра до поздняго вечера и уподобляющія его чахлому ходячему каталогу, раздуваемому во всѣ стороны неистовымъ вѣтромъ, нимало не обременяютъ его: онъ находитъ время сводить исправнѣйшимъ образомъ свои счеты, вдаваться въ разныя умозрительныя и метафизическія размышленія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не прекращаетъ болтовню съ тремя молодыми, толстенькими приказчиками, въ кофейныхъ пальто, которые (то-есть приказчики) служатъ ему помощниками въ многотрудныхъ и многосложныхъ занятіяхъ. Румяныя лица трехъ приказчиковъ дышатъ необыкновенною веселостью—мудренаго тутъ ничего нѣтъ: каждый изъ нихъ лелѣялъ въ душѣ привлекательную мечту о томъ, какъ современемъ будетъ издаваться подъ ихъ руководствомъ безчисленный рядъ книжонокъ въ родѣ „Турусъ на колесахъ"—книжонки дешевыя, но, тѣмъ не менѣе, приносящія исполинскій барышъ своимъ издателямъ на ярмаркѣ. Зная въ совершенствѣ эгоистическую натуру своихъ приказчиковъ, занятыхъ несравненно болѣе ярмарочными спекуляціями, чѣмъ дѣлами своего хозяина, Иванъ Петровичъ находитъ нужнымъ увѣщевать ихъ безъ умолку разными лаконическими сентенціями юмористическаго свойства. Понукаемые такими замѣчаніями и особенно явною необходимостью настроить заблаговременно свои способности къ будущимъ торговымъ операціямъ, три румяные приказчика работаютъ безъ устали, и книжная лавка, отражающая такимъ образомъ страшную суету во всѣхъ своихъ отдѣленіяхъ, наполненная немолчнымъ говоромъ посѣтителей, шелестомъ перелистываемыхъ брошюръ, трескомъ книгъ, которыя при-

казчики низвергаютъ съ верхнихъ полокъ на полъ и прилавки — представляетъ въ продолженіе дня разительно вѣрную картину кораблекрушенія: скрипъ сапоговъ и дверей, шумъ разрываемыхъ листовъ оберточной бумаги, напоминающій свистъ вѣтра, три приказчика, бѣгающіе, какъ матросы, сверху внизъ по ручнымъ лѣстницамъ и приводящіе на память оборванный такелажъ, снасти и канаты — и посреди всего этого трещотчатый говоръ и фигура Ивана Петровича, который стоитъ на возвышеніи за конторкой, размахиваетъ во всѣ стороны руками и, какъ храбрый капитанъ, поспѣваетъ вездѣ и всюду — все это сильнѣйшимъ образомъ содѣйствуетъ такому сходству.

Когда Аполлонъ Егоровичъ переступилъ завѣтный порогъ (и кто знаетъ, какая страшная драма разыгрывалась въ эту минуту въ душѣ его!), въ книжной лавкѣ было, по обыкновенію, много народу. Видя невозможность пробраться къ Ивану Петровичу и тремъ приказчикамъ, окруженнымъ живою стѣною покупателей, Дрянковъ освободилъ изъ платка свою рукопись и, обхвативъ ее такъ, чтобъ каждый могъ прочесть ея заглавіе, написанное крупными, каллиграфическими буквами, принялся расхаживать по магазину съ видомъ чрезвычайно озабоченнаго человѣка. Такое углубленіе въ самого себя, разумѣется, не мѣшало ему бросать косвенные взгляды направо и налѣво и внимательно наблюдать все, что происходило вокругъ. Предметомъ его наблюдательности была особенно группа изъ нѣсколькихъ молодыхъ людей, жиденькихъ и тщедушныхъ, которые жались подобострастно къ безконечно-долговязому господину, превышавшему своихъ товарищей не только цѣлой головой, но даже и шеей въ придачу; длинный, сухой и заостренный носъ его печально опускался книзу; лицо его отличалось такою худобою, что, казалось, ничего бы не стоило пересчитать на верхней губѣ его число зубовъ и даже опредѣлить ихъ форму, если бы не препятствовала этому дюжина бѣлокурыхъ волосковъ, изображавшихъ усы. Рѣденькіе, бѣлокурые волосы свѣшивались прямыми линіями по обѣимъ сторонамъ блѣдныхъ щекъ его и достигали до костлявыхъ плечъ, прикрытыхъ рыжимъ пальто, изъ-подъ котораго торчали вострые кончики чернаго фрака. Наружность этого господина заинтересовала въ высшей степени Аполлона Егоровича, и онъ подошелъ ближе. Изъ словъ господина, говорившаго заунывнымъ, могильнымъ голосомъ, оказалось,

что онъ дѣйствительно только-что похоронилъ лучшія мечты свои. Сдѣлавъ шагъ впередъ, Дрянковъ увидѣлъ, что рука господина лежала на грудѣ тощихъ, жиденькихъ книжечекъ въ ярко-зеленой оберткѣ; по серединѣ каждой обертки красовалась оттиснутая золотомъ надпись: „Пелопонезо-Таврическія Мелодіи". Рука господина ласкала съ какою-то особенною любовью то мѣсто, на которомъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, должно было находиться имя автора, и Аполлонъ Егоровичъ, при всемъ своемъ стараніи, могъ разобрать только букву Л, да и то съ большимъ трудомъ, потому что локти и головы жиденькихъ молодыхъ людей заслоняли поминутно отъ его взоровъ даже зеленыя обертки: нимало не сомнѣваясь, однакожъ, что „Пелопонезо-Таврическія Мелодіи" принадлежали господину, сгорая желаніемъ узнать имя собрата, Дрянковъ рѣшился протискаться къ прилавку и обратиться къ одному изъ приказчиковъ. Онъ крѣпко сжалъ обѣими руками „Непризнанную Индѣйку" и принялся тотчасъ же приводить въ исполненіе свое намѣреніе. Слѣдовало прежде всего пробраться между крошечнымъ старичкомъ, державшимъ огромный фоліантъ, и непомѣрно-толстымъ господиномъ, вертѣвшимъ въ рукахъ миніатюрную дѣтскую книжку. Дрянковъ выбрался наконецъ къ прилавку и очутился противъ молодого приказчика съ полными, дрожащими щеками.

— Скажите, пожалуйста, кто этотъ господинъ? произнесъ Аполлонъ Егоровичъ, притрогиваясь пальцемъ къ рукѣ приказчика и подмигивая ему на печальную голову собрата, которая, не взирая на свое склонившееся положеніе, все-таки возвышалась на цѣлый аршинъ надъ остальными головами.

— Сочинитель, Леокадій Леокадьичъ Куликовъ, отвѣчалъ приказчикъ, захватывая бѣлыми, какъ кипень, зубами бечевку и притискивая руками кипу книгъ, купленныхъ пожилою дамою съ веселымъ лицомъ.

Дальнѣйшіе разспросы Аполлона Егоровича увѣнчались самымъ неожиданнымъ успѣхомъ. Приказчикъ только-что прочелъ „Пелопонезо-Таврическія Мелодіи" и потому передалъ Дрянкову весьма много любопытнаго о душевныхъ свойствахъ и сердечныхъ наклонностяхъ Куликова, которыя составляли главную сущность „Мелодій", прозванныхъ „таврическими" столько же для красоты слога, сколько и потому, что авторъ предпочиталъ крымскую

природу Сокольникамъ. Веселый Яша (такъ звали румянаго приказчика), отпустивъ книги пожилой дамѣ, снова обратился къ Дрянкову; изъ словъ его оказалось, что „Мелодіи“ даютъ возможность узнать, въ какіе именно часы дня и ночи тоскуетъ или веселится душа Куликова, когда жаждетъ она излиться въ душу дѣвы Юга и когда именно въ душу дѣвы Сѣвера—и, нѣтъ сомнѣнія, веселый Яша сообщилъ бы еще много любопытнаго, если бъ не прервалъ его голосъ хозяина:

— Ну, Яшенька, пошевеливайся! Соблаговолите достать „Дитю Географъ“, верхняя полка, нумеръ тысяча-восемьсотъ-сорокъ-третій; съ краю, сѣрый корешокъ, говорилъ неутомимый Иванъ Петровичъ, подбѣгая къ приказчику, подавая руками и головою знаки нѣсколькимъ покупателямъ и напоминая своею суетливостью того французскаго тамбурмажора, который бьетъ въ одно и то же время непрерывную дробь на двадцати барабанахъ.—Сію секунду, сударыня: ваша очередь, приказывайте, повелѣвайте! подхватилъ Иванъ Петровичъ, поворачиваясь неожиданно къ дамѣ съ чувствительнымъ лицомъ.—Вы, кажется, помнится мнѣ, изволили спрашивать легкое дѣтское чтеніе?.. такъ-съ, если не ошибаюсь?..

— Да, мнѣ бы хотѣлось какія-нибудь занимательныя исторійки, которыя дѣйствовали бы на умъ и особенно на сердце ребенка... Мои дѣтки все почти перечитали... Они до страсти любятъ чтеніе и даже разстроили себѣ нервы... Ахъ, Боже мой, да гдѣ же они? Петенька, Сашенька, Петенька! съ испугомъ промолвила чувствительная дама, обращаясь къ двери магазина, подлѣ которой стояли два мальчика, глазѣвшіе съ пожирающимъ любопытствомъ на лотокъ съ пряниками.

Оба мальчика, оторванные отъ созерцательнаго состоянія голосомъ матери, подошли къ конторкѣ и вперили глаза на кипу занимательныхъ дѣтскихъ исторій, разставленныхъ заботливымъ книгопродавцемъ.

— Милыя дѣтки! очаровательныя дѣтки! любятъ учиться! Науки юношей питаютъ... прекрасно, сударыня! задребезжалъ Иванъ Петровичъ, размахивая руками.—Легкое чтеніе, вотъ, сударыня, чего же лучше? Возьмите „Библіотеку Дѣтскихъ Анекдотовъ“, продолжалъ онъ, похлопывая двумя синими книжонками.

И, не дождавшись возраженій, Иванъ Петровичъ раскрылъ первую попавшуюся страницу и прочелъ скорого-

воркой: „Осмилѣтній Николашенька, услышавъ, что его маменька проиграла тяжебное дѣло, бросился обнимать ее и сказалъ: ахъ! какъ я счастливъ, что вы проиграли сіе скучное дѣло! какъ давно и какъ много вы тревожились онымъ!“

— Ахъ, какъ это мило и трогательно! Очень вамъ благодарна! воскликнула чувствительная дама, взявъ изъ рукъ книгопродавца „Библіотеку Дѣтскихъ Анекдотовъ“.— Петенька, Саша! слышали? продолжала она, обращаясь къ двумъ мальчикамъ,—слышали исторію Николашеньки? Не правда ли, сколько чувства? Я вамъ непремѣнно куплю эту книгу...

Петенька и Саша ничего не отвѣчали; оба продолжали коситься по направленію къ лотку съ пряниками и леденцами и думали, вѣроятно, что пріобрѣтеніе послѣднихъ принесло бы имъ несравненно больше пользы. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, чувствительная дама купила „Анекдоты“, и Иванъ Петровичъ полетѣлъ стремглавъ на другой конецъ магазина, гдѣ высилась голова Леокадія Куликова.

Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ послѣдовалъ за нимъ и сталъ за группою тщедушныхъ молодыхъ людей, окружавшихъ поэта, чтобъ удобнѣе попасть въ лучъ зрѣнія книгопродавца.

— А, бонжуръ мусье! какъ живете-можете? Добро пожаловать, господа; измучился: туда Иванъ Петровъ, сюда Иванъ Петровъ... здравствуйте! говорилъ книгопродавецъ, перекидывая обѣ руки черезъ прилавокъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, почтеннѣйшій Иванъ Петровичъ! запищали молодые люди, пожимая торопливо протянутыя имъ руки.

— Здравствуйте, Иванъ Петровичъ! медленнымъ басомъ проговорилъ Куликовъ.—Ну, какъ, скажите-ка, идутъ дѣла! примолвилъ онъ, значительно постукивая ладонью по оберткѣ „Пелопонезо-Таврическихъ Мелодій“.

Иванъ Петровичъ заморгалъ глазами и кивнулъ головою. Куликовъ перегнулъ длинную свою шею черезъ прилавокъ, и Дрянковъ явственно разслышалъ, какъ книгопродавецъ шепнулъ ему на ухо: „ни одного экземплярчика!“

Леокадій Леокадьевичъ поблѣднѣлъ и нахмурилъ брови.

— Скажите, пожалуйста, Иванъ Петровичъ, какъ идетъ „Шпора Лермонтова“? спросилъ молодой человѣкъ съ чер-

ными, встрепанными волосами и блуждавшимъ, безпокойнымъ взглядомъ.

Дрянковъ приподнялся на цыпочки и увидѣлъ, что молодой человѣкъ указывалъ на кипу листовъ, посреди которыхъ красовалась тускло-отлитографированная шпора.

— „Шпора Лермонтова“! протрещалъ Иванъ Петровичъ, быстро поворачиваясь къ одному изъ приказчиковъ.

— Ни одного экземпляра! крикнулъ веселый Яша съ верхней ступени ручной лѣстницы.

— А мои „Заоблачныя Трельи“? пролепеталъ другой, бѣлокурый молодой человѣкъ, отличавшійся такою вертлявостью, которая заставляла предполагать, что въ спинѣ его, вмѣсто обыкновенныхъ позвонковъ, находился тонкій стальной прутъ.

— „Заоблачныя Трельи“! крикнулъ Иванъ Петровичъ.

— Ни одного экземпляра! отвѣчалъ веселый Яша, спускаясь съ лѣстницы.

Дрянковъ никакъ не подозрѣвалъ, что всѣ молодые люди, находившіеся въ магазинѣ, были сочинители, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, если онъ удвоилъ усилія, чтобъ обратить на себя вниманіе.

— У насъ въ виду новый проектецъ, почтенный Иванъ Петровичъ, снова заговорилъ вертлявый авторъ „Заоблачныхъ Трельей“.—Вотъ, видите ли, въ чемъ дѣло: покойный Хемницеръ написалъ покойной моей бабушкѣ басню, и басня эта хранится въ рукописи въ нашемъ семействѣ; мы приложимъ къ ней ненапечатанную пѣсенку Мерзлякова, которая находится въ альбомѣ тётушки одного моего знакомаго; Куликовъ обѣщалъ дать намъ свое прекрасное посланіе „Къ замку на Воробьевыхъ горахъ“; мы, съ своей стороны, также дадимъ по стихотворенію— и все это вмѣстѣ составитъ очень занимательный литературный сборникъ — какъ вы объ этомъ думаете?.. Скажите откровенно ваше мнѣніе.

— Печатайте, работайте, трудитесь, господа! Музы— кокеточки, любятъ, чтобъ за ними ухаживали! Но я скажу вамъ: литературный сборникъ нейдетъ, нейдетъ, какъ хотите; три кладовыя однихъ литературныхъ сборниковъ!

Группа молодыхъ поэтовъ испустила глубокій, протяжный вздохъ.

— Скажите, пожалуйста, Иванъ Петровичъ, сказалъ безотраднымъ голосомъ Куликовъ, вздохнувъ въ свою очередь — идетъ ли, по крайней мѣрѣ, нашъ общій трудъ:

„Собраніе стихотвореній“, въ которое каждый изъ насъ принесъ лепту свою—словомъ, продается ли „Парнасская Звѣзда“?

— „Парнасская Звѣзда“!.. сказалъ Иванъ Петровичъ, живо поворачиваясь къ приказчику.

— Ни одного экземпляра! крикнулъ веселый Яша, показывая изъ-за конторки румяное лицо свое.

Сотрудники „Парнасской Звѣзды“ окинули другъ друга изумленными взглядами.

Куликовъ мрачно нахмурилъ брови.

— Странно!.. проговорилъ онъ съ презрительнымъ равнодушіемъ, — я, право, не понимаю, чего нужно этой публикѣ.

— А! добро пожаловать! бонжуръ мусье! перебилъ неожиданно Иванъ Петровичъ, замѣтивъ, наконецъ, Дрянкова и протягивая ему руку,—какъ живете-можете? какъ дѣла? Печатаете?..

При этомъ воззваніи, молодые поэты, и даже самъ Леокадій Куликовъ, устремили любопытные взоры на Аполлона Егоровича.

— Дѣла мои идутъ очень хорошо, хотя я не приступилъ еще къ печати, отвѣчалъ Дрянковъ, лицо котораго покрылось краскою самодовольствія.

Онъ сдѣлалъ шагъ впередъ, положилъ свою рукопись на прилавокъ, провелъ рукою по вихрамъ и продолжалъ:

— Я на-дняхъ еще получилъ изъ Петербурга два письма, въ которыхъ еще разъ просятъ меня отдать повѣсть... но я уже говорилъ вамъ, Иванъ Петровичъ, что не раздѣляю ихъ мнѣнія и потому не дамъ ни за что повѣсти... я самъ хочу издать ее...

— Позвольте вамъ замѣтить, милостивый государь, вы прекрасно дѣлаете. Печатайте свое произведеніе на свой счетъ, и печатайте его именно въ Москвѣ, съ живостью сказалъ Куликовъ, подходя къ Аполлону Егоровичу.

— Именно, именно, о-о-очень хорошо сдѣлаете, если не дадите имъ не только повѣсти, но даже строчки! подхватили въ одинъ голосъ всѣ сотрудники „Парнасской Звѣзды“.

Не мѣшаетъ замѣтить, что сотрудники „Звѣзды“ преисполнены были сильнѣйшей ненависти къ петербургскимъ журналамъ, и особенно къ одному, который печаталъ на оберткѣ, что „стихотворенія, признанныя неудобными къ напечатанію, возвращаемы не будутъ“. Негодованіе со-

трудниковъ „Звѣзды“ имѣло весьма основательную причину: всѣ они поочередно посылали свои произведенія въ вышеупомянутый журналъ и ни одинъ изъ нихъ не получилъ своей рукописи обратно; къ счастью еще, запасались они всегда другимъ рукописнымъ экземпляромъ, позволявшимъ печатать посланныя стихотворенія на свой счетъ, но только не выпускать изданія въ желтой оберткѣ! Желтый цвѣтъ рѣзалъ имъ глаза. Это не мѣшало имъ, однакожъ, читать желтый журналъ, отъ первой страницы до послѣдней, съ захватывающимъ дыханіемъ.

— Мнѣ очень пріятно встрѣтить человѣка, и притомъ собрата, который раздѣляетъ общее наше мнѣніе, сказалъ Куликовъ, привѣтливо наклоняя голову.

— Я думаю, и всѣмъ намъ одинаково пріятно найти такого собрата, торопливо произнесъ вертлявый авторъ „Заоблачныхъ Трельей“, — очень радъ, что имѣлъ удовольствіе съ вами встрѣтиться... Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?

Дрянковъ поспѣшилъ удовлетворить общее любопытство, сказавъ, что имя его неизвѣстно, потому что, до сихъ поръ, печаталъ статьи свои подъ разными псевдонимами.

Вертлявый авторъ „Заоблачныхъ Трельей“, имѣвшій похвальное свойство влюбляться сразу не только въ черноокихъ дѣвъ, но даже въ каждаго человѣка, съ которымъ удалось ему сказать слово, почувствовалъ непреодолимое сердечное влеченіе къ Дрянкову; онъ страстно пожалъ его руку своею рукою и отрекомендовалъ его всѣмъ своимъ товарищамъ.

— Куликова вы уже знаете по его произведеніямъ, говорилъ вертлявый поэтъ, подымая тусклые, голубые глазки на долговязаго господина.—Имя его... Ахъ, кстати: читали ли вы его „Пелопонезо-Таврическія Мелодіи“?..

— Нѣтъ еще; но мнѣ было бы весьма пріятно... отвѣчалъ съ достоинствомъ Аполлонъ Егоровичъ.

— Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ предложить вамъ экземпляръ, сказалъ Куликовъ, расправляя брови.

— Я только хотѣлъ васъ просить объ этомъ; и если вы такъ добры, позвольте попросить васъ написать своею рукою на оберткѣ мое имя вмѣстѣ съ вашимъ: это будетъ служить мнѣ памятью, сказалъ Дрянковъ, загибая ярко-зеленую обертку.

Улыбка озарила лицо Куликова; онъ взялъ перо и, под-

махнувъ, что слѣдовало, съ прибавленіемъ „отъ автора“, подалъ Дрянкову брошюрку.

— Мнѣ также было бы пріятно оставить вамъ память по себѣ, сказалъ вертлявый поэтъ, страстно пожимая коренастую руку Дрянкова.

Аполлонъ Егоровичъ изъявилъ величайшую радость, и поэтъ чуть не со слезами на глазахъ поднесъ ему эфемерный экземпляръ „Заоблачныхъ Трельей“. Примѣру его не замедлили послѣдовать всѣ остальные, не выключая встрепаннаго, черноволосаго господина съ безпокойно-блуждающимъ взоромъ, который нарисовалъ съ большою готовностью свое имя на листѣ, изображавшемъ „Лермонтовскую Шпору“.

Скрѣпивъ такимъ образомъ дружественныя связи съ собратомъ, сотрудники „Парнасской Звѣзды“ обнаружили живѣйшее участіе къ судьбѣ „Непризнанной Индѣйки“ и, сказавъ, что ждутъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ ея появленія въ свѣтъ, покинули книжную лавку.

„Все это прекрасно!“ думалъ Дрянковъ, заботливо расправляя вихры на угловатой головѣ своей. „Конечно, нельзя не радоваться такой встрѣчѣ; кругъ людей, которые могутъ оцѣнить мое произведеніе... Но... но дѣло въ томъ, что они все-таки не помогутъ мнѣ издать „Непризнанную Индѣйку“!

Радостное чувство, посѣтившее на минуту душу бѣднаго проживальщика Ханскихъ-Прудовъ, смѣнилось мгновенно тоскою, когда онъ обратилъ взоръ на тяжеловѣсную рукопись повѣсти, лежавшую рядомъ съ напечатанными брошюрами новыхъ своихъ знакомцевъ. Какъ быть?.. Аполлонъ Егоровичъ, подобно утопающему, который хватается за соломинку, рѣшился обратиться еще разъ къ Ивану Петровичу и попросить его принять на себя изданіе рукописи. Полный такой мысли, онъ сдѣлалъ уже шагъ къ конторкѣ, но въ эту минуту въ дверяхъ магазина показалось новое лицо, которое поглотило все вниманіе книгопродавца. Новое лицо очевидно принадлежало лакею; сѣрая ливрея съ порыжѣвшими галунами подтверждала краснорѣчивѣйшимъ образомъ такое предположеніе. Не постигая, что общаго могло заключаться между старымъ ливрейнымъ гайдукомъ и произведеніями человѣческой премудрости, Аполлонъ Егоровичъ устремилъ на вошедшаго любопытный взоръ.

— Здорово, дружище; что скажешь? спросилъ, между тѣмъ, Иванъ Петровичъ.

— А что скажу? Ничего, батюшка, не скажу, уныло отвѣчалъ гайдукъ, представлявшій типъ тѣхъ старыхъ слугъ барскихъ домовъ, которые пережили три поколѣнія, носили на рукахъ прадѣдушку, потомъ дѣдушку и, наконецъ, внучка.

Онъ покачалъ съ безотраднымъ выраженіемъ сѣдую голову и погладилъ обвислые бѣлые бакенбарды свои.

— Ничего не скажу, батюшка, продолжалъ онъ,—зачѣмъ прихожу каждый день, затѣмъ и нынче притащился: баринъ прислалъ...

— Яшенька, пошевеливайся; не продано ли нынче экземпляра?.. Да нѣтъ, промолвилъ Иванъ Петровичъ скороговоркой,—не продано, вѣрно не продано...

— Ни одного экземпляра! отозвался веселый Яша.

— Ну, такъ и есть! подхватилъ книгопродавецъ, — со дня изданія поступило пятьсотъ—пятьсотъ и есть; тѣхъ только недостаетъ, соколикъ, что взяты были назадъ самимъ бариномъ.

— Да скоро ли, батюшка, конецъ-то будетъ? скоро ли раскупятъ эти книги-то? воскликнулъ съ отчаяньемъ старый гайдукъ.

— Бываетъ, что и по годкамъ книга пластомъ лежитъ, да съ рукъ нейдетъ; не покупаютъ, дружище, не наклевываются... Да я вѣдь вчера еще тебѣ говорилъ объ этомъ...

— О-охъ, батюшка! вѣдь и я докладывалъ имъ: Тирсисъ Иванычъ, говорю: вечоръ навѣдался въ лавку — ничего, сударь, не продано; а онъ все свое: все, говоритъ, сходи; въ день много воды утечетъ, авось, говоритъ, одинъ экземпляръ продали! Что ты станешь съ нимъ дѣлать! Вотъ, батюшка, чего недоставало: и помѣстья есть, и чины есть, жили въ спокойствіи, всѣмъ наградилъ Господь— такъ нѣтъ: затѣяли они эту печать, пропадай она совсѣмъ... о-хъ! Такъ вотъ что, батюшка: коли ужъ ничего не продано, такъ отпустите десять экземпляровъ, продолжалъ старикъ,—я и ломового извозчика привелъ, словно чуялъ, что ужъ не продано ничего. Да вотъ еще что: баринъ велѣлъ сказать, чтобъ вы, батюшка, поставили эти десять экземпляровъ на его счетъ; да скажи, говоритъ, Ивану Петровичу, чтобъ всѣмъ говорилъ, что продано нынѣшняго числа десять экземпляровъ, а никому бы,

говоритъ, не сказывалъ, что поступили они назадъ къ барину...

— Яшенька соблаговолите въ кладовую! Десять экземпляровъ полнаго собранія Ястребилова, всего четыреста-восемьдесятъ томовъ, проговорилъ скороговоркою Иванъ Петровичъ.

Старый гайдукъ опустилъ голову и медленнымъ, тяжелымъ шагомъ отошелъ къ двери.

Аполлонъ Егоровичъ, заинтересованный въ высшей степени господиномъ, который находилъ удовольствіе раскупать свои собственныя произведенія, подошелъ къ конторкѣ.

— Скажите, пожалуйста, Иванъ Петровичъ, кто этотъ Ястребиловъ?

Имѣя въ виду приступить вслѣдъ за тѣмъ къ объясненію по поводу своей рукописи, Дрянковъ проговорилъ это самымъ дружелюбнымъ, заискивающимъ голосомъ.

— Ястребиловъ! воскликнулъ Иванъ Петровичъ, закладывая перо за ухо и взъерошивая быстрымъ движеніемъ руки кудрявые свои волосы,—самый ревностный любитель словесности, поклонникъ музъ и Аполлона, двигатель литературы и книгопечатанія, другъ и покровитель всѣхъ пишущихъ, печатающихъ, издающихъ... почтенный человѣкъ-съ!

Трудно выразить вполнѣ тѣ чувства, которыя взволновали грудь Дрянкова, когда услышалъ онъ о существованіи покровителя всѣхъ пишущихъ, печатающихъ и издающихъ. Поставленный судьбою въ безпрерывное столкновеніе съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, человѣкомъ, постигшимъ въ совершенствѣ искусство владѣть собою, Аполлонъ Егоровичъ послѣдовалъ примѣру великаго мужа и укротилъ біеніе своего сердца. Мало того, онъ облокотился локтемъ на конторку и произнесъ спокойно:

— Я, признаться, не думалъ, чтобъ могли существовать такіе покровители...

— Какъ-съ! Свѣтъ не безъ добрыхъ людей! возразилъ скороговоркою словоохотливый книгопродавецъ,—да вотъ чего же лучше, изволили видѣть писателей, что приходили, четверть часа, въ лавку? Всѣхъ вывелъ, какъ цыплятъ, Тирсисъ Иванычъ! „Прекрасная Звѣзда“, „Заоблачныя Трельи“, „Пелопонезо-Таврическія Мелодіи“ обязаны ему своимъ существованіемъ: самъ хлопоталъ и далъ даже денегъ на изданіе—меценатъ-съ!

— Меценатъ?.. воскликнулъ Дрянковъ, не вѣря ушамъ своимъ.

— Поощритель...

— Поощритель?.. Да, конечно, почтеннѣйшій Иванъ Петровичъ, пробормоталъ Дрянковъ, обуреваемый порывами душевнаго волненія. Онъ отошелъ въ сторону и быстрыми шагами принялся расхаживать по магазину.

Внезапно лицо его зардѣлось лучезарнымъ блескомъ, глаза восторженно окинули полки книжной лавки, какъ-будто вездѣ и всюду встрѣчали роскошно изданные экземпляры „Непризнанной Индѣйки"; онъ подошелъ съ увѣренностью къ конторкѣ и сказалъ рѣшительнымъ тономъ:

— Иванъ Петровичъ, дайте мнѣ прочесть сочиненія Ястребилова.

— Съ великою моею радостью; берите, пользуйтесь, читайте-съ, готовъ служить, только не много ли будетъ? Десятки томиковъ наберутся; поэзія, драмы, оды и трагедіи, посланія, историческія замѣтки, философія, проза, археологическіе отрывки... говорилъ безъ одышки Иванъ Петровичъ.

— Ничего, ничего; я буду брать по два, по три тома... Да вотъ еще что: скажите, пожалуйста, гдѣ живетъ авторъ?

— Никола-Красный-Звонъ, въ собственномъ домѣ...

— Очень вамъ благодаренъ, почтеннѣйшій, весьма даже обязанъ; въ залогъ того, что взятые мною томы будутъ возвращены аккуратно, позвольте оставить вамъ мою рукопись...

— Э, къ чему же это? не извольте безпокоиться; берите, пользуйтесь, читайте; вотъ первые два тома: оды, трагедіи, афоризмы—такъ точно! произнесъ книгопродавецъ, заглядывая на обертку двухъ страшнѣйшихъ томовъ и подавая ихъ Дрянкову.

— Эй, дружище! промолвилъ Иванъ Петровичъ, обращаясь къ старому гайдуку, спина котораго, благодаря усердію веселаго Яши, взвалившаго на нее цѣлое изданіе „Полнаго Собранія", представляла въ эту минуту совершенное подобіе покоробившейся полки (другіе два приказчика укладывали „Полное Собраніе" на дроги),—скажи, дружище, Тирсису Иванычу, что книга его не расходится, но охотно берутъ читать ее на домъ!

Аполлонъ Егоровичъ подтвердилъ это и нарочно даже подошелъ къ старому драбанту, чтобъ шепнуть ему на-ухо свою фамилію. Затѣмъ Дрянковъ распрощался съ услужли-

вымъ книгопродавцемъ и, обхвативъ одною рукою оды, трагедіи и афоризмы, другою „Непризнанную Индѣйку“ и полученныя на память брошюры, вышелъ изъ лавки въ то самое время, какъ ломовой извозчикъ, возсѣдая на вершинѣ „Полнаго Собранія“, тронулся съ мѣста, сопровождаемый гайдукомъ, который медленно выступалъ за дрогами, не переставая мотать головою и дѣлать самые безотрадные жесты.

Какая цѣль воодушевляла Аполлона Егоровича, когда онъ взялъ на себя трудъ прочесть творенія Ястребилова— объ этомъ узнаетъ читатель изъ слѣдующей главы.

Оглавленіе III тома.

Проселочныя дороги. (Романъ.) Часть I.

стр.

I. Ханскіе-Пруды 5

II. Аристархъ Өедоровичъ выставляется въ настоящемъ свѣтѣ.—Читатель знакомится съ замѣчательными личностями. 22

III. Фіона Ивановна и Прокисай Захаровичъ. 43

IV. Событія, которыми ознаменовался остатокъ дня. . 58

V. Часть быта, которая тщательно скрывается отъ постороннихъ 78

VI. Торжество въ Ханскихъ-Прудахъ. 90

VII. Лица, явившіяся въ предыдущей главѣ, говорятъ и дѣйствуютъ сообразно съ своими цѣлями, взглядомъ на вещи и убѣжденіями 105

VIII. Разъѣздъ. — Утро послѣ бала.—Вечеринка въ людской.—Разсказъ карачаевскаго Ивана 127

IX. Поѣздка въ Горшковъ.— Новыя лица.— Ночное приключеніе съ чувствительнымъ Васильковымъ . . . 150

X. Читатель знакомится съ будущимъ семействомъ Порфирія Павловича 166

XI. Николай Степановичъ Окатовъ и Софья Алексѣевна Окатова, урожденная княжна Жирофле-Никитская,— въ своемъ домашнемъ быту 187

XII. Возвращеніе въ Ханскіе-Пруды и первыя распоряженія Аристарха Өедоровича. — Ардаліонъ Попельковскій озаряется болѣе яркимъ свѣтомъ 204

XIII. Желчь начинаетъ кипѣть въ величавой груди Аристарха Өедоровича. 222

XIV. Желчь продолжаетъ кипѣть въ груди Аристарха Өедоровича.—Порфирій Павловичъ Васильковъ женится. 234

XV. Правдивая исторія одного медоваго мѣсяца. . . . 250

XVI. Образчикъ того, что Карачаевъ называетъ буржуажантильомъ! 264

XVII, преисполненная событіями всякаго рода. 283

XVIII, въ которой находится подробное донесеніе о томъ, что услышалъ Карачаевъ по возвращеніи своемъ въ Ханскіе-Пруды, какъ принялъ онъ это извѣстіе, и какое затѣмъ послѣдовало съ его стороны распоряженіе . 302

XIX. Въ дипломатической головѣ Аристарха Өедоровича созрѣлъ, между тѣмъ, новый планъ и частью даже осуществился. 318

XX, трактуетъ въ особенности о томъ, какъ Бобоховъ поѣхалъ въ Москву, что онъ тамъ дѣлалъ, кого встрѣчалъ, и знакомитъ читателя съ великолѣпнымъ Аркадіемъ Тохтамышевымъ. 325

XXI. Аристархъ Өедоровичъ, вѣрный своей цѣли, увеселяетъ Порфирія Павловича и вмѣстѣ съ тѣмъ не забываетъ собственныхъ дѣлъ своихъ. 347

XXII, въ которой доказывается самымъ положительнымъ образомъ, что сновидѣнія ровно ничего не значатъ и врутъ большею частью страшную чепуху 362

XXIII. Лучъ надежды озаряетъ впервые „Непризнанную Индѣйку“ 372

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Д. В. ГРИГОРОВИЧА

въ 12 томахъ.

3-е, вновь пересмотрѣнное и исправленное авторомъ изданіе.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1896.

Дозволено цензурою СПБ. 21 февраля 1896 г.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

СОЧИНЕНІЯ

Д. В. Григоровича.

IV.

ПРОСЕЛОЧНЫЯ ДОРОГИ.

(РОМАНЪ.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

(1853 г.)

I,

могущая служить достовѣрнымъ и въ то же время единственнымъ матеріаломъ для пополненія многихъ библіографическихъ замѣтокъ.

Жилъ-былъ когда-то въ Москвѣ весьма почтенный и кроткій старичокъ, по имени Тирсисъ Ивановичъ Ястребиловъ. Этотъ старичокъ, вмѣстѣ съ супругою своей, Клавдіей Ильиничной, представлялъ трогательную картину неизмѣнной любви и счастія. Сила любви, говорятъ, испытуется въ критическихъ случаяхъ жизни. Если только за этимъ дѣло стало, то довольно привести одинъ примѣръ, чтобъ доказать, что Филемонъ и Бавкида, Дафнисъ и Хлоя и вообще всѣ знаменитые любовники, какъ миѳологическіе, такъ равно и древне-историческіе, были попросту водевильные герои, въ сравненіи съ супругами Ястребиловыми.

Вотъ вамъ это доказательство:

Тирсисъ Ивановичъ и Клавдія Ильинична питали въ душѣ непреодолимое влеченіе бесѣдовать съ музами, или, говоря грубымъ слогомъ, оба преслѣдуемы были въ равной степени демономъ стихотворства. (Вскормленные музами, взращенные Аполлономъ, оба они, благодаря общему покровителю, Минервѣ, не замедлили подать другъ

другу руки и пошли къ алтарю Гименея). Съ первыхъ же дней своего супружества, Тирсисъ Ивановичъ показалъ неслыханный примѣръ самопожертвованія: готовясь предать тисненію превосходное свое посланіе „Къ Хлоѣ“, онъ встрѣтилъ на столбцахъ одного дѣтскаго альманаха посланіе жены, подъ названіемъ: „Къ Другу души моей“; посланіе написано было тайкомъ, съ тою цѣлью, чтобъ доставить пріятный сюрпризъ мужу. Тирсисъ Ивановичъ рѣшился не печатать своего посланія, изъ опасенія затмить какъ-нибудь громадный успѣхъ посланія „Къ Другу души моей“. Клавдія Ильинична печатала, нужно замѣтить, съ двадцатилѣтняго возраста; имя ея извѣстно уже было во многихъ дѣтскихъ альманахахъ; довольно уже того, что, выйдя замужъ, она перемѣнила свою фамилію на имя, не успѣвшее еще прославиться въ литературѣ. (Тирсисъ Ивановичъ ничего еще тогда не выпускалъ въ свѣтъ, хотя могъ сотнями считать произведенія своей юности). Но это, собственно говоря, еще ничего. Слѣдовало только объявить въ выноскѣ, что Клавдія Ястребилова не кто иная, какъ авторъ „Маргаритокъ“ и проч., и проч.; такъ и поступила она по поводу посланія „Къ Другу“, и читатели дѣтскихъ альманаховъ, встрѣчавшіе всегда съ любовью имя автора „Маргаритокъ“, успокоились разъ навсегда. Но вотъ въ чемъ задача: какія страшныя недоразумѣнія возникнутъ между этими самыми читателями, когда, рядомъ съ любезнымъ именемъ, встрѣтятъ они другое имя, во всемъ подобное первому? Мы знали К*** Ястребилову, а теперь явился еще какой-то Т*** Ястребиловъ! Пойдутъ догадки, сравненія; кто этотъ Т*** и кто лучше пишетъ—К*** или Т*** Ястребиловы? Затѣется, чего добраго, жаркая полемика въ журналахъ; скажутъ, пожалуй, что Т*** Ястребиловъ пишетъ лучше К***, и это естественнымъ образомъ огорчитъ Клавдію Ильиничну, которая не знала прежде соперниковъ. И кто же этотъ соперникъ — ея собственный мужъ — ужасно!.. Нѣтъ, прочь такая мысль! Пускай имя Клавдіи продолжаетъ сіять лучезарнымъ блескомъ на страницахъ дѣтскихъ альманаховъ; пускай украшаетъ оно столбцы всевозможныхъ газетъ!

Тирсисъ Ивановичъ, натянувшій уже всѣ струны своей лиры и готовый ударить по нимъ всею силой вдохновенной десницы, рѣшился принести въ жертву самого себя, свое вдохновенье и свою лиру; преисполненный такой без-

примѣрно-великодушной мысли, онъ далъ себѣ слово ревностно трудиться въ глуши своего кабинета и не печатать до тѣхъ поръ, пока будетъ печатать жена его. И— страшно вымолвить, почтенный читатель, именно страшно вымолвить—въ продолженіе тридцати пяти лѣтъ... да-съ, тридцати пяти лѣтъ, кроткій Тирсисъ Ивановичъ работалъ въ тиши своего кабинета, творилъ каждый день, и ничего не печаталъ!.. Намъ ничего неизвѣстно насчетъ того, проливалъ ли онъ въ тиши своего кабинета горькія слезы надъ молчаливыми струнами своей лиры, или, наоборотъ, выносилъ судьбу свою съ стоическимъ хладнокровіемъ. Принимая въ соображеніе постоянный меланхолическій видъ его, слѣдуетъ предположить, что послѣднее было несовсѣмъ справедливо. Судя по собственнымъ своимъ чувствованіямъ и зная по опыту, какъ горько жить въ разлукѣ со славой, тогда какъ она только и ждетъ случая, чтобъ броситься къ вамъ въ объятія, Тирсисъ Ивановичъ принялъ намѣреніе протягивать руку каждому поэту, который, по какимъ-либо обстоятельствамъ, не могъ занять мѣсто на Парнасѣ безъ посторонней помощи. Нѣтъ возможности пересчитать всѣхъ денегъ, выданныхъ Тирсисомъ Ивановичемъ разнымъ собратамъ, не имѣвшимъ средствъ обогащать свѣтъ своими твореніями; еще менѣе можно пересчитать всѣ книги, брошюрки и томики, изданные на счетъ Ястребилова: для этого потребовались бы цѣлые каталоги. Достаточно сказать, что прежде, чѣмъ имя Тирсиса Ивановича, выставленное передъ „Полнымъ Собраніемъ“ его сочиненій, прогремѣло въ литературномъ мірѣ, онъ извѣстенъ уже былъ какъ меценатъ, страстный любитель отечественной словесности и ревностный поощритель всего пишущаго, печатающаго и издающаго. Несмѣтныя полчища лириковъ, элегистовъ, прозаиковъ всякаго рода и поэтовъ во всѣхъ возможныхъ родахъ тянулись караванами, подобно факирамъ, отправляющимся на поклоненіе въ Мекку, по направленію къ чертогамъ Тирсиса Ивановича и Клавдіи Ильиничны. Литературные вечера двухъ супруговъ, имѣвшіе быть каждый понедѣльникъ, пріобрѣли давно заслуженную популярность. Объ этихъ раутахъ и вечерахъ говорилось очень часто въ газетахъ. Все это, естественнымъ образомъ, должно было разливать благодатный бальзамъ на меланхолію кроткаго Тирсиса Ивановича, который, нѣтъ сомнѣнія, зачахъ бы въ тиши своего кабинета безъ живительной извѣстности.

Названіе покровителя искусствъ утѣшало его, подкрѣпляло его силы и давало ему необходимую энергію для того, чтобъ скрывать свои творенія отъ свѣта.

Въ эти тридцать пять лѣтъ каждодневнаго, постояннаго, безпредѣльнаго самопожертвованія со стороны супруга, Клавдія Ильинична не переставала услаждать читателей дѣтскихъ альманаховъ мелодическими звуками своей вдохновенной лиры. Но, увы! вѣчнаго ничего нѣтъ; всему суждено имѣть свой конецъ! На пятьдесятъ пятомъ году отъ рожденія, Клавдія Ильинична чувствовала, что вдохновеніе стало посѣщать ее рѣже и рѣже; умъ и сердце работали между тѣмъ безпрерывно, чувствуя сильнѣйшую потребность высказываться; риѳма бѣжала съ языка сама собою, и, со всѣмъ тѣмъ, все вмѣстѣ—мысль, ощущенія сердца и риѳма никакъ не могли сочетаться въ одинъ стройный, звучный аккордъ! Разъ только, именно въ день празднованія золотой свадьбы, душа Клавдіи Ильиничны обрѣла вновь свою творческую силу, да и то потому лишь, что была потрясена тридцатипятилѣтними впечатлѣніями. То была, впрочемъ, послѣдняя пѣснь лебедя! Пѣснь эта, напечатанная въ одномъ изъ первоклассныхъ альманаховъ, подъ названіемъ „Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ“ и очевидно посвященная Тирсису Ивановичу, извѣстна всему просвѣщенному міру, и потому нѣтъ никакой надобности распространяться о колоссальныхъ ея достоинствахъ. Скажемъ только словами одной газеты, что Клавдія Ильинична покинула литературное поприще въ эпоху полнаго развитія своего могучаго поэтическаго таланта. Это обстоятельство, какъ и слѣдовало ожидать, произвело самыя гибельныя послѣдствія на дѣтскіе альманахи того времени; читатели, не встрѣчая болѣе имени любимаго своего поэта, отказались напрямикъ подписываться; издатели другихъ книгъ, не подозрѣвавшіе настоящей причины упадка альманаховъ, запуганные, чтобъ и ихъ не постигла такая же участь, остановили свои работы; библіографическіе отдѣлы журналовъ, за недостаткомъ пищи, отощали страшно; поднялся ропотъ въ читающей публикѣ; уныніе овладѣло издателями, и Богъ вѣсть, чѣмъ бы все это кончилось, если бъ не явилось одно обстоятельство, которое, подобно Атласу, вынесло на плечахъ своихъ распадающійся міръ тогдашней литературы. Кроткій Тирсисъ Ивановичъ, молчавшій въ продолженіе тридцати пяти лѣтъ, выпустилъ разомъ сорокъ во-

семь томовъ своихъ сочиненій, украшенныхъ портретомъ автора. Все ожило, встрепенулось и заговорило. Примѣръ неслыханный, небывалый! Господинъ, выступающій на литературное поприще съ сорока восемью компактными томами! Имя Ястребилова появилось во всѣхъ библіографическихъ отдѣлахъ, запестрѣло во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ, зарябило на столбцахъ всѣхъ возможныхъ газетъ; многія почтенныя особы, хранившія упорное молчаніе, подобно Тирсису Ивановичу, поощренныя теперь его примѣромъ, подарили свѣтъ своими твореніями, какъ бы желая показать этому свѣту, что и у нихъ точно такъ же время не проходило даромъ. Бумажныя фабрики ожили; типографскіе станки, покрывшіеся было паутиной, работали денно и нощно; полки книжныхъ лавокъ затрещали и погнулись подъ спудомъ „Полныхъ Собраній". Но переворотъ, произведенный Ястребиловымъ въ литературномъ мірѣ, ровно ничего не значитъ въ сравненіи съ переворотомъ, совершившимся въ душѣ самого автора: изъ меланхолическаго старичка, возсѣдавшаго недвижно въ вольтеровскихъ креслахъ и погруженнаго постоянно въ тихое раздумье, сдѣлался вдругъ старичокъ-живчикъ, не остающійся ни минуты на одномъ мѣстѣ, бѣгающій, суетящійся и ни въ какомъ случаѣ не напоминающій прежняго Тирсиса Ивановича. Онъ не читалъ прежде газетъ и журналовъ, за исключеніемъ тѣхъ развѣ случаевъ, когда говорилось о его литературныхъ вечерахъ или превозносились до небесъ стихотворенія Клавдіи Ильиничны, но теперь не пропускалъ ни одной печатной строчки, и трудно передать волненіе почтеннаго старичка, когда глаза его встрѣчали отзывы о „Полномъ Собраніи". Отзывы—какъ это весьма часто случается—имѣли, по поводу одного и того же предмета, совершенно различные характеры; такъ, напримѣръ, если въ одномъ журналѣ нападали безъ пощады на оды Ястребилова, другой журналъ находилъ какое-то особенное удовольствіе превозносить ихъ до небесъ, указывая въ то же время весьма ловко на тупую непонятливость враждебнаго журнала, который не умѣлъ оцѣнить достоинствъ, бросающихся въ глаза послѣднему школьнику; казалось даже въ иныхъ случаяхъ, что „Полное Собраніе" сочиненій Тирсиса Ивановича служило враждебнымъ журналамъ только предлогомъ для того, чтобъ осыпать другъ друга эпиграммами и указывать читателямъ на промахи того и другого. Мы при-

вели это единственно къ тому, чтобъ выразить, въ наивозможно болѣе короткихъ словахъ, душевное состояніе автора, принужденнаго читать о себѣ отзывы, произносимые въ одно и то же время въ разныхъ журналахъ. Въ подтвержденіе того, что подобное состояніе хуже всякой каторги, стоило лишь взглянуть на Тирсиса Ивановича, который исхудалъ въ три мѣсяца, какъ щепка, и утратилъ въ эти три мѣсяца душевное спокойствіе.

Перенесемся теперь въ кабинетъ автора „Полнаго Собранія"—кабинетъ, заслуживающій вниманія, потому что теперь нѣтъ уже почти такихъ кабинетовъ.

Представьте себѣ огромную, четырехугольную комнату, обставленную кругомъ частыми полками, которыя завалены классиками; тамъ и сямъ мелькаютъ бюсты древнѣйшихъ классиковъ, бронзированные мухами; полъ устланъ зеленымъ, полинялымъ—ну, словомъ, классическимъ сукномъ; широкій столъ, занимающій середину комнаты, покрытъ такимъ же зеленымъ сукномъ; на немъ возносятся, въ лирическомъ безпорядкѣ (выраженіе чисто-классическое), свертки, бумаги, разверстые фоліанты съ красными и мраморными обрѣзами, изъ которыхъ выглядываетъ безчисленное множество закладокъ; тутъ же виднѣется исполинская чернильница античной формы, античные карманные часы, имѣющіе большое сходство съ маленькимъ, приплюснутымъ глобусомъ, и рядомъ съ ними синіе, классическіе очки, обшитые зеленой кожей. Полдюжины старыхъ, вольтеровскихъ креселъ окружаютъ столъ, надъ которымъ во всякое время болтается на мѣдной цѣпи лампа, прикрытая зеленымъ колпакомъ и напоминающая своей фигурой древне-греческіе свѣтильники; жидкій, желтоватый свѣтъ проникаетъ съ трудомъ сквозь запыленныя окна и штофныя гардины, привѣшенныя въ то время еще, когда знакомый читателю гайдукъ носилъ на рукахъ своихъ Тирсиса Ивановича. Нигдѣ не замѣтно малѣйшаго слѣда какого-нибудь эфемернаго украшенія; въ одномъ только мѣстѣ, а именно, на стѣнѣ, противъ сѣдалища Тирсиса Ивановича, виситъ въ миніатюрной, новомодной рамкѣ клокъ волосъ Клавдіи Ильиничны, тѣсно сжатый между шлифованнымъ стекломъ и голубой бумажкой; но и это украшеніе имѣетъ характеръ чисто-античный: во-первыхъ, уже потому, что въ волосахъ Клавдіи Ильиничны сильно пробиваетъ сѣдина; во-вторыхъ, клокъ волосъ поднесенъ Ястребилову въ день празднованія золо-

той свадьбы и уже этимъ самымъ невольно долженъ переносить къ давно прошедшимъ временамъ.

Затхлый, спертый воздухъ наполнялъ этотъ кабинетъ, который, безъ большого преувеличенія, можно бы сравнить съ отжившимъ тѣломъ допотопнаго чудовища, если бъ не оживляли его во всякое время дня и ночи непрерывный скрипъ пера, шелестъ бумаги и, наконецъ, писк и шорохъ мышей, глодавшихъ фоліанты.

Классическій видъ кабинета довершался какъ нельзя лучше крошечною фигуркою Тирсиса Ивановича, который суетливо расхаживалъ взадъ и впередъ, попирая своими классическими бархатными сапожками классическое зеленое сукно, устилавшее классическій полъ. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ сухощавыхъ, сгорбленныхъ старичковъ, которые не старѣютъ отъ времени, но только засушиваются. Лицо его было схоже, какъ двѣ капли воды, съ лицомъ больного ребенка, и только бѣлые какъ снѣгъ волосы, спускавшіеся неправильными косяками вдоль щекъ, напоминали, что вы имѣете дѣло съ семидесятилѣтнимъ старичкомъ; черты его дышали добродушіемъ и добротою невыразимыми; черные, безпокойные глазки и вострый, красный носикъ оживляли физіономію, придавая ей вмѣстѣ съ тѣмъ выраженіе суетливой озабоченности. Тоненькія, тщедушныя ноги его казались болтавшимися въ узенькихъ черныхъ панталонахъ, запрятанныхъ въ бархатные сапожки; жиденькій галстукъ едва-едва прикрывалъ его шею, окруженную безконечно длинными и страшно накрахмаленными воротничками рубашки изъ тончайшаго голландскаго полотна; коротенькій жилетъ исчезалъ въ складкахъ сѣраго длиннополаго сюртучка, украшеннаго по бокамъ исполинскими карманами. Расхаживая взадъ и впередъ по кабинету, старичокъ останавливался поминутно передъ знакомымъ уже намъ гайдукомъ.

— Ну, такъ какъ же, Гаврилычъ? какъ же ты говоришь, что... а? что, бишь, ты сказалъ, а? произнесъ Тирсисъ Ивановичъ, устремляя свѣтлые, черные глазки въ мутные, сѣровато-молочные глаза собесѣдника.

Вопросъ очевидно вызванъ былъ продолжавшимся повѣствованіемъ о приключеніяхъ нынѣшняго утра.

Крупныя фіолетовыя губы и сѣдыя брови Гаврилыча раздвинулись; онъ покрутилъ головою и сказалъ голосомъ, который казался выходившимъ изъ погреба или склепа:

— А тоже, батюшка, что вечоръ было, то и сегодня: „Покупать, говоритъ, не покупаютъ, а читать, говоритъ, берутъ охотно—берутъ“, говоритъ...

— Такъ читать-то, говоритъ, берутъ, а? берутъ читать, читать берутъ? заговорилъ Тирсисъ Ивановичъ, принимаясь снова сѣменить своими бархатными сапожками и потирая съ неимовѣрною быстротою своими ладонями.— И все, говоришь ты, тотъ же самый господинъ, что́ приходилъ недѣлю тому назадъ, когда я посылалъ тебя за экземплярами; да полно, тотъ ли? Ты видѣлъ ли его?..

— Какъ же, батюшка, видѣлъ, три раза видѣлъ,—тотъ самый...

— Тотъ самый, гм! перебилъ Тирсисъ Ивановичъ, неожиданно останавливаясь,—да, ну, а каковъ онъ изъ себя, этотъ господинъ? Ты говорилъ, кажется: высокій, худощавый—а? примолвилъ онъ, устремляя на дядьку живые, нетерпѣливые глазки.

— Да вѣдь я ужъ докладывалъ вамъ, батюшка, возразилъ Гаврилычъ съ отчаяннымъ выраженіемъ лица,—я говорилъ вамъ: невзрачный, малорослый, крѣпкій такой, чернявый...

— Да, невзрачный, гм! невзрачный, невзрачный, пробормоталъ Тирсисъ Ивановичъ, поспѣшно ковыляя къ письменному столу.

Онъ взялъ какой-то клочокъ бумаги, внимательно прочелъ начертанныя на немъ каракули, бережно положилъ бумажку на прежнее мѣсто и еще усерднѣе принялся расхаживать по кабинету, нашептывая себѣ подъ-носъ:

— Дрянковъ, Дрянковъ... я что-то не слыхалъ этой фамиліи: Дрян-ковъ, Дрянк-овъ, Др-янковъ... нѣтъ, рѣшительно не слыхалъ.

Наступило молчаніе, прерываемое шарканьемъ бархатныхъ сапожковъ по зеленому сукну.

Убѣдившись окончательно, что фамилія Дрянкова была ему неизвѣстна, Тирсисъ Ивановичъ снова остановился передъ дядькой и снова потеръ руками.

— Такъ какъ же, Гаврилычъ, читаютъ, говоришь ты?— и охотно читаютъ—а?.. а?..

— Читаютъ, батюшка, читаютъ, я вамъ вѣдь докладывалъ, отвѣчалъ гайдукъ, тоскливо свѣшивая голову и опуская руки.

— Хорошо, Гаврилычъ, спасибо! Ступай съ Богомъ... А вечеркомъ, смотри, не забудь опять сходить въ книж-

ную лавку; спроси, не продали ли хоть одинъ экземпляръ... Въ четыре или пять часовъ много воды утечетъ; можетъ быть, вотъ мы стоимъ тутъ съ тобой да толкуемъ, а тамъ въ эту самую минуту кто-нибудь и покупаетъ... и покупаетъ... а? Не сходить ли тебѣ теперь? Какъ ты думаешь?.. Нѣтъ, впрочемъ, все равно, зайдешь вечеркомъ, такъ тогда разскажешь... Да спроси, не являлись ли еще охотники читать? Скажи Ивану Петровичу, чтобъ всѣмъ, кто только пожелаетъ, всѣмъ давалъ читать безъ малѣйшаго затрудненія, и, если найдетъ нужнымъ, ставилъ бы отданныя книги на мой счетъ—пускай ихъ читаютъ, очень радъ; для того и книги пишутся... Ступай съ Богомъ, Гаврилычъ, заключилъ Ястребиловъ, ласково обращаясь къ дядькѣ, который во все время этого монолога глядѣлъ съ какою-то безотрадною тоскою на полъ.

Оставшись наединѣ, Тирсисъ Ивановичъ потеръ руками и разразился такимъ добродушно-веселенькимъ смѣхомъ, что посторонній наблюдатель могъ бы почувствовать истинное наслажденіе, если бъ только удалось ему подмѣтить въ эту минуту радостное лицо кроткаго старичка.

Веселенькій смѣхъ добродушнаго старичка, вылетѣвшій изъ груди его при мысли, что читаютъ, и даже очень охотно читаютъ „Полное Собраніе“ сочиненій, не успѣлъ еще замолкнуть, какъ снова на порогѣ кабинета показался Гаврилычъ.

На этотъ разъ крупное лицо дядьки ухмылялось; по всему видно было, что онъ намѣревался сообщить теперь какую-нибудь пріятную вѣсть.

— Что ты, Гаврилычъ, а?.. а? спросилъ Тирсисъ Иванычъ, поспѣшно направляясь къ дядькѣ.

— Да вотъ, батюшка, тотъ самый, что вы спрашивать-то изволили, вотъ, что все читать-то беретъ...

— Да; ну, что-жъ такое?

— Дожидается въ залѣ...

— Какъ, тотъ самый... Дрянковъ?..

— Такъ точно-съ.

— Ахъ, Боже мой! Просить, принять, сказать, что очень радъ! воскликнулъ Тирсисъ Ивановичъ, суетливо выступая за гайдукомъ.

У дверей кабинета онъ остановился и принялся потирать ладонями, между тѣмъ какъ на лицѣ его проступали всѣ признаки живѣйшей радости, смѣшанной съ нетерпѣніемъ и любопытствомъ.

Радушіе Тирсиса Ивановича, нужно замѣтить, извѣстно было всей Москвѣ, точно такъ же, какъ его рауты и литературные вечера. Любовь къ наукѣ, поэзіи и искусству занимала въ его сердцѣ такое обширное мѣсто, что не оставляла тамъ малѣйшаго закоулочка для спеси и гордости. Онъ охотно протягивалъ руку всякому, кто отличался чѣмъ-нибудь на художественномъ поприщѣ; словомъ, Тирсисъ Ивановичъ былъ настоящій меценатъ; но Дрянковъ сомнѣвался въ возможности существованія такого человѣка...

Наружность Аполлона Егоровича подтверждала, что онъ до сихъ поръ еще питалъ въ душѣ свои сомнѣнія. Соображаясь съ другими лицами, игравшими передъ нимъ роль покровителей искусства, и увѣренный, что Тирсису Ивановичу будетъ такая же точно нужда до его костюма, онъ облачился въ черный фракъ Василькова, и почелъ даже необходимымъ напялить на руки замшевыя бѣлыя перчатки, которыя представляли по изящному завиточку на концѣ каждаго изъ его пальцевъ. Сердобольно-умильный видъ, принятый Дрянковымъ при входѣ въ кабинетъ, показывалъ окончательно, что онъ не зналъ Тирсиса Ивановича и невѣрно судилъ о немъ. Аполлонъ Егоровичъ остановился у порога, отвѣсилъ низкій поклонъ и потупилъ глаза въ зеленое сукно.

— Здравствуйте, здравствуйте, милый мой! зд-ра-вствуйте! заговорилъ Тирсисъ Ивановичъ, шаркая своими бархатными сапожками и кивая головой,—здравствуйте! Очень радъ васъ видѣть! заключилъ онъ, протягивая ему руку и разсматривая его съ восторженнымъ напряженіемъ.

Услышавъ мягкій, нѣжный голосокъ Ястребилова, Аполлонъ Егоровичъ поднялъ глаза: добродушіе, написанное въ чертахъ Тирсиса Ивановича, ободрило его; со всѣмъ тѣмъ, онъ не рѣшился еще покинуть свой сердобольный видъ и, наклонивъ униженно голову, произнесъ робкимъ голосомъ:

— Извините, милостивый государь, если я осмѣлился потревожить васъ... Я знаю, сколько драгоцѣнны минуты ваши, и если рѣшился я причинить вамъ безпокойство, отнять у васъ одну изъ этихъ драгоцѣнныхъ минутъ, такъ сдѣлалъ это единственно потому, что зналъ безграничное снисхожденіе ваше къ бѣднымъ собратамъ-труженикамъ, которые посвятили свою жизнь на служеніе искусству...

Во время этого велерѣчиваго монолога, очевидно обдуманнаго и сочиненнаго наканунѣ, лицо Тирсиса Ивановича переполнилось невыразимою нѣжностью.

— Такъ вы поэтъ, собратъ? воскликнулъ онъ, протягивая ему обѣ руки.

— То-есть, я не пробовалъ писать стиховъ... хотя увѣренъ, что, руководимый какимъ-нибудь могучимъ талантомъ, могъ бы въ скоромъ времени... сказалъ Дрянковъ, пристально всматриваясь въ собесѣдника. — Впрочемъ, поэзія вездѣ и всюду-съ, и, основываясь на этомъ, я точно такъ же... мой удѣлъ—проза, я прозаикъ! примолвилъ онъ съ скромною улыбкой.

— Очень радъ, милый мой, очень радъ съ вами познакомиться! Садитесь, пожалуйста. Я самъ писалъ много въ прозѣ и даже очень люблю ее: проза—дитя разума и мышленія; поэзія—дочь сердца и вдохновенья... я высказалъ эту прекрасную мысль въ двадцать-восьмомъ томѣ моего собранія...

— Я имѣлъ счастіе прочесть этотъ томъ, и... и!..

— А! такъ вы развѣ читали мои сочиненія? перебилъ Тирсисъ Ивановичъ, любознательно всматриваясь въ лицо собесѣдника, переминая нетерпѣливо бархатными сапожками и потирая ладонями.

— Читалъ-съ, все читалъ, и скажу вамъ—не примите это, Бога-ради, за презрительную лесть: я человѣкъ простой, откровенный, сужу по впечатлѣніямъ сердца,— скажу вамъ, прибавилъ онъ, удачно измѣняя интонацію своего голоса и такъ же удачно придавая своему лицу восхищенное выраженіе.—Скажу вамъ, я въ восторгѣ, въ энтузіазмѣ!.. До сихъ поръ не могу опомниться! Вы написали такую книгу, которая можетъ читаться цѣлую жизнь... нѣтъ, цѣлой жизни не достанетъ, чтобъ изучить и прочесть ее.

Аполлонъ Егоровичъ нехотя высказывалъ, однакожъ, сущую правду. Дѣйствительно, жизни человѣческой, если исключить время, употребляемое на отдыхъ, ѣду, дѣла, развлеченія—далеко не достало бы не только для изученія, но даже для прочтенія „Полнаго Собранія". Дрянковъ могъ бы прибавить къ этому, что Тирсисъ Ивановичъ воздвигъ себѣ памятникъ, и опять-таки сказалъ бы сущую правду, потому что сорокъ-восемь компактныхъ томовъ, какъ хотите, представляли въ массѣ цѣлый мавзолей; но онъ ограничился слѣдующимъ:

— Да-съ, я не могу опомниться! И, можетъ-быть, это самое состояніе души моей заставило меня забыть дерзость своего поступка и обратиться къ вамъ съ просьбой... просьбой, которую не осмѣливаюсь и произнести... заключилъ онъ, приподнимаясь съ мѣста, отвѣшивая поклонъ и робко опуская глаза на бархатные сапожки, которые казались пляшущими.

— Пожалуйста, прошу васъ, говорите, милый мой, говорите, очень радъ! съ участіемъ подхватилъ старичокъ, заботливо усаживая гостя на прежнее мѣсто,—очень радъ, если могу быть вамъ полезнымъ; не стѣсняйтесь, готовъ служить вамъ всѣмъ сердцемъ...

— Милостивый государь, сказалъ съ горделивымъ достоинствомъ Аполлонъ Егоровичъ и выпрямилъ грудь,— милостивый государь, я человѣкъ бѣдный; дарованіе и надежды—все мое богатство! Не имѣя средствъ пріобрѣсти въ свою собственность драгоцѣнныя сочиненія ваши, я рѣшился... да, я рѣшился прибѣгнуть къ вамъ и просить васъ снизойти къ мольбамъ человѣка, жаждущаго просвѣщенія, и снабдить его, если это только возможно, однимъ экземпляромъ...

— Ахъ, милый мой, я очень радъ! очень, очень радъ! Вы доставляете мнѣ этимъ большое удовольствіе; я сейчасъ же напишу въ книжную лавку, сію минуту... Садитесь, садитесь, милый мой... проговорилъ добродушный старичокъ, подбѣгая къ столу и принимаясь выводить каракули на клочкѣ бумаги.

— И по этой запискѣ мнѣ отдадутъ „Полное Собраніе“? восторженно воскликнулъ Дрянковъ, думавшій покурить еще немножко ѳиміамомъ, чтобъ удобнѣе приступить потомъ къ настоящей причинѣ своего визита.

— Сію же минуту, безъ малѣйшаго замедленія. Читайте, милый мой, учитесь, вы еще молоды; слушайте совѣтовъ людей опытныхъ, слѣдуйте ихъ примѣру; трудитесь, милый мой, трудитесь! нѣжно говорилъ старичокъ, между тѣмъ какъ Дрянковъ пристально всматривался въ бархатные сапожки и сохранялъ видъ трогательнаго умиленія. — Но, стало-быть, прибавилъ кроткій Тирсисъ Ивановичъ, нѣжно взявъ его за руку, — стало-быть, вы еще не прочли всѣхъ томовъ? Садитесь, садитесь, милый мой. Разскажите-ка, что̀ именно вы читали... заключилъ онъ съ живостью.

Аполлонъ Егоровичъ пересчитывалъ наобумъ дюжину томовъ.

— А-а! такъ вы, значитъ, милый мой, не читали еще драматическихъ произведеній... воскликнулъ старичокъ, улыбаясь такимъ образомъ, какъ будто сдѣлалъ въ эту минуту одно изъ самыхъ удивительныхъ открытій, какія когда-либо выпадали на долю человѣческой премудрости.

— Нѣтъ-съ, читалъ, возразилъ Дрянковъ съ увѣренностью, которая сильно, однакожъ, противорѣчила робкимъ взглядамъ этого интереснаго сорокалѣтняго молодого человѣка, — читалъ. Къ несчастью, не зная содержанія остальныхъ томовъ, не могу сказать вамъ, читалъ ли я всѣ драматическія произведенія; но я съ восхищеніемъ прочелъ одну трагедію...

— Какую? какую? Не „Синеусъ и Труворъ"?

— Нѣтъ-съ, „Мазидъ и Зенеибъ".

— А-га! Ну, что жъ? Какъ вамъ нравится? спросилъ Тирсисъ Ивановичъ, потирая руками.

— Превосходно! Какое могущество! какая сила! повѣрите ли, я даже наизусть выучилъ многія мѣста! сказалъ Дрянковъ, между тѣмъ, какъ бархатные сапожки выбивали дробь по зеленому сукну. — Впрочемъ, иначе и быть не можетъ: этотъ звучный, серебряный стихъ невольно врѣзывается въ память. Ахъ, какъ поразительна эта сцена, когда свирѣпый Мазидъ, умертвивъ Агул-Абаса, встрѣчаетъ кроткаго Зенеиба и признается ему въ своемъ проступкѣ... — „Здорово, Зенеибъ!" говоритъ Мазидъ.— „Здорово, братъ Мазидъ!" говоритъ Зенеибъ. Потомъ они молчатъ; Зенеибъ разспрашиваетъ Мазида о подробностяхъ убійства, и Мазидъ сознается во всемъ. — „Я вонзилъ кинжалъ въ его сердце!" говоритъ онъ: „почетши себя обиженнымъ однимъ взглядомъ, который бросилъ онъ на милую Оглану, я лишилъ его жизни! Онъ умеръ! А я... я не пораженъ еще мечомъ правосудія! Не знаю, какое внутреннее побужденіе заставило меня бѣжать казни, которую весьма заслужилъ я... Зенеибъ! я прибѣгаю скрыться въ нѣдра дружества...

Тому не страшенъ смерти часъ,
Чью душу дружба согрѣваетъ,
Чьи взоры дружба закрываетъ;
Онъ слышитъ въ сердцѣ сладкій гласъ:
„И тамъ, вдали за облаками,
Ты будешь съ милыми друзьями!"

— Превосходно! заключилъ Дрянковъ съ величайшей энергіей.

— Превосходно! воскликнулъ старичокъ, невольно обуреваемый порывами восторга.

Худощавыя щеки его и вострый носикъ горѣли, какъ въ лихорадочномъ пароксизмѣ. Во время чтенія послѣднихъ стиховъ онъ суетливо расхаживалъ вокругъ стола и, наконецъ, остановился передъ Дрянковымъ.

— Да, милый мой, да! вы прекрасно прочли эти стихи, благодарю васъ! сказалъ онъ съ восхищеніемъ. — А помните ли вы то мѣсто трагедіи, когда является Пансофій, аѳинскій мудрецъ, и говоритъ Мазиду...

Тутъ кроткое лицо Тирсиса Ивановича приняло строгое выраженіе; онъ отступилъ три шага назадъ, простеръ впередъ руку и, моргая своими черными, блестящими глазками, прочелъ дрожащимъ голосомъ:

Замѣна счастія—отрада въ скорбный часъ,
Надежда никогда не покидаетъ насъ,
На язвы тяжкія цѣлебный льетъ бальзамъ.
Спокойствіе—ея послѣдуетъ стопамъ!

— Восхитительно! сказалъ Дрянковъ.

— Превосходно! превосходно! восторженно воскликнулъ Тирсисъ Ивановичъ, бѣгая вокругъ стола. — Ну, а то мѣсто, напримѣръ, примолвилъ онъ, останавливаясь внезапно передъ собесѣдникомъ,—то мѣсто, когда Мазидъ...

— Хочетъ отравить себя? перебилъ Дрянковъ, принимая на себя объясненіе могучей сцены, чтобъ скорѣе повести ее къ концу и приступить къ собственному своему объясненію, — и когда Пансофій, желая отвлечь его отъ такого поступка, разсказываетъ ему притчу... превосходную...

— Да; но вы знаете ли ее наизусть? Я вамъ прочту ее, перебилъ старичокъ, утопавшій въ сладостныхъ ощущеніяхъ,—я вамъ прочту ее:—„Нѣтъ ничего постояннаго подъ небесами, другъ Мазидъ, говорилъ ему Пансофій,— кедры ливанскіе уступаютъ усиліямъ Борея, и горы, которыхъ вершины угрожаютъ самой тверди небесной, могутъ низвергнуться во глубину земли, если будетъ на то воля Аллаха. Нѣкогда размышлялъ я о коловратностяхъ земного, подлуннаго бытія. Благотворительная Пери поднесла мнѣ чашу съ усыпительнымъ питіемъ, и я увидѣлъ во снѣ персидскаго царя Гензабела, побѣжденнаго султаномъ Желт-Гединомъ...“

— Восхитительно! произнесъ нетерпѣливо Дрянковъ.

— Не правда ли? Очень радъ, молодой мой другъ! очень радъ, что вамъ это нравится! Ну, а что вы скажете о сатирахъ и афоризмахъ, которые помѣщены въ томъ же томѣ.

— Какъ тѣ, такъ и другіе произвели на меня сильнѣйшее впечатлѣніе, отвѣчалъ Дрянковъ, опасаясь, однакожъ, стать втупикъ и этимъ самымъ повредить успѣху своего дѣла; а дѣло состояло въ томъ, чтобъ склонить Тирсиса Ивановича принять на свой счетъ изданіе „Непризнанной Индѣйки"—дѣло, какъ видите, очень важное!

— Да; но мнѣ любопытно было бы знать, какія именно изъ сатиръ вамъ больше понравились?..

— Названія не помню... вотъ эта:

„Желѣзо не блеститъ, какъ ржа его съѣдаетъ,
И меркнетъ умъ тогда, какъ сердце унадаетъ"...

— Впрочемъ, всѣ превосходны!..

— Ну, а эта, милый мой, перебилъ восхищенный старичокъ,—эта:

Во всякомъ молодцѣ
Довольно суеты;
Во всякомъ мудрецѣ
Довольно простоты?..

И онъ устремилъ на него вопросительный взглядъ, исполненный живѣйшаго нетерпѣнія.

— Превосходна и эта, замѣтилъ Дрянковъ.

— Ну, а что вы скажете объ афоризмахъ?

На этотъ разъ Аполлонъ Егоровичъ испугался не на шутку: онъ, какъ на зло, не только не читалъ афоризмовъ, но не могъ даже ясно опредѣлить значенія этого слова.

Къ счастію, добродушный старичокъ не дождался отвѣта; онъ подбѣжалъ къ полкѣ, вынулъ какой-то толстый томъ и заговорилъ, перелистывая его на столѣ:

— Да, вы найдете тутъ, милый мой, много глубоко-задуманныхъ мыслей. Вотъ эта, напримѣръ: афоризмъ сто-сорокъ-девятый, литера М—*міръ*: „Міръ—гигантскій муравейникъ, въ которомъ каждый муравей гонится сломя-голову за счастіемъ и никогда не обрѣтаетъ его..." Или, да... афоризмъ девяносто-третій, литера Ч—*человѣкъ*: „Человѣкъ то же, что большой ребенокъ! Человѣкъ останется всегда человѣкомъ, то-есть большимъ ребенкомъ!.." Какъ это вамъ нравится?

— О, безподобно! какая глубина! воскликнулъ Апол-

лопъ Егоровичъ, начинавшій уже терять надежду приступить къ своему дѣлу, — но я долженъ вамъ сказать, однакожъ, что самое сильное и вмѣстѣ съ тѣмъ полезное впечатлѣніе произвела на меня арабская повѣсть ваша, подъ названіемъ „Замаръ и Геллагё"; это, можетъ-быть, потому, впрочемъ, что она дала мнѣ возможность исправить недостатки моей повѣсти, повѣсти, которую, къ счастью, я не успѣлъ еще отдать въ печать...

— Очень радъ, очень радъ, молодой мой другъ! Какія же мѣста наиболѣе понравились вамъ изъ „Замаръ и Геллагё"? спросилъ старичокъ, нетерпѣливо придвигаясь къ Дрянкову.

— Тѣ именно-съ, изъ которыхъ я могъ научиться авторской замашкѣ, необходимой для повѣствовательнаго рода... Повѣсть моя не очень длинна; я раздѣлилъ ее на главы, для удобства читателя, подхватилъ Дрянковъ скороговоркой, — и я почелъ бы себя весьма счастливымъ, если бъ вы удостоили ее просмотрѣть... ваши совѣты...

— Очень радъ, мой милый, очень радъ! Молодые люди вообще самонадѣянны и рѣдко слушаютъ совѣтовъ людей опытныхъ. Очень радъ найти въ васъ исключеніе, что̀ дѣлаетъ вамъ большую честь. Ну, такъ какая же это повѣсть?

— Она у меня съ собою-съ; я оставилъ ее въ передней, и если вы позволите... произнесъ обнадеженный Дрянковъ, поспѣшно приподнимаясь съ своего мѣста.

— Пожалуйста, пожалуйста, принесите ее сюда, милый мой: мы прочтемъ ее, посмотримъ, а тамъ и напечатаемъ. Если у васъ нѣтъ знакомыхъ, или нужно будетъ ходатайство посторонняго лица — очень радъ буду взять на себя такой трудъ...

При такомъ неожиданномъ оборотѣ дѣла сердце Дрянкова забилось такъ сильно, что онъ не могъ даже сдѣлать шага впередъ, не могъ проговорить благодарственнаго слова и ограничился тѣмъ только, что приложилъ руку къ груди и поклонился.

Въ эту самую минуту кто-то постучалъ въ дверь, и вслѣдъ за тѣмъ дрожащій голосъ, дѣлавшій явныя усилія, чтобъ казаться мелодическимъ, произнесъ слѣдующія слова:

— Могу ли я войти къ тебѣ, мой милый поэтъ?..

— Это жена моя—первый поэтическій талантъ своего времени! восторженно произнесъ Тирсисъ Ивановичъ, под-

бѣгая къ собесѣднику.—Къ несчастію, она ужъ ничего теперь не печатаетъ. Можешь войти, мой ангелъ, очень можешь войти! заключилъ онъ, натирая до-красна ладони и впиваясь глазами по направленію къ двери.

Дверь отворилась и на порогѣ ея показалась Клавдія Ильинична.

Ястребилова представляла изъ своей особы безконечно-длинную, невообразимо-худощавую, желтоватую даму, и могла служить совершеннѣйшимъ контрастомъ мужу, человѣку, какъ вѣдомо, крошечному, микроскопическому, могущему свободно умѣститься въ высокомъ чепцѣ своей супруги. Лицо ея, украшенное тусклыми глазами, задумчиво глядѣвшими въ небо, сѣроватыми усиками на верхней губѣ и орлинымъ носомъ, было такъ худощаво, что каждый разъ, какъ она смотрѣла въ зеркало, или каждый разъ, какъ на нее смотрѣли посторонніе глаза — всѣмъ равно представлялось, вмѣсто лица, одно острое лезвіе. Два сѣдые, но тщательно закрученные тирбушона украшали ея щеки и свѣшивались на костлявыя ея плечи, подобно двумъ вѣткамъ плакучей березы; общій видъ ея былъ столько же гордъ, сухъ, величавъ и надмененъ, сколько кротокъ, добродушенъ и смиренъ казался видъ супруга.

Тирсисъ Ивановичъ поцѣловалъ женину руку и провелъ ее заботливо къ вольтеровскому креслу.

— Это, мой ангелъ, рекомендую тебѣ,—господинъ Дрянковъ,—читалъ мое „Полное Собраніе“... собратъ по литературѣ, самъ пишетъ прекрасныя повѣсти... нѣжно произнесъ супругъ.

— Очень рада познакомиться, сухо сказала Клавдія Ильинична, бросая на своего знакомаго инквизиторскій взглядъ, который имѣлъ явное намѣреніе пронизать его насквозь и дознаться этимъ способомъ, читалъ ли онъ „Маргаритки“ и другія великія произведенія безсмертной дамы съ усиками и сѣдыми тирбушонами, возсѣдавшей теперь въ вольтеровскихъ креслахъ.

Аполлонъ Егоровичъ отвѣсилъ низкій поклонъ, проклиная судьбу, пославшую сюда, такъ некстати, первый поэтическій талантъ своего времени.

— За пять минутъ до твоего появленія, другъ мой, господинъ Дрянковъ читалъ отрывки изъ моего „Мазида“, началъ Тирсисъ Ивановичъ мягкимъ голоскомъ, доходившимъ прямо до глубины сердца. — Господинъ Дрянковъ

прекрасно читаетъ стихи и доставилъ мнѣ большое удовольствіе... Ахъ, пожалуйста, милый мой, прочитайте теперь какое-нибудь стихотвореніе жены моей; вы, вѣрно, помните ихъ наизусть: ей будетъ это весьма пріятно, промолвилъ неожиданно старичокъ, кивая одобрительно Дрянкову и бросая лучезарную улыбку на Клавдію Ильиничну.

Инквизиторскій взоръ Клавдіи Ильиничны устремился еще пристальнѣе на новаго знакомаго.

„Я пропалъ!“ подумалъ Аполлонъ Егоровичъ, но въ ту жъ секунду оправился и, закручивая витушки замшевыхъ перчатокъ на оконечностяхъ своихъ пальцевъ, пробормоталъ голосомъ дѣтской невинности:

— Къ несчастію, я такъ смущенъ въ настоящую минуту, такъ смущенъ, что не могу припомнить ни одного изъ знаменитыхъ стихотвореній, которыя...

— Тс... ахъ, какая досада! какъ это жаль... тсс... сс... Въ такомъ случаѣ, съ живостью подхватилъ Тирсисъ Ивановичъ,—прочитайте намъ безподобное ея стихотвореніе „Къ Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ“, стихотвореніе, которое всѣ мы называемъ „послѣднею пѣсней лебедя“; всѣ знаютъ и помнятъ его, даже крошечныя дѣти...

— Но, можетъ-быть, оно незнакомо мсьё Дрянкову, точно такъ же, какъ и другія мои пьесы?.. сухо сказала Ястребилова, выражая на желтомъ лицѣ презрительно-саркастическую улыбку.

Послѣдовала продолжительная пауза, въ продолженіе которой несчастный Дрянковъ неистово теребилъ завитки своихъ замшевыхъ перчатокъ.

Погибла „Непризнанная Индѣйка“! подумалъ Аполлонъ Егоровичъ, и мысль эта придала ему столько бодрости, что онъ рѣшился наконецъ отвѣчать:

— Къ несчастію... я... я...

— Какъ, вы не знаете „Послѣдней пѣсни нашего лебедя“? воскликнулъ съ изумленіемъ кроткій старичокъ.

— Я долженъ объявить вамъ, сударыня... произнесъ Дрянковъ отчаянно-разстроеннымъ тономъ, — что всего только недѣля... да-съ, недѣля, какъ я пріѣхалъ изъ Архангельска... мѣста моего рожденія... Я сирота, примолвилъ онъ, опуская глаза и чувствуя въ эту минуту необходимость возбудить чѣмъ-нибудь сочувствіе въ сердцѣ строгой дамы,—впрочемъ, сударыня, заключилъ онъ,—я много уже слышалъ о томъ знаменитомъ стихотвореніи, но... не успѣлъ еще пріобрѣсти его...

— Что жъ говорятъ обо мнѣ въ Архангельскѣ? надменно спросила Ястребилова.

— Я читалъ отзывъ въ тамошней газетѣ:—всѣ, всѣ-съ въ энтузіазмѣ! отвѣчалъ, ободряясь, Дрянковъ.

— Да, милый мой, да... Ну, а не слыхали ли вы тамъ чего-нибудь о моемъ „Полномъ Собраніи"?.. спросилъ, въ свою очередь, Тирсисъ Ивановичъ, обнаруживая необычайное участіе.

— Къ сожалѣнію, я былъ уже въ дорогѣ изъ Архангельска, когда получено было извѣстіе о выходѣ въ свѣтъ „Полнаго Собранія"... но пріятель писалъ мнѣ, что оно принято было съ восторгомъ...

Тутъ въ кабинетѣ снова послышался веселенькій смѣхъ добродушнаго старичка, смѣхъ, сопровождаемый потираніемъ ладоней и выбиваніемъ дроби по зеленому сукну бархатными сапожками.

Послѣдовала кратковременная пауза, послѣ которой Клавдія Ильинична начала медленно приподыматься съ своего кресла; подыманью этому, весьма похожему на то, когда въ театрѣ выступаютъ изъ-подъ пола привидѣнія, казалось, конца не было; наконецъ первый поэтъ нашего времени благополучно укрѣпился на ногахъ, повернулся спиною къ гостю и сказалъ Тирсису Ивановичу:

— Ты не забылъ, однакожъ, что мы обѣдаемъ сегодня у Хивинскихъ?.. скоро четыре часа...

Заключивъ эту сентенцію легкимъ наклоненіемъ головы по направленію къ Дрянкову, Клавдія Ильинична поплыла изъ классическаго кабинета, потряхивая чепцомъ и поправляя тирбушоны.

Ясно, что въ настоящую минуту было бъ столько же неумѣстно, сколько и неделикатно толковать о „Непризнанной Индѣйкѣ"; съ другой стороны, согласитесь сами, весьма горько было бъ удалиться, не подкрѣпивъ себя хоть какой-нибудь надеждой; на этомъ основаніи Аполлонъ Егоровичъ выпросилъ позволеніе явиться на слѣдующее утро и, получивъ на то полное согласіе, получивъ, вдобавокъ, портретъ, которымъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, спѣшилъ снабжать своихъ знакомыхъ авторъ „Полнаго Собранія", онъ разстался съ кроткимъ старичкомъ, давъ себѣ слово устроить завтра же судьбу „Непризнанной Индѣйки".

II.

Дальнѣйшія похожденія „Непризнанной Индѣйки“ со включеніемъ литературнаго вечера.

Къ сожалѣнію, мы знаемъ весьма немного подробностей насчетъ того, какъ велъ впослѣдствіи дѣла свои Аполлонъ Егоровичъ и какими способами устраивалъ онъ судьбу своей повѣсти. Изъ жалкихъ источниковъ, дошедшихъ до насъ, явствуетъ, однакожъ, что онъ являлся нѣсколько дней сряду въ классическій кабинетъ Ястребилова, декламировалъ съ большимъ успѣхомъ оды Тирсиса Ивановича, говорилъ наизусть сатиры и афоризмы, и разъ даже, въ присутствіи Клавдіи Ильиничны, прочелъ съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ нѣсколько пьесъ изъ „Маргаритокъ“, со включеніемъ извѣстнаго всему міру стихотворенія „Къ Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ“. Намъ положительно извѣстенъ одинъ лишь результатъ его совѣщаній съ кроткимъ старичкомъ, именно: „Непризнанная Индѣйка“, исправленная и значительно-пополненная Ястребиловымъ, отдана была симъ послѣднимъ въ печать и въ скоромъ времени появилась въ свѣтъ, украшенная зеленой оберткой и именемъ автора, вытисненнымъ крупными буквами на заглавномъ листѣ.

Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что въ богатой и даровитой натурѣ Аполлона Егоровича поэтическій элементъ преобладалъ сильнѣйшимъ образомъ надъ остальными элементами—это ясно, какъ день, и даже странно было бы питать на этотъ счетъ какія-нибудь сомнѣнія. Но... но человѣкъ, какъ глубокомысленно замѣчаетъ Тирсисъ Ивановичъ (смотри „Полное Собраніе Ястребилова“, томъ третій, отдѣлъ афоризмовъ, литеру Ч.), человѣкъ всегда человѣкъ, и, на этомъ основаніи, въ душѣ Дрянкова таилась точно такъ же не малая частица положительныхъ стремленій. Онъ смотрѣлъ на свое произведеніе, въ одно и то же время, съ двухъ совершенно противоположныхъ точекъ зрѣнія: съ одной стороны, „Непризнанная Индѣйка“ представлялась ему колоссальнымъ памятникомъ, который ослѣпитъ своимъ блескомъ глупцовъ, не умѣвшихъ оцѣнить его, и гордецовъ, обращавшихся съ нимъ, какъ съ обыкновеннымъ проживальщикомъ; съ другой стороны, та же „Непризнанная Индѣйка“ принимала видъ драгоцѣннаго

рудника, который хотя и не далъ еще ни одной щепотки золота, тѣмъ не менѣе сулилъ цѣлыя горы этого металла. Въ первую точку зрѣнія Дрянковъ старался поставить Аристарха Ѳедоровича (и не знаю, насколько успѣлъ онъ въ томъ), во вторую — Василькова (и въ этомъ случаѣ успѣлъ совершенно). Все это сдѣлано было, разумѣется, не безъ основанія.

Аполлону Егоровичу требовалось занять денегъ у Порфирія Павловича, и вотъ именно по какому случаю: Тирсисъ Ивановичъ и Клавдія Ильинична пригласили Дрянкова на литературный вечеръ, имѣющій быть въ понедѣльникъ, и Дрянкову слѣдовало явиться въ лайковыхъ перчаткахъ и лакированныхъ сапогахъ. Такъ предписывалъ, по крайней мѣрѣ, этикетъ литературныхъ вечеровъ — этикетъ, за которымъ строго наблюдала Клавдія Ильинична.

Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Литературные вечера Ястребиловыхъ пользовались популярностью, и— прибавимъ отъ себя—заслуженною популярностью. Допускать безъ различія каждаго встрѣчнаго, какъ заикнулся объ этомъ разъ Тирсисъ Ивановичъ, значило бъ уронить вечера въ общемъ мнѣніи: а общее мнѣніе заключалось въ томъ, что къ Ястребиловымъ являлись одни лишь „избранные“. Съ другой стороны, весьма легко могло статься, что какой-нибудь невзрачный господинъ занимаетъ видное мѣсто на художественномъ поприщѣ и удостоивается, по всей справедливости, великой чести присутствовать на вечерахъ. Задача была, слѣдовательно, такого рода: требовалось сочетать въ одну общую гармонію блескъ славныхъ именъ съ наружнымъ блескомъ и придать всему нѣкоторый аристократическій оттѣнокъ, который, какъ извѣстно, составляетъ необходимѣйшее условіе литературныхъ вечеровъ. Строгое соблюденіе этикета, въ отношеніи къ наружному только виду, достигало въ совершенствѣ такой цѣли. Чтобъ дать легкое понятіе о высокомъ значеніи ястребиловскихъ литературныхъ вечеровъ, считаю не лишнимъ привести здѣсь отзывъ одной газеты: „Дарованія служатъ украшеніемъ сихъ мѣстъ (гласила газета), и кисть апеллесова, и лира орѳеева, и звуки амфіоновы, искусства минервины, попеременно окружаютъ тамъ своими обольщеніями; дары Помоны и Флоры обогащаютъ сіе жилище и составляютъ роскошь пиршествъ знаменитаго мецената и амфитріона. Вкусъ вездѣ цар-

ствуетъ, разумъ все услаждаетъ, веселье все оживотворяетъ, радушіе все оживляетъ, удовольствія стекаются сюда во множествѣ — и дружба знаетъ путь къ сему жилищу...“

Изъ этого явствуетъ, что Аполлонъ Егоровичъ долженъ былъ непремѣнно явиться въ бѣлыхъ перчаткахъ и лакированныхъ сапогахъ.

Все увѣнчалось вожделѣннымъ успѣхомъ: сердобольный Порфирій Павловичъ далъ денегъ, и въ назначенный понедѣльникъ, часовъ въ десять вечера, Дрянковъ очутился на литературномъ вечерѣ.

На днѣ его шляпы виднѣлась свернутая въ трубку „Непризнанная Индѣйка“, взятая съ предусмотрительною цѣлью сократить нетерпѣніе многочисленнаго общества, которое, нѣтъ сомнѣнія, собралось единственно для того, чтобъ послушать чтеніе самого автора.

Литературные вечера происходили всегда на половинѣ Клавдіи Ильиничны, въ большой комнатѣ, игравшей роль парадной гостиной, но въ сущности весьма схожей съ кабинетомъ рѣдкостей въ античномъ вкусѣ. Стѣны, обитыя полинялой штофной матеріей, унизаны были крошечными рѣзными полочками изъ орѣховаго дерева, которыя уставлены были фарфоровыми куколками, китайскими уродцами, ящичками, раковинами, чучелами колибри, минералами, издѣліями изъ точенаго дерева, серебра и слоновой кости, чашками, старинною бронзой, хрусталемъ, что̀ все вмѣстѣ, благодаря лампамъ, покрытымъ цвѣтными бумажными колпаками и воздвигнутымъ на маленькихъ круглыхъ столикахъ, разбросанныхъ по всей гостиной, производило самый фантастическій эффектъ.

Къ несчастью, Аполлонъ Егоровичъ, при всемъ своемъ стараніи, никакъ не могъ дать себѣ яснаго, удовлетворительнаго отчета въ общемъ эффектѣ, какой должна была производить гостиная; густая толпа замуравливала комнату вплоть до самой двери; и хотя изъ этой двери онъ могъ любоваться потолкомъ завѣтной гостиной, но потолокъ естественнымъ образомъ не имѣлъ для него большого значенія въ настоящую минуту; попытка его пробраться впередъ не имѣла никакого счастливаго результата: онъ былъ малъ ростомъ; въ дверяхъ стояли, какъ на зло, колоссальныя особы съ непомѣрно-широкими спинами, и спины эти представляли всякій разъ такое сильное сопротивленіе, что, волею-неволею, надо было оста-

ваться у двери комнаты, предшествовавшей гостиной. Окинувъ недовольнымъ взоромъ эту комнату и увидѣвъ, что мебель ея покрыта была шляпами гостей, Аполлонъ Егоровичъ разсудилъ весьма основательно, что и ему не мѣшало бы точно такъ же освободить свои руки отъ лишней амуниціи; къ тому же, шляпа была новая, принадлежала ему собственно, и во всякомъ случаѣ не слѣдовало ее подвергать участи васильковскаго фрака, участи весьма плачевной, если принять въ соображеніе непреклонное намѣреніе Дрянкова пробиться съ „Непризнанной Индѣйкой“ сквозь толпу и стать на самое видное мѣсто гостиной. Шляпа поставлена на столъ рядомъ съ другими шляпами, и безсмертный проживальщикъ тронулся впередъ. Не знаю, способствовала ли тому волшебная сила „Непризнанной Индѣйки“, помѣстившейся въ фрачномъ карманѣ, но какъ только Дрянковъ подошелъ къ двери, толпа пришла въ неописанное волненіе, заходила во всѣ стороны и доставила ему случай юркнуть въ гостиную. Минуту спустя, онъ уже и самъ не радъ былъ, что не остался въ сосѣдней комнатѣ: какимъ-то непонятнымъ случаемъ толстыя спины снова очутились передъ нимъ, дружнымъ напоромъ высадили его изъ толпы и вдругъ притиснули къ какимъ-то ступенькамъ. Оглянувшись назадъ, Дрянковъ увидѣлъ одно изъ тѣхъ возвышеній, какія дѣлаются подлѣ оконъ, вѣроятно, для удобнѣйшаго созерцанія уличныхъ видовъ; тутъ находились два кресла, поставленныя одно противъ другого, и между ними миніатюрный рабочій столикъ.

Секунда—и Аполлонъ Егоровичъ стоялъ уже на возвышеніи; другая секунда употреблена была на то, чтобъ окинуть бѣглымъ взглядомъ гостиную.

Прежде всего представилась ему довольно обширная перспектива изъ хохловъ, коковъ, завитковъ и лысинъ, которая оканчивалась яркимъ пятномъ свѣта; въ этомъ пятнѣ, на голубомъ штофномъ диванѣ съ позолотою, сидѣла Клавдія Ильинична съ своими сѣдыми тирбушонами, усами и орлинымъ носомъ, и Тирсисъ Ивановичъ въ темномъ фрачкѣ; оба они сидѣли рядышкомъ, какъ женихи во время свадебнаго пира; такое сравненіе подтверждалось длиннымъ, сухощавымъ старикомъ въ черномъ фракѣ, бѣломъ, дрябломъ жилетѣ, бѣломъ галстукѣ и висячемъ жабо, сидѣвшимъ по правую руку Тирсиса Ивановича, и толстою дамой, съ краснымъ лицомъ и голубыми цвѣтами

въ чепцѣ, сидѣвшею по правую руку Клавдіи Ильиничны. Старичокъ и дама сохраняли почтенный видъ посаженаго отца и посаженой матери. Подлѣ виднѣлось еще нѣсколько дамъ и кавалеровъ, но толпа почти заслоняла ихъ. Аполлонъ Егоровичъ могъ различать только прически, чепцы, наколки и цвѣты на чепцахъ и наколкахъ; главное же вниманіе его обращено было на овальный столъ, находившійся передъ супругами Ястребиловыми; столъ покрытъ былъ ковромъ; на немъ лежали двѣ раскрытыя книги, освѣщенныя высокою лампой. Толпа продолжала между тѣмъ волноваться; во всѣхъ концахъ раздавались восклицанія: „Превосходно! поразительно! Какая сила! Сколько чувствъ! Какое могущество!“ Изъ слѣдующихъ восклицаній Дрянковъ узналъ, что Тирсисъ Ивановичъ прочелъ первыя два дѣйствія изъ своего „Мазида“ и намѣренъ приступить къ чтенію послѣднихъ трехъ дѣйствій.

Внезапно Тирсисъ Ивановичъ кашлянулъ, оглянулъ общество блестящими глазками и, положивъ руку на лежавшую передъ нимъ книгу, добродушно улыбнулся. Посаженый отецъ нетерпѣливо замахалъ руками, крикнулъ: „шт! шт!“; общество разразилось единодушнымъ шипѣньемъ, и вдругъ въ гостиной воцарилось молчаніе. Тирсисъ Ивановичъ кашлянулъ вторично, и началось чтеніе „Мазида“.

Не должно удивляться восторженному участію, какое принимало общество въ чтеніи „Мазида“: никто еще изъ присутствовавшихъ не зналъ этой трагедіи, и всѣмъ было одинаково пріятно, и даже лестно нѣкоторымъ образомъ, услышать ее въ первый разъ изъ устъ самого автора. Простительно было не раздѣлять такихъ чувствъ одному Аполлону Егоровичу, да и то потому лишь, что онъ не только читалъ „Мазида“, но зналъ его наизусть. Онъ нетерпѣливо опустился на одно изъ креселъ, положилъ локоть на миніатюрный столикъ и предался самымъ безотраднымъ размышленіямъ. Поводомъ къ такимъ размышленіямъ было то, что чтеніе трехъ дѣйствій (особенно, если принять въ соображеніе безпрерывные залпы рукоплесканій и восторженныя выходки посаженаго отца) продлится далеко за полночь и ему останется, а, можетъ-быть, и вовсе даже не останется времени на чтеніе „Непризнанной Индѣйки“. Переходя постепенно отъ одной мысли къ другой, Дрянковъ перенесся къ той отдаленной эпохѣ когда, въ школѣ еще, запала ему первый разъ идея его

повѣсти, потомъ, какъ развилась эта идея, какъ начала осуществляться, осуществилась—и мало-по-малу овладѣло имъ такое раздумье, что онъ не слыхалъ, какъ пробило одиннадцать часовъ и какъ, затѣмъ, пробила полночь.

Страшный трескъ, гулъ и крики вызвали его къ дѣйствительности.

Толпа волновалась еще сильнѣе прежняго; пятьдесятъ рукъ били въ ладоши; цвѣты на дамскихъ прическахъ колыхались; посаженый отецъ неистово размахивалъ руками, закидывалъ одну ногу на другую, перевертывался въ своихъ креслахъ, конвульсивно потряхивалъ головою и кричалъ разбитымъ голосомъ, покрывавшимъ всеобщій гулъ: „Нѣтъ, я не могу... я не въ силахъ... это дѣйствуетъ на мои нервы! Превосходно! Я не въ состояніи, я потрясенъ! Верхъ совершенства!“ Тирсисъ Ивановичъ озиралъ всѣхъ съ лучезарною улыбкой, и на устахъ его дрожалъ веселенькій смѣхъ; передъ нимъ лежала закрытая книга.

Въ эту самую минуту въ дверяхъ гостиной показался старый гайдукъ съ серебрянымъ подносомъ, уставленнымъ чашками; за нимъ выступали такіе же гайдуки съ такими же подносами. Побуждаемый, съ одной стороны, голодомъ, начинавшимъ завывать въ желудкѣ, съ другой—явною необходимостью воспользоваться всеобщею суматохой, чтобъ пробраться на видное мѣсто, Аполлонъ Егоровичъ спустился съ возвышенія и поспѣшилъ захватить на лету чашку и какой-то эѳирный бисквитъ... Аполлонъ Егоровичъ, должно замѣтить, привыкъ выпивать вечеромъ въ Ханскихъ-Прудахъ добрые два стакана чаю и закусывать дюжиною сухарей или полновѣсною булкой, и потому въ головѣ его, безпрерывно мыслящей, невольно явилось сравненіе между стаканомъ Ханскихъ-Прудовъ и чашкою литературнаго вечера, въ которой заключался всего одинъ глотокъ; эѳирный бисквитъ хотя и издавалъ весьма ароматическій, аппетитный запахъ, но также могъ служить скорѣе закуской откормленной канарейкѣ, чѣмъ голодному человѣку, прослушавшему, вдобавокъ, три дѣйствія классической трагедіи. Такія сравненія, естественнымъ образомъ, пробудили въ немъ желаніе протянуть руку къ другой чашкѣ, потомъ къ третьей и т. д., до безконечности, и онъ думалъ уже привести въ исполненіе свою мысль, разсчитывая весьма основательно, что будетъ еще время пробраться впередъ, потому что присутствующіе, по всѣмъ вѣроятіямъ, должно-быть, голодны и постара-

ются продлить чайную церемонію; но, къ великому его ужасу, общество снова заволновалось; двѣ широкія спины очутились снова передъ нимъ и дружно принялись высаживать его къ возвышенію. Въ то же время въ ушахъ его прозвенѣлъ дружный хоръ восторженныхъ восклицаній: „Тише! тише! шт! тише! Клавдія Ильинична будетъ читать свою пьесу: „Къ Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ". Это—послѣдняя пѣснь нашего лебедя! послѣдняя пѣснь незабвеннаго поэта! шт! шт!" Оглушенный говоромъ, стиснутый двумя спинами, Дрянковъ сдѣлалъ отчаянный прыжокъ и очутился снова на возвышеніи. Не мало удивился онъ, однакожъ, когда увидѣлъ, что оба кресла были заняты: на первомъ красовался толстенькій господинъ апатическаго и самаго недовольнаго вида; на второмъ сидѣлъ востроносый, худощавый господинъ съ длинными черными волосами, наводившими лоскъ на воротникъ его чернаго фрака. Аполлонъ Егоровичъ укрѣпился на верхней ступени, вынулъ изъ кармана „Непризнанную Индѣйку" и положилъ ее съ неподражаемою небрежностью на миніатюрный столикъ, между двумя креслами; въ ту же минуту онъ почувствовалъ въ лѣвой рукѣ чью-то мокрую руку и обернулся: передъ нимъ стоялъ вертлявый, бѣлокурый авторъ „Заоблачныхъ Трелей".

— Ахъ, какъ я радъ, какъ радъ, что встрѣтился съ вами! воскликнулъ вертлявый поэтъ.—Я давно замѣтилъ васъ, но никакъ не могъ пробраться—такое многочисленное, блестящее общество!.. Можете вы мнѣ уступить подлѣ себя крошечное мѣсто?..

Дрянковъ пожалъ мокрую руку и отодвинулся.

— Я совершенно счастливъ, что встрѣтилъ васъ, продолжалъ поэтъ,—вчера еще прочелъ я вашу прекрасную повѣсть: прекрасно! прекрасно! Послѣдняя сцена въ состояніи исторгнуть слезы изъ каменнаго сердца...

— Очень вамъ благодаренъ, отвѣчалъ Дрянковъ, отодвигаясь немного въ сторону, чтобъ два господина, сидѣвшіе въ креслахъ, удобнѣе могли слышать похвалы его произведенію.—Не знаете ли,—примолвилъ онъ, наклоняясь къ уху нѣжнаго собесѣдника,—кто эти два господина, которые подлѣ насъ?..

— Толстенькій, это—Шишкинъ, пишетъ повѣсти; другой—поэтъ Пендринъ,—замѣчательные таланты! отвѣчалъ шопотомъ авторъ „Трелей", который не былъ знакомъ съ Шишкинымъ и Пендринымъ, но очевидно горѣлъ жела-

ніемъ познакомиться съ ними, потому что впивался въ нихъ заискивающими, подобострастными глазами.—Ахъ, кстати о поэзіи!—подхватилъ онъ.—Читали ли вы мои „Заоблачныя Трели“? Скажите мнѣ откровенно ваше мнѣніе... скажите прямо, я дорожу вашими совѣтами... Не правда ли, все это очень слабо, юно, можно даже сказать... безцвѣтно? Я самъ знаю свои недостатки...

Вертлявый авторъ „Заоблачныхъ Трелей“ принадлежалъ къ числу тѣхъ скромныхъ поэтовъ, которые унижаютъ достоинство своихъ произведеній единственно съ тою цѣлью, чтобъ дать только этимъ способомъ поводъ къ толкамъ и разсужденіямъ о вышеупомянутыхъ произведеніяхъ; они охотно выслушиваютъ совѣты, умоляютъ не щадить ихъ и быть съ ними по возможности искреннѣе; все это, разумѣется, нисколько не мѣшаетъ имъ окрысиваться и питать въ душѣ непримиримую вражду къ тѣмъ наивнымъ существамъ, которыя произносятъ искреннія сужденія.

Не знаю, извѣстны ли были всѣ эти подробности Аполлону Егоровичу, но онъ поспѣшилъ изъявить свое удивленіе въ необычайной даровитости автора „Заоблачныхъ Трелей“, и съ этой минуты сердце вертляваго поэта переполнилось живѣйшей симпатіей къ „Непризнанной Индѣйкѣ“, которая, по словамъ его, должна была стоять на ряду съ лучшими произведеніями нашего времени.

— Я отчасти согласенъ съ вами, скромно отвѣчалъ Дрянковъ,—и по тому самому мнѣ хотѣлось бы прочесть ее нынче передъ многочисленнымъ собраніемъ...

— Ахъ, какъ было бы это хорошо! Съ какимъ наслажденіемъ прослушалъ бы я ее еще разъ!... Но, къ несчастью, мы, вѣрно, лишимся этого удовольствія: сейчасъ начнетъ читать Клавдія Ильинична, а за нею—я это навѣрное знаю—Куликовъ прочтетъ свое посланіе „Къ замку на Воробьевыхъ горахъ“—геніальная вещь! Да, впрочемъ, и головушка-то геніальная. Посмотрите, посмотрите, вотъ онъ! сказалъ нѣжный поэтъ съ какою-то дикою восторженностью, которая, во всякомъ случаѣ, была оригинальнѣе его „Заоблачныхъ Трелей“.

Дрянковъ взглянулъ по направленію, куда указывали умильные глазки собесѣдника, и увидѣлъ, неподалеку отъ голубого дивана, Леокадія Куликова, который, запустивъ правую руку за жилетъ и наклонивъ голову, сидѣлъ въ мрачномъ раздумьи.

— Скажите, пожалуйста, кто эта дама, которая сидитъ подлѣ Клавдіи Ильиничны? спросилъ Аполлонъ Егоровичъ, кивая на посаженую мать.

— Не-уже-ли вы ее не знаете? Марья Ивановна Валдайская, геніальнѣйшая женщина, авторъ „Симфоній“ и редакторъ извѣстнаго „Дѣтскаго Альманаха“, гдѣ помѣщена „послѣдняя пѣснь лебедя“...

— А тотъ старичокъ, что̀ сидитъ подлѣ Тирсиса Иваныча?

— Ахъ, удивительный, необыкновенный старичокъ! восторженно отвѣчалъ поэтъ. — Это отецъ Клавдіи Ильиничны...

Но едва Дрянковъ получилъ это объясненіе, какъ старикъ быстро вскочилъ съ своего мѣста и захлопалъ въ ладоши.

— Шт! шт! господа! messieurs! „Пѣснь лебедя“ въ рукописи! „послѣдняя пѣснь нашего лебедя“! прошу покорнѣйше слушать! закричалъ онъ, бросаясь со всѣхъ ногъ въ кресла, размахивая руками и впиваясь глазами въ Клавдію Ильиничну, которая, между тѣмъ, медленно приподымалась съ тетрадкою въ рукахъ.

— Шт! шт! послышалось во всѣхъ концахъ гостиной.

— Шт! шт! подхватили задніе ряды.

— Шт! повторилъ какой-то непомѣрно толстый господинъ, находившійся подлѣ возвышенія.

При этомъ онъ повернулъ круглое лицо свое, украшенное кудрями сѣдоватыхъ волосъ.

Такъ какъ лицо это принадлежало одному изъ тѣхъ колоссовъ, которые вытѣсняли всѣхъ своими спинами, то Дрянковъ обратился съ разспросами къ нѣжному собесѣднику.

— Не-уже-ли вы его не знаете? возразилъ тотъ шопотомъ,—Торкватъ Арменниновъ... одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ современныхъ поэтовъ—геніальная голова! авторъ „Опытовъ“, „Опытовъ юной музы“, „Опытовъ воркованій юнаго голубка“—страшный талантъ!

— Но скажите, пожалуйста, отчего же онъ пишетъ одни „Опыты“? спросилъ едва внятно Дрянковъ.—Онъ, кажется, уже человѣкъ немолодой...

— А въ томъ-то и штука: онъ этимъ способомъ надулъ всѣхъ критиковъ, которые, какъ вамъ извѣстно, преслѣдуютъ съ закоснѣлою злобою поэтовъ. Критики убѣждены, что Торкватъ Арменниновъ молодой человѣкъ, только что выступающій на литературное поприще, и потому отзы-

ваются о немъ съ величайшимъ снисхожденіемъ... „Опыты“, поощряемые такимъ образомъ всѣми журналами, расходятся въ страшномъ количествѣ... я вамъ говорю: геніальная головушка! Да чего же лучше, посмотрите, какъ она сформирована: вы отсюда можете видѣть его лобъ... взгляните, взгляните, вотъ отсюда вамъ будетъ удобнѣе—каковъ лобъ, а?..

— Да, дѣйствительно, лобъ очень замѣчательный, пробормоталъ Аполлонъ Егоровичъ.

Начало чтенія „послѣдней пѣсни лебедя“ прекратило бесѣду; нѣжный поэтъ обратился весь въ слухъ и зрѣніе; что же касается до Дрянкова, то онъ навелъ въ уголъ глаза на Шишкина и Пендрина, которые продолжали сидѣть на своихъ креслахъ, перекидываясь время отъ времени отрывчатыми фразами.

— Я ничего не читаю! говорилъ поэтъ Пендринъ, потирая переносицу.

— И прекрасно дѣлаешь, отвѣчалъ тѣмъ же тономъ нувеллистъ Шишкинъ, потирая желудокъ.

Послѣдовало молчаніе.

— Въ настоящее время рѣшительно ничего невозможно читать, продолжалъ Пендринъ.

— Я совершенно раздѣляю такое мнѣніе, отвѣчалъ Шишкинъ.

Послѣдовало молчаніе.

— Было время, началъ поэтъ Пендринъ, — являлись у насъ замѣчательныя произведенія людей съ истиннымъ талантомъ, писали тѣ, другіе, писалъ и ты, я все читалъ тогда; было, братецъ, что̀ и читать... но вѣдь ты ужъ не пишешь?..

— Нѣтъ...

— Ну, я ничего не читаю: все дрянь и не сто̀итъ вниманія...

Послѣдовало продолжительное молчаніе.

— Я въ точно такомъ же положеніи, шепнулъ нувеллистъ Шишкинъ,—былъ у насъ Пушкинъ, Лермонтовъ, ты писалъ, я съ жадностью пожиралъ ваши стихи... но вѣдь ты ужъ ничего не пишешь?..

— Нѣтъ, отвѣчалъ Пендринъ.

— Ну! я ничего и не читаю: все дрянь, не сто̀итъ вниманія—бездарность! отвѣчалъ Шишкинъ.

Громкій взрывъ рукоплесканій обратилъ вниманіе Аполлона Егоровича на ту часть гостиной, гдѣ происходило чтеніе.

— Нѣтъ, я не могу, я не въ силахъ! это дѣйствуетъ на мои нервы! геніально! я не въ состояніи! я не могу выдержать! верхъ совершенства! кричалъ отрывчатымъ голосомъ отецъ Клавдіи Ильиничны, кувыркаясь въ своихъ креслахъ, конвульсивно потряхивая головой и дергая съ какимъ-то энтузіазмомъ кончики своего жабо.

— Превосходно! превосходно! раздалось въ толпѣ.

— Неподражаемо! воскликнулъ Тирсисъ Ивановичъ, цѣлуя съ восторгомъ женину руку. (Другая рука великаго поэта покоилась между ладонями Валдайской, знаменитаго редактора „Дѣтскаго Альманаха“).

— Неподражаемо! неподражаемо! я просто не въ состояніи! верхъ совершенства! это дѣйствуетъ на мои нервы! кричалъ отецъ Ястребиловой, между тѣмъ какъ сама Клавдія Ильинична торжественно обводила общество лезвіемъ своего орлинаго носа.

Внезапно Марья Ивановна Валдайская выпустила руку великаго поэта, приложила батистовый платокъ къ глазамъ своимъ и исчезла въ сосѣднія двери.

— Кажется, этой дамѣ... какъ бишь ее... редактору альманаха, сдѣлалось дурно... произнесъ Дрянковъ, наклонясь къ автору „Заоблачныхъ Трелей“, который посылалъ нѣжныя улыбки издателю „Лермонтовской Шпоры“, стоявшему въ отдаленьи.

— Кто? она, Валдайская? нѣтъ, ничего; она удалилась въ сосѣднюю комнату, чтобъ высказать въ звучныхъ, прекрасныхъ стихахъ впечатлѣнія, произведенныя на нее чтеніемъ Клавдіи Ильиничны... Всякій разъ, когда читаютъ Ястребиловы, она даритъ насъ своими геніальными экспромптами... увидите... Черезъ часъ какой-нибудь, какъ только кончится чтеніе „Лебедя“, она вернется съ безподобными стихами. Страшный талантъ! проговорилъ вертлявый поэтъ, пожимая руку Дрянкова.

Вертлявый поэтъ говорилъ сущую правду. Какъ только голосъ Клавдіи Ильиничны замолкъ посреди грома рукоплесканій, въ гостиной показалась Марья Ивановна Валдайская; въ рукахъ ея находился листъ бумаги, исписанный со всѣхъ четырехъ сторонъ.

Мало-по-малу Аполлонъ Егоровичъ пришелъ къ тому печальному заключенію, что слѣдовало отложить всякую надежду прочесть въ этотъ вечеръ „Непризнанную Индѣйку“, и потому принялся внимательно наблюдать физіономію Леокадія Куликова, который съ той самой м

нуты, какъ началось чтеніе экспромпта, не переставалъ хмурить брови, глядѣть на часы и обнаруживать всѣ признаки самаго глубокаго отчаянія.

Новый взрывъ рукоплесканій.

Геніальный отецъ Клавдіи Ильиничны вставалъ съ своего мѣста и объявлялъ, что чтеніе неподражаемаго экспромпта подѣйствовало сильнѣйшимъ образомъ на его нервы; затѣмъ онъ раскланялся и началъ прочищать себѣ дорогу въ толпѣ, которая тѣснилась къ дверямъ.

— А вотъ и очередь Куликова! посмотрите, посмотрите, мсьё Дрянковъ: вотъ онъ приподнялся съ своего мѣста. Эхъ, славная головушка! Взгляните на него, взгляните! Но куда же это всѣ идутъ? Что̀ же это такое? Надѣюсь, мсьё Дрянковъ, вы останетесь слушать „Посланіе къ за́мку на Воробьевыхъ горахъ“? говорилъ вертлявый поэтъ, схватывая за руку собесѣдника и порываясь внизъ.

Дрянковъ не сдѣлалъ никакого возраженія: его молчаніе служило несомнѣннымъ знакомъ полнѣйшаго согласія.

— Извините меня, заговорилъ нувеллистъ Шишкинъ, вставая неожиданно съ креселъ и притрогиваясь къ рукѣ вертляваго поэта, — вы часто бываете у Ястребиловыхъ?

— Я не пропускаю ни одного литературнаго вечера, восторженно отвѣчалъ поэтъ.

— Скажите, пожалуйста, что здѣсь... ужинаютъ? подхватилъ Шишкинъ.

— Нѣтъ-съ, никогда; помилуйте, до того ли!.. Ахъ, Боже мой, отчего же всѣ уходятъ?.. какая досада!.. Мсьё Дрянковъ, посмотрите, посмотрите, какъ вдругъ поблѣднѣлъ Куликовъ, что̀ съ нимъ? Пойдемте поскорѣе къ нему, заключилъ скороговоркою авторъ „Заоблачныхъ Трелей“, бросаясь въ толпу.

Но Аполлонъ Егоровичъ остался на нижней ступени возвышенія, и это дало ему возможность явственно разслышать, какъ нувеллистъ Шишкинъ сказалъ поэту Пендрину:

— Знаешь, братецъ, съ этими литературными вечерами такъ отощаешь, что тебя скоро отецъ родной не узнаетъ!..

— Я совершенно согласенъ съ тобою, отвѣчалъ Пендринъ, потирая переносицу.

Аполлонъ Егоровичъ раздѣлялъ точно такъ же это мнѣніе; и такъ какъ оба писателя направились къ двери, то онъ послѣдовалъ ихъ примѣру, не встрѣтивъ на этотъ разъ ни малѣйшаго препятствія со стороны толстыхъ спинъ.

Вступивъ въ сосѣднюю комнату, Аполлонъ Егоровичъ направился прямо къ тому мѣсту, гдѣ оставилъ свою шляпу. Но каковъ былъ его ужасъ, когда, вмѣсто новой шляпы, увидѣлъ онъ расплюснутый, неуклюжій картузъ, который могъ только помѣститься на исполинской головѣ Торквата Арменинова!

Этимъ кончился литературный вечеръ и вмѣстѣ съ нимъ столичныя похожденія „Непризнанной Индѣйки“.

III.

Судьба сталкиваетъ два нѣжныя сердца, созданныя одно для другого. Порфирій Павловичъ знакомится съ однимъ гостепріимнымъ семействомъ и наслаждается истиннымъ счастіемъ.

А между тѣмъ много утекло воды въ первомъ нумерѣ аристократической гостиницы, которую продолжаетъ украшать своимъ присутствіемъ великій человѣкъ изъ Горшкова. Были происшествія всякаго рода, но всѣ эти происшествія, каково бы ни было ихъ значеніе въ этой правдивой исторіи, должны непремѣнно блѣднѣть и меркнуть передъ однимъ событіемъ, главнымъ актеромъ котораго былъ, однакожъ, не Балахновъ, а сердобольный другъ его, Порфирій Павловичъ. Дѣло вотъ въ чемъ: гастрономическія увеселенія, которымъ предавался Васильковъ со всею неумѣренностью пылкаго темперамента, расшатали его нѣжную натуру, развинтили его члены и свернули его на-бокъ. Вотъ ужъ третьи сутки, какъ Порфирій Павловичъ не встаетъ съ своего дивана, наполняя одну изъ комнатъ перваго нумера болѣзненными стонами.

Обстоятельство это, конечно, не имѣетъ само по себѣ большой важности; но если принять въ соображеніе гибельное дѣйствіе, какое могли произвести на непривычный желудокъ частыя возліянія лампопо̀, безпрерывные тосты въ честь Аристарха Ѳедоровича, порціи жирнаго поросенка съ тертымъ хрѣномъ (любимое блюдо Василькова), если принять въ соображеніе непрерывный рядъ бѣлыхъ ночей, проведенныхъ Порфиріемъ Павловичемъ посреди удовольствій, столько же разнообразныхъ, сколько и одуряющихъ—невольно придешь въ справедливое изумленіе передъ тѣмъ, какъ могъ еще Порфирій Павловичъ не сойти въ преждевременную могилу, и какъ, вообще, что ни говорятъ, крѣпка и могуча человѣческая природа.

Совсѣмъ противнаго мнѣнія былъ на этотъ счетъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Съ той минуты, какъ физическіе недуги пригвоздили Василькова къ дивану, Балахновъ не переставалъ подтрунивать надъ его слабостью, называлъ его бабой и многими другими эпитетами игриво-юмористическаго характера.

— Стыдись, братецъ, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, входя на третье утро въ комнату больного и садясь въ кресло, подлѣ его изголовья, — стыдись, любезный, какъ тебѣ не совѣстно сокрушаться духомъ отъ такой бездѣлицы!.. Засорилъ желудокъ — вотъ и все тутъ; съ кѣмъ этого не случается!.. Небось не умрешь!.. Вотъ другое дѣло, если бъ ты, напримѣръ, сломалъ себѣ ногу, или карета проѣхала бы по твоему тѣлу... ну, я, конечно, ничего бы не сказалъ тогда... а это вздоръ, пустяки!..

— Меня, Аристархъ Ѳедоровичъ, не столько сокрушаетъ болѣзнь, сколько мысль объ этой несчастной встрѣчѣ съ Фанагоріей Петровной, отвѣчалъ Васильковъ печально-разстроеннымъ тономъ. — Охъ! я былъ тогда въ такомъ видѣ... все, все это случилось въ Петровскомъ паркѣ... теперь весь уѣздъ узнаетъ... станутъ говорить Богъ знаетъ что... надо смотрѣть съ точки, Аристархъ Ѳедорычъ... Это ужасно!..

— Ты опять за свои пустяки, любезнѣйшій! Во-первыхъ, говорить ничего не будутъ, потому что всякій знаетъ, что ты со мной; довольно, надѣюсь, моего присутствія, чтобъ оградить и предохранить тебя отъ дурныхъ предположеній, могущихъ произойти въ противномъ случаѣ, сказалъ съ достоинствомъ Балахновъ,—а во-вторыхъ, если бъ даже и стали болтать о тебѣ всякій вздоръ, что жъ изъ этого? „На чужой ротокъ не накинешь платокъ“, говоритъ мудрая пословица славныхъ нашихъ прадѣдовъ. Взводятъ небылицы и не на такихъ, братецъ. Кутузовъ, какъ ты... Огорчаюсь ли я, напримѣръ, сплетнями уѣзда? Пускай судятъ, рядятъ и толкуютъ—все это вздоръ! Человѣкъ долженъ только страшиться суда собственной своей совѣсти, примолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выпрямляя грудь и горделиво поднимая голову.—Твоя совѣсть чиста... чиста ли твоя совѣсть? заключилъ онъ, строго взглянувъ на больного.

— Кажется, я ничего не сдѣлалъ такого... пробормоталъ Васильковъ, испуская глубокій вздохъ.

— А когда такъ, стало-быть, и сокрушаться нечего. Мой совѣтъ: выбрось всю эту дурь изъ головы и пошли, какъ я еще вчера говорилъ, за докторомъ.

— За докторомъ? Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, ни за что на свѣтѣ! воскликнулъ Васильковъ, придавая своимъ испуганнымъ глазамъ неслыханные размѣры.

— Это что еще?..

— Ни за что на свѣтѣ!.. повторилъ Васильковъ, прикутываясь халатомъ.

— Ты, братецъ, попросту, кажется, рехнулся, сказалъ Балахновъ, разсѣянно всматриваясь въ кончики своихъ сапогъ.

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, клянусь! Надо смотрѣть съ точки на тотъ предметъ, простоналъ Порфирій Павловичъ,—посудите сами: придетъ незнакомый, чужой человѣкъ, безъ всякаго участія, пропишетъ рецептъ... какое ему до меня дѣло? Охъ! я охотно лѣчился въ Горшковѣ у Карла Готлибовича... тотъ пріятель... и я его знаю, и онъ меня знаетъ... это совсѣмъ другое дѣло: довѣренность, дружба... вы сами знаете, для больного это всего дороже...

— Ха, ха, ха! Нѣтъ, какъ я вижу, ты того... повихнулся, любезнѣйшій! А впрочемъ, слушать тебя нечего... Эй, Сидоръ! крикнулъ Балахновъ, поворачиваясь къ двери. — Сидоръ, продолжалъ онъ, когда явился камердинеръ, — ступай и отыщи сейчасъ же доктора. Болѣзнь Порфирія Павловича совсѣмъ не такъ опасна, чтобъ нужны были столичные медики; спроси просто доктора; здѣсь, я полагаю, всякій знаетъ... А ты, любезный, выбрось эту дурь изъ головы, примолвилъ онъ, поворачиваясь къ Василькову, лицо котораго сохранило такое выраженіе, какъ будто готовились произвести надъ нимъ самую трудную операцію. — Стыдись быть столь слабодушнымъ! Надѣюсь увидѣть тебя къ вечеру бодрымъ душой и тѣломъ, толстымъ, румянымъ и совершенно здоровымъ... Теперь, покуда, прощай, любезный; у меня сегодня кой-какія дѣла, заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поспѣшно направляясь къ двери.

Оставшись наединѣ, Порфирій Павловичъ испустилъ протяжный вздохъ и окинулъ комнату глазами, выражавшими безотрадную грусть.

Равнодушіе, съ какимъ говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, его насмѣшки, невниманіе—все это ложилось тяжелымъ бременемъ на чувствительную душу нѣжнаго Порфирія Пав-

ловича. Того ли слѣдовало ожидать отъ друга? Принимая въ соображеніе собственныя свои чувства и обсуждая здраво и ясно, какъ сталъ бы онъ дѣйствовать въ случаѣ, если бъ Балахновъ очутился на его мѣстѣ, Васильковъ имѣлъ полное право огорчиться при мысли, что Аристархъ Ѳедоровичъ не просиживалъ ночей у его изголовья, не утѣшалъ его, не обнаруживалъ передъ нимъ каждый часъ, каждую минуту знаковъ трогательнаго, дружескаго участія, что въ настоящую минуту было бы для Василькова дѣйствительнѣе всякихъ микстуръ, примочекъ и катаплазмовъ. „Дружба познается въ несчастіи". Изреченіе это, забытое Васильковымъ вскорѣ послѣ того, какъ онъ пересталъ упражняться прописями, ярко отразилось теперь въ мозгу его и частью разъяснило передъ нимъ настоящую причину равнодушія Балахнова. Мысли, одна другой печальнѣе, зароились въ головѣ его, тяжело опущенной на пеструю подушку. Все, впрочемъ, къ тому способствовало: невозмутимая тишина царствовала въ нумерѣ (Сидоръ исчезалъ всякій разъ, какъ уѣзжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ; Дрянковъ пропадалъ по цѣлымъ суткамъ съ тѣхъ поръ, какъ вышла въ свѣтъ его повѣсть), наружность самой комнаты, въ которой всѣ украшенія замѣнялись коленкоровою шторой, изображавшей два дерева, раздѣленныя лиловымъ ручьемъ, и выведенная на этой шторѣ надпись:

„Ручей два древа раздѣляетъ;
Но вѣтви ихъ..." и т. д.

конечно, могли только раздражать въ настоящемъ случаѣ Василькова, точно такъ же, какъ надпись на зеленой оберткѣ „Непризнанной Индѣйки", лежавшей передъ нимъ на столикѣ, вмѣстѣ съ огаркомъ, переломленными щипцами и пустымъ кошелькомъ. „Другу и благопріятелю, П. П. Василькову, въ изъявленіе глубокаго сочувствія, наполняющаго душу автора", гласилъ Аполлонъ Егоровичъ, не показавшій со всѣмъ тѣмъ Василькову кончика своего носа съ той самой поры, какъ занялъ у него денегъ, и очевидно—теперь ужъ это ясно—смѣявшійся въ душѣ надъ чувствами дружбы.

Такъ размышлялъ Порфирій Павловичъ, какъ вдругъ въ дверяхъ появился Сидоръ.

— Порфирій Павловичъ, сказалъ онъ,—дохтуръ дожидается въ гостиной.

Меланхолическое лицо Василькова приняло внезапно

такое страшное выраженіе, что Сидоръ выюркнулъ изъ двери и побѣжалъ за докторомъ, питая въ душѣ увѣренность, что если больному нужна помощь, такъ, разумѣется, въ настоящую минуту.

Когда докторъ вошелъ въ комнату, больной лежалъ пластомъ, закутанный герметически со всѣхъ сторонъ халатомъ.

— Подними, милый мой, штору, сказалъ докторъ, обращаясь къ Сидору.

Слова эти произнесены были такимъ нѣжнымъ, можно даже сказать, чувствительно-трогательнымъ голосомъ, что Порфирій Павловичъ невольно раскрылъ правый глазъ и приложилъ его къ одной изъ халатныхъ щелей. Мало-помалу, лѣвый глазъ его послѣдовалъ примѣру своего товарища, и вскорѣ вся голова Порфирія Павловича вынырнула изъ-подъ халата.

— Какъ вы себя чувствуете? спросилъ докторъ, приближаясь къ паціенту и устремляя на него меланхолическій взоръ.

— Очень хорошо, докторъ, клянусь, какъ честный человѣкъ! отвѣчалъ Васильковъ, успокоенный нѣсколько наружностью врача.

Наружность врача была въ самомъ дѣлѣ такова, что сразу дѣйствовала самымъ успокоительнымъ образомъ на больного и даже пробуждала въ немъ самыя пріятныя чувства. Представьте себѣ молодого человѣка, лѣтъ тридцати, средняго роста, съ синими глазами томнаго свойства и бѣлымъ, полнымъ лицомъ. Бѣлокурые, плоскіе, тщательно приглаженные волосы спускались двумя неправильными полукругами вдоль пуховыхъ его щекъ, украшенныхъ рыжеватыми бакенбардами, которыя, очевидно, должны были закутываться на каждую ночь носовымъ платкомъ и умасливаться каждое утро душистымъ фиксатуаромъ, чтобъ сохранить свой лоскъ и изящную форму. Одежда доктора показывала въ немъ человѣка высокоцѣнившаго дарованную ему природою красоту и умѣвшаго извлекать изъ каждой туалетной принадлежности такія выгоды, которыя выставляли эту красоту въ самомъ рельефномъ видѣ.

— Хотя я лѣчу однѣхъ дамъ... это моя спеціальность, пролепеталъ медикъ такимъ сладкимъ голосомъ, какъ-будто выпрашивалъ взаймы денегъ, — но мнѣ было бы весьма пріятно, если бъ всѣ мужчины удостоивали меня

точно такъ же своею довѣренностью. Надѣюсь, моя наружность не внушаетъ вамъ никакого опасенія, примолвилъ онъ, медленно приподнимая томные глаза на паціента.

— Помилуйте, докторъ, совершенно напротивъ! произнесъ Васильковъ, между тѣмъ какъ медикъ вынималъ изъ кармана черепаховый гребешокъ, на поверхности котораго вдѣлано было маленькое зеркальце.

— Мнѣ весьма пріятно слышать это, проговорилъ женоподобный врачъ, бросая привѣтливую улыбку на зеркальце, — очень даже пріятно это слышать. Въ нашемъ званіи наружность имѣетъ... имѣетъ большое значеніе. Первое впечатлѣніе больного, при взглядѣ на доктора, рождаетъ тотчасъ же симпатію или антипатію, и черезъ то самое ускоряется или замедляется ходъ болѣзни... это ужъ невольно. Я сужу по опыту: всѣ дамы, которыхъ я имѣлъ счастіе пользовать, при моемъ появленіи падали въ обморокъ, но потомъ, при первомъ взглядѣ—все это тотчасъ же проходило; онѣ охотно протягивали мнѣ свои руки...

Сказавъ это, докторъ положилъ въ карманъ зеркальце, пощупалъ Василькову пульсъ, поглядѣлъ на его языкъ и объявилъ, что нѣтъ никакой опасности, что надо стараться, по возможности, болѣе развлекать себя, ибо главная причина болѣзни происходитъ не столько отъ физическаго разстройства, сколько отъ сильнаго душевнаго потрясенія, имѣвшаго прямое дѣйствіе на сердце.

— Можетъ-быть, другіе прописали бы вамъ микстуры или посадили бы васъ на строгую діэту; но я считаю это совершенно лишнимъ въ настоящемъ случаѣ, прибавилъ мелодически докторъ,—главное: старайтесь окружить себя людьми, которые вамъ особенно милы или дороги: общество искреннихъ друзей...

Васильковъ испустилъ протяжный вздохъ.

— Если у васъ нѣтъ здѣсь такихъ людей, поспѣшно подхватилъ докторъ, взявъ руку больного и выразивъ на лицѣ своемъ трогательное участіе,—ищите развлеченій. Я полагаю, что дамское общество... или, напримѣръ, прогулка по Петровскому парку, или вечеръ, пріятно проведенный въ театрѣ, принесли бы вамъ несомнѣнную пользу.

— Ахъ, докторъ! воскликнулъ Порфирій Павловичъ, пожимая съ горячностью его руку,—я чувствую, что отъ

однихъ словъ вашихъ мнѣ ужъ дѣлается легче! Да, вы изволили совершенно справедливо замѣтить: мнѣ именно грустно, такъ, знаете, тоска какая-то, уныніе... кругомъ ни одного человѣка, ни одного добраго пріятеля... Извините докторъ, если я осмѣлюсь спросить ваше имя и отчество... я такъ радъ, право...

— Аполлинарій Ильичъ Миловзоровъ, отвѣчалъ докторъ пріятнымъ голосомъ.

— Какъ, можетъ ли быть, Миловзоровъ? Ахъ, Боже мой, какой счастливый случай!.. Вѣдь я, Аполлинарій Ильичъ, знаю вашихъ сестрицъ: мы познакомились въ нашемъ уѣздномъ городѣ Горшковѣ... такъ точно, онѣ говорили мнѣ, что у нихъ есть братецъ, докторъ въ Москвѣ! воскликнулъ Васильковъ, восторженно хлопая глазами.

— Такъ это вы изволили съ ними встрѣтиться? пролепеталъ Миловзоровъ, бросая привѣтливую улыбку.

— Какъ! неужели онѣ писали вамъ о нашей встрѣчѣ? вскричалъ Васильковъ, обуреваемый порывами душевнаго восторга.

— Писали и даже очень много-съ. Вы были, кажется, столь обязательны, что купили имъ лошадокъ?..

— О, помилуйте, что-жъ это такое!.. Это, это... это, Аполлинарій Ильичъ, такая ничтожная услуга! Я почитаю себя счастливымъ уже тѣмъ, что удалось хоть чѣмъ-нибудь доказать свою... свою преданность, перебилъ Васильковъ, подпрыгивая на диванѣ.

— Съ ними, долженъ я вамъ сказать, случилась послѣ того маленькая непріятность, меланхолически произнесъ Миловзоровъ.

— Ахъ, Боже мой! что такое? спросилъ Васильковъ, обнаруживая неподдѣльное участіе въ каждой чертѣ своего лица.

— Представьте, онѣ не могли доѣхать до дома: лошади эти околѣли на дорогѣ, такъ что сестры принуждены были купить другихъ...

— Что жъ это такое? Я, просто, не понимаю, краснѣя, произнесъ Порфирій Павловичъ, при чемъ физіономія его выразила несомнѣнные признаки глубочайшей скорби и досады. — А, впрочемъ, прибавилъ онъ, поправляя свои волосяныя волюты,—я хорошо знаю эту статью и глядѣлъ тогда во всѣ глаза... я, кажется, никакъ не могъ ошибиться, потому что въ то время, какъ полкъ нашъ стоялъ на травяномъ продовольствіи, я исправлялъ должность

ремонтера, и лошади были у меня всегда отличныя... Вѣрно, кучеръ вашихъ сестрицъ, или что-нибудь такое... во всякомъ случаѣ, мнѣ весьма больно слышать это. Надѣюсь, ваши сестрицы не сердятся... я не виноватъ, клянусь вамъ, не виноватъ!

Миловзоровъ поспѣшилъ успокоить Василькова, сказавъ ему при этомъ, что сестры не только не сердятся, но даже съ восхищеніемъ припоминаютъ горшковскую встрѣчу. Такое извѣстіе, какъ и слѣдовало ожидать, подѣйствовало на Порфирія Павловича самымъ благопріятнымъ образомъ; онъ объявилъ, въ свою очередь, что никогда, до гробовой доски, не забудетъ горшковской ярмарки, доставившей ему случай познакомиться съ милыми и любезными сестрицами Аполлинарія Ильича.

Такія объясненія должны были завязать между докторомъ и паціентомъ пріятную бесѣду. Черезъ полчаса Миловзорову извѣстно уже было во всѣхъ подробностяхъ несчастное сусловское происшествіе, и онъ убѣдился, разъ навсегда, что вѣрно угадалъ болѣзнь Василькова, приписавъ главное основаніе ея не столько причинамъ физическимъ, сколько душевнымъ потрясеніямъ, имѣвшимъ прямое дѣйствіе на сердце. Впослѣдствіи Миловзоровъ любилъ приводить этотъ фактъ, какъ несомнѣнный признакъ своей проницательности.

Затѣмъ Аполлинарій Ильичъ сообщилъ своему паціенту весьма много любопытнаго о самомъ себѣ, сказалъ, что онъ точно такъ же женатъ, что жена его—настоящій ангелъ, а тесть и теща — честнѣйшіе и добрѣйшіе люди, какіе когда-либо существовали на свѣтѣ. Тесть и теща (которыхъ Миловзоровъ называлъ „боперчикъ“ и „бельмерочка“) пользовались превосходнымъ состояніемъ, доставшимся имъ отъ покойнаго отца, торговавшаго бронзой, старымъ фарфоромъ, картинами и драгоцѣнною древнею мебелью. Послѣ этого Миловзоровъ почелъ не лишнимъ объяснить паціенту, почему, при огромномъ состояніи тестя и тещи, занимается онъ практикой. Изъ словъ его оказалось, что практика была ему столько же полезна, сколько необходима; съ точки зрѣнія пользы—она доставляла ему развлеченіе; необходима была она потому именно, что доставляла случай отучать жену отъ неумѣстной ревности. Миловзорова была страшно ревнива, не давала мужу ступить шага, преслѣдовала его всюду и настоятельно требовала, чтобъ мужъ ни подъ какимъ предло-

гомъ не лѣчилъ дамъ. Аполлинарій Ильичъ, конечно, не былъ виноватъ въ томъ, что природа даровала ему красоту; не виноватъ былъ онъ также и въ томъ, что страждущія дамы посылали преимущественно за нимъ...

Порфирій Павловичъ не находилъ въ душѣ своей ничего такого, что̀ могло бы противорѣчить мнѣнію дамъ въ отношеніи къ милому доктору. Онъ былъ отъ него въ восхищеніи; мало того: на другое утро, когда Аполлинарій Ильичъ явился въ его комнату, онъ объявилъ, что готовъ пролежать цѣлый годъ въ постели, лишь бы пользоваться постоянно обществомъ такого медика. Общество самого Порфирія Павловича, слѣдуетъ предполагать, доставляло такое же точно наслажденіе Миловзорову. Онъ являлся аккуратно каждое утро, просиживалъ цѣлые часы сряду и, смотрясь въ зеркальце, повѣствовалъ разныя занимательныя исторіи, пересыпанныя безчисленнымъ множествомъ фактовъ, изъ которыхъ каждый доказывалъ неоспоримымъ образомъ, что наружность его играла всегда самую важную роль въ удачныхъ его лѣченіяхъ...

Должно отнести, однакожъ, къ чести Миловзорова, что главный предметъ интересныхъ исторій составляли все-таки его жена, тесть и теща. Мало-по-малу, передъ Васильковымъ раскрылась панорама такого семейнаго счастья, что сердце его замирало отъ сладостнаго трепета. Изъ дальнѣйшихъ источниковъ, дошедшихъ до насъ чрезъ Порфирія Павловича, узнаемъ мы, что Андрей Андреевичъ Бычковъ (тесть Миловзорова) и Марья Кузьминична Бычкова (теща) были въ самомъ дѣлѣ достойны того, чтобы зять превозносилъ ихъ до небесъ. Доброта тестя и тещи явствуетъ изъ слѣдующихъ двухъ фактовъ: 1) до женитьбы своей, Аполлинарій Ильичъ былъ не что иное, какъ бѣдный студентъ медицинскаго факультета, приходившій давать уроки русскаго языка купеческой дочкѣ. Слѣдуя неизбѣжному ро̀ку, Бычкова почувствовала вдругъ непреодолимое влеченіе къ Миловзорову. Непреодолимое влеченіе, само собою разумѣется, должно было обратиться въ непреоборимую страсть. Дочка упала въ ноги къ отцу и матери, заливаясь слезами; отецъ и мать взглянули на дочь, потомъ на Миловзорова, который плакалъ въ углу, потомъ сами зарыдали, потомъ слезы всѣхъ четверыхъ смѣшались въ одинъ общій потокъ, и потомъ, не взирая на то, что все богатство молодого человѣка заключалось въ однѣхъ бакенбардахъ, назвали его своимъ сыномъ

Пораженные умомъ, способностями, ученостью и красотою зятя, тесть и теща ежечасно благодарили судьбу, даровавшую ихъ дочкѣ такого феникса. Дочка, съ своей стороны, была также очень счастлива, за исключеніемъ развѣ тѣхъ случаевъ, когда Аполлинарій объявлялъ, что, такъ-какъ непредвидѣнныя обстоятельства поглотили деньги, выданныя тестемъ на мѣсячные расходы, то ему необходимо будетъ прибѣгнуть къ практикѣ, спеціальность которой заключалась, какъ уже извѣстно, въ лѣченіи страждущихъ дамъ; жена спѣшила снабжать его требуемою суммой и этимъ способомъ всегда возвращала мужа къ домашнему очагу. 2) Значительный проигрышъ въ карты, сдѣланный Миловзоровымъ въ первый годъ его супружества, нисколько не унизилъ его во мнѣніи тестя и тещи. Пораженные сначала этимъ извѣстіемъ, старики вошли въ комнату зятя съ твердымъ намѣреніемъ прочесть ему наставленіе; но, увидѣвъ слезы на щекахъ его, тотчасъ же упали духомъ, прослезились сами, и тутъ же обѣщали забыть прошлое и ни въ какомъ случаѣ даже не упоминать о немъ.

Слушая все это, Порфирій Павловичъ умилялся душою; послѣ всего этого было бы дико съ его стороны—именно дико и даже нелѣпо—не чувствовать сильной потребности сойтись, сдружиться и сблизиться съ почтеннымъ семействомъ Миловзорова.

Случай не замедлилъ представиться... Здѣсь не мѣсто входить въ ученыя изслѣдованія, защищать или оспаривать многочисленныя медицинскія теоріи, или вдаваться въ умозрительныя разсужденія насчетъ того, производитъ ли дѣйствительно наружность медика болѣе или менѣе благодѣтельное вліяніе на разстроенный организмъ паціента; къ тому же намъ нѣтъ до этого ровно никакого дѣла; обязанность наша состоитъ исключительно въ томъ, чтобъ выставлять одни факты и результаты; а результатъ былъ такого рода, что Миловзоровъ поставилъ Василькова на ноги въ самомъ скоромъ времени, и не далѣе какъ недѣли чрезъ три явился съ нимъ въ театрѣ.

Тутъ только увидѣлъ Порфирій Павловичъ, какъ могущественна была въ самомъ дѣлѣ красивая наружность медика-друга. Слѣдя внимательно за дамскими биноклями, онъ убѣдился, что они преимущественно маневрировали вокругъ лоснящихся бакенбардъ Миловзорова. Порфирій Павловичъ пригладилъ собственныя свои бакенбарды и

испустилъ глубокій вздохъ. Причина такого вздоха заключалась въ томъ, что въ душѣ его, вслѣдствіе естественнаго сцѣпленія идей, пробужденныхъ внѣшними предметами, возникло глубокое сожалѣніе насчетъ того, зачѣмъ онъ въ свое время не избралъ карьеры медицинской; такія безотрадныя размышленія, конечно, не мѣшали ему вращать глазами по направленію каждаго хорошенькаго личика. Одно лицо, глядѣвшее изъ бенуара, особенно поразило его: оно составляло неотъемлемую принадлежность молоденькой женщины, въ голубомъ, кисейномъ тòкѣ съ серебряными кисточками; дама, казалось, была въ большомъ волненіи: полная грудь ея вздымалась сильнѣйшимъ образомъ и глаза впивались, какъ стрѣлы, въ бакенбарды Миловзорова, который обводилъ между тѣмъ томнымъ взоромъ другія ложи. Сердобольный Порфирій Павловичъ почелъ своею обязанностью обратить вниманіе Аполлинарія Ильича на бенуаръ.

— Это жена моя... нѣжно пролепеталъ Миловзоровъ.

— Ахъ, помилуйте, да это просто красавица! Аполлинарій Ильичъ, я считаю васъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ свѣтѣ, сказалъ Васильковъ, приковывая исполинскіе зрачки свои къ голубому тòку.

Миловзоровъ наклонился къ уху собесѣдника и проворковалъ голосомъ, который захлебывался въ патокѣ:

— И... и влюблена въ меня до безумія!..

— А тотъ почтенный старичокъ, что̀ сидитъ за нею? спросилъ Васильковъ, подавляя завистливый вздохъ.

— Мой тесть — добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ... Позвольте мнѣ имѣть удовольствіе познакомить васъ съ ними? Обоимъ будетъ весьма пріятно.

— Ахъ, Боже мой, а мнѣ и подавно! воскликнулъ Васильковъ, горячо пожимая руку новаго друга и обтягивая отвороты своего сюртучка.

Они вышли въ коридоръ и, секунду спустя, очутились подлѣ бенуара, дверь котораго была уже отворена супругою Миловзорова.

— Agrippine, рекомендую тебѣ друга моего, Порфирія Павловича Василькова, о которомъ я такъ много говорилъ тебѣ, нѣжно сказалъ Аполлинарій Ильичъ.

— Весьма пріятно... я такъ много ужъ слышала... что. что... право...

— Мм... мм... пробормоталъ Порфирій Павловичъ, обдряя себя легкимъ кашлемъ.

Такая же рекомендація воспослѣдовала съ тестемъ, коротенькимъ пузанчикомъ самаго веселаго, привѣтливаго вида, закупореннымъ въ круглый фракъ табачнаго цвѣта. Добродушное лицо Бычкова изобразило всѣ признаки живѣйшаго нетерпѣнія, которые проглянули даже во всѣхъ его движеніяхъ; припрыгивая на кончикахъ носковъ, какъ танцмейстеръ или воробей, и потирая ладони, онъ схватилъ обѣ руки Порфирія Павловича и заботливо усадилъ его подлѣ себя; затѣмъ поспѣшилъ засыпать его вопросами о томъ, какимъ образомъ сошелся онъ съ Аполлинаріемъ, какъ вообще нравился ему Аполлинарій, и, не дожидаясь отвѣта, объявилъ напрямикъ, что Аполлинарій—изумительное совершенство человѣческой природы и представляетъ въ одномъ цѣломъ счастливое сочетаніе красоты, ума и всѣхъ возможныхъ достоинствъ.

Между тѣмъ Миловзоровъ и жена его стояли подлѣ двери бенуара и продолжали шептаться. Сущность консультаціи между двумя супругами осталась для Василькова непроницаемою тайной; по движеніямъ ихъ, онъ могъ судить, однакожъ, что объясненіе не лишено было нѣкоторой энергіи. Миловзорова, убѣжденная повидимому какими-то неотразимыми доказательствами своего супруга, отпустила его, наконецъ, въ кресла, усѣлась на свое мѣсто и еще пристальнѣе впилась въ него глазами.

Порфирій Павловичъ остался въ бенуарѣ и, слово за слово, такъ разговорился съ тестемъ своего друга, что тотъ потребовалъ отъ него обѣщанія пріѣхать завтра обѣдать.

Въ отвѣтъ на это, сердобольный владѣтель Сусловки съ чувствомъ пожалъ сначала правую руку веселаго старичка, потомъ лѣвую, потомъ обѣ вмѣстѣ, и на другой день, во второмъ часу, бережно звонилъ уже у двери двухъэтажнаго каменнаго дома, выкрашеннаго розовой краской. Навстрѣчу ему вышелъ молодой, бѣлокурый лакей въ синемъ фракѣ съ плоскими, свѣтлыми пуговицами, очевидно блиставшими когда-то на груди Аполлинарія Ильича; фракъ этотъ замыкался напереди холстиннымъ фартукомъ, ниспадавшимъ до колѣнъ, обтянутыхъ сѣрыми брюками съ темными лампасами; лѣвая рука лакея вооружена была тряпкой, бумажкой съ толченымъ кирпичомъ и мѣднымъ шандаломъ.

— Дома господа? спросилъ Васильковъ такимъ тономъ, какъ будто хотѣлъ затѣмъ прибавить: — „Если я помѣ-

шалъ, другъ мой, ты мнѣ прямо скажи: я сейчасъ же уйду—это ничего!“

— Дома-съ, дома; пожалуйте, сударь, пожалуйте, поспѣшно отвѣчалъ лакей, обнаруживая такую же точно неподдѣльную радость, какъ Робинзонъ при встрѣчѣ съ Пятницей,—всѣ дома, сударь, всѣ до одного, продолжалъ онъ, принимаясь освобождать плечи гостя отъ пальто, — а мы ужъ, признаться, сударь, и не думали увидѣть васъ. Всякій день слышимъ, Аполлинарій Ильичъ изволятъ говорить: господинъ Васильковъ, господинъ Васильковъ!.. Что́, думаемъ—то-есть мы про себя, примѣрно, такъ думаемъ—что̀, думаемъ, хоть бы разъ взглянуть на нихъ— а вотъ вы и пожаловали! заключилъ словоохотливый слуга, оглядывая съ восхищеніемъ гостя.

— Благодарствуй, дружокъ, благодарствуй. Я самъ очень радъ, произнесъ Порфирій Павловичъ, тронутый словами слуги, изъ которыхъ онъ ясно видѣлъ, что Миловзоровъ, увлекаемый дружбой, произносилъ поминутно его имя.

— А ужъ какъ они-то, сударь, будутъ вамъ рады, какъ родному! подхватилъ гостепріимный лакей. — Сегодня утромъ, и то разъ съ двадцать объ васъ вспоминали...

— Я надѣюсь, голубчикъ, всѣ здоровы? вымолвилъ Васильковъ, единственно съ тою цѣлью, чтобъ скрыть волненіе, произведенное въ немъ такими милыми для сердца словами.

— Нѣтъ, сударь, возразилъ слуга, — какъ на бѣду-съ, Аполлинарій Ильичъ изволили заболѣть сегодня.

— Боже мой! что̀ съ нимъ? спросилъ Васильковъ.

— Да зубы-съ; у нихъ это часто бываетъ; повѣрите ли, сударь, щака-то вотъ эвдакая! сказалъ слуга, показывая на полуаршинъ отъ своей собственной скулы, — теперь, однако, полегче стало... изволили заснуть.

— Ахъ, Боже мой! такъ какъ же?.. я, можетъ-быть, помѣшалъ?.. Ты, голубчикъ, пожалуйста, скажи мнѣ, я сейчасъ уйду, это ничего...

— Помилуйте, какъ можно, сударь! наши господа и не вѣсть какъ за это разсердятся... Пожалуйте, пожалуйте; они приказали просить васъ; съ утра еще наказывали! поспѣшилъ возразить слуга, вводя гостя въ маленькую прихожую, наполненную сильнымъ утюжнымъ запахомъ.

Порфирій Павловичъ не успѣлъ обтянуть отвороты своего сюртука и навести ладонью лоскъ на шляпѣ, как

ужъ дверь сосѣдней комнаты протяжно скрипнула, медленно отворилась, и на порогѣ ея показался тесть.

Затаивъ дыханіе, онъ чуть слышно выступалъ на цыпочкахъ и, бережно подобравъ коротенькія фалды табачнаго фрака, поджавъ губы и наклонивъ голову, появился въ передней. Увидѣвъ гостя, онъ сначала быстро простеръ къ нему толстенькія свои руки, сдѣлалъ даже прыжокъ, и потомъ вдругъ, какъ бы опомнившись, снова поднялся на цыпочки, проворно оглянулся назадъ и съ таинственно лукавымъ видомъ приложилъ указательный палецъ къ носу. Послѣ такого маневра, Андрей Андреевичъ (такъ звали тестя) подкрался къ Василькову, облобызалъ его въ обѣ щеки и шепнулъ ему мимоходомъ въ оба уха:

— А нашъ Аполлинарій только-что прилегъ отдохнуть!

Порфирій Павловичъ поспѣшилъ также приподняться на цыпочки и приложить указательный палецъ къ носу.

Примѣру его мгновенно послѣдовалъ и лакей въ синемъ фракѣ.

— Шт... шш... произнесъ Андрей Андреевичъ, съ испугомъ оглядываясь назадъ,—какъ жаль, Порфирій Павлычъ, что вы не пожаловали къ намъ десятью минутами раньше! таинственно шепнулъ онъ,—вы услышали бы, что̀ сказалъ Аполлинарій... онъ сказалъ (тутъ лицо тестя приняло восхищенное выраженіе), онъ сказалъ, что къ вечеру зубы его перестанутъ болѣть! Матвѣй, присовокупилъ едва внятно старикъ, обращаясь къ слугѣ, — слышалъ ты, что̀ сказалъ Аполлинарій Ильичъ?..

— Никакъ нѣтъ-съ... шепнулъ лакей.

— Шт... шш... зашипѣлъ Андрей Андреевичъ, грозя пальцемъ,—онъ сказалъ, что сегодня къ вечеру зубы его непремѣнно перестанутъ болѣть!

Прошептавъ это, старичокъ обхватилъ руку Василькова и, соблюдая всю возможную осторожность, чтобъ не шаркнуть какъ-нибудь по полу сапогомъ, ввелъ его въ маленькую уютную комнату.

Тутъ, подлѣ окна, въ мягкихъ вольтеровскихъ креслахъ, сидѣла жена Бычкова, крошечная старушка, съ добродушною, но нѣсколько серьезною физіономіей, украшенной круглыми очками, и прямо противъ нея, въ другихъ креслахъ, покоилась жена Миловзорова, роскошная дама съ бѣлыми льняными волосами, маслистыми голубоватыми взорами и красноватымъ лицомъ. Издали, въ театрѣ, напримѣръ, она могла казаться весьма эффектною дамой.

Обѣ встали съ своихъ мѣстъ, подняли указательный палецъ и, привставъ на цыпочки, радушно встрѣтили гостя.

— Заснулъ? шепнулъ Андрей Андреевичъ, подмигивая на сосѣднюю дверь.

— Кажется... отвѣчали обѣ женщины.

— Шт-ш-ш... подхватилъ старикъ. — Вы ужъ знакомы съ дочерью, Порфирій Павлычъ; а вотъ и старуха моя, позвольте васъ познакомить: это тотъ самый господинъ Васильковъ, котораго такъ полюбилъ нашъ Аполлинарій...

— Знаю, знаю, едва слышно проговорила старушка,— очень, очень пріятно съ вами познакомиться... мы такъ много слышали о васъ отъ нашего Аполлинарія, что давно желали съ вами познакомиться... Прошу покорнѣйше садиться...

Миловзорова повторила приглашеніе, и Порфирій Павловичъ сѣлъ на стулъ, не сдѣлавъ ни малѣйшаго шума, что̀ очевидно доставило величайшее удовольствіе тремъ членамъ гостепріимнаго семейства.

— Андрей Андреичъ, начала старушка, наклоняясь къ мужу,—сообщилъ ли ты нашему дорогому гостю о томъ, что сказалъ передъ ихъ приходомъ Аполлинарій?..

— Какъ же, какъ же, сообщилъ! отвѣчалъ старикъ съ такимъ видомъ, какъ-будто дѣло касалось какого-нибудь важнаго предмета, не терпящаго отлагательства.

— Да-съ, я ужъ имѣлъ удовольствіе слышать, шепнулъ въ свою очередь Порфирій Павловичъ, прикладывая къ груди поля своей шляпы,—я уже слышалъ... Боюсь, однакожъ, чтобъ не ошибся Аполлинарій Ильичъ: у меня точно такъ же болѣли разъ зубы... это было въ то время-съ, какъ полкъ нашъ стоялъ на травяномъ продовольствіи... и повѣрите ли, я мучился двѣ недѣли!

Въ эту самую минуту, за сосѣднею дверью послышался шорохъ, и вслѣдъ за тѣмъ сладкозвучный голосъ пролепеталъ:

— Бонѐрчикъ, это вы?..

— Боже мой, мы его разбудили! съ отчаяніемъ воскликнулъ старикъ.

— Нѣтъ, онъ, должно-быть, самъ проснулся, сказала дочь.

— Нѣтъ, вѣрно мы его разбудили! подхватила старушка, суетливо подымаясь съ креселъ.

Но Миловзоровъ показался уже въ комнатѣ. Пуховыя щеки его рдѣли самымъ яркимъ румянцемъ, котораго не

могли даже затмить красный халатъ изъ канауса, подбитый тафтою, и пунцовыя бархатныя туфли, вышитыя блестками и шелкомъ.

При видѣ посторонняго лица, Миловзоровъ отступилъ шагъ назадъ и проворно захлопнулъ дверь, но, услышавъ голосъ Василькова, мгновенно появился въ комнатѣ.

— Порфирій Павловичъ! Боже мой, какъ я счастливъ! съ нѣжностью воскликнулъ онъ, принимаясь обнимать гостя, между тѣмъ какъ остальные члены семейства съ умиленіемъ смотрѣли на эту сцену. — Ахъ, Боже мой, что жъ это такое? подхватилъ онъ, обращаясь съ тоскливымъ укоромъ къ тестю, — бопѐрчикъ, Agrippine, зачѣмъ не разбудили вы меня, не сказали, что пріѣхалъ Порфирій Павлычъ?.. Гость нашъ не можетъ минуты остаться безъ трубки, а вы заставили его дожидаться!.. Пойдемте ко мнѣ, Порфирій Павлычъ, пойдемте курить! А вы, бопѐрчикъ, распорядитесь, пожалуйста, скорѣй насчетъ обѣда... Agrippine и maman вамъ помогутъ. Гость нашъ, живя въ провинціи, вѣрно, привыкъ рано обѣдать, заключилъ Миловзоровъ.

И, не слушая возраженій гостя, который увѣрялъ, что ему совершенно все равно, когда бы ни обѣдать, Миловзоровъ повлекъ его въ сосѣднюю комнату.

Комната эта, которую тесть и теща прозвали кабинетомъ Аполлинарія, не отличалась, однакожъ, ничѣмъ особеннымъ отъ будуара молодой купчихи. Она раздѣлялась пополамъ зеленою шелковою занавѣсью, которая держалась на точеныхъ кольцахъ изъ краснаго дерева, скользившихъ на лакированной палкѣ изъ того же дерева; въ первой половинѣ, между двумя окнами, возносилось трюмо съ вызолоченными арабесками, и по бокамъ его, противъ оконъ, стояли два стола, покрытые бѣлой жисеей, подбитою розовой тафтою; поверхность столиковъ усѣяна была безчисленнымъ множествомъ скляночекъ, баночекъ, флаконовъ, пилочекъ для ногтей, ножницъ, ящичковъ съ пудрой, рубашечныхъ пуговокъ, драгоцѣнныхъ булавокъ, разложенныхъ симметрически, или сверкавшихъ въ перламутровыхъ раковинахъ, и множествомъ другихъ бездѣлушекъ, въ числѣ которыхъ бросались особенно въ глаза фарфоровая чернильница, золотой ножичекъ съ голубымъ фарфоровымъ черенкомъ и стальныя перья съ такими же фарфоровыми ручками; тутъ вытягивались также стройными рядами принадлежности бритвеннаго несессера; мяг-

кій коверъ покрывалъ полъ; эластическій диванъ и такія же кресла окружали стѣны, украшенныя литографіями самаго нѣжнаго содержанія. Словомъ, если бъ въ этой комнатѣ, издававшей сильнѣйшій запахъ пачули, не находилось въ числѣ принадлежностей несессера трехъ бритвъ, то никто не догадался бы, что тутъ жилъ членъ медицинскаго факультета.

Миловзоровъ подалъ Василькову стеклянный ящичекъ съ тоненькими папиросами, обернутыми въ розовую бумагу.

— Извините меня, Порфирій Павлычъ, пролепеталъ онъ, запахиваясь халатомъ, — если я въ вашемъ присутствіи приведу въ порядокъ свой туалетъ...

— Аполлинарій Ильичъ, энергически воскликнулъ Васильковъ, прислоняя къ коробкѣ папиросу и поспѣшно подходя къ медику,—Аполлинарій Ильичъ, исполните ли вы мою сердечную, можно сказать, душевную просьбу?..

— Ахъ, все, что хотите, Порфирій Павлычъ! для васъ я все готовъ сдѣлать, все, все...

— Нѣтъ, дайте мнѣ слово, честное слово!

— Даю!

— Въ такомъ случаѣ, Аполлинарій Ильичъ, съ чувствомъ сказалъ Васильковъ и горячо пожалъ при этомъ протянутую ему руку,—Аполлинарій Ильичъ, вы не должны снимать вашего халата... нѣтъ, ни подъ какимъ предлогомъ! Я прошу, умоляю васъ объ этомъ: я не хочу, чтобъ вы стѣснялись чѣмъ-нибудь въ моемъ присутствіи... я у васъ не гость и не хочу быть гостемъ: я просто добрый знакомый, такъ, пришелъ повидаться съ вами... вы окажете мнѣ величайшую дружбу, если останетесь весь день въ халатѣ; я буду видѣть изъ того, что вы меня хоть сколько-нибудь любите...

Аполлинарій Ильичъ отвѣчалъ, что если въ томъ только состоитъ просьба, онъ готовъ, въ угоду дорогому гостю, проходить всю свою жизнь въ халатѣ. И слова его, продиктованныя симпатіей, проникнуты были такою искренностью, что Порфирій Павловичъ объявилъ, въ свою очередь, что онъ, съ своей стороны, готовъ сдѣлать то же самое.

Къ несчастію, бесѣда двухъ пріятелей, подававшая надежду быть весьма интересною, прекратилась въ самомъ началѣ появленіемъ Андрея Андреевича, его жены и дочери, которые пришли объявить, что кушанье подано.

За столомъ служили извѣстный уже лакей, въ синемъ

фракѣ, и вмѣстѣ съ нимъ какая-то молоденькая, смазливая горничная, съ которой, почему-то, во все продолженіе обѣда не спускала пытливыхъ глазъ мадамъ Миловзорова, сидѣвшая наискось отъ мужа. Подавая блюдо, лакей и горничная громогласно дѣлали разныя замѣчанія самаго веселаго и непринужденнаго свойства; такъ, напримѣръ, лакей сказалъ Василькову: „Кушайте, сударь, кушайте на здоровье... дай вамъ Богъ вѣкъ водить хлѣбъ-соль съ нашими хозяевами!..“ Смазливая горничная почла своею обязанностью прибавить: „Наши хозяева вамъ оченно рады, особливо Аполлинарій Ильичъ!“ при семъ глаза ея встрѣтились съ глазами Аполлинарія Ильича, но тотчасъ же должны были разбѣжаться въ разныя стороны, благодаря проницательному взгляду г-жи Миловзоровой, которая поблѣднѣла. Васильковъ замѣтилъ, что вниманіе тестя и тещи бращено было исключительно на зятя; старики не спускали съ него глазъ, выбирали для него лучшіе куски и подобострастно слѣдили за каждымъ его движеніемъ. Отъ вниманія его не ускользнуло также, какъ Аполлинарій Ильичъ, соскучившійся, вѣроятно, тѣмъ, что жена не переставала слѣдить пытливымъ взоромъ за эволюціями смазливой горничной, началъ приходить постепенно въ раздражительное состояніе, подъ конецъ страшно раскапризничался, объявилъ, что все дѣлается не по немъ, что никто не хочетъ принять въ соображеніе его разстроеннаго здоровья, и проч., и проч. — обстоятельство, мгновенно распространившее грусть на лицахъ тестя и тещи. Оба принялись сначала увѣщевать зятя и вдругъ единодушно напали на дочь, которая, въ свою очередь, начала оправдываться и кончила, наконецъ, тѣмъ, что залилась слезами. Нѣтъ сомнѣнія, что сцена, начавшаяся подъ такими печальными обстоятельствами, не остановилась бы на этомъ, если бъ не прекратило ее окончаніе обѣда.

— Порфирій Павлычъ, сказалъ Миловзоровъ съ печально-разстроеннымъ тономъ,—пойдемте въ мой кабинетъ... Я такъ огорченъ, такъ огорченъ... вы сами должны понять это...

— Другъ мой, успокойся... ты разрываешь намъ сердце! произнесъ тесть, дѣлая сверхъестественныя усилія, чтобъ казаться спокойнымъ, и бросая въ то же время укоризненный взглядъ на дочь, которая обливалась слезами, сидя на сосѣднемъ стулѣ.

— Порфирій Павлычъ, шепнула теща, притрогиваясь къ плечу гостя,—Порфирій Павлычъ,—примолвила она, подавляя болѣзненный вздохъ,—успокойте нашего Аполлинарія...

Порфирій Павловичъ объявилъ, что въ этомъ состоитъ его обязанность. Бросивъ еще разъ тоскливый взглядъ на плачущую Миловзорову, онъ обхватилъ рукою Аполлинарія Ильича и медленно повелъ его въ кабинетъ.

Сознавая всю важность порученія, Порфирій Павловичъ принялся тотчасъ же утѣшать своего друга и вызвался даже быть парламентеромъ между нимъ и его женою. Но каково же было изумленіе Василькова, когда увидѣлъ онъ, что выраженіе тоски и скорби, отпечатанное на прекрасномъ лицѣ Миловзорова, исчезло и замѣнилось улыбкою, лишь только онъ очутился въ кабинетѣ! Изумленіе Порфирія Павловича обнаружилось въ обширнѣйшихъ размѣрахъ, когда Миловзоровъ предложилъ ему часамъ къ шести прогулку въ Марьину рощу. Приписывая такую внезапную перемѣну могущественному вліянію дружбы, Васильковъ направился къ двери, сгорая желаніемъ успокоить радостною вѣстью добродушное семейство; но Аполлинарій Ильичъ остановилъ его, сказавъ, что это совершенно лишнее, ибо теща и жена, по соображеніямъ его, должны были находиться теперь въ своихъ спальняхъ.

— Можетъ быть и вамъ угодно отдохнуть, Порфирій Павлычъ? заключилъ Миловзоровъ.

Васильковъ отвѣчалъ, что онъ не прочь отъ такого предложенія, тѣмъ болѣе, что обѣдъ былъ необыкновенно сытенъ и чувствовалась даже нѣкоторая тяжесть въ желудкѣ.

Пять минутъ спустя, Миловзоровъ лежалъ за занавѣсью на роскошной двухспальной постели, а Порфирій Павловичъ покоился на эластическомъ диванѣ противъ трюмо. Но сонъ бѣжалъ отъ исполинскихъ глазъ Василькова: все видѣнное и слышанное имъ, естественнымъ образомъ, должно было вызвать въ душѣ его цѣлый рядъ размышленій и сравненій. Мысли его, смѣняясь одна другою, привели его постепенно къ воспоминанію о Сусловкѣ, и тутъ въ головѣ его завязалась нить тягостныхъ сравненій между судьбою Миловзорова и его собственною судьбою.

Да, жизнь Аполлинарія Ильича была именно такая, о которой такъ сладко мечталъ Порфирій Павловичъ въ то время еще, когда, суетясь въ маленькомъ домикѣ на бе-

регу живописной рѣчки, перевязывалъ голубыми бантами занавѣски брачной постели! Что же вышло, Боже, что̀ вышло?.. Нѣтъ, Порфирій Павловичъ никогда не наслаждался истиннымъ счастіемъ! Онъ былъ горемычнымъ сиротою, съ дѣтства обреченнымъ влачить дни свои въ тоскливомъ одиночествѣ.

Нельзя опредѣлить навѣрное, сколько времени посвящено было сердобольнымъ Васильковымъ на размышленія; заподлинно извѣстно только то, что, часа полтора спустя послѣ обѣда, дверь кабинета скрипнула, и на порогѣ ея показался сначала тесть, потомъ его жена, а за ними Миловзорова.

Всѣ трое стояли на цыпочкахъ и держали указательные пальцы на правой сторонѣ носа.

Застигнутый врасплохъ, Порфирій Павловичъ быстро вскочилъ съ дивана, застегнулъ сюртукъ и поправилъ волосы.

— Тсс... тсс... произнесъ тесть, таинственно указывая на занавѣсъ и поджимая губы.

— Что? успокоился нашъ Аполлинарій? шепнула теща.

— Успокоился-съ... я сдѣлалъ все, что было въ моихъ силахъ... и теперь заснулъ, отвѣчалъ едва внятно Васильковъ, наклоняясь преимущественно къ женѣ своего друга.

— Шт...ш...ш... пойдемте посмотрѣть на него... шепнулъ тесть, нетерпѣливо мигая глазками и становясь на цыпочки.

— Что это ты, Андрей Андреичъ, никакъ съ ума сошелъ? возразила теща,—ты, вѣрно, хочешь разбудить его...

— Жена, шепнулъ тесть, обводя восторженнымъ взглядомъ присутствовавшихъ,—сдѣлаемъ ему сюрпризъ. Агриппина спрячется за оконную занавѣсь, а мы скажемъ Аполлинарію, что она уѣхала въ Сокольники, заключилъ онъ, лукаво прищуривая лѣвый глазъ и прикладывая ладонь къ губамъ, которыя тряслись отъ внутренняго смѣха.

Мысль эта была единодушно одобрена; Agrippine скрылась за гардиной; тесть, теща и Васильковъ, томимые ожиданіемъ, присѣли на диванъ.

— Порфирій Павлычъ, это вы? мелодически произнесъ Миловзоровъ, поворачиваясь на своихъ пуховикахъ.

— Мы его разбудили! съ испугомъ шепнулъ старикъ.

— Нѣтъ, Аполлинарій Ильичъ, здѣсь ваши papa и maman... отозвался Васильковъ, хитро подмигивая старикамъ.

Миловзоровъ показался изъ-за занавѣси, и Порфирій

Павловичъ увидѣлъ, къ великому своему изумленію, что лицо его было на этотъ разъ еще печальнѣе, чѣмъ во время обѣда.

— Мы разбудили тебя! воскликнули тесть и теща, устремляя на зятя умоляющіе взгляды.

— Что-жъ дѣлать! возразилъ Миловзоровъ заунывнымъ голосомъ.

— Прости насъ, мой другъ, мы сдѣлали это невольно!.. простонали тесть и теща.

— Помилуйте, папенька, замѣтилъ съ явною раздражительностью зять, — что-жъ, вы имѣете полное... да, скажу, полное право входить въ мой кабинетъ, когда вамъ угодно!..

Послѣдовала пауза.

— А знаешь ли ты, мой другъ, началъ Андрей Андреевичъ, подмигивая женѣ и Василькову,—въ то время, какъ ты отдыхалъ, съ нами случилось маленькое несчастье...

— Какъ! что вы говорите? воскликнулъ Миловзоровъ, отыскивая глазами мягкій стулъ.

— Да, другъ мой, Agrippine твоя уѣхала въ Сокольники! подхватилъ тесть, багровѣя отъ удовольствія.

— Боже мой! закричалъ Миловзоровъ, падая въ кресла и бросая косвенный взглядъ на гардину, гдѣ спрятана была жена,—Боже мой, что̀ здѣсь со мною дѣлаютъ! Зачѣмъ она уѣхала? подхватилъ онъ, бросая вторичный взглядъ на гардину. — О, я несчастнѣйшій изъ всѣхъ мужей на свѣтѣ!.. Агриппина меня не любитъ!..

— Другъ мой, люблю! люблю! люблю! обожаю! вскрикнула жена, выскакивая изъ-за гардины и бросаясь къ мужу.

Но Миловзоровъ закрылъ лицо руками и опустилъ голову.

— Вотъ, вѣчныя твои глупыя затѣи! сказала теща, потрясая руками передъ Андреемъ Андреевичемъ, который сидѣлъ какъ преступникъ.—Что ты надѣлалъ! Ты напугалъ его! Успокойся, Аполлинарій, успокойся, Бога ради!.. Агриппина, скорѣй стаканъ свѣжей воды!

Но Аполлинарій Ильичъ, къ великому отчаянью тестя и тещи, никакъ не успокоивался и, вѣроятно, не успокоился бы до самаго вечера, безъ горячаго содѣйствія Порфирія Павловича, который съ неподражаемымъ великодушіемъ принялъ на себя выдумку сюрприза, причинившаго такое сильное потрясеніе на слабонервный организмъ женоподобнаго медика.

Аполлинарій Ильичъ поцѣловалъ жену, обнялъ тестя,

тещу, сказалъ, что теперь все прошло, пожалъ руку Василькову и закурилъ папироску.

— Ангелъ мой, Аполлинарій, другъ души моей! подобнаго тебѣ нѣтъ въ цѣломъ свѣтѣ! воскликнула Миловзорова, всматриваясь въ лицо мужа.

— Красавецъ! красавецъ! палата! архивъ! восторженно воскликнулъ тесть.

— Красавецъ! радость наша! повторяла теща, всплеснувъ руками.

Аполлинарій Ильичъ окончательно повеселѣлъ и успокоился. Онъ объявилъ, что намѣренъ поѣхать прогуляться съ гостемъ куда-нибудь за городъ. Извѣстіе это возбудило тотчасъ же поводъ къ горькимъ упрекамъ со стороны Миловзоровой, и, безъ сомнѣнія, между нею и мужемъ произошла бы маленькая сцена, если бъ не потушили ее заблаговременно тесть и теща, сказавъ, что ревность ея неумѣстна, что свѣжій воздухъ необходимъ ея мужу, и что, во всякомъ случаѣ, развлеченія принесутъ огромную пользу разстроеннымъ нервамъ Аполлинарія. Этимъ способомъ водворено было согласіе между супругами.

Agrippine поручила своего мужа попеченію Василькова. Васильковъ далъ обѣщаніе, что исполнитъ въ точности всѣ эти порученія, предписанныя ему, сверхъ того, обязанностями дружбы, и, напутствуемый благодарностью всѣхъ членовъ семейства, уѣхалъ съ Миловзоровымъ въ Марьину рощу.

IV.

Васильковъ и Миловзоровъ, предводительствуемые Аристархомъ Ѳедоровичемъ, ищутъ развлеченій сначала въ одномъ инструментальномъ концертѣ, потомъ въ одномъ клубѣ. Здѣсь же фактически доказывается извѣстная истина, что великіе люди могутъ попадать впросакъ ничѣмъ не хуже послѣдняго смертнаго.

Привязанность Порфирія Павловича къ гостепріимному семейству Аполлинарія Ильича не имѣла бы, конечно, той силы, если бъ Аристархъ Ѳедоровичъ обнаруживалъ, съ своей стороны. ревность или явную досаду, или, напри-

мѣръ, хоть разъ сказалъ бы Василькову: „За что, любезнѣйшій, предпочелъ ты мнѣ Миловзорова?..“ Умиленный Порфирій Павловичъ, нѣтъ сомнѣнія, раздѣлилъ бы тогда пополамъ свое сердце и отдалъ бы одну часть одному другу, другую—другому. Но дѣло въ томъ, что Аристарху Ѳедоровичу было, повидимому, совершенно все равно; онъ не измѣнилъ ни на волосъ обращенія своего съ Васильковымъ, за исключеніемъ развѣ того, что пересталъ доставлять ему удовольствія; равнодушіе его простиралось до такой степени, что онъ ни разу не обратился даже къ нему съ упрекомъ—обстоятельство, которое естественнымъ образомъ должно было огорчать чувствительную душу владѣтеля Сусловки.

Разъ только въ голосѣ и движеніяхъ Аристарха Ѳедоровича промелькнуло что-то похожее на прежнее задушевное расположеніе.

Это было утромъ, часу въ двѣнадцатомъ. Порфирій Павловичъ входилъ въ комнату Балахнова, чтобъ пожелать ему счастливаго дня и всевозможныхъ успѣховъ.

— Здравствуй, любезнѣйшій, здравствуй! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, полируя въ то же время крошечной щеткой патентованные свои зубы.—Брррр... бууу... а скажи-ка ты мнѣ, милый мой, что̀ ты намѣренъ дѣлать сегодня? примолвилъ онъ, взявъ изъ рукъ Сидора полотенце и обтирая имъ дипломатическій лобъ свой.

— Я думалъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, навѣстить... Миловзоровыхъ... отвѣчалъ Васильковъ такимъ тономъ, какимъ Аполлинарій Ильичъ Миловзоровъ возвѣщалъ женѣ, что пойдетъ врачевать дамъ, когда имѣлъ въ виду возбудить ея ревность.

— Васъ, кажется, попросту, бѣсъ веревочкой связалъ! весело произнесъ Балахновъ, возвращая Сидору полотенце.—Скоро ли, скажи на милость, перестанешь ты няньчиться съ своими Миловзоровыми?.. Право, на васъ смотрѣть даже завидно... особенно мнѣ; вѣдь ты, братецъ, совсѣмъ почти забылъ меня... такъ, или нѣтъ?

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ... но я встрѣчаю тамъ каждый разъ такой радушный, привѣтливый пріемъ... выразительно отвѣчалъ Порфирій Павловичъ.

— А что же, развѣ ты не встрѣчаешь здѣсь такого же точно радушнаго пріема?.. перебилъ Балахновъ, обнаруживая въ эту минуту столько благороднаго достоинства что Васильковъ невольно припомнилъ всѣ благодѣянія

оказанныя ему въ Ханскихъ-Прудахъ, и устыдился въ глубинѣ души своей.—Кажется, въ этомъ отношеніи тебѣ, братецъ, грѣшно на меня сѣтовать, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ возраставшимъ величіемъ, — я дѣлаю все, что могу, чтобъ столичная жизнь казалась тебѣ по возможности пріятною и разнообразною... Да вотъ, чего же лучше, не далѣе, какъ сегодня, хотѣлъ я похитить тебя у твоихъ пріятелей и везти съ собою...

— Аристархъ Ѳедоровичъ... вы знаете... я... всегда душевно радъ... Это единственное мое желаніе, клянусь! пролепеталъ Васильковъ, краснѣя до ушей и чувствуя сильнѣйшее угрызеніе совѣсти, какъ человѣкъ, явно-уличенный въ черной неблагодарности.

— Ну, хорошо, хорошо! Я никогда, братецъ, не сомнѣвался въ искренности твоихъ чувствъ, сказалъ Балахновъ, потрепавъ его по плечу.—Итакъ, рѣшено: ты даришь мнѣ нынѣшній день? Дѣло, видишь ли, вотъ въ чемъ: мы поѣдемъ сегодня въ концертъ къ этому выскочкѣ Бобохову... Кстати, посмотри-ка на афишку; кажется, объявлено въ два часа... афишка на столѣ, подлѣ чайнаго прибора... прочти-ка, прочти, что тамъ такое?..

Афишка возвѣщала, что такого-то числа, въ такой-то залѣ, въ два часа пополудни, данъ будетъ инструментальный концертъ музыкантами одного изъ извѣстнѣйшихъ дилетантовъ. Затѣмъ поименованы были артисты: г. Габріельскій, г. Паганиновъ и г. Серенадинъ — прозвища, очевидно, изобрѣтенныя знаменитымъ дилетантомъ.

— Хвастунъ! изъ Гаврилки сдѣлалъ какого-то Габріельскаго, да и думаетъ удивлять публику; нашелъ дураковъ! презрительно замѣтилъ Балахновъ, когда кончилось чтеніе афишки. — Туда же — дилетантъ! Ха-ха-ха! потѣха! право, потѣха!.. А потомъ изъ концерта, если хочешь, поѣдемъ въ клубъ обѣдать, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, презрительно отталкивая афишу и садясь за чайный приборъ. — Одинъ, братецъ, я сегодня не тронулся бы съ мѣста; самъ не знаю: скучно какъ-то... Съ тобой я посмѣюсь, разсѣюсь и, надѣюсь, излѣчусь къ вечеру отъ хандры.

— Я, конечно, очень радъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, но... пролепеталъ съ неловкостью Васильковъ.

— Что еще?

— Я обѣщалъ, далъ слово пріѣхать обѣдать сегодня къ...

— Къ Миловзорову, подхватилъ, смѣясь, Балахновъ,— ну, такъ, я это зналъ! Неужто ты дня не можешь прожить безъ него?.. Смѣшно, братецъ, право, смѣшно; а впрочемъ, сдѣлай вотъ что: пригласи его отъ меня съ собою; я буду очень радъ; онъ добрый малый—и оба вы развлечете меня...

Этимъ способомъ уничтожены были всѣ препятствія, могущія встрѣтиться со стороны Василькова. Онъ написалъ Миловзорову записочку, тотъ не замедлилъ явиться, и въ половинѣ второго, послѣ легкаго завтрака, предложеннаго гостепріимнымъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, всѣ трое поѣхали въ концертъ.

Бобоховъ распорядился отлично. Воодушевленный тою блистательною ролью, которую предстояло ему играть въ концертѣ, онъ нанялъ огромную залу въ домѣ одного вельможи, находившагося за границей. Потолокъ залы и полукруги надъ дверьми расписаны были музыкальными атрибутами; правая сторона ея представляла нескончаемые ряды старинныхъ, закоптѣлыхъ картинъ въ золотыхъ рамахъ; лѣвая состояла изъ однихъ стеколъ, наподобіе оранжереи, и установлена была чахлыми, но тѣмъ не менѣе дорогими растеніями. Дно залы украшалось возвышеніемъ, обтянутымъ краснымъ сукномъ; на немъ располагался полукругомъ многочисленный оркестръ, нанятый Бобоховымъ для аккомпанимента доморощеннымъ виртуозамъ. Стройные ряды креселъ и стульевъ тянулись съ одного конца залы до другого.

— Что, милый мой, не начинался еще концертъ?

Съ такимъ вопросомъ Балахновъ обратился къ швейцару, стоявшему у входа съ булавой. Получивъ отрицательный отвѣтъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, сопровождаемый своими тѣлохранителями, вступилъ торжественно въ комнату, предшествовавшую концертной залѣ. Комната освѣщалась единственнымъ круглымъ окномъ изъ потолка и, подобно сосѣдкѣ своей, украшалась растеніями и картинами.

Первый предметъ, поразившій Балахнова, былъ Аѳанасій Никитичъ Степанчиковъ, стоявшій въ отдаленномъ углу и толковавшій о чемъ-то съ двумя черными фраками и еще третьимъ господиномъ съ унылымъ лицомъ и такими толстыми губами, какъ будто наканунѣ искусали ихъ комары или ужалили пчелы.

Видъ Степанчикова невольно пробудилъ въ Аристархѣ

Ѳедоровичѣ самыя непріятныя воспоминанія; но, по своему обыкновенію, онъ тотчасъ же овладѣлъ собою, не показалъ ни малѣйшаго признака досады и ограничился тѣмъ только, что презрительно прищурилъ глаза и произнесъ вполголоса: „плутъ!..“

— Ахъ, ужаснѣйшій, мсьё Балахновъ! неожиданно отозвался Миловзоровъ.

— А вы почемъ его знаете? небрежно спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— О, и очень хорошо его знаю-съ: это извѣстнѣйшій аферистъ Степанчиковъ. Онъ нѣсколько разъ обманывалъ моего тестя, честнѣйшаго старика, когда тотъ занимался еще торговыми операціями, пролепеталъ Аполлинарій Ильичъ.

— Ахъ, если бъ вы знали только, Аристархъ Ѳедоровичъ, какой честнѣйшій и добрѣйшій старичокъ ихъ тесть! энергически подхватилъ Порфирій Павловичъ, моргая своими исполинскими глазами на величаваго мужа и пожимая въ то же время руку красивому эскулапу.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ не обратилъ никакого вниманія на замѣчаніе Василькова: проницательный взглядъ его снова устремился на Степанчикова и его собесѣдниковъ. Любопытство Балахнова возросло до неимовѣрной степени, когда онъ узналъ въ послѣднихъ—музыкантовъ Бобохова; такъ точно, онъ не ошибался: эти три физіономіи мелькали въ оркестрѣ выскочки въ то время, какъ онъ обѣдалъ въ Голодаевкѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и внимательно принялся разсматривать какую-то картину. Никто не сомнѣвается, что можно созерцать картину и въ то же время не пропускать ни одного слова изъ того, что̀ говорится подлѣ. Такой фактъ краснорѣчивѣйшимъ образомъ подтвердилъ нашъ герой, который не только разслышалъ, какъ Степанчиковъ ободрялъ трехъ музыкантовъ, обѣщая имъ золотыя горы въ томъ случаѣ, если они отличатся, но увидѣлъ, увидѣлъ своими глазами, какъ аферистъ скрѣпилъ слова свои тремя ассигнаціями, искусно вложенными въ коренастыя ладони трехъ виртуозовъ.

„Что̀ бы это значило? подумалъ Балахновъ, провожая глазами трехъ музыкантовъ и Степанчикова, направлявшихся въ концертную залу,—тутъ, вѣрно, кроется какая-нибудь штука; въ противномъ случаѣ, съ чего бы сталъ этотъ старый плутъ снабжать деньгами бобоховскихъ му-

зыкантовъ... А впрочемъ я очень радъ: пускай подцѣпитъ онъ на чемъ-нибудь выскочку и проучитъ его хорошенько!"

Заключивъ свою филантропическую сентенцію снисходительнымъ наклоненіемъ головы по направленію къ Василькову и Миловзорову, которые стояли передъ картиною, изображавшею нимфу, Аристархъ Ѳедоровичъ вступилъ въ залу и, принявъ спокойно величавую осанку, помѣстился въ первомъ ряду.

Въ эту самую минуту, въ сосѣдней комнатѣ раздался громкій говоръ, сопровождавшійся не менѣе громкимъ хохотомъ, и, секунду спустя, въ дверяхъ залы показались блистательный Тохтамышевъ, изящный Чиндаласовъ, почтенный Петръ Степановичъ Крапов и много еще другихъ джентльменовъ. Въ этой толпѣ особенно рѣзко бросалась въ глаза фигура Бобохова.

Нестройный шопотъ, посреди котораго ясно можно было разслышать: „Бобоховъ... Бобоховъ... его музыканты... самъ училъ ихъ!.." Балахновъ окинулъ пытливымъ глазомъ залу и, увидѣвъ, на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ слышался шопотъ, престарѣлаго Корнея и еще другихъ лицъ, замаскированныхъ приличной одеждой, вполнѣ соотвѣтствующей случаю, заключилъ весьма основательно, что они посажены были самимъ выскочкою, съ цѣлью обращать на него вниманіе почтеннѣйшей публики.

Цѣль была достигнута: Бобоховъ обратилъ на себя всеобщее вниманіе, хотя, къ сожалѣнію, эффектъ былъ не совсѣмъ удовлетворителенъ. Почтенный Петръ Степановичъ Крапов, какъ человѣкъ солидный, отсталъ вскорѣ отъ шумныхъ своихъ собесѣдниковъ и усѣлся въ одинъ изъ заднихъ рядовъ; остальная часть толпы разсыпалась по первому ряду.

Аристархъ Ѳедоровичъ очутился между Тохтамышевымъ и Бобоховымъ.

— Чрезвычайно пріятно встрѣтиться съ вами здѣсь... заговорилъ восхищенный Бобоховъ, обращаясь къ Балахнову,—между нами очень рѣдко можно найти дилетана, dilétan, не правда ли?.. Очень радъ, что вы любитель музыки...

— Да, люблю музыку... разумѣется, въ томъ только случаѣ, когда она хороша... возразилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, дѣлая удареніе на послѣднія слова и косясь иронически на Тохтамышева.

Тохтамышевъ отвѣтилъ выразительнымъ движеніемъ бровей.

— Надѣюсь, что сегодня, по крайней мѣрѣ, вы будете довольны... суетливо подхватилъ выскочка,—удивительные таланты! Габріельскій и Паганиновъ прекрасныя скрипки, можно сказать, замѣчательныя! Но они ровно ничего не значатъ передъ Серенадинымъ: это талантъ первоклассный. Вы увидите, я распорядился нарочно такъ, что онъ будетъ играть послѣднимъ pour bon bouch...

— И очень хорошо сдѣлали...

— Вы одобряете... чрезвычайно пріятно! сказалъ Бобоховъ, иронически подмигивая Тохтамышеву на величаваго сосѣда.

Тохтамышевъ отвѣтилъ выскочкѣ тѣмъ же выразительнымъ движеніемъ бровей, какимъ обмѣнялся прежде съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ насчетъ самого Бобохова. Въ то же время въ первомъ ряду кто-то нетерпѣливо захлопалъ въ ладоши; звукъ этотъ, дружно подхваченный въ другихъ рядахъ, наполнилъ вскорѣ все зало.

— Всеобщее нетерпѣніе... не пора ли начинать? произнесъ Бобоховъ, обнаруживая восторженное волненіе.

— Я думаю, что такъ; давно бы, кажется, пора, отвѣчалъ Тохтамышевъ, протягивая ноги съ такимъ комфортомъ, какъ будто намѣревался провести на своемъ мѣстѣ нѣсколько часовъ пріятнаго сна.

Выскочка привсталъ съ креселъ, пошептался съ капельмейстеромъ, и, минуту спустя, оркестръ заигралъ увертюру.

— Изъ Лючіи, Lutchi, превосходная вещь! произнесъ Бобоховъ.

— Да, вещь хорошая, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пристально наблюдая обрюзглое лицо Степанчикова, который стоялъ за возвышеніемъ и, дѣлая ободрительные жесты, шептался съ тремя концертистами, скрывавшимися покуда за оркестромъ.

— А вотъ и очередь Паганинова! произнесъ вполголоса выскочка, припрыгивая на своемъ мѣстѣ.

— А!

— А!

— А!.. разразилось въ разныхъ концахъ перваго ряда.

Но восклицанія эти, сопровождаемыя въ первомъ ряду удушливымъ смѣхомъ, тотчасъ же заглушились звонкими рукоплесканіями заднихъ рядовъ.

— Славно принимаютъ вашего виртуоза! сказалъ Балахновъ, поворачиваясь назадъ и стараясь навести глаза выскочки на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ престарѣлый Корней.

Бобоховъ ничего не отвѣчалъ и показалъ видъ, что въ настоящую минуту вниманіе его поглощено исключительно появленіемъ Паганинова, который, отвѣсивъ низкій поклонъ, залился тотчасъ же на своей скрипкѣ, безъ предварительныхъ приготовленій. Могло статься, что игра Паганинова была весьма достопримѣчательна, что въ ней „виртуозность подчинялась классицизму, и наоборотъ, и сверхъ того проглядывали поминутно явные признаки романтизма, смѣшаннаго съ непостижимымъ развитіемъ механизма", какъ выразился одинъ знатокъ на столбцахъ одной газеты; но профаны, и въ томъ числѣ бо́льшая часть публики, остались того мнѣнія, что физіономія скрипача была несомнѣнно достопримѣчательнѣе его игры.

Паганиновъ былъ человѣкъ средняго роста, съ лицомъ мрачнаго вида, черными щетинистыми волосами и крупнымъ носомъ, гдѣ, казалось, основала свою резиденцію красная краска, умѣренно распредѣляемая у другихъ смертныхъ по различнымъ частямъ физіономіи.

Каждый разъ, какъ наступалъ трудный пассажъ, глаза виртуоза впивались въ оконечность пальцевъ, и волосы его отъ страшной натуги становились торчмя, какъ у ежа; но какъ только смычокъ выдѣлывалъ adagio, глаза его мгновенно обращались къ потолку и закатывались подъ лобъ, а губы покидали середину лица, чтобъ улыбнуться правому уху.

Полчаса спустя, мѣсто Паганинова заступилъ Габріельскій, маленькій, узенькій человѣчекъ, бѣлокурое лицо котораго во все время игры сохранило самое странное выраженіе.

Удушливый хохотъ снова раздался въ первомъ ряду, но снова заглушился громкими рукоплесканіями заднихъ рядовъ, и Габріельскій покинулъ возвышеніе съ такимъ же точно тріумфомъ, какъ его предшественникъ.

— Славно! молодецъ! замѣтилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, посылая одобрительный кивокъ удалявшемуся скрипачу.

— Вамъ нравится? чрезвычайно пріятно! поспѣшно заговорилъ Бобоховъ, — но эти два еще ничего; совѣтую вамъ послушать Серенадина. Конечно, не всякій можетъ оцѣнить достоинство его игры: для этого нужно особенное развитіе, знаете, general baz... Но я смѣло скажу,

что такого кларнета нѣтъ у насъ... одно жаль: онъ, знаете, робокъ, чрезвычайно робокъ, но, надѣюсь, вы поддержите его?.. надо, знаете, не мѣшаетъ... поощрять таланты...

Слова Бобохова прерваны были появленіемъ Серенадина. Крошечные, узенькіе глазки придавали физіономіи кларнетиста плачущее выраженіе, а страшная блѣдность лица показывала величайшее смущеніе.

Оркестръ грянулъ интродукцію.

— Это интродукція, introductie, поспѣшилъ подсказать Бобоховъ, суетливо озираясь направо и налѣво.

— Прекрасно! вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, устремляя любопытный взоръ на Степанчикова, который дѣлалъ изъ-за угла одобрительные жесты кларнету.

Интродукція умолкла, воцарилась тишина. Серенадинъ сдѣлалъ шагъ впередъ, приложилъ кларнетъ къ губамъ и принялся дуть изо всей силы безъ всякаго результата.

Инструментъ оставался нѣмъ, какъ рыба. Бобоховъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе; Степанчиковъ почесалъ ухо; въ первомъ ряду послышался смѣхъ, заглушенный тотчасъ же, впрочемъ, громкими рукоплесканіями со стороны престарѣлаго Корнея.

Снова воцарилась тишина.

На этотъ разъ кларнетъ издалъ какой-то странный звукъ, весьма похожій на то, когда разрываютъ кусокъ клеенаго гостинодворскаго коленкора.

Послышался сильный, единодушный взрывъ хохота.

— Нѣтъ, тутъ что-нибудь такое... это инструментъ... зеленѣя, произнесъ Бобоховъ, обращаясь съ пояснительнымъ видомъ къ сосѣдямъ.—Интродукцію! играйте интродукцію, шепнулъ онъ, махая въ оркестръ и бросая взгляды на Серенадина, который продувалъ инструментъ, выбивая ускоренный тактъ угловатыми своими колѣнями.

Интродукція кончена. Виртуозъ дѣлаетъ шагъ впередъ, прикладываетъ инструментъ къ губамъ и снова издаетъ странный звукъ. Раздается взрывъ хохота, отъ котораго звенятъ стекла обширной залы. Серенадинъ кашляетъ совершенно безнадежнымъ образомъ и осматриваетъ съ видомъ глубокаго отчаянія клапаны своего кларнета.

— Интродукцію! интродукцію! продолжалъ нашептывать Бобоховъ.

Интродукцію играютъ въ третій разъ, но многія особы перваго ряда обнаруживаютъ явное намѣреніе не дослу-

шать окончанія концерта. Тохтамышевъ, Чиндаласовъ покидаютъ свои мѣста; концертъ между тѣмъ продолжается. Серенадинъ, развинтившій нѣсколько разъ сряду свои клапаны, наполняетъ теперь залу звонкими, раскатистыми трелями, къ совершенному удовольствію Бобохова... Затѣмъ наступаетъ антрактъ.

— Я вамъ говорилъ, что виноватъ былъ инструментъ; не правда ли, какой замѣчательный талантъ? Вамъ нравится? чрезвычайно пріятно! Но куда же дѣвались эти господа? Они, вѣрно, ушли курить. Я распорядился нарочно, чтобъ была особая комната; я люблю confor. Надѣюсь, вы останетесь до конца? теперь всѣ трое будутъ играть вмѣстѣ trio: чрезвычайно пріятно, если вы останетесь! говорилъ Бобоховъ.

— Непремѣнно, непремѣнно, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, посылая въ то же время знаменательный сигналъ Василькову и Миловзорову.

Полный удовлетвореннаго самолюбія, Бобоховъ разгуливаетъ по залѣ и улыбается публикѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ летитъ, между тѣмъ, въ наемной каретѣ вмѣстѣ со своими тѣлохранителями и благополучно достигаетъ дверей одного клуба.

— Вы здѣсь членъ-съ? лепеталъ сладостнымъ голосомъ красивѣйшій изъ всѣхъ докторовъ, вынимая изъ бокового кармана гребешокъ, украшенный зеркальцемъ.

— Всегдашній и всенепремѣннѣйшій! самодовольно отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, подымаясь съ нѣкоторою торжественностью по ступенямъ парадной лѣстницы клуба. — Я здѣсь дома и покорнѣйше прошу васъ, господа, помнить, что вы мои гости и, слѣдовательно, ничѣмъ не должны стѣснять себя въ этихъ стѣнахъ, гдѣ все должно дышать веселостью, примолвилъ онъ съ очаровательною любезностью. — Ну, что, Степанъ? что новаго, любезный? заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ ливрейному лакею, который встрѣтилъ его на лѣстничномъ парапетѣ.

— Меня зовутъ-съ Матвѣемъ, отвѣчалъ лакей, представляя его вниманію записную книгу.

— Ахъ, да, я забылъ... Ну, что, Матвѣй? что дѣлается?.. вымолвилъ съ безпечною развязностью Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Сейчасъ только сѣли кушать... отвѣчалъ Матвѣй, отворяя двери.

— А, ужъ обѣдаютъ! Ну, пойдемте, пойдемте, господа, добро пожаловать; столовая раскрываетъ передъ вами свои гостепріимныя объятія... весело сказалъ Балахновъ, подымаясь впередъ и самодовольно выпучивая грудь.

Трудно передать выраженіе того сановито-грандіознаго спокойствія, съ какимъ Аристархъ Ѳедоровичъ вступилъ въ обѣденную залу. Скажемъ только, что Васильковъ и даже Миловзоровъ, несмотря на всю красу свою, казались подлѣ него въ эту торжественную минуту какими-то жалкими пигмеями, незаслуживающими рѣшительно никакого вниманія.

Занявъ свое мѣсто, Балахновъ окинулъ орлинымъ взглядомъ общество. Посѣтителей было много. Какъ правая сторона стола, такъ и лѣвая, представляли самую разнообразную панораму изъ лбовъ, завитковъ, коковъ, лысинъ, бакенбардъ и носовъ всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ и размѣровъ. Общество хранило невозмутимое молчаніе; каждый сидѣлъ, глубокомысленно насупивъ брови, и занятъ былъ, казалось, разрѣшеніемъ какого-то многосложнаго и крайне головоломнаго вопроса, очевидно вызваннаго созерцаніемъ тысячерублеваго супа и подовыхъ пирожковъ, появившихся на каждомъ кувертѣ. Задумчиво-торжественное выраженіе на всѣхъ лицахъ ясно передавало общую мысль, какою одушевлены были въ настоящую минуту присутствовавшіе; каждый, казалось, хотѣлъ сказать: „Милостивые государи! мы всѣ собрались сюда въ этотъ день для того, чтобъ произнести нашъ приговоръ о достоинствѣ сей знаменитой стерляжьей ухи, и слѣдуетъ изъ того“... Но что слѣдуетъ изъ того, этого ни подъ какимъ видомъ не доказывали физіономіи присутствовавшихъ. Впрочемъ, Аристарху Ѳедоровичу было совершенно все равно: иныя мысли, иныя соображенія тѣснились въ дипломатической головѣ его, обращавшейся попеременно то къ одному концу стола, то къ другому, смотря по тому, куда устремлялись глаза, жадно искавшіе чего-то, или кого-то.

Обѣдъ приближался уже къ концу, когда Аристархъ Ѳедоровичъ почувствовалъ на лѣвомъ плечѣ прикосновеніе чего-то жесткаго; онъ обернулся—и не мало удивился, увидѣвъ передъ собою лакея, державшаго подносъ со стаканомъ шампанскаго.

— Это что? спросилъ онъ.

— Отъ господина Тохтамышева, отвѣчалъ лакей, почтительно наклоняясь.

Балахновъ взялъ стаканъ, быстрымъ взглядомъ окинулъ присутствовавшихъ и, отыскавъ на концѣ стола блистательнаго Тохтамышева, сидѣвшаго между изящнымъ Чиндаласовымъ и почтеннымъ Краповымъ, послалъ ему очаровательную улыбку, сопровождаемую не менѣе очаровательнымъ наклоненіемъ головы.

Вслѣдъ за тѣмъ, онъ велѣлъ подать бутылку шампанскаго, налилъ стаканъ и послалъ его Тохтамышеву.

Аристархъ Ѳедоровичъ внимательно слѣдилъ за лакеемъ до тѣхъ поръ, пока тотъ не остановился подлѣ Тохтамышева. Улучивъ минуту, когда Тохтамышевъ вооружался стаканомъ, Аристархъ Ѳедоровичъ снова выдвинулся впередъ и послалъ ему одну изъ самыхъ любезныхъ улыбокъ, какія когда-либо украшали человѣческое лицо.

Страшный грохотъ трехсотъ стульевъ возвѣстилъ окончаніе обѣда.

Аристархъ Ѳедоровичъ такъ проникнутъ былъ чувствомъ собственнаго достоинства, такъ высоко цѣнилъ самого себя, что не заботился о томъ, что̀ могли сказать люди, встрѣчавшіе его въ обществѣ какого-нибудь ничтожнаго Миловзорова и еще болѣе ничтожнаго Василькова. Всякій благоразумный человѣкъ могъ, конечно, понять, что Аристархъ Ѳедоровичъ таскаетъ съ собою такихъ людей, какъ Васильковъ и Миловзоровъ, изъ одной лишь прихоти, такъ себѣ, можетъ статься, для забавы, а, можетъ статься, по внушенію безграничнаго снисхожденія, свойственнаго скучающимъ богачамъ и эксцентрическимъ людямъ. Поэтому самому, не стѣсняясь нимало присутствіемъ Порфирія Павловича и Миловзорова, выступавшихъ по бокамъ его, Аристархъ Ѳедоровичъ пошелъ прямо къ Тохтамышеву, который, со своей стороны, направлялся къ нему, держа подъ одну руку Чиндаласова, подъ другую—Петра Степановича Крапова.

— Мсьё Балахновъ! сказалъ Тохтамышевъ, протягивая ему неоцѣненную свою руку,—позвольте познакомить васъ съ моимъ пріятелемъ Чиндаласовымъ. Оба вы, если не ошибаюсь, принадлежите одной и той же губерніи и, вѣроятно, прежде еще встрѣчались...

— Да, я уже имѣлъ удовольствіе встрѣчать васъ, мсьё Балахновъ, въ нашемъ уѣздномъ городѣ, но не имѣлъ до сихъ поръ случая познакомиться съ вами... весело произнесъ Чиндаласовъ, выпучивая грудь и пожимая руку великому человѣку изъ Горшкова.

— Благодарю васъ, благодарю, мсьё Чиндаласовъ! возразилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, проявляя на величавой своей физіономіи выраженіе любезности и радушія и отвѣчая горячимъ пожатіемъ руки,—безъ содѣйствія мсьё Тохтамышева, весьма легко могло случиться, что мы остались бы чужды другъ другу, несмотря на то, что встрѣчаемся на выборахъ и связаны даже нѣкоторымъ образомъ общими интересами... Вы, кажется, постоянный житель столицы: вы измѣнили, мсьё Чиндаласовъ, нашимъ мирнымъ селамъ, нашимъ безпредѣльнымъ, необъятнымъ полямъ и простору, въ пользу древней, почтенной старушки-Москвы... Впрочемъ, такъ поступаете не вы одни, примолвилъ онъ, бросая на собесѣдника обворожительно-любезную улыбку, — такъ поступаютъ почти всѣ молодые люди нашего скромнаго, уѣзднаго міра; всѣ побросали своихъ пенатовъ, всѣ дезертировали и такъ искусно скрыли слѣды своего побѣга, что ихъ даже и не отыщешь. Въ провинціи носятся слухи, будто всѣ мало-мальски богатые люди нашего уѣзда эмигрировали въ Москву; а между тѣмъ вотъ ровно мѣсяцъ, какъ живу я въ Москвѣ, и въ этотъ мѣсяцъ встрѣтилъ васъ однихъ... Куда же, спрашивается, дѣвались остальные?.. заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ безпечно-веселымъ тономъ, приправленнымъ пытливымъ взглядомъ, устремленнымъ на собесѣдника.

— Что мы стоимъ, господа? воскликнулъ Тохтамышевъ, обрѣзывая сигару. — Мсьё Балахновъ, Чиндаласовъ, пойдемте варить нашъ обѣдъ, какъ говорится...

Аристархъ Ѳедоровичъ изъявилъ величайшую готовность, и всѣ трое направились къ двери обѣденной залы.

— А, мсьё Миловзоровъ! какими судьбами?.. произнесъ Чиндаласовъ, обращаясь къ красивому врачу, который стоялъ у дверей вмѣстѣ съ Васильковымъ и курилъ тоненькую дамскую папироску, обернутую въ розовую бумажку...

Аполлинарій Ильичъ покраснѣлъ до ушей, пробормоталъ какой-то несвязный отвѣтъ и, взявъ подъ-руку Порфирія Павловича, курившаго трубку, послѣдовалъ за остальною компаніей.

Минуту спустя, компанія расположилась въ небольшой комнатѣ, украшенной полудюжиною зеленыхъ столовъ и диванами; тутъ, въ числѣ многихъ лицъ, бросалась особенно рѣзко въ глаза почтенная, спокойная наружность Петра Степановича Крапова.

Тохтамышевъ потребовалъ шампанскаго—и Аристархъ Өедоровичъ потребовалъ шампанскаго; Тохтамышевъ потребовалъ тончайшихъ сигаръ—и Аристархъ Өедоровичъ потребовалъ тончайшихъ сигаръ.

— Итакъ, сказалъ Балахновъ, улыбаясь Чиндаласову,— разъясните же мнѣ, наконецъ, вы, который постоянно живете въ Москвѣ, куда могли дѣться наши губернскіе львы?.. По крайней мѣрѣ, я не встрѣтилъ ни одного изъ нихъ во все время пребыванія моего въ столицѣ...

— Мудренаго ничего нѣтъ, возразилъ Чиндаласовъ, пуская клубъ дыма, — Сѐрбинъ и Крановичъ, пріѣхавъ изъ провинціи, пробыли здѣсь всего двѣ недѣли и уѣхали въ Петербургъ; Serge Старобѣльскій живетъ, какъ вамъ, я думаю, извѣстно, безвыѣздно въ своихъ „Золотыхъ-Привольяхъ", поглощенный весь въ созерцаніе своихъ гнѣдыхъ рысаковъ и саврасыхъ скакуновъ...

— Какъ же это? перебилъ Балахновъ, — мнѣ сказали, будто Старобѣльскій уѣхалъ нынѣшнее лѣто на московскія скачки!.. Я даже собирался навѣстить его, но не сдѣлалъ этого единственно потому, что нигдѣ его не встрѣчаю...

— Э, помилуйте! ничуть не бывало! живетъ преспокойно въ своихъ „Золотыхъ-Привольяхъ". Что жъ касается до другихъ, Окатовъ, напримѣръ...

— О, я этого и не считаю! живо перебилъ Аристархъ Өедоровичъ, потирая переносицу.

— Ну, кто тамъ у насъ еще изъ особенно-богатыхъ?.. Да, Бирюковъ...

— Ну, а этотъ куда дѣвался? съ участіемъ спросилъ Балахновъ, — мнѣ сказывали, что онъ уѣхалъ въ Москву для консультаціи съ здѣшними докторами, по случаю болѣзни его брата...

— Ха! ха! ха! разразился Чиндаласовъ, — кто могъ вамъ дать такое ложное извѣстіе? Бирюковъ, Бирюковъ поѣдетъ для консультаціи! Онъ не предприметъ поѣздки, которая будетъ ему чего-нибудь стоить... Развѣ вы его не знаете?..

— Да, онъ-таки скупенекъ, нечего сказать, замѣтилъ Аристархъ Өедоровичъ.

— Еще бы! подхватилъ Чиндаласовъ,—еще бы!

— Тохтамышевъ! сказалъ Петръ Степановичъ Крановъ, подходя къ разговаривавшимъ,—не хочешь ли составить партію?

— Охотно, отвѣчалъ Тохтамышевъ, безпечно раскачивая ногой, — но кто жъ будетъ моимъ партнеромъ? Отыщи партнера, и я сяду...

— Вы играете, мсьё Чиндаласовъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Играю и даже люблю играть, несмотря на то, что, во время послѣднихъ выборовъ, получилъ порядочный урокъ отъ Крановича и Сербина...

— И, несмотря на этотъ урокъ, будете все-таки играть на слѣдующихъ выборахъ? смѣясь, произнесъ Балахновъ, горѣвшій желаніемъ узнать, будетъ ли присутствовать собесѣдникъ на выборахъ.

— Всепепремѣнно! смѣясь, возразилъ Чиндаласовъ,—я обѣщалъ даже реваншъ Крановичу и Сербину.

— Въ такомъ случаѣ, любезно перебилъ Балахновъ,—въ ожиданіи этого реванша, не хотите ли состязаться со мною?..

— Очень радъ. Партія, слѣдовательно, готова. Тохтамышевъ! крикнулъ Чиндаласовъ, обращаясь къ свояку Бобохова, стоявшему подлѣ стола, — ты играешь съ Крановымъ противъ меня и мсьё Балахнова.

— Пре-к-расно, о-о-чень радъ! отвѣчалъ Тохтамышевъ, между тѣмъ какъ кончики драгоцѣнныхъ его пальцевъ, державшіе сигару, тотчасъ же принялись разыгрывать извѣстное allegro.

„Дѣло въ шляпѣ“, подумалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, направляясь къ игорному столу: „Чиндаласовъ любитъ играть; проигрываю ему пятьсотъ рублей, и этимъ способомъ пріобрѣтаю его на свою сторону; сверхъ того, пріобрѣтаю его друзей, Крановича и Сербина, которымъ также своевременно проиграна будетъ маленькая сумма— наша возьметъ!“

Въ то время, когда Аристархъ Ѳедоровичъ усаживался за карты, составляя въ дипломатической головѣ своей глубокія комбинаціи хитросплетеннаго свойства, Миловзоровъ увлекалъ своего сердобольнаго друга въ сосѣднюю комнату.

— Много ли денегъ взялъ съ собой Аристархъ Ѳедоровичъ, ты не знаешь? спросилъ Аполлинарій Ильичъ съ нѣкоторою поспѣшностью.

— Нѣтъ, не знаю; а что?

— Онъ погибъ, навѣрное погибъ!

— Какъ! что такое?.. возразилъ Васильковъ, вращая глазами, выражавшими испугъ.

— И ничего не знаешь ты объ этихъ господахъ?.. И ничего не знаешь даже объ этой комнатѣ, откуда мы сейчасъ вышли?.. продолжалъ Миловзоровъ, увлекая своего друга въ диванную.

— Ничего, клянусь!

— Ужасно! ужасно! Одинъ видъ этой комнаты пробуждаетъ во мнѣ страхъ, вымолвилъ Миловзоровъ съ такимъ выраженіемъ, отъ котораго всѣ члены Порфирія Павловича прониклись невольнымъ трепетомъ.

— Ее зовутъ особымъ именемъ! шепнулъ Миловзоровъ.

— Какимъ?—вотъ все, что могъ произнести Васильковъ.

— Адская комната! проговорилъ Миловзоровъ, таинственно наклоняясь къ уху своего собесѣдника.

— Можетъ ли быть?.. шепнулъ Васильковъ, озираясь па стороны.

— Я тебя увѣряю. Что жъ касается до этихъ господъ, это первые игроки въ мірѣ; играютъ страшно: это тѣ самые, что̀ выиграли у меня пятнадцать тысячъ въ полчаса! тѣ самые — Чиндаласовъ и тотъ старый Крановъ; случай необыкновенный! Такъ все это хитро было подведено, что всякій бы попался на моемъ мѣстѣ...

— Какъ же это было? спросилъ Васильковъ, тронутый минувшимъ горемъ одного друга и въ то же время обуреваемый страхомъ при мысли, что другой другъ его подвергался неминуемой опасности.

— Однажды вечеромъ—это случилось, душка моя, четыре года тому назадъ, вскорѣ послѣ моей свадьбы—присылаетъ за мной какой-то больной... началъ Миловзоровъ, усаживая на диванъ взволнованнаго Василькова, — я являюсь. Вводятъ меня въ спальню; вижу: лежитъ больной, вотъ этотъ самый Чиндаласовъ, что̀ играетъ теперь съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ. Передъ постелью столъ, а за этимъ столомъ сидятъ Тохтамышевъ, тотъ же самый, и Крановъ... замѣтилъ ты его?..

— Охъ! простоналъ Порфирій Павловичъ, томимый страшнымъ предчувствіемъ.

— Оба они, то-есть Тохтамышевъ и Крановъ, играли въ карты. Больной разсказываетъ мнѣ, между тѣмъ, о своей болѣзни—а болѣзни, надо тебѣ сказать, душка моя, ровно никакой у него не было; попросту, голова болѣла. Слово за слово, больной, то-есть, Чиндаласовъ, и говоритъ мнѣ: — „Докторъ, говоритъ, смотрю я на ваше прекрасное лицо, смотрю и не могу наглядѣться... (ты знаешь,

душка моя, всѣ говорятъ мнѣ почему-то то же самое); ваша физіономія кажется мнѣ самою счастливою. Послушайте, говоритъ, не согласитесь ли вы поиграть за меня?.. Пріятели пришли развлечь меня, а мнѣ, между тѣмъ, сдѣлалось еще скучнѣе, потому что „глазъ видитъ, да зубъ нейметъ“... это было его собственное выраженіе. Вижу, люди такіе пріятные, любезные. „Отчего жъ, говорю, весьма буду радъ“. Вотъ, душенька, я и сѣлъ съ ними...

— Охъ! простоналъ Порфирій Павловичъ. Вздохъ этотъ вызванъ былъ тяжелымъ воспоминаніемъ проигрыша въ сто цѣлковыхъ, сдѣланнаго имъ въ то время еще, когда полкъ его стоялъ на травяномъ продовольствіи.

— И представь, душенька, счастіе дѣйствительно повезло мнѣ, продолжалъ Миловзоровъ,—такъ повезло, что въ какихъ-нибудь полчаса я выигралъ у Тохтамышева и Крапова двѣсти-пятьдесятъ цѣлковыхъ! Мнѣ стало ужасно досадно, что я игралъ на чужія деньги: выигрышъ принадлежалъ Чиндаласову. Не знаю, догадался ли онъ, только когда я сталъ отдавать ему деньги, онъ и говоритъ мнѣ: „Мнѣ, право, говоритъ, совѣстно брать деньги, которыя вы одни выиграли; а впрочемъ, все это, говоритъ онъ, можно поправить: приходите завтра и будемъ играть пополамъ; необыкновенное счастіе ваше ручается мнѣ за успѣхъ“. Денегъ мнѣ не нужно было; ты знаешь, душка, боперчикъ и бельмерочка ни въ чемъ мнѣ не отказываютъ; но я былъ увѣренъ, что выиграю, и самъ поймешь, какъ билось мое сердце, когда я думалъ, что вдругъ принесу имъ тысячъ, этакъ, тридцать или сорокъ!.. Мнѣ хотѣлось сдѣлать имъ пріятный сюрпризъ. Боперчикъ только что подарилъ мнѣ тогда ломбардный билетъ въ пятнадцать тысячъ; я взялъ этотъ билетъ (нарочно никому не сказалъ ни слова) и на слѣдующій вечеръ отправился къ Чиндаласову. Смотрю: онъ лежитъ попрежнему въ постели, и показалось мнѣ тогда, что онъ въ самомъ дѣлѣ боленъ (потомъ уже узналъ я, душка, что все это была штука); попрежнему сидятъ Тохтамышевъ и Крапов. Чиндаласовъ далъ мнѣ денегъ, я сѣлъ играть и... сказать ли тебѣ?.. да, скажу, душка, въ полчаса они обыграли меня до-чиста: пятнадцать тысячъ какъ не бывало! Тутъ они и забастовали. Я бы до сихъ поръ ничего не подозрѣвалъ съ ихъ стороны, если бъ не одинъ пріятель, также докторъ, съ которымъ они

сыграли такую же штуку: зазвали его къ себѣ, Чиндаласовъ прикинулся больнымъ, пригласилъ его въ долю, тотъ сѣлъ; въ первый день повезло счастье, а на другой день его обыграли точно такъ же, какъ меня... Я тебѣ говорю: это ужасные люди!..

— Аполлинарій! воскликнулъ Васильковъ, воодушевленный какою-то энергическою мыслью,—надо спасти Аристарха Ѳедоровича!..

Миловзоровъ изъявилъ совершеннѣйшую готовность слѣдовать за своимъ другомъ. Васильковъ обвилъ правою рукою лѣвую руку красиваго медика, и оба направились смѣлыми стопами въ адскую комнату.

По мѣрѣ приближенія къ цѣли, рѣшимость и отвага, отражавшіяся на энергическихъ лицахъ двухъ пріятелей, постепенно слабѣли, слабѣли и, наконецъ, замѣнились явнымъ смущеніемъ; въ сосѣдней комнатѣ Миловзоровъ обнаружилъ желаніе закурить папироску, и такъ долго продлилъ эту церемонію, что Порфирій Павловичъ почувствовалъ потребность затянуться, въ свою очередь, табачнымъ дымомъ и потребовалъ трубку; вступивъ въ третью комнату, Миловзоровъ почелъ не лишнимъ сообщить задушевному другу, что подвигъ, предпринятый ими, требовалъ большой осторожности и особенно сильнаго присутствія духа и находчивости; на этомъ основаніи рѣшено было, съ общаго согласія, отправиться въ буфетъ и выпить, для бодрости, по стакану портвейна.

Въ четвертой комнатѣ Васильковъ спросилъ у доктора, не зналъ ли онъ еще какихъ-нибудь подробностей насчетъ Чиндаласова и его пріятелей? Докторъ отвѣчалъ, что ему извѣстна только ссора, происшедшая между Чиндаласовымъ и какимъ-то господиномъ, который, желая заступиться за брата, обыграннаго Чиндаласовымъ, намекнулъ послѣднему о его неправильной игрѣ; больше ничего онъ не зналъ о Чиндаласовѣ.

— Мнѣніе мое, сказалъ Миловзоровъ, останавливаясь въ великомъ смущеніи подлѣ двери завѣтной комнаты,— мнѣніе мое такого рода, что намъ не слѣдуетъ даже показывать ни въ какомъ случаѣ, что мы принимаемъ участіе въ Аристархѣ Ѳедоровичѣ; мы сядемъ на диванъ противъ него и молча будемъ подавать ему знаки глазами: онъ пойметъ!

Порфирій Павловичъ отвѣчалъ энергическимъ пожатіемъ руки; затѣмъ оба пробрались въ игорную комнату,

усѣлись въ отдаленный уголъ и принялись наблюдать Аристарха Ѳедоровича, окруженнаго толпою игроковъ и любопытныхъ.

Въ эту минуту Аристархъ Ѳедоровичъ достоинъ былъ наблюденія со стороны кого бы то ни было: изъ разговора оказывалось, что онъ проигрывалъ нѣсколько тысячъ, и со всѣмъ тѣмъ на величавомъ лицѣ его не обнаруживалось ни малѣйшаго обличительнаго признака внутренней тревоги. Пурпуровые кружки, горѣвшіе яркимъ пламенемъ на благородныхъ его ланитахъ и принимавшіе издали видъ накапаннаго краснаго сургуча, доказывали только, вмѣстѣ съ каплями пота, что Аристархъ Ѳедоровичъ не былъ привыченъ къ жаркой атмосферѣ адской комнаты.

— Прекрасно, мсьё Чиндаласовъ, пре-вос-ходно! ха! ха! ха! говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, вынимая съ особеннымъ великолѣпіемъ бумажникъ изъ бокового кармана,— чудесно! А впрочемъ, наше дѣло еще не кончено: надѣюсь, вы не забыли, что дали мнѣ слово навѣстить меня до выборовъ въ губернскомъ городѣ и привезти съ собою Сѐрбина и Крановича?.. Партія наша, слѣдовательно, еще не кончена и отлагается впредь до другого случая...

— Разумѣется, отвѣчалъ изящный Чиндаласовъ, разсѣянно запрятывая въ карманъ балахновскія деньги,— что-жъ касается до даннаго слова, я сдержу его и въ назначенный день явлюсь къ вамъ съ Сѐрбинымъ и Крановичемъ...

— Благодарю! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, величественно приподымаясь съ своего мѣста и протягивая руку собесѣднику,—а ужъ насчетъ Ханскихъ-Прудовъ и думать нечего—съ этой стороны не ждите вы никакой пощады... ха! ха! ха! Какъ только завидятъ васъ—стой! Запремъ коляску, запремъ лошадей, а самихъ заполонимъ точно такъ же, какъ дѣлывали въ старину наши предки... Надѣюсь, вы недолго останетесь въ губернскомъ городѣ послѣ выборовъ? Что тамъ дѣлать? Скука смертная...

— Ну, нѣтъ, я съ вами не совсѣмъ согласенъ; во-первыхъ, тамъ бездна хорошенькихъ...

Аристархъ Ѳедоровичъ залился веселымъ смѣхомъ и погрозилъ съ очаровательною граціею пальцемъ на своего собесѣдника.

— Серьезно, я вовсе не шучу, повторилъ Чиндаласовъ,—хорошенькихъ бездна!..

— Не знаю, мсьё Балахновъ, много ли у васъ хорошенькихъ, сказалъ Тохтамышевъ,—но, во всякомъ случаѣ, мнѣ также, какъ и Крапову, хотѣлось бы узнать объ одной особѣ вашего губернскаго города, красоту которой превозноситъ до небесъ нашъ пріятель Чиндаласовъ.

— Кто-жъ такая? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, лукаво прищуривая глаза.

— Вы, вѣрно, знаете, или видѣли по крайней мѣрѣ... нѣкто Кошкина. Чиндаласовъ увѣряетъ, что такой хорошенькой женщины не встрѣтишь даже въ цѣлой Москвѣ, продолжалъ Тохтамышевъ, не замѣчая конвульсивныхъ движеній, производимыхъ бровями Аристарха Ѳедоровича.

— И, конечно, такое мнѣніе найдетъ живой отголосокъ въ мсьё Балахновѣ, если онъ только видѣлъ мадамъ Кошкину, сказалъ Чиндаласовъ.

— Къ сожалѣнію, я не знакомъ съ ними, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ тѣмъ невозмутимо-благороднымъ спокойствіемъ, которое составляло самую рѣзкую и замѣчательную черту въ его высокой натурѣ.

— Жаль, мсьё Балахновъ, очень жаль! произнесъ Тохтамышевъ.—Основываясь на вашемъ приговорѣ, я хотѣлъ удостовѣриться, достойна ли она похвалъ нашего друга Чиндаласова, который... ха! ха! ха!.. чтобъ угодить ей, обѣщалъ держать сторону ея мужа во все время выборовъ...

Въ эту минуту Аристарху Ѳедоровичу сдѣлалось очень неловко; мрачное облако затмило его взоры. Но это продолжалось всего одну секунду; секунду спустя, черты великаго дипломата приняли свое обычное величавое спокойствіе.

— А! такъ вы намѣрены держать сторону Кошкина?.. разсѣянно вымолвилъ онъ, проникаясь мгновенно глубочайшимъ презрѣніемъ и непримиримою ненавистью къ Чиндаласову и его пріятелямъ.

— Да, весело отвѣчалъ Чиндаласовъ,—и сдѣлаю это съ величайшимъ удовольствіемъ; самъ я не принимаю никакого участія въ выборахъ: пускай себѣ торжествуетъ мсьё Кошкинъ!..

„Мы это еще увидимъ!“ чуть было не крикнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Пускай себѣ торжествуетъ мсьё Кошкинъ, пусть будетъ по-вашему! произнесъ онъ удушливымъ голосомъ, производившимъ какое-то странное дребезжанье, какъ будто въ его горлѣ засѣлъ кустъ крыжовника.

Сказавъ эти слова, Аристархъ Ѳедоровичъ раскланялся съ Чиндаласовымъ и, горделиво закинувъ голову, вышелъ изъ комнаты.

Васильковъ и Миловзоровъ быстро послѣдовали за нимъ. Рѣшивъ въ своемъ сердцѣ, что это была самая благопріятная минута для предостереженія Аристарха Ѳедоровича насчетъ страшной опасности, какой подвергался онъ въ обществѣ Чиндаласова, они стремительно пробѣжали длинную анфиладу комнатъ. Усердіе ихъ оказалось, однакожъ, безполезнымъ:

Аристарха Ѳедоровича ужъ не было въ клубѣ.

V.

Одинъ интересный молодой человѣкъ ѣдетъ къ одной великосвѣтской дамѣ, которая даетъ блистательные вечера по пятницамъ, а оттуда въ Петровскій паркъ, гдѣ встрѣчаетъ веселую компанію.

Утромъ на другой день, послѣ блистательнаго концерта, ознаменованнаго странными звуками Серенадина, въ пятый нумеръ гостиницы, занимаемой Бобоховымъ, вошелъ извѣстный аферистъ Аѳанасій Никитичъ Степанчиковъ. Престарѣлый Корней поспѣшилъ доложить барину, и такъ какъ отвѣтъ оказался вполнѣ удовлетворительнымъ, минуту спустя, Степанчиковъ входилъ въ гостиную.

Послѣ обычныхъ привѣтствій, бесѣда между милліонщикомъ и флегматическимъ толстякомъ началась слѣдующимъ образомъ:

— Что вамъ угодно? спросилъ Бобоховъ, усаживаясь на диванѣ и приглашая гостя занять мѣсто на сосѣднемъ стулѣ.

— Я пришелъ къ вамъ, сударь мой, поговорить насчетъ землицы, которую привелось пріобрѣсти у васъ, мѣсяцъ назадъ, прохрипѣлъ Степанчиковъ, устремляя глаза на собесѣдника и полируя въ то же время ладонью правой руки ворсъ порыжѣвшей своей шляпы.

— Что жъ вамъ угодно? нетерпѣливо повторилъ выскочка.—Дѣло, кажется, кончено.

— Я самъ полагалъ, что оно кончено, а на повѣрку, сударь мой, выходитъ, что не совсѣмъ: въ купчей, которую

вы изволили тогда принять на себя, находится маленькое недоразумѣніе...

— Объяснитесь! сказалъ Бобоховъ, закидывая назадъ голову.

Толстякъ поставилъ шляпу на сосѣдній стулъ, вынулъ изъ бокового кармана табакерку, угостилъ носъ щепотью табаку и снова устремилъ глаза на собесѣдника.

— Изволите видѣть, началъ онъ, укрѣпляясь окончательно на стулѣ и дѣлая пояснительныя движенія пальцами.—Изволите видѣть: я, какъ вамъ, полагаю, извѣстно, купилъ землю не для себя; купилъ я ее по порученію одного богатаго господина и, слѣдственно, долженъ отвѣчать за каждую бездѣлицу... Изволите видѣть: въ купчей означено, сверхъ земли, тридцать одна душа; такъ или нѣтъ-съ?.. Въ числѣ ихъ оказывается маленькій недочетъ-съ; изволите видѣть, какъ это произошло: скупивъ имѣнія у прежняго владѣльца, вы изволили заниматься формированіемъ оркестра... Похвальная мысль-съ, сударь мой; вчера еще я могъ убѣдиться, съ какимъ успѣхомъ вы привели ее въ исполненіе... Итакъ-съ, вы изволили заниматься формированіемъ оркестра и для этой цѣли потребовали изъ отдѣльныхъ вотчинъ, прилежащихъ къ большому вашему имѣнію... Голодаевка, кажется... такъ точно-съ — потребовали способныхъ людей. Изъ справокъ оказывается, что три дворовыя души, о которыхъ я упоминалъ, которыя числятся въ купчей и которыхъ нѣтъ у меня налицо—находятся теперь въ вашемъ оркестрѣ...

— Я что-то не совсѣмъ этому вѣрю, сказалъ Бобоховъ, презрительно прищуривая глазки.

— Такъ точно-съ! возразилъ Степанчиковъ съ необычайною флегмою. — Такъ точно-съ; если вамъ угодно будетъ заглянуть вотъ сюда-съ, примолвилъ онъ, вынимая изъ кармана нѣсколько сложенныхъ листовъ,—вы сейчасъ же убѣдитесь во всемъ; изволите видѣть: вотъ купчая, а вотъ и ревизская сказка; тутъ найдете вы даже имена трехъ вышеупомянутыхъ музыкантовъ.

— Что мнѣ смотрѣть!.. Помилуйте, это совершеннѣйшая нелѣпость. Какъ! я упомянулъ въ купчей, говорите вы,— трехъ музыкантовъ, которыхъ я самъ, лично, постарался усовершенствовать?.. Этого быть не можетъ!..

— Такъ точно-съ... возразилъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ Степанчиковъ,—и я требую, сударь мой...

— Вы требуете... странно! перебилъ Бобоховъ.

— То-есть требую собственно не я-съ, а покупщикъ имѣнія вашего. Вы извольте взглянуть, сказалъ Степанчиковъ, раскрывая бумаги и подчеркивая ногтемъ три имени, курсиво-прописанныя въ сказкѣ.

— Какъ, Серенадинъ? вскричалъ, зеленѣя, Бобоховъ.— Три музыканта, на образованіе которыхъ пошли огромныя суммы... три виртуоза, которыми вчера еще восхищалась вся публика... и... и...

— Что жъ дѣлать! равнодушно сказалъ Степанчиковъ, покручивая сережку, украшавшую его правое ухо.

— Какъ, что дѣлать? Что дѣлать!.. Ха-ха! залился выскочка тѣмъ смѣхомъ, который называется обыкновенно „желтымъ". — Ха-ха!.. И вы серьезно думаете, что я уступлю этому господину Паганинова, Габріельскаго и Серенадина?

— Такъ точно-съ, отвѣчалъ съ убійственною флегмою Степанчиковъ.

— Что значитъ ваше „такъ точно"? Такъ точно!.. Знайте, что я смѣюсь надъ всѣмъ этимъ! запальчиво сказалъ выскочка, быстро приподнимаясь съ своего мѣста и принимаясь размахивать руками...

— Смѣйтесь, сударь мой, смѣйтесь! Смѣйтесь, сколько угодно! подхватилъ Степанчиковъ, отодвигаясь вмѣстѣ со стуломъ.

Мы уже сказали, что лицо Аѳанасія Никитича увѣнчано было бѣлыми, какъ снѣгъ, волосами, остриженными подъ гребенку и принимавшими издали видъ бѣлой ермолки; точность, какой слѣдовали мы во все продолженіе этой правдивой исторіи, заставляетъ насъ сознаться, что въ ту самую минуту, какъ Бобоховъ принялся размахивать руками, на лицѣ Степанчикова обозначилась пріятная улыбка и вмѣстѣ съ тѣмъ сѣрые глаза его заискрились веселымъ блескомъ.

— Смѣйтесь, сударь мой! повторилъ Степанчиковъ. — Съ своей стороны, я буду имѣть честь извѣстить васъ, отъ имени покупщика вашей деревни, что если вы воспротивитесь удовлетворить его миролюбивымъ образомъ, онъ принужденъ будетъ обратиться куда слѣдуетъ, сударь мой: подастъ прошеніе... И такъ какъ всѣ права на нашей сторонѣ въ настоящемъ случаѣ...

— Нѣтъ, на вашей сторонѣ или на сторонѣ этого господина, какъ вы его называете, рѣшительно нѣтъ никакихъ правъ! воскликнулъ выскочка, останавливаясь пе-

редъ собесѣдникомъ, который продолжалъ покручивать сережкой. — Во-первыхъ, съ васъ потребуютъ отчетъ, зачѣмъ не сказали вы мнѣ ни слова прежде о томъ, что недостаетъ въ купчей трехъ человѣкъ, и объявили мнѣ объ этомъ спустя мѣсяцъ!..

— Полноте, сударь вы мой! сказалъ съ разстановкою Степанчиковъ.—Мало ли у меня дѣла! за всѣмъ не присмотришь; до сего времени и покупщикъ не заглядывалъ въ вашу купчую; а какъ заглянули, такъ я вотъ и пришелъ къ вамъ... Вотъ и все тутъ!

— А я вамъ скажу, что вы знали очень хорошо все это дѣло! вскричалъ Бобоховъ.—Вы знали, что, продавая имѣніе, я проглядѣлъ нечаянно въ купчей трехъ музыкантовъ, и нарочно ничего тогда не сказали!.. Да, вамъ извѣстно было, что я намѣренъ былъ истратить на нихъ огромныя суммы и сдѣлать изъ нихъ знаменитыхъ виртуозовъ... вы все это знали и даже разсчитывали на это... И теперь, какъ три виртуоза получили громкую извѣстность, вы хотите отнять ихъ у меня!.. Такъ можетъ поступить только тотъ... Да, тотъ, кто... примолвилъ Бобоховъ, осаживая къ двери.—Да, вы просто поступили со мною...

— Извольте продолжать, сударь мой, извольте! подхватилъ Аѳанасій Никитичъ, громко сморкаясь.—Вы, кажется, сударь мой, изволили выразиться...

— Да, я сказалъ, поспѣшилъ перебить Бобоховъ, — я сказалъ, что вы поступили со мною... да... совсѣмъ... очень даже не хорошо!.. Я никого не боюсь, и наведите хоть тысячу, хоть три тысячи свидѣтелей, я все-таки повторю, что не уступлю вамъ трехъ музыкантовъ... Это явная нелѣпица, безсмыслица, чепуха!.. и я... я совѣтую вамъ, милостивый государь, быть со мною осторожнѣе!.. присовокупилъ онъ, разгорячаясь. — Да, совѣтую вамъ, милостивый государь, быть со мною осторожнѣе! подхватилъ запальчивый юноша, значительно понижая голосъ. — Вы забываете, съ кѣмъ имѣете дѣло! Я никогда, слышите ли, никогда никому не позволю шутить съ собою, да будетъ это вамъ извѣстно!

— Какой же, батюшка вы мой, шутникъ! возразилъ Степанчиковъ.—Я только хотѣлъ сказать вамъ, что, принимая въ уваженіе ваше пристрастіе къ вышереченнымъ тремъ музыкантамъ, готовъ, пожалуй, отъ имени господина, купившаго у васъ имѣніе, предложить вамъ мировую, полюбовную сдѣлку...

— Не хочу я никакихъ полюбовныхъ сдѣлокъ!.. Ха-ха-ха!.. Мировыя сдѣлки съ вами! Это, просто, смѣшно!.. Вы поступили со мною какъ... какъ... Хи-хи-хи!.. Сдѣлка, сдѣлка... Хи-хи-хи! подхватилъ выскочка, стараясь принять насмѣшливый видъ. — Любопытно было бъ знать, однакожъ, какая это сдѣлка?..

— Угодно вамъ выслушать?..

— Да, пожалуй, хи-хи!.. да; но только нельзя ли, пожалуйста, кончить скорѣе?

— Съ моимъ большимъ удовольствіемъ: угодно вамъ будетъ вознаградить покупщика наличными деньгами?

— Сколько же онъ хочетъ? презрительно спросилъ Бобоховъ.

— Семь тысячъ.

— Семь тысячъ?.. воскликнулъ, зеленѣя, Бобоховъ.

— Такъ точно-съ, возразилъ неумолимый Степанчиковъ, — а въ случаѣ, если нѣтъ у васъ наличной суммы, мы напишемъ, пожалуй, вексель... за поручительствомъ Аркадія Андреевича Тохтамышева...

— У меня всегда есть деньги! гордо воскликнулъ Бобоховъ.—Я не знаю, откуда, кто могъ сказать, съ чего вы взяли, что я стану подписывать векселя!

— Такъ, стало-быть, вы, сударь мой, не согласны? спокойно произнесъ Степанчиковъ, посылая въ носъ щепоть табаку.

— Я удивляюсь, да, я не постигаю, какъ вы можете предлагать мнѣ такія сдѣлки! запальчиво воскликнулъ выскочка, принимаясь снова размахивать руками.—Вы забываете, кажется, съ кѣмъ имѣете дѣло.

— Эге-ге-ге, батюшка! большой форсъ на себя берете, медленно сказалъ Степанчиковъ, нагибаясь, чтобъ приподнять шляпу,—оченно горячи, да-съ, хотя и не больно какой знатный вельможа...

Бобоховъ сдѣлалъ жестъ рукою, хотѣлъ что-то сказать, но взглянулъ на толстаго афериста и ограничился тѣмъ только, что указалъ ему торжественно на дверь и вышелъ въ сосѣднюю комнату.

— Мое почтеніе, сказалъ ему вослѣдъ Степанчиковъ, выражая насмѣшливую улыбку, — мое почтеніе-съ; буду имѣть честь извѣстить васъ, сударь мой, что завтра же подано будетъ, куда слѣдуетъ, прошеніе... Желаю оставаться благополучно...

Всякому понятно, я думаю, какихъ усилій потребова-

лось со стороны Бобохова, чтобъ выдержать равнодушно окончаніе этой сцены и вести себя истинно джентльменскимъ образомъ. Такое умѣнье владѣть собою сдѣлало бъ даже честь самому Аристарху Ѳедоровичу. Но всякій, я думаю, знаетъ также, что страсти, подавляемыя такимъ образомъ въ глубинѣ сердца, пріобрѣтаютъ свойство пороха, который тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ, чѣмъ тѣснѣе пространство, въ которомъ его заключили. Такое свойство сосредоточенныхъ страстей замѣчаемъ мы теперь въ Бобоховѣ, который явился въ гостиную, какъ только шаги Степанчикова умолкли въ коридорѣ. Ничего не можетъ быть свирѣпѣе выскочекъ, приведенныхъ въ раздраженное состояніе, и особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда напоминаютъ имъ ихъ далеко не аристократическое происхожденіе. Выскочки въ тѣхъ случаяхъ—то же, что разбогатѣвшіе петербургскіе сапожники изъ нѣмцевъ, которые готовы, кажется, пронзить васъ шиломъ, если вы осмѣлитесь назвать ихъ „сапожниками". Гроза, нависнувшая надъ пятымъ нумеромъ аристократической гостиницы, прошла, однакожъ, безъ особенныхъ послѣдствій; все дѣло ограничилось нѣсколькими „эй!", приправленными лаконическимъ приказаніемъ подавать немедленно карету.

Пять минутъ послѣ этого, Бобоховъ летѣлъ къ свояку своему, блистательному Тохтамышеву. Тохтамышевъ жилъ великолѣпно, и жилъ, нужно замѣтить, совершеннѣйшимъ холостякомъ. Въ то самое утро въ кабинетѣ его—отличнѣйшемъ кабинетѣ, съ патѐ и диванами, обтянутыми краснымъ сафьяномъ—было очень весело. Тутъ находились Чиндаласовъ, почтенный Петръ Степановичъ Крановъ, много еще другихъ джентльменовъ, принадлежащихъ той же компаніи. Въ ту самую минуту, какъ Бобоховъ входилъ въ переднюю, стѣны квартиры потрясались единодушнымъ хохотомъ.

— Аркадій Андреевичъ только что изволили уѣхать, сказалъ съ увѣренностью лакей.

— Онъ уѣхалъ, можетъ быть, для другихъ... Но развѣ ты меня не знаешь? произнесъ выскочка, при чемъ физіономія его представила ровную, глянцевитую поверхность желтаго лица, украшеннаго по бокамъ рыжеватыми бакенбардами.

— Помилуйте, какъ не знать-съ! очень хорошо знаю-съ! возразилъ лакей, заслоняя слегка дорогу,—но Аркадій Андреичъ, какъ я вамъ уже докладывалъ, изволили уѣхать.

Тутъ въ отдаленіи послышался новый взрывъ хохота, который раздался съ перекликами въ оскорбленномъ сердцѣ выскочки; онъ показалъ, однакожъ, что ничего не замѣтилъ и спросилъ разсѣянно:

— Когда же онъ будетъ дома?..

— Не могу знать; они ничего не изволили говорить... отвѣчалъ лакей, отворяя дверь на улицу.

— Скажи, по крайней мѣрѣ, что я былъ! вымолвилъ Бобоховъ глухимъ голосомъ.

Чрезвычайно непріятно! Къ счастію еще, что въ ту самую минуту, когда выскочка садился въ карету, на тротуарѣ толпилось много народа, и онъ могъ вознаградить себя, крикнувъ кучеру громкимъ голосомъ: „къ Тохтамышевой!“

Тохтамышевъ и жена его не жили вмѣстѣ. Не могу сказать вамъ навѣрное, въ какой именно день и по какому именно случаю произошло несогласіе между ними. Людская молва и толки потеряли кредитъ съ незапамятныхъ временъ; и всякій мало-мальски опытный человѣкъ знаетъ, какъ опасно довѣрять тому, что̀ говорятъ люди. Не ручаясь за справедливость нижеприведенныхъ строкъ, мы скажемъ, однакожъ, что иные говорили, будто „разстройство“ между супругами произошло вскорѣ послѣ того, какъ приданое купеческой дочки (нынѣ Тохтамышевой) обратилось въ тщательно закругленный ноль; другіе, болѣе скромные изслѣдователи чужихъ дѣлъ приписывали разстройство несогласію характеровъ: супруга настоятельно требовала, чтобъ мужъ возилъ ее на балъ въ дворянское собраніе и посѣщалъ съ нею всевозможныя гостиныя; мужъ, съ своей стороны, не любилъ всего этого; руководимый истиною, онъ не разъ даже говорилъ женѣ, что самъ не имѣетъ никакого доступа въ гостиныя, никогда не посѣщалъ ихъ, ибо съ юнаго возраста ограничилъ визиты свои клубомъ, креслами театра и почтеннымъ Петромъ Степанычемъ Крановымъ; но жена противилась внимать голосу истины и настаивала на своемъ. Третьи, напротивъ того, обвиняли во всемъ мужа: они положительно утверждали, будто Тохтамышевъ смотрѣлъ на жену не иначе, какъ на мѣшокъ съ деньгами, и разстался съ этимъ мѣшкомъ именно въ то самое утро, когда не оказалось въ немъ гроша. Что до меня касается, я рѣшительно почитаю такіе слухи пустыми сплетнями, возведенными людскою злобою до небывалыхъ размѣровъ. Дѣло, мнѣ кажется, очень

просто и объясняется само собою: Тохтамышевъ любитъ шумъ, блескъ; жена его любитъ скромное уединеніе, и потому, не желая, вѣрно, мѣшать другъ другу, они согласились жить въ разныхъ квартирахъ.

Склонность къ уединенію заставила Тохтамышеву поселиться вовсе не на Сивцовомъ Вражкѣ, какъ говорилъ Бобоховъ, но въ отдаленнѣйшемъ захолустьи Москвы, и нанять три комнаты вовсе не въ домѣ графа Волынскаго, какъ повѣствовалъ опять-таки Бобоховъ, но въ домѣ весьма невзрачной наружности, принадлежавшемъ какой-то старой купчихѣ.

Могло также статься, что „салонъ“ троюродной сестры Бобохова, которую называлъ онъ, вѣроятно, для краткости, сестрою, не представлялъ также образчика современной роскоши, доведенной до тончайшей аристократической изысканности: аристократическая роскошь и тонкая изысканность салона сосредоточивались въ чахломъ диванѣ, въ видѣ S, обитомъ когда-то красною байкой съ черными разводами...

Прислуга Тохтамышевой была также не очень многочисленна: мажордомъ, грумъ, камеристки и проч. олицетворялись въ одномъ образѣ старой, подслѣповатой кухарки.

Видъ этой кухарки сильнѣйшимъ образомъ оскорблялъ и даже возмущалъ джентльмена Бобохова. Когда она отворила ему дверь въ то достопамятное утро, о которомъ идетъ рѣчь, онъ не взглянулъ даже на нее и ограничился тѣмъ только, что произнесъ отрывисто:

— Дома?

— Дома-съ, пожалуйте...

Выскочка бросилъ пальто и вступилъ въ „салонъ“ съ какимъ-то рѣшительнымъ, въ высшей степени развязнымъ и даже наглымъ видомъ, съ какимъ входятъ обыкновенно разбогатѣвшіе выскочки къ бѣднымъ родственникамъ.

— Здравствуйте, сестрица! сказалъ онъ, снисходительно протягивая руку хозяйкѣ дома, выходившей къ нему навстрѣчу изъ противоположной двери.

Общее впечатлѣніе, производимое наружностью Тохтамышевой, было какъ-то неудовлетворительно, какъ-то неполно, словно недоставало чего-то; а недоставало именно голубого шелковаго платочка, плотно повязаннаго на головѣ, брильянтовыхъ серегъ въ ушахъ, румянъ на ще-

кахъ, турецкой шали на плечахъ — словомъ, всего того, чѣмъ любуемся мы, встрѣчая перваго мая въ Сокольникахъ богатыхъ купчихъ, самодовольно возсѣдающихъ въ роскошныхъ коляскахъ, запряженныхъ щегольскою четверкою сѣрыхъ и украшенныхъ на запяткахъ „малымъ“ изъ гостинаго двора.

— Ахъ, братецъ, какъ я рада! сказала Тохтамышева, обнаруживая тѣмъ не менѣе явную неловкость и смущеніе. — А я, признаться, думала, что васъ ужъ нѣтъ въ Москвѣ... На-дняхъ я писала вашей матушкѣ и даже пеняла на васъ...

Затѣмъ, смутившись окончательно, она попросила его войти въ сосѣднюю комнату.

— Скажите, братецъ, давно ли видѣлись съ вашей маменькой? Здорова ли она?.. Я такъ давно не получаю отъ нея писемъ... спросила Тохтамышева.

— Не знаю; я также давно не получалъ отъ нея писемъ, небрежно отвѣчалъ выскочка.

Несмотря, однакожъ, на то, что „братецъ“ выказалъ при этомъ признаки величайшаго нетерпѣнія, сестра засыпала его вопросами о роднѣ и кончила свои разспросы не прежде, какъ когда Бобоховъ объявилъ наотрѣзъ, что онъ рѣшительно ничего не знаетъ о своихъ родственникахъ.

Тохтамышева перемѣнила тотчасъ же разговоръ и спросила братца, не хочетъ ли онъ завтракать.

— Merci, я только-что отъ Шевалье, отвѣчалъ выскочка, запрятывая руку въ отверстіе бѣлаго жилета.

— Въ такомъ случаѣ, вы не хотите ли завтракать, Аполлосъ Васильичъ? вымолвила Тохтамышева, обращаясь къ какому-то вошедшему въ это время господину, который отвѣчалъ наклоненіемъ головы.

При имени „Аполлосъ Васильичъ“ Бобоховъ вспомнилъ исторію одного весьма богатаго человѣка, проигравшаго когда-то до послѣдней нитки все свое состояніе; кой-какіе признаки въ наружности господина служили Бобохову несомнѣннымъ доказательствомъ, что это былъ именно тотъ господинъ.

— Я пріѣхалъ къ вамъ, сестрица, однакожъ, за дѣломъ, сказалъ выскочка, когда завтракъ былъ поданъ и послѣ того, какъ Аполлосъ Васильевичъ выпилъ залпомъ рюмку водки,—дѣло, разумѣется, ничтожное, чрезвычайно даже забавное, если хотите, но, со всѣмъ тѣмъ, оно ста-

вить меня въ непріятное положеніе... то-есть не то, чтобъ непріятно, а такъ, знаете, досадно...

— Что жъ такое? спросила Тохтамышева.

— Всего забавнѣе то, что кашу эту заварилъ мнѣ, разумѣется, нечаянно, Arcadie... Arcadie... Этакая вѣтреная голова! продолжалъ Бобоховъ.—Видите ли, въ чемъ дѣло: мнѣ хотѣлось продать одно изъ моихъ помѣстій, которое мнѣ страшно надоѣло; я обратился къ Arcadie; тотъ, разумѣется, самъ не зная кого рекомендуетъ, приводитъ ко мнѣ въ Hôtel, гдѣ я всегда останавливаюсь, какого-то господина. Въ этомъ имѣніи — и самъ не знаю, какъ это случилось — управляющіе мои не досмотрѣли, что ли—записаны были три музыканта... вы, можетъ-быть, слыхали о нихъ? Ну, вотъ тѣ самые, что̀ давали на-дняхъ концертъ, вся Москва тамъ была! присовокупилъ онъ, закуривая папироску.—Теперь, представьте же, что̀ случилось: покупщикъ имѣнія требуетъ отъ меня этихъ музыкантовъ... онъ подалъ даже просьбу на меня по этому случаю... хи-хи-хи!.. Разумѣется, все это вздоръ, пустяки; но мнѣ, знаете, хотѣлось бы проучить хорошенько этого господина; не мѣшаетъ, знаете, учить такихъ людей. Нѣтъ ли у васъ въ виду какого-нибудь дѣлового человѣка, знаете, пройдохи какого-нибудь, который бы, за извѣстную плату (я денегъ не пожалѣю), повернулъ бы дѣло такимъ образомъ, чтобъ три музыканта остались въ моихъ рукахъ?.. Вы, я знаю, имѣли разныя дѣла, и я былъ бы вамъ чрезвычайно благодаренъ. Ужасно хочется наказать этого господина!.. Нѣтъ, скажите мнѣ, каковъ Arcadie? Arcadie-то каковъ?

— Да вы бы обратились къ...

— Къ Arcadie? подхватилъ Бобоховъ,—да, конечно; но я долженъ вамъ сказать, сестрица, что послѣ этой исторіи, хотя, разумѣется, невольной съ его стороны, я имѣю полное право на него сердиться... мы даже, хи-хи! да, мы въ маленькихъ контрахъ... хи-хи-хи!...

— Къ сожалѣнію, я, право, никого не знаю, возразила Тохтамышева, приподнимаясь на своихъ пяткахъ, чтобъ закурить папиросу, предложенную ей Бобоховымъ.—Аполлосъ Васильичъ, не знаете ли вы кого-нибудь? присовокупила она, пристально устремляя глаза на другого собесѣдника.

— Ахъ, сдѣлайте милость, сообщите, если вы знаете!

чрезвычайно было бы пріятно! заговорилъ Бобоховъ, пуская длинную струю дыма.

Аполлосъ Васильевичъ медленно повернулъ голову, окинулъ Бобохова насмѣшливымъ взглядомъ и пустилъ нѣсколько густыхъ клубовъ дыма.

— Если вамъ нуженъ пройдоха, какъ вы говорите, вымолвилъ онъ, наконецъ, какъ бы нехотя,—мнѣ остается пожалѣть, что вы „въ контрахъ" (тутъ лицо стараго игрока озарилось саркастической улыбкой)... что вы въ контрахъ съ Тохтамышевымъ: онъ вѣрно не замедлилъ бы вамъ представить такого человѣка.

— О, разумѣется! съ увѣренностью перебилъ Бобоховъ, не понимавшій насмѣшливаго тона Аполлоса Васильевича, — но согласитесь, что, послѣ всего этого, мнѣ не хотѣлось бы обратиться къ Arcadie... а дѣло, между тѣмъ, не терпитъ промедленія: чего добраго, покупщикъ имѣнія въ самомъ дѣлѣ возьметъ свое, если не предупредить его...

— Весьма можетъ быть, пробормоталъ Аполлосъ Васильевичъ, взглядывая въ окно.

— Какъ жаль, право, братецъ, если васъ разлучатъ съ вашими музыкантами!

— Помилуйте, сестрица, чрезвычайно даже непріятно, то-есть, разумѣется, не столько для меня, сколько для моего оркестра—первый оркестръ въ губерніи!..

— Да вотъ, чего же лучше! произнесъ Аполлосъ Васильевичъ, снова поворачиваясь къ выскочкѣ.—Не знаете ли вы или не слыхали ли по крайней мѣрѣ объ извѣстномъ аферистѣ Степанчиковѣ? Обратитесь къ нему: онъ устроитъ вамъ, что хотите... за деньги, конечно.

— Какъ! Степанчиковъ! да помилуйте, это тотъ самый, что отнимаетъ у меня музыкантовъ! воскликнулъ Бобоховъ.

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю! произнесъ Аполлосъ Васильевичъ.

Тутъ поставилъ онъ на окно трубку, которую курилъ до того времени, положилъ голову на спинку креселъ и залился протяжнымъ смѣхомъ.

— Что вы хотите этимъ сказать? воскликнулъ Бобоховъ, обижаясь не на шутку непринужденнымъ обращеніемъ гостя.

Онъ подпрыгнулъ на своемъ креслѣ и заморгалъ глазками, по направленію къ Аполлосу Васильевичу; но Апол-

лосъ Васильевичъ не обратилъ на него, повидимому, ни малѣйшаго вниманія и продолжалъ смѣяться.

При этомъ лицо щепетильно-раздражительнаго выскочки мгновенно перекрылось зловѣщею зеленью; и безъ сомнѣнія, легко могла бы возникнуть маленькая сцена, если бъ не поспѣшила предупредить все это хозяйка дома.

— Вы не знаете, отчего смѣется Аполлосъ Васильичъ, произнесла она, подходя къ Бобохову, стоявшему уже со шляпою въ рукѣ,—Аполлосъ Васильичъ смѣется, братецъ, оттого, что этотъ Степанчиковъ сдѣлалъ ему когда-то точно такую же исторію...

— Да-съ, любезнѣйшій мсьё Бобоховъ, исторію, во всемъ сходную съ вашей! подхватилъ злосчастный игрокъ, поворачиваясь къ выскочкѣ, окидывая его съ головы до ногъ насмѣшливымъ взглядомъ и не стараясь даже скрыть саркастической улыбки. — Я продалъ ему когда-то одну изъ своихъ усадебъ, — усадьбу, которая мнѣ также надоѣла... онъ, разумѣется, обманулъ меня; виноваты, кажется, были мои управляющіе: не досмотрѣли! А такъ какъ Степанчиковъ рекомендованъ мнѣ былъ господиномъ Arcadie, какъ вы его называете, то понимаете, что я точно такъ же имѣю маленькія контры съ вашимъ своякомъ; ну, словомъ, исторія, во всемъ сходная съ вашей...

Какъ ни простъ былъ Бобоховъ, онъ понялъ, однакожъ, что Тохтамышевъ, рекомендуя ему Степанчикова, поступилъ не совсѣмъ опрометчиво, какъ это могло казаться съ перваго взгляда: Тохтамышевъ, какъ всѣ игроки, могъ нуждаться въ такомъ пройдохѣ, каковъ былъ Степанчиковъ, могъ занимать у него деньги, могъ даже задолжать ему сильнѣйшимъ образомъ и могъ также, за неимѣніемъ процентовъ, или въ вознагражденіе за одолженіе, доставить Степанчикову выгодныя дѣла. Все это весьма даже легко могло статься. Выскочка слышалъ даже кое-что объ этомъ стороною и въ свое время, но не обратилъ тогда должнаго вниманія, приписавъ такіе слухи изобрѣтеніямъ завистниковъ блистательнаго Тохтамышева. Теперь не оставалось и малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Arcadie въ дѣлѣ Габріельскаго, Паганинова и Серенадина игралъ не совсѣмъ невинную роль; выходило на повѣрку, что онъ попросту надулъ любезнаго своего свояка... Чрезвычайно непріятно! Бобоховъ понялъ также, очень хорошо понялъ, что Аполлосъ Васильевичъ подтрунивалъ надъ нимъ сильнѣйшимъ образомъ, обнаруживалъ даже

къ нему какое-то оскорбительное презрѣніе, и это обстоятельство, смѣшанное съ досадою, возникшею вслѣдствіе предыдущаго открытія, взорвало до такой степени выскочку, что онъ нѣсколько минутъ стоялъ какъ ошеломленный громомъ и не могъ произнести ни слова.

— Прощайте, честь имѣю кланяться, проговорилъ онъ, когда, наконецъ, послѣ многихъ судорожныхъ потрясеній, получилъ опять способность говорить.

— Какъ, братецъ, вы ужъ ѣдете?.. сказала Тохтамышева, обнаруживая на лицѣ своемъ выраженіе грустнаго сожалѣнія, принимаемое обыкновенно въ такихъ случаяхъ за „я васъ не задерживаю". — Вы, должно быть, теперь очень заняты по вашему дѣлу... Прошу васъ только, братецъ... вы, разумѣется, заѣдете на обратномъ пути изъ Москвы въ городъ Малиновъ, чтобъ навѣстить вашу маменьку—прошу васъ, не забыть поклониться отъ меня.

— Помилуйте, сестрица, это дѣло... хи-хи-хи! я совсѣмъ не занятъ; это пустяки, не стоящіе вниманія. Что жъ касается до вашего порученія, я, вѣроятно, не въ состояніи буду исполнить его: я не поѣду къ маменькѣ... я долженъ спѣшить въ свои помѣстья...

Проговоривъ все это скоро и сдѣлавъ почему-то особенное удареніе на словѣ *маменька*, выскочка отступилъ къ двери и бросилъ презрительный взглядъ на Аполлоса Васильевича.

Но Аполлосъ Васильевичъ не обращалъ уже на него ни малѣйшаго вниманія: закинувъ одну ногу на другую, утопивъ спину въ кресло, онъ глядѣлъ въ окно и курилъ съ превеликимъ комфортомъ свою трубку.

Выскочка сдѣлалъ принужденный поклонъ сестрѣ, которая провожала его, и поспѣшно юркнулъ въ прихожую.

Спускаясь съ лѣстницы, Бобоховъ подавилъ, однакожъ, въ своемъ сердцѣ всѣ непріятныя чувства и рѣшился провести остатокъ дня какъ можно веселѣе, гдѣ-нибудь за городомъ. Къ этому побудило его, во-первыхъ, то, что день былъ праздничный и, по всѣмъ соображеніямъ, въ загородныхъ мѣстахъ сосредоточится фешенебельный, модный свѣтъ древней столицы; во-вторыхъ, въ загородныхъ мѣстахъ находятся отличные вокзалы, гдѣ можно пообѣдать за самую умѣренную цѣну.

На этомъ основаніи, онъ избралъ Петровскій паркъ и, развалившись въ каретѣ по образцу столичныхъ денди, приказалъ везти себя немедленно къ Тріумфальнымъ воротамъ.

Если бъ мы поставлены были въ завидное положеніе нѣкоторыхъ фельетонистовъ, которые считаютъ непремѣнною обязанностью принимать къ сердцу интересы трактирщиковъ и слѣдить за успѣшнымъ процвѣтаніемъ загородныхъ гуляній, мы ни подъ какимъ видомъ не пропустили бы удобнаго случая упомянуть здѣсь о Ярѣ, трактирщикѣ Петровскаго парка. Мало того: мы не преминули бы сказать ему похвальное слово; мы сказали бы, напримѣръ, что почтенный Иванъ Ивановичъ Яръ—чародѣй, ухитрившійся соединить въ саду своего заведенія природу Юга съ природою Сѣвера, что гуляющіе по Петровскому парку, благодаря распоряженію почтеннаго Ивана Ивановича, могутъ посѣщать волшебный садъ съ своими семействами и пользоваться всѣми удовольствіями за самую умѣренную цѣну (тутъ, разумѣется, выставили бы мы съ подобающею ловкостью прейсъ-курантъ разнымъ напиткамъ и карту роскошныхъ яствъ); кстати, не преминули бы мы посовѣтовать нашимъ читателямъ отвѣдать тѣхъ жареныхъ почекъ, которыя такъ искусно приготовляетъ почтенный Иванъ Ивановичъ, сообщивъ при этомъ, что ничего не можетъ быть пріятнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ здоровѣе—кушать жареныя почки подъ сѣнью широко-раскидистыхъ древесныхъ вѣтвей. Затѣмъ, послѣдовалъ бы непремѣнно легкій біографическій очеркъ почтеннаго старичка Яра; исчисливъ всѣ свойства филантропической души этого старца и убѣдившись хорошенько, что читатели наши прольютъ обильные потоки слезъ надъ поразительно-трогательными фактами благотворительности, мы перешли бы къ описанію самаго Петровскаго парка... Но, не имѣя счастія принадлежать къ вышеупомянутымъ фельетонистамъ и не видя, слѣдовательно, никакой необходимости распространяться о Петровскомъ паркѣ съ тою единственною цѣлью, чтобъ обратить всеобщее вниманіе на почтеннаго Яра, мы ограничимся одною истиною. Истина эта заключается въ томъ, что какъ Яръ, такъ равно и самый Петровскій паркъ не представляютъ ничего особенно разительнаго. Дорожки, тумбы по бокамъ, кусты и березы направо и налѣво и пыль—составляютъ отличительныя свойства этого гулянья. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, по праздникамъ здѣсь бываетъ очень людно. Въ шесть часовъ становится уже тѣсно; въ семь — дѣлается рѣшительно непроходимо, благодаря экипажамъ, которые тянутся непрерывною нитью по главнымъ дорож-

камъ. Въ восемь—толпа начинаетъ рѣдѣть. Въ девять—паркъ превращается въ пустыню... Главный путь веселья—противъ вокзала, огромнаго сѣраго зданія, расположеннаго между театромъ и группою сѣрыхъ домиковъ, гдѣ съ шести часовъ, вплоть до восьми, раздается бряцанье гитары... Пространство между театромъ и вокзаломъ, и именно та часть, которая предназначается для пѣшеходовъ, попирается преимущественно ногами моднаго свѣта. Въ этотъ вечеръ, о которомъ пойдетъ теперь рѣчь, погода была чудеснѣйшая и, благодаря этому обстоятельству, толпилось превеликое множество гуляльщиковъ; всѣ они тѣснились на вышеозначенномъ пространствѣ, лорнировали направо и налѣво, раскланивались съ особами, рисовавшимися въ экипажахъ, или сидѣли въ болѣе или менѣе живописныхъ и интересныхъ положеніяхъ на зеленыхъ скамейкахъ, окаймлявшихъ дорогу.

Подлѣ одной изъ такихъ скамеекъ стоялъ господинъ, который невольно обращалъ на себя вниманіе посторонняго наблюдателя; всего замѣчательнѣе то, что въ костюмѣ этого господина не было ничего особенно рѣзкаго и бросавшагося въ глаза, за исключеніемъ, развѣ, высокаго волосяного галстука, туго притянутаго къ шеѣ помощью стальной пряжки, блестѣвшей надъ воротникомъ чернаго сюртука; физіономія его была бы также весьма обыкновенною, если бъ не отличали ее высокое мыслящее чело и ослѣпительный рядъ бѣлыхъ зубовъ лучшей вагенгеймовской работы; но, какъ хотите, въ наружности этого господина, въ высшей степени величавой, было что-то такое, что невольно заставляло предполагать присутствіе той обаятельной, могучей силы, которую распространяютъ вокругъ себя великіе люди и вообще избранныя натуры. Сейчасъ можно было сказать, что этотъ человѣкъ проникнутъ глубокимъ сознаніемъ высокаго своего превосходства надъ толпою.

Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ (конечно, это былъ онъ), привлеченный на видное мѣсто гулянья разными обстоятельствами, въ числѣ которыхъ главную роль играло желаніе скрыться отъ Василькова и Миловзорова, не переставалъ слѣдить за проѣзжавшими, наблюдалъ пѣшеходовъ и въ то же время внимательно прислушивался ко всему, что говорилось вокругъ. Съ нѣкоторыхъ поръ, однакожъ, вниманіе его исключительно обращалось на господина, одѣтаго съ невыразимою щепетильностью, который,

за нѣсколько минутъ предъ тѣмъ, выпрыгнулъ изъ наемной коляски и расположился на скамейкѣ вмѣстѣ съ нѣсколькими молодыми людьми.

— Нѣтъ; да знаете ли вы, что̀ особенно хорошо въ Парижѣ, говорилъ щепетильно одѣтый господинъ, находившій особенное удовольствіе произносить слова нараспѣвъ, озираться на стороны и называть Парижъ мѣстечкомъ и городкомъ.—Хороша въ мѣстечкѣ прислуга... такой расторопности я нигдѣ не видывалъ; бывало, утромъ встанешь, смотришь въ окно, а ужъ мой грумъ, Benjamin, сидитъ въ фаэтонѣ; крикнешь: Benjamin!—„Sieur l'comte!" мигнуть не успѣешь — проснулся, стоитъ на вытяжкѣ и держитъ за удила лошадь...

— Ахъ, это, должно быть, превосходно! какая жизнь! какая жизнь! воскликнули молодые люди, окружавшіе разсказчика.

Вмѣстѣ съ этимъ восклицаніемъ, Аристархъ Ѳедоровичъ услышалъ за спиною слѣдующее:

— Какой онъ графъ! все вретъ. Онъ просто недоросль изъ дворянъ!

Но Аристархъ Ѳедоровичъ не обратилъ на это замѣчаніе особеннаго вниманія и, вдумываясь въ мірскую суету, продолжалъ въ то же время слушать болтовню сосѣда.

— Да, господа, было попито въ городкѣ! повѣствовалъ щепетильно одѣтый господинъ.—Сто тысячъ! чтобъ знали, по крайней мѣрѣ, что sieur l'comte проѣзжаетъ. Да. Мнѣ нѣтъ дѣла до всѣхъ этихъ поклоненій Дюпре, Лаблашу и прочимъ. Бывало, боленъ; позвалъ ихъ всѣхъ къ себѣ, сунулъ денегъ—поютъ до позднихъ пѣтуховъ! За деньги рады все сдѣлать! Sieur l'comte—да!.. заключилъ, воодушевляясь, щепетильно одѣтый болтунъ.

Не знаю въ достовѣрной степени, насколько Балахновъ раздѣлялъ мысли и мнѣнія этого господина; не знаю даже, приходились ли ему по сердцу такія мысли и мнѣнія; заподлинно извѣстно только, что едва послышались послѣднія эти слова, взоръ его устремлялся все пристальнѣе и пристальнѣе на говорившаго; онъ кашлянулъ, выпрямилъ грудь, и, нѣтъ сомнѣнія, завязалъ бы пріятную бесѣду съ сосѣдями, если бъ не помѣшали этому Васильковъ и Миловзоровъ, которые вдругъ, откуда ни возьмись, появились подлѣ зеленой скамейки.

Аристархъ Ѳедоровичъ отступилъ шагъ назадъ, и брови его нахмурились.

— Ахъ, Боже мой, Аристархъ Өедорычъ! а мы искали васъ, искали! Весь паркъ кругомъ обѣжали; вотъ и Аполлинарій то же скажетъ!.. воскликнулъ Порфирій Павловичъ, порываясь къ великому мужу и вращая разомъ во всѣ стороны большими своими глазами, очевидно потерявшими уже точку опоры. — Ахъ, какъ весело! какъ весело! Мы веселимся до упаду... Что это!.. это просто какая-то волшебная Голландія! продолжалъ онъ, восторженно обращаясь ко всѣмъ окружавшимъ.—Вотъ и Аполлинарій то же скажетъ. Но безъ васъ, Аристархъ Өедорычъ, мы никуда не пойдемъ! Безъ васъ намъ веселье не въ веселье; вотъ и Аполлинарій то же скажетъ...

— Безъ васъ намъ веселье не въ веселье, пробормоталъ Миловзоровъ, сонливо раскачивая головою и переминая ногами.

— Вѣрю, вѣрю, что вамъ здѣсь очень весело; веселитесь, ха-ха-ха! веселитесь; очень радъ, что могъ доставить вамъ удовольствіе, сказалъ Аристархъ Өедоровичъ, обращаясь преимущественно къ щепетильно одѣтому господину, который разглядывалъ съ любопытствомъ Василькова и Миловзорова. — Веселитесь; но только нельзя ли вамъ, мои милые, веселиться безъ меня? Я вамъ не товарищъ, примолвилъ онъ презрительно-равнодушнымъ тономъ и снова снисходительно усмѣхнулся.

— Нѣтъ, Аристархъ Өедорычъ, безъ васъ мы шагу не сдѣлаемъ! воскликнулъ Васильковъ съ чувствомъ оскорбленной дружбы,—ни за что на свѣтѣ!..

Вдругъ Порфирій Павловичъ отпрянулъ назадъ, устремилъ испуганные глаза на какую-то точку, находившуюся, очевидно, за спиною Балахнова, затрясся всѣмъ тѣломъ и поблѣднѣлъ какъ полотно. Аристархъ Өедоровичъ быстро обернулся и, къ великому своему ужасу, увидѣлъ шагахъ въ восьми Фанагорію Петровну, которая выступала, переваливаясь съ ноги на ногу и посылая направо и налѣво очаровательныя улыбки изъ-подъ голубой шляпки, украшенной райскою птицей; ей, повидимому, было очень жарко; обстоятельство это подтверждалось тѣмъ, что пунцовая шаль ея свѣшивалась граціозно до самой земли. Позади Фанагоріи Петровны, въ почтительномъ разстояніи, шествовалъ старый управитель, облаченный въ темнозеленую ливрею. Наблюденіе Аристарха Өедоровича простиралось ровно настолько, чтобъ убѣдиться, была ли это точно любезная сосѣдка; убѣдившись въ этомъ, на что,

разумѣется, потребовалась съ его стороны одна секунда, онъ тотчасъ же повернулся спиною къ сосѣдкѣ и, выпрямивъ величественно грудь, замаршировалъ ускореннымъ шагомъ впередъ по дорогѣ.

Достигнувъ поворота, Аристархъ Ѳедоровичъ остановился, желая навести нагляднымъ образомъ справки касательно того, куда могли скрыться Васильковъ и Миловзоровъ, но въ самую эту минуту позади его раздался шелестъ туго накрахмаленныхъ юбокъ и вслѣдъ за тѣмъ женскій, задыхающійся голосъ произнесъ:

— Арррристархъ Ѳедорычъ!.. Ахъ, Боже мой... Арррристархъ Ѳедорычъ!..

Но Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ видъ, какъ будто ничего не слышитъ и не замѣчаетъ, и, удвоивъ шаги, закинувъ голову, замаршировалъ впередъ, пробираясь то по тротуару, то по самой дорогѣ, смотря по тому, какъ измѣнялось направленіе его пути встрѣчными толпами гуляющихъ.

Нетерпѣливый и рѣшительный въ своихъ движеніяхъ, Балахновъ не замедлилъ обогнуть значительную часть парка и, къ великому своему удовольствію, очутился недалеко отъ прежняго своего мѣста, а именно подлѣ дверей вокзала. Разсуждая весьма основательно, что не слѣдовало ни въ какомъ случаѣ подвергать себя новымъ встрѣчамъ, могущимъ только компрометировать его особу, и проклиная въ душѣ прогулку и вмѣстѣ съ нею свое добродушіе и снисхожденіе, онъ поднялся на лѣстницу, заплатилъ за входъ и вступилъ въ обширную залу, прорѣзанную со всѣхъ четырехъ сторонъ окнами и дверьми, которыя были запружены посѣтителями. Въ залѣ находилось также довольно много народа; тутъ курили, ходили, разговаривали, тѣснились вокругъ маленькихъ столовъ, покрытыхъ скатертями и украшенныхъ пустыми бокалами шампанскаго, симметрически разставленными противъ каждой тарелки. Аристархъ Ѳедоровичъ подошелъ къ одному изъ такихъ столовъ, сѣлъ на порожнее мѣсто и подозвалъ слугу.

— Чего изволите-съ?

— Стаканъ лимонаду! сказалъ Балахновъ, обтирая дипломатическій лобъ свой.

Но едва успѣлъ онъ произнести эти слова, какъ за спиною его кто-то крикнулъ хриплымъ голосомъ:

— Че-ла-екъ! три стакана лимонаду!

Аристархъ Ѳедоровичъ повернулся въ ту сторону — и не мало удивился, увидѣвъ, что три стакана лимонада потребованы были однимъ господиномъ.

То былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, въ свѣтло-зеленомъ фракѣ съ мѣдными охотничьими пуговицами; волосы его свѣшивались длинными, жиденькими прядями по обѣимъ сторонамъ исхудалаго лица, покрытаго веснушками и сохранившаго выраженіе совершеннѣйшаго идіотизма. Передъ нимъ стояла бутылка шампанскаго и стаканъ, наполненный тою же влагой. Зеленый фракъ потребовалъ вина, очевидно, для того только, чтобъ упитывать скатерть, потому что, не прикасаясь губами къ стакану, поминутно подливалъ изъ бутылки. Въ ту минуту, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ обернулся, незнакомецъ пролилъ значительную часть шампанскаго на столъ, пристально взглянулъ на него и самодовольно улыбнулся.

— Какое есть мороженое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ слугѣ послѣ того, какъ тотъ поставилъ лимонадъ.

— Ананасъ, фисташка, земляника, лимонъ-съ...

— Хорошо, любезный, дай мнѣ порцію ананаса.

— Че-ла-екъ! десять порцій ананаса! закричалъ зеленый фракъ, бросая значительный взглядъ на величаваго сосѣда.

Балахновъ вопросительно посмотрѣлъ на слугу.

— Молодой Пузакинъ-съ, шепнулъ слуга, принимая подносъ.

— Постой, любезный; мороженое, вѣрно, у васъ не очень хорошо, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, останавливая слугу ради смѣха и желая посмотрѣть, чѣмъ можетъ кончиться сцена, — принеси-ка ты мнѣ лучше стаканъ чаю... слышишь?..

— Че-ла-екъ! прокричалъ на этотъ разъ съ какимъ-то азартомъ г. Пузакинъ,—десять стакановъ чаю!

— Съ лимономъ, произнесъ Балахновъ.

— Съ лимономъ! подхватилъ Пузакинъ, бросая торжествующій взглядъ на сосѣда.

Аристархъ Ѳедоровичъ отвернулся къ двери и засмѣялся; но почти въ ту же секунду лицо его приняло величавое и даже строгое выраженіе. Причина такой внезапной перемѣны заключалась въ томъ, что въ дверяхъ показалась фигура Аполлона Егоровича Дрянкова. Обстоятельство это, какъ каждый легко себѣ представитъ, не

произвело бы на Балахнова никакого дѣйствія, если бъ Дрянковъ былъ одинъ; но дѣло въ томъ, что Дрянкова сопровождало нѣсколько молодыхъ людей, въ числѣ которыхъ особенно бросались въ глаза: вертлявый, бѣлокурый юноша, молодой человѣкъ съ встрепанными черными волосами и блуждающимъ взоромъ и еще какой-то мрачный господинъ. Проникнутый заранѣе тою мыслью, что Дрянковъ, вѣрно, не пропустилъ случая прихвастнуть новымъ товарищамъ дружбою съ знаменитымъ владѣльцемъ Ханскихъ-Прудовъ, Аристархъ Ѳедоровичъ принялъ строгій видъ единственно съ тою цѣлью, чтобъ сразу опредѣлить въ мнѣніи молодыхъ людей настоящія свои отношенія къ Дрянкову и показать имъ то неизмѣримое разстояніе, какое можетъ находиться между проживальщикомъ и его благодѣтелемъ. На этомъ основаніи, выждавъ минуту, когда Дрянковъ и его спутники выровнялись со столомъ, Аристархъ Ѳедоровичъ кивнулъ Дрянкову головой и сказалъ снисходительно покровительствующимъ тономъ:

— А, и ты здѣсь! зачѣмъ пожаловалъ, любезный?..

Маневръ этотъ не удался, однакожъ, Аристарху Ѳедоровичу: товарищи Аполлона Егоровича, вмѣсто того, чтобъ остановиться съ почтеніемъ, стремительно бросились къ Пузакину, который, какъ только завидѣлъ ихъ, вскочилъ съ своего мѣста и, потрясая въ воздухѣ стаканомъ, прокричалъ троекратное „ура!“ Что жъ касается до Дрянкова, онъ пробормоталъ Аристарху Ѳедоровичу какой-то несвязный отвѣтъ, выпрямился и, придавъ лицу своему экспрессію, преисполненную чувства собственнаго достоинства, послѣдовалъ тотчасъ же за своими товарищами.

Аристархъ Ѳедоровичъ презрительно усмѣхнулся и покосился на сосѣдній столъ.

— Ваня! закричалъ молодой человѣкъ съ блуждающимъ взоромъ, обращаясь къ Пузакину. — Ваня, рекомендую тебѣ одного изъ знаменитыхъ нашихъ писателей: господинъ Дрянковъ! заключилъ онъ, восторженно указывая на автора „Непризнанной Индѣйки“.

— Шампанскаго! воскликнулъ Пузакинъ, протягивая правую руку писателю, тогда какъ лѣвая рука его размахивала въ воздухѣ.

Аполлонъ Егоровичъ взглянулъ на Балахнова и покраснѣлъ отъ удовольствія.

— Ваня, промолвилъ мрачный господинъ,—завтра же посылай взять двадцать экземпляровъ...

— „Непризнанной Индѣйки“... геніальная вещь! подсказалъ вертлявый юноша.

— Уррра! прокричалъ Пузакинъ. — Милостивый государь, присовокупилъ онъ, неожиданно обращаясь къ Балахнову,—не прикажете ли бокальчикъ, такъ, знаете, для компаніи?..

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ явнымъ пренебреженіемъ. Затѣмъ онъ поспѣшилъ приподняться съ своего мѣста, подмигнулъ лакею, подошелъ къ буфету, расплатился и вышелъ на крыльцо.

Но такъ ужъ, вѣрно, написано было въ книгѣ судебъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ долженъ былъ неминуемо встрѣтить въ этотъ вечеръ всѣхъ своихъ знакомыхъ. Едва ступилъ онъ на первую ступень лѣстницы, какъ прямо, носъ къ носу, столкнулся съ Бобоховымъ.

— Ахъ, мсье Балахновъ! чрезвычайно пріятно!.. произнесъ выскочка самодовольно.

— Гуляете? разсѣянно спросилъ Балахновъ.

— Какое гулянье, помилуйте! Я весь день отыскиваю Тохтамышева и не могу найти его! Не знаю, право, куда дѣвалась эта разсѣянная голова. Ахъ, кстати: не видали ли вы его въ вокзалѣ?..

— Нѣтъ, сухо отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, при чемъ брови его нахмурились и на лицѣ его проступила краска негодованія.

— Представьте, что онъ со мной надѣлалъ... разумѣется, все это вышло нечаянно: бѣдный Arcadie самъ не подозрѣвалъ этого; чрезвычайно непріятно, тѣмъ не менѣе... Извольте видѣть... Тутъ Бобоховъ принялся сообщать сосѣду извѣстную исторію о трехъ музыкантахъ.

— Согласитесь, чрезвычайно непріятно! А впрочемъ, хи-хи-хи!.. разумѣется, все это вздоръ и пустяки! Не далѣе, какъ сегодня утромъ, я завернулъ къ сестрѣ Тохтамышевой; нынче, какъ нарочно, пятница—пріемный день, народу съѣхалось множество, почти вся аристократія. Я разсказалъ кой-кому свою исторію, и всѣ, конечно, поспѣшили обнадежить меня; всѣ единодушно сказали, чтобъ я успокоился насчетъ этихъ музыкантовъ, которые ни подъ какимъ видомъ не могутъ отойти отъ меня. Мнѣ хотѣлось бы только сообщить все это Тохтамышеву: такой, знаете, добрый, простой малый; онъ ужасно огорчится,

если не предупредить его, что дѣло это не будетъ имѣть для меня никакихъ послѣдствій... Какъ вы думаете, мсье Балахновъ, вѣдь не правда ли, не можетъ быть никакихъ послѣдствій?..

— Я ничего этого не знаю, холодно сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ. Тутъ онъ остановился, и на тонкихъ губахъ его показалась едва-замѣтная улыбка, выразившая, однакожъ, очень ясно удовольствіе удовлетворенной мести. — Я знаю только, продолжалъ онъ,—знаю... (тутъ лицо его приняло внезапно такое спокойно-величественное выраженіе, что выскочка невольно опустилъ глаза) знаю, что если бъ вы имѣли тогда дѣло только со мною, васъ, безъ сомнѣнія, не постигли бы всѣ эти непріятности... Зачѣмъ не продали вы мнѣ тогда имѣнія?

Выскочка, пораженный внезапнымъ величіемъ горшковскаго мужа, не смѣлъ возобновить разговора въ продолженіе нѣсколькихъ секундъ, и уже не прежде, какъ черты Балахнова разгладились до степени физіономіи обыкновеннаго смертнаго, произнесъ:

— Чрезвычайно сожалѣю...

— И сожалѣйте, сожалѣйте! вы въ правѣ сожалѣть! подхватилъ Балахновъ, возвышая голосъ и выпрямляя грудь,— сожалѣйте, потому что, имѣя дѣло съ благородными людьми, пріобрѣтаешь ихъ доброе расположеніе; а добрымъ расположеніемъ честныхъ и благородныхъ людей пренебрегать не должно!.. Да, впрочемъ, что объ этомъ толковать! что прошло, того не воротишь! Скажите-ка лучше, долго ли располагаете вы остаться еще въ бѣлокаменной?.. заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обводя спокойнымъ взоромъ толпы гулявшихъ.

— Не знаю-съ, недѣлю, дня четыре, день, можетъ-быть, какъ вздумается; я, знаете, ни въ чемъ не люблю стѣснять себя: я люблю комфортъ, confor; а вы, мсье Балахновъ, долго еще здѣсь останетесь?..

— Не думаю; время разстаться съ бѣлокаменной Москвою; пора домой, пора наконецъ...

— На выборы... подсказалъ Бобоховъ,—да и мнѣ также не мѣшаетъ поспѣшить... Я, какъ вы знаете, обѣщалъ свой голосъ Кошкину...

— Поѣзжайте, поѣзжайте, произнесъ, блѣднѣя, Аристархъ Ѳедоровичъ, между тѣмъ, какъ глаза его заискрились такимъ свѣтомъ, котораго не могли даже затмить лучи заходящаго солнца, — поѣзжайте, отдайте вашъ го-

лось кому угодно... Въ этомъ каждому предоставляется полная свобода... Замѣтьте, однакожъ, почтенный мой, промолвилъ онъ, закидывая назадъ голову и возвышая постепенно голосъ, при чемъ всѣ черты его лица приняли снова величественное выраженіе гордости и рѣшительнаго презрѣнія, — замѣтьте себѣ, что прямизна и безпристрастіе—чувства благороднѣйшія, должны въ этихъ случаяхъ управлять совѣстью каждаго изъ насъ... Будьте здоровы!..

Проговоривъ все это твердымъ, рѣшительнымъ голосомъ и бросивъ на выскочку выразительный, полный и могущественный взглядъ, Аристархъ Ѳедоровичъ медленно спустился съ лѣстницы вокзала и вскорѣ исчезъ въ толпѣ, которая замѣтно начинала рѣдѣть на дорожкахъ Петровскаго парка.

VI.

Путевыя впечатлѣнія Ивана Дормидоновича Бобохова и пребываніе его въ родительскомъ домѣ.

Невзирая, однакожъ, на огромныя связи и безпредѣльное покровительство аристократическихъ особъ, посѣщавшихъ въ пріемные дни салонъ госпожи Тохтамышевой, несмотря даже на то, что всѣ эти особы почли непремѣнною своею обязанностью успокоить Бобохова и обнадежить его въ благополучномъ результатѣ исторіи, затѣянной по поводу Габріельскаго, Паганинова и Серенадина, Степанчиковъ не замедлилъ наклеить Бобохову такой страшный носъ, такой носъ, который настращалъ выскочку и надѣлалъ ему много безпокойствъ. На третій день послѣ вышеописанныхъ происшествій, Бобоховъ получилъ изъ своего квартала billet-doux, въ которомъ ясно значилось, что полиція, предупрежденная своевременно нѣкіимъ Аѳанасьемъ Никитинымъ, сыномъ Степанчиковымъ, обязывала подпискою нѣкоего Ивана Дормидонова, сына Бобохова, не вывозить до времени изъ Москвы трехъ музыкантовъ въ томъ случаѣ, если самъ онъ пожелаетъ оставить эту столицу. Такое ограниченіе, согласитесь сами, должно было подѣйствовать самымъ непріятнымъ, можно даже сказать, чрезвычайно непріятнымъ образомъ на человѣка, проникнутаго сознаніемъ собственнаго своего значенія и любившаго притомъ комфортъ, confort! Главная непріятность состояла въ томъ, что обстоятельство это ясно убѣждало Бобохова въ необходимости удовлетворить Степан-

чикова семью тысячами. Взвѣсивъ въ пустой головѣ своей выгоды и невыгоды такого положенія, Бобоховъ рѣшился удовлетворить Степанчикова; для этого неизбѣжно надлежало ему ѣхать въ городъ Малиновъ, надлежало даже ѣхать какъ можно скорѣе и повидаться съ матушкой. Такой внезапный припадокъ сыновней любви возбуждаемъ былъ, съ одной стороны, тѣмъ, что въ карманѣ его не имѣлось необходимыхъ денегъ; съ другой стороны, Бобоховъ имѣлъ полное право разсчитывать на слабость материнскаго сердца, которое, нѣтъ сомнѣнія, тронуто будетъ сильнѣйшимъ образомъ, если принять въ соображеніе, что сынъ въ продолженіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ ни разу не заглядывалъ къ матери, несмотря на близкое разстояніе между Горшковымъ и Малиновымъ. По этому поводу, онъ принялся тотчасъ же приводить себѣ на память разныя интересныя исторійки извѣстнаго сорта и даже отрывчатыя фразы, посредствомъ которыхъ всего успѣшнѣе можно было бы подѣйствовать на старушку. Штука въ томъ, что старушка была весьма умная старушка и далеко не принадлежала къ числу тѣхъ матерей, которыя умиляются при одномъ взглядѣ на родимое дѣтище. Бобоховъ не могъ судить о первомъ; что-жъ касается до второго, онъ судилъ о немъ по опыту. Всякій разъ, когда представлялся ему случай рисоваться передъ товарищами и затѣмъ овладѣвала имъ мысль выставлять напоказъ свои джентльменскія свойства — свойства, заключавшіяся, по мнѣнію Бобохова, въ томъ, чтобъ подтрунивать надъ самыми естественными душевными побужденіями, отвергать въ себѣ присутствіе всякаго добропорядочнаго чувства и краснѣть за родныхъ потому только, что они не князья и не графы — онъ называлъ старушку простой, но хитрой купчихой, придавая ей въ то же время и другія, болѣе или менѣе рѣзкія особенности.

Убѣждаясь заранѣе въ успѣхѣ своей поѣздки и вызывая на лицѣ своемъ цѣлый рядъ лучезарныхъ улыбокъ, которыя ясно свидѣтельствовали, что онъ даже не сомнѣвался въ могущественномъ вліяніи сентиментальныхъ исторій на сердце матери, Бобоховъ отдалъ приказаніе, чтобъ къ завтрашнему утру все было готово къ отъѣзду. Остальная часть дня посвящена была имъ на укрощеніе непріятнаго чувства, возбуждавшагося въ душѣ его тѣмъ, что приведется, можетъ статься, прожить нѣсколько дней въ ненавистномъ Малиновѣ.

При всемъ томъ, на другое утро, послѣ полученія полицейскаго billet-doux, выскочка покинулъ аристократическую гостиницу и выѣхалъ въ одну изъ заставъ древней столицы.

Утро было чудеснѣйшее. Наступалъ одинъ изъ тѣхъ сѣрыхъ, но теплыхъ и сухихъ дней, которые составляютъ неотъемлемую принадлежность сентября мѣсяца и дѣлаютъ изъ него чуть ли не самую поэтическую эпоху года въ нашемъ отечествѣ. Знойный воздухъ лѣта, напитанный тяжелыми испареніями, застилавшими горизонтъ, очищенный теперь первыми холодными утренниками, получаетъ прозрачность и легкость необыкновенную; отдаленнѣйшіе предметы, и даже самый горизонтъ, рисуются теперь чисто и ясно. Запоздалыя птицы чиликаютъ какъ-то тоскливо, въ разладъ, и рѣдко нарушаютъ невозмутимую тишину, смѣнившую суетливый, шумный говоръ лѣта, когда повсюду раздавался скрипъ навьюченныхъ снопами телѣгъ, серебряное ржаніе жеребенка, жужжаніе косъ, голоса поселянъ, и все это, сливаясь въ одинъ общій, нестройный, но тѣмъ не менѣе привлекательный гулъ, съ трескомъ кузнечика, звонкими хорами птицъ, пѣснями жницъ, наполняло оживленную, движущуюся окрестность. Теперь все молчитъ и какъ бы предается мирному, сладкому отдыху послѣ тяжкаго дневного труда.

Хорошо ѣхать въ такой день по русской дорогѣ. Я утверждаю это положительно, хотя не берусь объяснить того впечатлѣнія, какое производятъ на душу тихія картины осени: знаю только то, что, по поводу ихъ, душа обрѣтаетъ ясность и спокойствіе, которыхъ ни въ какомъ случаѣ не дастъ никакой городъ въ свѣтѣ, какъ бы онъ ни былъ великолѣпенъ.

Съ Бобоховымъ тѣмъ не менѣе, однакожъ, происходило совсѣмъ другое. Съ каждымъ поворотомъ колеса душа его наполнялась тревожно безпокойнымъ чувствомъ. Читатель долженъ припомнить, что городъ Малиновъ, куда направлялся теперь выскочка, былъ его родиной; въ Малиновѣ протекло его дѣтство. Въ этомъ городѣ народонаселеніе состояло преимущественно изъ купцовъ, и матушка Бобохова, равно какъ покойный отецъ его, занимали въ немъ съ незапамятныхъ временъ самое видное и почетное мѣсто; сыну, слѣдовательно, благодаря такой популярности, не предстояло ровно никакой возможности озадачивать тамъ кого бы то ни было своимъ аристократизмомъ: здѣсь

въ памяти каждаго живо еще рисовался Ваня Бобоховъ, шествующій по воскреснымъ днямъ въ соборъ, въ сопровожденіи тятеньки, который плавно выступалъ, разглаживая свою бѣлую, окладистую бородку...

Желая, вѣроятно, заглушить бурный потокъ безпокойныхъ мыслей быстрымъ движеніемъ экипажа, Бобоховъ принялъ рѣшительное намѣреніе пролетѣть какъ можно скорѣе пространство между ненавистнымъ Малиновымъ и Москвою. Чтобъ скорѣе достигнуть такой цѣли, онъ лично выскакивалъ на каждой станціи изъ кареты, снабжалъ ямщиковъ приличными эпитетами, размахивалъ неистово руками, топалъ ногами и грозилъ смотрителямъ выразить свое неудовольствіе въ почтовой книгѣ; при чемъ каждый могъ вдоволь любоваться фуражкой съ краснымъ околышемъ, появившейся почему-то на головѣ выскочки вскорѣ послѣ московской заставы. Во все продолженіе дороги онъ не переставалъ высовывать свои щеки то изъ одного окна кареты, то изъ другого, не переставалъ кричать „пошелъ!“ и укротилъ свое негодованіе повидимому тогда только, когда, наконецъ, на другой день, къ вечеру, началъ показываться городъ Малиновъ.

Здѣсь онъ приказалъ остановиться, разспросилъ у ямщика, можно ли миновать главныя улицы и обогнуть лугами значительную часть города. Получивъ утвердительный отвѣтъ, онъ отдалъ строжайшее приказаніе Корнею, чтобъ тотъ ни подъ какимъ видомъ не смѣлъ кланяться съ знакомыми лицами; затѣмъ Бобоховъ опустилъ шторы и поѣхалъ далѣе.

Малиновъ показывался весьма живописно, несмотря на то, что располагался на мѣстности такой же гладкой и ровной, какъ ландкарта, на которой означенъ онъ едва видною точкой. Благодаря обширной хлѣбной торговлѣ, производимой обывателями, городъ замыкался со всѣхъ сторонъ безчисленнымъ множествомъ вѣтряныхъ мельницъ, которыя въ настоящую минуту неистово размахивали своими рѣшетчатыми крыльями. Солнце садилось въ отдаленномъ плоскомъ горизонтѣ, прямо за городомъ, и зеленовато-прозрачное небо, исполосованное на закатѣ длинными синими тучами, принимало издали видъ безграничной рѣки, по которой идетъ ледъ; форштаты или слободки, примыкавшія къ городу съ двухъ противоположныхъ концовъ, окутались уже черною матовою тѣнью; между тѣмъ, самъ Малиновъ, потопленный фруктовыми

садами, весело выглядывалъ изъ фіолетоваго тумана макушками своихъ церквей и бѣлыхъ каменныхъ домовъ, освѣщенныхъ съ лѣваго бока огненными пятнами заката; верхнія стекла оконъ и желѣзныя кровли сверкали ослѣпительнымъ блескомъ, дѣлавшимся ярче и ярче по мѣрѣ того, какъ синія тучи опускались къ горизонту. Свѣжій вечерній вѣтеръ пощипывалъ носъ престарѣлому Корнею, возсѣдавшему на козлахъ, и доносилъ до его старческаго слуха отдаленные звуки колокола, возвѣщавшіе окончаніе всенощной.

Корней, а за нимъ и ямщикъ, сняли шапки и перекрестились.

„Пошелъ!“ глухо раздалось позади.

Карета, заключавшая въ себѣ драгоцѣнную особу Бобохова, достигнувъ вѣтряныхъ мельницъ, круто свернула влѣво и поѣхала лугами. Съ этой стороны мѣстность была совершенно открыта; послѣдніе лучи солнца мягко скользили по травѣ, обращая пыль, поднятую возвращающимся стадомъ, въ золотое кудрявое облако, изъ середины котораго фантастически высовывались головы и ноги животныхъ, наполнявшихъ окрестность дружнымъ блеяньемъ; картина оживлялась группами богомольцевъ, тащившихся по окраинѣ дороги. Всѣ они, выравниваясь съ каретой, останавливались и отвѣшивали поклоны; ямщикъ переносилъ вожжи въ лѣвую руку, приподымалъ правою рукою шапку и встряхивалъ головой; Корней кивалъ слегка направо и налѣво.

„Пошелъ! пошелъ!“ глухо раздавалось за зелеными шторами экипажа.

Лошади, почуявъ родимое стойло, дружно встрепенулись, замахали хвостомъ и понеслись крупною рысью. Вскорѣ копыта ихъ застучали по мосту и зазвенѣли по мостовой. На улицахъ было людно и весело. Почти у каждыхъ воротъ толпились мѣщанки, прикутанныя въ цвѣтныя нанковыя шубейки, подбитыя зайчикомъ; дѣти бѣгали взапуски по всѣмъ направленіямъ, насовываясь иной разъ весьма неудачно на толстаго купца въ синемъ длинномъ кафтанѣ, медленно выступавшаго съ тростью въ одной рукѣ, съ клѣтчатымъ платкомъ въ другой; лавки запирались; желтые, долговязые приказчики кланялись мимо проходившимъ хозяевамъ; кумушки пронзительно перекликались и живо тараторили отдѣльными кучками по серединѣ улицы; въ верхнихъ окнахъ мелькали бѣлыя

бороды, багровыя лица и мѣдные самовары, пускавшіе струи пара... Оживленіе было повсюду; нѣсколько трактировъ, изъ оконъ которыхъ, украшенныхъ цвѣтными ставнями, вылетали плачевные звуки органа—свидѣтельствовали достаточно о промышленномъ состояніи города...

„Пошелъ! пошелъ!“ раздавалось изъ кареты.

Согласно наставленію, данному Бобоховымъ еще на половинѣ дороги, карета его не остановилась у подъѣзда матушкина дома, а въѣхала прямо на мощеный дворъ, отличавшійся необыкновенною чистотою; его обступали со всѣхъ сторонъ каменные сараи, службы и кладовыя, наполненныя всякимъ добромъ, и преимущественно бочками съ огурцами, арбузами, осетриной, бѣлугой, грибами, которыхъ насаливала богатая старуха въ началѣ каждаго года для домашняго обихода. Надъ крышами амбаровъ и конюшенъ высоко поднимались полукруглыя макушки яблонь и грушъ, усѣянныхъ плодами.

Бобоховъ выпрыгнулъ съ необыкновенною поспѣшностью изъ кареты и, не обращая никакого вниманія на двухъ-трехъ старухъ, выбѣжавшихъ къ нему навстрѣчу, поднялся на маленькое крылечко, а оттуда юркнулъ въ сѣни.

— Эй! крикнулъ онъ недовольнымъ голосомъ.

Запыленный съ ногъ до головы Корней почтительно остановился въ дверяхъ.

— Спросить, пусты ли нижнія комнаты!..

— Пустёхоньки, батюшка, пустёхоньки, Иванъ Дормидонычъ!.. воскликнула одна изъ старухъ, радостно протискиваясь между Корнеемъ и косякомъ двери,—пожалуйте. Сколько лѣтъ, батюшка... какъ помолодѣли!..

— Хорошо, хорошо, ступай! нетерпѣливо возразилъ Бобоховъ, поворачиваясь спиною и быстро направляясь къ клеенчатой двери, которая вела въ означенныя комнаты, занимавшія нижній этажъ дома.

— Иванъ Дормидонычъ... проговорилъ Корней, когда баринъ вступилъ въ покои.

— Что такое? крикнулъ Бобоховъ, не любившій вообще, чтобъ люди позволяли себѣ подымать голосъ въ его присутствіи.

— Сказываютъ, сударь, маменьки... дома нѣту... изволили уѣхать на богомолье...

Извѣстіе это озадачило сильнѣйшимъ образомъ выскочку. Матушка его имѣла обыкновеніе отправляться на бого-

молье цѣлымъ домомъ, шествовать пѣшкомъ и, по этому самому, оставаться въ отлучкѣ долгое время.

— Когда она уѣхала? спросилъ Бобоховъ, бросая на столъ фуражку съ краснымъ околышемъ.

— Третьяго дня-съ...

— Съ кѣмъ?.. спросилъ выскочка, обнаруживая сильное безпокойство.

— Съ сестрицами... Анной Дормидоновной, Раисой Дормидоновной и Варварой Дормидоновной. Черезъ недѣлю изволятъ, говорятъ люди, назадъ пожаловать...

Обстоятельство это окончательно взорвало выскочку. Мысль, что эти три сестры, давнымъ-давно замужнія и обремененныя дѣтьми, увиваются подлѣ матери, ухаживаютъ за ней, имѣя въ виду корыстолюбивыя цѣли, возмутила сильнѣйшимъ образомъ душу Бобохова, судившаго всегда о чувствахъ сестеръ своихъ по собственнымъ своимъ чувствамъ. Такая мысль давно его безпокоила. Главная причина его двухлѣтней разлуки съ матерью заключалась именно въ томъ, что онъ вознегодовалъ на бѣдныхъ родственницъ, которыми окружила себя старушка, вопреки убѣжденіямъ сына. По его соображеніямъ, родственницы должны были неминуемо отнимать у него часть наслѣдства, и предположеніе это основывалось на томъ, что старушкѣ предоставлено было располагать наслѣдствомъ по своему произволу.

„Недоставало только сестеръ; онѣ получили свою долю— чего жъ имъ еще надо? Зачѣмъ онѣ поминутно ѣздятъ къ матери? Такъ, нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія: пользуясь отсутствіемъ брата, онѣ согласились не покидать матери, окружить ее вниманіемъ и этимъ способомъ заставить старушку окончательно охладѣть къ сыну, который не заботился даже извѣщать ее письмами!“

Съ такими похвальными и болѣе или менѣе честными помыслами вступалъ жалкій выскочка въ отеческій домъ.

Съ другой стороны, Бобохова не мало также бѣсило и то, что приведется прожить цѣлую недѣлю въ ненавистномъ Малиновѣ, гдѣ каждый почти купчикъ приходился ему сродни; со всѣмъ тѣмъ, онъ рѣшился дождаться возвращенія матери. Не сомнѣваясь нимало, что всѣ городскіе бѣдняки, облагодѣтельствованные старушкой, и родственники преимущественно, поспѣшатъ наводнить домъ, какъ скоро узнаютъ о пріѣздѣ Ивана Дормидоновича, Бобоховъ принялъ намѣреніе подрѣзать сразу дерзкій за-

мыселъ: онъ замкнется въ отдаленныхъ комнатахъ и попросту, безъ церемоній, велитъ сказать, что никого не хочетъ видѣть. Онъ обратился уже къ Корнею, чтобъ передать ему свою непреклонную волю, какъ вдругъ на порогѣ комнаты показалась сгорбленная фигура старичка въ длинномъ гороховомъ сюртукѣ.

Старикъ былъ лысъ совершенно, и только нѣсколько желтоватыхъ волосъ, зачесанныхъ съ праваго уха на лѣвое, украшали глянцовитое его темя; красненькое, туповатое, отчасти даже глуповатое лицо его выкупалось какъ нельзя лучше выраженіемъ безграничнаго добродушія, разлитаго во всѣхъ чертахъ и свѣтившагося даже сквозь мутныя стекла круглыхъ мѣдныхъ очковъ, сидѣвшихъ у него на носу.

Это былъ учитель Бобохова и многочисленныхъ сестеръ его. Старуха Бобохова, привыкнувшая къ учителю и движимая, сверхъ того, чувствомъ благодарности, оставила его въ своемъ домѣ послѣ того, какъ разсѣялись дѣти; она дала ему комнату и снабжала его всѣмъ нужнымъ для жизни; съ годами, Семенъ Панкратьевичъ (такъ звали старика) сдѣлался своимъ, роднымъ человѣкомъ; семейство купчихи почиталъ онъ своимъ собственнымъ семействомъ—и мудренаго тутъ ничего нѣтъ: дѣтей носилъ онъ почти на рукахъ, а со старухою прожилъ въ одномъ домѣ тридцать пять лѣтъ сряду.

Увидѣвъ прежняго своего питомца, Семенъ Панкратьевичъ простеръ впередъ руки и заковылялъ поспѣшно къ Бобохову, который между тѣмъ не трогался съ мѣста и нетерпѣливо пощипывалъ усики.

— Ваня!.. Ваничка!.. дружокъ ты мой!.. Ахъ, Господи, Господи!.. Вотъ наконецъ-то надоумилъ тебя Создатель!.. Какъ же это ты два-то года-то... а? Слышь: цѣлыхъ два года, шутка! два года не навѣщалъ насъ! радостно говорилъ старикъ, обнимая своего питомца и горячо цѣлуя его въ обѣ щеки.

— Хорошо, хорошо... здравствуйте, Семенъ Панкратьичъ, хорошо!.. бормоталъ сквозь зубы Бобоховъ, корчась въ объятіяхъ старика и слегка отклоняя его рукою.—Хорошо!.. Только знаете ли что, Семенъ Панкратьичъ... примолвилъ онъ, освобождаясь изъ рукъ учителя и прищуривая свои глазки.

— Ваня... Хи-хи-хи!.. Ваничка... Хи-хи...

— Я, знаете, кажется, немножко выжилъ изъ Ваничекъ... знаете, странно какъ-то: Ваничка, хи-хи-хи...

Радостное чувство, наполнявшее въ эту минуту душу старика, не дало ему возможности замѣтить взглядовъ и холодности питомца; онъ продолжалъ суетиться вокругъ него и пожимать ему руки.

— Какъ не выжить-то! какъ не выжить! Вѣдь тебѣ, голубчикъ, скоро тридцать лѣтъ! восклицалъ онъ. — Да будь тебѣ хоть сорокъ, хоть пятьдесятъ лѣтъ, для меня все одно: все же ты останешься для меня Ваничкой; я вѣдь на рукахъ тебя носилъ!.. Ну, слава тебѣ, Господи, что ты вздумалъ навѣстить насъ. Ужъ какъ я радъ, какъ радъ-то!..

— Я также очень радъ... проговорилъ разсѣянно Бобоховъ.

Тутъ онъ подошелъ къ столу, положилъ на фуражку часы свои, разстегнулъ жилетъ и пробормоталъ подъ носъ:

— Ты! ты! Какъ это мило, наивно, naiff, naive!..

— Нѣтъ, Ваничка, продолжалъ старикъ, потряхивая головою и восторженно всплескивая руками,—нѣтъ, какъ ужъ, я чай, маменька-то рада будетъ, какъ она будетъ рада! Какъ обрадуются тебѣ сестрицы!.. Повѣришь ли, словно сердце ихъ чуяло: всю недѣлю, все время передъ богомольемъ, все о тебѣ говорили...

Тутъ старикъ пустился въ объясненія, не замѣчая, что питомецъ не думалъ даже о томъ, чтобъ его слушать.

— А знаете ли что, почтеннѣйшій Семенъ Панкратьичъ? наконецъ сказалъ Бобоховъ, нетерпѣливо поворачиваясь къ старику. — Вотъ, видите ли... я, конечно, очень радъ васъ видѣть, но вы сами знаете: я усталъ; дорога скверная... Чрезвычайно непріятно съ вами разстаться; но, право, чувствую необходимость отдохнуть...

— А чайку-то, какъ же? Неужто ты не накушаешься прежде чайку?.. Какъ это можно! Что ты, что ты! Я сейчасъ же велю нашей кухаркѣ, Акулинѣ, поставить самоваръ...

— Нѣтъ, не безпокойтесь; у меня есть для этого свой камердинеръ; къ тому же, я вечеромъ никогда не пью чаю... возразилъ Бобоховъ, слѣдуя за учителемъ съ тою цѣлью, чтобъ удобнѣе было выпроводить его. — Итакъ, прощайте, почтенный Семенъ Панкратьичъ, доброй ночи, до завтра. Надѣюсь, завтра вы навѣстите меня?..

— Завтра! Ахъ ты, чудакъ Дормидонычъ, право, чу-

дакъ Дормидонычъ! Да какъ же! чѣмъ свѣтъ прибѣгу къ тебѣ! Шутка, два года не видались!..

— Чрезвычайно благодаренъ... Я долженъ только предувѣдомить васъ, что, такъ какъ я чудакъ, я встаю не раньше двѣнадцати часовъ...

— А Богъ съ тобой, спи хоть до пяти, мнѣ какое дѣло? Я все-таки приду, погляжу, все ли тебѣ приготовили, за всѣмъ ли присмотрѣли...

— Благодарю васъ... у меня для этого есть свой камердинеръ.

— А мнѣ какая нужда до твоего камердинера? Я самъ за всѣмъ хочу приглядѣть! Вѣдь не въ чужой домъ какой заѣхалъ... А что, Ваничка, а ну-ка, ну-ка, скажи-ка ты мнѣ: я чай, радъ, что Богъ привелъ побывать дома, а? Свой уголокъ-то лучше, а?... вымолвилъ старикъ, схватывая руку питомца, при чемъ глаза его, выглянувшіе поверхъ очковъ, принялись лукаво подмигивать.

— Какъ же, какъ же... я тронутъ до слезъ. Прощайте, почтенный Семенъ Панкратьичъ, сказалъ Бобоховъ, отворяя ногою дверь прихожей.

— Прощай, Ваничка. Я и забылъ, что тебѣ отдохнуть-то надо, заболтался... Спи хорошенько, Христосъ съ тобой...

— Доброй ночи! сухо отвѣчалъ Бобоховъ, захлопывая дверь.

Фамильярность старика не могла быть ни въ какомъ случаѣ оскорбительна Бобохову; но тѣмъ не менѣе она показалась ему совершенно лишнею и неумѣстною.

„Что за Ваничка! Ваничка!.. Скучно, однакожъ, если онъ будетъ надоѣдать мнѣ такимъ образомъ каждый день!.. Ваничка!..“ думалъ Бобоховъ, направляясь въ заднюю комнату, гдѣ приготовлена была для него постель и гдѣ дожидался его Корней.

Повторивъ камердинеру, чтобъ ни подъ какимъ видомъ не смѣлъ подпускать къ двери родственниковъ, Бобоховъ потонулъ въ перинѣ и приказалъ взять свѣчку. Невзирая на усталость послѣ дороги, онъ долго не могъ заснуть: тревожно-безпокойныя мысли, возбужденныя загадочнымъ поведеніемъ сестеръ, которыя, бывъ замужем и имѣя свое собственное семейство, не переставали навѣщать старуху-мать, возникали вереницами въ голов выскочки и не давали ему покоя. Подъ вліяніемъ таких мыслей, первая ночь, проведенная въ отеческомъ дом была не изъ самыхъ пріятныхъ ночей Бобохова.

Все это способствовало къ тому, что на другой день онъ всталъ дѣйствительно очень поздно. Напившись чаю и отдѣлавшись отъ Семена Панкратьевича подъ тѣмъ предлогомъ, будто ему необходимо было писать дѣловыя письма, Бобоховъ принялся расхаживать по всѣмъ нижнимъ комнатамъ, проклиная обстоятельства, заставившія его пріѣхать въ Малиновъ.

Жизнь Малинова не представляла въ самомъ дѣлѣ ничего особенно интереснаго человѣку, не принимавшему дѣятельнаго участія въ хлѣбной торговлѣ; тѣмъ менѣе могла она доставить удовольствія Бобохову, который, кромѣ того уже, что считалъ себя поставленнымъ въ фальшивое положеніе, не смѣлъ выглянуть изъ двери, боясь натолкнуться на какую-нибудь мучную бороду, которая, чего добраго, бросится обнимать его на улицѣ и назоветъ во всеуслышаніе племянничкомъ! Бобоховъ скучалъ страшно, къ совершенному отчаянію Семена Панкратьевича, который тщетно изощрялъ всю свою умственную силу, чтобъ пріискать какое-нибудь развлеченіе своему питомцу. На третій день послѣ своего пріѣзда, выскочка рѣшился уже, въ ожиданіи матушкина возвращенія, отправиться въ Голодаевку, какъ вдругъ одно совершенно неожиданное обстоятельство измѣнило его намѣреніе. Въ то самое утро, какъ мысль уѣхать въ Голодаевку достигала уже до степени убѣжденія, въ квартирѣ выскочки появился содержатель кочующей труппы актеровъ.

Услышавъ о пріѣздѣ г. Бобохова въ городъ Малиновъ, содержатель театра почелъ за непремѣннѣйшій долгъ засвидѣтельствовать ему свое почтеніе; наслышанный также весьма много о покровительствѣ, какое оказывалъ Иванъ Дормидоновичъ въ прежнее время другимъ труппамъ, появлявшимся въ Малиновѣ, содержатель театра питалъ въ душѣ своей лестную надежду, что Иванъ Дормидоновичъ, какъ меценатъ и, сверхъ того, извѣстный покровитель и поощритель искусства, не оставитъ точно такъ же безъ вниманія настоящую труппу, которая почтетъ за особенное счастіе имѣть своимъ покровителемъ извѣстнаго знатока и дилетанта.

— Вы не ошиблись, я точно dilettan... и всегда покровительствую артистамъ! сказалъ Бобоховъ. — Что жъ вы хотите, однакожъ, чтобъ я для васъ сдѣлалъ?..

— Отъ васъ, отъ васъ однихъ, сударь мой, зависитъ успѣхъ нашихъ представленій! съ горячностью восклик-

нулъ антрепренеръ, прикладывая скомканную шляпу свою къ сердцу, наподобіе того, какъ это дѣлаютъ театральные любовники, когда клянутся въ вѣчной любви,—вашъ оркестръ пользуется давно заслуженною извѣстностью; слава о немъ гремитъ по всѣмъ окрестнымъ уѣздамъ и губерніямъ! такого оркестра — не почитайте это за лесть, я человѣкъ искренній — не найдешь даже въ Москвѣ... Все это заставляетъ предполагать меня, что если бъ вы дозволили вашему оркестру принять участіе въ нашихъ спектакляхъ...

— Все это прекрасно, перебилъ Бобоховъ, разваливаясь въ креслахъ,—но оркестръ мой находится въ одномъ изъ моихъ помѣстій... а, впрочемъ, это еще ничего. Когда думаете начать спектакли? заключилъ онъ тономъ снисходительнаго покровительства.

Спектакли должны были начаться не ранѣе недѣли. Впрочемъ, все зависѣло отъ Бобохова; антрепренеръ вторично возлагалъ на него всѣ свои надежды.

Послѣдовала пауза, въ продолженіе которой Бобоховъ раздумывалъ очень серьезно о томъ, посадить ли антрепренера, или заставить его простоять въ почтительномъ уничиженіи передъ своимъ кресломъ. Наконецъ, чувство жалкаго снисхожденія къ бѣдному актеру взяло рѣшительный перевѣсъ въ сердцѣ Бобохова надъ барственною гордостью: онъ пригласилъ антрепренера занять мѣсто на сосѣднемъ стулѣ. Тутъ начались разспросы о томъ, многочисленна ли труппа, какія именно лица входятъ въ составъ ея, находится ли достаточное количество костюмовъ, декорацій, бутафорскихъ вещей и приведено ли все это въ надлежащій порядокъ. Разспросы эти сдѣланы были съ тою единственною цѣлью, чтобъ поразить антрепренера глубокими свѣдѣніями дилетанта по части театральнаго управленія. Отвѣты оказались вполнѣ удовлетворительными. Бобоховъ объявилъ, что, принимая въ уваженіе хорошій порядокъ труппы и благо не было у него въ настоящую минуту никакихъ особенныхъ занятій, приметъ, пожалуй, на себя трудъ надзирать за ходомъ спектаклей и снабдить труппу оркестромъ.

— Вы понимаете, я не хочу, да и не могу себя компрометировать, примолвилъ онъ, пыжась и надуваясь какъ кузнечный мѣхъ, — если я рѣшаюсь принять участіе въ вашемъ театрѣ, я хочу, слѣдовательно, чтобъ все было хорошо. На этомъ основаніи принесите мнѣ, почтенный

шій, во-первыхъ, списокъ пьесъ: я самъ сдѣлаю выборъ репертуара; потомъ присылайте мнѣ сказать каждый разъ, когда начинаются репетиціи: я лично буду на нихъ присутствовать... Что жъ касается до оркестра, я пошлю за нимъ немедленно.

Антрепренеръ, засѣвшій въ Малиновѣ со своею труппою, какъ ракъ на мели, задолжавшій кругомъ и не имѣвшій рѣшительно никакой надежды выпутаться изъ скверныхъ обстоятельствъ, не видѣвшій даже возможности дать спектакля, за неимѣніемъ въ Малиновѣ оркестра, покорился волѣ дилетанта и разсыпался даже передъ нимъ въ благодарственныхъ монологахъ.

Съ уходомъ антрепренера дано было Корнею приказаніе ѣхать въ Голодаевку и черезъ три дня, никакъ не позже, явиться обратно въ Малиновъ съ оркестромъ. Отъ Малинова до Горшкова считалось сорокъ верстъ, отъ Горшкова до Голодаевки — двадцать. Приготовленія къ отъѣзду должны были занять никакъ не болѣе двухъ часовъ. Бобоховъ не терпѣлъ возраженій. Корней отправился. Дѣло въ томъ, что въ головѣ Бобохова мелькнула слѣдующая счастливая мысль: малиновскіе купцы народъ тугой и подозрительный; они, пожалуй, готовы забрать себѣ въ голову, что Иванъ Дормидоновичъ прячется отъ нихъ, чтобъ скрыть какія-нибудь неблагопріятныя обстоятельства. Заинтересованные его затворничествомъ, они, чего добраго, начнутъ наводить справки и пронюхаютъ въ самомъ дѣлѣ настоящія, плохія обстоятельства Ивана Дормидоновича. Надлежало послѣ всего этого показаться Малинову, но показаться во всемъ великолѣпіи; надлежало развернуться передъ этимъ ненавистнымъ городомъ, привыкшимъ, по какому-то предразсудку, причислять Бобохова къ своимъ членамъ; нѣтъ, пускай же увидятъ эти малиновцы, пускай убѣдятся они хорошенько, какая неизмѣримая дистанція существуетъ между ними и человѣкомъ образованнымъ, просвѣщеннымъ, *развитымъ*! Озаренный такою мыслью, Бобоховъ обратилъ прежде всего вниманіе свое на афишку. Три дня, проведенные имъ за перомъ и бумагой, произвели одинъ изъ тѣхъ chef-d'oeuvres, который надолго останется капитальнымъ образчикомъ въ коллекціи оригинальныхъ объявленій. Во главѣ афиши значилось, между прочимъ, что малиновскій театръ обратилъ на себя съ нѣкоторыхъ поръ особенное вниманіе г. Б***, одного изъ извѣстнѣйшихъ знатоковъ искусства

и дилетантовъ, „diléttan“, и что теперь, слѣдовательно, не остается ужъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что публика приметъ такое же точно участіе въ процвѣтаніи малиновскаго театра, который, благодаря высокому покровительству, не замедлитъ стать на ряду съ первоклассными театрами нашего отечества.

Афиша, прибитая къ углу огромнаго мучного сарая, вмѣщавшаго въ себѣ театръ, произвела, какъ каждый легко представитъ себѣ, сильное дѣйствіе на малиновцевъ.

VII

предлагаетъ на разсмотрѣніе любопытный вопросъ о томъ: слѣдуетъ ли утверждать положительно, что молодое поколѣніе далеко опередило старое.—Фантастическое и вовсе неожиданное появленіе одного стариннаго знакомаго.

Въ Малиновѣ всѣ заговорили о Ванѣ Бобоховѣ и предстоящемъ спектаклѣ. Оркестръ, между тѣмъ, пріѣхалъ; начались репетиціи. Бобоховъ былъ, однакожъ, не совсѣмъ доволенъ; главная причина его неудовольствія заключалась въ томъ, что оркестръ, безъ Паганинова, Габріельскаго и Серенадина, неминуемо долженъ былъ утратить блистательную свою славу.

Бобоховъ былъ страшно не въ духѣ. Въ одну изъ самыхъ мрачныхъ минутъ его, въ комнату вбѣжалъ Семенъ Панкрантьевичъ.

— Ваничка, новость! пріятная, другъ мой, новость! воскликнулъ старикъ.—Ты жаловался, дружокъ мой, что нѣтъ тебя капельмейстера: не тужи; я нашелъ тебѣ капельмейстера!

— Вы? хи-хи-хи!.. хорошъ, должно быть! сказалъ Бобоховъ, закидывая руки за фалды фрака и насмѣшливо прищуривая глазки.

— Ей-Богу, Ваничка, нашелъ капельмейстера! я не шучу; самъ сказывалъ мнѣ: „я, говоритъ, управлялъ петербургскими музыкантами“. Такой, знаешь, расторопный, ловкій, говорливый такой... съ усердіемъ описывалъ старикъ, бившійся изо всей мочи, чтобъ разсѣять своего питомца.

— Гдѣ жъ вы его встрѣтили?

— А видишь ли, дружокъ: пошелъ я на почту посмотрѣть, нѣтъ ли чего отъ маменьки; спрашиваю—нѣтъ, говорятъ, никакихъ, говорятъ, нѣтъ писемъ...

— Хорошо, хорошо, что жъ дальше?

— Экой ты какой, Ваничка, нетерпѣливый! Погоди, все разскажу: ну, вотъ, и выхожу я съ почты: такъ, знаешь, скучно какъ-то стало; подходитъ ко мнѣ какой-то молодой человѣкъ, такой опрятный, учтивый: „вы, говоритъ, куда, позвольте васъ спросить?“ — „Домой, говорю, пора обѣдать“.—„Ну, говоритъ, и я съ вами, позвольте проводить васъ?“—„Очень, говорю, радъ!“ Такой, знаешь, учтивый, внимательный... Слово за словомъ, разговорились; тутъ и узналъ я, что онъ музыкантъ. — „Управлялъ, говоритъ, оркестрами въ Петербургѣ, а теперь ѣду получать наслѣдство...“

— Отчего жъ вы не привели его прямо ко мнѣ?

— Да я не смѣлъ обезпокоить тебя, дружокъ мой; видишь ты вѣдь какой...

— Ну, хорошо, хорошо! нетерпѣливо перебилъ Бобоховъ,—дѣло въ томъ, что надо сію же минуту послать отыскать его...

— Зачѣмъ? что тебѣ безпокоиться! Я спросилъ, гдѣ квартируетъ онъ, и, если хочешь, сейчасъ же приведу его къ тебѣ...

— Да, такъ сдѣлайте же это какъ можно скорѣе, Семенъ Панкратьичъ; отправляйтесь сейчасъ же; пожалуйста, только не забудьте то, о чемъ говорилъ вамъ на-дняхъ, то-есть не называйте меня: Ваничка, Ваня и другими милыми именами при посторонних: я этого терпѣть не могу, проговорилъ питомецъ, подталкивая старика за плеча,— да не забудьте, что черезъ какіе-нибудь два часа начнется спектакль; мѣшкать нечего...

Извѣстіе это, хотя еще не совсѣмъ вѣрное, обнадежило нѣсколько Бобохова; онъ рѣшился переговорить съ капельмейстеромъ и, въ случаѣ, если тотъ окажется способнымъ, завербовать его, не медля ни минуты, въ свой оркестръ.

Бобоховъ крикнулъ „эй!“ и приказалъ Корнею подавать одѣваться; надлежало обратить на этотъ разъ особенное вниманіе на туалетъ. Малиновцы, которые, нѣтъ сомнѣнія, наполнятъ весь театръ, должны убѣдиться съ перваго взгляда въ необъятной дистанціи, какая существуетъ между ними и человѣкомъ образованнымъ, „раз-

витымъ“ и просвѣщеннымъ. По этому поводу на сцену явились: черный фракъ съ краснымъ фуляромъ въ боковомъ карманѣ, синіе панталоны и бѣлый жилетъ неизмѣримой длины. Смотрясь въ зеркало и раздувая щеки, Бобоховъ расправлялъ уже кончики галстука, долженствовавшіе свести съ ума малиновскихъ купчихъ, когда въ сосѣднихъ комнатахъ послышались неожиданно шаги и голоса.

— Пожалуйте, батюшка, просимъ покорно; Иванъ Дормидонычъ будетъ очень радъ, говорилъ Семенъ Панкратьевичъ.

— Чувствительно благодаренъ... Роскошь!.. богатство!.. милліоны!.. видно сразу!.. Весьма пріятно... просвѣщеніе, тонкій вкусъ... весьма пріятно!.. подхватывалъ отрывчатый голосъ.

Бобоховъ окинулъ себя самодовольно съ головы до ногъ и вышелъ навстрѣчу.

Онъ увидѣлъ тогда высокаго, статнаго, живого малаго съ бѣлокурыми завитками на головѣ, сѣрыми быстрыми глазами, бѣлыми зубами и полными румяными щеками. На незнакомцѣ былъ желтый поношенный нанковый сюртукъ съ обсѣченными рукавами, падавшими на кисти рукъ; черный ветхій галстукъ и широкіе нанковые шальвары довершали костюмъ его; въ лѣвой рукѣ незнакомца виднѣлась замасленная фуражка; въ правой держалъ онъ хлыстикъ, которымъ выводилъ въ воздухѣ фантастическіе іероглифы и безпрестанно похлопывалъ по шальварамъ.

Незнакомецъ выступалъ медленно, подгибая колѣна; но какъ только Бобоховъ показался въ дверяхъ, онъ сдѣлалъ три граціозные прыжка впередъ и пристукнулъ каблукомъ.

— Вотъ, Ванич... Иванъ Дормидонычъ, вотъ, другъ мой, тотъ самый господинъ, о которомъ я говорилъ тебѣ... сказалъ старый учитель, поспѣшно ковыляя къ выскочкѣ.

— Хорошо, знаю, отвѣчалъ Бобоховъ, поворачиваясь къ нему спиною и обращаясь къ незнакомцу.

— Честь имѣю рекомендоваться, заговорилъ незнакомецъ, расшаркиваясь, — Попельковскій, Ардаліонъ Александрычъ... очень радъ познакомиться... много слышалъ... могу судить... самъ получилъ блестящее воспитаніе... обстоятельство, тетка... процессъ... все пропало!..

Тутъ Попельковскій стукнулъ еще разъ каблукомъ и ударилъ хлыстикомъ по шальварамъ.

— Очень радъ, сказалъ Бобоховъ, пристально осматривая незнакомца рысьими глазками. — Вы, сказывали мнѣ, управляли оркестромъ въ Петербургѣ.

— Могу похвастать... восемь оркестровъ — много заботы!.. Впрочемъ, вы не думайте... мои товарищи знаменитые люди! А впрочемъ, что за дѣло!..

Тутъ Попельковскій выставилъ лѣвую ногу впередъ, вытянулъ лѣвую руку и быстро провелъ по ней нѣсколько разъ хлыстикомъ, какъ будто разыгрывалъ на скрипкѣ.

— Какими же оркестрами вы управляли? недовѣрчиво спросилъ Бобоховъ.

— Пруженкевича... Невзорова... много было... не остался... умоляли... не могу: ѣду получать наслѣдство... Въ театрѣ аккомпанировалъ Рубини... на віолончели... славный пѣвецъ!.. ѣли вмѣстѣ устрицы... лихой малый!.. позвольте сѣсть?.. безъ запинки отвѣчалъ Попельковскій.

— Садитесь! сказалъ покровительствующимъ тономъ Бобоховъ. — Вы, безъ сомнѣнія, должны были слышать о моемъ оркестрѣ?..

— Слышать! ха-ха-ха! всѣ говорятъ!.. слава... огромная извѣстность... артисты... сами учили... дѣлаете гигантскую честь...

— Да, я самъ ихъ училъ и, могу сказать, образовалъ даже нѣкоторыхъ виртуозовъ, возразилъ выскочка, причемъ профиль его заслонился щеками,—въ Москвѣ я давалъ на-дняхъ блистательный концертъ; всѣ знатоки объявили единодушно, что мои музыканты лучше театральныхъ, primo, prim. Мой своякъ, Тохтамышевъ, выпросилъ у меня главнаго солиста, который управлялъ всегда моимъ оркестромъ, и потому самому я теперь безъ капельмейстера. Если у васъ нѣтъ теперь мѣста, я охотно переговорю съ вами... Но я впередъ предувѣдомлю васъ, что я очень взыскателенъ: я требую отъ капельмейстера фундаментальнаго знанія, генералъ-баса, général-baze... Сверхъ того, такъ, по крайней мѣрѣ, я полагаю, капельмейстеръ долженъ знать всѣ инструменты...

— Гляжу я на тебя, Ван... Иванъ Дормидонычъ, и дивлюсь, право, замѣтилъ Семенъ Панкратьевичъ, всплескивая руками,—гдѣ это ты всему этому научился?..

— Позвольте вамъ замѣтить, мой почтеннѣйшій, замѣчаніе ваше вовсе неумѣстно, перебилъ питомецъ, бросая строгій взглядъ на старика,—пожалуйста, не перебивайте насъ; видите, здѣсь заняты дѣломъ... вы сдѣлали бы мнѣ

большое удовольствіе, если бъ сходили въ театръ и спросили, скоро ли начнется представленіе...

— Экой ты какой... вотъ ужъ и разсердился!.. Ну, ну, полно! сейчасъ схожу... отвѣчалъ старикъ, суетливо направляясь къ двери.

— Ну-съ; итакъ, что̀ вы скажете насчетъ моихъ требованій? спросилъ Бобоховъ, брося значительный взглядъ на Попельковскаго.

— Безподобно!.. я то же говорю... всѣ инструменты... лучше быть нельзя!

— Да, всѣ инструменты, но чтобъ однимъ какимъ-нибудь капельмейстеръ владѣлъ въ совершенствѣ — это необходимо, примолвилъ выскочка съ видомъ знатока.

— Превосходно!.. рекомендуюсь: віолончель... люблю... страсть... что жъ дѣлать?.. слабость!.. давалъ концерты... Неистовствуетъ весь Петербургъ... Попельковскій! всѣ знакомы!.. Машутъ платки... дамы улыбаются... Графиня прослезилась... Ничего... шалишь, думаю, ударилъ смычкомъ!.. слышу: фальшивая нота... адъ и ничтожество!.. бацъ! разбиваю вдребезги віолончель!.. заплатилъ три тысячи... перваго мастера: Бени... Пени... забылъ! Графиня вскрикиваетъ... обморокъ... ничего!.. Покидаю залу... смятеніе... уѣхалъ... Очень радъ заняться вашимъ оркестромъ!.. всѣхъ затмимъ...

— Скажите же, напримѣръ, какія полагаете вы условія?..

— Условія, ха-ха-ха!.. э! трынь-трава!.. добрый малый!.. очень радъ познакомиться... Вы, я вижу, образованный человѣкъ... сойдемся... я человѣкъ: „пуръ ла компаніа"!.. отлично!.. сказалъ Попельковскій, привскакивая съ мѣста, ударяя хлыстикомъ по шальварамъ и протягивая руку. Въ самую эту минуту въ дверяхъ появился Корней.

— Иванъ Дормидонычъ, сказалъ онъ, вытягиваясь по швамъ, — тотъ ахтеръ, что заправляетъ кіатромъ, приказалъ сказать, что васъ дожидаются... пора начинать, говоритъ...

— Ахтеръ! кіатръ... болванъ! Когда выучитесь вы говорить по-людски? Хорошо, ступай! проговорилъ Бобоховъ. — Кстати, примолвилъ онъ, обращаясь къ Попельковскому, — пойдемте со мной въ театръ; тамъ услышите вы мой оркестръ и, слѣдовательно, сами увидите, до какой степени онъ подвинутъ, и что остается еще сдѣлать.

— Будьте увѣрены... чистосердеченъ, какъ артистъ!.. все пойдетъ какъ по маслу; увидимъ... ухо не обманетъ...

глазъ также... говорилъ Попельковскій, направляясь за Бобоховымъ, который шелъ въ прихожую.

— Пальто! крикнулъ выскочка.

Корней подалъ пальто и вручилъ барину шляпу и желтыя перчатки.

— А я-то въ чемъ пойду?.. спросилъ неожиданно Ардаліонъ Александровичъ, съ удивленіемъ оглядывая Бобохова.

— Какъ въ чемъ?

— Превосходное пальто!.. нѣтъ ли шинели?.. забылъ въ гостиницѣ... холодно... могу простудиться...

— Эй! крикнулъ Бобоховъ, значительно подмигивая Корнею.

Корней поспѣшилъ вытащить изъ-за двери свою собственную шинель и подалъ ее гостю.

— Негодится... въ лакейской... знаете, неловко... извѣстность!.. укажутъ пальцемъ... Нѣтъ ли получше?.. дайте вашу... чрезвычайно буду благодаренъ!..

Бобоховъ, нѣсколько озадаченный безцеремоннымъ обращеніемъ артиста, приказалъ тѣмъ не менѣе подать ему свою дорожную шинель.

Пять минутъ спустя, Бобоховъ и Попельковскій входили въ театръ.

Въ ту самую минуту, какъ выскочка, проникаясь мыслью о томъ страшномъ эффектѣ, какой произведетъ на малиновцевъ его появленіе, ухватился за ручку двери театральной залы, позади его послышался суетливый топотъ нѣсколькихъ ногъ и вслѣдъ затѣмъ нѣсколько задыхавшихся голосовъ прокричало: „Иванъ Дормидонычъ! Иванъ Дормидонычъ!“

Бобоховъ быстро отступилъ шагъ назадъ, обернулся— и остолбенѣлъ.

Въ сѣняхъ толпилось довольно много народу; посреди этой толпы, состоявшей большею частью изъ лавочниковъ и малиновскихъ лабазниковъ, бросались въ глаза Семенъ Панкратьевичъ, двѣ старухи и еще какой-то долговязый малый съ клинообразною бородкой, исправляющій должность разсыльнаго въ домѣ купчихи Бобоховой; всѣ четверо размахивали руками, протискивались сквозь толпу и надсаживали горло, призывая Ивана Дормидоновича; наконецъ, они выбрались впередъ и, не обращая, разумѣется, вниманія на толпу, которая вперила любознательные взоры на Бобохова, прокричали въ одинъ голосъ:

„Иванъ Дормидонычъ! Ваня... Ваничка, батюшка! маменька сейчасъ пріѣхала! мамаша пріѣхала!..“

Бобоховъ вздрогнулъ; желчь и досада закипѣли ключомъ подъ его джентльменскимъ жилетомъ и приступили къ горлу. Первымъ движеніемъ его было броситься въ залу и показать видъ, что онъ не замѣтилъ даже четырехъ вѣстниковъ, но въ ту жъ секунду измѣнилъ свое намѣреніе: мысль, что Семенъ Панкратьевичъ и его спутники вернутся за нимъ въ залу и возвѣстятъ въ присутствіи публики новость, приковала его на мѣстѣ; онъ быстро нагнулся къ старому учителю, судорожно стиснулъ ему руку и прошипѣлъ въ ухо: „Ступайте скорѣй домой, скажите матушкѣ, что я сейчасъ буду!“ — „Скорѣй, Ваничка! скорѣй же, смотри, другъ мой! мамашенька дожидается!“ крикнулъ старикъ.

Но Бобоховъ не слыхалъ ужъ послѣднихъ словъ: онъ выступалъ между рядами скамеекъ и стульевъ, замѣнявшихъ партеръ и ложи, при чемъ пожелтѣвшія щеки его мгновенно выразили совершеннѣйшее довольство самимъ собою, какъ будто убѣдился онъ съ перваго взгляда, что никто здѣсь не можетъ сравниться съ его особой. Удушливый шопотъ пробѣжалъ по мучному сараю; въ то же время изъ-за занавѣски кто-то махнулъ платкомъ — и оркестръ грянулъ увертюру.

— Всѣ поклоняются... отдаютъ честь... почетъ, слава... превосходно!.. вы заслуживаете!.. проговорилъ Попельковскій, слѣдовавшій по стопамъ Бобохова.

Достигнувъ перваго ряда, гдѣ съ утра еще воздвигнуто было особенное кресло для Бобохова, выскочка прислонился къ дощатымъ периламъ и показалъ свое лицо публикѣ; замѣтивъ въ весьма недалекомъ разстояніи нѣсколько родственныхъ бородъ, Бобоховъ поспѣшилъ обратиться къ оркестру и сѣлъ въ кресла. Попельковскій, не пропустившій между тѣмъ случая подмигнуть двумъ-тремъ купеческимъ дочкамъ, помѣстился на сосѣднемъ стулѣ.

— Послушайте, сказалъ выскочка, наклоняясь къ уху Ардаліона Александровича, — сейчасъ пріѣхала моя матушка; я долженъ непремѣнно видѣться съ нею по одному весьма важному дѣлу... Прослушайте какъ можно внимательнѣе оркестръ и приходите завтра для окончательныхъ переговоровъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же?.. я приду лучше послѣ театра... дѣла... время дорого!..

— Дѣло въ томъ, что я, вѣроятно, поздно просижу у матушки...

— Все равно... я подожду... ночная бесѣда... свѣтлѣй голова... велите только... ужинъ... рано обѣдаю... музыка пробуждаетъ аппетитъ... сильное потрясеніе... слабые нервы...

Бобоховъ кивнулъ пальцемъ турецкому барабану.

— Господинъ этотъ вернется съ вами домой. Сказать Корнею, чтобъ подавалъ ужинъ.

— Да вотъ еще что, подхватилъ Попельковскій,—прикажите сбѣгать въ лавку... купить сигаръ... смотрите только одинъ сортъ: Бѣлобородова... другихъ не курю... Мечтательность... наслажденіе... лѣзутъ мысли... играетъ вдохновеніе...

Бобоховъ не дослушалъ, однакожъ, послѣдней просьбы своего сосѣда; онъ приподнялся съ мѣста, кивнулъ ему головой, юркнулъ въ боковую дверь сарая и очутился на улицѣ.

Сѣрыя осеннія сумерки окутывали уже городъ, когда Бобоховъ подошелъ къ родительскому дому. Тамъ, во второмъ этажѣ, на половинѣ, занимаемой старухой, бѣгали огоньки и мелькали тѣни. Но эти тѣни и огоньки не возбудили отраднаго чувство въ душѣ выскочки; напротивъ, они, казалось, омрачали лицо Бобохова; по крайней мѣрѣ, взглянувъ на него въ настоящую минуту, никто не предположилъ бы, что онъ готовится на свиданіе съ матерью и родными сестрами, съ которыми не видался нѣсколько лѣтъ. Было ли то угрызеніе совѣсти, невольно родившееся въ черствомъ сердцѣ Бобохова, или смущеніе, овладѣвающее каждымъ человѣкомъ передъ свиданіемъ съ людьми, въ присутствіи которыхъ чувствуешь себя виновнымъ, или, наконецъ, нетерпѣливое, но, тѣмъ не менѣе, тягостное волненіе, предшествующее свиданію съ близкими сердцу послѣ долгой разлуки?.. Нѣтъ! По поводу этихъ огней и тѣней въ головѣ Бобохова возникали самыя черныя мысли, и ни одна искра теплаго чувства не проникала въ его сердце. Жалкій, но, къ несчастію, часто встрѣчающійся образчикъ тѣхъ молодыхъ людей мѣщанскаго происхожденія, которые, помощью денегъ, заползаютъ въ чужія сани, комически рискуютъ на новомъ своемъ мѣстѣ, и считаютъ себя въ правѣ презирать честное

сословіе своихъ предковъ, забывая, что сами они, какъ тунеядцы, безъ воспитанія, образованія и нравственныхъ правилъ, во-сто разъ ниже всякаго честнаго ремесленника!

Бобоховъ прошелся нѣсколько разъ по своимъ комнатамъ, стараясь придать своему лицу такое выраженіе, которое уничтожило бы всякое подозрѣніе о томъ, что въ самомъ дѣлѣ происходило въ душѣ его; онъ достигъ этого въ совершенствѣ; ибо нѣтъ на свѣтѣ такого глупца, который не вмѣщалъ бы въ себѣ изрядной доли лукавства и хитрости. Затѣмъ, онъ повторилъ Корнею приказанія, отданныя въ театрѣ турецкому барабану, касательно Попельковскаго, вышелъ изъ своихъ комнатъ и поднялся во второй этажъ.

Прислуга купчихи Бобоховой, состоявшая преимущественно изъ старухъ и бѣдныхъ проживалокъ, обступила выскочку и разсыпалась передъ нимъ въ поздравительныхъ, подобострастныхъ привѣтствіяхъ, какъ только онъ вступилъ въ прихожую, не успѣвшую еще освободиться отъ кулечковъ, узелковъ и мѣшечковъ, сопровождавшихъ старуху во все время богомолья; но выскочка прошелъ мимо съ неподражаемымъ равнодушіемъ, смѣшаннымъ даже съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ насмѣшливаго презрѣнія; онъ ограничился тѣмъ лишь, что спросилъ: „гдѣ матушка?“ и, получивъ въ отвѣтъ, что матушка изволятъ кушать чай въ спальнѣ, направился быстрыми шагами въ эту комнату.

Старуха Бобохова рѣдко выходила изъ своей спальни. Окруженная съ ранняго утра до поздняго вечера бѣдными родственницами, проживалкими, облагодѣтельствованными сиротами, которыя предупреждали малѣйшія ея желанія, она могла прожить очень хорошо, не вставая даже съ мѣста. Впрочемъ, спальня называлась этимъ именемъ только по привычкѣ; въ сущности, въ ней сосредоточивались гостиная, пріемная, образная, столовая—словомъ, всевозможныя отдѣленія дома. Изъ этого не слѣдуетъ, однакожъ, заключать, что спальня должна была отличаться роскошью или комфортомъ; совсѣмъ напротивъ: все было до невѣроятности скромно и просто, за исключеніемъ задней стѣны, уставленной плоскими шкапами изъ краснаго дерева. Противоположная стѣна занята была почти исключительно старомоднымъ диваномъ, нѣсколькими разнокалиберными креслами и комодомъ, выложеннымъ мѣдными полосками и бляхами. Противъ дивана

стоялъ массивный овальный столъ, покрытый синею ярославскою скатертью, изображавшею двухъ голубковъ, которые пили изъ одной чашки. Налѣво отъ дивана, по сосѣдней стѣнѣ, лѣпилась огромная дубовая постель, завѣшенная ситцевымъ пологомъ съ широкими разводами; окна противъ постели выходили въ садъ и заслонялись до половины вѣтвями деревъ.

Въ настоящую минуту, то-есть въ то время, какъ Бобоховъ приготовлялся къ свиданію, матушка его спокойно сидѣла на диванѣ, украшенномъ подушками всѣхъ возможныхъ формъ и размѣровъ; тутъ были подушки, шитыя шелкомъ по глазету, бархату и атласу, подушки, шитыя шерстью въ гладь и подъ такъ-называемый бархатный шовъ, съ изображеніемъ борзыхъ собакъ, албанцевъ, подпирающихся ружьемъ съ голубымъ куркомъ, турокъ, одалискъ съ четыреугольными ртами и носами, и т. д. Всѣ эти произведенія, поднесенныя въ разное время бѣдными сиротками и проживалками, жившими въ домѣ богатой купчихи, служили слабымъ, но тѣмъ не менѣе несомнѣннымъ знакомъ ихъ глубокой признательности. Проживалки и сиротки, наводнившія спальню съ той самой минуты, какъ Бобохова вернулась съ богомолья, располагались теперь вокругъ овальнаго стола, на которомъ пыхтѣлъ и шипѣлъ дюжій мѣдный самоваръ. На диванѣ, по обѣимъ сторонамъ старухи, сидѣли ея дочери, изъ которыхъ особенно отличалась старшая, высокая, плечистая, сорокалѣтняя женщина, съ лицомъ необыкновенно открытымъ, умнымъ и веселымъ. Посреди этого многочисленнаго женскаго сборища, бросался въ глаза Семенъ Панкратьевичъ съ своими круглыми очками, лысиною и длиннополымъ гороховымъ сюртукомъ. Онъ поминутно отрывался отъ своего стакана, подбѣгалъ къ единственному окну, глядѣвшему на улицу, или къ двери, прислушивался, присматривался и какъ будто ждалъ кого-то, при чемъ подслѣповатая физіономія его выражала всѣ признаки живѣйшаго нетерпѣнія. Обманутый каждый разъ въ своихъ ожиданіяхъ, онъ возвращался къ своему стакану и, прихлебывая чай, бросалъ украдкою безпокойный взглядъ на старуху Бобохову, которая казалась совершенно спокойною. Спокойствіе это, смѣшанное съ нѣкоторою холодностью въ общемъ выраженіи лица, такъ рѣзко, такъ положительно обозначалось въ чертахъ старухи, что, казалось, ни въ какомъ случаѣ не могло уже

замѣниться другимъ выраженіемъ; въ ея черныхъ какъ смоль глазахъ, глядѣвшихъ проницательно изъ-подъ густыхъ бровей, свѣтилось болѣе ума, чѣмъ чувства; широкій лобъ, угловатое, сухое очертаніе губъ, подбородка и носа, придавало желтому лицу старухи характеръ энергіи. Несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, старуха держалась прямо, и члены ея отличались крѣпостью и полнотою. Она была вся въ черномъ. Черный коленкоровый платокъ плотно обвязывалъ ея голову; такой же капотъ исчезалъ на половину подъ чернымъ бумажнымъ платкомъ, покрывавшимъ плечи старухи. Взглянувъ на нее, нельзя было предположить, чтобъ она могла быть матерью джентльмена Бобохова. Впрочемъ, умная старуха сама изъявляла не разъ на этотъ счетъ свое удивленіе. Дѣло въ томъ, что она принадлежала къ числу тѣхъ рѣдкихъ матерей, которыя любятъ дѣтей своихъ безпристрастно, умѣютъ отличать умныхъ отъ глупыхъ, дурныхъ отъ хорошихъ, и охотно отдаютъ послѣднимъ ту часть своего сердца, которой, по ихъ мнѣнію, не заслуживаютъ первые. Ваня Бобоховъ, благодаря своему джентльменству, научившему ему презирать свое происхожденіе, гнушаться родныхъ и стыдиться своего семейства, пользовался самою ничтожною частичкою материнскаго сердца, и въ этомъ нисколько, однакожъ, не были виноваты сестры, старавшіяся, напротивъ того, склонить сердце старухи въ пользу брата..

Когда Бобоховъ вошелъ въ спальню, всѣ приподнялись съ своихъ мѣстъ и пошли къ нему навстрѣчу, за исключеніемъ старухи-матери, которая ограничилась тѣмъ только, что внимательно устремила на сына пронзительные глаза свои. Глаза эти, казалось, съ первой же секунды смутили джентльмена; считая, однакожъ, не лишнимъ показать при этомъ случаѣ какъ можно больше спокойствія и даже хладнокровія, онъ сдѣлалъ видъ, будто не замѣчаетъ окружавшихъ его родственницъ и знакомыхъ, прошелъ мимо сестеръ, какъ будто послѣднія были невидимки, и, повернувшись спиною къ Семену Панкратьевичу, въ отвѣтъ на его радостное восклицаніе, поспѣшно направился къ дивану.

— Здравствуйте, матушка! сказалъ онъ, прикладываясь къ рукѣ матери,—какъ вы себя чувствуете?.. очень радъ, что васъ вижу... Надѣюсь, что вы здоровы?.. прибавилъ онъ, очевидно, пріискивая фразы.

— Здравствуй, батюшка, произнесла невозмутимо спокойно старушка, — живу какъ видишь; здорова, слава Богу; благодаря добрымъ дѣткамъ, которыя навѣщаютъ меня, не забываютъ старуху-мать, живу счастливо и покойно.

— Чрезвычайно пріятно, перебилъ Бобоховъ, торопливо придвигая сосѣдній стулъ и усаживаясь противъ матери, спиною къ сестрамъ, которыя стояли посреди спальни, озадаченныя невниманіемъ брата,—чрезвычайно пріятно, подхватилъ онъ, понижая голосъ, — все это время заваленъ былъ ужаснѣйшими дѣлами... секунды не было свободной... насилу вырвался... чрезвычайно сожалѣю, что не засталъ васъ... Нарочно летѣлъ, думалъ повидаться съ вами; такъ скакалъ, что двѣ отличнѣйшія лошади пали дорогой...

— И-и-и, мой батюшка! зачѣмъ же было такъ спѣшить? недовѣрчиво сказала старуха и покачала головой,— не Богъ вѣсть, какъ давно не видались, всего два года, только два года... продолжала она съ ироніей, между тѣмъ какъ глаза ея съ сожалѣніемъ устремлялись на сына.—Коли столько времени не заглядывалъ къ матери, такъ не зачѣмъ, право, было и торопиться; днемъ раньше, днемъ позже, не все ли это равно?.. напрасно только лошадей поморилъ... Да что жъ ты, батюшка, али сестеръ-то не примѣтилъ? Встань, хоть поклонись имъ; онѣ, вѣдь, кажись, немножко сродни тебѣ...

— Ахъ, чрезвычайно пріятно! пробормоталъ Бобоховъ, приподымаясь со стула, церемонно расшаркиваясь, но не трогаясь съ мѣста.

Двѣ младшія сестры поспѣшили сдѣлать шагъ впередъ, но въ ту жъ секунду остановлены были старшей, которая нетерпѣливо загородила имъ дорогу и, ставъ между ними и братомъ, бросила на послѣдняго взглядъ полный негодованія и гордости.

Бобоховъ шаркнулъ во второй разъ и что-то пробормоталъ сквозь зубы.

— Что жъ ты, батюшка, стоишь? Удостой тронуться съ мѣста да подойти къ сестрамъ... или, можетъ статься, это у васъ тамъ не въ модѣ...

— Помилуйте... напротивъ того... мнѣ чрезвычайно пріятно... пробормоталъ выскочка, зеленѣя и принужденно подвигаясь впередъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же тебѣ безпокоиться, братецъ? По-

жалуйста, садись и продолжай не обращать на насъ никакого вниманія, сказала старшая сестра, смягчая по возможности свой голосъ, очевидно, съ тою цѣлью, чтобъ сцена эта была какъ можно менѣе чувствительна старухѣ,—не лучше ли поступать прямо и высказать откровенно настоящія твои чувства къ сестрамъ. Откровенность въ этихъ случаяхъ, какъ она ни горька, все же лучше лжи. Пожалуйста, садись и успокойся; мы очень хорошо знаемъ твою непріязнь, незаслуженную, впрочемъ, и съ своей стороны, два года назадъ, сдѣлали все, что можно, чтобъ заслужить твою довѣренность и дружбу; къ несчастью, какъ видно, мы этого до сихъ поръ еще не удостоились; будемъ стараться заслужить современемъ милостивое твое снисхожденіе, а покуда намъ больно только то̀, что все это происходитъ передъ маменькой и можетъ огорчить ее... продолжала она, окинувъ насмѣшливо брата, который ёжился, пыхтѣлъ, отдувался и во все это время не переставалъ улыбаться, надѣясь скрыть этимъ способомъ свою неловкость.—Очень рада, нетерпѣливо подхватила она, покрываясь краской негодованія, но со всѣмъ тѣмъ стараясь придать своему голосу веселую интонацію,—очень рада, что слова мои доставляютъ тебѣ удовольствіе... Не желая, однакожъ, разрушить такое счастливое расположеніе духа, что весьма легко было бы случиться, если бъ я продолжала эту пріятную бесѣду, я лишу себя на время удовольствія сидѣть съ тобою въ одной комнатѣ. Анюта, Раиса, заключила она, обращаясь къ двумъ сестрамъ и вслѣдъ за тѣмъ къ остальнымъ женщинамъ, находившимся въ спальнѣ, — я думаю, всѣмъ намъ не мѣшало бы сдѣлать то же самое; любезный братецъ мой, я полагаю, не найдетъ особеннаго удовольствія въ нашемъ обществѣ—пойдемте...

— Но отчего же, Варвара Дормидоновна? какъ же это?.. Ваничка очень радъ...

— Э! полноте, почтенный и добрый мой Семенъ Панкратьичъ! произнесла Варвара Дормидоновна, взявъ руку старика, — вамъ неизвѣстны обычаи модныхъ, такъ-называемыхъ истинно-порядочныхъ людей: присутствіе друзей и родственниковъ мѣщанскаго круга можетъ только смущать ихъ; это для нихъ горче ревеню. Пойдемте...

И, взявъ подъ руку стараго учителя, кивнувъ головою сестрамъ и проживальщицамъ, которыя стояли уже у двери, она покинула спальню.

Во время этихъ объясненій, старуха сидѣла, скрестивъ на груди руки. Умное, выразительное лицо ея, устремленное сначала на сына, выражало какъ будто горькое состраданіе; но теперь оно глядѣло въ другую сторону и обращено было къ полу; угловатыя черты старухи, освѣщенныя сбоку свѣчкой, рѣзко выступали изъ мрака и казались еще суровѣе и строже; черная одежда ея смѣшивалась почти съ густою тѣнью, бросаемой спиною и плечами; лицо старухи было неподвижно, и только въ черныхъ съ просѣдью бровяхъ, тѣсно сдвинутыхъ подъ широкимъ, морщинистымъ лбомъ, изрѣдка пробѣгало судорожное движеніе. Она, повидимому, не замѣчала сына, который, между тѣмъ, расхаживалъ быстрыми шагами изъ угла въ уголъ, стараясь подавить злобу, кипѣвшую въ его груди по поводу выходки старшей сестры.

Мало-по-малу, старуха снова обратила свои черные глаза на сына и минуты двѣ слѣдила за всѣми его движеніями. Холодное, угрюмое выраженіе на лицѣ ея показало, что послѣдняя надежда вразумить сына, направить его на должный путь—угасла уже въ сердцѣ матери. Не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Бобоховъ, подвизаясь на джентльменскомъ поприщѣ, постарался уже обогатить свою біографію такими фактами, которые ясно доказывали матери, что не было никакой надежды на его исправленіе. Расхаживанье взадъ и впередъ не мѣшало ему, однакожъ, наблюдать за матерью. Замѣтивъ, что взглядъ ея обращенъ былъ съ нѣкоторыхъ поръ на его особу, онъ поспѣшилъ замаскировать свое бѣшенство, скорчилъ грустную физіономію и, сдѣлавъ выразительный жестъ къ двери, куда ушли сестры, сказалъ наивнымъ голосомъ:

— Я, право, не понимаю, матушка, за что онѣ на меня сердятся...

Старуха усмѣхнулась и покачала головою. Улыбка эта показала Бобохову, что попытка его стать въ выгодное положеніе посредствомъ пошлой выходки нисколько не удалась: старуха, очевидно, подсмѣивалась надъ нимъ; сознаніе собственнаго своего безсилія и ничтожества возмутило самолюбиваго выскочку до невѣроятной степени, и, не будучи уже въ состояніи скрывать на этотъ разъ настоящаго чувства, онъ проговорилъ отрывисто:

— А, впрочемъ... не мудрено догадаться, отчего онѣ сердятся... Имъ досадно, что я сюда пріѣхалъ... Онѣ меня

не ждали... да-съ. Я, можетъ-быть, отнялъ у нихъ мѣсто... подлѣ васъ. Онѣ, кажется, совсѣмъ поселились въ вашемъ домѣ.

— Э, батюшка мой! за что имъ на тебя сердиться? возразила спокойно и какъ бы нехотя старуха,—ты имъ ни въ чемъ не помѣха.

— Помилуйте, я въ этомъ нисколько не сомнѣваюсь! воскликнулъ выскочка, нетерпѣливо усаживаясь въ кресло,—странно было бы въ этомъ сомнѣваться... Онѣ такъ часто здѣсь бываютъ, такъ часто доказываютъ вамъ любовь свою... вы такъ твердо увѣрены въ ихъ чувствахъ... что, конечно, ничто уже не можетъ повредить имъ въ вашемъ мнѣніи... О, онѣ боготворятъ васъ! обожаютъ! подхватилъ онъ иронически.—Знаете, матушка, какъ пріятно, когда льстятъ, неправда ли? Сейчасъ, знаете, такъ и чувствуешь, что все это правда... особенно если льстить хитро и ловко... чрезвычайно пріятно!

— Ахъ ты, сынокъ ты мой любезный! И взаправду, экія онѣ какія!.. насмѣшливо вымолвила старуха, — вотъ, вѣдь, что̀ значитъ старость-то! Изъ ума, батюшка, выжила!

— Смѣйтесь, сколько угодно, а я все-таки скажу, что онѣ льстятъ... и... и, конечно... Впрочемъ, вы сами очень хорошо знаете причины... пробормоталъ, задыхаясь, Бобоховъ.

— Какія же это, батюшка, причины? Я что-то въ толкъ не возьму...

— Вы сами очень хорошо знаете...

— О-о! какъ же ты, голубчикъ мой, какъ я посмотрю, глубоко плаваешь! Гдѣ это ты научился такому мастерству? Скажу я тебѣ за это вотъ что̀: ужъ полно, не мѣришь ли ты сестеръ своихъ своимъ аршиномъ?.. Смотри, только не обмѣрься, не обманулъ бы тебя какъ-нибудь твой аршинъ! Не всѣ люди равны. Вотъ ты, примѣрно, мой батюшка, совсѣмъ иное дѣло...

— Конечно, я не льщу! произнесъ Бобоховъ, свирѣпо пощипывая свои усики.

— Кто про то говоритъ! кто про то говоритъ, мой голубчикъ! Ты сынъ примѣрный и человѣкъ, притомъ, правдивый! А хочешь ли, я скажу тебѣ, зачѣмъ ты сюда пожаловалъ? присовокупила старуха, пристально вглядываясь въ смутившееся лицо сына, и, не дожидаясь отвѣта, прибавила:—Пріѣхалъ ты вотъ зачѣмъ: денегъ, знать, понадобилось...

— Кто же это вамъ сказалъ? произнесъ Бобоховъ, быстро привскакивая на своемъ мѣстѣ.

— Самъ, батюшка, научилъ догадываться, подсмѣиваясь, возразила старуха, — самъ научилъ! Съ той поры, какъ вышелъ ты въ отставку, этому скоро шесть лѣтъ, былъ ты у меня три раза, и все за тѣмъ же. Пора, я чай, догадаться, мой батюшка, зачѣмъ ты навѣщаешь мать!.. Ну, а на это скажу я тебѣ вотъ что̀—скажу то же, что говорила прошлый разъ: денегъ я тебѣ не дамъ; а не дамъ затѣмъ, что есть у меня, окромѣ тебя, много дѣтей, которымъ деньги подлинно нужны; есть, окромѣ того, на свѣтѣ много бѣдныхъ и неимущихъ, много сиротъ безъ крова и старыхъ людей безъ пристанища... А ты, мой батюшка, благодаря отцовскому наслѣдію, обзавелся вотчинами, сталъ бариномъ, живешь хорошо, роскошничаешь, въ картишки играешь... Чего жъ тебѣ еще надо?.. Нѣтъ, батюшка мой, нѣтъ; денегъ я тебѣ не дамъ! заключила старуха такимъ саркастическимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительнымъ тономъ, передъ которымъ всѣ надежды Бобохова исчезли такъ же быстро, какъ привидѣнія, заслышавшія пѣніе пѣтуха.

Увидѣвъ себя, сверхъ того, осмѣяннымъ, разбитымъ и предупрежденнымъ во всѣхъ своихъ планахъ и намѣреніяхъ шестидесятилѣтней старухой, старухой простого происхожденія, не понимавшей дендизма, чуждой притомъ эстетическаго развитія и не читавшей даже русскихъ журналовъ, выскочка, джентльменъ быстро вскочилъ со своего мѣста и неистово заморгалъ своими рысьими глазками.

Онъ убѣдился, что продолжать бесѣду было бы совершенно напрасно, и, основываясь на этомъ, ограничился тѣмъ только, что шаркнулъ сапогомъ и пробормоталъ:

— Чрезвычайно сожалѣю... оставайтесь въ пріятномъ заблужденіи... покойной ночи!

— И тебѣ, батюшка, желаю того же, спокойно возразила старуха, не поворачивая даже головы своей.

Но Бобоховъ былъ уже за дверью и нетерпѣливыми стопами направлялся къ лѣстницѣ, ведшей въ нижній этажъ.

— Чтобъ завтра же чѣмъ свѣтъ были готовы лошади! я ѣду въ Голодаевку!..

Съ такимъ рѣшительнымъ приказаніемъ обратился къ Корнею Бобоховъ, какъ только очутился въ своей собственной прихожей.

Затѣмъ онъ хлопнулъ дверью, прошелъ всѣ остальныя комнаты и, вступивъ въ спальню, крикнулъ:

— Эй!

Встревоженная физіономія Корнея показалась въ дверяхъ.

— Гдѣ жъ капельмейстеръ? спросилъ Бобоховъ.

— Изволитъ почивать-съ...

— Дали ли ему ужинать?

— Какъ же-съ... Только, Иванъ Дормидонычъ, осмѣлюсь доложить... не могли сыскать ботвиньи съ бѣлугой...

— Это еще что значитъ?.. какой ботвиньи?..

— Они изволили приказывать ботвинью съ бѣлугой... изволили оченно сердиться... Мнѣ, говорятъ, нужна ботвинья съ бѣлугой для цвѣта лица...

— Пошелъ вонъ! крикнулъ Бобоховъ, но въ ту же секунду остановился и прибавилъ:—разбудить его чуть свѣтъ и сказать, чтобъ принесъ свои вещи сюда; сказать ему, что я беру его съ собой.

Часа два или три Бобоховъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, изрѣдка проводя рукою по своимъ щекамъ, которыя дрожали во все это время какъ желе; наконецъ, онъ угомонился и легъ въ постель. Ничего неизвѣстно о томъ, какъ провелъ онъ эту ночь и какіе сны низлетали на его голову. Достовѣрно то лишь, что въ шесть часовъ онъ былъ уже на ногахъ.

— Готовы ли лошади? спросилъ Бобоховъ, какъ только Корней показался въ дверяхъ.

— Все готово-съ.

— А капельмейстеръ?

— Изволили уѣхать еще въ пятомъ часу...

— За вещами?

— Никакъ нѣтъ-съ... Увидѣли въ окнѣ станового, сѣли съ нимъ въ телѣжку и уѣхали... приказали кланяться...

Пять минутъ послѣ этого извѣстія, сопровожденнаго рядомъ энергическихъ возгласовъ, Бобоховъ усаживался въ карету.

Въ ту самую секунду, какъ дверцы кареты захлопывались, изъ углового окна верхняго этажа, раскрытаго быстрымъ движеніемъ руки, выставилась заспанная голова Семена Панкратьевича.

— Ваничка!.. Ваня!.. куда ты?.. постой! экой ты какой!.. дай хоть проститься! погоди меня... Ваня! Ваня! Ваничка!.. кричалъ старикъ, отчаянно размахивая руками.

— Пошелъ! глухо раздалось въ каретѣ.

И экипажъ, подхваченный свѣжей четверкой, мгновенно оставилъ за собою крыльцо бобоховскаго дома.

VIII

О томъ, какъ процвѣтаютъ Ханскіе-Пруды, и что подѣлываетъ Карачаевъ.

Въ Ханскихъ-Прудахъ все, между тѣмъ, обстояло благополучно. Солнце, попрежнему, продолжало показываться каждое утро на горизонтѣ, и каждое утро, если только часамъ къ шести или семи небо не заслонялось тучами, золотые лучи, скользнувъ въ окна, освѣщали Павла Петровича Карачаева, который около этого времени уже непремѣнно расхаживалъ съ озабоченнымъ видомъ по залѣ, наблюдая за порядкомъ древняго дома.

Павелъ Петровичъ страшно захлопотался. Онъ считаетъ непремѣнною своею обязанностью лично присутствовать каждое утро при перестановкѣ мебели въ гостиной, при выбиваніи пыли, сниманіи паутины и чисткѣ половъ; затѣмъ, онъ обыкновенно освѣдомляется, проснулась ли Лизавета Семеновна и дѣти, и, каковъ бы ни былъ отвѣтъ, бѣжитъ стремглавъ къ Фіонѣ Ивановнѣ и сообщаетъ ей, что пора ставить самоваръ и приготовлять все нужное для чайной церемоніи. Онъ считаетъ также не лишнимъ заглянуть каждое утро въ кухню и сообщить повару, чтобъ онъ держалъ ухо востро; пользуясь случаемъ, онъ передаетъ то же самое остальнымъ членамъ многочисленной дворни.

Спокойствіе и благоденствіе балахновскаго семейства составляютъ теперь главную и въ то же время единственную цѣль настоящаго бытія Карачаева.

Когда въ хозяйствѣ Ханскихъ-Прудовъ происходитъ какой-нибудь случай, который, по соображеніямъ предусмотрительнаго Павла Петровича, можетъ причинить неудовольствіе Лизаветѣ Семеновнѣ, Карачаевъ поспѣшно сзываетъ въ извѣстный флигель дворню, со включеніемъ десятскаго и старосты, подымаетъ сжатые кулаки надъ своею головою и, яростно сверкая воспаленными глазами, объявляетъ громовымъ голосомъ, что первый, кто осмѣлится потревожить барыню этимъ непріятнымъ извѣстіемъ, будетъ имѣть дѣло съ нимъ.—„Пріѣдетъ Аристархъ Ѳедоровичъ — вѣдайтесь съ нимъ! Его дѣло разбирать все

это...“ говоритъ Павелъ Петровичъ, постепенно смягчаясь, и вдругъ, свирѣпѣя мгновенно, прибавляетъ: — „а если кто изъ васъ осмѣлится потревожить этимъ вздоромъ Лизавету Семеновну, если я узнаю это—берегись! вотъ она штука-то въ чемъ!“ Когда же Карачаевъ доволенъ которымъ-нибудь изъ людей, онъ даетъ ему полтинникъ изъ собственнаго кошелька... Люди были очень довольны такимъ распоряженіемъ, и особенно Моисей Акишевъ, который приходилъ поминутно въ умиленное состояніе каждый разъ, когда въ людской произносили съ похвалою имя Павла Петровича. Карачаевъ принялъ на себя роль покровителя и успокоителя Лизаветы Семеновны въ буквальномъ смыслѣ; онъ рѣшительно отказывался слушать ее каждый разъ, когда она просила его успокоиться, увѣряя, что ей хорошо, что она довольна, какъ нельзя болѣе, настоящимъ своимъ положеніемъ. Разъ даже, по поводу подобнаго замѣчанія, онъ оскорбился сильнѣйшимъ образомъ и пребывалъ мраченъ до тѣхъ поръ, пока Лизавета Семеновна, догадавшись, вѣроятно, о причинѣ его меланхоліи, не поспѣшила протянуть ему руку. Тогда Карачаевъ пришелъ въ неописанную ярость противъ самого себя: — „Какъ! вы, вы извиняетесь еще передо мной послѣ всего этого! Не смотрите на меня, Лизавета Семеновна, я этого не заслуживаю, я олухъ—и больше ничего! вы, вы говорите мнѣ изъ участія, а я, я принялъ слова ваши въ обиду, оскорбился, нелегкая меня возьми совсѣмъ; можетъ-быть, даже огорчилъ васъ... Нѣтъ, выгоните меня вонъ, послѣ этого, и больше ничего!“ При всемъ своемъ вліяніи, Лизавета Семеновна никакъ не могла, однакожъ, принудить Карачаева накинуть на плечи просторный нанковый казакинъ вмѣсто извѣстнаго фрака, въ которомъ очевидно было ему крайне тѣсно и неловко; въ этомъ единственномъ случаѣ слова ея были для Карачаева проповѣдью въ пустынѣ; никакія убѣжденія не помогали, и черный фракъ, какъ ничѣмъ несокрушимый утесъ, разбивающій вдребезги все то, что къ нему подступаетъ, горделиво появлялся каждый день на широкой спинѣ Павла Петровича. Причины, побудившія Карачаева облачиться въ черный фракъ съ той самой минуты, какъ принялъ онъ на себя трудъ охранять спокойствіе балахновскаго семейства, рѣшительно неизвѣстны; дѣло въ томъ, что, во время отсутствія Аристарха Ѳедоровича, онъ являлся не иначе, какъ во фракѣ. Знаменитый фракъ этотъ, съ узенькими

фалдами, на манеръ ласточьихъ крыльевъ или рыбьяго хвоста, прежде еще производилъ на локтяхъ легонькую трескотню, приводившую въ смущеніе своего владѣльца; но теперь фактъ былъ окончательно уже близокъ къ разрушенію, и потому каждый вечеръ задавалъ, можно сказать, труднѣйшую работу Павлу Петровичу: тамъ отвалилась пуговица, здѣсь образовалась щель... словомъ, не было такого дня, который не наносилъ бы новой раны несчастному фраку; и такъ какъ Иванъ (такъ называемый карачаевскій Иванъ) давнымъ-давно покинулъ уже Ханскіе-Пруды вмѣстѣ съ Глафирой, то Павелъ Петровичъ самъ принужденъ былъ наблюдать за своимъ гардеробомъ и заниматься портняжнымъ искусствомъ — обстоятельство, сильно затруднявшее человѣка, не бравшаго прежде иголки въ руки. Разлука съ Иваномъ была тягостна Карачаеву не въ одномъ только этомъ отношеніи; въ первое время ему казалось даже, какъ будто онъ прежде былъ женатъ, и теперь вдругъ сталъ холостымъ. Имъ овладѣла страшная тоска, окончившаяся безпробудной, трехсуточной спячкой, которая, въ свою очередь, разрѣшилась безотрадной меланхоліей. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что меланхолія эта, при настоящихъ хлопотливыхъ обязанностяхъ Карачаева, была бы не такъ назойлива и продолжительна, если бъ не явилось одно совершенно постороннее обстоятельство, которое придало ей характеръ чисто хроническій. Безпокойное сердце дѣвицы Сараманаевой, тронутое, должно-быть, нѣжными чувствами Карачаева, краснорѣчиво высказанными при прощаніи съ Иваномъ, ни подъ какимъ видомъ не могло сохранить равнодушія и нежданно заговорило въ пользу несовсѣмъ еще стараго холостяка. Дѣло объясняется почти само собою: если Карачаевъ могъ привязаться въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ къ простому лакею до такой степени, чтобъ проливать горькія слезы при разставаньи съ нимъ, какихъ же чувствъ можно было ожидать отъ Карачаева въ отношеніи къ особѣ — особѣ, равной ему во всемъ, которая, сверхъ того, какъ будто нарочно предназначена была судьбою для его счастія? Кажется, ясно. Съ той минуты, какъ мысль эта озарила пылкую голову дѣвицы Сараманаевой, образъ Павла Петровича сталъ преслѣдовать ее и днемъ, и ночью. Я нахожу совершенно лишнимъ распространяться о томъ, какъ тридцати-пяти-лѣтняя весталка показывала Карачаеву бѣлки свои, какъ прилаживала она помощью кваса

„акрошкёры“ на вискахъ своихъ, и какъ, затѣмъ, писала она ему по десяти разъ въ день „милыя“ записки изъ верхняго этажа, гдѣ помѣщалась ея комната рядомъ съ комнатою Фіоны Ивановны, иначе вдовы Чивадзи; все это слишкомъ общеупотребительно и давно уже извѣстно; къ тому же, во всей этой исторіи важенъ одинъ лишь результатъ. Результатъ былъ такого рода, что Розалія Владиміровна, оскорбленная въ самомъ чувствительномъ мѣстѣ своего дѣвственнаго сердца упорнымъ невниманіемъ Карачаева, объявила наотрѣзъ, что она ни за что въ свѣтѣ не останется долѣе въ Ханскихъ-Прудахъ, и на этомъ основаніи покорнѣйше просила Лизавету Семеновну возвратить ей капиталъ ея вмѣстѣ съ процентами, назначенными Аристархомъ Ѳедоровичемъ. Обстоятельство это поставило бѣдную хозяйку дома въ самое затруднительное положеніе: у нея гроша не было. Узнавъ обо всемъ этомъ, Карачаевъ тотчасъ же застегнулъ свой фракъ, вбѣжалъ въ комнату дѣвицы Сараманаевой и объявилъ ей напрямикъ, что такъ какъ деньги заняты были Аристархомъ Ѳедоровичемъ, то ей слѣдовало бы вѣдаться съ нимъ, а не безпокоить своими просьбами Лизавету Семеновну, которой нѣтъ, да и не можетъ быть никакого дѣла до займовъ мужа. На это дѣвица Сараманаева отвѣчала, что Карачаевъ необразованный мужикъ; Карачаевъ, въ пылу негодованія, назвалъ, въ свою очередь, дѣвицу Сараманаеву проживалкой; кончилось тѣмъ, что, спустя два дня, Розалія Владиміровна, несмотря на всѣ увѣщанія Лизаветы Семеновны, покинула домъ, объявивъ напередъ Фіонѣ Ивановнѣ, что распубликуетъ Ханскіе-Пруды по всей губерніи. Когда Карачаеву пришло на умъ, что онъ былъ нѣкоторымъ образомъ единственною причиной безпокойства и огорченій, причиненныхъ Лизаветѣ Семеновнѣ злосчастнымъ этимъ событіемъ, онъ ударилъ себя кулакомъ въ голову и побагровѣлъ такъ страшно, что, казалось, не миновать бы ему удара; но когда потомъ изъ словъ Балахновой онъ ясно убѣдился, что дѣло дѣйствительно должно было бы покончиться миролюбиво, если бъ не помѣшала ему горячность, онъ молча опустилъ голову, и душа его прониклась мгновенно такимъ горемъ, которому, казалось, не было предѣла. На этотъ разъ не помогла даже и трехсуточная спячка. „Не утѣшайте меня, голубушка моя, Лизавета Семеновна, не утѣшайте; я человѣкъ безчувственный, и больше ничего. Простите мне.

Что вы хотите? ничему никогда не учился; такъ, брошенъ съ дѣтства... Словомъ, говорю я вамъ, выгоните меня вонъ!“ говорилъ Карачаевъ, мрачно вращая своими воспаленными глазами и покрываясь чистѣйшимъ карминомъ.—„Что же касается до этой... которая осмѣлилась...“ прибавилъ онъ, сжимая кулаки, — „о, она будетъ меня знать!.. А, впрочемъ, нѣтъ, не безпокойтесь... это я такъ только... даю вамъ честное, благородное мое слово, что буду даже избѣгать съ ней встрѣчи...“ заключилъ онъ меланхолическимъ тономъ. Благодаря, однакожъ, увѣщаніямъ доброй Балахновой, — увѣщаніямъ, продиктованнымъ искреннею, сердечною привязанностью и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сожалѣніемъ, Карачаевъ мало-по-малу примирился съ самимъ собою, и въ Ханскихъ-Прудахъ все пошло попрежнему.

Лѣто промелькнуло почти незамѣтно, особенно для Балахновой, которая рѣшила въ своемъ сердцѣ, что эта пора, эти четыре мѣсяца были счастливѣйшими во всей ея жизни. Но счастье въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, было не очень продолжительно. Мало-по-малу, сѣрыя тучи стали чаще и чаще застилать ясное, голубое небо; непроницаемый туманъ окуталъ поля и дальній горизонтъ. Полились дожди. Наступила суровая, холодная осень. Потянулись длинные вечера и сумерки съ аккомпаниментомъ заунывнаго вѣтра и шума дождя, ниспадавшаго съ кровель и барабанившаго въ окна.

— Павелъ Петровичъ, что̀ съ вами?.. Вы какъ будто не въ духѣ все это время; вѣрно, у васъ есть на душѣ что-нибудь такое, что вы отъ меня скрываете... Это, право, не хорошо... съ друзьями такъ не дѣлаютъ... говорила съ нѣкоторыхъ поръ Лизавета Семеновна, пристально разглядывая вытянутое, комически-нахмуренное лицо Карачаева.

— Кто?.. я?.. écouté: даю вамъ честное слово... отвѣчалъ обыкновенно Карачаевъ, у котораго, благодаря такому нѣжному участію къ его расположенію духа, начинали вдругъ прыгать и смѣяться всѣ черты лица.

— Полноте, полноте! весело подхватывала Балахнова.— Не хотите ли вы, въ самомъ дѣлѣ, увѣрить меня, что вамъ очень весело въ Ханскихъ-Прудахъ?.. Нѣтъ, вы меня не обманете. Къ тому же, я, право, не вижу никакой надобности, чтобъ вы... именно вы стали меня обманывать; хотите, я вамъ разскажу, что̀ съ вами: вы, попросту, скучаете, мой добрый Павелъ Петровичъ...

Карачаевъ приподнималъ голову, при чемъ на лицѣ его можно было прочесть выраженіе глубокаго огорченія.

— Пожалуйста, дайте мнѣ договорить, продолжала Балахнова, прикасаясь рукою къ рукѣ Карачаева, чтобы удержать его на мѣстѣ. — Да, вамъ скучно, и я нахожу это весьма естественнымъ: не сами ли вы говорили мнѣ это, что какъ только наступаетъ осень, сентябрь, вы не можете сидѣть на мѣстѣ: васъ такъ вотъ и манитъ въ поле съ охотниками?.. Отчего же, скажите пожалуйста, нынче вы лишаете себя этого удовольствія? Я знаю, вы страстный охотникъ; вы сами это говорили, и, наконецъ, я слышала это отъ вашихъ пріятелей и знакомыхъ. Даю вамъ слово, я не нахожу въ этомъ ничего предосудительнаго; поѣзжайте съ Богомъ, прошу васъ объ этомъ. Къ тому же, вы даже получили нѣсколько приглашеній; охота развлечетъ васъ и разсѣетъ; а тамъ, опять пріѣдете, разумѣется, къ намъ, разскажете ваши впечатлѣнія, ваши похожденія...

— Позвольте, Лизавета Семеновна, écouté, перебилъ Карачаевъ уныло, вращая своими воспаленными бѣлками,— я все это очень хорошо понимаю... я вамъ надоѣлъ, прискучилъ... Нѣтъ, сдѣлайте милость, ей-Богу, такъ! Не говорите мнѣ, я самъ знаю. Ну, что я такое? никакого обращенія; съ дѣтства былъ брошенъ, не получилъ ровно никакого воспитанія... Я понимаю: ну, какая я для васъ компанія!..

— Э-э! Павелъ Петровичъ! Какъ вамъ не стыдно говорить такіе пустяки! Я, признаюсь, никакъ этого отъ васъ не ожидала, сказала Балахнова, съ живостью взявъ руку Карачаева. — Даю вамъ честное слово, мнѣ въ голову не приходили такія мысли. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ могли подумать, что я просила васъ ѣхать на охоту для того, чтобъ отъ васъ избавиться?.. Какъ же вы дурно знаете меня послѣ этого! Я держалась и держусь всегда обычая прямо высказывать свои чувства. Если бъ присутствіе ваше было для меня тягостно, я дала бы вамъ это почувствовать и, конечно, нашла бы средство удалить васъ... Ну, полноте же, мой добрый Павелъ Петровичъ! дайте мнѣ вашу руку и дайте мнѣ вмѣстѣ съ тѣмъ слово, что вы вѣрите, что я васъ искренно люблю и уважаю.

— Лизавета Семеновна, ваше слово... клянусь вамъ честью!.. воскликнулъ смущеннымъ голосомъ Карачаевъ.

Тутъ онъ, неизвѣстно почему, разстегнулъ верхнія пу-

говицы фрака, провелъ нѣсколько разъ по лысинѣ, неловко повернулся въ креслахъ и побагровѣлъ до ушей.

— Клянусь честью... я вамъ вѣрю! подхватилъ онъ, воодушевляясь,—но только, Бога ради, écouté: я останусь съ вами и не поѣду, да и не хочу ѣхать на охоту... Что̀ мнѣ съ ними? Въ душѣ, сказать по совѣсти, я не люблю охоты! Ну, сами посудите, что̀ тутъ: какой-нибудь зайчишка, гонятъ, кричатъ... Потомъ кутежъ, пьянство... Богъ съ ними! Клянусь вамъ, какъ этакъ, вотъ, отвыкнешь на покоѣ отъ всего этого, да охватишь свое существо, такъ, словно, даже совѣстно станетъ. Мнѣ у васъ здѣсь такъ хорошо, какъ въ раю; а если скука, хандра, знаете, нападаетъ, такъ, право, оттого, что вспоминаешь старое житье-бытье... Нѣтъ, Богъ съ ними, не поѣду на охоту! заключилъ Карачаевъ, рѣшительно махнувъ рукою.

Послѣ этихъ разговоровъ, повторявшихся довольно часто, Карачаевъ впадалъ въ ничѣмъ несокрушимую веселость, проводилъ цѣлые вечера, играя съ дѣтьми, и былъ такъ счастливъ, какъ только можетъ быть счастливымъ человѣкъ.

Въ сумерки Лизавета Семеновна садилась за фортепіано, и Павелъ Петровичъ, обвѣшанный дѣтьми, которыя лѣзли ему на шею и на голову, слушалъ ее въ какомъ-то экстазѣ, при чемъ правая нога его — по привычкѣ, вѣроятно, — не забывала отбивать ускоренный тактъ. Игра на фортепіано была единственнымъ его развлеченіемъ; утро и большую часть вечера Балахнова проводила въ спальнѣ съ дѣтьми. Карачаеву не съ кѣмъ было перемолвить слова; онъ былъ совершенно одинъ. (Прокисай Захаровичъ, вскорѣ послѣ отъѣзда Аристарха Ѳедоровича, исчезъ изъ Ханскихъ-Прудовъ и предпочиталъ слоняться по уѣзду, проживать нынче въ одномъ домѣ, завтра въ другомъ, чѣмъ остаться почти наединѣ съ Фіоной Ивановной). Несмотря, однакожъ, на привычку находиться всегда въ шумномъ обществѣ, Карачаевъ продолжалъ отказываться отъ приглашеній окрестныхъ сосѣдей, которые поминутно звали его въ отъѣзжее поле. Онъ объявилъ наотрѣзъ, что не тронется изъ Ханскихъ-Прудовъ до тѣхъ поръ, пока не вернется Аристархъ Ѳедоровичъ, и твердо убѣжденъ былъ, говоря это, что долгъ чести и признательности обязываетъ его не покидать Лизаветы Семеновны и дѣтей ея. И, нѣтъ сомнѣнія, онъ не отступилъ бы на волосъ отъ такого убѣжденія, если бъ въ одно не-

настное, холодное сентябрьское утро не подали ему письмо. Письмо было отъ Барабанчикова. Карачаевъ, если припомнитъ читатель, былъ въ ссорѣ съ Барабанчиковымъ по тому поводу, что Барабанчиковъ отказалъ ему дать взаймы денегъ для награжденія Ивана; но такъ какъ Барабанчиковъ извѣщалъ стараго своего друга, что на охотѣ сломалъ себѣ ногу и лежитъ при смерти, то Карачаевъ разсудилъ, что такое важное дѣло не терпитъ ни малѣйшаго отлагательства, что присутствіе его необходимо у Барабанчикова, и что, наконецъ, какихъ-нибудь восемь часовъ отлучки изъ Ханскихъ-Прудовъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ нарушить спокойствія Лизаветы Семеновны. На этомъ основаніи, онъ приказалъ тотчасъ же осѣдлать лошадь, извѣстилъ обо всемъ Балахнову и, забывъ непріязненныя чувства къ прежнему пріятелю, пустился въ путь, невзирая на то, что вѣтеръ ломалъ деревья, мокрый снѣгъ валилъ хлопьями, а впереди предстояло сорокъ верстъ слишкомъ.

Карачаевъ, какъ уже извѣстно, былъ человѣкъ характера слабаго и легко увлекающагося. Вмѣсто предполагаемыхъ восьми часовъ, онъ пробылъ въ отлучкѣ двое сутокъ. На третье утро Карачаевъ вернулся въ Ханскіе-Пруды. Взглянувъ на него въ ту минуту, какъ онъ въѣзжалъ на дворъ, можно было подумать, что другъ дѣтства, Барабанчиковъ, приказалъ долго жить, или, наконецъ, самого Карачаева постигло какое-нибудь страшное горе. Онъ нетерпѣливо соскочилъ съ лошади, бросилъ поводья кучеру и, свирѣпо почесывая мокрый затылокъ, направился быстрыми шагами въ прихожую.

— Гдѣ барыня? спросилъ онъ отрывисто.

Получивъ въ отвѣтъ, что барыня въ дѣтской, Карачаевъ заморгалъ глазами, сдѣлалъ шагъ впередъ, но въ ту же секунду измѣнилъ свое намѣреніе и вступилъ въ свою комнату, ту самую, гдѣ онъ и Васильковъ слушали нѣкогда чтеніе „Непризнанной Индѣйки“. Тутъ, закинувъ руки за спину, принялся онъ расхаживать взадъ и впередъ, проявляя на озабоченномъ лицѣ своемъ необычайное волненіе и произнося время отъ времени энергическія проклятія.

— Гдѣ Лизавета Семеновна? спросилъ онъ, выходя снова въ переднюю и забывъ, что былъ уже извѣщенъ объ этомъ.

На этотъ разъ Карачаевъ не надѣлъ чернаго фрака,

а какъ былъ въ нанковомъ казакинѣ, вымоченномъ дождемъ, прошелъ мимо изумленной Фіоны Ивановны и вступилъ въ дѣтскую.

Въ дѣтской было очень весело, несмотря даже на то, что окна, до половины залѣпленныя снѣгомъ, съ трудомъ пропускали дневной свѣтъ. Дѣло въ томъ, что на этотъ разъ солнечные лучи замѣнялись отличнѣйшимъ образомъ ярко-топившеюся печкой, которая обливала стѣны, бѣлыя постельки и деревья, расписанныя на стѣнахъ, розовымъ свѣтомъ. Балахнова сидѣла на низенькомъ табуретѣ, прямо противъ огня; Володя расположился на полу и, положивъ голову на колѣни матери, глядѣлъ на пылавшіе уголья; остальныя дѣти прыгали и рѣзвились вокругъ табурета, и веселыя лица ихъ, освѣщенныя пурпуровымъ заревомъ печки, казались еще миловиднѣе.

Есть что-то отрадное, успокоительное въ подобныхъ картинахъ! При видѣ ихъ, душа обрѣтаетъ какое-то полное, сознательное спокойствіе и невольно отдыхаетъ отъ всевозможныхъ суетныхъ треволненій жизни. На тѣхъ даже, кому рѣшительно недоступна поэтическая сторона нашего существованія, картины эти производятъ всегда сильное впечатлѣніе, хотя тѣмъ именно, что представляютъ рѣзкій контрастъ съ дико завывающею мятелью, унылымъ воемъ вѣтра и стужею, прохватывающею васъ насквозь. То же самое, или почти то же самое, было съ Карачаевымъ. Войдя въ комнату, онъ невольно отступилъ шагъ назадъ и остановился у двери. На лицѣ его, озабоченномъ и нахмуренномъ, проступило, однакожъ, выраженіе тоскливаго смущенія, похожаго на то, когда боишься потревожить сладкій сонъ ребенка и чувствуешь вмѣстѣ съ тѣмъ, что это необходимо сдѣлать. Увидѣвъ Павла Петровича, дѣти съ радостнымъ восклицаніемъ бросились къ нему навстрѣчу.

— Мама, мама! Карачаевъ пріѣхалъ! Карачаевъ! Здравствуй, Карачаевъ, здравствуй! закричали они въ одинъ голосъ, прыгая вокругъ него или цѣпляясь за фалды нанковаго его казакина.

Карачаеву сдѣлалось окончательно неловко; отвѣчая торопливыми ласками на ласки дѣтей, онъ свирѣпо потиралъ въ то же время широкую свою лысину, покрытую потомъ, моргалъ глазами, потряхивалъ головою, переминался на одномъ мѣстѣ, при чемъ въ каждомъ изъ его движеній обозначалось сильное волненіе.

— Дѣти, сказала Балахнова, послѣ того, какъ поздоровалась съ Карачаевымъ,—не безпокойте Павла Петровича: онъ, кажется, очень усталъ послѣ дороги...

— Нѣтъ... помилуйте, Лизавета Семеновна, это ничего... я очень радъ, проговорилъ Карачаевъ, дѣлая надъ собою явное усиліе и принимаясь ласкать дѣтей.

Послѣдовала кратковременная пауза, въ продолженіе которой Балахнова окинула любопытнымъ взглядомъ вошедшаго. Взгляда этого достаточно ужъ было, чтобъ убѣдиться, что съ Карачаевымъ произошло что-нибудь необыкновенное. Отсутствіе фрака, замѣненнаго на этотъ разъ казакиномъ, съ котораго Карачаевъ не позаботился даже отряхнуть воду, подтверждало краснорѣчивѣйшимъ образомъ такое предположеніе. Зная въ совершенствѣ экспансивную, сообщительную натуру Карачаева, и не сомнѣваясь нимало, что онъ поспѣшитъ передать ей свои горести, она придвинула къ печкѣ стулъ, пригласила его занять подлѣ себя мѣсто и начала разспрашивать его о результатахъ поѣздки.

— Ну, что, скажите пожалуйста, какъ нашли вы вашего пріятеля? сказала она.

— Ничего, Лизавета Семеновна, слава Богу; опасности нѣтъ никакой... все это вздоръ и пустяки! мрачно отвѣчалъ Карачаевъ.

— Взглянувъ на васъ, признаюсь, я думаю совсѣмъ другое... Скажите же мнѣ, Бога ради, что̀ съ вами, Павелъ Петровичъ? произнесла Балахнова съ участіемъ.

— Ничего, такъ... знаете... проговорилъ Карачаевъ, дѣлая очевидныя усилія, чтобъ казаться спокойнѣе,—а, впрочемъ, знаете, écouté, Лизавета Семеновна, прибавилъ онъ, багровѣя и знаменательно подмигивая на дѣтей,—мнѣ надо бы поговорить кой-о-чемъ съ вами...

Тонъ, съ какимъ произнесены были послѣднія эти слова, и выраженіе на лицѣ Карачаева заставили тотчасъ же предположить Балахнову, что тутъ скрывалось какое-нибудь несчастіе, лично до нея касавшееся.

— Дѣти, оставьте насъ на минуту, подите играть въ залу, сказала она измѣнившимся голосомъ.

— Не думайте, однакожъ, голубушка Лизавета Семеновна, что я хочу сообщить вамъ что-нибудь особенно важное, съ поспѣшностью подхватилъ Карачаевъ, когда веселые голоса дѣтей раздались въ сосѣдней комнатѣ,—ей-Богу ничего, такъ; успокойтесь... все это я зналъ за-

ранѣе... фу! заключилъ онъ, принимаясь обтирать лобъ.

Балахнова почувствовала въ эту минуту, что сердце ея забилось еще сильнѣе.

— Вы слышали что-нибудь о моемъ мужѣ!.. сказала она, блѣднѣя.

— Ничего, клянусь вамъ честью! Онъ здоровъ и даже на-дняхъ будетъ здѣсь, успокойтесь... фу! Эхъ, я дуракъ, болванъ! зачѣмъ я началъ все это! воскликнулъ Карачаевъ, внезапно вскакивая съ своего мѣста, и, замаршировавъ по комнатѣ, принялся долбить себя кулакомъ въ голову.

— Полноте, Павелъ Петровичъ, перестаньте! вы должны были передать мнѣ все, что знаете, изъ участія ко мнѣ. Умоляю васъ всѣмъ, что есть священнаго, не скрывать отъ меня ничего! произнесла Балахнова, живо схватывая руку собесѣдника.—Полноте, сядьте, говорите; видите, я совершенно спокойна... Вы знаете меня слишкомъ давно... вы должны знать также, что я ко всему ужъ привыкла... заключила она, садясь на стулъ и усаживая его подлѣ себя.

— Нѣтъ, голубушка моя, Лизавета Семеновна, вы не можете къ этому привыкнуть, вы не должны привыкать къ этому! воскликнулъ Карачаевъ съ запальчивостью.— Это, просто, глупость, извините меня, именно глупость! Этакъ, какъ хотите, а дѣлать нельзя, да и дѣлать этого никто не станетъ, имѣя дѣтей, семейство... это просто... это... это какъ Гирей, знаете, сидитъ себѣ, въ устахъ шипитъ или пищитъ у него янтарь, и знать никого не хочетъ! какъ говоритъ этотъ Пушкинъ въ своемъ „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“... Что это такое въ самомъ дѣлѣ? Не думаетъ ли Аристархъ Ѳедоровичъ, что сосѣди, съ которыми онъ перессорился, обезпечатъ его дѣтей и жену... или станутъ вносить въ Опекунскій Совѣтъ проценты всякій разъ, какъ онъ будетъ перезакладывать такимъ образомъ свое имѣніе... Эхъ, жаль, досадно, что я не умѣю писать этихъ комедій! подхватилъ онъ съ глубочайшимъ отчаяніемъ,—я бы выставилъ этихъ людей, которые изъ-за прихоти какой-нибудь... изъ-за того, чтобъ блистать да выставляться передъ другими, готовы разорить и пустить по міру свое собственное семейство!..

— Что-жъ случилось? проговорила Балахнова задыхающимся голосомъ.

Такой рѣшительный вопросъ поставилъ, казалось, Карачаева въ совершеннѣйшій тупикъ. Онъ заморгалъ воспа-

ленными глазами, побагровѣлъ и, проклиная себя въ душѣ за то, что зашелъ слишкомъ далеко, принялся обдумывать средство, какъ бы, по возможности, поберечь Лизавету Семеновну, или, по крайней мѣрѣ, смягчить то, о чемъ слѣдовало ей разсказать. На этомъ основаніи, онъ разстегнулъ воротникъ своего казакина, потомъ снова застегнулъ его, и, наконецъ, пробормоталъ несвязно:

— Нѣтъ, écouté, это собственно ничего... успокойтесь... я погорячился...

— Павелъ Петровичъ... умоляю васъ! говорите мнѣ прямо... вы разрываете мнѣ сердце... произнесла Балахнова, едва переводя духъ.

Лицо Карачаева представило въ эту критическую минуту панораму самыхъ рѣдкихъ физіономическихъ феноменовъ. Онъ, очевидно, поступилъ неосторожно и зашелъ слишкомъ далеко; скрывать долѣе истину, значило усилить только безпокойство бѣдной женщины; но какъ открыть ей горестную вѣсть? Счастливая мысль представить все въ аллегоріи мелькнула въ головѣ его; онъ быстро вскочилъ со своего стула, еще поспѣшнѣе вынулъ изъ кармана единственный свой клѣтчатый платокъ и, показывая его въ какомъ-то замѣшательствѣ Балахновой, произнесъ скороговоркой:

— Вотъ, изволите видѣть, платокъ, вотъ онъ... вы его видите... а вотъ (тутъ Карачаевъ скомкалъ платокъ и бросилъ его въ печь), а вотъ его и нѣтъ, сгибъ, сгорѣлъ— вотъ то же самое сдѣлалъ и Аристархъ Ѳедоровичъ: онъ перезаложилъ свое имѣніе! заключилъ Павелъ Петровичъ, выразительно разводя руками и поднимая брови.

Но тутъ Карачаевъ мгновенно остановился. Взглянувъ на Балахнову, которая, при послѣднихъ словахъ, закрыла лицо руками и горько заплакала, онъ послалъ себѣ въ голову такой ударъ, который легко могъ бы сбить съ ногъ любого быка; затѣмъ онъ бросился къ ней и, стараясь придать своему взбудораженному лицу спокойное выраженіе, проговорилъ скороговоркою:

— Лизавета Семеновна, я... я все это не такъ вамъ представилъ, успокойтесь, ради Бога!... Ecouté: я вамъ разскажу все, какъ было; можетъ быть, мнѣ все это наврали: вы знаете уѣздныя сплетни... Я погорячился, не сообразилъ этого... а вы... эхъ, эхъ! послушайте: не сами ли вы говорили мнѣ, что не слѣдуетъ вѣрить всему тому, что̀ болтаютъ въ уѣздѣ? подхватилъ онъ, принимаясь дѣ-

лать какіе-то пояснительные знаки пальцами, наклоняя впередъ багровое лицо и выкатывая зрачки, какъ будто намѣревался проглотить за одинъ разъ свою собесѣдницу.—Опасность вовсе не такъ велика, какъ вы думаете; я погорячился потому только, что мнѣ, понимаете, досадно. Аристархъ Ѳедоровичъ перезаложилъ только свои двѣсти душъ! — продолжалъ онъ успокоительнымъ тономъ,—а, впрочемъ, и это, быть можетъ, однѣ лишь сплетни; всякому слуху не вѣрь... Вы сами знаете... Къ тому же, слухи эти распространяетъ этотъ... этотъ... желто-фіолетовый господинъ Кошкинъ, который говоритъ, будто писалъ ему объ этомъ какой-то... какъ бишь его... да, Чиндаласовъ, изъ Москвы... Вздоръ, пустяки! Aristarque никогда не игралъ въ карты по большой... успокойтесь! Я, впрочемъ, ужъ распорядился, Лизавета Семеновна: я велѣлъ передать Кошкину, что если онъ не будетъ держать языкъ на привязи, такъ найдется одинъ вексель... вы понимаете... которымъ мы зажмемъ ему ротъ! заключилъ Павелъ Петровичъ, очевидно, мѣшаясь и сбиваясь въ своихъ успокоительныхъ доводахъ и объясненіяхъ.

— Бѣдныя, бѣдныя мои дѣти! сказала Балахнова, медленно отнимая руку отъ лица и задумчиво глядя на угасавшій уголь, между тѣмъ какъ крупныя слезы лились по блѣднымъ щекамъ ея.

— Нѣтъ, голубушка моя, Лизавета Семеновна, у нихъ есть еще кусокъ хлѣба. Я все это устрою. Вотъ тутъ залѣзла счастливая мысль! воскликнулъ Карачаевъ, ударивъ себя по лбу.—Успокойтесь, ради Бога! И сказать, что у меня было когда-то сто тысячъ, которыя разлетѣлись по пустякамъ! подхватилъ онъ, отчаянно размахивая руками.—Впрочемъ, вы не думайте, нѣтъ, я совсѣмъ не то хотѣлъ сказать, поспѣшно заговорилъ онъ, взглянувъ на лицо Балахновой, мгновенно вспыхнувшее,—совсѣмъ не то, голубушка моя, Лизавета Семеновна... я хотѣлъ, то-есть, сказать, что какъ, то-есть, пропадаютъ иногда деньги; такъ ни за что... на сущій вздоръ!.. заключилъ Павелъ Петровичъ, передвигая пальцами и наклоняя голову, какъ будто передъ кѣмъ извинялся.

Въ эту самую минуту въ сосѣдней комнатѣ послышались бѣготня и дѣтскіе голоса.

Карачаевъ не успѣлъ повернуться къ двери, какъ дѣти вбѣжали ужъ въ спальню съ крикомъ:

— Мама, папа ѣдетъ! папа ѣдетъ!

Невозможно передать эффекта, произведеннаго этими словами на двухъ собесѣдниковъ. Карачаевъ отступилъ, какъ будто передъ нимъ упалъ громъ.

— Че-е-во? Быть не можетъ! произнесъ онъ, опомнившись.

— Павелъ Петровичъ, сказала Балахнова, приподымаясь со своего стула и поспѣшно схватывая его за руку, — прошу васъ не говорить ему ни слова: до поры до времени, онъ не долженъ знать, что намъ все ужъ извѣстно. Надѣюсь, вы сдѣлаете это для меня?..

Карачаевъ мрачно насупилъ брови и наклонилъ голову.

— Дѣти, произнесла Балахнова, обращая къ нимъ спокойное, хотя блѣдное лицо свое, — пойдемте встрѣчать отца!..

И, сопровождаемая дѣтьми и Карачаевымъ, который продолжалъ сохранять такой же точно мрачный видъ, какъ будто хоронилъ свое собственное счастье, быстрыми шагами направилась въ залу.

IX.

Аристархъ Ѳедоровичъ, сопровождаемый Порфиріемъ Павловичемъ и Аполлономъ Егоровичемъ, возвращается къ домашнему очагу.

Въ то время, какъ Лизавета Семеновна, дѣти и Карачаевъ выходили въ залу, Аристархъ Ѳедоровичъ въѣзжалъ на дворъ. Въ окнахъ видно было, какъ дорожная коляска его, окруженная дворовыми людьми, приближалась къ крыльцу. Коляска, несмотря на ненастную погоду, была открыта. Аристархъ Ѳедоровичъ, сидѣвшій на возвышеніи, сдѣланномъ изъ подушекъ, величественно, но привѣтливо раскланивался направо и налѣво, и по движенію губъ его можно было сказать безошибочно, что онъ произносилъ: „благодарю!“ Порфирій Павловичъ, сидѣвшій подлѣ, направлялъ свои зрачки въ одно и то же время на всѣ предметы и посылалъ суетливые поклоны. Одинъ Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ, помѣщавшійся на козлахъ, съ узелкомъ подъ мышкой,—узелкомъ, въ которомъ заключалась оттиснутая „Непризнанная Индѣйка“ вмѣстѣ съ экземплярами „Заоблачныхъ Трелей“, „Пелопонезо-Таврическихъ мелодій“ и „Шпоры Лермонтова“, хранилъ не-

возмутимое спокойствіе и, задравъ кверху лицо свое, ни съ кѣмъ не кланялся. Въ общемъ, все это напоминало торжественный въѣздъ Александра Македонскаго въ Вавилонъ.

Наконецъ, коляска остановилась у подъѣзда. Минуту спустя, великій человѣкъ изъ Горшкова вступалъ уже въ домъ своихъ предковъ. Въ залѣ встрѣтили его жена, дѣти, Карачаевъ, Фіона Ивановна и вся дворовая челядь, сбѣжавшаяся со всѣхъ возможныхъ концовъ.

— Друзья мои, проговорилъ растроганнымъ голосомъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обнимая жену.—Друзья мои, Порфирій Павлычъ, и ты, Карачаевъ! Друзья мои! молю Провидѣніе, чтобъ Оно ниспослало вамъ такую жену и такихъ дѣтей; дай Богъ, чтобъ вамъ привелось когда-нибудь вкушать въ сей юдоли плача и скорбей такія сладостныя минуты: онѣ возвышаютъ душу и сердце. Благодарю еще разъ и всѣмъ сердцемъ восклицаю: благодарю васъ, друзья мои!..

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ, растроганный и прослезившійся, вторично обнялъ жену и, кивая черезъ ея плечо всѣмъ остальнымъ лицамъ, находившимся въ залѣ, проговорилъ еще разъ „благодарю“.

— Ну, вотъ я и дома! Опять съ вами, друзья мои! заключилъ Балахновъ, выпрямляя грудь и показывая всѣмъ свои вагенгеймовскіе зубы:

Когда жъ пространствуешь, воротиться домой,
И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ!

сказалъ великій Грибоѣдовъ, и сказалъ истинную правду! примолвилъ онъ, принимаясь снова ласкать дѣтей, между тѣмъ какъ Васильковъ и Дрянковъ здоровались съ хозяйкою дома. Аристархъ Ѳедоровичъ былъ необыкновенно веселъ, несмотря даже на то, что въ дипломатической головѣ его постоянно работала мысль о томъ, что поѣздка его въ Москву сопряжена была большею частью съ неудачами и не принесла почти никакого результата. Въ то время, какъ перетаскивали подушки и чемоданы, онъ успѣлъ сказать каждому привѣтливое слово, успѣлъ спросить: „что̀ слышно въ уѣздѣ?“, и, получивъ на этотъ счетъ кой-какія свѣдѣнія, обратился шутливо къ вдовѣ Чивадзи:

— А гдѣ жъ Прокисай? я что-то его не вижу.

— Почемъ же я знаю-съ?.. Я не нянька его... язвительно прошипѣла Фіона Ивановна, нетерпѣливо попра-

вляя косынку, перевязывавшую больную щеку, и придерживая пальцемъ непокорную фигу.

— Что жъ такъ? Вѣрно, опять измѣнилъ, злодѣй! Опять, вѣрно, у Кокуркиныхъ? сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, лукаво подмигивая вдовѣ, которая спѣшила скрыться.—Ха-ха-ха!.. залился Аристархъ Ѳедоровичъ и, повернувшись неожиданно къ женѣ, взялъ ее за обѣ руки.—Ну, Лизанька, сказалъ онъ добродушно шутливымъ тономъ,—я долженъ сообщить тебѣ одно происшествіе, которое, нѣтъ сомнѣнія, растерзаетъ твое супружеское счастіе. Плачь, плачь надъ сердцемъ своего мужа: оно заполонено m-me Камышевской, родною сестрой m-me Балаклеевой, которую ты видѣла не разъ въ нашемъ губернскомъ городѣ... Происшествіе необычайное, случай необыкновенный. Я долженъ тебѣ сказать прежде всего, что я спасъ ей жизнь, даровалъ существованіе... но скромность смыкаетъ мнѣ уста; пусть Васильковъ—онъ былъ свидѣтелемъ всего—разскажетъ тебѣ это событіе, гдѣ Промыслъ излилъ на меня новый потокъ щедротъ Своихъ! заключилъ Балахновъ, пожимая женину руку и самодовольно направляясь въ кабинетъ.

Васильковъ, у котораго давно ужъ зудѣлъ языкъ сообщить подробности этого драматическаго событія, исполнилъ съ наслажденіемъ просьбу своего величаваго друга. Изъ словъ его оказалось, что Аристархъ Ѳедоровичъ заѣхалъ по дорогѣ къ г-жѣ Камышевской, и что г-жа Камышевская, преисполненная признательности къ вниманію Аристарха Ѳедоровича, повезла именитаго своего гостя на маленькихъ дрожкахъ по всѣмъ частямъ своего хозяйства. Слѣдовало проѣхать черезъ плотину, чтобъ попасть на скотный дворъ. На плотинѣ дрожки опрокидываются; г-жа Камышевская падаетъ въ воду, и Аристархъ Ѳедоровичъ, движимый безпримѣрнымъ чувствомъ великодушія, вытаскиваетъ ее на берегъ здравою и невредимою.

Въ каждомъ событіи, какъ бы велико оно ни было, находятся всегда двѣ стороны; показавъ одну сторону чуднаго спасенія г-жи Камышевской и безпримѣрнаго великодушія Аристарха Ѳедоровича, мы непремѣнно должны показать и другую. Поѣздка къ г-жѣ Камышевской входила въ составъ дипломатическаго плана Балахнова,—плана, обдуманнаго еще въ Ханскихъ-Прудахъ, до поѣздки великаго человѣка въ Москву. Дѣло въ томъ, что госпожа эта приходилась родной сестрой госпожѣ Ба. г-

клеевой, мужъ которой игралъ одну изъ самыхъ первыхъ ролей въ губернскомъ городѣ, гдѣ должны были происходить выборы. Аристархъ Ѳедоровичъ давно уже заигрывалъ съ Балаклеевымъ, но, по какому-то странному, дикому предубѣжденію, Балаклеевъ обнаруживалъ всегда къ великому человѣку холодное равнодушіе. Можете представить себѣ послѣ этого восторгъ великаго дипломата, когда, можно сказать, сама судьба доставила ему случай возбудить въ душѣ всѣхъ Балаклеевыхъ вѣчную признательность за чудное спасеніе любимой сестры.

Спасеніе г-жи Камышевской не имѣло въ себѣ, собственно говоря, ничего особеннаго; все произошло самымъ обыкновеннымъ образомъ; тѣмъ не менѣе, однакожъ, событіе это, выходя изъ устъ Аристарха Ѳедоровича, пріобрѣло такую яркость и выкуплость, что сдѣлалось вскорѣ извѣстнымъ цѣлой губерніи и приняло даже подъ конецъ характеръ чисто лирическій. Прибавьте къ этому, что скромность самого героя не позволяла ему распространяться слишкомъ много объ этомъ предметѣ. Вотъ, между прочимъ, какую форму приняло это событіе въ знаменитой записной книжкѣ великаго горшковскаго мужа и, вслѣдъ за тѣмъ, въ письмѣ, адресованномъ имъ на имя Балаклеева: „...Добрая и возвышенная душа ваша, вѣрно, воздохнетъ къ Провидѣнію съ признательностью“, писалъ Аристархъ Ѳедоровичъ на второй страницѣ своего письма. „Шестого сентября, въ седьмомъ часу вечера, прекраснаго, хотя холоднаго, завлеченные сею погодою, по докладу старосты о чрезвычайно сильной водѣ, угрожавшей плотинамъ и мельницѣ (я пріѣхалъ въ село Пруженцово навѣстить многоуважаемую сестрицу вашу),—мы отправились вмѣстѣ осмотрѣть оныя, въ дрожкахъ, на отличной и смирной лошади, преслѣдуемые старостою; спустились благополучно съ горы—и, не найдя ужъ на плотинѣ ничего снѣгу (утромъ шелъ мокрый снѣгъ, именуемый въ простонародьи „дряпнéю“), сострадая тяжести лошади отъ чрезмѣрной грязи, я сошелъ съ дрожекъ, а сестрица ваша взяла вожжи и шагомъ ѣдетъ впередъ, а мы съ старостою, разумѣется, отъ лошади поотстали, можетъ быть, шаговъ на десятокъ. И вижу сзади, что на мосту, подъ коимъ спускъ воды, отъ сильнаго стремленія ревущей, вдругъ дѣлается лошади дурнота и въ одно мгновеніе она съ него бросается прямо въ спускъ воды, ниже моста, на 3 аршина, а вдоль *девять съ половиною*

аршинъ и гдѣ глубина неизмѣрима!!! Отъ силы удара и собственнаго механизма тяжести дрожекъ и лошади (добрый конь!) въ ту же минуту утопъ въ этой страшной пропасти, а дрожки, съ безстрашной сестрицей вашей, черезъ него переброшенныя, въ водѣ накрыли ее!!!... Испуганный этою неизбѣжною гибелью, я бѣгу стремглавъ къ мосту, успѣвая на побѣгѣ сбросить замшевыя перчатки, дабы онѣ, намокнувъ, не скользили и не мѣшали мнѣ дѣйствовать руками, разсчитываю каждую терцію времени въ страхѣ, чтобъ она не захлебнулась подъ дрожками, гдѣ ее ужъ и не видно, съ моста кидаюсь подъ нихъ и, непостижимымъ милосердіемъ Неба, схватываю прямо ея руку, и вынырнувъ вверхъ, плыву къ берегу, силясь ее успокоить словами. Староста во все это время взывалъ къ народу, который, сбѣжавшись съ берега, у водопада, принимаетъ свою добрую госпожу на руки, коимъ я, дабы не выдернули рукъ, подавалъ ее снизу, опершись на какую-то глыбу глины; какъ вдругъ съ нея скользаю и окунаюсь вновь въ самую глубину, гдѣ, по счастью, тѣмъ же благимъ Промысломъ спасенный, попадаю на сваю, разбиваюсь жестоко, но сею же удержанный, выкарабкиваюсь и—вытащенъ людьми!!! Въ этомъ положеніи насъ уносятъ въ домъ, и тамъ, покровительствуемые Небомъ, всѣми способами отогрѣты. Но не менѣе того, хотя благополучно живы, а безъ различныхъ потрясеній не остались, особенно сестрица ваша, показавшая въ этомъ случаѣ безпримѣрную неустрашимость. Буди во всемъ слава и благодареніе Небесамъ, даровавшимъ человѣколюбіе людямъ!..“ Но дѣло вовсе не въ краснорѣчіи Аристарха Ѳедоровича; даже злѣйшіе враги его сознавались чистосердечно, что не знали ему въ этомъ отношеніи соперниковъ: въ цѣлой половинѣ уѣзда не было человѣка, который своевременно не прибѣгнулъ бы подъ защиту могущественнаго слова любимаго своего оратора, и наоборотъ, въ другой половинѣ уѣзда трудно было сыскать существо, которое не испытало бы на себѣ гибельнаго и всесокрушительнаго дѣйствія, производимаго, въ случаѣ надобности, ораторскими способностями великаго мужа. Это фактъ. Сила, слѣдовательно, не столько въ красн рѣчіи, сколько въ томъ благотворномъ, нравственном вліяніи, какое произведено было на Аристарха Ѳедор вича случаемъ, происшедшимъ съ г-жею Камышевско Случай этотъ придалъ тройную силу потухавшей энерг

знаменитаго Аристарха Ѳедоровича. „Балаклѐевы теперь мои!.. Наша возьметъ!..“ повторялъ поминутно Аристархъ Ѳедоровичъ, ударяя Василькова по плечу въ то время, какъ они возвращались въ Ханскіе-Пруды. Это обстоятельство достаточно объясняетъ, кажется, веселое расположеніе духа нашего героя. Благодаря этому счастливому расположенію, невольно заглушавшему въ немъ сознаніе собственнаго своего величія, онъ былъ необыкновенно разговорчивъ и во все продолженіе дня не переставалъ обнаруживать заботливое участіе къ женѣ, которая жаловалась на страшную головную боль. Карачаевъ мрачно глядѣлъ на всѣ эти сцены и не произносилъ слова. Онъ не отвѣчалъ даже на шутливыя замѣчанія Балахнова, ходилъ взадъ и впередъ, судорожно хмурилъ брови и, казалось, ждалъ чего-то. Васильковъ и Дрянковъ, несмотря на долгую съ ними разлуку, какъ будто вовсе не существовали въ этотъ день для Карачаева.

Тѣмъ не менѣе, однакожъ, какъ только наступила ночь и Аристархъ Ѳедоровичъ, распрощавшись съ членами своего семейства, ушелъ спать, Карачаевъ направился нетерпѣливыми шагами въ комнату проживальщиковъ. Онъ далъ себѣ слово вывѣдать отъ Василькова и Дрянкова, насколько справедливы были слухи, носившіеся въ уѣздѣ о томъ, будто Балахновъ перезаложилъ свое имѣніе. Достигнуть этого было легче, чѣмъ думалъ Карачаевъ. Васильковъ и Дрянковъ, связанные съ нѣкоторыхъ поръ тѣснѣйшими узами дружбы, передали Карачаеву во всѣхъ подробностяхъ столичное житье-бытье и высказали, сами того не замѣчая, все, о чемъ хотѣлъ знать Карачаевъ. Къ такимъ откровеніямъ сильнѣйшимъ образомъ способствовало также и то, что въ памяти обоихъ разсказчиковъ живо еще представлялись тѣ случаи, которые навлекли на нихъ когда-то справедливый гнѣвъ и угрозы Карачаева—угрозы, которыя, при малѣйшемъ упрямствѣ съ ихъ стороны, весьма легко могли быть приведены въ исполненіе.

— Хорошо, мнѣ нѣтъ никакого дѣла до Миловзорова и до другихъ чертей, съ которыми ты свелъ тамъ дружбу! сурово сказалъ Карачаевъ, обращаясь къ сердобольному Порфирію Павловичу, начинавшему чувствительное повѣствованіе о дружбѣ своей съ докторомъ,—знакомься съ кѣмъ хочешь. Дѣло въ томъ, что на-дняхъ я заѣзжалъ къ женѣ твоей—вотъ въ чемъ дѣло...

Порфирій Павловичъ поблѣднѣлъ.

— Нечего, братъ, глаза-то выпучивать, какъ словно пятерыхъ проглотилъ, да шестымъ поперхнулся, продолжалъ неумолимый Карачаевъ,—дѣло въ томъ, что я заѣзжалъ къ ней: она больна и больна очень опасно. Слышишь ли ты это, Порфирій?

— Антониночка!.. плаксиво простоналъ Васильковъ.

— Все это, братъ, финтифлюшки; нечего гримасничать; не въ томъ сила,—сила въ томъ, что ты завтра же долженъ къ ней ѣхать—вотъ въ чемъ она, штука-то!

— Странно, однакожъ! пробормоталъ Дрянковъ, сидѣвшій на постели,—ты, братецъ, распоряжаешься...

— Че-е-во? грозно произнесъ Карачаевъ, вращая воспаленными бѣлками на безсмертнаго автора „Непризнанной Индѣйки".

Аполлонъ Егоровичъ замолчалъ и повернулся спиною.

— Вотъ такъ-то лучше будетъ, сказалъ Карачаевъ,— ѣду, ѣду, не свищу, а наѣду—не взыщи! Ну, а мы завтра же съ тобой поѣдемъ, Порфирій. Ты долженъ примириться съ женою; я все это устрою...

— Охъ, Павелъ Петровичъ... другъ мой!.. Къ несчастію... робко проговорилъ Васильковъ.

— Что̀ еще?.. Какое несчастіе? Никакого нѣтъ несчастія. Ты самъ всему виною: кислилъ, мямлилъ, самъ долженъ все поправить...

— Совсѣмъ не то, душка моя... я не про то... Примириться съ Антониночкой я сейчасъ готовъ, но... къ несчастію, мнѣ никакъ этого нельзя сдѣлать...

— Это что еще? запальчиво крикнулъ Карачаевъ.

— Да ты не сердись, Павелъ, выслушай прежде, сказалъ Васильковъ, уныло разводя раковыми глазами,—я готовъ примириться съ Антониночкой, готовъ сойтись съ ней... но, но гдѣ-жъ мы жить-то будемъ?..

— Какъ гдѣ? вотъ вопросъ! а въ Сусловкѣ?

— Я продалъ Сусловку Аристарху Ѳедорычу... Вчера, какъ проѣзжали черезъ Горшковъ, совершили купчую...

— Ну, продалъ или не продалъ, это все равно; дѣло въ томъ, что на полученныя деньги ты купишь себѣ домъ или помѣстье—вотъ въ чемъ штука-то! Если хочешь поручи мнѣ; я все это тебѣ устрою... Деньги получилъ?

— Аристархъ Ѳедорычъ сказалъ, что могу получить ихъ когда захочу...

— Ну, и ладно! Завтра, слѣдовательно, мы ѣдемъ къ Антонинѣ Васильевнѣ! рѣшительно сказалъ Карачаевъ.

Затѣмъ онъ оставилъ комнату проживальщиковъ, прошелъ въ залу и часа три ходилъ изъ угла въ уголъ, свирѣпо почесывая затылокъ.

Первый предметъ, поразившій взоры Аристарха Ѳедоровича, когда, возставъ отъ сна, расположился онъ въ вольтеровскихъ креслахъ, былъ Карачаевъ.

— А! защитникъ и покровитель дома сего! милости просимъ! весело воскликнулъ великій горшковскій мужъ.— Позволь, братецъ, еще разъ поблагодарить тебя хоть за то, что ты не оставлялъ въ одиночествѣ жены моей...

— Не за что, братецъ! недовольнымъ голосомъ отвѣчалъ Карачаевъ,—я почелъ своею обязанностью успокоить Лизавету Семеновну... Конечно, не всякій, братъ, понимаетъ то, что... ну, да не въ этомъ дѣло; я пришелъ отдать тебѣ отчетъ...

— Какой отчетъ? въ чемъ?

— Отчетъ—и больше ничего! отрывисто сказалъ Карачаевъ, косясь въ сторону.

Аристархъ Ѳедоровичъ взглянулъ на лицо мрачнаго собесѣдника и залился звонкимъ хохотомъ.

— Че-е-во? Смѣяться тутъ нечего! запальчиво крикнулъ Карачаевъ.—Тебѣ говорятъ дѣло, вотъ и все тутъ.

— Да полно, полно, взбалмошная голова ты этакая! скоро ли ты угомонишься?.. Ну, какіе тутъ отчеты ты еще затѣялъ? какіе отчеты? произнесъ Балахновъ, дружески положивъ обѣ руки на плечи Карачаева и слегка раскачивая его.—Садись-ка лучше, да разскажи, что̀ и какъ. Ну, что̀, напримѣръ, толкуютъ въ уѣздѣ? Не слыхалъ ли чего-нибудь о предстоящихъ выборахъ? Вѣдь всего, братецъ, три какія-нибудь недѣли осталось... три недѣли! заключилъ онъ торжественно.

— Я, братъ, ничего этого не знаю, да, признаться, и знать не хочу; мое дѣло сторона, нетерпѣливо перебилъ Карачаевъ, — я, братецъ, хотѣлъ поговорить тебѣ объ одномъ очень важномъ дѣлѣ, которое случилось во время твоего отсутствія, примолвилъ онъ такимъ тономъ, который ясно показывалъ рѣшительное намѣреніе быть до конца вѣрнымъ роли строгаго, дѣлового докладчика.

— Важное дѣло... ба!.. Ну, какое же это, какое важное дѣло? Я слушаю, произнесъ, подсмѣиваясь, Аристархъ Ѳедоровичъ.

Карачаевъ нахмурилъ брови и, косясь на окно, продолжалъ:

— Ты, вѣроятно, уже слышалъ, что Розалія Владиміровна Сараманаева...

— А, такъ вотъ оно въ чемъ важное-то дѣло! Ха-ха-ха!.. да, въ самомъ дѣлѣ... ха-ха! все это очень важно...

— Конечно, не всякій можетъ понимать то, что... запальчиво воскликнулъ Павелъ Петровичъ,—ну, да Богъ съ тобой! Не въ томъ штука; штука въ томъ, братецъ ты мой, что какова бы она ни была, она требуетъ назадъ свои деньги, прибавилъ Карачаевъ, смягчаясь и пытливо устремляя на Балахнова воспаленные бѣлки свои.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, признаюсь, любезнѣйшій, новость же ты мнѣ сообщилъ, нечего сказать! А, впрочемъ, кстати, такъ какъ ужъ рѣчь зашла объ этой интересной особѣ, прибавилъ Балахновъ, принимая вдругъ степенный видъ,—я хотѣлъ вчера еще поговорить съ тобою на этотъ счетъ. Скажи, пожалуйста, Павелъ Петровичъ, въ какихъ ты съ ней отношеніяхъ?

— Я, братецъ?.. Да такъ... ничего... возразилъ Карачаевъ, потирая лысину.

— Ну, такъ вотъ, видишь ли въ чемъ дѣло, подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—сдѣлай мнѣ въ такомъ случаѣ одолженіе... Дурища эта, пожалуй, чего добраго, заберетъ себѣ въ голову чортъ знаетъ что такое и начнетъ болтать всякій вздоръ на мой счетъ: окажи дружбу, съѣзди къ ней и передай ей отъ меня, что она получитъ свои деньги въ самомъ короткомъ времени... Живетъ она у попадьи въ Горшковѣ, какъ мнѣ сказывали вчера, когда я проѣзжалъ черезъ этотъ городъ. Не сомнѣваюсь въ твоемъ расположеніи; я увѣренъ, что ты не откажешься исполнить это порученіе какъ нельзя лучше, заключилъ Балахновъ, полагавшій не безъ основанія, что, за три недѣли до выборовъ, каждый неблагопріятный слухъ, даже со стороны дѣвицы Сараманаевой, можетъ повредить ему.

Возложить на Карачаева какое-нибудь трудное, деликатное порученіе и показать ему при томъ, что на него, какъ на человѣка дѣлового и расторопнаго, полагаются совершенно, значило польстить ему въ высшей степени. Выслушавъ Аристарха Ѳедоровича, онъ мигомъ расправилъ брови и сказалъ миролюбиво:

— Помилуй, душа моя, Aristarque, я самъ то же г-

ворю: непремѣнно разболтаетъ чортъ знаетъ что такое...

— Итакъ, ты ѣдешь въ Горшковъ?

— Позволь, душа моя... я не могу покуда дать тебѣ рѣшительнаго отвѣта; я прежде подумаю... сказалъ Карачаевъ, значительно насупивая брови.

Тутъ Карачаевъ приподнялся съ своего мѣста и, попросивъ Балахнова, чтобъ онъ не мѣшалъ ему, минутъ пять ходилъ по кабинету съ закинутыми за спину руками.

— Изволь, душа моя, чтобъ тебѣ доказать... я ѣду! воскликнулъ, наконецъ, Карачаевъ съ такою горячею готовностью, какъ будто дѣло шло о спасеніи человѣческой жизни.

— Я, братецъ, никогда не сомнѣвался въ твоемъ расположеніи, произнесъ Балахновъ, театрально протягивая ему руку,—только вотъ что, любезный, нельзя ли сдѣлать это какъ можно скорѣе, нынче, напримѣръ? а?..

— Ну, да, душа моя, конечно, сейчасъ же; зачѣмъ откладывать? Что дѣло, то дѣло! проговорилъ Павелъ Петровичъ, суетливо застегивая свой нанковый казакинъ.— Будь спокоенъ, я все это устрою!

Выходя изъ кабинета, онъ встрѣтилъ Василькова и Дрянкова, которые шептались у двери.

— Ты, вѣрно, за деньгами? спросилъ Карачаевъ у Порфирія Павловича...

— Да...

— Ну, хорошо; такъ получи же ихъ и дожидайся меня здѣсь. Я завтра вернусь назадъ, а послѣзавтра мы отправимся къ Антонинѣ Васильевнѣ, примолвилъ рѣшительно Павелъ Петровичъ и, не дожидаясь никакихъ объясненій, поспѣшно направился въ залу.

Четверть часа спустя, Карачаевъ летѣлъ въ Горшковъ.

Аполлонъ Егоровичъ, отпустивъ Василькова въ кабинетъ Аристарха Ѳедоровича, стоялъ, между тѣмъ, въ концѣ коридора, выжидая возвращенія сердобольнаго своего друга.

Съ нѣкоторыхъ поръ, а именно съ того самаго времени, какъ Васильковъ продалъ Сусловку и долженъ былъ получить отъ Балахнова восемь тысячъ, въ поэтической душѣ Аполлона Егоровича возникла сильная потребность сблизиться съ мягкою, нѣжною душою Порфирія Павловича. Съ прискорбіемъ сознался онъ, что въ этомъ благородномъ побужденіи, точно такъ же, какъ бо̀льшею частью во всѣхъ человѣческихъ побужденіяхъ, былъ замѣшанъ...

не то, чтобъ гнусный расчетъ, а такъ себѣ, скромное эгоистическое соображеніе. Въ прежнее время Аполлонъ Егоровичъ не видѣлъ для себя ничего оскорбительнаго въ званіи „проживальщика“: онъ находилъ весьма естественнымъ жить на чужой счетъ, ничего не дѣлая, и позволялъ человѣческому достоинству возмущаться тогда лишь, когда щелчки благотворительнаго Аристарха Ѳедоровича принимали слишкомъ явный и рѣшительный характеръ.

Теперь обстоятельства перемѣнились. Согласитесь сами: рука, начертавшая безсмертныя страницы „Непризнанной Индѣйки“, могла ли унизиться до того, чтобъ принимать подаянія? Нѣтъ, ни въ какомъ случаѣ! Аполлонъ Егоровичъ не могъ оставаться въ Ханскихъ-Прудахъ въ качествѣ проживальщика; это ни съ чѣмъ не совмѣстно. Присосѣдиться, напримѣръ, хоть къ Василькову и жить на его счетъ въ качествѣ друга—это совсѣмъ другое дѣло. Въ этомъ послѣднемъ положеніи авторское и вмѣстѣ съ нимъ человѣческое достоинство Аполлона Егоровича не находило для себя вовсе ничего предосудительнаго.

Переходя постепенно отъ одной свѣтлой мысли къ другой, Аполлонъ Егоровичъ заключилъ уже, весьма основательно, что ему не будетъ стоить никакого труда уговорить Василькова избрать мѣстомъ жительства губернскій городъ, какъ вдругъ Васильковъ показался въ дверяхъ кабинета, и Дрянковъ полетѣлъ къ нему навстрѣчу.

Въ исполинскихъ глазахъ Порфирія Павловича проглядывало на этотъ разъ такое рѣшительное намѣреніе выскочить изъ своихъ впадинъ и лицо его выражало столько испуга, что Аполлонъ Егоровичъ счелъ непремѣнною своею обязанностью схватить друга за руку и спросить: что̀ случило́сь?

Порфирій Павловичъ не отвѣчалъ; онъ ограничился выразительнымъ пожатіемъ руки и повлекъ Дрянкова, черезъ коридоръ, на противоположный конецъ залы. Тутъ Порфирій Павловичъ остановился, и, убѣдившись хорошенько, что слова его не могутъ быть услышаны Аристархомъ Ѳедоровичемъ, обратился лицомъ къ двери кабинета и произнесъ взволнованнымъ голосомъ:

— Такъ-то вы покупаете имѣнія?.. а? Такъ вотъ как покупаете вы имѣнія!.. заключилъ онъ, вращая съ зловѣщимъ видомъ своими зрачками.

— Что̀ случилось?.. Я заранѣе смущенъ, проговори

Аполлонъ Егоровичъ,—ты знаешь, какое участіе принимаю я въ этомъ дѣлѣ... Говори скорѣе...

— Ужасно!.. ужасно! Ахъ, я никогда не ожидалъ этого отъ Аристарха Ѳедоровича... я считалъ его своимъ благодѣтелемъ! воскликнулъ съ трогательнымъ отчаяніемъ Васильковъ.

— Напрасно! я всего ожидалъ отъ него; отъ него все станется... Говори скорѣе!

— Охъ, пойдемъ въ твою комнату, все разскажу! простоналъ сердобольный Васильковъ, между тѣмъ какъ лицо Дрянкова выражало высшую степень тревожной раздражительности.

— Ну? произнесъ Аполлонъ Егоровичъ, когда оба они очутились подъ лѣстницею, въ комнатѣ проживальщиковъ.

— Я просилъ у него деньги за Сусловку.

— Ну?.. повторилъ нетерпѣливо Дрянковъ.

— Онъ на это вынимаетъ изъ ящика какія-то бумаги... Смотрю... охъ, что-жъ бы ты думалъ?

— Ну?..

— Списки: на извозчика дано Василькову такого-то числа столько-то, на театръ столько-то, на платье столько-то, въ Троицкомъ трактирѣ за обѣдъ столько-то... Охъ, могъ ли я думать!

— Вотъ новость! произнесъ Дрянковъ, сжимая кулаки и стискивая зубы,—да вѣдь не самъ ли онъ таскалъ тебя въ Троицкій трактиръ?..

— Кто бы могъ это думать! снова простоналъ Васильковъ,—я вѣрилъ въ его дружбу... Повѣришь ли, все пересчиталъ, все, все до копейки... всего шесть тысячъ... Остается мнѣ получить за Сусловку двѣ тысячи...

— Ну?..

— Сказалъ, что теперь денегъ нѣтъ, что на-дняхъ отдастъ, а покуда, говоритъ, живи у меня въ Ханскихъ-Прудахъ.

— Плутъ!

— Охъ, не говори! Просто, просто, душа моя, меломанъ какой-то...

— Нѣтъ, воскликнулъ Дрянковъ, яростно взъерошивая волосы на головѣ своей,—нѣтъ, Порфирій! ты не долженъ оставаться минуты въ этомъ домѣ... Я также не останусь и поѣду съ тобою...

— Я тоже думаю, произнесъ убитымъ голосомъ Порфирій Павловичъ,—Богъ съ нимъ! Поѣдемъ къ барышнямъ

Кокуркинымъ: онѣ меня всегда любили... Боже мой, Боже мой! что со мной будетъ? Какъ покажусь я теперь Антониночкѣ и Фанагоріи Петровнѣ! заключилъ Васильковъ, дико блуждая глазами.

— Зачѣмъ же тебѣ имъ показываться? Рѣшительно не зачѣмъ. Вѣдь ты не хочешь примириться съ женою, не хочешь? Ты самъ говорилъ мнѣ это... Полно, братецъ, полно въ самомъ дѣлѣ плясать подъ дудочку Карачаева... и что такое? какое, наконецъ, имѣетъ онъ право?.. Итакъ, ты сейчасъ же ѣдешь къ Кокуркинымъ. Ты не ошибся въ нихъ: онѣ въ самомъ дѣлѣ тебя любятъ; тамъ найдемъ мы покуда пріютъ и убѣжище. Ты знаешь, Карачаевъ къ нимъ не ѣздитъ... А ты, примолвилъ Дрянковъ, обращаясь неожиданно къ двери съ поднятыми кулаками,— о, погоди, ханжа и благотворитель рода человѣческаго! ты еще поплатишься!

Заключивъ эту сентенцію энергическимъ жестомъ, Аполлонъ Егоровичъ представилъ своему другу всю необходимость покинуть Ханскіе-Пруды до возвращенія Карачаева. На этомъ основаніи, съ обѣихъ сторонъ рѣшено было отправиться какъ можно поспѣшнѣе и, главное, отправиться тайкомъ, чтобъ не было малѣйшихъ слѣдовъ побѣга и Карачаевъ не могъ бы никоимъ образомъ отъискать ихъ временнаго убѣжища.

Часа за три до обѣда, въ Ханскихъ-Прудахъ не было уже помину о двухъ пріятеляхъ.

Васильковъ, конечно, и самъ не подозрѣвалъ того непріятнаго и вполнѣ затруднительнаго положенія, въ какое поставилъ онъ Аристарха Ѳедоровича неумѣстною своею просьбою о выдачѣ денегъ за Сусловку. Всякому маломальски образованному человѣку извѣстно уже въ совершенствѣ, что такія просьбы, даже при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ должника, не имѣютъ сами по себѣ ничего особенно привлекательнаго, способнаго пробудить въ человѣкѣ хорошее расположеніе духа. Все это справедливо въ высшей степени и подтверждается какъ нельзя лучше безчисленнымъ множествомъ должниковъ, которые, изъ опасенія, вѣроятно, утратить игривое расположеніе духа, дали себѣ разъ навсегда честное слово никогда не платить своихъ долговъ. Не слѣдуетъ думать, однакожъ, чтобъ Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ принадлежалъ къ числу такихъ джентльменовъ. Во все продолженіе этого длиннаго и вполнѣ утомительнаго разсказа

нами управляла одна лишь истина, и благородное чувство это заставляетъ насъ сказать, что Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ принадлежать къ вышеупомянутымъ джентльменамъ, во-первыхъ, уже потому, что, живя постоянно въ деревнѣ, во многомъ долженъ былъ отстать отъ просвѣщеннаго вѣка. Шутки въ сторону, Аристархъ Ѳедоровичъ, въ самомъ дѣлѣ, не могъ удовлетворить требованіямъ Порфирія Павловича. Предоставляю дѣло это на ваше собственное усмотрѣніе.

Если до сихъ поръ въ сердцѣ вашемъ не возникло никакого сомнѣнія насчетъ того, что черезъ три недѣли должны непремѣнно начаться губернскіе выборы, вы, конечно, согласитесь, что изъ семи тысячъ, находящихся теперь въ карманѣ Аристарха Ѳедоровича, шесть, по крайней мѣрѣ, должны быть употреблены на то, чтобъ поддержать себя достойнымъ образомъ въ губернскомъ городѣ, гдѣ слѣдовало происходить выборамъ. Хорошо. Теперь второе: слѣдовало ли Аристарху Ѳедоровичу до выборовъ задать обѣдъ и блистательный праздникъ тѣмъ сосѣдямъ, которые имѣли счастіе стоять подъ его знаменами, или не слѣдовало задавать? Конечно, слѣдовало; это указуетъ даже здравая логика, какъ лично выражался самъ великій человѣкъ изъ Горшкова. Изъ этого явствуетъ, что Балахновъ, имѣя всего семь тысячъ, никакимъ образомъ не могъ и даже не долженъ былъ *удовлетворять* Порфирія Павловича. Ничтожные смертные должны всегда сторониться и давать дорогу великимъ людямъ!

Такъ думалъ, впрочемъ, самъ Аристархъ Ѳедоровичъ, и съ этой стороны не можетъ быть никакихъ возраженій.

Вмѣстивъ въ дипломатической головѣ своей статью объ обѣдѣ и блистательномъ празднествѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ заперся въ своемъ кабинетѣ и написалъ до пятидесяти пригласительныхъ писемъ, которыя отданы были на другой день Моисею Акишеву, съ порученіемъ развезти ихъ какъ можно скорѣе по назначенію.

Мѣшкать было нечего; обѣдъ и празднество назначались черезъ недѣлю, и до того времени Аристарху Ѳедоровичу слѣдовало еще навѣстить Старобѣльскаго, Кормонолѣя Семеновича Бирюкова и другихъ тузовъ, съ которыми читатель познакомится въ слѣдующихъ главахъ.

X.

Непредвидѣнное обстоятельство сталкиваетъ Аристарха Ѳедоровича съ такими лицами, о которыхъ онъ вовсе даже и не думалъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ написалъ весьма скоро пригласительныя письма на обѣдъ и празднество, долженствовавшія окончательно привлечь на его сторону бо̀льшую часть обывателей Горшковскаго уѣзда и этимъ самымъ доставить ему вѣрный способъ восторжествовать на предстоящихъ выборахъ надъ толпою. Развивая и соображая въ душѣ своей всѣ стороны этой истинно высокой цѣли, онъ рѣшился начать какъ можно скорѣе свои визиты. Надлежало еще вернуться заблаговременно домой, успѣть распорядиться съ обѣдомъ, обдумать рѣчи, въ которыхъ, при существующихъ обстоятельствахъ, каждое слово должно будетъ имѣть свое значеніе, и вслѣдъ за тѣмъ, по окончаніи обѣда и празднества, успѣть явиться во̀время въ губернскій городъ.

Утромъ, на третій день послѣ своего пріѣзда въ Ханскіе-Пруды, неутомимый дипломатъ снова сидѣлъ въ дорожной коляскѣ.

Сидоръ, возсѣдавшій, по обыкновенію, на козлахъ рядомъ съ молодчикомъ-кучеромъ, распѣвавшимъ „Не бѣлы-та снѣги!“ не отрывалъ глазъ отъ колеи, боясь пропустить какъ-нибудь невзначай поворотъ съ большой дороги на проселокъ, который долженъ былъ привезти его барина къ Старобѣльскому, предмету настоящаго путешествія. Невзирая на страшную грязь и слякоть, Аристархъ Ѳедоровичъ ѣхалъ очень скоро. Убаюканный сначала національной пѣснью кучера, потомъ собственными своими грёзами, онъ весь ушелъ мало-по-малу въ безпредѣльную глубину собственной души своей. Прикутавшись почти съ головою въ енотовую шубу, забившись въ мягкій уголъ экипажа, онъ мысленно созерцалъ страшную уѣздную драму, въ которой готовился играть главную роль— роль тріумфатора, и при этомъ умственный взоръ его, подобно орлу, носящемуся на высотахъ недосягаемыхъ, окидывалъ однимъ разомъ безконечную панораму Горшковскаго уѣзда съ его деревнями, лѣсами, рѣками, помѣщичьими домами, усадьбами и дорогами, какъ столбовыми, такъ равно и проселочными...

И кто бы могъ подумать, взглянувъ издали на коляску Аристарха Өедоровича, мелькавшую чуть видною точкою посреди темныхъ, необъятныхъ полей, кто бы могъ подумать, что эта ничтожная точка вмѣщала въ себѣ человѣка, мысли котораго были между тѣмъ такъ возвышенны, колоссальны и могучи?.. Никто не былъ въ состояніи даже подозрѣвать этого. Въ доказательство приведемъ нѣсколько сужденій прохожихъ, которые, къ сожалѣнію, были единственными свидѣтелями проѣзда великаго человѣка: то были, по бо̀льшей части, каменщики, шерстобиты и плотники, возвращавшіеся съ заработковъ во-свояси. Всѣ они, при видѣ коляски, нырявшей поминутно въ лужахъ и котловинахъ, останавливались, смотрѣли ей вослѣдъ съ недоумѣвающимъ видомъ, указывали на нее пальцемъ и начинали слѣдующую бесѣду: „Глядь-кась, ребята, никакъ вѣдь вонъ это баринъ ѣдетъ...“—„Кому же и быть? вѣстимо, баринъ!“—„Эхъ вы, догадчики! догадливы больно—баринъ! Нужда его какая неволитъ развѣ тащиться по эвтакой дорогѣ!.. Вишь: стыть, грязь, сиверка... баринъ! Должно быть купецъ какой запоздалъ, сердечный, съ товаромъ“. — „Анъ баринъ!“ — „Анъ нѣтъ!“ — „Анъ баринъ!“ — „Анъ нѣтъ!“ — „Полно, дядя Өедосѣй, ну чего ты глотку-то дерешь неразглядѣмши; ты погляди: вишь и кучеръ на козлахъ, и человѣкъ должно-быть господскій, да и экипажъ-то барскій!..“— „И то, ребята — обознался маленько!“ — „Вотъ такъ ужъ подлинно, братцы, охота пуще неволи!“ замѣчалъ другой,—„небось вѣдь вотъ и вотчина чай есть, и домъ, и угодье всякое... Эхъ, былъ бы я баринъ, да меня, кажись, ничѣмъ бы сюда теперь не заманили; стыть, грязь! Подлинно охота пуще неволи! Сидѣлъ бы дома на лежанкѣ; тутъ барыня ходитъ красовитая такая... прислуга тебѣ всякая... чего бы, кажись, еще надоть? А то вонъ, вонъ, погляди-тка, братцы,—вонъ, насилу лошади тащатъ; того и смотри, шину оставитъ, либо сядетъ по ступицу... Ну, ужъ, подлинно, ребята, какъ передъ Богомъ: охота пуще неволи!..“ Такимъ же почти образомъ толпа объясняетъ себѣ или обсуживаетъ грандіозно-сложные замыслы великихъ людей! Жалкіе смертные! жалкія сужденія!.. Впрочемъ, что̀ толковать объ этомъ! Общій удѣлъ великихъ людей — быть непонятыми... Коляска, между тѣмъ, давно ужъ свернула съ большой дороги и ѣхала проселкомъ. Тутъ нить размышленій Аристарха Өедоро-

вича, до сихъ поръ строго-послѣдовательная, стала прерываться чаще и чаще, по случаю страшныхъ, окончательно нестерпимыхъ толчковъ, претерпѣваемыхъ коляской, и вслѣдъ за тѣмъ, по естественному закону отраженія, самой особой Балахнова. Были минуты, когда коляска ложилась на-бокъ, заставляя Аристарха Ѳедоровича принимать почти горизонтальное положеніе; были минуты, когда коляска подпрыгивала, неожиданно опрокидывалась на другой бокъ и перебрасывала Аристарха Ѳедоровича въ противоположный уголъ съ такою быстротою, что онъ не успѣвалъ ухватиться руками за фартукъ—обстоятельство, причинявшее каждый разъ дипломатической головѣ его сильную контузію. Являлись опять-таки минуты, въ которыя коляска принимала такое сильное наклоненіе впередъ, что знаменитый путешественникъ принужденъ былъ упираться со всею силою ногами, чтобъ не покатиться на дно кузова. Разъ даже онъ выглянулъ изъ-подъ кожанаго фартука, чтобъ лично убѣдиться въ степени справедливости словъ Сидора и кучера, увѣрявшихъ, будто они точно ѣдутъ по дорогѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ убѣдился, что они точно ѣхали по дорогѣ. Коляска только что миновала послѣднія избы какой-то деревушки и приближалась къ маленькому и невзрачному господскому дому, который съ тоскливымъ видомъ глядѣлся въ прудъ. Дорога проходила подлѣ самаго дома. Окинувъ быстрымъ взоромъ окружавшую мѣстность, Аристархъ Ѳедоровичъ мгновенно откинулся на дно коляски, опустилъ фартукъ, приказалъ остановиться и подозвалъ камердинера.

— Что это такое? Это, кажется, Тросновка?.. торопливо спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Тросновка, сударь; та самая, гдѣ изволятъ жить Фуколъ Ивановичъ, отвѣчалъ Сидоръ, приподымая шляпу, украшенную галуномъ.

— Фу! я и забылъ совсѣмъ, что придется проѣзжать мимо... Дорога идетъ, кажется, подлѣ самаго дома?..

— Такъ точно-съ, поѣдемъ мимо самыхъ оконъ... Прикажете остановиться?

— Олухъ! я затѣмъ приказалъ остановиться, чтоб сказать тебѣ, чтобъ проѣхать мимо дома какъ можн скорѣе. Вели гнать во весь духъ; а если случится, чт узнаютъ коляску и побѣгутъ въ догоню — сказать, чт ѣдете одни. Ступай!

Сидоръ надѣлъ шляпу и сѣлъ на козлы.

— Гей, гой! Охъ, вы соколики! У-у! залился лихачъ-кучеръ—и коляска понеслась во весь духъ.

Аристархъ Өедоровичъ, между тѣмъ, высунулъ голову изъ енотоваго воротника и, приложивъ глазъ къ щели кожанаго фартука, глядѣлъ съ презрительно-сострадательнымъ видомъ на приближавшійся домикъ; выровнявшись съ окнами, въ которыхъ мелькнуло тотчасъ же нѣсколько любопытныхъ головъ, онъ снова откинулся въ уголъ и, утонувъ въ шубѣ, подумалъ:

„Жалкія созданія! зачѣмъ вы существуете? Бремените только мать сыру-землю, да небо коптите!.. Гдѣ цѣль земного бытія вашего?.. Ничтожество!

„Вамъ чувствъ высокихъ не дано,
Отъ колыбели до мог-л...“

Но Аристархъ Өедоровичъ не докончилъ; внезапно раздался трескъ: колесо съ обломаннымъ концомъ оси отлетѣло въ сторону, коляска грохнулась о земь и выбросила своего величаваго владѣльца въ грязную лужу, противъ самыхъ оконъ невзрачнаго домика.

Одни великія, сверхъестественныя событія, какъ, напримѣръ, измѣна Кошкина, или потеря долины, въ состояніи были потрясать могучій духъ Аристарха Өедоровича, или возмутить величаво-стройный потокъ мыслей въ дипломатической головѣ его; но часъ бываетъ не ровенъ: на этотъ разъ произошло какое-то особенное исключеніе, потому, можетъ-статься, что быстрота и неожиданность паденія не дали ему возможности сообразиться съ мыслями и овладѣть собою.

Аристархъ Өедоровичъ быстро прыгнулъ на ноги, еще быстрѣе окинулъ взоромъ окна дома, выпрямилъ грудь, но, не встрѣтивъ ужъ никого въ окнахъ, повернулся къ нимъ спиною и, бѣшено заскрежетавъ патентованными зубами, взглянулъ на окружавшіе его предметы.

Коляска съ отломленною заднею осью неуклюже лежала въ грязи; мигачъ-кучеръ барахтался въ постромкахъ, стараясь удержать лошадей, которыя исчезали въ клубахъ сѣдого пара и наполняли воздухъ нетерпѣливымъ храпомъ и фырканьемъ. Сидоръ, оконтуженный со всѣхъ возможныхъ сторонъ и ошеломленный, вдобавокъ, исполинскимъ скачкомъ, стоялъ безъ шляпы, дико хлопалъ глазами, полузалѣпленными грязью, и съ недоумѣвающимъ видомъ разводилъ руками. Тросновскіе мужики, бабы, ребятишки и дворовые люди сбѣгались со всѣхъ концовъ и

становились полукругомъ позади коляски, наподобіе того, какъ это дѣлаетъ въ театрѣ свита Фортимбраса, или римскія трибуны въ то время, когда на авансценѣ совершается какое-нибудь кровавое дѣло.

Картина поразительная, достойная кисти великаго мастера и, пожалуй, даже самого Калины!

Первымъ движеніемъ Сидора, когда онъ пришелъ въ себя, было броситься къ барину и освободить его, помощью ладони, отъ толстыхъ слоевъ грязи, облипавшихъ его гордую грудь и темно-зеленые панталоны. Все это было дѣломъ одной секунды; но и секунды этой достаточно было Аристарху Ѳедоровичу, чтобъ вполнѣ овладѣть собою.

— Сидоръ! сказалъ онъ послѣ того, какъ камердинеръ снова вооружился своей шляпой, а обступившіе люди рѣшились, наконецъ, поставить на ноги кучера, — сейчасъ же найми у здѣшнихъ мужиковъ подводы, вели увязать на нихъ коляску и немедленно отвези ее въ Ханскіе-Пруды. Какъ пріѣдешь, распорядись, чтобъ тотчасъ же сварили ось, а завтра утромъ быть здѣсь съ коляской. Дома скажите, что я, слава Богу, здоровъ и невредимъ. Благодарите Творца: одно небесное милосердіе могло избавить насъ отъ гибели. Благодарю! заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ обступившему его народу.

Тутъ онъ обратилъ снова величественное лицо свое къ дому и, замѣтивъ въ одномъ изъ оконъ какую-то фигуру, поспѣшилъ выпрямить грудь и послать рукою привѣтливый знакъ, выражавшій, чтобъ о немъ не безпокоились, что онъ, слава Богу, здоровъ и невредимъ.

Затѣмъ, снисходительно улыбаясь направо и налѣво, побрелъ онъ ровнымъ шагомъ къ маленькому крылечку, которое устроено было въ переднемъ углу зданія.

Крылечко, сѣни, равно какъ и весь домъ Фукола Ивановича казались заплѣсневѣлыми отъ старости и сырости; но Балахновъ не обратилъ на это никакого вниманія: онъ входилъ въ домъ бѣднаго человѣка и, слѣдовательно, думалъ только о томъ счастьи, какое доставитъ его посѣщеніе скромнымъ жителямъ убогаго жилища.

При входѣ въ переднюю, глазамъ Балахнова предстала слѣдующая картина: босая дѣвчонка, въ затрапезномъ платьишкѣ, съ головою, встрепанною, какъ старый вѣникъ, стояла подлѣ конника и употребляла неимовѣрныя усилія, чтобъ разбудить коренастаго парня. Парень сидѣлъ

какъ турокъ, поджавъ подъ себя исполинскія босыя ноги; свѣсивъ на грудь голову, украшенную бѣлокурыми волосами, онъ спалъ крѣпкимъ сномъ; темновато-бурая рубашка и желтоватые нанковые панталоны составляли одежду заспаннаго дѣтины; черныя нитки, переброшенныя черезъ его шею, ножницы, игла въ лѣвой рукѣ, лохмотья, разбросанныя вокругъ, турецкая поза и, наконецъ, наперстокъ, сверкавшій на пальцѣ правой руки, свидѣтельствовали краснорѣчиво, что парень занимался весьма успѣшно портняжнымъ искусствомъ.

Какъ только Аристархъ Ѳедоровичъ показался въ передней, дѣвчонка отскочила отъ конника и съ оторопѣвшимъ видомъ пустилась въ бѣгство.

Гость посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво, потомъ, потерявъ, видно, терпѣніе, толкнулъ парня и сказалъ:

— Любезнѣйшій!

Парень тряхнулъ волосами, поднялъ голову и устремилъ на гостя мутный взоръ, исполненный глубочайшей меланхоліи.

— Любезный, проснись! пора! повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пославъ вторичный толчокъ.

Парень тряхнулъ волосами, спустился съ конника и принялся освобождать гостя отъ шубы.

— Дома Фуколъ Иванычъ? громко спросилъ Балахновъ, обращаясь преимущественно къ особамъ, которыя, по всѣмъ соображеніямъ, должны были находиться въ дальнихъ покояхъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, пролепеталъ парень, не успѣвшій еще придти въ полное сознаніе.

— Гдѣ же онъ?

— Не могу... о-о-о... не могу знать! отвѣчалъ парень, прислоняя ладонь ко рту.—Барышня дома, да молодая барыня дома...

— Ольга Фуколовна? спросилъ Балахновъ.

— Да-съ, онѣ, отвѣчалъ парень и отворилъ дверь въ залу.

Комната, въ которую вступилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, была не многимъ больше прихожей: два окна на извѣстную ужъ дорогу, два окна на дворъ и сараи. Крошечныя эти окна, о четырехъ стеклахъ, украшались, однакожъ, гардинами: одна половина окна задрапировывалась краснымъ камлотомъ, другая — миткалемъ; стрѣлки не доходили до верхней части оконъ и оставляли между гарди-

нами и верхнимъ косякомъ изрядное пространство, сквозь которое можно было любоваться плаксивымъ небомъ — обстоятельство, заставлявшее предполагать, что въ общей сложности не достало нѣсколькихъ аршинъ камлота; оно, въ самомъ дѣлѣ, такъ и было; многія особы совѣтовали дочерямъ Фукола Ивановича раздрапировать окна миткалемъ, котораго находилось у нихъ въ волю, но дочери Фукола Ивановича, проникнутыя, съ одной стороны, явною необходимостью слѣдовать модѣ, воодушевляемыя, съ другой стороны, примѣромъ богатыхъ сосѣдей, поставили на своемъ и украсили окна дешевенькимъ пурпуромъ. Какъ бы тамъ ни было, пурпуръ этотъ, хотя дешевенькій, производилъ, въ совокупности съ другими предметами комнаты, такой же точно эффектъ, какъ желтыя франтовскія перчатки на ободранномъ нищемъ; красныя занавѣски и рядомъ съ ними прокиснувшія стѣны, черныя картинки въ черныхъ рамкахъ и закоптѣлый, треснувшій потолокъ, ощеливавшій дрань, производили на васъ впечатлѣніе тѣхъ франтовъ съ Невскаго проспекта и Тверского бульвара, которые, невзирая на то, что судьба даровала имъ косую, рябую физіономію и щетинистые рыжіе волосы, кокетливо повязываютъ на шею щегольскіе яркихъ цвѣтовъ галстуки. Изъ картинокъ сохранилась та только, на которой изображалась груша въ учетверенномъ видѣ; внизу можно было явственно различить подпись: „груша бонъ-кретьенъ“. Ко второму окну, налѣво, примыкало огромное старомодное кожаное кресло; подлѣ столикъ; на немъ кружка, покрытая конвертомъ, футляръ очковъ, зеленый глазной зонтикъ домашняго издѣлія; на окнѣ шерстяной колпакъ, календарь, пузырекъ съ чернилами и бумажка съ горкою сушеной малины—это любимое мѣсто Фукола Ивановича. Весь уголъ позади креселъ оклеенъ синей сахарной бумагой, для предохраненія старческой головы хозяина дома отъ сквозныхъ вѣтровъ и ревматизма. На небольшихъ столикахъ, расположенныхъ противъ другихъ оконъ, возвышаются горки пробнаго овса, гречихи, ржи и кукурузы; мебель состоитъ изъ кожаныхъ стульевъ, съ высокими полуобломанными спинками; тутъ лѣпится также длинный диванъ, обитый кожей и утыканный когда-то гвоздями съ мѣдными головками, но гвозди теперь всѣ почти ужъ выпали и на мѣстѣ ихъ представляются отверстія.

Кромѣ всѣхъ этихъ предметовъ, въ комнатѣ находился

еще высокій молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати. Его блѣдные, длинные волосы, зачесанные къ вискамъ и заложенные за уши, открывали крошечное, болѣзненное лицо, безъ всякаго опредѣленнаго содержанія. Юноша былъ, казалось, въ сильномъ волненіи и курилъ изъ черешневаго чубука, такого же длиннаго и сухощаваго, какъ ноги его владѣльца, прикрытыя клѣтчатыми панталонами со штрипками и въ обтяжку.

Молодой человѣкъ былъ свидѣтелемъ несчастнаго паденія; онъ видѣлъ также, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ направился къ дому и, слѣдовательно, ожидалъ съ секунды на секунду появленія въ залу, но, со всѣмъ тѣмъ, при видѣ Балахнова, смутился и обнаружилъ даже сильную робость.

— А, мсьё Ивановъ, здравствуйте! сказалъ Аристрахъ Ѳедоровичъ ласково-покровительственнымъ тономъ, между тѣмъ какъ юноша неловко расшаркивался,—здравствуйте! Получилъ сейчасъ скорбное извѣстіе о томъ, что почтеннѣйшаго и премногоуважаемаго Фукола Иваныча нѣтъ дома; сожалѣю, весьма сожалѣю!..

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ улыбнуться и продолжалъ:

— Если не ошибаюсь, вы, кажется, не узнаете меня, мсьё Ивановъ? Стыдно, молодой человѣкъ, стыдно! А я такъ васъ помню, помню очень хорошо; помню, какъ вы были еще вотъ этакимъ, примолвилъ онъ, показывая на аршинъ отъ полу и прислушиваясь чуткимъ ухомъ къ вознѣ и шелесту туго-накрахмаленныхъ юбокъ, раздававшемуся за сосѣднею стѣною. — Ну, такъ какъ же вы думаете, молодой человѣкъ, кто я такой, а? заключилъ Балахновъ, становясь передъ юношею и пристально всматриваясь въ его лицо.

— Какъ же-съ... я помню-съ... вы... Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ... проговорилъ застѣнчивый юноша такимъ глухимъ голосомъ, какъ будто во рту у него была каша.

Вмѣсто отвѣта, Аристархъ Ѳедоровичъ протянулъ ему съ театральною пантомимою руку.

Въ эту самую минуту дверь изъ залы въ другія комнаты отворилась и, выпустивъ молодую даму средняго роста, быстро захлопнулась, наподобіе театральныхъ дверей, которыя, какъ извѣстно, захлопываются такъ скоро единственно для того, чтобъ скрыть отъ взоровъ публики хламъ, наполняющій заднюю часть сцены.

Молодая дама, появившаяся такъ неожиданно, пред-

ставляла изъ себя довольно миловидную особу и могла бы съ большимъ успѣхомъ привлекать взоры каждаго, если бъ страшное количество туго накрахмаленныхъ юбокъ, воздымавшихся и качавшихся, наподобіе воздушнаго шара, готоваго пуститься за облака, не безобразило ея стройнаго стана; лицо ея, оживленное парою голубыхъ глазъ, приподнятыхъ нѣсколько къ небу,—какъ будто она въ самомъ дѣлѣ слѣдила за воздушнымъ полетомъ юбокъ въ заоблачныя пространства, — могло бы также быть очень мило, если бъ не мѣшала этому неуклюже-фантастическая прическа, состоявшая изъ маленькихъ буколь и локоновъ, подобранныхъ къ вискамъ.

Дама была не кто иная, какъ старшая дочь Фукола Ивановича, вышедшая три года тому назадъ замужъ за помѣщика Чибезова.

— Мсьё Балахновъ, ахъ, Боже мой! воскликнула она съ такимъ изумленіемъ, какъ будто вовсе не ожидала, не думала и не гадала застать гостя въ залѣ, — какой счастливый случай доставляетъ намъ удовольствіе видѣть васъ у себя? Боже мой, Боже мой! какъ быстро летитъ время! Давно ли я была еще ребенкомъ... а теперь!.. Сколько лѣтъ, сколько зимъ мы съ вами не видались! Какъ мило, какъ любезно съ вашей стороны...

— Сударыня, перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, раскланиваясь съ той свѣтской непринужденностью, которая была ему такъ свойственна,—не случай привелъ меня къ вамъ, нѣтъ, не случай, сударыня, а сама судьба предугадала, такъ сказать, живѣйшее стремленіе моего сердца... Сегодня утромъ я сѣлъ въ коляску и приказалъ кучеру дать волю лошадямъ: пусть, сказалъ я, везутъ онѣ меня туда, куда влечетъ меня мое сердце... Мы прискакали прямо къ вашему дому; противъ вашихъ оконъ коляска моя разбивается вдребезги — и я благословляю судьбу, даровавшую мнѣ случай пожать вамъ ручку... заключилъ онъ, приводя въ дѣйствіе слова свои. Желчь и бѣшенство Аристарха Ѳедоровича имѣли похвальное свойство мгновенно утихать въ присутствіи хорошенькихъ образчиковъ прекраснаго пола и нерѣдко вели за собою потоки цвѣтистыхъ фразъ, исполненныхъ обворожительной любезности. Такъ грозныя бури величественныхъ южныхъ морей, утихая при первыхъ лучахъ яснаго солнца, быстро уносятъ сѣдыя свои волны отъ берега, усыпая его драгоцѣнными, серебристыми раковинами...

— Ахъ, Боже мой, коляска ваша сломалась! Что̀ я слышу! Вы упали, ушиблись, можетъ быть? воскликнула съ испугомъ молодая дама; но, успокоенная Балахновымъ, который просилъ пріюта на эту ночь, она подхватила скороговоркою: — Боже мой, что вы говорите: пріюта! Какъ вамъ не стыдно, г. Балахновъ! Весь нашъ домъ къ вашимъ услугамъ... А каково! папеньки-то нѣтъ, какъ на зло! Представьте, уѣхалъ сегодня утромъ; онъ будетъ въ отчаяніи...

— Благодарю. Кстати, какъ его ноги? съ трогательнымъ участіемъ спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Благодарю васъ, г. Балахновъ. Ноги его въ томъ же почти безнадежномъ положеніи и, представьте, со всѣмъ тѣмъ, онъ не перестаетъ хлопотать, ѣздить, безпокоиться! Вотъ сегодня, напримѣръ, мы всѣ упрашивали его остаться дома—нѣтъ, не послушалъ, поѣхалъ, и какъ бы вы думали, зачѣмъ? Верстахъ въ двадцати отъ насъ живутъ два несчастные сосѣда: Свищовъ, Кондей Иванычъ, и Полушкинъ, Проклъ Иванычъ; впрочемъ, вы ихъ знаете; Свищовъ и Полушкинъ опять поссорились—это случается съ ними каждый день, какъ вамъ извѣстно; ну и пусть бы ихъ—такъ нѣтъ, папенька, узнавъ объ этомъ, тотчасъ же поѣхалъ мирить ихъ, а самъ, повѣрите ли, всѣ эти дни жаловался ногами и ревматизмами... Услышавъ о его положеніи, я и мужъ нарочно пріѣхали изъ деревни навѣстить его; и что жъ? при всемъ нашемъ стараніи, не могли удержать его не ѣздить къ Свищову; онъ, какъ будто, далъ, право, какой-то обѣтъ примирять всѣхъ ссорящихся и готовъ, кажется, лишь бы достигнуть своей цѣли, не щадить собственнаго своего здоровья...

Молодая дама проговорила все это безъ одышки и не чувствуя, повидимому, ни малѣйшей усталости. Все это происходило единственно изъ привычки, изъ старанія поддержать репутацію любезной дамочки, репутацію, полученную въ первый же мѣсяцъ замужества; она болтала безъ умолку, и, проболтавъ такимъ образомъ три года сряду, языкъ ея естественнымъ образомъ дошелъ ужъ до того, что не чувствовалъ ни малѣйшаго утомленія.

— Ахъ, Боже мой! я, однакожъ, заболталась, сказала она съ неподражаемою наивностью, — я забыла представить вамъ моего кузена, мсьё Балахновъ; мой cousin, Ваничка Ивановъ.

— Мы ужъ знакомы, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ,

вторично протягивая руку застѣнчивому юношѣ,—я зналъ его еще вотъ этакимъ, примолвилъ онъ, улыбаясь и снова приподымая руку на аршинъ отъ полу.

— Ахъ, и въ самомъ дѣлѣ! вы должны были видѣть его у тетушки Пульхеріи Андреевны! Помните тетушку Пульхерію Андреевну, мсьё Балахновъ? какая была милая, любезная, ласковая, привѣтливая старушка!.. А вотъ, мсьё Балахновъ, сестра моя Любочка: вы также должны помнить ее еще ребенкомъ... произнесла Чибезова, обращаясь къ двери.

— Помню ли я ее, Господи Твоя воля! чуть на рукахъ не носилъ! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, стараясь придать лицу своему восторженное выраженіе и протягивая обѣ руки восемнадцатилѣтней брюнеткѣ съ зеленымъ лицомъ, одѣтой въ черное коленкоровое, траурное платье.— Боже, какъ перемѣнилась, похорошѣла! продолжалъ великій горшковскій мужъ, пожимая пухленькія руки дѣвушки, которая присѣдала.—А помните ли, какъ у тетушки вы подбѣгали ко мнѣ и говорили: „дяденька, дай конфетку?" а? ха, ха!..

Дѣвушка зардѣлась, сказала: „помню-съ" и отошла къ окну.

Аристархъ Ѳедоровичъ замѣтилъ взглядъ, которымъ обмѣнялись зеленоватая брюнетка и ея троюродный братецъ, замѣтилъ, какъ мгновенно оживился юноша, и заключилъ тотчасъ же, что оба они должны были быть неравнодушны другъ къ другу. Онъ никакъ только не могъ понять причины, побудившей молоденькую дѣвушку надѣть траурное платье.

Ольга Фуколовна сообщила, между тѣмъ, Аристарху Ѳедоровичу, что остальныя ея сестры: Соничка, Лидочка и Вѣрочка, которыхъ онъ долженъ былъ точно такъ же помнить дѣтьми, уѣхали гостить къ одной сосѣдкѣ, и пригласила гостя занять мѣсто въ большихъ креслахъ; но гость отказался, сказавъ, что это мѣсто принадлежитъ ей по праву, какъ хозяйкѣ, и поспѣшилъ взять стулъ.

Слушая съ подобающимъ вниманіемъ несмолкаемую болтовню хорошенькой Чибезовой, Аристархъ Ѳедоровичъ не пропускалъ, однакожъ, случая бросать украдкой взгляды на зеленую брюнетку и ея кузена. Онъ замѣтилъ, что оба они сначала какъ будто дулись другъ на друга; молоденькая дѣвушка часто отворачивалась къ окну, при чемъ на лицѣ кузена проступали каждый разъ признаки

глубокаго отчаянія; мало-по-малу, черные глаза дѣвушки стали чаще и чаще обращаться къ кузену, который началъ постепенно обнаруживать признаки восторженнаго состоянія; потомъ оба вдругъ повеселѣли, придвинули другъ къ другу стулья и стали шептаться; потомъ Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ, какъ дѣвушка приподнялась неожиданно со своего мѣста, вышла изъ залы, и какъ, пять минутъ послѣ того, снова вернулась въ залу, но ужъ въ розовомъ коленкоровомъ платьѣ.

Невинные эти маневры, приводившіе на память Аристарху Ѳедоровичу ту блаженную эпоху, когда онъ былъ еще юношею, страдалъ и влюблялся, занимали его въ высшей степени, и, увлеченный такими воспоминаніями, онъ, безъ сомнѣнія, продолжалъ бы оставаться глухимъ слушателемъ любезной своей собесѣдницы, если бъ рѣчь ея не зашла случайно о предметѣ дѣйствительно достойномъ интереса.

— Представьте себѣ, мсьё Балахновъ, сказала неожиданно словоохотливая Ольга Фуколовна, — представьте, старшій братъ Кормонолѣя Семеныча Бирюкова, Изосимъ Семенычъ, умеръ...

— Можетъ ли быть? воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обнаруживая на этотъ разъ, въ своемъ голосѣ и движеніяхъ, неподдѣльное участіе.

— Серьезно. Что жъ тутъ удивительнаго? человѣку было за восемьдесятъ. Мнѣ сказывали объ этомъ барышни Кокуркины... онѣ все знаютъ... Ахъ, кстати, вы знаете, у нихъ послѣзавтра вечеринка, по случаю именинъ Вѣры Андреевны; вы получили приглашеніе, но, должно-быть, разъѣхались съ посланнымъ; сегодня утромъ онъ поѣхалъ отъ насъ прямо къ вамъ...

— Когда умеръ Изосимъ Семенычъ, вы знаете? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ необычайною живостью.

— Третьяго дня... Я, впрочемъ, признаться, не очень его жалѣю; хоть это и грѣхъ, но что же дѣлать!.. Онъ, говорятъ, былъ такой скряга, фи! Представьте, мнѣ сказывали, что когда онъ умиралъ, это было ночью, и подали свѣчку—онъ сказалъ, чтобъ затушили скорѣй свѣчку, что можно умереть и безъ огня... Фи, фи, какой гадкій!..

„Слава Богу, я не опоздалъ на похороны; они, по всѣмъ вѣроятіямъ, будутъ происходить завтра!“ думалъ между тѣмъ Аристархъ Ѳедоровичъ, продолжая улыбаться собесѣдницѣ.

Развивая мысль о томъ, что въ настоящемъ, разстроенномъ положеніи Кормонолѣя Семеныча легче будетъ на него подѣйствовать, склонить на свою сторону и уговорить ѣхать въ губернскій городъ на выборы, великій дипломатъ рѣшился отложить визитъ къ Старобѣльскому и ѣхать завтра же утромъ къ Бирюкову.

„Сверхъ того, по случаю похоронъ, къ Бирюкову, вѣрно, съѣдется много народа, и авось удастся затащить кого-нибудь на обѣдъ и празднество, а тамъ человѣкъ мой—не отвертится!“ заключилъ мысленно Аристархъ Ѳедоровичъ, озаренный потокомъ счастливыхъ мыслей.

Съ этой минуты рѣчь Аристарха Ѳедоровича закипѣла живымъ ключомъ, и любезность его приняла характеръ самый игривый и обворожительный. Онъ не роптал ужъ на судьбу, забросившую его въ домикъ жалкихъ смертныхъ.

Оставшись наединѣ съ застѣнчивымъ кузеномъ (Ольга Фуколовна и ея сестра покинули залу подъ тѣмъ предлогомъ, будто слѣдовало имъ сдѣлать распоряженія касательно чайной церемоніи), Аристархъ Ѳедоровичъ приподнялся со своего мѣста, подошелъ къ юношѣ и, потрепавъ его дружески по плечу, сказалъ съ веселымъ видомъ:

— Ну, такъ какъ же, молодой другъ мой? не думаемъ ли мы поѣхать на предстоящіе выборы—а?..

— Я бы очень хотѣлъ-съ...

— Желаніе похвальное! Вашу руку, молодой человѣкъ! Въ нынѣшній вѣкъ не во всѣхъ молодыхъ людяхъ найдешь такое благородное стремленіе... Къ тому же, вы, если не ошибаюсь, имѣете право на одинъ голосъ... Вѣдь у васъ, кажется, помнится мнѣ, сто душъ?

— Нѣтъ-съ, тридцать...

— Ба! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, значительно осматривая юношу и потирая переносицу,—ну, да что до этого. Была бы охота ѣхать. Мы можемъ устроить слѣдующее: я соберу двухъ-трехъ молодыхъ людей, у которыхъ одинаковое съ вами состояніе, составится въ сложности душъ сто, и тогда выберемъ изъ васъ представителя этихъ ста душъ, который будетъ имѣть право на одинъ голосъ... Я вамъ обѣщаю: вы будете этимъ представителемъ... Лестное назначеніе для молодого человѣка вашихъ лѣтъ!.. А вотъ что: пріѣзжайте-ка ко мнѣ въ будущую пятницу обѣдать; мы переговоримъ объ этомъ; ручаюсь, что вамъ будетъ очень весело; хорошенькихъ

гибель... Вѣдь мы любимъ хорошенькихъ — а? Ну, такъ по рукамъ — въ пятницу? заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, похлопывая по рукѣ юноши съ неописаннымъ добродушіемъ.

— Очень пріятно-съ, отвѣчалъ юноша такимъ печально-разстроеннымъ тономъ, который невольно высказывалъ, что онъ снова поссорился со своей кузиной.

Такое предположеніе не замедлила подтвердить молоденькая кузина, появившаяся въ эту минуту въ дверяхъ съ грустно нахмуреннымъ лицомъ; траурное платье, снова замѣнившее мѣсто розоваго, не оставляло въ этомъ ужъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Въ то же время на порогѣ показалась Чибезова, и зала, на минуту спокойная, снова наполнилась несмолкаемою болтовнею, перебиваемою время отъ времени веселымъ смѣхомъ именитаго гостя.

Пять минутъ спустя, встрепанная дѣвчонка, будившая заспаннаго парня, поставила на столъ свѣчи—обстоятельство, тотчасъ же сообщившее мрачной комнатѣ видъ веселый и уютный. Видъ комнаты сдѣлался еще веселѣе, когда показался самъ заспанный дѣтина съ огромнымъ самоваромъ въ рукахъ, который пищалъ и шипѣлъ, пуская ему въ лицо струи сѣдого пара. Самоваръ поставленъ на столъ; заспанный дѣтина удалился; маленькое общество, подъ предсѣдательствомъ Ольги Фуколовны, расположилось вокругъ стола. Во время этихъ приготовленій, зеленая брюнетка успѣла повеселѣть, а за ней, конечно, повеселѣлъ и застѣнчивый кузенъ. Затѣмъ снова явилось на сцену розовое платье. Аристархъ Ѳедоровичъ лукаво подмигнулъ старшей сестрѣ на молодую чету и засмѣялся; засмѣялась и старшая сестра; засмѣялась, наконецъ, и молодая чета. Разговоръ сдѣлался на минуту общимъ.

— Одно мнѣ только очень непріятно, мсьё Балахновъ, воскликнула неожиданно Чибезова,—ужасно, ужасно непріятно: зачѣмъ нѣтъ теперь съ нами моего Поля! Вѣдь надо же, право, было ему уѣхать!.. Такая досада!.. Мнѣ, просто, плакать хочется!.. примолвила она, придавая своему лицу выраженіе дѣтской досады.

— Мнѣ кажется, кузиночка, онъ сказалъ, что вернется назадъ сегодня вечеромъ, робко пробормоталъ юноша.

— О, какъ бы я была счастлива! наивно воскликнула Чибезова, возводя голубые глаза свои къ потолку.—Но нѣтъ, нѣтъ, это мечта, одна лишь воздушная мечта!..

Онъ, вѣрно, заигрался гдѣ-нибудь въ карты... Представьте, мсьё Балахновъ: поѣхалъ на два дня, и вотъ теперь пятый день не возвращается! Такой, право, гадкій! О, я ужасно, ужасно на него зла!..

— Сударыня, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, любезно наклоняя голову,—всѣ мужчины таковы; они никогда не цѣнятъ тѣхъ благъ, которыя даруетъ имъ Провидѣніе, и, сверхъ того, они никогда не держатъ своихъ обѣщаній, что, такъ сказать, истина, аксіома, подтвержденная вѣками...

— О, нѣтъ, нѣтъ, мсьё Балахновъ! прошу васъ не нападать на моего Поля; мой Поль—исключеніе; онъ вовсе не похожъ на всѣхъ васъ, мужчинъ, безжалостныхъ эгоистовъ! воскликнула Чибезова съ дѣтскою игривостью,—нѣтъ-съ: мой Поль совсѣмъ не такой; мой Поль ангелъ! примолвила она страстно, прижимая носовой платокъ къ груди своей.—О, мсьё Балахновъ! заключила она восторженно,—что можетъ быть возвышеннѣе, что можетъ быть священнѣе того чувства, когда жена обожаетъ своего мужа?..

— Скажите лучше, сударыня, вдохновенно произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—что́, вообще, можетъ быть возвышеннѣе чувства любви; я разумѣю *любовь* въ обширномъ значеніи этого высокаго слова, любовь, подхватилъ онъ,—чувство благороднѣйшее, святѣйшее изъ всѣхъ, вложенныхъ Творцомъ въ сердце человѣческое:

„А кто любилъ, кто былъ любимымъ,
Тотъ въ свѣтѣ семъ не даромъ жилъ,
Не даромъ землю бременилъ!“

Юноша пожалъ украдкою подъ столомъ руку своей кузины; Чибезова схватила руку Аристарха Ѳедоровича.

— О, мсьё Балахновъ, merci, сто кратъ merci! ваши слова освѣжили мнѣ душу. О, какъ вы хорошо понимаете чувства!.. Пожалуйста, не откажите мнѣ... нѣтъ, вы не откажете, напишите мнѣ въ альбомъ все, что вы сейчасъ сказали...

Аристархъ Ѳедоровичъ самодовольно улыбнулся и сдѣлалъ глубокій, молчаливый поклонъ.

Черезъ минуту на столѣ явился альбомъ, величиною съ ладонь, весь почти исписанный мелкимъ почеркомъ, испещренный сердцами, бабочками и жертвенниками; кузенъ поспѣшилъ поставить передъ гостемъ скляночку съ чернилами; Чибезова отыскала чистую страничку; ма-

ленькое общество тѣсно прижалось къ именитому гостю и вперило любопытные глаза на бѣлый листъ альбома.

Аристархъ Ѳедоровичъ провелъ рукою по высокому лбу, задумался, потомъ улыбнулся и начерталъ слѣдующее незабвенное изреченіе:

„*Чувство любви!..*

„Любовь—чувство благороднѣйшее, святѣйшее изъ всѣхъ вложенныхъ Творцомъ въ сердце человѣческое—чувство, которое, какъ по всему видно, становится рѣже и рѣже въ свѣтѣ, которое, увы! вскорѣ будетъ пылать въ сердцахъ только немногихъ избранныхъ, а прочимъ извѣстно будетъ лишь по сказаніямъ минувшихъ вѣковъ. Преданія и развалины священной старины, завѣты родительскіе, игры дѣтскихъ лѣтъ, мечтанія юношескія—все это истребляется тлетворнымъ дыханіемъ эгоизма, все поглощается гнуснымъ расчетомъ, какъ цвѣтущіе города и села покрываются истребительною лавой, оставляющею на нихъ, по охлажденіи, ровную поверхность! Близкіе наши потомки станутъ читать въ книгахъ повѣсть о быломъ, незнакомомъ имъ вѣкѣ Астреи; они не будутъ вѣрить, чтобъ онъ когда-либо существовалъ; другіе станутъ осыпать его насмѣшками и клеймить презрѣніемъ!.. Едва ли немногіе избранные будутъ питать въ сердцѣ огнь священный! Но, можетъ быть, все клонится къ лучшему, только не для насъ, запоздалыхъ въ мірѣ гостей изъ протекшихъ временъ!..“

Аристархъ Ѳедоровичъ положилъ перо, глубокомысленнымъ взоромъ обвелъ присутствующихъ и задумчиво улыбнулся.

Альбомъ быстро переходилъ изъ рукъ въ руки.

— Merci, мсьё Балахновъ, сто кратъ merci! восторженно произнесла Чибезова, овладѣвъ въ свою очередь альбомомъ.—Ахъ, какъ это очаровательно! воскликнула она, прижавъ альбомъ къ груди своей и дѣлая нѣсколько прыжковъ,—но, послушайте, мсьё Балахновъ, теперь вы должны мнѣ написать какіе-нибудь стихи: я до страсти люблю стихи; это будетъ служить мнѣ памятью нынѣшняго вечера...

— Мсьё Балахновъ, робко произнесъ кузенъ, — кузина Лиза проситъ васъ также написать ей какіе-нибудь стихи.

— Пожалуйста... сказала, краснѣя, кузина Лиза.

— Mesdames, я былъ бы очень радъ, но, къ несчастію,

я не владѣю стихомъ, отвѣчалъ привѣтливо Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Я вамъ не вѣрю! вымолвила Чибезова, кокетливо наклоняя голову.

— Серьезно...

— Ахъ, какъ это жаль! Представьте, мсьё Балахновъ, мой Поль — совершенно напротивъ: онъ рѣшительно можетъ только писать одними стихами! Стихи, между прочимъ, вы сами знаете, писать очень трудно; для этого нужно имѣть особый даръ. Сколько у насъ извѣстныхъ писателей, которые не могутъ писать стиховъ! Самъ Пушкинъ, говорятъ, писалъ стихи съ ужаснымъ трудомъ. А мой Поль — совершенно напротивъ: все это у него такъ легко, такъ непринужденно... Впрочемъ, и онъ можетъ только писать по вдохновенію... Знаете, иногда даже онъ меня пугаетъ: вдругъ просыпается посреди ночи; въ глазахъ какой-то особый блескъ. — „Ольга!“ говоритъ, и, знаете, говоритъ какъ-то странно: „Ольга“, говоритъ, „бери чернильницу, перо, бумагу, садись и записывай!“ Самъ закуриваетъ трубку, начинаетъ ходить по комнатѣ, а стихи, между тѣмъ, такъ и льются, такъ и льются, повѣрите, едва-едва успѣваю записывать! Иногда нѣсколько большихъ страницъ въ полчаса... удивительный даръ!.. Да вотъ чего же лучше, въ этомъ альбомѣ есть много его стиховъ... Постойте, я вамъ покажу... вотъ, вотъ, смотрите!

Аристархъ Ѳедоровичъ прочелъ:

Ты просишь написать въ альбомъ!
Скажи, зачѣмъ? И для чего?
Повѣрь мнѣ, въ почеркѣ нѣмомъ
Не сыщешь ровно ничего!
Ищи ты въ сердцѣ лишь одномъ
Письменъ живого вдохновенья!..

— Очень, о-о-очень мило! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— А вотъ это, мсьё Балахновъ, посмотрите...

Аристархъ Ѳедоровичъ прочелъ:

Хоть и маленькій домочекъ
Некрасивъ, да какъ же быть!
Съ тобой, милый голубочекъ,
Безъ заботъ можно прожить...

— Много чувства... сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, перелистывая одну за другой странички альбома.

Внезапно лицо великаго человѣка, сохранявшее до сихъ поръ величавое спокойствіе, проявило необычайное волненіе: въ глазахъ его засверкалъ огонь негодованія: на одной изъ страничекъ альбома онъ явственно прочелъ ненавистную фамилію Окатова.

— Скажите, пожалуйста, Ольга Фуколовна, сказалъ онъ, стараясь подавить волненіе,—что это за Elise Okatoff? Не дочь ли это того Окатова, я разумѣю нашего сосѣда, который заклеймилъ свое имя безчисленнымъ рядомъ гнусныхъ поступковъ?..

— Ахъ, да, мсьё Балахновъ, это та самая! то-есть она ужъ теперь не Окатова, а Мурзи-Менасова... Мы воспитывались вмѣстѣ въ одномъ пансіонѣ... Бѣдная, несчастная Elise!..

— Несчастная, говорите вы? Но отчего же она несчастная? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ такимъ живымъ участіемъ, какъ будто Elise Мурзи-Менасова была сто разъ его дочь.

— Да, мсьё Балахновъ, несчастнѣе ея нѣтъ женщины въ свѣтѣ. Родные ея, увлеченные тѣмъ, что она будетъ женою богача, выдали ее замужъ за человѣка, который погубилъ ее... ужасная исторія!..

— Сударыня, воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—я нисколько этому не удивляюсь; отъ почтеннаго ея батюшки можно ожидать всего, что угодно... заключилъ онъ, торжественно подымая руки.

— Если васъ такъ интересуетъ судьба моей подруги, произнесла Чибезова,—я, пожалуй, могу сообщить вамъ всю ея исторію... Мы до сихъ поръ въ перепискѣ; надняхъ еще я получила письмо, въ которомъ описываетъ она свое несчастіе... О, это цѣлый романъ, ужасный романъ!

Трудно описать волненіе, овладѣвшее при этихъ словахъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ; нужна была вся сила его могучей воли, чтобъ скрыть дикую радость, бушевавшую въ величавой груди его: письма, облитыя слезами несчастной Elise Okatoff, обратятся въ рукахъ Аристарха Ѳедоровича въ обоюду-острый кинжалъ, посредствомъ котораго онъ пронзитъ отцовское сердце Николая Степаныча! Аристархъ Ѳедоровичъ благословилъ на этотъ разъ судьбу, забросившую его въ жилище жалкихъ смертныхъ.

Онъ взялъ письма изъ рукъ романической Ольги Чибезовой, и такъ какъ было ужъ около полуночи, то не

замедлилъ вскорѣ остаться наединѣ въ залѣ, которая предназначалась ему для ночлега.

Пять минутъ, проведенныя заспаннымъ дѣтиной въ укладываніи перинъ на кожаный диванъ, въ навьючиваніи подушекъ и раскладываніи двухспальнаго, тяжеловѣснаго одѣяла, показались Балахнову продолжительнѣе цѣлой недѣли. Освободясь отъ одежды и убѣдившись хорошенько въ томъ, есть ли щипцы и достанетъ ли свѣчки, онъ выслалъ парня, который безъ этого приказанія не преминулъ бы повалиться на полъ и тутъ же заснуть богатырскимъ сномъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ придвинулъ свѣчку, пересмотрѣлъ числа и мѣсяцы, означенные на письмахъ, привелъ ихъ въ послѣдовательный порядокъ и съ жадностью принялся читать драгоцѣнныя странички.

XI.

Душевныя качества Аристарха Ѳедоровича заглушаютъ въ немъ на время чувства злобы и ненависти. Онъ является утѣшителемъ страждущихъ и проливаетъ съ ними горькія слезы.

На другое утро Аристархъ Ѳедоровичъ не вдругъ воспрянулъ отъ сна, какъ это дѣлаютъ многія особы его пола, которыя, какъ только придутъ въ сознаніе, то тотчасъ же раскрываютъ глаза, сбрасываютъ одѣяло, вскакиваютъ на ноги, зовутъ хриплымъ голосомъ человѣка и требуютъ сапоги или трубку. Пробужденіе великаго человѣка совершалось постепенно и во всемъ схоже было съ усыпленіемъ наканунѣ, когда, послѣ прочтенія драгоцѣнныхъ писемъ, отдался онъ, наконецъ, Морфею, убаюкивая себя сладостными грёзами вѣрной мести. Въ физическомъ отношеніи, пробужденіе его было необыкновенно сладостно и весьма близко подходило къ состоянію человѣка, котораго оттаиваютъ въ теплой, ароматической ваннѣ. Глаза его оставались закрытыми, но улыбка бродила уже на тонкихъ губахъ, выставляя напоказъ сверкавшія оконечности зубовъ лучшей вагенгеймовской работы; высокое чело его было ясно, какъ майское утро; безпрерывное движеніе продольной морщины, помѣщенной немного выше бровей, показывало, между тѣмъ, что воспріимчивый умъ великаго дипломата успѣлъ уже при-

поднять всѣ свои шлюзы и работалъ всѣми своими шестернями.

Первой мыслью его было: выпросить, во что бы ни стало, у Чибезовой письма несчастной Мурзи-Менасовой, второй мыслью: послать эти письма Николаю Степановичу. Какой-то великій знатокъ человѣческаго сердца, кажется, даже Ларошфуко, сказалъ слѣдующее: „Человѣкъ находитъ какую-то тайную отраду въ несчастіи лучшаго своего друга...“ На этомъ основаніи слѣдуетъ заключить, что душа человѣческая должна чувствовать неизъяснимое наслажденіе, коль скоро дѣло идетъ о несчастіи злѣйшаго врага. Это ужъ само собою разумѣется.

Мысль о пересылкѣ писемъ Окатову такъ живительно подѣйствовала на Аристарха Ѳедоровича, что онъ раскрылъ глаза.

Первый предметъ, поразившій его, былъ Сидоръ, который стоялъ въ дверяхъ, держа въ одной рукѣ круглую свою шляпу съ галуномъ и кокардой, въ другой—зеленый кожаный сакъ, вмѣщавшій въ себѣ кой-какія туалетныя принадлежности, сопровождавшія всюду блистательнаго владѣльца Ханскихъ-Прудовъ.

— Что коляска? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Готова-съ.

— Надежна ли?

— Точно такъ-съ.

— Да полно, такъ ли?

— Такъ точно-съ.

— Что кучеръ?

— Слава Богу-съ.

— А дома что? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ бы спохватившись.

— Слава Богу-съ.

— Успокоились?

— Такъ точно-съ.

— Хорошо. Который часъ?

Сидоръ поспѣшилъ вынуть изъ бокового кармана серебряную луковицу, привѣшенную къ бисерному шнурку бирюзоваго цвѣта, и сказалъ, что скоро девять.

— Давай одѣваться! вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поспѣшно сбрасывая одѣяло.

Напяливъ носки на ноги своего барина и набросивъ на его плечи халатъ, Сидоръ придвинулъ къ нему стулъ съ маленькимъ корытцемъ, игравшимъ въ домѣ Фукола

Ивановича роль таза, и принялся выкладывать на сосѣдній столъ разные предметы, заключавшіеся въ сакѣ. Затѣмъ онъ вооружился старымъ соусникомъ, наполненнымъ водою (несообразная тросновская дворня—такъ, по крайней мѣрѣ, увѣрялъ Сидоръ—имѣла самое темное и сбивчивое понятіе касательно умывальника), и оросилъ вельможныя руки своего господина.

Во все это время заспанный дѣтина стоялъ въ дверяхъ, слѣдя съ какимъ-то притупленнымъ, полудикимъ любопытствомъ за всѣми этими приготовленіями. Но лишь только Аристархъ Ѳедоровичъ взялъ со стола щеточку и приступилъ къ чисткѣ своихъ блестящихъ зубовъ, заспанный дѣтина выступилъ впередъ, раскрылъ изумленные глаза и проявилъ, въ остальныхъ чертахъ своего лица, такое движеніе, какъ будто передъ нимъ свершилось какое-то чудо.

— Что̀ ты? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, показывая ему ротъ, наполненный углемъ.

— Оченно, сударь, занятно! чтой-то за диковинка, право! отвѣчалъ парень, задумчиво качая головою.

— Что? развѣ ты не видалъ никогда зубныхъ щетокъ? смѣясь, сказалъ Балахновъ.

— Нѣтъ, сударь, не приводилось, отвѣчалъ парень, подходя къ столу, гдѣ разложены были щеточки, пилочки, и проч., и проч.—Что это за чудеса такія! Оченно, сударь, занятно! примолвилъ онъ, прикасаясь пальцемъ къ каждой вещи.

— Такъ, стало, ты въ первый разъ, любезный, видишь, какъ люди чистятъ себѣ ротъ? смѣясь, произнесъ великій мужъ.

— Впервые-съ; не приводилось, отвѣчалъ парень съ любезностью, осклабляя зубы.

— Развѣ никто у васъ здѣсь этимъ не занимается.

— Никто-съ! съ увѣренностью отвѣчалъ дѣтина.

Весь этотъ разговоръ происходилъ вполголоса; но, при послѣднемъ отвѣтѣ заспаннаго парня, Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ ужъ выдержать и разразился тѣмъ густымъ хохотомъ, какимъ смѣются обыкновенно люди солидные, когда бываютъ очень веселы.

Черезъ четверть часа туалетъ великаго мужа былъ конченъ.

— Сидоръ, сказалъ онъ,—распорядись, чтобъ черезъ полчаса лошади были готовы; я выѣду ровно въ десять.

Да разспросить хорошенько дорогу въ Сычовку; я ѣду отсюда къ Кормонолѣю Семенычу Бирюкову. Ступай!..

Сидоръ поспѣшилъ навьючить на плечи любознательнаго парня перину, подушки, халатъ и одѣяло, и, уложивъ въ сакъ остальные предметы туалета, вышелъ исполнять приказанія своего барина.

Какъ только зала съ пурпуровыми гардинами представила свой обыденный видъ, на порогѣ показался долговязый кузенъ Ивановъ.

— Какъ изволили почивать?.. не безпокоили ли васъ?.. промямлилъ юноша принужденнымъ голосомъ.

— Благодарю! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, протягивая ему руку и заключая, по отчаянно печальному лицу собесѣдника, что онъ, вѣрно, успѣлъ уже поссориться съ зеленолицей брюнеткой.

Черное коленкоровое платье брюнетки, неожиданно появившейся въ эту минуту вмѣстѣ съ романтической Чибезовой, окончательно убѣдило его въ этомъ предположеніи.

Послѣ обычныхъ привѣтствій съ той и другой стороны и послѣ того, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ произнесъ краткій, но краснорѣчивый монологъ, въ которомъ благодарилъ дочерей почтеннѣйшаго и многоуважаемаго Фукола Ивановича за радушіе и гостепріимство, на столѣ снова появился самоваръ.

Маленькое общество расположилось пить чай. Госпожа Чибезова начала разговоръ прямо съ писемъ подруги своей Мурзи-Менасовой; болтовня ея, вытекая на этотъ разъ изъ обильнаго источника и приправленная, сверхъ того, воспоминаніями всякаго рода, не дала ей возможности перевесть духъ въ продолженіе цѣлой четверти часа.

— Сударыня, перебилъ, наконецъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, начинавшій уже терять терпѣніе, — я мужчина... и могу сказать, что достаточно владѣю своими чувствами; но письма эти... да, сознаюсь съ обычною своею откровенностью, скажу съ тою искренностью и прямизною, которыя всегда отличали меня, письма эти исторгли изъ моихъ глазъ горячія слезы... слезы участія и состраданія, и вмѣстѣ съ тѣмъ слезы ненависти... Къ чему лукавить? Да, скажу, слезы ненависти... и да падутъ онѣ на голову презрѣннаго отца, погубившаго изъ тщеславія свое собственное дѣтище!.. Ольга Фуколовна, промолвилъ онъ нѣжно-растроганнымъ голосомъ и протянулъ при этомъ руку Чибе-

зовой, — Ольга Фуколовна, у меня будетъ къ вамъ большая просьба...

— О, говорите, говорите, мсьё Балахновъ!.. для васъ я все готова сдѣлать! восторженно воскликнула романтическая дама, горячо пожимая руку великаго мужа и устремляя голубые, блестящіе глаза на потолочныя щели.

Аристархъ Ѳедоровичъ ловко приступилъ къ своей просьбѣ, развивая ту счастливую мысль, что, такъ какъ письма несчастной подруги представляютъ рядъ поразительно трогательныхъ картинъ, преисполненныхъ глубокихъ, назидательныхъ мыслей, то ему хотѣлось бы прочесть ихъ десять, двадцать разъ для того, чтобъ врѣзать, запечатлѣть ихъ навсегда въ своемъ сердцѣ. Какъ уже сказано, дипломатическій мозгъ Аристарха Ѳедоровича могъ создавать и развивать въ одно и то же время двѣ совершенно противоположныя мысли; развивая одну мысль явно, во всеуслышаніе, онъ могъ, безъ большого затрудненія, развивать умственно совершенно противоположную идею. Въ настоящемъ случаѣ, мысленное сужденіе Аристарха Ѳедоровича было слѣдующее: онъ возьметъ у Чибезовой письма и сдѣлаетъ съ нихъ копію; подлинникъ отправитъ къ Окатову, а копію препроводитъ Ольгѣ Фуколовнѣ при письмѣ, въ которомъ краснорѣчиво и подробно изложитъ несчастный случай, уничтожившій подлинникъ посредствомъ всесокрушающаго пламени ярко топившагося камина... случай, прибавитъ онъ, происшедшій единственно отъ невниманія слуги. „Впрочемъ“, заключитъ Аристархъ Ѳедоровичъ, „я надѣюсь, вы извините меня: въ памятникахъ, подобныхъ тому, какой ввѣрили вы моей неосторожности, дорога не ничтожная бумага и выведенныя на ней буквы, нѣтъ — дорога душа человѣка, выразившаяся помощью этихъ ничтожныхъ буквъ, и, слѣдовательно, въ посланной вамъ копіи (сдѣланной мной для вящшаго наслажденія) найдете вы все то, что нашли бы въ самомъ оригиналѣ“.

Не прозрѣвая въ простотѣ романтической души своей затаенныхъ, умственныхъ мыслей Аристарха Ѳедоровича, госпожа Чибезова изъявила полное согласіе вручить ему письма, и великій мужъ, распростившись съ радушными хозяевами и напомнивъ еще разъ долговязому кузену объ обѣщаніи пріѣхать въ пятницу въ Ханскіе-Пруды, умѣстился комфортабельно въ коляскѣ. Бросивъ затѣмъ на воздухъ послѣднее прости Тросновкѣ и прихлопнувъ ла-

донью по свертку писемъ, умѣстившемуся въ боковомъ его карманѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ вскорѣ скрылся изъ виду.

Такъ какъ въ послѣднюю ночь дождя не было, то грязь на дорогахъ успѣла уже значительно окрѣпнуть: пронзительный, студеный вѣтеръ видимо сушилъ колеи и придавалъ легкость лошадямъ и колесамъ; благодаря сочетанію этихъ счастливыхъ обстоятельствъ, коляска поѣхала ровно и быстро.

Около полудня Аристархъ Ѳедоровичъ въѣзжалъ ужъ въ Сычовку, имѣніе Бирюкова.

Балахновъ не былъ у Бирюкова съ того самаго времени, когда находился еще въ кумовствѣ и дружбѣ со всѣмъ уѣздомъ, когда всѣ къ нему ѣздили и самъ онъ ко всѣмъ ѣзжалъ, и когда, наконецъ, коварный свѣтъ и людская ядовитая, шипящая злоба не успѣли еще ожесточить его въ высшей степени благородной натуры, и потому нѣтъ ничего мудренаго, если изъ памяти его нѣсколько изгладился наружный видъ бирюковскаго дома, расположеніе деревни и окружающей ее мѣстности.

Движимый чувствомъ того любопытства, какое ощущаемъ мы при видѣ давно покинутыхъ предметовъ, онъ отбросилъ кожаный фартукъ и принялся глядѣть на Сычовку.

Мглистыя, темныя поля стлались на необозримое пространство и замыкали сѣрый горизонтъ со всѣхъ четырехъ сторонъ; большое село въ нѣсколько улицъ расползалось неуклюже, какъ ракъ, завязнувшій въ тинѣ; коричневый цвѣтъ избушекъ, вымоченныхъ предшествовавшими дождями, едва-едва отдѣлялъ ихъ отъ почвы, и только по мѣрѣ приближенія къ деревнѣ, когда кровли домовъ стали показываться надъ линіею горизонта, можно было опредѣлить ихъ очертаніе. Въ сторонѣ, подлѣ кладбища, плиты котораго были единственными свѣтлыми пятнами этой картины, возвышалась ветхая, старинная церковь, окруженная массивными кирпичными столбами и оградой; издали еще слышался мѣрный, однообразный, глухой звукъ колокола, который то пропадалъ, то протяжно гудѣлъ, вторя унылому вою вѣтра, гулявшаго на раздольи. Въ деревнѣ было пусто; кой-гдѣ попадался мальчишка, тащившійся въ отцовскомъ полушубкѣ, или старая, хилая бабенка, выбѣгавшая къ заваленкѣ, чтобъ заткнуть ветошью волоковое окно, извергавшее клубы синеватаго дыма. По мѣрѣ приближенія къ дому, стали по-

казываться крытые дранью навѣсы, исполинскіе сѣрые бревенчатые сараи съ множествомъ крошечныхъ дверей и перекосившимися лѣсенками; ограда двора, перехваченная кое-гдѣ плетнемъ, носила на себѣ всѣ признаки окончательнаго запустѣнія. Казалось, тутъ никто не жилъ въ продолженіе многихъ лѣтъ. Дворъ заставленъ былъ, однакожъ, на половину тарантасами, крытыми дрожками, старомодными каретами, рыдванами; тутъ ходили по всѣмъ возможнымъ направленіямъ кучера, бросавшіе потомъ корки тощимъ борзымъ собакамъ, которыя, поджавъ хвостъ, быстро улепетывали съ полученнымъ кускомъ въ какой-нибудь темный уголъ и жадно глотали добычу. Кормонолѣй Семеновичъ и покойный братъ его, Изосимъ Семеновичъ, были страстные охотники. Домъ, расположенный направо, представлялъ безконечно длинное, плоское, бревенчатое зданіе въ одинъ этажъ. Подлѣ крыльца толпились человѣкъ триста мужиковъ; всѣ они стояли безъ шапокъ, равно какъ и другая толпа, состоявшая изъ дворовыхъ. Послѣдніе стояли въ нѣкоторомъ разстояніи и отдѣлялись отъ первыхъ длинными носилками, обтянутыми чернымъ сукномъ; четыре лакея, въ старомодныхъ, черныхъ фракахъ, съ крепомъ на плечахъ, держали въ рукахъ дымившіеся факелы. Несмотря на такое многочисленное сборище, на дворѣ было почти такъ же глухо, какъ посреди поля; какъ тутъ, такъ и тамъ молчаніе прерывалось лишь разнообразнымъ звукомъ колокола, который уныло гудѣлъ на далекое пространство.

Грустное чувство, невольно закравшееся въ великую душу Аристарха Ѳедоровича, ровно, однакожъ, ничего не значило въ сравненіи съ тѣми чувствами, какія овладѣли имъ при входѣ въ темную прихожую. Въ передней тѣснились люди пріѣзжихъ сосѣдей, и первый предметъ, поразившій Аристарха Ѳедоровича, были Сѣвка и Прошка, гайдуки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неразлучные спутники Николая Степановича Окатова. Огонь негодованія засверкалъ въ глазахъ великаго мужа, и на ланитахъ его мгновенно показались тѣ багровые кружки, похожіе на лепешечки краснаго сюргуча—вѣрные, но, смѣло можно сказать, единственные обличители его внутренняго волненія. Нѣтъ сомнѣнія, что волненіе его могло бы усилиться и распространить багровые кружки по всему пространству ланитъ, если бъ не случилось одно обстоятельство, которое заставило его тотчасъ же овладѣть собою.

Въ ту самую минуту, какъ глаза Аристарха Өедоровича устремились вторично на Сѣвку и Прошку, въ дверяхъ залы показалась старшая сестра покойника.

То была дѣвствующая старушка лѣтъ пятидесяти, сморщенная, сгорбленная, необычайно добродушная, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, такого жалкаго и печальнаго вида, что, казалось, трауръ былъ для нея совершенно излишнимъ украшеніемъ. Она вышла, вѣроятно, для того, чтобъ отдать кой-какія приказанія, но вздохи и слезы заглушали ея голосъ.

Увидѣвъ ее, Аристархъ Өедоровичъ быстро протискался впередъ, подошелъ къ ней, медленно поклонился и сказалъ медленно торжественнымъ голосомъ:

— Анна Семеновна! слезы не помогутъ; долгъ каждаго изъ насъ покоряться волѣ Провидѣнія. Осушите ваши слезы. Память покойнаго моего родителя, друга покойнаго Изосима Семеновича, принудила меня пріѣхать къ вамъ и утѣшить васъ и вашего почтеннаго братца въ эту скорбную минуту вашей жизни...

Горькія рыданія были сначала отвѣтомъ; мало-по-малу, Анна Семеновна успокоилась и, взявъ за руку гостя, проговорила:

— Благодарю васъ, Аристархъ Өедоровичъ... Да, покойный вашъ батюшка былъ его другомъ... вы его также знали... Вотъ... заключила она, вводя Балахнова въ холодную залу.

Противъ окна, на столѣ, лежалъ покойникъ. Въ сосѣдней комнатѣ слышался говоръ многихъ голосовъ.

— Вотъ... повторила, рыдая, старушка, протягивая руку къ гробу.

— Анна Семеновна! сказалъ, наконецъ, Аристархъ Өедоровичъ, стоявшій нѣсколько секундъ съ понурою головою,—чувства, долженствующія наполнять въ эту минуту сердце человѣка, не передаются словами...

Онъ вздохнулъ и промолвилъ вкрадчивымъ голосомъ:

— Но гдѣ же Кормонолѣй Семенычъ?..

— О-охъ! простонала старушка, отрывая мокрый платокъ отъ глазъ, — помогите намъ, ради Бога, уговорить его проститься съ покойникомъ. Вы знаете, Аристархъ Өедорычъ, слышали, по крайней мѣрѣ, какъ братецъ боялся всегда покойниковъ... Мы всѣ, сколько насъ здѣсь ни есть... я, сестра Варвара, гости даже, старались его уговорить... Нѣтъ, заперся въ своемъ кабинетѣ, дрожитъ

всѣмъ тѣломъ, когда напоминаютъ ему объ этомъ... О-охъ! А между тѣмъ, вы сами знаете, время уходитъ; народъ ждетъ... Уговорите его отдать послѣдній долгъ...

— Анна Семеновна! даю вамъ слово употребить все возможное, все зависящее отъ человѣка... сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, прислушиваясь къ говору, раздававшемуся въ сосѣдней комнатѣ.—Пойдемте! прибавилъ онъ, переведя дыханіе и дѣлая сверхъестественныя усилія, чтобъ подавить волненіе.

Проникнуть въ кабинетъ Бирюкова можно было не иначе, какъ пройдя тѣ комнаты, въ которыхъ находились гости. Аристархъ Ѳедоровичъ подалъ руку Аннѣ Семеновнѣ и, выпрямивъ грудь, медленнымъ, ровнымъ шагомъ вошелъ въ гостиную.

Тутъ было человѣкъ до двадцати сосѣдей. Въ первыя двѣ секунды Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ, однакожъ, дать себѣ яснаго отчета въ томъ, сколько именно лицъ находилось въ гостиной; всѣ лица и фигуры смѣшались вмѣстѣ; ему показалось даже, какъ будто присутствовавшіе, при появленіи его, стали кружиться; сквозь этотъ туманъ, покрывшій на минуту его глаза, онъ не замедлилъ, однакожъ, различить два пучка сѣдыхъ завитковъ, торчавшихъ по обѣимъ сторонамъ круглой головы; различилъ плотный, раздвоенный подбородокъ и вслѣдъ за тѣмъ ненавистную фигуру Окатова. Николай Степановичъ сидѣлъ въ самомъ дальнемъ углу; на широкомъ лицѣ его обозначались такіе рѣзкіе, положительные признаки смущенія и страха, которые, очевидно, должны были укрѣпиться задолго еще до пріѣзда Аристарха Ѳедоровича въ Сычовку. Впрочемъ, онъ и не смотрѣлъ на Балахнова; наклонивъ на бокъ голову, онъ разсѣянно слушалъ Семена Семеновича Кошкина, который, не имѣя, вѣроятно, большого желанія встрѣтить взглядъ Аристарха Ѳедоровича, также наклонялъ на бокъ свой лоснящійся черный парикъ и что-то нашептывалъ на ухо Окатову. Если бъ посторонній наблюдатель могъ видѣть въ настоящую минуту лицо Аристарха Ѳедоровича, онъ никакимъ образомъ не могъ бы понять, какъ достало у него столько мужества, чтобъ ограничиться одною презрительной улыбкой. Правда, багровые кружки на щекахъ его горѣли какъ уголья и, могло статься, распространились бы далеко за предписанные предѣлы обыкновеннаго румянца, но это ничего не значило. Онъ отвелъ глаза въ другую сторону и... и...

встрѣтился прямо съ глазами Солонеева и его дяди, которые обмѣривали его съ саркастическимъ видомъ. Грудь Аристарха Ѳедоровича, готовая въ эту минуту треснуть и разлетѣться вдребезги, и тутъ-таки не утратила на волосъ своей величавой, горделивой округлости. Онъ навелъ глаза прямо на дверь слѣдующей комнаты и, гордо приподнявъ благородное чело, медленно повелъ впередъ свою спутницу, которая тихо всхлипывала, нимало не подозрѣвая той страшной драмы, какая свершалась подъ самымъ ея носомъ.

Они прошли въ кабинетъ.

Комната эта представляла рѣзкій контрастъ съ остальными покоями, имѣвшими большое сходство съ затхлыми, пустыми сараями. Она напоминала тѣ складочные амбары, куда сваливаютъ, безъ всякаго порядка, домашній скарбъ и хламъ, негодный ужъ ни для какого употребленія: сундуки, плошки, плетушки, старое платье, свертки холста, списки и счеты, нацарапанные на синей бумагѣ и насунутые на стѣнные гвозди, пыль, мѣрка съ овсомъ, кой-какія принадлежности охоты: сѣдла, ружья, патронташи, арапникъ, мѣдный позеленѣвшій рогъ; затѣмъ бутылки, склянки, заплатанные мѣшки, ветошь и проч., и проч.— все это лежало ворохами на грязномъ полу, лѣпилось вдоль стѣнъ и громоздилось на длинныхъ полкахъ, сдѣланныхъ топоромъ изъ сосновыхъ досокъ. Въ комнатѣ три окна: два изъ нихъ наглухо заколочены досками, третье до половины замазано мѣломъ. Блѣдно-зеленый, жидковатый свѣтъ, струившійся изъ верхнихъ стеколъ, падалъ коснымъ лучомъ на старика лѣтъ семидесяти, который сидѣлъ, скрестивъ на груди руки и покачиваясь изъ стороны въ сторону. То былъ Кормонолѣй Семеновичъ Бирюковъ, младшій братъ и наслѣдникъ покойника. Онъ сидѣлъ сгорбившись; но длинныя костлявыя ноги его показывали, что онъ долженъ быть высокаго роста; сѣдые, желтоватые волосы спускались косяками по обѣимъ сторонамъ угловатой головы, отличавшейся какой-то странной конструкціей; худое, изрытое лицо, земляного цвѣта, оживлялось сѣрыми, быстрыми глазами. На немъ былъ ветхій халатъ, подпоясанный бумажнымъ платкомъ; другой платокъ, тоже очень неказистаго вида, обматывался вокругъ шеи его, наподобіе веревки; исполинскія ступни Кормонолѣя Семеновича болтались въ туфляхъ... Подлѣ стояла младшая сестра его, Варвара Семеновна —

живая копія со старшей сестры, Анны Семеновны; кромѣ нея, былъ еще какой-то незнакомый Балахнову господинъ—высокій человѣкъ, лѣтъ тридцати-пяти, съ черными волосами, черными усами и черными бакенами, человѣкъ солиднаго и степеннаго вида.

Время, употребленное Аристархомъ Ѳедоровичемъ для достиженія кабинета, ужъ достаточно было ему для того, чтобъ овладѣть собою, если не совсѣмъ, то настолько, по крайней мѣрѣ, чтобъ войти въ роль утѣшителя родственниковъ покойника. Поклонившись незнакомому господину (при этомъ онъ почему-то закрылъ глаза), отвѣсивъ затѣмъ низкій, сострадательный поклонъ плакавшей Варварѣ Семеновнѣ и приблизившись къ Бирюкову, который продолжалъ мотать головой, онъ сказалъ съ разстановкою:

— Пріѣзжаю... и что-жъ?.. Не удалось мнѣ пожать въ послѣдній разъ ту почтенную руку, которую такъ любилъ пожимать покойный отецъ мой...

Бирюковъ устремилъ на Балахнова безпокойные, сухіе глаза и воскликнулъ разбитымъ голосомъ:

— Кого мы лишились?.. друга, брата!.. Изосимъ! прямолвилъ онъ, закрывая лицо руками и снова качая головой. — Изосимъ, на что ты мнѣ оставилъ столько богатства? Пожилъ бы лучше! Я бы тебѣ лучше все отдалъ... все бы оставилъ!..

— Что дѣлать, дядюшка? воля Божія! холодно проговорилъ незнакомый господинъ.

Комната наполнилась рыданіемъ двухъ сестеръ, прерываемымъ стонами и охами Бирюкова.

— Полноте, Кормонолѣй Семенычъ! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ увѣщевательнымъ тономъ,—не возмущайте слезами души покойника: душа его носится еще межъ нами, и отчаяніе ваше можетъ только омрачить послѣднее пребываніе ея въ сей странѣ плача и скорбей... Дадимте ей отлетѣть съ миромъ и отрадой! скажемъ послѣднее прости земному праху и проводимъ его до послѣдняго жилища...

Но едва произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ эти слова, Бирюковъ поднялъ голову, затрясся всѣмъ тѣломъ, попятился съ испугомъ назадъ и началъ что-то мямлить.

— Вотъ... мямлилъ онъ, между прочимъ, очевидно, стараясь повернуть разговоръ.—Вотъ, Аристархъ Ѳедорычъ, благодѣтель, вотъ племянникъ мой... познакомься... Мясо-

итяновъ... Андрей Иванычъ... познакомься, благодѣтель... Пріѣхалъ изъ Петербурга... побывать въ имѣніи...

Аристархъ Ѳедоровичъ поклонился господину Мясоитянову и радушно протянулъ ему руку.

— Очень знаю-съ, сказалъ великій дипломатъ,—имѣніе ваше, Бѣлые-Ключи, въ тридцати верстахъ отъ меня. Весьма пріятно познакомиться...

Балахновъ зналъ, какъ ужъ извѣстно, топографію и статистику своего уѣзда, какъ свои пять пальцевъ. Проговоривъ все это съ нѣкоторою торопливостью, вознаграждаемою, впрочемъ, довольно искусно горячимъ пожатіемъ руки, дипломатъ обратился снова къ Бирюкову и принялся увѣщевать его отдать послѣдній долгъ покойнику. Напрасно Кормонолѣй Семеновичъ заминалъ рѣчь и моталъ головой: Аристархъ Ѳедоровичъ былъ неумолимъ. Поддерживаемый двумя сестрами и племянникомъ, онъ умолялъ старика внять голосу убѣжденія, умолялъ его воздать послѣдній долгъ бреннымъ останкамъ, хотя изъ одной благодарности; но такъ-какъ и это не помогло, то онъ обратился къ угрозамъ: въ поразительно-краснорѣчивыхъ выраженіяхъ изобразилъ онъ передъ старикомъ терзанія совѣсти, какія ожидаютъ его, въ случаѣ неисполненія послѣдняго долга, и наконецъ, попавъ вдругъ на счастливую мысль, сказалъ ему, что оскорбленная тѣнь усопшаго Изосима Семеновича будетъ являться по ночамъ упрекать неблагодарнаго брата. Послѣднее, казалось, всего успѣшнѣе подѣйствовало на Бирюкова; нѣсколько секундъ сидѣлъ онъ молча; мутные, сѣрые глаза его обводили присутствовавшихъ, а беззубыя челюсти его производили глухую стукотню; наконецъ онъ застоналъ, заохалъ, приподнялся съ своего мѣста, какъ бы порываясь впередъ, но остановился и закрылъ лицо руками. Аристархъ Ѳедоровичъ быстро переглянулся съ племянникомъ, и оба ухватили Бирюкова подъ руки; сестры бросились впередъ и отворили кабинетныя двери. Балахновъ и племянникъ, невзирая на то, что старикъ упирался ногами, не замедлили привести его въ гостиную. Сосѣди, движимые, кто участіемъ, а кто любопытствомъ, послѣдовали гурьбою за Бирюковымъ.

Очутившись въ залѣ Кормонолѣй Семеновичъ быстро отвернулъ лицо отъ покойника и закрылъ руками. Балахновъ и племянникъ продолжали между тѣмъ вести его.

Въ трехъ шагахъ отъ гроба они оставили старика и отошли въ сторону.

Кормонолѣй Семеновичъ все еще держалъ ладони на лицѣ своемъ; мало-по-малу, однакожъ, онъ расправилъ пальцы, между которыми показались слезы, робко взглянулъ на брата и вдругъ отчаянно простеръ руки впередъ.

— Изосимъ! братъ! вставай... русакъ бѣжитъ! вскричалъ онъ съ воплемъ истиннаго отчаянія, всплеснулъ руками, закачался и грохнулся на землю.

Аристархъ Ѳедоровичъ и солидный племянникъ подняли его; къ нимъ присоединились еще два какіе-то господина, и всѣ четверо понесли старика въ кабинетъ.

Когда они вернулись, гробъ былъ уже заколоченъ наглухо; подлѣ него, въ общей группѣ, толпились мужички, дворовые и кое-кто изъ сосѣдей. По данному знаку, гробъ подняли; послышалось затаенное рыданіе двухъ сестеръ; толпа заволновалась и повалила за гробомъ.

— Пойдемте! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, прикладывая указательный палецъ къ глазамъ и посылая грустную улыбку племяннику.

— Пойдемте, сказалъ племянникъ, надѣвая теплыя перчатки.

Они вышли на дворъ.

XII,

доказывающая, между прочимъ, самымъ очевиднымъ образомъ, что человѣкъ умный, тонкій и практическій можетъ извлекать выгоды изъ самыхъ ничтожныхъ обстоятельствъ.

Мѣрный звукъ колокола звучалъ чаще и явственнѣе, говоръ толпы, тянувшейся длинною, волнистою плетеницей за ворота, смѣшивался въ одинъ глухой шумъ, изъ котораго вырывались по временамъ восклицанія. Въ отдаленьи, посреди черной улицы, вздрагивало кое-гдѣ пламя факеловъ. Свинцовое небо, исполосованное хребтами сизыхъ тучъ, сѣяло мелкій, рѣденькій дождикъ, который, подобно сѣрому крепу, застилалъ окрестность. Звуки колокола становились слышнѣе и слышнѣе.

Въ группѣ сосѣдей, провожавшихъ гробъ, не было, однакожъ, видно печальнаго лица; разговоръ ихъ, вертѣвшійся, большею частью, на дѣлахъ чисто житейскихъ, не

имѣвшихъ ровно никакого отношенія къ настоящему случаю, не отличался также ничѣмъ особенно трогательнымъ.

— „А что, Василій Степанычъ, сѣяли ли вы нынче гречиху?“ — „Сѣялъ; а вы сѣяли?“—„Сѣялъ...“—„Э-хе, хе!..“—„Что-жъ вы хотите, скряга!“—„Конечно, такъ; но съ другой стороны...“—„Что съ другой стороны?.. Э, помилуйте, просто скупой человѣкъ: держится зубами за гривенникъ, а изъ рукъ цѣлковый пропадаетъ!“—„Скряга былъ отъявленный!..“—„Помилуйте, да Кормонолѣй во сто кратъ хуже покойника!“—„Разумѣется!“—„Двѣсти душъ на его долю...“—„А сестры?..“—„Вздоръ!“—„Четырнадцатая часть!“—„Нѣтъ, покойникъ предоставилъ на волю Кормонолѣя...“—„Можетъ ли быть?.. гм! фю, фю, фю... поздравляю ихъ въ такомъ случаѣ!“

Аристархъ Ѳедоровичъ и солидный племянникъ шли въ нѣкоторомъ разстояніи отъ толпы.

— Давно вы пожаловали въ наши края? спросилъ любезнымъ, но, повидимому, очень разсѣяннымъ тономъ Балахновъ.

— Пять дней всего...

— И долго останетесь?

— Послѣ выборовъ, я думаю...

Тутъ лицо Аристарха Ѳедоровича выразило вдругъ столько благородства, что, будь я живописецъ, я начерталъ бы его тутъ же, между этими строками; но нѣтъ, будь я первымъ живописцемъ въ мірѣ, все-таки не былъ бы я въ состояніи передать съ подобающею точностью величавыя черты знаменитаго мужа.

— Вы, слѣдовательно, ни съ кѣмъ здѣсь еще не знакомы? спросилъ знаменитый мужъ.

— Нѣтъ, дядюшка представилъ меня Окатову.

— Окатову! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пріостанавливаясь,—а впрочемъ, продолжалъ онъ, ускоряя шагъ,—что жъ мудренаго! лѣта Кормонолѣя Семеныча... его положеніе... все это извиняетъ его...

— Вы находите, слѣдовательно, что дядюшка дурно сдѣлалъ, познакомивъ меня съ Окатовымъ?

— На это позвольте отвѣчать вамъ вопросомъ: знаете ли вы, кто такой этотъ О-ка-товъ?

— Нѣтъ, не имѣю ни малѣйшаго понятія.

— Первый негодяй во всемъ здѣшнемъ краю!

— Можетъ ли быть?

— Первый плутъ!

— Что вы говорите...

— Обманщикъ!

— Не-уже-ли?

— Съ нимъ опасно даже говорить...

— Вы меня удивляете!..

— Губитель родной дочери... очаровательнаго созданія, принесеннаго въ жертву самолюбію алчнаго отца, заклеймившаго свое имя безчисленнымъ рядомъ гнуснѣйшихъ поступковъ...

— Да это просто ужасъ! проговорилъ Мясоитяновъ, нахмуривая брови.

— Да, сударь мой, ужасъ, ужасъ и ужасъ! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—доказательства у меня здѣсь, въ боковомъ карманѣ этого сюртука.

— Какія доказательства?..

— Письма несчастной дочери... письма, способныя разорвать на части самое каменное сердце... Послушайте, мсьё Мясоитяновъ, прибавилъ Балахновъ, самъ замѣтивъ, что ужъ слишкомъ далеко зашелъ, и стараясь обуздать свои порывы,—не обвиняйте меня въ пристрастіи, нѣтъ, гнусная клевета и ядовитая, шипящая злоба чужды меня; каждый благородный человѣкъ невольно долженъ содрогаться при одномъ имени Окатова.

— Скажите! а я думалъ, что онъ очень добрый человѣкъ, и даже сбирался къ нему ѣхать...

— Нѣтъ, позвольте ужъ мнѣ вамъ этого не дозволить! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ очаровательною любезностью,—позвольте мнѣ-таки рѣшительно вамъ этого не дозволить!..

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ засмѣялся, пожалъ въ нѣсколько пріемовъ руку солиднаго Мясоитянова и продолжалъ:

— Вы здѣсь человѣкъ новый, никого не знаете, и слѣдуя, такимъ образомъ, рекомендаціямъ Кормонолѣя Семеныча, можете провести три недѣли пребыванія своего въ уѣздѣ въ обществѣ людей... то-есть, по крайней мѣрѣ, очень скучно... Обязанность наша, то-есть старожиловъ края, не допустить до этого... Надѣюсь, мсьё Мясоитяновъ, вы сдѣлаете мнѣ честь пожаловать ко мнѣ... Мы постараемся о томъ, чтобъ, покидая нашъ край, вы увезли, по крайней мѣрѣ, хорошее впечатлѣніе... Пріѣзжайте ко мнѣ въ пятницу на будущей недѣлѣ запросто отвѣдать нашего хлѣба-соли...

Племянникъ Бирюкова молча поклонился.

Изъ числа помѣщиковъ, собравшихся у Бирюкова, двое только не пошли провожать покойника: Николай Степановичъ Окатовъ и Семенъ Семеновичъ Кошкинъ, сдѣлавшійся съ нѣкоторыхъ поръ любимымъ и въ то же время единственнымъ гостемъ „Большихъ-Солей". Впрочемъ, достаточно ужъ было, что Николай Степановичъ рѣшился пріѣхать въ домъ, гдѣ находился покойникъ. Геройскій подвигъ этотъ, конечно, не замедлитъ занять важное мѣсто въ бесѣдахъ его съ госпожею Буске и господиномъ Буске,—бесѣдахъ, которыя ограничивались до сихъ поръ изображеніемъ страшной качки, постигшей Николая Степановича, при переѣздѣ его изъ Петербурга въ Кронштадтъ. Какъ только тѣло Изосима Семеновича было вынесено, дыханіе Николая Степановича замѣтно стало ровнѣе и свободнѣе; онъ вышелъ изъ своего угла, провелъ себя нѣсколько разъ ладонью по груди, какъ будто хотѣлъ сказать: „Ни-ко-лай Сте-па-нычъ Ока-а-товъ!" и, кликнувъ Прошку, приказалъ подать воды со льдомъ. Воды было въ волю въ домѣ Бирюкова. Опорожнивъ безъ малаго полграфина, Николай Степановичъ почувствовалъ себя облегченнымъ отъ огромной тяжести и, взявъ подъ руку Кошкина, вышелъ въ залу, гдѣ начинали накрывать на столъ.

— Нѣтъ, скажите, пожалуйста, Николай Степанычъ, каковъ нашъ пріятель-то?.. а? Я все о немъ; право, никакъ не могу... сказалъ Кошкинъ, поправляя очки.

— Дуракъ! лаконически возразилъ Николай Степановичъ, самодовольно запрятывая раздвоенный свой подбородокъ въ густыя складки бѣлаго галстука.

— Нѣтъ, послушайте, этого никакъ, однакожъ, нельзя сказать, примолвилъ Кошкинъ, сморщивая лицо свое. — Балахновъ уменъ, но умъ, знаете... такой... Представьте, что онъ со мной на-дняхъ сдѣлалъ. Лѣтъ восемь назадъ, узналъ онъ, что мнѣ нужны деньги; хоть я и не заикнулся ему объ этомъ, однакожъ онъ самъ вызвался и далъ мнѣ взаймы... такъ, бездѣлицу, тысячи двѣ или три... О долгѣ этомъ онъ не упоминалъ мнѣ нѣсколько лѣтъ, совсѣмъ было забылъ его... какъ вдругъ узнаю, что Балахновъ передалъ мой вексель какому-то забіякѣ Карачаеву, который живетъ у него и который, какъ мнѣ сказывали, хлопочетъ теперь о томъ, чтобъ подать ко взысканію... А? какъ вамъ нравится эта выходка? Конечно, все это дѣлается изъ благороднаго чувства мести...

— Низкій человѣкъ! проговорилъ Окатовъ.

— Ну, вотъ это другое дѣло, противъ этого я слова не скажу. Хотѣлъ бы я знать, зачѣмъ онъ сюда пожаловалъ? Ужъ, вѣрно, не спроста... Вѣрно, онъ не сталъ бы подвергать себя понапрасну встрѣчѣ съ вами... А замѣтили ли вы, какъ онъ смутился, когда увидѣлъ васъ? замѣтили ли вы этотъ взглядъ?..

Николай Степановичъ самодовольно покрутилъ головой.

— А надо сознаться, продолжалъ Кошкинъ, вводя собесѣдника въ гостиную и усаживаясь подлѣ него, — надо сознаться, этой долиной вы рѣшительно-таки уходили его... хи, хи, хи... именно уходили! Съ той поры Ханскіе-Пруды значительно опустѣли; хозяинъ пріунылъ... а всему виною вы, ей Богу вы, Николай Степанычъ! По этому случаю, скажу я вамъ, кто-то постарался даже состряпать маленькій памфлетецъ... Впрочемъ я, кажется, ужъ говорилъ вамъ объ этомъ.

— Нѣтъ.

— Можетъ ли быть?.. О, въ такомъ случаѣ послушайте.

Семенъ Семеновичъ кашлянулъ и проговорилъ пискливымъ голосомъ болонки, которой ущемили хвостъ:

Сеянъ виной большого зла:
Простона погубилъ безъ всякія причины.
Простонъ для всѣхъ держалъ богатый столъ и вины;
Простона очень жаль, но больше жаль стола!

— Сеянъ—это вы, Николай Степанычъ.

— Какъ, какъ... какъ? безъ причины, столъ... Простона... какъ? ха, ха, ха!.. воскликнулъ Окатовъ, восторженно взъерошивая пучки сѣдыхъ завитковъ на вискахъ своихъ.

Кошкинъ повторилъ памфлетъ, отысканный имъ въ какой-то старинной книгѣ.

— Ха, ха, ха, ха! залился Николай Степановичъ.

— Хи, хи, хи!.. закатился Кошкинъ, прикладывая платокъ къ лицу своему.

Шумъ, раздававшійся въ эту минуту въ залѣ, возвѣстилъ окончаніе похоронъ.

Окатовъ и Кошкинъ поспѣшили выйти навстрѣчу гостямъ.

Въ дверяхъ столкнулись они носъ къ носу съ племянникомъ Бирюкова.

— Что? кончено?.. произнесъ Кошкинъ, качая чернымъ своимъ паричкомъ и придавая желтенькому лицу своему плаксивое выраженіе.

— Кончено, сухо сказалъ Мясоитяновъ.

— Вы, кажется, изволили провожать покойника вмѣстѣ съ Балахновымъ? сказалъ Семенъ Семеновичъ вкрадчивымъ голосомъ.

— Какъ! вмѣстѣ съ этимъ... съ этимъ?.. проговорилъ Николай Степановичъ.

— Развѣ вы имѣете сказать что-нибудь противъ него? спросилъ удивленный Мясоитяновъ.

— Эгоистъ! твердо и рѣшительно произнесъ Окатовъ.

— Кляузникъ и... и человѣкъ не совсѣмъ чистый! подхватилъ Кошкинъ.

Мясоитяновъ остолбенѣлъ.

— Невѣжа! сказалъ Окатовъ.

— Опасный человѣкъ! замѣтилъ Кошкинъ.

Мясоитяновъ глядѣлъ съ изумленіемъ то на того, то на другого.

— Самая рѣзкая черта въ этомъ человѣкѣ—лицемѣріе, продолжалъ Кошкинъ.—Онъ женатъ... и жена его сущій ангелъ, женщина въ полномъ смыслѣ достойная уваженія... Что жъ? нужно взглянуть на жизнь этой женщины, чтобъ повѣрить на дѣлѣ, что такое Балахновъ.

— Настоящій лицемѣръ! примолвилъ Окатовъ.

— Опаснѣйшій человѣкъ, и опасный тѣмъ именно, что уменъ и демонски хитеръ, и лукавъ вдобавокъ! Къ тому же и говоритъ красно: обворожитъ, заговоритъ, очаруетъ... а на повѣрку выходитъ: запуталъ васъ въ какое-нибудь кляузное дѣло...

— Когда жъ ко мнѣ? перебилъ неожиданно Окатовъ, закидывая назадъ голову и протягивая руку Мясоитянову.

— Постараюсь... на-дняхъ... отвѣчалъ племянникъ Бирюкова, посылая мысленно къ нечистому и Окатова, и Балахнова, и давая себѣ слово не заглядывать во всю жизнь ни къ тому, ни къ другому.

Полчаса спустя, гости усѣлись за столъ, во главѣ котораго расположились сестры Бирюкова, пріѣхавшія въ Сычовку для того только, чтобъ отдать послѣдній долгъ покойному брату и получить затѣмъ съ живого брата какую-нибудь частичку наслѣдства, въ которой обѣ онѣ очень нуждались.

Гости ѣли вообще очень мало. Обѣдъ былъ такого рода, что могъ, развѣ, придти по вкусу людямъ, питавшимся три мѣсяца кряду одними кореньями. Блюда состояли исключительно изъ баранины и овощей, приправленныхъ въ собственномъ соку. Вина, наливокъ, водицъ, шипучекъ

и прочихъ сладостей не было; всѣхъ ихъ замѣнялъ жиденькій квасъ и вода изъ громового колодца. Все это содѣйствовало къ тому, что гости вскорѣ встали изъ-за стола и еще скорѣе начали разъѣзжаться.

Улучивъ свободную минуту, Аристархъ Ѳедоровичъ (багровыя пятна не сходили съ его величественныхъ ланитъ во все продолженіе обѣда) подошелъ къ сестрамъ Бирюкова.

— Милостивая государыня, Анна Семеновна, и милостивая государыня, Варвара Семеновна, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ привѣтливо родственнымъ тономъ,—по праву, данному мнѣ дружбой покойнаго моего родителя съ покойнымъ братцемъ вашимъ Изосимомъ Семеновичемъ, я требую, чтобъ вы сдѣлали изъ меня исключеніе противъ остальныхъ, здѣсь присутствующихъ сосѣдей вашихъ. Долгъ повелѣваетъ мнѣ остаться въ вашемъ домѣ, не покидать васъ въ эту, поистинѣ скорбную минуту и излить въ сердце ваше (позвольте въ этомъ надѣяться) лучъ отрады и утѣшенія... Почтенный братецъ вашъ, Кормонолѣй Семенычъ, требуетъ особеннаго попеченія.

— Ахъ, Боже мой, Аристархъ Ѳедорычъ! воскликнули обѣ сестры, — мы только что хотѣли просить васъ объ этомъ... не покидайте насъ!.. Мы не посмѣли бы безпокоить васъ, если бъ племянникъ нашъ Мясоитяновъ оставался при братѣ... Но племянникъ долженъ ѣхать сейчасъ же домой въ Бѣлые-Ключи: завтра утромъ его вводятъ во владѣніе имѣніемъ.

Въ эту самую минуту степенный племянникъ подошелъ къ теткамъ и сталъ съ ними прощаться.

— Итакъ, въ пятницу? сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, радушно протягивая руку и показывая ему рядъ лучшихъ патентованныхъ зубовъ.

— Въ пятницу, отвѣчалъ загадочнымъ тономъ Мясоитяновъ.

Затѣмъ онъ раскланялся и вышелъ въ переднюю.

Было уже около семи часовъ вечера. Гости разъѣхались всѣ до единаго, кромѣ Аристарха Ѳедоровича, который расхаживалъ теперь медленными шагами по залѣ и гостиной. Сестры Бирюкова, утомленныя дневными хлопотами и впечатлѣніями, давно отправились на покой; Кормонолѣй Семеновичъ, по словамъ людей, также предавался отдыху. Домъ былъ погруженъ въ мертвое молчаніе; въ комнатахъ было темно. (Ключи отъ свѣчъ находились у Бирюкова — такъ, по крайней мѣрѣ, объявилъ Сидоръ,

который, при всемъ стараніи своемъ, не могъ отыскать во всемъ домѣ ни одного огарка).

Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ ходить, потирая время отъ времени высокое чело свое, въ которомъ гомозились блистательные планы и соображенія. Изрѣдка останавливался онъ, чтобъ взглянуть на мѣсяцъ, который, прокравшись изъ-за черныхъ тучъ, озарялъ трепетно-серебристымъ лучомъ бревенчатыя стѣны залы.

Гдѣ-то въ отдаленьи, и Богъ вѣсть въ какомъ отдаленьи, пробило восемь часовъ.

Звукъ этотъ почему-то непріятно отозвался въ душѣ Аристарха Ѳедоровича.

Всякій испыталъ на себѣ то тяжелое состояніе духа, когда, посреди мрака и пустыни, какой-нибудь внѣшній неодушевленный предметъ вызоветъ васъ къ дѣйствительности и напомнитъ вамъ ваше одиночество. Когда смокли послѣдніе звуки и наступила тишина могилы, Аристархъ Ѳедоровичъ вдругъ почувствовалъ это одиночество. Онъ прошелъ взадъ и впередъ по комнатѣ, стараясь овладѣть питью предшествовавшихъ размышленій; но мысли его никакъ не укладывались въ желанный порядокъ, а, напротивъ, стремились съ какою-то неотразимою силой къ инымъ предметамъ. Тутъ почему-то явилась неожиданно блѣдная, печальная жена, тихо склонившаяся надъ маленькою дѣтскою постелькой... Тамъ промелькнула какая-то фигура съ завитками Окатова, глазами Василькова, носомъ Сараманаевой, ухватками Карачаева... Тамъ пришелъ почему-то въ голову степенный племянникъ Бирюкова... И снова все исчезло, чтобъ уступить мѣсто непрошеннымъ и незваным воспоминаніямъ, которыя, одно за другимъ, укладывались тяжелыми плитами въ смущенной душѣ Аристарха Ѳедоровича. Имъ словно овладѣла какая-то неловкость; что-то похожее на упрекъ, на совѣсть, вкрадывалось постепенно въ его мужественное сердце...

— Сидоръ! крикнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Звукъ его голоса пробѣжалъ, какъ эхо, по пустымъ покоямъ.

Онъ остановился и приложилъ руку къ сердцу.

— Что за ребячество! проговорилъ онъ, наконецъ, обтирая ладонью высокій лобъ, покрытый каплями пота.

Онъ вышелъ въ переднюю, ощупью отыскалъ Сидора, растолкалъ его, отправился въ комнату, назначенную ему

для ночлега, и вскорѣ заснулъ богатырскимъ сномъ. На другое утро Аристархъ Ѳедоровичъ изволилъ пробудиться отъ своего сна несравненно раньше обыкновеннаго. Облачившись въ халатъ и вычистивъ затѣмъ вагенгеймовскіе зубы, Аристархъ Ѳедоровичъ подошелъ къ маленькому обломанному сосновому столику и сѣлъ на соломенный стулъ съ проткнутымъ дномъ.

Накушавшись чаю съ медомъ (Кормонолѣй Семеновичъ и покойный братъ его, Изосимъ Семеновичъ, сахару не употребляли), Аристархъ Ѳедоровичъ одѣлся на скорую руку и прямо пошелъ въ извѣстный уже кабинетъ Кормонолѣя Семеновича.

Онъ засталъ хозяина сидящимъ противъ дощаного стола, заваленнаго всякою дрянью; тутъ были: и оберточная бумага, и пробки, и подковы, и тарелка съ бараньей костью, и блюдечко съ крупною солью, и объѣдки пирога, сложенные въ кучку, и запыленная свинцовая чернильница съ обглоданнымъ перомъ, и ржавые гвозди, и графинъ съ желтовато-мутной водой; тутъ же находилась и толстая тетрадь изъ синей бумаги, съ надписью: „приходъ“, и рядомъ съ нею другая, маленькая тетрадка, съ надписью: „расходъ“. Между этими вещицами, столько же полезными, сколько необходимыми, виднѣлась старомодная шкатулка изъ карельской березы, которая, въ настоящую минуту, составляла, казалось, главный предметъ наблюденій Бирюкова. Шкатулка была раскрыта; на днѣ ея виднѣлись мѣшечки изъ замши и холста, вязаные кошельки и крошечные узелочки; все это представляло довольно привлекательную округленность.

Первое движеніе Кормонолѣя Семеновича, когда заслышалъ онъ шумъ въ дверяхъ, было закрыть шкатулку; но, увидѣвъ Аристарха Ѳедоровича, онъ тотчасъ же отложилъ такое намѣреніе и, покачавъ головою, пропустилъ пальцы правой руки между пальцами лѣвой и промямлилъ сострадательнымъ голосомъ:

— Вотъ, благодѣтель, посмотри, осталось послѣ брата Изосима... О-охъ, кого мы лишились! подхватилъ онъ, неопредѣленно водя глазами по угламъ и стѣнамъ кабинета,—кого мы лишились! друга, брата, благодѣтеля! Изосимъ, на что оставилъ ты мнѣ столько богатства? пожилъ бы лучше! я бы тебѣ все отдалъ, все оставилъ!..

„Толкуй! знаемъ мы, братъ, тебя!“ подумалъ Аристарх

Ѳедоровичъ, отвѣчая на слова Бирюкова глубокимъ вздохомъ.

— О-охъ! примолвилъ Бирюковъ,—вотъ, благодѣтель, присовокупилъ онъ, вынимая дрожащими руками кошелекъ изъ шкатулки,—вотъ...

Тутъ Бирюковъ бережно высыпалъ деньги въ шкатулку, приложилъ кошелекъ къ губамъ, заплакалъ, застоналъ, положилъ его на столъ подлѣ шкатулки и, прикоснувшись къ пустому кошельку пальцемъ, примолвилъ плаксиво:

— Это душенькѣ моей, сестрицѣ Аннѣ... на память...

Вздохнувъ два-три раза, онъ вынулъ другой кошелекъ, высыпалъ изъ него тѣмъ же порядкомъ деньги въ шкатулку, поцѣловалъ его и, заливаясь слезами, вымолвилъ:

— А этотъ душенькѣ моей, сестрицѣ Варварѣ... на память...

Положивъ кошелекъ на столъ, Бирюковъ поспѣшно закрылъ шкатулку, медленно повернулъ ключъ и, прислушавшись къ звону замка, заморгалъ на Аристарха Ѳедоровича своими сѣрыми глазами.

— Да, почтеннѣйшій и премногоуважаемый Кормополѣй Семенычъ, сказалъ, наконецъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, соскучившись хныканьемъ Бирюкова и сгорая желаніемъ приступить какъ можно скорѣе къ главной, настоящей цѣли своей поѣздки въ Сычовку, — да, конечно, все это очень тяжело и грустно... Но если принять въ соображеніе преклонныя лѣта Изосима Семеныча, недуги и страшныя хлопоты, заботы, безпокойства... Впрочемъ, съ этой стороны, придется васъ теперь пожалѣть, мой почтенный Кормополѣй Семенычъ! Оно, разумѣется, братецъ оставилъ вамъ кое-что; но посудите сами: какія заботы обрушатся теперь на васъ по поводу ввода васъ во владѣніе имѣніемъ Изосима Семеныча! Вы жили до сихъ поръ въ раздѣлѣ; имѣнье покойника переходитъ въ ваши руки; пойдутъ бумаги, списки, записки, переписки, и, наконецъ, эти несчастныя двѣ тяжбы, затѣянныя вашимъ братцемъ съ сосѣдями... Сколько переговоровъ, заботъ, и особенно денегъ!.. Прибыль съ убыткомъ въ одномъ кошелькѣ живутъ, какъ говорится...

Во время этого монолога, Бирюковъ ломалъ свои костлявые пальцы и отчаянно моталъ головой.

— Охъ! произнесъ онъ,—знаю, благодѣтель, все знаю... голова идетъ кругомъ...

— Дѣла Изосима Семеныча были запутаны, продолжалъ съ возраставшей энергіей Аристархъ Ѳедоровичъ,—онъ, какъ вамъ извѣстно, любилъ заводить тяжбы; говоря откровенно, онъ оставилъ вамъ больше расхода, чѣмъ прибыли...

— О-о-охъ, благодѣтель! знаю, все знаю!.. простоналъ Бирюковъ и, наклонившись внезапно къ уху Балахнова, примолвилъ шопотомъ: — Да вотъ, пришелъ Изосимъ ко мнѣ прошлаго года, проситъ деньжонокъ, я ему и далъ... а послѣ оказалось, что прошлый годъ денегъ-то было у него больше моего... Вотъ вѣдь онъ какой!..

— По-моему, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—вамъ бы нуженъ былъ теперь человѣкъ опытный, знающій отлично дѣла, и, сверхъ того, человѣкъ такого рода, на котораго можно было бы положиться вполнѣ... Такой человѣкъ, который принялъ бы на себя обязанность распутать дѣла, переговорить съ земскимъ судомъ—и не изъ видовъ какихъ-нибудь, а единственно изъ участія къ вамъ, мой почтенный Кормонолѣй Семенычъ...

— Благодѣтель ты мой! воскликнулъ Бирюковъ, — ну, что кабы ты-то... Охъ, вѣкъ сталъ бы за тебя молить Бога!.. Утѣшь старика!.. Твой покойный батюшка ѣдалъ вѣдь нашу хлѣбъ-соль...

— Вотъ объ этомъ-то я и хотѣлъ переговорить съ вами. Вы знаете, на меня положиться можно; Нилъ Степанычъ Лукьяновъ... да и вообще всѣ, отъ которыхъ зависитъ нѣкоторымъ образомъ ваше дѣло, всѣ мнѣ съ руки; дѣло закипитъ, слѣдовательно, у насъ живо. Вы знаете, не въ первый разъ приходится мнѣ протягивать руку помощи, и слышали, что всякій разъ дѣйствовалъ я успѣшно...

— Благодѣтель, знаю... охъ, знаю! дѣлецъ ты, дока! Вотъ вѣдь и Софью-то Алексѣевну ты выпуталъ... Благодѣтель, утѣшь старика!.. говорилъ Бирюковъ, пожимая руки Балахнову.

— Извольте, готовъ... весело сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Только вотъ что, почтеннѣйшій Кормонолѣй Семенычъ: за все это я, съ своей стороны, потребую также маленькую услугу...

Бирюковъ выпустилъ руку собесѣдника и началъ что-то мямлить.

— Услуга, впрочемъ, ничтожная, поспѣшно подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ. — Видите ли: я возьму на себя всю вашу переписку касательно ввода во владѣніе, при

веду въ порядокъ ваши бумаги, такъ что вамъ это ничего не будетъ стоить, а вы... вы дайте мнѣ слово пріѣхать черезъ двѣ недѣли на выборы...

— Въ губернскій городъ?

— Да, въ Черноряжскъ, и, сверхъ того, обѣщайте мнѣ вашъ голосъ...

— Благодѣтель! воскликнулъ Бирюковъ, думавшій, что Аристархъ Ѳедоровичъ станетъ просить у него Богъвѣсть чего, — благодѣтель!.. повторилъ онъ, пожимая ему руку.

— Итакъ, рѣшено: вы ѣдете на выборы, даете мнѣ вашъ голосъ, а я, взамѣнъ этого, возьму на себя переписку вашихъ бумагъ и ходатайство по дѣлу о вводѣ во владѣніе...

— Ты говоришь: черезъ двѣ недѣли?

— Черезъ двѣ недѣли.

— Пріѣду, благодѣтель, вотъ какъ Богъ-святъ, пріѣду!..

Въ эту минуту въ кабинетѣ появился старый, сгорбленный лакей съ перекосившимися ногами, калмыцкимъ лицомъ и коротко остриженными бѣлыми волосами.

— Что̀ ты, Лёвушка? спросилъ съ безпокойствомъ Кормонолѣй Семеновичъ.

— Сестрицы просятъ позволенія войти къ вамъ, сказалъ сѣдой Лёвушка.

— Скажи, чтобъ пришли... Да вотъ что, Лёвушка, вели-ка тѣмъ-то негодяямъ-кучерамъ вывести... да, вывести тѣхъ лошадокъ, что̀ я говорилъ... не забудь и хомутики надѣть... Охъ! отъ братца на память имъ, душенькамъ... заключилъ Бирюковъ, обращаясь къ Балахнову.

Минуты двѣ спустя, вошли сестры. Полились слезы, послышались вздохи, и снова все умолкло, благодаря краснорѣчію Аристарха Ѳедоровича.

— Сестрицы, сказалъ наконецъ Бирюковъ,—пойдемте; мнѣ надо съ вами переговорить кой-о-чемъ. Пойдемъ и ты, благодѣтель, Аристархъ Ѳедоровичъ.

Бирюковъ, шаркая туфлями по полу и запахивая халатъ, вышелъ изъ кабинета, сопровождаемый сестрами и гостемъ.

Обогнувъ гостиную, залу и переднюю, онъ вывелъ ихъ на крыльцо.

Противъ крыльца стояли двѣ ободранныя, тридцатилѣтнія клячи, украшенныя столѣтними хомутами; два конюха, изъ опасенія, вѣроятно, чтобъ клячи не повалились на-земь, держали ихъ очень усердно подъ-уздцы.

— Вотъ, сказалъ Бирюковъ, указывая сестрамъ на клячъ,—вотъ возьмите... Тутъ онъ поспѣшно закрылъ лицо лѣвою рукою и, отчаянно махая правою, воскликнулъ:

— Не я дарю, нѣтъ! братъ, братъ Изосимъ, покойникъ даритъ вамъ на память!..

Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ успокоить взволнованныя чувства Кормонолѣя Семеновича и, взявъ его подъ-руки, повелъ въ кабинетъ, куда не замедлили явиться сестры, плакавшія теперь навзрыдъ...

Повторивъ Бирюкову вышеприведенный договоръ и снабдивъ, вдобавокъ, сестеръ его кой-какими душеспасительными истинами, Аристархъ Ѳедоровичъ пожелалъ имъ всѣмъ счастія и спокойствія, раскланялся и скоро покинулъ Сычовку.

XIII.

Жалкіе комары и мошки стараются затмить лучезарный блескъ величаваго солнца. Веселая игра въ фанты, повергающая одного господина въ глубочайшее отчаяніе.

Въ то время, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ разъѣзжалъ въ своей коляскѣ, мысленно созерцая великую уѣздную драму, въ которой готовился играть роль тріумфатора, и въ то время, какъ умственный взоръ его обнималъ безграничную панораму уѣзда съ его деревнями, селами, большими и проселочными дорогами, въ этомъ самомъ уѣздѣ ходили неблагопріятные слухи о томъ, что дѣла Аристарха Ѳедоровича разстраиваются, что... Ханскіе-Пруды перезакладываются и приходятъ въ упадокъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ не платитъ своихъ долговъ, что сосѣдъ его, Порфирій Павловичъ Васильковъ, на-дняхъ еще, былъ жертвою несостоятельности Аристарха Ѳедоровича, и что та же самая несостоятельность отразилась жесточайшимъ образомъ въ поступкѣ великаго мужа съ дѣвицей Розаліей Владиміровной Сараманаевой, и проч., и проч., и проч.

Всѣ эти сплетни—которымъ трудно пріискать названіе на языкѣ человѣческомъ, но которыя, тѣмъ не менѣе, подобно свирѣпому потоку, грозили затопить въ скоромъ времени весь уѣздъ — проистекали, однакожъ, изъ очень чистаго, свѣтлаго и мирнаго источника.

Источникомъ этимъ былъ маленькій, уютный и вполнѣ живописный домикъ барышень Кокуркиныхъ.

Домикъ этотъ составлялъ честь, славу и украшеніе небольшой деревушки Веселыя-Горки, принадлежавшей восьмерымъ владѣтелямъ, изъ которыхъ два, а именно: Кондей Ивановичъ Свищовъ и Проклъ Ивановичъ Полушкинъ, уже знакомы читателю. Благодаря своимъ одиннадцати душамъ, барышни Кокуркины занимали въ Веселыхъ-Горкахъ самое видное, почетное мѣсто и составляли нѣкоторымъ образомъ центръ, вокругъ котораго любили группироваться не только владѣтели Веселыхъ-Горокъ, но даже бо́льшая часть мелкихъ сосѣдей и сосѣдокъ ближайшихъ деревушекъ. Отличительное свойство трехъ сестеръ заключалось въ томъ, что онѣ никакъ не могли жить безъ гостей. Пріятная, веселая бесѣда была для нихъ такою же точно естественною потребностью, какъ вода для рыбы, воздухъ для человѣка. Земное существованіе Кокуркиныхъ, можно смѣло сказать, ограничивалось исключительно двумя цѣлями: принимать у себя гостей, или самимъ ѣздить въ гости. Нельзя утверждать положительно, чтобъ такая потребность проистекала у Кокуркиныхъ единственно изъ любви, или сочувствія къ ближнему, или человѣчеству вообще. Если говорить правду, ближній самъ по себѣ занималъ даже ничтожное мѣсто въ сердцѣ трехъ барышень; на ближняго смотрѣли вообще какъ-то не совсѣмъ доброжелательно и, при случаѣ, готовы были на него насплетничать, или, какъ говорится въ провинціи, обернуть къ нему слушателя лицомъ въ лѣсъ, а затылкомъ въ поле; но стоило ближнему лишь явиться къ барышнямъ въ качествѣ гостя — онъ дѣлался тотчасъ же въ ихъ глазахъ чѣмъ-то неприкосновеннымъ, ни дать ни взять, какъ у арабовъ Большой Степи. Для гостя ничего не было дорогого въ домѣ Кокуркиныхъ. Его усаживали на лучшее мѣсто, истощали предъ нимъ весь запасъ привѣтливыхъ фразъ и любезностей и уступали ему самыя мягкія перины; все это подтверждается фактами; такъ, напримѣръ, въ домѣ находился всего-на-все одинъ фаянсовый умывальникъ; со всѣмъ тѣмъ драгоцѣнный этотъ предметъ роскоши поступалъ всегда въ полное, исключительное распоряженіе гостя; нѣсколько лѣтъ тому назадъ, сестры выстегали соединенными силами превосходнѣйшій ситцевый халатъ, предназначавшійся исключительно для тѣхъ особъ мужского пола, которыя случайно заночевы-

вали подъ ихъ кровлею, и т. д. Что жъ касается собственно до угощенья—гостепріимство барышень не знало никакихъ предѣловъ и доходило часто до полнѣйшаго самоотверженія. Барышни слыли во всемъ уѣздѣ первыми мастерицами варить варенья, сберегать плоды на зиму, солить грузди и рыжики, дѣлать водицы, перегонять разныя сладкія, горькія и болѣе или менѣе желудочныя настойки; всего этого наготовляли онѣ великое множество. Кто бы повѣрилъ, однакожъ, что во все продолженіе года хозяйки не прикасались ни къ одному грибку, не съѣдали ни одной ложки варенья? Все сберегалось для гостей; сами Кокуркины пользовались мастерскими издѣліями своихъ рукъ тогда лишь, когда издѣлія эти оказывались неудачными или обнаруживали впослѣдствіи очевидную порчу. Послѣ всего сказаннаго, трудно было бы не остолбенѣть отъ удивленія, если бъ въ маленькомъ домѣ Кокуркиныхъ оказался недостатокъ въ обществѣ.

Въ одинъ осенній, сырой вечеръ, общество барышень было какъ-то особенно многочисленно. Къ этому, впрочемъ, сильнѣйшимъ образомъ способствовала веселая Вѣра Андреевна, та самая, что̀ похожа на откормленнаго дрозда, увеличеннаго въ полторы тысячи разъ; не довольствуясь тѣмъ, что въ домѣ ея находились ужъ гости, она отправилась тотчасъ послѣ обѣда вербовать еще кой-кого изъ ближайшихъ сосѣдей. Цѣль ея была, разумѣется, достигнута: Вѣра Андреевна не замедлила вернуться домой въ сопровожденіи двухъ дамъ: Капитолины Лукиничны Дядиньковой и Лукерьи Ѳоминичны Крепышовой. Нельзя сказать, чтобъ послѣдняя была драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ для общества Кокуркиныхъ и особенно для Вѣры Андреевны, искавшей прежде всего въ гостяхъ своихъ ничѣмъ не сокрушимой веселости. Лукерья Ѳоминична Крепышова была дѣва лѣтъ тридцати-двухъ, мрачнаго и крайне-несообщительнаго свойства; носилась достовѣрная молва, что она дала даже обѣтъ молчанія, и приписывали такую рѣшимость съ ея стороны несчастной любви, приключившейся, будто бы, десять лѣтъ тому назадъ. Лукерья Ѳоминична влюбилась, изволите видѣть, въ одного пріѣзжаго изъ столицы, который, какъ на зло, въ это самое время женился на одной богатой вдовѣ. Вотъ съ этой-то минуты, какъ по крайней мѣрѣ говорили, она замкнула свои уста и сердце. Не слѣдуетъ, однакожъ, никакимъ образомъ не слѣдуетъ удивляться послѣ всего

сказаннаго, что Лукерья Ѳомнинична отказывалась съ той поры отъ многихъ выгодныхъ партій и упорствовала оставаться дѣвственницей. И въ самомъ дѣлѣ, странно было бы съ ея стороны и даже неумѣстно выйти за какого-нибудь жалкаго сосѣда — своего брата, тогда какъ она питала ужъ разъ въ душѣ слабую надежду быть столичной барыней. Все это было совершенно справедливо; но было также справедливо и то, что другая дама, приглашенная Вѣрой Андреевной, представляла самый рѣзкій контрастъ съ Лукерьей Ѳоминичной. Капитолина Лукинична Дядинькова была живая, тараторливая вдова лѣтъ сорока, преисполненная юркости. Капитолина Лукинична принадлежала къ разряду дамъ съ весьма обширными познаніями; ей было извѣстно въ совершенствѣ все то, что за послѣднія десять лѣтъ совершилось въ Горшковскомъ уѣздѣ; она проникала, казалось, въ сокровеннѣйшіе закоулки сердецъ самыхъ отдаленныхъ жителей губерніи; мельчайшія событія, случившіяся за пятьдесятъ верстъ и болѣе, были ей такъ же хорошо извѣстны, какъ будто произошли передъ ея глазами; она все знала, и многіе помѣщики уѣзда не даромъ называли ее „Горшковскимъ Вѣстникомъ". Наружность ея была, однакожъ, обманчива — обманчива въ томъ именно смыслѣ, что не заставляла предполагать въ Капитолинѣ Лукиничнѣ съ перваго взгляда ничего особенно геніальнаго. Все почти ограничивалось рыженькими веснушками, бойко вздернутымъ носомъ и рыжими волосами, тщательно гофрированными на вискахъ и подобранными на затылкѣ въ пучокъ, величиною съ грецкій орѣхъ. Но дѣло вовсе не въ наружности.

Капитолинѣ Лукиничнѣ стоило только показаться въ маленькой залѣ Кокуркиныхъ, гдѣ расположилось общество, чтобъ завладѣть нитью разговора; не прошло и пяти минутъ послѣ ея появленія, какъ она успѣла ужъ затронуть за живое почти всѣхъ присутствовавшихъ, сообщивъ имъ кучу новостей, изъ которыхъ весьма многія имѣли самое близкое отношеніе къ слушателямъ.

Надлежитъ теперь сказать два слова о томъ, гдѣ происходила бесѣда и кто такіе были присутствовавшіе.

Бесѣда происходила въ небольшой низенькой комнатѣ о двухъ окнахъ, обставленной кругомъ сосновыми стульями, выкрашенными темною краской; стѣны, выбѣленныя мѣломъ, не представляли рѣшительно никакихъ украше-

ній, если не взять въ расчетъ темныхъ кружковъ, находившихся немного повыше спинокъ стульевъ и отпечатанныхъ напомаженными затылками нѣсколькихъ сотенъ гостей. Это была зала, куда преимущественно собиралось общество, ибо въ гостиной съ большимъ трудомъ умѣщались четыре человѣка.

У перваго окна, недалеко отъ двери передней, сидѣла Варвара Андреевна — старшая Кокуркина; противъ нея находился овальный столъ, заставленный тарелками съ вареньемъ, мочеными яблоками и калеными орѣхами; вокругъ стола располагались слѣдующія замѣчательныя особы: на самомъ почетномъ мѣстѣ, подлѣ Варвары Андреевны, сидѣла Капитолина Лукинична и рядомъ съ нею молчаливая Лукерья Ѳоминична Крепышова; къ нимъ примыкала веселая, цвѣтущая Вѣра Андреевна, первая хороводница, первая затѣйница всѣхъ возможныхъ увеселеній и первая танцовщица своего уѣзда. Насупротивъ, по ту сторону стола, располагался Павелъ Павловичъ Чибезовъ, мужъ хорошенькой дочери Фукола Ивановича, мастеръ сочинять замысловатыя исторіи юмористическаго свойства и писать экспромптомъ стихи и басни. То былъ господинъ лѣтъ тридцати пяти, небольшого роста, съ физіономіей, преисполненной необычайнаго движенія даже и тогда, когда онъ ничего не говорилъ; лицо его было, казалось, исключительно составлено изъ однихъ лишь черныхъ, прыгающихъ, свѣтящихся глазъ и блестящихъ зубовъ; тщедушно хрупкіе члены господина Чибезова и зеленоватая, болѣзненная блѣдность лица его заставляли предполагать, что онъ опорожнилъ въ молодости своей безчисленное множество склянокъ съ декоктомъ и разными другими цѣлебными спеціями; хриплый, шипящій голосъ его подтверждалъ краснорѣчивѣйшимъ образомъ такое предположеніе; подлѣ Чибезова сидѣлъ Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ, творецъ „Непризнанной Индѣйки", извѣстный ужъ теперь не только читателю, но даже всякому мало-мальски знающему грамотѣ. У второго окна сидѣла стыдливая, застѣнчивая Надежечка Кокуркина и подлѣ нея, на разстояніи четверти аршина, красовался сердобольный Порфирій Павловичъ Васильковъ; огромные глаза, составлявшіе исключительную принадлежность Василькова, страстно впивались въ опущенныя рѣсницы Надеженьки, тридцати-пятилѣтняя грудь которой обозначала неописанное волненіе. Въ маленькой залѣ находилось еще

одно существо, никѣмъ незамѣченное, никому, повидимому, ненужное, но которое мы ни подъ какимъ видомъ не можемъ пропустить отъ вниманія читателя; существо это—Прокисай Захаровичъ Копковъ, бѣдный проживальщикъ Ханскихъ-Прудовъ, обратившій, какъ говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, Фіону Ивановну въ „страдательный глаголъ", и самъ, въ свою очередь, обращенный въ тотъ же страдательный глаголъ невозмутимою холодностью младшей Кокуркиной. Прокисай Захаровичъ былъ вовсе не изъ числа тѣхъ людей, которые рвутся напроломъ и бушуютъ, подобно огнедышащей горѣ, какъ скоро страсть закрадывается въ ихъ душу; совсѣмъ нѣтъ! Прокисай Захаровичъ могъ бы страдать молча и безропотно десять, двадцать лѣтъ, если бъ, напримѣръ, сказали ему, что, по прошествіи этого срока, сердце обожаемой имъ особы забьется исключительно для него одного; но присутствіе такого страшнаго соперника, каковъ былъ Порфирій Павловичъ, очевидные успѣхи, какіе дѣлалъ этотъ соперникъ въ сердцѣ Надеженьки, отнявъ у Прокисая Захаровича всякую надежду, сразили его окончательно. Ему оставалось только сидѣть въ почтительномъ разстояніи у двери и дѣлать безотрадныя наблюденія надъ счастливою четою. По мѣрѣ того, какъ пространство между Васильковымъ и Надеженькой сокращалось, лицо Прокисая Захаровича становилось длиннѣе и выражало всѣ признаки глубочайшаго отчаянія; нѣтъ сомнѣнія, что оно обратило бы на себя вниманіе присутствовавшихъ, если бъ взоры ихъ не были обращены въ настоящую минуту на лицо Аполлона Егоровича, которое было почти такъ же мрачно и длинно, какъ лицо Прокисая Захаровича.

— Полноте, Аполлонъ Егорычъ, какъ вамъ не стыдно огорчаться такими пустяками; вы человѣкъ умный; къ тому же, никто, разумѣется, не повѣритъ этому, говорила разсудительно-спокойнымъ тономъ старшая Кокуркина.— Капитолина Лукинична, Лукерья Ѳоминична, сдѣлайте милость, крыжовничку! неожиданно заключила она, поднося двумъ сосѣдкамъ тарелку съ вареньемъ.

— Нѣтъ, знаете, Варвара Андреевна, это... это просто возмутительно! воскликнулъ Дрянковъ, нетерпѣливо проводя рукою по вихрамъ своимъ.

— Ну, вотъ есть чѣмъ возмущаться! живо подхватила средняя сестра, — говорятъ вамъ, никто этому не повѣритъ: слава Богу, неужто вамъ этого не довольно! Полно

вамъ въ самомъ-то дѣлѣ хмуриться; всякій знаетъ, что Бобоховъ лгунъ, хвастунъ... и больше ничего!

— Я готовъ подтвердить это тысячью исторій, тысячью фактовъ! энергически замѣтилъ Чибезовъ, поспѣшно вынимая изо рта чубукъ и окидывая быстрымъ взглядомъ присутствовавшихъ.

— Нѣтъ, какъ хотите, это... это просто возмутительно! повторилъ мрачный Аполлонъ Егоровичъ.

— Послушайте, Аполлонъ Егорычъ, начала, въ свою очередь, рыженькая Капитолина Лукинична, которая, нужно замѣтить, была единственной виновницей отчаянныхъ выходокъ и злобнаго выраженія, отпечатаннаго на лицѣ знаменитаго повѣствователя, — послушайте: я передала вамъ только то̀, что говорила мнѣ вчера жена горшковскаго аптекаря и еще кое-кто изъ общихъ нашихъ знакомыхъ: за вѣрность слуховъ я не ручаюсь; очень можетъ быть, что Бобоховъ и не думалъ даже распространять слухи, будто помогалъ вамъ писать ваше сочиненіе... не правда ли, Лукерья Ѳоминична?

Лукерья Ѳоминична Крепышова была истиннымъ другомъ Капитолины Лукиничны, что и явствуетъ изъ того, что исторія ея любви извѣстна была всему уѣзду; сверхъ того, Капитолина Лукинична жила на хлѣбахъ у Лукерьи Ѳоминичны, и это послѣднее обстоятельство, взятое вмѣстѣ съ упорною молчаливостью истиннаго друга, доказываетъ, почему Капитолина Лукинична обращалась преимущественно къ г-жѣ Крепышовой въ тѣхъ случаяхъ, когда надлежало возбудить къ себѣ довѣріе посторонняго лица.

Приведенная въ крайнюю необходимость удовлетворить отвѣтомъ свою нахлѣбницу, Лукерья Ѳоминична сказала:

— Да... конечно... и снова погрузилась въ молчаніе.

— Извольте видѣть, и Лукерья Ѳоминична то же говоритъ! живо подхватила Капитолина Лукинична, разводя руками передъ Дрянковымъ.

— Помилуйте, Капитолина Лукинична, за кого же вы меня принимаете? за олуха, непонимающаго даже тѣхъ людей, посреди которыхъ привелось ему жить?.. нетерпѣливо воскликнулъ Дрянковъ.—Я слишкомъ хорошо знаю Бобохова, и вѣрю, что онъ въ состояніи сказать, будто помогалъ мнѣ писать повѣсть! О, вы не знаете, отъ него все можно ожидать.

— Я, съ своей стороны, готовъ подтвердить это ты-

сячью исторій и сотнями фактовъ! подтвердилъ еще энергичнѣе Чибезовъ.

— Тсс... что же это такое? господа... Павелъ Павлычъ... оставьте все это; вотъ варенье, вишня, крыжовникъ; Аполлонъ Егорычъ, возьмите моченое яблоко и забудьте все это... Капитолина Лукинична, Капитолина Лукинична, охота было вамъ заводить рѣчь объ этомъ! заговорили въ одинъ голосъ старшія Кокуркины.

— Извольте, чтобъ доставить вамъ удовольствіе, я возьму яблоко, но ужъ извините меня, если я повторю, что Бобоховъ лгунъ, не стоящій вниманія!.. въ этомъ не сомнѣвается и, конечно, не можетъ сомнѣваться ни одинъ порядочный человѣкъ!.. Да вотъ, чего же лучше, подхватилъ Аполлонъ Егоровичъ, поворачиваясь неожиданно ко второму окну, — Порфирій Павлычъ служилъ съ нимъ когда-то и можетъ подтвердить вамъ слова мои...

Порфирій Павловичъ быстро оторвалъ глаза свои отъ рѣсницъ Надеженьки, еще быстрѣе откинулся въ сторону и закинулъ правую ногу на лѣвую.

— Виноватъ, сказалъ онъ съ безпечною веселостью,— виноватъ, я не вслушался хорошенько...

— Дѣло идетъ о Бобоховѣ, лгунъ онъ или нѣтъ? нетерпѣливо возразилъ Дрянковъ.

— Да... конечно... если хочешь... но, впрочемъ, надо судить съ точки... я не видался съ нимъ почти съ того времени, какъ полкъ нашъ стоялъ на травяномъ продовольствіи...

Сказавъ это, Порфирій Павловичъ окинулъ разсѣяннымъ взглядомъ присутствовавшихъ и, убѣдившись, что Дрянковъ, а за нимъ и всѣ остальные, сѣли къ нему кто бокомъ, кто спиною, снова припалъ къ туго-напомаженной головѣ Надеженьки, при чемъ лицо его приняло мгновенно такое разслабленное, тающее выраженіе, какъ будто превратилось въ воскъ, а голова собесѣдницы—въ ярко-пылающую печку.

— Да, барышни, вы правы, совершенно правы, говорилъ между тѣмъ Аполлонъ Егоровичъ, постепенно воодушевляясь,—дѣйствительно, было бы смѣшно, скажу болѣе: было бы глупо и безразсудно съ моей стороны возмущаться словами какого-нибудь Бобохова—словами, порожденными мелочною завистью, хвастовствомъ и злобою... Бобоховъ! безграмотный Бобоховъ помогалъ мнѣ! Хорошъ сотрудникъ, нечего сказать! Съ такимъ помощникомъ я,

вѣрно, не получилъ бы пяти тысячъ за мою „Непризнанную Индѣйку“!..

— Пять тысячъ! воскликнула съ изумленіемъ Варвара Андреевна.

— Пять тысячъ! подхватила Вѣра Андреевна, всплеснувъ руками.

— Пять тысячъ! повторила Капитолина Лукинична Дядинькова, откидываясь на спинку стула и вперяя удивленные глазки на Аполлона Егоровича, который смѣло встрѣтилъ направленные на него взгляды и значительно раздулъ ноздри.

— Помилуйте, mesdames, что жъ тутъ такого удивительнаго? сказалъ съ необычайною живостью г. Чибезовъ, — я могу привести вамъ, если хотите, тысячу фактовъ, изъ которыхъ вы увидите, что сочинители получаютъ даже больше пяти тысячъ! Былъ у меня одинъ пріятель, который получилъ разъ восемнадцать тысячъ; другой получилъ десять тысячъ, третій... все это, какъ честный человѣкъ, ничего не значитъ! промолвилъ онъ съ видомъ знатока.—Главное дѣло, сударыни, не въ деньгахъ, продолжалъ г. Чибезовъ, приводя въ движеніе тощіе мускулы своего лица, — совсѣмъ не въ деньгахъ! Я знаю навѣрное и даже могу разсказать вамъ сотню исторій, которыя покажутъ, что нѣтъ на свѣтѣ такого сочинителя, который не былъ бы душевно радъ отдать даромъ свое произведеніе. Главная цѣль вдохновеннаго человѣка—слава, извѣстность. Я сужу по себѣ. Если бъ я написалъ какое-нибудь дивное твореніе и мнѣ сказали бы: возьми милліонъ съ тѣмъ, что сожгутъ твое твореніе и разлучатъ тебя со славой, я отказался бы напрямикъ, какъ честный человѣкъ, отказался бы! Я увѣренъ, что Аполлонъ Егорычъ, какъ человѣкъ съ вдохновеніемъ, раздѣляетъ мое мнѣніе! довершилъ Чибезовъ, задыхаясь отъ черезчуръ сильнаго напряженія ввалившейся груди и пересохшувшаго горла.

Во время этого жаркаго монолога, прерываемаго такими быстрыми движеніями глазъ, рукъ и ногъ, какъ будто Чибезовъ защищался отъ цѣлаго легіона непріятелей, Аполлонъ Егоровичъ расправлялъ вихры и неистово раздувалъ ноздри; съ окончаніемъ монолога, Дрянковъ кашлянулъ, гордо обвелъ глазами присутствовавшихъ и, положивъ коренастую ладонь на руку собесѣдника, произнесъ съ чувствомъ:

— Благодарю васъ, Павелъ Павлычъ, вы меня поняли!

Тутъ Аполлонъ Егоровичъ обратился къ дамамъ и, выразивъ на лицѣ своемъ скромную улыбку, принялся распространяться о колоссальномъ успѣхѣ „Непризнанной Индѣйки“, успѣхъ которой, если вѣрить словамъ даровитаго автора, вознаградилъ его вполнѣ за всю горечь, испытанную имъ во время долгаго, тернистаго литературнаго поприща. Аполлонъ Егоровичъ привелъ въ справедливое изумленіе своихъ слушателей разсказами о томъ, какъ общество писателей, не зная, чѣмъ выказать свою признательность творцу „Непризнанной Индѣйки“, поднесло ему собраніе сочиненій всѣхъ членовъ общества, и, въ подтвержденіе сказаннаго, выбѣжалъ изъ зала, порылся минутъ пять въ чемоданчикѣ и возвратился съ брошюрками: „Пелопонезо-Таврическихъ Мелодій“, „Заоблачныхъ Трелей“ и проч., и проч. Затѣмъ Аполлонъ Егоровичъ передалъ вѣрно и подробно о томъ, какъ не было ему рѣшительно никакого прохода въ Петровскомъ паркѣ, какъ поминутно дребезжала въ ушахъ его собственная фамилія, произносимая сотнями голосовъ, какъ многія знатныя дамы, завидя его издали, останавливали свои кареты и восторженно направляли на него лорнеты; какъ редакторы всевозможныхъ газетъ и журналовъ убѣждали его подарить имъ нѣсколько драгоцѣнныхъ строчекъ, предоставляя на его волю выборъ сюжета и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предоставляя ему назначить за свой трудъ какія угодно условія. Предшествовавшія слова Дрянкова могли возбуждать недовѣріе, но это послѣднее доказательство успѣха его повѣсти мигомъ разсѣяло всѣ сомнѣнія, и съ этой минуты на него стали смотрѣть, какъ на что-то выходящее изъ разряда обыкновенныхъ смертныхъ.

— И послѣ этого вы можете огорчаться тѣмъ, что̀ говоритъ какой-нибудь Бобоховъ! воскликнули въ одинъ голосъ присутствовавшіе, за исключеніемъ несчастнаго Прокисая Захаровича, который сидѣлъ попрежнему у двери и продолжалъ наблюдать съ отчаянно зловѣщимъ видомъ Василькова и Надеженьку.

Внезапно Павелъ Павловичъ Чибезовъ, ходившій быстрыми шагами по залѣ, подбѣжалъ къ столу съ вареньемъ и, размахивая руками, проговорилъ съ необычайнымъ воодушевленіемъ:

— Конечно, Аполлонъ Егорычъ не долженъ огорчаться

словами этого Бобохова; но, во всякомъ случаѣ, какъ честный человѣкъ, слѣдуетъ проучить Бобохова!.. У меня блеснула счастливая мысль!.. Я сейчасъ сочинилъ нѣсколько стиховъ на Бобохова! Мы перепишемъ эти стихи, запечатаемъ ихъ въ пакетъ и пошлемъ въ Голодаевку отъ неизвѣстнаго—превосходно! Итакъ, знаете, случайно, неожиданно блеснула такая мысль... право, даже странно какъ-то...

— Что вы! что вы, Павелъ Павлычъ! какъ, вотъ въ это время?.. въ одну минуту какую-нибудь вы успѣли сочинить?! сказала, всплеснувъ руками, Вѣра Андреевна.

— Да-съ, у меня, знаете, все это вдругъ! возразилъ Чибезовъ, заливаясь самодовольнымъ смѣхомъ, при чемъ глаза его засверкали пуще прежняго,—такъ, знаете, со мной всегда бываетъ: и не думаешь, вдругъ засверкаютъ мысли! Иногда ночью, знаете, спишь, вдругъ мысль! бужу жену: „садись, говорю, пиши подъ диктовку"; закуриваю трубку, хожу по комнатѣ... не успѣваетъ записывать...

— Ахъ, Боже мой! вотъ ужъ подлинно-то талантъ!..

— Ха-ха-ха-ха!.. а... а... залился Чибезовъ, сверкая восторженно глазами.

— Такъ что же вы такое сочинили на Бобохова, Павелъ Павлычъ? скажите намъ, скажите... ахъ, какъ это весело и пріятно! нетерпѣливо проговорила Вѣра Андреевна.

Павелъ Павловичъ не заставилъ себя дожидаться; онъ отпрянулъ шагъ назадъ, кашлянулъ и, устремивъ на присутствовавшихъ быстрые глаза, въ которыхъ сверкали молніи, произнесъ безъ одышки — и съ такою поспѣшностью, что слышались только окончанія словъ—слѣдующіе стихи:

Въ Перми разъ жилъ съ румяною женою
Богатый, удалой купецъ,
Онъ торговалъ желѣзною рудою,
И прижилъ сына наконецъ!..
. . . . . .

— Ахъ, какъ мило! Какой умъ! И какъ это все скоро! Прекрасно! Прекрасно! воскликнули дамы, когда импровизаторъ запнулся и остановился.

— Когда я расположенъ, клянусь вамъ, это у меня всегда такъ бываетъ! сказалъ Чибезовъ, одолѣваемый хриплымъ кашлемъ.—Итакъ, Аполлонъ Егорычъ, мы спишемъ эти стихи и пошлемъ ихъ къ Бобохову.

— Завтра же. Благодарю васъ...

— О, это будетъ ему горче ревеню! Ручаюсь, ночь не будетъ спать!

— Бѣдный Бобоховъ!

— Ахъ, несчастный!

— Впрочемъ, клянусь честью, онъ этого вполнѣ заслужилъ.

— Сплетникъ и негодяй! подхватилъ Дрянковъ.—Хуже всего то, что сплетни, распускаемыя имъ на мой счетъ, могутъ дойти до Балахнова... Вотъ это-то, признаться, болѣе всего меня и возмущаетъ.

— Отчего жъ такъ?

— Балахновъ чувствовалъ ко мнѣ всегда и постоянно непримиримую ненависть, гордо сказалъ Дрянковъ, — я никогда не льстилъ ему, не поклонялся и всегда говорилъ правду въ глаза. Онъ будетъ очень радъ воспользоваться сплетнями этого Бобохова, чтобъ повредить мнѣ во мнѣніи людей, которые, изъ угожденія ему, никогда не отдавали мнѣ должной справедливости...

— Пускай это случится, я буду очень радъ! вскричалъ Чибезовъ.—У меня, клянусь честью, давно вертится въ головѣ басня на Балахнова... Пускай онъ только попробуетъ оклеветать Аполлона Егорыча, мы пошлемъ ему эту басню!

— О, какой вы злой, Павелъ Павлычъ!.. Съ вами, просто, опасно быть знакомымъ... Вы, чего добраго, и на насъ напишете что-нибудь... произнесли старшія Кокуркины.

— На этотъ счетъ, барышни, вы можете быть спокойны! возразилъ съ горячностью Чибезовъ.—Особы, которыхъ я люблю и уважаю, никогда не будутъ предметомъ моего пера!.. Господинъ Балахновъ совсѣмъ другое... я давно ищу случая запустить шпильку господину Балахнову.

— За что же такъ?..

— У меня найдется на этотъ счетъ тысяча причинъ и исторій!..

— И у меня также! мрачно замѣтилъ Дрянковъ.

— Полноте, полноте, господа! Вы, право, кажется, слишкомъ ужъ нападаете на Аристарха Ѳедорыча! весело воскликнула Вѣра Андреевна. — Аристархъ Ѳедорычъ... конечно, гордъ... но... разумѣется... если хотите... но, во всякомъ случаѣ, онъ прелюбезный человѣкъ и въ его домѣ очень пріятно... онъ очень, очень милый человѣкъ...

— Гм! гм! произнесла Капитолина Лукинична сомнительнымъ тономъ.

Взоры всѣхъ устремились мгновенно на Капитолину Лукиничну, но она сдѣлала видъ, какъ будто ничего не замѣчаетъ, и, глядя въ окно, разглаживала весьма усердно гофрированныя бандо рыженькихъ волосъ своихъ.

— Конечно, Аристархъ Ѳедорычъ премилый человѣкъ, продолжала неувѣреннымъ голосомъ толстая Вѣра Андреевна,—а, впрочемъ, я не знаю, можетъ-быть, съ нимъ случилось еще что-нибудь, можетъ-быть, это из-вѣ-стно Капитолинѣ Луки-нич-нѣ?..

— Какъ, мнѣ? Отчего же мнѣ именно? сказала Капитолина Лукинична голосомъ невинности. — Я ничего не знаю, право, ничего...

— Полноте, полноте, голубушка, Капитолина Лукинична, этого быть не можетъ, вы все знаете!..

— Ей-Богу же ничего не знаю! съ увѣренностью возразила Капитолина Лукинична. — Я полагаю, что вамъ, Варвара Андреевна, и вамъ, Вѣра Андреевна, извѣстно болѣе моего: вы такъ часто бываете въ Ханскихъ-Прудахъ. Я знаю только то̀, что знаютъ всѣ, весь уѣздъ, вся губернія.

— Что же такое? спросили присутствовавшіе, придвигаясь ближе.

— Не знаю, вѣрить ли этому. Говорятъ, будто Аристархъ Ѳедорычъ, въ бытность свою въ Москвѣ, перезаложилъ Ханскіе-Пруды, и теперь у него ничего не остается, кромѣ неоплатныхъ долговъ...

— Это такъ вѣрно, сударыня, воскликнулъ Дрянковъ,— такъ вѣрно (вы знаете, дѣла Балахнова извѣстны мнѣ, какъ свои пять пальцевъ); не даромъ прожилъ я въ его домѣ почти четыре года! Да-съ, съ минуты на минуту надо ожидать его гибели... Помяните меня, если черезъ нѣсколько мѣсяцевъ не пуститъ онъ по міру жену и дѣтей...

— Охъ! вздохнули всѣ дамы, не исключая даже безсловесной Крепышовой.

— Человѣкъ безъ чувства и сердца! неистово прокричалъ пылкій Чибезовъ.

— Главное дѣло еще не въ томъ-съ! продолжалъ Дрянковъ съ возраставшимъ жаромъ.—Главное дѣло въ томъ, что онъ предательскимъ образомъ вовлекъ въ свои запутанныя обстоятельства многихъ изъ бывшихъ его друзей...

Да вотъ чего же лучше, вотъ вамъ живая жертва балахновскаго пронырства, спросите его... подхватилъ Дрянковъ, неожиданно поворачиваясь къ Василькову, который быстро оторвалъ глаза отъ рѣсницъ Надеженьки, обдернулъ жилетъ и привсталъ съ мѣста.

— Виноватъ, сказалъ Порфирій Павловичъ, разсѣянно взбивая свои волосяныя пряди,—виноватъ, я не вслушался хорошенько...

— Я хотѣлъ напомнить этимъ дамамъ твою исторію съ Балахновымъ...

— Да, Аристархъ Ѳедорычъ обошелся со мной вовсе не по-дружески, проговорилъ Порфирій Павловичъ, мысли и чувства котораго были заняты въ это время одною Надеженькой.

— А что вы скажете, напримѣръ, объ исторіи съ Сараманаевой? продолжалъ Дрянковъ съ торжествующимъ видомъ.

— Ахъ, да, ужасная исторія, подхватили дамы.

— Черная исторія! воскликнулъ Чибезовъ, вызывая на лицѣ своемъ цѣлый рядъ неистово-рѣзкихъ выраженій.

— Да, Аристархъ Ѳедорычъ поступилъ съ Розаліей Владиміровной несовсѣмъ благородно...

— Скажите: низко, отвратительно! снова воскликнулъ нервозный Чибезовъ, размахивая руками съ такою быстротою, какъ будто Аристархъ Ѳедоровичъ стоялъ передъ нимъ и онъ принялъ твердое намѣреніе разбить его вдребезги.

— Скажите, пожалуйста, что же будетъ теперь дѣлать Лизавета Семеновна?..

— Я вамъ говорю: пойдетъ по-міру...

— Охъ! простонала Варвара Андреевна.

— Бѣдная, несчастная Лизавета Семеновна! сказала Вѣра Андреевна съ такимъ чувствомъ, какъ будто Балахнова была сто разъ ея сестрою.

— Говорятъ, однакожъ, будто... пробормотала несвязно Капитолина Лукинична.

— Что такое?..

— Нѣтъ... такъ... я хотѣла спросить про Карачаева...

— Вы развѣ слышали что-нибудь?..

— Нѣтъ, право, ничего... я хотѣла только спросить: правда ли, что Карачаевъ жилъ въ Ханскихъ-Прудахъ въ то время, какъ Аристархъ Ѳедорычъ былъ съ вами въ Москвѣ?

— Правда, совершенная правда-съ. Повѣрьте мнѣ: Балахнову совершенно все равно!.. Онъ давно принесъ Лизавету Семеновну въ жертву своему эгоизму. Да вотъ, Варвара Андреевна знаетъ, какова ея жизнь...

— Охъ! простонала вмѣсто отвѣта Варвара Андреевна, возводя глаза къ потолку.

— Что до меня касается, сказала средняя Кокуркина,— я сожалѣю болѣе всего о дѣтяхъ. Скажите, пожалуйста, чѣмъ виноваты невинныя малютки?..

— Бѣдныя дѣти! сказала со вздохомъ Варвара Андреевна.

— Жалкія малютки! подхватила Капитолина Лукинична.

— Достойны всякаго состраданія сироты! произнесъ, въ свою очередь, Дрянковъ.

— Нѣтъ, скажите лучше: несчастныя дѣти! воскликнулъ съ отчаяніемъ Чибезовъ.—Несчастныя дѣти!..

— Именно такъ: несчастныя и вполнѣ несчастныя дѣти! подтвердили въ одинъ голосъ всѣ присутствовавшіе.

XIV,

служащая продолженіемъ предшествующей.

Вмѣстѣ съ этимъ восклицаніемъ, въ которомъ весьма легко могли прозвучать двѣ-три ноты истиннаго соболѣзнованія о судьбѣ дѣтей Балахнова, въ залѣ показалась горничная, извѣстная въ Веселыхъ-Горкахъ подъ названіемъ „Агашеньки". Горничная эта—дочь мрачнаго Кузьмы, кучера Кокуркиныхъ. Бѣлокуро-рыжеватые волосы Агашеньки были тщательно расчесаны, намаслены и прилизаны; но голова ея, сверкавшая какъ полированное золото, далеко не соотвѣтствовала, однакожъ, затасканному платью изъ скромной полосушки, которое, въ свою очередь, окончательно уже не могло соотвѣтствовать обуви, состоявшей исключительно изъ однихъ толстыхъ, шерстяныхъ чулокъ, прорванныхъ на пяткахъ. Агашенька могла, такимъ образомъ, напоминать въ цѣломъ одну изъ аллегорическихъ статуй древности, у которой голова была золотая, туловище желѣзное, а ноги глиняныя. Агашенька, не мѣшаетъ замѣтить, ходила бо̀льшею частью босикомъ; чулки надѣвались тогда лишь, когда предстояло являться въ залѣ или гостиной, чтобъ, во-первыхъ, соблюсти приличіе, во-вторыхъ, сохранить полъ въ надлежащей чисто-

тѣ—обстоятельство, за которымъ строго наблюдали сами хозяйки.

— Что ты, Агашенька? спросили старшія барышни.

— Кондей Ивановичъ и Софья Кузьминична прислали батрака...

— Ѳектиску?

— Ѳектиску-съ. Приказали кланяться и приказали спросить: будете ли вы нынче дома: оченна желаютъ васъ видѣть...

— Дома! дома! вскрикнула Вѣра Андреевна, припрыгивая на стулѣ при мысли, что къ вечеру маленькая зала окончательно запрудится гостями. — Скажи: оченно рады; приказали, дескать, кланяться и приказали просить къ себѣ!..

Агашенька юркнула въ переднюю.

— Кстати о Свищовыхъ. Скажите на милость, что, какъ они теперь?.. все еще ссорятся съ Полушкиными?.. спросилъ Чибезовъ.

— Какъ прежде было, такъ и теперь: ссорятся безпрестанно; только и слышишь объ этомъ...

— Ха-ха-ха! залился Чибезовъ, приводя въ движеніе черты своего лица.

— Просто ужасти, да и только! проговорила, въ свою очередь, рыженькая Капитолина Лукинична. — Хоть бы, право, людей-то постыдились; хоть бы, наконецъ, постыдились ближайшихъ сосѣдей: домъ Лукеріи Ѳоминичны, какъ вамъ извѣстно, находится между ихъ домами — и что жъ? повѣрите ли, день-деньской слышишь однѣ только перебранки... такое, право, неудовольствіе!.. вотъ хоть бы вчера, напримѣръ...

— А что̀, развѣ вчера опять что-нибудь случилось? спросили Кокуркины.

— Ужъ будто вы ничего не слыхали?..

— Нѣтъ, голубушка, ничего не знаемъ...

— Ужасти, ужасти, что было такое!.. заговорила Капитолина Лукинична.—Началось, съ чего начинаются у нихъ обыкновенно всѣ ссоры: Софья Кузьминична повздорила за что-то съ Матреной Васильевной Полушкиной... кажется, что за куръ Матрены Васильевны, которыя влетѣли въ огородъ Свищовыхъ... Вдругъ, что̀ же мы слышимъ съ Лукерьей Ѳоминичной: прибѣгаетъ къ намъ полушкинская Анисья... знаете, та, что̀ мужъ умеръ на Святой—прибѣгаетъ и говоритъ:—„Матушки-барышни, гово-

ритъ, одолжите ушатъ воды. Кондей Иванычъ поссорились, говоритъ, съ Прокломъ Иванычемъ и не подпускаютъ Прокла Иваныча и людей его брать воду въ прудѣ; а прудъ-то, матушка, говоритъ Анисья, сами знаете, принадлежитъ Свищовымъ. Какъ быть?" Это насъ, признаться сказать, изумило! особливо Лукерью Ѳоминичну. — „Что ты врешь?!" говоримъ мы Анисьѣ. — „Право, матушки-барышни, говоритъ она,—извольте хоть сами поглядѣть." Мы подошли къ окну... и что жъ бы вы думали? видимъ: стоитъ Кондей Иванычъ у берега, машетъ руками и не подпускаетъ къ пруду полушкинскихъ бабъ...

— Ха-ха-ха-а-а!.. снова залился Чибезовъ,—превосходно! какъ честный человѣкъ, превосходно! Позвольте, у меня блеснула по этому случаю счастливая мысль, неожиданно примолвилъ онъ, придавая задумчивое выраженіе своему лицу и принимаясь тереть лобъ,—сейчасъ, сію минуту... отлично!

Тутъ Чибезовъ съ жадностью припалъ губами къ чубуку, затянулся дымомъ и, впиваясь сверкавшими глазами въ присутствовавшихъ, принялся отхватывать скороговоркою:

Вотъ два сосѣда жили,
Знакомство межъ собой водили.
Одинъ изъ нихъ, маститый воронѣгій конь...
Другой.....

Но въ ту самую минуту, какъ Павелъ Павловичъ сталъ приходить въ то раздраженное состояніе, какое овладѣваетъ каждымъ импровизаторомъ въ минуты поэтическаго вдохновенія, минуты, весьма близкія къ помѣшательству, слово замерло на устахъ его и онъ долженъ былъ остановиться.

Дѣло въ томъ, что въ это время въ маленькой прихожей послышался ужаснѣйшій шумъ, возвѣстившій прибытіе семейства Свищовыхъ.

Чибезовъ сдѣлалъ полунетерпѣливый, полуугрожающій жестъ, поставилъ трубку на окно и заходилъ изъ угла въ уголъ; гостепріимныя барышни поспѣшно приподнялись съ своихъ мѣстъ; Капитолина Лукинична пригладила волосы; Порфирій Павловичъ откинулъ голову отъ плеча Надеженьки; Прокисай Захаровичъ испустилъ протяжный, безотрадный вздохъ и направилъ глаза на дверь передней. Могучій басъ Кондея Ивановича раздавался между тѣмъ за дверью:

— Здравствуйте, барышни, говорилъ онъ, снимая мѣховые сапоги, которые, при паденіи своемъ на полъ, производили звукъ пудовой гири,—здравствуйте, вотъ и мы къ вамъ!..

— Здравствуйте, барышни, вотъ и мы къ вамъ! послышался вслѣдъ за тѣмъ слабый голосъ госпожи Свищовой.

— Здравствуйте, барышни, вотъ и мы къ вамъ! проговорили еще слабѣе дочери Кондея Ивановича, находившіяся покуда еще въ сѣняхъ.

— Милости просимъ! милости просимъ! закричали Кокуркины съ такимъ же радостнымъ выраженіемъ, какъ матросы Колумба, когда увидѣли берега Америки.

— Вотъ и я налицо! Уфъ, уфъ! запыхался совсѣмъ, уфъ! забасилъ съ одышкою Кондей Ивановичъ, появляясь въ дверяхъ и расшаркиваясь. — Ба, ба, ба! гостей-то у васъ, гостей-то! продолжалъ онъ, растопыривая руки. — Ну, матушка, Вѣра Андреевна, уфъ, уфъ! честь имѣю, матушка, поздравить васъ съ наступающимъ днемъ вашего рожденія!

— Честь имѣю поздравить васъ съ наступающимъ днемъ вашего рожденія! произнесла въ отдаленіи Софья Кузьминична Свищова.

— Честь имѣемъ поздравить васъ съ наступающимъ днемъ вашего рожденія! проговорили еще дальше дочери Кондея Ивановича, снимавшія салопы.

Кокуркины разсыпались въ благодарностяхъ и тутъ же изъявили желаніе видѣть у себя завтра на праздникѣ семейство почтеннаго сосѣда, на что, конечно, получили тотчасъ же согласіе; затѣмъ онѣ пошли навстрѣчу Софьи Кузьминичны и ея дочекъ, между которыми особенно отличалась старшая, полная, какъ огурчикъ, и цвѣтущая, какъ піонъ,—словомъ, та самая, что̀ принимала граціозныя позы передъ Бобоховымъ въ саду Аристарха Ѳедоровича.

Въ мелкомъ провинціальномъ обществѣ поцѣлуи находятся еще до сихъ поръ въ сильнѣйшемъ употребленіи. Дамы, даже такія, которыя за глаза уничтожаютъ другъ друга, рѣшительно не могутъ встрѣтиться безъ того, чтобъ не обмѣняться тремя жаркими поцѣлуями. Какъ только Софья Кузьминична и дѣвицы Свищовы переступили порогъ прихожей, въ залѣ послышался батальный огонь звонкихъ поцѣлуевъ, приправленный густымъ чмоканьемъ, производимымъ толстыми губами Кондея Иваныча на пухлыхъ рукахъ Кокуркиныхъ и остальныхъ дамъ.

— А-а-а-а! здорово, братъ, Порфирій Павлычъ! голосилъ Кондей Ивановичъ, между тѣмъ какъ дамы любезничали и продолжали цѣловаться. — Давненько, братъ, уфъ, уфъ! давненько не видались! Павелъ Павлычъ, здравствуй! Ну, братецъ, уфъ, уфъ, какого, скажу, кобелька я тебѣ припасъ, спасибо скажешь!.. Здорово, Дрянковъ... у-у-у-и... Прокисай здѣсь! Здравствуй, молодецъ! Ну, что, гитару-то, я чай, привезъ съ собою?.. Привезъ! ой-ли?! ну ладно! ай-да молодцы, право-слово молодцы! заключилъ Свищовъ, похлопывая въ ладоши и не замѣчая холодности, съ какою приняты были его безцеремонныя выходки Дрянковымъ и Чибезовымъ.

Въ первыя пять минутъ общество находилось въ самомъ смѣшанномъ, неопредѣленномъ состояніи и, какъ это водится обыкновенно, не знало, гдѣ и какъ расположиться. Чай, поданный Агашенькой и еще какою-то нечесаною дѣвчонкой съ исполинскими шерстяными чулками, замѣнявшими башмаки, усадилъ присутствовавшихъ. Старшая Кокуркина, Свищова и Кондей Ивановичъ отправились въ гостиную. Молодежь, которой въ совокупности было, по крайней мѣрѣ, лѣтъ триста, расположилась въ залѣ. Павелъ Павловичъ Чибезовъ выступилъ тогда на сцену и явился во всемъ своемъ блескѣ; поддерживаемый Дрянковымъ, онъ сыпалъ остроты, бо́льшую часть которыхъ приводилось ему, неизвѣстно по какимъ причинамъ, нашептывать на-ухо однимъ мужчинамъ, импровизировалъ стихи и басни, и такъ расходился подъ-конецъ, что хриплымъ кашлемъ своимъ и перхотой покрылъ говоръ, шушуканье и смѣхъ остальныхъ собесѣдниковъ и собесѣдницъ.

Впиваясь глазами въ пурпуровыя губки Надеженьки, сложенныя въ видѣ тѣхъ сердецъ, которыя рисуютъ надъ жертвенниками въ альбомахъ; отданный весь, душою и тѣломъ, предмету своего созерцанія, страстный Порфирій Павловичъ не замѣчалъ пытливыхъ глазъ Прокисая Захаровича, не пропускавшихъ ни одного движенія влюбленныхъ; уши Порфирія Павловича, въ которыхъ звенѣли колокола каждый разъ, какъ Надеженька обращала на него глаза свои, были глухи къ отчаяннымъ вздохамъ несчастнаго Копкова. Съ эгоизмомъ, свойственнымъ всѣмъ влюбленнымъ, Порфирій Павловичъ не обратилъ бы вниманія на Прокисая Захаровича даже и въ томъ случаѣ, если бъ зналъ, что Копковъ умретъ завтра же отъ измѣны Надеженьки. Ни воспоминанія о Сусловкѣ и маленькомъ

домикѣ на берегу живописной рѣчки, ни даже извѣстіе, что Антониночка лежитъ въ настоящую минуту въ злѣйшей чахоткѣ, ничто уже не въ силахъ было остановить пылкаго Василькова. Любящія души, разъ обманутыя, не охладѣваютъ, но только переносятъ избытокъ своего огня къ лицу болѣе достойному. На этомъ основаніи, Порфирій Павловичъ и самъ не зналъ, какъ случилось, что онъ безъ памяти влюбился въ младшую Кокуркину. Нетерпѣливый и взыскательный, онъ требовалъ, чтобъ сердце Надеженьки дѣлало такіе же быстрые успѣхи, какъ его собственное. Сорокъ разъ въ день Васильковъ приходилъ въ отчаяніе и сорокъ разъ въ необузданный восторгъ. Въ исторіи новой любви своей, какъ и всегда, впрочемъ, Васильковъ имѣлъ больше причинъ огорчаться, чѣмъ радоваться. На этотъ разъ источникъ всѣхъ его бѣдствій заключался въ природной молчаливости Надеженьки. При существующихъ обстоятельствахъ, Порфирій Павловичъ приписывалъ эту молчаливость необъяснимой холодности. Проговоривъ своей возлюбленной за утреннимъ чаемъ все то, что говорено было наканунѣ, Порфирій Павловичъ начиналъ приставать, чтобъ она, въ свою очередь, сказала ему что-нибудь. „Что же мнѣ вамъ сказать, ей-Богу, не знаю; я вамъ все уже сказала...“ произносила Надеженька, пришепетывая, опуская рѣсницы и дѣлая изъ губъ своихъ сердце. „Какъ, не-уже-ли ни одного слова, не-уже-ли ровно ничего не находите сказать мнѣ?“ шепталъ Порфирій Павловичъ, уныло вращая своими глазами. „Ни одного слова!“ повторилъ онъ окончательно безотраднымъ голосомъ.—„Не-уже-ли вы не чувствуете той потребности... не-уже-ли вы мнѣ такъ-таки ничего не скажете?“ Надеженька опустила рѣсницы и молчала. Тогда Порфирій Павловичъ дѣлалъ отчаянные жесты, быстро вскакивалъ съ мѣста и начиналъ расхаживать по комнатѣ съ такимъ видомъ, какъ будто черезъ часъ предстояло ему разстаться съ жизнью. Въ такихъ переговорахъ проходили у нихъ часто вечера и даже дни.

Въ описываемыя нами сумерки, послѣ двухъ-трехъ словъ любви, на которыя Порфирій Павловичъ не получилъ ожидаемаго отвѣта, влюбленнымъ овладѣла внезапно одна изъ самыхъ мрачныхъ меланхолій. Онъ откинулся на спинку стула, спустилъ руки, свѣсилъ голову и, не замѣчая Вѣры Андреевны, которая входила въ залу со свѣчами, пробормоталъ вполголоса:

— Зачѣмъ ввѣрился я... о! зачѣмъ я ввѣрился этимъ прекраснымъ, но обманчивымъ чертамъ!.. нѣтъ, не стòитъ жить, я не жилецъ здѣшней жизни! не стòитъ жить!.. не стòитъ жить! повторилъ Порфирій Павловичъ, обращаясь неожиданно къ входившей Вѣрѣ Андреевнѣ.

Вѣра Андреевна остановилась, нагнулась къ влюбленной группѣ и, окинувъ ласковымъ взглядомъ сестру и перваго мазуриста, шепнула выразительно:

— Живите! живите! живите!

Порфирій Павловичъ взглянулъ на Надеженьку, Надеженька взглянула на Порфирія Павловича; оба улыбнулись, заговорили, помирились — и съ этой минуты до окончанія вечера ничто уже не могло сравниться съ восторженнымъ настроеніемъ Василькова.

Вѣра Андреевна, между тѣмъ, поднявъ подсвѣчники въ уровень съ головою, торжественно направлялась къ остальнымъ гостямъ, которымъ Чибезовъ импровизировалъ какую-то сатиру на провинціальную жизнь вообще и на ея скуку въ особенности.

— Господа кавалеры, барышни! что это вы разсѣлись по уголкамъ, какъ старички, право, какіе-нибудь! воскликнула Вѣра Андреевна, ставя на столъ подсвѣчники, при чемъ толстыя, румяныя щеки ея задрожали какъ студень.—Нѣтъ, я этого рѣшительно не могу допустить, во-первыхъ, какъ хозяйка здѣшней хижины, а во-вторыхъ... во-вторыхъ... ну, да какъ себѣ тамъ хотите... продолжала она, обращая къ присутствовавшимъ веселое, беззаботное лицо свое.—Сестрица Варвара, Капитолина Лукинична, Софья Кузьминична и Кондей Иванычъ засѣли въ „преферанецъ“, а мы давайте-ка танцовать!

— Вѣра Андреевна, какъ честный человѣкъ, цѣлую ваши ножки! воскликнулъ Чибезовъ, прикладывая ладонь къ губамъ и припрыгивая на одной ногѣ.

— Весело! ахъ, весело! воскликнули барышни Свищовы.

— Ну, и прекрасно, очень рада! Музыка у насъ подъ рукою: Прокисай Захарычъ привезъ съ собою гитару, сказала Вѣра Андреевна. — Прокисай Захарычъ, голубчикъ, поиграйте намъ! примолвила она, подходя къ несчастному проживальщику, который вскочилъ, какъ пружинная кукла.

— Ей-Богу, не могу-съ, Вѣра Андреевна... право, нельзя-съ... застѣнчиво пробормоталъ Копковъ.

— Да отчего же?.. что же такое?..

— Всѣ струны порвались... разстроена-съ совсѣмъ-съ... проговорилъ Копковъ, бросая исподтишка выразительный взглядъ на Надеженьку, которая, къ сожалѣнію, не замѣтила его, потому что слушала внимательно страстное воркованье Василькова.

— Ахъ, Боже мой, какая досада! Но что же мы будемъ дѣлать завтра? неужто мы останемся безъ музыки? съ испугомъ сказала Вѣра Андреевна.—Прокисай Захарычъ, подумайте, голубчикъ, вѣдь завтра день моего рожденья.

— Къ завтрему какъ-нибудь наладимъ, произнесъ Копковъ, подавленный горькимъ сознаніемъ своего ничтожества.

— То-то, то-то, голубчикъ, подумайте объ этомъ и не посадите насъ на мель! подхватила Вѣра Андреевна, успокоившись. — Ну, господа кавалеры и барышни, на нѣтъ и суда нѣтъ; танцовать нельзя. Давайте, по крайней мѣрѣ, играть въ какую-нибудь игру... нельзя же такъ сидѣть цѣлый вечеръ!..

— Вѣра Андреевна, снова цѣлую ваши ножки! воскликнулъ Чибезовъ, закашливаясь отъ черезчуръ сильнаго напряженія голоса.

— Но въ какую же игру мы будемъ играть, въ какую? въ какую? жмурки? гулючки? прятки?.. закричали Свищовы.

— Нѣтъ, барышня, я думаю вотъ въ какую: давайте играть въ „да и нѣтъ“; это нынче въ большой модѣ: всѣ играютъ, и игра-то веселая такая...

Предложеніе было принято съ восторгомъ; всѣ встали съ своихъ мѣстъ, расположили стулья амфитеатромъ и снова усѣлись. Порфирій Павловичъ и Надеженька не заставили себя дожидаться; довольные и счастливые послѣ примиренья, они расположились рядышкомъ; Прокисай Захаровичъ молчаливо усѣлся подлѣ Дрянкова, который продолжалъ думать о гнусныхъ сплетняхъ Бобохова, имѣвшихъ цѣлью подорвать его авторскую славу, и потому не переставалъ быть мрачнымъ.

— И такъ, я начинаю! сказала Вѣра Андреевна, сіявшая отъ удовольствія.—Не забудьте, господа мужчины и барышни, что я жаловать ни за что не буду: за малѣйшую ошибку—фантъ; а тамъ, какъ себѣ хотите!..

Тутъ Вѣра Андреевна весело тряхнула головой, подошла къ старшей Свищовой и сказала:

— Барыня прислала вамъ сто рублей: что хотите, то

купите, бѣлаго и чернаго не покупайте, да и нѣтъ не говорите... что вы купите?..

— Я куплю... шелковое розовое платье... съ фалборами... и бантами... произнесла, кривляясь, Свищова.

— Точно, розовое ли хотите вы купить? спросила серьезнымъ тономъ Вѣра Андреевна.

— Розовое... гнуся и картавя, повторила Свищова.

— Вамъ, можетъ быть, хочется имѣть на эти деньги крепрашелевое съ воланами? допытывалась Вѣра Андреевна.

— Нѣтъ, не хочу крепрашелеваго...

— Фантъ! фантъ! восторженно закричала Вѣра Андреевна.—Вы сказали: нѣтъ; пожалуйте фантъ!..

Свищова дала фантъ, и игра продолжалась.

На стѣнныхъ часахъ въ передней (которые, скажемъ мимоходомъ, имѣли похвальное свойство импровизировать и хрипѣть не хуже самого Чибезова) пробило девять, когда Вѣра Андреевна объявила, что слѣдуетъ прекратить игру и пора приступить къ выниманію фантовъ.

На этомъ основаніи, по общему востребованію, изъ гостиной принесенъ былъ ридикюль Софьи Кузьминичны Свищовой, ридикюль, какъ ужъ извѣстно, невѣроятной вмѣстимости.

— Господа кавалеры и дамы! съ восхищеннымъ выраженіемъ лица воскликнула Вѣра Андреевна, болтая рукою въ ридикюлѣ, гдѣ умѣстились фанты,—чей фантъ вынется, что тому дѣлать?..

— Оракула!

— Стоять въ статую!

— Простоять на одной ногѣ!

— Пѣть пѣсню!

— Мѣрить ленты. Я предлагаю мѣрить ленты, меланхолически сказалъ Порфирій Павловичъ, бросая страстный взглядъ Надеженькѣ.

— А я предлагаю вотъ что! воскликнулъ Чибезовъ, дѣлая конвульсивныя движенія бровями и глазами,—я предлагаю, что тотъ, чей фантъ вынется, долженъ будетъ сочинять экспромптомъ какіе-нибудь стихи!..

— Экой добрый какой! сказала Вѣра Андреевна. Хорошо, если фантъ вынется вамъ или Аполлону Егорычу: вамъ это ровно ничего не будетъ стоить, вы сочинители, авторы... а если кому-нибудь другому, мнѣ, напримѣръ, что я буду дѣлать?.. какіе я сочиню стихи?..

— Что жъ дѣлать, Вѣра Андреевна, таковъ приговоръ игры! произнесъ Чибезовъ, пожимая плечами и корча гримасу.

— Я стою на томъ, чтобъ мѣрить ленты! повторилъ Васильковъ таявшимъ голосомъ.

— А я стою за стихи! сказалъ настойчиво Чибезовъ.

— Ну, такъ хорошо же, пусть будетъ по-вашему, произнесла Вѣра Андреевна, опуская руку въ ридикюль.—И такъ, господа, чей фантъ, тому читать стихи! заключила она, торжественно вынимая зубочистку въ бисерномъ чехлѣ.

— Павелъ Павлычъ! Павелъ Павлычъ! вскричали присутствовавшіе, восторженно хлопая въ ладоши.

Но Чибезовъ не слышалъ ужъ послѣднихъ восклицаній; какъ существо, у котораго вдохновеніе всегда наготовѣ, онъ тутъ же почувствовалъ приближеніе какой-то волшебной силы, которая заставила его тотчасъ воздѣть глаза къ потолку; лицо его приняло строгое, задумчивое выраженіе; забросивъ лѣвую руку за спину и приложивъ палецъ правой руки ко лбу, онъ принялся расхаживать быстрыми шагами по залѣ, дѣлая изрѣдка жесты рукою, чтобъ ему не мѣшали... Внезапно, онъ вбѣжалъ въ кружокъ присутствовавшихъ, выставилъ правую ногу впередъ, простеръ руку и, сверкая глазами, произнесъ скороговоркою:

Я не цыганъ, да удалецъ-молодецъ!
За то баринъ, ни крестьянинъ, ни купецъ.
Эхъ-ма! поди прочь, берегись, берегись,
Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку,
Да пониже поклонись!..

Импровизація Павла Павловича произвела всѣхъ въ истинный, неподдѣльный восторгъ. Не мѣшаетъ здѣсь замѣтить, что въ мелкомъ и провинціальномъ обществѣ сочувствіе къ печатной литературѣ и особенно къ стихамъ ровно ничего не значитъ сравнительно съ сочувствіемъ къ доморощенной, скорописной, словомъ, своей поэзіи. Стишки разныхъ двоюродныхъ братцевъ, вдохновленныхъ франтовъ въ венгеркѣ, возбуждаютъ несравненно болѣе восторга, чѣмъ стихи первоклассныхъ поэтовъ. Въ провинціи каждый кружокъ пользуется преимуществомъ имѣть своего любимаго поэта; такой поэтъ пользуется огромною славой; и хотя въ общемъ мнѣніи онъ не такъ „цвѣтистъ“, напримѣръ, какъ Пушкинъ, написавшій „Кавказскаго Плѣнника“, и не такъ „боекъ“, какъ Лермонтовъ,

сочинившій „Демона“, но ужъ, во всякомъ случаѣ, стихи его веселѣе, забавнѣе и способнѣе возбудить восторгъ, чѣмъ стихи вышеупомянутыхъ поэтовъ, которые описываютъ все какія-то страсти да ужасти.

— Господа! чей фантъ выпется, что тому дѣлать? продолжала Вѣра Андреевна, между тѣмъ какъ Чибезовъ простывалъ отъ волненія и отиралъ потъ на лбу.

— Мѣрить ленты! мѣрить ленты! настаивалъ страстный Васильковъ.

— Ну, что это, право, какіе вы, Порфирій Павлычъ... ишь какой сластунъ, право... А по-моему вотъ что: чей фантъ, тому разыгрывать затворника и выспрашивать у каждаго секреты! прибавила Вѣра Андреевна, радостно подпрыгивая отъ своей выдумки.

Всѣ согласились. Вѣра Андреевна пошарила въ ридикюлѣ и вынула платокъ Надеженьки.

Порфирій Павловичъ неистово захлопалъ въ ладоши, и всѣ послѣдовали его примѣру.

— Ну, Надечка, ангелъ мой, ступай въ переднюю... спрячься, душечка, подъ шубы и салопы, а мы будемъ приходить къ тебѣ поодиночкѣ разсказывать свои секреты! проговорила Вѣра Андреевна, нѣжно глядя на свою любимицу и поправляя ей косынку.

Надеженька сузила свои губы, зардѣлась, застыдилась и пошла въ лакейскую, сопровождаемая новымъ взрывомъ восторженныхъ рукоплесканій.

— Кто первый пойдетъ къ затворнику? вопросъ этотъ, вырвавшійся неожиданно изъ устъ Вѣры Андреевны, возвратилъ мгновенно тишину и спокойствіе. Возникъ ужаснѣйшій споръ о томъ, кому идти первому, кому послѣднему; наконецъ рѣшили бросить жребій. Жребій выпалъ на долю Чибезова, и онъ отправился; за Чибезовымъ пришла очередь Свищовымъ, потомъ Вѣрѣ Андреевнѣ, потомъ молчаливой дѣвицѣ Крепышовой, Дрянкову, Василькову и наконецъ Прокисаю Захаровичу. Какъ только Порфирій Павловичъ юркнулъ въ прихожую, Прокисай Захаровичъ, томимый какимъ-то мрачнымъ предчувствіемъ, подошелъ къ двери и скрылся за ту половинку, которая была отворена въ залу.

— Прокисай Захарычъ... э—э! что это вы?.. Смотрите, вы, кажется, хотите подслушать чужіе секреты! воскликнула Вѣра Андреевна, грозя ему пальцемъ.

— Нѣтъ-съ... жду своей очереди... проговорилъ Копковъ, выставляя изъ-за двери взбудораженное лицо.

— Прокисай Захарычъ, извольте пожаловать къ намъ... вы подсматриваете! закричали Свищовы.

— Нѣтъ-съ... пробормоталъ Копковъ, прикладывая поспѣшно глазъ къ скважинѣ.

Внезапно Прокисай Захаровичъ позеленѣлъ: убійственный звукъ поцѣлуя прозвучалъ въ ушахъ его, и все на минуту помутилось и зашаталось передъ нимъ. Онъ схватилъ себя обѣими руками за голову, потерялъ балансъ, половинка двери откинулась—и Прокисай Захаровичъ кубаремъ покатился на землю.

— Ахъ, Боже мой! воды! воды! Прокисаю Захарычу дурно! Агашенька, Ѳеклушка, воды! прокричали десять голосовъ.

На крикъ сбѣжались Кондей Ивановичъ и остальные гости; изъ дверей дѣвичьей высыпали горничныя; всѣ окружили и начали подымать Копкова.

— Ничего-съ... это такъ, голова закружилась... пробормоталъ съ болѣзненнымъ стономъ Прокисай Захаровичъ.

Кроткій и покорный даже въ эту роковую минуту своей жизни, минуту, которая окончательно рѣшила судьбу его, Копковъ выпилъ нѣсколько стакановъ воды и успокоился. Минутъ пять послѣ того, игра, въ которой принялъ на этотъ разъ участіе самъ Кондей Ивановичъ, продолжалась къ всеобщему удовольствію.

Но ужъ съ этой минуты до окончанія вечера Прокисай Захаровичъ не принималъ ни въ чемъ участія. Передъ глазами его „мѣрили ленты, становились въ статую“, стояли на одной ногѣ, онъ не могъ преодолѣть болѣзненныхъ ощущеній своего сердца и оставался ко всему равнодушенъ. Занимательные анекдоты, тысячи смѣшныхъ фактовъ и исторій, которыя струились во время ужина изъ краснорѣчивыхъ устъ вдохновеннаго Чибезова, не въ силахъ были даже вырвать улыбки у Прокисая Захаровича.

Какъ только семейство Свищовыхъ отправилось восвояси, онъ тотчасъ же ушелъ спать въ приготовленную для него у Кокуркиныхъ комнатку. Но сонъ бѣжалъ съ упорствомъ отъ глазъ Прокисая Захаровича. Онъ лежалъ какъ на угольяхъ и чувствовалъ съ замираніемъ сердца, что Надеженька погибла для него невозвратно. Вмѣстѣ съ этою мыслью, деревушка Веселыя-Горки и домикъ Кокуркиныхъ окутались передъ нимъ зловѣщимъ туманомъ,

посреди котораго возникала, какъ привидѣніе, грозная фигура Фіоны Ивановны. Прокисай Захаровичъ затрепеталъ всѣмъ тѣломъ, опустилъ глаза и поспѣшно скрылся подъ одѣяломъ.

Ворочаясь съ боку на бокъ, терзаясь совѣстью, раскаяніемъ и угрызеніями всякаго рода, Прокисай Захаровичъ рѣшился провести завтрашній день—день рожденія Вѣры Андреевны — въ домѣ Кокуркиныхъ, рѣшился поиграть въ послѣдній разъ на гитарѣ и уѣхать въ Ханскіе-Пруды съ тѣмъ, чтобъ никогда ужъ не возвращаться въ Веселыя-Горки.

— Богъ съ ними!..

Такова была послѣдняя и, можетъ статься, первая опредѣленная мысль, созрѣвшая, когда бы то ни было, въ головѣ несчастнаго проживальщика.

XV.

Путешествія по проселочнымъ дорогамъ сопряжены часто съ большими неудобствами; тѣмъ не менѣе, однакожъ, благодаря этимъ самымъ неудобствамъ, одинъ знаменитый мужъ попадаетъ въ весьма веселое и пріятное общество.

Аристархъ Ѳедоровичъ, если только припомнитъ читатель, выѣхалъ отъ Бирюкова около полудня. Отъ „Сычовки“ Кормонолѣя Семеновича, до „Золотыхъ-Прудовъ“ Старобѣльскаго, куда долженъ былъ теперь направиться нашъ герой, считалось верстъ тридцать. Никто, впрочемъ, не могъ поручиться за вѣрность такихъ показаній. Иные утверждали, что отъ „Сычовки“ до „Золотыхъ-Прудовъ“ тридцать-пять верстъ, другіе — тридцать, третьи — двадцать-пять и т. д. Что жъ касается до дурныхъ или хорошихъ свойствъ дороги и до того, много ли будетъ мостовъ, деревушекъ, поворотовъ и какіе именно повороты слѣдуетъ принять, чтобъ не сбиться съ пути, понятія были еще неопредѣленнѣе. Дѣло извѣстное: ѣхать по проселкамъ безъ проводника или маршрута—то же, что пуститься по морю безъ компаса и магнитной стрѣлки! Слѣдствіемъ всего этого было то, что Аристархъ Ѳедоровичъ, послѣ двухъ-трехъ часовъ ѣзды, окончательно сбился съ дороги. Пожуривъ, какъ водится въ такихъ случаяхъ, кучера и слугу, Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшился

лично наблюдать за проселкомъ; на этомъ основаніи, онъ отстегнулъ кожаный фартукъ коляски, высунулъ на воздухъ голову и приказалъ направиться къ виднѣвшейся неподалеку деревушкѣ.

Деревушка была, въ полномъ смыслѣ слова, жалкая деревушка; она состояла изъ шести-семи лачужекъ, расположенныхъ въ рядъ, по глинистому, грязному косогору. Сѣрыя бревна, мокрые ворохи соломы съ сидѣвшими коегдѣ галками, тусклый цвѣтъ осенняго неба и самый грунтъ почвы, бурый, слизистый, изрытый копытами коровъ и клячей, придавали картинѣ какой-то плаксивый и вовсе не привлекательный видъ. Подъ косогоромъ, шагахъ въ десяти отъ ближайшей избушки, изгибался оврагъ съ крутыми берегами, обросшими кустарникомъ, между корнями котораго журчалъ мутный потокъ.

Достигнувъ мостика, который, какъ казалось, служилъ единственнымъ сообщеніемъ между этой деревушкой и остальнымъ крещенымъ міромъ, Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ остановиться. Сдѣлавъ затѣмъ два-три замѣчанія, касательно двухъ-трехъ дыръ, обращавшихъ мостъ въ рѣшето, онъ направилъ глаза свои на окна избушекъ.

Наблюденія великаго человѣка не замедлили увѣнчаться успѣхомъ.

Онъ вскорѣ различилъ въ одномъ изъ волоковыхъ оконъ голову бабы, которая какъ будто спала, но со всѣмъ тѣмъ пристально разсматривала проѣзжавшихъ.

— Эй, баба! баба! закричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, размахивая рукою, вооруженною фуляромъ.

Та, къ которой обращалось воззваніе, тряхнула головой, минуты двѣ молча глядѣла на проѣзжавшихъ и, въ заключеніе, повернула лицо въ совершенно противоположную сторону; все это сдѣлала она съ такимъ видомъ, какъ будто дѣло касалось вовсе не до нея, а исключительно до ея сосѣдки.

— Эй, баба! баба! баба! повторилъ еще громче Аристархъ Ѳедоровичъ.

Баба снова тряхнула головой, снова устремила глаза на проѣзжавшихъ и вдругъ, выразивъ на лицѣ своемъ всѣ признаки крайняго замѣшательства, быстро спрятала голову и еще быстрѣе захлопнула окно.

— Эка дурища! право, дурища! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, мгновенно опуская руку, которая поднялась-было для того, чтобъ производить пояснительные жесты,—

ну, чего она испугалась, чего?.. чего? дура, право, дура!.. Эй, баба! баба! баба! заговорилъ вдругъ съ необычайною поспѣшностью Балахновъ, обращаясь къ другому окну, изъ котораго медленно показывалась другая голова.

На этотъ разъ глазамъ его предстало желтое, сморщенное старушечье лицо.

— Эй, тетка, послушай! повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, высовываясь изъ коляски.

— Чего надыть? отозвалась старуха.

— Далече ли отсюда до „Золотыхъ-Прудовъ"?

— Асинька?

— До „Золотыхъ-Прудовъ" далече ли?

— Далече, касатикъ.

— А сколько?

— Да кто ее знаетъ!

— Фу, никакого толку не добьешься! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, съ досадою потирая переносицу.— Эй, тетка, подхватилъ онъ, обратившись снова къ старухѣ, — нѣтъ ли у васъ здѣсь какого-нибудь мужика? кликни-ка его сюда; авось онъ знаетъ дорогу.

— Нѣтъ, родимый, окромя малыхъ ребятъ никого нѣтути; съ обозомъ поѣхали...

— Не знаешь ли ты, по крайней мѣрѣ, какъ проѣхать въ „Золотые-Пруды"?

— Въ „Золоты-те-Пруды-то"?

— Да, да, да... въ „Золотые-Пруды"...

Тутъ старуха словно оживилась. Она высунулась по самую грудь изъ окошка и, размахивая правою рукою, принялась пояснять дорогу. По словамъ ея, Аристарху Ѳедоровичу слѣдовало ѣхать по тому самому проселку, по которому онъ ѣхалъ прежде; не слѣдовало только, никакъ не слѣдовало, пропускать старой березы на правой рукѣ и поворота; вотъ этотъ-то поворотъ и долженствовалъ привести путешественника прямо-прямехонько въ „Золотые-Пруды".

Воодушевляемая воспоминаніями, которыя, при этомъ удобномъ случаѣ, зашевелились въ головѣ ея, старуха исчислила даже мельчайшія примѣты проселка.

— Вотъ только верстъ-то сколько, не припомню, касатикъ, продолжала словоохотливая тетка,—не то двадцать, не то болѣе; мужики сказываютъ: двадцать, да кто ихъ знаетъ! самой-то, родимый, не приводилось ѣздить! заключила она спокойно-разсудительнымъ тономъ, который со-

отвѣтствовалъ какъ нельзя болѣе почтенной сѣдинѣ ея и зрѣлымъ лѣтамъ.

„Ну, да что тутъ, не въ верстахъ дѣло“, подумалъ Балахновъ, закутываясь въ шубу, „лишь бы знать дорогу, а тамъ, рано ли, поздно ли, авось доберемся какъ-нибудь до Старобѣльскаго...“

— Пошелъ! заключилъ онъ громко, — да смотрѣть, не зѣвать у меня и не пропускать березы и поворота!

Сказавъ это, Балахновъ погрузился самымъ комфортабельнымъ образомъ на дно коляски и, минуту спустя, покатилъ по проселку.

Мыслительныя силы Аристарха Ѳедоровича, какъ ужъ извѣстно, находились всегда въ напряженномъ состояніи; не было минуты во все продолженіе сознательной жизни нашего героя, когда бы силы эти утрачивали свою упругость и оставались безъ возвышенныхъ занятій. Мысли Аристарха Ѳедоровича, направленныя сначала на Старобѣльскаго, но сбитыя потомъ на серединѣ дороги вопросами о неудобствахъ путешествія по проселкамъ, нимало не испугались двойной работы. Аристархъ Ѳедоровичъ думалъ о Старобѣльскомъ и въ то же время размышлялъ съ большимъ успѣхомъ о проселкахъ. Переходя постепенно отъ одного предмета къ другому, Балахновъ соединилъ наконецъ оба эти предмета въ одно цѣлое и ужъ съ этой минуты сталъ разрѣшать вопросы о проселочныхъ дорогахъ не иначе, какъ ставъ въ положеніе Старобѣльскаго.

По его мнѣнію, Старобѣльскому, какъ богачу и притомъ человѣку бездѣтному и безсемейному, ничего не стоило разровнять дороги отъ главныхъ пунктовъ уѣзда (въ томъ числѣ и Ханскихъ-Прудовъ, разумѣется) до своей вотчины; ничего не стоило ему приказать поправить на свой счетъ мостишки, завалить фашинникомъ дыры и придѣлать, для окончательной безопасности проѣзжающихъ, перила на этихъ мостахъ. „Въ этомъ случаѣ“, думалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, „конечно, никто изъ насъ не былъ бы на него въ претензіи; всякій, напротивъ того, принесъ бы ему свою искреннѣйшую признательность! Хоть бы я, напримѣръ: да пожелай онъ только перестроить у меня въ Ханскихъ-Прудахъ всѣ мосты или выровнять дороги! Строй, строй, сколько хочешь строй, хочешь, изъ чугуна или мрамора, что жъ такое, очень радъ! Вотъ и все тутъ!“ Далѣе, по соображеніямъ горшковскаго дипло-

мата, что стоило, напримѣръ, богатому Старобѣльскому поставить на всѣхъ перекресткахъ уѣзда маленькія пирамиды или обелиски, или, пожалуй, если не то и другое, такъ хоть столбы съ обозначеніемъ верстъ и направленія, какое слѣдуетъ принять для достиженія въ „Золотые-Пруды"?—„Эхъ! „Золотые-Пруды", „Золотые-Пруды"—эхъ! эхъ! думалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, саркастически улыбаясь и выразительно потряхивая головою, — хороши вы, „Золотые-Пруды", великолѣпны, что говорить! да ты-то, братъ, Старобѣльскій... эхъ! хе-хе... возишься ты, братъ, съ однѣми лошадьми, да съ конюхами; ну, кому ты нуженъ? Какая польза въ твоемъ богатствѣ? какая польза твоимъ соотечественникамъ? Эхъ, дали бы мнѣ твои „Золотые-Пруды", дали бы мнѣ твои средства, не то было бы, любезнѣйшій: я показалъ бы всѣмъ вамъ, какъ надо жить! Всѣ сосѣди тѣснились бы въ моихъ живописью украшенныхъ палатахъ! продолжалъ онъ,—весь уѣздъ сбѣгался бы на мои пиршества, которымъ подобныхъ не нашли бы въ записяхъ давнопротекшихъ временъ!.."

На этомъ самомъ мѣстѣ мысли Аристарха Ѳедоровича были прерваны толчкомъ коляски, которая неожиданно остановилась.

— Что тамъ еще? спросилъ онъ тономъ человѣка, котораго пробуждаютъ въ минуту сладкаго сновидѣнія.

— Пріѣхали, сударь, къ березѣ, отвѣчалъ смущеннымъ голосомъ Сидоръ, почтительно приподымаясь одною рукою на козлахъ, тогда какъ другая рука его приподымала шляпу, обшитую галуномъ.

— Ну, такъ что жъ такое, что пріѣхали? Вѣдь тебѣ сказала старуха, что тутъ будетъ поворотъ. Сворачивай и пошелъ!

— Поворота-то тутъ, сударь, три и всѣ три дороги идутъ вправо: по которой ѣхать, я и самъ не знаю! добавилъ Сидоръ, обращаясь съ сокрушеннымъ видомъ къ старой березѣ.

— Какъ? вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, покрываясь краской негодованія и ударяя съ такою силою по кожаному фартуку, что принужденъ былъ тотчасъ же приложить кулакъ къ собственнымъ губамъ своимъ.

— Ну, что жъ мы теперь будемъ дѣлать? не стоять же на мѣстѣ! сказалъ Балахновъ, овладѣвая собою,—надо же на что-нибудь рѣшиться; надо куда-нибудь ѣхать, хоть

до ближайшей деревушки. А что, не видать тамъ какой-нибудь деревни?

— Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчалъ Сидоръ, поворачиваясь во всѣ стороны съ быстротою флюгера, который не успѣлъ еще заржавѣть.

Сидоръ говорилъ сущую правду: нигдѣ не было замѣтно признака деревушки; совершеннѣйшій пустырь распространялся какъ по правую сторону коляски, такъ равно и по лѣвую; спереди и сзади тянулись такія же точно темныя, гладкія поля, которыя, подобно морю, убѣгали въ необозримую даль и терялись за горизонтомъ. Весь этотъ земляной океанъ оживлялся одною лишь старою березой, которая стояла пригорюнясь на перекресткѣ и сбрасывала послѣдніе листья свои, уносимые тотчасъ же вѣтромъ.

Наши путешественники, очевидно, находились въ положеніи пальчика-мальчика и его братцевъ, затерянныхъ посреди глухого, непроходимаго лѣса. Такія сокрушительныя и отчаянныя положенія постигаютъ, впрочемъ, слишкомъ часто отважнаго смертнаго, покушающагося пуститься по лабиринту проселочныхъ дорогъ; каждому почти приводилось испытывать то же, что испытывалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, и потому-то считаю лишнимъ долго распространяться объ этомъ слишкомъ обыкновенномъ предметѣ.

— Вотъ, сударь, сказалъ, наконецъ, Сидоръ, когда коляска уже готова была тронуться съ мѣста и покатиться на произволъ судьбы,—вотъ, сударь, кто-то идетъ; никакъ мужикъ; спросить бы у него...

— А, ну, слава Богу! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ не безъ внутренняго удовольствія, — кричите ему, чтобъ шелъ скорѣе! заключилъ онъ, бросаясь нетерпѣливо въ глубину коляски.

Сидоръ и кучеръ принялись поперемѣнно надсаживать горло; минутъ десять продолжалась эта перекличка, и столько рвенія приложено было со стороны обоихъ слугъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ, выведенный, наконецъ, изъ всякаго терпѣнія, приказалъ имъ замолчать.

Мужикъ приближался, между тѣмъ, ровнымъ, валкимъ шагомъ и, повидимому, не торопился.

То былъ малый лѣтъ тридцати, приземистаго и крайне несообщительнаго вида, съ крошечными сѣрыми глазками,

глядѣвшими исподлобья; на плечѣ его покоилась палка, а на концѣ палки болтались лапти.

Вскорѣ онъ поровнялся съ коляской.

— Скажи-ка, любезный, какой поворотъ взять, чтобъ пріѣхать въ Золотые-Пруды? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выглядывая изъ-подъ кузова.

— Да сами-то вы отколѣ? спросилъ парень, встряхивая лаптишками.

— Отколѣ бы ни были, это все равно; скажи только, куда намъ проѣхать въ Золотые-Пруды?

— А далече отселева эвти „пруды-те"? спросилъ парень.

— Такъ, стало, ты не знаешь? произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Не знаю! равнодушно отвѣчалъ парень.

— Фу! вскричалъ Балахновъ, сжимая кулаки, но тотчасъ же овладѣлъ собою и подхватилъ спокойнѣе: — не знаешь ли, по крайней мѣрѣ, куда проѣхать до ближайшей деревни?

— Какъ не знать! По которой дорогѣ ни поѣзжай, вездѣ будутъ деревни.

— А до которой будетъ ближе?

— Пожалуй, что и всѣ не больно далече, отвѣчалъ парень, поправляя шапку.

— Пошелъ направо! крикнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, снова бросаясь на дно коляски и укутываясь съ головою въ шубу, чтобъ скрыть слѣды негодованія, которые отпечатывались теперь самыми яркими красками на величественномъ лицѣ его.

Часъ спустя послѣ этой сцены, глазамъ Сидора и кучера предстало большое село; еще полчаса — и коляска очутилась на широкой улицѣ, расположенной, по всѣмъ признакамъ, на топкомъ болотѣ, потому что, какъ только коляска поровнялась съ первой избушкой, колеса ушли по самую ступицу. Къ счастью еще, навстрѣчу попалась толпа мужиковъ, возвращавшихся съ молотьбы, что доказывалось длинными цѣпами, торчавшими, какъ ружья, на плечѣ каждаго мужика.

Не медля ни минуты, Аристархъ Ѳедоровичъ приступилъ къ разспросамъ. Забабуринскіе мужики (село называлось Забабурино) оказались столько же услужливыми, сколько встрѣченный парень былъ несообщителенъ и до первыя бабы безтолковы. Они тотчасъ же окружили ко-

ляску и принялись объяснять дорогу съ такимъ единодушіемъ, что Аристарху Ѳедоровичу представилось въ первую минуту, будто онъ присутствуетъ на мірской сходкѣ. Забабуринскіе мужики говорили всѣ вмѣстѣ, кричали, размахивали руками, перебивали другъ друга, такъ что не было рѣшительно никакой возможности выпутать одного яснаго и дѣльнаго показанія.

— Эхъ, братецъ ты мой! ласково говорилъ одинъ, обращаясь къ кучеру, — вамъ и не зачѣмъ было сворачивать направо, ѣхали бы прямо...

— Э! прямо! прямо! восклицалъ другой, — а куда бы они прямо-то пріѣхали? ну, куда? куда?..

— Въ Семяникино...

— То-то въ Семяникино! а на что ихъ благородію ѣхать въ Семяникино? я чай, на Глиновскую-Слободку...

— Дядя Андрей, а дядя Андрей, дай я-те скажу: на Сосновку ближе, право, ну, ближе. Изъ Сосновки въ Голопятово, изъ Голопятова въ Дроздовку, а изъ Дроздовки пойдетъ прямая дорога въ Золотые-Пруды—рази не знашь?..

— И то на Глиновскую-Слободку ближе!..

— Эй, кучеръ, братъ! послушай, что я тебѣ скажу: поѣзжай назадъ; какъ пріѣдешь къ той березѣ-то, направо не сворачивай, смотри не сворачивай, а пропусти еще поворотъ, да тамъ прямо и ступай съ Богомъ!

— Да кто васъ посылалъ-то туда? Кто дорогу-то указывалъ?

— Баба! въ одинъ голосъ и съ одинаковымъ нетерпѣніемъ отвѣчали кучеръ и Сидоръ.

Въ толпѣ раздался хохотъ.

— Эхъ, кого послушали!

— Баба! ну, вѣстимо, что мудренаго!

— Двадцать верстъ сказывали! эхва! да и въ сорокъ не вопрешь!

— Мѣрила, знать, баба клюкой, да махнула рукой!

Послышался новый взрывъ хохота.

Нѣтъ сомнѣнья, что Аристархъ Ѳедоровичъ не сталъ бы такъ долго слушать болтовню мужиковъ и не замедлилъ бы положить конецъ всей этой болтовнѣ, если бъ мысли его не перешли внезапно на другой предметъ. Разсудивъ, не безъ основанія, что начинало уже смеркаться, и что, слѣдовательно, придется пріѣхать къ Старобѣльскому поздно ночью, онъ рѣшился пожертвовать еще однимъ днемъ и отложить поѣздку до слѣдующаго утра.

Хотя часть губерніи, по которой разъѣзжалъ теперь нашъ герой, была ему не хорошо извѣстна,—Аристархъ Ѳедоровичъ, если припомнитъ читатель, распространялъ ужъ кругъ своихъ честолюбивыхъ дѣйствій за предѣлы Горшковскаго уѣзда, топографія котораго была ему такъ же хорошо знакома, какъ его пять пальцевъ,—онъ расчелъ, однакожъ, что отъ Забабурина до Горшкова было не очень далеко. Забабурино лежало почти на самой границѣ Горшковскаго уѣзда. Балахновъ принялъ намѣреніе поѣхать немедленно въ Горшковъ, переночевать на извѣстномъ уже постояломъ дворѣ, взять надежнаго проводника и завтра же утромъ, часамъ къ двѣнадцати, прибыть въ Золотые-Пруды. На этомъ основаніи Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ выѣхать на большую дорогу; минутъ десять спустя, онъ благополучно миновалъ улицу, благодаря услужливымъ забабуринцамъ.

Успокоенный на этотъ разъ прямизною дороги, Аристархъ Ѳедоровичъ свернулся на подушкахъ коляски, приподнялъ мѣховой воротникъ, опустилъ кожаный фартукъ, уложилъ ноги, крякнулъ нѣсколько разъ и погрузился въ то полусонливое, полусладкое состояніе, какое овладѣваетъ каждымъ путешественникомъ, когда колеса вязнутъ въ грязи, словно въ пуховикѣ, землю окутываютъ сумерки, а на небѣ висятъ сизыя тучи, которыя, того и смотри, обратятся въ мелкій, холодный дождикъ... Дождикъ дѣйствительно не замедлилъ пойти. Сначала онъ какъ будто жалѣлъ своихъ капель, но потомъ зарядилъ дружною дробью и полилъ, какъ изъ ведра. Къ полнѣйшему отчаянію Сидора, вѣтеръ, сдѣлавшійся къ ночи еще сильнѣе, началъ посылать, время отъ времени, цѣлые снопы воды на его голову. Онъ принялъ наконецъ твердое намѣреніе защитить хоть сколько-нибудь свою одежду отъ такой напасти; предстояло одно, впрочемъ, средство, да и то весьма слабое: надлежало повернуться спиною къ дождю, вѣтру и кучеру, подобрать подъ себя ноги, скорчиться и съежиться до крайне возможной степени. Такъ и сдѣлалъ Сидоръ. Кучеръ, съ своей стороны, находившійся съ камердинеромъ не совсѣмъ въ миролюбивыхъ отношеніяхъ, продолжалъ между тѣмъ помахивать кнутомъ и посвистывать. Изрѣдка лишь поглядывалъ онъ на Сидора, насмѣшливо потряхивалъ головой, и выбравъ удобную минуту, пригибался всѣмъ корпусомъ къ лошадямъ чтобъ дать дождю полную возможность погулять по спинѣ

своего недоброжелателя. Потомъ онъ снова принималъ перпендикулярное положеніе и снова принимался покрикивать и посвистывать. Такого рода продѣлки повторялись, впрочемъ, до той лишь поры, пока сумерки позволяли еще различать предметы; но когда ночь окутала небо и землю, когда не стало видно не только лошадей, но и спины Сидора, кучеръ махнулъ еще разъ кнутомъ и, положившись вполнѣ на разсудительность коренника и правой пристяжной, немедленно погрузился въ сладкій сонъ.

Съ этой минуты дорожная коляска Аристарха Ѳедоровича поѣхала медленнѣе и ужъ окончательно исчезла во мракѣ ночи.

Не могу опредѣлить съ точностью, сколько разъ разсудительный коренникъ и подруга его, разсудительная пристяжная, останавливались и сколько сдѣлали они верстъ съ той минуты, какъ заснулъ возница; знаю только, что, по прошествіи довольно длиннаго срока, кучеръ и Сидоръ были внезапно пробуждены страшнымъ крикомъ, раздавшимся передъ самой мордой коренника, который фыркалъ и упирался передними ногами.

— Стой! стой! неистово кричалъ какой-то хриплый голосъ.

— Ишь куда лѣзете! закричали еще громче Сидоръ и балахновскій кучеръ, принимаясь дергать вожжами, суетиться, какъ-будто весь этотъ случай произошелъ единственно отъ оплошности сидѣвшаго противъ нихъ кучера.

— Сворачивай съ дороги, ну, ну, ну!.. басилъ, между тѣмъ, незнакомый кучеръ.

— Долой съ дороги! Прочь! надрывался хриплый голосъ.

Минуты двѣ обѣ коренныя стояли плотно упершись лбами. Никто не хотѣлъ уступить другъ другу колеи; обстоятельство это показывало, впрочемъ, опытность обоихъ кучеровъ: выѣхать изъ колеи, значило засѣсть навѣрняка въ такую грязь, изъ которой не вытащить экипажа десяткомъ лошадей.

— Что тамъ такое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, протирая глаза и поспѣшно высовываясь изъ-подъ фартука.

— Кто ѣдетъ? крикнулъ еще неистовѣе хриплый голосъ.

— Помѣщикъ Балахновъ, отозвался Сидоръ.

— Ба-лах-новъ! повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, густымъ, но сдержаннымъ басомъ.

Но не успѣлъ онъ произнести этого слова, какъ въ противоположномъ экипажѣ раздался такой истерически-

восторженный хохотъ, отъ котораго вздрогнули разомъ люди и лошади; вслѣдъ за тѣмъ кто-то прыгнулъ на землю и поспѣшно зашлепалъ по грязи. Секунду спустя, незнакомецъ подбѣжалъ къ коляскѣ, смѣлою рукою отстегнулъ фартукъ и, просунувъ голову внутрь экипажа, залился новымъ восторженнымъ хохотомъ.

— Карачаевъ? сказалъ удивленный Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Я, душа моя, Aristarque! я! я!.. Ну, братъ, самъ Богъ тебя послалъ! воскликнулъ Карачаевъ.—Я въ восхищеніи, что мы встрѣтились. Спасибо, дружище! Спасибо, ребята, молодцы, удружили! подхватилъ онъ, обращаясь неожиданно къ Сидору и кучеру.

Тутъ Павелъ Петровичъ поспѣшно спряталъ руки подъ мокрую шинель, пошарилъ въ карманахъ и, вынувъ наобумъ двѣ мелкія монеты, протянулъ ихъ балахновскимъ людямъ, прибавивъ: „спасибо, ребята, спасибо, удружили!"

— За что же, Павелъ Петровичъ, помилуйте, сударь, за что же?.. бормотали люди.

— Бери, когда даютъ! бери! ну! нетерпѣливо крикнулъ Карачаевъ.—Ну, братъ, душа Aristarque, какъ радъ, какъ радъ, что тебя встрѣтилъ! подхватилъ онъ, снова просовывая голову въ коляску, при чемъ поля его войлочной шапки пустили цѣлую струю воды на колѣна Аристарха Ѳедоровича. — Повѣришь ли, écouté: вѣдь вотъ второй день мечусь какъ угорѣлый по всему уѣзду и тебя отыскиваю!..

— Какъ! Что такое? Развѣ дома случилось что-нибудь? перебилъ Балахновъ.

— Нѣтъ, душа моя, нѣтъ, нѣтъ, успокойся, ничего не случилось! съ живостью сказалъ Карачаевъ. — Лизавета Семеновна, дѣтки—всѣ, слава Богу, здоровы, все обстоитъ благополучно; я вѣдь, братъ, ты знаешь, маху не дамъ, за всѣмъ самъ присматривалъ, все хорошо, слава Богу!..

— Что жъ тебя понудило меня отыскивать съ такимъ рвеніемъ? спросилъ Балахновъ.

— Нѣтъ, ты, душа моя, скажи мнѣ прежде, куда ты теперь намѣренъ ѣхать?

— Въ Горшковъ...

— Ну, нѣтъ, братъ, атанде-съ, дудки! этому не бывать Мы сейчасъ же отсюда ѣдемъ къ Кокуркинымъ! Сегодня день рожденія Вѣры Андреевны; я вѣдь, братъ, затѣмъ тебя и отыскивалъ!

— Коли затѣмъ только, такъ я скажу тебѣ, что напрасно безпокоился.

— Че-е-во?

— Напрасно безпокоился, повторилъ Балахновъ.

— Какъ, напрасно безпокоился? это отчего? спросилъ недовольнымъ голосомъ Карачаевъ.

— Оттого, что я къ Кокуринымъ не поѣду!

— Нѣтъ, поѣдешь! я тебѣ говорю, что поѣдешь! воскликнулъ Карачаевъ, мгновенно разгорячаясь и принимаясь дѣлать неистовые жесты,—поѣдешь, я тебѣ говорю, или, иначе, это будетъ съ твоей стороны свинство! слышишь ли! Какъ! онѣ прислали тебѣ приглашеніе, оказываютъ тебѣ всякія учтивости, а ты не поѣдешь! Четвертаго дня, какъ только ты уѣхалъ, онѣ прислали нарочнаго въ Ханскіе-Пруды съ приглашеніемъ! заключилъ Карачаевъ, переходя внезапно къ убѣдительному тону.

— Какъ бы то ни было, любезный, сказалъ небрежно-насмѣшливымъ тономъ Аристархъ Ѳедоровичъ, — а я не поѣду; не поѣду, во-первыхъ, потому, что не вижу надобности, во-вторыхъ, погода скверная да и поздно, въ-третьихъ, чувствую себя вовсе нерасположеннымъ...

— Че-е-во? А ты думаешь я расположенъ? Ты думаешь, мнѣ весело на душѣ, а? Ты думаешь, мнѣ пріятно было слоняться двои сутки, да мокнуть на дождѣ? а? а? Но я дѣлалъ это, имѣя въ виду отыскать тебя и повезти къ Кокуркинымъ, которымъ ты не отдавалъ визита болѣе года,—вотъ она штука-то въ чемъ! Этого требуетъ учтивость, деликатность, да! Ты думаешь, что ты и Богъ знаетъ что̀ за птица! остальные всѣ дрянь, меркатель какая-нибудь! Къ тебѣ всѣ станутъ ѣздить, потѣшать твое самолюбіе, а ты будешь лежать себѣ сложа руки, какъ этотъ... какъ бишь его?.. богдыханъ, или султанъ у этого Пушкина, который лежитъ себѣ на софѣ, кругомъ всѣ раболѣпствуютъ, тѣснятся... а у него въ зубахъ янтарь шипитъ... Вотъ она штука-то въ чемъ... Нѣтъ, братъ, нѣтъ, этого, братъ... да...

Весь этотъ монологъ Аристархъ Ѳедоровичъ выслушалъ очень разсѣянно. Въ головѣ его внезапно сверкнула мысль, что у Кокуркиныхъ, по случаю рожденія толстой Вѣры Андреевны, могло съѣхаться изрядное количество мелкихъ сосѣдей; что авось-либо удастся ему пріобрѣсть въ общей сложности еще одинъ лишній голосъ и что, слѣдовательно не поѣхать ли ему лучше на вечеръ къ „барышнямъ“,

чѣмъ провести безплодную ночь на постояломъ дворѣ уѣзднаго города?

— Полно пустяки-то молоть, произнесъ онъ, обратясь вдругъ къ Карачаеву,—скажи-ка лучше, на сколько мы отъ Горшкова и сколько верстъ, слѣдовательно, до Веселыхъ-Горокъ?

— Помилуй, братецъ, отъ Горшкова верстъ десять, а до Веселыхъ-Горокъ всего три версты, я думаю и того не будетъ! воскликнулъ съ живостью Карачаевъ,—повернемъ назадъ, полверсты всего, а тамъ, по проселку, двѣ съ половиной... какое! двухъ верстъ не будетъ! заключилъ онъ, снова орошая, помощью своей шляпы, ноги Балахнова.

— Ну, Богъ съ тобой, быть по-твоему: поѣдемъ къ Кокуркинымъ! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, снисходительно улыбаясь.

— Ну, да, душа моя, разумѣется, такъ. Спасибо, я, братъ, признаться, никогда не сомнѣвался въ твоемъ благородствѣ! восторженно закричалъ Карачаевъ, простирая руки, чтобъ обнять своего пріятеля, и поливая его въ то же время какъ изъ лейки.

— Я надѣюсь, однакожъ, любезнѣйшій, ты поѣдешь въ своемъ экипажѣ? произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ,— въ противномъ случаѣ, чего добраго, здѣсь произойдетъ наводненіе...

— Фу! извини, душа моя, я и забылъ совсѣмъ, что съ меня льетъ какъ изъ жолоба! Конечно, я поѣду въ своей телѣжкѣ!.. Ну, да что объ этомъ; коли дѣло, такъ дѣло: ѣдемъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, ѣдемъ! Ты, братъ, очень обрадуешь барышень!.. Завернись покрѣпче, смотри, дьявольски холодно!.. Я поѣду впереди; мой Васютка укажетъ дорогу... Ну, ребята, сворачивай—и за мной! да смотрѣть въ оба и не отставать!

Тутъ Карачаевъ закрылъ кожаный фартукъ, взялъ подъуздцы коренную Балахнова, поворотилъ коляску, при чемъ раза два чуть не грохнулся въ лужу, потомъ сѣлъ въ свою телѣжку, закричалъ: „съ Богомъ!“ и поѣхалъ впередъ.

Съ того мѣста, гдѣ произошла встрѣча, было дѣйствительно не болѣе трехъ или четырехъ верстъ до Веселыхъ-Горокъ. Наши путешественники не замедлили въѣхать въ околицу и, минутъ пять спустя, увидѣли передъ собою маленькій домикъ Кокуркиныхъ, въ которомъ всѣ окна свѣтились самымъ радостнымъ, привѣтливымъ блескомъ.

Коляска бултыхнулась послѣднiй разъ въ лужу и остановилась у крыльца.

Когда Аристархъ Ѳедоровичъ и Карачаевъ вошли въ переднюю, глазамъ ихъ предстала слѣдующая картина: направо возвышалась до самаго потолка гора изъ шубъ, салоповъ, мѣховыхъ сапогъ и старенькихъ, поистасканныхъ шерстяныхъ платковъ, которыми въ мелкомъ провинцiальномъ кругу окутываютъ голову барышни и дамы, отправляющiяся на балъ; прямо, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ располагалась дверь въ комнаты, возвышалась другая гора, но только состоящая вся изъ спинъ, затылковъ, ногъ кучеровъ, лакеевъ и остальныхъ членовъ дворни, головы которыхъ просунуты были въ залу, откуда излетало бряцанье гитары.

— Позволь поблагодарить тебя еще разъ, душа моя, что ты прiѣхалъ! неожиданно сказалъ Карачаевъ, съ чувствомъ пожимая руку своего друга и торопливо принимаясь обчищать свое платье.

Аристархъ Ѳедоровичъ улыбнулся, приподнялъ брови и отдалъ себя въ полное распоряженiе Сидора. Шепнувъ затѣмъ камердинеру, чтобъ не распрягали лошадей, но только засыпали бы имъ корма, Балахновъ принялъ ту величаво-вельможную осанку, которая такъ отличала его всегда въ обществѣ мелкихъ сосѣдей, протискался, благодаря заботливому усердiю Карачаева, сквозь гору спинъ, и, выпучивъ грудь, улыбаясь и кивая направо и налѣво, вошелъ въ залу.

Трудно представить себѣ эффектъ, произведенный его появленiемъ. Мнѣ кажется даже, если не ошибаюсь, одинъ видъ его мигомъ разсѣялъ въ сердцахъ всѣхъ присутствовавшихъ даже самыя подозрѣнiя относительно тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ еще наканунѣ обвиняли его съ такимъ рвенiемъ. Единодушный, неподдѣльный восторгъ изобразился на всѣхъ почти лицахъ. Звуки гитары тотчасъ же умолкли. Барышни прокричали въ одинъ голосъ: „ахъ!“ и бросились къ Балахнову навстрѣчу; Порфирiй Павловичъ Васильковъ, стоявшiй подлѣ двери съ Надеженькой, удостоился первый подойти къ Аристарху Ѳедоровичу и протянулъ ему руку съ такимъ видомъ, какъ будто былъ одолженъ имъ неоплатными суммами и въ вѣкъ не могъ съ нимъ расквитаться; Кокуркины надрывались въ произнесенiи именитому гостю благодарственнаго монолога; вдохновенный Чибезовъ, которому Балахновъ пожалъ съ

особенною любезностью руку, восторженно сверкалъ глазами, между тѣмъ какъ Свищовъ и Полушкинъ, стоявшіе по сторонамъ великаго человѣка и покуда еще незамѣчаемые имъ, отвѣшивали поклоны. Одинъ Аполлонъ Егоровичъ (въ этомъ слѣдуетъ отдать ему справедливость) не обнаружилъ увлеченья; онъ коротко и сухо шаркаетъ сапогомъ и, мрачно насупивъ брови, отходитъ тотчасъ же въ сторону. Но Аристархъ Ѳедоровичъ не замѣчаетъ Дрянкова; онъ наклоняетъ голову, говоритъ „благодарю!", снисходительно пожимаетъ руки и добродушно улыбается. Хозяйки дома настаиваютъ на томъ, чтобъ именитый гость расположился въ гостиной.—„Помилуйте, Аристархъ Ѳедорычъ", говорятъ онѣ въ одинъ голосъ,—„тамъ вамъ будетъ покойнѣе... Какъ же это можно, чтобъ вы сидѣли на этомъ стулѣ? этого мы никакъ не дозволимъ, во-первыхъ, какъ хозяйки, а во-вторыхъ... во-вторыхъ, въ гостиной мягкій диванъ и вамъ будетъ несравненно покойнѣе!.." Но Аристархъ Ѳедоровичъ говоритъ, съ свойственною ему скромностью, что онъ рѣшительно не видитъ, почему онъ лучше другихъ, находящихся здѣсь добрыхъ и честныхъ людей, и напрямикъ отказывается отъ гостиной. Тогда барышни обставляютъ гостя непроходимою стѣною тарелокъ съ вареньемъ и разными съѣстными издѣліями своихъ рукъ. Новыя лица обступаютъ и окружаютъ Аристарха Ѳедоровича. Аристархъ Ѳедоровичъ наклоняетъ голову, говоритъ „благодарю!", снисходительно пожимаетъ руки и добродушно улыбается, не забывая въ то же время дѣлать свои наблюденія касательно тѣхъ лицъ, которыя, въ общей сложности, могутъ составить на выборахъ одинъ лишній голосъ. Взоръ его случайно падаетъ на Чибезова — и онъ вторично протягиваетъ ему руку. Такое лестное отличіе производитъ на нервознаго Чибезова необыкновенно сильное впечатлѣніе. Пріемъ великаго человѣка пробуждаетъ въ Чибезовѣ сознаніе собственнаго достоинства; въ эту минуту пылкій Чибезовъ готовъ привести тысячу фактовъ и исторій, изъ которыхъ видно, какъ дважды-два—четыре, что Аристархъ Ѳедоровичъ величайшій и благороднѣйшій мужъ своего уѣзда; ядовитая сатира, приготовленная наканунѣ Чибезовымъ на этого самаго мужа, забыта, забыта совершенно; въ эту минуту Чибезовъ готовъ сочинить въ пользу Аристарха Ѳедоровича панегирикъ и заклеймить сатирой ближайшихъ своихъ знакомыхъ. Онъ располагается подлѣ Ба-

лахнова и принимаетъ видъ человѣка съ возвышенными понятіями.

Аристархъ Ѳедоровичъ бросаетъ на окружающихъ благосклонную улыбку, обличающую внутреннее сознаніе превосходства и силы; затѣмъ онъ обнаруживаетъ надежду, что не будетъ служить помѣхою для всеобщаго веселья, и проситъ продолжать танцы.

Прокисай Захаровичъ беретъ два-три аккорда на гитарѣ—и пары устанавливаются.

Карачаевъ выступаетъ впереди всѣхъ, почтительно ведя за руку старшую изъ барышень. Варвара Андреевна ни подъ какимъ видомъ не соглашалась танцовать; она увѣряла Карачаева, что ужъ двадцать лѣтъ не танцуетъ; но Павелъ Петровичъ, проникнутый непреклонною мыслью, что учтивость требуетъ непремѣнно пригласить прежде другихъ старшую хозяйку дома, настоялъ на своемъ; онъ даже разсердился не на шутку, когда Варвара Андреевна замѣтила, что онъ приглашаетъ ее, вѣроятно, для смѣха. Движенія Павла Петровича преисполнены необычайной важности, спокойствія, и, по всей справедливости, удивляютъ присутствующихъ, непривыкшихъ встрѣчать его въ такомъ степенномъ видѣ. Еще вначалѣ, при первомъ появленіи своемъ, онъ успѣлъ изумить всѣхъ, отказавшись наотрѣзъ налить рому въ свой чай и ограничившись ложкою морса. Въ первую минуту рука его дѣйствительно протянулась было къ графину, но пальцы его, какъ будто удерживаемые какою-то мыслью, отъ которой покраснѣли даже его лобъ и щеки, долго не рѣшались обхватить горлышко графина, и, наконецъ, съ какою-то отчаянною рѣшимостью, схватили бутылку съ морсомъ. Поступки эти и солидный видъ Карачаева изумили даже Аристарха Ѳедоровича.

Прокисай Захаровичъ исторгаетъ изъ своей гитары плачевно-меланхолическіе звуки, возвѣщающіе начало кадрили.

— Чаще! чаще! вы слишкомъ тихо играете, Прокисай Захарычъ. Скорѣе! что это вы! такъ танцовать нельзя; чаще, говорятъ вамъ! восклицаютъ танцующіе, внезапно останавливаясь послѣ первыхъ двухъ прыжковъ и устремляя глаза на проживальщика.

Прокисай Захаровичъ смущается, обливается потомъ и, въ припадкѣ замѣшательства, принимается осматривать свою гитару. Онъ хотя и рѣшился, твердо рѣшился от-

казаться отъ Надеженьки и завтра же утромъ покинуть Веселыя-Горки, но, со всѣмъ тѣмъ, никакъ не можетъ равнодушно взирать на счастливаго соперника; игра его находится въ совершенной зависимости отъ степени любезности Надеженьки съ Васильковымъ. Игра его замираетъ и слабѣетъ каждый разъ, какъ Надеженька улыбается, и наоборотъ, частитъ онъ немилосердно, когда лицо Порфирія Павловича проявляетъ тоску и взоры соперника уныло обращаются къ потолку.

— Ну, что жъ ты, братецъ, тебя ждутъ! говоритъ Карачаевъ, выразительно подымая брови и становясь на первую позицію.

Во все продолженіе кадрили Карачаевъ представляетъ изъ себя образчикъ самаго предупредительнаго, учтиваго и деликатнаго кавалера; ноги его забрызганы кое-гдѣ грязью, но со всѣмъ тѣмъ не измѣняютъ первой позиціи; онъ тщательно обходитъ дамъ, безпрестанно останавливается, раскланивается, поворачиваетъ во всѣ стороны свою лысину, извиняется, кричитъ: „pardoné!“ Мало того: онъ считаетъ своимъ долгомъ извиняться и кричать „pardoné“ каждый разъ, какъ кто-нибудь изъ кавалеровъ дѣлаетъ маленькую оплошность. Лицо Павла Петровича, важное и спокойное, обнаруживаетъ неудовольствіе тогда лишь, когда встрѣчается съ лицомъ Василькова; Карачаевъ начинаетъ слѣдить за каждымъ движеніемъ Порфирія Павловича.

Но Порфирій Павловичъ ничего не видитъ; упоенный счастьемъ, онъ впивается страстными глазами въ рѣсницы Надеженьки, наклоняетъ голову къ ея уху и шепчетъ ей сладостнымъ голосомъ:

— О, какъ бы я хотѣлъ быть мухой, чтобъ порхать вокругъ этихъ роскошныхъ плечъ...

Губы Надеженьки принимаютъ мгновенно видъ сердца и щеки ея, и безъ того уже красныя, наливаются чистѣйшимъ пурпуромъ; она подымаетъ, наконецъ, голову, суживаетъ глазки и, лукаво грозя пальцемъ, шепчетъ своему кавалеру:

„Кто чаще всѣхъ твердитъ: люблю!
Тотъ меньше всѣхъ любить умѣетъ!“

Глаза Карачаева устремляются еще пристальнѣе на Василькова.

— Прокисай Захарычъ, вы, просто, спите, голубчикъ! Чаще! чаще! чаще! говорятъ вамъ! восклицаетъ весела

Вѣра Андреевна, подпрыгивая отъ нетерпѣнія на одномъ мѣстѣ.

Кадриль кончилась.

Глаза Карачаева все-таки продолжаютъ слѣдить за эволюціями Василькова. Улучивъ минуту, когда танцоры окружали Аристарха Ѳедоровича, Карачаевъ подошелъ къ Василькову, взялъ его за руку, отвелъ въ гостиную и вдругъ неожиданно прижалъ его въ уголъ.

— Чѣмъ бы здѣсь бѣсноваться, ты бы лучше съѣздилъ къ женѣ! сказалъ онъ, грозно насупивая брови. — Она больна и лежитъ въ постели... Ты думаешь, я не знаю твоихъ шашенъ... а?

— Да... что жъ ты замѣчаешь?.. Я... я... пробормоталъ Васильковъ.

— Колпакъ и больше ничего! произнесъ Карачаевъ.

Тутъ онъ презрительно толкнулъ Василькова и вышелъ въ залу.

Съ этой минуты, восторженное настроеніе Порфирія Павловича смѣнилось глубочайшей меланхоліей; на замѣчанія, которыми осадили его по поводу такой перемѣны, онъ опускалъ только голову и говорилъ уныло вопросительнымъ тономъ:

— Когда я умру, кто придетъ на мою могилу?!..

— Полноте, полноте, Порфирій Павлычъ, что это за вздоръ за такой! восклицала веселая Вѣра Андреевна, — Христосъ съ вами! Во-первыхъ, если бъ и случилось такое несчастіе, мы не только посѣтили бы вашу могилу, но усыпали бы ее цвѣтами и выплакали надъ нею всѣ свои слезы... Но все это пустяки! Прошу васъ быть веселымъ и не забывать, что сегодня день моего рожденія!.. Въ ожиданіи вашей могилы, надѣюсь, вы не откажете мнѣ танцовать со мною мазурку... Видите, я сама васъ приглашаю!

Радостныя привѣтствія и особенно мазурка оживили Порфирія Павловича, но не надолго; послѣ первыхъ двухъ скачковъ, которые привели въ справедливое восхищеніе всѣхъ поклонниковъ перваго мазуриста Горшковскаго уѣзда, глаза Василькова случайно встрѣтили грозный взглядъ Карачаева, и уже съ этого времени онъ впалъ въ такую меланхолію, противъ которой не подѣйствовали даже плѣнительныя улыбки младшей Кокуркиной.

Наблюдая всѣ эти сцены и подсмѣиваясь надъ ними въ глубинѣ необъятной души своей, Аристархъ Ѳедоро-

вичъ не пропустилъ, однакожъ, случая употребить съ пользою сосѣдство Чибезова; онъ успѣлъ освѣдомиться о числѣ душъ Чибезова, успѣлъ замѣтить ему, что число его душъ, въ совокупности съ душами Свищова и Полушкина, составляетъ довольно круглое число, имѣющее полное право на одинъ голосъ; успѣлъ обѣщать этотъ голосъ растроганному Чибезову и, конечно, не преминулъ пригласить его въ пятницу на обѣдъ, сказавъ ему при этомъ, что если онъ не привезетъ съ собою жены, то пусть лучше и не является. Затѣмъ, великій дипломатъ дождался окончанія мазурки, приподнялся съ своего мѣста и началъ раскланиваться.

Обстоятельство это привело въ истинное отчаяніе радушныхъ хозяекъ дома.

— Какъ, Аристархъ Ѳедорычъ! Нѣтъ, нѣтъ, мы этого никакъ не допустимъ! День такой сегодня, что вы должны остаться! Сегодня Вѣрочкинъ праздникъ! Нѣтъ, нѣтъ, этого никакъ нельзя! говорили барышни, обступая именитаго гостя, между тѣмъ какъ Карачаевъ, стоявшій позади всѣхъ, моргалъ глазами и кивалъ ему головою, съ видомъ укора.

— Къ сожалѣнію, не могу принять радушнаго приглашенія вашего, говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Благодарю, благодарю отъ чистаго сердца! Я долженъ ѣхать въ Горшковъ; вы знаете, въ пятницу, черезъ три дня, у меня обѣдъ, на которомъ надѣюсь васъ видѣть; между прочимъ, я долженъ еще сдѣлать два визита — это необходимо!

— Успѣете еще, успѣете! воскликнули въ одинъ голосъ барышни и за ними всѣ присутствовавшіе.—Ну, хорошо, мы васъ отпустимъ, вы поѣдете, но только не иначе, какъ послѣ послѣдняго вечерняго дѣйствія! Ужъ какъ хотите, а мы безъ ужина васъ не отпустимъ!

— Благодарю, благодарю отъ чистаго сердца, но...

— Нѣтъ, нѣтъ, вы останетесь; мы всѣ просимъ васъ объ этомъ... Господа, барышни... Что же это такое? Аристархъ Ѳедорычъ не хочетъ дождаться послѣдняго вечерняго дѣйствія!.. Кондей Иванычъ! Проклъ Иванычъ! Софья Кузьминична! Павелъ Петровичъ... уговорите Аристарха Ѳедорыча.

Но Павелъ Петровичъ стоялъ уже подлѣ Балахнова, дергая его за рукавъ, шепталъ ему въ ухо:

— Вѣдь это, братецъ, позволь тебѣ сказать, просто не

вѣжество! Ну, чего ты ломаешься?.. Обидѣть ты хочешь ихъ, что ли? Ты думаешь, что если это меркантель, такъ ты можешь себѣ... Это, просто, братецъ, извини, невѣжество съ твоей стороны!..

Тонъ, съ которымъ прошептаны были эти слова, доказывалъ ясно, что еще одна секунда сопротивленія—и Павелъ Петровичъ разразится громомъ на всю залу.

Аристархъ Ѳедоровичъ улыбнулся, шутливо потрепалъ Карачаева по плечу и, одобрительно кивнувъ головой, объявилъ, что готовъ раздѣлить трапезу, столь радушно предложенную.

Столы не замедлили явиться и общество сѣло ужинать.

Послѣднее вечернее дѣйствіе не ознаменовалось ничѣмъ особенно замѣчательнымъ. Пробки съ шипучкой и водицами поминутно хлопали въ потолокъ, провозглашались тосты въ честь новорожденной, при чемъ новорожденная дѣлала каждый разъ книксенъ, а старшая сестра ея проливала нѣсколько слезъ; Кондей Ивановичъ пробовалъ всѣхъ напитковъ и опустошалъ всѣ соусники, что не мѣшало его супругѣ запрятывать въ свой ридикюль разнаго рода съѣстные предметы; вдохновенный Чибезовъ неистово сверкалъ глазами и принялся уже читать какой-то экспромптъ, блеснувшій въ головѣ его, при взглядѣ на новорожденную, но закашлялся, захрипѣлъ и вышелъ, наконецъ, изъ-за стола, чтобъ откашляться въ прихожей; Аристархъ Ѳедоровичъ благосклонно кивалъ головою и смѣялся густымъ, добродушнымъ смѣхомъ; словомъ, было необычайно весело за ужиномъ у Кокуркиныхъ.

Два только человѣка: Порфирій Павловичъ и Карачаевъ представляли два темныя пятна посреди этой улыбающейся картины. Васильковъ случайно посаженъ былъ противъ Карачаева, и этимъ объясняется отчасти его мрачное настроеніе; что жъ касается до Павла Петровича, лицо его, важное и спокойное, напоминало выраженіе тѣхъ физіономій, которыя являются посреди шумнаго сборища единственно съ тою лишь цѣлью, чтобъ исполнить свою обязанность. Во все время ужина онъ не прикоснулся ни къ одному напитку и пилъ одну только воду, при чемъ въ глазахъ его отражалось всякій разъ присутствіе какой-то назойливой мысли, а на губахъ бродила широкая улыбка самодовольствія. Но общество, увлекаемое всеобщею радостью, принимавшею самые широкіе размѣры по случаю исчезновенія со стола изряднаго количества

шипучки, не обращало ни малѣйшаго вниманія на двухъ задумчивыхъ рыцарей.

По окончаніи ужина, Аристархъ Өедоровичъ обнаружилъ желаніе выкурить сигару, но, въ сущности, это была только хитрость, придуманная имъ съ тѣмъ, чтобъ удалить подозрѣнія о его отъѣздѣ. Выбравъ удобную минуту, когда хозяйки дома, главныя лица общества, и особенно Карачаевъ, развлеклись какимъ-то предметомъ, онъ поспѣшно выюркнулъ изъ залы и, нѣсколько минутъ спустя, благополучно достигъ коляски, которая тотчасъ же покатила по дорогѣ къ Горшкову.

XVI.

Посмѣявшись отъ души надъ жалкими смертными, великій человѣкъ направляетъ стопы свои къ одному господину, столько же богатому, сколько эксцентрическому.

На другой день утромъ Сидоръ привелъ проводника, одинъ видъ котораго, въ высшей степени смѣлый и рѣшительный, не оставлялъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ въ совершенствѣ знаетъ дорогу изъ Горшкова въ Золотые-Пруды. Благодаря такому счастливому обстоятельству и, сверхъ того, морозу, который, какъ извѣстно, быстро и успѣшно исправляетъ дороги, Аристархъ Өедоровичъ очутился къ полудню на землѣ Старобѣльскаго.

Нимало не намѣреваясь совершить торжественный въѣздъ въ сопровожденіи проводника, сидѣвшаго на какой-то клячонкѣ, Балахновъ заплатилъ ему условленную плату и отослалъ его назадъ; затѣмъ, онъ велѣлъ кучеру и Сидору оправиться, привести въ порядокъ одежду, обчистить коляску, тщательно осмотрѣть лошадей, обтянуть хомуты и проч., и проч. Когда все это было исполнено надлежащимъ образомъ, Аристархъ Өедоровичъ поправилъ волосяной свой галстукъ и приказалъ ѣхать ровною рысью по направленію къ высокой каменной церкви, бѣлѣвшейся въ отдаленіи.

Аристархъ Өедоровичъ не былъ въ Золотыхъ-Прудахъ лѣтъ восемь или девять, съ того времени, когда отецъ настоящаго владѣльца не думалъ еще умирать и находился въ полномъ вожделѣнномъ здравіи. Пріѣзжая на поклонъ въ Золотые-Пруды (покойникъ занималъ, по

своему положенію и богатству, первое мѣсто въ губерніи), Балахнову удалось встрѣтить раза два молодого Старобѣльскаго, служившаго тогда въ кавалерійскомъ полку и пріѣзжавшаго въ отпускъ. Но съ того времени, какъ можете себѣ представить, много утекло воды; старикъ умеръ, сынъ вступилъ во владѣніе имѣніемъ, вышелъ въ отставку, поселился въ наслѣдственной вотчинѣ и, какъ сказывали, до того пристрастился къ деревенской жизни, что никуда рѣшительно не выѣзжалъ.

Воображеніе нашего героя, переносясь къ былому, старалось припомнить черты молодого Старобѣльскаго съ тѣмъ, чтобъ, помощью ихъ, нарисовать себѣ въ наивозможно-вѣрныхъ краскахъ наружность человѣка, съ которымъ предстоитъ теперь вести бесѣду. Но сколько ни напрягалъ онъ пружинъ мыслительнаго своего органа, воображеніе измѣняло ему; черты Старобѣльскаго представляли совершеннѣйшій хаосъ, въ которомъ умственный взоръ горшковскаго дипломата отыскивалъ дюжины носовъ, глазъ, губъ и подбородковъ самаго темнаго и неопредѣленнаго очертанія. Не имѣя съ этой стороны ни малѣйшаго успѣха, умственный взоръ Аристарха Ѳедоровича старался проникнуть во внутренній міръ Старобѣльскаго, старался припомнить, не было ли у него какихъ-нибудь особенныхъ склонностей, привычекъ и проч.; но и съ этой стороны, точно такъ же, воображеніе не оказало никакого успѣха. Балахновъ принадлежалъ именно къ числу тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые, подобно нѣкоторымъ драгоцѣннымъ камнямъ, принимаютъ цвѣтъ предмета, съ которымъ находятся въ соприкосновеніи. Онъ былъ знатокъ человѣческаго сердца и въ объясненіяхъ своихъ, вмѣсто того, чтобъ держать собесѣдника за пуговицу сюртука, какъ это дѣлаютъ многіе люди, предпочиталъ держать собесѣдника за слабую его струнку. Въ чемъ же состояла слабая струнка Старобѣльскаго?.. Аристархъ Ѳедоровичъ долго думалъ и все-таки не могъ придти къ желанному результату. Случай, этотъ помощникъ всѣхъ великихъ открытій, вывелъ его изъ затрудненія. Онъ встрѣтилъ на полѣ табунъ матокъ изъ завода Золотыхъ-Прудовъ, и ужъ съ этой минуты мысли его потекли стройнымъ порядкомъ; этотъ табунъ навелъ его на мысль, что Старобѣльскій питалъ сильное пристрастіе къ лошадиной породѣ и сосредоточивалъ даже всю свою дѣятельность на конскомъ заводѣ. Такія данныя, безъ вся-

каго сомнѣнія, были бы недостаточны для обыкновеннаго смертнаго, но Аристархъ Ѳедоровичъ остался ими очень доволенъ. Принимая въ соображеніе страсть Старобѣльскаго, онъ создалъ тотчасъ же маленькій планъ, какъ успѣшнѣе подѣйствовать на умъ и сердце богатаго сосѣда. Положившись во всемъ остальномъ на свою проницательность и умѣнье распознавать людей съ перваго взгляда, онъ углубился въ уголъ коляски и приказалъ прибавить рыси.

Коляска успѣла, между тѣмъ, проколесить изрядное пространство. Ужъ церковь и бо̀льшая часть села остались влѣвѣ; со всѣхъ сторонъ подымались каменныя, безконечно длинныя и тщательно выбѣленныя зданія, съ остроконечными кровлями и рядами крошечныхъ, полукруглыхъ оконъ извѣстной архитектуры, оконъ, которыя служили несомнѣннымъ доказательствомъ, что конскій заводъ обращалъ на себя особенное вниманіе владѣльца; конюшенный запахъ, охватившій нашихъ путешественниковъ при самомъ въѣздѣ въ околицу, краснорѣчиво подтверждалъ такое доказательство, свидѣтельствуя вмѣстѣ съ тѣмъ объ огромномъ количествѣ лошадей, которыя должны были находиться въ Золотыхъ-Прудахъ. На соломенныхъ кровляхъ сараевъ, избушекъ и построекъ для дворни мелькали то и дѣло мертвыя лошадиныя головы, замѣнявшія, какъ видно, въ этомъ краю скворечницы, рѣзные деревянные пѣтушки и прочія обыкновенныя украшенія деревянныхъ кровель; такія же точно головы попадались весьма часто въ зубахъ тощихъ борзыхъ собакъ, которыя, распустивъ хвостъ, носились взадъ и впередъ со своею добычей; съ каждымъ поворотомъ колеса попадались конюхи и коновалы съ сѣдлами, уздечками и попонами; лошадиное ржанье, топотъ копытъ, глухо раздававшіеся за стѣнами, приводили Аристарху Ѳедоровичу на память кавалерійскіе маневры. Миновавъ кузницу, въ которой непрерывный гулъ мѣховъ ясно показывалъ обиліе работы, Аристархъ Ѳедоровичъ въѣхалъ въ каменныя ворота и очутился, наконецъ, на такъ-называемомъ красномъ дворѣ.

Красный или барскій дворъ занималъ огромное пространство; съ трехъ сторонъ его обступили выбѣленныя мѣломъ конюшни; съ той стороны, къ которой обращено было лицо Аристарха Ѳедоровича, подымался высокій, двухъэтажный дубовый домъ, на каменномъ фундаментѣ,

одинъ изъ тѣхъ домовъ, которые строились въ концѣ прошлаго столѣтія богатыми помѣщиками; тутъ былъ и фасадъ съ колоннами, и бельведеръ съ оранжерейными рамами, и широкая терраса, спускавшаяся ступенями въ садъ, разбитый когда-то въ англійскомъ вкусѣ, но въ настоящую минуту представлявшійся пустыней, заросшей полынью и крапивой; за этимъ садомъ виднѣлся другой, состоявшій исключительно изъ однѣхъ столѣтнихъ, синеватыхъ елей, которыя, казалось, мрачно и уныло смотрѣли на все окружающее.

Всѣ эти предметы хотя и напоминали Балахнову прежняго знакомаго, но, со всѣмъ тѣмъ, въ настоящую минуту мало занимали нашего героя. Вниманіе его устремлялось на дальнюю часть двора, куда выходило боковое крылечко дома и посреди которой былъ водруженъ столбъ; подлѣ этого столба находилась группа изъ пяти-шести конюховъ; одни хлопали арапниками, другіе держали конецъ веревки, которую натягивала лошадь, бѣгавшая и скакавшая вокругъ столба; за кругомъ, описываемымъ на землѣ копытами лошади, виднѣлась другая, болѣе значительная группа конюховъ, также хлопавшихъ арапниками; въ сторонѣ отъ всѣхъ стоялъ высокій мужчина, у котораго, впрочемъ, не было арапника; выставивъ правую ногу впередъ, погнувшись назадъ всѣмъ корпусомъ, онъ пристально наблюдалъ за эволюціями лошади и ограничивался тѣмъ только, что пощелкивалъ языкомъ каждый разъ, какъ животное проносилось мимо.

Аристархъ Ѳедоровичъ узналъ въ немъ тотчасъ же Александра Степановича Старобѣльскаго.

Онъ приказалъ остановиться, ловко выпрыгнулъ изъ коляски и пошелъ къ Старобѣльскому тѣмъ твердымъ, но ускореннымъ шагомъ, который составляетъ принадлежность людей очень довольныхъ собою. При видѣ гостя, Старобѣльскій не обнаружилъ ни радости, ни досады, ни даже удивленія; онъ сохранилъ такое же точно сопливое равнодушіе, какъ будто видѣлъ передъ собой пріятеля, который вышелъ за минуту передъ тѣмъ, чтобъ закурить трубку; онъ не измѣнилъ даже на волосъ своего положенія. Дождавшись минуты, когда дрессируемая лошадь пронесется мимо, и пощелкавъ ей вслѣдъ языкомъ, онъ медленно повернулся къ Аристарху Ѳедоровичу, еще медленнѣе приподнялъ мѣховую шапку и устремилъ на него выпуклые, безжизненные глаза.

Аристархъ Өедоровичъ остановился и также приподнялъ фуражку, при чемъ лицо его казалось сіявшимъ отъ восторга и добродушія.

— Вы, конечно, не узнаете меня, Александръ Степанычъ? сказалъ онъ, раскланиваясь съ обворожительной любезностью.

— Мм... нѣтъ... протянулъ флегматическимъ басомъ Старобѣльскій.

— Балахновъ... произнесъ Аристархъ Өедоровичъ тономъ человѣка, который думаетъ сдѣлать пріятнѣйшій сюрпризъ.

Старобѣльскій сонливо приподнялъ шапку, такъ же сонливо поклонился; во всей наружности его не проявилось ни малѣйшаго движенія, и только глаза отрывались каждую секунду, чтобъ слѣдить за бѣгомъ лошади.

— При жизни покойнаго вашего батюшки, Степана Петровича, я часто бывалъ въ Золотыхъ-Прудахъ, началъ Аристархъ Өедоровичъ.—Скажу безъ лести, но съ грустью въ сердцѣ, съ грустью, возбужденною сладкимъ воспоминаніемъ: покойный Степанъ Петровичъ питалъ ко мнѣ истинно дружеское расположеніе... Смѣю надѣяться, что достойный наслѣдникъ почтеннаго и знаменитаго Степана Петровича пойдетъ, въ отношеніи ко мнѣ, по стопамъ благороднаго своего родителя!.. добавилъ дипломатъ, откидываясь назадъ и протягивая обѣ руки съ увѣренностью искренняго душевнаго чувства.

— Очень радъ... пробормоталъ Старобѣльскій съ такимъ видомъ, который ясно показывалъ, что ему было совершенно все-равно. Разговаривая такимъ образомъ, Аристархъ Өедоровичъ продолжалъ осматривать фигуру Старобѣльскаго съ большимъ участіемъ.

То былъ высокій, худощавый, заспанный мужчина съ необычайно-широкими, хотя бѣлыми и нѣжными ладонями; лицо Старобѣльскаго, пропитанное выраженіемъ лѣни, дошедшей до крайнихъ своихъ предѣловъ, отличалось отсутствіемъ какого бы то ни было оживленія; губы его были безкровны; тонкія, правильныя, изящно нарисованныя черты лица его могли бы составлять въ общемъ прекрасную, благородную наружность, если бъ не вредила всему какая-то опухлость, какое-то размягченіе и желтизна мясистыхъ частей — обыкновенное слѣдствіе лежачей жизни и бездѣйствія. Ему было, однакожъ, никакъ не болѣе тридцати-пяти или, много-много, тридцати-семи лѣтъ;

онъ былъ, что называется, мужчина въ полномъ соку и цвѣтѣ лѣтъ. Фигура его имѣла постоянно наклоненное, въ высшей степени вялое, меланхолическое положеніе; онъ, казалось, всегда думалъ о чемъ-то, хотя не было никакой возможности прочесть на его лицѣ, лбу и въ глазахъ отпечатокъ какой-нибудь положительной мысли.

Въ настоящую минуту, какъ и всегда впрочемъ, на немъ былъ коричневый суконный казакинъ, подбитый сѣрыми мерлушками, плотно перетянутый ременнымъ поясомъ, выложеннымъ серебряными бляхами съ чернью. Черный галстукъ, завязанный по-военному, и синіе широкіе шаровары, запрятанные въ сапожки съ вострыми носками, загнутыми по-турецки, довершали его одежду. Лѣвая рука его держала трубку съ огромнымъ, вычурнымъ янтаремъ на концѣ.

Какъ мы уже сказали, неподалеку отъ Старобѣльскаго находилась группа конюховъ, вооруженная бичами и арапниками; но зоркій и проницательный взглядъ Аристарха Ѳедоровича умѣлъ отыскать въ этой группѣ четырехъ человѣкъ, одежда и атрибуты которыхъ ясно показывали, что они не принадлежали къ кучерскому сословію: то былъ, во-первыхъ, мальчикъ, съ старымъ шелковымъ кисетомъ и всѣми принадлежностями для чистки и набиванія трубки; потомъ еще мальчикъ, державшій обѣими руками серебряный подносъ съ колотымъ сахаромъ; потомъ какой-то коренастый малый съ красными щеками, нѣчто въ родѣ форрейтора, съ залихватскими, вертлявыми пріемами и такимъ наглымъ взглядомъ, который тотчасъ же напомнилъ Аристарху Ѳедоровичу Попельковскаго; было, наконецъ, еще одно существо, удостоившееся обратить на себя особенное вниманіе нашего героя: существо это имѣло два горба, спереди и сзади, и, сверхъ того, прихрамывало немилосерднѣйшимъ образомъ на лѣвую ногу; лицо этого человѣка, заостренное, какъ у лисицы, и почти такое же желтое, не оставалось ни минуты въ покоѣ и производило, одну за другой, самыя страшныя гримасы; уродливое туловище, какъ бы повинуясь движеніямъ физіономіи, ёжилось, принимало комическія позы, между тѣмъ какъ кривая нога выкидывала разныя, болѣе или менѣе, забавныя колѣнца. Онъ былъ въ замасленомъ жабо и во фракѣ. Въ рукахъ его находилась большая двѣнадцати-струнная гитара; каждый разъ, какъ костлявые пальцы горбуна прикасались къ струнамъ, лицо его, а

за нимъ и все туловище, переполнялись корчами; онъ выставлялъ впередъ хромую ногу, мурлыкалъ какую-то пѣсню и вытягивалъ лицо по направленію къ Старобѣльскому, обнаруживая явное намѣреніе разсмѣшить его.

Для всѣхъ этихъ наблюденій Аристарху Ѳедоровичу достаточно было, разумѣется, одного бѣглаго взгляда.

Онъ кашлянулъ и поспѣшилъ завязать разговоръ.

— Вы, Александръ Степанычъ, сколько я замѣчаю, большой охотникъ до лошадей? началъ Балахновъ.

— Да, я охотникъ, сказалъ разсѣянно Старобѣльскій.

— Впрочемъ... ну да, конечно... разумѣется! съ живостью подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ,—обладая такимъ заводомъ, какъ вашъ, весьма естественно сдѣлаться охотникомъ... Впрочемъ, и то сказать надо: вѣдь благороднѣйшее животное, это — лошадь! Я всегда удивлялся, право, за что льва величаютъ благороднѣйшимъ четвероногимъ? Это несправедливо, совершенно несправедливо! Лошадь заслуживаетъ несравненно болѣе такой эпитетъ... Посмотрите, ну, посмотрите, Бога-ради... посмотрите! добавилъ онъ восторженно, указывая Старобѣльскому на лошадь, бѣгавшую на кордѣ.

— Добрый конь! сказалъ Старобѣльскій.

— Какая грація! сила! могущество! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Неудивительно, вымолвилъ Старобѣльскій, — Полканъ, отецъ этой лошади, тотъ самый Полканъ, что выигралъ прошлаго года второй призъ на московской скачкѣ...

Аристархъ Ѳедоровичъ обнаружилъ восторженное желаніе увидѣть Полкана.

— Эй, Костыль! забасилъ Старобѣльскій, медленно поворачиваясь къ конюхамъ.

Изъ ближайшей группы выскочилъ дюжій, приземистый кучеръ, съ черными волосами, черными глазами и такими толстыми губами, которыя занимали почти третью часть лица.

— Вывести Полкана! произнесъ Старобѣльскій.

Тутъ Старобѣльскій обратился къ другой группѣ, стоявшей у столба, сказалъ, чтобъ перестали гонять лошадь, и приказалъ подвести ее къ себѣ.

— Какое ей прозвище? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Побѣда! отвѣчалъ Старобѣльскій, подзывая мальчика, державшаго подносъ съ сахаромъ.

— Ужъ подлинно, что такъ! настоящая побѣда! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, когда два конюха подвели взмыленную лошадь. — О, Побѣда, Побѣда, милая Побѣда, Побѣдушка! подхватилъ онъ, осторожно поглаживая лошадь и пощелкивая языкомъ, между тѣмъ какъ Старобѣльскій давалъ лошади сахаръ.

— Александръ Степанычъ, Сан...дръ Ст...чъ! зашипѣлъ неожиданно горбунъ, подходя къ Старобѣльскому и принимаясь производить самыя страшныя кривлянья.

— Пошелъ, дуракъ! сказалъ Старобѣльскій, не обращая на него ни малѣйшаго вниманія.

— Сидръ... Ст...пчъ!.. продолжалъ шипѣть горбунъ, поддерживая одною рукою гитару, тогда какъ другая рука его протягивалась къ барину,—а мнѣ-то что жъ сахарку?.. молодую-то лошадь холите, а что жъ старой-то клячѣ... и старой клячѣ сахарку пожалуйте, сударь...

— Пошелъ, дуракъ! повторилъ тѣмъ же однообразнымъ тономъ Старобѣльскій.

Горбунъ сдѣлалъ жалкую гримасу, закатилъ глаза подъ лобъ, вытянулъ голову по направленію къ барину и, прильнувъ къ его поясу, запѣлъ тоненькимъ, дрожащимъ голосомъ:

Берточка! милочка!..
Тра-та-та, тра-та...

— Пошелъ, дуракъ! повторилъ Старобѣльскій, не измѣняя на волосъ прежней интонаціи, между тѣмъ какъ дворня и конюхи скалили зубы, фыркали отъ удовольствія и подмигивали другъ другу.

— Поставить Побѣду въ конюшню! сказалъ Старобѣльскій.—Не угодно ли вамъ, мсьё Балахновъ, пройти въ домъ? примолвилъ онъ флегматически, обращаясь къ гостю.

— Очень радъ; это будетъ тѣмъ пріятнѣе для меня, что каждый шагъ, каждый предметъ перенесетъ меня, такъ сказать, къ тѣмъ незабвеннымъ временамъ, когда покойный Степанъ Петровичъ удостоивалъ меня своей дружбы... отвѣчалъ Балахновъ, выступая за сосѣдомъ и соображая въ то же время, что́ бы значило, что бо́льшая часть конюховъ и дворни направляются въ комнаты вслѣдъ за своимъ бариномъ.

Вступивъ въ переднюю, Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ знакомый ему рядъ комнатъ, обитыхъ старымъ, полинялымъ штофомъ или оштукатуренныхъ подъ фальшивый мраморъ.

— Я живу наверху, сказалъ Старобѣльскій, приглашая гостя подняться по дубовой лѣстницѣ съ массивными точеными балясами.

Стѣны, окружавшія лѣстницу, оклеены были обоями, изображавшими похожденія Телемака на островѣ Калипсо; потолокъ расписанъ былъ гирляндами изъ розъ, посреди которыхъ красовались бѣлые голубки съ голубыми ленточками на шеѣ. Пыль и паутина покрывали углы и карнизы этого входа, отъ котораго пахло цѣлымъ столѣтіемъ. Комната Старобѣльскаго располагалась непосредственно послѣ небольшой прихожей и выходила тремя окнами на ту часть двора, гдѣ, нѣсколько минутъ назадъ, гоняли на кордѣ Побѣду. Внутренній видъ этой комнаты не лишенъ былъ нѣкоторой оригинальности. На одной стѣнѣ красовался коверъ, и на этомъ коврѣ висѣли въ безпорядкѣ: калмыцкая нагайка, башкирская уздечка, тунгузскій мохнатый колчанъ съ обломанными стрѣлами, мѣдный рогъ, два-три кинжала, казацкое сѣдло и проч.; надъ печкой висѣлъ портретъ Полкана, котораго держалъ за узду извѣстный ужъ губастый конюхъ; картина была, впрочемъ, написана извѣстнымъ Сверчковымъ. Промежутки между окнами заняты были полочками, съ блиставшими на нихъ серебряными кубками, блюдами и другими призами, выигранными на скачкахъ лошадьми Старобѣльскаго. За исключеніемъ этихъ предметовъ, не было ничего достойнаго вниманія, если не считать, однакожъ, остова дяди Полкана, довольно искусно сохраненнаго и укрѣпленнаго въ доску, выкрашенную подъ цвѣтъ зелени. Полдюжины англійскихъ литографій, изображавшихъ болѣе или менѣе знаменитыхъ скакуновъ; диванъ, покрытый обношеннымъ зеленоватымъ сафьяномъ, пара такихъ же креселъ, столъ изъ краснаго дерева, на немъ раскрашенная статуэтка лошади, гербовая фамильная печать, два-три конверта съ пятью печатями, „Руководство къ верховой ѣздѣ“ и еще другая брошюрка въ пять страницъ „О различныхъ способахъ вылѣчиванія сапа и прочихъ конскихъ болѣзней“ — довершали общій видъ этой комнаты.

Изумленіе Аристарха Ѳедоровича возросло до неимовѣрной степени, когда увидѣлъ онъ, что толпа, сопровождавшая его по лѣстницѣ, вошла въ кабинетъ и расположилась у двери. Впереди всѣхъ выступалъ горбунъ, не перестававшій бренчать на своей гитарѣ.

— Зачѣмъ пускаете вы сюда этого дурака?.. сказалъ Старобѣльскій, очевидно, съ тѣмъ только, чтобъ сказать что-нибудь. — Эй, Грызловъ! промолвилъ онъ, поворачиваясь къ двери.

Изъ толпы выскочилъ сѣдоволосый старецъ, въ синемъ фракѣ и бѣломъ миткалевомъ галстукѣ.

— Что, жаворонокъ пѣлъ? заботливо спросилъ Старобѣльскій.

— Никакъ нѣтъ-съ...

— Странно... отчего жъ онъ не поетъ?

— Не могу знать-съ...

— Хорошо, ступай...

— Что это за жаворонокъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, сообщая своему голосу интонацію дѣтскаго добродушія.

— Нѣтъ... такъ... третьяго-дня принесли жаворонка... отвѣчалъ нехотя Старобѣльскій.

— И онъ не поетъ? съ жалостнымъ участіемъ спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Нѣтъ...

„Не поетъ... жаворонокъ...
Не поетъ... Берточка, милочка!..

зашипѣлъ неожиданно горбунъ, прихрамывая и закатывая глаза подъ лобъ.

— Пошелъ, дуракъ! произнесъ Старобѣльскій.

— Странно... я, право, не постигаю, отчего жъ, въ самомъ дѣлѣ, не поетъ этотъ жаворонокъ!.. сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—А, впрочемъ, знаете что, прибавилъ онъ наивно, — я слышалъ, имъ не мѣшаетъ иногда подсвистывать...

Но Старобѣльскій, неизвѣстно почему, перемѣнилъ разговоръ и обратилъ вниманіе гостя на призы. Вытягивая каждое слово на три аршина, онъ сообщилъ гостю подробную исторію о томъ, какая лошадь выиграла какой призъ, на сколько шаговъ опередила свою соперницу; разсказалъ затѣмъ весьма интересную біографію одной гнѣдой кобылы, по имени Юнона, и заключилъ біографію трогательнымъ повѣствованіемъ о томъ, что эта самая Юнона приводилась внучатной сестрой дяди Полкана, остовъ котораго Аристархъ Ѳедоровичъ видѣлъ теперь передъ собою.

Аристархъ Ѳедоровичъ запылалъ страстнымъ желаніемъ увидѣть, какъ можно скорѣе, Юнону.

— Эй, Костыль! крикнулъ Старобѣльскій.

Явился губастый конюхъ.

— Сказать, чтобъ вывели Юнону, сонливо продолжалъ Старобѣльскій.—Постой, какъ будешь въ конюшнѣ, загляни-ка, кстати, что̀ подѣлываетъ Побѣда... Ступай!

Минутъ пять спустя, губастый Костыль объявилъ, что Юнону сейчасъ выведутъ.

— Ну, а Побѣда что? спросилъ Старобѣльскій.

— Попрежнему, сударь: хрипитъ и бьетъ копытами...

— А!.. ну, такъ постой же... есть ли у ней овесъ?

— Какъ же, сударь, только-что засыпали.

— Ну, такъ сходи же опять на конюшню... возьми у ней двѣ пригоршни овса—смотри, такъ только, чтобъ она не видала, заботливо прибавилъ Старобѣльскій,—и всыпь эти пригоршни въ стойло козлу. Ступай! заключилъ онъ, проявляя на губахъ задумчивую улыбку и приглашая гостя къ окну, за которымъ раздавались уже фырканье и нетерпѣливый топотъ копытъ.

Въ то время, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ расточалъ похвалы неподражаемымъ свойствамъ Юноны, сѣдовласый камердинеръ Старобѣльскаго и еще два какіе-то лакея внесли въ кабинетъ столъ, покрытый скатертью и снабженный всѣмъ нужнымъ для обѣда.

Хозяйствомъ Старобѣльскаго завѣдывала какая-то Анна Егоровна, да еще старая его нянька, которая, сверхъ своей должности, обязана была являться каждое утро съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать питомцу проборъ на головѣ и разсказать ему сказку—и потому нѣтъ ничего удивительнаго, если обѣдъ Старобѣльскаго доставилъ голодному Аристарху Ѳедоровичу новый случай къ изумленію; главнымъ поводомъ къ изумленію послужилъ, впрочемъ, самъ хозяинъ, который не переставалъ освѣдомляться о томъ, что подѣлываетъ та или другая лошадь, какъ ведетъ себя козелъ; приказывалъ овесъ, данный козлу, пересыпать украдкою Полкану, потомъ измѣнялъ неожиданно свою строгость въ отношеніи къ козлу и т. д. Разъ, впрочемъ, одинъ только разъ, хозяинъ дома обратился къ гостю съ вопросомъ о томъ, пробовалъ ли онъ когда-нибудь лошадиное мясо, на что Аристархъ Ѳедоровичъ объявилъ съ сожалѣніемъ, что никогда не удавалось.

Послѣ того, какъ мальчикъ, приставленный къ табачному кисету, подалъ гостю и хозяину трубки, Старобѣль

скій пригласилъ Аристарха Ѳедоровича прогуляться въ конюшню; гость изъявилъ живѣйшую готовность.

И хорошо сдѣлалъ, очень даже хорошо сдѣлалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, потому что конюшни Старобѣльскаго представляли дѣйствительно нѣчто весьма замѣчательное въ своемъ родѣ.

Перегородки, обозначавшія стойла, были сдѣланы изъ лакированнаго дуба; повсюду воздвигались точеные столбы изъ такого же дерева, увѣнчанные мѣдными шарами, сіявшими, какъ золото; на каждомъ столбѣ висѣла мѣдная доска, коротко, но краснорѣчиво извѣщавшая о томъ, передъ какою лошадью имѣете вы честь находиться, сколько ей лѣтъ, кто такіе были ея предки и проч. Лошади (а ихъ было около двухсотъ) блистали—словно ихъ заодно покрыли лакомъ вмѣстѣ со стойлами. Тщательно убитый и посыпанный пескомъ полъ, красныя рубашки кучеровъ, пурпуровыя попоны, пестрые банты, вплетенные въ гривы нѣкоторыхъ любимыхъ лошадей Старобѣльскаго—все это зарябило страшнѣйшимъ образомъ въ глазахъ Аристарха Ѳедоровича. Показавъ гостю отдѣленіе скаковыхъ лошадей, Старобѣльскій провелъ его въ отдѣленіе рысаковъ, иноходцевъ и, такъ-называемыхъ, троечныхъ скакуновъ. Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ, что, при окончаніи каждаго отдѣленія, тамъ, гдѣ былъ выходъ, устроено было особенное мѣсто, обшитое коврами, снабженное двумя отличными диванами, столомъ, лампою,—словомъ, всѣмъ, нужнымъ для комфортабельнаго отдыха; будуары эти, какъ разсказывалъ впослѣдствіи Балахновъ, служили дѣйствительно любимымъ мѣстопребываніемъ Старобѣльскаго. Изъ отдѣленія троечныхъ скакуновъ Аристархъ Ѳедоровичъ перешелъ въ отдѣленіе кобылъ, кормившихъ сосуновъ; проникнулъ даже въ лазаретъ. Затѣмъ пошли въ отдѣленіе хомутовъ, уздечекъ и подсѣдельниковъ, отдѣленіе бѣговыхъ дрожекъ и щегольскихъ казанскихъ телѣжекъ, отдѣленіе саней и вожжей и т. д. Но сколько бы ни было отдѣленій, будь ихъ хоть вдвое, втрое, вчетверо больше, Аристархъ Ѳедоровичъ и тутъ не истощилъ бы своего запаса восторженныхъ восклицаній и похвальныхъ монологовъ въ честь достойнаго потомка покойнаго Степана Петровича! Аристархъ Ѳедоровичъ полагалъ... нѣтъ, онъ твердо увѣренъ былъ, что до сихъ поръ ничѣмъ нельзя было удивить его, что всѣ предметы, какъ внутренняго, такъ и внѣшняго міра, были ему равно извѣстны; но онъ

горько ошибался; да, къ чему лукавить! онъ горько ошибался! Онъ чистосердечно сознался Старобѣльскому, что не только не встрѣчалъ, но даже во снѣ не видывалъ ничего такого, что могло бы хоть сколько-нибудь уподобиться величію его конюшенъ!

Рѣчь Аристарха Ѳедоровича звучала такою искренностью, въ ней было столько истиннаго, неподдѣльнаго добродушія и восторга, что, слушая ее, Старобѣльскій проявилъ оживленіе и на безцвѣтныхъ губахъ его сохранилась улыбка до того самаго времени, какъ оба они переступили порогъ дома.

Ихъ давно ужъ ожидалъ чай.

— Эй, Грызловъ! сказалъ Старобѣльскій, входя въ кабинетъ.

Явился сѣдоволосый камердинеръ.

— Что, жаворонокъ пѣлъ? спросилъ Старобѣльскій, дѣлая на лбу своемъ двѣ-три морщины.

— Пѣлъ, сударь, только потихоньку...

— Не-уж-то?..

— Точно такъ-съ: пѣлъ, но только потихоньку, повторилъ Грызловъ.

Морщины, появившіяся на лбу Старобѣльскаго, мигомъ исчезли и на губахъ его снова появилась улыбка.

Ничего неизвѣстно о томъ, что̀ подумалъ въ эту минуту Аристархъ Ѳедоровичъ; неизвѣстно также, какое благопріятное предзнаменованіе заключалось для Аристарха Ѳедоровича въ улыбкѣ Старобѣльскаго; достовѣрно одно, что вмѣстѣ съ этой улыбкой лицо великаго человѣка мгновенно просіяло, какъ будто мысль, зародившаяся мгновенно въ головѣ его, была зажженною свѣчкой, а самое лицо приняло свойство лучшаго бемскаго стекла. Онъ свирѣпо потеръ ладонями, какъ будто готовился исторгнуть изъ нихъ пламя, устремилъ проницательный взглядъ на собесѣдника, кашлянулъ и сказалъ голосомъ, исполненнымъ невообразимой пріятности:

— А знаете ли что, мой почтеннѣйшій Александръ Степанычъ, если сказать правду—таково, впрочемъ, всегдашнее мое обыкновеніе — вѣдь я пріѣхалъ къ вамъ за дѣломъ...

— Очень радъ... протянулъ флегматически Старобѣльскій.

— Изволите видѣть: я пріѣхалъ къ вамъ за добрымъ совѣтомъ... и надѣюсь, скажу болѣе, увѣренъ, что вы,

Александръ Степанычъ, не откажете въ этомъ совѣтѣ тому, который нѣкогда—зачѣмъ не могу сказать: теперь?—пользовался дружбой достойнаго родителя вашего... Такъ ли, Александръ Степанычъ?.. добавилъ великій человѣкъ, протягивая собесѣднику руку.

Старобѣльскій отвѣтилъ лѣнивымъ пожатіемъ и сонливо наклонилъ голову въ знакъ одобренія.

— Я въ этомъ не сомнѣвался! торжественно произнесъ Балахновъ, — и такъ, я долженъ сказать вамъ прежде всего, что давно имѣю намѣреніе завести конскій заводъ!

Аристархъ Ѳедоровичъ устремилъ пристальный взглядъ на собесѣдника и продолжалъ, воодушевляясь:

— Да, я имѣю это намѣреніе! Для этой цѣли я объѣздилъ всѣ заводы нашей губерніи... Долженъ ли сказать вамъ... да, я скажу, скажу съ тою искреннею прямизною, которая всегда меня отличала, скажу, что ничего не нашелъ въ этихъ заводахъ удовлетворительнаго. Пріѣхалъ я тогда въ Золотые-Пруды pour la bonne bouche, какъ говорится... Но вы сами знаете, какое впечатлѣніе произвело на меня вездѣ царствующее здѣсь великолѣпіе породъ и образцовый порядокъ! Основываясь на этомъ, я рѣшился, во-первыхъ, произвести закупку матокъ въ вашемъ заводѣ; во-вторыхъ, испросить у васъ совѣтовъ для первоначальнаго устройства обширнаго предпріятія, цѣль котораго не столько спекулятивная, разумѣется, сколько та именно, чтобъ удовлетворить собственному задушевному стремленію... Я самъ страстный коннозаводчикъ, Александръ Степанычъ! заключилъ Балахновъ тономъ торжественной откровенности.

— Что-жъ, очень радъ! вымолвилъ Старобѣльскій, лѣниво протягивая руку къ стакану.

— Я въ этомъ не сомнѣвался! воскликнулъ дипломатъ, горячо пожимая ему руку.—Предметъ, какъ видите, достоинъ того, чтобъ посвятить ему нѣкоторое время... примолвилъ Балахновъ, снова устремляя проницательный взглядъ на сосѣда.

— Конечно... протянулъ Старобѣльскій.

— Безъ сомнѣнія! подтвердилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Тутъ великій человѣкъ кашлянулъ и придвинулся къ собесѣднику.

— Изволите ли видѣть, въ чемъ дѣло: предпріятіе, касательно завода, хочется мнѣ начать какъ можно скорѣе, до зимы, а такъ какъ времени остается мало, и притомъ

намъ, какъ вамъ извѣстно, предстоитъ еще прожить на выборахъ безъ малаго три недѣли, то просьба моя будетъ заключаться въ слѣдующемъ: Александръ Степанычъ, не откажите удѣлить мнѣ нѣсколько часовъ въ губернскомъ городѣ... Тамъ, на свободѣ, мы переговоримъ обо всемъ и заключимъ всѣ условія... досказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, проникая испытующимъ взглядомъ въ мельчайшіе изгибы души своего собесѣдника.

— Пріѣзжайте ко мнѣ лучше послѣ выборовъ... сказалъ Старобѣльскій.

— Но отчего же не можемъ сговориться мы въ губернскомъ городѣ?.. вѣдь время то, время не терпитъ, Александръ Степанычъ! произнесъ Балахновъ, и при этомъ голосъ его замѣтно вздрогнулъ.

— Я не поѣду на выборы, отвѣчалъ Старобѣльскій, проникнутый теперь, какъ и прежде, безпредѣльной сонливостью.

— Какъ?.. воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, тономъ человѣка, подъ которымъ неожиданно проламывается мостъ.

— Я никогда не ѣзжу на выборы, сказалъ Старобѣльскій, медленно поднимая глаза на портретъ Полкана.

— Какъ... ка-а-а-къ? (тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ поставилъ на столъ стаканъ, изъ опасенія пролить на столъ остатокъ чая),—такъ вы *рѣшительно* не поѣдете на выборы? примолвилъ онъ, дѣлая особенное удареніе на слово „рѣшительно“, чтобъ въ вопросѣ его не оказалось ни малѣйшаго недоумѣнія.

— Рѣшительно не поѣду! подтвердилъ Старобѣльскій.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ все еще не вѣрилъ словамъ своего сосѣда и продолжалъ отшучиваться до тѣхъ поръ, пока тотъ окончательно не отнялъ у него послѣдней надежды.

— Ай да Александръ Степанычъ! ну, ужъ нечего сказать, не подозрѣвалъ я, признаться, въ васъ такого равнодушія! Ха! ха! добродушно заливался Аристархъ Ѳедоровичъ, между тѣмъ, какъ багровые кружки замѣтно начинали проступать на щекахъ его, а нижняя губа, выступая впередъ, выражала презрѣніе и жалость.—Ну, скажите же, по крайней мѣрѣ, какъ вы распорядились на этотъ счетъ?.. Кому отдали вы свой голосъ? Послушайте, ха, ха! отдайте его мнѣ... право... хи, хи, хи!.. залился онъ снова, чтобъ скрыть волненіе, которое, подобно огню, разбѣгалось невольно по всѣмъ его членамъ.

— Къ сожалѣнію... произнесъ Старобѣльскій.

Аристархъ Ѳедоровичъ обмеръ.

— Къ сожалѣнію, не могу, подхватилъ Александръ Степановичъ, — на-дняхъ писалъ ко мнѣ Окатовъ... и я отдалъ ему свой голосъ.

Не успѣлъ Старобѣльскій произнести роковыя эти слова, какъ уже багровые кружки разлились и мигомъ охватили благородную физіономію нашего героя. Онъ зашатался, проворно опустилъ правую руку, чтобъ предостеречь себя отъ паденія, но, при всемъ томъ, имѣлъ все еще столько твердости духа, что остался въ перпендикулярномъ положеніи и даже протянулъ лѣвую руку къ стакану, какъ бы ни въ чемъ не бывало!

Во все это время Старобѣльскій сидѣлъ на диванѣ и, сонливо опустивъ голову, глядѣлъ съ видомъ печальнаго раздумья на остовъ Полканова дѣда. Мысли его, попавъ разъ на этотъ замогильный предметъ, блуждали въ немъ до тѣхъ поръ, пока Аристархъ Ѳедоровичъ не вызвалъ ихъ въ дѣйствительный міръ слѣдующими словами:

— Прощайте, мой почтеннѣйшій!

Къ несчастію, послѣднія слова, сказанныя Аристархомъ Ѳедоровичемъ Старобѣльскому, не сохранились для назиданія потомства.

Конюхи, и въ томъ числѣ хромой горбунъ, провожавшій гостя до крыльца, увѣряли, однакожъ, что послѣднія слова великаго человѣка, когда онъ сѣлъ въ коляску (разумѣется, они не поняли глубокаго значенія этихъ словъ), состояли изъ слѣдующихъ отрывковъ: „Пропалъ день!... драгоцѣнное время!.. обѣдъ въ пятницу!.. идіотъ!.. черезъ недѣлю выборы... авось!.. уповаю!.. наша возьметъ!“ и т. д.; но какъ бы то ни было, справедливы ли показанія кучеровъ и конюховъ или не справедливы, слова эти останутся, безъ сомнѣнія, драгоцѣнными памятниками въ исторіи горшковскаго краснорѣчія.

XVII

представляетъ достовѣрный отчетъ о первыхъ дѣйствіяхъ и первыхъ впечатлѣніяхъ Аристарха Ѳедоровича въ губернскомъ городѣ Черноряжскѣ.

18... неизвѣстнаго и притомъ вовсе не интереснаго года— такого года, который, по какому-то странному стеченію

обстоятельствъ, не ознаменовался ни землетрясеніями, ни затменіями, ни историческими событіями, ни даже сильными морозами и мятелями — въ послѣднихъ числахъ октября, въ губернскомъ городѣ Черноряжскѣ происходило необычайное оживленіе. Изъ этого ясно, кажется, слѣдуетъ, что вышеозначенный годъ могъ утратить свое значеніе для одного лишь ученаго міра. Что-жъ касается до обыкновенныхъ смертныхъ, онъ, безъ сомнѣнія, возбудитъ въ каждомъ заслуженное удивленіе и, сверхъ того, глубокое сочувствіе. О черноряжскихъ жителяхъ и говорить нечего: достойный годъ этотъ изгладилъ изъ ихъ памяти всѣ остальныя воспоминанія и, само собою разумѣется, никогда не перестанетъ служить любимымъ предметомъ разговора. По крайней мѣрѣ тамошніе старожилы о сю пору еще указываютъ на него съ гордостью; экспромпты, сочиненные черноряжскими бардами въ честь этого славнаго года, не переставали еще пользоваться всѣми преимуществами самой свѣжей новости; черноряжскія кумушки, мамушки и вдовушки, живущія на форштадтахъ въ перекосившихся домикахъ, повѣствуютъ о немъ на всѣхъ перекресткахъ, какъ о вчерашнемъ событіи. Такъ по-настоящему оно и слѣдуетъ.

Дѣло въ томъ, что въ этотъ достопамятный годъ въ Черноряжскѣ происходили губернскіе выборы. Всякому, я полагаю, извѣстно, что выборы имѣютъ такое же точно значеніе въ жизни губернскихъ городовъ, какъ именины, день рожденія, крестины или свадьба въ существованіи смертныхъ. Благотворительное вліяніе выборовъ можно сравнить только съ дѣйствіемъ іюльскаго ливня на пересохнувшую ниву: какъ тутъ, такъ и тамъ, каждый цвѣтокъ, каждая травка получаетъ первобытную свою свѣжесть и приподымаетъ голову. Все оживаетъ тогда въ губернскомъ городѣ; даже такіе господа, которымъ прежде въ тягость было набить трубку помощью собственныхъ рукъ, проявляютъ во всѣхъ членахъ своего организма необычайную суету и прыткость.

Недѣли еще за три до назначеннаго срока, Черноряжскъ, какъ бы повинуясь тайному дѣйствію волшебнаго жезла, мгновенно измѣнилъ свою повседневную наружность. По всѣмъ улицамъ: по Никольской, Московской, Дворянской и т. д. потащились тарантасы, рыдваны, щегольскія коляски и другіе болѣе или менѣе затѣйливые экипажи; на нихъ рѣзко проступали слѣды дол-

гаго, труднаго странствія по проселкамъ; подножки и кузовы забрызганы были грязью, колеса переплетены веревками; искалѣченныя, хотя новыя оси, лопнувшія шины и сломанныя втулки ясно свидѣтельствовали о неоднократныхъ поправкахъ, произведенныхъ ненадежными подорожными кузнецами. Изъ-подъ кожаныхъ фартуковъ, отверстій, щелей и оконъ экипажей выглядывали физіономіи, принадлежавшія особамъ всѣхъ половъ и возрастовъ; кое-гдѣ высовывались углы и крышки коробокъ, картонокъ для дамскихъ шляпъ, узелковъ, шкатулокъ, бауловъ; торчали также кое-гдѣ подушки, одѣяла, полосатые тюфяки. Усталость, изнеможеніе проступали на всѣхъ лицахъ безъ исключенія; но все это постепенно сглаживается выраженіемъ того радостнаго нетерпѣнія, какое испытываетъ каждый смертный, когда, утративъ уже надежду, достигаетъ, наконецъ, обѣтованной цѣли. Взоры многихъ съ безпокойствомъ устремляются въ отдаленныя части улицъ, стараясь встрѣтить, какъ можно скорѣе, слугу, посланнаго за недѣлю прежде, съ тѣмъ, чтобъ пріискать удобную квартиру. Движеніе тарантасовъ увеличивается и поражаетъ своимъ бряцаньемъ непривычный слухъ черноряжскихъ мѣщанокъ, которыя принимаютъ, повидимому, твердое намѣреніе не покидать воротъ своихъ домиковъ. Иначе, впрочемъ, и нельзя сдѣлать: многія за мѣсяцъ еще отдали свои покойчики, клѣтушки и даже самоваръ и корову въ наемъ пріѣзжимъ помѣщикамъ. Народонаселеніе Черноряжска увеличивается съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ. Вмѣстѣ съ этимъ увеличивается, безъ сомнѣнія, и цѣна на самые потребительные припасы: сѣно, овесъ, куры, яйца, овощи получили вдругъ сверхъестественное значеніе. Торговля принимаетъ самые широкіе размѣры; столовое вино вздорожало неимовѣрно; сахаръ отпускается въ учетверенномъ и даже ушестеренномъ количествѣ; то же самое происходитъ съ чаемъ и другими колоніальными продуктами. Купцы не успѣваютъ отмѣривать ленты на чепцы и кисею на платья. Аптека приняла также свои мѣры въ отношеніи наивозможно болѣе поспѣшной дистиллировки о-де-колона, розовой и мятной воды и другихъ специй, общеупотребительныхъ въ дамскомъ туалетѣ. Заѣзжая прислуга показывается чаще и чаще въ распивочныхъ, штофныхъ и трактирахъ, гдѣ, за парою чая или другимъ болѣе крѣпительнымъ напиткомъ, прислушивается къ разсказамъ

полового, повѣствующаго о текущихъ новостяхъ, предстоящихъ увеселеніяхъ, только-что отстроенномъ театрѣ и проч. Черезъ дворы поминутно перебѣгаютъ вертлявыя горничныя съ утюгами, шемизетками, юбками и крахмаломъ, взятымъ въ лавчонкѣ; исполинскія кисти на фуражкахъ писцовъ и протоколистовъ замелькали въ воздухѣ и въ трактирахъ. Народонаселеніе продолжаетъ между тѣмъ усиливаться, и вмѣстѣ съ нимъ усиливается, разумѣется, пестрота и движеніе. Ужъ многіе экипажи наполнили дворы и, за неимѣніемъ мѣста, высунулись кое-гдѣ изъ воротъ на улицу. Слышно ужъ, что въ гостиницахъ и на постоялыхъ дворахъ не остается порожняго уголка. Черноряжскъ наполняется какъ улей. Чаще и чаще начинаютъ появляться на улицахъ коляски и кареты, въ которыхъ сидятъ разодѣтыя дамы, отправляющіяся дѣлать визиты. Мужчины также отправляются дѣлать визиты; но лица ихъ при этомъ далеко не выражаютъ того легкомыслія, той безпечности, какая видна на лицахъ женъ и дочерей: лица мужчинъ отличаются глубокомысліемъ и носятъ всѣ признаки сильной головоломной работы; шопотъ, многозначительное подмигиванье, таинственное движеніе бровей тотчасъ же даютъ знать о важности предстоящаго событія. Въ ожиданіи этого событія, визиты заступаютъ, повидимому, мѣсто всѣхъ дѣлъ и помышленій. Вмѣстѣ съ визитами, каждый домъ въ Черноряжскѣ, каждая почти квартира обращаются въ маленькій департаментъ иностранныхъ дѣлъ. И тогда какъ въ черноряжскихъ гостиныхъ раздаются веселые голоса женъ и дочерей, въ кабинетахъ слышится густой дѣловой гулъ мужей, отцовъ, братьевъ и дѣдовъ, которые съ безпристрастіемъ, свойственнымъ вообще человѣческому роду, толкуютъ о томъ или другомъ сосѣдѣ, созидаютъ проекты, планы, рѣшаютъ самые многосложные вопросы, опрокидываютъ навзничь дивныя соображенія, обдуманныя на досугѣ или въ тяжелое время безсонной ночи, оспариваютъ запутанныя предложенія и, нимало не задумываясь, излагаютъ въ краснорѣчивѣйшихъ формахъ такія дипломатическія тонкости, которымъ позавидовалъ бы самъ Талейранъ.

Но всѣ эти планы, проекты, мысли, все это броженіе умовъ, происходившее въ Черноряжскѣ, показалось бы слабымъ, младенческимъ, ничтожнымъ и нестоящимъ вниманія, сравнительно съ тѣмъ, что совершалось въ это

время въ головѣ одного Аристарха Ѳедоровича. Оно дѣйствительно такъ и было.

Вотъ уже третій день, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ поселился въ Черноряжскѣ. Поселился онъ на главной улицѣ и занялъ бельэтажъ огромнаго каменнаго дома. Богатый купецъ, владѣлецъ дома, еще мѣсяцъ тому назадъ, извѣщенъ былъ письмомъ, въ которомъ Балахновъ просилъ уступить ему на время выборовъ бельэтажъ, съ тѣмъ, чтобъ, по истеченіи срока найма, вознаградить владѣльца весьма значительною суммой. Купецъ, побѣжденный задаткомъ, искусно вложеннымъ между страничками письма, изъявилъ полнѣйшее согласіе, и бельэтажъ, украшенный балкономъ, съ котораго можно было обозрѣвать весь Черноряжскъ, остался такимъ образомъ за Балахновымъ.

Мы застаемъ Аристарха Ѳедоровича за письменнымъ столомъ. Отпечатокъ глубокихъ думъ сіяетъ, какъ звѣзда, на благородномъ челѣ горшковскаго дипломата. Передъ нимъ листъ бумаги, испещренный именами, увы! тѣхъ немногихъ особъ, которыя обѣщали ему свой голосъ; по лѣвую руку возвышается пачка дѣловыхъ писемъ, календарь и яркихъ цвѣтовъ фуляръ; по правую руку находится его знаменитая записная книжка. Одинъ изъ ящиковъ стола раскрытъ съ тою предусмотрительною цѣлью, чтобъ, въ случаѣ неожиданнаго визита, успѣть скрыть въ немъ списокъ голосовъ. Нечего и говорить, что пачка дѣловыхъ бумагъ и писемъ, такъ эффектно воздвигнутая по лѣвую руку, избѣгнетъ этой участи.

Намъ неоднократно представлялись случаи изумляться тому необычайному мужеству, съ какимъ Аристархъ Ѳедоровичъ переносилъ борьбу съ злѣйшими обстоятельствами жизни, такими обстоятельствами, передъ которыми человѣкъ, неодаренный особенной организаціей, непремѣнно склонилъ бы гордую голову и разсыпался вдребезги. Было ли то дѣйствительно мужество, или умѣнье владѣть собою, основывалось ли то на упругости душевныхъ и сердечныхъ свойствъ, или, наконецъ, не было въ самомъ дѣлѣ такихъ крутыхъ обстоятельствъ, которыя были бы въ состояніи сокрушить нашего героя—все это такіе вопросы, которые рѣшить очень трудно. Обязанность наша ограничивается покуда изложеніемъ фактовъ; основываясь на этомъ, мы скажемъ, что никогда еще, быть-можетъ, не встрѣчали нашего героя въ такой

тревогѣ. Мысли его были устремлены, повидимому, въ одно и то же время на всѣ возможные пункты губернскаго города, театра настоящихъ его дѣйствій. Продольная морщина, помѣщенная на высокомъ лбу его, проявляетъ нетерпѣливое движеніе всякій разъ, какъ у подъѣзда или даже въ отдаленіи раздается звукъ какого-нибудь экипажа.

— Сидоръ! кричитъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Въ дверяхъ временнаго кабинета показывается Сидоръ, въ синемъ фракѣ, обшитомъ позументомъ, и красномъ жилетѣ со свѣтлыми пуговицами; платье это, заказанное въ Москвѣ и хранимое до времени въ Ханскихъ-Прудахъ, обращаетъ на себя всякій разъ вниманіе Аристарха Ѳедоровича.

— Тамъ, братецъ, кажется, кто-то проѣхалъ?.. Смотри, не къ намъ ли?.. говоритъ онъ, кивая головой къ окну.

— Никакъ нѣтъ, сударь, мимо... отвѣчаетъ Сидоръ.

Продольная морщина, приведенная въ движеніе бровями, которыя сильно нахмуриваются, принимаетъ видъ опрокинутаго ужа надъ глазами Аристарха Ѳедоровича; онъ нетерпѣливо отсылаетъ Сидора и еще сильнѣе задумывается.

И въ самомъ дѣлѣ, въ эти три дня никто еще не посѣтилъ Аристарха Ѳедоровича. Былъ одинъ лишь старичокъ—Пшеницынъ съ сыномъ, долговязымъ Ѳедей; но его, разумѣется, считать нечего, точно такъ же, какъ Попельковскаго, Ардаліона Александровича, котораго Аристархъ Ѳедоровичъ не удостоилъ даже принять. Что же касается до Балаклеева и другихъ, болѣе или менѣе значительныхъ городскихъ лицъ, которымъ Балахновъ сдѣлалъ визитъ на второй же день пріѣзда своего въ Черноряжскъ, всѣ они ограничились тѣмъ только, что остановились у подъѣзда Аристарха Ѳедоровича, вручили Сидору карточку съ загнутымъ угломъ и, не сказавъ слова, уѣхали дальше. Пріемъ госпожи Балаклеевой, несмотря на то, что Аристархъ Ѳедоровичъ изобразилъ ей въ краснорѣчивыхъ выраженіяхъ трогательное повѣствованіе о спасеніи сестры ея, былъ необычайно холоденъ; впрочемъ, Балахновъ встрѣтилъ у нея Софью Алексѣевну Окатову, и холодность пріема объяснилась сама собою. Кормонолѣй Семеновичъ Бирюковъ, на котораго сильно разсчитывалъ теперь нашъ герой, не пріѣзжалъ еще; пріятели Чиндаласова, Крановичъ и Сербинъ, которымъ Аристархъ Ѳе-

доровичъ, согласно задуманному плану, долженствовалъ проиграть въ карты, также не пріѣзжали. Мясоитяновъ, солидный племянникъ Бирюкова, не былъ даже въ Ханскихъ-Прудахъ, въ пятницу, на знаменитомъ обѣдѣ (сказать мимоходомъ, обѣдъ этотъ далеко не достигъ своей цѣли). Все это было въ высшей степени скверно и неблагопріятно, но Аристархъ Ѳедоровичъ все еще обнадеживалъ себя мыслью, что ожидаемыя лица пріѣдутъ не сегодня, такъ завтра—и все пойдетъ, какъ по маслу.

Хуже всего, по мнѣнію Балахнова, было то, что Окатовы готовятся дать балъ тотчасъ же послѣ бала Балаклеевыхъ. Вотъ этого-то бала онъ никакъ не могъ переварить. Онъ твердо былъ увѣренъ, что окатовскій балъ будетъ чѣмъ-то въ родѣ конгресса, на которомъ, весьма легко можетъ статься, рѣшится его собственная судьба, точно такъ же, какъ судьба всѣхъ его приверженцевъ. Прибытіе Бирюкова, Мясоитянова, Сербина, Крановича и другихъ не будетъ ли въ этомъ случаѣ безполезно? При всемъ томъ, духъ Аристарха Ѳедоровича былъ еще бодръ; великій человѣкъ все еще не терялъ надежды выйти побѣдителемъ изъ многотрудныхъ обстоятельствъ. Впрочемъ, Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ уже всѣ необходимыя распоряженія, чтобъ хоть сколько-нибудь предотвратить зло окатовскаго бала. Надлежало, во что бы то ни стало, задать балъ или празднество, которое заставило бы говорить весь городъ и затмило бы все видѣнное донынѣ въ Черноряжскѣ. Съ первыми слухами о праздникѣ Окатова, Аристархъ Ѳедоровичъ послалъ въ Ханскіе-Пруды письмо съ нарочнымъ. Въ письмѣ ясно значилось, что Лизавета Семеновна должна немедленно прибыть въ Черноряжскъ; вмѣсто объясненій, Аристархъ Ѳедоровичъ написалъ только: „Взять всѣ бальныя платья и также для визитовъ; перчатки и цвѣты найдешь въ Черноряжскѣ...“ Внизу, вмѣсто постскриптумъ, Аристархъ Ѳедоровичъ просилъ захватить всѣ бумаги, касающіяся женинаго и дѣтскаго имѣнія; „бумаги эти, писалъ онъ, необходимы для справокъ, касательно общаго положенія дѣлъ имѣнія въ Опекунскомъ Совѣтѣ“.

Вотъ и все. Аристарха Ѳедоровича бѣсило, слѣдовательно то только, что Окатовъ опередитъ его. „А впрочемъ, посмотримъ! думалъ онъ. — Постараемся пригнать такимъ образомъ, чтобъ задать балъ наканунѣ самыхъ выборовъ... Свѣжее впечатлѣніе всегда сильнѣе дѣйствуетъ...

Посмотримъ, гм! Да, посмотримъ!..“ Въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда Аристархъ Ѳедоровичъ, проникнутый насквозь такою утѣшительною мыслью, потиралъ себѣ руки, Сидоръ доложилъ, что пришелъ Иванъ, служившій когда-то у Карачаева, пришелъ вмѣстѣ съ Калиною, и оба просятъ позволенія повидаться съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ.

— Хорошо, скажи, чтобъ вошли, произнесъ Балахновъ, улыбаясь при мысли, что Иванъ и Калина, извѣщенные, по всѣмъ вѣроятностямъ, людьми Окатова о предстоящемъ балѣ, сообщатъ ему кой-какія подробности.—Скажи, чтобъ вошли, повторилъ онъ.

Минуту спустя, въ дверяхъ показалась веселая, добродушная физіономія карачаевскаго Ивана.

Онъ былъ во фракѣ; изъ-подъ его пестраго жилета, украшеннаго бронзовой цѣпочкой съ застежкою, изображавшею сердце, гордо выпучивалась туго-накрахмаленная манишка; въ лѣвой рукѣ его находилась шляпа, въ правой держалъ онъ свертокъ печатныхъ листовъ. Наружность Ивана отражала вообще довольство, достигшее высшихъ предѣловъ.

— Здравствуйте, сударь! сказалъ Иванъ, свободно раскланиваясь и почтительно закладывая за спину руку, вооруженную шляпой. — Осмѣлился, сударь, обезпокоить васъ своимъ поклономъ... все ли вы, сударь, въ добромъ здоровьи?..

— Спасибо, любезный, спасибо, вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, покачиваясь въ креслахъ. — Ну, а гдѣ жъ Калина?.. мнѣ сказывали, что и онъ пришелъ...

— Здѣсь, сударь... произнесъ хриплый голосъ въ сосѣдней комнатѣ, при чемъ изъ-за половинки двери показались фалды затрапезнаго казакина и исполинскіе, загнутые вверхъ носки сапогъ.

— Добро пожаловать, Калина Васильичъ! шутливымъ тономъ крикнулъ Балахновъ.—Дайте на себя взглянуть...

Калина медленно, словно нехотя, вошелъ въ кабинетъ, отвѣсилъ сухой поклонъ, сталъ у двери и мрачно нахмурилъ брови. Въ наружности горшковскаго живописца произошли значительныя перемѣны: брови его и волоса посѣдѣли совершенно; клюковный носъ его изсиза-бирюзоваго цвѣта перешелъ въ ярко-малиновый и принялъ издали такой видъ, какъ будто на него налѣпили листокъ краснаго маку.

— Здравствуй, старина! сказалъ Аристархъ Өедоровичъ, и вдругъ разразился смѣхомъ.

При этомъ глаза Калины исчезли окончательно подъ бровями.

— Здравія желаю, ваше благородіе! проговорилъ онъ самымъ недовольнымъ тономъ.

— Ну, что, какъ поживаешь?..

— Ничего, ваше благородіе, подхватилъ художникъ тѣмъ же обиженнымъ тономъ,—живемъ, слава Богу... чужого хлѣба не ѣдимъ!..

— Гдѣ же ты живешь? спросилъ Балахновъ.

— Я вездѣ найду мѣсто, потому что, ваше благородіе, я все могу сполнить, все могу, подтвердилъ Калина голосомъ язвительнаго укора.

— Калина Васильичъ живетъ, сударь, покуда у меня, сказалъ Иванъ. — Я, какъ полагаю, извѣстно вамъ изъ газетъ, открылъ здѣсь театръ... такъ вотъ Калина Васильичъ насчетъ, то-есть, кулисъ и декорацій... Всѣ эти дѣла у него на рукахъ... Хлопотъ, сударь, какъ вы изволите знать, много; безъ Калины Васильича мы не знали бы, что и дѣлать; здѣсь, сударь, не столица...

Калина расправилъ брови, развелъ руками и произнесъ словоохотливо:

— Извѣстно, что не столица... какая столица!.. поди-ка поищи... У насъ, сударь, живетъ также при труппѣ... тотъ, бишь... знаете, ваше благородіе...

— Кто такой? разсѣянно спросилъ Аристархъ Өедоровичъ.

— Нѣтъ, сударь, Калина Васильичъ хотѣлъ вамъ сказать насчетъ своей дочери... Изволите помнить, что̀ Палашкой-то звали? заговорилъ съ поспѣшностью Иванъ, толкая сзади Калину и давая ему знать глазами, что онъ чуть было не проболтался, — такъ и она, сударь, также находится при труппѣ, продолжалъ Иванъ съ увѣренностью,—покуда еще, конечно, ничего не дѣлаетъ, учится только; но, авось, Богъ дастъ, выучится, произойдетъ нашу науку, выпустимъ на сцену и станетъ доставать хлѣбъ старику своему... Сами изволите видѣть, человѣкъ ужъ въ лѣтахъ, не молодой, пора ему на покой! заключилъ Иванъ, указывая на Калину.

Калина стоялъ потупя голову и потиралъ ладонью глаза, въ которыхъ навертывались слезы.

— А дѣвчонка рѣзвая, славная такая, подхватилъ

Иванъ. — Ужъ на что, кажется, сударь, наше ремесло очень трудное, терпѣнія много надо, да и доброй воли также; а она старается; нечего сказать, дѣвочка славная!

Калина провелъ рукою по глазамъ и сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Ничего нѣтъ хорошаго! проговорилъ онъ, махнувъ рукою.—Какъ есть, ваше благородіе, хорошаго ничего въ ней нѣтъ... проку не вижу никакого!..

— Полно, Калина Васильичъ, возразилъ Иванъ,—говоришь ты, братецъ, противъ своей совѣсти!.. Вотъ вѣдь и Адольфъ Карлычъ говорилъ тебѣ то же самое...

— Какой это Адольфъ Карлычъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, начинавшій уже, повидимому, терять терпѣніе.

— А это, сударь, прежній мой товарищъ, изъ компаніи Вейнерта; можетъ быть, слышали по газетамъ? Его всѣ знаютъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ; любимецъ, можно сказать, всей публики!.. Первымъ силачомъ считается послѣ Карла Карлыча Рапо; на масленицу онъ уѣдетъ въ Москву, а до того времени, помня старую дружбу, нанялся у меня представлять Геркулеса; въ досужее время обучаетъ онъ кой-кого изъ ребятъ... вотъ также и дочь Калины Васильича... Да вотъ, сударь, не угодно ли вамъ взглянуть на афишу; я, признаться, затѣмъ и пришелъ... Надѣюсь, сударь, вы удостоите посѣтить наши представленія?.. Все здѣшнее дворянство у меня бываетъ!.. заключилъ Иванъ, поспѣшно развертывая афишу и подавая ее Аристарху Ѳедоровичу.

— Спасибо, любезный, спасибо! непремѣнно приду. Когда же у васъ представленія?.. я разумѣю въ какіе дни и часы?..

— Извольте прочесть... на афишѣ все сказано, произнесъ Иванъ, самодовольно выпрямляясь и разводя рукою.

Аристархъ Ѳедоровичъ кашлянулъ и прочелъ сквозь зубы:

„И. О. ИВАНОВЪ,

съ обществомъ, состоящимъ изъ восьми человѣкъ, въ теченіе октября мѣсяца будетъ имѣть честь дать:

Большія *чрезвычайныя* представленія

въ двухъ отдѣленіяхъ:

1 Отдѣленіе

(доселѣ здѣсь невиданное).

Африканско-индійско-сирійскія игры
(съ новыми декораціями).

1) Соперничество людей съ лягушками. 2) Испанскій столъ. 3) Желѣзныя руки представитъ знаменитый Адольфъ Мейеръ. 4) Помпейская колонна, представленная г. Ивановымъ. 5) Пирамида индійцевъ. 6) Прогулка съ пятью человѣками на двухъ плечахъ. 7) Мельница, представленная г. Ивановымъ.

2 Отдѣленіе
(доселѣ здѣсь невиданное).

Академія живыхъ картинъ и галлерея новыхъ и древнихъ образцовыхъ произведеній ваянія:

1) Гнѣвъ Геркулеса (антикъ) Г. А. Мейеръ и Ивановъ.
2) Грація (антикъ) Г-жа Глафира Пшеславская.
3) Божества Олимпа (антикъ): Юпитеръ (Г. Ивановъ), Аполлонъ (Г. Ардаліонъ П***), Венера (Г-жа Глафира Пшеславская...“

— Ба! да ужъ не жена ли твоя? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, отрывая глаза отъ афиши и устремляя ихъ на Ивана.

— Такъ точно-съ, отвѣчалъ Иванъ, который не могъ замѣтить насмѣшливой улыбки на лицѣ Аристарха Ѳедоровича, потому что во все время чтенія афиши держалъ голову кверху и самодовольно прищуривалъ глаза.

— Любопытно, очень любопытно. Ну, а что жъ я не вижу имени Калины?.. Неужто онъ не участвуетъ въ картинахъ и не представляетъ какого-нибудь антика? продолжалъ шутить Балахновъ.

— Чего-съ? произнесъ Калина, покачивая головой съ выраженіемъ укоризны.—Нѣтъ, ваше благородіе, старъ я сталъ для эвтакого дѣла... Э-эхъ! вотъ, примолвилъ онъ, постукивая себя по сѣдой головѣ, — семьдесятъ лѣтъ не помѣха, то-то же, ваше благородіе...

Калина хотѣлъ еще что-то примолвить, но махнулъ рукой и отвернулся къ двери съ такимъ видомъ, который ясно высказывалъ слѣдующую мысль: „Что говорить съ пустымъ человѣкомъ!“

— Непремѣнно приду! непремѣнно! вымолвилъ Балахновъ, кладя афишу на столъ.

— Сдѣлайте такое ваше одолженіе, сударь! подхватилъ Иванъ, раскланиваясь и разводя шляпой. — О насъ, сударь, писали во всѣхъ газетахъ, и всѣ господа, которые

были на нашихъ представленіяхъ, остались весьма довольны... Да вотъ, сударь, если вамъ будетъ угодно взглянуть сюда... присовокупилъ онъ, ставъ на одну ногу и развертывая на согнутомъ колѣнѣ другой печатный листъ,— это напечатано въ здѣшнихъ вѣдомостяхъ... извольте взглянуть...

— Хорошо, хорошо, я посмотрю послѣ... проговорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Вотъ ужъ, сударь, сдѣлайте милость, прочтите теперь... сдѣлайте такое ваше одолженіе!.. примолвилъ Иванъ убѣдительнымъ тономъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ умѣлъ, какъ ужъ извѣстно, извлекать выгоды изъ ничтожнѣйшихъ обстоятельствъ. Желая употребить съ пользою визитъ Ивана и Калины, онъ рѣшился подавить въ себѣ чувство нетерпѣнія и расположить къ себѣ гостей своихъ. Основываясь на этихъ данныхъ, онъ благосклонно взялъ поданный ему листъ и съ снисходительностью, свойственною въ такихъ случаяхъ, прочелъ вслухъ слѣдующую статейку:

„Нигдѣ не скучно видѣть необыкновенные феномены природы или искусства; но на конной площади, въ только что отстроенномъ театрѣ, и особенно при великолѣпіи декорацій, они принимаютъ характеръ болѣе величественный, болѣе привлекательный и, слѣдовательно, сильнѣе дѣйствуютъ на воображеніе и мысли зрителя даже самаго обыкновеннаго; словомъ: подвиги нашихъ Геркулесовъ, Иванова и Мейера въ Черноряжскѣ, увеселяютъ зрителей гораздо болѣе, нежели гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ; а тѣмъ изъ нихъ, которые при всякомъ удобномъ случаѣ пользуются еще запасомъ памяти, обогащенной классическимъ воспитаніемъ, сіи подвиги напоминаютъ въ Черноряжскѣ о немейскомъ подвигѣ Геркулеса-Иракла, одѣвшемъ мощныя рамена свои безсмертнымъ трофеемъ знаменитой побѣды, одержанной надъ лютѣйшимъ изъ владыкъ лѣсныхъ.

„Въ самомъ дѣлѣ, кажется, что силы нашихъ двухъ Иракловъ еще болѣе развились на свѣжемъ воздухѣ Черноряжска и что, подобно древнему Самисону, Ивановъ и Мейеръ могли бы, кажется, взнесть на нашу прирѣчную гору врата Газы.

„Привыкши удивляться собственно силѣ новыхъ нашихъ Иракловъ, ужъ смотришь равнодушнѣе на дѣйствіе ихъ мускуловъ; но все-таки невозможно надивиться тому,

какимъ образомъ члены этихъ силачей—съ виду довольно тщедушныхъ и малорослыхъ — не разлетятся вдребезги отъ тяжестей, которыя падаютъ на нихъ, какъ на вражескія батареи... Вотъ вопросъ, и физіологія этого вопроса была бы въ изъясненіи своихъ законовъ чрезвычайно любопытна для науки. По крайней мѣрѣ, любопытство нашей публики до сихъ поръ еще не слабѣетъ. Таковы преимущества людей и вещей, ознаменованныхъ печатью рѣдкости!"

— Славно! прекрасно! о-очень... очень хорошо! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ. — Непремѣнно пріѣду: это дѣйствительно достойно вниманія... да... непремѣнно пріѣду... Ну, кстати объ увеселеніяхъ, примолвилъ онъ, опрокидываясь въ кресло и закидывая одну ногу на другую,— нѣтъ ли у васъ, въ Черноряжскѣ, еще чего-нибудь?.. не готовятся ли, напримѣръ, какіе-нибудь праздники, обѣды?.. Вы, я чай, и особенно ты, Иванъ, должны были что-нибудь слышать?.. Ты, вѣдь, ходишь по всѣмъ домамъ съ афишками, долженъ, слѣдовательно, быть свѣдущъ насчетъ того, что̀ дѣлается въ городѣ... Разсказывай, любезный, разсказывай!..

— Много, сударь, всего готовится, добродушно отвѣчалъ Иванъ, — будутъ, какъ слышно, и балы, и обѣды... Много готовится всякаго веселья! Говорятъ, ни въ одномъ году не было такихъ приготовленій въ Черноряжскѣ... Вотъ вы, я чай, слышали: господа Балаклеевы задаютъ балъ—никакъ въ четвергъ, на будущей недѣлѣ...

— Знаю, знаю... торопливо проговорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Ну, а еще что?.. Мнѣ сказывали... Окатовъ?..

— Да-съ, и они также: говорятъ, балъ будетъ диковинный!.. Всю квартиру передѣлывали, даромъ что наемная; да вотъ, Калина Васильичъ вамъ лучше скажетъ, онъ тамъ былъ...

— Ба! зачѣмъ же понадобился Калина?

— Призывали кое-гдѣ подкрасить, кое-гдѣ вновь расписать потолокъ залы, отвѣчалъ Иванъ, подталкивая декоратора черноряжскаго театра.

— Ну, разсказывай, разсказывай, Калина Васильичъ! ласково произнесъ Балахновъ.

— Да что разсказывать, вымолвилъ Калина,—призывали да и все тутъ!.. я свое дѣло всегда могу сполнить, вотъ что! потому что я, ваше благородіе, все могу! арабескъ ли, другое что... все могу!.. подхватилъ онъ съ увѣренностью.

Но Аристархъ Өедоровичъ, зная по опыту, что Калина, попавъ разъ на эту тему, пойдетъ развивать ее до безконечности, снова обратился къ Ивану и осадилъ его вопросами.

— Однимъ словомъ сказать, балъ, сударь, будетъ на удивленье, — такъ всѣ говорятъ, повѣствовалъ Иванъ. — Вотъ теперь, сказываютъ, въ одномъ только у нихъ остановка...

— Въ чемъ же, въ чемъ? спросилъ Аристархъ Өедоровичъ, поворачиваясь въ своемъ креслѣ.

— Въ цвѣтахъ, сударь.

— Въ какихъ цвѣтахъ?

— Извѣстно, сударь, въ обыкновенныхъ; здѣсь, изволите ли видѣть, верстахъ въ пяти находятся оранжереи, которыя принадлежатъ графинѣ... имя не запомню... живетъ она за границей; господинъ Окатовъ отнесся къ управителю: не можетъ ли, то-есть, дать цвѣтовъ внаймы для бала; а управитель дорого очень проситъ, такъ у нихъ идутъ теперь переговоры...

При этомъ восторженная улыбка озарила лицо Аристарха Өедоровича и онъ поспѣшилъ отвернуться къ окну, чтобъ скрыть ее отъ своихъ собесѣдниковъ. Давъ себѣ слово послать немедленно или самому поѣхать къ управителю и порѣшить съ нимъ, во что бы ни стало, статью о цвѣтахъ — онъ осадилъ Ивана новыми вопросами въ отношеніи къ окатовскому балу.

— Ну, хорошо, любезный; спасибо тебѣ; спасибо и тебѣ, Калина, что навѣстилъ меня, сказалъ Аристархъ Өедоровичъ, когда любопытство его насытилось въ полной мѣрѣ. — Въ театръ я непремѣнно пріѣду... Ну, а теперь... теперь мнѣ покуда некогда, прощайте! заключилъ онъ, дѣлая выразительный жестъ рукою.

— Виноватъ, сударь, если я обезпокою васъ своею просьбою... проговорилъ Иванъ, снова приподымая колѣно и свертывая на немъ статью черноряжскихъ вѣдомостей.

— Что такое? спросилъ Аристархъ Өедоровичъ, обнаруживая на этотъ разъ явное нетерпѣніе.

— Я хотѣлъ, сударь, спросить у васъ о Павлѣ Петровичѣ... Вамъ, я полагаю, извѣстно, гдѣ они теперь находятся: здоровы ли они и въ какомъ живутъ положеніи?..

— Живетъ онъ у меня, покуда, въ Ханскихъ-Прудахъ, здоровъ, какъ быкъ... ну, что еще?

— Да ничего, сударь, покорно васъ благодарю; съ меня

и этого достаточно; знаю, по крайней мѣрѣ, что они здоровы и покойны... Признаться сказать, очень бы хотѣлось взглянуть на нихъ; да вотъ и жена моя, если вы изволите припомнить, Глафира, также о немъ вспоминаетъ... И то, сударь, сказать надо: трудно и забыть-то его...

— Ну, хорошо, хорошо! перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, — обо всемъ этомъ ты придешь поговорить завтра или въ другое утро; теперь мнѣ некогда, прощайте!.. примолвилъ онъ, вставая и выразительно указывая гостямъ на дверь временного кабинета.

Какъ только шаги Ивана и Калины замолкли, Аристархъ Ѳедоровичъ позвалъ Сидора и приказалъ ему немедленно съѣздить за управителемъ, о которомъ упомянулъ Иванъ.

— Если ему нельзя пріѣхать сей же часъ, сказалъ Балахновъ,—такъ передай ему отъ моего имени, чтобъ онъ оставилъ за мною цвѣты; что я согласенъ дать назначенныя имъ деньги и что завтра же утромъ пусть пріѣдетъ за задаткомъ... да смотри, не болтать; чтобъ никто не зналъ объ этомъ! заключилъ онъ строгимъ тономъ.

Остатокъ дня посвященъ былъ различнымъ планамъ и соображеніямъ. Въ числѣ новостей, сообщенныхъ Иваномъ, заключалось извѣстіе о томъ, что Солонеевъ и его богатый дядя, пріѣхавшіе ужъ въ Черноряжскъ, даютъ передъ выборами блистательный обѣдъ; это тоже не мало занимало Аристарха Ѳедоровича по той именно причинѣ, что и ему, слѣдовательно, представлялась теперь крайняя необходимость противопоставить обѣду Солонеева свой собственный обѣдъ. Иначе и быть не могло. На слѣдующее утро, статья о цвѣтахъ была окончательно рѣшена между управителемъ графини и Аристархомъ Ѳедоровичемъ, къ совершенному удовольствію обѣихъ сторонъ. Оставалось теперь заняться другими, не менѣе важными статьями—касательно предстоящаго бала и обѣда; надлежало переговорить заблаговременно съ мебельщиками, нанять повара, офиціантовъ, устроить такъ, если это возможно, чтобы скупить такое количество стеариновыхъ свѣчъ, которое могло бы поставить въ затруднительное положеніе Окатова, и проч., и проч. Аристархъ Ѳедоровичъ принялся дѣятельно за работу. Съ этого дня кабинетъ его представлялъ по утрамъ сборище купцовъ, лакеевъ и подрядчиковъ; всѣ, можно сказать, выходили отъ него очень довольными; каждый получалъ или задатокъ,

или на водку, съ тѣмъ, однакожъ, чтобъ не болтать лишняго. Въ продолженіе этого дѣятельнаго и вполнѣ заслуженнаго періода своей жизни, Аристархъ Өедоровичъ получилъ пригласительный билетъ на балъ къ Балаклеевымъ; но, занятый своими планами и соображеніями, онъ не обратилъ тогда на него особеннаго вниманія. Тревожное безпокойство, овладѣвшее Аристархомъ Өедоровичемъ въ первые дни пріѣзда его въ Черноряжскъ, было, повидимому, совершенно вытѣснено изъ сердца. Изрѣдка лишь, когда возвращался онъ домой и спрашивалъ: „Пріѣзжалъ ли кто-нибудь безъ меня?“ и когда Сидоръ отвѣчалъ: „Никто не бывалъ-съ!“—брови его хмурились и на лицѣ проступало неудовольствіе; но вообще это продолжалось недолго. Онъ питалъ твердую увѣренность, что какъ только пріѣдутъ его приверженцы, все пойдетъ какъ по маслу. Главный расчетъ его основывался на Лизаветѣ Семеновнѣ: вмѣстѣ съ ея появленіемъ и, особенно, послѣ того, какъ она объѣздитъ съ визитомъ черноряжскихъ барынь, общественное положеніе его приметъ, естественнымъ образомъ, самый благопріятный колоритъ. Въ ожиданіи этого счастливаго переворота, онъ послалъ въ Ханскіе-Пруды еще два письма, содержаніе которыхъ было равносильно содержанію первыхъ двухъ писемъ.

XVIII.

Аристархъ Өедоровичъ присутствуетъ на одномъ балѣ и выноситъ оттуда самое невыгодное мнѣніе въ отношеніи къ человѣчеству и касательно хозяевъ дома въ особенности.

Время, между тѣмъ, бѣжало, по своему обыкновенію, подъ гору, увлекая за собою дни, часы, минуты и секунды, съ такою быстротою, что Аристархъ Өедоровичъ пришелъ даже въ нѣкоторое изумленіе, когда насталъ, наконецъ, знаменитый четвергъ, долженствовавшій сдѣлаться еще знаменитѣе, благодаря балу Балаклеева. Это обстоятельство набросило нѣсколько капель холодной вод на разгоряченную голову великаго мужа. Онъ заперся в кабинетѣ, никого не приказалъ пускать и мысленно по грузился въ созерцаніе предстоящаго бала. Появлен Аристарха Өедоровича, безспорно, должно будетъ прои вести громадный эффектъ — это не подлежитъ сомнѣні

Главный вопросъ состоялъ, слѣдовательно, въ томъ только: какого рода будетъ этотъ эффектъ—благопріятный или неблагопріятный? Настоящія обстоятельства требовали, разумѣется, самаго благопріятнаго эффекта. Это было бы ясно грудному младенцу. Мало того, появленіе Аристарха Ѳедоровича долженствовало заронить искру стыда и раскаянія въ сердца враговъ его, заставить ихъ содрогнуться при мысли, какъ спрометчиво поступали они, идя постоянно наперекоръ возвышеннымъ стремленіямъ благороднаго Балахнова.

Сознавая всю важность такого предмета, Аристархъ Ѳедоровичъ принялся обдумывать каждое движеніе, каждый шагъ, каждое слово, которому суждено излиться изъ краснорѣчивыхъ устъ его. Затѣмъ, онъ обратилъ исключительное вниманіе на дамъ; зная, какимъ авторитетомъ пользуются нѣкоторыя изъ нихъ въ домашнемъ быту, онъ поспѣшилъ обогатить свой умъ запасомъ риторическихъ фигуръ и оборотовъ самаго обворожительнаго свойства. Фигуры эти заняли въ мозгу его совершенно особенное отдѣленіе, двери котораго предназначалось раскрывать однѣмъ только особамъ прекраснаго пола.

Часовъ въ десять вечера Аристархъ Ѳедоровичъ вышелъ изъ своего кабинета, вооруженный съ головы до ногъ, какъ Минерва. Наружная броня его, состоявшая изъ чернаго фрака, черныхъ панталонъ, высокаго, бѣлаго, непомѣрно туго накрахмаленнаго галстука и такого же жилета, казалась столько же надежною, сколько нравственное его вооруженіе.

Музыка гремѣла ужъ полнымъ оркестромъ, къ великому удовольствію танцоровъ и вящшему наслажденію уличной черни, которая мѣсила грязь подъ окнами балаклеевскаго дома, когда Аристархъ Ѳедоровичъ вступилъ въ большую залу.

То была пространная бѣлая комната, освѣщенная безчисленнымъ множествомъ свѣчъ (къ какому бы разряду ни принадлежали провинціальные балы, блестящее освѣщеніе играетъ всегда главную роль); въ дверяхъ, расположенныхъ направо и налѣво, открывались перспективы другихъ комнатъ, заставленныхъ ломберными столами и запруженныхъ посѣтителями. Но въ первую минуту Аристархъ Ѳедоровичъ ничего не могъ различить. Ослѣпительный блескъ огней, грохотъ оркестра и его собственное волненіе сильно къ тому способствовали. Ему показалось,

что онъ упалъ съ неизмѣримой высоты въ бушующее море кисейныхъ юбокъ, наколокъ, цвѣтовъ, локоновъ, фраковъ, завитковъ, батистовыхъ платковъ, лакированныхъ сапогъ и дамскихъ атласныхъ башмаковъ. Онъ поспѣшилъ, однакожъ, овладѣть собою и грудь его мгновенно приняла свою всегдашнюю величавую выпуклость. Первый предметъ, поразившій глаза Аристарха Ѳедоровича, былъ Солонеевъ, не дядя Солонеевъ, но племянникъ, заклятый врагъ его, танцовавшій съ хозяйкою дома. Госпожа Балаклеева принадлежала къ разряду такихъ дамъ, у которыхъ преждевременное развитіе стана и другихъ частей корпуса совершилось съ очевиднымъ ущербомъ для ногъ; лицо ея, пухлое и румяное, отличалось необыкновенною свѣжестью и веселостью; послѣднее обстоятельство приписывала она всегда своей беззаботной жизни и особенно тому, что не имѣла дѣтей; при этомъ мысль была та, разумѣется, что очень хорошо не имѣть дѣтей въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо скрывать настоящее число лѣтъ. Пораженный довольно непріятно первымъ впечатлѣніемъ, Аристархъ Ѳедоровичъ обратилъ глаза въ другую сторону; но второе впечатлѣніе было чуть ли еще не непріятнѣе перваго. Онъ увидѣлъ, что хорошенькая Анна Васильевна Кошкина танцовала съ хозяиномъ дома. Анна Васильевна (такъ, по крайней мѣрѣ, показалось Балахнову) кокетничала нестерпимымъ образомъ съ Балаклеевымъ; она поминутно наклоняла на бокъ голову съ тою очевидною цѣлью, чтобъ кавалеръ ея могъ любоваться ея шейкой; небрежно бросалась на стулъ, при чемъ маленькая ножка ея, обутая въ атласный башмачокъ, выглядывала какъ бы невзначай изъ-подъ платья; Анна Васильевна вызывала на лицѣ своемъ цѣлый рядъ очаровательныхъ улыбокъ, и черными, блестящими глазками окутывала своего танцора. Балаклеевъ вертѣлся, пыхтѣлъ, улыбался и не оставался минуты въ покоѣ; всему этому, какъ ясно замѣтилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, конечно, способствовала Анна Васильевна Кошкина. — „Со стороны Балаклеева плохая надежда... съ этой стороны почти все пропало!“ подумалъ Балахновъ, подавляя болѣзненное ощущеніе въ своемъ сердцѣ. Мысль эта укрѣпилась еще сильнѣе, когда Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ неподалеку Семена Семеновича Кошкина, который корчилъ свое лицо и дѣлалъ, помощью своихъ золотыхъ очковъ, телеграфическіе знаки женѣ, знаки (Аристархъ Ѳедоровичъ не сомнѣвался въ

этомъ), имѣвшіе цѣлью поощрить кокетство Анны Васильевны. Кошкинъ стоялъ, облокотившись на спинку стула, и, въ минуты свободныя отъ таинственной пантомимы, униженно нашептывалъ что-то на-ухо Софьѣ Алексѣевнѣ Окатовой, сидѣвшей на сосѣднемъ стулѣ. Гордый, величавый видъ Окатовой пробудилъ въ сердцѣ Аристарха Ѳедоровича сознаніе ничтожества собственной жены.—„Этой женщинѣ слѣдовало бы быть не Окатовой, а Балахновой“, подумалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, „а Балахнову слѣдовало бы имѣть женою не Лизавету Семеновну, а Софью Алексѣевну!“ Роскошныя плечи Окатовой, урожденной княжны Жирофле-Никитской, не удостоивали даже повертываться къ Кошкину и сохраняли неподвижность мрамора; движенія ея ограничивались помахиваніемъ пушистаго вѣера изъ страусовыхъ перьевъ съ зеркальцемъ посерединѣ; презрительная, надменная улыбка была на губахъ ея, когда она слушала Кошкина, и та же презрительная улыбка обращалась ко всему, что окружало ее. Вниманіе Аристарха Ѳедоровича удвоилось, когда Балаклеева, выбравъ свободную минуту, подошла къ Окатовой. Балаклеева наклоняется и шепчетъ ей что-то на-ухо. Семенъ Семеновичъ также наклонился и сказалъ, повидимому, что-то очень забавное, потому что обѣ дамы засмѣялись, при чемъ Балаклеева обвела глазами залу и сдѣлала какой-то предостерегательный знакъ. Аристархъ Ѳедоровичъ замѣтилъ тогда, что глаза Кошкина и обѣихъ дамъ стали медленно и какъ бы машинально обращаться въ его сторону. Онъ поспѣшилъ принять равнодушный видъ, не забывъ выпучить грудь и представить изъ всей своей фигуры образецъ благородства и привлекательной сановитости.

— Здравствуйте, мсьё Балахновъ, bonjour, или, лучше сказать: bon „souar“... чрезвычайно пріятно! послышалось неожиданно за его плечами. Но Аристархъ Ѳедоровичъ, узнавъ голосъ Бобохова, и зная, съ другой стороны, что его наблюдаютъ, не тронулся съ мѣста, не пошевелилъ волоскомъ, чтобъ не испортить впечатлѣнія, которое должна была пробуждать въ эту минуту его благородная наружность.

Онъ поневолѣ принужденъ былъ, однакожъ, поклониться выскочкѣ, когда безконечно-длинный бѣлый жилетъ и львиные бакенбарды Бобохова очутились передъ его глазами.

— Чрезвычайно пріятно... когда вы пріѣхали? заговорилъ Бобоховъ, прищуривая свои рысьи глазки.

— Недѣли полторы... отвѣчалъ Аристархъ Өедоровичъ, наводя уголъ глаза на ту часть залы, гдѣ сидѣла Окатова, и продолжая олицетворять неподвижный типъ благородства.

— А я пріѣхалъ всего только нынче утромъ, прямо изъ Москвы, подхватилъ Бобоховъ. — Ахъ, знаете, мсьё Балахновъ, я привезъ чрезвычайно непріятную новость: нашъ общій знакомый, мой другъ Чиндаласовъ, очень боленъ...

— Весьма сожалѣю, разсѣянно сказалъ Аристархъ Өедоровичъ, — ну, а не знаете ли вы что-нибудь о пріятеляхъ Чиндаласова: Сербинѣ и Крановичѣ? Скоро они пріѣдутъ сюда?.. Вѣдь они, какъ сказывалъ мнѣ Чиндаласовъ, собирались сюда на время выборовъ? примолвилъ онъ, обращая въ первый разъ глаза свои на выскочку.

— Помилуйте, какъ же мнѣ не знать этого! Сербинъ и Крановичъ задушевные мои пріятели... Я могу сказать вамъ положительно, что они отложили намѣреніе пріѣхать въ Черноряжскъ, оба остались въ Москвѣ и не отходятъ отъ Чиндаласова...

При этомъ извѣстіи, Аристархъ Өедоровичъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе, и лицо его утратило на минуту величаво-благородное выраженіе.—„Сербинъ и Крановичъ ускользнули изъ рукъ... еще двумя меньше!..“ подумалъ онъ.

— Я слышалъ... началъ опять Бобоховъ,—я слышалъ, мсьё Балахновъ, что вы на-дняхъ даете балъ?

Аристархъ Өедоровичъ вздрогнулъ, какъ будто его окатили ведромъ холодной воды.

— Балъ! я даю балъ! произнесъ онъ, стискивая вагенгеймовскіе зубы, чтобъ пріудержать восклицаніе изумленія, готовое вырваться изъ груди его, — да, дѣйствительно, я даю балъ; но кто жъ вамъ сказалъ объ этомъ? присовокупилъ онъ спокойнѣе.

— Помилуйте, всѣ говорятъ объ этомъ... весь городъ; я объѣздилъ нынче утромъ всѣ здѣшніе салоны—и вездѣ слышалъ о вашемъ балѣ.

Аристархъ Өедоровичъ ясно увидѣлъ, что купцы, порядчики и офиціанты, которымъ строго предписано держать языкъ за зубами, не сдержали своего обѣщанія и протрубили о его балѣ по всему Черноряжску. При этой мысли, негодованіе забушевало самымъ неистовымъ обр-

зомъ въ груди его. Но дѣлать было нѐчего; сказанное слово—не воробей, не поймаешь. Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшился вознаградить себя слухами о томъ, что говорилось, по крайней мѣрѣ, о будущемъ его балѣ; основываясь на этомъ, онъ обратился къ Бобохову и произнесъ слѣдующую предварительную рѣчь:

— Надѣюсь видѣть на этомъ балѣ сосѣда своего, Ивана Дормидоныча Бобохова?..

— Ахъ, помилуйте... чрезвычайно пріятно...

Аристархъ Ѳедоровичъ протянулъ собесѣднику руку и примолвилъ:

— Ну, что жъ, скажите, говорятъ о моемъ балѣ?..

Но, къ сожалѣнію, Аристархъ Ѳедоровичъ остался при своемъ вопросѣ. Въ самую эту минуту, кадриль кончилась и Бобоховъ побѣжалъ стремглавъ приглашать даму.

Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ отойти къ рѣзной жардиньеркѣ, уставленной цвѣтами, отчасти для того, чтобъ дать мѣсто дамамъ, но преимущественно съ тою цѣлью, чтобъ занять выгодное мѣсто и рельефнѣе выставить свою фигуру. Замѣтивъ, что хозяйка дома направлялась въ его сторону, онъ закинулъ правую руку за спину, граціозно перегнулъ корпусъ и, уткнувъ свой носъ въ кустъ левкоя, принялся вдыхать въ себя его запахъ съ видомъ страстнаго любителя цвѣтовъ.

Когда госпожа Балаклеева была уже въ трехъ шагахъ, Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ очаровательный жестъ пріятнаго изумленія и поклонился; при этомъ ясно, однакожъ, значилось, что поклонъ этотъ не имѣлъ ровно никакого отношенія къ Солонееву, который поддерживалъ руку Балаклеевой. Но Солонеевъ не замѣтилъ этого маневра, потому что самъ глядѣлъ совершенно въ противоположную сторону.

— Вы, кажется, очень любите цвѣты, мсьё Балахновъ?.. сказала госпожа Балаклеева такимъ безцеремонно-выразительнымъ тономъ, который ясно показалъ Аристарху Ѳедоровичу, что Балаклеева намекала ему на цвѣты, такъ ловко перехваченные имъ у Окатовыхъ.

Буря негодованія закипѣла въ груди горшковскаго дипломата, но, со всѣмъ тѣмъ, лицо его осталось такъ же прекрасно и спокойно, какъ гладкая поверхность моря, облитая лучами заходящаго солнца.

— Можно ли не любить цвѣтовъ? сударыня, сказалъ онъ съ выраженіемъ любезности, какою могъ только рас-

полагать,—цвѣты—это, такъ сказать, эмблема женщины! добавилъ онъ съ граціознымъ наклоненіемъ головы.

Разговоръ, поддержанный такъ удачно Аристархомъ Ѳедоровичемъ, принялъ бы, конечно, болѣе широкіе размѣры, если бъ не помѣшала этому Софья Алексѣевна Окатова; въ ту минуту, какъ Балахновъ дѣлалъ напряженіе, чтобъ приподнять шлюзы того мозгового закоулка, гдѣ хранились риторическія фигуры, Софья Алексѣевна очутилась между нимъ и Балаклеевой; поровнявшись съ Балахновымъ, она повернулась къ нему спиною и, величественно размахивая своимъ страусовымъ вѣеромъ, прошла мимо, какъ будто вовсе не замѣтила его присутствія, какъ будто Аристарха Ѳедоровича вовсе и не было на свѣтѣ. Сдѣлавъ два-три шага, она повернула назадъ голову и подала дружелюбный знакъ Солонееву, который тотчасъ же послѣдовалъ за нею, увлекая хозяйку дома. Аристархъ Ѳедоровичъ ясно различилъ тогда, въ толпѣ, черный, лоснящійся паричокъ Кошкина; Семенъ Семеновичъ не замедлилъ очутиться между вѣеромъ Окатовой и цвѣтущимъ лицомъ Балаклеевой.

Аристархъ Ѳедоровичъ почувствовалъ досаду, какой, вѣрно, не испытывалъ еще ни одинъ смертный отъ сотворенія міра.

— Bon soir, cher мсьё Балахновъ! неожиданно воскликнулъ хозяинъ дома, останавливаясь передъ гостемъ,— comment vous... ah! pardon! pardon! заговорилъ онъ, снова проносясь молніею мимо Аристарха Ѳедоровича, и покатилъ, какъ кубарь, по направленію Анны Васильевны Кошкиной, которая показалась въ дверяхъ залы.

Патентованные зубы Аристарха Ѳедоровича невольно притиснули нижнюю губу и каблукъ праваго сапога его оставилъ неизгладимый знакъ на дубовомъ паркетѣ залы: сухой хряскъ, раздавшійся въ то же время за спиною знаменитаго мужа, возвѣстилъ краснорѣчиво, что новая шляпа его послужила главнымъ проводникомъ электрическому сотрясенію. Эффектъ, на который такъ разсчитывалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, былъ потерянъ. Никто не обращалъ на него малѣйшаго вниманія. Противъ истины горестнаго факта не могло быть возраженія. Аристархъ Ѳедоровичъ ошалѣлъ совершенно, если смѣемъ привести такое грубое слово для выраженія того душевнаго состоянія, въ которое повергло великаго человѣка поведеніе Балаклеева, Окатовой и прочихъ.

Оркестръ между тѣмъ заигралъ новую кадриль; танцовавшіе заняли свои мѣста; все вокругъ задвигалось, засуетилось и кисейныя платья снова заволновались, какъ пестрое море.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ, успѣвшій уже овладѣть собою, мало обращалъ теперь вниманія на поверхностные предметы внѣшняго міра. Онъ уже вдумывался въ мірскую суету, вдумывался въ сложные вопросы, касательно мелочности человѣческаго общества; вдумывался еще сильнѣе въ ограниченность и страшное ничтожество нѣкоторыхъ лицъ, вертѣвшихся теперь передъ нимъ, какъ куклы. Все въ немъ, какъ нельзя яснѣе, подтверждало, что въ настоящую минуту онъ дѣйствительно питалъ глубокое презрѣніе ко всѣмъ этимъ людямъ. Философскія истины, развиваемыя по этому поводу въ дипломатической головѣ Балахнова, не замедлили оправдаться новыми фактами и— странное дѣло! надо же, чтобъ это случилось въ ту самую минуту, можетъ статься, когда Аристархъ Ѳедоровичъ, снова переполненный сознаніемъ своего превосходства, задумалъ ужъ протянуть руку ничтожному человѣчеству и примириться съ жалкою, но, увы! существующею дѣйствительностью!

Вотъ какъ это было:

Наступилъ промежутокъ между танцами; Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ шагъ впередъ, чтобъ завязать разговоръ съ хозяйкою дома, какъ вдругъ въ дверяхъ залы показались два молодые человѣка, которые мгновенно приковали вниманіе Балаклеевой, а за нею и вниманіе всѣхъ присутствовавшихъ. Одинъ изъ нихъ былъ какой-то графъ, какъ оказалось тотчасъ же изъ сосѣдняго шопота; другой былъ князь. Оба только что пріѣхали изъ Петербурга и, узнавъ о балѣ, поспѣшили представиться Балаклеевымъ, съ которыми были еще прежде знакомы.

Аристархъ Ѳедоровичъ, затушеванный такимъ неумѣстнымъ появленіемъ, подавилъ, однакожъ, досаду и, пробравшись сквозь толпу, занялъ выгодное мѣсто.

Хозяйка дома, поспѣшившая навстрѣчу пріѣзжимъ, была въ восторгѣ; хозяинъ дома забылъ, повидимому, на этотъ разъ Анну Васильевну Кошкину и радостно пожималъ руки новымъ гостямъ.

При этомъ, каблукъ Аристарха Ѳедоровича сдѣлалъ новый знакъ на паркетѣ и шляпа его получила новое, значительное углубленіе на самой макушкѣ.

— Вы не танцуете? спросила по-французски госпожа Балаклеева, обращаясь къ графу.

— Mille pardons, m'ame... я даже пригласилъ даму; къ сожалѣнію, всѣ дамы ангажированы до девятой кадрили, отвѣчалъ графъ.

— А вы, князь? спросила госпожа Балаклеева, обращаясь къ другому гостю.

— Mille pardons, m'ame... къ сожалѣнію, меня постигла участь графа; я точно такъ же не могу танцовать раньше девятой кадрили...

— Ахъ, Боже мой, да это предосадно! воскликнула Балаклеева, — впрочемъ, все это можно исправить... attendez...

Тутъ госпожа Балаклеева выступила на середину залы, оглянулась направо и налѣво и, обращаясь къ группамъ танцоровъ, сказала съ любезною непринужденностью:

— Messieurs et mesdames, мы только что танцовали третью кадриль... будемте танцовать теперь девятую, а потомъ опять четвертую, пятую и т. д. n'est ce pas?.. Eh bien c'est accordé! заключила она, подходя къ двумъ молодымъ людямъ и протягивая имъ руки.

Балаклеевъ поспѣшилъ дать знакъ музыкантамъ; оркестръ заигралъ девятую кадриль вмѣсто четвертой; танцоры заняли свои мѣста, и вскорѣ графъ и князь заколыхались между остальными танцорами.

Аристархъ Ѳедоровичъ былъ сраженъ вниманіемъ и предпочтеніемъ, какія оказывались двумъ молодымъ людямъ; его окончательно скомканная шляпа доказывала теперь ясно, что презрѣніе къ человѣческому роду укрѣпилось въ немъ навсегда.

Скрестивъ на груди руки, выставивъ немного правую ногу впередъ, онъ глядѣлъ на вертѣвшуюся, прыгавшую толпу и невольно напоминалъ своею фигурой ту странную литографію, гдѣ, между двумя плакучими березами, изображена тѣнь Наполеона, задумчиво созерцающая собственную свою гробницу.

Но такова была энергія и твердость этого истинно достойнаго мужа, что онъ и тутъ-таки находилъ случай занимать самыя выгодныя мѣста залы. Каждый разъ, какъ оркестръ умолкалъ и наступали промежутки, онъ становился всегда между графомъ и княземъ; неимовѣрно выпучивъ грудь и горделиво закинувъ голову, онъ думалъ завладѣть хоть приступомъ всеобщимъ вниманіемъ. Но

старанія Аристарха Өедоровича не имѣли ни малѣйшаго успѣха.

Всеобщее вниманіе все-таки исключительно устремлялось на двухъ молодыхъ людей, и взоры присутствовавшихъ перебѣгали отъ одного къ другому, какъ будто между ними находилось совершенно пустое пространство.

Потерявъ, наконецъ, всякое терпѣніе, Аристархъ Өедоровичъ направился въ смежныя комнаты, но съ этой стороны... нѣтъ, я не могу продолжать... рука измѣняетъ мнѣ... Кто опишетъ его ужасъ, когда увидѣлъ онъ въ дверяхъ двухъ лютѣйшихъ враговъ своихъ, Окатова и дядю Солонеева, которые дружелюбно разговаривали, держа другъ друга подъ-руку.

Какъ! Аристархъ Өедоровичъ глазамъ не вѣрилъ: какъ! Окатовъ и Солонеевъ помирились! Помирились эти два бывшіе когда-то врага, и помирились въ такое время... Все кончено! подумалъ дипломатъ, враги торжествуютъ! тутъ ужъ не поможетъ Бирюковъ.

Къ такому горестному заключенію привели его возмутительныя событія нынѣшняго вечера.

Какъ нѣкогда ярко горѣвшій свѣтильникъ, который уже потухаетъ, но передъ тѣмъ трещитъ и лучезарно вспыхиваетъ, Аристархъ Өедоровичъ выпучилъ грудь и гордо поднялъ голову... Напрасно, однакожъ, бодрился великій мужъ изъ Горшкова; духъ его видимо ужъ сокрушился. Чувствуя приближеніе рокового кризиса, Аристархъ Өедоровичъ поспѣшилъ оставить домъ Балаклеевыхъ. Свѣжій воздухъ морозной осенней ночи произвелъ благодѣтельное дѣйствіе на разгоряченный организмъ владѣтеля Ханскихъ-Прудовъ. Буря, клокотавшая въ груди его, уступила, мало-по-малу, мѣсто кроткой меланхоліи. Такъ всегда бывало съ Аристархомъ Өедоровичемъ. Вернувшись домой, онъ заперся въ своемъ кабинетѣ, опустился въ кресло, подперся локтемъ правой руки, и съ этой минуты грустное, сосредоточенное раздумье окончательно овладѣло его мозгомъ.

— За что все это? за что?.. Что я имъ сдѣлалъ? воскликнулъ наконецъ Аристархъ Өедоровичъ, поднявъ неожиданно голову и воздѣвъ руки къ потолку, съ выраженіемъ истинной глубокой скорби.

Такой порывъ былъ, однакожъ, не продолжителенъ.

Духъ смиренія снова овладѣлъ нашимъ героемъ. Онъ опустилъ голову на локоть, медленно придвинулъ къ себѣ

знаменитую записную книжку и, обмакнувъ перо, начерталъ нетвердою рукой слѣдующія слова:

„Если люди отказываютъ въ справедливомъ возмездіи за добродѣтели ваши, то не ропщите, но утѣшайте себя цѣлительною мыслью, что вы заслужили оное!“

Послѣ этого Аристархъ Ѳедоровичъ значительно успокоился. Со всѣмъ тѣмъ онъ долго еще не могъ сомкнуть глазъ. Сонъ овладѣлъ имъ тогда лишь, когда послѣдніе звуки каретъ, развозившихъ гостей Балаклеева, окончательно замолкли въ опустѣлыхъ улицахъ Черноряжска.

XIX.

Подвиги черноряжскаго Геркулеса-Иракла приводятъ въ неописанный восторгъ одного изъ героевъ этой исторіи, тогда какъ другой герой обнаруживаетъ къ нимъ совершеннѣйшее равнодушіе. Самоотверженіе стариннаго друга.

Сонъ Аристарха Ѳедоровича былъ очень тревоженъ. Звукъ экипажей, давно уже смолкнувшій, не переставалъ раздаваться въ ушахъ его во все продолженіе этой длинной, мучительной ночи. Безалаберныя, фантастическія грёзы осаждали поминутно его дипломатическій мозгъ. То казалось ему, что онъ снова присутствуетъ на балаклеевскомъ балѣ: Аристархъ Ѳедоровичъ съ изумленіемъ видитъ, какъ Нилъ Степановичъ Лукьяновъ завладѣлъ теперь возвышеніемъ, предназначеннымъ для оркестра. „Что это значитъ?“ спрашиваетъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—„Значитъ то, мой почтеннѣйшій и премногоуважаемый Аристархъ Ѳедоровичъ, что людская клевета и ядовитая шипящая злоба мѣшали отдавать вамъ должную справедливость!“ торжественно говоритъ Лукьяновъ. „Ахъ, Боже мой! нѣтъ, мы никакъ не допустимъ, чтобъ вы, Аристархъ Ѳедорычъ, стали дожидаться послѣ этого девятой кадрили!“ восклицаетъ госпожа Балаклеева. Господинъ Балаклеевъ, который, неизвѣстно почему, сталъ вдругъ худощавъ и тощъ какъ флейта, даетъ знакъ Нилу Степановичу. Нилъ Степановичъ стучитъ по животу, расписанному наподобіе турецкаго барабана, бренчитъ пальцами по губамъ, и Аристархъ Ѳедоровичъ танцуетъ девятую кадриль съ Кошкиной. „Повѣрьте, мсьё Балахновъ, я никогда не прощу себѣ свое заблужденіе, говоритъ

очаровательнымъ голосомъ Анна Васильевна, — съ этой минуты, я и мужъ мой...“ Но тутъ голосъ Кошкиной начинаетъ слабѣть, наколка изъ цвѣтовъ на головѣ ея принимаетъ видъ бѣлой косынки, а сама она превращается въ Фіону Ивановну. „Зачѣмъ ты здѣсь?“ спрашиваетъ Аристархъ Ѳедоровичъ, нахмуривая брови и бросая грозный взглядъ на экономку. Фіона Ивановна дѣлаетъ очевидныя усилія, чтобъ принести свое оправданіе, но вареная въ молокѣ фига, которую носитъ она постоянно за щекою для смягченія флюса, мѣшаетъ ей пошевелить языкомъ. Аристархъ Ѳедоровичъ быстро удаляется, но глаза его повсюду встрѣчаютъ плюшевые жилеты изумруднаго цвѣта, наподобіе того, какой видѣлъ онъ въ Москвѣ у Чиндаласова. То чудилось ему, что онъ находится въ ночное время посреди необъятнаго глухого пустыря. Страшные раскаты грома не умолкаютъ ни на минуту; дождь льетъ ливнемъ, вѣтеръ только что снесъ его шляпу и яростно играетъ полами его сюртука. Мало-по-малу, въ отдаленіи начинаетъ показываться какое-то бѣлое пятно... ближе, ближе, и вдругъ, посреди пустыря, возникаетъ домъ Окатовыхъ. На балконѣ появляется Софья Алексѣевна съ своимъ страусовымъ вѣеромъ, украшеннымъ круглымъ зеркальцемъ. Аристархъ Ѳедоровичъ видитъ себя цѣликомъ въ томъ маленькомъ зеркалѣ и начинаетъ съ безпокойствомъ ощупывать свою грудь и голову, желая убѣдиться, занимаетъ ли онъ въ дѣйствительности такое маленькое мѣсто на землѣ. Но ужъ на балконѣ показались Кошкинъ, Окатовъ, Солонеевъ-дядя и Солонеевъ-племянникъ; всѣ они указываютъ пальцемъ на Аристарха Ѳедоровича и разражаются единодушнымъ хохотомъ; хохотъ этотъ тотчасъ же объясняетъ Балахнову причину грома, слышаннаго имъ за минуту. Аристархъ Ѳедоровичъ свирѣпо скрежещетъ натептованными зубами—и все исчезаетъ, за исключеніемъ зеркальца, въ которомъ долго еще видитъ онъ свое изображеніе въ самомъ уменьшенномъ видѣ. Потомъ Аристархъ Ѳедоровичъ ясно слышитъ, какъ скрипнула дверь временного его кабинета. „Кто тамъ?“ спрашиваетъ онъ. Нѣтъ отвѣта, но дверь продолжаетъ между тѣмъ скрипѣть; слухъ его различаетъ шарканье и стукъ нѣсколькихъ сапогъ. Онъ дѣлаетъ неимовѣрное напряженіе, чтобъ привстать съ постели, но напрасно: члены не повинуются ему, и только послѣ многихъ усилій удается ему раскрыть глаза. Кровь

застываетъ въ жилахъ Аристарха Ѳедоровича. Онъ видитъ, какъ въ двери кабинета вошли, одинъ за другимъ, Кошкинъ, Окатовъ и оба Солонеева. „Тссс... господа", говоритъ Кошкинъ, прикладывая указательный палецъ къ губамъ и таинственно прищуривая лѣвымъ глазомъ,— „мы застаемъ его теперь въ самую благопріятную минуту... не будите его!.."—„Ну, вотъ, очень нужно съ нимъ церемониться!" восклицаетъ дядя Солонеева,—„уничтожить его, такъ уничтожить!"—„Конечно, уничтожать, такъ уничтожать!" мужественно подтвердилъ Окатовъ. „Но куда-жъ мы его дѣнемъ?"—„Ничего нѣтъ проще, господа", подалъ голосъ Солонеевъ-племянникъ, — „мы спрячемъ его въ ту долину, гдѣ, помните, построилъ онъ скотный дворъ: тамъ нѣкогда стоялъ домъ моихъ предковъ!"—„Нѣтъ, господа, не согласенъ!" запищалъ Кошкинъ, потрясая чернымъ, лоснящимся парикомъ,—„я былъ его другомъ и, помнится даже, говорилъ рѣчь въ день его рожденія... изъ этого ясно слѣдуетъ, что, прежде чѣмъ уничтожу его, я долженъ выкурить трубку..."— „Прекрасно! прекрасно... и знаете ли что? мы закуримъ трубку его волосянымъ галстукомъ!!.."—„Нѣтъ, господа, опять не согласенъ", подхватилъ Кошкинъ,—„отъ галстука произойдетъ чадъ, а вотъ мы закуримъ трубку его записной книжкой, вотъ она штука-то въ чемъ!"—„Вотъ она штука-то въ чемъ!" повторили въ одинъ голосъ всѣ присутствовавшіе. — „Да, вотъ она штука-то въ чемъ!" закричалъ громче всѣхъ Карачаевъ,—„мнѣ какое дѣло, что онъ спитъ! Пора вставать! Скоро одиннадцать часовъ!"

Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ сверхъестественное усиліе, приподнялся на кровати, протеръ глаза — и проснулся.

Карачаевъ дѣйствительно расхаживалъ взадъ и впередъ по кабинету, пуская направо и налѣво длинныя струи дыма изъ своего коротенькаго чубука. Нанковый казакинъ его, перетянутый ременнымъ поясомъ, ветхіе мокрые сапоги, всклоченные волосы, измятое, багровое лицо — ясно свидѣтельствовали, что онъ только что совершилъ далекое путешествіе на открытомъ, холодномъ воздухѣ. Сидоръ стоялъ въ дверяхъ и шопотомъ упрашивалъ Павла Петровича не безпокоить барина.

— Карачаевъ!.. Какими судьбами?!.. ну, что жена?.. гдѣ она, гдѣ?!.. Когда пріѣдетъ?..

Такими вопросами разразился Аристархъ Ѳедоровичъ,

какъ только получилъ ясное сознаніе, что все видѣнное и слышанное имъ происходило не на-яву.

— Здравствуй, душа моя! сказалъ Карачаевъ, мгновенно опуская чубукъ и подходя къ постели

— Гдѣ Лизавета Семеновна?.. скоро ли она сюда пріѣдетъ? повторилъ Балахновъ, выказывая признаки сильнѣйшаго нетерпѣнія.

Вопросъ этотъ, очевидно, поставилъ Карачаева въ сильное затрудненіе. Онъ заморгалъ глазами, побагровѣлъ и суетливо пригладилъ свои рѣденькіе волосы.

— Не знаю, душа моя... не могу тебѣ сказать, когда она пріѣдетъ... отвѣчалъ онъ, стараясь придать своему голосу какъ можно больше увѣренности.

— Какъ! такъ ты, стало-быть, не изъ Ханскихъ-Прудовъ? воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выражая досаду въ каждой чертѣ своего лица.

— Нѣтъ, душа моя... вотъ ужъ недѣли полторы, какъ я слоняюсь по уѣзду... были, братъ, кой-какія дѣла... довершилъ Карачаевъ съ самымъ неловкимъ видомъ.

— Такъ ты, стало-быть, ничего не знаешь о томъ, получила ли жена мои письма?

— Нѣтъ, при мнѣ не получала она никакихъ писемъ... впрочемъ, я говорю тебѣ, душа моя, что вотъ уже полторы недѣли, какъ я не былъ въ Ханскихъ-Прудахъ, поспѣшно присовокупилъ Карачаевъ, принимаясь тереть лицо ладонью, чтобъ скрыть свое замѣшательство.

Туръ онъ отвернулся, подбѣжалъ къ окну и сталъ съ поспѣшностью набивать трубку.

— Хорошъ, любезнѣйшій, нечего сказать! вымолвилъ Балахновъ недовольнымъ тономъ,—сказалъ, что не оставишь ни на минуту моего дома, что будешь неотлучно находиться при женѣ, а между тѣмъ не успѣлъ я уѣхать, какъ ужъ пошелъ рыскать по уѣзду—хорошъ другъ, нечего сказать! Можно послѣ этого въ чемъ-нибудь на тебя положиться!..

— Помилуй, душа моя, Aristarque! écouté: клянусь честью, нельзя было сдѣлать иначе! воскликнулъ Карачаевъ, подбѣгая къ постели.—Ты знаешь, что никто такъ не любитъ и не уважаетъ Лизавету Семеновну, какъ я! Ужъ на этотъ счетъ, братъ... какъ такъ себѣ хочешь!.. Впрочемъ, всѣ, слава Богу, здоровы; успокойся, душа моя, всѣ здоровы, и дѣтки, и сама Лизавета Семеновна... я за всѣмъ, братъ, самъ наблюдалъ... можешь быть увѣренъ!

подхватилъ онъ, обтирая одною рукой потъ, струившійся по лицу, тогда какъ другая рука горячо пожимала руку собесѣдника.

— Хорошо, хорошо, любезнѣйшій! ты, видно, такъ же, какъ и другіе, хорошъ только на словахъ... произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, махнувъ рукой.

— Фу! да тебѣ вѣдь говорятъ... запальчиво воскликнулъ Карачаевъ.

— Ладно, братъ, ладно! перебилъ Балахновъ, напяливая халатъ. — Ну, да что объ этомъ говорить! Скажи-ка лучше, не слыхалъ ли чего-нибудь о Бирюковѣ?

— Нѣтъ, братецъ, ничего не слыхалъ; я былъ совершенно въ другомъ концѣ уѣзда! Съ этой стороны, братъ, я могу сообщить тебѣ печальную новость!

— Что жъ такое? произнесъ Балахновъ, обнаруживая безпокойство.

— Да то, братецъ, что эта бѣдная Василькова приказала долго жить! сказалъ Карачаевъ, закрывая глаза и опуская голову.

— Да, ну, это, конечно... пробормоталъ Аристархъ Ѳедоровичъ, мгновенно расправляя брови.

— Конечно, братъ, тебѣ это все равно... ты, вѣдь, братецъ... извѣстно... ну, да что объ этомъ!.. выразительно сказалъ Карачаевъ.—Я сообщилъ это извѣстіе единственно для того, чтобъ объяснить тебѣ причину моего отсутствія изъ Ханскихъ-Прудовъ; надо же было кому-нибудь устроить похороны и наблюдать за тѣмъ, чтобъ все это произошло какъ слѣдуетъ... Фанагорія Петровна въ Москвѣ; этотъ зюзя Васильковъ раскисъ совсѣмъ... Ну, я и поѣхалъ... больше вѣдь некому!..

— Такая заботливость, конечно, дѣлаетъ тебѣ величайшую честь! разсѣянно сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Ну, вотъ, братецъ, честь! ужъ и честь! Что жъ такое?.. просто: такъ себѣ! Надо же было кому-нибудь распорядиться... Я зналъ Антонину Васильевну, жалѣлъ о ней... ну, понимаешь, я и поѣхалъ... пробормоталъ Карачаевъ, моргая глазами и разводя толстыми своими пальцами.

— Какъ ты себѣ тамъ хочешь, а это все-таки дѣлаетъ тебѣ честь, продолжалъ Балахновъ, подходя къ письменному столу и опускаясь въ кресло. — Во всемъ этомъ одно только обстоятельство кажется мнѣ довольно страннымъ...

— Что жъ такое? спросилъ Карачаевъ, тревожно двигая бровями.

Смущеніе Карачаева начинало даже забавлять Аристарха Ѳедоровича. Карачаевъ, очевидно, совѣстился, что, вопреки обѣщанію не покидать Лизавету Семеновну во все время отсутствія Аристарха Ѳедоровича, не переставалъ рыскать по уѣзду! Аристархъ Ѳедоровичъ не сомнѣвался въ вѣрности своей догадки. „Жалкій, но добрый и честный парень, снисходительно подумалъ Балахновъ,— смущеніе и совѣстливость дѣлаютъ въ этомъ случаѣ величайшую честь его сердцу“. Такое размышленіе не мѣшало ему, однакожъ, засыпать Карачаева вопросами, ставить его въ затруднительное положеніе. Аристархъ Ѳедоровичъ находился въ это утро въ желчномъ настроеніи духа.

— Вотъ видишь ли, братецъ, похороны, сколько мнѣ извѣстно, могутъ занять два дня, ну, положимъ, три, но ужъ никакъ не болѣе, продолжалъ Балахновъ, — желательно было бы знать, безцѣннѣйшій мой Павелъ Петровичъ, гдѣ вы провели остальное время?..

— Че-е-во? произнесъ Карачаевъ, багровѣя какъ клюква и сильно потирая лысину.

— Ты забылъ, вѣроятно, что остается еще цѣлыхъ восемь или девять дней...

— Да ты скажи мнѣ одно только, запальчиво крикнулъ Карачаевъ,—что ты за допросчикъ такой? Я развѣ обязанъ отдавать тебѣ отчетъ въ своемъ поведеніи? а?.. Впрочемъ, если ты непремѣнно хочешь знать... и особенно, если это доставляетъ тебѣ удовольствіе, изволь, я скажу тебѣ... подхватилъ онъ, мгновенно смягчая голосъ, между тѣмъ, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ корчилъ презрительную улыбку.—Изволь, я скажу тебѣ: я былъ все это время у Барабанчикова... Нелегкая опять угораздила его свалиться съ лошади и сломать себѣ ногу... Онъ при смерти... Не бросить же его такъ, на произволъ... я поскакалъ въ Горшковъ за докторомъ... Потомъ... извѣстно... извѣстно... то да се... ну, время, конечно, и прошло!.. Эхъ! да что толковать съ тобой о такихъ вещахъ! Ты, вѣдь, братецъ, извини, а извѣстно ужъ... Тебѣ все равно!.. для тебя все прахъ, меркантель! мелюзга!.. Оно, можетъ статься, и такъ по-вашему, да по-нашему не такъ,—вотъ она штука-то въ чемъ! Ну, и баста, значитъ! и говорить, значитъ, нечего! Покуримъ-ка, братецъ, трубочку... да écouté: вели-ка подать чаю, это будетъ лучше; съ дороги-то,

знаешь, оно не мѣшаетъ, страхъ продрогъ! Вѣдь нынче, самъ знаешь, не іюль мѣсяцъ! заключилъ Карачаевъ, очевидно, стараясь замять рѣчь касательно предшествовавшихъ обстоятельствъ.

Для полнѣйшаго достиженія такой цѣли, онъ подсѣлъ еще ближе къ Аристарху Ѳедоровичу и завязалъ разговоръ о предметахъ совершенно постороннихъ. Онъ принялся разспрашивать о текущихъ новостяхъ, освѣдомился мимоходомъ о днѣ, назначенномъ для выборовъ, передалъ впечатлѣнія свои при въѣздѣ въ Черноряжскъ и не умолкалъ ни на минуту во все продолженіе завтрака. Аристархъ Ѳедоровичъ, между тѣмъ, давно ужъ не слушалъ своего собесѣдника; онъ, повидимому, совсѣмъ даже забылъ о немъ; тяжелыя воспоминанія вчерашняго дня, возникая, мало-по-малу, въ головѣ его, вытѣснили минутную, раздражительную веселость. Повернувшись бокомъ къ Карачаеву, упершись локтемъ, онъ не отрывалъ задумчиваго взора отъ окна. Но чѣмъ мрачнѣе становилось лицо Аристарха Ѳедоровича, тѣмъ сильнѣе болталъ Карачаевъ. Изрѣдка останавливался онъ, обнаруживая желаніе вычистить или продуть трубку; но въ сущности останавливался онъ съ тою единственною цѣлью, чтобъ устремить на Аристарха Ѳедоровича пристальный, испытующій взглядъ; въ эти минуты каждый легко могъ прочесть въ глазахъ Карачаева чувство негодованія, которое мгновенно, впрочемъ, уступало мѣсто чувству истиннаго, задушевнаго, но тревожнаго участія. Ясно было въ эти минуты, что въ душѣ Карачаева хранилась какая-то тайна, которая имѣла прямое, но далеко не благопріятное отношеніе къ Аристарху Ѳедоровичу. Вотъ это-то послѣднее обстоятельство и заставило, можетъ статься, Карачаева такъ усердно заботиться о томъ, чтобъ разсѣять Аристарха Ѳедоровича. Перебравъ тощій запасъ веселыхъ анекдотовъ, Карачаевъ перешелъ къ прежнему своему Ивану, къ женѣ его Глафирѣ, мысленно перенесся въ черноряжскій театръ, изобразилъ двѣ-три комическія сцены изъ быта провинціальныхъ актеровъ, при чемъ залился звонкимъ дребезжащимъ смѣхомъ—все было напрасно: Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ глядѣть въ окно и съ каждой минутой становился мрачнѣе и мрачнѣе.

Карачаевъ замолкъ и принялся потирать свою лысину, при чемъ глаза его ни на минуту не покидали Аристарха Ѳедоровича.

Минутъ пять длилось молчаніе.

— Знаешь ли, что я скажу тебѣ, душа моя, началъ наконецъ Карачаевъ, придвигаясь вмѣстѣ со стуломъ къ собесѣднику. — Скажу тебѣ, что съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались послѣдній разъ, я замѣчаю въ тебѣ, братецъ, большую перемѣну! Худѣешь ты, что ли... или, можетъ статься, чувствовалъ себя несовсѣмъ здоровымъ во все это время, а только, братъ, какъ хочешь, я замѣчаю въ тебѣ страшную перемѣну... Именно, что-то такое, знаешь... какъ бы это сказать?.. Ну, словомъ, и тотъ ты, да не тотъ! заключилъ Карачаевъ, поясняя пальцами то, чего не могъ сказать языкомъ.

Вмѣсто отвѣта, Аристархъ Ѳедоровичъ повернулъ лицо въ другую сторону, приподнялся съ креселъ и, подавивъ вздохъ, началъ расхаживать по кабинету.

Минуты двѣ Карачаевъ слѣдилъ глазами за Балахновымъ, потомъ всталъ, забросилъ руки за спину и также началъ ходить по кабинету.

— Эхъ, э-эхъ, душа моя! неожиданно заговорилъ Карачаевъ, выравниваясь съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ и стараясь попасть съ нимъ въ ногу.—Эхъ, душа моя, охота тебѣ, право!.. Ну, что изъ этого? Ну, самъ ты посуди... Ecouté: я, конечно, не могу давать тебѣ совѣтовъ... я прошу только, послушай, душа моя, вникни, разсуди самъ хорошенько... ну что во всемъ этомъ!.. вѣдь это, братецъ ты мой, не что иное, какъ прахъ! дымъ! и больше ничего! примолвилъ онъ, выпустивъ облако табачнаго дыма и выразительно разрѣзавъ его ладонью.

Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе локтемъ и продолжалъ ходить по кабинету.

— Воля твоя, душа моя! заговорилъ опять Карачаевъ, останавливаясь и приподымая брови,—воля твоя, дѣлай, какъ знаешь! Совѣтовать тебѣ не могу. Мнѣ хотѣлось только, чтобъ ты вникнулъ, да, именно такъ: вникнулъ! Да вотъ чего же лучше, если ты мнѣ не вѣришь, самъ посмотрись въ зеркало! Я говорю это тебѣ по дружбѣ; подойди, взгляни на себя!.. Я готовъ отдать голову на отсѣченіе, готовъ держать какое угодно пари, что все это не спроста; вотъ она штука-то въ чемъ! Скрывайся, братъ, сколько хочешь, а я готовъ прозакладывать хоть сейчасъ послѣдній казакинъ, что всему этому причиной какія-нибудь непріятности!

— Какія непріятности?.. какія? гдѣ онѣ, эти непріят-

ности? вскричалъ Аристархъ Өедоровичъ, неожиданно останавливаясь и приподымая голову.

Тутъ Аристархъ Өедоровичъ окончательно повернулся къ Карачаеву и, приподнявъ сжатые кулаки, продолжалъ съ возраставшимъ бѣшенствомъ:

— А вотъ я задамъ балъ! задамъ обѣдъ! пріѣдетъ жена, пріѣдетъ Бирюковъ, соберутся остальные—такъ я имъ покажу, какія у меня непріятности! довершилъ Аристархъ Өедоровичъ, опуская кулаки и принимаясь снова маршировать по кабинету.

Карачаевъ не отвѣчалъ на это ни слова; но, выбравъ минуту, когда Аристархъ Өедоровичъ повернулся къ нему спиной, опустилъ голову, раздулъ губы и сдѣлалъ безнадежный жестъ рукою.

— Ты совсѣмъ не такъ меня понялъ, сказалъ онъ, когда Балахновъ обернулся къ нему лицомъ,—совсѣмъ не такъ, братецъ... Я хотѣлъ сказать, что ты принимаешь все это слишкомъ къ сердцу, и оттого такъ себя разстраиваешь... вотъ что! Не вѣришь—взгляни въ зеркало. Вотъ этимъ-то самымъ ты, братъ, и вредишь себѣ. Я увѣренъ, что всѣ замѣтили въ тебѣ такую перемѣну, и, что всего хуже, замѣтили тѣ именно, передъ которыми тебѣ слѣдуетъ быть молодцомъ! Право, такъ! Самъ знаешь, сейчасъ скажутъ: „Э-э-э!“—повѣрь мнѣ... На твоемъ бы мѣстѣ, я старался казаться веселѣе, молодцоватѣе, чѣмъ когда-нибудь, убѣдительно продолжалъ Карачаевъ, между тѣмъ, какъ Аристархъ Өедоровичъ покручивалъ головой, выпрямлялся, выпучивалъ грудь и приглаживалъ волосы,—конечно, такъ, душа моя, Aristarque, конечно, такъ: на-те, молъ, на зло же вамъ, радуйтесь! Я показывался бы всюду: на гуляньяхъ, на вечерахъ, въ собраніи... старался бы всячески себя разсѣять... а ты что? сидишь себѣ въ кабинетѣ, ломаешь себѣ голову и, право, écouté: только вредишь себѣ! Ну, вотъ хоть бы теперь! Ну, отчего бы, напримѣръ, не съѣздить тебѣ въ театръ?.. Вѣдь вонъ афишка-то, я ее видѣлъ; представленіе чудесное! Да не въ томъ вовсе сила; дѣло не въ представленіи! А такъ, пошелъ бы разсѣяться; и я пошелъ бы съ тобою для компаніи; повидался бы кстати съ Ванюшей; пошли бы, взяли билеты, сѣли бы, посмѣялись и на людей посмотрѣли—право, ну, душа моя, Aristarque!

Съ окончаніемъ этого монолога, Аристархъ Өедоровичъ

успѣлъ ужъ овладѣть собою; грудь его получила величавую выпуклость; голова гордо закидывалась назадъ.

— Все это прекрасно, любезнѣйшій, сказалъ онъ съ вельможественнымъ видомъ, — надѣюсь, однакожъ, что прежде чѣмъ идти въ театръ, ты перемѣнишь нѣсколько свой костюмъ!..

— Ха-ха-ха! восторженно залился Карачаевъ,—неужто ты думалъ, что я въ этомъ... нѣтъ, братъ, я взялъ съ собой фракъ... чай, онъ у меня тамъ въ чемоданчикѣ... Эй, Сидоръ!.. если нѣтъ, я самъ схожу... одѣвайся же, душа моя, скоро, вѣдь, часъ, и если идти, такъ идти, заключилъ онъ, суетливо направляясь къ двери.

Какъ ни былъ ничтоженъ Карачаевъ въ глазахъ Аристарха Ѳедоровича, однакожъ онъ рѣшился послѣдовать его совѣту и далъ себѣ слово показываться всюду съ сіяющимъ, торжествующимъ лицомъ передъ глазами враговъ своихъ.

Основываясь на этомъ, онъ приказалъ Сидору подавать одѣваться.

— Ну, вотъ я и готовъ, душа моя! сказалъ Карачаевъ, появляясь въ кабинетѣ и принимаясь дѣлать развязные жесты, при чемъ послышался тотъ легонькій трескъ, который сопровождалъ всегда Карачаева, когда онъ находился въ черномъ своемъ фракѣ.

— Мы пойдемъ пѣшкомъ, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Ну, и ладно; что дѣло, то дѣло; погода стоитъ прекрасная. Идемъ же, душа моя, идемъ!.. подтвердилъ Карачаевъ, усердно напяливая огромныя коричневыя перчатки съ завитками на концахъ пальцевъ.

Четверть часа спустя, оба заворачивали за уголъ Никольской и выходили на площадь. Лѣвый полукругъ той площади былъ занятъ такъ-называемымъ лѣтнимъ садомъ, который во всякое время года сохранялъ видъ отрѣзаннаго черстваго ломтя, но въ настоящую эпоху представлялъ мерзлую пустыню, украшенную зелеными кольями. Въ правомъ полукругѣ, между двумя рядами маленькихъ дощатыхъ навѣсовъ съ баранками, жемками, изюмомъ и стручками, располагался театръ. То было дощатое, сѣрое зданіе, не отличавшееся ничѣмъ отъ балагановъ, которые воздвигаются на площадяхъ о Масленой и Святой.

— Ай да Ваня! ай да Иванъ Емельянычъ! воскликнулъ Карачаевъ.—Я, братецъ, никогда, впрочемъ, не со-

мнѣвался въ немъ; погляди, погляди, какую, братъ, выстроилъ штуку; молодецъ! ей-Богу, молодецъ!.. Но, что это? кажется, ужъ начали... я слышу музыку... примолвилъ онъ, ускоряя шагъ.

Глухіе звуки тромбона и кларнета дѣйствительно раздавались ужъ за стѣнами балагана.

Аристархъ Ѳедоровичъ и Карачаевъ вошли въ сѣни. Тутъ съ одной стороны находилась маленькая дверь въ спектакльную залу, охраняемую долговязымъ, оборваннымъ малымъ съ подбитымъ глазомъ; съ противоположной стороны продѣлано было четыреугольное окно, съ надписью на косякѣ: „касса"; въ этомъ окнѣ суетился совершенно лысый старичокъ съ птичьимъ носомъ и мѣдными очками, вздернутыми на лобъ.

Передъ кассой стояли старичокъ Пшеницынъ и долговязый Ѳедя.

— Какъ вамъ угодно, а мы никакъ, никакъ не можемъ этого сдѣлать! Сами взгляните... помилуйте, возможное ли это дѣло! говорилъ, размахивая руками, плѣшивый кассиръ.

— Да какъ это такъ?.. какъ же это?.. полно, благодѣтель, нельзя ли? умоляющимъ голосомъ произнесъ старикъ Пшеницынъ.

— Никакъ нельзя-съ!

— Да что жъ это такое?.. Я самъ читалъ на афишѣ... да это... это, просто, мошенничество! съ отчаяніемъ воскликнулъ Пшеницынъ.

— Мошенничества тутъ нѣтъ никакого, а просто, нельзя, да и все тутъ! возразилъ плѣшивый кассиръ.

— Что у тебя тутъ такое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, подходя къ Пшеницыну.

— Ахъ, благодѣтель, батюшка, Аристархъ Ѳедоровичъ, сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались!.. воскликнулъ Пшеницынъ, прикладывая руки къ колѣнямъ и кланяясь...

— О чемъ у васъ дѣло? перебилъ Балахновъ.

— Охъ, родной, благодѣтель вы мой! да вотъ, просто, мошенничество, чистое мошенничество... Кланяйся, дурашка, подхватилъ неожиданно Пшеницынъ, толкая долговязаго Ѳедю, который шаркнулъ сапогомъ и поглядѣлъ исподлобья на Балахнова.

— Въ чемъ же дѣло? повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Да вотъ, благодѣтель, заговорилъ Пшеницынъ, ука-

зывая на кассира,—я отдалъ ему полтинничекъ за себя, да четвертачокъ за Ѳедю, а онъ не пускаетъ его... „Нѣтъ, говоритъ, и за него надо полтинничекъ...“ просто, мошенничество! Самъ, вѣдь, читалъ, благодѣтель, въ ихней афишѣ, сами вѣдь отпечатали, что съ малолѣтнихъ берутъ половину, а теперь не пускаютъ...

— Да какой же онъ малолѣтній, сами извольте взглянуть! съ отчаяніемъ воскликнулъ кассиръ.

— Ну, полно, братецъ, хлопотать объ этомъ; я возьму Ѳедѣ билетъ, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Дай четыре билета, примолвилъ онъ, бросая депозитку кассиру.

— Благодѣтель ты мой!.. Кланяйся же, дурашка, благодари... что стоишь! разразился Пшеницынъ, принимая билеты и подталкивая Ѳедю.—Хотѣлось, отецъ мой, потѣшить парня-то, подхватилъ онъ, радостно хлопая глазами,—вѣдь опредѣленъ, благодѣтель, опредѣленъ писцомъ въ здѣшнюю палату.

— Ба! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Ей-Богу, право!.. и все, вѣдь, благодѣтели постарались: Николай Степановичъ Окатовъ и Солонеевъ — ей-Богу такъ!..

Аристархъ Ѳедоровичъ тотчасъ же повернулся къ нему спиною. Нимало не намѣреваясь войти въ спектакльную залу вмѣстѣ съ Пшеницынымъ и долговязымъ Ѳедею, онъ рѣшился выждать, пока оба они усядутся на свои мѣста.

— А что, давно началось представленіе? спросилъ Балахновъ для препровожденія времени.

— Только что начали, сударь, почтительно отвѣчалъ кассиръ, проводя рукою по лбу, при чемъ очки его тотчасъ же упали на носъ и приняли свое обыкновенное мѣсто.

— Скажите, пожалуйста, батюшка, нельзя ли мнѣ повидаться теперь какъ-нибудь съ Иваномъ Емельяновичемъ? спросилъ Карачаевъ, который во все продолженіе предыдущей сцены возился съ своими коричневыми перчатками.

— Я полагаю, сударь, онъ теперь одѣвается... а впрочемъ, можно сейчасъ узнать... Да вотъ, кстати, кто-то идетъ со сцены, отвѣчалъ кассиръ. — Эй! кто тамъ? Вы, Иванъ Емельянычъ? заключилъ онъ, уходя внутрь углубленія.

Вмѣсто отвѣта кто-то засвисталъ.

— А, это вы, Ардаліонъ Александрычъ! сказалъ кассиръ.—Что, Иванъ Емельянычъ еще не одѣвались?

— Геркулесъ-Ираклъ... сейчасъ на сцену... гремитъ музыка... сверкаютъ блестки... раздаются рукоплесканія! протрещалъ Попельковскій, неожиданно появляясь въ кассѣ и размахивая, какъ крыльями, полами затасканной шинели—обстоятельство, которое позволяло различать его фигуру, до половины обтянутую въ трико тѣлеснаго цвѣта, тогда какъ другая половина казалась горѣвшею отъ позумента и пурпуровыхъ лохмотьевъ.

— А, такъ вотъ ты куда попалъ, каналья! Наконецъ-то я нашелъ тебя, разбойникъ! Э-ге!.. Нѣтъ, братъ, теперь ты отъ меня не уйдешь! закричалъ Карачаевъ, мгновенно свирѣпѣя и бросаясь впередъ.

Но Попельковскій успѣлъ ужъ исчезнуть, какъ привидѣніе, заслышавшее пѣніе пѣтуха, и мѣсто его заступилъ плѣшивый кассиръ.

— Помилуйте, сударь, сказалъ кассиръ, слегка отклоняя Карачаева, который силился пролѣзть въ отверстіе кассы,—что вы? что вы? здѣсь не позволено... вы дѣлаете шумъ...

— Ты съ ума сошелъ, любезнѣйшій! говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, толкая Карачаева.—Съ тобой, просто, никуда нельзя показаться, срамъ, братецъ, срамъ!..

— Ну, да все равно! произнесъ Карачаевъ, высовывая багровое лицо изъ кассы и запальчиво моргая глазами,—онъ отъ меня теперь не уйдетъ! Нѣтъ, не уйдетъ! И развѣ Ваня не знаетъ, кто онъ такой?.. И какъ вы держите у себя этакого негодяя! Да онъ... да я его... чортъ возьми, не отвертится теперь! Какъ только кончится представленіе, я тотчасъ же его сцапаю!.. О! я буду его преслѣдовать! буду, во что бы то ни стало! Ну, душа моя, Aristarque, пойдемъ въ залу! заключилъ Карачаевъ, проводя ладонью по лбу, покрытому каплями пота.

Первый предметъ, поразившій Карачаева, когда онъ вошелъ въ залу, былъ Иванъ, который держался вверхъ ногами и ходилъ въ этомъ положеніи по сценѣ.

Карачаевъ бросился стремглавъ на свое мѣсто, наступилъ на нѣсколько носковъ, сказалъ „pardon, pardoné“ и мгновенно превратился весь въ восторгъ.

Не дожидаясь ни времени, ни срока, онъ захлопалъ въ ладоши и такъ неистово крикнулъ: „Браво, Ивановъ!“, что Аристархъ Ѳедоровичъ принужденъ былъ толкнуть его подъ-бокъ.

Но Карачаева въ минуты отчаянныхъ и восторженныхъ

порывовъ удержать было трудно. Онъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на толчки Аристарха Ѳедоровича и во все продолженіе „перваго отдѣленія“ не переставалъ кричать и хлопать въ ладоши. Наконецъ, „первое отдѣленіе“ кончилось и занавѣсь опустилась. Но это обстоятельство далеко не укротило Павла Петровича; восторженность его тутъ только, повидимому, приняла всю свою силу.

Онъ быстро вскочилъ со стула, оглянулъ партеръ и, подмигивая безъ различія во всѣ стороны, произнесъ: „Ну-ка, господа, Иванова-то подхватывайте!“

Затѣмъ онъ повернулся лицомъ къ сценѣ, втянулъ въ себя какъ можно болѣе воздуху и потрясъ залу криками:

— Иванова! Иванова! кричалъ Карачаевъ, подмигивая то тому, то другому зрителю.—И-ва-но-ва!

Занавѣсь поднялась и Ивановъ показался на сценѣ.

— Браво! браависсимо... брр...аво! Молодецъ, Ивановъ! Браво, Ваня! Молодецъ! захрипѣлъ Карачаевъ, напирая на оркестръ, выкатывая глаза, размахивая руками и хлопая въ ладоши съ такою силою, что коричневыя перчатки его разлѣзлись въ клочки.

— Посмотрите на этого господина, онъ, кажется, намѣревается насъ всѣхъ прибить, сказалъ по-французски какой-то молодой человѣкъ, стоявшій неподалеку.

— Не бойтесь, этого не случится! отвѣчалъ Карачаевъ, обращаясь неожиданно въ ту сторону и посылая послѣдній восторженный знакъ удалявшемуся Ивану. — Только въ другой разъ совѣтую вамъ быть поосторожнѣе! заключилъ онъ, поворачиваясь къ нему спиной.

— А, здравствуй, братъ, Иванъ Дормидонычъ! что такъ поздно? весело сказалъ Карачаевъ, протягивая руку Бобохову, который только что вошелъ въ кресла.

— Здравствуйте... чрезвычайно пріятно! пробормоталъ Бобоховъ, небрежно протягивая Карачаеву указательный палецъ и руководствуясь въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, джентльменскимъ примѣромъ Тохтамышева.

Но Карачаевъ отскочилъ на три шага и заморгалъ глазами.

— Че-е-во? сказалъ онъ.—Че-е-во? Ахъ ты, выскочка! заговорилъ онъ, понижая голосъ, но такъ, однакожъ, что слышно было каждое слово. — Съ чего это ты взялъ, а? Тебѣ дѣлаютъ честь, подаютъ руку, а ты вздумалъ мизинцы протягивать... а? Ахъ ты, буржуа-жантильйомъ

этакой!.. Да съ чего это ты взялъ, а? продолжалъ Карачаевъ, грозно насупивая брови, между тѣмъ, какъ Бобоховъ раздувалъ позеленѣвшія щеки и боязливо оглядывался на всѣ стороны. — А впрочемъ, постой, братъ, я очень радъ, что съ тобой встрѣтился... Я слышалъ, что ты хвасталъ тѣмъ, будто помогалъ сочинять Дрянкову повѣсть... а? такъ или нѣтъ? Отвѣчай мнѣ, я тебѣ говорю: такъ или нѣтъ? Мнѣ самъ Дрянковъ разсказывалъ это у Кокуркиныхъ... Ты лгать вздумалъ... ахъ ты, сочинитель! Ну, тебѣ ли быть сочинителемъ? Стоитъ только взглянуть на тебя, чтобъ этому не повѣрить! Погоди, братъ, я еще допеку тебя, буржуа-жан... выскочка ты этакой! проговорилъ Карачаевъ, провожая глазами Бобохова, который поспѣшно пробирался между рядами стульевъ, стараясь достичь, какъ можно скорѣе, противоположной двери.

Въ эту минуту поднялась занавѣсь. Отличное расположеніе духа тотчасъ же возвратилось къ Карачаеву; онъ занялъ свое мѣсто, снова задѣлъ нѣсколько носковъ и снова обратился весь въ восторгъ, который, казалось, ждалъ только удобнаго случая высказаться.

Случай этотъ не замедлилъ представиться.

Во время первой живой картины: *Гнѣвъ Геркулеса*, въ которой главную роль занимали Адольфъ Мейеръ и Ивановъ, Карачаевъ, хотя и съ усиліемъ, но все еще владѣлъ собою; но когда, вслѣдъ за тѣмъ, появилась картина: *Грація*, и глазамъ его предстала Глафира, — Карачаевъ разразился новыми рукоплесканіями, которыя были чуть ли не яростнѣе прежнихъ.

— Какова, братецъ, а? Какова наша Глафира Львовна? Нѣтъ, ты мнѣ скажи только: какова, а? сказалъ онъ, обратившись къ Аристарху Ѳедоровичу.

— Хороша, хороша!.. Не мѣшало бы имъ, однакожъ, поторопиться... отвѣтилъ Балахновъ, дѣлая видъ, будто Карачаевъ былъ для него совершенно посторонній человѣкъ.

— Ну, вотъ, погоди, сейчасъ начнутъ! произнесъ Павелъ Петровичъ, быстро поворачиваясь къ сценѣ.

Третья картина все еще не показывалась.

Прошла еще минута, потомъ еще и еще, третьей картины какъ не бывало.

За сценой слышалась между тѣмъ бѣготня и суматоха; можно даже было различать отрывочныя восклицанія: „Гдѣ?.. какъ? куда? бѣда! все пропало!..“

Публика начинала терять терпѣніе; посреди хлопанья въ ладоши, раздавался нетерпѣливый шопотъ; кто-то застучалъ даже каблуками.

Карачаевъ грозно посмотрѣлъ въ ту сторону и хотѣлъ ужъ что-то сказать въ оправданіе случившагося промедленія, но, услышавъ за спиною знакомый голосъ, поспѣшилъ обратить лицо свое къ сценѣ.

Глаза его прямехонько встрѣтили Ивана, который почтительно раскланивался. Лицо Ивана было блѣдно и волосы его, тщательно завитые, свѣшивались теперь въ безпорядкѣ. Карачаевъ началъ было съ того, что захлопалъ и закричалъ: „Браво, Ивановъ!"; но въ отвѣтъ на это публика зашикала немилосерднымъ голосомъ.

— Почтеннѣйшая публика... сказалъ Иванъ разстроеннымъ голосомъ,—честь имѣю извѣстить, что, по причинѣ внезапной болѣзни одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, мы не можемъ... никакъ не можемъ продолжать живыхъ картинъ... но вмѣсто нихъ... прибавилъ Иванъ съ глубокимъ поклономъ на всѣ три стороны залы, — мы будемъ имѣть честь показать вамъ новыя гимнастическія упражненія.

Карачаевъ снова захлопалъ и закричалъ: „Браво, Ивановъ!", но снова заглушенъ былъ шиканьемъ.

Шиканье сопровождало Ивана до самыхъ кулисъ и не умолкало даже тогда, когда опустили занавѣсъ.

— Я знаю, что̀ все это значитъ! сказалъ Карачаевъ, наклоняясь къ Аристарху Ѳедоровичу и подмигивая ему съ видомъ взаимнаго соучастія,—я догадываюсь... всему этому причиной эта каналья Попель... Клипель... Кококской... фу, какъ бишь его! Все это онъ надѣлалъ... Я сейчасъ бѣгу на сцену... сверну ему шею... мерзавецъ!.. Смотри, не уходи безъ меня! довершилъ онъ, поспѣшно направляясь къ выходу, при чемъ задѣлъ еще нѣсколько носковъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ, безъ сомнѣнія, не обратилъ бы вниманія на просьбу Карачаева и не сталъ бы дожидаться гимнастическихъ упражненій, если бъ не побуждали его къ тому весьма важныя причины. Дѣло въ томъ, что за стуломъ его находился какой-то толстенькій, суетливый и совершенно незнакомый господинъ, который повѣствовалъ своему сосѣду городскія новости и, между прочимъ, излагалъ весьма краснорѣчиво подробности окатовскаго бала. Балъ долженъ былъ происходить въ вечеръ того же дня, и слухи о немъ имѣли, слѣдовательно, для Ба-

лахнова живой интересъ. Любопытство Аристарха Ѳедоровича приняло, однакожъ, характеръ самаго глубокаго вниманія, когда, посреди шопота толстенькаго господина, услышалъ онъ неоднократно повторенную фамилію Бирюкова. Къ сожалѣнію, онъ ничего болѣе не услышалъ. Любопытство его возбуждено было тѣмъ сильнѣе, что онъ ждалъ Бирюкова съ минуты на минуту. Потерявъ, наконецъ, всякое терпѣніе, онъ перегнулся черезъ спинку стула и, обратясь къ толстенькому господину, сказалъ съ свойственною ему одному любезностью:

— Вы, кажется, изволили сейчасъ упомянуть фамилію Бирюкова, милостивый государь: скажите, что онъ, пріѣхалъ?

— Пріѣхалъ-съ, отвѣчалъ толстякъ, заботливо наклоняясь впередъ,—но, къ сожалѣнію... позвольте спросить: онъ не родственникъ ли вашъ?

— Нѣтъ.

— Въ такомъ случаѣ, я могу вамъ сообщить истинно прискорбное извѣстіе...

— Что жъ такое? спросилъ Балахновъ, перевертываясь на стулѣ.

— Кормонолѣй Семенычъ пріѣхалъ вчера въ ночь... а сегодня... да-съ, сегодня на зарѣ умеръ...

— Умеръ! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, почувствовавъ, что кровь застыла въ его жилахъ,—умеръ... да... но какъ же это случилось? повторилъ онъ, мгновенно овладѣвая собою.

— Изволите ли видѣть: Кормонолѣй Семенычъ былъ, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, скупенекъ... ну-съ, вотъ и отправился онъ на выборы; его, знаете, дорога-то и запугала... Мнѣ разсказывала все это его сестрица, которая теперь при немъ; испугался онъ больше всего дороговизны на дорогахъ и постоялыхъ дворахъ... не выѣзжалъ, знаете, двадцать лѣтъ; „какъ, думаетъ, ограбятъ, совсѣмъ ограбятъ...“ Запуганный, знаете ли, этой мыслью, взялъ да и приказалъ повару сдѣлать яичницу во сто яицъ... да всю дорогу ею одною и питался... Время, знаете, сырое, человѣкъ преклонный... у него, знаете, это, и вышло разстройство... И никто даже не подозрѣвалъ этого... всю дорогу ни разу не пожаловался... напротивъ, хвалилъ эту яичницу... И только подъѣзжая къ Черноряжску, открылось, знаете, у него это воспаленіе... Въ ночь былъ очень дуренъ, къ утру хуже... а сегодня приказалъ долго жить!.. вотъ какъ-съ!

Послѣ такого извѣстія, гимнастическія упражненія не могли ужъ, конечно, представить большого интереса Аристарху Ѳедоровичу. Полный тревожнаго, мрачнаго опасенія за свои планы и смутно сомнѣваясь за удачный результатъ, онъ поспѣшилъ выбраться изъ залы.

У выхода онъ наткнулся на Карачаева.

— Такъ и есть, душа моя, такъ и есть! я вѣдь тебѣ говорилъ: всему виноватъ этотъ Попли... или... кокскій... да, Попельковскій! произнесъ Карачаевъ съ необычайнымъ воодушевленіемъ.—Представь, братецъ: убѣжалъ! Скрылся... и... и костюмъ унесъ съ собою! и костюмъ! слышишь ли, костюмъ, я тебѣ говорю! Воръ! негодяй! О, я буду его преслѣдовать! Пойду хоть въ тартарары! Не убѣжитъ онъ отъ меня, не увернется!.. Но куда же ты, братецъ? погоди! Сейчасъ начнутъ второе отдѣленіе... Иванъ сказалъ мнѣ, что оно будетъ во сто кратъ великолѣпнѣе прежняго.

— Я иду домой, нетерпѣливо отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выходя на площадь.

— Ну, вотъ вздоръ какой! погоди, душа моя! Къ тому же, Иванъ приглашалъ меня къ себѣ послѣ представленія... Ахъ, братъ, ты не повѣришь, какъ онъ и жена его обрадовались! Такіе, право, добрые, радушные люди... Я хотѣлъ попросить тебя дождаться окончанія, и тогда пошли бы мы къ нимъ вмѣстѣ... Они, Богъ знаетъ, какъ бы тебѣ обрадовались.

— Ахъ, оставь меня, братецъ, въ покоѣ! съ досадою воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Карачаевъ остановился какъ вкопанный, и лицо его приняло мгновенно самое недовольное выраженіе.

— Что жъ ты гнушаешься моимъ предложеніемъ, что ли? вскричалъ онъ, двигая бровями,—а! когда такъ...

Но тутъ Карачаевъ взглянулъ на Аристарха Ѳедоровича и, замѣтивъ на лицѣ его слѣды глубокой грусти, тотчасъ же подбѣжалъ къ нему, взялъ его за руку и сказалъ, мгновенно измѣняя интонацію:

— Я, душа моя, приду скоро... ты только не безпокойся... Э! все это перемелется — мука будетъ... все это вздоръ! и, повѣрь мнѣ, хорошо кончится!

Сказавъ это, Карачаевъ оставилъ Аристарха Ѳедоровича; минуты двѣ онъ слѣдилъ за нимъ глазами; наконецъ, покрутя головой, махнулъ рукой и вернулся въ театръ.

Аристархъ Ѳедоровичъ пришелъ домой въ самомъ мрач-

номъ расположеніи духа. Сидоръ подтвердилъ ему горестное извѣстіе о смерти Бирюкова. Злостныя обстоятельства, очевидно, умножались, росли и грозили заслонить дорогу Аристарху Ѳедоровичу. Бирюковъ, Бирюковъ—эта необходимая спица въ томъ могучемъ колесѣ, которое должно было переломать ноги врагамъ Аристарха Ѳедоровича—умеръ! Аристархъ Ѳедоровичъ ясно видѣлъ, что смерть Кормонолѣя Семеновича увлекала за собою звѣзду его славы, которая и безъ того ужъ начинала блѣднѣть и опускаться къ горизонту. Да, Бирюковъ умеръ! дѣйствительно умеръ! Отъ искры Москва загорѣлась. Яичница была причиною, что Аристархъ Ѳедоровичъ лишался лучшей своей опоры! Конечно, перемелется—все мука будетъ; все обратится въ прахъ и тлѣнъ! Но, въ ожиданіи такого результата, что остается? рядъ безцвѣтныхъ годовъ, подточенныхъ сознаніемъ своего безсилія и торжествомъ враговъ, перспектива новыхъ огорченій и затѣмъ могила на скромномъ деревенскомъ погостѣ!.. Голова Аристарха Ѳедоровича горѣла; лихорадочный жаръ пробѣжалъ по его жиламъ. Онъ, безъ сомнѣнія, могъ утѣшить себя тѣмъ, что не сегодня, такъ завтра пріѣдетъ Лизавета Семеновна; что денегъ съ женинаго имѣнія, которое давно уже рѣшился онъ перезаложить или даже продать въ крайнемъ случаѣ, будетъ совершенно достаточно для того, чтобъ задать рядъ ослѣпительныхъ праздниковъ; что дѣло, слѣдовательно, еще не проиграно. Съ другой стороны, онъ содрогался при мысли, что весь городъ, всѣ, отъ мала до велика, знаютъ ужъ объ его намѣреніяхъ; всѣ говорятъ объ его балѣ и приготовленіяхъ... И что жъ, если вдругъ, Боже упаси! явятся какія-нибудь непредвидѣнныя обстоятельства, которыя помѣшаютъ исполненію всѣхъ этихъ плановъ?.. Что̀ скажетъ тогда городъ? Что̀ скажутъ подрядчики, официанты?.. Нѣтъ, нѣтъ! все это вздоръ, пустяки, безсвязный бредъ встревоженнаго воображенія. Дѣло еще не кончено и надо подождать результата. Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ снова овладѣлъ собой и снова началъ себя обнадеживать.

Карачаевъ, вѣрный, какъ и всегда, своему нраву, опоздалъ явиться къ назначенному сроку. Онъ пробылъ у Ивана почти весь день и пришелъ домой уже тогда, когда подавали свѣчи. Карачаевъ засталъ Аристарха Ѳедоровича въ совершенно спокойномъ расположеніи духа; по крайней мѣрѣ, такъ показалось ему. Обстоятельство это,

какъ и слѣдовало ожидать, значительно развеселило Павла Петровича и мигомъ развязало ему языкъ.

— Ну, братецъ, какъ мнѣ жаль, что ты не пошелъ со мной къ Ивану... ну, словомъ, братъ, очень жаль! Ей-Богу, право! заговорилъ онъ, усаживаясь противъ Балахнова и закуривая трубку.—Ты представить себѣ не можешь, что̀ это за добрые и честные люди!.. и этотъ Мейеръ, который у нихъ живетъ... и другой еще у нихъ есть, Петръ Захарычъ, ну, вотъ кассиръ-то, котораго мы видѣли... все это, братъ, отличнѣйшіе и добрѣйшіе ребята... Ecouté: ты не повѣришь, братецъ, какъ я весело и пріятно провелъ съ ними время! И живутъ, знаешь, такъ мило, ей-Богу, право! Твоей Глафиры узнать нельзя, просто, невозможно... Вездѣ такъ чистенько, уютно: и ширмочки, и утюжокъ, и канареечка въ клѣткѣ виситъ... все это, братъ, такъ, знаешь, миленько и чистенько... Да вотъ какъ: не будь я въ теперешнемъ моемъ положеніи — то-есть, какое мое положеніе? ты понимаешь, я совсѣмъ не на то намекаю; не будь у меня, попросту, моихъ знакомыхъ, пріятелей, не будь у меня дружескаго угла—я, ей-Богу, съ радостью сталъ бы жить съ ними... Ей-Богу такъ! Ну, самъ посуди: что это такое? вѣдь это, признаться, братъ, все вздоръ, дребедень, пустяки, продолжалъ онъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ ничего не отвѣчалъ; задумчивые глаза его и продольная морщина на лбу ясно доказывали, что мысли его находились за тридевять земель отъ предмета карачаевскаго разговора.

— Ну, а насчетъ, братецъ, этого Или... Пло... кок... Попельковскаго, снова заговорилъ Карачаевъ, при чемъ голосъ его возвысился на цѣлую октаву, а лицо изобразило всѣ признаки сильнѣйшаго негодованія,—скажу тебѣ, что я принялъ рѣшительное намѣреніе стереть его съ лица земли! Все припомню ему... припомню и бирюзоваго голубка, котораго утащилъ онъ тогда у этой несчастной Васильковой—все припомню! все! все!

— Послушай, Карачаевъ, я хотѣлъ поговорить съ тобой объ одномъ дѣлѣ... неожиданно перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ бы пробуждаясь отъ своей задумчивости.

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ провелъ ладонью по лбу, всталъ съ мѣста, прошелся нѣсколько шаговъ и снова остановился передъ Карачаевымъ.

— Дѣло, братецъ, большой важности и требуетъ отъ

тебя всего твоего вниманія... скажу болѣе: требуетъ отъ тебя жертвы! примолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, положивъ руку на плечо собесѣдника и пристально всматриваясь въ его лицо.

— Изволь, братецъ, я готовъ... ты знаешь, душа моя, Aristarque, что я...

— Стой! словъ мнѣ не надо... мнѣ нужно дѣло, любезный, дѣло, слышишь ли? сказалъ Балахновъ рѣшительнымъ голосомъ.

— Ну, да, разумѣется, душа моя... я иначе и не понимаю твоихъ словъ... Дѣло, такъ дѣло; я готовъ, отвѣчалъ Карачаевъ, поспѣшно вставая съ мѣста и запрятывая свою трубку въ самый темный уголъ, какъ будто она могла быть весьма опаснымъ свидѣтелемъ въ предстоящемъ объясненіи.

— Садись и слушай! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, указывая ему торжественнымъ жестомъ на стулъ.

Карачаевъ суетливо усѣлся на указанное мѣсто и каждая черточка на лицѣ его мгновенно приняла строгое, внимательное и въ высшей степени дѣловое выраженіе.

— Прежде всего я долженъ тебѣ сдѣлать слѣдующій вопросъ, началъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Скажи мнѣ откровенно, прямо, безъ обиняковъ, чувствуешь ли ты ко мнѣ истинное, душевное расположеніе? добавилъ онъ, протягивая руку Карачаеву, который схватилъ ее поспѣшно и пожалъ съ такою силой, что захрустѣли всѣ суставчики собесѣдника.

— Хорошо! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поглаживая покраснѣвшую ладонь. — Теперь слушай, вотъ въ чемъ дѣло...

Карачаевъ нагнулъ на бокъ голову и нахмурилъ глубокомысленно брови.

— Ты знаешь, братецъ, что вотъ ужъ полторы недѣли, какъ я жду сюда Лизавету Семеновну, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.—Почему я выписываю ее сюда... что́ заставило меня безпокоить ее, подхватилъ онъ, стараясь смягчить свое выраженіе, потому что Карачаевъ былъ страхъ раздражителенъ въ отношеніи ко всему, что́ касалось Лизаветы Семеновны, — все это выходитъ изъ настоящаго предмета нашего разговора.—Дѣло въ томъ, что я жду ее, что присутствіе ея здѣсь необходимо, что у нея находятся, вдобавокъ, бумаги, которыя почти такъ же необходимы, какъ сама она... Но ты самъ видишь, что

время проходитъ, а жены, между тѣмъ, нѣтъ какъ нѣтъ... Писемъ я отъ нея точно такъ же не получаю... словомъ, я теряюсь въ догадкахъ... Ужъ не больна ли она? или не случилось ли съ нею, или дѣтьми, какого-нибудь несчастія?.. словомъ, безпокойство мое на этотъ счетъ доходитъ до крайнихъ предѣловъ...

Во время этого предварительнаго монолога, дѣловое лицо Карачаева сбрасывало постепенно выраженіе притупленнаго вниманія и съ каждой секундой все болѣе и болѣе хмурилось; въ глазахъ его, сначала глубокомысленно опущенныхъ къ полу, но устремленныхъ теперь въ тотъ уголъ, гдѣ находилась трубка, ясно можно было прочесть, что тайна, которую хранилъ онъ въ глубинѣ души своей, готова была вырваться изъ груди его. Онъ сдѣлалъ, однакожъ, усиліе и ограничился только сухимъ кашлемъ.

— Ну, хорошо, что жъ дальше? сказалъ онъ, не подымая глазъ на Аристарха Ѳедоровича.

— Дальше будетъ тò именно, о чемъ я хотѣлъ просить тебя, началъ Балахновъ таинственнымъ голосомъ, — изъ всѣхъ близкихъ, знакомыхъ и преданныхъ мнѣ людей, ты одинъ, на котораго я могу возложить это порученіе... Твоя искренняя привязанность къ женѣ...

— Да, я люблю, почитаю, уважаю, глубоко уважаю Лизавету Семеновну!.. Ну, что жъ дальше? нетерпѣливо сказалъ Карачаевъ.

— Безпокойство, касательно этого непонятнаго, упорнаго молчанія съ ея стороны, должно, слѣдовательно, занимать точно такъ же маленькое мѣсто въ твоемъ добромъ сердцѣ...

— Ну, ну, ну! вымолвилъ еще нетерпѣливѣе Карачаевъ.

— Послушай, любезный другъ, поѣзжай въ Ханскіе-Пруды, узнай все обстоятельно и привези жену какъ можно скорѣе сюда...

Волненіе и неловкость обозначились въ эту минуту съ такою силой во всей фигурѣ Карачаева, что Аристархъ Ѳедоровичъ усомнился на минуту въ привязанности Карачаева къ своей особѣ.

— Тебѣ, можетъ-быть, въ тягость такое порученіе? спросилъ Балахновъ тономъ человѣка, который, очевидно, желаетъ услышать благопріятный отвѣтъ.

— Помилуй, братецъ, я не думалъ даже объ этомъ...

Изволь, я готовъ!.. чтобъ доказать тебѣ мое расположеніе... я готовъ ѣхать въ Ханскіе-Пруды... Полтораста верстъ для меня ровно ничего не значитъ; сѣлъ, завернулся въ шинель: „пошелъ!“ да и баста! и вся недолга! Изволь, братецъ, я ѣду хоть сейчасъ!

— Благодарю, милый мой, благодарю! Я никогда, впрочемъ, не сомнѣвался въ твоей дружбѣ! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, заключая Карачаева въ объятія.

Затѣмъ онъ тотчасъ же принялся дѣлать ему инструкцію, главный смыслъ которой заключался въ томъ, чтобъ привезти какъ можно скорѣе Лизавету Семеновну, и, въ особенности, не забыть сказать ей, чтобъ она захватила тѣ бумаги, о которыхъ было уже говорено въ письмахъ.

Карачаевъ слушалъ всѣ эти наставленія съ явнымъ невниманіемъ и пренебреженіемъ; но когда Аристархъ Ѳедоровичъ вышелъ изъ кабинета, чтобъ сдѣлать кой-какія распоряженія для скорѣйшаго отправленія Карачаева, Павелъ Петровичъ пришелъ внезапно въ неописанную ярость.

— Такъ! я поѣду!.. Полтораста верстъ для меня ничего не значатъ!.. Поѣду, но все равно, не сегодня, такъ завтра узнаешь... не миновать тебѣ, добрый отецъ... все узнаешь... вотъ она штука-то въ чемъ!.. Такъ, такъ, голубушка моя, Лизавета Семеновна, такъ! не выдавайте себя, не жалѣйте! чего жалѣть?.. Его не проймешь, голубушка моя, ни калиной, ни хворостиной!.. заключилъ онъ, моргая глазами и свирѣпо почесывая лысину.

Минутъ десять спустя, сѣрый нанковый казакинъ красовался ужъ на плечахъ Карачаева, а черный фракъ его занималъ свое обычное мѣсто въ маленькомъ чемоданчикѣ. Немного погодя, стукъ удалявшейся телѣжки возвѣстилъ объ отправленіи Карачаева.

Аристархъ Ѳедоровичъ позвалъ Сидора, который выходилъ на крыльцо провожать Павла Петровича...

— Что, какова погода? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Такая-то дрянная, сударь... что Боже упаси...

— Какая дрянная?

— Да чичерь, сударь...

— Какой чичерь? дуракъ!

— Чичерь, сударь... снѣгъ, дождь... крупа... вѣтеръ такой... зги не видно!..

— Хорошо, ступай!

Аристархъ Өедоровичъ завернулся въ халатъ, погрузился въ мягкое кресло, вытянулъ ноги и улыбнулся при мысли, что сомнѣнія его, въ отношеніи къ привязанности Карачаева, были далеко не основательны.

XX.

Подмостки, на которыхъ столько лѣтъ красовался Аристархъ Өедоровичъ, начинаютъ трещать, подламываться, наконецъ падаютъ и увлекаютъ за собою великаго мужа.

Прошла недѣля послѣ событій, описанныхъ въ предъидущей главѣ. Не много, кажется, но времени этого было уже достаточно, чтобъ произвести опустошительное дѣйствіе въ величественной физіономіи знаменитаго горшковскаго дипломата. Уже на пятый день послѣ отъѣзда Карачаева, багровые кружки появились на благородныхъ ланитахъ Аристарха Өедоровича; въ короткій промежутокъ послѣдующихъ двухъ дней багровые кружки успѣли распространиться по всему лицу его, которое, отражая такимъ образомъ зарево внутренняго пожара, значительно осунулось и похудѣло.

Продолжительность этой зловѣщей красноты опредѣляла всегда, какъ ужъ извѣстно, степень внутренняго разстройства великаго человѣка. Ясно было, слѣдовательно, что разстройство великаго человѣка достигло уже высшаго своего предѣла.

Могло ли быть иначе?

По всѣмъ расчетамъ и соображеніямъ Аристарха Өедоровича, ему слѣдовало бы быть теперь наканунѣ своего бала; онъ твердо увѣренъ былъ, что къ этому времени, благодаря визитамъ жены, общественное положеніе его окончательно упрочится; такую же точно увѣренность питалъ онъ въ отношеніи къ бумагамъ, которыхъ ожидалъ вмѣстѣ съ женою; бумаги эти давно должны были снабдить его роскошными принадлежностями для предположеннаго бала и обѣда. Такъ думалъ Аристархъ Өедоровичъ, но не такъ вышло на самомъ дѣлѣ.

Лизавета Семеновна не ѣхала; бумагъ какъ не бывало; балъ находился на степени простого проекта; общественное положеніе было сомнительнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Въ этомъ крайнемъ случаѣ, Аристархъ Өедоровичъ имѣлъ

полное право разсчитывать хоть на отвѣтъ отъ Лизаветы Семеновны или Карачаева. Но отвѣта не было. Ханскіе-Пруды хранили упорное молчаніе; а между тѣмъ роковое утро, къ которому столько лѣтъ стремились всѣ помыслы Аристарха Ѳедоровича, приближалось съ непостижимою быстротою.

До начала выборовъ оставалось всего-на-все пятеро сутокъ! Прошло еще два дня, два адски-мучительные дня.

Ханскіе-Пруды не подавали признака жизни.

Пурпуръ замѣтно началъ сбѣгать съ величественнаго лица Аристарха Ѳедоровича, оставляя на немъ, по мѣрѣ исчезновенія, слѣды той лимонной желтизны, которая не предвѣщаетъ ничего добраго.

Прошелъ еще день, потомъ еще день, потомъ третій, и, наконецъ, до выборовъ остались всего однѣ сутки.

Ханскіе-Пруды молчали попрежнему.

Смотритель оранжерей, котораго переманилъ Балахновъ у Окатова, подрядчики, обнадеженные задатками, офиціанты и поваръ осадили его со всѣхъ сторонъ докучливыми разспросами о срокѣ бала и обѣда. Аристархъ Ѳедоровичъ, пожелтѣвшій уже окончательно, ничего не отвѣчалъ; онъ приказалъ не принимать ихъ, подъ предлогомъ легкой простуды. Ясно было, что балъ и обѣдъ не могли ужъ никакимъ образомъ осуществиться. Счастье еще, что Аристархъ Ѳедоровичъ не слышалъ сарказмовъ, расточаемыхъ по этому поводу на его счетъ Балаклеевыми и другими, болѣе или менѣе значительными обывателями Черноряжска. Одна мысль о возможности неблагопріятныхъ толковъ приводила его въ неописанное бѣшенство. Впрочемъ, какъ въ этомъ случаѣ, такъ равно и во всѣхъ случаяхъ его жизни, отдадимъ Аристарху Ѳедоровичу должную справедливость.

Онъ все еще крѣпился, не падалъ духомъ и даже употреблялъ гигантскія усилія, стараясь подавить въ груди своей яростные порывы жёлчи. Но какъ хотите, въ минуты, подобныя тѣмъ, какія переживалъ теперь нашъ герой, трудно, почти невозможно сохранить невозмутимое равнодушіе. Были мгновенія, когда чувствовалъ онъ, что жёлчь приступала къ горлу и давила его; были мгновенія, когда кровь бушевала въ жилахъ Аристарха Ѳедоровича; наступали также минуты, когда онъ ровно ничего не могъ сдѣлать, чтобъ потушить пламень негодованія, который, вопреки всѣмъ усиліямъ, исторгался изъ его глазъ, какъ

изъ люковъ театра, когда тамъ представляютъ пожаръ.

Все это, разумѣется, нимало не помѣшало наступить роковому утру, назначенному для начала выборовъ.

Такъ какъ Аристархъ Ѳедоровичъ не смыкалъ глазъ въ продолженіе трехъ послѣднихъ ночей, было бы совершенно лишнимъ распространяться о томъ, какъ поднялся онъ съ постели въ это достопамятное утро.

Достаточно сказать, что около восьми часовъ онъ вылилъ себѣ на голову три умывальника холодной воды, а часамъ къ девяти приказалъ подавать одѣваться.

Не мѣшаетъ также замѣтить, что, несмотря на вышеизложенныя критическія обстоятельства, великій человѣкъ хранилъ въ душѣ непреклонное намѣреніе ѣхать на выборы; онъ не сомнѣвался, что присутствіе его все еще должно будетъ произвести сильный переворотъ въ мысляхъ черноряжскихъ обывателей.

Аристархъ Ѳедоровичъ стоялъ передъ зеркаломъ и приступалъ уже къ подвязыванію галстука, какъ вдругъ на улицѣ послышался звонкій хлястъ копытъ и почти въ ту же минуту подъ самыми его окнами остановилась тройка.

При этомъ пальцы Балахнова, и безъ того уже не совсѣмъ покорные, выпустили галстукъ; онъ быстро подошелъ къ окну и взглянулъ на улицу.

При видѣ Карачаева, вылѣзавшаго изъ телѣжки съ чемоданомъ подъ мышкою, губы Аристарха Ѳедоровича вздрогнули и лицо поблѣднѣло, какъ известь.

Онъ не успѣлъ еще придти въ себя, какъ Карачаевъ очутился ужъ въ кабинетѣ.

— Здравствуй, братецъ, сказалъ Карачаевъ съ самымъ спокойнымъ, обыкновеннымъ видомъ, — да что съ тобою? что ты, братецъ?! подхватилъ онъ мгновенно, измѣняя интонацію, — успокойся, душа моя, ничего не случилось, клянусь тебѣ честью! всѣ, слава Богу, здоровы: и Лизавета Семеновна, и дѣтки также! заключилъ онъ, подбѣгая къ собесѣднику и протягивая къ нему обѣ руки.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ спрятать руки за спину, отступилъ три шага и бросилъ на Карачаева сокрушающій взглядъ.

— Я не объ этомъ тебя спрашиваю! сказалъ онъ глухимъ, задыхающимся голосомъ.—Я спрашиваю тебя... гдѣ жена?..

— Лизавета Семеновна въ Ханскихъ-Прудахъ, братецъ, отвѣчалъ Карачаевъ такимъ тономъ, какъ будто дѣло касалось самаго обыкновеннаго предмета.

— Что же все это значитъ? вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, задыхаясь отъ бѣшенства.

— Полно, братецъ, ну, что ты изъ себя выходишь?.. успокойся! вотъ тебѣ кресло, садись; садись, говорю тебѣ, все узнаешь... заботливо отвѣчалъ Карачаевъ.

— Ну... произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, бросаясь на указанное ему мѣсто.

Карачаевъ поспѣшилъ занять сосѣдній стулъ, при чемъ лицо его тотчасъ же приняло строгое и въ высшей степени дѣловое выраженіе.

Сжавъ свои узенькія губы патентованными зубами, скрестивъ судорожно руки на груди, Аристархъ Ѳедоровичъ подавилъ, казалось, въ себѣ на минуту порывы бѣшенства и приготовился слушать съ подобающимъ терпѣніемъ.

— Ну, что жъ все это значитъ? повторилъ онъ.

— Значитъ то, братецъ, что Лизавета Семеновна сюда не будетъ... выразительно сказалъ Павелъ Петровичъ.

— Ка-а-акъ! вскричалъ Балахновъ, ударяя кулакомъ по столу и быстро вскакивая съ мѣста.

— Полно, братецъ... ну, что ты, въ самомъ дѣлѣ... началъ было Карачаевъ, но Аристархъ Ѳедоровичъ прервалъ его.

— А письма мои? произнесъ онъ.

— Письма твои получены всѣ до единаго... но Лизавета Семеновна все-таки не могла пріѣхать... На это, я тебѣ скажу, есть, братецъ, причины... примолвилъ Карачаевъ, разстегивая съ озабоченнымъ видомъ крючки своего нанковаго казакина и вынимая письмо. — На, читай! заключилъ онъ, нахмуривъ брови.

Аристархъ Ѳедоровичъ вырвалъ письмо изъ рукъ его, сломалъ печать и принялся читать.

Карачаевъ поспѣшилъ отодвинуть стулъ, всталъ и, съ свойственною ему скромностью, отошелъ въ сторону. Глаза его пристально устремились, однакожъ, на Аристарха Ѳедоровича; онъ, повидимому, напрягалъ все свое вниманіе, чтобъ прослѣдить за впечатлѣніями, которыя должны были обозначиться въ чертахъ Балахнова при чтеніи письма. Выраженіе постепенно возраставшаго неудовольствія на лицѣ Карачаева доказывало, что онъ былъ чрезвычайно недоволенъ впечатлѣніями Аристарха Ѳедоровича. Но когда Аристархъ Ѳедоровичъ разорвалъ письмо въ мелкіе клочки, затопалъ ногами и разразился бранью, и особенно, когда, посреди этихъ неумѣренныхъ изліяній

злобы, неоднократно произнесено было имя Лизаветы Семеновны, неудовольствіе Карачаева переступило всѣ границы и мигомъ превратилось въ самое сильное негодованіе. Съ именемъ Лизаветы Семеновны, произнесеннымъ безъ должнаго уваженія, Карачаевъ забушевалъ, какъ прорванная плотина, и слова его, подобно осколкамъ, сброшеннымъ въ потокъ, запрыгали съ неудержимою быстротою.

— Такъ, стало-быть, ты находишь, что Лизавета Семеновна поступила не такъ, какъ слѣдуетъ? воскликнулъ онъ, багровѣя, какъ свекла, и не спуская грозныхъ, моргавшихъ глазъ съ Аристарха Ѳедоровича, который расхаживалъ по кабинету, судорожно подергивая бровями.— Что жъ должна была она сдѣлать по-твоему? а? а? подхватилъ Карачаевъ, все болѣе и болѣе разгорячаясь,— она должна была пріѣхать сюда, отдать тебѣ бумаги и, ради прихоти твоей, лишить дѣтей... а?.. Я, вѣдь, все знаю, братъ, все знаю!.. Я, конечно, въ твои дѣла мѣшаться не смѣю, а правду тебѣ скажу, всегда скажу, потому что люблю, уважаю, почитаю Лизавету Семеновну, и дѣтокъ люблю... привыкъ, привязался и желаю всѣмъ имъ добра; вотъ она штука-то въ чемъ! да! всю правду выскажу тебѣ... Правда эта, признаться, давно сидитъ у меня вотъ здѣсь, да случая только не было! примолвилъ онъ, ударяя себя кулакомъ въ грудь.—Ты привыкъ, чтобъ тебѣ всѣ кланялись и льстили, да я, братъ, не Кокуркины и не Свищовъ; вотъ она штука-то въ чемъ! Мнѣ, братъ, все равно!.. Знаешь ли, отъ кого ты получилъ это письмо? Знаешь ли, кого ты бранилъ сейчасъ, а? Ты бранилъ самую благородную женщину, какая только есть на свѣтѣ! Стыдись, братецъ, стыдись! Это говорю тебѣ я, Карачаевъ, стыдись!..

Аристархъ Ѳедоровичъ остановился и непреклоннымъ жестомъ указалъ Карачаеву на дверь.

— Это ты мнѣ указываешь на дверь? я и самъ знаю, гдѣ она! вскричалъ Карачаевъ съ возрастающимъ жаромъ,—не безпокойся, уйду; уйду, когда надо будетъ; а до того выскажу тебѣ всю подноготную; сказалъ, что выскажу—и выскажу, хоть ты тутъ тресни! Всегда скажу, что ты слишкомъ, братъ, возмечталъ о себѣ, вотъ что! Ну, что ты, взаправду, о себѣ думаешь? что ты такое? а? Ученый, что ли? Будь ты заслуженный какой, сдѣлай ты полезное дѣло, будь ты хоть знатнаго рода, или будь у тебя какое-нибудь особое воспитаніе или образованіе...

вотъ тогда могъ бы ты считаться лучше другихъ... Да и то не долженъ бы показывать этого! А то что въ тебѣ: знаешь только ты, братъ, выпучивать грудь, озадачивать какого-нибудь кисляка Василькова, да строчить ябеды... да и то, слышалъ я, безграмотныя, такъ что всякой писецъ изъ земскаго суда лучше напишетъ; вотъ что!

— Ты забываешься! я велю вывести тебя вонъ! вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, дѣлая угрожающій жестъ.

— Меня! меня вывести! нѣтъ, братъ, молода еще, въ Саксоніи не была! запальчиво крикнулъ Карачаевъ,—а, впрочемъ, позови Сидора—я при немъ выскажу тебѣ все, что надо: мнѣ, вѣдь ты знаешь, все равно! Да, братъ, да, да, возмечталъ ты о себѣ слишкомъ много! вотъ что! Такъ возмечталъ, что всѣ кажутся тебѣ какою-то меркантелью... и даже Лизавета Семеновна, которой, между тѣмъ, ты башмака не стоишь! Вотъ она штука-то въ чемъ! Пріѣдетъ куда-нибудь или дома у себя: развалится на диванѣ, задеретъ ноги, да и думаетъ, чортъ знаетъ, что онъ такое! Ну, что ты хочешь этимъ сказать? что? Ну, что ты хотѣлъ сказать, когда, двѣ недѣли тому назадъ, послѣ твоего обѣда, разлегся при всѣхъ на диванѣ: „о-о, я спать хочу!“ кого ты этимъ озадачилъ? Всѣ сказали, что ты невѣжда; вотъ что! Нечего глаза-то выпучивать, меня этимъ не испугаешь; я всегда скажу, что ты мизинца, подошвы, да еще старой, истасканной подошвы Лизаветы Семеновны не стоишь! Мы всѣ, да, всѣ, сколько насъ ни есть, уважаемъ и почитаемъ ее, какъ добрую и благородную женщину... а ты... ну, братъ, ты еще покуда погоди! Почему никто до сихъ поръ еще не сказалъ о тебѣ добраго слова? а? Потому что ты мѣшаешься во всякое дѣло, лѣзешь всюду, гдѣ безъ тебя обойдутся и гдѣ тебя вовсе не спрашиваютъ!.. И добро бы имѣлъ на это право какое, а вѣдь у самого пушокъ на рыльцѣ, да еще, можетъ статься, больше чѣмъ у тѣхъ, кого ты чернишь; вотъ что! Ты одинъ правъ, всѣ виноваты; это, братъ, что-то мудрено!.. Вотъ она штука-то въ чемъ! Я, вѣдь, правду говорю! Помнишь, ты читалъ мнѣ одно письмо, не помню только, къ кому оно было... кажется, къ Солонееву... ты очернилъ его, да и говоришь потомъ: „теперь обращу строгій взглядъ на себя!“ Я помню, какъ ты тамъ себя выставлялъ, любо-дорого слушать!.. Нѣтъ, ты, въ самомъ дѣлѣ, не шутя, обрати-ка этотъ строгій взглядъ на себя, по-

смотри-ка, каковъ ты есть на самомъ дѣлѣ, такъ и увидишь, можетъ статься...

— Сидоръ! бѣшено вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, бросаясь, съ пѣною у рта, къ двери.

Но Сидоръ стоялъ ужъ въ дверяхъ, и не успѣлъ Аристархъ Ѳедоровичъ произнести слова, какъ онъ выступилъ впередъ и сказалъ:

— Вы изволили, сударь, посылать кучера къ подъѣзду Собранія, онъ пришелъ; всѣ съѣзжаются, сударь...

— Одѣваться! одѣваться! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, кидаясь къ зеркалу и, въ замѣшательствѣ, забывая присутствіе Карачаева и все, что сейчасъ происходило.

— Какъ! прохрипѣлъ Карачаевъ, дѣлая шагъ впередъ,— и послѣ всего этого ты все-таки хочешь ѣхать!.. Ступай! ступай! стремись, поѣзжай... заключилъ онъ, схватывая шапку и направляясь вонъ изъ кабинета, при чемъ плюнулъ въ уголъ и яростно хлопнулъ дверью.

Нѣтъ никакой возможности передать словами того, что совершилось въ эту послѣднюю четверть часа въ величавой груди Аристарха Ѳедоровича. Въ этомъ случаѣ было бы даже совершенно излишнимъ прибѣгать къ аллегоріи; никакое до сихъ поръ извѣстное аллегорическое сравненіе не нашло бы здѣсь мѣста. Предоставимъ, слѣдовательно, на время, Аристарха Ѳедоровича самому себѣ и обратимся къ Карачаеву, который маршируетъ быстрыми шагами по деревяннымъ тротуарамъ города Черноряжска.

Было бы также не легко опредѣлить состояніе, въ какомъ находились взволнованныя чувства Павла Петровича; наружность и движенія его показывали, впрочемъ, что въ простомъ и безхитростномъ сердцѣ Павла Петровича происходила страшная суматоха. Глазами моргалъ онъ точно такъ же, какъ во время объясненія съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, и лицо его было красно попрежнему. Руками онъ такъ размахивалъ, какъ будто пробивался сквозь густую толпу или разрушалъ стѣны ненавистной тюрьмы, изъ которой давно ужъ хотѣлъ высвободиться. Но какой одушевленный или неодушевленный предметъ стремились уничтожить грозные жесты Карачаева — неизвѣстно. Были ли они обращены на несчастныя обстоятельства, которыя со всѣхъ сторонъ обступили Балахнова, или на самого Балахнова—опредѣлить также весьма трудно. Не обращая, повидимому, ни малѣйшаго

вниманія на то, что происходило вокругъ, Карачаевъ дошелъ такимъ образомъ до конца Никольской и переходилъ ужъ въ Дворянскую улицу, какъ за спиною его раздались неожиданные крики: „пади! пади! берегись!“ Обернувшись, Карачаевъ увидѣлъ коляску Аристарха Ѳедоровича и въ коляскѣ самого Аристарха Ѳедоровича. Нимало не безпокоясь, онъ медленно, шагъ за шагомъ, отошелъ въ сторону; выждавъ минуту, когда окно экипажа поровнялось съ его лицомъ, онъ ограничился лишь тѣмъ, что поспѣшно повернулся спиною къ Аристарху Ѳедоровичу.

Встрѣча эта произвела, однакожъ, тотъ хорошій результатъ, что прояснила хаосъ, въ который до того времени повергнуты были мысли Павла Петровича. Съ этой минуты онъ исключительно уже занялся изслѣдованіемъ характера и поступковъ Аристарха Ѳедоровича.

Павелъ Петровичъ былъ возмущенъ до глубины души. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Во все продолженіе пути изъ Ханскихъ-Прудовъ до Черноряжска, Карачаевъ обдумывалъ наставительную рѣчь, которую хотѣлъ произнести передъ Балахновымъ, и которая такъ неожиданно превратилась въ рядъ грубыхъ упрековъ. Но, какъ бы то ни было, сущность наставительной рѣчи все-таки ярко выступала наружу; Павелъ Петровичъ высказалъ все, что лежало у него на душѣ. Онъ нимало не сомнѣвался, что помощью рѣчи своей расшевелитъ до глубины души Аристарха Ѳедоровича, пробудитъ въ немъ стыдъ и совѣсть, разоблачитъ его безсиліе, укажетъ ему все ничтожество честолюбивыхъ уѣздныхъ замысловъ и возвратитъ его наконецъ къ обязанностямъ. Что жъ вышло на повѣрку? Вышло, что, послѣ произнесенія этой рѣчи, Аристархъ Ѳедоровичъ не только не почувствовалъ раскаянія и угрызенія совѣсти, но какъ бы сильнѣе еще укрѣпился въ своихъ честолюбивыхъ замыслахъ, которые, очевидно, должны были погубить его.

Полный самыхъ тревожныхъ мыслей, Карачаевъ вернулся въ квартиру Балахнова.

Весьма любопытно было бы знать, сколько шаговъ и даже сколько верстъ сдѣлалъ Карачаевъ, разгуливая взадъ и впередъ по кабинету Аристарха Ѳедоровича; вышла бы также не менѣе любопытная цифра, если бъ сосчитать число трубокъ, выкуренныхъ имъ въ это достопамятное утро. Къ сожалѣнію, то и другое осталось неизвѣстнымъ. Мы положительно знаемъ только, что моціонъ и трубки

не произвели благодѣтельнаго вліянія на взволнованныя его чувства. Онъ видимо начиналъ ужъ тяготиться своимъ положеніемъ, и, желая, вѣроятно, разсѣяться во что бы то ни стало, взялъ шапку и снова вышелъ на улицу.

Было ужъ около двухъ часовъ пополудни. Улицы Черноряжска представляли картину самаго полнаго оживленія; все показывало, что въ эту минуту въ городѣ происходило или произошло что-то необычайное. Карачаевъ тотчасъ же смекнулъ въ чемъ дѣло; онъ ускорилъ шаги и направился къ дому Собранія.

Онъ находился ужъ недалеко отъ своей цѣли, какъ, поднявъ неожиданно голову, увидѣлъ дрожки и пару рыженькихъ вятокъ, которыя только что оставили, повидимому, крыльцо Собранія. Въ дрожкахъ сидѣлъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону, толстый Нилъ Степановичъ Лукьяновъ.

— Стой! стой! стой! закричалъ Карачаевъ, поспѣшно вынимая изъ кармана извѣстный клѣтчатый платокъ съ прорѣхою посрединѣ и размахивая имъ по воздуху.

Нилъ Степановичъ положилъ жирную руку свою на шею кучера—и дрожки остановились.

— Батюшки-свѣты, кого я вижу! Павелъ Петровичъ! вотъ говорятъ: въ одинъ день двѣ радости не живутъ! Какими судьбами? воскликнулъ Лукьяновъ, протягивая руки и перегибаясь всѣмъ корпусомъ на правую сторону дрожекъ, которыя издали при этомъ жалобный пискъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, Нилъ Степанычъ! сказалъ Карачаевъ, пожимая ему руки, — вы теперь изъ Собранія?

— Да...

— Стало-быть, Собраніе кончилось?..

— Кончилось, любезный Павелъ Петровичъ, кончилось! Добрый конецъ—всему вѣнецъ, какъ говорится... хе... хе... хе... Видите, всѣ ужъ разъѣзжаются!

— Вижу, вижу... ну, а скажите-ка, пожалуйста, Нилъ Степанычъ... я хотѣлъ спросить васъ, что̀ Аристархъ Ѳедорычъ? проговорилъ Карачаевъ, переводя одышку на каждомъ словѣ.

Нилъ Степановичъ выразительно подмигнулъ Карачаеву на кучера, приложилъ указательный палецъ къ уху и снова перегнулся черезъ дрожки.

— Ухайдакали! шепнулъ онъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ—ухайдакали! повторилъ Лукьяновъ, выразительно приподнявъ брови,—забаллотировали въ чистую; накидали ему видимо-невидимо черняковъ... просто, осрамился! Ни то, ни сё, кипѣло, да и то прогорѣло, говорится... самъ накликалъ... То же самое, я вамъ скажу, случилось, десять лѣтъ назадъ, съ покойнымъ моимъ шуриномъ, то-есть сыномъ отца моей жены...

— Вѣдь я жъ говорилъ ему не ѣздить! я говорилъ ему! воскликнулъ Карачаевъ.

— И я говорилъ ему то же самое! подхватилъ Лукьяновъ,—я говорилъ ему еще передъ началомъ баллотировки: „премногоуважаемый Аристархъ Ѳедоровичъ", говорилъ я ему...

— Кого же избрали?

— Солонеева! шепнулъ Лукьяновъ.

— А еще?

— Балаклеева...

— А кто перебилъ дорогу Аристарху Ѳедорычу?

Тутъ Нилъ Степановичъ оглянулся на всѣ стороны площади, приложилъ толстыя свои губы къ уху Карачаева и прошепталъ:

— Кошкинъ...

Карачаевъ свирѣпо почесалъ затылокъ.

— А что, Нилъ Степанычъ, произнесъ Карачаевъ, указывая рукою на Собраніе и съ трудомъ подавляя безпокойство, — вы не знаете, Аристархъ Ѳедоровичъ все еще тамъ?

— Нѣтъ, мой почтеннѣйшій, сейчасъ только-что уѣхалъ... мы выѣхали почти въ одно время; теперь онъ долженъ быть дома.

— Въ такомъ случаѣ, прощайте, Нилъ Степанычъ! проговорилъ Карачаевъ.

— Куда жъ вы?.. Погодите, Павелъ Петровичъ... я хотѣлъ предложить вамъ партійку къ вечеру...

— Нѣтъ... нельзя... ей-Богу... дѣла... въ другой разъ, отвѣчалъ Карачаевъ, нетерпѣливо моргая глазами.

И, не дожидаясь возраженій Нила Степановича, онъ пустился безъ оглядки по направленію къ купеческому дому, занимаемому Балахновымъ.

Минутъ пять спустя, онъ былъ ужъ на лѣстницѣ. Вступивъ въ переднюю, которая въ настоящую минуту была пуста, онъ бросилъ шапку, торопливо пригладилъ лысину и поспѣшилъ войти въ кабинетъ.

— Я вѣдь тебѣ говорилъ, душа моя, Aristarque, я вѣдь говорилъ тебѣ! воскликнулъ онъ, простирая впередъ руки, но въ ту же секунду остановился, пораженный неожиданнымъ зрѣлищемъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ, въ полномъ облаченіи, лежалъ безъ признака жизни на диванѣ. Сидоръ и кучеръ стояли по бокамъ его недвижно, какъ столбы, глубоко вколоченные въ землю.

— Что же вы? закричалъ Карачаевъ, бросаясь къ дивану, — развѣ вы не видите, что ему надо развязать галстукъ!..

— Бѣги за докторомъ... жи-ва-а! бѣги скорѣй... ты, Сидоръ, или нѣтъ... ты, Василій... спросить лучшаго доктора... сказать, что большая опасность... жи-ва-а-а! продолжалъ кричать Карачаевъ, освобождая Аристарха Ѳедоровича отъ остальной одежды.

Карачаевъ забылъ ужъ происшествіе утра; онъ ухаживаетъ теперь за Балахновымъ, какъ будто тотъ былъ сто разъ его любимымъ братомъ.

Какъ только кучеръ вышелъ, Павелъ Петровичъ услалъ Сидора за холодной водой и, оставшись наединѣ, ударилъ себя кулакомъ въ голову и заходилъ, какъ угорѣлый, по кабинету. Внезапно онъ остановился передъ Балахновымъ, простеръ надъ нимъ руки и прокричалъ голосомъ, полнымъ глубокаго отчаянія:

— Я же говорилъ тебѣ, душа моя, Aristarque!.. я говорилъ тебѣ!..

Въ эту самую минуту Сидоръ вошелъ съ водой и Карачаевъ поспѣшилъ отвернуться къ окну.

— Вотъ что! воскликнулъ онъ, когда капли воды, брошенныя имъ на лицо Аристарха Ѳедоровича, не произвели никакого дѣйствія,—вотъ что... промолвилъ онъ, обнаруживая сильнѣйшіе признаки безпокойства,—Васька ни за что, ни за что не найдетъ доктора... Пробѣгаетъ попустому... Вѣрно такъ! фу! На́, держи кувшинъ, я самъ пойду! заключилъ онъ, стремглавъ выбѣгая изъ кабинета.

Черезъ полчаса Карачаевъ, покрытый потомъ и едва переводя духъ отъ усталости, явился въ сопровожденіи доктора.

— Ну, что, докторъ? спросилъ онъ, когда тотъ осмотрѣлъ Аристарха Ѳедоровича.

— Надо какъ можно скорѣе пустить ему кровь, флегматически отвѣчалъ медикъ.

— Сидоръ... бѣги скорѣе за цырюльникомъ! жива-а! тащи его за шиворотъ, или нѣтъ! стой! ты не найдешь... я самъ лучше сбѣгаю! прибавилъ онъ, пускаясь вдогонку за камердинеромъ.

Въ передней Карачаевъ остановился, снова стукнулъ себя въ голову и бросился развязывать маленькій чемоданчикъ, стоявшій подлѣ печки; вышвырнувъ на полъ все, что находилось въ чемоданчикѣ, онъ отыскалъ старенькій бумажникъ, вынулъ ободранную трехрублевую депозитку, тщательно уложенную между двумя бумажками, и суетливо возвратился въ кабинетъ.

— Вотъ, докторъ, пробормоталъ онъ, багровѣя, какъ клюква, и неловко подавая ему деньги,—вотъ... Послушайте, докторъ, примолвилъ онъ, отводя его къ окну и указывая ему на больного,—надѣюсь, вы ничего не скажете... écouté: какъ честный человѣкъ, вы ничего не должны разсказывать о томъ, что̀ съ нимъ случилось!..

— Помилуйте, это до меня не касается... Меня призвали—я пришелъ; а до остального мнѣ нѣтъ дѣла...

— Какъ честный человѣкъ?

Докторъ утвердительно кивнулъ головой.

— Вотъ еще что̀, сказалъ Карачаевъ, когда онъ и докторъ очутились въ прихожей,—можно ли отвезти его въ такомъ положеніи домой?

— Можно; но только надо поторопиться; завтра, можетъ статься, будетъ ужъ поздно... По всѣмъ вѣроятіямъ, у него откроется горячка...

— Не можетъ быть!

Докторъ утвердительно кивнулъ головой.

Карачаевъ, всплеснувъ руками, отчаянно замоталъ головой и побѣжалъ за цырюльникомъ.

Кровопусканіе принесло Аристарху Ѳедоровичу очевидную пользу. Онъ раскрылъ глаза, сдѣлалъ усиліе, чтобъ приподняться на диванѣ, и попробовалъ даже выпучить грудь.

— Что я имъ сдѣлалъ? воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ разбитымъ, дребезжащимъ голосомъ.—За что все это?.. Кошкинъ!.. Солонеевъ!.. злодѣи!..

Но едва произнесъ онъ эти слова, лицо его покрылось смертельною блѣдностью, вагенгеймовскіе зубы притиснули нижнюю губу, и онъ снова повалился на диванъ.

Принявъ такія выходки за первые пароксизмы начинавшейся горячки, Карачаевъ послалъ тотчасъ же кучера

за подорожной, а самъ, съ помощью Сидора, поспѣшилъ приступить къ укладкѣ чемодановъ.

Въ ту же ночь голубая коляска Аристарха Ѳедоровича выѣхала изъ Черноряжска въ сопровожденіи телѣжки съ сидѣвшимъ на ней Карачаевымъ, который курилъ трубку и хмурилъ брови съ крайне озабоченнымъ видомъ.

XXI.

Аристархъ Ѳедоровичъ, свергнутый силою обстоятельствъ съ высоты своего величія, перестаетъ, кажется, выпучивать грудь и становится обыкновеннымъ смертнымъ.

Итакъ, Аристархъ Ѳедоровичъ палъ! Это несомнѣнно. Слѣдуетъ ли заключать, однакожъ, что онъ послѣ этого не заслуживаетъ нашего уваженія? Ничуть не бывало. Что̀ говорить: Аристархъ Ѳедоровичъ палъ, обнаруживая слабости, свойственныя самымъ обыкновеннымъ смертнымъ; въ паденіи его не было даже ничего геройскаго, ничего такого, что̀ вызывало бы на размышленіе или возбуждало удивленіе, подобное тому, напримѣръ, какое возбуждаютъ въ насъ гладіаторы древняго Рима, которые, при послѣднемъ издыханіи, все еще гордо держали голову и умирали, стараясь сохранить по возможности величественно-граціозную позу. Все это совершенно справедливо. Справедливо, можетъ-статься, и то также, что многія достойныя особы, многія слабонервныя, чувствительныя дамы, готовыя проливать обильные потоки слезъ при видѣ раздавленнаго комара, пройдутъ теперь мимо Аристарха Ѳедоровича, не удостоивъ его сострадательнымъ взглядомъ. Но смѣю увѣрить, всѣ эти особы поступятъ въ такомъ случаѣ весьма необдуманно. Величественный дубъ, сломанный грозою, занимаетъ на землѣ такое же точно пространство, какое занималъ онъ прежде въ вышинѣ! Развѣ обломки колосса Родосскаго (если бъ таковые находились) не должны были пробуждать въ насъ изумленія? Намъ стоило бы только исчислить здѣсь заслуги Аристарха Ѳедоровича, какъ дипломата и оратора, представить всеобщему вниманію глубину его мыслей и проектовъ, выставить въ вѣрныхъ, но безпристрастныхъ краскахъ неисчислимыя его добродѣтели, чтобъ мгновенно возвратить ему высокое мнѣніе всѣхъ благомыслящихъ людей. Но... но

мы не сдѣлаемъ этого; не сдѣлаемъ потому именно, чтобъ не нанести удара той необычайной скромности, которая такъ отличала всегда нашего героя на поприщѣ жизни.

Ограничимся лучше продолженіемъ разсказа:

Аристархъ Ѳедоровичъ, благодаря неусыпной заботливости Карачаева, совершилъ незамѣтно свой переѣздъ изъ Черноряжска въ Ханскіе-Пруды. Они пріѣхали ночью. Карачаевъ нарочно разсчитывалъ на позднее время, чтобъ не потревожить мирныхъ обитателей древняго дома. Такая предосторожность оказалась, впрочемъ, лишнею: Сидоръ передалъ свои опасенія женѣ, та поспѣшила сообщить роковое извѣстіе какой-то дворовой женщинѣ, дворовая женщина побѣжала къ Фіонѣ Ивановнѣ, Фіона Ивановна побѣжала къ старой нянѣ, старая няня разбудила Лизавету Семеновну, которая, спустя минуту, очутилась въ кабинетѣ, къ великому недоумѣнію предусмотрительнаго Павла Петровича.

Недоумѣніе его мгновенно уступило, однакожъ, мѣсто глубочайшему отчаянію, когда Лизавета Семеновна, остановившись передъ постелью мужа, закрыла лицо руками и горько заплакала. Онъ тотчасъ же принялся ее уговаривать, увѣрять, что все это ничего не значитъ, что черноряжскій докторъ справедливо пользуется заслуженной извѣстностью, что онъ объявилъ положеніе Аристарха Ѳедоровича далеко не опаснымъ, и кончилъ тѣмъ, наконецъ, что сталъ умолять Лизавету Семеновну вытолкать его вонъ изъ Ханскихъ-Прудовъ, въ томъ случаѣ, если онъ говорилъ неправду. Все это мало, повидимому, подѣйствовало на Лизавету Семеновну, и ночь, проведенная ею у изголовья мужа, была не изъ самыхъ спокойныхъ въ ея жизни.

Съ разсвѣтомъ послали за Карломъ Готлибовичемъ Газенпотомъ, горшковскимъ эскулапомъ.

Газенпотъ подтвердилъ слова своего собрата и вмѣстѣ съ тѣмъ подтвердилъ слова Карачаева.

Съ того же дня въ древнемъ домѣ наступила тишина. Было такъ тихо, какъ въ то время, когда Аристархъ Ѳедоровичъ занимался сочиненіемъ знаменитыхъ своихъ писемъ, или когда его не было дома; впрочемъ, самъ Карачаевъ наблюдалъ за этимъ; всякій зналъ, слѣдовательно, очень хорошо, что горе тому смертному, у котораго дерзнули бы заскрипѣть сапоги. Онъ предписалъ себѣ прежде всего полное, безконтрольное наблюденіе надъ Аристар-

хомъ Ѳедоровичемъ; въ первыя двѣ недѣли онъ рѣшительно не отходилъ отъ постели больного. Послѣ этого срока, Аристархъ Ѳедоровичъ началъ обнаруживать признаки къ выздоровленію. Тогда только Карачаевъ рѣшился сдѣлать нѣкоторыя отступленія въ отношеніи къ роли сидѣлки, которую такъ настоятельно на себя принялъ. Отступленія эти заключались въ слѣдующемъ: какъ только замѣчалъ онъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ приходитъ въ сознаніе и готовится раскрыть глаза, онъ поспѣшно приподымался съ мѣста, бѣжалъ изъ кабинета, стучалъ въ дверь къ Лизаветѣ Семеновнѣ и, производя пальцами какіе-то таинственные знаки, посылалъ ее къ мужу. Затѣмъ, бережно затворивъ дверь кабинета за Лизаветой Семеновной, онъ уходилъ на цыпочкахъ въ залу или поднимался наверхъ, къ Фіонѣ Ивановнѣ, съ которой находился теперь въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ.

Эти дружескія отношенія основывались единственно на томъ, что съ нѣкоторыхъ поръ дурное и постоянно сварливое расположеніе духа экономки получило значительное улучшеніе. Благопріятная перемѣна замѣтна была не только въ нравѣ Фіоны Ивановны, но распространялась даже на ея физіономію. Когда Карачаевъ дѣлалъ ей на этотъ счетъ замѣчанія, она отвѣчала всегда, что сама видитъ въ себѣ перемѣну и приписываетъ ее постепенному облегченію отъ несноснаго флюса, съ которымъ провозилась столько лѣтъ. Слушая ее, Карачаевъ улыбался и недовѣрчиво потряхивалъ головою. Онъ давно ужъ догадался, въ чемъ состояло дѣло; на второй же день послѣ пріѣзда своего изъ Черноряжска, онъ засталъ Прокисая Захаровича въ комнатѣ экономки. Фіона Ивановна, извѣщенная, вѣроятно, во-время о продѣлкахъ Надеженьки Кокуркиной и Василькова, поспѣшила воспользоваться случаемъ и снова завладѣла Копковымъ. Румянецъ и даже нѣкоторая полнота, появившіяся на щекахъ Прокисая Захаровича, мягкая перина, замѣнившая его тюфячокъ, и сдобныя лепешечки съ фестончиками, не ускользнувшія отъ вниманія Карачаева, подтвердили, какъ нельзя лучше, его догадки. Онъ не передавалъ, однакожъ, своихъ замѣчаній и ограничивался тѣмъ только, что въ душѣ подтрунивалъ надъ счастливою четою. Поговоривъ минутъ десять съ Копковымъ или вдовою Чивадзи, Карачаевъ снова возвращался къ своимъ обязанностямъ сидѣлки. Нерѣдко въ то время, какъ подходилъ онъ къ кабинету, за

дверью слышался нетерпѣливый, разбитый голосъ Аристарха Ѳедоровича, прерываемый нѣжнымъ голосомъ Лизаветы Семеновны, который весьма часто заглушали рыданія. Тогда Карачаевъ убѣгалъ въ гостиную, багровѣлъ, принимался размахивать руками и разражался яростными монологами, которые обращались, по большей части, къ тиціановской нимфѣ, доставшейся Балахнову отъ его предковъ.

Порывы эти мгновенно утихали, какъ только въ дверяхъ гостиной показывалось заплаканное, печальное лицо Лизаветы Семеновны.

— Не унывайте, голубушка моя, Лизавета Семеновна, не унывайте!.. главное дѣло, не поддавайтесь ему ни за что, не поддавайтесь — и все будетъ хорошо! говорилъ Карачаевъ, суетливо подбѣгая къ ней.—Дѣлайте, какъ я вамъ говорю; послушайтесь меня, голубушка вы моя: куйте желѣзо — пока горячо, то-есть говорите ему всю правду, всю подноготную, ничего не скрывайте... Пускай все узнаетъ! Вы еще не говорили ему, что Ханскіе-Пруды велѣно описывать? Нѣтъ? Ну, и не надо; сдѣлайте это, когда онъ совершенно выздоровѣетъ... а я покуда его подготовлю... Главное дѣло, не унывайте, голубушка моя, не робѣйте... Вотъ я вчера собрался съ духомъ и сообщилъ ему о кой-какихъ дурныхъ обстоятельствахъ по хозяйству... онъ хоть бы пикнулъ; вѣдь это добрый знакъ, голубушка моя, Лизавета Семеновна... Чего робѣть? Э! помилуйте! Авось, Богъ дастъ, мы все это устроимъ! Онъ, я замѣчаю, начинаетъ уже поддаваться... Нѣтъ, перемѣна въ немъ большая; все это, я вамъ скажу, сильно его подкузьмило... то-есть... фу!.. Ну, да все равно, перевернуло, что ли! Главное дѣло, я вамъ говорю, не унывайте... исподволь, знаете: сегодня слово, завтра слово... Авось, Богъ дастъ, все устроимъ!..

Проговоривъ все это безъ одышки, Карачаевъ провожалъ Лизавету Семеновну до дверей дѣтской, возвращался въ кабинетъ и снова садился у изголовья больного.

Выздоровленіе Аристарха Ѳедоровича совершалось медленно.

Снѣгъ давно уже покрывалъ поля; морозъ давно ужъ оковалъ пруды съ плававшими на нихъ искусственными лебедями; мятели и вьюги занесли сугробами пирамиды, обелиски и вычурныя заставы, украшавшія Ханскіе-Пруды. Аристархъ Ѳедоровичъ все еще не могъ приподняться съ постели, хотя владѣлъ ужъ полнымъ сознаніемъ.

Мало-по-малу силы его начали возвращаться, и Газенпотъ, являвшійся по два раза въ недѣлю аккуратно, объявилъ, что недѣли черезъ четыре Аристархъ Ѳедоровичъ будетъ совершенно здоровъ.

И дѣйствительно, мѣсяцъ спустя, Аристархъ Ѳедоровичъ могъ ужъ прогуливаться по кабинету безъ помощи Карачаева.

Было превосходное зимнее утро. Вокругъ балахновскаго дома трещалъ морозъ, а въ самомъ домѣ трещали еще немилосерднѣе печки, затопленныя Моисеемъ Акишевымъ, тѣмъ самымъ бѣлокурымъ лакеемъ, который преклонился когда-то передъ геніемъ Калины и талантами карачаевскаго Ивана. Но яркое пламя печки дѣлалось незамѣтнымъ передъ лучами солнца, которые врывались въ окна балахновскаго кабинета, освобожденныя уже отъ зеленыхъ занавѣсокъ. Аристархъ Ѳедоровичъ сидѣлъ въ широкихъ вольтеровскихъ креслахъ насупротивъ письменнаго стола; Карачаевъ сидѣлъ по другую сторону стола и не сводилъ моргающихъ глазъ съ собесѣдника. Наблюденія Павла Петровича ограничивались съ нѣкоторыхъ поръ одними и тѣми же выводами: онъ убѣждался съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе, что выборы дѣйствительно *подкузьмили* Аристарха Ѳедоровича и произвели въ немъ разительную перемѣну.

— Ну, что, душа моя, какъ ты сегодня себя чувствуешь? спросилъ Карачаевъ.

— Совершенно хорошо, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— А не чувствуешь ли ты этакъ... знаешь, аппетита? а?

— Да, таки порядочно...

— Превосходно! поздравляю, братъ; значитъ, ты совсѣмъ здоровъ! Карлъ Готлибовичъ разрѣшилъ тебѣ курицу... Ну, братъ, скажу тебѣ, какую ужъ зато мы курицу тебѣ дадимъ сегодня, такъ просто!.. я самъ сейчасъ былъ на кухнѣ... ты знаешь, я вѣдь вездѣ самъ, за всѣмъ, братецъ, присматриваю...

— Благодарю! благодарю! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, протягивая Карачаеву руку.

— Вотъ славно! Ха-ха-ха! благодарю! воскликнулъ Павелъ Петровичъ. — Да за что ты меня благодаришь-то? Ха-ха-ха! благодаритъ, какъ будто я въ самомъ дѣлѣ что-нибудь сдѣлалъ... Нѣтъ, братъ, если надо кого благодарить тебѣ, такъ не меня—я что?—надо благодарить Ли-

завету Семеновну! Вотъ это другое дѣло! примолвилъ онъ, придавая лицу своему серьезное выраженіе. — Да, братъ, ее долженъ ты благодарить, ее, которая ухаживала за тобою, какъ за малымъ ребенкомъ; отъ постели твоей не отходила, ночи не спала, — вотъ она штука-то въ чемъ! Я вотъ что скажу тебѣ: не будь Лизаветы Семеновны, ты бы теперь не разговаривалъ со мною, а знаешь ли... да, лежалъ бы тамъ, куда всѣ мы, рано или поздно, отправимся,—вотъ дѣло-то въ чемъ! заключилъ онъ, сдѣлавъ выразительный жестъ.

При этомъ румянецъ показался на блѣдномъ лицѣ Аристарха Ѳедоровича; онъ медленно отвернулся отъ собесѣдника, подперся ладонью, задумался и покраснѣлъ еще сильнѣе прежняго.

Карачаевъ кашлянулъ и, сдѣлавъ видъ, какъ-будто ничего не замѣчаетъ, подошелъ къ окну и принялся глядѣть на дворъ; созерцаніе снѣжныхъ бугровъ нимало, повидимому, не мѣшало Карачаеву отодвигаться постепенно отъ окна и приближаться къ дальнему углу кабинета; достигнувъ угла, онъ украдкою пробрался вдоль стѣны и поспѣшно вынырнулъ въ дверь. На все это потребовалось безъ малаго минутъ десять; но зато одной секунды было достаточно Карачаеву, чтобъ добѣжать до спальни Лизаветы Семеновны.

— Голубушка моя, заговорилъ онъ, когда на стукъ его вышла Балахнова, — ступайте къ нему скорѣе, ступайте съ Богомъ! Я уловилъ, кажется, самую удобную минуту! Другой, можетъ статься, не будетъ: я его подготовилъ... все хорошо... Ступайте... смотрите только, не унывайте, голубушка моя... Скажите ему напрямикъ; теперь бояться нечего: онъ совершенно здоровъ! Такъ-таки возьмите, укрѣпитесь, да и скажите ему всю подноготную: объявите ему сначала о векселяхъ, которые поданы ко взысканію, а потомъ бухните... то-есть объявите о томъ, что Ханскіе-то Пруды описывать велѣно... ну, и то, помните, о чемъ мы толковали съ вами... все это передайте ему и постарайтесь уговорить, усовѣстить его... авось, можетъ статься... Богъ дастъ... а я въ это время, помните, какъ я говорилъ, дѣтокъ подготовлю... какъ только онъ этакъ поддастся, я съ дѣтками-то и брякну...

— Нѣтъ, этого не надо, сказала Балахнова, которая, несмотря на взволнованное состояніе души своей, все-таки не могла удержаться отъ улыбки, слушая предположеніе

Карачаева, — дѣти будутъ въ этомъ случаѣ совершенно лишнія... мы, можетъ быть, и безъ нихъ обойдемся...

— Эхъ, какія вы, право, голубушка моя! перебилъ Павелъ Петровичъ. — Ужъ вы сдѣлайте Божескую милость, предоставьте мнѣ распорядиться... вы поспѣшите только въ кабинетъ, а ужъ остальное я самъ берусь устроить!..

Сказавъ это, онъ суетливо пригладилъ лысину и побѣжалъ въ дѣтскую.

Немного погодя, онъ возвратился въ залу. Строгое, дѣловое выраженіе отпечатывалось болѣе, чѣмъ когда-нибудь, на лицѣ Павла Петровича. Закинувъ руки за спину, онъ принялся расхаживать взадъ и впередъ, прислушиваясь время-отъ-времени къ отрывчатому, затаенному говору, который выходилъ изъ растворенныхъ дверей кабинета. Какъ только въ залѣ или въ концѣ коридора показывался кто-нибудь изъ людей, Карачаевъ дѣлалъ выразительные жесты, отсылалъ назадъ и поручалъ сказать, чтобъ никто не осмѣливался подходить къ крыльцу дома впредь до его приказанія. Въ этихъ занятіяхъ и въ расхаживаніи взадъ и впередъ по залѣ прошло у него часа два времени. Разговоръ въ кабинетѣ замѣтно между тѣмъ оживлялся, и вмѣстѣ съ нимъ оживлялся и самъ Карачаевъ; шагъ его ускорился и съ каждымъ новымъ поворотомъ приближался онъ на вершокъ къ кабинетной двери. Маневры Карачаева оправдывались тѣмъ, что въ послѣднія десять минутъ онъ явственно услышалъ свою собственную фамилію, неоднократно произнесенную Аристархомъ Ѳедоровичемъ. Онъ почувствовалъ, наконецъ, что ужъ не можетъ владѣть собою; онъ подошелъ къ кабинетной двери, остановился и затаилъ дыханіе.

— Да, намъ суждено ошибаться... и, что всего хуже, ошибаться въ лучшихъ друзьяхъ нашихъ, говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ спокойнымъ, но меланхолическимъ голосомъ. — Ну, полно же, перестань, не плачь (тутъ Павелъ Петровичъ не узналъ даже голоса Аристарха Ѳедоровича—до того показался онъ ему мягокъ)... время исправитъ все... и, можетъ быть, откроетъ даже нѣкоторымъ людямъ, всегда на меня злобствовавшимъ, чистоту моихъ... ну, да что объ этомъ!.. Теперь предстоитъ заняться другими дѣлами... Ты совершенно справедливо замѣтила, что я никогда не умѣлъ цѣнить достойнымъ образомъ Карачаева... дѣйствительно, подъ грубою его оболочкой скры-

вается честнѣйшая душа и благороднѣйшее сердце; поэтому-то, хотя обстоятельства мои очень дурны, я позабочусь прежде всего заплатить ему свой долгъ... пятнадцать тысячъ для Карач...

Но едва произнесъ онъ эти слова, какъ ужъ Карачаевъ очутился въ кабинетѣ.

— Какъ!.. мнѣ?.. долгъ... Че-е-во? закричалъ Павелъ Петровичъ, обнаруживая замѣшательство въ каждой чертѣ побагровѣвшаго лица. — Мнѣ возвратить долгъ! мнѣ! Карачаеву! Что жъ, за кого ты меня считаешь? За негодяя, за безчувственнаго скота?! Нѣтъ, чортъ побери... извините, голубушка моя, Лизавета Семеновна! Да, чортъ возьми! не будетъ сказано, что Карачаевъ... Постой, я жъ тебѣ докажу это!.. заключилъ онъ, и вдругъ, сломя голову, выбѣжалъ изъ кабинета.

Онъ миновалъ залу, опрокинулъ въ передней два стула и бросился въ маленькую комнатку съ кривымъ зеркальцемъ, гдѣ нѣкогда спалъ съ Васильковымъ. Тутъ Карачаевъ раскрылъ чемоданчикъ, вытрясъ на полъ все свое имущество, отыскалъ извѣстный уже читателю бумажникъ, вынулъ изъ него какую-то бумагу и съ тою же поспѣшностью вернулся въ кабинетъ.

Балахновъ и жена его быстро приподнялись съ своихъ мѣстъ.

— Стой! стойте и вы, голубушка моя, Лизавета Семеновна! закричалъ Карачаевъ, торжественно протягивая впередъ руку.—Такъ ты хочешь уплатить мнѣ мой вексель? а? Ты думаешь, можетъ быть, что Карачаевъ дни и ночи сокрушается объ этомъ векселѣ... Сокрушается о томъ только, какъ бы запрятать эти деньги въ карманъ? а? а? Нѣтъ, не будетъ этого сказано; нѣтъ!.. На же тебѣ! на тебѣ! на вотъ тебѣ! заключилъ Карачаевъ, разрывая вексель на безчисленное множество кусковъ.

— Что ты сдѣлалъ? вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— А вотъ что сдѣлалъ, подхватилъ Карачаевъ, посылая носкомъ сапога лохмотья векселя въ уголъ, — вотъ что сдѣлалъ! Не нужно мнѣ твоихъ денегъ, не хочу я ихъ, ничего не хочу, ничего мнѣ не надо! Ну, самъ ты разсуди... нѣтъ, позвольте, голубушка моя, Лизавета Семеновна, дайте мнѣ ему все высказать: ну, самъ разсуди, что я, семейный человѣкъ, что ли? Кому мнѣ оставлять послѣ себя? Зачѣмъ мнѣ деньги? зачѣмъ добро? разсуди, душа моя, Aristarque, куда мнѣ все это? Зачѣмъ?!

Мнѣ, скажу тебѣ, одно только нужно: дай ты мнѣ какой-нибудь чуланчикъ, или уголъ, ну, вотъ хоть тотъ, подъ лѣстницею, гдѣ жилъ Дрянковъ,—больше мнѣ ничего не надо! Я привыкъ къ вамъ... привыкъ къ тебѣ... люблю и почитаю Лизавету Семеновну пуще родной матери... привыкъ къ дѣткамъ твоимъ... продолжалъ Карачаевъ, моргая глазами и прикладывая попеременно то правый указательный палецъ къ лѣвому глазу, то лѣвый указательный къ правому глазу,—останусь я съ вами, поселюсь въ этомъ углу и пробуду тамъ до тѣхъ поръ, пока не стукнетъ меня кондрашка, или не вынесутъ ногами впередъ...

И долго еще говорилъ Карачаевъ; ничто ужъ, повидимому, не могло остановить его; монологъ его, приправляемый морганьемъ, прикладываньемъ пальцевъ къ глазамъ и другими болѣе или менѣе выразительными движеніями, выросталъ, какъ потокъ во время ливня.

Внезапно онъ остановился, взглянулъ на Лизавету Семеновну, которая во все это время дружески улыбалась ему, потомъ взглянулъ на Аристарха Ѳедоровича, сидѣвшаго въ креслахъ и задумчиво склонившаго голову, потомъ снова обратилъ глаза свои на Лизавету Семеновну и, подмигнувъ ей съ видомъ взаимнаго сочувствія, быстро скрылся изъ кабинета.

Минуту спустя, онъ снова появился въ дверяхъ, обвѣшанный дѣтьми, ни дать, ни взять, какъ извѣстная античная статуя, изображающая рѣку Нилъ.

— Аристархъ Ѳедорычъ, взгляни-ка сюда, душа моя, полюбуйся! закричалъ Карачаевъ.

И, не дожидаясь отвѣта, подбѣжалъ къ Аристарху Ѳедоровичу и облѣпилъ его дѣтьми.

Минута была торжественная, по крайней мѣрѣ, не менѣе торжественная, какъ та, когда Аристархъ Ѳедоровичъ выслушивалъ поздравительныя рѣчи дѣтей въ день своего рожденія. На этотъ разъ, однакожъ, разсудокъ не сказалъ ему, что сердечные порывы несовмѣстны со строгой торжественностью иныхъ случаевъ. На этотъ разъ Аристархъ Ѳедоровичъ не выпучилъ величественно грудь и не сказалъ даже: „благодарю!“ Онъ попросту посадилъ дѣтей на колѣни и принялся цѣловать ихъ по очереди.

— Ура! голубушка моя, Лизавета Семеновна! ура-а! воскликнулъ Карачаевъ посреди тишины, воцарившейся въ кабинетѣ,—ура! повторилъ онъ и, бросившись со всѣхъ ногъ къ Аристарху Ѳедоровичу, принялся обнимать его.

XXII.

Заключеніе.

Прошло полтора года послѣ происшествій, описанныхъ въ этой, безспорно, слишкомъ ужъ длинной исторіи. Полтора года, конечно, не бездѣлица, но смѣю увѣрить читателя, что Горшковскій уѣздъ все тотъ же. Онъ ни на волосъ не измѣнился противъ прежняго. Все тѣ же поля, сливающіяся въ необозримой дали съ такими же точно полями; тѣ же березки, бугорки, кочки и кустарники, оживляющіе кое-гдѣ горизонтъ; та же большая горшковская дорога, которая, попрежнему, никакъ не можетъ отдохнуть отъ докучливыхъ проѣзжающихъ; тѣ же проѣзжающіе, которые съ крикомъ и бранью врѣзываютъ свои колеса по самую ступицу въ ея рыхлую старческую грудь; тѣ же рѣки, ручейки и овражки; тѣ же дырявые мостишки; тѣ же избушки; тѣ же проселки,—словомъ, все то же!

Измѣнились только люди или, вѣрнѣе сказать, измѣнились обстоятельства людей: кое-кто овдовѣлъ, кое-кто женился, кое-кто прикупилъ пашни, кое-кто осиротѣлъ, а у кое-кого оказалось приращеніе въ семействѣ. Даже тутъ, какъ видите, очень мало перемѣны. Основываясь на этомъ, я готовъ поручиться чѣмъ угодно, что если бъ какому-нибудь наблюдателю вздумалось заглянуть, по прошествіи этого года, въ Горшковскій уѣздъ, и затѣмъ явилось бы желаніе передать свои впечатлѣнія, ему неизбѣжно пришлось бы повторить исторію *проселочныхъ дорогъ*, чего я отъ души не желаю ни ему, ни читателю. По крайней мѣрѣ, что до меня касается, я рѣшительно не вижу большой перемѣны въ Горшковскомъ уѣздѣ по прошествіи этого срока. Сколько ни оглядываюсь, сколько ни напрягаю зрѣнія, всюду встрѣчаю одни и тѣ же лица, и наблюденія мои ограничиваются тѣмъ только, что нѣкоторыя изъ нихъ похудѣли, тогда какъ другія потолстѣли.

Въ числѣ послѣднихъ особенное вниманіе обращаетъ на себя Прокисай Захаровичъ Копковъ.

Боже, какъ потолстѣлъ Прокисай Захаровичъ! Если бъ не продолговатое лицо, которое осталось все тѣмъ же продолговатымъ, его рѣшительно можно было бы принять за другого человѣка. Я, право, не знаю, что дѣлала Фіона Ивановна съ тѣхъ поръ, какъ вышла за него замужъ?

Должно полагать, она кормила его однѣми только сдобными лепешками; сюртучокъ травяно-зеленаго цвѣта окончательно ужъ не сходился на томъ мѣстѣ, гдѣ находилась нѣкогда талія Прокисая Захаровича. Носится, однакожъ, достовѣрная молва, будто Фіона Ивановна не только не балуетъ своего мужа, но даже держитъ его въ ежовыхъ рукавицахъ. Она, конечно, позволяетъ ему сидѣть у окна, бренчать на гитарѣ, вырѣзывать бумажныхъ козловъ, пѣтушковъ, лошадокъ и ничего даже не говоритъ, когда онъ налѣпливаетъ ихъ па окна; но, что касается до того, напримѣръ, чтобъ пойти погулять, Прокисай Захаровичъ и думать объ этомъ не смѣетъ.

Видите ли вы этотъ маленькій деревянный домикъ, расположенный на углу Горшковской площади и выходящій главнымъ фасадомъ на каланчу и съѣзжій дворъ? Домикъ этотъ принадлежалъ прежде горшковскому аптекарю; но теперь принадлежитъ Фіонѣ Ивановнѣ. Она купила его на тотъ трудовой капиталъ, который скопила въ продолженіе многихъ лѣтъ, управляя хозяйствомъ Балахновыхъ. Видите ли вы теперь въ одномъ изъ отворенныхъ оконъ этого домика голову Прокисая Захаровича, мелькающую между двумя горшками съ чахлыми бальзаминами? Вы не можете не замѣтить также, что водянистые глаза Копкова съ какою-то жадностью устремляются на противоположный конецъ площади и повидимому никакъ не могутъ оторваться отъ паперти собора, запруженной народомъ. Прокисай Захаровичъ словно ожидаетъ чего-то, и нетерпѣніе его возрастаетъ съ каждой минутой. Внезапно голова его исчезаетъ за бальзаминами.

— Фіона Ивановна, душенька! Фіона Ивановна, пожалуйте сюда! Скорѣе, скорѣе, душенька! кричитъ Прокисай Захаровичъ, снова просовывая голову между бальзаминами.

Почти въ то же время въ окнѣ показывается Фіона Ивановна; въ наружности ея не произошло почти никакой перемѣны, за исключеніемъ, развѣ, правой щеки, которая освободилась наконецъ отъ несноснаго флюса и пришла въ уровень съ лѣвою щекою.

— А что, развѣ ѣдутъ? спрашиваетъ Фіона Ивановна.

— Ѣдутъ, душенька, ѣдутъ!.. отвѣчалъ Прокисай Захаровичъ, сторонясь, чтобъ дать мѣсто женѣ.

Оба высовываются по поясъ изъ окна. Прежде всего, передъ глазами обоихъ супруговъ предстала исполинская старомодная карета съ красными колесами и желтыми

дверцами. Въ каретѣ сидѣла младшая дочь Фукола Ивановича. Она всегда слыла брюнеткой, но теперь, благодаря бѣлому подвѣнечному платью, бѣлому кисейному вуалю и вѣнку изъ бѣлыхъ искусственныхъ розъ, казалась еще смуглѣе. Рядомъ съ нею помѣщалась жена Нила Степановича Лукьянова, дама бодрая, могучая, почти такая же толстая, какъ самъ Нилъ Степановичъ. Насупротивъ ихъ сидѣлъ долговязый Ѳедя, исправлявшій должность шафера; новый вицмундирчикъ ясно свидѣтельствовалъ, что Ѳедя занималъ ужъ штатное мѣсто въ Черноряжской Палатѣ. Послѣ кареты показалась коляска, запряженная тройкой, обвѣшенной бубенчиками и мѣдными бляхами, ярко блестѣвшими на солнцѣ; первое мѣсто занималъ молодой, троюродный кузенъ дочерей Фукола Ивановича; волненіе проглядывало во всѣхъ чертахъ его физіономіи; плоскіе волосы его были запрятаны за уши. Должность жениховыхъ дружекъ занимали: горшковскій почтмейстеръ и секретарь изъ Горшковскаго земскаго суда. Слѣдомъ за ними, въ качествѣ почетныхъ гостей, ѣхали Фанагорія Петровна и Нилъ Степановичъ. Фанагорія Петровна только что освободилась отъ траура, наложеннаго на нее смертью Антониночки. Она была всегда того мнѣнія, что трауръ вовсе не шелъ къ ея лицу, и потому воспользовалась первымъ удобнымъ случаемъ, чтобъ снять съ себя креповый чепецъ и замѣнить его розовою шляпкой, съ райской птицей на верхушкѣ; она была въ восхищеніи отъ Нила Степановича; въ короткій промежутокъ переѣзда черезъ площадь, онъ успѣлъ уже сдѣлать значительные успѣхи въ слабомъ сердцѣ презрѣлой вдовы. Фанагорія Петровна картавила, принимала меланхолическія позы и возводила глаза къ небу, какъ въ тѣ минуты, когда прислушивались къ пѣнію соловья. За Лукьяновымъ и Фанагоріей Петровной слѣдовали дрожки; на дрожкахъ помѣщались Павелъ Павловичъ Чибезовъ и еще шаферъ невѣсты, землемѣръ Севастьяновъ; лицо Павла Павловича проявляло необычайное движеніе; глаза и зубы его сверкали; видно по всему, что онъ съ трудомъ удерживаетъ истокъ риѳмъ, которыя сами собою зарождаются въ поэтической душѣ его; но это собственно ничего; нѣтъ сомнѣнія, что какъ только окончится свадебный балъ, Павелъ Павловичъ заставитъ жену писать подъ диктовку, и новыми блестящими импровизаціями вознаградитъ себя за минутное молчаніе. Послѣ Чибезова и Севастьянова показался старичокъ Пшеницынъ;

повеселѣвшее, почти беззаботное, лицо его служило несомнѣннымъ доказательствомъ, что мысль о томъ, будто Ѳедя долженъ непремѣнно умереть до полученія перваго чина, уже не тревожила чадолюбиваго сердца преклоннаго родителя. За Пшеницынымъ ѣхало множество другихъ лицъ. Въ свадебномъ поѣздѣ недоставало только самого Фукола Ивановича и дочери его, романтической Чибезовой. Мудренаго тутъ ничего нѣтъ: вотъ ужъ шесть мѣсяцевъ, какъ Фуколъ Ивановичъ окончательно лишился употребленія своихъ ногъ. Онъ не покидаетъ креселъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда узнаетъ о ссорѣ своихъ сосѣдей; впрочемъ, миротворная дѣятельность почтеннаго старца находитъ съ нѣкоторыхъ поръ обильную пищу въ кругу собственнаго своего семейства. Вдохновенное состояніе Павла Павловича Чибезова, возрастая съ каждымъ днемъ, требуетъ все болѣе и болѣе простора и рѣшительно мѣшаетъ ему жить въ ладахъ съ романтическою женою. Должно полагать, что кругъ миротворной дѣятельности почтеннаго старца распространится еще значительнѣе послѣ брака младшей дочери; бывъ еще дѣвицей, она по двадцати разъ въ день переодѣвалась изъ розоваго платья въ черное, въ ознаменованіе ссоры съ долговязымъ кузеномъ; чего же слѣдуетъ ожидать, когда пройдетъ медовый мѣсяцъ и наступятъ супружескія отношенія?.. Но это, покуда, еще впереди. Въ то время, какъ свадебный поѣздъ тянулся по улицамъ Горшкова, Фуколъ Ивановичъ сидѣлъ въ креслахъ и занимался устройствомъ своего домика; почтенный старецъ, естественнымъ образомъ, не могъ приглядѣть за всѣмъ, оставаясь на одномъ мѣстѣ; ему слѣдовало передвигаться изъ одного конца дома въ другой; для этой цѣли позванъ былъ заспанный дѣтина, который, сверхъ своихъ должностей портного, слуги и конюха, получилъ еще должность передвигателя креселъ съ той минуты, какъ Фуколъ Ивановичъ лишился ногъ. И въ то время, какъ заспанный дѣтина передвигалъ почтеннаго старца изъ одной комнаты въ другую, романтическая Чибезова занималась приготовленіемъ собственнаго своего туалета; хлопотала подлѣ красныхъ камлотовыхъ занавѣсокъ, украшавшихъ маленькія окна; симметрически разставляла горшки съ геранью; суетливо перебѣгала въ комнату, назначенную для молодыхъ, и дѣлала, повидимому, все возможное, чтобъ придать самый приличный видъ свадебному балу, который подавалъ надежду быть весьма эффектнымъ.

Я твердо увѣренъ, однакожъ, что, несмотря на весь свой эффектъ, балъ Фукола Ивановича далеко отстанетъ отъ бала Кокуркиныхъ; я говорю о томъ знаменитомъ балѣ, который данъ былъ въ Веселыхъ-Горкахъ въ ознаменованіе того, что минуло десять мѣсяцевъ послѣ брака Василькова и Надёженьки. Я былъ вообще всегда того мнѣнія, что ничего не можетъ быть лучше вечеринокъ, даваемыхъ гостепріимными барышнями. Вы, безъ сомнѣнія, нигдѣ не встрѣтите большаго радушія со стороны хозяевъ; нигдѣ не найдете такого непринужденія и ужъ, конечно, нигдѣ не увидите такого веселья, несмотря на то, что все почти ограничивается двумя комнатами, блюдечками съ вареньемъ и брянчаньемъ на шести-струнной гитарѣ. Удивительнѣе всего то, что вечеринки эти слѣдуютъ непосредственно одна за другой и почти не прерываются въ продолженіе года. Мы никакъ не можемъ разрѣшить причины такого необузданнаго стремленія къ увеселенію самихъ себя и своихъ ближнихъ. Происходитъ ли это стремленіе отъ того, что три барышни живутъ въ Веселыхъ-Горкахъ?.. Но, съ другой стороны, Веселыя-Горки могли получить свое названіе потому именно, что въ нихъ поселились три барышни; рѣшительно непонятно! Страсть къ вечеринкамъ проистекала, всего вѣроятнѣе, изъ врожденнаго гостепріимства трехъ барышень. Принимая въ соображеніе такое похвальное свойство, мы въ правѣ заключить, слѣдовательно, что слухи о томъ, будто Кокуркины сплетницы — не имѣютъ никакого основанія; такія обвиненія, конечно, могли только вырваться изъ оскорбленной груди Фіоны Ивановны, да и то въ минуту сильнѣйшаго негодованія противъ барышень, которыя, скажемъ мимоходомъ, ни въ чемъ не были виноваты. Если бъ барышни занимались сплетничаньемъ, къ нимъ, безъ сомнѣнія, не съѣзжалось бы такое множество сосѣдей и вечеринки ихъ далеко не пользовались бы такою славой. Въ доказательство можно привести балъ, данный въ честь Порфирія Павловича и Надёженьки. Кого только не было на этомъ балѣ! Тутъ были: Кондей Ивановичъ Свищовъ и Проклъ Ивановичъ Полушкинъ, Софья Кузьминична Свищова со своими дочерьми и ридикюлемъ, Матрена Васильевна Полушкина съ чадами и также съ ридикюлемъ. Говорятъ, будто два почтенныя семейства живутъ съ нѣкоторыхъ поръ въ совершеннѣйшемъ ладу. Утверждать положительно не смѣю. Достовѣрно только

то, что Кондей Ивановичъ дозволяетъ теперь полушкинскимъ бабамъ подходить безпрепятственно къ своему колодцу, а Проклъ Ивановичъ ничего не говоритъ, когда индѣйки и куры Кондея Ивановича перелетаютъ въ его огородъ. Въ числѣ гостей находился также Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ. Онъ, сказываютъ, собирается писать новую повѣсть; въ ожиданіи этого, почтенный труженикъ переселился къ одному богатому помѣщику и проживаетъ у него съ превеликимъ комфортомъ. Второе произведеніе даровитаго Дрянкова будетъ называться: „Тунеядцы" — „Лежебокіе"—„Проживальщики", физіологическій очеркъ. Основываясь на томъ, что предметъ этотъ въ совершенствѣ знакомъ автору, можно надѣяться, что новое произведеніе его далеко оставитъ за собою первое. На балѣ находились также: рыженькая Капитолина Лукинична Дядинькова, подруга ея, безсловесная Лукерья Ѳоминична Крепышева и Розалія Владиміровна Сараманаева, которая, послѣ полученія своихъ пяти тысячъ отъ Аристарха Ѳедоровича, купила клочокъ земли въ Веселыхъ-Горкахъ и поселилась въ сосѣдствѣ трехъ барышень. Словомъ, тутъ присутствовали почти всѣ старые знакомые, не выключая Агашеньки. Мѣсто гитариста занималъ на этотъ разъ Проклъ Ивановичъ Полушкинъ, и, говорятъ, съ большимъ успѣхомъ. Нечего и говорить, разумѣется, что посреди всего этого сборища первое мѣсто принадлежало Порфирію Павловичу Василькову. Голубая венгерка его, съ шелковымъ іероглифомъ на спинѣ, мелькаетъ во всѣхъ концахъ залы, повинуясь движенію ногъ, которыми Порфирій Павловичъ сѣменитъ подъ тактъ музыки. Къ сожалѣнію, онъ не можетъ танцовать съ молодою женою; интересное положеніе Надеженьки заставляетъ ее сидѣть на одномъ мѣстѣ — обстоятельство, которое нимало не мѣшаетъ ей суживать губки наподобіе сердецъ, изображаемыхъ въ альбомахъ. Спустя каждыя пять минутъ, можно видѣть Порфирія Павловича цѣлующаго руку жены; остальное время посвящено имъ веселой, радушной Вѣрѣ Андреевнѣ, которая восторженно припрыгиваетъ при одной мысли, что завладѣла на весь вечеръ первымъ мазуристомъ Горшковскаго уѣзда. Изрѣдка, и только въ антрактахъ, Порфирій Павловичъ урывается изъ залы и бѣжитъ полюбоваться на голубые банты, украшающіе занавѣски брачной постели, ни дать ни взять, какъ дѣлывалъ онъ это въ маленькомъ домикѣ на берегу живописной рѣчки.

Затѣмъ возвращается онъ къ женѣ, наклоняется къ ея уху, шепчетъ ей:—„Мимоцька, Пипоцька, Фифоцька... вамъ глюсно, Шишечка!“ и снова сѣменитъ ногами подъ тактъ музыки. Порфирій Павловичъ находится въ полномъ восторгѣ; къ этому, слѣдуетъ замѣтить, не мало способствуетъ письмо Аполлинарія Ильича Миловзорова, полученное наканунѣ. Миловзоровъ поздравляетъ Василькова съ бракомъ; Васильковъ носится всюду съ этимъ письмомъ, провозглашаетъ Аполлинарія Ильича лучшимъ, неизмѣннымъ своимъ другомъ и даетъ клятвенное обѣщаніе повезти жену, при первомъ удобномъ случаѣ, къ сестрамъ красиваго медика, съ которыми познакомился случайно на постояломъ дворѣ въ Горшковѣ. Въ письмѣ Миловзорова описывается, между прочимъ, весьма трогательно о томъ, какъ хоронили на-дняхъ одного почтеннаго старца, Тирсиса Ивановича Ястребилова, сочинившаго будто бы сорокъ четыре тома трагедій и афоризмовъ. Вѣсть относилась, впрочемъ, болѣе къ Дрянкову, и Дрянковъ тутъ же объявилъ, что смерть почтеннаго старца нанесла, по всѣмъ вѣроятіямъ, сильнѣйшій ударъ Леокадію Куликову, автору „Пелопонезо-Таврическихъ Мелодій“ и знаменитому сотруднику „Парнасской Звѣзды“. Пользуясь удобнымъ случаемъ, мы скажемъ, что жена Миловзорова, его *боперчикъ* и *бельмерочка* пользуются вожделѣннымъ здравіемъ и съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе влюбляются въ своего зятя. Благодаря тому же письму, присутствовавшіе на балѣ Кокуркиныхъ узнали, что нѣкто, по имени Бобоховъ, купилъ огромный каменный домъ, находящійся подлѣ дома Миловзорова; Аполлинарій Ильичъ прибавилъ, что этотъ Бобоховъ живетъ настоящимъ бариномъ. Въ послѣднемъ пунктѣ мы сильно сомнѣваемся. Мы твердо увѣрены, что Бобоховъ, буржуа-жантильйомъ, какъ говоритъ Карачаевъ, и останется мѣщаниномъ во дворянствѣ опять до окончанія жалкаго своего вѣка. Почти такую же точно увѣренность питаемъ мы въ отношеніи къ тому, что, рано или поздно, новый домъ Бобохова и другія его имѣнія перейдутъ во владѣніе его свояка, великолѣпнаго Тохтамышева, изящнаго Чиндаласова и почтеннаго, солиднаго Петра Степановича Крапова. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что дѣла трехъ друзей идутъ въ послѣднее время что-то плохо.

Для пополненія всѣхъ этихъ свѣдѣній, частью почерпнутыхъ на балѣ Кокуркиныхъ, частью полученныхъ изъ

собственныхъ наблюденій, намъ необходимо сообщить здѣсь кое-что по поводу Ханскихъ-Прудовъ и личности главнаго героя повѣсти.

Извѣстно намъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что солнце попрежнему восходитъ каждое ясное утро на плоскомъ горизонтѣ Ханскихъ-Прудовъ; попрежнему окрашиваетъ золотымъ пурпуромъ бельведеръ, верхушки березъ, кровли флигелей и стѣны древняго дома; попрежнему, подымаясь выше и выше, шагаетъ оно каждый день черезъ заборъ, озаряетъ клумбы сада, лужайки, сучья деревъ и желтыя дорожки, молчаливо спускавшіяся въ густую, темно-зеленую листву акацій... Но намъ извѣстно также, что съ нѣкоторыхъ поръ золотые лучи не скользятъ ужъ по дощатымъ обелискамъ, пирамидамъ, столбамъ, минаретамъ. Всѣ эти предметы, какъ бы связанные тайною, но тѣмъ не менѣе живою, непосредственною нитью съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, не пережили славы своего владѣльца. Паденіе Аристарха Ѳедоровича увлекло за собою пирамиды и обелиски. Вензеля и обелиски, выведенные искусною рукою Калины, частью смытые дождемъ, частью совсѣмъ уничтоженные, не останавливаютъ ужъ путника; доски, служившія обшивкою фантастическимъ сводамъ, запуганныя, вѣроятно, морозами, поспѣшили разбѣжаться по крестьянскимъ дворамъ; иныя поступили на дрова, иныя по сію пору еще лежатъ пластомъ на землѣ и корчатся въ предсмертныхъ судорогахъ. Знаменитый столбъ, возвѣщавшій разстояніе отъ Ханскихъ-Прудовъ до Италіи и Парижа, ужъ не существуетъ; не существуетъ также намалеванный кучеръ въ красной рубахѣ съ балалайкой въ рукахъ, украшавшій помѣщеніе для дворовыхъ. Дощатая баба, черпавшая воду у колодца, канула въ вѣчность; на поверхности водъ ужъ не видать лебедей. Вообще говоря, наружный видъ Ханскихъ-Прудовъ не напоминаетъ уже прежняго своего величія. Съ которой бы стороны ни ѣхалъ путешественникъ: по большой ли горшковской дорогѣ, со стороны ли окатовской долины, или по проселку, Ханскіе-Пруды представляются ему самой обыкновенной деревней. Значительная перемѣна произошла точно такъ же въ наружности самого Аристарха Ѳедоровича. Я вовсе не хочу сказать этимъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ кажется теперь самымъ обыкновеннымъ смертнымъ. Въ мысляхъ моихъ не было даже ничего подобнаго. Я хотѣлъ только сказать, что

лицо Аристарха Өедоровича похудѣло и осунулось, что худоба эта, въ совокупности съ порѣдѣвшими волосами, измѣнили его; не мало также измѣняло его отсутствіе патентованныхъ вагенгеймовскихъ зубовъ, которые, одинъ за другимъ, перешли теперь въ маленькій ящикъ изъ карельской березы, хранимый въ письменномъ столѣ Аристарха Өедоровича. Но что изъ этого?.. дипломатическій лобъ, благодаря порѣдѣвшимъ волосамъ, кажется еще выше; продольная морщина надъ бровями врѣзалась глубже и еще краснорѣчивѣе свидѣтельствуетъ объ энергіи знаменитаго мужа; узенькія губы, величественная осанка, улыбка, выражавшая сознаніе превосходства и вмѣстѣ съ тѣмъ неподражаемое добродушіе—все это сохранилось попрежнему. На всѣхъ этихъ признакахъ, какъ на подписи древняго мрамора, ясно можно прочесть исторію славнаго, но, увы!.. исчезнувшаго существованія. Мы ничего не можемъ сказать о томъ, напримѣръ, какіе перевороты произвело время въ душѣ нашего героя; „чужая душа—темный лѣсъ“, говорится; къ тому же душа Аристарха Өедоровича такъ необъятна! Принимая въ соображеніе равнодушіе, съ какимъ взираетъ Аристархъ Өедоровичъ на дѣла своихъ ближнихъ и вообще на весь Горшковскій уѣздъ, должно полагать, что и въ этомъ отношеніи онъ точно такъ же измѣнился. Съ невозмутимою холодностью выслушиваетъ онъ разсказы о томъ, что Солонеевъ получилъ наслѣдство послѣ дяди и задаетъ пиры, куда сбѣгаются всѣ жители уѣзда; что Окатовъ находится на самой дружеской ногѣ съ Солонеевымъ и не шутя предлагаетъ ему продать долину, лежащую близъ Ханскихъ-Прудовъ; что Софья Алексѣевна Окатова окончательно ужъ переселилась въ Петербургъ съ возлюбленнымъ сыномъ и госпожею Буске въ придачу; что Семенъ Семеновичъ Кошкинъ, благодаря, вѣроятно, кокетству хорошенькой жены, занялъ порядочный кушъ у Балаклеева, купилъ у Старобѣльскаго дюжины двѣ матокъ и намѣревается завести конскій заводъ, и проч., и проч., и проч.— все это, повидимому, не производитъ на Аристарха Өедоровича ни малѣйшаго впечатлѣнія. Не мѣшаетъ также замѣтить, что способъ выраженія Аристарха Өедоровича, столь же краснорѣчивый, сколько цвѣтистый и напыщенный, также нѣсколько измѣнился; правда, до сихъ поръ еще говоритъ онъ: „благодарю!“ или: „во время кратковременнаго пребыванія моего замѣчено мною...“ и т. д.,

вмѣсто того, чтобъ сказать: „я замѣтилъ“; но такой способъ изъясненія дѣлается съ каждымъ днемъ рѣже и рѣже. Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшительно никуда не выѣзжаетъ и ведетъ вообще жизнь самую однообразную. Дни свои проводитъ онъ въ кабинетѣ; хозяйствомъ своимъ занимается почти такъ же мало, какъ прежде; впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ эта часть перешла въ полное распоряженіе Карачаева, все идетъ какъ по маслу, и Балахновъ можетъ быть спокоенъ: у него не пропадетъ не только доска, но даже зерно хлѣба. Павелъ Петровичъ, сопровождаемый Медоромъ, поспѣваетъ всюду; въ припадкѣ усердія, онъ нерѣдко даже самъ принимается колотить въ караульную доску.

Каждый разъ, когда наступаетъ теплый хорошій вечеръ, Аристархъ Ѳедоровичъ выходитъ изъ кабинета и располагается на террасѣ. Въ этихъ случаяхъ всегда почти можно встрѣтить подлѣ него лицо Лизаветы Семеновны, лицо блѣдное, но оживленное теперь счастіемъ и все еще прекрасное, прекрасное какъ тихая, свѣтлая заря осенняго вечера. Лизавета Семеновна безпрепятственно проходитъ теперь изъ своей комнаты на террасу. Дѣло въ томъ, что комната ея находится рядомъ съ гостиной, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда былъ будуаръ. Прежняя ея спальня, расположенная подлѣ дѣтской, поступила ужъ во владѣніе гувернантки, отличной нѣмки, которую всѣ любятъ въ домѣ, отъ мала до велика.

Аристархъ Ѳедоровичъ очень любитъ проводить свои вечера на террасѣ, любитъ устремлять задумчивые глаза свои на дальніе берега прудовъ, свидѣтелей минувшей роскоши и величія. Но рѣдко обнаруживаетъ онъ свои впечатлѣнія и еще рѣже распространяется о дняхъ своей славы. Изрѣдка лишь, да и то въ видѣ шутки, обращается онъ къ Карачаеву, добродушное лицо котораго не замедляетъ показаться на террасѣ.

— Посмотри, говоритъ Аристархъ Ѳедоровичъ, отгоняя рукою докучливыхъ мухъ и мошекъ,—вотъ что значитъ старость: мухъ не могу отогнать, тогда какъ прежде отъ людей, бывало, отбивался...

— Э! вотъ вздоръ какой, душа моя! восклицаетъ Карачаевъ,—людей много на свѣтѣ, ото всѣхъ не отобьешся! Ну, что, самъ посуди, écouté: что̀ вышло изъ того, что ты отбивался? фукъ—и больше ничего! Повѣрь мнѣ, все

это дребедень... То ли дѣло теперь, самъ посмотри, заключилъ Карачаевъ, простирая руку къ прудамъ, отражавшимъ золотыя облака, подрумяненныя закатомъ, — смотри: тишь да гладь, да Божья благодать! Вотъ она штука-то въ чемъ!..

Но какъ бы въ опроверженіе словамъ Карачаева, изъ густой аллеи внезапно подымались звонкій хохотъ и веселые крики; на дорожкахъ показывалась шумная толпа дѣтей, и веселые голоса ихъ, повторяемые эхомъ сосѣднихъ холмовъ, оглашали смолкнувшую на минуту окрестность...

Но вотъ, мало-по-малу, все снова погружается въ молчаніе. Солнце скрылось и послѣдніе лучи его потухли за горизонтомъ. Воздухъ свѣжѣетъ. Синія тѣни сбѣгаютъ по холмамъ и затопляютъ росистыя долины... Темныя массы деревъ сливаются, мало-по-малу, съ мѣстностью... Еще минута, и Ханскіе-Пруды исчезнутъ и совершенно изгладятся въ непроницаемомъ мракѣ ночи...

Увы! такъ все изглаживается и исчезаетъ на семъ свѣтѣ!

КОНЕЦЪ.

Оглавленіе IV тома.

Проселочныя дороги. (Романъ.) Часть II.

стр.

I, могущая служить достовѣрнымъ и въ то же время единственнымъ матеріаломъ для пополненія многихъ библіографическихъ замѣтокъ 5

II. Дальнѣйшія похожденія „Непризнанной Индѣйки“ со включеніемъ литературнаго вечера 24

III. Судьба сталкиваетъ два нѣжныя сердца, созданныя одно для другого. Порфирій Павловичъ знакомится съ однимъ гостепріимнымъ семействомъ и наслаждается истиннымъ счастьемъ 36

IV. Васильковъ и Миловзоровъ, предводительствуемые Аристархомъ Ѳедоровичемъ, ищутъ развлеченій сначала въ одномъ инструментальномъ концертѣ, потомъ въ одномъ клубѣ. Здѣсь же фактически доказывается извѣстная истина, что великіе люди могутъ попадать впросакъ ничѣмъ не хуже послѣдняго смертнаго 57

V. Одинъ интересный молодой человѣкъ ѣдетъ къ одной великосвѣтской дамѣ, которая даетъ блистательные вечера по пятницамъ, а оттуда въ Петровскій паркъ, гдѣ встрѣчаетъ веселую компанію 77

VI. Путевыя впечатлѣнія Ивана Дормидоновича Бобохова и пребываніе его въ родительскомъ домѣ 99

VII предлагаетъ на разсмотрѣніе любопытный вопросъ о томъ: слѣдуетъ ли утверждать положительно, что молодое поколѣніе далеко опередило старое. — Фантастическое и вовсе неожиданное появленіе одного стариннаго знакомаго 112

VIII о томъ, какъ процвѣтаютъ Ханскіе-Пруды, и что подѣлываетъ Карачаевъ 129

IX. Аристархъ Ѳедоровичъ, сопровождаемый Порфиріемъ Павловичемъ и Аполлономъ Егоровичемъ, возвращается къ домашнему очагу 142

X. Непредвидѣнное обстоятельство сталкиваетъ Аристарха Ѳедоровича съ такими лицами, о которыхъ онъ вовсе даже и не думалъ 156

стр.

XI. Душевныя качества Аристарха Өедоровича заглушаютъ въ немъ на время чувства злобы и ненависти. Онъ является утѣшителемъ страждущихъ и проливаетъ съ ними горькія слезы. 174

XII, доказывающая, между прочимъ, самымъ очевиднымъ образомъ, что человѣкъ умный, тонкій и практическій можетъ извлекать выгоды изъ самыхъ ничтожныхъ обстоятельствъ 186

XIII. Жалкіе комары и мошки стараются затмить лучезарный блескъ величаваго солнца. Веселая игра въ фанты, повергающая одного господина въ глубочайшее отчаяніе 198

XIV, служащая продолженіемъ предшествующей 212

XV. Путешествія по проселочнымъ дорогамъ сопряжены часто съ большими неудобствами; тѣмъ не менѣе, однакожъ, благодаря этимъ самымъ неудобствамъ, одинъ знаменитый мужъ попадаетъ въ весьма веселое и пріятное общество 224

XVI. Посмѣявшись отъ души надъ жалкими смертными, великій человѣкъ направляетъ стопы свои къ одному господину, столько же богатому, сколько эксцентрическому 244

XVII представляетъ достовѣрный отчетъ о первыхъ дѣйствіяхъ и первыхъ впечатлѣніяхъ Аристарха Өедоровича въ губернскомъ городѣ Черноряжскѣ . . . 259

XVIII. Аристархъ Өедоровичъ присутствуетъ на одномъ балѣ и выноситъ оттуда самое невыгодное мнѣніе въ отношеніи къ человѣчеству и касательно хозяевъ дома въ особенности 274

XIX. Подвиги черноряжскаго Геркулеса-Иракла приводятъ въ неописанный восторгъ одного изъ героевъ этой исторіи, тогда какъ другой герой обнаруживаетъ къ нимъ совершеннѣйшее равнодушіе. Самоотверженіе стариннаго друга 284

XX. Подмостки, на которыхъ столько лѣтъ красовался Аристархъ Өедоровичъ, начинаютъ трещать, подламываться, наконецъ, падаютъ и увлекаютъ за собою великаго мужа 307

XXI. Аристархъ Өедоровичъ, свергнутый силою обстоятельствъ съ высоты своего величія, перестаетъ, кажется, выпучивать грудь и становится обыкновеннымъ смертнымъ 319

XXII. Заключеніе 328